



"Хельмова дюжина красавиц. Дилогия (СИ)"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Карина Демина

Хельмова дюжина красавиц

Часть первая

Глава 1

По сути своей являющаяся прологом, в которой повествуется о младенческих годах, отрочестве и юности ненаследного князя Вевельского

Родила княгиня в ночь...

...из семейных хроник князей Вевельских

Много позже, на семейном совете, состоявшемся шестого травня года четыре тысячи двадцать пятого от сотворения мира, было решено, что во всем виновата черная коза, с которой княгиня Вельская имела неосторожность столкнуться на прогулке.

Откуда бы знать ей, девице благородного рода, половину жизни проведенной в тиши и уюте закрытого аглицкого пансиона в окружении столь же благородных и немочных девиц, что брюхатой бабе, ежели встретится ей на пути коза черной масти, надлежит трижды повернуться через левое плечо и, скрутивши кукиш, сунуть козе под нос. А для верности еще плюнуть, желательно, промеж рогов.

Иначе быть беде!

Выскочит из козьего уха дух-перевертыш, да и вселится в ребятенка.

— Глупости какие вы гово-г-ите, — прелестно картавя сказала княгиня. И поднесла к глазам надушенный платочек. — Гебенок пгосто в деда пошел.

Она вздохнула и, кинув взгляд на молчаливого супруга, лишилась чувств. Так, на всякий случай. Впрочем, пассаж этот остался незамеченным: к обморокам драгоценной Ангелины Тадеуш, князь Вевельский, привык. В данный момент его больше занимала не супруга, но новорожденный сын. Он рассматривал наследника в лорнет, то поднося его к младенческой макушке, кучерявой и вызывающе черной, то прижимая к глазам, словно пытаясь таким образом убедиться, что чернота эта, равно как и смуглявость, привиделись.

Младенец лежал тихо, не сводя с отца пристального, чересчур уж внимательного взгляда, каковой новорожденным вовсе был несвойственен, хотя, признаться, познания Тадеуша Вевельского в новорожденных ограничивались исключительно теорией, но ведь разумному человеку и теории довольно для правильных выводов.

Знать бы еще, каковы были выводы.

— Ах, — вздохнула, возвращаясь в чувство, княгиня и томным отрепетированным жестом прижала руку ко лбу.

Она была красива, светловолоса и синеглаза, и ни болезненная бледность, ни испарина, выступившая на высоком челе княгини, не портили этой красоты. Глубокие тени, залегшие под глазами, и те придавали взору глубину и отрешенность.

— Покажите его... — шепотом попросила она, верно, тоже рассчитывая, что со второго взгляда дитя окажется более привлекательным.

И кормилица поспешила исполнить просьбу.

— В деда, опгеделенно, в деда... тот тоже был... бгюнетом, — княгиня откинулась на подушки.

Нет, допустим, князь Вевельский смутно припоминал, что дед его драгоценной супруги и вправду был черноволос, но горба, не говоря уже о хвосте, он точно не имел. Тадеуш закрыл глаза, точно надеясь, что упомянутая часть тела исчезнет. И открыл.

Не исчезла.

Младенец же смотрел по-прежнему строго, не моргая. И губенки поджал, точно не одобрял этакой родительской нерешимости. Из кружевных пеленок, в кои обрядили долгожданного наследника рода князей Вевельских, помимо лысенького хвоста и кучерявой головки выглядывали розовые младенческие пятки. И кулачки, сжатые крепко, словно ребенок вознамерился до последнего отстаивать свое право на хвост.

— Коза энто, — с уверенностью повторила кормилица, женщина простая, деревенская, взятая в дом по рекомендации. Она была дородна, белолица и имела дурную привычку щипать щеки, ибо по собственному ее мнению румянец свидетельствовал об исключительном здоровье и молочности. — Хельмово отродье! А хвост... да того хвоста — топором разок тюкнуть.

Хвост она легонько сжала пухлыми пальцами, точно примеряясь. И младенец вздохнул, закрыл глаза и закричал.

— От же ж, даликатны, — восхитилась кормилица и для важности добавила: — Як пански цуцик...

Женщина взяла юного княжича на руки и, вытащив белую какую-то румяную с виду грудь, сунула ее в раззявленный рот.

— С рогами Маша, — глубокомысленно произнесла она, проведя по пуховым волосикам. — А все одно наша...

Младенца нарекли Себастьяном в честь того самого аглицкого деда, которого весьма кстати вспомнила панна Ангелина. Первый месяц его жизни ознаменовался чередой супружеских скандалов, кои, впрочем, сошли на нет после того, как приглашенный в дом маг раз и навсегда опроверг подозрения вдовствующей княгини, чем немало ее опечалил.

— Все одно, виновата она, — Катарина Вевельская вооружилась веером, нюхательными солями и чувством оскорбленного достоинства, которое требовало немедля удалиться из негостеприимного дома, где родной сын отвернулся от матери за-ради какой-то аглицкой девицы сомнительных добродетелей. Всякому известно, что воистину добродетельные девицы хвостатых младенцев не рожают.

...о приданом, оной девицы, немало и более чем своевременном, она предпочла забыть.

— Ах, матушка, вам бы все виноватых искать, — Тадеуш Вевельский тешил себя надеждой, что обе женщины, с мнением которых он вынужден был считаться, когда-нибудь да найдут общий язык.

И заодно подскажут, как быть с наследником.

Мелькала трусливая мыслишка, что было бы весьма удобно, подтверди маг матушкины опасения. Окажись Себастьян не родным сыном князя, тот получил бы развод или хотя бы возможность отказать ребенку в имени...

— Гебенок выгастет, — Ангелина Вевельская в волнении картавила более обычного и, откинувшись в кресле, утопая в розовых атласных подушках, коими ее обложили для пущего комфорта, мяла платочек. Пропитанная маслом мяты и лемонграсса ткань источала резкий аромат, который заставлял свекровь морщиться и с мученическим видом закатывать очи. — И быть может, хвост отвалится.

Вины за собой Ангелина Вевельская не видела, и на мужа обижалась всерьез. Лишь исключительное воспитание, полученное в пансионе, удерживало ее от банальнейшей истерики с битием посуды. И начала бы она с того преотвратительного фарфорового сервиза на двенадцать персон, преподнесенного к свадьбе дражайшей свекровью. Сервиз был покрыт толстым слоем позолоты, и самым своим видом, вызывающей роскошью, уродством, отравлял Ангелине жизнь.

— А если не отвалится, — свекровь впервые соизволила одарить невестку почти одобрительным взглядом. — Его можно будет отрезать. В конце концов, зачем человеку хвост?

Отрезать хвост не вышло.

Семейный доктор, к которому Тадеуш Вевельский обратился со столь деликатной просьбой, долго оглаживал бородку, щупал хвост, несмотря на явное неудовольствие юного Себастьяна, а потом со вздохом признал, что отрезать-то, конечно, можно, но за последствия он не ручается.

— Следует признать, что сей рудимент отменнейшим образом иннервирован, — доктор нежно провел по мягкому темному пушку, покрывавшему не только хвост, но и всего младенца. Пушок пробился на третий месяц жизни, и покрыл смуглую желтоватую, точно подкопченную кожу Себастьяна ровным слоем. — Редукция его вызовет сильнейший шок у пациента...

Пациент заорал.

Голосом он обладал громким, и Тадеуш скривился, нянька же привычно сунула руку за пазуху, нащупывая грудь, но была остановлена князем.

Доктор же, отпустив хвост, который тотчас обвил ножку младенца, продолжил.

— А шок, весьма вероятно, вызовет *exitus letalis* [1].

Милейший Бонифаций Сигизмундович поправил пенсне, которое носил не из-за слабости зрения, но в силу собственной убежденности в том, что она слабая в глазах великоможных пациентов напрямую связана с ученостью. И хоть бы во всем княжестве не нашлось бы человека, который посмел бы вслух усомниться в учености Бонифация Сигизмундовича, он по-детски продолжал стесняться отменного, как и у всех поколений докторов Пшеславских, зрения. И скрывая стеснение, робость, вовсе несвойственную его давным-давно почившему батюшке, речь вел медленно, густо пересыпая умными словами, а то и вовсе латинскими фразами.

вернуться

Летальный исход.

— ...или к существенной задержке психического развития, — завершил Бонифаций Сигизмундович и добавил веско. — Хвост чрезвычайно важен для формирования *modus operandi*.

Он выставил пухлый указательный палец, подчеркивая важность последних слов. И произнес:

— *Casus extraordinarius!* [2]

Признаться, пристрастие любезнейшего доктора к латыни ввергало князя Вевельского в тоску, напоминая о собственном образовании, каковое ему, несомненно, было дадено — да и, помилуйте, разве возможно князю необразованным быть? — однако дадено как-то поверху, куце. Отчасти виной тому был непоседливый норов княжича, с которым не способны были совладать ни уговоры, ни нотации, ни даже розги — а до них дело доходило частенько; отчасти — малые способности и отсутствие интереса к наукам. Как бы там ни было, но в голове, украшенной пятизубым венцом князей Вевельских, не задержались ни латынь, ни греческий, ни даже вновь вошедший в моду ненецкий. Впрочем, урожденный шляхетский гонор не позволил Тадеушу и ныне признаться в собственной слабости, понуждая к притворству. Князь провел ладонью по светлым волосам и, чуть склонив голову, ответил:

— Amen.

Он понял одно: хвост резать нельзя. И надежды на то, что отвалится, нет никакой.

— Не переживайте, — Бонифаций Сигизмундович искренне переживал за своих пациентов и, сделав ребенку «козу», обратился к князю. — С горбиком мы поработаем, выправим осанку. А что до хвоста, то вспомните, пан Тадеуш, *historia est magistra vitae* [3]. В хрониках описан минимум один подобный случай. К слову, с вашим же предком, Мстивойтом Ярославовичем. Ему хвост нисколько не помешал занять Гжуславский престол.

Пример оказался удачен. Король Мстивойт, пусть и правил всего-то два года, в представлении Тадеуша Вевельского был человеком исключительных достоинств, каковые теперь просто-таки обязаны были проявиться в Себастьяне. И княжье семейство, затаив дыхание, принялось ждать от младенца великих свершений. Младенец орал, гадил и из всего семейства выделял лишь толстую кормилицу, да и ее, верно, почитал бесплатным приложением к груди, а ел он подолгу и с немалым аппетитом.

— Просто ребенку нужно вгемя, — убеждала себя и свекровь Ангелина Вевельская и с тайной надеждой поглаживала вновь округлившийся живот. Она искренне уповала, что нынешняя ее беременность разрешится благополучно и на всякий случай десятой дорогой обходила всех коз, вне зависимо от их масти. А заодно уж воздерживалась и от козьего молока, и от сыра, каковой ей навязывала вдовствующая княгиня, вестимо, тем самым намекая на неудачного первенца...

— Вгемя и только вгемя. И все будет пгекгасно! — Ангелина сахарно улыбалась и гладила Себастьяна по черным вихрам, тот же хмурился и, стиснув в ручонках хвост — в последний месяц тот покрылся мелкой слюдяной чешуей — взирал на матушку исподлобья. Заговаривать он не спешил, равно как вставать на ноги, предпочитая передвигаться исключительно на

четвереньках.

Рождение второго сына, светловолосого и синеглазого, лучезарного, как солнце на родовом щите князей Вевельских, примирило родителей с уродством старшего. И даже известие о том, что, невзирая на все усилия Бонифация Сигизмундовича, Себастьянов горб пошел в рост, было воспринято с должной долей смирения. Взяв на руки дитя, нареченное в честь деда уже по отцовской линии, Лихославом, Тадеуш крепко призадумался и с молчаливого согласия супруги, премного довольной, что собой, что новорожденным, который выглядел именно так, как полагалось новорожденному — розовым, глазастым и очаровательным, созвал врачебный консилиум. Итогом его стала некая бумага, каковая признавала Себастьяна Тадеушевича, княжича Вевельского, негодным наследником по причине несомненного физического уродства, каковое засвидетельствовали пятеро докторов.

Бонифаций Сигизмундович был категорически не согласен, однако в кои-то веки с мнением его не посчитались. И Себастьян, урожденный и отныне ненаследный князь Вевельский, был вместе с нянькой отослан в деревню, где и провел последующие шестнадцать лет жизни.

Следует сказать, что родители, испытывая все же немалые угрызения совести, отчасти из-за совершенной по отношению к первенцу несправедливости, отчасти из-за собственной нелюбви, всячески пытались жизнь его скрасить. В поместье отправлялись учителя, ибо было писано, что ребенок испытывает немалую к учению тягу. Да и Тадеуш Вевельский, памятуя о собственном тайном позоре, строго-настрого велел розог не жалеть, но дать ребенку блестящее образование, не особо задумываясь, зачем оно в деревне.

Пускай будет. На всякий случай.

В итоге к десяти годам Себастьян весьма прилично читал и говорил по латыни, знал еще четыре иностранных языка, включая греческий и родной матушкин аглицкий, что привело княгиню в немалое душевное волнение. Она слушала сына и смахивала слезы, повторяя:

— Пгелестно! Газве это не пгелестно?

Он обладал немалыми познаниями в географии, астрономии, ботанике и истории, каковая наука давалась ему нелегко, но врожденное упрямство князей Вевельских, а также завет отца и розги не позволяли Себастьяну отступить. Сам он не мог бы с должной уверенностью сказать, нравится ли ему учеба. Она вносила в размеренное и унылое его существование некоторое приятное разнообразие.

Ему нравилось слушать о звездах и землях, расположенных за границами поместья и Вевелевкой, деревенькой, испокон веков принадлежавшей княжьему роду. В иных местах Себастьяну бывать не доводилось, да и в Вевелевку он, признаться, сбежал сам, дабы убедиться, что за забором не край мира, но его продолжение. За побег был порот, что, впрочем, нисколько Себастьяна не огорчило.

Он, пусть и несколько замкнутый, остро чувствующий свою чуждость миру, обладал живым умом. И взрослея, все четче осознавал, сколь сильно отличается от прочих людей. Положение его, несоразмерно более высокое, нежели у учителей или дворни, не избавляло Себастьяна от тщательно скрываемого презрения и брезгливости. Он чуял их этаким гниловатым душком, который не способна была перебить кельнская вода.

Рядом с родителями не становилось легче. И визиты их регулярные, на Вотанов день и именины, сопряженные с суетой в доме, говоря по правде, тяготили Себастьяна необходимостью соответствовать неким иррациональным понятиям о приличиях. Оные

сопряжены были с неудобной одеждой, скроенной по особым лекалам в жалкой попытке скрыть уродливый горб, с долгими и пространными речами, обязательными слезами княгини и резкими запахами ароматных масел, каковые носила за хозяйкой горничная. С брезгливостью во взгляде этой самой горничной, отцовского камердинера и прочих слуг, которым Себастьян старался не попадаться на глаза. Родные же братья, коих насчитывалось уже трое, досаждали чрезмерным вниманием.

— Мальчики иг-гают, — княгиня по-прежнему картавила и придерживала рукой вновь округлый живот. Ей, отчаянно уставшей и от очередной беременности, от которой не спасли «тайные капли», и от предстоящих родов, хотелось покоя.

И блистать.

Князь же, чувствуя перед женой вину, — она, пусть и казавшаяся глуповатой, явно догадывалась о той рыжей актриске, которой Тадеуш Вевельский покровительствовал, естественно, не без собственной выгоды — спешил соглашаться.

Играют.

И что за дело, если игры эти порой жестоки? Мальчишки же... воины... впрочем, Себастьян весьма быстро научился или избегать опасных встреч с братьями, или давать отпор. И если по первости ему частенько случалось быть битым, то с каждым новым визитом родни Себастьян креп, учился и к годам пятнадцати весьма ловко уже орудовал, что шпагой, что простой палкой.

Однажды в руки ненаследного князя попал дрын, и до того служивший веским аргументом в спорах с вевельскими дикими мальчишками, глухими к мирному латинскому слову, а вот дрын уважавшими крепко. Искусство фехтования дрыном произвело на братьев воистину неизгладимое впечатление, и Лихослав, прижимая локоть к разбитому носу, бросил уважительное:

вернуться

2

Экстраординарный случай!

вернуться

3

История учит жизни.

— Придурок.

— От придурка слышу, — Себастьян дрын прислонил к забору и, сорвав лист подорожника, смачно плюнул на него. — На от. Возьми. Кровь остановит.

С той поры началась не то, чтобы дружба, скорее уж младшие братья прониклись уважением к старшему, раздражавшему их не столько своим уродством, сколько излишней ученостью, каковую, к его чести, он не пытался выпячивать.

Совместная охота на раков, которые в великом множестве водились в местной речушке и на хвост ловились куда охотней, чем на тухлое мясо, поспособствовало закреплению перемирия. А тремя годами позже произошло событие, оставшееся для всего мира незамеченным, но во многом изменившее самого Себастьяна.

Он влюбился.

Яростно. Безоглядно. И навсегда, конечно, навсегда. Как еще влюбляться в шестнадцать-то лет? И объект его страсти, смешливая панночка Малгожата Беняконь, казался Себастьяну живым воплощением всех мыслимых и немыслимых достоинств.

Рыжеволосая и конопатая Малгожата прибыла в поместье с молчаливого попустительства княгини, решившей, что старший из шести ее отпрысков уже достиг того счастливого возраста, который именуется брачным, а следовательно, невзирая на уродство, представляет немалый интерес для незамужних девиц, точнее их родителей. Все ж таки Себастьян пусть и ненаследный, но князь.

Вевельский.

С правом изображать на родовом щите солнце и корону, носить венец о пяти зубцах и сидеть в королевском присутствии.

Естественно, как и многие иные матери, Ангелина Вевельская желала сыну исключительно добра, а потому к выбору вероятной невесты подошла со всем возможным тщанием. И пусть бы род Беняконь был не столь древен, равно как и небогат, но славился на редкость плодовитыми женщинами. Именно это обстоятельство и помогло Малгожате снискать симпатию княгини.

С Себастьяном же было вовсе просто. Капля внимания, которое показалось вполне искренним, и три грана приворотного зелья заставили юное сердце вспыхнуть.

Он потерял покой и сон. Стоило смежить веки, как перед внутренним взором вставали рыжие кудри Малгожаты, черные ее очи, кои он почитал колдовскими, и внушительных размеров бюст. Внимание к этой, совершенно неромантической части тела, Себастьяна смущало. И он, уже во сне, безуспешно пытался отвести взгляд, однако вновь и вновь проигрывал битву с самим собой.

Бюст лез из декольте, точно опара из ставшего тесным таза. Он волнительно вздымался при дыхании Малгожаты, а когда она вздыхала — а вздыхала она часто, тем самым выдавая тонкость душевной организации — и вовсе колыхался, отчего юное сердце ухало куда-то вниз. Должно быть, в желудок.

Просыпался Себастьян обессиленным.

Ко всему случались по утрам иные казусы, заставлявшие его острее чувствовать несовершенство собственного тела. Происходящее с ним представлялось чем-то уникальным, то ужасным, то напротив, великолепным...

Быть может, все и закончилось бы предложением и пышной свадьбой к вящему удовольствию княгини, которая задержалась в поместье дабы отдохнуть, а заодно присмотреть за сыном, когда б не случайность.

Себастьян, снедаемый любовью, повадился писать стихи. И в глубине души осознавая, что поэтическим талантом природа его обделила, пагубной страсти предавался в саду, забываясь в

самые его глубины. Отчего-то музам нравился малинник.

В тот день Себастьян, вооружившись пером, чернильницей и разлинованной тетрадью, отчаянно бился над второй строкой. Первая, как и прочие первые строки, далась легко.

— Сраженный я стрелой Амура, — продекламировал он шепотом.

В голове было пусто.

Сердце привычно екало и замирало, перед внутренним взором стояли немалые достоинства Малгожаты Беняконь, а запах переспелой малины кружил голову. И сунув кончик пера в ноздрю, Себастьян произнес.

— Сижу в кустах...

Чистая правда, но не рифмовалась. Да и то, помилуйте, где Амур, а где кусты... пусть и малина в этом году чудо как хороша, крупная, пурпурная и каждая ягода — с ноготь величиной.

— В очах Малгожаты милой зрю Амур, — отмахнувшись от пяденицы, Себастьян попытался зайти с иной стороны. Но проклятый Амур и здесь скрутил кукиш, тот самый, который княгиня козе задолжала.

Не стихотворится сегодня.

На месте ненаследного князя удержало исключительно природное упрямство, да еще страх вновь встретиться нос к носу с Малгожатой — а встречи подобные происходили куда как часто, и обстоятельство сие заставляло усомниться в том, что и вправду виной им исключительно случай. Впрочем, Себастьян не имел бы ничего против, ежели б, каждый раз не терялся. Его вдруг сковывала проклятая немота, он начинал заикаться, краснел и, не в силах преозмочь слабость, поспешно ретировался.

В кусты.

В кустах страдать было легче.

И истрадавшись, а может, просто притомившись на солнцепеке, ненаследный князь впал в дрему, из которой его вывел знакомый нежный голос.

— Ах, матушка, помилуйте! Я делала все, что вы говорили мне, но... я больше не могу так! Я его ненавижу!

Сердце замерло.

В этом голосе звучала обида, а любой, посмеявшийся обидеть драгоценную Малгожату, представлялся Себастьяну существом недостойным жизни. И подавив первый порыв выбраться из малинника — все ж таки неудобственно подслушивать, да и место для князя не самое подходящее — Себастьян затаился.

Для чего?

А чтобы узнать имя злодея и вызвать его на дуэль. И там, пронзив черное сердце шпагой — а шпагой по уверению учителя-гишпанца Себастьян владел отменно, а потому в успехе своем не сомневался — над телом поверженного врага объясниться, наконец, с возлюбленной.

Желательно стихами.

Сей стихийно возникший план, представлялся Себастьяну невероятно романтичным, и мысленно он уже вел очарованную его несказанной отвагой и благородством Малгожату к венцу. Но мечты разрушил суровый голос пани Беняконь.

— Успокойся, Малгожата! Это хороший вариант...

— Хороший? — перебила матушку Малгожата. — Да он же урод, каких поискать!

— Зато князь!

— Ненаследный, — вредно уточнила Малгожата. — И мне не с титулом жить! Представь, если дети в него пойдут, мало что горбатые, кривые, так еще и с хвостами.

В первое мгновение Себастьяну показалось, что он ослышался.

Во второе, — что свет померк.

В третье родились стихи... и он, сам не владея собой, выбрался из малинника, встал перед возлюбленной, чьи злые слова пронзили сердце насквозь — именно так, а не иначе, ведь если не насквозь, то Себастьян, может статься, выживет. Он же желал умереть, сгорев в пламени страсти прямо тут, на посыпанной речным песком дорожке, сквозь которую проросли одуванчики.

— Сраженный я стрелой Амура, — продекламировал он, глядя в испуганные глаза Малгожаты, — не замечал, что девка — дура...

И развернувшись гордым чеканным шагом направился к дому, там, запершись в своей комнате, ключи от которой имелись единственно у нянюшки, Себастьян пал на кровать и смежил веки, готовясь умереть от любви.

Не вышло.

Тем же вечером панна Беняконь с дочерью покинули поместье, а графиня вздохнула и вычеркнула из составленного списка невест имя Малгожаты.

Себастьян же слег. Ему казалось, он умирает от разбитого сердца, осколки которого гремят в груди, но вызванный в спешном порядке Бонифаций Сигизмундович диагностировал банальнейшую простуду, каковую попытался излечить касторовым маслом. Однако же лекарство привычное, пусть и от души ненавидимое ненаследным князем, не помогло.

— Я умру, — сказал Себастьян, смежив веки. Ему казалось, что именно так и должно быть: смерть от любви в юном возрасте, и романтичная, и страшна. И быть может, жестокосердная Малгожата, образ которой не покидал князя, несмотря на всю его обиду, прозреет. В приступе раскаяния, она вернется в поместье и будет громко, безутешно рыдать над гробом, заламывая пухлые руки...

— Непременно, умрете, голубчик, — поспешил успокоить пациента Бонифаций Сигизмундович. — Все когда-нибудь да помирают... но не в этот раз. *Omnia tempus habent* [4].

вернуться

Всему свое время.

Себастьян хмурился, поджимал губы и вытягивал руки поверх одеяла, прикидывая, хорошо ли будет смотреться в гробу. Несколько беспокоило то, что горб не позволит ему лежать прямо, а скособоченный покойник — это уже комедия-с.

И Себастьян ерзал.

От ерзания ли, от злости, что даже умереть ему не позволено с должной долей трагизма, лихорадка усугублялась, а треклятый горб невыносимо зудел. Кожа на нем покраснела, сделалась рыхлой, а после и вовсе лопнула, явив миру куцые влажно поблескивавшие нетопырные крыла.

— Догой, — с мягким укором обратилась к несчастному отпрыску княгиня. — Девочка погоячилась, а ты слишком остго на все геагигуешь.

В волнении ее картавость стала особенно заметна.

— Я пгекгасно понимаю, что в твоём возгасте склонность к эпатажу вполне естественна. Но согласиись, что кгылья — это несколько чегесчуг.

Себастьян отвернулся к стене.

— Не гастгаивайся, догой, — Ангелина Вевельская осторожно погладила перепонку. Наощупь крылья были плотными, горячими и сухими. Сквозь тонкую кожу виднелись и сосуды, и хрустальные косточки, которые прорывались этакими слюдянными коготками, весьма острыми с виду. — Мы что-нибудь пгидумаем.

Крыло дергулось, едва не оцарапав княгиню и, убрав руки, она не слишком-то уверенным голосом сказала:

— Быть может, они еще отвалятся?

Робким надеждам ее не суждено было сбыться. Крылья, как и хвост, отваливаться не спешили. Более того, освободившись из кокона, коим и являлся горб — Бонифаций Сигизмундович с преогромным удовольствием описал сей анатомический casus extraordinarius в своем дневнике — крылья росли. Они вытягивались, обретали плотность, а тело ненаследного князя покрылась плотной четырехгранной чешуей.

— Только говов не хватает, — со вздохом сказала княгиня, очень осторожно, словно опасаясь наткнуться на упомянутые рога, погладила отпрыска по голове. — С гогамы был бы завегшенный обгаз.

И спеша исполнить пожелание Ангелины, рога появились.

А потом исчезли.

Чешуя же сменила колер и форму, сделавшись плотнее, жестче. Но спустя сутки сгнула и она, явив обыкновенную, разве что по-прежнему смугловатую, цветом в копченую воблу, кожу.

Княгиня, приободрившись, ждала продолжения метаморфоз. Мысленно она уже избавила отпрыска от крыльев и хвоста. От последнего — не без труда, поскольку за многие годы Ангелина Вевельская успела свыкнуться с данной особенностью сына.

Хвост остался.

Крылья, впрочем, тоже, разве что вытянулись, заглубели и покрылись короткой шерсткой, каковая наощупь напоминала бархат.

К радости Себастьяна, пребывавшего в стабильно мрачном настроении, причин для которого, положив руку на сердце, имелось предостаточно, крылья были черны. И очень удобны, когда требовалось скрыться от жестокого мира, в чем ненаследный князь Вевельский испытывал острейшую необходимость. Оттого и заворачивался он в живую ткань собственных крыльев, замирая таким неподвижным кулем, безмолвным и отрешенным.

Княгиня волновалась.

Бонифаций Сигизмундович перелистывал страницы семейных хроник, пытаясь найти если не объяснение, то хотя бы утешение для великовельможной панны, каковая полюбила вздыхать о тяжелой материнской доле и запивать огорчения рюмочкой вевелевки. Настойка на вишневых косточках, мяте и розмарине, по уверению местной ворожихи зело способствовавшая установлению душевного покоя, оказывала на княгиню самое благоприятное воздействие. Ангелина Вевельская ударялась в воспоминания о светлых девичьих годах и надеждах, которым не суждено было сбыться. И воспоминаниями, не имея иного столь же благодарного слушателя, она щедро делилась с Бонифацием Сигизмундовичем. Он же внимал, кивал в нужных местах, и глядел с непонятной тоской... а быть может, мерещилось княгине, и дело было вовсе не во взгляде доктора, а в его очочках с затуманенными стеклами.

Или в вевелевке.

Да и мало ли что может примерещиться женщине на четвертом десятке жизни, когда грудь сжимает неясное томление, а у супруга новая пассия, знать о которой, конечно, Ангелине Вевельской не полагается...

Нет, уж лучше о крыльях думать, о хвостах и печальных латинских экзерсисах добрейшего доктора, который вдруг тоже полюбил вечерние прогулки, исключительно в силу их полезности для здоровья... он мало говорил, и много слушал, очаровательно смущаясь, когда княгиня становилась чересчур уж откровенна. Сам же, когда панна Ангелина замолкала, погружаясь в пучину воспоминаний, он заговаривал о медицине, которой был отдан всецело, о новейших ее достижениях, а тако же о семейных архивах, скрывавших немало тайн.

И тайны, во многом устаревшие, еще более сближали этих двоих, одиноких, в сущности, людей.

— Ах, княгиня, — восклицал Бонифаций Сигизмундович, в избытке чувств — он и сам не ожидал от себя подобной пылкости — прижимая к слезящимся глазам платочек. — *Tempora mutantur, et nos mutamur in illis* [5]. Но сколь же отрадно встретить женщину столь умную, столь тонко чувствующую...

Княгиня розовела. Трепетали ресницы. Щемило сердце.

И душа рвалась в неизведанные выси. О нет, панна Ангелина вовсе не помышляла о супружеской измене, хотя бы и было сие справедливо, но лишь желала вновь ощутить себя любимой.

Удивительно ли, что при сих обстоятельствах Бонифаций Сигизмундович, да и сама княгиня Вевельская, не торопились покинуть поместье? И здоровье Себастьяна, каковой был, несомненно, более чем здоров — сердечные раны не в счет — послужило хорошим предлогом для обоих.

Впрочем, к чести добрейшего доктора он не забывал и о деле.

И однажды усилия его увенчались успехом.

— Панна Ангелина, — Бонифаций Сигизмундович в сей вечер явился ранее обычного, застав княгиню за приготовлениями к вечернему променанду. И перехватив рюмку с вевелевкой, которую добрейший доктор уже успел распробовать и даже счел с медицинской точки зрения безвредной, опрокинул ее. — Я имею сказать вам поразительную новость!

Он был преисполнен энтузиазма. Избыток его выступал крупной испариной на обрюзгших щеках, переносице и лбе, коий доктор втайне подбривал, поскольку полагал высокий лоб столь же неотъемлемым признаком учености, как и очки.

Княгиня отложила пуховку и бросила взгляд в зеркало, убеждаясь, что выглядит весьма достойно. Ей никто бы не дал ее — страшно подумать — тридцати шести лет. Двадцать... ну двадцать пять при хорошем освещении... и морщинки в уголках глаз пока еще не столь заметны. И шея нежная, белая, без второго подбородка... и вообще она — хороша...

— Идемте, дорогая, идемте, — в волнении Бонифаций Сигизмундович забылся настолько, что взял княгиню за руку. И прикосновение теплой его руки, пальцев тонких, но удивительно сильных, заставило сердце забиться в новом ритме. И Ангелина Вевельская, пожалуй, впервые пожалела о титуле и некотором, внушенном наставницами, избытке добродетельности.

Она позволила себя увлечь.

— Мы имеем дело с уникальнейшим явлением! — в комнату Себастьяна, где юный ненаследный князь самозабвенно предавался печали, доктор вошел без стука. — Я, признаю, что ошибался! Все мы катастрофически ошибались! Ваш сын — редкость!

— Гедкость, — согласилась княгиня, добавив задумчиво. — Еще какая гедкость...

— Подобный случай описан у Вергилия! И Платон упоминает о существах, способных по собственному желанию изменять свой облик!

Себастьян отвернулся к стене.

Он не желал видеть ни матушку, ни доктора, явно не способных понять всей глубины душевных терзаний... не хватало, чтобы лечить их взялись тем же, изрядно опостылевшим касторовым маслом, которое Бонифаций Сигизмундович полагал едва ли не универсальным средством ото всех болезней.

— Но главное Матеуш Сивельский! О, мне сразу следовало взяться за воспоминания этого чудесного человека!

Доктор потирал руки.

— Он довольно подробно описывает свою встречу с *homo sapiens metamorphus*, какового ему случилось встретить в Краковеле... — и Бонифаций Сигизмундович вытащил из кармана

потрепанную книжицу. — Вот послушайте. «Метаморфичность — суть явление, каковое встречается чрезвычайно редко. Я не склонен почитать его, аки иные исследователи, разновидностью оборотничества, поелику метаморф изменяет форму дарованного Вотаном тела, однако не снисходя до всецело животной ипостаси»

вернуться

5

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Он выдохнул и надушенным платочком смахнул с высокого лба испарину.

— Далее тут медицинские термины, — тихо сказал доктор, словно извиняясь за далекого предка, не сумевшего описать чудесное явление языком простым, понятным для далеких от медицины людей, каковой и являлась очаровательнейшая Ангелина Вевельская. — Однако же вот... «из беседы мне удалось выяснить, что способность к метаморфозам — явление врожденное. И Вотан же, либо Хельм, как почитают некоторые далекие от науки умы, отмечает сию способность наличием у младенца некоего животного признака...»

...княгиня посмотрела на хвост.

И Себастьян поспешно спрятал его под одеяло.

— «Сия примета верна. Однако признак же этот, к примеру, моего собеседника природа одарила рогами...»

Себастьян пощупал макушку, со вздохом признав, что таки рога пробиваются.

— «...никоим образом не вредит. И детство, и отрочество метаморфов протекают спокойно, что вновь же отличает их от истинных оборотней, и в колыбели подверженных зову луны...»

Доктор шумно выдохнул и, перевернув страницу, продолжил.

— «Переход же в возраст юношеский сопровождается сильными душевными переживаниями, на которые плоть отзывается переменами».

Себастьян был вынужден согласиться, что переживания в наличии имеются, перемены плоти — также.

— «Мой собеседник с немалым стеснением признался, что в минуты сильнейших волнений он отращивал хвост, наподобие коровьего, а тако же жабры и чешую. В дальнейшем, естественно, он научился управлять этой своей способностью. И на глазах моих продемонстрировал невероятную гибкость тела, отрастив перепонки меж пальцами...»

— Значит, — тоненьким голоском поинтересовалась княгиня, ущипнув отпрыска за крыло. — От этого можно избавиться?

— Вероятнее всего, драгоценная моя... вероятнее всего...

Доктор помусолил страницы.

— Nota bene! Сам Матеуш не единожды подчеркивает, что у метаморфических сущностей физическое их обличье всецело зависит от psyho... душевного состояния, — пояснил он княгине, которая пребывала в величайшей задумчивости.

— И что нам сделать? — деловито поинтересовалась панна Ангелина, погладив отпрыска по бархатному крылу.

— Нам — ничего, — доктор упрятал книжицу во внутренний карман пиджака. — Видите ли, все сводится к классическому... nosce te ipsum [6].

Познавать себя Себастьян отправился на крышу. Первым делом он попытался пробудить в своей душе жажду полета, ибо луна была полной, круглой, что наливное яблочко, а размах крыльев — приличным. Во всяком случае с виду. Но после нескольких неудачных попыток, последняя из которых закончилась двойным переломом руки, стремление добраться до луны или хотя бы до фигурного флюгерка на старой башне сошло на нет. Перелом сросся быстро, а привычка ночевать на крыше осталась. Да и то сказать, вне дома, в тишине — комарье не способно оказалось пробить плотную чешуйчатую шкуру Себастьяна — ему думалось на редкость ясно.

Большей частью о судьбе мира.

И собственной.

Он, обожженный пламенем первой неудачной любви, ныне мыслил жизнь оконченной. Незаметно, ближе к осени, должно быть вследствие Красной луны, каковая, если верить истинным оборотням случалась раз в сто лет, вернулась страсть к стихосложению. И Себастьян, представляя себе же фигурой трагичной, заворачивался в крылья, словно в плащ, обнимал хвост и срывающимся голосом читал в ночь свежесочиненное:

— Слеза застыла на щеке...

На старом пруду соловьями заливались жабы. Чешуя зудела, то появляясь, то исчезая.

А вдохновение рвалось из груди.

Или, если верить любимой нянечке, перо свербело в жопе... но вариант с вдохновением нравился Себастьяну больше.

— И сердце замерло в руке.

Зачем, зачем я плачу вновь?

В душе моей струится кровь!

Жабы рокотали, оставаясь равнодушны к высокому штилю, и лишь нетопыри откликались на душевные метания князя тонкими зябкими голосами. Нетопыри в принципе полюбили его, видимо, принимая это престранное существо с крыльями за дальнего родича. Они подлетали, садились, цепляясь колючими коготками за кости, повисали такими черными тряпицами и посвистывали этак, с одобрением. И вдохновленный вниманием Себастьян декламировал:

— Холодный нож скользит по венам.

И думаю, что может зря.

Ведь зарастают в сердце раны.

И может, кто поймет меня...

Нетопыри пищали, норовя забиться в складки крыльев, там им было теплее. Себастьян не возражал. Собственный образ виделся ему исполненным одновременно и трагизма, и романтики. Однако на том процесс самопознания застопорился. И если с чешуей Себастьян кое-как научился управляться, то с крыльями дело обстояло сложнее.

С каждым днем прогулки по крыше становились дольше, а стихи — трагичней.

— Надеюсь, это со временем пойдет, — уверяла княгиня прибывшего с визитом вежливости супруга. Тадеуша Вевельского подобные привычки сына вовсе не обрадовали, равно как и внезапная страсть отпрыска к черной одежде и бутоньеркам с розанами. — Мальчик повзгослеет. Остепенится... ему погосто нечем здесь заняться.

Но о том, чтобы вывезти сына в столицу, она не заговаривала, прекрасно осознавая, какой разразится скандал. Вот если бы Себастьяну все-таки удалось с крыльями поладить...

Подумав, Тадеуш согласился, что новоявленная хандра вовсе не есть следствие нелицензионного приворотного зелья, использованного, к слову, с молчаливого согласия Ангелины Вевельской, или свойство душевной конституции метаморфа, но естественный результат безделья. Сына срочно требовалось если не занять, то хотя бы отвлечь от пустых с точки зрения князя, переживаний. Вызванный пред отцовские ясные очи Себастьян расправил крылья, почесал перламутровым когтем шею и низким, рокоchущим басом произнес:

— К губам ее ни разу не припав,

И сердца не прижав к груди...

Он смотрел прямо в глаза князю, и черные ресницы по-девичьи трепетали, а в уголках глаз застыли слезы.

— Я образ ейный люто гнал... — Себастьян запнулся, потому как муза, не оценив экспромта, вновь ретировалась, оставив ненаследного князя наедине с Тадеушем Вевельским, каковой был поэзии чужд.

— Дорогой сын, — сказал он, окидывая первенца придирчивым взглядом. От него не укрылась и некоторая бледность, явно искусственного происхождения, и томная мушка над губой, из-под которой выглядывали острые клычки. Верно, из-за них Себастьян слегка шепелявил, отчего волновался, и в волнении крылья подрагивали, а хвост премерзко щелкал о столешницу.

— Дорогой... — севшим голосом повторил батюшка, — сын... мне кажется, что ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать...

Себастьян смотрел сквозь тень ресниц, внимательно, можно сказать, душевно. И под этим взглядом князю Вевельскому было крайне неудобно.

— Иногда жизнь...

...черная атласная рубаша просто неприлично обтягивала широченные плечи Себастьяна. Веером расходился кружевной, накрахмаленный любимой нянюшкой воротник. Алел на груди очередной розанчик. И крылья обвисли, выдавая глубоко меланхолический настрой юного князя.

— ...преподносит нам испытания...

Тадеуш все же сбился с речи и, махнув рукой на ее, заготовленную по настоянию княгини, которую весьма беспокоили затянувшиеся переживания отпрыска, сказал:

— Завтра отправишься в Краковель.

...конечно, не столица, но город большой, шумный, а главное славный не только козьими сырами. Князь весьма рассчитывал на некую улицу, поименованную на хранцузский манер Руж-ове, а в народе — Ружовой, каковая была известна далеко за пределами Краковеля. В спутники сыну он определил собственного ординарца, человека надежного, пусть и несколько туповатого.

Присмотрит.

А в веселом доме, глядишь, и выветрятся из княжьей головушки хандра со сплином.

вернуться

6

Познай себя.

...и крылья, заодно, отвалятся.

На том Тадеуш Вевельский отцовский свой долг счел исполненным и отбыл на воды, где его уже ожидала некая юная, но вне всяких сомнений, достойная особа, на благосклонность которой князь весьма рассчитывал, благо остатков приданного Ангелины еще хватало на милые сердцу развлечения...

Что до старшего сына, то прописанный в качестве лекарства вояж и вправду круто переменял его жизнь, однако виной тому стали не легкомысленные девицы из Руж-ового дома, весьма, к слову приличного и оттого лояльного к маленьким странностям клиентов, но яркие, полные жизни рассказы ординарца, чей брат служил в полиции...

Себастьян, сперва чуравшийся дамского общества, но вскоре нашедший его хоть и приятным, но несколько однообразным, к этим историям прикипел душой. И даже понимание, что сами они — суть вольный пересказ полицейских романов, продававшихся по два медня за книжицу, нисколько не разочаровал его. Ординарец лгал с душой, и эта душа делала его ложь живой, ароматной.

...спустя две недели, когда розово-кружевные интерьеры дома набили у юного князя оскомину, оставив однако нетронутыми воспоминания о прекрасной, но коварной Малгожате, Себастьян принял первое в своей жизни важное решение.

Разочарованный в любви, он желает служить родине.

И пусть по военной стезе путь для него закрыт, поелику семейную традицию продолжают братья, уже приписанные к более-менее приличным полкам, но ведь есть же непроторенная князьями Вевельскими полицейская тропа.

К несчастью для отца и своего будущего начальства, идею Себастьян воплотил в жизнь немедля и с немалым рвением. Ускользнув от ординарца, обманутого кажущимся спокойствием подопечного и внезапным исчезновением крыльев одного, — событие, о котором

ординарец с радостью отписал князю — Себастьян отыскал ближайшего вербовщика и, представившись по матушке, Себастьяном Грэй, аглицким эмигрантом во втором поколении, заключил договор. И ладно бы обыкновенный, заверенный магистратом, каковой можно было бы расторгнуть без особого труда. Нет, смутно подозревая, что родители скептически отнесутся к новому увлечению дитяти, и желая во что бы то ни стало доказать собственную пригодность как к службе, так и к самостоятельной жизни, ненаследный князь Вевельский потребовал договор-на-крови.

Семилетний.

Вербовщик, несколько пораженный подобным рвением, осторожно уточнил, знает ли пан Грей, что договора подобного рода являются нерасторжимыми? А получив ответ утвердительный, пожал плечами — мало ли, у кого какая блажь случается? Благо, за нонешнюю вербовщику полагалась премия, отчего к престранному юноше со взором горящим он проникся вполне искренней симпатией.

Хочется служить отечеству?

Пускай себе.

Главное, чтоб годным признали.

Как ни странно эта же мысль беспокоила и Себастьяна. Впрочем, к когтям, равно как и хвосту, убрать который у Себастьяна не получалось при всем старании, полковой доктор отнесся с поразительным равнодушием.

— Годен, — буркнул он. И дыхнув на печать ядреным сивушным перегаром, шлепнул на серый лист.

Полковой маг, глянувший на хвост искоса, лишь поинтересовался:

— Оборотень?

— Метаморф.

— В казармах на луну не выть, в казенной одежде не обращаться, — маг извлек из-под полы серебряное перо. — Попортишь — из жалованья вычтут...

За сим освидетельствование, бывшее скорее ритуалом, нежели вящей необходимостью, было завершено. И Себастьяну на побуревшем латунном блюде подали договор и булавку, которую вербовщик протер почти чистым носовым платком. Им же отмахнулся от крупной осы, что кружилась над лысиной.

— Ну... это, с Вотаном, паря... — вербовщик скосил глаза на портрет государя, несколько засиженный мухами. Очи Его Величества гневно сверкнули, и вербовщик, кое-как втянув живот, рявкнул: — И во благо Отечества!

— Во благо, — эхом отозвался доктор, подымая мутную склянку.

И с преогромным наслаждением, даже не поморщившись, Себастьян воткнул в мизинец булавку. Капля крови скатилась на темный пергамент, впилась в узор, активируя заклятье.

— Поздравляю, — сказал вербовщик, не без труда подавив зевоту. — Вы зачислены в рекруты...

...он говорил еще что-то, нудно втолковывая о правах и обязанностях, Себастьян же, сунув палец в рот — мизинец, не осознавая торжественности момента, ныл и отращивал коготь, демонстрировать который было как-то неудобно...

С этого и началась новая жизнь ненаследного князя Вевельского...

Глава 2

Где речь идет о женской злопамятности, девичьих мечтах и унитазах

Девятнадцать лет спустя

— Дуська! У него новая любовница! — вопль единоутробной сестрицы выдернул Евдокию из сна, в котором она, Евдокия Парфеновна Ясноокая, девица двадцати семи с половиною лет, едва не вышла замуж.

Открыв глаза и увидев знакомый потолок с трещиной, которую заделывали каждый год, а она все одно выползала, Евдокия выдохнула с немалым облегчением.

Присниться же такое! Замуж ей не хотелось. Вот совершенно никак не хотелось.

А спать — так напротив.

— Дуська, ну сколько можно дрыхнуть! — Алантриэль упала на перину. — Подвинься.

— Чего опять?

Евдокия с трудом подавила зевок.

...и в кого она пошла такая, совиною натурой? Известно в кого, в батюшку покойного, которого она помнить не помнила, но знала благодаря тому, что сохранился свадебный магснимок, еще черно-белый, но весьма выразительный. И глядя на него, Евдокия со вздохом обнаруживала в себе именно батюшкины черты. Парфен Бенедиктович, купец первой гильдии, был носат, невысок и обилен телом. Рядом с ним даже матушка, уж на что внушительной уродилась, выглядела тонкой, изящной. И свадебное платье из белой грани, купленной по сорок сребней за аршин — немислимые траты, каковых любезная Модеста боле себе не позволяла — придавало ее обличью неизъяснимую хрупкость.

Хрупкость эта, пусть существовавшая исключительно на магснимке, всецело отошла Аленке, на долю же Евдокии достались матушкина выносливость, упрямство и не по-женски цепкий ум.

Вот и куда ей замуж?

Спаси и сохрани, Иржена-заступница.

— Чего опять? — Евдокия все ж таки зевнула.

Рань ранняя... небось, только кухарка и встала. И Аленка с ее влюбленностью, чтоб ей к Хельму провалится, не Аленке, конечно, все ж таки сестра, хотя порой злости на нее не хватает, а влюбленности. Правда, другое дело, что Хельму хвостатому она влюбленнась вовсе ни к чему, но...

Поутру мысли были путаными, что собственная коса.

— У него новая любовница! А вдруг он на ней не женится! — с надрывом произнесла Аленка.

— Кто и на ком?

Евдокия почесалась.

Спина зудела.

И бок... и неужели в перине клопы завелись? Вроде ж проветривали — Модеста Архиповна не терпела в доме беспорядку — и регулярно в чистку отправляли... а оно чешется... или не на клопов, а на Аленкину любовь реакция?

— Он! — Аленка воздела очи к потолку.

Понятно.

Он, который тот самый, чье имя Аленка стеснялась произносить вслух, существовал в единственном и неповторимом экземпляре.

— Не женится, — уверенно сказала Евдокия, давась очередным зевком.

— Думаешь?

— Знаю.

— Откуда? — Аленка и в сатиновой рубашке умудрялась выглядеть прелестно. Рядом с сестрицей Евдокия казалась себе еще более неуклюжей, тяжеловесной, нежели обычно. Хотя и не злилась на Аленку, она ж не виновата, что красавицей уродилась...

— Оттуда. Если на предыдущих не женился, то и на новой тоже... и вообще, выкинула бы ты из головы эту дурь.

Бесполезно просить.

Любовь — это не дурь, это очень даже серьезно в неполные семнадцать лет, а если Евдокия не знает, то это — от врожденной черствости...

...в том-то и дело, что знает, и про семнадцать лет, и про любовь, которая, непременно одна и на всю жизнь, и про то, что случается, если этой самой любви поддаться.

Евдокия вздохнула и глаза закрыла.

Не уйдет же.

Сестрица, как и все жаворонки, пребывала в том счастливом заблуждении, что и прочие люди, вне зависимости от того, сколь поздно они ко сну отошли, обязаны вставать вместе с солнцем и в настроении чудеснейшем... а если у них не получается раннему подъему радоваться, то исключительно от недостатка старания.

— У него каждую неделю новая любовница... и нынешняя ничем от прошлых не отличается, — пробурчала Евдокия. Аленка же, обдумав новость с этой точки зрения, сказала:

— Да... пожалуй что... но тут пишут... вот...

И статейку под нос сунула. Газетенка вчерашняя, из тех, которые маменька точно не одобрит, но Аленка маменькиного гнева не боится. Как же, только «Охальник» о ее великой любви и пишет... тьфу.

— Попишут и перестанут.

Аленка тряхнула светлой гривой и неохотно признала.

— Ты права...

Конечно, права... Евдокия всегда права... особенно в шестом часу утра, когда глаза слипаются. Аленка же, утешившись, уходит не спешила. В пустом сонном доме ей было скучно.

— И все-таки он не прелесть. Скажи, Дуся?

Она прижала скомканный, небось и зацелованный до дыр лист к груди.

— Это судьба, Дуся... это судьба...

— Угу, — Евдокия, которая терпеть не могла, когда ее называли Дусей, поскребла босую ступню, раздумывая, чем заняться.

Вставать не хотелось.

Холодно. Хоть и топят по-новому, паром, а все одно холодно. И тоскливо, пусть бы и весна в самом разгаре... маменька, та уверяет, что будто бы Дусина тоска мужиком лечится, и все перебирает возможных женихов, а каждый перебор скандалом заканчивается.

И ведь не объяснишь же, что Евдокии просто-напросто замуж неохота.

Эх, еще немного и начнет она Аленке с ее влюбленностью завидовать... хотя нет, Евдокия глянула на одухотворенное личико сестрицы, мыслями уже пребывавшей в храме Иржены-заступницы, и перекрестилась. Чур ее!

Хватит, налюбилась уже...

...лучше о пане Острожском подумать с его пропозициями, с бумагами, над которыми Евдокия и засиделась допоздна...

...шахты медные...

...приграничье... Бурятовка... там и вправду добывали некогда медную руду, но еще до войны забросили... ныне же выходило, что если паровые машины поставить, вглубь, за жилою уйти, то можно добычу возобновить... и красивый прожект получался, проработанный, да только...

...Серые земли рядом, граница...

— Ничего-то ты не понимаешь, — вздохнула Аленка, сбив с мысли. Она потянулась и слезла с кровати, но газетку оставила.

Авось прочтет сестрица старшая и проникнется...

Уже прониклась.

По самую макушку.

Евдокия фыркнула и закрыла глаза. Сон не возвращался. С получаса она упрямо лежала, ворочаясь с боку на бок, а потом сдалась-таки и выбралась из-под перины. Потянулась до хруста в косточках. Подняла руки над головой и качнулась, сначала влево, потом вправо. И к ногам, к пальцам, что выглядывали из-под полы сатиновой рубашки.

Присела пяток раз, широко руки разводя.

Раньше Евдокия еще и прыгала, потому как Аленкина наставница аглицких кровей уверяла, что будто бы прыжки на месте немало способствуют ускорению тока крови, а желчь и вовсе на раз выводят. Она и сама скакала, смешно вытягивая шею, пытаясь даже в прыжке спину держать... ну да в наставнице той пуда два веса всего... а в Евдокии — все четыре с половиной, оттого маменька слезно просила не блажить.

Люстра в гостиной от прыжков качается.

А она дорогая, богемского хрусталя, в том годе только куплена...

— Вы же, пан Себастьян, надо полагать о подобных мелочах вовсе не задумываетесь, — обратилась Евдокия к снимку, который получился на редкость удачным. Узкое лицо с чертами изящными, пусть и несколько резковатыми, с широким подбородком и на редкость аккуратным носом... именно таким, каковой должен быть у шляхтича голубых кровей.

Евдокия потрогала собственный, курносый и с конопушками...

...и скулы-то у пана Себастьяна высокие, и лоб тоже высокий, образцово-показательный, и брови вразлет, и очи черные, и взгляд с прищуром, будто бы известно ему нечто про Евдокию, чего, быть может, сама она о себе не знает.

И вообще ненаследный князь Вевельский весь из себя, от макушки до пяток — пятки, конечно, Евдокии видеть не доводилось, но фантазией она обладала развитой, а потому живо представляла их, белые, аккуратные, самых аристократических очертаний — великолепен.

ТЬфу.

Надо полагать, часу не пройдет, как статейка отправится в Аленкину тайную шкатулку, к иным снимкам. Еще там имелась веточка сухой лаванды и синяя атласная лента. Какое отношение вышеупомянутые предметы имели к Себастьяну Вевельскому, Евдокия не знала и, признаться, знать не хотела.

Она вздохнула и перевернула страницу, желая скрыться от этого лукавого и такого выразительного, прямо-таки издевательского взгляда...

Нет, Евдокия была девицей спокойной, но вот к ненаследному князю Вевельскому она испытывала крепкую неприязнь. И дело было отнюдь не в нем самом, Евдокия подозревала, что о существовании ее пан Себастьян не помнит, а чувствах к нему и всему роду князей Вевельских и вовсе не догадывается.

...начать следовало издалека, пожалуй, еще со счастливых времен матушкиного девичества, кое проходило в местечке со звучным названием Чернодрынье. Спокойное, славилось оно на все королевство горячими серными источниками, на которые съезжались по лету заможные панны и панночки крепить слабое женское здоровье, а заодно приглядываться к кавалерам.

Здесь в моде были легкие скоротечные романы, фирменные паровые котлеты из куриных грудок и соломенные шляпки, магазин которых и держал купец второй гильдии, Архип Полуэктович. Был он дельцом, не сказать, чтобы успешным, но кое-как умудрялся свести концы с концами, всерьез подумывая о том, чтобы расширить ассортимент лавки за счет атласных лент и гребней, которые вырезали из местной особой породы дерева. Однако планы и оставались планами, поелику денег на расширение у Архипа Полуэктовича не имелось, все уходило на содержание супруги и семерых дочек. Модеста была старшей, она и запомнила тот ужасный день, когда в лавку заглянула высокородная гостья.

Кто не слышал о Катарине Вевельской, каковая предпочла Чернодрынские заморским Бирюзовым водам? Княгиня поселилась в лучшем отеле «Чернодрынская корона», заняв сразу весь третий этаж. За три дня она успела посетить купальни, минеральную лечебницу, где приняла стакан серной воды, и все более-менее приличные рестораны, из которых предпочтения отдала той же «Короне», громогласно заявив, что местный повар знатно готовит фуа-гра под семивойским соусом, что вызвало небывалый ажиотаж и позволило поднять цены втрое...

И вот теперь она заглянула в лавку купца Архипа Полуэктовича.

Модеста запомнила и сухое широкоскулое лицо княгини, и перчаточки ее невообразимой белизны, и моднейшее платье в морскую полоску. И конечно же взгляд, каковой после, пересказывая события того трагического дня, называла равнодушным.

Княгиня соизволила перчаточку снять, передав сопровождающему ее мэру, который пыхтел, потел и держал под мышкой лысую собачонку гостыи. Мэр передал перчатку помощнику, а тот — личной горничной княгини...

Катарина Вевельская сняла шляпку с деревянной головы — и выбрала дорогую, из выписанных Архипом Полуэктовичем на пробу — примерила, кинула взгляд в зеркало и скривилась.

— Боги милосердные... какое невыразимое убожество! — сказала она. И все, кто вошел в лавку, закивали, соглашаясь. Тем же вечером «Вестник» разразился обличительной статьей о том, как некие недобросовестные торговцы подсовывают отдыхающим негодный товар...

Статью Модеста Архиповна сохранила, как и истовую неприязнь не столько к самой княгине Вевельской, ставшей невольной причиной отцовского разорения, сколько ко всем вельможным господам. В тот же год, стараясь хоть как-то помочь семье, над которой нависла угроза потерять не только лавку, но и дом, шестнадцатилетняя Модеста приняла предложение Парфена Бенедиктовича, купца первой гильдии, разменявшего шестой десяток, но вдового, бездетного и весьма состоятельного. Свадьба состоялась уже в Краковеле. После венчания счастливый новобрачный, выслушав неискренние поздравления от не очень счастливых родичей, весьма болезненно воспринявших сию новость, увез супругу в свадебный вояж.

Нельзя сказать, чтобы Модеста Архиповна тяготилась замужеством. Супруга она уважала безмерно за спокойный нрав, рассудительность и деловую хватку, которой собственному ее отцу не хватало. И когда Парфен Бенедиктович скончался в возрасте шестидесяти трех лет, горевала вполне искренне. Впрочем, скорби она предавалась недолго, ровно до того дня, когда обиженная завещанием Парфена Бенедиктовича родня, выступила единым фронтом, подав на скорбящую вдову в суд. Он затянулся на три года. Об этом времени Модеста вспоминать не любила, разом мрачней. Она чувствовала за собой правоту, но высший суд, председательствовал в котором никто иной, как Тадеуш Вевельский, решил иначе. Признав вескими доводы, что слабой женщине самой не управиться с хозяйством, князь постановил

отдать племянникам покойного смолокурни, солеварню, приносившую княжеству немалый доход, и долю в верфях. За самой Модестой остался городской дом, поместье с дюжиной деревенок, приносивших стабильную, хотя и невеликую ренту, и маленький фаянсовый заводик.

— Женщине хватит, — громко заявил князь, отмахиваясь от ходатайства.

И эти слова ранили нежную душу Модесты.

Следующие десять лет Модеста, каковую все чаще именовали Модестой Архиповной, с должным почтением и придыханием, доказывала князю, сколь неправ он был. Хиреющий заводик — фаянсовая посуда давным-давно перестала пользоваться должным спросом — она переоборудовала, хотя и пришлось для этого продать и особняк, и личные, Парфеном Бенедиктовичем даренные, драгоценности.

Родня покойного, затаив дыхание, наблюдала. Уверенные в том, что затея упрямой вдовицы обречена на провал, они даже перестали злословить. И сами не замечали, как настороженное внимание подстегивало Модесту.

Фаянсовая посуда? О нет, Модеста точно знала, что именно будет производить. Диковину, виденную в Аглиции и производшую на юную купчиху куда большее впечатление, нежели всем известная башня с часами. Да и то, что, она дома башен не видала? В каждом более-менее приличном городишке по собственной башне имеется. Вот унитаз — дело иное... за унитазом будущее. Светлое. Фаянсовое.

Видимо, упорство вдовы пришлось по душе Вотану-дарителю, а может, Иржена-заступница, оскорбленная княжим выпадом — все ж таки хоть богиня, а тоже женщина — одарила милостью, но дело пошло. Модеста изловчилась и открыла на Королевской улице лавку, гордо поименованную «Фаянсовый друг», у входа в которую поставила два унитаза, правда, дабы окрестный люд, лишенный всяческого понимания и чувства прекрасного, не пользовал упомянутых друзей по прямому их назначению, посадила в унитазы эльфийские шпиры. И колючие, бледно-золотистые елочки, славящиеся капризным норовом, принялись.

...не прошло и двух лет, как Модеста расширилась. Помимо унитазов, каковые выпускали аж в четырех вариациях — для прислуги, для гостевых комнат и для мужских и дамских нужд, последние украшались птичками и розанами — ее заводик освоил и горшки для шпиров, и фаянсовые, расписные рукомойники, мыльницы и массивные емкости для шампуней... Модеста прикупила фабрику, что выпускала глазурованную плитку...

...а заодно и почти разорившуюся солеварню. Последнюю — исключительно из упрямства.

Она полюбила бархаты и меха, каковые носила даже летом, пусть бы и полагали сие дурновкусием, но Модеста пребывала в счастливой уверенности, что богатство свое надо демонстрировать, иначе откуда люди узнают, что к ней, многоуважаемой Модесте Архиповне, надлежит относиться с почтением?

К двадцати семи годам она вернула себе все имущество покойного супруга, каковое почитала своим, завела лысую собачку, точь-в-точь как у княгини, и мужа-эльфа. Последним Модеста Архиповна особенно гордилась и, надо сказать, Лютиниэля-эль-Акхари, которого именовала ласково, Лютиком, любила вполне искренне. Он же, так и не освоившийся в чужой стране, к супруге относился с трепетной нежностью.

— Моя валькирия, — говорил Лютиниэль, целуя униженные перстнями пальцы Модесты

Архиповны. И та, пусть и не зная, кто есть эти валькирии, млела, румянилась и по-девичьи вздыхала.

Впрочем, любовь ее никоим образом не повлияла на деловую хватку, и до последних дней беременности, которая в отличие от первой протекала легко, не изматывая женщину дурнотой и слабостью, Модеста занималась делами.

Впрочем, любовь ее никоим образом не повлияла на деловую хватку, и до последних дней беременности, которая в отличие от первой протекала легко, не изматывая женщину дурнотой и слабостью, Модеста занималась делами.

...имущества прибывало. То конопляный заводик подвернется, то мануфактурка какая захиревшая, то вовсе угольная шахта... одно к одному, к тридцати Модеста Архиповна первый миллион заработала, но не сказать, чтобы сильно тому радовалась. Хозяйство-то большое, и за всем глаз и глаз нужен.

Управляющие, конечно, были, но надолго они при купчихе не задерживались, отчего-то наивно полагая, будто бы бабский разум не в состоянии проникнуть в хитросплетения бухгалтерского учета.

— Воруют, — сокрушалась Модеста, вышвыривая за дверь очередного управляющего, который слезно клялся, что непременно исправится и наворованное вернет.

Модеста не верила.

И отвечивала оплеуху, а если совсем уж не в настроении была, то и пинка. Телом она была крепка, богата, оттого оплеухи выходили доходчивыми.

Так и жили.

С самого раннего детства Евдокия привыкла к тому, что маменька ее, пусть строгая, но без памяти дочь любящая, все время при деле находится. И отвлекать ее — не след. Евдокия росла среди бумаг, бухгалтерских книг и счетов. Она рано освоила язык цифр, научилась отличать фарфор от фаянса, а фаянс от майолики, и разбираться в тонкостях подглазурной росписи.

Семейное дело было куда интересней кукол и подружек, хотя с последними у Евдокии не ладилось. Скучно ей было, что с детьми, что с нянькой, пусть бы она знала все девять легенд о Вевельском цмоке, а сказок с присказками и вовсе бессчетно. Но от няньки Евдокия сбегала, пробираясь в маменькин кабинет. Она пряталась под столом и сидела тихо-тихо, перебирая гранатовые косточки абака.

— Запомни, Дуся, — в короткие минуты отдыха Модеста Архиповна брала ребенка на колени, от матушки пахло хорошо — книжной пылью, чернилами и тяжелыми цветочными духами. — Истинная свобода женщины — вот она...

И Модеста Архиповна выкладывала башенки из монет.

— Будут у тебя деньги, будешь сама себе хозяйка, и никто-то тебе словечка не скажет. Вот медь, за нее можно купить конфету. Или две... но петушка ты съешь и забудешь, и монеты уже не останутся, — медные башенки были самыми высокими. И Евдокии нравилось рушить их. Тяжелые монеты катились, и маменька хмурилась: не след так с деньгами обращаться. Она заставляла Евдокию собирать все деньги, до последнего медня.

Деньги Евдокии нравились.

Медни были разными. Одни новенькие, блестящие, с чеканным королевским профилем на аверсе и двухглавым орлом на реверсе. Другие — уже пожившие, потерявшие блеск. И король на них смотрел будто бы с прищуром, хитро, аккуратно, как мясник, которого маменька в глаза называла жуликом. А кто, как не жулик, если за корейку просит аж полтора сребня? Где это виданы такие цены? Чем старше становились монеты, тем сильнее менялся король. На совсем уж древних, затертых, королевский лик был неразличим, а орлы и вовсе покрывались характерной прозеленью.

— Вот серебро, — учила маменька, позволяя взять увесистую монету. — В одной серебряшке десять медней. Но десять медней ты вряд ли выменяешь на одну серебряшку...

Золото было тяжелым, нарядным. Его Евдокии разрешали держать, и она, пробуя монету на зуб, выстраивала башни... один злотень — десять серебряшек. А если в меди, то и вовсе много получается.

Маменька, видя такую старательность, умилялась.

Разумницей растет.

Вся в родителей.

Наставники, нанятые Модестой Архиповной, пусть и дивились этакой блажи — где это видано, чтоб девицу обучали не шитью, но математике с астрономией? — но к делу подошли серьезно. Да и Евдокия оказалась благодарной ученицей, жадной до нового.

Вот только упертой, что твоя коза...

Это маменька поняла, когда вздумала доченьку любимую, восемнадцатый год разменявшую, замуж выдать. И ведь супруга подыскала хорошего, разумного, сильного, а что слегка рябенного, оспою побитого, так с лица ж воду не пить! Зато хоть и хваткий, но тихий, небуянистый.

Ко всему из шляхты.

Очень уж Модесте Архиповне хотелось со шляхтой породниться...

— Не пойду, — сказала Евдокия, поджав губы. — Он мне не нравится. И вообще, я замуж не хочу.

Маменька попробовала было призвать дочь к послушанию, но выяснилось, что упрямством Евдокия пошла не иначе как в маменьку.

Скандалили месяц.

Не разговаривали еще два. И Лютик, который ссорами тяготился, тщетно взывал к разуму, что супруги, что падчерицы. Закончилось все проводами очередного управляющего — а ведь показался-то разумным человеком — и несказанной обидой, коию вновь нанес Модесте Архиповне князь Вевельский.

Это ж надо было взять и не пригласить достопочтенную купчиху на купеческое собрание!

Чем она иных хуже?

А еще нашлись доброхоты, донесшие небрежное, князем брошенное:

— Бабе — бабье...

Вот так, значит... бабе — бабье... небось, налоги-то взыскивает наравне с иными мужиками, а в собрание, значит, лезть не моги? И обида теснила грудь Модесты Архиповны...

— Маменька, плюньте на этого женоненавистника, — сказала Евдокия, отчасти покривив душой. Женщин пан Тадеуш любил и об этой его любви, которая приключалась в основном к весне ближе, «Охальник» писал весьма подробно, неискренне сетуя о падении нравов.

Может, нравы и падали, но тиражи росли.

— Плюньте и забудьте, — Евдокия дернула себя за косу. Пожалуй, из всей маменькиной красоты достались ей лишь волосы, длинные, тяжелые, яркого соломенного колера. — Ваши унитазы во всем Краковеле знают

Это было слабым утешением.

Конкурентов в последнее время объявилось, и пусть продукция их была не в пример хуже, но и дешевле. Оттого и спрос имелся.

...поговаривали, будто бы сам князь Вевельский фаянсовый заводик прикупил, через третьи руки, конечно, потому как не по чину князю с унитазами возиться...

— Надо делать эксклюзив, — сказала Евдокия и протянула тетрадочку. — Погляньте, маменька, я все тут расписала, как есть...

...и тогда-то Модеста Архиповна поняла, что замуж дочь выдать не получится. Кто ж возьмет ее, такую не в меру разумную? А с другой стороны, может оно и к лучшему.

— Вы местечково мыслите, маменька, — Евдокия, поняв, что бита не будет, осмелела. Она села, расправив подол мышастого саржевого платья, и сгребла горсть каленых орешков, до которых была большой охотницей. — Надобно же в разрезе европейских тенденций.

— А розгами? — поинтересовалась Модеста Архиповна, но не зло, так, для порядку. И то сказать, дочерей своих она любила нежной любовью, и пороть не порола, даже когда Аленка изрезала пять аршин дорогущего бархату... бабочки, видишь ли, ей понравились.

— По первости необходимо зарегистрировать торговую марку, такую, чтоб все узнавали. Затем проплатить рекламу... и не только в «Ведомостях». У «Охальника» тиражи выше... и еще, чтобы какой-нибудь профессор, лучше, если не наш, напишет, что будто бы наш фаянс — особый, от него здоровья прибавляется...

— Через задницу? — Модеста Архиповна присела.

— А хоть бы и через задницу. Многие только ею и живут, сами ведь говорили.

— Дуся!

— Что, маменька?

— Ничего, детонька... — Модеста Архиповна от орешков мужественно отказалась. В последние годы, когда в постоянных разъездах отпала нужда, а стол стараниями дорогого супруга стал

разнообразен, фигура ее претерпела некоторые изменения. И пусть бы тонкостью стана Модеста не отличалась и во времена далекого девичества, но и расплываться ей не хотелось. — Наш профессор дешевле обойдется.

— Зато иноземцу больше верят.

И то верно...

...главное, что не прошло и недели, как в Торговой палате была зарегистрировано новое товарное клеймо «Модестъ». Чуть позже в «Охальнике» увидела свет статья о благотворном влиянии фаянса на внутреннюю энергию организма. Естественно фаянса не всякого, а исключительно того, который сделан из каолина, добытого на Эльфийском взморье, пропитанного волшебством Чаровного леса и кристаллами соли... проплаченный профессор — обошелся в двести злотней — разливался соловьем, Модеста Архиповна только хмыкала, читая.

— Вотан милосердный, — сказала она, отложив газетенку. — Это ж вранье!

— Не вранье, — возразила Евдокия. — А реклама...

...вскоре нашлись чудом исцелившиеся, о которых «Охальник» писал с неизменным восторгом, открыв специальную рубрику «Народное здоровье». А о солдатской жене, пять лет лечившейся от бесплодия, но зачавшей исключительно после того, как начала пользоваться унитазом торговой марки «Модестъ» и вовсе сделал отдельный выпуск.

«Вестник» вел себя скромнее, в основном подчеркивая высочайшее качество, доступность цен и эксклюзивную линию с уникальной эльфийской скульптурой. В последнем, к слову, не врал. Лютику новое занятие весьма себе полюбилось...

Дело ладилось.

Особый успех возымел выпуск унитазов марки «Вершина», массивных, снабженных широкими подлокотниками, с обитым лисьей шкурой сиденьем и бачком в форме высокой спинки с вензелями. Злословили, что сии агрегаты весьма напоминают трон, но... разве, Вотан милосердный, такое возможно?

Конечно, нет.

Как бы там ни было, но вскорости Модеста Архиповна, не кривя душой, могла считать себя королевой фаянса... вот только на позапрошлогодней выставке товаров народного потребления, куда ее, скрепя сердце, пригласили, грамоту за продукцию высшего качества князь Вевельский вручил не ей.

— Бросьте, маменька, — сказала тогда Евдокия, косу на руку накручивая. — Очевидно же, что на лицо предвзятое отношение. Князь давно и прочно ангажирован.

Это Модеста Архиповна понимала, но обида-то осталась.

— Ничего, — она поправила соболиную шубу, подол которой тянулся за купчихою меховым шлейфом. — Будет и на нашей улице праздник.

И к выставке новой готовилась со всем тщанием, справедливо рассчитывая, что усилия ее оценят по достоинству.

Евдокия с тоской вспомнила, кому и сколько пришлось заплатить за обещание, что на сей-то раз... и ведь не вернули деньги, мол, по обстоятельствам независящим... в общем, нехорошо все вышло.

Князь с супругой, бледной дамой в изысканном туалете, объявился на третий день. И прошествовал мимо, не удостоив Модесту Архиповну взглядом. Та же с некоторым злорадным удовольствием, весьма понятным в сложившейся ситуации, отметила, что давний недруг со времени последней встречи еще более постарел, обрюзг и вовсе уж неприлично раздался в талии. От военного прошлого остались выправка и синий уланский мундир, сшитый, естественно, под заказ.

Евдокия видела три подбородка, подпертых жестким воротником мундира, и золотой позумент. Аксельбанты. Руку, что небрежно возлежала на усыпанной драгоценными камнями рукояти сабли. Изысканно отставленный локоток, за который придерживалась супруга.

Залысины.

Пухлые щеки и тонкие, брезгливо поджатые губы.

Проигнорировав Модесту Архиповну, князь Вевельский все же остановился перед стендом фирмы «Модестъ». Ленивым томным жестом извлек он монокль, долго, старательно протирал стеклышко его платочком, причем Евдокия точно знала, что платочек сей благоухает лавандовой водой. Князь же поднес монокль сначала к правому глазу.

Скривился.

И переставил в левый, будто надеясь таким вот нехитрым образом увидеть нечто иное.

— Посмотрите, дорогая, — густой бас Тадеуша Вевельского перекрыл гомон выставки. — Какая невероятная безвкусица...

Он снизошел до того, чтобы указать на гордость Модесты Архиповны, усовершенствованную модель «Вершины», исполненную в черном цвете. Лисий мех на сиденье был заменен куньим, куда более плотным и теплым. Завитушки и медальончики сияли позолотой, равно как и грифоньи лапы, сугубо декоративные, но весьма хищного вида, впившиеся в красную ковровую дорожку, что полотняным языком стекала с постамента.

Пожалуй, сходство фаянсового кресла для размышлений — а именно так был назван унитаз, дабы не смущать неловким словом слух дам — с тронном было вовсе уж неприличным, но... народу нравилось.

— Кошмаг, — пролепетала княгиня, заслоняясь кружевным веерочком.

Модеста Архиповна, стоявшая тут же, но оставшаяся незамеченной, невзирая на то, что требовалась немалая сноровка, чтобы не заметить семь пудов живого веса, облаченного в аксамит и соболя. Однако факт оставался фактом.

— Неужели кто-то покупает подобное?

Князь ступил на дорожку.

...а ведь многие именно так и заказывали. Туалетную залу с постаментом на три ступеньки и дорожкой. Евдокия тоже не понимала этого, но разве не спрос рождает предложение?

И теперь ощущала острую обиду.

За маменьку.

За Лютика, который и сотворил «Вершину». И за себя, чего уж душой кривить...

— Пгосто ужас, — княгиня разглядывала фаянсового монстра издали, с явной опаской, будто бы опасаясь, что сие создание вдруг да оживет.

Нижняя губа ее дрожала.

И веер в руке.

И сама она вся, от белого перышка, которым была увенчана сложная прическа, до каблучков изящных туфель.

— Ах матушка, вот вы где... — раздалось веселое, и княгиня облегченно выдохнула. Она вцепилась в руку смуглого темноволосого мужчины с такой страстью, что Евдокии стало неудобно.

Напугала женщину...

...маменька говорила, что у высокородных дам нервы слабые, а тут унитаз с фаянсовыми рюшами и мехом. Стоит, морально давит.

— Догой, — с явным облегчением воскликнула княгиня и, указав не то на унитаз, не то на Евдокию, сказала. — Посмотри, какой кошмаг!

Князь смотрел на «Вершину», Евдокия — на князя...

...нет, ей случалось видеть его портреты, верно, как и всем жителям королевства Познаньского, но чтобы живьем... и вот так близко... настолько близко, что Евдокия чувствует тонкий аромат его туалетной воды.

Санда.

И кажется, цитрус, популярный в нынешнем сезоне.

...костюмчик тоже, словно со страниц «Модника» взят. Белые брюки в узкую полоску и однобортная визитка с атласной бутоньеркой гридеперлевого оттенка. Пуговицы на рукавчиках рубашки черные. И шейный платок повязан широким узлом, к которому и Лютик не сумел бы придраться.

Да и сам князь... смуглявый, черноволосый... и волосы, наперекор всем правилам, отрастил длинные, носит, в хвост собравши. Черты лица резковатые, но благородные, утонченные.

...не даром, Аленка с его портретом под подушкой спит.

Хотя сволочь. По глазам, черным наглым таким глазам видно, что сволочь. Или это просто предчувствие такое? Впрочем, Евдокия предчувствиям доверяла, и нынешнее ее не обмануло.

— Уважаемая, — княжич обратился не к Модесте Архиповне, которую, надо полагать, все семейство Вевельских не замечало принципиально, но к Евдокии. И одарив ее взглядом, какой заставил почувствовать собственное несовершенство, сморщил нос. — Вы не могли бы

это убрать?

— Куда?

Евдокия вдруг поняла, до чего неправильно она выглядит. Невысокая, крепко сбитая, с простым круглым лицом, в котором нет и тени аристократизма, столь желанного маменьке.

...и платье это дурацкое, с оборками и кружевами... Модеста Архиповна настояла, мол, переговоры предстоят, партнеры заявятся и надо бы выглядеть *сообразно*... вот и парилась Евдокия в нескольких слоях бархата, щедро расшитого золотом и янтарными бусинами, а на плечах еще и шуба возлежала в пол, почти как у маменьки... на шее ожерелье в полпуда с крупными топазами... в ушах — серьги...

Ленты в косе атласные, переливчатые...

Дура дурой.

И в башмаках на высоком по последней моде каблуке. В них-то Евдокия и стоять-то замаялась.

— Куда-нибудь, — пожав плечами, сказал князь. — Видите же, ваше... произведение искусства...

...улыбку эту репортеры любили, было в ней что-то хулиганское, диковатое.

— ...весьма нервирует мою матушку.

— Чем же? — Евдокия заставила себя смотреть ему в глаза.

...черные какие, непроглядные.

Нет, она не такая дура, чтобы в ненаследного князя влюбиться. Она — девушка разумная, современная, отдающая себе отчет, чем подобная влюбленность чревата: разбитым сердцем, подпорченной репутацией и несколькими невинно утопленными в слезах подушками.

...а поговаривали, что из-за него, бессердечного, одна девица вены резала, а другая уксусом травилась, но к счастью, не до конца отравилась. А из больницы и вовсе крепко поумневшей вышла, остриглась и ушла от мира именем Иржены-заступницы добро творить.

Столь радикально менять свою жизнь по-за ради эфемерного чувства Евдокия не планировала. Но до чего же сложно оказалось сохранить душевное равновесие. Дыхание и то сперло. И щеки запылали, зарумянились... или то от жары? В шубе по летнему времени парило... Себастьян же наклонился, близко-близко, к самому ушку и доверчиво, нежно почти — со стороны, верно, сие выглядело совсем уж непристойно — произнес:

— Созерцание сего монстра доставляет несказанные муки ее эстетическому чувству... поэтому, окажите уж любезность...

Евдокия, несмотря на непривычное волнение и щемящую, какую-то внезапную боль в груди, любезной быть не собиралась. Но верно, Себастьян на то и не надеялся, оттого прибег к иному средству. И часу не прошло после того, как чета Вевельских, сопровождаемая сыном и восторженными взглядами, удалилась от стенда фирмы «Модестъ», как появился учредитель. И кланяясь, лепеча о новых обстоятельствах неодолимой силы, изменить которые не в его власти при всем уважении, которое лично он испытывает к Модесте Архиповне...

...к вечеру стенд убрали.

Сволочи.

В общем, то самое знакомство, мимолетное, как Краковельская весна, оставило в душе Евдокии глубокий шрам. Раненое самолюбие ныло по ночам и еще на осенние дожди, заставляя мечтать о несбыточном. В этих ее мечтах, несмотря ни на что по-девически стыдливых, неизменно фигурировал растреклятый ненаследный князь, который стоял на коленях, умоляя...

Как правило, на этом месте мечты обрывались. Все же Евдокия была настроена к делам сердечным скептически. И этот скепсис порой здорово мешал жить.

Или помогал?

Она так и не решила.

Как бы то ни было, но злосчастная выставка несколько подпортила репутацию фирмы. К счастью, основная масса краковельчан не разделяла тонкого вкуса княгини, а потому пошатнувшаяся было торговля весьма скоро наладилась...

Жизнь тоже.

Ну более или менее...

...и все-таки день, который начался с Себастьяна Вевельского, просто по определению не мог пройти спокойно. Эта примета, пусть существовавшая исключительно в воображении Евдокии, срабатывала всегда. И она, демонстративно повернувшись к ненаследному князю спиной — игнорировать его, рисованного, было куда проще, нежели живого — сняла рубашку.

Прохладная ванна — модель «Розовое облако», сделанная из чугуна высшего качества — унесла остатки сна, вернув Евдокию к собственным не самым веселым мыслям.

Двадцать семь лет.

Шутка ли, треть жизни... ладно, четверть, в матушкином роду частенько долгожители встречались, а хороший ведьмак накинёт еще лет двадцать, но все одно позади. И чего она, Евдокия Парфеновна, девица возраста, который уже неприлично называть девичьим, в жизни добилась?

Стала правой рукой матушки?

Но та все чаще грозит от дел Евдокию отстранить, мол, не о том думать надобно... и эти ее участвовавшие в последний год разговоры о замужестве...

...приданое, которое маменька положит, заставит потенциальных женихов закрыть глаза и на Евдокии почтенный возраст, и на ее характер, и на прочие недостатки, из которых самым существенным был один... да и не только приданое, сколько перспектива все семейное предприятие унаследовать...

...Аленку-то, небось, и без золотого запаса умчат... уже бы умчали, ежели б к отцовской, хрупкой красоте не прилагался бы матушкин здравый смысл, помогавший Аленке устоять перед настойчивыми, а порой и назойливыми ухаживаниями.

Или дело было вовсе не в здравом смысле, а в этой ее патологической влюбленности?

Нашла в кого...

Сложно все. Запутанно. И день ото дня легче не становится.

А еще конкурс этот, некогда удачной идеей казавшийся...

— Дусенька! — донесся сладкий, как засахарившийся мед, матушкин голос. И значит, пора выбираться... никак очередной «хороший знакомый» совершенно случайно в гости заглянул. Откуда она их только берет, знакомых этих возраста самого подходящего? — Золотце мое, мы тебя ждем...

Ждут.

И ведь дождутся, думать нечего... и значит, нет смысла оттягивать неизбежное знакомство.

...от жениха в ванне не спрячешься.

За последний месяц их в доме перебывало семеро. Особо Евдокии запомнился престарелый отдышливый шляхтич с тросточкой, лысиной и бачками, которые он смазывал воском. Шляхтич прикрывал глаза ладонью, будто бы слепила его неземная Евдокиина красота, и после обильной трапезы срыгивал... был еще вдовец, обремененный пятью детьми и долгами, о которых говорил он розовея, будто бы стыдись... и старый маменькин деловой партнер, с ходу заявивший, что жену свою жить отправит в деревню, дескать, там воздух здоровее...

И где только маменька находила таких?

Нынешний кандидат выгодно отличался от предыдущих немалым ростом. Он был молод, с виду годков семнадцати-восемнадцати, розовощек и светловолос. Причем волосы эти — тут Евдокия могла поклясться — завивали раскаленными щипцами, потому как не бывает у живого человека этаких аккуратных локонов. И небось, предварительно в сахарной воде по старому рецепту вымачивали, оттого и вились над жениховской макушкой осы.

Обрядили же красавца в красную шелковую рубаху с расшитым воротом, модные штаны в узкую полоску и скрипучие хромовые сапоги. На шею цепь повесили золотую. На пухлые пальцы с обкусанными ногтями — перстней надели дюжины с две.

И через одного с камнями.

В перстнях жениху было неудобно, а может, не в них дело, но в том, что непривычен он был к смотринам, оттого смущался, пальцами шевелил, цепляясь кольцом за кольцо. И дергался, смущался...

...поглядывал на маменьку, которая стояла тут же, прела в плюшевой, бисером расшитой, душегрее, оглядывалась, подмечая, что люстру хрустальную, что обои с золочением, что мебель итальянскую, по каталогу выписанную... подмечала и хмурилась. Пальчик выставила, ноготком резьбу на низенькой софе ковырнула, верно, проверяя, густо ли позолочено... и вновь ручки на животе сложила, замерла истуканом, вперив в Евдокию настороженный недобрый взгляд.

— Знакомься, Дусенька, — пропела Модеста Архиповна, отмахнувшись от особо назойливой осы. — Это Аполлон.

Аполлон поднялся и отвесил поясной поклон, ручкой по ковру мазанув.

Дрессированный... кланяется и на матушку смотрит, и та кивает, улыбается, мол, правильно все делаешь... а сама Евдокию едва ли не пристальной, чем мебель разглядывает.

Не по вкусу ей девка-перестарок.

И рябая ко всему.

Евдокия хмыкнула, мысленно поправляя себя: не рябая, а веснушчатая. Дедово наследство, если маменьке верить. Она же, окрыленная надеждой — неужто устоит девичье сердце перед Аполлоном? — хлопотала, пела-заливалась, рассказывая, какая Евдокия у нее умница...

...ну да, не за красоту же хвалить.

Красота вся Аленке досталась, оттого, верно, и спровадили ее из-за стола, от греха подальше. Нечего у старшей сестры женихов отваживать.

Евдокия вздохнула, смиряясь с неизбежным.

Естественно, усадили их рядом с Аполлоном, и тот, смущенный близостью незнакомой девицы, густо покраснел.

— А вы... того... глаза красивые, — вспомнил он наставления маменьки, которая поджала узкие губы.

На стол несли снедь. И Евдокия, глядя, как кумачовая парадная скатерть теряется под обилием блюд, подсчитывала, во что эти смотрины станут. Расстаралась маменька. Тут и телячьи щеки с чесноком, и стерлядь в винном соусе плавает, выставила харю, точно насмежается над этакой невестой, и почки заячьи, и перепела в собственном соку, пулярочки, голуби...

А маменька все щебечет и щебечет.

Осы гудят.

Молчит женишок, руки пудовые на коленках сложил, мнется, сутулится...

...Иржена-заступница, за что Евдокии это такое мучение?

— А вы чем занимаетесь? — бодрым голосом поинтересовалась она, втыкая серебряную, из парадного сервиза, вилку в стерляжий бок.

Стерляди уже все равно, а Евдокия хоть как-то раздражение скинет.

— Учится он, — голос у будущей свекрови оказался низким, мужским. И сама она, пусть и обряженная в бархатное платье с кружевами, нашитыми плотно, богато, имела вид мужиковатый. Какая-то вся квадратная, короткошея, с красным, густо напудренным лицом. Над верхнею губой из-под пудры темные усики проглядывают. Волосы муравьиной башней уложены, украшены парчовыми розами и перьями.

— Неужели в Королевской академии? — почти правдоподобно восхитилась Евдокия.

Женишок покраснел еще более густо и потупился.

— Отчего сразу Академия? Нам Академии без надобности, верно, Полюшка?

Аполлон кивнул и, бросив на маменьку быстрый взгляд, шепотом попросил:

— А можно и мне рыбки?

Стерляди было не жаль. И густого клюквяного соуса, который у матушкиной поварихи получался терпким, кисловатым.

— Полюшка, — пропела будущая свекровь, вперив в Евдокию немигающий взгляд. — Осторожней. Тебя от рыбки пучит... а от клюквы у нас щечки краснеют. С детства.

Полюшка временно оглох.

Евдокия сделала вид, что сказанное ее не касается и, провернув в пальцах вилку, продолжила... расспросы. Конечно же, расспросы. И нечего маменьке глазищами сверкать да страшные рожи корчить. Она, Евдокия, имеет право знать, с кем под венец пойдет...

...упаси ее Иржена от этакого счастья.

Счастье ело рыбку руками, шумно вздыхая, похрюкивая и щурясь. Закусывало луковым пирожком, который взяло уже само, отринув ложное стеснение. Пирожки и вправду ныне вышли румяными, золотистыми, маслицем поблескивающими.

Маслице растекалось по перстням и камням, капало на подол рубахи. Пухлые губы Аполлона блестели, и щеки тоже блестели, и весь он блестел, словно леденец на палочке.

— Так все-таки, где вы учитесь?

— Так это, — Аполлон облизал и пальцы, и кольца, — в школе...

— В вечерней школе, — поправила его матушка низким свистящим голосом.

— Ага!

— А почему в вечерней? — Евдокия старалась быть любезной и подвинула к будущему супругу блюдо с куриными пупочками, в меду вареными. Он благодарно крикнул.

— Так это, маменька днем не может!

— Чего не может?

Пупочки Аполлон вылавливал пальцами и, счастливый, отправлял в рот. Вздыхал. Запивал квасом и вновь тянулся к блюду.

— Так это... водить меня в школу не может. Днем у нее работа...

— У Гражины Бернатовны, — поспешила влезть в беседу маменька, — собственная скобяная лавка имеется.

Свекровь кивнула и важности ради надула щеки, сделавшись похожей на жабу в бархате.

— Мы, чай, не бедные... не беднее вашего.

С этим утверждением, пожалуй, Евдокия могла бы и поспорить, но не стала: так оно безопасней.

— Мама работает много, — Аполлон смачно отрыгнул и вытер лоснящиеся губы ладонью. — А поросенка дашь?

— Полюшка, тебе жирненького нельзя!

...пучить будет. Или щечки покраснеют.

Без вариантов.

И Евдокия мстительно поспешила отрезать внушительный ломоть. В конце концов, ей ведь надо жениху понравиться? Надо. А с поросенком молочным оно вернее будет.

— Нас от жирного поносит, — доверительно сказала Гражина Бернатовна.

Поносит, значит... не угадала.

Аполлон смутился и пробурчал:

— Я ведь немного...

— Вилкой и ложкой роем мы могилу себе! — произнося сию великомудрую сентенцию, Гражина Бернатовна глядела исключительно на Евдокию. Сама же изящно жевала листик салата.

Ничего. Главное от основной темы не отвлекаться.

— Значит, вы Аполлона в школу водите?

Кивок.

— А сам он, что, дойти не способен? — вилка в руках Евдокии описала полукруг.

Молчание.

И взгляд свекрови раздраженный, гневный даже. Видно, что женщина из последних сил сдерживается.

Губа выпятилась, пудра с усиков пооблетела.

— Я маме тоже говорил, что сам могу, — Аполлон вовсе освоился и, почуяв поддержку, подвинулся ближе. Лавка под его немалым весом закрипела и прогнулась. — Она не дает.

Он отмахнулся от осы и устремил на Евдокию взгляд — глазища у Аполлона были огромные, ярко-голубые, окаймленные длинными ресницами.

— Мне бы еще яблочка... моченого!

— Поля!

— Мам, я ж только одно! — яблочко цапнул и поспешно, точно опасаясь, что потерявшая

терпение матушка вырвет его из рук, сунул в рот. Щека оттопырилась, и Аполлон пробурчал. — А в городе небезопасно.

Евдокия только и смогла, что кивнуть.

Она с трудом представляла себе опасность, которая могла угрожать этакому детинушке... наверное, от опасности его тоже поносит. Или запоры. Или еще какая беда приключается...

— И соблазнов много, — произнесла Гражина Бернатовна, отправляя в рот засахаренную клюквину. У нее, стало быть, щечки от клюквы не краснеют. — Срамные времена.

Маменька, чувствуя, что все идет хоть не по плану, но близко, поспешно согласилась.

Ужас, а не времена.

Как только жить можно?

— Куда ни глянь, то кабак, то дом игровой... мой мальчик вырос в строгости...

Аполлон лишь шумно вздохнул, да, пользуясь тем, что матушка отвлеклась, стащил еще одно яблоко. Видать, в строгости, где бы она ни находилась, яблок ему не перепало.

— Конфету хочешь? — шепотом спросила Евдокия.

Жениха было по-человечески жаль.

— Шоколадную?

— Ага. И с орешками...

— ...и девки нынешние пошли... разврат сплошной. Я так одной и сказала, которая на моего Полюшку заглядывалась, а сама-то... обрядилась, как...

— С орешками мне нельзя... — он потупился, признаваясь, — от орехов крапивница приключается... но если только одну.

Конфету Евдокия передала под столом.

— Спасибо, — искренне сказал Аполлон. — Ты мне нравишься! Выходи за меня замуж!

И маменька, услышав заветное, радостно всплеснула руками: стало быть, поладили детки.

— Я... — Евдокия прокляла себя: знала же, что жалость до добра не доводит. — Я подумаю.

— А чего думать? — Гражина Бернатовна разом позабыла про девок и срамные наряды, в которых ноги видать, а как ветер подует, то не только ноги, но и задницу... — Ты, небось, не молодеешь...

— Я подумаю, — повторила Евдокия, стискивая вилку.

Пусть могила недорытой останется, но сражаться Евдокия будет до последнего.

— ...и женихи в ворота, небось, не ломятся. А когда б и ломились, то знай, что лучше моего Полюшки мужа не сыскать. Он у меня красавец...

Аполлон от матушкиной похвалы зарумянился, взор потупил, ресницами взмахнул.

— И умница, каких поискать... он у меня стихи пишет.

Неужели?

Евдокия заткнула себе рот конфетой. Шоколадной. С орехами. Ей-то точно запоры не грозили, Впрочем, как понос, краснуха и прочие детские, давным-давно изжитые болезни.

— Полюшка, почитай свои стихи...

— Ну, ма-а-м...

— Почитай, сказала.

Аполлон со вздохом поднялся, вытер лоснящиеся пальцы о рубаху и, выпятив для важности грудь, прочел:

— Однажды в погожую летнюю пору, корова нагадила подле забору...

Модеста Архиповна поспешно подняла граненый стакан с медом, при том хитро рукой заслоняясь, осы притихли, а Гражина Бернатовна захлопала, всем видом своим сына поддерживая.

И опять в Евдокию вперилась.

Надобно что-то сказать... Аполлон вон ждет, ковыряет пальчиком скатерть, смущение изображая.

— Жизненно, — оценила Евдокия. И жених, глядевший на нее искоса, с опасением, должно быть, почуяв в будущей супруге нездоровые критические наклонности, духом воспрял.

— А то! Корова-то соседская... нагадила, а оно и воняет... вот и сочинилось. Там еще мухи были. Но я про мух писать не стал.

— Отчего же?

— Рифмы не нашел, — Аполлон стыдливо потупился. — Мухи... и мухи... а два раза если, то это уже повтор будет. С повтором уже нехорошо.

— Мухи... духи... — пробормотала Евдокия, сдерживая смех.

— Мухи... духи... мухи...

Аполлон застыл.

Взгляд его затуманился, рот приоткрылся, и оса, до того витавшая над сахарными локонами, стыдливо присела, не желая, верно, гудением своим прерывать тонкий творческий процесс.

— Придумал! — воскликнул Аполлон, ударяя в грудь пудовым кулаком. — Это... сейчас я... во! А над кучей мухи, витают, точно духи!

Евдокия поспешно заткнула себе рот яблоком. Жених же, упершись в стол указательным пальцем, попросил.

— Выходи за меня... музой будешь.

Заманчивая перспектива.

— Я... — голос Евдокии дрогнул. — Подумаю.

Естественно, заявление это было встречено будущей свекровью без должного понимания. Она поднялась и, обойдя стол — Гражина Бернатовна ступала важно, и колокола длинных юбок колыхались — остановилась рядом с сыном.

— Думай, — сказала она. — Да незадумывайся. Мы, небось, в женихах не застоимся.

Погладила по кудрям, спугнув притихших ос. Кудри же под нажимом ласковой материнской руки захрустели.

— Мам, а можно я себе потом собаку заведу?

— Собаку? Ну зачем тебе собака, дорогой? — сказала Гражина Бернатовна и вытерла платочком лоснящиеся губы дитяти. — От собаки шерсть и блохи... а еще вдруг укусит?

...правильно, жена — она всяко собаки лучше.

К счастью гости на чай задерживаться не стали. Должно быть, Гражина Бернатовна опасалась, что Евдокия коварно скормит драгоценному ее отпрыску не только шоколадные конфеты, но и крыжовенное варенье, на которое...

Чушь какая!

Евдокия потрясла головой: нет уж, она скорее в монастырь уйдет, чем замуж...

— Ну и этот-то чем нехорош? — поинтересовалась маменька, макая в чай баранку. Пила она красиво, переливая чай из чашки в блюдце, а то водружала на три пальца. И мизинчик еще отставляла изящно. Модеста Архиповна наклонялась к краю блюдца, вытягивала губы трубочкой и дула, отчего чайное озерцо приходило в волнение.

— Всем!

— Молодой... красивый...

— Как пряник с сусальным золотом.

— И стихи вон пишет...

— Про коров.

Евдокия чай пила из чашки и горячий, обжигающий.

— Зато здоровый какой, — возразила маменька, уже понимая, что прекрасный Аполлон оставил упрямую дочь равнодушной.

— Во-первых, мне на нем не пахать, — Евдокия разломала сушку в руке. — Во-вторых, сомневаюсь, что запор с поносом и диатезом — признаки здоровья... и вообще, я не хочу замуж!

Маменька, зацепив щипчиками сахарный осколок, обмакнула в чай. И белый рафинад потемнел.

— Не так там и плохо, — примирительно сказала она, глядя, как с осколка в чай каплют сладкие капли. — Всяк лучше, чем старой девой... вот доживешь до моих лет, и поймешь, что счастье — в детях.

— Ну да...

— А без мужа и не думай, — в этом вопросе Модеста Архиповна была непреклонна. Веяния веяниями, а приличия — приличиями.

Следовало признать, что в чем-то маменька была права... не то, чтобы Евдокию тянуло обзавестись семьей, но... принято же. Вон и деловые партнеры косо поглядывают, всерьез принимать не хотят. Одно дело — серьезная замужняя женщина, и другое — девка-перестарок.

Дернув себя за косу для смелости, Евдокия решилась:

— Я сама себе мужа найду.

Маменька приподняла бровь.

— Послушай... мы ведь все равно спонсируем этот конкурс...

...идея принадлежала Евдокии, и матушка долго не желала понять, какое отношение конкурс красоты «Познянска дева» имеет к унитазам. А самое что ни на есть прямое...

— ...я отправлюсь в качестве...

...уж точно не конкурсантки.

— ...полномочного представителя от фирмы «Модестъ», — Евдокия щелкнула пальцами. — Буду следить, куда наши деньги расходуются.

Матушка кивнула. Вот про следить — это понятно... деньги, они такие, чуть отвернешься, враз разворуют.

— Конкурс же будет проходить при дворе... и я думаю, там найдется пара-тройка вдовцов, не обремененных детьми...

...и состоянием, поскольку иного варианта для себя Евдокия не видела. И да, при дворе она постарается найти мужчину, который не слишком сильно изменит привычную ее жизнь.

Муж?

Пускай... и после замужества жизнь существует.

— А Грель? — Модеста Архиповна облизала рафинад, с которого в блюде падали темные капли. — Мы ж его послать собирались... ты сама предлагала. Он себе и штаны купил новые, со штрипками.

Штаны со штрипками были, конечно, весомым аргументом, но Евдокия не собиралась отказываться от идеи, пусть и внезапной, но неожиданно любопытной.

— Грель другим разом скатается, — сказала она. — Штаны его обожгут... в конце концов, муж штанов важнее. Наверное.

И сердце замерло: а вдруг не согласится маменька? Нет, она женщина разумная, но и на нее порой блажь находила. Отчего молчит, разглядывает не то Евдокию, не то собственное в самоваре отражение.

Евдокия тоже глянула и отвернулась.

Лицо, и без того безмерно округлое, размазалось по медному боку, расплылось, сделавшись и вовсе уродливым... перестарок.

...зато с миллионами. А миллионы — они и при дворе миллионы... главное, распорядиться ими с умом.

— От и хорошо, — произнесла маменька со странным удовлетворением, разгрызая сахарный осколок. — Съезди, Евдокиюшка, развейся... погляди, как оно в столицах. Заодно за Аленкой присмотришь...

...о нет!

Глава 3

О шпионах, мздоимцах и секретных операциях

К своим пятидесяти трем годам Евстафий Елисеевич, познаньский воевода, обзавелся обширной лысиной, которая по уверениям любезнейшей его супруги придавала обличью нужную импозантность, животом и бесконечными запасами терпения.

А как иначе-то?

Нервы, чай, не казенные. И медикусы, к которым Евстафий Елисеевич обращался редко и с превеликой неохотой, в один голос твердят, что батюшке-воеводе надобно себя пощадить. А не то вновь засбоит утомленное сердечко, да очнется от спячки застарелая язва, нажитая еще в те лихие времена, когда рекрут Евсташка жилы на службе рвал, пытаясь выше собственной, кучерявой головы прыгнуть. И ведь вышло же! Прыгнул. Выслужился.

Дослужился.

И сам государь, вручая Евстафию Елисеевичу синюю ленту с орденом Дракоборца, ручку жал, говорил любезно, что, дескать, такие люди королевству надобны. Очень эти лестные слова в душу запали... а все почему? Потому, что служил Евстафий Елисеевич не за честь, но за совесть. Злые языки поговаривали, что совести у воеводы даже чересчур много. И самому мешает, и другим жить не дает.

Да разве ж о том речь?

Злым бы языкам в это кресло, из мореного дуба сделанное, телячьей кожей винного колеру обтянутое, кажущееся и надежным, и удобным... да на денек-другой посидеть, в бумажках закопавшись, в попытках бесплодных усмирить актерскую вольницу, каковой сам Хель не брат.

Тогда, глядишь, и присмирели бы.

Тяжко... что в животе — не надо было баловаться расстегаями уличными, но уж больно тяжело

давалась Евстафию Елисеевичу диета, супругой прописанная, что на душе.

День предстоял сложный.

И желая оттянуть неизбежное, маялся Евстафий Елисеевич, натирая мягкой ветошью бюст Его Величества. Сие занятие успокаивало его еще с той давней поры отрочества, когда Евстафушка, третий сын старшего судейского писаря, оставался надолго в отцовском кабинете. Нет, ныне-то он разумел, что кабинет тот был просто-напросто комнатухой с оконцем под самым потолком, но не было в мире места надежней, спокойней. Он любил и это окошко, и арочный потолок, с которого свисали полотняные ленты, пропитанные медовой водицей для привлечения мух и прочего гнуса, ежели таковому случится попасть в полуподвальное помещение, и самих мух, по-осеннему неторопливых, громких, и гладкие канцелярские шкапы, избавленные от виньеток, медных ручек и прочих ненужных кунштюков...

Обычной робости, каковая часто охватывает людей в местах присутственных, Евстафушка не испытывал. Напротив, все-то тут было знакомо. Упорядоченно.

И он радовался этому порядку.

Спешил помогать.

Батюшка же, утомленный работой, снимал очки, протирал их чистым, хоть и латаным платочком, и щурился, глядя на сына. Приговаривал:

— Старательность — сие тоже талант. И не след его в себе губить.

Сам он, дослужившийся до старшего писаря, и не помышлял о работе иной. Он жил бумагами и младшим, поздним сыном, так похожим на дорогую Лизаньку. Оттого, глядя на него, и улыбался, скупно, сдержанно, потому как не вязалась улыбка с серым цивильным платьем.

Евстафушка же, спеша отца порадовать, пристраивался в уголке, меж стопок со старыми делами, от которых сладко пахло архивною пылью, и делал уроки.

Учиться он любил.

И учителя хвалили Евстафушку не токмо за старательность и прилежность — а как иначе-то? — но и за тихий незлобивый норов.

Когда же последняя тетрадь отправлялась в портфель, отец кивал и открывал сумку, вытаскивал бутерброды, завернутые в утрешнюю газету. За день она успевала пропитаться маслом, а на белом хлебе оставались черные пятнышки типографской краски, но в жизни не едал Евстафушка ничего вкусней.

...и чай, который приносила Капитолина Арнольдовна, пучеглазая немка, служившая в присутствии судейским секретарем, был всегда крепок, темен и сладок до невозможности. Порой немка оставалась, рассказывая скрипучим хриловатым голосом последние сплетни. Отец охал, качал головой и языком прицокивал... и завидя, что Евстафушка уже расправился и с чаем, и с бутербродами, он говорил:

— Иди-ка, сыне, почисти государя.

Казенный бюст в аршин высотой стоял на краю стола, повернутый к двери. И получалось, что

каждый посетитель, кому случалось заглянуть в коморку старшего писаря, вставал перед суровым взором Его Величества Никея Первого.

Государь сиял, во многом благодаря ежедневным усилиям, каковые прикладывал Евстафушка, натирая бронзу мелким речным песочком да мягкой ветошью. Особенно ему нравилась высокая, солидная лысина, и государев массивный нос... а вот в усах застревал песочек. И Евстафушка мечтал крамольно, что однажды Никея Первого сменит иной государь, безусый, начищать которого будет проще, и мечтая, слушал краем уха голубиное воркование Капитолины Арнольдовны...

Наверное, они бы поженились, поскольку нравилась отцу Капитолина Арнольдовна, неспешностью своей, солидностью, неженской какой-то рассудительностью. И Евстафушка был бы рад этаким мачехе...

...не срослось. Подвело однажды старшего судейского писаря изношенное сердце. Ушел, оставив пустой стылую съемную квартиру, шкаф с тремя серыми пиджаками, полдюжины носовых платков да чиненное белье, которое по традиции отнесли в храм Иржены-заступницы.

Та давняя смерть и переменяла судьбу Евстафушки, резко лишив его мечты о писарской карьере, но толкнув в объятия вербовщика. Два месяца всего ушло, дабы перекроить, перетрясти душу, вылепив из вчерашнего гимназиста сначала рекрута Евсташку, а после и младшего актора полицейского управления...

Давно сие было.

И глядя на орлиный государев профиль, втихаря улыбался Евстафий Елисеевич: сбылась детская мечта, нынешний король был приятно безус.

* * *

Успокоившись — многие знали об этаким начальственной слабости, которая свидетельствовала не только о расстроенных нервах воеводы, но и о скорых переменах, которые ждут познаньское управление полиции — Евстафий Елисеевич сдул с высочайшего чела крупички песка. Его же вместе с тряпичей убрал в ящик стола. Поднялся. Потянулся, чувствуя, как тяжело хрустят старые кости, и снял с полочки телефонный рожок. Как всегда помедлил — ну не любил познаньский воевода технику, внушала она ему не меньшее подозрение, нежели магические штуkenции, а всяк знает, сколь опасны они — но преодолел себя, поднес к губам:

— Ежель Себастьян на месте, — сказал, чувствуя себя преглупо. Говорить в коровий рог, пусть и в серебряном солидном окладе... — То пускай заглянет.

Сам же глянул в зеркало, упрятанное за гладкою — а иной мебели Евстафий Елисеевич с детства не признавал — дверцей шкафа, убеждаясь, что нет в его одежде беспорядка. Синий китель, сшитый на заказ, сидит по фигуре, пусть и фигура сия давно потеряла былую стройность. И любезнейшая супруга не единожды намекала, что не мешало бы Евстафию Елисеевичу корсетом пользоваться...

Женщины.

С женщинами в доме было тяжело... четверо дочек, и младшенькой, названной в честь покойной матушки Лизанькой, только-только семнадцатый годок пошел...

Нахмурился Евстафий Елисеевич, отгоняя неуместные мысли. Попытался настроить себя на

беседу, каковая — знал точно — пойдет непросто. И треклятая язва ожила, плеснула болью...

...нет, точно расстегай с порченным мясом был.

А ведь предупреждал верный ординарец, что врет бабка про зайчатину, что если мясо чесночным духом исходит, то стало быть несвежее... или это от чеснока бурлит?

Хоть бы дурно не стало.

Признаться, подчиненного своего познаньский воевода не то, чтобы побаивался, скорее уж смущался премного, под насмешливым взглядом черных глаз его ощущая себя никем иным, как писарчуковым сыном, по недоразумению взлетевшим чересчур высоко.

И пыжится он, и лезет из мундира, тянется над собственной лысой макушкой, а все одно не станет иным... нет, не стыдился Евстафий Елисеевич происхождения своего простого, но вот... робел.

Сколько уж лет минуло, а все робел.

И злился оттого, краснел. Краснея, злился еще больше...

Смех кому сказать.

Евстафий Елисеевич повернул монарший бюст к окну, пейзаж за ним открывался самый что ни на есть благостный, с аллеей, цветущими каштанами да гуляющими девицами. Конечно, внимательный наблюдатель очень скоро понял бы, что гуляют девицы не просто так, а со смыслом, стараясь друг на дружку не глазеть, а если уж случится пересечься взглядами, то раскланиваются и отворачиваются...

...в последние годы, с той самой поры, как возвели Военную академию, Аллею имени героя пятой Победоносной войны, brave воеводы, князя Муравьев-Скуратовского народ переименовал в Девичью... князь, пожалуй, отнесся бы к подобной вольности без понимания, историки твердили, что нравом он обладал суровым, резким даже для своих беспокойных времен. Однако Муравьев-Скуратовский давно и благополучно был мертв, а девицы... что ж тут сделаешь? Евстафий Елисеевич ему от души сочувствовал.

Себе тоже.

А старший актер вновь соизволили опаздывать. Нет, они спешили, но как-то томно, будто самым фактом этой спешки делая одолжение. Вот хлопнула дверь в приемную. И характерно закрипело кресло, в котором уж второй десяток лет обреталась Аделаида Марковна, дама внушительных достоинств и трепетного сердца... раздались голоса... наверняка, поганец, раскланивался, ручки пухлые целовал, отчего все десять пудов Аделаиды Марковны приходили в волнение...

Евстафий Елисеевич погладил государя по бронзовой маковке.

— Можно? — дверь распахнулась, и на пороге возник человек, в свое время доставивший немало хлопот, что самому познаньскому воеводе, что всему полицейскому ведомству.

— Заходи, Себастьянушка, присаживайся, — Евстафий Елисеевич старался быть дружелюбным. И улыбкой на улыбку ответил, хотя при виде ненаследного князя Вевельского проклятая язва ожила...

...а все Лизанька с ее блажью.

И супруга, ей потакаяющая... дуры бабы... а поди ж ты, не справиться... и кому скажи — засмеют, назовут подкаблучником. От мыслей подобных Евстафий Елисеевич вовсе пришел в уныние, и язву погладил сквозь китель: мол, погоди, родимая, дай с делами разобраться, а там уж и до тебя черед дойдет. Будет тебя дорогая супружница холить, лелеять да овсяными киселями потчевать...

Язва послушалась.

— Как дела, Себастьянушка? — ласково поинтересовался Евстафий Елисеевич, хотя по довольной физии подчиненного видел, что дела у него, в отличие от начальственных, обстояли превосходно.

Да и то, ему ли быть в печали?

Когда восемнадцать лет тому старший актер Евстафий Елисеевич узнал, кого ему принесло рекрутским набором, всерьез задумался о том, чтобы работу сменить.

Мыслимое ли дело, чтобы в акторах цельный князь ходил?

Пусть и ненаследный?

А ведь хватились-то не сразу... у матушки дела сердечные, то бишь сердце пошаливает, лечение требует... оттого и отбыла разлюбезная княгиня на родину в компании семейного доктора. Князь же, видать от расстройства и волнения за супругу увлекся молодой актриской... в общем, успел Себастьян Вевельский закончить трехмесячные курсы подготовки да попасть под распределение...

...ирод. Сидит. Улыбается.

Смотрит прямо.

Ждет, когда заговорит Евстафий Елисеевич. А тот, как назло, не знает, с чего разговору начать... скользкий он, как и само задание. При мысли о том, что придется просить у князя, Евстафий Елисеевич впадал в хандру, на которую язва откликалась живо.

...и тогда тоже улыбался, глазищами сверкал...

— Князь, ваше благородие, — признался сразу, да и как не признаешься, когда матушка в кабинете сидит, платочком надушенным слезы вытирает. И отец тут же, только глядит не на сына, на Евстафия Елисеевича, буде бы он виноват в том, что ихний князь дома не усидел. А тот горазд скалиться.

Знал, поганец, что контракт магический одним желанием родительским не разорвать.

Хоть ярился Тадеуш Вевельский, грозил всеми карами, плакала княгиня и от чувств избытка в обморок падала, прямо Евстафию Елисеевичу на руки...

...ничего-то не добились. Крепок оказался контракт, на крови заключенный, и упрям Себастьян... видать, пороли мало.

Искоса глянув на подчиненного, познаньский воевода уверился в правильности поставленного уже тогда диагноза: мало.

Без должного прилежания.

Вот оно и выросло... на беду начальству.

— Себастьянушка... как ты? Оправился? Отдохнул?

— Оправился, Евстафий Елисеевич, — бодро произнес ненаследный князь Вевельский, и ногу за ногу закинул этак, небрежненько. А на колено хвост положил.

Хорош.

Нет, не хвост, хвост-то аккурат Евстафия Елисеевича смущал зело, что наличием своим — у нормальных людей хвостов не бывает, что видом. Длинный гибкий и в мелкой этакой рыбьей чешуе. Шевелится, чешуей поблескивает.

Честный люд в смущение вводит. А этот охальник, прости Вотан милосердный, знай себе, улыбается во всю ширь... зубы-то свои, небось, на аптекарский ряд Себастьян в жизни не заглядывал...

Евстафий Елисеевич потрогал кончиком языка клык, который взял за обыкновение на погоду ныть, так долго, муторно. И не помогали ни полоскания в дубовой коре, ни долька чеснока, к запястью примотанная, ни даже свежее сало... драть придется...

— Ох, Себастьянушка, дело предстоит новое... сложное...

Слушает.

Очами черными зыркает, хвост поглаживает...

...ах, Лизанька, Лизанька, дочка младшая, любимая... и мать твоя, чтоб ей икалось... оно-то девицу понять можно, как устоять перед таким-то красавцем, смуглым да чернявым? Обходительным, что Хельм по душу явившийся... и тает, тает сердечко девичье.

А матушка, знай, подускивает.

Мол, хороша партия для Лизаньки. И Евстафий Елисеевич в упрямстве своем мешает дочерину счастью состояться.

Бабы.

Не разумеют, что писарчукова внучка, пусть бы она была хоть трижды воеводиной дочерью, не пара сиятельному шляхтичу. Ну и что, что ненаследный, а все одно — князь...

...дуры бабы.

А он не умней, ежели поддался.

— ...и только тебе одному, Себастьянушка, с ним справится...

* * *

Начальство потело, улыбалось и безбожно льстило.

Это было не к добру.

Себастьян глядел в круглое, будто циркулем вычерченное, лицо Евстафия Елисеевича, мысленно пересчитывая веснушки на его лысине, и преисполнялся дурных предчувствий.

— Дело-то государственной важности, Себастьянушка... по поручению самого генерал-губернатора...

Евстафий Елисеевич тяжело вздохнул.

Мучится он в своем шерстяном мундире, застегнутом на все тридцать шесть золоченых пуговиц. И ерзает, ерзает, теребит полосатый платочек, то и дело лоб вытирая. А на Себастьяна избегает глядеть по старой-то привычке, оттого и блуждает взор начальственный по кабинету, каковой, в отличие от многих иных начальственных кабинетов, мал, а обставлен и вовсе скупо. Нет в нем места ни волчьей голове, в моду вошедшей, ни рогам лосиным развесистым, ни пухлым адвокатским диванчикам для особых посетителей. Скучная мебель, казенная.

И сам Евстафий Елисеевич ей под стать.

Признаться, начальника своего Себастьян побаивался еще с тех давних пор, когда, окончивши краткие полицейские курсы в чине младшего актора, предстал пред светлые очи Евстафия Елисеевича. Был тот моложе на два десятка лет, на пару пудов тоньше и без лысины. Позже она проклюнулась в светлых начальственных кудрях, этакой соляной пустошью промеж богатых Висловских лугов...

Тогда же старший актер Евстафий Елисеевич нахмурился, завернул в газетку недоеденный бутерброд, который спрятал в потрепанный потрескавшейся кожи портфельчик, облизал пальцы и, повернув государев бюст лицом к окошку — сия привычка по сей день Себастьяна удивляла — спросил:

— Актором, значит?

— Так точно! — весело отозвался Себастьян. Он едва не приплясывал от нетерпения. Вот она, новая жизнь, и подвиг где-то рядом, совершив который ненаследный князь прославится в истории или хотя бы на страницах газет. И коварная Малгожата, прочитав статью, всплакнет над несбывшейся жизнью...

...быть может, даже объявится, умолять о прощении будет, плакать и объяснять, что он, де, не так все понял. А он объяснения выслушает бесстрастно и спиной повернется, показывая, что мертва она в сердце его. Или что это сердце вовсе окаменело?

В общем, Себастьян еще не решил.

Следует сказать, что учеба пришлась ненаследному по душе, особенно, когда он понял, что хвост и дрын — это аргументы куда более понятные новому его окружению, нежели доброе слово, густо приправленное латынью. На латыни сподручно оказалось ругаться.

— И чего ты умеешь? — Евстафий Елисеевич, от которого неуловимо пахло чесноком, разглядывал Себастьяна пристально. И сам себе ответил. — А ничего...

Себастьян обиделся.

Правда, первый же месяц показал, сколь право было начальство.

...и что само это начальство не стоило недооценивать. Тихий, даже робкий с виду Евстафий Елисеевич способен был проявить твердость. Пусть и говорил он мягко, порой смущаясь, краснея, теребя серый суконный рукавчик мундира, но от слов своих не имел обыкновения отказываться.

— Помнишь, Себастьянушка, первое свое серьезное дело? Познаньского душегубца? — вкрадчиво поинтересовалось начальство, отирая платочком пыль с высокого государева лба, на кой дерзновенно опустилась муха. Толстая, синюшная и напрочь лишенная верноподданических чувств.

— Помню.

Себастьян потрогал шею.

...как не запомнить, когда после этого дела и собственной инициативы, казавшейся единственно возможным шагом, он месяц провел в больничке. И матушка, отринув прочие свои обязанности, навещала его ежедневно, принося апельсины, сплетни и свежие газеты.

В газетах Себастьяна славили.

...а Евстафий Елисеевич за самодурство, которое репортеры нарекли «инициативой неравнодушного сердцем актора», подзатыльника отвесил. Удавку с шеи снял и отвесил.

А потом еще пощечину...

...что сделаешь, ежели в портфеле старшего актора не нашлось местечка нюхательным солям... но подзатыльник тот запомнился, и пощечина, и злое, брошенное вскользь:

— Только посмей умереть. С того света достану!

И ведь достал бы, смиреннейший Евстафий Елисеевич, не побрезговал бы ни к Вотану-молотобойцу пожаловать, ни в темные чертоги Хельма, ежели оказалось бы, что грехи Себастьяновы напрочь добрые дела перевешивают...

На память о той истории остался ненаследному князю орден и беленький шрам на груди... шрамом Себастьян гордился больше, втайне подозревая за орденом и повышением отцовскую крепкую руку...

— Помнишь, значит, — с тяжким вздохом произнес Евстафий Елисеевич, вставая.

Совсем дурная примета.

— И как ты тогда... — он замялся, не зная, как сказать, — инициативу проявил...

— Да.

Хмыкнул. Замер, оглаживая бронзового государя по высокому лбу.

— А слышал ли ты, Себастьянушка, про конкурс нынешний?

— Кто ж не слышал?

— И то верно... верно... — снова вздох, тягостный, и толстые пальцы Евстафия Елисеевича мнут подбородки, которых за последние года три прибавилось. — Кто ж не слышал... Дева-краса...

чтоб ее да за косу... срам один... и нам заботы.

Себастьян терпеливо ждал продолжения.

— Патронаж Ее Величества... и отменить никак не выйдет... но имеются данные, дорогой мой, что нонешним конкурсом воспользуется русский агент... агентка, — поправился он, точно опасаясь, что сам Себастьян недопоймет.

Порой ненаследному князю казалось, что для Евстафия Елисеевича он так и остался шестнадцатилетним оболтусом, излишне мечтательным и не в меру наивным. Таковым в родительском доме место, а никак не в полицейском управлении, но нет, возится познаньский воевода, душу вкладывает...

...начальство Себастьян любил.

И со всею любовью побаивался.

— Данные верные, и по словам нашего актора шансы на успех у нее высоки... — Евстафий Елисеевич прошелся вдоль окна и застыл, устремив взгляд на Девичий бульвар. — Ты ведь лучше иных понимаешь, что есть сей конкурс для девиц...

...шанс на удачное замужество, который при должном умении использовали все.

А если с замужеством не ладилось, то времена ныне вольные, некоторым и покровителя хватит, чтобы в жизни устроиться.

...или ненадолго зацепиться на вершине.

— Ко всему Его Высочество так некстати расстались с графиней Белозерской, — уши у Евстафия Елисеевича порозовели. Человек старой закалки, он стеснялся пересказывать дворцовые сплетни, особенно, когда касались они королевской семьи.

— И будет искать утешения, — Себастьян озвучил очевидный вывод, избавляя начальство от необходимости произносить подобные, порочащие корону, слова вслух. — Или утешительницу.

...и найдет. Кто откажет будущему королю?

Нехорошо.

И вправду нехорошо выходит... ожила, значит, Росс? Оправилась после поражения в Северной войне? Или дело не в том, но в новом Избранном, который твердою дланью ведет народ Русский по пути всеобщего процветания...

...Себастьяну доводилось читать и российские газеты, весьма отличавшиеся от королевских какой-то нарочитой бодростью, обилием воззваний и портретов Избранного жреца.

Случалось встречать и русских посланников, суровых бородатых мужчин, что предпочитали держаться вместе, поглядывая друг на друга искоса, с опаскою. Они рядились в суконные костюмы, сшитые по одному лекалу, а порой, казалось, и по одной мерке, а потому сидящие дурно.

Российские женщины, каковым случалось оказаться в королевстве по делам супругов, были молчаливы и некрасивы, причем некрасивы одинаково, одутловаты и болезненны. На людях они разговаривали тихо, заставляя собеседника наклоняться, дабы расслышать сказанное,

носили неудобную обувь и платья, сшитые из того же серого сукна.

— Не спеши, Себастьянушка, — сказал Евстафий Елисеевич. И вновь-то он, забавный толстяк, о котором поговаривали, будто бы недолго ему оставалось воеводину булаву держать, — Себастьян предпочитал подобные беседы игнорировать — заглянул в мысли. — Сюда присылают лишь тех, кто... надежен.

Познаньский воевода потер бок, заговаривая язву.

— Присылали. Думаю, скоро многое изменится. Новый Избранный, по слухам, умен... и честлюбив... — честлюбие Евстафий Елисеевич почитал если не грехом, то уж верно недостатком, каковой и в себе самом к великому огорчению супруги, пытался искоренить. — Ему спится и видится, что Русское княжество воспрянет в былом величии... и былых границах.

Тихо это было сказано, с опаскою.

И Себастьян кивнул: понимает, мол. Уж не первую сотню лет тает Русь, с самой Первой войны, с неудач, с переворота, когда пали Соколиные стяги, сменившись алым полотнищем Хельмова Избранника. И загремели по всей Руси колокола, возвещая о новом времени.

Отвернулся от опального княжества Вотан-молотобоец.

Отступила Иржена, всеблагая его супруга.

И остался царить над людьми Хельм-злословец, прозванный в Руси заступником народным. Кому и когда подобная дикая мысль в голову пришла? Неведомо. Да и не было дело Королевству Познаньскому до соседа. Собственные бы раны зализать, зарастить. И замкнув границы, очерить штыками, заполнить летучей конницей отвоеванный Красин кряж, удержать Гданьск и Велислав, пресечь волнения народовольцев, растревоженных русскими идеями.

Железным кулаком удержал Никей Первый королевство.

А сын его, Милослав Понямунич, расширил границы, потеснив прореженную именем Хельма русскую армию. И отошли под руку короны оба берега реки Висловки да две из пяти губерний Северо-Западного края... остальные три тоже ненадолго задержались.

Правда, сколь Себастьян помнил из курса истории, каковой за годы службы крепко повыветрился из памяти — и то дело, к чему актору лишние науки, хотя и утверждал охочий до знаний Евстафий Елисеевич, буде таковых вовсе не имеется — однако же, Русский Избранный все ж сумел отпор дать. Схлестнулись за деревушкою Поповцы две силы, две волны, и мертвая хельмова увязла в живой, королевскими ведьмаками сотворенной, да не погасла...

...переменилась сама, и мир вокруг переменяла, перевернула, породивши проклятые Серые земли. Давно это было. Затянулись те раны. И черные стылые и по летней поре воды Ярдынь-реки легли новой границей.

А в последние годы Русь ожила, стала поглядывать на запад, припоминая королевству былые обиды...

... лет пять, как отправился прежний Избранник к Хельму, а на престол Русский, красным стягом застланный, воссел молодой Гольерд Заступник, провозгласивший новую идею дружбы народной. Дружить он предлагал не только с Королевством Познаньским, но и со всем миром,

конечно, если только мир в ответ проникнется к Росскому княжеству любовью, в доказательство которой вернет аннексированные территории, исторически принадлежавшие Росси...

...на том, помнится, дело дружбы и застопорилось.

Евстафий Елисеевич не мешал подчиненному вспоминать, он замер, возложив пятерню на лоб государя, сморщившись, не то от язвы, не то от мыслей, терзавших познаньского воеводу.

...а к доктору не пойдет, как ни уговаривай...

...упрямый.

...все-то делает вид, будто из той же бронзы, что и бюст короля, сделан, что не страшны ему ни годы, ни болячки... заговори, враз губы подождет, нахмурится, вид важный напустит, а то и вовсе разобидится и от обиды начнет припоминать недавние Себастьяновы огрехи.

...хоть ты его силой веди на Аптекарскую слободу.

— Нынешняя росская разведка — не чета старой. Гольерд ее взрастил... точнее, сам из разведки вышел... — Евстафий Елисеевич говорил медленно, тщательно подбирая слова. — Коллега, стало быть... и хитер, Хельмов избранник... хитер... за прошлый год неожиданно померли пять со-правителей из дюжины... с кем-то заворот кишок приключился...

...слышал Себастьян и об этом, хотя не особо интересовался политикой.

— ...кто виноградинкой подавился... еще один вдруг в ванне утонул. Великое несчастье было, — Евстафий Елисеевич говорил о том серьезно, без тени улыбки. — На три дня траур объявили. Не вспомнили, что утопший дурно о князе отзывался да подзуживал к смуте... жаль... много денег на него ушло.

И это не было новостью.

Росские со-правители грызлись между собой, как кобели на собачьей свадьбе. И кормились они не только Хельмовыми милостями, но не брезговали брать скромные подарки от друзей, что с запада, что с востока... небось, Казарский каганат немало золота влил в жилы Росского княжества в надежде, что переломит оно монополию королевского флота в южных морях.

...а Королевство Познаньске платит за внимание к восточным рубежам, к нестабильной Хельерской губернии, на которую давненько каганат зарится...

Нет, все ж политика — дурное дело.

От нее голова болит.

— Тяжко, Себастьянушка, — пожаловался Евстафий Елисеевич. — Ладно, когда они помеж собой грызлись, нам оно только на руку было. Но князю удалось со-правителей осадить. И смиренхонько сидят, Хельмовы дети, вздохнуть лишний раз боятся. А народец Избранного славит, разве что не молится... а может, и молится. Там давно уже не понять, кому, Хельму или князьям храмы строят...

...слышал Себастьян, что в каждом черном храме над алтарями висят портреты Избранных. И жрецы, скрывающие лица за стальными масками — не люди то, но лишь Голоса — одинаково

кровь на жертвенники плещут, что Хельму, что слугам его... нет, темные это земли — Русское княжество.

— Главное, что нам они мешать стали. Небось, знаешь про скандал с князем Гершниц?

— Знаю, — Себастьян откинулся на спинку кресла, к слову, казенного, неудобного. Спиной, сквозь тонкую ткань мундира — крой-то установленный, но сукно шерстяное тонкое, да и портной собственный, княжий, доверием обласканный — чувствовал и изгиб дерева, и твердые шляпки гвоздей.

Порой ему казалось, что мебель в присутственных местах делали сугубо для того, чтобы человек обычный, каковому случилось заглянуть в подобное место по некоей своей человеческой надобности, не приведи Водан не ощутил себя хоть сколько бы комфортно. Глядишь, и повадится ходить, отвлекать людей занятых мелкими пустыми вопросами... и на страже государственных интересов стоят этикие вот пыточные кресла, узенькие диванчики с гладкими полированными седушками и низкими спинками, массивные шкапы, что кренятся, грозясь обрушиться на голову нерадивого просителя пропыленные тома...

...в приемной князя Гершница стояли кокетливые козетки, обтянутые гобеленовой тканью, каковая только-только в моду вошла, и солидный секретер из розового дерева, и стол с медальонами, и зеркало имелось в золоченой раме с пухлыми младенчиками...

Откуда?

...нажил. И отнюдь не с родового имения, каковое до недавнего времени пребывало в упадке. Да и то, много ли возьмешь с двух деревенок и старой мануфактуры?

Себастьян нахмурился, сиюсь вспомнить, какие ходили слухи?

Взятки?

Так разве ж это повод достойного человека кресла лишить? Берут все. Кто золотом, кто козетками... нет, не во взятках дело, а в планах военного ведомства, при котором имел несчастье обретаться проворовавшийся князь. О нем, кажется, Лихослав отзывался весьма резко... правда, давно это было, когда Лихо еще давал себе труда в Познаньск наведываться, но навряд ли за прошедшие годы князь исправился.

— Гершниц собирался продать планы «Победоносного».

Евстафий Елисеевич вновь погладил государев бюст, находя в прикосновении к монаршьему челу немалое для себя утешение.

— Он сознался... правда, сознаваясь, помер. Не рассчитали, что сердце у князя слабое...

Себастьян кивнул.

И жесткие гвоздики, шляпки которых впивались в спину, больше не казались неприятностью.

«Победоносный».

Монитор, построенный по новому проекту, и лишь год, как сошедший со стапелей. Закованный в броню, неторопливый и надежный, как Воданов молот, возглавил он Южный государев флот. И отец, никогда-то особо не увлекавшийся делом военным, хотя и числился в

чине генеральском, не уставал возносить восхваления создателю сего чуда.

Не только он.

О «Победоносном» пели газеты, предрекая монитору славное будущее. И милитаристы, было притихшие, вновь заговорили о том, что Южное море — не так и велико, что многовато в нем и каганатских плоскодонок, которые через одну — пиратские, и неторопливых стареющих кораблей Росского княжества... что, дескать, монополия — оно всяк выгодней, и достаточно одного, но прицельного удара, дабы пал непримиримый Сельбир, единственный росский порт...

— Себастьянушка, — к Евстафию Елисеевичу вернулось прежнее его обличье, нерадивого, смешного толстячка, вечно потеющего, страдающего отдышкой и язвою, что, впрочем, было правдой. — Ты же понимаешь, что...

Толстячок взмахнул рукой, отгоняя от бронзового государя толстую муху.

— Конечно, Евстафий Елисеевич, понимаю.

— Поначалу-то полагали, будто бы князь по собственному почину действовал... росса взять не удалось. Фанатик. Ушел к Хельму, ну туда ему и дорога. Однако же выяснилось, что князь свел знакомство с некою вдовой, особой молодой и весьма очаровательной, легкого нрава. Влюбился, как юнец, взятки стал брать... нет, он и прежде-то не отказывался, но меру знал. А тут вдруг проворовался вчистую... вот тогда-то и появился некто с наивыгоднейшим предложением. Князь передает чертежи «Победоносного», а взамен получает доступ к счету... двести тысяч злотней, Себастьянушка.

Сумма была внушительной. И Себастьян, пожалуй, лучше Евстафия Елисеевича, никогда-то дел с подобными деньгами не имевшего, представлял, насколько она велика. Опальному князю хватило бы надолго...

— И вот стали сией прелестницей интересоваться, а она возьми да исчезни, будто ее вовсе не было...

— Подозрительно.

— Еще как подозрительно, — согласилось начальство. — А самое интересное, Себастьянушка, что никто-то ее толком и описать не сподобился. Помнят людишки, что красива... а как красива? Князь и тот, уж на что упирался поначалу, твердил, дескать, непричастна пассия его к грехопадению...

...и этакая самоотверженность вовсе для старого мздоимца не характерна.

— ...потом все ж склонили его к сотрудничеству... а он, окаянный, ничего-то толком сказать не способен. Не то блондинка, не то брюнетка, а может и вовсе рыжая... с глазами зелеными. Или синими. Или черными, вот как твои... полновата? Худощава?

Дерьмово.

Хвост дернулся, чуял он недоброе, и это самое хвостовое чутье заставило Себастьяна замереть. Он и моргать-то почти прекратил, уставившись на начальство немигающим внимательным взглядом, от которого Евстафий Елисеевич пришел в немалое волнение.

— Ведьмака, конечно, пригласили, — румянясь, сказал познаньский воевода. — И тот сказал,

что память князю подтерли...

— А восстановить?

— Правильно мыслишь, Себастьянушка. Послали за стариком...

...Аврелий Яковлевич и вправду был немолод, чай, еще Северную войну запомнил. С возрастом он не растерял ни здоровья, ни крепости разума, однако же прожитые годы сделали его редкостным мизантропом.

— ...а пока уговаривали, князь возьми да скончайся.

— Своевременно, — Себастьян сцепил пальцы, и косточки хрустнули, отчего Евстафий Елисеевич передернулся.

— Своевременно, — сказал он, этак нехорошо улыбаясь. — Но наш старик и мертвого разговорит...

...все-таки правду баяли, что баловался Аврелий Яковлевич некромантией. Исключительно в служебных целях, конечно...

— ...с князя-то толку не было, а вот русский связной, тот полезен оказался. С него-то и выловили этот интерес к конкурсу...

Евстафий Елисеевич опустил в кресло.

— Теперь-то понимаешь, дорогой мой, до чего все погано?

Себастьян понимал.

...росская авантюристка на конкурсе красоты? С шансом привлечь внимание самого наследного принца? А если не его, но... целей полно.

— Почему мы? — Себастьян Вевельский умел делать выводы, и собственные ему не понравились.

— А потому, Себастьянушка, — ответствовало начальство ласковым голосом. — Что уж больно своевременно у князя сердечко остановилось. Да и росса кто-то предупредил, а ведь операцию проводили тихо, сам, чай, понимаешь, чем дело пахнет...

...ну уж не ванильными пирожными из кондитерской мадам Крюшо.

— Сам генерал-губернатор, Себастьянушка, нас доверием облек...

Палец, устремленный в потолок и тяжкий вздох воеводы познаньского говорил, что обошелся бы он и без такого доверия, за которое после втрое спросится.

— Конкурс не отменят?

— Никак нет, Себастьянушка, — толстые пальцы сплелись под подбородком. — Сам понимаешь, что сие событие не только культурное, но и политическое. Да и то, что толку отменять? Ежели этой шайдре надобно во дворец пробраться, то проберется...

Тоже верно.

— Пушай уж действует по старому плану... а мы приглядимся... приценимся... авось и учуем чего.

...Себастьян совершенно точно знал, кому именно предстоит приглядываться, прицениваться и учуять.

— И что мы знаем? — в тон начальству поинтересовался он.

Евстафий Елисеевич потер подбородок. Он, в отличие от многих цивильных лиц, еще с давних пор склонных отращивать бороды, брился старательно. И немногие знали, что старательность сия происходит единственно от того, что борода у познаньского воеводы росла редкая, кучерявая да и вовсе несолидного, морковно-красного колера. Этой своей особенностью Евстафий Елисеевич стеснялся едва ли не больше, чем простоватых манер и неумения красиво говорить.

— А ничего-то мы и не знаем, чтобы наверняка... но предполагаем... — он погладил стол казенной неприметной породы, как и вся прочая мебель в кабинете. — Она, несомненно, умна. И одарена магически, поскольку вряд ли повсюду таскала за собой кого-то, кто бы чистил людям память...

— Или амулетик имеет...

— Или амулетик, — принял возражение Евстафий Елисеевич. — Но амулетик, Себастьянушка, дело ненадежное. Для малого он годен, а вот князю память чистили профессионально...

— И то, и другое?

— Пожалуй... да, пожалуй... на каждого тратиться не станешь. Для случайных знакомцев личину прикрыть амулетиком, а вот уже людишками близкими и сама занялась. Но хитра паскудина, если от разведки ушла...

...Евстафий Елисеевич не хотел вслух говорить то, о чем оба с Себастьяном подумали: не сама ушла русская девица. Помогли ей.

Намекнули, куда князь пропал... вот и успела.

Плохо.

— Хладнокровна, — продолжил познаньский воевода. — Личную горничную сама зачистила... и так, что даже Аврелий Яковлевич с нее не поимел... нехорошая женщина. Опасная, Себастьянушка.

Он нахмурился и потер сложенными пальцами переносицу.

— Ты уж аккуратней там... ежели почует опасность, убьет, глазом не моргнув.

Это Себастьян понимал и без объяснений.

— А самое поганое знаешь что?

— Нет.

Евстафий Елисеевич кивнул, словно не ожидал другого ответа:

— Из наших она, Себастьянушка...

— Что?!

В русскую колдовку удивительной силы князь Вевельский еще готов был поверить, но чтобы своя же... и на Россь работала...

— Сам посуди, — примиряюще произнес познаньский воевода. — Отбор-то на конкурс строгий. Разведка наша едва ли не под мелкоскопом каждую девицу просматривает. И тут одной крысы в ведомстве мало будет, чтобы пройти, а в то, что в разведке целую крысятню развели, я не поверю... нет, Себастьянушка, не стали бы россы рисковать на такой мелочи. По-крупному играют. И значит, наша она. Тут родилась. Тут росла... и где-то с россами снюхалась...

— Почему?

— А мне ж откуда-то знать, Себастьянушка? Может, денег хотела. Такие акторки на вес золота ценятся. А может, идейная, из тех, которые Хельму кланяются... или на Его Величество обижена... мало ли причин. Поймаешь, тогда и спросим.

Евстафий Елисеевич улыбался робко, стеснительно.

А ведь не сомневается, что возьмет Себастьян эту не-росскую стерву... и ведь возьмет, иначе и невозможно. Не случилось еще с ненаследным князем Вевельским такого конфуза, чтобы задание невыполненным осталось.

Познаньский воевода загадочно молчал, и Себастьян не торопил начальство, зная за ним привычку долго и мучительно подбирать слова, пытаясь скрыть косноязычие, давным-давно существовавшее единственно в воображении Евстафия Елисеевича.

Знал, скажет все, что должно.

Но молчание затягивалось, познаньский воевода смурнел и на государя поглядывал, точно ожидая поддержки. Себастьян ерзал.

И решился.

— Что с легендой?

Мысленно перебрал подходящие должности... охранник? Туповатый, медлительный, но дружелюбный. К такому быстро привыкнут...

...лакей?

Шкуру лакея Себастьян недолюбливал, все-таки не выходило у него должным образом угодничать, и тот единственный раз, когда пришлось играть слугу, ненаследный князь Вевельский едва не провалил задание.

Нет, не пойдет. Акторка подобного уровня фальшь почует издали.

...помощник штатного ведьмака?

...организатор?

...подсобный человечек?

...или бездельник, богатый, хорошего рода, но бестолковый, а потому к государственной службе непригодный. Небось, вокруг конкурсанток подобные бездельники роится станут... да, пожалуй, самая удобная маска...

— Легенда, — замялся Евстафий Елисеевич, пощипывая все три свои подбородка, которые покраснелись. — Ты, Себастьянушка, только не серчай... красавицей будешь.

— Кем?!

Сперва Себастьяну показалось, что он ослышался, пусть бы прежде и не жаловался он на проблемы со слухом, но мало ли... начальство оговорилось...

— Красавицей, — познаньский воевода повторил медленно и разборчиво. — Сиречь, конкурсанткой.

— Но я ж...

Евстафий Елисеевич руки вскинул, предупреждая возражения.

— Себастьянушка, сам подумай... она ж не дура, чай. И понимает, что на таких мероприятиях без акторов никак. Она со всеми мужиками настороже будет, просто на всякий случай. А вот конкурсантки — дело другое... тут и слабину дать можно. Сам же знаешь, что невозможно маску без продыху носить...

Нет, в словах Евстафия Елисеевича имелся определенный резон.

Но конкурсанткой...

— Да и подойти тебе надо так близенько, чтобы если не заглянуть под масочку, то узнать, чем каждая из красавиц дышит...

— Евстафий Елисеевич! — Себастьян привстал, опираясь на край стола. — Мне тут показалось, что вы забыли одно... немаловажное обстоятельство.

— Какое, Себастьянушка?

Начальство смотрело ласково. Можно сказать, с любовью.

— Я не девица...

...и с удивлением. Рыжеватые бровки Евстафия Елисеевича приподнялись, а следом и высокий лоб складочками пошел, и даже будто бы лысина.

— Я... конечно, способен менять внешность... — Себастьян говорил медленно, и только кончик хвоста цокал по серым папочкам, этак, раздражающе.

Но начальство раздражаться не спешило. Слушало.

Благосклонно.

С отеческим укором в очах и с печалью. Тоже отеческой, надо полагать.

— ...но не настолько радикально! Я эту маску и полчаса не удержу.

Выдохнул.

Хвост убрал и взгляд долу опустил, выражая полнейшее смирение.

Конкурсанткой?

Да ни в жизни!

— А если поможем? — поинтересовался Евстафий Елисеевич вкрадчиво. И ручки пухлые сложил на животе, не то язву прикрывая, не то просто, солидности ради.

— И чем же вы мне, уж простите, поможете?

— Всем, Себастьянушка... видишь ли, дорогой, старик наш очень оскорбился. Он ехал, спешил, дела позабросив, а князь возьми да и помри. Нехорошо вышло. Аврелий Яковлевич сие как личную обиду воспринял.

Себастьяна передернуло.

Со старейшим ведьмаком Королевства Познаньского он встречался лишь единожды, и воспоминания от встречи остались не самые приятные.

— Он же о тебе и вспомнил... и о той истории с душегубом... ты ж тогда девицей прикинулся...

...на свою голову, шею и кишки, которые пострадали более всего.

— Евстафий Елисеевич, — с должной долей почтения произнес Себастьян, верноподданически заглядывая в светлые начальственные очи. — Так я ведь только лицо менял...

...и то силенок на это ушло немеряно. Одно дело слегка черты подправить, нос там сделать шире или тоньше, щеки, скулы, и совсем другое — наново себя перекроить, чтоб не только мышцы, но и кости поплавало. Нет, тот свой давний опыт Себастьян вспоминал с содроганием.

И не только шрам был тому виной.

— Не переживай, Себастьянушка, — рука познаньского воеводы накрыла ладонь Себастьяна, сжала крепко. — Все сделаем. Будешь ты у нас девицей-красавицей, конкуренткам на зависть.

— Нет.

— Да, Себастьянушка, да...

— Вы смерти моей хотите?!

Ворвать руку не получилось. Пухлые пальчики Евстафия Елисеевича не даром уж двенадцатый год удерживали булаву воеводы...

— Не надо упрямиться. Ты ж сам понимаешь, что выбора у тебя нету... контракт, чай, подписал? Подписал. Кровью государю служить поклялся... а теперь дуришь.

— Евстафий Елисеевич!

— Что, Себастьянушка? — участливо поинтересовалось начальство, руку отпуская. — Ты не горячись, родной. Сам подумай...

Думал.

Напряженно, так, что спина зачесалась, на сей раз не от гвоздиков, но от пробивавшихся крыльев, которые демонстрировать Евстафию Елисеевичу было не с руки. Его и так хвост нервирует.

Хвост!

— А... — Себастьян положил аргумент на стол, и чешуя поспешила приобрести оттенок мореного дуба. — А хвост? От него при всем моем желании избавиться не выйдет.

— Что ты, дорогой, — всплеснул ручками познаньский воевода. — Хвост красоте не помеха! Под юбками спрячешь... ты уברי-то, уברי...

Он сам сдвинул хвост, взявшись осторожно, двумя пальчиками.

— Остальное я тоже под юбками спрячу? — мрачней поинтересовался Себастьян.

Он вдруг ясно осознал, что отвертеться не выйдет. И дело даже не в самой Евстафии Елисеевиче, который, верно, осознавал, в сколь непростое положение ставит подчиненного, но в том самом высочайшем доверии, обмануть которое было невозможно.

А еще в контракте, заключенном на крови уже не по надобности — родители давно уже смирились — но по традиции... вот эта традиция и аукается, чтоб ей...

...попробуешь отказаться — все одно заставят, но отказ припомнят, пусть и не сразу...

...и не только Себастьяну...

...небось, Евстафий Елисеевич многим поперек горла стоит со своей принципиальностью, совестью и происхождением. Нет, сам-то он никогда не скажет, не намекнет даже, но Себастьян, небось, взрослый, и без намеков разумеет.

Познаньский воевода вздохнул и с упреком произнес:

— Себастьянушка, неужто ты Старику не доверяешь? Сделает все в лучшем виде...

Главное, чтобы он потом этот «лучший» вид к исходному привел. А то ведь шуточки у старого мизантропа нехорошие...

— Не кручинься, Себастьянушка. Взгляни на это дело с другой стороны...

— Это с какой же?

— Месяц в компании первых красавиц Королевства... приглядишься, а там, как знать, и жену себе подыщешь...

...вот чего Себастьяну для полного счастья не хватает, так это жены.

— Ты ж у нас парень видный... и девица, чай, не хуже получится... — продолжал увещевать Евстафий Елисеевич.

Оставалась последняя надежда, благо, кое-что о конкурсе Себастьян все же знал.

Он поднялся.

И обошел огромный стол.

Евстафий Елисеевич наблюдал за маневрами подопечного с явной опаской, но вопросов не задавал. Себастьян же, покосившись на дверь, точно опасаясь, что признание его станет достоянием общественности, пусть сия общественность и состоит из одной лишь панны секретаря, произнес пронзительным шепотом.

— Евстафий Елисеевич, я должен вам признаться... — он стыдливо потупился, и черные длинные ресницы затрепетали. — Есть одно... обстоятельство... которое не позволит мне...

Себастьян говорил низким голосом, с придыханием. Девицы находили эту его манеру весьма волнительной, а вот познаньский воевода отчего-то густо покраснел.

— При всем моем желании... служить короне... — Себастьян испустил пронзительный вдох и, наклонившись к самому уху начальства, прошептал. — Я не девственник.

— Что?!

Евстафий Елисеевич аж подпрыгнул.

— Не девственник я, — покаянно опустил голову ненаследный князь, в данную минуту испытывавший глубочайшее и почти искреннее огорчение данным обстоятельством. — И уже давно.

— Тьфу на тебя! Я уж подумал... — познаньский воевода прижал руку к сердцу. — А он... выйдет когда-нибудь мне твое баловство боком, Себастьянушка.

— Так какое баловство?

Себастьян Вевельский на всякий случай отступил.

— Ежели вы, Евстафий Елисеевич, запомнили, то конкурс недаром называется «Познаньска дева». Невинность участниц проверять будут. Единорогом. Или и он при нашем ведомстве числится?

Познанский воевода фыркнул и, отерев платочком высокое чело бронзового государя, медленно с явным удовольствием произнес:

— Не волнуйся, Себастьянушка. Девственность мы тебе восстановим.

— Это как?

Ненаследный князь Вевельский подобрался.

На всякий случай.

— Ауры, дорогой мой, ауры... а ты о чем подумал?

Евстафий Елисеевич смотрел с насмешечкой. Весело ему...

— Единороги-то на ауру глядят, так что не бойся, под юбку тебе не полезет... единорог так точно не полезет, за остальных не поручусь.

— Издеваетесь?

— Упреждаю соблазны. А то мало ли... у девиц во дворце соблазнов хватает, — он потер залысину и иным, человеческим тоном, попросил. — Ты уж там сделай милость... пригляди за моею Лизанькой?

— И она?

Себастьян присел на краешек стула.

— И она... всю душу с матушкой своей выели... красавица же, — с затаенной гордостью произнес Евстафий Елисеевич. — И не хотел пускать, а... не пусти — слухи пойдут. Внимание. И ведь, окаянные, до Его Превосходительства с просьбами дошли... А генерал-губернатор и велели... мол, все одно вас больше обычного будет.

— Насколько больше?

— Считай сам, Себастьянушка. Десятка, которая по отбору прошла...

...от каждого воеводства по красавице.

— Лизанька одиннадцатую... — сие обстоятельство явно было не по нраву Евстафию Елисеевичу, который, быть может, и сумел бы возразить супружнице, но уж никак не генерал-губернатору, каковой самому королю родным дядькой приходился. — Двенадцатую — Алантриэль Лютинизелевна Ясноокая... ее матушка спонсорство конкурсу оказала... ну а тринадцатую — ты...

Тринадцать.

Хельмова дюжина красавиц, чтоб ее.

— Так что, Себастьянушка, — поинтересовался Евстафий Елисеевич. — Пойдешь с прототипом знакомиться?

Можно подумать, у него выбор есть.

Себастьян мрачно кивнул...

...прототип поселили в гостинице «Зависловка», давно уже облюбованную полицейским ведомством. Здесь, в почти по-казенному бедных номерах панночка Белопольска гляделась вполне естественно. Следовало признать, что была она чудо до чего хороша, и красоты ее не портило ни дрянного кроя чесучевое платье, ни шляпка, щедро украшенная тряпичными маками. Верно, шляпке, как и макам, исполнился не первый год, а потому лепестки их выцвели, а ленты обтрепались.

— Ой, представляете, а тут мне она и пишет! И дядечка еще так удивился, сказал, что она никогда-то нашу семью не любила, а тут пишет...

Панночке Тиане шляпка очень нравилась.

И номера.

И собеседник, который, правда, говорил очень мало, зато слушал внимательно. Даже за ручку взял и в глаза заглянул со значением. Нет, панночка Белопольска хоть и была провинциалкою,

но не была душой, что бы там не утверждала дядечкина супружница... и понимает, что от этих взглядов никакого вреда... она ж не на сеновал идти собирается. Вот если бы на сеновал пригласили, то она б отказалась!

А нумера...

...и тем более, что господин в полиции служит... конечно, она понимает все раскрепасно... в Познаньске все полицейские такие обходительные? А то прям оторопь берет...

— Евстафий Елисеевич, — прохрипел Себастьян, когда девица все же замолчала и удалилась по своей девичьей надобности в комнату смежную, с изображением ночного горшка на двери. — Вы за что меня ненавидите? Она... она же дура!

— Ну... у всех есть свои недостатки, — познаньский воевода отер вспотевший лоб. — Зато красивая... и рода подходящего... и кандидатура на самом верху согласована.

— А она? Если она...

— Ближайшие два месяца панночка Тиана проведет в очень уединенном поместье...

...надо полагать, принадлежащем той самой престарелой родственнице, которая неожиданно — явно, не без подсказки генерал-губернатора — вспомнила о троюродной внучатой племяннице...

Себастьян потер переносицу, чувствуя, что еще немного и он сорвется.

— Евстафий Елисеевич... вы же понимаете, что я не только внешность беру и...

— Понимаю, дорогой. Потерпи уж, — познаньский воевода вздохнул и похлопал Себастьяна по плечу. — Оно, может, и к лучшему, что дура... дуры не испугаются... ты, главное, себя за нею не потеряй.

И этот совет был частью давнего и известного лишь им двоим ритуала.

Как и мягкое:

— Ты уж поосторожней там, Себастьянушка.

Глава 4

В которой речь идет о превратностях судьбы и службы

Гавел Понтелеймончик дремал в кустах сирени. Оная наполняла тревожные сны Гавела тягучим ароматом, заставляя вздрагивать и крепче сжимать корпус старой камеры. Она давно нуждалась в починке, и собственное Гавела руководство не единожды намекала, что не след пренебрегать достижениями науки. Небось, новые «Никонсоны» изображение дают четкое, дальностью обладают немалой, да и крепкие, что немаловажно для «крысятника». Однако Гавел упорно хранил верность старенькой, купленной вскладчину еще «Канюше».

Он вздохнул, прижал нагретый корпус к щеке, и губы вытянул.

Снилась Гавелу прекрасная Лизанька, младшая дочь познаньского воеводы. И во сне Лизанька шурилась, улыбалась, кокетничая, и тянула белы рученьки к нему, к Гавелу, разглядев его тень по-за широкими плечами ненаследного князя. Надо сказать, что во сне Гавела присутствовал и

он, мешаясь объясниться с Лизанькой. А ведь в кои-то веки покинула Гавела обычное его смущение.

И заикание.

И не краснел он, стесняясь мятой своей одежонки, неуклюжести своей, никчемности.

— Вон пошел, — сказал Гавел ненаследному князю, а тот, вместо того, чтобы исчезнуть покорно — нечего по чужим снам шляться — раскрыл красный коленкорový рот и зашипел.

ТЬфу.

И примерещится же такое!

Не князь, но полосатый матерый кошка вперил в Гавела желтые глазищи. Скалился. Шерсть дыбил. И шипел, этак характерно, с завываниями, видать, конкурента почуял.

— Брысь, — чуть уверенней сказал Гавел, отползая в кусты.

Надо же, задремал, разморило яркое весеннее солнышко... эх, скажи кому, не поверят... а если поверят, то призадумаются, не постарел ли старый «крысятник», не утратил ли хватку...

Кошка спрыгнул на траву и, задрав хвост, удалился. Ступал он гордо, точно князь.

При мысли о князе, настроение в конец испортилось. Нет, нельзя сказать, чтобы Гавел, бессменный «крысятник», не раз и не два приносивший родному «Охальнику» свежайшие сплетни, недолюбливал князя Вевельского.

Хотя да, и недолюбливал тоже.

Он потянулся, чувствуя, как ноет поясница. И плечи затекли. И ноги. И шея, и даже голова... и вот когда и кем так заведено, что одному в кабинете сидеть, а другому — под окнами караулить?

Вздохнул Гавел, погладив обшарпанный бок верной камеры.

Ею он сделал первый удачный снимок, еще не князя — наследника и княжича Себастьяна Вевельского, о котором в свете ходили самые престранные слухи. Недаром же родители спрятали наследничка в родовом поместье, мол, здоровье у младенчика слабое... ничего, нашел Гавел, пробрался, сумел моментец удачный поймать, хотя после выхода газетенки в свет и бит был неизвестными.

К побоям-то он притерпелся быстро. Зато снимок горбатого хвостатого уродца, принес Гавелу законное место в штате «Охальника», сомнительного толка славу и деньги.

Правда, задержались они ненадолго... старуха, что б ей пусто было, никогда-то с деньгами управляться не умела. Только и ныла, все ей мало, все...

...сорок злотней просадила в три дня.

И еще претензию предъявила, мол, у других сыновья почтительные да при чинах, один Гавел в грязи копается.

Как есть в грязи.

Он и привык уже, притерпелся. Иная грязь, вон, и лечебной зовется...

Но все ж таки, видать, нынешний день был чересчур уж весенним, ясным, оттого и мысли лезли в голову нехарактерные. Опасные мыслишки... и обида застарелая голову подняла, расцвела колючим репейником. Как возможно такое, что одним все, а другим — ничего?

Почему Себастьяну суждено было князем родиться, а Гавелу — шестым и единственным выжившим мелкого купца, в конец разорившегося?

Несправедливо!

И несправедливость толкала Гавела подобраться ближе. За прошедшие годы он сроднился с князем, который, если и догадывался о существовании Гавела, то с княжьей небрежностью допускал себе его не замечать. И это тоже было оскорбительно. Небось, иные клиенты, Гавела заприметив, начинали кричать, а порой и спускали охрану... а этот... смеялся только.

Однажды и пятеркой злотней пожаловал за статейку о собственных похождениях, мол, написано живо, занимательно. Князь присоветовал даже сочинительством заняться, мол, за это всяк больше заплатят, чем за пересказ сплетен.

Издевался, сволочь хвостатая.

Благо, сирень ныне цвела пышно, поднимаясь до самых окон кабинета, в котором скрывался познаньский воевода. Сам по себе он был человеком скучным, в плане сплетен совершенно бесперспективным, чего не скажешь о старшем актере...

...зависть?

А хоть бы и так. Да и то, разве мало поводов?

Себастьян Вевельский был богат.

А Гавел каждый медень считал...

Себастьян Вевельский был любим.

А Гавела отовсюду гнали, точно пса лишайного...

Себастьян Вевельский мог получить любую женщину, взгляда хватало, а Гавел...

...он вздохнул, изгоняя из сердца образ Лизаньки. К чему пустые мечтания? Опасное это дело... болезненное. И сердце растревоженное разнылось. Лизанька, Лизанька, пресветлое создание... никак сама Иржена-заступница поставила тебя на пути Гавела, дабы задумался, окаянный, о жизни своей.

Он и задумался.

Дрянной выходила жизнь... что у него есть? Конура на улице Пекарей, дешевая, под самую крышей. И когда по весне голуби ворковать начинают, то сквозь крышу слышно и воркование, и цокот голубиных коготков, и хриплые кошачьи вопли. От воплей просыпается старуха, которую Гавел и в мыслях своих матерью не называет. Она сползает с кровати и тянется за палкою...

— Гавел! — кричит и палкою по стене лупит. — Ты где, песий потрох?

Старуха требует зеркало.

И парчовый халат, коими забит старый шкаф. Собственная Гавеловская одежонка, купленная в хиврейском квартале за пару медней — невзрачная, зато прочная и стирать легко — ютится в коробке под кроватью. А кровать — в темном углу, за ширмочкой, чтоб видом своим Гавел не смущал старушечьего взора. Взор у ней острый. И нюх на деньги... сколько Гавел ни прятал — всегда находила. А найти не сумея, принималась ныть, причитать, скандалить... и главное, ведь чуяла, когда есть у него сребень-другой в заначке...

...и ныне потребовала лавандового мыла купить, да не дешевого, а из лавки Соболевского. Страшно подумать, сколько за него запросят. К мылу же полотенчику новое нужно. И крем для лица на норочьем жиру, средство, чтобы седину закрасить... воск для волос.

Перечень, написанный аккуратным старушечьим почерком, лежал в кармане Гавела, самым своим наличием ввергая в тоску. Попробуй не принеси или купи иное что, подешевле. Вой будет стоять на весь дом... а их и так грозились выгнать... и куда идти?

Некуда.

Никому-то помимо начальства своего он, Гавел, не нужен. Да и начальство ценит, лишь пока носит Гавел ему крупницы сплетен свежайших, тиражи поднимает. И носит, и чует, что подпирают сзади молодые да ранние, жадные до чужой славы.

Беспринципные.

Смешно, конечно, о принципах заговаривать, но были они у Гавела. Разве ж сказал он слово о той барышне, в затруднительную ситуацию попавшей? И ведь племянница самого генерал-губернатора, который громко о падении нравов говорит... знатный скандал бы вышел. И никто б не поверил, что дурочка шестнадцатилетняя на афериста нарвалась, поверила в сказку о любви...

...ни словом не обмолвился о той истории Гавел.

И Себастьян Вевельский, девицу в родные пенаты доставивший, промолчал. Сия общая тайна, сроднившая Гавела с ненаследным князем, грела душу.

...а вот Агашка, тот бы шанса не упустил...

И не упустит.

Стареет Гавел.

Его камера немало боевых шрамов носит, и наступит время, когда подвинут его... куда тогда идти? Разве что и вправду в сочинители. Да много ли насочиняешь, когда стенает под ухом безумная старушенция о загубленной своей жизни, о молодости, о старости никчемной...

Жалко себя стало.

Просто таки до слез... Гавел-то до ее годков навряд ли доживет. Сколько раз его учили? Порой после выхода номера, а бывало, что и так, на всякий случай, силясь упредить скандал. Бывало и ребра ломали, и почки отбивали, и прочее нутро да так, что лежа лежал Гавел, едино желая, сдохнуть сей же час. А сколько ночей он провел в кустах ли, в канавах, под снегом и дождем, дожидаясь того самого снимка, который...

...уйдет на притирания.

Или байковые тапочки с золотой каймой. Шубу лисью. Только-только расплатился, а она уже новую требует, мол, кости старые болят. Только уже лисою не обойдется, норку подавай... а то и вовсе соболей... и ведь пока жива — а помирать старуха в ближайшем будущем не собиралась — не отступится.

— Эй, как вас там, — нежный голосок весенним ветром ворвался в мрачные мысли Гавела. — Вы сторожите, да?

— Да, — шепотом ответил он, не смея спугнуть прекрасное виденье. Над ним в короне солнечного света возвышалась сама Лизанька, дева полуночных грез.

— И давно сидите? — поинтересовалась она, и Гавел, не смея оскорбить деву ложью, вытащил дрянные часики. Глянул на поблекший циферблат и поняв, что и вправду сидит давно. А хуже того — впустую, что при его профессии вовсе недопустимо.

— Третий час уже...

— Печально как, — с сочувствием сказала Лизанька. — Вам, наверное, тяжело приходится...

Никто и никогда не сочувствовал Гавелу.

— А вы... — она замялась, не зная, как облечь в слова просьбу, — отойти... ненадолго... видите ли, мне очень нужно с вами поговорить.

И порозовела так стыдливо.

Гавел кивнул.

Поговорить? С ним?

На него, случалось, орали... и кидались с кулаками... собак спускали еще... охрану... охрану с собаками вместе... и швыряли, чем не попадя... правда, попадали, как правило, вещицы пустые, но однажды прилетел золотой с рубинами портсигар, который Гавел счел законной добычей.

Но вот говорить...

...и чтобы сама...

Неужели Иржена-заступница сирых да убогих обратила свой взор милостивый на старого крысятника? И все ж таки робкий голос разума отрезвлял, нашептывая, что сия любезность неспроста. И нет-то в Лизаньке ничего-то необыкновенного, да, юна, да, прекрасна, но Гавелу ли дело до ее красоты?

И из кустов Гавел выбирался в сомнениях, а еще поясница разболелась некстати...

Пахло от Лизаньки тем самым лавандовым мылом, по серебню за махонький кусочек. И небось, ее-то волосам краска без надобности, как перья, бусины и прочие ухищрения, столь любимые старухой. Лизанька и с простой косой, короною уложенной, хороша...

Прелестница.

Гавел не смел разглядывать ее, разве что искоса, профессионально подмечая ракурс, при котором сие очаровательное личико утратит томную свою нежность. А опыт подсказывал, что у каждого человека подобные ракурсы имелись. У одних — больше, у других — меньше. И Гавеловская камера в умелых руках находила их столь же верно, как шляхецкая шпага прорехи в чужой обороне.

...было время, когда Гавел, еще не погрязший в грязи чужих жизней, думал о себе именно как о рыцаре, пускай не с сияющим мечом, но со старой камерой... а что, разве не вскрывает он доспехи лицемерия, выставляя наизнанку отвратное изъязвленное нутро... чье?

А чье придется.

Точнее, за чье заплатят.

Да, забавное было время... жаль, ушло.

— Вы... не откажетесь прогуляться со мной? — поинтересовалась Лизанька, сама отступая. — Видите ли, у меня к вам дело имеется, но...

— Вам бы не хотелось, чтобы нас видели? — Гавел кивнул.

Что ж, он умел становиться незаметным. И знал тысячу мест, где можно было спрятаться от внимательного взгляда... одно из них находилось неподалеку.

Лизанька следовала молча, в шагах пяти, делая вид, что прогуливается... и кружевной зонтик над ее головой покачивался, и кружевная тень ложилась под ноги... и юбки колыхались... и вся-то она, бледная дева, была ясной, светлой, как несбывшаяся мечта...

Гавел старался идти прямо, но поясница ныла, и колено нехорошо постреливало... ногу ему сломали за ту историю о супружнице князя Вельколесского и ее любовниках... а ведь чистая правда... Гавел вообще писал чистую правду.

Во всяком случае, старался.

Лизанька старалась не морщиться, до того неприятное впечатление производил человек, которого она собиралась нанять. Невысокий, сутуловатый, какой-то весь скукоженный и в одежонке дрянной бурого колеру.

Он был жалок.

В этих чрезмерно широких штанах, прихваченных узким поясом. В коротком пиджачишке, из-под которого выбивалась серая рубашка. Она пузырем повисала над штанами, и хлопала на ветру...

Себастьян никогда не позволял себе выглядеть дурно.

Лизанька вздохнула: на что только ради любви не пойдешь? Даже на сделку с личностью столь ничтожной, как Гавел...

О да, имя своего поклонника она знала прекрасно, как и то, что сей ничтожный человечиска в нее, Лизаньку, влюблен без памяти. Последнее обстоятельство в Лизанькином представлении не было чем-то удивительным.

Разве не хороша она?

Хороша. Высока, тонка в кости, с талией, которую двумя пальчиками обхватить можно, с грудью высокой. И ноги длинные, хоть под юбками и не видать. И лицо аккуратное, пусть бы сестрицы старшие утверждают, что обыкновенное оно, но то — из зависти. Да, черты простоваты, но зато кожа фарфоровая, белая и волос светлый, а блонд в нынешнем сезоне — это модно, тем паче, когда натуральный. Глаза вот серые. Скучный цвет, папенькиного мундира и его заведения, которое Лизанька втайне недолюбливала.

Дочь воеводы... подумаешь.

Следует сказать, что к своим семнадцати годам Лизанька Евстафиевна пребывала в той счастливой уверенности, что жизнь ее непременно сложится самым расчудесным образом. Уверенность сия в целом была свойственна особам юным и одаренным, а уж Лизанька и вовсе мыслила себя невероятно удачливой. Пусть и не блистала она особыми талантами, с чем бы матушка ее, Данута Збигневна, в корне не согласилась бы, зато знала, что пришла в этот мир не просто так, но за ради судьбы исключительной.

Дело в том, что уродилась Лизанька Евстафиевна необыкновенной красавицей. И матушка ее, взяв младенчика на руки, прослезилась от умиления, до того очарователен он был той особой карамельной-сливочною детской красотой, что характерна для новорожденных.

— Разве ж она не прелестна? — громко и с надрывом вопрошала Данута Збигневна, всем демонстрируя укутанную в кружевные простыни дочь. И все вокруг, и старшие дочери, и супруг, и сестрица троюродная, баба дурная завистливая, и даже повитуха, перевидавшая на своем веку немало розовых детских попок, соглашались, что Лизанька хороша необыкновенно.

Правда добавляли, дескать, сия красота — нестойкого свойства.

Из зависти.

На всякий случай Данута Збигневна повязала на дочерину ручку красную нитку, а еще трусами своими отерла, от сглазу. Помогла ли нитка, трусы или же сама природа, столь щедро одарившая Лизаньку, но росла она окруженная всеобщей любовью, постепенно привыкая и к ней, и к осознанию собственной исключительности.

— Ах, ее ждет совершенно удивительное будущее, — предсказывала Данута Збигневна, раскидывая карты. Как-никак собственная ее прабабка, коль семейной легенде верить, была настоящею цыганкой. Оттого и мнила себя Данута Збигневна, если не предсказательницей, то уж всяко особой, способной истолковать знаки судьбы. И по всему выпадал драгоценной Лизаньке ни много, ни мало — червовый король, верный знак удачливого замужества.

На упертую даму трэф, наглуую, с лукавым прищуром рисованных глаз, Данута Збигневна старательно не обращала внимания. Только ловкие пальчики воеводиной супруги сами собой подхватывали окаянную карту, норовя засунуть ее в колоду, к шестеркам и прочей мелочи, где разлучнице было самое место. Она же, прячась, при новом раскладе норовила вновь лечь подле белокурого короля...

— Дурной знак, — качала головой завидушая троюродная сестрица, сама-то овдовевшая рано, бездетная и оттого на весь мир разобиженная. — Вот поглядишь, разладит она девке свадьбу.

И костяным длинным ногтем стучала по лбу коварной дамы. А та, знай себе, улыбается этак презрительно, глаза щурит... Хельмово отродье.

— Посмотрим, — отвечала Данута Збигневна, всерьез подумывая о том, чтобы треклятую даму спалить. А заодно поставить в храме Иржены свечку да потолще, и цветочный венок купить... на удачу.

Впрочем, в деле замужества на одну удачу рассчитывать не следовало.

И к вопросу будущего Лизанькиного брака Данута Збигневна подошла со всей серьезностью. Раз за разом окидывала она орлиным взором окружение, что свое, что мужа. Он же лишь посмеивался, скучный казенный человек, до самого нутра пропитавшийся канцелярским духом.

— Лизанька выйдет замуж за шляхтича, — однажды заявила Данута Збигневна, разложив на новой, красными петушками расшитой скатерти, карты. Упрямую даму трэф она заблаговременно выкинула из колоды, и из памяти. — Вот посмотришь...

Червовая дама хорошо гляделась рядом с червовым же королем.

Умилительно.

Супруг молчал, глядя, как ловко управляют с колодой женины пальчики. Знал, что не след ей мешать в тонком деле.

— Точно за шляхтича, — Данута Збигневна погладила рисованную корону, и почудилось, как поморщился король. — Быть может, даже за князя...

Она бросила быстрый взгляд на супруга: понял ли намек?

Имелся у любезного Евстафия Елисеевича в подчинении цельный князь... конечно, ненаследный, что, несомненно, минус, но состоятельный и холостой, что, конечно, плюс. Евстафий Елисеевич, уж на что черствая личность, к намекам невосприимчивая, понял, покраснел густо и ущипнул себя за переносицу.

— Дануточка, — сказал он скучным голосом, — Лизаньке еще рано о замужестве думать.

— О замужестве думать никогда не рано, — отрезала Данута Збигневна.

Да, молода ее доченька, кровиночка родная, всего-то тринадцатый годок пошел. Но где тринадцать, там и четырнадцать... и шестнадцать, самый он, невестин возраст.

Главное, чтоб к этому времени перспективного жениха, которого Данута Збигневна в мыслях уже полагала зятем, не увели. Надо ли говорить, что к идее супруги Евстафий Елисеевич отнесся без должного понимания? Он пытался увещевать Дануту Збигневну, рассказывая о вещах глубоко вторичных, навроде социального статуса и собственных карьерных перспектив, каковые, положив руку на сердце, были безрадостны.

Воеводой он стал, а выше... без титула не пустят.

А титул не дадут.

То-то и оно, да и стоит ли его карьера Лизанькиного счастья?

И разве ж многого от него требуют? Сводничать ли? Или же зелье приворотное — была у Дануты Збигневны и подобная идея, воплотить коию она не посмела ввиду полнейшей незаконности — в чай подливать? Нет, о малом просят, пригласить Себастьянушку на обед... и

на ужин... и на именины Лизанькины, раз уж ей шестнадцать исполнилось... и на Ирженин день... на Вотанову неделю в имение, купленное еще батюшкой Дануты Збигневны...

Сколько приглашать?

А столько, сколько понадобится, чтобы разглядел упрямый князь неземную Лизанькину красоту...

Евстафий Елисеевич кряхтел, отворачивался от причитаний супруги, краснел, глядя в серые очи единственной дочери, которая не причитала, но лишь вздыхала и прижимала к очам сим кружевной платочек... и соглашался.

Приглашал.

И не отступал от драгоценного Себастьянушки ни на шаг, будто бы опасался, что навредят ему. А потом еще выговаривал, дескать, ведет себя Лизанька непотребно, на шею вешается. А Данута Збигневна и потекает. Во-первых, не вешалась она, а споткнулась, пускай и на ровном месте. Дурно девочке стало, а Себастьянушка возьми и подхвати ее, сомлевшую, на руки... сразу видно, что князь, человек в высшей степени обходительный. А во-вторых, время нынче такое — вовремя не повиснешь на нужной шее, так всю оставшуюся жизнь и будешь пешком ходить.

И добре, что сама Лизанька распрекрасно сие понимает.

— Простите, нам еще далеко? — она очаровательно улыбнулась, поудобней перехватив ридикюль. Несмотря на обманчиво малые размеры, сумочка вмещала в себя не только зеркальце но и Книгу Иржены в серебряном окладе, отрадно увесистую. Не то, чтобы Лизанька опасалась провожатого — о нем и батюшка сказывал, что Гавел, хоть и сволочь изрядная, но с принципами — однако с книгою чувствовала себя уверенней.

Тем паче, что место и вправду было глухим.

В этой части парка, к которой примыкала Девичья аллея, было безлюдно. Если сюда и заглядывали, то коллежские ассессоры из близлежащей коллегии в поиске тихого местечка, где можно было бы неторопливо вкусить прихваченный из дому бутерброд. Под вечер здесь объявлялись студенты, коим требовался глухой угол, дабы вкусить отнюдь не бутерброд, но крамольных стишат за сочинительством Демушки Бедного либо же русских воззваний, каковые, надо полагать, неплохо заходили под дешевый потрвейн и опиумные сигаретки.

За студентами приглядывали канцелярские соглядатаи, которые сами не чурались ни сигареток, ни опыта, а порой и не брезговали заводить скороспелые романчики с вольнодумными девицами из числа самых благонадежных... Впрочем, в сей ранний час парк, как говорилось, был приятно безлюден.

— Да... — Гавел оглянулся, профессиональным взглядом оценив и панораму, и Лизаньку, столь удачно вставшую под развесистым кленом. — Можно и тут.

Он смутился и плечом дернул.

...ах, если бы батюшка не отказался помогать... упрямый он.

— Вы... вы ведь знаете, что скоро состоится конкурс? — Лизанька вооружилась платочком.

В свои шестнадцать с толикой лет, она твердо усвоила, что в умелых руках батистовый платочек — смертельное оружие...

И даже батюшка, уж на что упрям был, не устоял.

...правда, может, не в платочке дело, а в генерал-губернаторе, к которому маменька обратилась. Она-то за ради дочериного счастья горы свернет.

Гавел же кивнул и насупился. Обеими руками он держал камеру, и Лизанька не могла отделаться от ощущения, что в нее целятся. Черный глаз камеры глядел пристально...

— И я... так уж получилось, что я буду принимать участие, — Лизанька прижала руки к груди, по мнению батюшки чересчур уж обнаженной, хоть и прикрытой легким кружевным шарфом. — Вы не представляете, чего мне это стоило...

...неделя вздохов и три дня слез.

Отказ от еды.

Упрямое молчание и неизменно скорбное выражение лица, которое, впрочем, на Евстафия Елисеевича действовало плохо. Он держался, как Белая башня под росской атакой, сделавшись глухим к просьбам, мольбам и маменькиным уговорам...

...а вот супротив генерал-губернатора не пошел.

— ...и я осознаю, что сие против правил... но вы же понимаете, что я не могу отпустить его одного! — воскликнула Лизанька, смахивая платочком несуществующие слезы.

Гавел кивнул и помрачнел.

— Я... я с детства его люблю!

— Себастьяна? — уточнил Гавел скрипучим голосом, заставившим Лизаньку поморщиться. Мысленно, конечно, мысленно...

— Его... я понимаю, сколь просьба моя необычна, но... я узнала, что Себастьяна отправляют курировать конкурс...

— Что? — Гавел насторожился и подался вперед, сделавшись похожей на старую охотничью собаку, из тех, которых держит дедушка, не столько из любви к охоте, сколько из провинциальной уверенности, будто бы псарни и пролетка — необходимые для состоятельного человека вещи.

Воспоминание о дедушке, матушкином отце, человеке суровом, обладавшем состоянием, окладистой бородой и препаскуднейшим нравом, Лизонька решительно отогнала.

После подумается.

— Ах, я не знаю... это все батюшкины дела... секретные...

Гавел подобрался.

— Мне лишь известно, что Себастьян будет на этом конкурсе... работать... под прикрытием...

...естественно, Евстафий Елисеевич не имел дурной привычки посвящать домашних в дела государственные, однако же по наивности своей он полагал, что драгоценная супруга его в достаточной мере благоразумна, дабы не совать нос в мужнины бумаги. И был в общем-то прав...

До государственных тайн Дануте Збигневне не было дела.

А вот до Лизанькиного будущего — было.

— Под прикрытием, — с расстановкой повторил Гавел и прищурился. Глядел он нехорошо, точно выискивал в Лизаньке недостатки.

— Да... и я... я подумала, что должна быть рядом с ним...

Молчит, невозможный человек.

Ждет.

— Там ведь будут женщины... и красивые... возможно, красивей меня, — это признание далось Лизаньке с немалым трудом. — И как знать, на что они способны, чтобы...

...выйти замуж.

— ...чтобы добиться своего... а Себастьян такой наивный... беззащитный...

Лизанька едва не прослезилась, представив своего жениха, ладно, почти своего жениха, в объятьях роковой красавицы...

— Он вас не любит, — мрачней, сказал Гавел.

— Пока не любит, — уточнила Лизанька, испытывая глухое раздражение.

Черствые люди ее окружают.

Не способные оценить прекрасные порывы юной души... а Лизанька, между прочим, ради князя на клавикордах играть научилась и джем варить яблочный, с корицею...

И даже прочла четыре книги.

Три о любви, и четвертую про сто способов добиться желаемого.

— Я... я знаю, что девушка из хорошей семьи не должна вести себя подобным образом... что мне надо бы сидеть и ждать, пока на меня обратят внимание... и смириться, если не обратят... — сейчас Лизанька говорила почти искренне, подобное положение дел, которое именовалось «хорошим воспитанием» раздражало ее неимоверно. — Но я так не могу...

Гавел кивнул.

...как можно быть настолько безэмоциональным? Зря что ли Лизанька распинается?

— Я должна сделать что-то, чтобы он обратил на меня внимание! Чтобы увидел, что я — не ребенок... что люблю его всем сердцем...

В это Лизанька совершенно искренне верила.

В конце концов, в кого ей еще влюбляться? В папенькиного ординарца? Он, конечно, молод, но бесперспективен, хотя осторожное стыдливое даже внимание его Лизоньке льстит.

Взгляды пылкие.

И букетики незабудок, синей ленточкой перевязанные, которые появляются на столе с молчаливого маменькиного попустительства. Знает Данута Збигневна, что на большее ординарец не осмелится. Да и Лизанька не столь глупа, чтобы в неподходящего человека влюбиться.

— И чего вы хотите, панна Элизавета? — спросил Гавел, цепляясь за камеру.

— Помощи.

— Какой?

— Вы... вы ведь тоже там будете? — Лизаньку утомил и разговор, и человек этот с цепким взглядом... вдруг да и вправду увидел изъян в совершенном Лизанькином образе? — Знаю, что будете... для вас не существует запертых дверей...

...толика лести еще никому не вредила.

— ...папенька говорит, что нет второго такого...

...она запнулась, потому что вряд ли выражение «скользкого ублюдка» подобало случаю.

— ...находчивого репортера, как вы...

Гавел кивнул.

— И я полагаю, что вы сможете... проследить за Себастьяном... вычислить, под какой личиной он скрывается...

...Лизанька надеялась, что ей самой достанет наблюдательности. Ну или любящее сердце, на которое она рассчитывала куда меньше, нежели на маменькино умение забираться в сейф Евстафия Елисеевича, подскажет.

— ...и дать мне знак...

— И что взамен?

Корыстный человек.

Впрочем, Лизанька не надеялась, что ее невольному сообщнику достанет воспитания оказать услугу бесплатно.

— Сколько вы хотите? — деловито поинтересовалась она, надеясь, что прихваченных из дому десяти злотней хватит.

— Пять злотней, — Гавел смутился.

Все-таки любовь... светлое видение... и пусть сердце Лизаньки принадлежало ненаследному князю, но... нехорошо как-то у любимого человека за пустяковую службу денег испрашивать.

Однако лежал в кармане заветный старухин список.

И последних сребней на него не хватит... а еще бы поест нормально... и к докторусу заглянуть за желудочной настойкой, без которой, Гавел чуял, в ближайшие дни придется туго.

Лизанька торговаться не стала, выдохнула с явным облегчением и, открыв ридикюльчик, вытащила кошель.

— И сплетни мои, — Гавел смотрел, как ловко нежными пальчиками своими она перебирает монеты.

Пять злотней, увесистых, новеньких, упали в ладонь.

— Сплетни?

Лизанька нахмурилась.

Все ж издали, молчащая, она была куда как более очаровательна. В нежном Лизанькином голоске нет-нет да проскальзывали знакомые ноты...

Чудится.

Совсем его старуха допекла... и Гавел, присев, стянул с ноги ботинок.

— Сплетни, — повторил он. — Слухи. Все, что у вас выйдет узнать о конкурсантках...

Ему было неловко, что приходится втягивать Лизаньку в подобную грязь, но разве ж мог Гавел упустить подобный случай? Опыт подсказывал, что раз уж нынешним конкурсом заинтересовался познаньский воевода, да не просто заинтересовался, но отрядил лучшего своего актора, то следует ждать сенсации...

— Чем... скандальней, тем лучше, — Гавел четыре монеты из пяти спрятал в ботинке, под стелькой. Сей тайник он сам придумал, впервые оказавшись в полиции, где был побит, обобран и обвинен в сопротивлении властям.

Обвинение спустя сутки сняли, а вот деньги канули безвестно.

— И... — Лизанька с интересом наблюдала за манипуляциями странного человека, который не стал ничуть приятней. — Если я узнаю что-то... вы напечатаете?

— «Охальник» напечатает, — поправил ее Гавел.

Лизанька только плечиком дернула, особой разницы она не усматривала, но идея показалась перспективной...

Сплетни?

Поскандальней? Уж Лизанька постарается... Недаром маменька повторяет, что на любви, как и на войне, все средства хороши.

Лизанька улыбнулась.

Она станет княжной... всенепременно станет...

О коварных планах дочери познаньского воеводы Себастьян, конечно, догадывался. И планы сии время от времени доставляли ему немалые неудобства. Однако в настоящий момент занят он был делом иным.

Государственной важности.

Почти.

— Выходи, Себастьянушка, — ласковый голос Евстафия Елисеевича проникал за тонкую дверь ванной, заставляя Себастьяна вздрагивать.

— Выходи, выходи, — вторил познаньскому воеводе Аврелий Яковлевич.

Старик мерзко хихикал.

Весело ему.

Нигилист несчастный...

— Не могу, — Себастьян поплотнее завернулся в простыню.

— Почему?

— Я стесняюсь.

Простыня была тонкой и бесстыдно обрисовывала изгибы Себастьяновой фигуры. Нет, следовало признаться, что при всем своей благоприобретенной мизантропии старик дело знал.

И силы в Себастьянову трансформацию вкачал немеряно. А панночка Тиана Белопольска, избавленная от ужасающего своего наряда, оказалась чудо до чего хороша.

Ах, какие вышли ноги...

...на таких ногах Себастьян сам бы женился.

А грудь? Не грудь, а загляденье... и талия тонка... и задница на месте... и даже хвост изменился согласно новому образу, сделавшись тоньше, изящней. На конце же проклюнулась белая кисточка, донельзя напоминавшая Себастьяну любимую матушкину пуховку.

Начальство молчало.

Себастьян держался одной рукой за простынь, другой — за ручку двери, потому как молчание это ему казалось крайне подозрительным.

— И чего же ты, свет мой, стесняешься? — гулким басом поинтересовался Аврелий Яковлевич, к двери приникая.

— Вы глазеть станете.

— Станем, всенепременно станем, — уверил маг и в дверь стукнул. Легонько. Кулаком. Вот только кулаки у Аврелия Яковлевича были пудовые.

— Себастьянушка, — познаньский воевода отступил, решив воззвать к голосу разума, который твердил Себастьяну, что ручку двери отпускать не стоит. — Мы же должны увериться, что

превращение прошло... успешно.

— А если на слово?

Аврелий Яковлевич громко фыркнул и, пнув хлипкую дверь, которая от пинка треснула, велел:

— Выходи немедленно...

— Себастьянушка, ну что ты смущаешься... все ж свои...

...свои в данный момент Себастьяна пугали ничуть не меньше, чем чужие, пусть и существовавшие пока сугубо в теории.

Но ручку он выпустил.

— ...что ты ведешь себя, аки девица, — продолжил увещевать познаньский воевода.

— А я и есть девица, — мстительно отозвался Себастьян Вевельский, повыше поднимая простынку, которая норовила съехать самым что ни на есть предательским образом.

— Ты прежде всего — старший актер воеводства Познаньского и верноподданный Его Величества...

На подобный аргумент возражений не нашлось, и Себастьян, придерживая простынь уже обеими руками, вышел.

В небольшой и единственной комнате конспиративной квартиры воцарилось молчание.

Недружелюбно молчал ненаследный князь Вавельский, пытаясь правым глазом смотреть на начальство — и пусть прочтет оно в этом глазу всю бездну негодования и вселенскую тоску, глядишь, и усовестится. Глаз же левый зацепился за Аврелия Яковлевича, который вроде бы ничего не делал, но не делал он это как-то слишком уж нарочито.

С показным равнодушием.

Стоял себе над секретером, теребил включенную бороду.

Усмехался...

— Видишь, Себастьянушка, — начальство, если и истолковало взгляд верно, то усовеститься не спешило. Напротив, подступало медленно, с неясными намерениями. — Не все так и страшно...

— Не люблю баб, — поспешил добавить Аврелий Яковлевич. — Все дуры.

Себастьян обиделся.

Так, на всякий случай.

И в простыньку вцепился, поинтересовавшись севшим голосом:

— Евстафий Елисеевич, а что это вы делаете?

Познаньский воевода, успевший ухватить простынь за краешек, застыл.

И покраснел.

Наверное, тоже на всякий случай.

— Так ведь... Себастьянушка... ты закутался... ничего и не видно.

— А что должно быть видно?

— Дура, — добавил старый маг и, вытащив из-за спины солидную трость, больше дубинку напоминавшую, ткнул в Себастьяна. — Как есть дура.

— Сами вы, Аврелий Яковлевич, дура...

Ведьмак лишь хмыкнул.

А Евстафий Елисеевич, смахнувши со лба крупные капли пота, жалобно произнес:

— Да мы только взглянем!

Нет, в словах познаньского воеводы имелся резон, и хоть бы изрядно замызганное зеркало в ванной позволило Себастьяну осмотреть себя, но... мало ли, чем обернется чужая сила, переплавившая тело?

И амулетик, надежно вросший в левую лопатку — Аврелий Яковлевич клятвенно обещал, что сие исключительно временная мера, и после амулетик он вынет, не из любви к Себастьяну, но потому как не имеет привычки ценными вещами разбрасываться — ощущался. Себастьяна тянуло потрогать, убедиться, что не причудилась ему горячая горошина под кожей, но он терпел, понимая — нельзя.

Правда, терпение дурно сказывалось на характере.

А может, чужая личина, столь подозрительно легко воспроизведенная, характер показывала. И оттого Себастьян, легонько хлопнув по начальничьим пальцам, произнес капризно:

— Все вы так говорите! Сначала только взглянуть, потом только потрогать... глазом моргнуть не успеешь, как останешься одна и с тремя детьми.

Евстафий Елисеевич густо покраснел, ведьмак же снова хмыкнул и, вцепившись в бороду, выдрал три волосинки, которые бросил Себастьяну под ноги, что-то забормотал... волосы растаяли, а спину обдало холодком. Хвост же зачесался, избавляясь от редких чешуек.

— Видишь, Себастьянушка... а если на конкурсе чего проклюнется? Рога к примеру... или крылья... стой смирно.

С хвостом и крыльями Себастьян как-нибудь без посторонней помощи управится. А вот что горошина амулета жаром плеснула, это да... плеснула и исчезла, растворившись под кожей.

— Евстафий Елисеевич! Я Дануте Збигневне пожалеюсь, что вы ко мне пристааете!

Начальство простынку выпустило, но тут же, смущение поборов, вновь вцепилось, резонно заметив:

— Не поверит она тебе, Себастьянушка...

— Посмотрим, — Себастьян попытался вывернуться, но комнатуха была малой, ко всему заставленной мебелью. — Я вот завтра заявлюсь в этом самом виде... и скажу, что вы меня

соблазнили!

Подобного коварства от старшего актора Евстафий Елисеевич не ожидал. И ободренный замешательством, Себастьян продолжил.

— Соблазнили. Лишили чести девичьей... а жениться отказываетесь!

— Так я ж...

Евстафий Елисеевич, видимо живо представив себе и сцену объяснения Себастьяна с дражайшей Данутой Збигневной, побагровел и схватился за живот. Никак язва, оценив перспективы, последующие за объяснением, ожила.

— Не отказываетесь? — в черных очах Себастьяна вспыхнула надежда. — Я знала, Евстафий Елисеевич, что вы порядочный человек!

Темноволосая красавица протянула руки, желая заключить познаньского воеводу в объятия, и простынка соскользнула с высокой груди...

— Я... — Евстафий Елисеевич считал себя человеком семейным, и супруге своей никогда-то не изменял... а теперь и вовсе, забыв об изначальных намерениях, попятился от этой самой груди взгляд старательно отводя. До самой двери пятился, и прижавшись к ней, выставил перед собой зонтик, забытый кем-то из акторов. — Я женат!

— Разведетесь.

— Я жену свою люблю!

— А меня? — красавица часто заморгала, а по смуглой щеке ее поползла слеза. — Вы мне врали, Евстафий Елисеевич, когда говорили, что любите меня?

— Когда это я такое говорил?

— Когда орден вручали, — мстительно напомнила панночка Белопольска. — Так и сказали, люблю я тебя, Себастьянушка... неужто позабыли?

Сей эпизод в своей жизни, сопряженный с немалым количеством вевелевки, выставленной Себастьяном по случаю ордена, Евстафий Елисеевич желал бы вычеркнуть из памяти.

— И еще говорили, что я — отрада души вашей... свет в окошке... надежда... говорили ведь?

Говорил. Был за познаньским воеводой подобный грешок: в подпитии он становился многословен и сентиментален...

— Вот! Говорили. А жениться, значит, не хотите. Попользовались и бросили... обесчестив!

— Прекрати! — рявкнул Евстафий Елисеевич, приходя в себя. — Что за балаган...

— Не люблю баб, — Аврлий Яковлевич с явным удовольствием разглядывал дело рук своих. — Стервы они. И истерички.

Поразмыслив, следить Гавел решил не за ненаследным князем, каковой к слежке был весьма чувствителен, но за познаньским воеводой. Конечно, и тот был актором, но давно, и успел

привыкнуть к существованию кабинетному, спокойному, избавленному от докучливого внимания людишек.

И ныне привычка сия подвела Евстафия Елисеевича.

Он покинул управление, отказавшись от служебной пролетки, но кликнув извозчика. И Гавелу немало пришлось постараться, чтобы не выпустить из поля зрения пролетку, каковых на улицах Познаньска было великое множество.

Экипаж сей высадил Евстафия Елисеевича на перекрестке, и познаньский воевода, поправив котелок, каковой прикрывал обильную лысину, бодрым шагом двинулся по улочке.

Впрочем, Гавел уже понял, куда тот идет.

О конспиративной квартире, расположенной на третьем этаже доходного дома, Гавел знал давно, но знание это, как и многую другую информацию, которую случалось добыть, он держал при себе.

Пригодится.

Пригодилось. И сухонькая старушка, обретавшаяся этажом выше, Гавела вспомнила.

— Два сребня, — сказала она с порога, безбожно задирая цену. — Вперед.

Пришлось отсчитать монеты, и старуха разглядывала каждую пристально, разве что на зуб не пробовала, да и то лишь потому, что зубы свои давным-давно растеряла. Наконец, сыпав горсть медяков в кошель, а кошель упрятав в карман плюшевого халата, она посторонилась.

В комнатухе резко пахло геранью и кошками. С прошлого раза почти ничего-то и не изменилось, разве что прибавилось вязаных салфеточек, а стены, помимо былых весьма трухлявых цветочных композиций, украсились магснимками хозяйки с котеночком на коленях.

Впрочем, магснимки и котеночки Гавела интересовали мало.

Дырку, просверленную в полу прошлым разом — старушенции пришлось заплатить отдельно, за ущерб, имуществу нанесенный — она не заделала. Более того, у дыры появились слуховая трубка и мягонькая подушечка с кривоватой кошачьей мордой, вышитой крестиком. Один глаз кошки был зеленым, другой — желтым. Подушечку старушенция, поджав тонкие губы, убрала.

Сама же осталась.

— Вы бы пошли, бабушка, погуляли, миролюбиво предложил Гавел, подгребая верную камеру под бок. Уж больно заинтересовался ею матерый черный масти зверь, с чьей морды и вышивали портрет. Шкура кошки лоснилась, а шею украшал пышный голубой бант с бубенчиком.

Зверь щурился, потягивался и демонстративно выпускал когти.

— Уголечка не бойся, — сказала старушенция, напрочь проигнорировав предложение Гавела. А зря, в ее возрасте прогулки полезны для здоровья. — Он смирный.

Кот оскалился и заурчал, наглядно демонстрируя степень своей смирности.

Пакость!

И Гавел решительно склонился над дырой, именно для того, чтобы услышать...

— ...не люблю баб, — этот гулкий, точно колокольной бронзой рожденный, голос, заставил Гавела замереть.

С ведьмаком, о котором слухи ходили самые разнообразные, но все как один свойства дурного, напрочь отбивающего охоту связываться с Аврелием Яковлевичем, Гавел сталкивался.

Один раз.

Один растреклятый раз, на память о котором достались почесуха, заикание и косящий глаз. И если почесуху с заиканием Гавел кое-как изжил, то с глазом и по сей день неладно было. Он задергался, мелко, нервно, предчувствуя неладное.

— Евстафий Елисеевич, а что это вы делаете? — игриво поинтересовался низкий женский голос, Гавелу незнакомый.

Он даже взопрел от неожиданности.

Выходит, что не так уж чист и уныл познаньский воевода, как думалось...

...и воевода тоже?

А маг как же?

Или их там трое?

Гавел заерзал, привлекая внимание кошака, который подобрался вплотную и, вытянув когтистую лапу, попытался выцарапать трубку.

— Кыш, — прошипел Гавел и рукой отмахнулся.

Но отвлекся, видать, потому как услышал лишь обрывок фразы.

— ...ничего и не видно!

Кому не видно?!

И что именно не видно?

— Дура, — донеслось из дыры сиплое. — Как есть дура.

Трое. Определенно трое... маг, воевода и неизвестная женщина...

— Да мы только взглянем!

На что?

Хотя известно, на что смотрят в таких случаях. Воображение Гавела, в меру испорченное карьерой и действительностью, с которой ему приходилось иметь дело, заработало, сочиняя новую, несомненно, скандальную статейку, за которую, глядишь, главный редактор и премией пожелует.

— Все вы так говорите! Сначала только взглянуть, потом только потрогать... глазом моргнуть не успеешь, как останешься одна и с тремя детьми.

Кем бы ни была неизвестная женщина, но характером она определенно обладала весьма непростым. Ответа воеводы — а ведь Гавел почти поверил, что есть на свете порядочные люди — он не расслышал, потому как хельмов кошка взвыл дурниной и, взлетев на комод, опрокинул пару безделушек.

Старуха заохала и громко принялась уговаривать скотину с комода слезть.

Кошак жмурился и гулял по бровке, поглядывая на хозяйку с презрением...

— Евстафий Елисеевич! — меж тем донеслось из дыры. — Я Дануте Збигневне пожалуюсь, что вы ко мне пристааете!

— Не поверит она...

Кошак взвыл дурным голосом и спину выгнул.

— Брысь!

— Посмотрим, — уверенно заявила незнакомка, рисковая, должно быть, женщина, ежели хватило у нее смелости шантажировать самого познаньского воеводу. — Я вот завтра заявлюсь в этом самом виде... и скажу, что вы меня соблазнили!

А голос-то бархатистый...

Уголечек, к совести которого хозяйка взывала слишком уж громко, и тот замолк.

— Соблазнили. Лишили чести девичьей... а жениться отказываетесь!

— Так я ж...

— Не отказываетесь? — воскликнула женщина с пылом. — Я знала, Евстафий Елисеевич, что вы порядочный человек!

Кошак, поняв, что грозный вид его нисколько чужака не впечатлил, пошел в наступление. Он спустился и, обойдя хозяйку по дуге, двинулся к склонившемуся над дырой человеку. Зверь вышагивал гордо, что породистый иноходец, то подбираясь к грязному, пропахшему помойкой и чужим, кошачьим же духом, гостью, то отступая.

Тот же, увлеченный происходящим в третьей квартире, не замечал ничего вокруг. И зад выпятил.

— Я... — продолжал отбиваться воевода. — Я женат!

— Разведетесь.

— Я жену свою люблю!

— А меня?! — гневно воскликнула женщина, которой Гавел в эту минуту посочувствовал от всего сердца. — Вы мне ввали, Евстафий Елисеевич, когда говорили, что любите меня?

— Когда это я такое говорил?

Кошак замер и, хлестанув себя по бокам, сугубо для куражу, взлетел на сгорбленную спину. Острые когти его пробили и шерстяной пиджачок, который Гавел отыскал в лавке старьевщика, и застиранную рубашку, и шкуру, которой случалось страдать и прежде, пусть даже не от кошачьих когтей.

Гавел не взвыл, как кот, единственно по причине немалого опыта, каковой сводился к тому, что как бы ни было плохо, стоит себя обнаружить, и станет еще хуже.

Он поднялся и, сунув руку за спину, ухватил кошака за хвост.

Потянул.

— Уголечек! — взвизгнула старуха.

Кошак отрывался плохо, орал и цеплялся когтями, а из заветной дыры, сквозь вой доносилось обрывочное:

— И еще говорили, что я — отрада души вашей... свет в окошке... надежда...

Кошак плюхнулся на коврик и притворился мертвым.

— Мой Уголечек! — старушенция с несвойственной годам ее прытью — все-то они притворяются немощными — подскочила к Гавелу и отвесила пинка.

— Что вы творите!

— Да я тебя, живодера, засужу!

Она попыталась вновь дотянуться, но Гавела жизнь научила уворачиваться от пинков, и он, хитро выгнувшись — отходить от дыры жуть до чего не хотелось — уловил-таки:

— Вот! Говорили. А жениться, значит, не хотите. Попользовались и бросили... обесчестив!

— Прекрати! — рявкнул Евстафий Елисеевич басом. — Что за...

Кошачий обиженный вой слился со старушечьими стенаниями.

Этак и вправду полицию вызовет.

И Гавел не без сожаления отполз от дыры. Последнее, что он услышал, был сиплый голос ведьмка, в котором звучало неясное удовлетворение:

— Не люблю баб. Стервы они. И истерички.

В кои-то веки Гавел всецело разделял точку зрения клиента. Впрочем, выбравшись из доходного дома, он не ушел далеко, но сунул пару медней ленивому дворнику, который весьма охотно всучил доброму господину и форменный фартук, и высокую шляпу, и метлу с совком.

Долго ждать не пришлось.

Первым конспиративную квартиру покинул Аврелий Яковлевич.

— Любезный, — старый маг швырнул монетку, и Гавел, поймав ее, согнулся в поклоне, —

пролетку поймай... да чтоб коняшка не совсем заморенная.

Сребня дал.

И выглядел Аврелий Яковлевич донельзя собой довольным. Он стоял, опираясь на массивную трость, оглаживал окладистую свою бороду и мурлыкал под нос препошлейшую песенку.

— Сердце красавицы... — неожиданно прорезавшимся тенорком запел было маг, но спохватился и, крикнув, огладил себя по внушительному животу.

Сев в пролетку, вдруг вовсе расхохотался, чем премного напугал и лошаденку, и смурного извозчика. Ему Аврелий Яковлевич, поднимая воротник модного, о шести пелеринах, плаща, бросил сребень и велел:

— Гони в «Королевскую цаплю», да с ветерком, милейший...

Столь удивительно хорошее настроение королевского ведьмка, известного дурным своим характером, было само по себе явлением редкостным, а потому внушающим Гавелу закономерное подозрение. Он долго глядел вслед пролетке — лошаденка и впрямь пошла споро, разгоняя суетливых жирных городских голубей — и думал о своем...

...все-таки трое?

Оргия на казенной квартире?

...тут и мздоимство, и прелюбодеяние... и ложь... и многое из этого случая вытрясти можно, ежели рискнет главный редактор с Аврелием Яковлевичем связаться.

...хотя, если писать осторожненько, намеками...

Додумать Гавел не успел, а ведь в голове родилось уже первая фраза будущей изобличительной статьи, но тут, приоткрыв дверь, из парадной важно выплыл Евстафий Елисеевич.

Познаньский воевода был красным, точно рак, и нервным. Он озирался, щипал себя за подбородки и то и дело оглядывался на спутницу...

...Гавел отступил в тень, выставив между собой и воеводой метлу. Не то, чтобы он надеялся спрятаться за тонкую ее ручкой, но опыт подсказывал, что людишек служивых обыкновенно не замечают. И сейчас рассеянный взгляд Евстафия Елисеевича лишь скользнул по Гавелу.

— Дорогой, — томным голосом произнесла барышня, — куда ты так спешишь?

Она шла осторожно, покачиваясь и как-то слишком уж высоко задирая подол зеленого платья.

— На службу, — сквозь зубы отвечивал воевода. Он подслеповато щурился, выглядывая свободную пролетку, но улица как назло была пуста.

— А я?

— А ты... — о, каким преисполненным истинной страсти взглядом одарил воевода спутницу...

Гавел незаметно нажал на рычажок, и камера тихонько щелкнула. Оставалось надеяться, что на это свидание Евстафий Елисеевич не прихватил следящего амулета...

— Ты, моя дорогая... Тиана...

...Тиана.

Красивое имя.

И девица хороша необыкновенно. Высокая и по-цыгански смугловатая, с копной черных волос, кое-как стянутых зеленой атласной лентой, она держалась с какой-то невероятной вызывающей даже легкостью, будто бы не было в нынешней ситуации ничего-то необычного.

...и все-таки трое...

— ...отправишься домой... — выдохнул познаньский воевода, стискивая в руке платок.

А ведь нервничает добрейший Евстафий Елисеевич.

И на спутницу свою поглядывает уже не со страстью, но с раздражением... Гавел вновь спустил рычажок, запечатлевая парочку, если не для истории, то для «Охальника».

Пролетка все же показалось.

Евстафий Елисеевич помог спутнице — кого-то все же эта дама напоминала Гавелу, но он отогнал несвоевременные мысли, позже посидит, подумает над снимками — сесть в коляску.

...любезно поданная рука...

Снимок.

И познаньский воевода, придерживающий даму за талию...

Снимок.

Сама она, неловко замершая с задранною юбкой...

Еще снимок...

...а ведь чулок нет. И юбки всего-то две, не говоря уже о том, что корсаж затянут неплотно, да и платье в беспорядке пребывает...

Гавел, забыв про метлу то и дело нажимал на рычажок... и когда пролетка унеслась, увозя и смущенного воеводу, и его очаровательную — на кого она все-таки похожа? — спутницу, он выдохнул с превеликим облегчением.

Прислонив метлу к тумбе, он снял фартук и бросил взгляд на часы. Если поспешить, то успеет он и со статьей, и со снимками...

На следующий день Данута Збигневна, купив скандальную газетенку — делала она это исключительно назло супругу, утверждавшему, будто бы ничего-то хорошего на желтых страницах не будет — с удивлением и ужасом узрела магснимок этого самого супруга.

И добре бы одного.

Нет, Евстафий Елисеевич, за тридцать лет беспорочной семейной службы не замеченный не

то, что в измене, в покушении на оную, ласково придерживал под локоток чернокудрую стервь. И стервь эта глядела на мужа с нежною улыбочкой...

— Что... — Данута Збигневна сумела дожидаться супруга со службы и даже не швырнула ему в лицо растреклятую газетенку, для чего ей потребовалась вся выдержка. — Что это такое?

Евстафий Елисеевич, которому уже доложили и о статейке, и о высочайшем недовольстве — где это видано, чтобы человек, ратующий за семейные ценности с любовницей встречался? — побагровел.

— Даночка, ты все неправильно поняла!

...и ладно бы встречался тихо, как иные люди делают, но нет же, грешит прилюдно...

— Я... я все могу объяснить!

...и на оплаченной полицейским ведомством квартире...

Отчего-то генерал-губернатора особенно оскорбил факт пользования казенной недвижимости не по назначению... и если князю удалось-таки объяснить случившееся, то с женой было сложнее.

Она ждала.

Стояла, возвышаясь над Евстафием Елисеевичем, и газету в руке сжимала этак выразительно... а во второй — скалку.

— Это... эта девушка — специальный агент, — выдохнул он, пятясь к двери. — Дануточка, пойми, этот конкурс... нам нужно, чтобы участвовал наш человек...

— Конкурс?

— Именно, — познаньский воевода отобрал газетенку. — Но это тайна... государственная... девушка просто выполнит задание... я ее инструктировал.

Пожалуй, другим разом Данута Збигневна поинтересовалась бы, что за инструктаж был и отчего проводился он не в кабинете воеводы, но на какой-то тайной квартирке, однако она была женщиной в целом разумной. И прикинув, что если чернокудрая стерва собирается в конкурсе участвовать, то о супружеской измене речи не идет...

— Только никому, Дануточка, — взмолился Евстафий Елисеевич, мысленно проклиная того репортера, которому случилось вычислить квартиру.

...и свою невнимательность.

— Конечно, дорогой, — она позволила поцеловать себя в наруганную горячую щеку. — Я никому не скажу...

...вот только теперь стало понятно, кого напоминала ей эта акторка.

Хитроумную, навязчивую трефовую даму, которой все не сиделось в колоде.

Надо будет Лизаньку предупредить. Пусть присмотрится.

Дорожная, о знакомствах случайных и неслучайных попутчиках

За окнами вагона мелькали верстовые столбы, выкрашенные в белый колер. Гремели колеса, нагоняя дремоту, и Аленка, в кои-то веки утомившись говорить, отчаянно зевала, но держалась. Не то, чтобы вовсе ей не доводилось покидать Краковель и маменькин дом, скорее уж в силу характера своего неумно-любопытного, каждую поездку она воспринимала как событие в обычно тихой жизни. Что уж говорить о том, если поездка не просто в деревенское имение, и не в соседний городок, где маменька недавно приобрела льнопрядильный заводик, но в Познаньск, где ее, Аленку, пусть и не ждут, но вне всяких сомнений примут с восхищением...

Все-то теперь Аленке было любопытно.

И подновленный губернаторской волей Краковельский вокзал, на крыше которого поставили бронзовых крылатых дев. Свысока они взирали на суету, на широкие стальные ленты рельс, на перроны, на поезда и бурлящее, не способное замереть и на минуту, человеческое море.

— Не лови ворон, — пробурчала Евдокия, дергая младшую сестичу за руку.

Она-то, приземленная, вечно погруженная в собственные, Аленкиному пониманию недоступные, мысли, двигалась сквозь толпу, обходя и суетливых слегка растерянных приезжих, и грузчиков в синих мундирах дорожного ведомства, и важного полицейского, который больше дремал, нежели следил за порядком. Впрочем, завидев Аленку, полицейский приосанился. И с Евдокией раскланялся, самолично вызвавшись проводить панночек напрямиком к вагону, благо, «Молот Вотана» уже подали.

Он стоял, черный и важный, поблескивая хромом, выдыхая клубы пара, которые каплями воды оседали на вороненых боках. От паровоза несло дымом, раскаленным железом, и суетились людишки, ныряли под черное его брюхо... ветер уносил угольную пыль, от которой не спасали ни широкополые шляпы, ни даже дорожные зонтики. Наверняка, платье пропитается, что дымом, что запахами.

Отвратительно.

Впрочем, сие обстоятельство никак не могло испортить приподнятого Аленкиного настроения.

Из будки поезда высунулся машинист в франтоватой кожанке и, окинувши насмешливым взглядом толпу, закричал:

— Р-разойдись! Р-разворачиваться буду!

Всполошенными курами засуетились бабы, кто хватал корзины, кто — детей, которые не желали хвататься, но вырывались, норовя ускользнуть в толпе... прыснули из-под колес путейные... кто-то закричал, верно, опасаясь, что тяжеловесная туша «Молота» уже дернется...

...и тут же опомнились.

Машинист же хохотал, запрокинув голову, и смеялся так заразительно, что Аленка и сама не выдержала, улыбнулась. Это ж надо было придумать такое... разворачиваться...

На машиниста кричали.

Грозились кулаками и начальством, которое пряталось в скворечнике вокзала, верно, изнывая от жары... а ему-то все было ни по чем, он и куртку скинул, оставшись в латаной-перелатанной рубашке. Аленка еще бы посмотрела, но машинисту надоело слушать ругань и он исчез. Сама же Аленка отвлеклась на солидную красноносую лоточницу, которая шествовала по перрону, выкрикивая:

— Пирожки! Горячие пирожки! Два за медень...

Пирожки лежали румяными горбиками, аккуратными и аппетитными...

— Нельзя, — одернула Евдокия, прежде, чем Аленка успела медень достать. — Мало ли, с чем они... уличная еда опасна для здоровья.

Зануда.

Вот как она может так жить, все-то обо всем зная? И не было бы от одного маленького пирожочка беды... но Евдокии разве докажешь?

Хуже матушки.

Аленка вздохнула и, проводив торговку взглядом, повернулась к сестре. Старая дева?

Дева.

И старая, видать, от рождения старая, серьезная. А от излишней серьезности морщины появляются, Аленка знает, она читала об этом в «Женских новостях»... но скажи сестрице — только посмеется, мол, пишут всякие глупости, Аленка повторяет.

Тяжко с нею.

Вот и сейчас хмурится, разглядывая вагон. И что ей не по нраву? Хороший, первого класса, маменька не покупилась...

— Офицеры в соседнем купе едут, — с неудовольствием пояснила Евдокия, глядя на четверку военных. — Уланы.

И что? Пусть себе едут, не высаживать же их... с Евдокии станется.

— Ладно, — решила сестрица. — Как-нибудь...

Боится? Чего?

С офицерами даже веселей... а то как подумаешь, что два дня предстоит провести в компании Евдокии и папеньки, и враз тоска нападает. Нет, сестрицу старшую Аленка любила, но при том категорически не понимала.

Она ведь красивая, а как вырядится...

Платье это серое, из плотной рыхлой ткани, застегнутое на два десятка мелких пуговиц... не платье — панцирь, из которого Аленке сестрицу хотелось вытряхнуть. И шляпу с низко опущенными полями содрать. И перчатки нелепые кожаные, слишком мужские с виду, выкинуть.

...к нарядам Евдокия проявляла редкостное равнодушие.

Все-то ей недосуг, все-то она занята, отгородилась бумажками своими от всего мира и делает вид, будто счастлива.

Разве так можно?

И зонт дурацкий, мужской, держит наперевес, упираясь острием в пухлый живот проводника.

— Идем, — заявила Евдокия, решительно отмахнувшись от протянутой руки. Юбки подхватила и сама поднялась по железной лесенке.

Вот разве так можно? Женщина должна быть хрупкой, беспомощной... хотя бы с виду.

Тем более, когда ступеньки такие... высокие... и узкие... и совершенно доверия не внушающие.

— Позвольте вам помочь, — раздался низкий и очень приятный голос.

Конечно, Аленка позволила.

Офицер был очарователен.

...почти как любовь всей Аленкиной жизни, разве что светловолосый и синеглазый... и в мундире королевских улан, который был весьма ему к лицу.

— Лихослав, — представился офицер, не сводя с Аленки взгляда.

А смотрел...

...нет, конечно, поклонники у Аленки имелись, она к ним даже привыкла, как привыкают к неизбежному злу, но ни один из них, даже сынок мэра, уверенный, что уж ему-то Аленка не откажет, не смотрел на нее с таким детским восторгом.

И стало одновременно весело.

А еще неудобно.

И горячо в руке, которую офицер не собирался выпускать. О нет, он в отличие от сынка мэра — навязчивая скотина, добрых слов не понимавшая — не делал ничего предосудительного, просто... просто было в нем что-то такое... не такое.

— Алантриэль... — сказала она, разглядывая нового знакомого, пожалуй, чересчур пристально, но в попытке понять, что же с ним не так.

— Алена, — естественно, от зоркого глаза Евдокии сие знакомство, пусть и случайное, не ускользнуло. — Будь добра, пройди в купе...

Офицер руку убрал, но не ушел... и Аленка не ушла, задержалась, но руку убрала за спину, не от смущения... просто и вправду неладно... нет, злого в нем нет, это точно. И хорошо, что нет, потому как офицер Аленке нравился.

И чем дольше она его разглядывала, тем больше нравился.

Проводник же, втиснувшись между ними, сиплым голосом произнес:

— Поезд скоро отправляется.

— И куда вы следуете? — Лихослав спросил шепотом, и также, шепотом, почти одними губами, Аленка ответила:

— Познаньск...

— Значит, попутчики, — он поклонился и руку поцеловал, бережно, осторожно, будто бы эта самая рука — хрустальная. Поцеловал и отпустил, больше ничего не сказав.

...а сынок мэра норовил не только руку, Аленке даже пнуть его пришлось, что, конечно, крайне неприлично, зато весьма эффективно.

— Аленка, ты... — мрачная Евдокия заперла дверь на щеколду. И содрав шляпку, швырнула ее на диванчик. — Ты... ты соображаешь, что творишь?

— Что?

Аленка давно усвоила, что спорить с сестрицей бесполезно.

— Он же теперь... ты же... он же не отстанет!

И пускай.

Евдокия махнула рукой и без сил опустилась на собственную шляпку. Вскочила, ойкнув...

— Выбрось, — посоветовала Аленка, устраиваясь у окна. — Она тебе не идет... и платье тоже... и вообще, Дуся, ты ведешь себя как...

— Как кто?

— Как надсмотрщица, вот!

— Мне мама за тобой присматривать велела! — Евдокия расстроенно вертела в руках шляпку, которую, кажется, и вправду оставалось лишь выбросить.

— Вот именно, что только присматривать, а не...

— Не «что»?

— Не надсматривать.

Евдокия покраснела, но сказать ничего не сказала, села, спину выпрямив, и портфель бумагами набитый к животу прижала. Вцепилась в него, словно опасалась, что и здесь, в запертом купе, кто-то на такую ценность покусится.

Ссориться с сестрой не хотелось, и Аленка отвернулась к окну.

А Лихослав не ушел, стоял на перроне, разговаривал и жевал пирожок, тот самый, который горбиком и с корочкой, и значит, не думает, будто уличная еда — это зло... и жует-то так вкусно, что Аленка, пусть и не голодная, а позавидовала.

Надо было купить пирожков в дорогу...

Следовало признать, что Лихослав был высоким и, пожалуй, красивым... нет, конечно, Аленка любит другого и любви своей изменять не собирается, поэтому интерес ее к Лихославу исключительно, как выразилась бы дорогая сестрица, умозрительного характера.

Евдокия сопела и копалась в портфеле...

А папенька опаздывал.

...а если вовсе не появится, то...

— Не злись, — примиряюще сказала Аленка. — Он мне просто помог.

— Ну да, сначала «просто помог», потом «просто встретился»... просто прогулялся... а потом исчез в неизвестном направлении или хуже того...

— Что хуже?

— Ничего.

Евдокия раздраженно сунула убитую шляпку на полочку для багажа, койй уже доставили. Конечно, чемоданы поедут отдельно, но вот обтянутый пурпурной кожей саквояж — дело иное.

— Ты преувеличиваешь...

Лихослав повернулся и, встретившись в Аленкой взглядом, подмигнул ей...

...а глаза не синие, как показалось вначале, с прозеленью.

— И вообще, — сказала Аленка. — Я другого люблю.

— Угу.

Из саквояжа появились спицы, моток шерсти и свежий номер «Финансиста», который Евдокия раскрыла, пытаясь спрятаться за желтыми листами.

— Люблю, — Аленка скрестила руки на груди, все же и ей перепало семейного упрямства, не позволяющего отступить от выбранной цели. — И выйду за него замуж. Вот увидишь.

Евдокия лишь фыркнула.

А «Молот Вотана» издал протяжный гудок, предупреждая о скорой отправке.

Все-таки папенька как-то чересчур уж запаздывает...

Евдокия вынуждена была признать, что сестрица ее была права... шляпка дурацкая. И платье из серой шерсти, купленное ввиду исключительной своей практичности, было не самым подходящим для столицы нарядом. И стоило заглянуть в лавку, поискать что-то поприличней, но время...

Времени не хватало.

Времени не хватало всегда, но накануне отъезда — особенно остро.

Как оставить маменьку наедине с «Модестом»?

...линия новая только-только запустилась, и значит, возможны дефекты в продукции...

...а третьего дня управляющий отписал, что каолин доставили недолжного качества, и если требовать возмещения убытков, то...

...отослать партию назад? Линия станет, и заказчики будут недовольны.

...принять в производство? Мало того, что скажется на продукции и репутации фирмы, так еще даст повод поставщикам думать, будто бы «Модесть» не столь уж привередлив...

Нет, клиенты разницу вряд ли заметят...

...но все одно, нельзя рисковать...

Времена нынче беспокойные, конкурентов развелось, и всяк, только-только пришедший на рынок, полагает, что будто бы «Модесть» незаслуженно этот самый рынок держит.

...на Селуцкой мануфактуре проблемы...

...а отчет полугодовой, с шахт полученный, Евдокии не нравился, чуяла — подворовывают, уж больно аккуратными, правильными были числа...

И еще рудники медные, с которыми никак не ладилось...

...нет, документы все были в полном порядке. На первый взгляд. И на второй тоже. И на третий, пусть бы подобная скрупулезность, граничащая с нервической паранойей, пришлась не по вкусу пану Острожскому, каковой и заявился с сим предложением к матушке.

Помимо предложения, купчей на землю и данных геологической разведки, в которых Евдокия разбиралась всю ночь, и потом еще утро, сей господин весьма импозантной внешности располагал рекомендательным письмом от старого матушкиного знакомого...

Все одно подозрительно.

...двадцать пять тысяч злотней минимальным взносом...

Деньги имелись.

И маменька аккурат задумалась, во что их вложить. Евдокия предлагала акции «Восточной кампании», которая в последние лет двадцать показывала стабильный рост, однако доход с них был невелик...

Пан Острожский обещал удвоить капиталы в течение года... а если вложить не двадцать пять тысяч, а пятьдесят, чтобы оборудовать шахты по последнему слову техники... конечно, чем больше вклад, тем больше доход, но все же...

— О чем думаешь, деточка? — мягко поинтересовался Лютик, откладывая дамский альбом с эскизами.

А ведь едва не опоздал.

И Евдокия всерьез намеревалась требовать задержки поезда, поскольку выдвигаться без Лютика в столицу было бы безумием. Две девицы, пусть и не благородных кровей, но путешествующие самостоятельно? Немыслимое нарушение приличий.

Нет, на собственную репутацию Евдокии было глубоко плевать, ей случалось совершать поступки и куда более предосудительные, чем поездка в вагоне первого класса от Краковеля до Познаньска, но вот рисковать сестрой она не могла.

Аленка дулась.

Демонстративно дулась, повернулась к окну и губу нижнюю выпятила. Журнальчик, в дорогу купленный, развернула, но читать не читает...

— О рудниках, — призналась Евдокия, разминая пальцами виски.

Воняло керосином.

Запах этот являлся прямым свидетельством приближающейся мигрени. И Евдокия поморщилась, злясь на себя за невозможность изжить сию, чисто женскую, болезнь, которая по утверждению приглашенного матушкой медикуса проистекала единственно от избытка ума.

Как решить проблему медикус не знал.

— Что тебе не нравится? — Лютик сцепил руки.

Пальцы у него были длинные и неестественно-тонкие, с аккуратными синеватыми ногтями, которые по мнению того же медикуса свидетельствовали о несомненной слабости сердечной мышцы. Лечить оную медикус предлагал скипидаром.

— Все не нравится, — призналась Евдокия, со стоном вытаскивая ленту.

При мигрени волосы становились тяжелыми, и малейшее к ним прикосновение вызывало острейший спазм.

— Скользкий он...

— А по-моему, воспитанный, — Аленка, заприметив маневры сестрицы, перестала обижаться, но пересела и шлепнула Евдокию по рукам. — Дай мне. Ты же себе все волосы повыводишь...

— Воспитанный. Но все равно скользкий.

Аленка расплетала косу осторожно, и прикосновения ее мягкие унимали боль.

— Он говорит... то, что мы хотели бы услышать... а это не совсем правильно... гарантирует доход, а в таком деле гарантий быть не может...

— Мошенник? — Лютик коснулся восковым карандашом носа.

— Не знаю... письмо его...

...восторженное, нервное какое-то, словно бы человек, писавший его, пребывал в величайшем возбуждении. Конечно, может статься, так оно и было, но...

— Пан Запольский — человек осторожный, — Евдокия закрыла глаза, отрешаясь и от боли, и от далекого мерного стука колес, и от еще более далекого гула рельс, которые дрожали, но держали стальную тушу состава. — Опытный...

— На любого хитрого лиса капкан найдется, — заметил Лютик. — Ко всему именно этот лис — жаден.

Пана Запольского Лютик недолюбливал, по обычаю своему не давая себе труда скрывать эту нелюбовь. Следовало признать, что отчим, которого многие матушкины знакомые полагали существом в высшей степени бесполезным — а то и вправду, какой от эльфа в хозяйстве прибыток? — отличался редкостной наблюдательностью и острым умом.

Отчима Евдокия уважала.

И любила.

Родного отца она помнила единственно по карточке, которую маменька, отдавая дань уважения супругу, не спрятала и после нового замужества. Лютик не протестовал, быстро смирившись с негласным присутствием Парфена Афанасьевича в доме.

— Прошное нельзя спрятать, — сказал он как-то, — с ним можно научиться жить и только...

Тогда Евдокия, которой только-только десятый год пошел, его не поняла.

...а позже поняла, но... говорить легче, чем учиться.

Или ученица из нее дурная?

— Дусенька, тебе бы прилечь, — Аленка разбирала косу по прядке, тесня мигрень. — И перестать думать о всякой ерунде...

— Двадцать пять тысяч злотней — не ерунда, — возразила Евдокия, но все же прилегла, Аленка же, сунув сестрице под голову подушку, села рядом.

— Не ерунда, конечно, — ее гребешок из слоновой кости скользил по мягким волосам. — Но ты слишком много думаешь о деньгах...

Евдокия хотела сказать, что кому-то ведь надо, но поймала насмешливый Лютиков взгляд.

Нет, она вовсе не собиралась упрекать сестрицу в легкомысленном отношении к семейному делу... и Лютика не считала бесполезным, напротив, лучше, чем кто бы то ни было осознавала, сколь многое он сделал...

— А о чем мне думать? — проворчала исключительно из врожденного упрямства. — Об офицерах?

— Почему нет? Согласись, он хорош... почти как Себастьян...

— Даже так?

— Себастьян, конечно, лучше, но...

— Он лучше, потому что ты в жизни с ним не сталкивалась, — Евдокия закрыла глаза, впадая в блаженную полудрему.

Вагон-колыбель.

Напевы колес... и так ли важно, существуют ли на самом деле те залежи меди, в которые

предлагает вложиться пан Острожский.

Двадцать пять тысяч злотней потенциальных убытков...

...или злотней недополученной прибыли...

Башенки из золотых монет, которые проступают в воображении, окружая Евдокию. Золото и снова... и далекий голос отчима, напевающий колыбельную. Аленка рядом... и верно, к чему рисковать?

Шахты?

...Серые земли...

...ушедшие жилы и рекомендательное письмо на плотной бумаге высочайшего качества... нервный почерк, скачущие буковки, но маменька руку опознала...

...шахты.

К Хельму их вместе с разлюбезным паном Острожским... хватит денег и для себя, и для Аленки... ей больше нужно, она ведь красавица, каких поискать... и надо с нею мягче, потому что действительно не права Евдокия была, когда за офицера упрекала. Но как объяснить, что боится она, до дрожи в руках, до холода под сердцем.

...Аленка ведь легкая, светлая, как Ирженина искра, и верит всем...

...а уланы — народ лихой, пустоголовый, и с этого офицерики станется Аленке голову задурить, соблазнить и бросить...

...посмеяться над наивною... сказать, мол, сама виновата.

...и все-таки скользкая личность, пан Острожский... матушке надо будет отписаться, чтобы не вздумала с ним дела иметь. Пусть других манит призраком медного богатства...

...Серые земли, Хельмовы... там, что медь, что серебро — все зыбкое, призрачное, в руки возьмешь, а оно туманом и сквозь пальцы... оставит горечь чужого проклятья, а с ним и лихоманку...

Сквозь дрему Евдокия слышала, как Аленка укрыла ее пледом, и шторы сдвинула, спеша уберечь от солнечного света, и что-то говорила Лютику, торопливо, извиняющимся тоном, а он отвечал. Но вот беда, ни словечка не различить...

...сон был золотым.

И в нем пан Острожский, вырядившийся в новомодный полосатый пиджак, раскланивался перед Евдокией, сыпал под ноги меди, но не со знакомым профилем Болеслава Доброго, а с Себастьяновым. Ненаследный князь лукаво улыбался...

...муторный сон. Тяжелый. И примета опять же.

Выбравшись из него, Евдокия долго лежала, прислушиваясь к себе.

Мигрень отступила.

И это само по себе было сродни чуду.

...но маменьке отписаться надобно... а лучше сходить на ближайшей станции к телеграфисту, пусть отобьет предупреждение.

Евдокия встала, оправила юбки и удивилась. Поводов для удивления имелось два. Во-первых, из купе исчезли Аленка и Лютик... а во-вторых, поезд стоял.

Странно.

Если память Евдокии не изменяла — а на память она никогда-то не жаловалась — то ближайшая стоянка должна была случиться в Сокулковице, нынешним вечером. И отодвинув шторы, заботливо задернутые отчимом, Евдокия убедилась, что до вечера далековато.

И то, не могла же она столько проспать?

Евдокия подхватила Аленкин ридикюль и собственный портфель и заодно Лютикову планшетку, по вечной его рассеянности забытую на столе — а ведь в планшетке мало того, что чековая книжка лежит, так и кое-какие финансовые бумаги, свойства весьма интимного, для посторонних глаз не предназначенного.

А если кто заглянет?

Нет, Евдокия осознавала, что конкуренты «Модеста» не столь всеильны, но... зачем рисковать?

В коридоре было тихо.

Сумрачно.

И пахло свежими кренделями, от аромата этого желудок заурчал... а ведь с завтраком не сладилось, из-за конфликту с маменькой, которой пан Острожский с его воздушными замками весьма по сердцу пришелся. Едва вусмерть не разругались. Модеста Архиповна настаивала на том, что поучаствовать в деле надобно, а Евдокиину осторожность называла бабьим переполохом. Дескать, только непраздные бабы каждой тени боятся. А пан Острожский — вовсе даже не тень...

...прохиндей.

А ну как уже обманул доверчивую слабую женщину?

Нет, маменька обещалась без Евдокиино согласия в мероприятие сие не лезть, но вдруг да... Евдокия мотнула головой, отгоняя мрачные мысли. Не столь уж Модеста Архиповна и слаба, хотя порой невместноо доверчива, этого не отнять... а этот, гад, манерами берет, любезностью показной.

Желудок заурчал, опасаясь, что вместо кренделей его ждет пища исключительно духовная, замешанная на финансах и полугодовой отчетности, которую давно следовало проверить, потому как Евдокия подозревала, что новый управляющий Коришвецкой фабрики подворовывает. Конечно, скромно, не наглея, но давно...

...а кренделей хотелось, чтобы пышных, густо посыпанных маком. И молока свежего, с пенкой.

И Евдокия, крадучись, двинулась на запах. Она прижимала к груди портфель и планшетку, в

подмышке держала скользкий ридикуль, и радовалась, что никто-то не видит ее...

...В измятом после сна платье...

...простоволосую...

...на ведьму, верно, похожа...

Дверь в каморку проводника была открыта. А сам проводник отсутствовал, зато на столе, накрытом белоснежной крахмально-хрустящей скатертью, на серебряном подносе, лежали кренделя. Именно такие, о каких Евдокия мечтала.

Она сглотнула слюну.

Нехорошо без спроса брать, но...

Румяные, пышные, с корочкой темной и лоснящейся, с маковой посыпкой, и крошечки маковые, не удержавшись на глянце, падают на скатерку.

Кренделя манили.

Запахом. Видом своим... и еще маслице сливочное, правильного желтоватого оттенка, а значит, из хорошего молока сделанное, на тарелочке слезою исходило...

...нехорошо...

И ножик здесь же лежал.

...она не красть собирается, она заплатит... сребня хватит за крендель и кусочек масла?

В животе урчало, и Евдокия, воровато оглянувшись, переступила порог. Ей было и стыдно, и страшно... а вдруг кто увидит? Сплетен не оберешься и...

Никого.

Только кренделя и маслице... и сахарок в стеклянной сахарнице, на три четверти наполненной. Лежат белые куски рафинада... это просто от голода.

...питаться надо регулярно, об этом и в «Медицинском вестнике» пишут, но у Евдокии регулярно не получалось, вечно то одно, то другое... и тут...

— Воруете? — раздалось из-за спины, и Евдокия, ойкнув, подпрыгнула. А подпрыгнув, выронила ридикуль. Естественно, содержимое его рассыпалось... и монеты, и помада, и румяна, которые Аленке были без надобности, потому что не нуждалось ее лицо в красках, и зеркальце, и пудреница, и прочие дамские мелочи, разлетевшиеся по ковру...

— Я... я проводника искала.

Офицер, тот самый, поразивший Аленкино девичье сердце, стоял, прислонившись к косяку, загораживая собой дверь. Помогать Евдокии он явно не намеревался, напротив, казалось, ему доставляет удовольствие и ее смущение, и то, что приходится ползать, подбирая Аленкины вещицы, которых было как-то слишком уж много для крошечного ридикуля.

Поддев носком начищенного сапога катушку ниток — и зачем они Аленке, если она и иглу в руках удержать не способна? — он сказал:

— Как видите, проводника здесь нет.

— А где есть? — Евдокия нитки подобрала.

Не хватало еще добром разбрасываться. И вообще, она — не гордая, в отличие от некоторых. Вопрос же ее пропустили мимо ушей. Офицер покачулся, перенося вес с одной ноги на другую, и произнес:

— Вы на редкость неумело выполняете свои обязанности. Я бы вас уволил.

— Что?

Евдокия застыла с ридикюлем в одной руке, и парой липких карамелек в другой.

— Уволил бы, — повторил он, издевательски усмехаясь. — Полагаю, вы понятия не имеете, куда подевался не только проводник, но и ваша подопечная.

Подопечная?

Евдокия прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Это он об Аленке? И если так, то... за кого он Евдокию принял? Хотя вариантов немного, за компаньонку. Ну или дальнюю родственницу, принятую в дом с тем же расчетом. Что ж, не следует разочаровывать молодого человека... хотя нет, не такого уже и молодого, с виду ему около тридцати, а может и того больше.

Морщинки у глаз возраст выдавали, и сами эти глаза непонятного колеру, вроде бы синие, но... или зеленые? А то и вовсе желтизной опасною отсвечивают.

— Полагаю, — спокойно произнесла Евдокия, закрывая злосчастный ридикюль, — с моей подопечной все в полном порядке.

Она надеялась, что не солгала, поскольку вряд ли бы за то малое время, которое Евдокия дремала, Аленка успела попасть в неприятности. Ко всему с нею Лютик, он же, пусть и личность специфического толку, но в обиду дочь точно не даст.

— А теперь окажите любезность, — Евдокия перехватила ридикюль, планшетку сунула в портфель, а портфель выставила перед собой, точно щит. — Позвольте мне пройти.

Не позволил. Остался, руки сцепил, смотрит свысока, с такой вот, характерной ухмылочкой, с пренебрежением, от которого зубы сводит.

— Милая...

— Евдокия...

— Лихослав.

Хорошее имечко, самое оно для улана.

— Милая Дуся, — он качнулся и вдруг оказался рядом, подхватил под локоток, дыхнул в ухо мятой, оскалился на все зубы... небось, здоровые, что у племенного жеребца. — Мне кажется, мы могли бы быть полезны друг другу.

— Это чем же?

Помимо мяты — ополаскиватель для рта, верно тот, который и сама Евдокия использует — наглого офицера окружало целое облако ароматов. Шафрановый одеколон. И вакса, которой сапоги начищали. Лаванда... терпкий сандал, небось, притирка для волос...

...собачья шерсть.

Показалось? Евдокия носом потянула, убеждаясь, что нет, не примерещилась ей... не шерстью, правда, но собачатиной слегка несет, не сказать, чтобы неприятно вовсе, но... неожиданно.

...а может, он пояс из шерсти собачьей носит? От ревматизму? Или чулки? Помнится, Пафнутий Бенедиктович, маменькин давний партнер, весьма нахваливал, дескать, теплее этих чулок и не сыскать...

Но Пафнутию Бенедиктовичу восьмой десяток пошел, а улан...

...с другой стороны, может, его на коне просквозило или просто бережется, загодя так сказать. И вообще, не Евдокии это дело, если разобраться глобально. Улан же, не ведая об этих мыслях Евдокии, произнес этак, с придыханием и томностью в голосе:

— Всем, Дуся, всем...

— Да неужели?

— Конечно, но давайте обсудим наши с вами дела в другом, более подходящем месте...

— Давайте, — согласилась Евдокия, высвобождая руку, — но только если вы перестанете передо мной влюбленного жаба разыгрывать?

— Кого? — почти дружелюбным тоном поинтересовался офицер.

— Жаба. Влюбленного... из тех, которые по весне в прудах рокочут.

— То есть, по-вашему, я похож на лягушку?

Какие мы нежные, однако.

— На жабу, — уточнила Евдокия. — Вернее самца, то бишь жаба.

— Влюбленного?

— Именно.

— И в чем же, с позволения узнать, сходство выражается?

А руки-то убрал, за спину даже и посторонился, пропуская Евдокию.

— Также глаза пучите, — она окинула офицера насмешливым взглядом. — И рокочете на ухо, думая, что от вашего голоса любая женщина разум потеряет.

Он фыркнул, а у Евдокии появилось иррациональное желание огреть офицера Лютиковым портфелем. Это от голода.

И нервов.

Нервы же у нее не стальные...

— Что ж, раз разум вы терять не собрались, давайте просто побеседуем... — уходить он не намеревался. — Скажем, о вашей... подопечной.

Ну конечно, не о ценах же на серебро и тенденциях мирового рынка...

...а может, все-таки рискнуть? Нет, нет и нет. С паном Острожским связываться себе дороже. Евдокия не могла бы сказать, что именно ее так отталкивало в этом весьма любезном делового склада человеке. Но не внушал он ей доверия и все тут.

— И что же вам хотелось бы узнать?

— Может, все-таки не здесь? — Лихослав огляделся, конечно, коридор вагона первого класса был подозрительно пуст, но место для беседы и вправду было не самым подходящим. — Прощу... сюда.

Он открыл дверь ближайшего купе, оказавшегося свободным.

— Наедине?

— Опасаетесь за свою честь?

— И репутацию.

— Конечно, как я мог забыть о репутации... — он хмыкнул. — Панночка Евдокия, именем Иржены-заступницы клянусь, что намерения мои чисты...

Прозвучало патетично и не слишком-то правдиво. Но Евдокия кивнула, давая понять, что клятвой впечатлена. А репутация... репутации старой девы немного сплетен не повредит. В конце концов, смешно думать, что будущий Евдокиин супруг, сама мысль о котором вызывала желудочные спазмы — или это все-таки от голода? — что этот где-то существующий человек, сделает ей предложение из-за любви. Несколько сотен тысяч злотней в качестве приданого, да пара заводиков, которые маменька обещалась отдать под управление Евдокии, хотя реально она давно уже распоряжалась всем семейным делом, — хороший аргумент ненужным слухам значения не придавать.

В купе пахло кренделями.

И Евдокия, закрыв глаза, велела себе отрешиться от этого сдобного аромата, и видение недоступных отныне, но таких близких кренделей, отогнала.

— Присаживайтесь, — любезно предложил Лихослав, сам оставшись стоять у двери. — И не надо меня бояться, Дуся. Я вас не съем.

— С чего вы взяли, что я вас боюсь?

— А разве нет?

— Разумно опасаясь, — Евдокия поставила рядом с собой портфель, а ридикюль положила с другой стороны. Главное, ничего не забыть, а то сложновато будет объяснить проводнику, что

она делала в пустом купе, и отчего это купе оказалось незапертым?

— Дуся, у меня к вам, как уже сказал, взаимовыгодное предложение, — он сделал паузу, позволяя Евдокии проникнуться важностью момента. — Вы рассказываете мне о своей... подопечной.

— А взамен?

— То есть, — Лихослав осклабился, — первая часть у вас возражений не вызывает?

...желание огреть его портфелем не исчезало, но напротив, крепло.

Стоит. Кривится. Прячет брезгливость.

— Десять сребней, — озвучила цену Евдокия, с наслаждением наблюдая, как меняется выражение его лица. И брезгливость — не по нраву пану офицеру Евдокиина готовность продать подопечную — сменяется удивлением, а потом возмущением. Ничего, это только начало. И Евдокия уточнила. — В месяц.

— Что? Да это грабеж!

— Не грабеж, а точка пересечения кривых спроса и предложения, формирующая конечную цену продукта, — Евдокия ответила спокойно.

В конце концов, она голодна. А женщина, лишённая кренделей и уважения, отчаянно нуждается в моральной компенсации.

— Ты...

— Вы. Извольте соблюдать приличия.

Он покосился на портфель, перевел взгляд на дверь и выдвинул свою цену:

— Пять сребней. Разово.

— Думаете, за раз управитесь?

— Полагаете, нет?

— Ну что вы, как можно... но смотрите, потом станет дороже.

— То есть, — недоверчиво поинтересовался Лихослав, — вы согласны на пять?

— Согласна. За нынешнюю нашу беседу... пять сребней и крендель.

— Помилуйте, Дуся, где я вам крендель возьму?!

Евдокия молча указала на стенку, за которой прятались вожаки кренделя. Без них ближайшее будущее было неприглядным, мрачным и сдобренным мучительными резами в животе. Все-таки прав был Лютик, говоря, что здоровье надобно беречь.

— Вы предлагаете мне...

— Купить, — с милой улыбкой отвечала Евдокия. — Просто купить даме крендель. Или вам

пары медней жалко?

Обвинения в скупости нежная душа Лихослава не вынесла. Он побледнел, развернулся на каблуках и вышел, умудрившись громко хлопнуть дверью. Вернулся быстро, неся несчастный крендель двумя пальцами.

— Вот.

— Спасибо, — Евдокия вдохнула пряный, маково-сдобный аромат и впиалась в румяную корочку зубами. — Действительно шпашибо... очень, знаете ли, есть хотелось...

Конечно, разговаривать с набитым ртом было несколько невежливо по отношению к собеседнику, но Евдокия здраво рассудила, что лучше она слегка нарушит правила приличия, нежели упадет в голодный обморок. С Лихослава станется принять оный за проявление дамского кокетства.

А сдоба была хороша... без маслица, конечно, но мягкая, пышная, щедро сдобренная изюмом.

Лихослав наблюдал за Евдокией со странным выражением лица, которое можно было бы интерпретировать, пожалуй, как сочувственное. Вытащив серебряную фляжку, он протянул ее Евдокие.

— Спасибо, — сказала она, облизывая пальцы. — Но по утрам не пью.

— Уже полдень минул.

— Не аргумент.

— Там чай, травяной, — сказал и смутился, видимо устыдившись такого для улана позорного факта. Но чай, горьковатый, с мягкими нотами ромашки и мятной прохладой, пришелся весьма кстати. Евдокия почувствовала, как стремительно добреет.

— Кстати, — она собрала с юбок крошки и отправила в рот. Крендель был всем хорош, но... маловат. — А почему мы стоим. Если, конечно, сие не великая военная тайна?

— Пропускаем «Королевскую стрелу». Я присяду?

— Да, пожалуйста, — Евдокия даже подвинулась, но Лихослав предпочел устроиться напротив. Сел прямо, руки скрестил.

Смотрит.

На сытый, ладно, почти сытый желудок, новый знакомый былого отторжения не вызывал, напротив, он казался вполне симпатичным. Не юн, но и не стар, в том приятном возрасте расцвета мужской силы, когда фигура теряет юношескую несуразность, но еще не оплывает, не зарастает жирком.

Статный.

И плечи широкие, надежные такие с виду плечи. Мундир сидит, как влитой.

Черты лица приятные, но без слащавости... особенно подбородок хорош, уверенный. Упрямый такой подбородок. И уши... как-то Евдокии попался труд некоего докторуса, утверждавшего, будто бы по форме ушей о человеческом характере много интересного узнать можно.

Ее собственные, аккуратные, прижатые к голове, говорили о врожденном упрямстве, недоверчивости и склонности к глубоким самокопаниям... у Лихослава уши были крупные, слегка оттопыренные со светлым пушком по краю. Переносица широкая. Скулы острые, а глаза слегка раскосые, к вискам приподнятые. Волосы светлые, длинные и с виду жесткие, что проволока.

— Нравлюсь? — естественно, Лихослав истолковал ее интерес по-своему.

— Нет, — искренне ответила Евдокия.

Мужчинам она не доверяла. А уж таким... располагающей внешности... да еще и в мундире если, не доверяла вдвойне.

Врут.

И этот не исключение.

— Надо же, а мне казалось, я подобрал ключ к вашему сердцу.

— Не вы, а крендель. И пять сребней, — не удержалась она от напоминания.

— Конечно, как я мог забыть!

Пять монет свежей чеканки, блестящих, с незатертым еще профилем Витольда Лукавого, легли на столик.

— Ваша... подопечная вас совсем не кормит?

Станный вопрос.

И взгляд этот... сочувствующий?

— Почему? Кормит, просто работы много, вот и не успела позавтракать.

— И часто у вас... много работы?

— Постоянно.

Лихослав скосил взгляд на руки. И Евдокия тоже посмотрела... нет, хорошие руки, с сильными квадратных очертаний ладонями, с пальцами тонкими, изящными даже, но не следовало этой изящностью обманываться. На левом мизинце блестит, переливается всеми оттенками зеленого камешек.

Интересный.

И камешек, и перстенок. Оправа простая, грубоватая даже, словно лил ее вовсе не ювелир... а камень? Что за он? Не изумруд, явно. Нет, Евдокия не специалистка, однако же не похож на изумруд. И на хризолит... ведьмавской хрусталь?

Вероятнее всего.

И на что заговорен?

Впрочем, вариантов не так уж много. И Евдокия, подавшись вперед, почти опираясь на столик грудью, томно взмахнула ресницами.

— Знаете, мне кажется, что я начинаю вам симпатизировать...

Камешек с готовностью покраснел.

Стало быть, ложь распознает... во всяком случае, откровенную. Лихослав перстенок прикрыл ладонью, но смущения не выказал.

— Устаревшая модель, — Евдокия сцепила руки.

Ее собственный амулет, сделанный в виде сапфировой капельки-подвески, прилип к коже и пока вел себя смирно.

— Вы закажите с привязкой на нагрев...

— Всенепременно, — пробурчал Лихослав, окидывая Евдокию новым цепким взглядом. — Только откуда у бедного улана деньги на новый амулет?

— Оттуда, откуда и на старый.

— В карты выиграл.

...не врет. Во всяком случае, не напрямую. Евдокии ли не знать, сколь разнообразна может быть ложь... Впрочем, так даже интересней.

— Много играете? — поинтересовалась она.

— Не больше, чем другие...

— И часто вам везет?

— Случается. Кстати, мне казалось, что это я платил вам за ответы...

— Но вы же вопросов не задаете, так к чему время зря тратить? — Евдокия поставила монетку на ребро. — И все-таки, что вы хотели узнать?

— Вы и ваша подопечная... родственницы?

— Да.

— А мужчина, который... с вами...

— Ее отец. Да смотрите вы на свое колечко, не стесняйтесь.

...все равно, если Евдокия не захочет сказать правду, то найдет способ обойти. Маменькины партнеры, небось, все приходят, амулетами обвешавшись, и даже разлюбезный пан Острожский, мысли о котором не давали Евдокии покоя, не был исключением. Но ведьмовской хрусталь — игре не помеха.

— Отец? — Лихослав руку с руки убрал. — Он же эльф!

— И что? Считаете, что эльфы не способны иметь детей?

Смутился.

— Нет, но... она не похожа... нет, похожа, но... значит, отец? И сколько ей лет?

— Семнадцать. Скоро исполнится.

— Семнадцать... — задумчиво повторил Лихослав. — И в Познаньск вы отправляетесь...

— На конкурс красоты.

— Конкурс... красоты... и поиски подходящего супруга?

Евдокия лишь плечами пожала. Если ему нравится так думать, пускай себе.

— Полагаю, помимо красоты у вашей подопечной имеется неплохое... приданое?

Ну да, не душевными же качествами ему интересоваться.

— Имеется, — Евдокия погладила подвеску, которая оставалась холодна. — А вы, стало быть, приглядываете себе супругу?

— Приходится.

Очаровательная у него улыбка.

— Жизнь простого улана тяжела и затратна... сами знаете.

Не лжет.

Но и правды не говорит, играет, тем интересней. А про простого улана — ложь, фляга-то, которую Евдокии давал, недешевая. Заговоренная, но старого, если не старинного образца. Она из тех вещей, что хранят верность определенной крови, переходя из рук в руки.

А форма у него, хоть и по казенному образцу, но шита явно на заказ. Сукно хорошее, крашено ровно, уж Евдокия разбирается... и сапоги хромовые, новенькие... и перчатки... и сам он, точно с королевского плаката-воззвания сошедший.

Нет, непростой улан.

— Расскажите о себе, — попросила Евдокия.

— Зачем?

— Ну... должна же я знать, подходите ли вы Аленке.

— Даже так? Мне показалось, что вам...

— Все равно? Знаете, у вас премерзкая привычка недоговаривать фразы. Вы не пробовали от нее избавиться?

— Пробовал. Но, как говорит наш семейный доктор, *consuetudo est altera natura* [7].

Он вытянул ноги, а руки скрестил на груди, точно заслоняясь от Евдокии.

— Что же касается рассказа, то... увы, особо нечем вас порадовать. Точнее, я не представляю,

что именно вас бы заинтересовало. Я появился на свет тридцать лет тому, в семье шляхтича... вторым сыном...

...то бишь, без права наследовать земли и родительское состояние, ежели такое имелось. В лучшем случае выделяют ему деревеньку или поместье с худыми землями, велев пробиваться самому. А может, и этого не хватит, вот и записали младенчика в уланский полк, какое-никакое, а содержание...

...хотя не вяжется эта теория с хорошей одеждой...

...или играет? Сам же признался, но...

— Помимо меня в семье трое братьев и три сестры...

...плохо, значит, остатки состояния уйдут на то, чтобы наскрести более-менее достойное приданое. А еще девиц в свет вывести надобно, на невестину ярмарку, где, глядишь, и сыщется кто подходящего рода.

Лихослав усмехался.

И Евдокии стало вдруг стыдно за эти свои, пожалуй, чересчур практичные мысли. Прав Лютик, говоря, что порой она перестает за финансами людей видеть.

— Признаюсь, мой батюшка был довольно состоятельным человеком, однако... некоторые его слабости подорвали семейное благополучие...

...и ведь ни слова прямой лжи. Просто-таки подозрительной честности человек.

— Пытаясь его поправить, батюшка сделал несколько неудачных вложений и...

— Прогадал.

— Прогадал, — отозвался Лихослав, упираясь щепотью в упрямый свой подбородок. — Некоторое время мне удавалось поддерживать семью...

— В карты везло? — Евдокия не удержалась, но улан лишь плечами пожал и ответил:

— Вроде того... везло... но любое везение рано или поздно заканчивается. И боюсь, если в ближайшем будущем мы не найдем способ дела поправить, случится скандал.

Вот что их пугает.

Скандал.

Не разорение, нищета, которая вряд ли грозит, а скандал... как же, имя доброе... сплетни... не понимала этого Евдокия категорически.

— И вы сейчас намереваетесь поправить дела выгодным браком?

— Знаете, мне импонирует ваша догадливость, — Лихослав мямл подбородок, и в этом Евдокии виделся признак нервозности. — Осуждаете?

— Нет.

Искать выгоды, хоть бы и в браке, нормально. И Лихослав вовсе не скрывает намерений, быть может, вовсе он не так и плох, как Евдокии представлялось изначально.

Брак... Аленка молода, красива... состоятельна...

Хорошая бы пара получилось.

— Двести тысяч злотней, — сказала Евдокия, глядя в синие глаза офицера. — И в перспективе доля в семейном предприятии.

— Большом?

— С годовым оборотом в полтора миллиона.

Приподнятая бровь.

И не стоит, пожалуй, озвучивать, что предприятие это, во многом усилиями Евдокии, обороты лишь набирает. А когда нормально заработают прикупленная давече суконная фабрика и канатный заводец, единственный на три воеводства, то доходы вырастут на треть...

вернуться

7

Привычка — вторая натура.

...и к Хельму медные рудники.

— Что ж, достойно, — произнес Лихослав. — Стало быть, мои намерения вы сочли достаточно...

— Ясными.

— И возражений не имеете?

— Да разве ж я могла бы? — Евдокия погладила кулончик, который был отвратительно молчалив. — Но дело ведь не за мной, а за Аленкой... видите ли, она влюблена.

Лихослав покосился на перстень, но камень не спешил менять окрас.

— И в кого же?

— В Себастьяна Вевельского, — с преогромным наслаждением, что было ей вовсе не свойственно, сказала Евдокия.

Лихослав нахмурился. Дрогнула губа, блеснули клыки...

Злится?

Пускай... позлится и пойдет искать невесту в другом месте.

...приданое приданым, но Евдокии неприятно было думать, что ее сестра окажется замужем за человеком, которому нужны были исключительно маменькины злотни.

Она девочка светлая.

Влюбится еще... придумает себе счастливую жизнь... страдать станет.

— И давно? — Лихослав глядел на камень так, точно подозревал за ним обман.

— Да уж третий год пошел...

...с того самого дня, как Аленка удостоилась сомнительной чести столкнуться с князем на цветочной ярмарке. А он, видимо, пребывая в хорошем настроении, подарил ей розу.

Белую.

Белая роза — символ чистых намерений и высокой платонической любви. И бесполезно было утверждать, что вряд ли ненаследный князь догадывался о значении своего подарка.

С Аленкой вообще спорить было сложно.

— Третий год, значит... а Себастьян знает об этой... — Лихослав нарисовал в воздухе сердечко.

— Понятия не имею. Мне он не отчитывался.

— Ясно... в таком случае, надеюсь, вы не станете чинить препятствий... другим кандидатам?

— За пять сребней? — монетки все еще лежали на столе. — Конечно, стану.

— Почему?

— Вы мне за информацию платили, — Евдокия выстроила серебряную башенку, а затем смахнула сребни в ридикюль. — А не за содействие...

— Но...

— Вы же не станете отрицать, что я совершенно искренне отвечала на все ваши вопросы?

— Нет, но...

— И в таком случае, свои обязательства согласно договора я выполнила.

Евдокия поднялась.

— Стойте... вы...

— Я же предупреждала, что потом дороже станет. Двадцать сребней. Ежемесячно...

Торговаться офицер не умел совершенно...

А в купе Евдокию поджидал сюрприз.

Он пристроился на красном диванчике, у окошка, и сидел, подперев подбородок пятерней. Пухлые пальцы Аполлона касались румяной щеки, растрепанные кудри, освобожденные от сахарного плена, легли на плечи. В правой руке Аполлон держал красного леденцового петушка на палочке, видать, держал давно, храбро презрев опасность диатеза, ежели петушок лишился головы и хвоста.

— Коровы шли широкою волной, — произнес он, вскинув затуманенный взор на Евдокию. — Располучая нас с тобой... я в руку взял кнута. И быть нам вместе. Да.

— Нет, — ответила Евдокия, силясь справиться с паникой.

— Почему? — Аполлон выпятил губу, и подбородок его мелко затрясся, видать, от переполнявшей жениха обиды.

— Что ты тут делаешь?

— Тебя жду. Хочешь? — он щедро протянул Евдокии петушка, лизнув напоследок. — Вот тут еще не обкусывал...

На леденцовую грудку налипли крошки.

— Аполлон, — подношение Евдокия проигнорировала и, сделав глубокий вдох, велела себе успокоиться. — Я тебя спрашиваю, что ты делаешь в нашем купе?

— Я... от мамки сбежал.

Он уставился на Евдокию, часто-часто моргая.

Сбежал.

В рубаше белой, с расшитым воротом и латками на локтях. Рубаша перевязана широким поясом, синим, но желтыми тюльпанами затканном. Полотняные, сизого колера, портки топорщатся пузырями, поверх стоптанных сапог надеты новенькие галоши...

Сбег, значит.

И сумку прихватил, локотком к себе прижимает, поглаживает.

Евдокия потрясла головой, надеясь, что все, бывшее до сего момента — лишь сон, пусть и удивительно правдоподобный, но... она откроет глаза и очнется в купе первого класса, аглицкого, Пулмановского вагона, который не стоит, но...

— Ты злишься? — робко спросил Аполлон. — Прогонишь, да? Мама сказала, что ты в столицу едешь... за женихами... и я с тобой.

— За женихами?

Аполлон нахмурился, кажется, с этой точки зрения он свое путешествие не рассматривал. Впрочем, думал он недолго, вероятно оттого, что процесс сей был для него непривычен и вызывал немалые неудобства.

— Не. Я за женой. Ты ж за меня не пойдешь?

— Не пойду, — Евдокия присела.

Сумасшедший сегодня день.

— И ладно, — как-то легко смирился Аполлон, но счел нужным пояснить. — Ты ж старая.

— Я?!

Старой себя Евдокия не ощущала.

— Мамка так сказала, что ты перестарок, а все равно кобенишься. Ну я и подумал, зачем мне старая жена? Я себе молодую в столице найду. Красивую.

— А я, значит, некрасивая?

— Ну... — Аполлон явно заподозрил неладное и, прижав изрядно обслюнявленного петушка к груди, произнес. — Ты, Дуся, очень красивая... прям как моя мама.

Евдокия только крикнула, проглатывая столь лестное сравнение. Отчего-то припомнились усики многоуважаемой Гражины Бернатовны.

— И я тебя боюсь...

— С чего вдруг?

— Мама сказала, что ты ее со свету сживешь, а меня в ежовых рукавицах держать будешь. А я не хочу, чтоб в ежовых... они колются.

— А... тогда понятно.

Выставить.

Позвать проводника и... Аполлон же, ободренный пониманием, продолжил рассказ.

— Я тогда подумал, что раз ты в Познаньск едешь, то и я с тобою... найду себе невесту.

— Молодую и красивую...

— Ага...

— И без рукавиц...

— Точно.

— А если не найдешь? — дурной сон явно не собирался заканчиваться, потому как был не сном, но самой, что ни на есть, объективной реальностью.

— Почему? — удивление Аполлона была искренним. — Маменька говорит, что в Познаньске Хельма лысого найти можно, не то, что невесту... она говорила, что сама меня повезла б, когда б было на кого лавку оставить. Вот я и...

— Сбежал.

— Ага! — он лизнул петушка. — Утречком до вокзалу... а там в вагон... и опаньки.

И опаньки... точно, полные опаньки, куда ни глянь.

— Аполлон, — Евдокия потерла виски, потому как мигрень, отступившая было, явно вознамерилась вернуться. — А деньги у тебя откуда?

— Так у маменьки взял...

— И билет ты купил?

— Ага...

— Хорошо. Замечательно просто... Аполлон, а здесь ты как оказался? В купе.

— Ну... я подглядел, куда вы садитесь... и как поезд стал, то и пришел. Хотел раньше, но проводник пущать отказался. Вот.

Какой замечательный человек, этот проводник. Евдокия мысленно пожелала ему долгих лет и здоровья, а еще огорчилась, что недавняя остановка вынудила проводника покинуть свой пост...

Впрочем, из сказанного Аполлоном она уловила одно: билет у него имелся.

— Аполлон, — она сделала глубокий вдох, уже догадываясь, что выпроводить потенциального жениха будет не так-то просто. — Ты должен уйти.

— Куда?

— К себе.

— Так... далеко... мы верст тридцать уже отъехали, — просветил Аполлон и, высунув розовый язык, лизнул безголового петушка.

— Я имею в виду, в тот вагон, в котором ты ехал. Понимаешь?

Он кивнул, но с места не сдвинулся. Напротив, поерзал и почти чистой рукой вцепился в диванчик.

— Не пойдешь?

...этого портфелем бить бесполезно.

— Не пойду.

— Почему? — ласково осведомилась Евдокия.

— Там душно... и жарко... и мухи летают.

— Словно духи... — всплыло в памяти не к месту.

— Не, просто мухи. Жужжат... а еще баба рядом едет, толстая и взопревшая, — продолжал перечислять Аполлон. На секунду он задумался, а после выдвинул очередной аргумент. — И коза.

— Взопревшая?

Евдокия чувствовала, что еще немного и позорно завизжит. Или в обморок упадет, не голодный, но самый обыкновенный, нервический, который время от времени приключается с любой девицей.

— Почему взопревшая? — удивился Аполлон. И тут же признался. — Не знаю. Я козу не нюхал. Просто коза. Беленькая... она на меня смотрит.

— Любуется, должно быть.

Евдокия присела и сдвинула голову руками. Спокойно. Вот появится проводник, и ему можно будет перепоручить это недоразумение... в конце концов, Аполлон взрослый уже... и что с ним случится?

Что угодно.

Обманут.

Ограбят.

А Евдокию потом совесть замучит... но не терпеть же его до самого Познаньска?

— А хочешь, — Аполлон протянул руку и погладил Евдокию волосам. Ладонь его широкая была не особо чиста, и на волосах, кажется, остался карамельный сироп. — Хочешь, я тебе стихи почитаю?

— Про бабу?

— Про бабу... и про козу... ты не переживай, Евдокиюшка... вот доберемся мы до Познаньска...
...к следующему вечеру, когда Евдокия окончательно свихнемся.

— ...и найдем тебе жениха хорошего... доброго... а мне жену.

— Тоже добрую?

— Ага... она мне собаку завести разрешит.

— А может, ты домой вернешься, — робко предложила Евдокия. — Без жены. И просто собаку заведешь?

Аполлон вздохнул. По всему выходило, что жениться ему не так уж сильно хотелось.

— Не, — ответил он, подпирая щеку пудовым кулаком. — Не выйдет. Мама сказала, что сначала надо жену завести, а потом уже собаку.

А маму он слушать привык.

И Евдокия, обняв портфель, в котором лежали документы, более не казавшиеся столь уж важными, закрыла глаза. Все наладится... непременно наладится... в конце концов, было бы из-за чего в панику впадать... это ж не пожар на прядильной фабрике, только-только отстроенной... и не мор, который на овец напал, отчего цены на шерсть выросли втрое... и даже не падение акций компании «Сильвестров и сыновья» на третий день после того, как Евдокия в оные акции четвертую часть свободного капитала перевела.

...подумаешь, жених...

...куда-нибудь да исчезнет.

Но Аполлон исчезать не собирался, он сопел, грыз петушка и собственные ногти, а еще время от времени порывался читать стихи.

— У бабы Зины жопа с две корзины! — громко, вдохновенно декламировал Аполлон, и от

избытка эмоций, должно быть, стучал могучим кулаком по могучей же груди. Звук получался гулким, громким. — У бабы Нади рожка в шоколаде...

...издалека донесся тонкий гудок, надо полагать, той самой «Королевской стрелы», которую велено было пропустить, и «Молот Вотана» ответил.

— Баба Надя — соседка наша, — пояснил Аполлон и поскреб живот. — Она шоколады продает... втридорога... а меня не любит. Одного разу так разверещалась на всю улицу! Разоряю я ее! Пришел и пожрал... а я ж только одну конфетку попробовал! У нее шоколады не вкусные! Она сахару жалеет.

— Ужас, — не вникая в хитросплетения Зеленой слободы, ответила Евдокия.

Ужас как он есть. Форменный.

«Королевская стрела» пронеслась мимо, грохоча и подвывая. И Аполлон, замороженный таким небывалым зрелищем, примолк. Он подвинулся к самому окну, приник, щекой прилипши к стеклу, не дыша, глядя на мелькавшие темно-синие, с золоченым позументом, вагоны.

— Экая... она... маменька говорит, что королю хорошо.

— Почему?

— Королем родился. Другим-то работать надобно от зари до зари, — уверившись, что «Стрела» ушла и возвращаться не намерена, Аполлон от окошка отлип и даже попытался вытереть отпечаток ладони.

Рукавом.

— То есть, ты работаешь много? — уточнила Евдокия, поглядывая на дверь. Сейчас более, чем когда бы то ни было, она нуждалась в Лютике. Он найдет способ избавиться от Аполлона...

...он всегда находил способ разрешить проблемы, казавшиеся Евдокии неразрешимыми. Как правило, касались оные проблемы не финансов, но людей, общение с которыми у Евдокии не ладилось.

— Я? Я еще молод, чтобы работать, — Аполлон даже возмутился таким предположением. — Успею за жизнь наработаться. Мама так говорит...

Ну да, ежели мама говорит...

...страшно подумать, что предпримет дражайшая Гражина Бернатовна, обнаружив побег драгоценного своего сыночка.

— Аполлон.

— Да? — он подался вперед, горя желанием услужить, если, конечно, услуга не потребует чрезмерных усилий. Все-таки здоровьем он обладал слабым, такое надорвать проще простого.

— Помолчи.

— Что, совсем?

— Совсем...

— И стихов не читать? — Аполлон насупился. Все ж таки не часто ему доводилось встретить благодарного слушателя. Все больше на жизненном пути, каковой сам Аполлон полагал нелегким, щедро пересыпанным терниями, и совсем реденько — звездами, попадались слушатели неблагодарные, норотившие сбежать от высокого слова.

А то и вовсе отвечавшие словом низким, можно сказать, матерным.

Соседка же, та самая, у которой задница большая — конечно, не с две корзины, тут Аполлон слегка преувеличил, исключительно в силу творческой надобности — вовсе мокрою тряпкой по хребту огрела. Бездельником обозвала еще... а он не бездельник.

Он студент.

И поэт.

Вот войдет в энциклопедию, как матушка пророчит — ей-то, небось, видней, чем соседке — тогда-то и поплачет она, злокозненная, вспоминая, как великого народного поэта грязною тряпкой обхаживала... Аполлон задумался. Сей момент, не дававший покоя мятущейся и слегка оголодавшей с утра — а то, маменька, небось, шанежки затеяла — душе, настоятельно требовал быть увековеченным в словах.

А то ж куда это годится?

Каждый поэта обидеть норовит...

Аполлон вздохнул и откусил от леденцового петушиного тела половину. Раз говорить не велено, он помолчит, он же ж не просто так, а с пониманием. Вон, невестушка нечаянная, хоть и бывшая, хмурится, губу оттопырила, за косу себя дергает, небось, печали предается.

А и сама виноватая... соглашалась бы, когда Аполлон ее звал замуж, глядишь, уже б до храма дошли... и зажили бы душа в душу, как маменька велит. Но маменьке Евдокия сразу не глянулась.

— Гонорливая больно, — сказала она, едва за ворота выйдя. — И старая.

Оно-то так... старая... на целых девять лет старше, а это ж много, почитай, половина Аполлоновой жизни... и потому жаль ее даже, бедолажную...

Аполлон вздохнул.

От жалости и еще от голодухи, он повел носом, но в поезде пахло нехорошо, поездом. И то верно маменька говорила, что все поезда — это от Хельма, что людям-то положено ногами по земле ходить. Или на совсем уж крайний случай, бричкой пользоваться. А чтобы железная громадина, да паром пыхая, да по рельсам ползла... и воняла.

Или это уже от Аполлона?

Он поднял руку и голову наклонил, пытаясь уловить, от него ли потом несет. А ведь мылся позавчера только... он бы и почаще в баню заглядывал, но мама боялась, что после парилочки застудится...

...как она там, одна и с шанежками?

Управится ли?

Аполлон вздохнул, скучая сразу и по маменьке, и по шанежкам... и Евдокия, сунув кончик косы в рот, ответила таким же тяжким вздохом.

...ей думалось вовсе не о шанежках, но о мухах, кучах, Лихославе, который уперто не шел из головы, пяти сребнях, прихваченных исключительно из урожденной вредности, Аленке...

Лютике...

...и где они ходят? Поезд вздрогнул всем телом, и загудел, предупреждая, что вынужденная остановка подходит к концу.

— Дуся, а мы... — Аленка открыла дверь и замерла, воззавившись на Аполлона, который, следовало признать, представлял собой картину удивительную. Он сидел, уставившись в окно, и в пустом его взгляде читалась нечеловеческая просто тоска... губы Аполлона шевелились, но благо, с них не слетало ни звука... пухлые щеки расцвели красными пятнами... а щепкой от съеденного петушка Аполлон ковырялся в ухе.

— Гм, — задумчиво произнес Лютик.

И в эту минуту Аполлон обернулся. Взгляд его, зацепившийся за Лютика, медленно обретал подобие осмысленности. Рот приоткрывался, а подбородок вдруг задрожал часто, нервно.

— Не-не-нелюдь! — взвизгнул Аполлон неожиданно тонким голосом. — Дуся, не-не-нелюдь!

— Эльф, Поля. Просто эльф.

Евдокия вздохнула.

— Нелюдь! — Аполлон, справившись с приступом паники, поднялся. — Туточки люди приличные едут, а они...

— Поля, — на сей раз Евдокия не стала ограничивать себя в желаниях и, дотянувшись, пнула несостоявшегося жениха. Он тоненько взвизгнул и коленку потер, уставившись на Евдокию с укоризною. Пускай смотрит. Ей вот полегчало. И вообще раньше надо было пнуть. — Во-первых, едет здесь как раз он... и моя сестра. Во-вторых, эльфы к нелюди не относятся...

— Да?

Он тер коленку и носом шмыгал, готовясь расплакаться. Останавливало лишь то, что никто не спешил выразить сочувствие. Злые, равнодушные люди... а ведь синец останется. У Аполлона с рождения кожа нежная...

— Да, Поля... а в-третьих, тебе пора...

— Куда?

— Туда, Поля, — Евдокия указала на дверь. — Туда...

— Но... он... он... а он тут... с тобой... он...

— Он тут, — согласилась Евдокия. — Со мной. Он мой отчим.

— Нелюдь?

— Эльф.

— А мама говорит, что все эльфы — нелюди! — привел Аполлон веский с его точки зрения аргумент. — Их вешать надо. На столбах.

— Ваша мама, — Лютик улыбнулся, умел он улыбаться так, что людям с куда более крепкими нервами становилось не по себе, — верно, очень мудрая женщина...

— Ага!

— ...и ума у нее палата... однако, видите ли, любезный...

— Аполлон, — подсказала Евдокия, сжимая виски ладонями. Голова гудела и раскалывалась, и эта боль уже не отступит перед чарами Аленки.

— Любезный Аполлон, королевский совет в данном вопросе придерживается мнения иного. И оттого у эльфов с людьми равные права.

Лютик взял Аполлона под руку, и тот, замороженный плавной мягкой речью, не возмутился, только пробормотал:

— Мама говорит, что в Совете одни воры сидят!

— Несомненно, это мнение в чем-то соответствует истине... но что нам за дело до королевского совета? Мы сейчас решаем иной вопрос.

— Какой?

— Некоторой неуместности вашего здесь присутствия, — Лютик улыбался искренне. — Сами посудите. Две незамужние девицы... и мужчина, который им никак не родственник едут в одном купе... что подумают о моих дочерях?

— Что? — послушно спросил Аполлон.

— Что они — легкомысленные особы... а ведь вы не желаете им зла?

— Неа...

— И следовательно, вам надо уйти...

— Там воняет... — пожаловался Аполлон. — И коза. Я с козой не поеду!

— Конечно, — порой Евдокию поражали запасы Лютикового терпения, видевшиеся ей бездонными, и нечеловеческая его невозмутимость. — Конечно, вам не стоит ехать с козой. Но мы, думаю, сумеем договориться о том, чтобы вам предоставили отдельное купе...

Зная Лютика, Евдокия не усомнилась, что купе найдется и будет расположено в другом конце вагона. Она выдохнула и смежила веки, позволяя Аленке сесть рядом...

— Совсем достал, да?

Евдокия кивнула.

— Ничего... потерпи... скоро уже приедем... а я принца видела, представляешь? Он в Познаньск возвращается к конкурсу...

...ее голос, нежный, журчащий, проникал сквозь боль и грохот колес, успокаивая.

До Познаньска оставались сутки ходу.

Глава 6

О женском коварстве, мужской изобретательности и жизненных планах панночки Богуславы Ястрежемской

Панночка Богуслава Ястрежемска изволили пребывать в дурном настроении, что уже успела ощутить и камеристка, и горничная, заплетавшая панночке косы.

— Дура, — рывкнула Богуслава, когда неуклюжая девка дернула гребень, выдирая длинный медный волос. — Вон пошла!

— Но панночка...

— Вон!

И гребнем швырнула в спину.

Села. Сдавила голову тонкими пальчиками, закрыла глаза да так и сидела, самой казалось, что целую вечность, но нет, на старинных и уродливых каминных часах, кои папенька отказывался убрать, проявляя редкостное упрямство, едва ли десять минут минуло.

А все он!

— Сволочь! — Богуслава швырнула в запертую дверь щетку для волос.

Не полегчало. И следом за щеткой отправилась пудреница, которая от столкновения раскрылась, обдав дверь, и пушистый ковер облаком белой пудры.

Высшего качества, между прочим. С добавлением толченого жемчуга и крупниц золота...

...цена на пудру была соответствующая, но сегодня Богуслава не намерена была думать о такой пошлости, как деньги. Ее распирала злость. И злость эта требовала выхода. Оглядевшись, панночка остановила взгляд на вазочке из красного бугемского стекла, преуродливой, надо сказать, но папенькиной новой жене вазочка нравилась, что само по себе было веским поводом, чтобы избавиться...

...хорошо бы и от жены.

Но нет, не выйдет...

И Богуслава с немалым наслаждением швырнула вазочку в стену, а потом по осколкам прошлась, счастливо жмурясь от хруста. Каблучками по стеклу, представляя, будто это не стекло, а...

— Панночка Богуслава, — раздался из-за двери голосок горничной.

Подсматривает, паскуда?

Следит, думать нечего, следит... эта змея, мачеха, первым делом прислугу сменила, расчет дала старой и верной, дескать, не принимают они новую хозяйку... и не приняли бы.

Потому как самозванка.

...папеньку она любит? Ага... как лисица глупого петуха, который знай, грудь выпячивает, орденами трясет, рисуется. Кому он нужен, старый да лысый? Богуслава пыталась глаза открыть, но папенька, любивший ее и только ее, баловавший безмерно, вдруг словно бы оглох.

А может, приворожила?

И его, и прислугу... колдовка, как есть колдовка... и доказать бы, что чарами пользуется нелицинзионными, запретными, тут-то...

Богуслава выдохнула и кулаки разжала. Нет, мачеха, пусть и стерва, но умная, такая на простых запретных чарах не попадется...

— Панночка Богуслава, — сладко блеяла девица за дверью. — К вам пришли.

— Кто?

— Пан Себастьян...

Пришел?

О да, и трех дней не минуло. А ведь клялся, что и часу без нее прожить не способен. Нет, Богуслава не верила, она была девушкой разумной и с большими планами, которым, правда, несколько мешал характер. А что сделаешь, если кипит в крови горячая южная кровь? Небось, папенька и сам таков, чуть что не по его, так и в крик, но отходит и прощения просит. Вон, на прошлой седмице камердинера, некстати под руку сунувшегося, плетью отходил. А после раскаялся, поднес портсигар серебряный с янтарем, коньяку дорогого и семь сребней, на доктора, значит. И ведь камердинер, подлец этакий, зная батюшкин норов крутой, сам подлез...

Но речь не о батюшке, и не об этом пройдохе, который и сам-то поддался Агнешкиным чарам, небось, следит за хозяином, доносит о каждом шаге... нет, никому нельзя верить.

И горничной.

И камеристке, которая знай, вьется, нашептывает, что, дескать, ежели Богуслава с Агнешкою общего языка не найдет, то вылетит из дома отчего в замужество... небось, всяк знает, что ночная кукушка петъ горазда. И не Богуславе, некогда любимой дочери, единственному свету в окошке князя Ястрежемского, пытаться перекуковать ее...

Но стоило Богуславе подумать о том, чтобы с мачехой помириться, как прямо-таки зубы сводить начинало от злости. Хотя нет, не ссорились ведь, жили в одном доме, да порознь, одной крышей, да чужими людьми. И понимала, понимала Богуслава, что правду говорит хитроватая баба.

Оттого и спешила сама свою судьбу сладить.

И Себастьяну Вевельскому в грандиозных прожектах будущей жизни было отведено самое что ни на есть центральное место.

А он сопротивлялся.

Сволочь.

Богуслава сделала глубокий вдох и, кинув взгляд в зеркало, велела:

— Пусть обождет.

В конце концов, она его три дня ждала, с того самого момента, как Себастьян принял приглашения на скромный, семейный почти прием, каковой князь Ястржемский устраивал в честь двадцатилетия дочери.

...двадцать лет...

И немного, жизнь только-только началась, а нет, шепчутся за спиной, предрекая Богуславе незавидную участь старой девы. Дескать, избаловал ее папенька, а теперь сладу не найдет. Он же и сам, прежде ни словом, ни мыслью не перечивший дочери, вдруг стал заговаривать о будущем ее.

Замуж пора.

И кандидат нашелся подходящий, давний папенькин партнер...

...нет, не обошлось без Агнешкиного подлого вмешательства, наговорила, нашептала в постели, а папенька и рад... думает, будто бы самому ему пришла расчудесная мысль капиталами породниться.

Она все, змеюка...

...и не слышит дорогой папенька, что будущий жених Богуславы на тридцать пять лет старше. Разве ж это любви помеха? Вот он Агнешку любит и...

...и страшно помыслить, что станется, если эта колдовка клятая понесет.

А родит мальчика?

Нехорошие мысли, темные, впору думать о том, чтоб найти ведьмака беззаконного да подкинуть в опочивальню светлосой змеюки булавок...

Но ведь найдет.

Сообразит... и папенька разгневается. Нет, иначе надобно, исподволь... вот и старалась Богуслава, приваживала жениха... конечно, лучше бы с младшенькиным Себастьяновым братцем столкнуться, однако же тот давненько в Познаньске не объявлялся, словно нарочно... можно подумать, не нашлось бы никого иного, чтоб службу на границе несть...

— Иди сюда, — Богуслава распахнула дверь, не сомневаясь, что камеристка ждет за нею. И эта девица не покраснела даже!

Подслушивает.

Доносит, но... ничего, вот вырвется Богуславушка из отчего дома, тогда и посмотрим, у кого жемчуга крупнее будут...

— Платье подай... в полосочку... да не в синюю, слышишь, дура?

— Зеленую, панночка?

— Нет... — кожа бледновата, а зеленая полоска и вовсе придаст ей нездоровый оттенок. — Неси то, поплиновое... с розанами.

Розаны — это очень мило и по-девичьи.

— И пошевеливайся!

Долго ждать Себастьян не станет. Вот упрямый человек... точнее, ходили слухи, что не человек даже... и конечно, эта его манера выставить на люди хвост... придется отучать, перевоспитывать, но потом, после свадьбы, которая состоится во что бы то ни стало.

Одевали Богуславу быстро, но без суеты. И она, уцепившись в столбик кровати, привычно выдохнула, стиснула зубы, позволяя камеристке затянуть шнуровку корсета. Конечно, платье домашнее, но... нет, рисковать Богуслава не собиралась.

— Косу плети и быстро, — она села перед зеркалом и закрыла глаза, настраиваясь на нужную тональность беседы. Все ж Себастьян знал ее, как кроткую скромную девицу... Вотан знает, чего ей стоило удержаться в образе!

Ничего...

...она улыбнулась, думая единственно о том, что весьма скоро все разрешится. И пусть метод, который избрала Богуслава для достижения цели был свойства сомнительного, не говоря уже о полной его незаконности, но... кто ж виноват, что Себастьян Вевельский в упор своего счастья не видит?

Он сидел в гостиной, о чем-то мило беседуя с...

Агнешка.

Вот тварь... а ведь собиралась к модистке. И отчего, спрашивается, не поехала? Уж не из желания ли испортить падчерице не только нынешнюю жизнь, но и будущее? С нее станется...

Змеюка.

Нет, ничего-то змеиногo в обличье Агнешки, новой княгини Ястрежемской, не было, напротив, женщина сия отличалась просто-таки редкостной сладостью облика. Круглолицая, вся мягкая и пышная, с белой сахарной кожей, со светлыми, тонкой карамели волосами, с медом в голосе... и от звука этого голоса на Богуславу накатывало бешенство.

Нет.

Не здесь. Не сейчас.

Прятался в складках платья флакон из темного стекла, ждал своего часа.

— Ах, Богуслава, вот и ты! — воскликнула Агнешка, соизволив, наконец, заметить падчерицу. — А мы уж не чаяли дожидаться твоего появления.

Упрек в голосе скрыть не соизволила.

— Прошу меня простить великодушно, — Богуслава потупилась и изобразила улыбку, подобающую случаю, робкую, застенчивую...

...от Агнешки пахло ванилью.

И уходить она не собиралась, напротив, устроилась в кресле, уставилась на Себастьяна светлыми слегка выпуклыми глазенками. Глядит, едва ли не облизывается.

Чашку держит.

...ничего, дара у Богуславы хватит на малое, чтобы чашка взяла и треснула... осталась в руках ненавистой мачехи только ручка...

Ишь, взвизгнула.

И словечко-то использовала из тех, которые приличным особам и знать-то не полагается.

...по светло-кремовому атласу — пять злотней за аршин! — расплывалось уродливое пятно. Пускай... Богуслава себе эту ткань присмотрела, к ее-то медного оттенка волосам атлас пошел бы больше, но нет, видишь ли, непристойно девице дорогие наряды носить.

Ясно же, папенька не сам все это придумал.

— Ужас какой! — почти искренне воскликнула Богуслава. — Жаль платья...

— Ничего, — Агнешка отложила фарфоровую ручку на столик. — Гарольд мне новое купит...

...купит, тут и гадать нечего. И будет долго нудно выговаривать, мол, Богуславины выходки его в разорение вводят. Жена его разоряет, а не Богуслава.

— Вынуждена вас покинуть, — Агнешка встала. Уйдет, конечно, но ненадолго... и небось, камеристку оставит присматривать... и служанок.

Ничего.

Богуслава не только посуду бить способна.

Оставшись наедине с князем, она потупилась, разгладила невидимые складочки на платье, выгодно простеньком, дешевеньком даже по сравнению с роскошными атласами Агнешки.

— Вы... извините, Себастьян, за сию некрасивую сцену, — тихо сказала она, глядя исключительно на собственные руки. — Иногда Агнешка любит... поиграть на публику.

— Мне кажется, не она одна.

Намек?

Или просто вежливая и уместная фраза.

А хорош... высокий стройный. И одевается со вкусом. Нынешняя визитка бледно-серого колера из аглицкого сукна сшитая сидело идеально.

Ботинки узконосые сияли.

И запонки тоже сияли.

И булавка для галстука с крупным кабшоном. Еще немного и смотрелось бы сие вульгарно, но Себастьян Вевельский меру знал.

...жаль, что ненаследный, но Богуслава узнавала, в перспективе подобное решение и опротестовать можно. Главное, эту самую перспективу возможной сделать.

...а вместе они хорошо смотреться будут.

— Мы не ладим, — признание честное, и вздох глубокий, преисполненный горести. — К сожалению... но к чему говорить о ней?

— Ни к чему, — охотно согласился Себастьян. — Богуслава...

Он слегка порозовел. Неужели все-таки сам додумается предложение сделать? Хорошо бы... но если не додумается, то Богуслава поможет. Она спрятала руки в пышных складках, из-за которых, собственно говоря, и выбрала платье.

...содержимое флакона было тем и хорошо, что его не требовалось пить.

— Мне очень жаль, что я вынужден был... пропустить праздник.

...все-таки не предложение.

Жаль. И острый покрытый золотистым лаком ноготок поддел пробку. Она выскользнула легко, а тонкий аромат лемонграсса смешался с запахами сдобы, ванили и корицы.

— Мне вас не хватало...

Ресницы трепещут. На щеках румянец... зря, что ли Богуслава брала уроки актерского мастерства? Папенька не одобрял, конечно, но и не перечил...

...ох, папенька, папенька, на что вы толкаете дочь любимую?

Запах расплзлся по гостиной. Богуслава видела его, хризолитовый, полупрозрачный. Он пускал плети по ковру, сиюсь дотянуться до ног ненаследного князя...

...ничего, его ненаследность еще оспорить можно будет. Небось, с поры отречения столько лет минуло...

— Мне жаль, Богуслава, — сказал Себастьян, поводя ладонью по подлокотнику кресла. — Но дела службы...

— Конечно, я понимаю...

...приворот нестойкий, всего-то на неделю. Но недели Богуславе хватит с лихвой... главное, чтобы он предложение сделал, а там уж она папеньку подключит. Конечно, Себастьян ему не по нраву, но немного слез, пара фраз о порушенной чести и никуда-то папенька не денется.

Комната менялась, исподволь, заметно, пожалуй, лишь тому, кто был одарен Ирженой. И Богуслава точно знала, что в число одаренных ненаследный князь не входит.

Лично проверяла геральдические списки.

— Но я хотел бы сделать вам подарок... от всей души...

В руках Себастьяна появился черный продолговатый характерной формы футляр.

— ...я понимаю, что это — безделица...

Бархатистый. И с золотым замочком, с короной, которую позволялось ставить лишь на изделиях официального королевского ювелира... неужели поторопилась?

— Ах, что вы... — Богуслава приняла футляр, краснея и волнуясь почти непритворно. В конце концов, не каждый день ей подобные подарки дарят.

— Не знаю, понравится ли вам...

— Конечно...

...какой девушке не понравится изделие, вышедшее из рук пана Збигнева?

— Вы... посмотрите, — с придыханием произнес Себастьян, наклоняясь. И к ручке приник... это на него приворот уже действует? Или он сам так... не важно.

Мало все не будет.

И Богуслава, проведя пальцами по мягкой коже футляра, позволила себе мгновение неопределенности — браслет или цепочка? Для ожерелья футляр маловат, для серег и кулона — велик... конечно, она предпочла бы кольцо, но...

Себастьян ждал.

Дышал глубоко... и ерзал, постукивая кончиком хвоста по лакированному ботинку. Нервничает? И сама Богуслава испытывает неясное волнение, которое заставляет ее медлить.

Крышка откинулась беззвучно.

И Богуслава замерла.

На алом бархате со знакомой уже короной в левом углу, лежало... лежала...

— Что это? — севшим голосом спросила Богуслава, поднимая нечто в высшей степени изящное... тонкая ручка из слоновой кости... янтарь... и кажется, серебро.

И Себастьян гордо ответил:

— Скребок для языка!

Ему показалось, что Богуслава Ястрежемска швырнет футляр в стену.

Полыхнули зеленые глаза.

И губы вытянулись тонкой линией. А красивое лицо красоту утратило, прорезались морщины того, другого, существование которого столь тщательно скрывали от Себастьяна. Но нет, секунда и треснувшая был маска вернулась.

— Как это мило! — проворковала Богуслава, стискивая футляр побелевшими от гнева пальчиками. — Как... оригинально!

...еще бы, Себастьян весь извелся, подарок сочиняя.

...вот ведь упрямая девица...

Целеустремленная.

Нет, Себастьян Вевельский ничего-то не имел против целеустремленности некоторых девиц, конечно, не тогда, когда целью оных являлся он сам.

— Я сам придумал, — оскалившись, чтобы видны были клыки, сообщил он. — Там еще есть! Посмотрите...

Клыки Богуславу не смутили. Двумя пальчиками, явно с трудом сдерживая ярость, она приподняла скребок.

— Это, — указал Себастьян на длинную палочку с янтарным наконечником. — Чтобы в ушах ковыряться... а это...

Палочка поменьше, в серебро оправленная.

— ...для зубов.

Богуслава выдохнула. И вдохнула. Глубоко. Настолько глубоко, насколько корсет позволял. И Себастьян, не попади он в положение столь идиотское, восхитился бы выдержке предполагаемой невесты.

Предполагала матушка.

Отец, в кои-то веки с матушкой согласившись, вариант сей поддерживал.

А отдуваться, как всегда, приходилось Себастьяну.

И что с того, что Богуслава — единственная дочь князя Ястрежемского? Во-первых, пока единственная, но долго сие не продлится, уж Агнешка постарается родить князю долгожданного наследника. Во-вторых, это форменное свинство — поправлять дела семейные за счет Себастьяна.

Можно подумать, он состояние на актрисок и лошадей извел.

Или на благотворительность.

И теперь вот, в отчаянной попытке сохранить мир внутри семьи, обязан строить из себя идиота, надеясь, что очередная невестушка передумает связывать с оным идиотом жизнь.

...с предыдущими было проще, они особых надежд не испытывали, да и сватала девиц маменька, памятуя давнюю, но еще живую в памяти и сердце историю с Малгожатой, исподволь, намеками. Но княжну Ястрежемскую отыскал отец, у которого с Богуславиным батюшкой имелись общие дела. И пригрозил, что, дескать, ежели Себастьян от невесты станет нос воротить, то и жить будет исключительно на актеровскую зарплату, а она, невзирая на все расположение Евстафия Елисеевича, до отращения мала.

...нет, Себастьян мог бы напомнить про те двадцать тысяч злотней из дедова траста, полученные неожиданным подарком на собственное двадцатилетие. И про то, что деньги сии, прошедшие мимо семейной казны, вложены в ценные бумаги и доход дают стабильный, но...

...отец разозлится, а злость свою на матушке выместит...

И что в нынешней ситуации делать бедному актору?

Выживать, как придется.

Глянув на Богуславу, которая вертела в пальцах ковырялку для ушей, Себастьян вынужден был признать, что эта — не передумает... вот ведь!

— Представьте, вы на приеме, — он подвинулся ближе. — А у вас в ухе зудит... в левом... или в правом...

...зудели не уши, но пятки, мерзко, настойчиво так...

— ...и этот зуд вас мучит...

...поднимается к голениям... и Себастьян, отвлекшись от речи, которую тренировал весь предыдущий день, стараясь достичь нужной степени вдохновенности, наклонился и поскреб.

Боже, до чего хорошо...

...жаль мало.

— ...и вы берете свою ковырялку...

Богуслава молча протянула палочку, за которую Себастьян вывалил сто двадцать злотней и это со скидкой. Не удивительно, что семья разоряется при таких-то ценах.

— ...и смело, с соблюдением всех приличий, ковыряетесь в ухе...

...Себастьян содрал ботинки и, едва не постанывая от наслаждения, поскреб палочкой ступню.

— Вам плохо? — заботливо осведомилась Богуслава.

Хорошо...

...просто-таки чудесно...

Пальцы вот дергаются, но пальцы — право слово, это такая ерунда, главное, не прекращать чесать... хорошая палочка, стоит своих денег... и зуд расползался, выталкивая на поверхность кожи защитную чешую. Да что с ним такое?

...или...

Себастьян огромным усилием воли заставил себя расстаться с чудесной палочкой, предназначенной для ковыряния в ушах...

— Богуслава, — он дернул плечом, пытаясь уговорить прорезавшиеся крылья, которые тоже, что характерно, зудели невыносимо. — Вы ничего мне сказать не хотите?

— Я... — ресницы затрепетали, а в зеленых очах блеснула искра торжества.

Да что ж им всем-то неймется?!

— Я... должна вам признаться...

Говорит с придыханием, ладони к груди прижала... а грудь у панночки Богуславы выдающаяся... Себастьян с трудом отвел взгляд, заставив себя смотреть не на грудь, и даже не на оборочки, которыми декольте было украшено весьма щедро, но на вышитые бутоны.

А платье-то нарочито скромное.

И поза эта... не зная панночку Богуславу можно подумать, что он, Себастьян, ввел бедную девицу в смущение превеликое.

— Да, Богуслава... — с немалым трудом он заставил себя выпрямиться.

Все тело горело огнем...

— ...я... я вас люблю...

— Жаль, — Себастьян отстранился. — А я вас нет.

— Что?

— Не действуют на меня привороты, — он сунул руку в подмышку и поскребся. — Ну почти не действуют... аллергия у меня на них... с почесухой. Нестандартная реакция вследствие подростковой травмы.

— Аллергия? — уточнила Богуслава упавшим голосом.

— Увы...

...и крылья свербели просто-таки невыносимо, Себастьян ерзал, прижимаясь к слишком уж мягкой спинке дивана.

— И... извините, — Богуслава изобразила почти искреннее раскаяние. — Я не знала...

Пожалуй, раскаивалась она исключительно в этом незнании, а отнюдь не в попытке воздействия на разум, отягощенной тем фактом, что ненаследный князь Вевельский состоял на государственной службе...

— Знаете...

— Знаю, — она подалась вперед, и толстая рыжая коса скатилась с плеча на грудь. — Я поступила плохо! Безобразно! И нет мне прощения... но все, что я делала, исключительно из любви к вам.

— Богуслава, — зуд мешал сосредоточиться. — Все, что вы делали, вы делали исключительно из любви к себе. И давайте на этом остановимся?

— Почему?

— Потому, что я не хочу на вас жениться.

— А если...

— И ментальные заклинания тоже не сработают.

Она рассеянно кивнула, верно, мысленно перебирая иные возможности.

— Я предлагаю вам выбросить дурную идею из головы, — Себастьян поднялся и, скинув пиджак, все же позволил крыльям прорваться. — А я в свою очередь позабуду о вашем... неразумном поступке.

О, местные обои с золотым тиснением были хороши... Себастьян чесался о них, чувствуя, как сходят тонкие пласты чешуи... хороший был приворот, крепкий...

...чтоб его...

— Нет, — сказала Богуслава, глядя со смесью раздражения и легкой брезгливости, которую она мужественно пыталась преодолеть.

Все-таки чешуйчатый супруг — не то, о чем она мечтала.

...но с чешуей или без, Себастьян Вевельский был всяко милей папенькиного делового партнера, человека состоятельного, степенного и весомых, пудов этак на десять, достоинств, которые он облакал в скучнейшие черные сюртуки. Вспомнив любезного жениха, который, к слову, уже вполне себя женихом ощущал и бросал на Богуславу весьма откровенные взгляды, она поморщилась.

Что за жизнь!

— Да, дорогая, — Себастьян прекратил чесаться и отлип от стены. Нетопырины крылья его растопырились, задев изящный, времен Паулюса Чужака, столик. — Смиритесь, нет у нас с вами общего будущего. И не будет.

Он поднял крыло, пытаясь дотянуться острым коготком на суставе до шеи, второе же дернулось, сметая со столика фарфоровые безделушки.

— Извините.

— Да ничего страшного, — Богуслава пинком перевернула и ужасающего вида вазу, покатую, краснобокую, как яблоко, и расписанную золотыми птицами. Вазу, в отличие от безделушек, принесла с рынка Агнешка, не устояв перед этакую красотой...

...наверняка огорчится.

Но князю не выговоришь...

— Итак, на чем мы остановились, — Себастьян вазу, оказавшуюся чересчур прочной, чтобы разбиться от падения, поднял и переставил от себя подальше. — Во-первых, согласитесь, мы друг другу не подходим.

— Подходим, — возразила Богуслава, — просто вы сопротивляетесь.

— Привычка.

...дурных привычек у него имелось немало, начиная с этой его безумной работы, которую ненаследный князь не желал оставлять... однако Себастьян был строен, относительно хорош собой... особенно, когда давал себе труд прятать хвост... и вообще не имел обыкновения жаловаться на отдышку, потницу или печеночные рези... наверняка, он не станет требовать, чтобы Богуслава питалась овсянкой, на воде сваренной, или диетическими кашками из протертых овощей, каковые готовили к визитам папенькиного партнера.

Нет, из двух зол выбирают меньшее.

Правда, нигде не сказано, что оно будет активное сопротивление оказывать.

— Во-вторых, лично я не вижу себя человеком женатым...

— Вы просто не пробовали.

— Не пробовал и не хочу, — отрезал Себастьян. — И вам не советую настаивать. Богуслава, сегодня же вы сообщите папеньке, что во мне разочаровались и видеть больше не желаете.

Еще чего! Папенька только рад будет... небось, мигом об обручении объявит... если не сам, то Агнешка постарается.

— Богуслава, — в голосе ненаследного князя прорезались рычащие ноты. А во рту — клыки куда более внушительные, нежели прежде... эпатажно, но клыками девушку, твердо настроившуюся на замужество, не отпугнешь. — Если у вас вдруг возникнет желание... продолжить ваши алхимические экзерсисы...

...чешуя исчезала, впрочем, на обоях, купленных Агнешкой — видите-ли ее категорически не устраивали прежние, темно-синие в узкую серебряную полоску — остались залысины.

— ...то подумайте, сколь обрадуется ваш отец обвинению в государственной измене.

— Что?

Шутит?

Отнюдь, князь выглядел настолько серьезно, насколько это возможно в драной рубашке и остатках жилета.

— Я старший актер познаньского воеводства, — спокойно сказал он, поднимая с пола серебряную пуговку. — И приворот, отворот или же иные... воздействия, лишаящие меня ясности мышления, классифицируются как преступление против интересов государства и Короля... сиречь, измена.

И плечом дернул, сволочь...

Развернувшееся с шелестом крыло ударило по стеклянной витрине буфета, оставив на нем глубокую царапину.

— Вы собираетесь...

— Пройти освидетельствование у штатного ведьмака, — князь накинул на плечи пиджак. — Думаю, он подтвердит... мои догадки. А заодно и привязку на вас установит. Я ведь не ошибся, приворот был именным?

На крови.

И крови этой сцедили с полчаши. Богуслава поморщилась, вспомнив сию крайне неприятную часть ритуала, хуже только голубь, которого колдовка всучила Богуславе, велев держать крепко-крепко. Голубь не пытался вырваться, но лишь головой дергал, поворачивая к Богуславе то один, то другой глаз, красный, в роговице-оправе.

— Именным, — подтвердил собственную догадку князь. — И с жертвой...

— Голубь... всего-то голубь... — сердце которого пришлось проткнуть собственной рукой. Колдовка всучила заговоренную спицу, и помогла ударить... сказала, что верный способ, что иначе никак... и в конце концов, голубей в Познаньске тьма тьмущая, а жизнь у Богуславы одна.

— Голубь... птица Иржены... и запрещенный ритуал. Вы ведь знали, Богуслава, что жертвенная магия запрещена? И по-хорошему я должен вас арестовать.

Смешно.

Ее, Богуславу Ястрежемску, арестовать?

Глупость какая! Кто ему позволит-то? Папенька, конечно, будет зол, но... заплатит, кому нужно... или связи свои подключит... в конце концов, разве Богуслава желала дурного?

Просто выйти замуж за того, кто не слишком противен.

Князь же, окончательно справившись с собой, пинком опрокинул столик. Злитесь? Из-за голубя? Да если ему легче станет, Богуслава завтра же пожертвует храму Иржены-заступницы с полдюжины голубей, белых, с пушистыми ножками, каковых продают на площади...

— Вы не понимаете, да? Вы жертвуете не жизнь той божьей твари, чья кровь льется на жертвенник Хельма, — князь наклонился. — Вы жертвуете кусок своей души... и не обманывайтесь, Богуслава, что все-то можно исправить...

Она заплакала, не от страха, но потому, что желала выглядеть напуганной и растерянной, несчастной, обманутой девушкой, которая не ведала, что творит...

Кусок души?

Вотан милосердный, да пускай, если надобно, лишь бы получилось. Но кто ж знал, что с Себастьяном не получится...

— Прекратите играть, Богуслава. Я вас не трону. Сейчас мне нужно имя той колдовки, которая делала приворот.

— Я... я...

— Или адрес сойдет.

Нехорошо. Колдовку Богуславе посоветовали, будет крайне неудобно подводить человека, но Себастьян ведь не отступится. И Богуслава со вздохом сдалась.

В конце концов, она же не виновата, что кто-то пользуется запретной магией?

После того, как за Себастьяном закрылась дверь, Богуслава дала выход гневу. И ненавистная ваза разлетелась на сотни осколков.

— Сволочь! С-скотина! — Богуслава топтала их, с каким-то неестественным наслаждением вслушиваясь в хруст стекла, чувствуя его сквозь плотную подошву домашних туфель, и кроша, вдавливая в ковер, в паркет. Она сама не знала, кого ненавидит больше: отца с его матримониальными планами или же упрямого, устойчивого к приворотам князя...

Агнешку!

Из-за нее все...

Стоило подумать, и вот она, хельмово отродье, явилась, сменив одно атласное платье на другое, роскошней прежнего. Стоит, улыбается...

— Деточка, — от ласкового ее тона Богуслава зарычала. — Ну к чему так расстраиваться? Запомни, гнев ничего и никогда не дает...

Она оглядела комнату и вздохнула.

— Если бы ты не была столь самоуверенна... и спросила совета у человека опытного в... делах подобного рода, — присев, Агнешка собирала красно-золотые осколки, — то узнала бы, что Себастьян Вевельский несколько неадекватно реагирует на классическую магию. Он ведь метаморф, милая, а подобные вещи стоит учитывать.

— Злорадствуешь? — ярость схлынула.

И силы унесла.

Осталась неясная глухая тоска, ноющая боль в груди, обида еще, пожалуй. Разве ж она, Богуслава, была бы плохой женой? Она молода, богата и красива... вице-панночка Познаньского воеводства как-никак, а ежели б папенька подсуетился, отписал старому знакомому, то и корону панночки она бы получила.

Так нет же, уперся рогом, дескать, недостойно княжны...

...других достойно, а Богуславе...

Обид накопилось, и они виделись осколками, яркими, наполнявшими ладонь Агнешки до краев. В какой-то миг почудилось, будто бы не стекло это, но кровь, стекавшая с белую чашку колдовки.

Однако Богуслава моргнула, и наваждение исчезло.

О колдовке беспокоиться нечего, та поймет, что лучше промолчать о высоких клиентах, глядишь, и помогут с каторги поскорей выйти...

— Не злорадствую, но хочу помочь, — ответила Агнешка, глядя по-новому.

С интересом.

— Чего ради?

— Ну... — Агнешка ссыпала осколки в чайник и подняла подарок Себастьяна. — Что это?

— Скребок. Для языка.

Мачехин серебристый смех заставил Богуславу скривиться.

— Забавный мальчик... а твой вопрос... мы ведь не уживемся в одном доме, ты это понимаешь?

Еще как. В ином случае разве ж стала бы Богуслава рисковать?

— Конечно, с твоей стороны было бы мило исчезнуть... но увы, — Агнешка отложила скребок и вертела в тонких холеных пальчиках ковырялку для ушей.

Все-таки ненаследный князь — та еще скотина...

Но насчет дела не врал.

И если история выплывет... нет, каторга Богуславе не грозит, но слухи пойдут, что она с Хельмовой ворожкой завязалась... и тогда на замужестве можно крест поставить, одна дорога останется: в храм Иржены. А желания отречься от мира Богуслава не испытывала.

— И пожалуй, я могла бы помочь твоему исчезновению, — продолжила мачеха.

— Выдав замуж за... за... этого?!

— Не нервничай, — резко осадил Агнешка. — У тебя невыносимый характер, милая. Это существенный недостаток для женщины. Что до бедолаги Янека, то он, конечно, не красавец, но в отличие от твоего разлюбезного Себастьяна, богат. Или ты думаешь, что и после свадьбы мы будем тебя содержать?

Мы? Да эта стерва всерьез полагает, будто имеет равные с Богуславой права на папенькино состояние? Но Богуслава сдержалась. Все-таки была она, хоть и вспыльчивой, но отнюдь не глупой особой.

Сию беседу Агнешка затеяла неспроста. И та одобрительно кивнула:

— Видишь, и ты способна с собою управиться. Не так это и сложно. А думать — и того проще.

Насмешку Богуслава пропустила мимо ушей. Агнешка же, устроившись в кресле, где не так давно сидел ненаследный князь, продолжила.

— И будь добра, подумай, что даст тебе Себастьян? Твое придание уйдет на погашение долгов их семьи, а дальше?

Молчание. И стыдно признать, но Богуслава и вправду... недооценила перспективу.

— Меж тем Янек будет баловать тебя... а после его смерти ты станешь...

— Вдовой? — Богуслава позволила себе усмехнуться.

— Богатой молодой вдовой, — внесла некоторые уточнения Агнешка.

— У него есть сын от первого брака.

Год-другой Богуслава выдержала бы, но если больше... Агнешка же коснулась изящными пальчиками губ и тихо сказала:

— Сын — помеха, но любую помеху при желании можно устранить... если обратиться к нужным людям...

Повисла пауза. И нарушила ее Богуслава.

— Что ты предлагаешь?

— Союз. Ты оказываешь услугу нам. Мы тебе.

— Мы?

— Мне и моей подруге...

— И что за услуга?

— Всему свое время, Богуслава. Но клянусь, ничего сверхсложного от тебя не потребуют.

— А если я откажусь?

Агнешка пожала плечиками.

— Жаль... траур мне не идет.

— Ты...

— Не я, дорогая, но, скажем, черная лихорадка... это будет очень печально... умереть во цвете лет от черной лихорадки.

Проклятье!

И ведь не врет... смотрит с насмешкой, точно видит насквозь. А может и видит... нельзя было к колдовке идти... оттого, видать, и попросила она крови с полчашки... не для алтаря, для наговора...

— Вижу, ты все поняла правильно, — Агнешка мило улыбнулась. — Не бойся, Богуслава. Скоро ты сама поймешь, насколько выгодно с нами сотрудничать. В конце концов, разве мы, женщины, не должны помогать друг другу?

Подруга Агнешки оказалась женщиной поразительной красоты. Правда, после встречи Богуслава, как ни пыталась, ни могла вспомнить ее лица.

Но и к лучшему.

От нее и вправду попросили сущую ерунду.

Смотреть.

Слушать.

Рассказывать... о нет, не о папенькиных делах, а о... Богуслава засмеялась, испугав дуругорничную, которая после визита Агнешкиной подруги и так ходила, точно спросонья.

— Панночка? — робко спросила она.

— Все хорошо, — с улыбкой ответила Богуслава.

Все и вправду складывалось замечательно...

...уже к вечеру в дом явился гонец с известием, что Жемойтислава Терныхова, получившая корону от Познаньского воеводства, приболела. И болезнь ее такого свойства, что об участии в конкурсе и речи быть не может... и высокую честь представлять воеводство Познаньске выпала Богуславе.

А уже там, на конкурсе... все просто.

Смотреть. Слушать.

Во славу Хельма.

С Аврелием Яковлевичем Себастьян столкнулся в управлении полиции, и ведьмак, подняв трость с массивным набалдашником в виде совы, поинтересовался:

— Куда?

Набалдашник уперся в грудь, а янтарные глаза совы нехорошо блеснули.

— Туда? — Себастьян указал на дверь, за которой ждала если не полная свобода, то всяко относительная, которая, чувствовал, вот-вот выскользнет из рук. — Колдовка объявилась... приворот и жертвоприношение. Есть адрес, но...

— Пошли, — Аврелий Яковлевич повесил трость на сгиб руки, и Себастьяна, словно опасаясь, что он сбежит, под руку подхватил.

— Куда?

— Туда, — передразнил он.

— Но вы...

Аврелий Яковлевич, следовало сказать, в управлении бывал редко. И по пустякам, навроде этой вот колдовки, ведьмака не тревожили, благо, имелись иные специалисты.

— Что я? — Аврелий Яковлевич взмахом руки отпустил коллегу, который против этакого произволу возражать не посмел. — Я, к слову, мил друг Себастьянушка, за тобой...

— Может... не надо?

— Надо, дорогой, надо...

— Так ведь... все вроде хорошо...

Новое обличье Себастьян продержал шесть часов и без особых на то усилий, и продержал бы еще больше, но в гостиничном номере было скучно. Себастьян, пока сидел трижды испил чаю с подгоревшими кренделями, изучил подробнейшим образом «Дамский вестник» позапрошлогодней давности и даже выбрал себе премилую шляпку с лентами и хризантемами. Подивился тому, сколь вредоносны куриные яйца для столового серебра, а само серебро, напротив, полезно, но не для яиц, а для кожи... потренировался надевать чулки, чтобы шов ложился ровно... пришил оторвавшуюся оборочку... и полдюжины мелких бантов к рукаву, потому как тот же «Дамский вестник» утверждал, что банты-де — в большом уважении...

В общем, провел время с пользой.

Но в ближайшем будущем эксперимент повторять был не намерен. Ему покамест и в собственной шкуре очень даже неплохо. Однако ж разве Аврелию Яковлевичу дело есть до чужих желаний? Он поправил шляпу с широкими полями и атласною лентой и произнес:

— Так что, съездим за этой твоею колдовкой, развеемся... а там уже ко мне...

Предложение это Себастьяна насторожило, а тон, которым оно было сделано, и вовсе вызвал опасения. О жилище ведьмака в управлении ходили слухи самые разнообразные.

— Зачем?

— Чай пить, Себастьянушка... с баранками... в том числе и чай с баранками. Ну что ты на меня смотришь-то так? Не обижу... во всяк случае, постараюсь.

Обещание вдохновляло.

Аврелий Яковлевич влез в полицейскую пролетку и, оглядевшись, вздохнул:

— Ничего-то не меняется.

Он провел ладонью по обшарпанному боку, втянул запах — воска, старой краски и винного духа. Последнему взяться вроде бы и не откуда было, однако же он возникал, сам собою заводясь во всех пролетках без исключения, и не выветривался никак.

Еще воняло кошатиной.

И конским навозом.

Скрипели рессоры, на камнях пролетку подбрасывало и Аврелий Яковлевич крякал, шляпу придерерживал рукой, а тросточка бухалась о пол.

Глядел ведьмак на собственные руки.

И мурлыкал под нос препошлейшую песенку, на Себастьяна искоса поглядывал, и от этого взгляда становилось совсем уж не по себе...

— Ты, Себастьянушка, — произнес он, когда пролетка остановилась, — вперед особо не суйся, побереги себя... колдовки — они такие... никогда-то загодя не узнаешь, чего от них ждать.

— Так ведь...

...случалось Себастьяну по подобным вызовам ездить.

Запретная ворожба.

Привороты.

Жертвоприношения.

Штатный ведьмак свидетелем. Понятые. Обыск и нудноватая, но подробная опись, составить которую надлежит в двух экземплярах. Описью займется младший актер, а то и вовсе писарь, вызванный из ближайшего околотка, но присутствовать придется.

И слушать причитания соседей, которые, естественно, подозревали, что искомая панна — ведьма, но вот чтобы так, натуральная...

...и жалобы их, в большинстве своем пустого свойства, поскольку ни одна, самая дурная колдовка, не станет пакостить там, где живет. Но не объяснять же, что полицейское управление не будет разбираться с куриным переполохом, скисшим на третий день молоком и иными обыденными вещами...

...иное дело — кости животных или, не приведи Вотан, человеческие, с отметинами запретной ворожбы, склянки с неустановленным содежимым, птичьи перья и мышьи хвосты, а тако же иная мерзость, за которой Себастьяну придется следить, дабы она мерзость была надлежащим способом упакована. Ежели и книги найдутся, то и вовсе все затянется...

...экспертиза.

...заключение... а среди гримуаров попадаются иные, крайне пакостного свойства, способные одарить скрытым проклятьем... но эти Себастьян чуял, как чуял и прочие опасные вещи.

При всем том сами колдовки, коих Себастьян перевидал не одну дюжину, оказывались женщинами обыкновенными, случались и старые, и молодые, красивые и столь отвратительные, что от одного взгляда на них к горлу тошнота подкатывала. Одни до последнего клялись, что невиновные... другие молчали... третьи норовили сбежать... была и такая, что швырнула в лицо Себастьяну горсть зачарованных игл.

Но ничего, живой.

— Не волнуйтесь, Аврелий Яковлевич, — ответил ненаследный князь. — Чай не первый год на службе...

Ведьмак хмыкнул, видать, не внушал ему Себастьянов опыт доверия.

Глава 7

В коей имеет место колдовство запрещенное, разрешенное и нетрадиционное

Колдовка снимала квартиру в весьма приличном доходном доме, управляющий которого визиту полиции не обрадовался. Он пытался говорить о правах жильцов и недопустимости вмешательства органов государственных в частную их жизнь. Но уловив пристальный и недобрый взгляд Аврелия Яковлевича, смутился и замолчал.

— Что ж вы, милейший, — Аврелий Яковлевич возложил ладонь на худенькое плечико управляющего, — всякий подозрительный элемент у себя поселяете?

Тот лишь моргнул.

И смутился еще больше, покраснел густо, кончик же носа задергался, точно дорогая кельнская вода, которой щедро облился Аврелий Яковлевич в попытке перебить характерный кладбищенский смрад, доставляла оному носу невыразимые мучения.

— Эт-то вы о ком? — шепотом осведомился пан Суржик.

— О жиличке из восемнадцатой квартиры...

Под окнами дежурила троица актеров, призванная пресечь побег, поскольку в практике

Себастьяна случались колдовки сильные, верткие, не брезгующие пользоваться пожарными лестницами. А настроения для бега не было.

Настроения вообще не было.

Крылья зудели под кожей.

Сама кожа шелушилась.

Чесались даже глаза, но стоило потянуться к ним, как тросточка Аврелия Яковлевича шлепнула по руке.

— Не шали, — строго велел штатный ведьмак.

— А может... — Себастьян посмотрел на нежданного напарника с надеждой. — Вы того...

— Того девок на сеновале будешь. И без меня.

Это конечно, Себастьян подозревал, что с мудрыми советами Аврелия Яковлевича у него с девками не выйдет, не важно, сколь удобен будет сеновал.

— А магичить с тобой нельзя... еще чары в резонанс войдут. Или взаимоликвидируются. Даром что ли я на тебя сутки жизни потратил?

Оно, может, и правильно, но ведь чешется же! И про сутки Аврелий Яковлевич преувеличивает, сил-то он, конечно, положил, но уехал бодрым, веселым даже.

— Сам виноват, — трость, которую Аврелий Яковлевич прикупил не иначе, как лично для Себастьяна, ткнулась в живот. — Нечего по бабам шастать.

— Так она сама...

Но ведьмак вновь обратил недобрый свой взор на управляющего, с которым произошла разительная перемена. Услышав о восемнадцатой квартире, он побледнел, потом покраснел, но как-то неравномерно, пятнами. Острый подбородок его, украшенный куцею рыжего колера бородашкой, мелко затрясся, а из левого глаза выкатилась слеза.

— П-помилуйте! — воскликнул управляющий, сделав попытку упасть на колени. Однако в последний миг передумал, поскольку лестница выглядела не особо чистой, а брюки были новыми...

— Воруешь? — Себастьян, подавив желание прислониться к стене и почесаться вволю, схватил управляющего за шкуру. И заглянув в суетливые глазенки, ответил сам себе и с полной уверенностью. — Воруешь, гад ты этакий.

— Помилуйте, господин полицейский, — пан Суржик не делал попыток вывернуться, но повис безвольно. — Не сиротите деток...

...младшему сыну пана Суржика, значившемуся при доме ни много, ни мало — помощником управляющего, еще той весной минуло двадцать пять лет. Был он велик, медлителен, что телом, что разумом, но в целом безобиден.

— Рассказывай, — велел Себастьян, тряхнув управляющего, легонько, для стимуляции рассказа.

И тот, слезливо морщась, залопотал.

По всему выходило, что он, пан Суржик, живет при доме неотлучно, денно и ночью радея за чужое имущество, однако же неблагодарные хозяева стараний верного управляющего не ценят, так и норовят меднем обидеть...

Он жаловался, поглядывая хитро то на Аврелия Яковлевича, с немалым увлечением разглядывавшего позеленевшую бронзовую деву, державшую на плече массивного вида чашу. Сей фонтан, поставленный в холле, вероятно, для услаждения взора и придания дому видимости богатства, давно уже не работал. А красный ковер протерся до дыр... и лепнина, прежде весьма богатого вида, потрескалась. Трещины наскоро замазывали краской, но цвет подбирали дурно, оттого и смотрелись, что потолки, что стены, грязными.

В доме пахло кошками и сдобой.

— По делу говори, — уточнил Себастьян, вновь тряхнув потенциального подследственного...

...по делу вышло коротко.

Восемнадцатая квартира уже с полгода как пустовала, прежние жильцы, получив внезапное известие о болезни дальней, но весьма состоятельной родственницы, поспешили оной родственнице засвидетельствовать свое почтение. Однако же, рассудив, что в жизни по-всякому повернуться может, за квартиру заплатили загодя.

А и то, отыскать в Познаньске относительно приличное жилье — сложно. В доходном же доме квартиры сдавали еще по божеским ценам, хотя, как признался пан Суржик, вновь заливаясь краской, ему случалось брать на неотложные нужды дома.

Уточнять, куда уходили деньги, Себастьян не стал: без него разберутся.

Как бы там ни было, но сам факт пустой, пусть и оплаченной, но не использующейся квартиры, ввергал пана Суржика в глубокую печаль. Печаль росла, лишая сна и покоя, грозясь несварением, почечной коликой и обострением той болезни, о которой в приличном обществе упоминать не следует... и когда пан Суржик уже почти дошел до состояния депрессии, к нему обратилась некая дама с просьбой весьма интимного толка.

Этой даме требовалась квартира для свиданий...

...нет, не частых, два-три дня в неделю...

И лица оной дамы пан Суржик не помнит. Отчего? Вуаль она носила. А пан Суржик ведь не дурак... нет, можно-то и иначе подумать, но у него чутье имеется, и оно аккуратно подсказало, что не стоит за вуаль нос совать...

И при всем уважении к господам полицейским, боле ничем он помочь не способен.

— И когда она должна появиться? — поинтересовался Себастьян, уже понимая, что опоздал.

— Так... — пан Суржик от волнения взопрел, и запах пота смешался с касторовым ароматом мази для роста волос, которую управляющий втирал в намечающуюся лысину дважды в день, как писано было в инструкции. — Так она все... на той неделе пришла и сказала, что в последний раз.

...дама поблагодарила за помощь и понимание двумя злотнями, которые пан Суржик весь день носил у сердца, думая единственно о том, как сберечь их от всеведущей своей супружницы.

На той неделе Себастьян получил приглашение и пространное письмецо от панночки Богуславы...

...а еще весточку от отца с настоятельной рекомендацией приглашение принять.

Интересно складывается.

— Убирался? — отвлекшись от созерцания бронзовых прелестей статуи, Аврелий Яковлевич повернулся к управляющему. И сам себе ответил. — Нет.

Верно угадал.

— Занят был, — попытался оправдаться пан Суржик и был, наконец, отпущен с приказом немедля принести ключ от нехорошей квартиры.

...первым шел Аврелий Яковлевич, решительно отстранив Себастьяна. Он остановился перед дверью и, сняв перчатки из оленьей кожи, сунул в карман. Неторопливо расстегнул пальто, вовсе не уместное при нынешней жаркой погоде, и оправил полы сюртука. Высокую шапку из каракульчи снял и вручил младшему актору, который этакого высокого доверия не оценил, побледнел и в шапку вцепился, боясь сразу и помять, и измазать ненароком. Ведьмак же, растопырив руки, притворился к беленой, самого невинного вида двери.

Управляющий икнул тоненько и был перепоручен тому же младшему актору с указанием глаз с пана Суржика не спускать.

— От же ж паскудина... — пророкотал Аврелий Яковлевич, перехватывая трость и янтарные глаза совы нехорошо покраснели. — Себастьянушка, будь так добр, отойди шажочков этак на десять... а лучше на двадцать...

Спорить Себастьян не стал.

Он попятился, тесня и управляющего, и младшего актора, который, наплевав на начальственное повеление, за паном Суржиком не смотрел вовсе, здраво рассудив, что деваться оному некуда, а вот ведьмачьи штуки — дело преинтересное.

Аврелий Яковлевич руки встряхнул, пошевелил пальцами, словно бы играя на невидимом инструменте, а после вытащил из нагрудного кармана позвонок на цепочке.

— Изыди, — сказал он и ткнул остистым отростком в личинку замка.

И дверь завывала.

Голос ее скрипучий, продирающий до самых костей, набирал силу. И Себастьян, не способный управиться с иррациональным страхом, жался к стене...

...она голосила.

Дрожали стекла, а грязная дорожка попыталась подняться змеей, но оказалось, что сия еще в стародавние времена ее для надежности к полу гвоздиками приколотили. Она дергалась, ерзала, хрустела, раздираемая холодным железом.

Расползалась язвами.

И черным духом древнего капища... кровью zavоняло, резко, люто. И от запаха этого тошнота подкатила к горлу. Себастьян зажал рот руками, велел себе успокоиться. Что это он, старший актер, ведет себя, как гимназисточка?

Подумаешь, дверь голосящая?

Куда двери против Аврелия Яковлевича, тот, перехватив тросточку, ткнул дверь, вроде бы и легонько, но доски захрустели. Штатный ведьмак, усмехнувшись, сказал в бороду:

— Шалишь.

Дверь зарычала, прогнулась и... рассыпалась серым пеплом. Аврелий же Яковлевич переступил порог. Крылья крупного хрящеватого его носа дрогнули, а в руке появился платочек, батистовый и с кружавчиками, вида пренесерьезного.

— Себастьянушка, — гулким и подозрительно любезным тоном произнес ведьмак. — Будь любезен, подойди.

Идти не хотелось.

Из квартиры отчетливо тянуло мертвечиной.

— А может, я тут постою, пока вы там... очистите?

Запах был старым, и не запах даже, а... так, премерзейшее ощущение, от которого чешуя на шее дыбом становилась.

— Так я уже, Себастьянушка, — почти миролюбиво отозвался Аврелий Яковлевич, полируя платочком наверхи трости. Глаза у совы вновь пожелтели. — Большой частью уже... иди сюда, не робей... под юбку лезть не стану.

— Аврелий Яковлевич!

Ведьмак только хохотнул.

Гулко.

Весело ему однако... а вот Себастьяна дрожь от этой комнаты пробирает. И вроде ничего-то в ней особенного нет. Обои темно-зеленые, полосатые... мебель, пусть и не новая, но аккуратная. Козетка, креслица под лампой с абажуром... столик с парой свечей, прикоснуться к которым Себастьяну не позволили.

— Человеческий жир-с, — пояснил ведьмак, добавив одобрительное. — Тонкая работа. Видишь, какой оттенок розовенький? Значит, с невинноубиенных брали...

Буфет с треснувшим зеркалом, на которое набросили старую простынь. Она сползла, обнажив и зеркало, и трещину, и пару потемневших чашек. Пахло... мертвецкой.

— Ну, Себастьянушка, что скажешь?

— Дурно здесь.

— И без тебя знаю, что дурно. Ты мне покажи, где черноты боле всего...

— Что?

Аврелий Яковлевич, занятый тем, что аккуратно укладывал чужие свечи в личный футляр — а и вправду, чего добру пропадать? — просто ответил.

— Вы, метаморфы, место, где волшба творилась, жопой чувствуете. А у меня, знаешь ли, за столько-то годков нюх притупился. Слегка, — Аврелий Яковлевич вытер пальцы тем же платочком и футляр со свечами во внутренний карман убрал. — Так что, дорогой, не кобенься...

Спорить с ведьмаком было себе дороже, и Себастьян, закрыв глаза, прислушался к комнате.

Мерзкая.

Гнилая.

Вся будто бы плесенью поросшая, такой, влажноватой... и запах, запах попросту невыносим... но надо понять, откуда тянет. И Себастьян двинулся вдоль стены, стараясь не соприкасаться с темными веточками плесени.

Пол вздыбленный.

Под ногами чавкает... мутит-то как... ничего. Круг и еще один, чтобы замереть в полушаге от черной дыры, сам вид которой внушает иррациональный ужас.

— Там, — сказал Себастьян, указав на паркет.

И глаза открыл.

А паркет обыкновенный. Дубовый. Елочкой уложенный в стародавние времена... и Аврелий Яковлевич, опустившись на колени, прислушался к чему-то, и кивнул, бросив.

— Выйди... ненадолго.

Уши Себастьян заткнул, но не помогло. Не было воя, но сама комната изменилась, пространство вывернулось наизнанку, затрещало, породив незримую волну, которая прошла под ногами. И Себастьян с трудом сдержался, чтобы не заорать от чужой, но такой осязаемой боли.

— Жив? — вялые пальцы Аврелия Яковлевича шлепнули по щеке, а в руках оказалась знакомая фляга, в которой штатный ведьмак держал свою особую настойку. — Пей. Давай, давай, а то ж не отдышишься...

Он поднял флягу, заставив Себастьяна сделать глоток. Настойка оказалась... крепкой.

— От то-то же, — Аврелий Яковлевич вынул флягу из ослабевших пальцев. — А теперь пойдем, дорогой мой...

Идти в квартиру не хотелось.

Она стала чище, но...

В паркете зияла дыра, и штатный ведьмак переступил через выломанные, ощерившиеся ржавыми зубами гвоздей, доски.

— Сюда, да не бойся, все уже... связал.

Но к коробке, стоявшей на столе, прикоснуться он не спешил.

А коробка знакомая, некогда бледно-голубая с золотой окантовкой и лилией на крышке, фирменной отметкой кондитерской пана Штерна, известной на весь Познаньск. В такие пани Штерн, развернув пласт промасленной бумаги, укладывает жирное курабье, или пахлаву, или духмяную свежей варки халву... пирожные с маслянистым кремом...

Аврелий Яковлевич перчатки надел, да не свои, но форменные из тонкой заговоренной шкуры. Крышку он поднимал аккуратно и, отставив в стороночку, поманил Себастьяна пальцем.

— От колдовка... Хельмово отродье.

В коробке лежало не курабье,

Черный полуистлевший платок, который мелко подрагивал. И сперва Себастьян решил даже, что дрожание это ему мерещится, от волнения ли или же от ведьмаковской настойки, непривычно ядреной, с мягким привкусом кедровых орешков.

Хороша...

— Не бойся, — сказал Аврелий Яковлевич, распростирая руку над платком. — Не бойся...

— Я не боюсь, — Себастьян обиделся даже.

Да, не любит он черного колдовства, так и причины имеет... он же не виноват, что метоморфы — создания чувствительные? Но чтобы бояться...

— Я не тебе, охламон хвостатый. Выходи... вот так, маленький...

Из бездонного кармана — а снаружи пальто выглядело вполне себе обыкновенным — появилась склянка с плотно притертой крышкой. Ее ведьмак содрал зубами и, вытащив из-за уха длинную серебряную иглу, полоснул себя по запястью. В склянку покатались рубиновые капли крови, которые отчего-то не растеклись, но сохранили форму... будто брусники насыпали.

Платок зашевелился.

— Иди, иди... накормлю... голодный, небось...

То, что выбралось из складок, если и напоминало человека, то весьма отдаленно. Тонкое, точно из проволоки сплетенное тельце и крупная голова-тыква, безногая, безглазая, но Себастьян мог поклясться, что создание это способно и видеть, и обонять.

Оно было голодно.

И напугано, хотя страх этот был вовсе нечеловеческого свойства.

— Иди... хороший мой... или ты девочка? Не дали имени... я исправлю... дед Аврелий тебе поможет... — Аврелий Яковлевич говорил ласково, но звук его голоса все одно существо

настораживал. И оно замирало, прислушивалась, поводило головой, которая не иначе как чудом удерживалась на ниточке-шее. Однако голод и запах крови были сильнее страха. И пальцы существа коснулись склянки. Оно замерло на мгновение...

— Ну же, не надо бояться... ведьмачья кровь, она сильная...

Существо одним движением проскользнуло внутрь. И Аврелий Яковлевич захлопнул крышку, выдохнув, как показалось, с немалым облегчением. Тварь внутри, если и заметила пленения, то возмущаться не стала. Она свернулась калачиком на дне склянки, и вытягивая то ли руку, то ли ногу, хватала кровавые шарики, подносила их к безгубому рту...

— Что это? — только сейчас Себастьян понял, что все это время стоял неподвижно, не дыша, опасаясь проронить хоть звук.

— Кто, — уточнил Аврелий Яковлевич. — Оно все же скорее живое, чем мертвое. Игоша [8].

Он погладил банку и, поставив на стол, уже без страха раскинул края платка.

— Видишь?

Черный, словно спекшийся комок.

— Сердце это, — штатный ведьмак вытащил серебряную баночку, в которую сердце переложил.

Маленькое. Едва ли больше перепелиного яйца... и значит...

— Именно, Себастьянушка... давай-ка присядем... твоя колдовка, она... не просто колдовка... утомился я... скажи, пусть чаю принесут горячего, да сахару поболее... и мед, если есть. Стар я уже стал, Себастьянушка, для таких-то игр.

Младший актер распоряжение выслушал и, отвесив пану Суржику затрещину, поинтересовался:

— Все понял?

Жертва полицейского произвола мелко и часто закивала.

Чай подали в высоких стаканах, к которым прилагались серебряные, видимо, из личного пана Суржика, имущества подстаканники. К чаю отыскались и свежие ватрушки с медом, и сахар колотый крупными кусками. Аврелий Яковлевич, взявший один, принялся обсасывать.

Он и вправду выглядел уставшим.

Игоша, доев кровь, свернулась на дне склянки. Она не спала, но следила, и куда бы Себастьян ни шагнул, он чувствовал на себе внимательный недобрый взгляд.

— Бывает, что дурная баба плод травить начинает. Или дите народив, бросит... а то и вовсе прибьет... и ежели такого младенчика не найти, не похоронить, передав невинную душу в Ирженины руки, то и появится оно...

Безглазое, безносое создание с круглым личиком, черты лица которого Себастьян, сколь ни силился, разглядеть не мог.

— Тварь мелкая и сама по себе не опасная... по материну следу пойдет да будет изводить, силы

тянуть. Оттого и полагают игош наказанием за грехи... иным-то людям от них вреда особого нету, так, разве что плачем попугает.

Игоша растянула узкий рот и захныкала. От голоса ее у Себастьяна волосы дыбом встали.

— Тихо, — велел Аврелий Яковлевич и, странное дело, тварь послушала. — Это у нас ты нежный, люди-то они поглубей будут... но вот ежели отыщет такого младенчика колдовка, да не простая, а Хельмом меченная... чтоб не меньше архижрицы...

Аврелий Яковлевич догрыз сахар и потянулся за новым куском.

— Она возьмет сердце, а с ним и душу невинную, перекроит, переиначит... напоит кровью своей... и с нею получит игоша не только силу, но и голод. Нам повезло, рано нашли. Только-только вылупилась, видишь, какая маленькая, слабенькая...

Игоша скалилась.

Она определенно проголодалась вновь, но крови больше не было.

— Пара дней, и стали бы люди болеть, а она — сил набираться... пара недель — и первые мертвецы объявились бы... еще неделя и... и я один точно не сладил бы с нею.

— И что теперь?

— В храм отнесу. Глядишь, жрицы Ирженины и смогут душе помочь... жалко же дитя, — Аврелий Яковлевич накрыл склянку рукой, и игоша очнулась, заметалась, истошно вереща. — Ох, чую, Себастьянушка, неспроста твоя подруженька именно сюда пришла...

Верно.

Больно уж все один к одному сходится.

Россь и агентка, способная разум наново перекроить... и колдовка, Богуславе приворот на крови продавшая...

— Для Хельмовой жрицы привороты — баловство, — подтвердил мысль Аврелий Яковлевич. — Пустая трата сил.

— Думаете, та же самая?

— А разве нет? Две сильные колдовки в одном городе, в одно время? Нет, Себастьянушка... бабы — они дуры... и дуры суетливые. Редко у какой хватит терпения, чтобы науку колдовскую постичь. Это тебе не борща сварить... но если найдется какая, терпеливая да внимательная, вот тут-то мужикам хоть в петлю лезь. Одна она, паскудина. Знает, что за конкурсом приглядывать станут... стережется...

...а и верно.

Что было бы, когда б не встретился сегодня Аврелий Яковлевич? Дежурный ведьмак, конечно, тоже не даром хлеб ест, но слабей, много слабей Старика. Да и вовсе вопрос, почуял бы он странное за квартирой?

И если нет, что стало бы с актерами, которые в квартирку сунулись бы?

Явно, что ничего хорошего.

Аврелий Яковлевич молчал, думал и щипал бороду.

Себастьян ждал, стараясь не глазеть на игошу, которая кружилась по склянке, то и дело останавливаясь, проводя пальцами-волосками по заговоренному стеклу.

Стекло дребезжало, мутнело и шло мелкими трещинками, которые, впрочем, тотчас зарастали.

— Говорил я, что нельзя запрещать Хельмовы храмы...

— Даже после этого? — Себастьян кивнул в сторону склянки.

— Именно, дорогой мой... именно... вот когда стоит посеред города черная пирамида, когда разит от нее кровью да так, что человека стороннего, внутрь заглянувшего, наизнанку выворачивает, тогда человек этот десять раз подумает, прежде, чем с Хельмом связаться. А еще поглядит, как животинку на алтаре режут... нет, Себастьянушка, некоторые вещи на виду должны быть в силу их исключительного уродства.

Игоша заскулила.

— Тихо, — погрозил ей пальцем Аврелий Яковлевич. — Да и то, одно дело — жрецы явные, которым скандалы и проблемы не выгодны, они сами за своими присмотрят, больно наглых попридержат... а нет, то и выйти на них легко по Хельмовой дорожке... и другое совсем, когда все втайне, в секретности.

Он вздохнул и, схвативши себя за бороду, дернул.

— И вот вроде все оно правильно, тихо, благостно... а нет-нет да выплывет из этое благости жрица-хельмовка... и игоша такая — малое, на что она способна. Нет, Себастьянушка, вот поглядишь, от баб все зло.

Штатный ведьмак поднялся и сунул склянку в карман пальто, прихлопнул, чтоб улеглась... и улеглась же.

— Идем, дорогой мой...

— А...

— Оставь, квартирку эту чистить ныне придется. А вещички сжечь, — это Аврелий Яковлевич произнес громко, чтобы пан Суржик, мявшийся у порога, не решаясь, однако же, его переступить, слышал. И тот, охнув, руки к груди прижал... — Заявку на чистку я сам передам, вне очереди сделают. И со всем тщанием, милейший! Слышите? Только попробуйте из этой квартирki хоть пылинку вынести.

Пан Суржик часто закивал, мысленно прикидывая, не пора ли уже упаковать вещички да переехать, скажем, в тихие, курортные Кокулки, где, говорят, домов превеликое множество, а в грамотных управляющих завсегда недостаток имеется.

Покинув дом, Себастьян задышал свободно, полной грудью, с наслаждением перебирая ароматы, прежде казавшиеся ему неприятные. В воздухе пахло жареной рыбой, цветами и аптекарской лавкой, двери которой были гостеприимно распахнуты.

— И не думай даже, — остановил Аврелий Яковлевич. — Она не такая дура, чтобы сделать

ошибку столь очевидную. Небось, без амулетика на улицу она носа не кажет. Так что не видать вам свидетелей... нет, этак ее ловить смысла нету. Так что, едем.

— Куда?

— Как куда? — Аврелий Яковлевич застегнул пальто и воротник широкий, бобровый, поднял. — Ко мне, Себастьянушка... будем тебе невинность восстанавливать. Иль позабыл, что завтра тебе надлежит к Бисовой усадьбе явиться?

О таком разве забудешь? И Себастьян совершенно по-собачьи отряхнувшись — мнилось ему, что прилипли к коже темные эманации колдовского мха — поинтересовался.

— А это не больно, Аврелий Яковлевич?

Штатный ведьмак взмахом руки подозвал бричку и ответил:

— Первый раз оно завсегда больно, Себастьянушка.

Гавел наклонился еще ниже, едва ли не в колени лицом зарывшись. Пусть бы и скрывал лицо потрепанный плащ возничего, доставшийся в комплекте с бричкой и страхолюдной линияю лошадкой всего-то за два сребня. Конечно, на время...

...услышанное краем уха заставляло нервничать.

Гавел надеялся, что ошибается в худших своих подозрениях, однако же жизнь приучила его к тому, что аккурат такие от подозрения чаще всего и сбывались.

— Ничего, дорогой, — Аврелий Яковлевич развалился вольно, опершись локтем на борт, и на улицы, прохожих, взирал с характерною ленцой, которая появляется после многих лет бездельного существования. — Я ж аккуратненько... винца выпьем, расслабимся.

вернуться

8

Игоша — в славянской мифологии мертворожденный или брошенный и умерший ребенок, дух которого не находит покоя.

Лошадка пыхтела, стучала копытами по мостовой.

— Вы это... как-то нехорошо говорите, — отвечивал Себастьян.

И в голосе его Гавелу слышалась неуверенность, прежде для ненаследного князя характерная. Впрочем, штатный ведьмак ничего не ответил.

Молчал он до самого дома, расположенного не на Кладбищенском переулке, давным-давно облюбованном ведьмаками, алхимиками, звездочетами и прочим людом магического свойства, а на Белой стороне. Аврелий Яковлевич владел солидным особнячком. Выстроенный по моде прошлого века, дом был обильно украшен лепниной, портик поддерживала шестерка колонн, увитых мраморным виноградом, а сверху, поглядывая на неожиданных гостей с презрением, примостилась пара пухлых горгулий.

К счастью, тоже мраморных.

И выглядели они не в пример дружелюбней своих собратьев из Королевского зверинца, в котором Гавелу случалось бывать... исключительно по служебной надобности, но о том визите он вспоминать не любил. Хотя, оказывается, обо всем, что со службою связано, он вспоминать не любил.

Бричка остановилась у ворот, приличных, кованых, которые распахнулись, и Аврелий Яковлевич, прыгнув на землю, подал спутнику руку.

— Прощу, дорогой. Не смущайся. Чувствуй себя, как дома.

Ведьмак хохотнул.

И от звука его голоса ненаследный князь откровенно поморщился. Все-таки, что бы ни затевалось, Себастьяну Вевельскому это явно было не по нраву. Колебался Гавел недолго, страх перед ведьмаком боролся с внутренним голосом, коий за многие годы беспорочной службы обрел у Гавела немалый авторитет. И ныне говорил, что там, за красивою кованою оградой, за забором, ждет Гавела сенсация...

...и не простит он себе, ежели ее упустит.

В ворота Гавел не полез, чай, не дурак, обошел вдоль ограды и увидел неприметную дверцу, а подле нее — девицу в сером платье. В руках она держала плетеную корзину, из которой выглядывали горлышки глиняных кувшинов.

— Молочко? — поинтересовался Гавел, улыбаясь дружелюбно.

Девушка кивнула.

— И сметанка... и маслице... и... — невысокая, рябоватая, она была красива той спокойной красотой, которую не всякий разглядит. И робкая улыбка приобразила широкоскулое лицо ее...

Камера успела вовремя.

...хороший снимок получится, жаль, что бесполезный. Эдаких у Гавела целая коробка набралась. Одним больше, одним меньше...

...старуха эту коробку называла бесполезною...

...и еще пеняла, что он, Гавел, зазря на пустяки разменивается.

— Что вы делаете?! — в голосе не было возмущения, одно лишь любопытство.

— Снимок. На память. Вы к Аврелию Яковлевичу?

— К нему...

...ее звали Маришка, и лет ей было двадцать девять... и не девушка она вовсе, вдова, правда, уже давно, оттого и сняла траур. От мужа ей осталось хозяйство и три козы ляховицкой молочной породы. Козы доились исправно, молоко давали жирное, из которого Маришка взбивала и маслице, и сыры делала, и творожок... продавала, на то и жила.

И к пану Аврелию она принесла обычный его заказ, но...

Не подумайте, пан Гавел, Маришка не такая трусиха, чтобы Аврелия Яковлевича бояться, он — человек добрый, только ж ведьмак, сам того не желая, сглазить способный. В прошлый-то раз парой словечек перемолвились, а козы Маришку два дня к себе не подпускали. И еще на руках бородавки выросли.

Кто ж у молочницы с бородавками молоко купит?

...а обижать пана Аврелия отказом тоже не хочется. Он же не виноватый, что ведьмаком уродился.

Пан Гавел может корзинку до дома донести?

Нет, сребня много... пан Аврелий завсегда вперед платит и еще потом набавляет, приговаривая, что, мол, на клевер для коз, дескать, молоко от клевера жирнее, но Маришка покупает отруби, козам они боле по нраву... да, идти прямо по дорожке и до кухни. Там уже встретят...

Дверь она открыла сама.

И благодарила долго, улыбаясь этой своей спокойной улыбкой, от которой Гавелу становилось неуютно. Давным-давно уснувшая совесть вдруг очнулась.

Нехорошо пользоваться чужою добротой. Девушка доверчива... и разве что дурное Гавел сделает? Он же не грабить ведьмака собрался, а только поглядеть... может, и зря все, и ничего-то интересного он не узнает?

Против ожидания, за забором не обнаружилось ничего-то ужасающего или необычного. Лужайка зеленая, вида самого что ни на есть мирного. Дорожки, желтым камнем вымощенные. Прудик с горбатым мостом... цветники... кусты жасмина...

Корзинку Гавел оставил на виду. Кувшины, как говорила Маришка, заговоренные самолично Аврелием Яковлевичем, и значит, не прокиснет молоко до вечера. А за день, глядишь, и наткнется кто.

Совесть требовала отправить корзинку на кухню, как и обещал, а разум твердил, что если Гавел попадется на глаза, то будет немедленно выставлен за ворота...

...нет, ну что у него за жизнь такая?

...а все старуха... от полученного гонорара пара монет и осталось, ей же все не можется, целыми днями стонет, плачет, что на склоне жизни вынуждена влачить жалкое существование... и все-то у ней плохо, даром, что осетрину намедни уплетала за обе щеки.

С преогромным аппетитом.

И при больной-то печени. Еще жаловалась, что, дескать, осетрина-то не первой свежести, что брал Гавел ту, которая подешевше, сэкономил на материнном здоровье... и бесполезно рассказывать было, что стоила эта осетрина по злотню за махонький кусочек...

Вздохнув, Гавел опустился на карачки и, быстро перебирая руками и ногами, пополз в жасминовые заросли. Нет, видать, старуха — кара его, Вотаном насланная за грехи...

Нужное окно Гавел отыскал быстро. Оно было приоткрыто, и меж створок полотняным языком выглядывал край гардины. Белой. В лиловые пионы.

Пионы с Аврелием Яковлевичем увязывались плохо, но...

— А может, не надо?! — раздался капризный голос ненаследного князя.

— Надо, Себастьянушка, надо... ну что ты ломаешься? Раздевайся.

Бас ведьмака сложно было спутать, и Гавел затаился.

— Что, полностью?

— А как ты хотел? Давай, не тяни, пока я в нужном настрое, а то ж дело такое...

У Гавела зарделись уши.

Нет, определенно, подобного он не ожидал и... и погладил подаренный начальством кристалл. Включить? Или ведьмак почует... он-то, конечно, занят, но ведь чары на дом сторожевые навесил... в том-то и дело, что чар навешано множество, глядишь, и незамеченной останется искорка кристалла.

...а материал-то такой, что без доказательств опубликуешь — засудят.

...а с доказательствами — затравят.

...но и платят за такой щедро. Небось, старухе на осетрину хватит... глядишь и заткнется хоть бы ненадолго, позволит дух перевести.

И Гавел решился.

Он сжал кристалл, прикинув, что сорока минут заложенного ресурса должно бы хватить. Меж тем из приоткрытого окна доносилось натужное пыхтение.

— Себастьян! — рявкнул Аврелий Яковлевич, — хватит возиться. Сымай подштанники! И задом поворачивайся... да что ты мнешься, как гимназистка на сеновале! Можно подумать, я чего-то там не видел.

Гавел замер, не дыша, смутно осознавая, что если будет обнаружен, то вовек останется в этом вот дворике, где-нибудь под клумбой с росскими мраморными тюльпанами сорта «Прелестница» по семнадцати сребней за луковицу...

...старуха такие возжелала минулою весной.

Правда, не взошли.

И снова Гавел виноватым оказался.

— Аврелий Яковлевич, а чем это вы меня мажете?

— Розовым маслицем, Себастьянушка. Заметь, наивысшего качества... для тебя, дорогой мой, ничего-то не жаль.

...нет, Гавелу на своем веку случалось всякого повидать, но чтобы штатный ведьмак... о нем

сплетничали, дескать, Аврелий Яковлевич к женскому полу с великим предубеждением относится... однако о противоестественных склонностях никто и никогда...

Боялись?

А князь что же? Он ведь мужчина со вкусами обычными, Гавелу ли не знать... Гавел на княжеских любовницах, можно сказать, карьере сделал, а тут...

Он испытывал странное чувство, с одной стороны — несомненное разочарование в человеке в общем-то постороннем, оттого и должным быть безразличным Гавелу. С другой — сочувствие.

Не верилось, что Себастьян Вевельский сам на подобное решился.

Склонили?

Заставили? Заморочили? Он ведь собой хорош и... и жалость жалостью, а работа — работой.

— Ой! Больно!

— Терпи, Себастьянушка, дальше оно легче пойдет. Вот, обопрись... и расслабься, кому сказал!

— Может, мне еще удовольствие получать от этого... процесса?

— Это уже сам решай...

— Знаете, Аврелий Яковлевич, от вас я такого не ожидал, — ворчливо произнес Себастьян, но голос его сорвался, а затем донесся тяжелый, нечеловеческий просто стон. И Гавел рискнул. Отодвинув гардину, он сделал снимок... и еще один... и замерший палец вновь и вновь нажимал на спуск.

Камера щелкала.

А Гавел думал, что ему, верно, придется взять отпуск... и вовсе переехать на месяцок-другой, пока все уляжется... не то ведь закопают... не одни, так другие...

...скандал выйдет знатный.

Он видел просторную и светлую комнату, с обоями по последней моде, тисненными да лакированными, облагороженную тремя зеркалами в массивных рамах. И в зеркалах этих отражалась низенькая софа с презаковыристыми ручками, шелковая расписная ширма, а также обнаженный Себастьян, в стену упершийся. За ним же стоял Аврелий Яковлевич, не то обнимая, не то прижимая худощавого князя к груди. Грудь была голой, медно-красной и покрытой кучерявым рыжим волосом.

На мускулистом предплечье ведьмака синела татуировка — пара обнаженных русалок, что сплелись в объятиях женской противоестественной любви.

Русалок Гавел заснял отдельно.

— От же ж холера... — с огорчением произнес ведьмак, почти позволяя своей жертве сползти на пол. — И в кого ж ты такой малохолный?

Гавел беззвучно отступил от окна.

...и на карачках попятился прочь, не обращая больше внимания ни на пахучий жасмин, ни на влажную землю, которой брюки измарались. Кое-как добрался до заветной дверцы, и вышел, сам не веря своему счастью.

Он прижимал к груди драгоценную камеру.

И кристалл с записью.

В редакцию он успеет, вот только... Гавел не был уверен, рискнет ли главный редактор с подобным материалом связываться. Статеку писал быстро, буквально на колене, и против обыкновения слова находились легко, а перед глазами так и стояло искаженное мукой лицо ненаследного князя.

Главный редактор, пробежавшись глазами по статье, глянув на снимки, к ней приложенные, вздохнул тяжело-тяжко.

— Умеешь ты, Гавел, находить сенсации на свою задницу...

Собственная задница главного редактора была надежна защищена тремя юристами и элементом-телохранителем, ибо владелец газеты пана Угрюмчика весьма и весьма ценил за небрезгливость, деловую хватку и нюх на сенсации, народу интересные.

— Не пускать в номер?

— Пускать... конечно, пускать... только отпуск возьми. Исчезни куда-нибудь... вот, — на стол лег кошель весьма пухлый с виду. — Главное, продержись первые пару дней, пока шумиха пройдет.

Это Гавел и сам понимал.

Кошель он припрятал, а тем же вечером, забившись в «Крысюка», кабака дрянной, но известный в округе дешевизной, напился... жалко ему было старшего актера. Хотя и князь, а все одно не заслужил он подобного...

...без помощи Аврелия Яковлевича, Себастьян на ногах не устоял бы.

Аура?

Да ощущение такое, что не ауру с него сдирали, а шкуру по лоскуточку, а потом, освежевав, на еще живого, дышащего, солью сыпанули.

Стонал, кажется.

Скулил даже, мечтая об одном, — вцепиться в глотку разлюбезному ведьмаку с его шуточками, что сперва поболит, а потом ничего, притерпится... и Евстафий Елисеевич хорош, знал, на что обрекает старшего актера... знал и промолчал.

Нет ему прощения.

Не то, чтобы Себастьян отказался бы от процедуры столь неприятной, — кровная клятва заставила бы исполнить приказ, но всяко отнесся бы к ней с должным пиететом. А тут... ладони, упершиеся в стену, скользили, руки дрожали, колени тоже... хвост и тот мелко суетливо подергивался, норовя обвиться о ногу ведьмака.

— Дыши, Себастьянушка, глубже дыши, — наставлял тот, не переставая мучить.

Горела шкура.

И знаки, вычерченные на ней тем самым розовым маслом высшего сорта, запах которого хоть как-то да перебивал вонь жженого волоса, врезались под кожу. Тоненькая темная косичка, из трех прядок сплетенная, горела на подставке, и струйки дыма приходилось глотать. Горячими змеями свивались они в желудке, проникали в кровь, чтобы выйти с кровавым потом.

Но Себастьян стиснул зубы.

Выстоит.

— Вот и молодец. Держишься? Уже немного осталось... а что ты думал, Себастьянушка? Аура тебе, чай, не кителек, который вот так запросто скинуть возможно... она — та же кожа, хоть и незримая...

Это Себастьян уже прочувствовал сполна.

А боль постепенно отступала.

Завороженная монотонным бормотанием Аврелия Яковлевича, прикосновениями волосной метлы... и вряд ли сделанной из волоса конского... расползались по паркету знаки, вычерченные белым мелом, буреющей кровью. И затягивались тонкие разрезы на запястьях.

Срасталось.

И все одно, даже когда боль стихла, Себастьян ощущал себя... голым? Нет, раздеться пришлось, но эта нагота, исключительно телесная, была в какой-то мере привычна, несколько неудобно, но и только. Сейчас же он, странным образом, ощущал наготу душевную.

А с ней страх.

— Присядь, — разрешил Аврелий Яковлевич, и Себастьян не столько сел, сколько сполз и сел, прислонившись саднящею спиной к холодным обоям.

...семь сребней за сажень, ручная роспись и серебрение...

...матушка подобные присматривала, намекая, что в родовом имении, равно как и городском доме, давно следовало бы ремонт сделать, да вот беда, финансы не позволяли. При этих словах она вздыхала и глядела на Себастьяна с немим укором.

...об обоях думалось легко.

...и еще о бронзовой статуе ужасающего вида, которую матушка для Лихослава присмотрела, хотя Себастьян в толк взять не мог, зачемс Лихо — бронзовый конь... ему бы живого жеребца да хороших кровей... Себастьян переправил бы, да ведь не примет.

Гордый.

...помириться надо бы... письмо написать... Себастьян писал в первый год, а потом бросил... и зря бросил... надобно снова, глядишь, и остыл младшенький.

...за столько лет должен был бы... но первым не объявится, гордый. И Себастьян гордый, только

умный... и голый изнутри, оттого и лезет в голову всякое.

Аврелий Яковлевич, крикнув, развел руками. А ведь, ежели подумать, то презанятнейшее выходит зрелище. Раздевшийся до пояса, ведьмак был кряжист и силен, перекачивались глубины мышц под медною, просоленной морскими ветрами шкура — а прошлое свое он не давал труда скрыть, ничуть не стыдясь ни того, что рожден был в крестьянской семье, седьмым сыном, что продан был, дабы погасить долг отцовский, что служил на корабле матросом...

О прошлом он рассказывал охотно, не чураясь крепких словечек, а порой Себастьяну казалось, что нарочно Аврелий Яковлевич выставляет себя, того, крепко уже подзабытого, дразня благородных своих собеседников и нарочитою простотой речи, и фамильярностью, каковая заставляла кривиться, морщить нос, но... держаться рядом с ним, стариком, из страха ли, из выгоды неясной...

Ведьмак замер.

Он дышал тяжело, прерывисто, а на плечах, на могучей шее, проступили крупные капли пота.

Розовые.

— Вот так вот, Себастьянушка, — сказал он, смахивая красную слезу, которая по щеке сползала. — Эдакие кунштюки задарма не проходят. Ты-то как?

— Жив, — не очень уверенно ответил Себастьян, хвост подбирая.

— От и ладно... от и замечательно, что живой... с мертвым возни было бы больше... скажу больше, мертвый актер — существо, конечно, исполнительное, но к творческой работе годное мало. Ты сиди, сиди, сейчас закончим уже.

Он отошел, ступая босыми ногами по прорисованным линиям. И Себастьян видел, как прогибается под немалым весом Аврелия Яковлевича незримая твердь иного мира.

Держит.

И с каждым шагом, все уверенней ступает он.

Ведьмак исчез за китайскою ширмой, расписанной черепахами и аистами, а вернулся спустя минуту. Он нес на ладонях облако перламутра...

— Красиво, верно?

Красиво.

Белый. И розовый... и голубой еще, сплелись тончайшие нити, удерживая солнечный свет, столь яркий, что Себастьян отвернулся.

— Видишь, значит... смирно сиди.

Ведьмак подцепил облако двумя пальцами и встряхнул.

...не было чуда, только ощущение наготы, хрупкости душевной, исчезло.

— Все, — сказал Аврелий Яковлевич, без сил опускаясь на хрупкого вида резной стульчик. — От же ж... кураж есть, а годы, годы... не те уже годы. Вот помру, что без меня делать станете?

— Дядька Аврелий, — из-за ширмы выглянула круглая детская мордашка. — А я могу уже бегчи?

— Беги, Аленушка...

— А мамке чего-то сказать? Пушай накрывает?

Девчушка кинула в сторону Себастьяна быстрый взгляд, лишенный, однако, любопытства. Видать, навидалась всякого.

— Пушай, — согласился ведьмак. — На двоих, скажи... а рюмка — одна.

— Я бы тоже выпил, — Себастьян попытался сесть к девчушке боком и дотянуться до подштанников, которые висели на стуле.

— Ты уже свое отпил, Себастьянушка. На ближайший месяц — так точно...

...разговор продолжили за столом. И следовало сказать, что стол этот был накрыт весьма щедро. Подали винную полевку [9] с пряностями и лимонной цедрой, терпкую, чуть сладковатую и замечательно согревшую. А Себастьян понял, что замерз, при том так, как не замерзал и в лютые морозы.

Следом пошел кабаний цомбер [10] с кислым соусом из боярышника, зайцы, в сметане тушеные, утка по-краковельски, фаршированную смальцем и лисичками... были и блины, и малосольные крохотные огурчики, поданные в глиняном жбане, и холодные раки, к которым Аленка, уже сменившая полотняную рубашонку на сарафан, вынесла квас...

Аврелий Яковлевич ел неторопливо, смакуя каждое блюдо, и Себастьян поневоле сдерживал голод.

— Оно так обычно и бывает, — произнес он, снимая хрустальную пробку с обиндевевшего графина. Налив стопочку малиновой ратафии [11], он поднял ее, держа за тонкую ножку двумя пальцами. — Ну, за успех!

Себастьян тост поддержал, хотя ему по непонятной пока причине пришлось довольствоваться медовым квасом. Впрочем, жаловаться он не спешил. Аленка вертелась рядом, норовя подвинуть поближе деду Аврелию то одну тарелку, то другу.

— От егоза, — с умилением произнес ведьмак, погладивши смоляную девичью макушку. — Ну иди, иди уже...

Убежала.

— А она... — Себастьян проводил девочку взглядом, вспоминая, что чувствовал, когда с самого ауру сдирали.

— Ну что ты, Себастьянушка, — зачерпнув щепошь лисичек, Аврелий Яковлевич отправил их в рот. — Я ж не злыдень какой... дал настоечки, она боль и сняла...

— Настоечки?!

— Дите ж невинное, чего ее зазря мучить?

— А я...

...настоечки...

— А ты не дите, и был бы невинным, мы б тут не маялись, — резонно возразил ведьмак, пальцы облизывая. — Да и надобно мне было, Себастьянушка, чтоб ты понял, каково это, ауру менять. Или думаешь, мне оно легко? Я-то настоечкой защититься не способный, все чуял... и твое, и ее.

Стыдно стало. Немного.

Стыд Себастьян заел раковыми шейками, в миндальном молоке запеченными.

— Прежде-то я добрый был... сам терпел... да только быстро понял, что терпения моего надолго не хватит. Вам-то объясняешь, объясняешь словами, а нет, не доходит. Думается, если один раз Аврелий Яковлевич сумел помочь, то и в другой сделает.

Теперь ведьмак лисички выбирал, выкладывал на черном хлебе узоры, перемежая с рыжими горошинами запеченного сала. Поесть он любил, выпить тоже.

— Поэтому на своей шкуре ты, Себастьянушка, и запомнишь, что пить тебе ничего, крепче красного вина, невозможно. И про баб забудь.

— Как забыть?

— Совсем, Себастьянушка. Я-то подмену сделал, но чужое — не свое. Так что, ты удовольствие получишь, а мне потом сызнова обряд проводи...

Себастьян кивнул, вспомнив кровавые слезы. Все ж таки нелегко далась волшба Аврелию Яковлевичу. А будь он послабее...

— И понимаешь, что не единорога тебе страшиться надобно, он — животное пакостливая, конечно, но в целом незлобивая. В отличие от хельмовой жрицы... это-то отродье настороже будет. Потому, Себастьянушка, прояви благоразумие.

— Проявлю, — пообещал Себастьян, втыкая вилку в толстый ломоть цомбера.

— Вот и ладно... а раз так, то поговорим-ка о деле... Все довольно просто. Хельм служек своих метит. А значит, будет у нее на коже пятно в виде бычьей головы. Ось такое, — Аврелий Яковлевич нарисовал на тарелке соусом круг с парой рожек. — Величиной со сребень. Где стоит — тут я тебе не скажу...

Пятно?

Метка? Тогда все становится проще некуда... раздеть красавиц и осмотреть.

— Не торопись, — Аврелий Яковлевич погрозился столовым затупленным ножом. — Думаешь, самый умный тут? Все просто, однако же... представь, какой разразится скандал. Одна шпионка, а остальные? Семь шляхеток, дочка главы купеческой гильдии... дочка гномьего старейшины... керазмийская наследница. Представляешь, какой вой подымут? И смотреть-то самому придется, потому как человеку простому хельмовка глаза отведет...

Он замолчал. И Себастьян не торопил ведьмака.

Дело не в скандале.

Можно было бы выдумать способ, но...

— Колдовка такой силы много бед натворить способна, Себастьянушка. А нам надо взять ее тихо, бескровно. И живую. Потому как не на пустом месте она появилась.

Он крикнул и запил огорчение, на сей раз квасом, бороду отер.

— Я Слезу Иржены дам... поймешь, которая — подлей... не важно, куда, но... капля одна всего. Не ошибись, Себастьянушка.

— Метка, значит...

...как найти?

Придумает. Мужчиной было бы проще... или нет? Шляхетки, купчиха... дочка гномьего главы... карезмийка из Старшего рода... нет, тут обыкновенный его способ, мнившийся простейшим, не пойдет.

Этак и женят, не приведите Боги.

— Дюжина... — пробормотал Себастьян, отгоняя кошмар с женитьбою.

...он и от одной невесты с трудом избавился, чего уж о дюжине говорить.

— Поменьше, — поправил Аврелий Яковлевич, выбирая из бороды хлебные крошки. — Во-первых, гномку можешь сразу вычеркнуть, их кровь Хельма не приемлет. И ту, которая эльфийка наполовину... у купчихи слабый целительский дар имеется, а значит, она посвящение в храме Иржены проходила. То же с панночкой Заславой... карезмийка же под знаком Вотана рождена, а это вновь-таки не годится. Я тут прикинул, Себастьянушка, и остались пятеро... вот о них мы с тобой и побеседуем. Ты, дорогой, не спеши в тоску впадать, кушай, от... попробуй-ка чирков, Марья их в белом вине томит с травками, чудо до чего хороши...

Чирки и вправду удались.

Аврелий Яковлевич говорил, и глухой монотонный голос его убаюкивал, Себастьяна охватила престранная истома. Он уже не сидел, полулежал, сжимая в руке трехзубую вилку, на которой маслянисто поблескивал маринованный гриб, и думал о чем-то донельзя важном... сознание уплывало.

И когда кто-то сунул подушку, Себастьян с благодарностью уронил на нее враз отяжелевшую голову. Спал он спокойно, уютно, и во сне продолжал слушать наставления Аврелия Яковлевича. Тот же, закончив излагать, устроился в низком кресле, принял тытуневку, набитую пахучим табаком, и подпалив, вдыхал горький дым, который топил горькие же мысли.

Неспокойно было ведьмаку.

Думал он о нехорошем доме, вычищать который придется от самой крыши до подвала... об игоше, переданной жрицами-милосердницам... о томном ядовито-болотном запахе, который существовал единственно для него, запахе болезненно знакомом.

Родном.

...и запах этот будил воспоминания, от которых Аврелий Яковлевич открещивался уже не

первый десяток лет. И сердце от этого запаха, от памяти очнувшейся, вдруг засбоило.

— Шалишь, — сказал ему Аврелий Яковлевич и для надежности прихлопнул рукой. Заскорузлая ладонь, отмеченная Вотановым крестом, сердце уняла.

...и как-нибудь сладится.

вернуться

9

Суп на основе из красного вина.

вернуться

10

Разновидность жаркого из спинной или почечной части туши дикого кабана.

вернуться

11

Разновидность крепкой настойки.

Себастьян проспал без малого сутки, что, в общем-то было нормально. И за эти сутки Аврелий Яковлевич окончательно убедил себя, что нет никакой надобности в том, чтобы посвящать старшего актора, во сне выглядевшего умирительно-беззащитным, в подробности той давешней, и как ведьмак надеялся, крепко похороненной истории.

...запах?

...как еще может пахнуть от посвященной Хельму, как не кровью и болотными белыми цветами, ночными, блеклыми цветами, что единственно возлагались на алтари Слепого бога?

Первым, кого Евдокия увидела в Познаньске, был Аполлон. Он стоял у вагона, широко раскрыв рот, и озирался. Вид при том Аполлон имел лихой и слегка придурковатый, что, как поняла Евдокия, в целом было для ее несостоявшегося жениха весьма характерно.

— Дуся! — воскликнул он и, раскрыв руки, поспешил к ней. Подхватив Евдокию, Аполлон стянул ее с железной лестнички. — Дуся, что ты там все возишься?

От него пахло чесноком и немытым телом, а еще самую малость — медом.

— Что вы тут делаете? — Евдокия не без труда вывернулась из медвежьих объятий.

— Тебя жду.

— Зачем?

— Так ведь Познаньск, — сказал Аполлон, взмахнувши рукой.

— Вижу, что Познаньск.

Местный вокзал был велик. Выстроенное в три этажа здание, сияло белизной и сусальной позолотой. С крыши его, украшенной медным паровозом, аки символом прогресса, свисало знамя. По позднему времени — на часах, подсвеченных изнутри газовым фонарем, было четверть третьего ночи — вокзал радовал тишиной.

Спешили выбраться на перрон поздние пассажиры. И одинокий дворник в форменном белом фартуке бродил вдоль путей, вздыхая. Время от времени он останавливался, прислонял древко метлы ко лбу, и застывал, погруженный в свои, тягостные мысли.

Прохладно.

И стоит над вокзалом характерный запах угольной пыли, дыма и железной окалины. Выдыхает «Молот Вотана» белые пары, позвякивают смотрители, проверяя рельсовые сцепки. Не люди — призраки.

— Дык, я подумал, что вместе нам сподручней будет, — Аполлон подкинул на плече тощую торбочку. — Чай, не чужие друг другу люди.

Лютик выбрался на перрон первым и помог спуститься Аленке, которая отчаянно зевала, но со сном боролась. Все ж таки в короткой ее жизни Аленке не доводилось выезжать дальше Краковельских окраин. Тут все было иным... чудесным.

— Доброго вечера, пан нелюдь, — вежливо поздоровался Аполлон и изобразил улыбку. — И вам, пан офицер.

Лихослав помог спуститься сухопарой даме неясного возраста и обличья. Дама, облаченная в желто-бурое, полосатое платье, придававшее ей сходство с огромной осой, мялась и жеманничала, заслоняя лицо шляпкой — с чего бы, когда ночь на улице? Но все же она позволила себе опереться на крепкую мужскую руку. Еще одна перспективная наследница?

— Доброй ночи, господа, — Лихослав поклонился, и Лютик ответил вежливым же поклоном.

— Ой, и вам, — оживилась Аленка.

Все-таки следовало с ней поговорить... предупредить...

...и вежливые витиеватости офицера, заставившие спутницу его нервничать и суетливо размахивать веером, глядишь, прошли бы мимо Аленкиных острых ушек. Она смеялась, отвечала... и беседа пустая, нелепая, затягивалась.

Лютик уставился на вокзал, видимо, в странных формах его черпая вдохновение... что-то у него там не ладилось с моделью женской ванны... главное, что от него помощи в защите Аленкиной чести ждать не следует. И Евдокия, пнув Аполлона, велела громким шепотом:

— Скажи что-нибудь!

— Что? — также шепотом ответил он.

— Сделай даме комплимент.

— Чего?

— Ты же поэт, — Евдокия подвинулась ближе, и маневр этот не остался незамеченным. Лихослав приподнял бровь и, смерив ее насмешливым взглядом, поинтересовался:

— Панночка Евдокия, вижу, и вы не остались без ухажера.

— А то! — оживился Аполлон и на всякий случай Евдокию под локоток подхватил. Во-первых, для собственной солидности, во-вторых, потому как в чужом месте ночью было страшно.

Никогда-то прежде ему не случалось бодрствовать в столь поздний час. Маменька аккурат после вечерней дойки укладывала, потому как организма человеческая для ночных бдений не предназначена. У нелюдей оно, может, и иначе все, Аполлонушка же весь иззевался. А еще расстегаи, купленные на утрешней станции, наверняка были несвежими, всего-то пять штукек съел, можно сказать, без аппетита, но в животе урчало и плюхало.

Ко всему Аполлон опасался, что с коварной невесты, ладно, пусть и не невесты, но почти же, станет сбегать, бросив его на произвол судьбы.

Одного.

В чужом-то городе... ночью.

— Не познакомите?

— Это... Аполлон, — если бы не тень презрения в светлых этих глазах, Евдокия смолчала бы. Но какое право имеет этот человек, который сам ни на что не способен, насмеяться над Аполлоном? И над нею тоже... — Очень талантливый поэт... поэт-примитивист. Народник.

— Да что вы говорите?! — всплеснула руками дама.

— Ага, — подтвердил Аполлон, выпячивая грудь, ну и живот тоже, который ко всему заурчал прегромко.

— Быть может, зачитаете, чего-нибудь из... своего?

— Ночью? — Евдокия высвободила руку, с тоской подумав, что тонкие штрипсовые перчатки можно было считать испорченными. Что бы Аполлон ни ел, но это было жирным, а следовательно, трудно выводимым.

— А по-вашему стихи следует читать исключительно днем? — Лихослав откровенно издевался.

Вот гад.

— Брунгильда Марковна вот с удовольствием послушает... она вдова известного литератора и в поэтах толк знает...

Аполлон же, наивная душа, окинул Брунгильду Марковну пылким взором, выпятил грудь больше прежнего и громко продекламировал:

— Однажды в горячую летнюю пору... корова нагадила подле забору... а над кучей мухи летают, словно духи.

На перроне воцарилось тревожное молчание, дворник и тот, будучи поражен силой

Аполлонова таланта, едва метлу из рук не выпустил.

Метла накренилась и, соприкоснувшись с рельсой, издала звук глухой, неприятный.

— Инфернально! — очнувшись, воскликнула вдова известного литератора. — Какая точность! Какая чувственность...

— Где? — Лихослав и Евдокия задали вопрос одновременно и, переглянувшись, поспешно отвернулись друг от друга.

— Летом... — смакуя слово, произнесла дама, вытащив из рукава платочек черного колеру, вероятно, символ тяжелой утраты, — лето, символ середины года... страды... и тут же есть забор, представляющий мне образом преграды... корова-кормилица, воплощение крестьянских добродетелей, остается по ту сторону наедине с...

— Навозом, — подсказал Аполлон, розовея.

— Вот! И тонкая аллюзия на хтоническое значение мух в данном контексте...

Аполлон краснел и смущался. Он знал, что талантлив — мама сказала — но вот чтобы настолько... он, конечно, понимал не все, но трепетным творческим сердцем чувал — хвалят.

— ...и острый социальный подтекст... обличение неравенства... так смело, откровенно... позвольте пожать вашу руку!

На всякий случай Евдокия отодвинулась от Аполлона. Он же маневра не заметил, увлеченный новой поклонницей, которая вилась вокруг, восхищаясь, трогая Аполлоновы руки, шею, кудри...

...Брунгильда Марковна явно знала толк в поэтах.

— А я еще другое могу... во! У бабы Нади рожа в шоколаде!

— Экзистенциально! — вдова великого поэта вцепилась в Аполлонову руку, увлекая его за собой. — Какое меткое, точное разоблачение тяги местечкового панства к стяжательству... к пустому накоплению материальных ценностей, когда главное... душевное... остается позабыто.

Почему стяжательству, Евдокия не поняла. Она провожала престранную пару взглядом.

— Вы не имеете права молчать!

— Так я это...

— Мы должны донести до народа, что на небосклоне отечественной поэзии вспыхнула новая звезда.

Дребезжащий голос Брунгильды Марковны разносился далеко, и редкие нетопыри, которые приспособились ночевать в часовой башне, разлетались, видимо, опасаясь быть опаленные сиянием оной звезды. Она же покорно шествовала, замороженная светом будущей своей славы.

Лихослав закашлялся и, покосившись на Евдокию, произнес.

— Знаете... неудобно как-то получилось, но если вам поэты по душе, я вас с братом познакомлю. Он у меня тоже... примитивист...

— Про коров пишет? — осторожно уточнила Евдокия, понимая, что двух поэтов-примитивистов за раз не выдержит.

— Нет, про любовь. И про кровь.

— Про кровь не надо. Крови не люблю...

— Я передам...

Этот затянувшийся день закончился в прохладном номере «Метрополии», где поздних гостей встретили со всей любезностью дорогой гостиницы, самый простой номер в которой стоил злотень за ночь. С точки зрения Евдокии, маменькин выбор был пустой тратой денег, да и то дело, можно было бы на два дня остановиться в месте куда менее пафосном, но Модеста Архиповна уперлась, что называется, рогом. Однако сейчас Евдокия даже радовалась матушкиному упрямству.

Вежливый мажордом.

И улыбчивый коридорный, уверивший, что за багажом панночек пошлют немедленно.

Прохладные покои, горячая ванна, мягкий халат, поздний легкий ужин и чашка горячего шоколада, окончательно примилившая Евдокию с действительностью. Забравшись в постель, она вдохнула пряный аромат свежего белья и закрыла глаза.

Заснуть не дали.

— Рассказывай, — потребовала Аленка, взобравшись на кровать. — Конфету хочешь?

— Есть в постели?

— Дуся, не занудничай. Шоколадная.

— Тогда хочу, — Евдокия вздохнула, понимая, что отделаться от сестры не выйдет. — Что рассказывать?

Шоколадный трюфель, обернутый золоченой фольгой, слегка подтаял, но оттого стал лишь вкусней.

— Про тебя и Лихослава.

— Что?

— Он в тебя влюбился, — Аленка облизала пальцы.

— С чего ты взяла? — ее предположение было столь нелепо, что с Евдокии сон слетел.

— Там, на вокзале, он кидал на тебя такие взгляды...

...издевательские, Евдокия помнит.

— А когда с Аполлоном увидел, его вовсе перекосило!

— От смеха.

— Он не смеялся.

— Сдерживался. Вот и перекосило, — Евдокия разгладила фольгу и, вздохнув — шоколад, как и все хорошее в жизни, имел обыкновение быстро заканчиваться. — На самом деле ему нужна ты. Точнее, твое приданое. Второй сын шляхтича, род беднеет, вот и решили поправить дела, подыскав богатую невесту. Ты ему показалась подходящей.

— А ты? — расставаться с мечтой о замужестве сестры Аленка не собиралась.

— А я... он думает, что я твоя компаньонка.

— Кто?

— Компаньонка, — повторила Евдокия. — Оберегаю твою честь от таких вот... умников.

Аленка задумалась, впрочем, ненадолго.

— Знаешь, по-моему это будет очень романтично... он влюбится в тебя и...

— С чего ты взяла, что он в меня влюбится? — порой ход Аленкиных рассуждений ставил Евдокию в тупик. — Максимум, снизойдет до легкого романчика, и вообще... он офицер.

Это было аргументом, который, впрочем, Аленка отмела с привычной легкостью.

— Дуся, — сказала она, выбираясь из-под одеяла. — Нельзя же из-за одной сволочи всех военных ненавидеть?

С этим утверждением Евдокия могла бы и поспорить, но в пятом часу утра спорить у нее желания не было. В пятом часу утра все желания сводились к одному — выпроводить драгоценную сестрицу за дверь и заснуть, наконец...

— Вот посмотришь, Лихослав совсем не такой! — сказала Аленка, вытаскивая из кармана еще один трюфель.

— Ну да... особенный. Есть сладкое на ночь вредно.

— Лови.

Второй трюфель упал и затерялся в складках пухового одеяла. Ладно, иногда женщина может позволить себе вредные мелочи... главное, норму знать. И уверенная, что уж она-то норму знает, Евдокия сунула трюфель в рот и закрыла глаза.

В сон она провалилась моментально, и был тот сладким, ванильно-шоколадным, слегка приправленный сладким сдобным ароматом... хороший, в общем, сон.

Разновидность крепкой настойки.

Глава 8

Повествующая о загубленной репутации и некоторых иных последствиях случайных событий

Дом Аврелия Яковлевича ненаследный князь покинул спустя сутки, на рассвете, в спешке великой, а потому на подозрительную троицу, ошивавшуюся у главных ворот, внимания не обратил. Голова слегка кружилась, но иных изменений в себе Себастьян не ощущал.

— Ты, друг мой сердешный, учти, — сказал Аврелий Яковлевич, поднеся высокую чарку с мятным отваром. — Аура — она часть человека. Это как... шкуру для тебя сменить. Разумеешь?

От отвара, в состав которого помимо мяты входило десятка два ингредиентов куда менее приятных, на глаза слезы навернулись.

— Рукавом занюхай, — жестко велел ведьмак.

И еще корочку хлеба поднес, изувер штатный.

— Так вот, Себастьянушка, не мне тебе объяснять, что с чужою шкурой и чужие повадки берешь.

Себастьян кивнул, не способный зубы разжать.

Понимал.

И не любил эту часть своей натуры, когда сознание словно бы раздваивалось. И оставаясь собою, Себастьяном, ненаследным князем Вевельским, он меж тем обретал чужой характер, зачастую весьма скверный, отягощенный множеством дурных привычек, которые прилипали прочно, и после завершения задания, от них приходилось избавляться уже князю.

— Потому не удивляйся, ежели в тебе вдруг проснется... этакое.

Аврелий Яковлевич сделал хитрый знак рукою.

— Что этакое? — севшим голосом уточнил Себастьян.

От мяты першило в горле. Но по мышцам, по телу расплзалось удивительное тепло.

— Этакое... девичье, — словно бы смутившись сказал Аврелий Яковлевич. — Я б не упреждал, будь ты обыкновенным человеком, не заметил бы даже. Но ты ж метаморф, а вы — народец зело чувствительный. Аж занадто...

— Девичье...

— Девичье... ну, гляди, сколько тебе годков? За тридцать уже? Аленушке — пять. Итого, плюсуем, потом делим пополам... в общем, девичье выходит... девицы этак восемнадцатилетней...

И усмехнулся этак, по-доброму...

— Экая у вас, Аврелий Яковлевич, арифметика забавная... — девицей Себастьяну становится претило, вне зависимости от возраста оной.

С другой стороны... быть может, и к лучшему. До того женское обличье примерять ему не доводилось, поскольку тот случай с познаньским душегубом являлся скорее исключением, глупостью младшего актора, возомнившего себя самым хитроумным во всем познаньском воеводстве.

...и глупость та не только ему дорого обошлась.

Об этом Себастьян и думал, добираясь домой.

Квартировался он у вдовы отставного полковника, женщины нрава вольного, веселого и ко всему напрочь лишенного, что женского любопытства, что женской страсти к сватовству. За сии два качества Себастьян особенно ценил панну Вельгельмину, и та отвечала постояльцу если не любовью, на которую, по собственному уверению, не была способна после двадцати пяти лет замужества, то всяко глубочайшей симпатией.

Ныне же, несмотря на ранний час, она встретила постояльца сама и, прижав пухлые руки к сердцу, сказала:

— Ах, Себастьян, вы не подумайте... не волнуйтесь ни о чем... я не ханжа и от квартиры я вам не откажу...

Себастьян, занятый собственными мыслями — а сейчас его заботило, сумеет ли он исполнить роль должным образом, не вызывая подозрений у русской колдовки — кивнул.

Странности панны Вельгельмины его занимали мало.

Поднявшись к себе, он последовал совету Аврелия Яковлевича, и лег.

На пол.

Не раздеваясь. Закрыв глаза, представляя себе себя же, но в обличье женском. Заботила его не столько внешность, каковая, несомненно, удалась — это решено было еще прошлым разом — но исключительно тонкие стороны женской натуры, Себастьяну почти неизвестные. Он пытался нащупать эту самую девицу, восемнадцати лет, с характером живым...

...девица увиливала, крутила хвостом и манерно хихикала, прикрывая улыбку кисточкой-пуховкой.

ТЬфу ты...

...а пуховку перекрасить надо бы, а то не вяжется оно, волос черный, хвост белый...

Девушка оскорбленно повернулась спиной.

За пуховку, верно, обиделась.

— Себастьян! Догогой! — донесся с лестницы матушкин голос.

До чего несвоевременный визит...

Себастьян встал.

— Ах, догогой! Я так за тебя пегеживала! — княгиня, всхлипнув, соизволила сына обнять. И тут же отстранилась, взмахнула рукой, в которой сжимала кружевной, щедро сбрызнутый ароматным маслом, платочек. — Почему ты молчал?

— О чем?

— Я понимаю, почему ты не сказал Тадеушу. Он бы не понял... он и не понял, чегствый человек! — княгиня Вевельская с мужем пребывала в отношениях сложных и запутанных. Брак их давно стал формальностью. А в последние годы формальность сия донельзя тяготила панну Ангелину, заставляя всерьез задуматься о разводе, каковой бы позволил ей сочетаться браком с любезнейшим Бонифацием Сигизмундовичем. Оскорбленный романом жены, который она

боле не давала себе труда скрывать, Тадеуш не стал бы протестовать, но...

...имелись некие туманные обстоятельства брачного контракта.

...и немалая сумма приданого, потраченного бездарно.

...хиреющее поместье.

...и общественное мнение, до того относившееся к Ангелине со снисходительным пониманием, которого, однако на развод не хватит.

Обо всем этом Себастьян прекрасно знал и матушку свою поддерживал, а потому нынешний ее визит счел результатом очередной непростой беседы с князем.

— Пгеставляешь, он заявил, что знать тебя не желает! — воскликнула панна Ангелина, прижимая платочек к вискам. — Что ты — позог года!

— Что?

— Позог, — панна Ангелина взмахнула платком. — Бедный мой мальчик... так долго скгывать свои наклонности...

Себастьян сел, окончательно перестав понимать что-либо. Прошедшие сутки он провел в компании Аврелия Яковлевича, большей частью сонным, а следовательно, не способным каким-либо образом опозорить род князей Вевельских.

Что до наклонностей собственных, то скрывать их он бросил давно, да и следовало сказать, что склонности эти ничем-то особым не выделялись.

— Не волнуйся, догогой, — воскликнула княгиня, приняв окончательное решение. — Я тебя не оставлю. Мы с Бонечкой не оставим.

— Вы все же решились, матушка?

— Ах, давно следовало бы...

...скандал вышел безобразным, и начавшись с Себастьяна, неизменно свернул к теме супружеской верности, точнее, супружеской неверности. И если князь Вевельский еще как-то готов был мириться с наличием у жены любовника, то сам факт, что с оным любовником дражайшая Ангелина живет уже открыто, не давая себе труда приличия блюсти, премного его нервировал.

И в запале Тадеуш был откровенней обычного и выражался прямо, грубо... недопустимо грубо. Как ни странно именно утрешняя ссора помогла панне Ангелине укрепиться во мнении, что брак ее следует признать неудавшимся...

...во всяком случае, первый брак.

И конечно, развод — это некомильфо... многие не поймут... но впервые, пожалуй, за долгие годы панна Ангелина четко осознала, что готова поступиться как интересами рода князей Вевельских, так и общественным мнением.

— Мы, навегное, уедем... у Бонечки достанет сгедств пгиобгести дом... или вот моя матушка

пгимет нас с пгевеликим удовольствием. Ей никогда не нгавился Тадеуш. И тебе, я абсолютли увегена, будет гада...

— Ну если гада, тогда да.

— Себастьян! — с мягким укором произнесла княгиня. — Мне не понятно твое совегшенно несегьезное отношение к... пгоблеме.

— Какой проблеме?

— Этой! — княгиня порозовела, все ж таки она была женщиной глубоко приличной, а потому испытывала некоторые затруднения в беседах на темы столь личного, интимного даже свойства. — В этой дикой стгане тебя не поймут! Станут пгеследовать... тгавить...

Себастьян начал догадываться, что имело место некое событие, прошедшее мимо него, но в то же время напрямую его коснувшееся.

— Пообещай, догогой, что если тебе понадобится помощь, ты обгатишься ко мне... или к Бонечке...

Себастьян пообещал.

В конце концов, мало ли... после ухода матушки он попытался было вернуться к прежнему занятию, но странности, происходившие вокруг, здорово мешали сосредоточиться. И Себастьян, переодевшись, спустился, надеясь, что беседа с панной Вельгельминой разъяснит хоть что-то. Но беседовать квартирная хозяйка отказалась, вместо этого, по-девичьи зарозовевшись, сунула сложенную вчетверо газету.

Проклятье!

Сперва Себастьяну показалось, что пасквильная статейка ему мерещится... он даже пребольно ущипнул себя за руку, но статейка не исчезла.

И магоснимки, занявшие весь разворот.

Ненаследный князь закрыл глаза.

Открыл.

Вот они, слегка измятые, слегка расплывчатые... знакомая комната, стена с цветными обоями... он, согнувшийся, в позе престранной, опирается на стену. И руки дрожат от напряжения. Лицо искажено, но только полный извращенец узрит на нем «гримасу сладострастия», как значилось под снимком... волосы рассыпались по плечам, по могучей руке Аврелия Яковлевича, чья массивная фигура возвышается сзади.

Себастьян, выронив газету, вцепился в волосы и застонал.

Он убьет того ублюдка, который...

...или сам повесится, поскольку объяснить этот снимок в пристойном ключе будет невозможно.

— Твою ж... в задницу... чтоб тебе...

Аврелий Яковлевич взирал со снимка строго, словно пеняя за малодушие.

Подумаешь...

...и прежде-то сплетни ходили... не такие, конечно, но... всякие... всякие другие, как по нынешнему мнению, вполне себе пристойные сплетни.

...это ж «Охальник», ему веры нет...

...и в суд подать можно, за оскорбление чести и достоинства...

Но Себастьян только представил этот процесс, который, вне всяких сомнений, привлечет внимание общества, как ему стало дурно.

...а ведь решат, что он исчез из-за скандала...

...и отец, выходит, поверил...

...впрочем, Себастьян Вевельский никогда-то не был с отцом близок, слишком уж иным уродился, о чем князь Вевельский не забывал напоминать. И если поначалу Себастьян маялся от такой нелюбви человека родного, то история с Познаньским душегубом многое прояснила.

...а матушка, надо же, приняла. Обидно, что поверила, но радостно, что приняла... и Бонифаций Сигизмундович, стало быть, с нею... он добрый человек, и матушке давно следовало бы решиться, не слушать адвоката, пусть и распинается он о правах княгини Вевельской, но ясно же, что не вернет отец потраченного приданого, и не уступит ни пяди с сохранившихся наследных земель... да разве ж в землях дело? Уехала бы домой, устроилась бы в родной пансион наставницей, зажила бы спокойно с Бонифацием Сигизмундовичем, который любит ее по-настоящему, тихой преданной любовью. И Себастьян порой завидовал этой его способности, за собой ее не замечая.

Ему-то самому все игрой виделось.

И вот, доигрался.

Следующий визитер, весьма неожиданного свойства, появился ближе к ужину, когда Себастьян, уже почти успокоившись, вернулся к делу. Внешность менять получалось легко, амулет Аврелия Яковлевича прижился и работал исправно, облик закрепляя.

Семнадцать часов непрерывной работы...

...ночевать конкурсантки будут в отдельных покоях, а потому Себастьяну никто не мешает восстанавливаться.

До отъезда — два дня осталось, и за это время надобно успеть озаботиться гардеробом, который не вызовет подозрения, заучить биографию панночки Тианы, от души дополненную Евстафием Елисеевичем, поручить любимую опунцию заботам панны Вельгельмины, а заодно уж разослать знакомым визитные карточки с известием об отъезде...

...и надо полагать, отъезд этот в свете последних новостей будет воспринят весьма однозначно.

Проклятье!

Не имея иного способа раздражение выместить, Себастьян пнул массивный шифоньер, украшенный резьбой, и естественно, ушиб палец, поскольку домашние тапочки, подаренные панной Вельгельминой на Зимние праздники, были приятно мягки и для пинания мебели не

годились.

— Чтоб тебя... — Себастьян сел на пол и, согнувшись, подул на палец. Не то, чтобы было так уж больно, скорее по-детски обидно.

И обида эта вызывала иррациональное желание поплакать.

Прежде такого Себастьян за собой не замечал.

Чем больше он сидел, тем сильнее становилось желание. На глаз навернулись слезы, а в груди пообжилась преогромная обида на весь мир сразу. К тому же опять потянуло на стихи, что являлось приметой величайшего душевного волнения.

— Я сижу на полу... — Себастьян почесал голую пятку. — Опустивши очи долу... вижу, таракана...

Он задумался, всерьез подыскивая рифму, оттого и не услышал, как открылась дверь. Этот гость, как и в прежние времена не давал себе труда стучать.

— Хандришь, небось? — раздалось над головой, спугнув и таракана, рифму, которая почти уже нашлась...

Рифму стало жаль, едва ли не до слез.

— Ну... здравствуй что ли... — Лихо произнес это как-то неуверенно.

— Здравствуй, — ответил Себастьян, не зная, что еще сказать.

Тихо стало.

Слышно, как тикают старые каминные часы панны Вильгельмины.

— Вернулся, значит?

Бессмысленный вопрос, но Лихо отвечает.

— Вернулся...

— Надолго?

— Похоже, что на совсем... а у тебя ничего-то не изменилось.

— Занавески новые, — дурацкий разговор и не о том надобно бы сказать.

— Занавески? Это да... раньше вроде зеленые были, — Лихо занавески потрогал, убеждаясь, что нынешние и вправду другие, светлые и еще в полоску.

— Точно. Зеленые. Темные такие... ими еще руки вытирать удобно было...

Младший изменился. Оно и понятно, десять лет все-таки... заматерел. И форма ему к лицу, хоть и видно, что не новая... и не королевского дворцового полка... отец злился, но ровно до первого перевода... и бесполезно было писать Лихо, что деньги эти — капля в море долгов... уходят, чтобы одни погасить, но делают другие.

И не только отец.

А Себастьян все равно писал.

Что Лихо с письмами делал? В камин отправлял?

Хоть погрелся...

...и коня вернул...

...гордый.

Бестолочь.

— Руки, значит... — пробормотал Лихо, озираясь.

Движения стали другими. Мягче. Экономней.

А черты лица обрели характерную резкость, которую Себастьян помнил по дедовым портретам...

— Руки, это хорошо... — Лихо прошелся по комнате и, остановившись у старинного шифоньера, солидного, с медными накладками и пухлыми младенческими физиономиями на крылатых медальонах слоновой кости, решительно распахнул дверцы.

Братец всегда отличался своеобразными представлениями о методах получения информации. И приятно было осознавать, что за годы службы его ничего-то не изменилось. А неприятно, что из шифоньера, дразня и насмехаясь, выглядывало чесучевое платье...

Себастьян лишь крикнул.

Лихо же, вытащив платье — надобно было бы в чистку отдать, а то весь подол, пока доехали, изгваздался — спросил дрогнувшим голосом:

— Чье?

— Мое, — признался Себастьян, голову опустив.

И Лихославов перстенок подтвердил, что сказана была чистая правда.

— Твое... выходит, зря я человеку нос сломал... — Лихо провел ладонью по подолу и, вздохнув, платье вернул к иным, более мужским нарядам. К счастью, в ящик с бельем, где лежали преочаровательные панталоны и пара шелковых чулок с кружевными подвязочками, он лезть не стал. — И челюсть тоже...

— Одному, что ли?

— Разным...

Но руку подал, помогая подняться.

— Я ж уверен был, что вранье все... — братец выглядел донельзя огорченным, и Себастьяну стало вдруг стыдно. А еще прежняя обида очнулась.

Нет, «Охальник», конечно, поспешил с выводами, но... разве ж это повод, чтобы от Себастьяна отказываться, как то отец сделал?

— Тебя... гм... склонили, да? — с надеждой поинтересовался Лихослав. — Заставили?

— Нет. Я сам... добровольно...

Лихо молчал, разглядывая исподлобья.

И Себастьян взгляда не отвел.

...что-то не то...

...не так...

...не правильно... Лихо изменился, что логично, но... черты лица?

Иное.

Мелочь какая-то, пустяшная, но мешавшая сосредоточиться.

— Все равно... — Лихо прижал подбородок к шее, набычился. — Бес, ты мой брат. И я от тебя отказываться не собираюсь.

— Спасибо.

— Пожалуйста. Отец, думаю, остынет... образумится...

— Лихослав...

— ...и я понимаю, почему ты молчал...

— Лихослав, послушай...

— ...конечно, тебе придется тяжело...

— Лихо!

— Старика тронуть не посмеют, себе дороже, а вот ты...

— Лихослав, Хельм тебя задери! — Себастьян тряхнул дорогого братца. — Успокойся. Ты... неправильные вопросы задавал.

...и тут плутовка черноглазая, восемнадцати лихих годков отроду, соизволила очнуться.

...хорош, братец...

...братец ведь, родной...

...но хорош весьма, мундир королевских улан ему к лицу, даром, что ношенный, выгоревший, и само это лицо, строгое, благородное в каждой черте своей, до отвращения привлекательно. Глаза синющие с желтым ободочком, чуть прищуренные... волосы светлые...

Губы жесткие.

Подбородок квадратный.

До холеры романтический образ.

Себастьян попытался плутовку унять, но она, скользнув по княжичу Вевельскому томным взглядом, затрепетала ресницами, исторгла тяжкий вздох. И потянула обличье на себя.

— Ты... Себастьян!

— Тихо! — благо, хоть сноровка осталась прежняя.

Спасибо, Аврелий Яковлевич, вот что значит пространное выраженье «некоторая нестабильность с вероятным доминированием магической сущности». И совет из дому носу не казать. У Старика, значит, теоретически выходило все ладно и складно, а на практике Себастьян Вевельский, матерясь сквозь зубы приятным контральто, одной рукой дорогого братца к пышной груди прижимал, другой — рот затыкал.

Братец ерзал, на грудь пялился и хрипел, не то от возмущения, не то от восторга. Себастьян очень надеялся, что возмущения было больше... все-таки и вправду брат.

— Отпусти! — Лихо умудрился за пальцы цапнуть. — Извращенец несчастный!

Ну хоть орать не стал.

— Почему несчастный?

— То есть, — пробормотал Лихо, взгляд отводя и пунцовея, — почему извращенец, ты не...

Судорожно сглотнул и попытался из захвата вырваться.

А силен стал, младшенький...

— Не те... вопросы... клятва, — контракт, кровью подписанный, пусть последний семилетний и не из мальчишеской блажи, но по любви большой к непростому своему делу, но все ж — вещь серьезная. — Не ори, ладно?

Себастьян братца отпустил, и тот отскочил.

И руку вытянув, ткнув пальцем в ту самую пышную грудь, которая до предела натянула Себастьянову рубаху, прошипел.

— Т-ты... оно натуральное?

— Натуральней некуда. Забуди, что видел, — плутовка отступила, позволяя Себастьяну вернуть исконное обличье. — Это...

Горло стянул незримый поводок колдовской клятвы.

— Я понял, — Лихо встал у двери, прислонился, запирая одно и, вытащив из ворота зачарованную булавку, вогнал в косяк. — Информация в газете — ложь?

— Смотря какая.

— Снимки правдивы?

— Да.

— Но интерпретация ошибочна?

Когда братец переставал притворяться настоящим уланом, лихим и безголовым, он мыслил на редкость быстро и здраво.

...желтизна в глазах расплзалась.

— Да.

— То, что я... видел, точнее, чего не видел, часть нового дела?

— Да.

— Не хочу спрашивать, во что ты влез, но... если вдруг помощь понадобится, то... — Лихо сцепил пальцы.

— Понадобится, — нехотя признался Себастьян. — Проводишь меня до вокзала?

— И далеко уезжаешь?

— На Спаживецкие воды... нервы лечить...

Лихослав кивнул.

Проводит.

И чемодан с растреклятым чесучевым платьем, чулочками, подвязками, а тако же светлым париком, поднесет... и прощание устоит слезное, благо, свидетелей отъезда будет множество.

— Я рад, что ты вернулся, — скажет Себастьян уже в купе первого класса, сожалея о том, что не поговорили-таки нормально.

— Я тоже... наверное, рад.

— Мир?

Лихо руку пожмет, но взгляд отведет. И именно тогда станет понятно, что же с ним не так:

— У тебя глаза цвет поменяли.

— Не полностью.

— Проблемы?

— Нет, — он соврет, младший брат, неожиданно ставший слишком взрослым.

— Если вдруг...

— Я знаю, — Лихо кивнет. — Тебе пора. Потом поговорим.

И это его «потом» обнадеживало.

Поговорят. Выяснят. И хельмово нынешнее перемирие, глядишь, и вправо в мир переродится.

...Себастьян сойдет на Заречной станции, где переседет в крытый экипаж...

...а в экипаже в славный полуночный Познаньск вернется уже панночка Тиана Белопольска, шляхетного славного рода, корни которого прочно переплелись с королевскими. И что за дело, если родство это не спасло род от разорения? И ныне из всех владений осталась лишь старый особняк на Бялой гуре?

...и видать, от полного отчаяния писал пан Белопольски королю, просил за племянницу, которую в письме величал «девкою задорной, хотя и не шибкого ума»...

...а Его Величество, вспомнив о дальней сродственнице, милостью высочайшей включил панночку Тиану в число конкурсанток, вдруг да получится отыскать супруга?

Простая история.

Обыкновенная... и объясняющая, что скудный багаж, что вышедшие из моды платья... но как бы там ни было, панночка Белопольска в будущее смотрела с немалым оптимизмом.

После ухода ненаследного князя Аврелия Яковлевича все ж мучили сомнения и совесть, требовавшая немедля во всем признаться. И быть может, штатный ведьмак и изменил бы свое решение, однако в скором времени произошли события, которые в равной степени и отвлекли его от забот иных, и развлекли. Начались они с опасливого взгляда Лукьяшки, простоватого деревенского парня, взятого в дом на лакейские харчи за молчаливость, исполнительность и слепую веру в могущество хозяина. Сей раз Лукьяшка косился, хмурился, однако вопроса не задавал... затем явился вдруг посыльный из новомодного аглицкого клуба, куда Аврелий Яковлевич заходил, силясь разогнать тоску. Посыльный принес послание, в котором в выражениях весьма пространных и скользких, ему отказывали от дома, причины, однако же, не объясняя. И лишь выглянув из дому, у которого, позабывши страх и стыд, паслись сразу четверо крысятников, Аврелий Яковлевич заподозрил неладное.

Статейка, тиснутая срочным порядком на первые страницы «Охальника» и подкрепленное парой магоснимков, была до того забавна, что ведьмак расхохотался, чувствуя, как со смехом разжимается стальное кольцо вокруг сердца. И веселье его было понято неверно.

— Скажите, — осмелевший крысятник, молодой и бойкий, обвешанный амулетами, как престарелая купчиха драгоценностями, сунулся в окно. — Вы и вправду склонили старшего актора к противоестественной связи?

Он сунул записывающий кристалл и замер, ожидая ответа.

— Нет, -

— Тогда как вы объясните снимки? — крысятник не унимался.

— Никак.

— Вы признаете, что использовали служебное положение...

— Изыди.

Это Аврелий Яковлевич произнес по-отечески ласково, оттого и не был услышан.

— Вы применяли к князю Вевельскому принуждение? — репортер швырнул в комнату

бумажную бомбочку, которая разорвалась, осыпав любимые домашние тапочки Аврелия Яковлевича детским тальком, смешанным с мелко порубленной белозер-травой. Вспыхнуло сопровождающее заклятье, и сгорела дотла...

...на тапочках.

— Никакого принуждения, — медленно ответил Аврелий Яковлевич, разгоняя рукой дым, занемевший язык его ворочался с трудом, а раздражение крепло. Говорил ведьмак истинную правду, что и подтвердил плохонький амулетик, который крясятник сжимал в свободной руке, — Все, что происходило, происходило по обоюдному согласию.

Сказал, чихнул и отвернулся.

А крясятника проклял, так, порядку ради и поддержания собственной репутации.

— Папенька! — Лизанькин голосок дрожал от гнева, и Евстафий Елисеевич, покосившись на газетенку, каковую драгоценная дочь сжимала в кулачке, вздохнул.

Статейка эта, следовало признать, появилась донельзя кстати, дабы объяснить столь спешный отъезд ненаследного князя.

— Папенька, скажи, что это неправда! — потребовала Лизанька, обрушив газетенку на сияющий полированную бронзой лоб государя. И сонная муха, примостившаяся было на высочайшей груди, аккурат меж орденом Сигизмунда Дракоборца и Малой Северной звездой, с тяжким жужжанием поднялась в воздух.

Мухе, Евстафий Елисеевич, лишенный подобной возможности скрыться, позавидовал.

— Я не верю, — сказала Лизанька и ножкой топнула. — Они ведь лгут? И вы засудите эту мерзкую газетенку, которая...

Не зная, что сказать еще, Лизонька всхлипнула и часто-часто заморгала, зная о том, сколь тягостное воздействие на папеньку оказывали слезы.

Евстафий Елисеевич прикрыл лицо рукой. Совесть требовала немедля признать Лизанькину правоту и отстоять попорченную «Охальником» честь старшего актора. Разум и отеческий долг...

Ах, Лизанька, Лизанька, беспокойное, но горячо любимое чадушко, вбившее в прехорошенькую свою головку, что всенепременно выйдет за Себастьяна замуж... самого Себастьяна спросить и не подумала, решивши, будто он, преглупый, своего счастья не понимает, но после свадьбы прозреет.

Евстафий Елисеевич, понимавший, что мужчинам в принципе свойственно прозревать после свадьбы, вдруг ясно осознал: не отступятся, ни драгоценная супруга, уже примерившая роль княжьей тещи, ни сама Лизанька. А значит... что ему остается делать?

И мысленно попросив у Себастьянушки прощения, может статься, он и сам благодарен будет за избавление от брачных уз, Евстафий Елисеевич произнес:

— Успокойся, милая... в конце концов, не мое это дело, с кем он время проводит...

Сущая правда.

А Лизонька насупилась, губу выпятила, того и гляди расплечется. Слез же дочериних Евстафий Елисеевич на дух непереносил.

— Небось, не смутные века, чтоб за этакую малость на каторгу отправлять... эпатажно, конечно, но Себастьян — взрослый мужчина... сам разберется, с кем ему... — Евстафий Елисеевич почувствовал, что краснеет, все ж таки тема беседы была не самой подходящей.

Лизонька же плакать передумала.

Побелела только, и газетенку выронив, спросила глухо:

— Ты знал...

Евстафий Елисеевич, покосившись на государя, чей бронзовый взор упрекал его: негоже слугам верным королевским мараться этакой ложью, ответил:

— Нет, но...

— Знал! — воскликнула Лизонька. — Ты знал и...

Запнулась, подняла газету и, скомкав, швырнула в окно.

Вот, значит, как... папенька, если не знал, то догадывался об этих... престранных склонностях старшего актора... а быть может, и не желая способствовать Лизанькиному семейному счастью и сам... конечно, Аврелий Яковлевич, пренебрежнейшая особа, с которой Лизаньке довелось единожды встретиться, ведьмак. И вдруг да сердечного Себастьянушку приворожил?

А если и нет, то...

Ничего, на любой приворот отворот найдется. Да и то ли дело...

— Не расстраивайся, милая, — постарался утешить дочь Евстафий Елисеевич. Будучи человеком совестливым, от нечаянного этого обмана, который он поддержал пусть из побуждений самых благородных, познаньский воевода чувствовал себя крайне неловко. — Мы тебе другого жениха найдем. Лучше прежнего.

— Зачем? — спросила Лизанька, заправляя за ушко светлый локон. — Я подумала, что так даже лучше... все равно пожениться они не смогут. Верно, папенька?

Евстафий Елисеевич кивнул.

И когда любимая дочь вышла, долго сидел, глядел на дверь и думал, где и когда он упустил ее? Чувство вины не ослабевало, и язва, очнувшись от дремы, полоснула свежей, бодрящей болью.

Ах, Лизанька, Лизанька... и ведь поздно говорить.

Не услышишь.

Иначе придется, и Евстафий Елисеевич, выдвинувши ящик стола, извлек из тайного его отделения фляжку с вевелевкой... опрокинув стопку, он закрыл глаза.

Лизанька, Лизанька... что ж делать-то с тобою?

Евдокия, сидя у окна, глазела на улицу. Занятие это было напрочь лишено какого бы то ни было смысла, однако же позволяло хоть как-то примириться с бездарной тратой времени.

— Дуся, мне идет? — Аленка вновь показалась из примерочной.

— Конечно, дорогая.

— Ты даже не посмотрела!

— Посмотрела, — со вздохом сказала Евдокия, которой больше всего хотелось вернуться в тихий и уютный номер «Метрополии», вдруг да маменька соизволили, наконец, телеграммой отписаться.

...или, паче того, назначить время для разговору.

Молчание Модесты Архиповны беспокоило Евдокию куда сильнее Аленкиных нарядов.

Не стоило уезжать...

...думалось о страшном.

О том, что пан Острожский, воспользовавшись скорым отъездом Евдокии, продал маменьке акций не на пятьдесят тысяч злотней, а на все сто... или сто пятьдесят... и еще заставил залог взять... иначе отчего она, всегда бывшая на связи, вдруг словно бы исчезла?

На душе было муторно и отнюдь не только из-за денег.

...а Лютик спокоен.

...и Евдокию уговаривал успокоиться. И Лютику она, конечно, верила, но... все равно ведь муторно.

— И какое мне идет больше? — капризно поинтересовалась Аленка. — Это или предыдущее?

— Оба, — Евдокия точно знала, как отвечать на подобные вопросы. — И третье тоже хорошо...

Лютик, оторвавшийся на секунду от альбома, над которым медитировал уже третий час кряду, осторожно заметил:

— Этот оттенок ультрамарина будет выглядеть вызывающе...

— Точно, — Аленка плюхнулась на диванчик, отмахнувшись от продавщиц, которые принялись уверять, будто бы есть еще несколько нарядов, которые всенепременно панночке подойдут, ежели она соизволит примерить... — А вот Евдокии он будет к лицу.

— Пожалуй, — согласился Лютик.

— Нет!

Вот чего Евдокия терпеть не могла, так это подобных лавок, которые пожирали время... Конечно, сейчас-то времени у Евдокии имелось в достатке, но это же не значит, что она должна немедля тратить его на выбор платья, которого ей и надеть-то некуда.

Платьев у Евдокии имелось с полдюжины, о чем она и сообщила сестрице.

— Это ты про то... убожество? Ты в них и вправду на компаньонку похожа, — Аленка двинулась к деревянным болваном с готовыми нарядами, которые она окидывала новым, придирчивым взглядом. — И на старую деву.

Продавщицы закивали.

— Я и есть старая дева, — ответила Евдокия, бросая тоскливый взгляд на улицу.

— Это еще не повод носить ужасные платья... Папа, скажи ей!

И Лютик, до этого дня во всех спорах хранивший нейтралитет, мягко произнес.

— Евдокия, пожалуй, тебе следует обновить гардероб.

— Зачем?

— Ну ты же хочешь найти себе мужа?

— Не хочу... но придется.

— Вот, — почувствовав поддержку, Аленка осмелела. — А охотится за мужем без приличного платья, все равно, что на щуку пустой крючок закидывать...

Рыбалку она любила нежно, хотя и страсти этой несколько стеснялась, полагая ее неприличной для девицы.

— Так что, не спорь! Тебе этот цвет к лицу будет... и вот тот, зелененький тоже... и еще... ну что стоишь? Или мы отсюда до вечера не уйдем...

— Евдокия, — Лютик закрыл альбом и прошелся по лавке, поморщился, верно, не слишком-то впечатленный работами панны Бижовой, модистки первой категории, как то значилось на вывеске, — мне кажется, ты слишком увлеклась одной стороной своей жизни, незаслуженно позабыв о прочих. Нельзя быть счастливым, стоя на одной ноге...

Это его замечание Евдокия пропустила мимо ушей.

От нового платья отвертеться не выйдет и... странное дело, прежней досады Евдокия не чувствовала, скорее уж престранную надежду... на что?

Что изменится?

— Тебе идет, — сказала Аленка, устроившаяся на диванчике. — Только с косой еще что-то сделать надобно...

— Косу не трогай.

...а и вправду идет. Цвет яркий, насыщенный, точь-в-точь мамины бирюзовые серьги...

...и в столице Евдокия должна выглядеть сообразно своему положению...

...но тогда надобно не бирюзовое брать, а серое, темные цвета делают ее старше, серьезности придают. И в аптекарскую лавку заглянуть, за очками. Очкастые люди иными воспринимаются с превеликим пиететом.

Однако Лютик, осмотрев падчерицу с ног до головы, постановил:

— Берем. И вон то, пурпурное тоже... только пусть черное кружево уберут... нет, на иное заменять не следует, вообще без кружева будет лучше. А еще нужно домашнее, что-то простое... да, подойдет и в полоску.

Он указывал на одно платье за другим, словно позабыв, что лавка эта отнюдь не из дешевых...

— Я переоденусь, — на Евдокию из высоких, в золоченом обрамлении зеркал, смотрела хмурого вида девица с толостю косой, перекинутой через плечо. Девица была не особо молода, не особо привлекательна и характером, судя по всему, обладала скверным.

Вот характер платье было не в состоянии исправить.

— Зачем? — Аленка уйти не позволила. — Тебе и так идет... а вдруг кого встретим?

— Кого?

Девица нахмурилась еще больше. И упрямый подбородок выпятился.

— Кого-нибудь, — Аленка вытащила конфетку из стеклянной вазы, поставленной для клиентов. — На вот, съешь лучше... и улыбнись уже.

Евдокия попробовала, но... Ирженна милосердная, неужели это она? И улыбка вышла кривоватой, искусственной...

Ну уж нет.

Не станет она притворяться беззаботною яркой птичкой...

— Если ты опять напаялишь серое, я разревусь, — пригрозила Аленка и тоненько всхлипнула, наглядно демонстрируя, что угрозу свою воплотит в жизнь без колебаний. — У меня, между прочим, личная трагедия... глубокая...

...ее трагедия, сложенная вчетверо, пряталась в ридикюле.

Третий номер, к слову...

Первый был отправлен в камин, немедленно по прочтении, второй с пристрастием разодран на клочки... а клочки нашли упокоение в том же камине...

...Аленка же заявила, что мерзкой статье не верит, что все писаное есть клевета и наговор, а потому светлый образ Себастьяна в сердце ее не поблек.

Но осадочек на душе остался.

И для борьбы с этим самым осадочком Аленке требуется купить платье... а лучше два... или дюжину...

— Шантажистка, — буркнула Евдокия и отвернулась, чтобы не видеть, как по Аленкиной щеке ползет слеза...

Переодеваться не стала.

В конце концов, какая разница, серое на ней платье или синее?

...кто-нибудь, упомянутый Аленкою, ждал у лавки, делая вид, что просто прохаживается. От дверей до фонарного столба и обратно. Сей променад он совершал, должно быть, давно, оттого и городской, на углу замерший, поглядывал на офицера с откровенною усмешкой.

— Какая удивительная встреча! — неестественно бодрым голосом воскликнул Лихослав.

— Да уж, — Евдокия дернула себя за косу. — Просто невероятнейшее совпадение!

— Именно.

Аленка захихикала.

— Безумно рад вас видеть, панночка Алена, — Лихослав протянул букет серо-золотых ирисов, которые Аленка приняла с жеманной неестественной улыбкой и, сунув букет Евдокии в руки, велела. — Неси. А, пан Лихослав, откуда вы узнали, что я ирисы люблю? Впрочем, не только ирисы, мне еще и розы очень нравятся, особенно белые... белые розы на языке цветов означают невинность... вы знали?

Евдокия сунула букет в подмышку.

Нет, ей не тяжело цветочки поднести, но прежде Аленка подобных вывертов себе не позволяла, а тут... с чего вдруг? Сестрица, обернувшись, подмигнула.

О нет!

Ирженна милосердная, избавь Евдокию от очередного гениального Аленкиного плана по обустройству Евдокииной личной жизни! Она и от прошлого-то раза не отошла еще... Евдокия обернулась на Лютика, который застыл над вчерашнею газетой. И выражение лица его было таким, что Евдокия за отчима испугалась.

— Что-то случилось? — она забрала у него черный портфель, и альбом, и газету, которую Лютик рассеянно комкал.

— Нет, милая... и да, кажется, — он улыбнулся неловкою своей рассеянной улыбкой, говорящей, что некие события имели место, однако сам Лютик еще не решил, как к ним относиться. И потому перевел он беседу в иное русло. — Тебе подарили цветы?

— Не мне. Аленка велела нести...

— Что?

— У нее новый план, кажется...

...будет строить из себя избалованную наследницу, изводя дражайшего жениха капризами... чтоб как в романе, предпочел богатой бедную и скромную...

— А у тебя?

— А у меня плана нет. Наверное, — вздохнув, вынуждена была признаться Евдокия. Одно дело дать слово матушке, а совсем другое — это слово сдержать. В Краковеле столичная поездка виделась способом отсрочить ненавистное замужество. Но вот он, Познаньск, во всей своей красоте. Мощные улицы, пузатые особнячки в завитушках лепнины, лавки и целые торговые

дома, поразившие Евдокию, что задумкой, что ценами... оно естественно, ежели ставку делать на оптовую торговлю, то и цены можно сделать ниже...

— Ну не гожусь я для семейной жизни, — сказала Евдокия, выдернув синий лепесток.

— Или тебе так хочется думать.

Лютик шел неспешно, но взгляда с Аленки не спускал. Она же, повиснув на руке Лихослава, что-то рассказывала чрезвычайно бодрым голоском.

Щебетала.

Щебетать она научилась профессионально, и Евдокия про себя несчастного офицера пожалела, потому как ни один человек не в состоянии был выдержать Аленкино щебетание дольше четверти часа.

— Не хочется, но...

Она пожала плечами. И несчастный букет едва не выпал. Со стороны и вправду Евдокия похожа на компаньонку, и не следовало надеяться, что платье изменит впечатление.

Да, красивое...

Да, дорогое...

Но и компаньонкам порой перепадает подарки от хозяев...

...а вот замуж их берут исключительно в любовных романах.

— Евдокия, — Лютик всегда обращался к ней полным именем, и Евдокия была премного признательна ему за эту малость. — Мне кажется, что ты просто боишься.

Хотелось с негодованием опровергнуть сие предположение, но врать себе Евдокия не привыкла.

Боится.

— И скажи еще, что у меня причин для страха нет, — пробормотала она, щипая косу.

— Есть, — Лютик букет отобрал. И портфель тоже. — Но не стоит позволять страху отравлять себе жизнь. Да, тот... человек повел себя непорядочно. Однако это ведь не значит, что все остальные люди ему подобны. Ты боишься жить, Евдокия. А ваша жизнь... слишком мимолетна, чтобы терять время.

— Ты любишь маму?

Должно быть, Познаньск так странно действовал на Евдокию.

Открытыми дверями кофеен и сладкими их ароматами, плетеными креслами, которые выставляли прямо на улицу, и белыми матерчатыми зонтиками. Медными флюгерами, что лоснились в солнечном свете... зеленью каштанов, разноцветными тяжелыми их свечами.

Голубями ленивыми.

Теплом. Летом близким, но пока еще лишенным обычной июльской духоты. И город спешил жить... а Евдокия чувствовала себя в нем лишней.

— Да, — просто ответил Лютик.

— Почему?

— В каком смысле?

Впереди маячил Лихослав, синяя его спина, до отвращения прямая и широкая, идеального кроя, можно сказать... и ноги, обтянутые узкими форменными штанами хороши... нет, Евдокия не глазела, она... ладно, глазела.

Имеет право, на правах будущей родственницы.

И вообще, в ее-то почтенном возрасте пора о стеснении забыть.

— Вы слишком разные, — Евдокия все же заставила себя взгляд отвести, убедив, что внимания ее Лихославовы ноги не стоят. — Ты такой... извини, конечно, но ты такой эльф, что... просто невозможно. А она... она ведь...

— Человек, — подсказал с улыбкой Лютик.

— И человек тоже, но... знаешь, когда на вас смотрят, то... не знаю, как объяснить. Я маму люблю, но порой она бывает несколько...

— Экспрессивна.

— И это тоже, но... проклятье...

— Не ругайся.

— Я не ругаюсь, я громко думаю.

Лютик взмахом руки подозвал разносчика и, выбрав пирожное — тончайшую кружевную почти трубочку, до краев наполненную пеной взбитых с орехами сливок — протянул Евдокии.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, мы получили разное воспитание. Выходим из разных социальных слоев, не говоря уже о расах, что само по себе предполагает культурную пропасть. И пожалуй, в теории наш брак изначально обречен. Но видишь ли, милая, теория и практика — не одно и то же.

Пирожное оказалось невероятно вкусным. И Евдокия ела.

Слушала.

Старательно игнорировала Лихослава, который как назло шел медленно, поддерживая Аленку под локоток, и еще головой кивал, соглашаясь со всем, что она говорила.

Мужественный человек.

Или привычный.

— Дома я был... не сказать, чтобы изгоем. Напротив, до определенного момента мне удавалось следовать общепринятым нормам. Недовольство я подавлял, приписывая его собственной незрелости. Да и было оно смутным весьма, — Лютик остановился, разглядывая кованую оградку, по которой вились синецветы. — Я работал... мне говорили, что у меня талант. И несколько скульптур были приобретены Ее Величеством... высокая честь. Признание успеха... но почему-то радости я не испытывал. Скульптуры были прекрасны, совершенны, если совершенство в принципе достижимо. И моя невеста мною гордилось. Я же начал ваять ее бюст... очередная дань традиции.

— У тебя не получилось?

— Почему? Получилось, — печально улыбнулся Лютик. — Я был профессионалом. И с точностью воссоздал ее лицо... опять же, идеальное каждой чертой своей. А скульптура получилась уродливой настолько, что... знаешь, милая, я сам не мог объяснить, что же случилось. Я не изменил ее до неузнаваемости, напротив, все, кто видел, признавали мою... невесту.

Лихослав остановился на перекрестке и, развернувшись, смерил Евдокию раздраженным взглядом. Аленкино щебетание на нервы действовало? Сам виноват.

...Евдокия подозревала, что после нынешней прогулки он будет искать не просто богатую невесту, а немую богатую невесту.

— Естественно, разразился скандал... мне пришлось просить прощения за то, что сочли злой шуткой... я попытался вновь и... с тем же результатом. Тогда пошли слухи о моем нездоровье. Мне настоятельно предложили помощь королевских медиков, а я вдруг четко осознал, что просто не готов там жить.

— И ты...

— Сбежал, — Лютик виновато пожал плечами. — Я не знал, куда и зачем еду, но задышался там, дома... а потом встретил твою матушку, которая была человеком и... и самым удивительным человеком, которого я когда-либо встречал. Я ничего не умел, а она взяла меня на работу. Сперва я решил, что она невероятно груба, уродливо даже, но... снова ошибся. И да, мы с ней очень разные, Евдокия, но меж тем я счастлив.

— Здесь?

— Здесь.

Среди людей. Делая не статуи, достойные королевского дворца, а унитазы... или вот ванны... и ведь понимает же, что некоторые его творения чудовищны, но... Лютик точно знает, что людям хочется видеть, и делает это.

Не безумие ли?

Безумие. И Евдокия сама не знала, готова ли рискнуть и обезуметь. Конечно, быть может, поддавшись этому всеобщему поветрию сумасшедшей любви, она станет счастлива. А если нет?

Как угадать?

И кто даст гарантию на сердце, уже однажды треснувшее. Вдруг да не выдержит оно

очередного разочарования, расколется пополам?

— Ты все еще сомневаешься, — Лютик всегда умел видеть ее и, взяв за руку, тихо сказал. — Евдокия, ты, надеюсь, понимаешь, что все угрозы...

— Сотрясение воздуха.

— Именно.

Пожалуй. И матушка, вернись Евдокия без жениха, покричит, конечно, погрозится, но отойдет... а там, глядишь, и свыкнется, наконец, с мыслью о том, что старшей ее дочери суждено провести жизнь в одиночестве.

Все просто.

И очевидно. А потому не спроста Лютик завел этот разговор. И он, кивнув, подтвердил догадку Евдокии.

— Есть еще кое-что... я настаивал, чтобы Модеста сама тебе рассказала, но ты же знаешь ее упрямство. Она решила, что пока не время и...

Аленка настойчиво дергала Лихослава за рукав, а еще умудрилась всучить ему свой ридикюль, веса, как подозревала Евдокия, немалого и кружевной зонтик. Причем последний — открытым. И следовало признать, что королевский улан под зонтиком смотрелся весьма себе мирно и где-то даже умилительно.

— Помнишь, зимой она несколько приболела...

Евдокия кивнула. Маменька отличалась отменнейшим здоровьем и зимняя простуда случилась весьма некстати, аккурат накануне покупки маленького стекольного заводика, который по задумке Лютика должен был быть перепрофилирован на производство умывальников...

Нет, с заводиком Евдокия и сама разобралась, чай, не впервой, но маменькино нездоровье крепко ее испугало...

— Не в простуде дело? — тихо спросила она, сдерживая обиду.

Врал ведь столичный медикус, моложавый, лоснящийся, как грач по осени.

— И в простуде тоже. Сердце изнашивалось, — столь же тихо ответил Лютик. — Она очень много работала, себя не жалея, а такое даром не проходит...

— Она поэтому нас сюда... спроварила?

— Не обижайся на нее, деточка, она хотела как лучше... мы договорились о том, что Модеста отправится на воды. Я узнавал, там очень хорошие целители...

Ни один врач не залечит надорванное сердце, это Евдокия знала, и Лютик не мог не понимать.

— Непосредственной угрозы нет, — с нажимом повторил он. — Но есть вероятность, что завтра...

...мамы не станет.

Нелепая какая мысль. Невозможная.

Главное, не разреваться... и будь все на самом деле плохо, разве ж отпустил бы Лютик ее одну?

— Ты...

— Собирался завтра уехать к ней, но придется задержаться...

— Она поэтому не отвечает мне?

— Да.

...и хорошо... плохо, что не сказала, но пусть отдыхает... Евдокия больше не станет беспокоить маменьку... в конце концов, разве просто так ей генеральную доверенность выдали?

— Она поэтому хочет, чтобы я... замуж вышла?

— Да.

— Но... почему тогда просто не сказать...

— Потому, что она тебя любит. И хочет, чтобы ты, упрямая девочка, была счастлива.

Как-то женихи, которых столь рьяно подыскивала маменька, в представлении Евдокии со счастьем увязывались слабо.

— Ты так старательно отрицала саму возможность замужества... а скажи она о болезни, ты бы подчинилась, верно? И приняла бы любого, на ее выбор. А это неправильно. Модеста надеялась, что ты сделаешь собственный. Вот и приводила... разных неподходящих людей.

Интересный способ, но надо признать, весьма в духе маменьки.

— Я... и без мужа выживу.

Лютик провел по поникшим ирисам, и те ожили... он ведь поможет, помогал и, надо полагать, давно, потихоньку подпитывая маменьку собственной светлой силой. Эльфы умеют такое... и наверное, потому годы, казалось, шли мимо Модесты Архиповны... но всему предел имеется.

— Мне неприятно думать о том, что однажды Модесты не станет, но это — объективная реальность. А ваши законы таковы, что проблем с наследованием не избежать. Ты ведь знаешь, каково пришлось Модесте? И вам будет не легче.

Прав.

Совершенно прав, Хельм задери всю родню и несправедливые королевские законы. Евдокия стиснула кулачки... почему считается, что женщина только и способна, что домашнее хозяйство вести?

— А ты?

— Я не являюсь королевским подданным, а согласно Статуту...

Ясно. За ним не признают права владения недвижимым имуществом. А уж двум девицам тем паче не видать семейного дела... отыщется какой-нибудь дальний кузен или двоюродный

племянник, или еще кто-нибудь столь же бесполезный... а то и вовсе правом короля назначат опекуна...

И что тогда?

Лютик не позволит их с Аленкою обидеть, поэтому роль бедной сиротки Евдокии не грозит, но... отдать то, на что потрачена если не жизнь, то годы ее, кому-то постороннему исключительно лишь потому, что этот посторонний — мужчина?

Ну уж нет!

И если для вступления в права наследования муж нужен, Евдокия его добудет! Отбросив косу за спину, Евдокия решительно огляделась.

Лихослав?

Неудачный вариант... во-первых, потому как улан, во-вторых, к картам пристрастие испытывает, в-третьих, родня его сядет на шею... а в-четвертых... в-четвертых, он просто-напросто наглый, самоуверенный тип, которому доверия у нее нет и не будет.

Тип обернулся, верно, почувствовав на себе Евдокиин взгляд, и подмигнул.

Что он себе позволяет?

Евдокия отвернулась. Нет, надо к вопросу подойти со всей возможной серьезностью. Если уж ей придется искать мужа, то делать это следует разумно... примерно, как к капиталовложению... сколько она дней думала, прежде, чем решилась перевести пять тысяч сребней в акции Новой Почтовой службы? И не прогадала же... а муж чем отличается?

Ничем.

Надо составить список кандидатур, а рядышком дать характеристику. Плюсы... минусы... минусы — особенно, к плюсам-то привыкнется, недостатки же в процессе эксплуатации имеют обыкновение только увеличиваться. Во всяком случае, это касалось унитазов. Евдокия, конечно, подозревала, что с мужем будет несколько иначе, но... она справится.

Так уж получилось, что события, последовавшие за этой воистину решительной мыслью, стали неожиданностью для всех участников, каждый из которых пребывал в состоянии задумчивости.

Лютик, решив, что падчерица справится и без его помощи, отстал. Его тревожило и состояние супруги, серьезность которого она наотрез отказывалась признать, и неженское, порой пугающее здравомыслие падчерицы, и визит в Королевство родичей...

Лихослав, напротив, остановился. И Аленка, повиснув на его руке, испустила томный вздох, она глядела снизу вверх, старательно моргая, надеясь, что не слишком-то переиграла... она чувствовала и раздражение спутника, и подспудное его желание Аленку стряхнуть, сунуть ей ее же зонтик, который Лихослав положил на плечо, и сбежать.

— Вы устали? — с надеждой поинтересовался Лихослав. И Аленка радостно ответила:

— Что вы, конечно нет! Погода замечательная... и мне так нравится Познаньск! Представляете, я никогда-то прежде из Краковеля не выезжала...

Притворяться душой было тяжело.

— Что ж так?

Смотрел Лихослав не на Аленку, на Евдокию, которая о чем-то задумалась и опять нахмурилась. И шла широким чеканным шагом. Юбки подобрала так, что видны были не только желтые ее ботиночки самого ужасающего вида, но и черные чулки, божьими коровками расшитые...

Где она их только взяла?

Вот на чулки-то Лихослав и уставился.

Хороший он. Терпеливый. И не будь Евдокия столь упряма, все бы у них сладилось... и подмывало рассказать, что никакая она не компаньонка, и что приданое у нее не меньше Аленкиного, да и сама по себе Евдокия — золото, не по характеру, но по таланту, доставшемуся от покойного батюшки. Умела она делать деньги едва ли не из воздуха...

Но нет, говорить нельзя.

Лихослав, конечно, разом переметнется, принесет букетик уже для Евдокии... и получит цветами по зубам. Не простит ему сестрица этакого легкомыслия.

Бойтся.

А он, даром, что зубами от злости едва не скрипит... и тоже понять можно, за ним, небось, семья... Евдокия вон тоже за Аленку, за матушку, за Лютика босиком по углям пройдет, не то, что женится... точнее, замуж за нелюбимого, но с состоянием.

Сложно все.

И интересно.

Лихослав же, глядя на чулки с красными и желтыми божьими коровками, на подол бирюзового сатинового платья, зажатый в кулачке, на пухлый портфель под мышкой и косу, которая подпрыгивала и раскачивалась в такт шагам, ни о чем не думал.

Смотрел.

И засмотрелся так, что не заметил появление черной кареты. Она выплыла из-за угла, остановилась, перегородивши улицу, и четверка верховых свистом, гиканьем разогнала голубей. Дверцы распахнулись, выпуская людей в черных же плащах, в низких шляпах, в полумасках вида не столько разбойного, сколько театрального.

— Ой, — сказала Аленка. — А у вас тут...

Евдокия, не замедляя шаг, от первого похитителя просто-напросто отмахнулась.

Портфелем.

Второму же уткнулась прямо в грудь, и этот момент Лихославу категорически не понравился... он с немалым удовольствием стряхнул ручку предполагаемой невесты, которая, к чести ее, не стала ни визжать, ни в обморок падать, но лишь деловито попросила:

— Ридикюль верните. У меня там вязание.

...а по весу и не скажешь. Хотя, может она, подобно древней Бяловецкой панне, кольчугу вяжет...

— Не лезь! — прошипел верховой, тесня Лихослава жеребцом. К слову, жеребчик был славным, восточных кровей, оттого и норова горячего. Получив кружевным зонтом по морде, он оскорбился и, тоненько взвизгнув, поднялся на дыбы. И пока верховой пытался с жеребцом сладить, Лихослав его на землю и ссадил...

...когда дорогу заступил господин в черном, Евдокия сначала не поняла, что происходит и шагнула влево, но господин маневр повторил...

— Извините, — раздраженно сказала Евдокия, пытаюсь обойти его, такого неудобно большого.

Кто-то схватил за косу...

— Не дергайся, — прошипели, дыхнув в лицо чесночную подливой. — Это похищение.

— Хорошо, что не ограбление, — Евдокия ответила машинально.

— Почему?

— Не люблю расставаться с деньгами.

И сказала, между прочим, чистую правду, но тип захохотал, и к вонючей чесночной подливы добавились характерные ноты пива... кажется, темного...

— Не дергайся, мышка, — посоветовали Евдокии и за косу дернули. А вот этого делать не следовало, потому как к волосам Евдокия относилась с величайшим трепетом, и не для того по утрам час на вычесывание тратила, чтобы всякие тут жирными руками хватались.

— Пусти, — косу она перехватила, а просьбу подкрепила ударом в нос.

Била портфелем, благо, бумаги придавали аргументу нужный вес, а латунные уголки — своевременную остроту. Взыв, неудачливый похититель косу выпустил, а руки прижал к лицу, награвив Евдокию словом нелицеприятным.

Зря это он.

Ей, между прочим, всякого доводилось в жизни повидать, небось, на выработках никто-то с нею не нянчился... о тех годах своей жизни вспоминала она с печалью и легкой ностальгией. И следующего злодея Евдокия с немалым удовольствием пнула в коленку.

...жаль, что ботиночки на ней, пусть и крепкие, но без шипастых пластин на носках. Те-то все ж для города малогодились.

— Пшел прочь, — сказала третьему, рывком задрал юбки.

...Лихослав, засмотревшись на премиленькие ножки и паче того кружевные преочаровательного вида подвязочки, пропустил удар в лицо...

...под подвязкой, в плотной кобуре, скроенной по особому заказу — маменькина идея — скрывался любимый Евдокии револьвер, маленький, удобный и с перламутровой рукояткой. Вид оружия, как и вид ножек, на похитителей впечатления не произвел.

— Брось пукалку, дура.

— Сам дура, — всерьез обиделась Евдокия, которую прежде в дурости никто не обвинял. И нажала на спусковой крючок. Револьвер солидно крякнул, дернулся в руке, а похититель свалился на мостовую, истошно вереща... можно подумать, она ему что-то важное отстрелила.

В бедро ведь целилась.

И попала...

— Ну, кому еще охота? — Евдокия огляделась... и кучер, привстав на козлах, хлестанул лошадей...

...улица стала вдруг тиха и безлюдна.

Почти тиха, поскольку раненый все еще лежал, зажимая дырявое бедро обеими руками. Еще один возился у ног Лихослава... второй, криво, косо, но удерживался в седле...

— Подстрелить? — поинтересовалась Евдокия, беря всадника на мушку.

Но Лихослав только головой покачал и нос раскравленный вытер. Хорош, нечего сказать...

— Знаете... — из-за носа голос его сделался гнусавым, а под синим глазом расплывался синий же фингал... надо полагать, гармонично будет смотреться. — Я начинаю вас бояться...

— А вам-то чего?

— Так, — нос он зажал рукавом. — На всякий случай.

Он невежливо пнул раненого, который и скулить-то перестал.

— Сам заговоришь, или помощь нужна? — поинтересовался Лихослав, склоняясь над неудачливым похитителем. Он стянул черную шляпу и маску, под которой обнаружилось лицо самого обыкновенного вида, простоватое, круглое и слегка опухшее.

— Ничего не знаю! — поспешил откреститься раненый и слабо добавил. — Медикуса...

— Я за него, — обманчиво дружелюбным тоном произнес Лютик. Он вытянул руку, с удивлением воззавившись на сбитые костяшки пальцев, потрогал дыру в новом пиджаке и, присев над человеком, сказал. — Кто тебя нанял?

И такое участие было в Лютиковом голосе, такая неподдельная заинтересованность во взгляде, что даже Евдокии стало слегка не по себе. Человек же попробовал лишиться чувств, но был остановлен.

— Я ведь могу и сам посмотреть, — сказал Лютик, стискивая рыхлые щеки. — Но тебе будет очень больно.

— Не... не знаю, пан хороший... он в маске был... и нам от маски дал... сказал, куда ехать... по двадцать сребней каждому... только и надобно, что девку схватить и в карету...

— Схватить... — повторил Лютик, вглядываясь в глаза человека. — И в карету... а дальше?

— Так в храм ведь... он со жрецом столкнулся... поженили бы честь честью.

— Вы невестой не ошиблись? — Евдокия на всякий случай не стала далеко убирать револьвер, но достала клетчатый платок, который протянула Лихославу.

— Не, — лежавший на земле человек скривился. — Он сказал из двух девок страшную брать...

— Экие у вас, панночка Евдокия... поклонники страстные.

Лихослав платок принял, протянув взамен переломанный пополам зонтик.

...страстные.

Или странные.

— Еще один... примитивист?

...судя по плану, примитивист полнейший. Но не Лихославу его осуждать... в конце концов, может, этот неизвестный поклонник пытался оригинальность проявить.

— Голову запрокиньте, — Евдокия со вздохом отправила несчастный зонтик, не выдержавший столкновения с конскою мордой, в урну. — Аленка, помоги ему... ощущение, господин офицер, что вам ни разу нос не ломали.

— А вам, значит, ломали регулярно?

— Дважды...

— Бурная у вас... жизнь, панночка Евдокия.

— А вы почаще появляйтесь... и у вас такая будет.

Лихослав лишь хмыкнул и наклонился, позволяя Аленке залечить раны... и почему-то горько стало, хотя видит Вотан, причин для горечи не было никаких.

Глава 9

О красавицах всяческих, а также пагубном воздействии женской красоты на мужской разум

Во дворец генерал-губернатора панночка Тиана прибыла с некоторым опозданием, вполне намеренным, но оставшемся незамеченным. Сей особняк, стоявший на левом берегу Вислянки, и построенный еще покойным батюшкой нынешнего владельца, всерьез полагавшим, будто бы корона должна была достаться именно ему, роскошью своей и величиной бросал вызов королевскому дворцу.

Два крыла.

И четверка беломраморных единорогов, вставших на дыбы, парочка бледных крылатых дев, протянувших к мифическим тварям руки, химеры, прочно оседлавшие карниз. И две дюжины геральдических львов, разлегшихся по обе стороны аллеи. Над парадным ходом, поддерживаемый многорукими великанами, нависал каменный герб генерал-губернатора. Скалилась, встав на дыбы, королевская пантера золотого яркого окраса, пламенело в когтях ее сердце.

Панночка Тиана поправила шляпку и, обратившись к лакею, пропела.

— Меня ждут.

Тот смерил гостью равнодушным взглядом, в котором, впрочем, на долю мгновения почудилось презрение. Ну да, кто она такая? Провинциальная панночка, пусть и прехорошенькая, но видно — беднее храмовой мыши. Саквояжик при ней легонький, старенький, если не сказать — древний. Кожа пошла трещинами, латунь поблекла, а рукоять его и вовсе обмотали кожаным шнуром. И одета просто, вроде бы и по моде, но видать, что платье это, чесучевое, досталось панночке или от матери, или от старшее сестрицы, перешивалось по фигуре, да как-то неудачно. Шляпка же, украшенная дюжиной тряпичных хризантем какого-то блеклого желтого колера, выглядела вовсе ужасающе.

В общем, не тот панночка Белопольская человек, перед которым любезничать следует.

И лакей, дверь открыв, отвернулся, буркнув:

— Прямо.

Изнутри дворец поражал роскошеством. Золото... и снова золото... и опять золото, отраженное зеркалами. Пожалуй, и в знаменитой пещере Вевельского цмока золота было поменьше.

Провинциальная панночка застыла посреди залы с приоткрытым ртом. Позабыв о шляхетском гоноре, которого именно у таких вот, обедневших особ отчего-то было с избытком, она вертела головой, разглядывая и высокие потолки, расписанные звездами и единорогами, и мраморные статуи, и мозаичные, начищенные до зеркального блеска полы... панночка робела и стеснялась, и стеснение это было донельзя приятно провожатому ее.

Не торопил.

А саквояжик легонький — что в нем может быть, кроме смены белья и еще одного, столь же неудачного, нелепого платья? — держал двумя пальцами и на вытянутой руке.

— Ой как тут ми-и-иленько, — пролепетала незамужняя девица восемнадцати годов отроду, терзая пышные ленты ужасной шляпки. — Прямо как у пана мэра! Нет, лучше даже! У пана мэра пять зеркал, а тут... тут больше. Дюжина, да?

Лакей фыркнул, уже не стесняясь.

Красавица? Пускай, но дура... обыкновенная провинциальная дура, которая сама не понимает, во что влезла. Ее было даже жаль.

Немного.

— Вас ждут, — позволил себе напомнить лакей. И девица ойкнула, прикрыла рот ладошкой...

...перчаточки тоже дрянные, чиненные, небось.

Тяжко ей придется.

Лакей видел иных конкурсанток, и простых, как панночка Белопольска, среди них не было.

— Ой, я так спешила, так спешила... бричку наняла... два медня отдала! А кучер еще спорил, представляете? Вот у нас в городе за два медня тебя день катать будут! Тут же всего-то полчаса езды...

Два медня?

Странно, что ее вообще за такие гроши везти согласились. Давно уже возчики меньше сребня не брали... пожалели, небось, небогатую панночку, а она, преглупая, возмущается.

...у нас в городе...

...тут ей, небось, не ее замшелый городишко на три улочки, а Познаньск, столица.

— Ой! — девица застыла, краснея. — Я туда не пойду.

— Отчего?

— Там... там... — она вытянула руку, указывая на белевшую в сумраке алькова статую. — Там баба... голая...

— Это не баба, — возразил лакей, одарив гостью снисходительным взглядом, — а статуя работы Ростена... великого мастера. Сие есть аллегория истины.

— Истины, — потянула панночка, прикрывши глаза рукой, на аллегория смотрела она сквозь пальцы. — А почему голая-то?

— Обнаженная. Истина прекрасна в своей нагоде.

— Да? — в голосе панночки Белопольской звучало сомнение. — А по мне, так это неприлично в доме всякие... голые истины ставить. Вот у нас в городе такого себе даже мэр не позволяет!

И гордо задрав подбородок, она прошла мимо статуи работы великого и ныне почившего, а потому безумно дорогого мастера Ростена.

...тринадцатая красавица вошла в залу и, стянув шляпку, громко сказала.

— Доброго дня!

Ее встретили презрительным молчанием.

— А вот у нас в городе, — еще громче произнесла панночка Белопольска, останавливаясь перед зеркалом, чтобы поправить кружевной воротничок. Поутру накрахмаленный, слева он еще торчал, а справа уже обвис, — принято здороваться.

— Вот и оставались бы у вас в городе, — панночка Богуслава утомилась ждать.

В отведенной гостиной было жарко и людно.

...а еще третий день, как голова не болела, скорее уж была тяжела, и от тяжести этой не помогали ни лавандовая вода, которой камеристка растирала виски панночки, ни мятные капли, ни даже драгоценная мазь из черной смолы.

Агнешка, взявшая за обыкновение падчерицу проведывать, утверждала, что боль эта — исключительно от недостатку свежего воздуха... спорить с мачехой не хотелось.

Вообще ничего не хотелось.

...разве что воды...

— Так разве ж там замуж выйдешь? — панночка Тиана огляделась.

Двенадцать красавиц и...

...и лишь пять из них интересны... шесть, поскольку встретить здесь панночку Богуславу Себастьян не был готов. Она выглядела бледной, расстроенной и... потерянной? То и дело озиралась, словно не понимая, где находится, трогала виски, кривилась.

...шестая кандидатка?

А почему и нет? Связалась же она с колдовкой... или не связалась, но сама ею была?

К чему?

Чтобы подозрения отвести? Или же... ведь Себастьян мог бы отправиться на ту квартирку без сопровождения Аврелия Яковлевича. Нет, ведьмака бы прихватил, как оно по протоколу положено, чай, Себастьян научился протоколы чтить, но большой вопрос, справился ли бы обыкновенный ведьмак с игошей? Почуял бы?

А ежели б нет... тогда, глядишь, и задело бы проклятьем... не насмерть, нет, но месяцок-другой лечиться пришлось бы.

Себастьян, поймав на себе настороженный взгляд панночки Эржбеты, улыбнулся.

Еще одна... пожалуй, первая в списке Аврелия Яковлевича, дочь воеводы Подляского, седьмое дитя, единственное выжившее, а оттого и любимое, избалованное сверхмеры. А хуже того, что прабабка нынешнего воеводы была Хельмовой жрицей, ранга малого, да и отреклась она, когда храмы закрывать стали, но... как Аврелий Яковлевич сказал?

Стоит ли хельмовке верить...

...и представилась старуха не так и давно, в почтеннейшем возрасте ста сорока семи лет, но однако, по уверениям очевидцев, далеко не в маразме. Успела бы передать любимой правнучке секреты мастерства? Отчего бы и нет... и смерть шестерых младенцев, что характерно, мужского полу, в этом контексте выглядит преподозрительно.

Панночка Эржбета отличалась особой ледяною красотой. Бледнокожая, светловолосая и светлоглазая, она незримо напоминала Себастьяну ту самую обнаженную истину, что зарастала в алькове пылью и паутиной, теща едино самолюбие генерал-губернатора.

Панночка Эржбета сидела на краешке стула, уставившись в расписной потолок взглядом задумчивым, отрешенным. В руках она держала блокнотик и тонкое перышко, щедро усыпанное мелкими камнями. Панночка вертела перышко, камни сверкали...

— Долго еще? — капризным голоском поинтересовалась панночка Иоланта.

Второй номер.

В противовес Эржбете невысокая, склонная к полноте, но в то же время, несомненно, очаровательная.

...идет от Трокского воеводства, правда, на конкурсе заняла лишь третье место, однако вскоре после объявления результатов первую красавицу зарезал собственный жених в припадке ревности, коей прежде, что характерно, не страдал, а вторая утопилась на почве

неразделенной любви... расследование проводили и тщательно, и панночку Иоланту сочли непричастною, но...

...как-то очень все своевременно вышло.

Зато родня ее, шляхтичи лишь во втором колене, в играх с Хельмом замечены не были, напротив, матушка славилась набожностью. Но... как знать?

Третьей в списке — панночка Габрисия... замерла в кресле, сложив руки на коленях. Нейтральная поза, и лицо выражения лишенное, будто бы маска, но совершенная. А прежде, говорят, панночка Габрисия не отличалась особой красотой, напротив, ходили упорные слухи, что непривлекательное дитя выросло в откровенно некрасивую девицу, и первый же выход в свет, пусть и в Севежском воеводстве, где батюшка ее владел обширными угодьями и серебряными рудниками, ознаменовался провалом. Невеста была богата, но до того некрасива, что и богатство не помогло найти ей жениха.

А ведь хороша.

Строга. Отстраненна. Равнодушна.

И все же проглядывает под этой маской нечто... огонь скрытый?

После неудачного дебюта панночка Габрисия исчезла на два года, и объявилась лишь на конкурсе, который выиграла... и судя по ней нынешней, серебряные папенькины рудники к тому имели весьма малое отношение.

Где пропадала?

И кто помог столь разительно изменить внешность? Уж не тот ли, кому что тело человеческое, что душу перекроить просто?

Четвертой шла панночка Ядзита, светловолосая, пышногрудая и весьма неудачливая... три раза заключались помолвки, и первая, когда панночке Ядзите едва пятнадцать исполнилось... жениху было семьдесят два, и поговаривали, что за брачный договор он заплатил полновесными двойными злотнями, что позволила батюшке Ядзиты поправить пошатнувшиеся семейные дела... но до свадьбы жених не дожил. На радостях сердце стало... спустя год история повторилась, наделав немало шума. А с полгода тому и третьего из женихов, вновь выбранный ушлым папенькой, почечная колика спровадила в мир иной.

Рок сие? Удивительное везение?

Или же нечто большее, до чего королевские дознаватели не сумели докопаться?

Панночка Ядзита устроилась на козетке с вышивкой и выглядела столь мирно, по-домашнему, что Себастьяну самому стало неловко за этакую свою подозрительность.

Последним номером в списке Аврелия Яковлевича, которому Себастьян всецело доверял, была панночка Мазена Радомил, наследница рода столь древнего, что, по словам Аврелия Яковлевича, сие было просто неприлично.

Радомилы посадили на трон Богуслава Первого.

И поддержали во время Столетней войны никому не известного Хортеха Куроноса, не став

связываться с исконными претендентами...

...трижды панночки из рода Радомилов примеряли корону, и в жилах нынешнего короля текла еще толика той, истинно древней крови, о свойствах которой известно не так уж и много. Вот только родство было давним, подзабытым...

...неудобным.

И не было опалы, как не было и причин для нее, но только вдруг оказалось, что нет Радомилам и места в Познаньске. Да и не только в нем, незаметно, исподволь, молчаливой королевской волей подтачивалось благополучие слишком уж славного, богатого рода, каковой при иных обстоятельствах и на корону претендовать мог бы.

Странно, что панночку на конкурс пропустили...

...ли не смогли не пропустить?

Опять же, Радомилы с Россью, не скрываясь, дела вели, незаконные, но давние, полузабытым ныне правом исконной крови. Та прорезалась в чертах панны Мазены, простоватых, однако стоит приглядеться, и уже невозможно глаз отвести от лица ее... пьянит, дурманит улыбка.

И в темных, с прозеленью глазах видится обещание...

Себастьян моргнул, дав себе зарок более в глаза эти не смотреть, а то ведь и вправду приманит, очарует... не приворотом, но той же кровью, к которой существа магические склонность имеют.

Панна Мазена мило улыбалась, слушая низенькую, плотно сбитую гномку, которая говорила быстро, то и дело взмахивая руками, словно бы стараясь при том казаться выше.

Нахохлившимися голубками, держась за руки, сидели целительницы. Рядом держалась карезмийская княжна, смуглолицая, беловолосая, вырядившаяся в честь важного сего события в дедовскую кольчугу с золоченой росписью. Меж ног ее, весьма внушительных ног, примостилась боевая секира с полукруглым клинком. Время от времени карезмийка проводила по клинку белым острым когтем.

— А вот у нас в городе, — Себастьян поерзал, устраиваясь поудобней. Следовало признать, что козетка, невзирая на красоту, отличалась невероятной жесткостью, — женщины оружия не носят.

Карезмийка только глянула и плечами пожала.

— Это ритуальный топор, свадебный, — сказала светловолосая девушка в простом поплиновом платье.

Номер двенадцатый, внеконкурсный...

...а рядом с нею, вцепившись обеими руками в потертый портфельчик, к каковым испытывают неизъяснимую любовь приказчики всех мастей, сидела тринадцатая...

Неучтенная?

Нет, пожалуй, не красавица и близко, хотя личико миленькое, с чертами правильными,

несколько резковатыми. Упрямый подбородок, курносый нос, на котором виднеется пара веснушек, широкие скулы и глаза серые, ясные, внимательные. Толстая коса через плечо переброшена, и время от времени девица отпускает портфель и косу поглаживает.

— Свадебный — это как? — панночка Ядзита оторвалась от вышивки.

...темная канва, и нитки лиловые, синие, черные. Явно, не лютики с маками она вышивает...

— Обыкновенно. Когда мужчина желает заявить о своих намерениях, он просит у девушки топор поднести... и если она согласна ухаживания принять, то протягивает вперед топорищем, а если нет — то клинком.

— Хорошо, что не обухом по лбу, — язвительно заметила Лизанька, которая держалась в стороне и вокруг поглядывала настороженно, с опаской.

Нет-нет, а взгляд ее задерживался на Тиане, и тогда Лизанька кривилась.

Знает?

Нет, Евстафий Елисеевич дочь любит, но не настолько же, чтобы осторожность потерять...

...а если она? Ведьмак Лизанькину кандидатуру стороной обошел, а Себастьян не стал задавать лишних вопросов. Но сейчас сомнения ожили. Евстафий Елисеевич дочь любил, баловал и оттого не замечал, сколь капризна она...

Не повод.

И когда бы Лизаньке успеть с Хельмом связаться? Себастьян-то в доме познаньского воеводы бывал частенько, не хватало духу отказать начальнику в этакой малости, тем паче, что Евстафию Елисеевичу самому не по душе были Лизанькины устремления... в доме сдобно пахло пирогами и ушицей из щучьих голов, до которой познаньский воевода был большим охотником, но никак не запретной волшбой.

...но все одно, подозрительно.

— Если насильник, то и обухом можно, — эльфийка повернулась к часа и вздохнула.

Половина одиннадцатого... и пусть запаздывает генерал-губернатор нарочно, следуя договоренности с Евстафием Елисеевичем, но ожидание утомляет.

— А вот у нас в городе, — сказала панночка Белопольска, терзая ленты на шляпке, — насильников нет!

И со вздохом добавила:

— Только воры...

Лент было множество, Себастьян нашивал их весь предыдущий вечер, пальцы иголкой исколол, но теперь мог с удовольствием сказать, что его шляпка выделяется среди прочих.

— Воры — беда, — согласилась эльфийка, одарив панночку Белопольску улыбкой. — У меня как-то на рынке кошелек вырезали...

— А у нас однажды в дом забрались, — панночка Иоланта прижала пухлые ладошки к груди. —

Страху было! Нет, нас, правда, в доме не было, мы аккуратно на воды отправились... а вернулись! Батюшки-святые, все добро вынесли! Папенька велел сторожей пороть, а потом на рудники...

— За непоротых больше дают, — тема рудников оказалась гномке близка. — Но все равно сейчас на каторжан цены упали... особенно, если клейменные, по полтора сребня купить можно.

...интересно выходит.

Официально рабства в королевстве не существует, а людей, оказывается, продать можно.

— А по-моему, это совершенно недопустимо — ссылать разбойников в шахты, — холодно произнесла панночка Эржбета. Голос у нее и тот оказался ледяным, лишенным эмоций. И только Себастьян открыл рот, чтобы поддержать ее, как панночка Эржбета добавил. — Они ведь могут оттуда выбраться.

— Мы ворах руки рубим, — карезмийка щелкнула когтем по лезвию секиры. — И клеймо на лоб. Чтоб каждый видел, с кем дело имеет.

— Это жестоко! — к беседе присоединилась и Мазена Радомил. — Рубить. Клеймо... дикость какая! Вешать их и все тут.

Красавицы задумались, не то о судьбе неизвестных разбойников, с которыми и вправду не понятно было, что делать, не то о собственных шансах на победу...

Первой к двери повернулась эльфийка, все же слухом она обладала удивительно тонким. И тронув соседку за плечо, сказала тихо:

— Идут.

А там уже и Себастьян расслышал шаги.

Его превосходительство, генерал-губернатор пан Зимовит доводился нынешнему королю двоюродным братом, и родством этим гордился, впрочем, осторожно, в отличие от славных своих предков понимая, сколь опасна бывает подобная кровная близость к трону. Прежде с паном Зимовитом ненаследному князю встречаться доводилось лишь единожды, на награждении, где генерал-губернатор лично надел на Себастьяна орденскую ленту, похлопал по плечу и сказал:

— И дале служите короне верно!

Сие высказывание встретили громкими рукоплесканиями, криками и тройным артиллерийским залпом. Пороховым дымом к немалому неудовольствию присутствовавших на церемонии дам затянуло площадь перед дворцом, а когда дым развеялся, то оказалось, что его превосходительство отбыли по срочной надобности, оставив гостей на попечение двух ординарцев...

Впрочем, та встреча была давней, и ныне пан Зимовит предстал в совершенно ином обличье.

Разменяв пятый десяток, он не утратил прежней своей привлекательности и по праву, крови ли, чина ли, но считался виднейшим кавалером королевского двора. Очами восемнадцатилетней панночки, которая ожила весьма нехотая, Себастьян оценил и стройность фигуры пана Зимовита, и китель его парадный, томно перечеркнутый белой лентой, на которой поблескивала алмазами орденская звезда, и строгие суховатые черты лица, и само это лицо, по

словам придворных хроникеров «овеянное печатью благородства»...

И голос.

— Доброго дня, панночки, — гулким басом произнесли их превосходительство, кланяясь. Он приложился к ручке панночки Богуславы, стоявшей у самых дверей, и прикосновение это животворное, надо полагать, разом уняло и слабость, и мигрень.

Прочие же красавицы, поспешно поднявшись со своих мест, поспешили поприветствовать хозяина дворца.

— А вот у нас в городе, — не удержалась панночка Белопольска, — опаздывать на встречи не принято.

И хоть говорила она тихо, но была услышана и удостоена внимательного с прохладцею взгляда. Пан Зимовит отвесил еще один поклон и, одарив говорливую гостью улыбкой, произнес.

— Прошу простить меня за опоздание, задержали дела государственной важности...

Конечно же, его простили.

...только панночка Мазена позволила себе скептическую улыбку...

Не верила?

Или презирала?

Ах, сложно до чего, непривычно все...

...а еще корсет под платьем натирает, и шелковый чулок, на котором Себастьян полчаса стрелку выравнивал, вновь перекрутился, съехал, сбившись под коленкой неудобными складочками.

— Присаживайтесь, панночки, присаживайтесь... будем знакомиться, милые панночки... меня, надеюсь, вы знаете...

Милые смешки были ответом: в самом-то деле, кто не знает генерал-губернатора?

— Пан Зимовит Ягайлович, — на ногах осталась стоять лишь безымянная девица с портфелем, которая разглядывала хозяина дома с искренним таким, незамутненным любопытством, — Евдокия Парфеновна, полномочный представитель «Модеста»...

Прижав портфель локтем к боку, она вытащила из него слегка помятый конверт.

— Это доверенность, выданная Модестой Архиповной...

— Да, да, конечно, — конверт пан Зимовит принял двумя пальчиками, чтобы тотчас передать лакею...

...а ведь не вызывал. Но лакей возник донельзя своевременно и с подносом.

Следят за комнатой?

Скорее всего... зеркала односторонней проницаемости? Панночка Белопольска повернулась к

ближайшему и уставилась на свое отражение. Следовало признать, что отражение это было прехорошеньким...

...даже шляпка с лентами и цветами не портила его.

— Присаживайтесь, панна Евдокия...

— Панночка...

Красавицы фыркнули, в ее-то годах и не замужем? Та лишь плечиком дернула, похоже, вопрос был болезненным, хотя и не тем, на котором панночка Евдокия собиралась заострять внимание. Но присев, она сложила руки на портфеле, а генерал-губернатор, откашлявшись, произнес:

— Рад приветствовать вас, панночки...

...Себастьян, повернувшись так, чтобы в зеркалах, обилие которых навевало на не самые радужные мысли, следил за красавицами.

Богуслава, не таясь, разглядывала генерал-губернатора...

...целительницы, так и державшиеся друг друга, слушали пана Зимовита внимательно... Эржбета ко всему записывала речь, и металлическое перышко, царапая жесткую бумагу, рождало мерзейший звук. Прямо, безучастно, сидела Габрисия... перебирала тонкие хвосты нитей Ядзита, которую вновь, казалось, ничего-то помимо вышивки не интересовала. Гномка царапала ноготком яшмовое панно, верно, проверяя качество работы... карезмийка, глядя на генерал-губернатора, поглаживала секиру, и следовало признать, что движение это, размеренное, спокойное, заставляло пана Зимовита нервничать.

Мазена отвернулась, и на миг черты лица ее точно поплыли...

Магия?

И эльфийка дернулась, нахмурилась, повела носиком...

...а и вправду гнилью пахнет. Сладковатый, душный аромат...

...от Мазены?

...от нее...

— ...ближайший месяц вы проведете в Гданьске, в летней резиденции Его Величества...

...запах становился сильнее.

А Мазена — бледнее. Она то и дело казалась головы, вздрагивала, кусала губы.

— ...нелегкие испытания, — продолжал вещать генерал-губернатор, не замечая ни вони, ни без сомнений престранного поведения госты, которая, позабыв о сдержанности, нервно терла виски. — Потому что от той, которой достанется Алмазный венец ждут многого...

— Вам дурно? — спросил Себастьян, наклоняясь.

Вонь сделалась нестерпимой.

— Что? Нет... уйди... уйдите все...

— ...воплощение женских добродетелей. Милосердия, понимания, доброты...

— Замолчите! — резко воскликнула Мазена, вскакивая. Она покачнулась, но устояла, вцепившись в высокую спинку диванчика. — Все замолчите! Невыносимо просто...

— Что? — кажется, с генерал-губернатором прежде не разговаривали в подобном тоне. И уж точно не требовали от него молчания. — Панночка Мазена, вы...

— Замолчите же наконец! Иржена милосердная... как можно нести подобный бред! — она взмахнула рукой и не устояла, рухнула под ноги...

Кто-то завизжал...

...карезмийка вскинула секиру на плечо. Богуслава отвернулась, скривившись, Лизанька, напротив, подалась вперед, вытянула шею, желая видеть, что же происходит.

...эльфийка нахмурилась и зажала нос пальцами.

Чует?

— А в нашем городе, — громко сказала Тиана, надеясь, что слова ее будут поняты верно. — Приличные девушки просто так в обморок не падают!

— Она не просто так... — эльфийка дышала ртом. — Ее прокляли...

...когда только успели?

И кто?

И кто?

— Серая гниль, — тихо сказала панночка Зимовита, опускаясь на ковер рядом с княжной Радомил. Она растопырила пальцы, точно щупая воздух над лицом ее. — Ей еще можно помочь... я попробую...

Вторая целительница, так не сказав ни слова, присела рядом. Бледные руки ее порхали, выплетая узор из бледно-лазоревого нитей, которые проклятье разъедало.

...знакомые пятна проступали на коже Мазены, пока еще не серые, бледные, к вечеру они набрякнут, расползутся по лицу. И если гниль еще удастся остановить, то красавицей Мазене уже не быть.

— Панночки, — генерал-губернатор поднял руку, подавая знак кому-то, скрытому за зеркалом. — Думаю, нам стоит перейти в другую гостиную...

...серая гниль.

А никто не выглядит удивленным или напуганным.

Брезгливо поджала губы Богуслава, отодвинулась, хотя и без того сидела в шагах десяти от Мазены... гномка, сунув руки за спину, фиги скрутила. Эржбета подобрала юбки... Габрися осталась безучастной. А Ядзита громко сказала:

— Что ж, одной конкурсанткой меньше... печально, — печали в голосе ее не было, а вот пальчики ловко выхватили лиловую нить.

— Неудачное начало, — согласилась Лизанька, принимая руку пана Зимовита, который не проронил ни слова...

Вышли все, за исключением целительниц, которые осталась сидеть у тела Мазены Радомил...

...троих.

...целительницам не позволят вернуться к конкурсу. Наградят. Объявят благодарность, быть может, вручат медаль, но...

...несправедливо, но безопасно. Будь Себастьянова воля, он бы вовсе сей конкурс прикрыл, однако же придется довольствоваться малым.

Новая гостиная от прежней отличалась разве что цветом обивки. Те же зеркала, те же диванчики, козетки, клеслица, расставленные будто бы в беспорядке, та же раздражающая позолота и вычурная лепнина... и смотрят с потолка на Себастьяна пухлые младенцы с луками, улыбаются, подмигивая, дескать, нам-то отсюда видней...

...но кто?

Проклятье серой гнили — это не шпилька в нижних юбках, и даже не толченное стекло, в пудру соперницы подсыпанное. Серая гниль — медленная мучительная смерть...

Ей повезло, что целительницы распознали...

Остановили.

Не побоялись коснуться пораженной, пусть и зная, что хельмовы проклятья сильны и хватает их не только на проклятого... сразу трое, если девушки слабы... а они слабы, Аврелий Яковлевич говорил, что дар есть, но на многое его не хватит.

— Надеюсь, это печальное событие не испортит вам настроения, — сказал пан Зимовит, обедая притихших красавиц, старательно изображавших скорбь и недоумение, взглядом. — Мы очень сожалеем, что панночка Мазена стала жертвой проклятия...

Замолчал, ожидая вопроса.

— Кто ее... проклял? — Иоланта заговорила отчего-то шепотом.

— Не знаю, милая панночка, но всенепременнейше выясню... полагаю, она принесла проклятье с собой... — пан Зимовит кивнул, точно эта, только что пришедшая на ум версия, всецело его устраивала. — Естественно... принесла с собой. У Радомиллов множество врагов...

...и королевский род — из их числа, хоть бы вражда эта скрыта под льстивыми уверениями в вечной дружбе и любви.

— И мне горестно, что мишенью для них стала бедная панночка... у меня лучшие целители... мы все будем молиться о ее выздоровлении.

В этом Себастьян не сомневался. А вот остальное... и не он один, кажется, понимал, что его превосходительство нет, не лгут, слегка искажают факты во избежание паники. Эльфийка

нахмурилась, но к счастью, промолчала.

Волшба творилась в гостинной.

Та самая, с душком гнили... от кого исходила?

От Мазены Радомил, но и понятно, на ее направлено было проклятье. Вывели самую родовитую и... опасную? Если прав Евстафий Елисеевич, и колдовка вознамерилась очаровать королевича, то панночка Радомил — конкурентка. Древней крови. Сильной.

Слишком знатной, чтобы размениваться на такие глупости, как конкурс красоты, но...

...Радомилам закрыт путь ко дворцу, а если бы Мазене случилось попасть...

...встретиться с королем или королевичем...

...устоял бы он против взгляда ее? Того самого, затягивающего, ведьмовского? Против глаз, которые не бездна, но бездонные Полесские озера, что пьют солнечный свет, наполняясь им до краев, меня цвет, маня...

Себастьян вздрогнул и отогнал воспоминания.

И вправду опасна... а колдовка — умна. Но которая? Все были на виду. И значит, проклятье принесли, уже подготовленным, спрятанным. Во что?

В швейную иглу Ядзиты? В нюхательные соли Иоланты, флакончик с которыми она не выпускает из рук? В сложное, витое ожерелье Габрисии? Или в веер Богуславы? Ах, до чего мерзотная, до чего скользкая ситуация... и ничего-то с нею не поделаешь...

...произошедшее привело Евдокию в замешательство.

Проклятье?

Серая гниль? О нет, с серой гнилью ей довелось сталкиваться на Острожских рудниках, в которых маменьке предлагали выкупить пай. И Евдокия самолично отправилась с инспекцией...

Семнадцать ей было.

И сама себе она казалась умудренной жизнью, опытной... наивной, и наивности этой хватило, чтобы спросить, чем же таким, сладко-яблочным, душистым, пахнет в воздухе. Ей запах этот показался неуместным, среди угольно-дымной вони, серы, камеди и каменной пыли, которая висела в воздухе, и дышать приходилось через платок.

Смрад паленой кости.

Конского, человеческого пота... грохот и муть, когда само солнце, пусть и висевшее здесь низко, крупное, желтое, казалось тусклым, как старый медень.

— Серая гниль, панночка, — ответил сопровождающий. Его приставили к Евдокии, чтобы не вышло беды, потому как женщина, пусть и одетая в мужской костюм, да с револьверами, да с тройцей охранников, но все — женщина.

Чистенькая.

Пришедшая из-за гор, из мира, каковой местному одичалому люду казался едва ли не Вотановыми чертогами. И первые дни за Евдокией следили. Она ощущала на себе взгляды, настороженные, но жадные, преисполненные не желания, однако животной почти похоти. И взгляды эти заставляли слушаться провожатого, не отходить от охранников и руки держать на револьверах.

— Идемте, панночка, — он повел ее по проходу, выгрызенному в теле скалы многие столетия тому, когда и земля, и сами выработки принадлежали еще гномам. Оттого проход был узким, извилистым, человеку крупному — как развернуться.

И сейчас Евдокия не понимала, зачем ей показали это?

Из желания сбить спесь с краковельской самоуверенной панночки? Из подспудной ненависти к ней, которая вернется в свой мирок, чистенький и аккуратный, выкинув из памяти Острожские горы... или просто потому, что она спросила?

Провожатый вывел на узкий пятачок, который нависал над пропастью. На пятачке стояли железные клетки, а в клетках сидели люди... нет, сперва она и не поняла, что это — именно люди. Скукоженные, скрученные существа, которые лишь слабо стонали.

— Бунт поднять пытались, — сказали Евдокии, позволив подойти к клетке вплотную. — За то и наказаны...

Все-таки люди, изможденные, с неестественно тонкими руками, с раздутыми, вспухшими животами, с кожей, покрытой серым налетом...

— От серой гнили долго помирают...

...Евдокия сбежала.

Но там, на рудниках, где каждый третий — каторжанин, а каждый второй — должник на откупе, нельзя было иначе. И даже она, несмотря на слабость женскую, жалость, которую не вытравить доводами разума, понимала, что малейшая слабина приведет к бунту...

...понимала, и радовалась, когда маменька, выслушав сбивчивый рассказ, кивнула головой и сказала:

— Надо к людям по-человечески относиться, глядишь, и бунтовать меньше будут...

...Острожские рудники доход приносили, и пусть маменькины партнеры долго упрямылись, не желая тратить ни на паровые машины, которые нагнетали бы в шахты воздух, ни на мельницу новую, ни тем паче, на каторжан.

Дома?

Еда?

Помилуйте, этак из-за бабьей жалостливости вовсе без прибытку остаться можно. Впрочем, Модеста Архиповна умела добиваться своего. И если уж кому-то ее деньги надобны, то...

Евдокия дернула себя за косу, отгоняя пренеприятнейшие воспоминания. Одно дело — Острожские рудники, и совсем другое — дворец генерал-губернатора...

— Он лжет, — прошептала Аленка, когда пан Зимовит откланялся, перепоручив красавиц заботам снулого, мышеподобного ординарца.

— Кто?

— Его превосходительство... ее тут прокляли... я... слышала, но не сразу поняла, что это.

— Знаешь, кто?

Аленка покачала головой.

Вот же... и что теперь делать? Забирать Аленку и возвращаться в Краковель? Или оставаться, но... глаз с сестрицы не спускать? А если и ее тоже? Конкурс этот — дурная затея, хотя перспективная... этакая реклама... но ни одна реклама не стоит Аленкиного здоровья. И та, догадавшись о мыслях сестрицы, решительно заявила:

— Ты себе как хочешь, а я никуда не поеду!

— Алена!

— Что? Между прочим, это мой шанс!

— На что?

Разговаривать приходилось шепотом, но все одно на них смотрели, особенно одна панночка, смуглявая, темноглазая и темноволосая, в простеньком чесучовом платье.

И смотрела этак, с прищуром, с насмешкой.

— Познакомиться с ним!

С кем именно, можно было не уточнять.

Евдокия вздохнула.

— С чего ты взяла, что он там объявится... как по мне, он вообще крепко занят будет.

Аленка только фыркнула: за прошедшие сутки она окончательно убедила себя, что «Охальнику» в вопросах, касавшихся светлого объекта Аленкиной любви веры нет.

— Во-первых, будет расследование, и поручат его, уж поверь, не младшему актору... во-вторых, там весь высший свет будет...

...который вряд ли обрадуется Аленке.

Но ведь не отступится дорогая сестрица, упрямством она в матушку пошла. И Лютик исчез. Он бы, может, и сумел дочь уговорить... однако у Лютика своих проблем ныне ворох... и Евдокия сама ведь уверила, что справится.

Справится конечно.

— А вот у нас в городе, — заметила смуглявая панночка, поправляя ужасающего вида шляпку, — шептаться не принято!

Ответить Евдокия не успела: ординарец заявил, что экипажи поданы...

...и перехватил ее у двери.

— Панночка Евдокия, — сказал он, наклонившись к самому уху, — его превосходительство желают с вами побеседовать в приватной обстановке.

...на сей раз не в гостиной, но в уютном кабинете.

Евдокия оценила сдержанную, но все же роскошную отделку: шпалеры из северного дуба, особого, серебристо-стального отлива, и мебель, исполненную в модной ныне технике pietra dura. Едва ли не треть комнаты занимал двухтумбовый стол с картоньерами, вплотную к нему примыкало палисандровое, с отделкой из орехового капа, бюро, крышка которого была откинута, позволяя оценить содержимое. Взгляд Евдокии скользнул по золоченой горечернильнице, чересчур роскошной и вряд ли удобной в использовании, коробочке с перьями, колокольчику, высокому графину с песком, воску и плотным, красным палочкам сургуча.

— Присаживайтесь, панночка Евдокия, — генерал-губернатор указал на роскошное низкое кресло, выглядевшее весьма-таки жестким. — Признаюсь, удивлен... мы рассчитывали, что панна Модеста пришлет... иное доверенное лицо.

— Она сочла, что женщине будет проще с женщинами поладить, — мило улыбнулась Евдокия, подозревая, что человек, разглядывающий ее сквозь стекла пенсне, каковое на строгом сухощавом лице смотрелось элементом чуждым, ищет благовидный предлог отстранить ее от дела.

— Конечно, конечно... — пан Зимовит поморщился, не давая себе труда скрыть раздражение. — Но... это несколько неожиданно. Признаюсь, мы с паном Стескевичем уже успели обговорить многие вопросы...

...интересно, когда это? Грель о подобном не упоминал. Вот о новых штанах со штрипками, так да, сказывал, а о договоренностях с генерал-губернатором — нет. Штаны, выходит, важней?

— ...и скажу честно, нам было бы удобнее и дальше продолжить работу с ним...

— Боюсь, ничем не могу помочь.

— Отчего же? Сколь знаю, пан Стескевич прибыл...

...и того интересней. Когда ж он успел-то? И главное, почему Евдокия о том слышит впервые?

— ...и вы просто передадите полномочия ему... как старшему...

— Нет.

Генерал-губернатор снял очки и, сев, подпер кулаком подбородок.

— Панночка Евдокия, я понимаю, что вы не хотите упустить свой шанс... а я не хочу вредить вам и писать Модесте Архиповне письмо, выказывая свое вами недовольство... но вы не оставляете мне иного выхода.

— Боюсь, — Евдокия стиснула портфель. — Что бы вы ни написали, матушка решения не изменит. Более того, не она, а я вложила в это мероприятие пятьдесят тысяч злотней, а потому имею полное право видеть, на что они были... или будут истрачены.

— Вот как?

— Именно.

— Что ж, — пан Зимовит поднялся, — в таком случае, не смею вас боле задерживать.

Коснувшись серебряного колокольчика, пан Зимовит дождался, когда боковая панель, ничем-то не отличная от прочих, скользнет в сторону.

— Что у нас есть на Евдокию Парфеновну Яснооую...

Ждать пришлось несколько часов, но досье помощники собрали если не полное, то крайне любопытное... генерал-губернатор, перелистывая странички его, то хмурился, то усмехался.

...упрямая девица.

И несвоевременно, до чего же несвоевременно пришло панне Модесте в голову заменить проверенного человека дочерью...

Пан Зимовит задумчиво провел пальцами по спине бронзовой лошади. Сейчас его занимало одно — кому поручить дело тонкое, щепетильное, с тем, чтобы после, когда вся эта история закончится, не вышло нового скандала. И не сказать, чтобы в подчинении генерал-губернатора вовсе не имелось людей надежных, но по тем или иным причинам, не подходили они...

— Найди мне Лихослава Вевельского...

...нейметса княжичу, не привык без службы? Пускай послужит, а заодно поймет, что не с его-то характером в тайную канцелярию соваться.

Дворец генерал-губернатора Евдокия покидала в смешанных, если не сказать, расстроенных чувствах. И встрече с Грелем Стесткевичем, прогуливавшемся по аллее, она вовсе не обрадовалась.

— Панночка Евдокия! — Грель поспешил навстречу.

В клетчатом пиджаке с широкими плечами, в полосатых узких брюках, он выглядел нелепо и смешно. Шляпа с высокой тульей, исполненная из белой гишпанской соломы, придавала ему вид легкомысленный, с которым не вязался ни массивный черный кофр с бронзовыми уголками, ни свернутая в трубочку газета. Ее пан Стесткевич сунул подмышку и сделал попытку поцеловать Евдокию в ручку.

— Что вы здесь делаете? — Евдокия ручку спрятала.

На всякий случай.

Вот не по нраву ей был пан Стесткевич, невзирая на всю старательность его, каковая виделась Евдокии показной.

— Так ведь я за вами, панночка Евдокия... в помощь.

Грель улыбался. Зубы он имел хорошие, крупные и белые, которыми гордился и после каждого приема пищи старательно начищал меловым порошком. Порошок в жестяной коробочке, а также щетку и мягкую тряпицу он повсюду носил с собою. О привычке его, несомненно

похвальной, знали многие и втихую посмеивались. Однако Грель на насмешников взирал свысока и от привычки отказываться не собирался. Сейчас он глядел на Евдокию с верноподданическим обожанием, несколько ее пугавшим.

— Меня маменька ваша, Модеста Архиповна, послали-с...

...врет.

Врет и не краснеет.

— И для чего же?

— Ах, панночка Евдокия, — Грель позволил себе взять Евдокию под локоток и портфель с бумагами попытался отнять, за что и получил по руке, но не обиделся, рассмеялся неприятным дребезжащим смехом. — Вам ли не знать, сколько на таких от мероприятиях дел... ваша маменька так и сказали, что, мол, сразу следовало бы меня с вами отправить... да и с паном Зимовитом мы...

— Знаю.

...не знает, но догадывается, что неспроста генерал-губернатор пытался от Евдокии избавиться, не из блажи, не из пустого мужского пренебрежения...

И тем любопытней все.

— Вот, и буду помогать, чем смогу... — пан Грель все же завладел рукой Евдокии и держал ее не просто так, но со смыслом, пальчики поглаживал и, улыбаясь, в глаза норовил заглянуть, вздыхал томно.

От него пахло дорогим одеколоном, а в петлице пиджака виднелась красная роза.

— Вы себе представить не можете, панночка Евдокия, до чего я рад... прежде нам с вами не случалось работать, чтобы вот так, накоротке... и я премного о том сожалею...

Евдокия не сожалела.

Она пыталась связать Греля, генерал-губернатора и происшествие, каковое вряд ли удастся скрыть... серую гниль и конкурс...

Все одно к одному.

А не складывается. Почему? Потому что не хватает Евдокии информации.

Пока не хватает.

— Помолчите, — велела она, и Грель послушно замолчал, только серые глаза нехорошо сверкнули. Нет, не нравился он Евдокии...

Кто таков?

Появился в позапрошлом годе, отрекомендовавшись сыном старого Парфена Бенедиктовича приятеля, разорившегося и вынужденного существовать, если не в бедности, то на грани ее. Грель рассказал маменьке слезливую историю, показал пару магснимков с батюшкой и покойным супругом Модесты Архиповны, доказывая этакое своеобразное родство... и получил

место приказчика в торговой зале...

...мылом торговал, шампунью и прочими дамскими мелочами.

Следовало признать, что клиентки Греля любили, нахваливали, и трудился он, себя не жалея. И маменька, несмотря на знакомство, относившаяся к нему с прохладцею, как и к прочим наемным работникам, оттаивала...

...а все одно не было у Евдокии веры этому человеку.

Не было и все тут.

Еще та история, прошлогодняя... темная, нехорошая... ничего-то никто прямо не сказал, но намекали, поглядывали... уволить бы, так не за что...

...осторожней быть надобно, так чутье говорило, а чутью своему Евдокия верила. И руку свою забрала. Хотела вытереть о юбки, да удержалась.

Пан Грель, оскорбленно поджав губы, поотстал...

...и все-таки, кто принес проклятье? Его ведь не так просто сплести. Евдокия узнавала, и пусть сама она напрочь лишена магического таланту, но теорию постигла. Одной силы мало, умение требуется немалое, иначе, сорвавшееся с привязи проклятье, самого проклиняющего и поразит.

А чем сильней проклятье, тем сложнее вязь.

Вот и берутся за такую работу старые матерые ведьмаки.

Кто?

И для чего? Уж не ради одного конкурса... титул — это, конечно, приятно... но что к нему? Небольшое имение? Небось, среди конкурсанток не было бедных, кроме, разве что, той смуглявой панночки... нет, само проклятье, ежели покупать, станет дороже имения. И значит, не в деньгах дело.

В ревности?

В желании примерить Серебряный венец, сотворенный мастерами-гномами? Кто-то и вправду верит, что, надев его, отсрочит старость?

Или не венец нужен, но сам статус первой красавицы, позволяющий остаться при дворе?

Нехорошо как... беспокойно...

Евдокия погладила портфель, велев себе не паниковать раньше времени. Проклятье? Неприятно, но... когда речь идет о крупном тендере, можно ждать не только проклятья. И лунная слезка, которую Аленка поклялась не снимать, защитит...

Лихослав Вевельский явился пред светлые очи генерал-губернатора немедля и был удостоен внимательного, если не сказать, излишне внимательного взгляда.

Пан Зимовит обошел его слева.

И справа.

Дотянулся до волос, пощупал.

— Зубы показать, ваше превосходительство? — Лихослав раздражался.

Неспокойно ему было.

И неуютно. Честно говоря, он успел мысленно проклясть и колдовку, в ловушку которой вляпался; и полкового целителя, изрядного коновала, большей частью пребывавшего в состоянии глубочайшей алкогольной задумчивости, криворукого и равнодушного; и собственную невезучесть, и не способность смириться с тем, что, чувствуя себя здоровым, он меж тем к воинской дальнейшей службе был негоден.

...лет через пять, когда сама собою развеется, расползется серая петля, сердце захлестнувшая.

...если развеется еще.

...а и то твердят, повезло... одна беда от другой сберегла. И как сберегла, когда обе с Лихо и остались?

— Не дерзи, — спокойно ответил пан Зимовит. — Надо будет покажешь и зубы, и хвост.

— Хвоста у меня нет.

— Да? Совсем нет? Или периодически нет?

— Совсем, — глядя в глаза пана Зимовита ответил Лихо.

— Это хорошо, что совсем... это правильно... вашему семейству одного хвостатого с избытком будет... Что, не привык к мирному житью?

— Не привык.

— А понимаешь ли ты, дорогой мой, — палец генерал-губернатора уперся в грудь, — чем тебе это грозит?

— Да. Объяснили.

И объяснял уже местный, познаньский целитель, при храме Иржены-заступницы обретавшийся. Он был полноватым и рыхлым, в безрукавке зеленой, надетой на голое тело. И Лихослав, слушая целителя, глядел на пухлые руки его, все в младенческих перевязочках, на полные пальцы и розовые, аккуратно подпиленные ногти.

Глядел и думал, что не бывает так.

Ему ведь не больно... когда вляпался, тогда да, больно было и так, будто бы его, Лихослава, наизнанку вывернули. Даже когда навий волк подрал, и то не так болело. Задыхался, и кричал, и плакал от боли кровавыми слезами... и руку полкового целителя, проспиртованную и грязную, помнит, как давила на грудь, продавливала, и как заскорузлые пальцы пробирались внутрь. Тогда от них разливалась упоительная прохлада...

...они подцепили и вытащили осколок проклятья.

...вот только сопряженного целитель не заметил, позволил корни пустить, и теперь, только если с сердцем. Так целитель и сказал, поглядев на Лихослава с жалостью.

Странно.

Потом, дома, запершись в комнате, Лихослав разделся и долго, внимательно разглядывал себя, выискивая на коже следы. Кожа была белой, с красноватым отпечатком целительской ладони, который, впрочем, таял. Лихослав поворачивался и так, и этак... ничего не увидел.

...вот от навьего волка подарочек, тот чувствовался, что бессонницей, появлявшейся на полную луну, что щетиною — сколько ни брейся, а все одно вылезет; что смутным беспокойством, запахами, которыми мир наполнялся и переполнялся, а Лихо не умел от них защититься.

— Объяснили, значит, — генерал-губернатор, вдруг разом потерял к Лихославу интерес и вернулся за стол. — А тебе все одно нейдет... служить, значит... верой и правдой...

Уши Лихослава полыхнули, до того глупыми в исполнении пана Зимовита звучали привычные обороты.

Служить.

А что ему еще делать? Отцу уподобиться и по актрискам пойти? Или в клубах обжиться, спуская остатки семейного состояния за карточным столом? По-хорошему, следовало бы заняться делами, но Лихослав отдавал себе отчет, что в хозяйстве он ничего-то не смыслит...

...батюшкины кредиторы намекали, что земли князей Вевельских заложены и перезаложены...

...и матушкины драгоценности, добрая половина из которых еще годы тому лишилась настоящих камней...

...управляющий, единственный из четверых, который не проворовался — то ли не успел, то ли уродился чересчур уж совестливым — утверждал, что поместье способно приносить доход, но поначалу потребуется вложиться...

...Лихо и вкладывался, отправляя домой не только офицерское жалование, каковое было скудным, хоть и полагались Крылатым особые надбавки, но и все, чего удавалось на границе взять. А порой получалось неплохо, вспомнить хотя бы позапрошлый месяц, когда его разезд наткнулся на хольмский обоз с контрабандой... Лихослава доля на пятнадцать тысяч злотней потянула.

...да и без того Серые земли его баловали, подсовывая то навьи стаи, то хрустального цвета поляны, то иную какую редкость.

Подкупали.

Или откупались за тот, за первый подарок?

Лихо откуп брал, зная, что не надолго это везение. Но казалось, есть время... еще день, еще час... еще шаг и другой по старому скрипящему полу, к печи, в развалинах которой сверкает золотая искра. Не то обманка, не то огнецвет в полную силу вошедший...

О чем думал, когда гнилая доска хрустнула под ногою?

О деньгах.

О том, что за огнецвет, ежели и вправду повезло на него наткнуться, дадут тысячи две, а то и две с половиной... и что денег этих, быть может, хватит хотя бы ненадолго...

Потому, верно, и не услышал шороха, с которым развернулось старое проклятье, и холодную иглу, которая в ногу впиалась, ощутил не сразу... когда закричали, было уже поздно.

Но снова повезло: вытащили. И целитель полковой почти тверезым оказался... и жив Лихо, это ли не главное? А деньги... что деньги? Куда ушли?

Известно куда. И ведь сколько ни говори, отец лишь рукой отмахнется и о своем начнет, что, дескать, иной выход есть.

— Думаете, с тайной канцелярией семейные дела поправить? — пан Зимовит осклабился, точно видел Лихослава со всеми его мыслями, а может и видел, не даром на генерал-губернатора лучшие ведьмаки работали. Но мыслей своих Лихослав не стыдился.

Пусть он пока не князь, но отвечает, если не за отца, то за младших братьев и сестер... а в том, чтобы искать государевой награды чести всяко больше, чем в женитьбе на состоятельной наследнице, что бы там ни говорили.

— Что ж, — генерал-губернатор сцепил пальцы под подбородком, — не буду обещать невозможного, скажу лишь, что ваше будущее в ваших же руках. Послужите государю хорошо, и наградою вас не обойдет.

— И что от меня требуется?

— Приглядеть за одной особой, которая весьма несвоевременно объявилась. Отвлечь, развлечь... да хоть в койку уложить, главное, чтобы особа сия не мешалась в... дела, ее не касающиеся. Заметьте, жениться я вас не заставляю.

И на том спасибо.

Глава 10

О Цветочном павильоне, зеркалах и модной толерантности

Лизанька разглядывала соперниц сквозь ресницы, с трудом сдерживая непонятное, незнакомое раздражение. Она-то, с детства привыкшая к тому, что среди подружек, каковых у Лизаньки было не так, чтобы много, среди многочисленных маменькиных сродственников и их дочек, была самою красивой, теперь вдруг оказалась одной из многих.

И не самой яркой.

Одетая по последней моде, Лизанька вдруг остро ощутила, что платье, пусть и купленное в дорогом магазинчике, было лишь подогнано по фигуре ее, а не сшито на заказ... и ткань не такая уж роскошная, и рисунок простоват, и отделка не удалась...

И сидит оно не так, чтобы совсем уж хорошо...

Внезапная обида на жизнь, которая преподнесла этаким неприятный сюрприз, заставляла Лизаньку горестно кривить губы и искать кого-то, кто был бы хоть на самую малость, но хуже. И взгляд ее то и дело останавливался на чернявой акторке, за которой маменька строго-настрого велела приглядывать.

Лизанька и приглядывала.

...во дворце генерал-губернатора.

...и в коляске, которая на вокзал везла.

...на самом вокзале, где уже дышал парами состав.

...и в вагоне пульмановском, личном его превосходительства.

Приглядывала и дивилась тому, до чего нехороша батюшкина акторка. Неужто и вправду этакая дура? Или притворяется? Взгляд-то живой, лукавый... точно притворяется...

И злость разбирает, душит просто-таки. Знал же батюшка, сколь важен этот конкурс для Лизаньки, а все одно отправил конкурентку, будто бы иного способа свои дела устроить не нашлось. Не мог родной дочери задание доверить?! А эта, чернявая, наверняка знает, под какой личиной мил друг Себастьянушка скрывается...

Своего не упустит.

Мысль о том, что не все, окружавшие Лизаньку девушки, желают породниться с ненаследным князем Вевельским, в голову Лизаньке не приходила. И оттого мучилась она злой ревностью, не имея способа гнев свой выплеснуть.

— А у нас в городе, — сказала акторка низким голосом, прижимая к груди ужасающего вида ридикюль, — не принято соперниц проклинать!

Ей не ответили.

Ядзита, достав вышивку, устроилась у окошка. Габрисия заняла кресло в углу, откуда и наблюдала за прочими. Гномка обошла вагон, придирчиво изучая обстановку его, к слову, весьма роскошную. Сделанный по специальному проекту, вагон более напоминал небольшую гостиную, исполненную в пурпурно-золотых тонах. Здесь нашлось место низким диванчикам, обтянутым телячьей кожей, и низким банкеткам, и креслицам, до того изящным, что выглядели они вовсе кукольными, круглым столикам и очаровательному полукруглому бюро с нефритовой инкрустацией.

Карезмийка, устроившись на полу, тяжело вздохнула...

— Быть может, — осторожно заметила Иоланта, трогая витой позолоченный шнур, — Мазена сама виновата? Радомилы многих... злили.

— О да, а у Мазены норов и вовсе был сволочным, — Эржбета расправила полосатые юбки дорожного платья и достала свой блокнотик. Что она пишет? Спросить? Неудобственно как-то. — Уж поверьте мне... и да, я не собираюсь делать вид, что мне безумно ее жаль.

Паровоз издал протяжный гудок, но с места состав не тронулся.

Лизанька собралась было присесть в кресло, широкое и весьма удобное с виду, но была остановлена самым невежливым способом. Рыжеволосая девица, смутно знакомая, дернула Лизаньку за руку и, указав куда-то в угол вагона, сказала:

— Там твое место.

— Это еще почему?

Богуслава. Точно, Богуслава Ястрежемска, единственная дочь князя Ястрежемского...

...красива, конечно. Кожа как у всех рыжих белая фарфорово-прозрачная, волосы — огонь, глаза по-кошачьи зеленые, шурятся недобро, оглядывают Лизаньку этак, с нарочитой неторопливостью, заставляя ощутить собственную ничтожность.

— Потому, что не следовало писарчуковой внучке в шляхетные панны лезть, — с явным удовольствием сказала Богуслава.

И руку стиснула.

Вот тварюка!

— Отпусти, — сказала Лизанька, в зеленые глаза глядя прямо, с вызовом. Отступаться она не собиралась. — Пока космы целые.

— Прекратите, — панночка Ядзита отложила шитье. — Мне кажется, места здесь всем хватит...

— Особенно теперь, — хихикнула Иоланта. — А там, глядишь, еще кого-нибудь проклянут, и совсем вольно станет...

Богуслава руку разжала и от кресла оттолкнула.

Пускай себе.

Лизанька не настолько глупа, чтобы в драку лезть. С этой курвой она потом сочтется...

— Конечно, садитесь, панночка Богуслава. Простите, не узнала сразу, — Лизанька отступилась. — Волноваться заставила... а в вашем возрасте волнения вредны...

— Что ты хочешь сказать?

— Что тебе, дорогая, двадцать уж минуло, — с неприятной улыбкой поправила Габрисия, — или ты забыла, Славочка, как мы намереди твой день рождения праздновали? Скажи, он так и не явился?

— Кто? — Ядзита вытащила темно-зеленую нить.

— Себастьян Вевельский...

...Богуслава скривилась и буркнула:

— Нашли, о чем говорить... явился... позже... прощения просил...

— На коленях? — Габрисия от расспросов, несомненно, получала удовольствие. Вон как порозовела... и даже улыбалась почти живою улыбкой.

— На коленях, конечно... и подарок подарил... от королевского ювелира, — гордо задрал остренький подбородок, Богуслава опустилась в отвоеванное кресло.

Лизанька же заставила себя улыбаться.

Ну папенька, спасибо вам огромное! С вашей-то щепетильностью урожденной того и гляди без жениха останешься. Значит, этой рыжей паскудине Себастьянушка украшения дарил?

От королевского ювелира?

Ревность душила Лизаньку, и еще обида, прежде всего на батюшкину нерасторопность, на его неумность, порядочность, мешавшую исполнению маменькиных планов. И кабы не она, не увещевания и не угрозы отправить дражайшую супругу вместе с дочерью в деревню, давно бы все сладилось.

— Приходил, значит... дарил... — задумчиво протянула Габрисия, проводя сложенными щепотью пальцами по узкому носу, — а потом прямым кинулся в объятья ведьмака...

Богуслава густо покраснела.

— ...небось, пригляделся, понял, что его ждет... и решил, что лучше к Аврелию Яковлевичу в миньоны податься, чем к тебе в мужья.

Иоланта захихикала.

Эржбета нахмурилась и сказала:

— Не самая удачная тема.

— Именно, — подхватила Богуслава. — К тому же, вам ли не знать, как в газетах все перевирают... Себастьян не из этих...

Смуглая акторка слушала разговор с явным интересом, она выгребла из ридикюля горсть семечек и весело щелкала, ссыпая шелуху в фарфоровую вазу. Ваза выглядела древней, солидной, пышные бока ее покрывала яркая роспись, изображавшая нагих античных богинь и крылатых коней, но акторка ни малейшего уважения к чужому имуществу не испытывала.

Дура?

Или все-таки...

Или все-таки...

— А ты проверила? — благодатную тему Габрисия оставлять не желала. И на Богуславу глядела... с ненавистью?

Пожалуй что, вот только ненависть эта была мимолетной, она мелькнула в прозрачных серых очах и исчезла за маской безразличия.

— Ты же знаешь, что нет... — с неудовольствием отозвалась Богуслава.

— Я знаю, что за деньги многое можно купить.

— О да, к примеру, новое лицо... не скажешь, дорогая, кто его делал?

— Тебе-то зачем? — Габрисия повела плечом и отвернулась к окну, бросив напоследок. — Ты сидела рядом с Мазеной...

Наверное, они бы разругались, однако второй гудок, куда более громкий, перекрыл ответ Богуславы. А в вагон вошла девица с косой и портфелем.

За девицей следовал высокий широкоплечий парень.

Темноволосый. И синеглазый... и костюмчик новый на нем, явно только-только из лавки, сидит вон почти хорошо. Штаны полосатые, по последней моде, шляпа из белой соломки, саквояж. Все чистенькое, аккуратное, только-только купленное...

Лизанька заставила себя отвернуться к окошку, благо, паровоз все же тронулся, и мимо Лизаньки поплыли гладкие столбы... неужели все так просто?

Девица эта... Евдокией кличут, хмурится, от парня отворачивается, а он вокруг вьется ужом, сиюсья услужить. Она же явно недовольна. Но чем? Не тем ли, что парня этого ей генерал-губернатор навязал? А ведь не для того ли попросил остаться? Конечно, операция, какова бы ни была ее суть, на высшем уровне согласовывалась... и верно... кто в чем заподозрит симпатичного приказчика?

Никто.

Главное, не глазеть чересчур пристально. И Лизанька скосила глаза, пытаясь выискать на чужом лице знакомые черты. Парень, утомившись обихаживать капризную девицу, устроился в темном углу, из которого, надо полагать, было весьма удобно наблюдать за конкурсантками.

...ах, папенька, папенька...

А все из-за вашего упрямства... могли бы и поспособствовать родной-то дочери... но нет, все самой придется, собственными белыми ручками. И Лизанька, подавив тяжкий вздох, мило гостю улыбнулась.

Шанса своего она не упустит.

Не будь то Лизанька дочерью самого познаньского воеводы.

Ехать пришлось долго.

Стучали колеса, клонили ко сну, но Себастьяну спать было невозможно, стоит слегка ослабить контроль, и поплывет личина... то-то скандал разразится. Оттого и ерзала панночка Белопольска, крутила головой, изволила любопытничать, трогала золотой шнур, которым был отделан низенький диванчик, ковыряла лоснящуюся, навощенную обивку его, гладила вазу... семечки вот лузгала... все одно ваза поддельная, из тех, которые в превеликом множестве создаются в мастерских около Ляховицкого музея...

— Хотите? — Себастьян предложил семечки Богуславе, и та отвернулась, всем своим видом показывая, что само это предложение оскорбляет ее до невозможности. — Ну как хотите...

— От семечек руки чернеют, — наставительно заметила Иоланта. — И зубы портятся.

— Просто семечки перед жаркою мыть надобно. Вот в нашем городе...

— В вашем городе все по-особенному, — согласилась Габрисия, которая после беседы с Богуславой пребывала в смятении, хотя и пыталась его скрыть. Выдавали руки, нервно теребящие тесьму на жакете. — Не подскажите, откуда вы родом?

— Из Подкозельска! — с гордостью за родину ответила Тиана.

...а Себастьян приметил, как Иоланта погладила простенький с виду перстенок... и Ядзита вытащила зеркальце...

Нет, врать нельзя.

Но панночка Белопольска и вправду была родом из сего славного местечка, основанного пятьсот лет тому шляхтичем Витко Козловским, правою рукою князя Добромысла...

— Хороший, должно быть, город, — заметила Ядзита. И зеркальце не убрала...

— А то, — Тиана ссыпала семечки в ридикюль, а руки вытерла платочком. — Конечно, не Познаньск... но зато у нас памятник князю Добромыслу имеется. Чудотворный! Если кинуть монетку и желание загадать, то оно всенепременно сбудется...

— Как мило, — Габрисия все же успокоилась.

...что же такого было сказано? Надобно отписаться, пускай Евстафий Елисеевич узнает...

— А еще у нас храм старый есть. Хельмов... — это панночка Белопольска произнесла страшным свистящим шепотом. — Правда, он заколочен, но...

...но стоит на площади Подкозельска, наводя на мирных горожан ужас, и каждый год ложатся на стол генерал-губернатора слезные прошения с тем, чтобы снести черную громадину... а он медлит.

Почему, к слову?

Нет, допросить генерал-губернатора не выйдет, однако же любопытно...

...и удобно.

— Но я слышала, что заколоченный — не запечатанный... и не сносят его потому как... — идея была безумной, однако образу Тианы соответствовала всецело, — потому как там Хельму молятся!

В вагоне повисла тишина.

И только чернявый типчик весьма подозрительного вида, позволил себе хмыкнуть.

Глаза типчика маслянисто поблескивали, взгляд блуждал по вагону, и Себастьян готов был поклясться, что типчик этот неучтенный оным взглядом каждую красавицу обмусолил.

— Панночка преувеличивает, — он выпятил грудь и взялся пальцами за отвороты пиджака. — Мы не хольмы, чтобы Хельму проклятому кланяться.

— Грель, прекратите, — сказала девица с косой и портфелем, который она держала на коленях и, сама того не замечая, гладила.

Ядзита поспешно сплюнула через левое плечо, Габрисия коснулась гагатого медальона, а панночка Эржбета, отвлекшись от своего блокнотика, тихо заметила:

— Вы не совсем правы.

— С чего это?

Грель... надо будет запомнить. А девице с косой... Евдокия, ее зовут Евдокия, он не нравится... и ладно бы только в симпатиях дело, вон какие взгляды бросает, длинные, внимательные, так смотрят на человека, которого в чем-то подозревают.

В чем?

Высокий. Красивый, пожалуй что, тою лаковой лживой красотой, за которой просматривается гнильца. Нет, Грель был Себастьяну не симпатичен, но быть может оттого, что панночке Белопольской его внимание пришлось очень даже по вкусу.

Панночка Белопольска была безголовою кокоткой.

И старательно строила глазки... Грель принимал внимание благосклонно, оттаивая... но во взгляде его читалась снисходительное презрение. Нехороша для него провинциальная панночка, очевидно бедноватая, глуповатая... с такою можно роман закрутить, не боле того.

Вот княжны — дело иное... правда, уже для них он сам нехорош, невзирая на всю красоту.

— Даже если бог проклятый, он все одно остается богом, — сказала Эржбета, проводя ладонью по столу. Хороший стол, наборный, отделанный и розовым деревом, и темным мореным дубом, орехом, серебристой сосной... — А от бога откреститься нельзя...

...и выходит, что стоит в Подкозельске черных Хельмов храм не просто так?

...откупом Хельму, уступкой...

...стало быть, и службы ведутся, и льется на обсидиановый алтарь жертвенная кровь?

— О некоторых вещах говорить не принято, — Эржбета со вздохом руку убрала, уставилась на пальцы. — Но это не значит, что этих вещей вовсе не существует.

— Хельм — зло, — это были первые слова, которые проронила карезмийка, и секиру свою сжала.

— Зло, — не стала спорить Эржбета. — Но мир сотворен и от его крови тоже. И люди... и если отказаться от части мира, от части себя, кому станет легче?

— То есть, по-вашему выходит, что храмы нужны? — Габрисия подала голос.

Мертвый какой.

И лицо снова маскою стало.

— Нужны, — Эржбета не собиралась теряться и отступать. — Говоря о Хельме, почему-то люди забывают, что он не только бог смерти, но и посмертия... теперь о покое для мертвых просят Иржену и Вотана, однако изначально темный мир — во власти Хельма.

Она говорила тихо, едва ли не шепотом, но в вагоне воцарилась такая тишина, что ни слова не потерялось.

— В воле его дать покой исстрадавшейся душе, очистить ее от мук земных и передать в руки

Праматери Иржены. В воле его запереть зло огнем и льдом... в воле награждать и наказывать... люди забыли, что именно Хельм был высшим судьей. Он посылал железных воронов за теми, кто нарушал законы богов... он стоял на страже мертвых, и к нему же несли свои горести живые.

Губы Эржбеты дрожали, кривились, словно она вот-вот расплчется.

С чего бы?

Уж не от сочувствия ли к Темноликому? И не стоило поминать, не стоило... холодом повеяло, тьмой первозданной, которую Себастьян чувствовал остро, едва сдерживая трансформацию.

И не только он.

Поежилась эльфийка, пересев поближе к Евдокии. Иоланта сжалась. Обняла себя Габрисия... Богуслава сдвинула голову ладонями, и ойкнула Ядзита, уколов палец иглой. На нем вспухла красная капля крови, на которую все уставились заворуженно, не смея отвести взгляда.

— Ерунда какая! — прозвучал громкий бодрый голос Греля. — Этак вы, панночки, сами себе ужасов напридумываете, а опосля будете бессоницею маяться.

— Точно, — Ядзита рассмеялась и сунула палец в рот. — Надо же... Хельм-миротворец...

— Скорее страж, — поправила Эржбета и тихо, очень тихо, так, что Себастьян едва-едва расслышал, добавила. — Он не любит, когда именем его и волей творят темные дела...

Интересный это был взгляд.

И вот только что считать темным делом?

Гданьск начинался с переплетения железных дорог, с тяжелого дыма, напоенного паром и угольной пылью. Окна вагона затянуло серой рябью, и солнце поблекло, мир сделался пустым, тяжелым. Богуслава не могла отрешиться от странного ощущения, что будто бы все происходящее происходит не с нею, но с кем-то, кто поселился в ее теле.

Глупость какая!

И этот некто, пока безымянный, становился сильнее с каждой минутой, он теснил саму Богуславу, прибирая по ниточке ее волю, ее память, сам разум...

...Агнешка, паскудина светловолосая...

...и подруга ее... она ведь здесь, спряталась за маской... следить... она Мазену прокляла, в этом нет сомнений. Почему? Какое Богуславе дело?

И проклятую не жаль.

И целительниц, которые, тут и думать нечего, проклятьем замараются... ничего, чем меньше останется, тем оно лучше... красавицы... не будь ей так больно, Богуслава рассмеялась бы.

Кто красавица? Гномка? Или карезмийка со своею секирой? Кто их вообще допустил до финала... нет, очевидно, что здесь дело политическое... а еще эльфийка эта... и провинциальная дурочка черноглазая... дурочка с семечками...

Но мигрень мучит.

И впору закрыть глаза, кликнуть горничную, пусть задернет шторы, постель приготовит, принесет чашку горячего шоколада... и масло, мятное масло чудесным образом избавило бы Богуславу от мигрени... а если еще немного мандаринового... и эвкалипт, точно... а для сна — лаванда.

Колеса стучат. Красавицы переговариваются вполголоса, но тот, кто занял место Богуславы, милосердно позволяет не слушать пустые их разговоры. Он шепчет, что еще не время... а когда время?

Когда Богуслава будет готова.

К чему?

Она поймет, она ведь уже понимает, что все будет не так, как обещала Агнешка... понимает, но ее это не волнует. Вот грохот колес, который отзывается стуком крови в висках — волнует. И покачивание вагона, и скрип, и иные звуки... как-то их слишком много...

— Панночке дурно? — раздался мягкий, бархатистый голос.

Мужской.

Ах да, мужчина сел в вагон вместе с этой девицей... «Модесть»... спонсор... девица некрасивая... в платье дорогом, но дорогие платья нужно уметь носить... а спутник ее нелеп, из тех, которые в поиске состоятельной невесты.

Откуда Богуслава это знает?

Знает и все тут...

— Может, панночке чаю подать? Кофе?

— Воды, — Богуслава открыла глаза, с трудом унимая внезапную дурноту.

Роились мошки.

Красные. Синие... и надо бы о помощи попросить, не этого, услужливого, в полосатом летнем костюме, который был неуместен в поездке, а Себастьяна...

...он бы не отказал, помог...

...предупреждал ведь...

...нет, Богуслава сама справится. И подумаешь, головокружение. Переволновалась она, с кем не бывает... с нею, прежде не бывало, а теперь вот... и руки дрожат, воду в стакане высоком расплескали бы, когда б не своевременная помощь.

— Грель Зигмнудович Стесткевич, — представился помощник и ручку подал. — Панночка Богуслава, вам бы лучше прилечь... идемте... знаете, у меня матушка тоже мигренью маялась... я вам сейчас массаж сделаю и полегчает.

Богуслава хотела ответить, что не нужен ей массаж, но только покой, когда раздался

протяжный паровозный гудок. За окнами гроыхало. В вагоне же появился острый запах навоза, угля, раскаленного металла. И он порождал такую странную слабость, что Богуслава не сумела бы на ногах устоять.

Ее уложили на диванчик, и подпихнули под голову подушки.

— Ее тоже проклинали? — раздался звенящий голосок, кажется, Ядзиты...

...черная невеста, так ее прозвали.

На что рассчитывает? На победу?

Все здесь рассчитывают победить... дуры.

— Нет, — это эльфийка, которую всунули в число конкурсанток, желая угодить ее неведомому покровителю... — Ей просто дурно стало...

Дурно.

И избавиться бы от всех... Богуслава ведь достойна короны больше, чем кто-либо...

— Неужели? Помнится, здоровье у Славы было отменнейшим...

Габрисия, заклятая подружка. До сих пор простить не может? Богуслава не желала зла... просто шутка... обыкновенная шутка... и кому от того хуже стало... радоваться должна бы, а то так бы и жила, в плену иллюзий.

Тот, кто занял тело Богуславы, охотно соглашался с ней, и оттого присутствие его, еще недавно неудобное, ныне стало жизненно необходимо.

Открыв глаза, Богуслава слабо прошептала:

— Все хорошо... слишком много всего произошло сегодня...

И с нею согласились.

...и только эльфийка посмотрела странно, но промолчала.

Правильно. Пусть молчит. Тогда, глядишь, и проживет дольше.

Нет, Богуслава не собиралась никого убивать... пока, во всяком случае... но если ей понадобится защитить себя... себя, и того, кто спрятался в ней, она не станет колебаться. И он, благодарный за заботу, унял дурноту. Еще недавно слабое, тело наполнялось удивительной хмельною силой, которую, правда, нельзя было выказывать...

...конечно, он прав.

И Богуслава смежила веки, позволяя себе принять заботу. Ей сунули под голову еще одну подушечку, плоскую и жесткую, накрыли пледом, растерли виски сандаловым маслом, которое щедро пожертвовала Габрисия, и решив, будто Богуслава спит, оставили в покое.

До Гданьского вокзала, где красавиц ждали экипажи, оставался час езды. Хватит, чтобы обдумать все хорошенько... и тот, кто прятался в Богуславе, оценил и ее благоразумие, и актерский талант.

Пригодится.

Гданьская летняя резиденция Его Величества, собственно говоря, была возведена за чертою Гданьска. Правда, в последние годы город разросся, подступив вплотную к королевским землям. Раскинулись русла дорог, мощеных горбылем, проросли вдоль них купеческие особнячки, крашенные то в желтый, то в небесно-синий, а то и вовсе в розовый колер, с непременными грифонами у лестниц...

Припекало солнце, проникая под кружевные завесы зонтиков.

Цокали подковы. Покачивались коляски, бежали следом мальчишки, норовя подобраться ближе, нисколько не боясь конной охраны. Остался позади вокзал с оркестром и мэром, каковой лично вышел приветствовать красавиц и долго, нудно говорил о высокой чести, городу оказанной...

...первая фотосессия...

...и первое же, согласованное с его превосходительством, интервью...

...и цветы, которые принимала охрана, обещая обязательно передать. Приветственные крики и раздраженные, большей частью, женские взгляды. Впрочем и раздражение в них было полетному ленивым, преисполненным той особой истомы, которая пронизывает все и вся в таких вот курортных городках...

Гданьская резиденция началась с широкой платановой аллеи, высаженной еще при Казимире Черноробом. Ныне деревья разрослись, переплелись ветвями, и сквозь прорехи в зеленом пологие их проглядывало синее небо.

— До чего здесь... мило, — сказала Ядзита, убирая, наконец, шитье. — Мне прежде не доводилось бывать в королевских дворцах...

— И сейчас не доведется, — Габрисия разглядывала белую розу на тонком стебле. Держала ее на вытянутой руке, двумя пальчиками, словно опасаясь, что роза эта способна причинить ей вред. И выражение лица Габрисии было таким... странноватым, смесь легкой брезгливости и удивления. — Вы же не рассчитывали, что нас там поселят?

— Да?

Кажется, именно на это Ядзита и рассчитывала.

— Традиционно для конкурса отводят Цветочный павильон...

— Павильон? — панночка Белопольска выпятила губу. — Я не желаю жить в павильоне...

— Это лишь название.

Габрисия умела улыбаться по-доброму, а розу обронила, и вряд ли случайно...

— Цветочный павильон — это небольшой дом на территории. Обычно там размещается принцесса со своим двором... его еще девичьим домом называют...

...уточнять, что возведен был Цветочный павильон прадедом Его Величества и вовсе не для любимой дочери, Габрисия не стала.

...двухэтажное белое, словно из кондитерского крема вылепленное здание. Зелень лужаек, пестрота цветочных клумб. Темные окна за узорчатыми решетками, смотрят настороженно, недоверчиво, словно оценивая гостей. Сочтет ли дом их достойными?

Себастьян поежился.

...пахло гнилью, но... запах был едва уловимым и явно несвежим. Он исходил от левого единорога, который выставил лохматую ногу, не то пытаясь подняться, не то изображая поклон... и еще от лестницы... от дверей, узорчатого паркета, пробиваясь сквозь привычные запахи воска и пива... небось, мебель протирали, пытаясь вернуть ей, несомненно роскошной, но постаревшей, достойный вид.

— Добрый день, панночки, — выступила вперед дама в сером платье.

...от нее, к счастью, пахло розами.

...а от зеркал — той же гнилью, и Себастьян заметил, как поморщилась эльфийка. Неужели чует? Наверняка... руку протянула, но зеркальной глади, в которой отражалась она сама, не посмела коснуться.

Нехорошее местечко.

И надобно отписаться Аврелию Яковлевичу... случайно ли сие? Или быть может, в хитром плане охоты на колдовку что-то да не предусмотрели?

— Зовут меня панна Клементина, — дама осматривала каждую гостью, не стесняясь ни своего любопытства, ни показного смущения панночек. — И нынешний месяц вы проведете под моею опекой. Кроме, конечно, вас.

Панна Клементина указала на Греля.

— Не знаю, кто вы такой, но в Цветочном павильоне мужчинам нет места.

От холода, прозвучавшего в этом голосе, Себастьян поежился.

— Я... — пан Грель изобразил поклон и попытался припасть к ручке суровой дамы, но та лишь брезгливо поджала губы. — Я помощник панночки Евдокии, и...

— И меня это интересует мало. Будьте любезны покинуть дом.

— Но...

— Уверена, вас разместят со всеми удобствами. Его Величество всегда заботится о своих гостях.

Пан Грель воззрился на Евдокию, которая лишь плечами пожала. Спорить с панной Клементиной она не собиралась и, сколь Себастьян понял, подобному повороту дела была лишь рада. И Грель, поджав губы, с видом крайне недовольным, удалился.

— Надеюсь, я ясно выразилась, — панна Клементина еще раз окинула подопечных. — Братья, отцы, кузены, поклонники, женихи и друзья детства не должны появляться здесь. Ни на час, ни на десять минут, ни даже на пять. Таковы правила. И за нарушение их я имею полное право указать вам на дверь. Естественно, сие будет означать, что конкурс для вас закрыт.

— А вот у нас в городе...

Ледяной взгляд панны Клементины заставил Тиану замолчать.

Почти.

— ...нравы не столь строгие.

— Не знаю, откуда вы прибыли, панночка, но если хотите, можете туда вернуться...

До Себастьяна долетели тихие смешки.

— Драгоценный венец и звание Королевы — это не только слова, но и величайшая ответственность. На ту, которая удостоится высокой чести, будут обращены взгляды всех девушек королевства. Она станет примером, образцом, идеалом...

Панна Клементина развернулась и, подхватив серые юбки, направилась вглубь дома. Она не сказала ни слова, однако девушки гуськом устремились за той, от мнения которой будет зависеть многое.

— ...и кристально чистая репутация — важнейшее из условий...

— Лицемерка, — прошептала Иоланта, глядя в спину женщины с откровенной ненавистью.

— Почему?

— У самой любовник, а нам мораль читает...

— Откуда ты...

— Оттуда. Думаешь, я не знаю, к кому мой папаша ездит. Ладно, не бери в голову, — она вдруг спохватилась и, остановившись перед очередным зеркалом, которых в Цветочном павильоне было как-то слишком уж много, заправила за ухо темную прядку. — Она незаконнорожденная дочь короля... не нынешнего, конечно, предыдущего...

Иоланта от зеркала отвернулась, а отражение ее в нем вдруг замерло и, показалось, подмигнуло Себастьяну... нет, определенно, с этим местом неладно.

— Ее и замуж не выдали, чтобы не плодить претендентов на престол. Она и притворяется этакой... поборницей приличий. А на самом деле давно уже с моим папенькой... он хотел на ней жениться, а не... и маме обидно.

Иоланта вздохнула.

А отражение скривилось и подернулось мутноватой пленкой. Запах гнили стал отчетливей, и панночка Белопольска, схватив красавицу за руку, дернула.

— Идем, а то отстанем...

— Ну да, конечно... нам прямо... знаешь, она меня ненавидит и попытается выжить... и если вдруг, то... мне как-то не по себе здесь. Зябко.

— Из-за сквозняков, — Себастьян крепко держал девицу за руку, а та не делала попыток вырваться, шла покорно, только оглядывалась на зеркала. — Дом старый... вот у нас в городе

старых домов не так и много... у мэра есть, но я там бывать не люблю, вечно дует. И дядечка мой так и говорит, что старость никого не красит... а еще у него в доме одну красавицу замучили...

— Невинную? — Иоланта улыбнулась робкою вымученной улыбкой.

— Почему невинную?

— Не знаю, но во всех легендах, если кого и убивают, то только невинных дев... невинность — опасная штука...

Панночка Белопольска захихикала, и от смеха ее зеркала помутнели.

...Аврелий Яковлевич должен знать, что с этим местом не так...

...и если знал, то отчего не предупредил?

...или не считал возможным, решив, что то давнее зло спит? Если и так, то сон его стал тревожен. Себастьян чувствовал интерес дома, пока слабый, отдаленный, будто бы кто-то присматривается к гостям сквозь пелену многовекового тумана...

— Невинную, точно, — Тиана говорила нарочито громко, Себастьян слушал суматошный пульс Иоланты, подмечая и внезапную бледность ее, и синеватую кайму вокруг губ. — И теперь, значит, призрак ее бродит по дому, пугая людей...

— Вы заставляете себя ждать, — панна Клементина в зеркалах отражалась... иной?

Моложе.

Суше... а с чего они решили, будто колдовку надобно искать непременно среди конкурсанток? Чем она, женщина в сером бязевом платье, отделанном гишпанским кружевом, не кандидатура? Ей и подбираться-то к королю надобности нет, чай, сестра единокровная, пусть и по батюшке... и если живет в Гданьске, а не в какой-нибудь отдаленной безымянной крепостице, то и любимая.

Или терпимая, правильнее было бы сказать?

Ее терпят, о ней помнят, за ней признали право на эту жизнь, но при том посадили на поводок, лишив иных, сугубо женских надежд, сделав не то экономкой, не то распорядительницей королевского имущества. Обидно?

И сколько лет понадобилось, чтобы обида переросла в откровенную ненависть?

— Простите, панна Клементина, — Тиана старательно смущалась, но смущение выходило ненатуральным, однако вполне образу соответствующим. — Мы заблудились! Тут столько зеркал! И такие большие! А рамы роскошные совершенно... я никогда не видела, чтобы зеркала золотом обрамляли...

— Позолотой.

— ...и еще мне кажется, что оттуда смотрят...

— Кажется.

Сухие слова и взгляд внимательный, предупреждающий... губы поджала, точно запирая то, что должно было быть сказано.

— Хотела бы предупредить, панночки, — голос королевской сестры дрогнул, — не стоит разгуливать по этому дому в одиночестве... он очень старый. И заблудиться легко.

Не то она хотела сказать.

А что?

— Если вам что-то понадобится, вызовите горничную, — панна Клементина остановилась перед глухой, какой-то слишком уж тяжелой с виду дверью, — а теперь, панночки, нас ждут. Надеюсь, вас поставили в известность, что все конкурсантки обязаны носить те наряды, которые для них выберут...

Дверь поддалась не сразу.

Комната.

Огромная, показавшаяся сперва необъятной.

Белые стены. И белый потолок куполом. Белый мраморный пол, белая мебель, пожалуй излишне вычурная, белые вазы и букеты белых же роз. Огромные окна, задернутые полупрозрачной белой кисеей и зеркала, в которых отражается все та же невыносимая белизна...

— Прошу вас, — панна Клементина вошла, единственное серое пятно на белом полотне комнаты. — Сейчас вам помогут раздеться...

— Что, совсем? — не удержалась панночка Белопольска, испытывавшая преогромное желание спрятаться. Себастьян ей не позволил.

— Совсем.

— Но...

— Вы стесняетесь?

— Да...

— Позвольте вам напомнить, что в Цветочном павильоне нет мужчин. А мерки удобнее снимать на голое тело...

...голое тело — это несколько экстравагантно и мягко говоря подозрительно. Зато хороший шанс рассмотреть кандидатов.

— В любом случае, вам выдадут другое белье... и не только.

— Меня и собственное устраивает, — подала голос Эржбета, проведя рукой по стене.

— А я не конкурсантка... — Евдокия попятилась к двери, но была остановлена панной Клементиной.

— Это не имеет значения. Вы живете в Цветочном павильоне, а значит, подчиняетесь его

правилам. Девушки, я понимаю ваше смтение и смущение. Возможно, вам многое здесь покажется странным... неправильным... неприемлемым... но помните, что правила эти придуманы не мною.

А кем? Себастьяна все больше занимал этот вопрос.

— И у вас есть выбор. Уйти сейчас или принять заботу о вас...

...забота? Интересная у них здесь выходит забота. С хорошим таким запашком...

— ...как данность.

Евдокия вздохнула и от двери отступила.

— В конце концов, — Клементине удалось изобразить улыбку, — вам ли друг друга стесняться?

И красавицы, переглянувшись, пожали плечами. Карезмийка же, прислонив топор между двумя золочеными рамами, сказала:

— Нет в наготе стыда.

И потянулась к ремешкам доспеха...

...а вот ширмочку могли бы и поставить. С ширмочкой Себастьяну было бы уютней. Да и не только ему, это карезмийке просто. Доспех сняла, сапоги стянула, сбросила штаны и поддоспешник, оставшись в простой полотняной рубахе. Подмышками расплылись круги пота, да и на груди ткань потемнела, пропитавшись испариной, но карезмийка на этикие мелочи внимания не обращала.

Поднявшись на цыпочки, она потянулась, смачно, до хруста в костях...

И Себастьян очнулся.

Что делать?

Раздеваться. Красавицы, кажется, пришли к подобному же выводу. Богуслава, уставившись в зеркало, точно зачарованная собственным отражением, расстегивала пуговицу за пуговицей. Эржбета уже избавилась от цветастого жакетика и возилась с юбками. Эльфийка, облюбовавшая дальний угол, что-то тихо говорила Евдокии, и та кивала, соглашалась, но упрямо поджатые губы говорили, что согласие это — временная мера, и происходящее Евдокии очень не по вкусу.

— Панночка, вам особое приглашение требуется? — сухо поинтересовалась Клементина.

И отобрала ридикюль.

Ничего-то там важного не было, кроме, пожалуй, семечек и пирожков с печенкой, купленных у лоточницы на площади исключительно из врожденной Себастьяна предусмотрительности.

И подсказывала интуиция, что пирожки не вернут.

— Позже ваши вещи подвергнутся досмотру...

...не Цветочный павильон, а тюрьма какая-то. И решетки на окнах сходство усиливают.

— ...список предметов, запрещенных к хранению, вы получите позже...

...очаровательно.

Себастьян потрогал витую цепочку, полученную от Аврелия Яковлевича, надеясь, что украшения в список запрещенных предметов не входят, и решительно расстегнул первую из сорока шести муслиновых пуговиц...

— А у нее хвост! — сказала Эржбета, на всякий случай отступая... — Хвост!

И десяток ее отражений открыли рты, повторяя беззвучно:

— Хвост.

— Хвост, — согласилась панночка Белопольска, искомую часть тела прижав к груди... — И что с того?

— Это конкурс красоты, милочка, — проронила Ядзита, брезгливо кривясь.

— А хвост красоте не помеха!

...белая кожа, гладкая, без малейшего изъяна... и смешно было надеяться, что с первого же раза у Себастьяна выйдет хельмовку найти. Он смотрит сквозь ресницы, как смотрят и на него, с легкой брезгливостью, с плохо скрытым отвращением, с насмешкой и холодно, оценивая.

Конкурсантки ревнивы.

И раздражены. Собственная нагота делает их слабыми, и слабость они прячут...

...и все-таки кто?

Богуслава? Она держится с той равнодушной почти небрежностью, за которой видится отменное воспитание, привычка скрывать истинные эмоции. И стоит в полоборота, но отражения позволяют разглядеть ее...

Чиста.

Ядзита, которая отступила от зеркал, но, точно ощущая на себе взгляд с той стороны, постоянно озирается. Она не испугана, скорее насторожена. И вновь чиста... Иоланта... Эржбета... нет, это не тот случай.

— Панночка Белопольска, боюсь, вам придется уехать... — произнесла Клементина, выставив между собой и Тианой очки.

— Почему?

Уезжать Себастьян не собирался.

Не сейчас. Не из этого треклятого дома, от которого отчетливо разит гнилью старого проклятья.

— У вас, простите, хвост.

— И что? — Тиана прижала упомянутый хвост к груди и пуховую кисточку, слегка растрепавшуюся, погладила нежно.

— Согласно Статуту конкурса конкурсантка не должна иметь телесных изъянов, будь то шрамов, родимых пятен, бородавок...

— Хвост — это не бородавка, — пуховка дрожала на неощутимом сквозняке, и Себастьян готов был поклясться, что тянет из-за зеркала...

...сквозные?

Односторонней прозрачности, каковые стоят в управлении?

Или и вовсе особые, запирающие, за которыми прячутся крысиные тропы тайных ходов? Непростое место... интересное...

— И не изъян, — панночка Белопольска выдержала прямой взгляд Клементины. — Изъян, это когда чего-то не хватает. А у меня, можно сказать, ажно с избытком.

— Не имеет значения. Вы сегодня же покинете Цветочный павильон...

— А завтра все газеты королевства напишут о предвзятом отношении Его величества к некоторым своим подданным. И о вопиющем отсутствии толерантности среди организаторов конкурса!

— Отсутствию чего? — тихо переспросила Клементина.

— Толерантности, — панночка Белопольска выпустила хвост. — Ужасающей нетерпимости к расовым меньшинствам! В газете про нее писали и дядечка мне читал. Дядечка говорил, что в столицах жуть до чего нетолерантные люди.

— И какое, с позволения сказать, вы представляете меньшинство?

— Хвостатое!

— И представленное, надо полагать, исключительно вами?

— И мною в том числе, — важно ответила Тиана. — Но нас, хвостатых, много!

— Да неужели?

— Много... но мы скрываемся! Вековые заблуждения вынуждают нас прятать истинную свою хвостатую сущность...

Панночка Белопольска обвела притихших красавиц взглядом. Гномка ей, кажется, сочувствовала. Оно и понятно, гномы лишь лет двести, как получили равные с людьми права... о карезмийцах и говорить нечего. Многие по сей день полагают их варварами.

— ...но однажды мы воспрянем и в едином порыве... свергнем оковы предрассудков!

— Помилуйте, это... чушь! — голос Клементины дрогнул.

— Это очень модная чушь, — Тиана очаровательно улыбнулась. — И ей охотно поверят... это, так сказать, чушь в тренде...

— Вы...

— Да?

— Вы... — Клементина оглянулась на зеркала, словно среди них пытаясь найти подсказку. — Вам лучше было бы уйти... поверьте, панночка, я вам не враг...

Отражения в зеркалах оскалились.

...а на окнах комнат стояли те же узорчатые, но весьма прочные решетки.

Глава 11

Где речь пойдет о некоторых странностях весьма приличного места

Комната, отведенная Евдокии, находилась в другом крыле здания, что, признаться, несколько нервировало. Однако Клементина, выслушав весьма вежливую просьбу, ответила сухо:

— Вы не конкурсантка.

— Тогда к чему этот балаган с нарядами?

— Вам не нравится?

Платье было... чудесным.

...и неприятным.

Евдокия смотрела на свое отражение, благо, зеркал в Цветочном павильоне имелось в достатке, и себя не узнавала.

Красива?

Пожалуй. Невысокая, полноватая, но в кои-то веки эта полнота смотрится... правильно? Сложно подобрать слова. Да и, если разобраться, то... не полная она вовсе.

Фигуристая.

Маменька ведь и раньше говорила, что она фигуристая, а Евдокия не верила. Теперь вдруг сама увидела.

И ведь крой-то нарочито простой, с завышенной талией, с квадратным вырезом, пожалуй, слишком уж открытым. Мягкий атлас переливается, мерцают тускло речные жемчужины...

...такое не сошьешь за полдня...

Готовили загодя? И если так, то... откуда узнали, что Евдокия появится? Или платье предназначалось не ей, но Мазене?

— Нравится, — Евдокия придержала вопросы, которые готовы были сорваться с языка. — Платье великолепно.

Клементина кивнула и ответила:

— Мы заботимся о наших гостях.

Вежливость, за которой пустота... и зеркала эти... зачем их столько? Белые статуи в полутьме альковов.

Женщины и цветы.

Полуобнаженные мраморные женщины и какие-то хищные цветы с глазами полудрагоценных камней на тонких лепестках. Оставлять здесь Аленку не хотелось, да и самой, признаться, было жутковато. Стоило двери захлопнуться, как Евдокия испытала преогромнейшее желание немедленно сбежать из этого странного места. Ей откуда-то было известно, что ее, именно ее, Евдокию, оно отпустит.

Почему?

Потому как разглядело во все зеркальные глаза и сочло негодной. Место знало маленькую грязную тайну Евдокии...

Побрезговало.

И от этого сердце кольнуло застарелая обида... дура, как есть дура... и придумала себе страстей, себя же напугав. Этак она начнет дома бояться, как шахтеры — Медного проходчика... сама же их уверяла, что сие — байка, пустословие, что нет живет на старых выработках призрак... и Горная хозяйка — суть вымысел... и даже изумрудных ящерок, которые могут к скрытому золоту привести, не существует...

Не верила Евдокия в сверхъестественное, а тут вдруг...

...ее спальня называлась гиацинтовой и была даже уютна. Бледно-лиловый шелк стен. Белая узкая кровать. Шкап. Кофейный столик и пара стульев. Бюро с откидной писчей доской. Чернильница, правда пустая, бумага, перья...

Саквояж, который раскрывали.

...забрали платья, Лютиком приобретенные, и нижнее белье, чулки, перчатки... шпильки и те. Ленты хоть оставили и гребень.

Евдокия заставила себя сделать глубокий вдох. Она терпеть не могла, когда кто-то совал нос в ее, Евдокии, вещи. Хорошо, хоть револьвер с собой взяла, сунув в портфель к бумагам. Его тоже досмотреть порывались, но Евдокия не позволила.

Странно все.

И Лютик еще с его проблемами... он уверил, что справится, просто исчезнет на несколько дней, а потом вернется. И если повезет, а ему обязательно повезет, точнее дело вовсе не в везении, а в Лютиковой настойчивости, в которой Евдокия не сомневалась, то маменькина проблема и вовсе разрешится.

В Пресветлом лесу умеют управляться со многими болезнями.

И если так, то пусть у него получится.

...получится. Лютик любит маму и не отступится от своего. А Евдокия с собственными тревогами как-нибудь да сама разберется.

Евдокия села на стул и строго велела себе думать рационально.

Ее тревожило место?

Но Евдокии не случалось прежде бывать в королевских резиденциях. Она не представляет, какими они должны быть. Правила? В чем-то разумны. Зеркала?

В ее возрасте можно начинать бояться зеркал.

И ближайшее охотно продемонстрировало первые морщинки в уголках глаз... да, с зеркалами подружиться не выйдет. А остальное... решетки на окнах? Небось, воров везде хватает, а что Евдокии они не по вкусу, так с решетками она управится, чай, не безрукая. Благо, в портфеле ее, помимо револьвера и бумаг, хранилось немало вещей полезных...

...провозилась Евдокия до вечера.

Тяжело было не снять изящные, но весьма хитрые замки с решеток, но сделать это так, чтобы они остались на окне и выглядели нетронутыми.

— И мне так сделаешь, — Аленка вошла без стука...

...и еще одна странность: двери не запирались изнутри. А вот снаружи замки Евдокия видела...

— Может, уедем? — предложила Евдокия, убирая инструмент. — Мне здесь не нравится... такое ощущение...

Аленка притворила дверь и, взяв стул, придвинула вплотную, сунув спинкой под ручку.

— Нехорошее место.

Она подошла к зеркалу и прижала ладони.

— То есть?

— Я не знаю... пока не знаю... старое... очень-очень старое... — она закрыла глаза, прислушиваясь к чему-то вовне, и темная поверхность зеркала подернулась рябью. — Много крови... давно...очень-очень давно, но много...

— Уезжаем.

— Нет, — Аленка ответила, не открывая глаз. — Если мы уедем, то они умрут...

— Кто?

— Остальные.

...дар у Аленки имелся, наследный, Лютиковой крови, и слабенький, позволявший ей управляться с цветами да Евдокииной мигренью.

— Ты не думай, Евдокия, — Аленка гладила зеркало, и чернота отзывалась на прикосновения, шла рябью, разводами, истончалась до кисейного легкого шарфа, за которым проглядывали лица. — Они не сами... их заставляют... и надо это остановить. Чтобы больше не было смерти...

...сестра прежде редко называла Евдокию полным именем.

А зеркало задрожало, подалось вперед, натягиваясь полупрозрачным пузырем, который

переливался всеми оттенками черноты. Мгновенье и пузырь опал.

Не лопнул, но втянулся в золоченую раму, а зеркало... зеркалом и осталось.

— Так, — Евдокия, хоть и привыкшая верить глазам своим, все ж встала и к раме подошла. Ткнула в свое отражение пальцем. Стекло как стекло. Обыкновенное. — Сейчас ты мне все объяснишь, или... мы уедем.

— Тебе их не жаль?

— Кого?

— Конкурсанток.

— Жаль, но тебя и себя мне жаль больше. И я за тебя отвечаю!

— Нет, — Алантриэль следила за ней, не мешая, но и не спеша объяснять. — Ты... человек... и я, наверное, тоже. Но сейчас я знаю, что должна делать. Так будет правильно. Просто поверь мне, Евдокия. Пожалуйста.

Верить?

Евдокия верит. Но этой веры будет маловато для того, чтобы оставить Аленку здесь.

И самой остаться.

— Я не уйду, Евдокия, — Аленка улыбнулась той хорошей, Лютиковой улыбкой, которая значила, что решение принято. — Все будет в порядке, вот увидишь.

— Пусть этим полиция занимается, — отступать от своего Евдокия не привыкла, хотя подозревала, что на сей раз младшая сестрица ее переупрямит.

— Подозреваю, что и занимается, но... мое место здесь.

— Что это вообще такое? — Евдокия провела по зеркальной глади пальцем, и отражение ее повторила сей бессмысленный жест.

— Призрак. Несколько призраков... ты ведь не боишься привидений?

Привидений — нет, случалось встречать, обыкновенные люди, с иными и побеседовать было интересно, но... Евдокия подозревала, что в Цветочном павильоне есть кое-что пострашней привидений. Но об этом Аленка не скажет.

Сестрица же поднялась, помахала зеркалу рукой и сказала:

— Идем, пока нас не хватились... знаешь, она по-настоящему переживает.

— Кто?

— Клементина. Но изменить ничего не способна и... и кто-то хочет разбудить это место, а я еще не поняла, кто и зачем...

Разум подсказывал, что Аленку надо спасать.

Плюнуть на все договоренности, на неразумность подобного поведения, на грядущие проблемы, которых и Евдокии, и «Модесту» не избежать... не важно.

Спасать.

— Не стоит, — покачала головой Аленка. — Я все равно сюда вернусь... но тогда будет сложнее.

И вот что с ней делать?

То, что на новом месте выжить будет сложно, Себастьян понял за ужином.

Ровно в семь.

И не приведите милосердные боги опоздать, поскольку будущая королева, воплощение всех мыслимых и немыслимых достоинств, к ужину уж никак не опаздывает...

...и надевает, что дают, несмотря на наличие хвоста.

...и вообще, ведет себя прилично, не носит в ридикюле семечки, а в старом саквояже — непристойные кружевные чулочки... честно говоря, Себастьян понятия не имел, как оные в саквояж попали, но подозревал, что не обошлось без Лихо.

Шуточки у него дурацкие...

Угораздило же братца вернуться невовремя.

...хорошо, что вернулся. И если шутит, то простил?

Нет, не о том думать надобно.

О проклятье, Мазене и павильоне со многими его странностями. О запахе гнили и чужом пристальном внимании, избежать которого у Себастьяна не вышло, даже когда он остался в отведенных ему покоях. Незабудковая спальня, мать ее.

Тисненные обои, конечно, с незабудками и незабудковый же ковер. Незабудки на постельном белье и на столике в крохотной вазе, на подоконнике в широких плосках-горшках, только все одно неживые — шелковые, выцветшие едва ли не добела.

Странно.

И жутковато.

Незабудки украшали резную раму зеркала, в котором отражалась картина, висевшая на противоположной стене: белокожая темноволосая девушка, сжимающая в руках чахлый букетик. Естественно, незабудок.

— Жуть, — сказал Себастьян, осматривая зеркало.

Не нравилось оно ему.

Вот иррационально не нравилось, и сильно так, до сладковатой вони, от которой першило в носу, до мурашек по пояснице, до покалывания в кончиках пальцев. И решетки на окнах, к

слову, тоже не по вкусу пришлось. Впрочем, с решетками он справился быстро, пригодился несессер, Аврелием Яковлевичем преподнесенный...

...а с зеркалом надо было что-то делать, поскольку Себастьян категорически не способен был к нему спиной повернуться. Нет, он осмотрел раму, убедившись, что приникает она к стене неплотно, и даже приподнял, выковыряв клочок пыли...

Односторонней видимости? Нет, слишком уж просто... а если так, то осталось одно средство. И Себастьян, сдернув с кровати покрывало, украшенное вышивкой с теми же незабудками, сказал:

— Не знаю, как тебя зовут, но в нашем городе за приличными девушками не подсматривают!

Покрывало норовило съехать, точно тот, кто прятался в зеркале, не желал лишаться развлечения. И Себастьян, воткнув пару зачарованных булавок, добавил:

— За неприличными, впрочем, тоже...

Как ни странно, но стало легче.

— Вот так-то лучше...

...а потом протрубили на ужин. Звук охотничьего рожка, сиплый, надсаженный, прозвучал, показалось, над ухом.

Подавали в белой столовой.

Себастьян вообще вынужден был признать, что избыток белого сказывался на нервах, и похоже, что не только его...

Иоланта была молчалива. Габрисия ежилась, хотя в столовой было жарко, если не сказать, душно. Эржбета сидела прямо, глядя исключительно в свою тарелку, и лишь подрагивавший нож выдавал волнение. Панна Клементина, занявшая место во главе стола, сказала:

— Мы полагаем, что девушке благородных кровей к лицу умеренность во всем, в том числе и пище.

...белый длинный стол и венки из золотой эльфийской сосны, которая здесь казалась бледной, едва ли не больной. Белые свечи. Белые салфетки.

Проклятье.

— ...способность к самоограничению, самопожертвованию...

...белая посуда.

Себастьян с тоской смотрел на квадратную тарелку, украшенную парой стебельков спаржи.

— ...и таким образом, вы являетесь воплощением всего лучшего, что...

...спаржу Себастьян ненавидел.

Иоланта резала ее на маленькие кусочки, которые поливала маслянистым соусом... и рисовала

из соуса картинки на блюде. Богуслава, измяв спаржу вилкой, нюхала ее и кривилась.

— Приятного аппетита, — сказала Клементина.

Она ела аккуратно, медленно, тщательно прожевывая каждый кусок.

— Простите, — Себастьян, наколов стебель на вилку, понюхал. — А что-то другое будет?

— Что именно?

— Ну... что-то менее... диетическое?

— Спаржа крайне полезна для кожи и волос. Но будут оладьи...

...красавицы рано обрадовались. Оладьи оказались кабачковыми, кое-как обжаренными и по вкусу донельзя напоминающими бумагу. К ним подали травяной чай и сок из свеклы.

— Свекла полезна для печени... вы же хотите, чтобы ваша печень прожила долгую жизнь?

— Да, — пробормотала панночка Белопольска, приносясь к стакану. — И желательно, не только она...

Сидевшая рядом эльфийка тихо хихикнула...

— Я рада, что у вас остались силы шутить. Наша Королева обязана обладать... правильным чувством юмора.

— Это как? — карезмийка в платье выглядела нелепо — чересчур крупная и массивная, с неженственными резкими чертами, которые сейчас стали особенно заметны.

— Ваши шутки должны быть уместны, тактичны и смешны... но на этом мы остановимся чуть позже, — Клементина отставила пустой стакан и поднялась, демонстрируя, что ужин закончен. — Сегодняшний вечер мы посвятим письмам.

Безмолвные служанки убрали со стола.

— Сейчас каждая из вас сочинит письмо родителям...

— А если...

— Или родственникам, панночка Тиана. Подруге. Кому угодно...

— И что писать? — с сомнением произнесла гномка, принимая шкатулку с письменными принадлежностями.

— Письмо. Если же вы, Лютиция, желали узнать, о чем именно должно быть это письмо, то здесь я, увы, к вящему моему сожалению, не способна помочь вам. Пишите о том, что вас впечатлило, взволновало, беспокоило... о том, что вы чувствуете и чего желаете...

Красавицы переглянулись.

...о да, пишите, Себастьян готов был сожрать свою новую шляпку, украшенную дюжиной атласных роз, что письма эти, прежде чем покинуть особняк, будут тщательным образом перлюстрированы. А с другой стороны, так даже интересней. И на фаянсовую белую

чернильницу он глянул с хищным интересом.

О том, что беспокоит?

Да, пожалуйста, панна Клементина... у нас помимо хвоста тайн нет...

«Милый дядечка, Константин Макарыч! — со всей старательностью вывел он и прикусил деревянную рукоять пера. С острия на белую бумагу стекла клякса, небольшая и в чем-то изящная, она заставила Клементину поморщиться.

И пишу тебе письмо, потому как нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался...

Следующую каплю Себастьян поймал мизинцем в полете и палец в рот сунув, громко сказав:

— А у нас в городе чернила синие!

...и вправду темно-багряные смотрелись несколько... странно?

...а потому хочу благодарствие свое выказать и почтение превеликое к тебе. Как здоровье твое? Как поживает супружница твоя? Глядячи на сотоварок своих, поминавши я ее добрым словом, поелику лишь ея стараниями благоденствую ныне и нервами обладаю крепкими...

Очередная клякса украсила послание. Почерком панночка Тиана обладала выразительным, по-детски округлым, и буквы выводила тщательно, высунув в приливе старания окрашенный чернилами язык.

Прибыла я в Познаньск третьего дня, ехала тяжело, медленно, особливо долго на Сермяжьем перегоне стояли. И там я вспомнила, добрый мой дядечка, как говорил ты мне, чтобы не думала брать расстегаев у лоточниц, дескать, несвежее в них мясо сувают. А я уже купивши была, потому как оголодала дюже и сил моих никаких не было, но понюхала и вправду нехороший от тех расстегаев дух шел. Небось, уж дня два как порченные, но с чесночком густо замешанные, чтоб, значить, запах отбить. Не стала я их есть, тем единою, твоими наставлениями премудрыми и спаслася.

А в Познаньске уже извозчик долго меня по городу катал и цельный сребень, скотина хитроумная, содрать пытался, тогда как работы было на два медня всего! Проторговались цельный час, а он еще сплюнул, обозвавши меня срамным словом, которое девице пристойной знать не полагается, но я все одно знаю, ибо это самое слово вы пользовавши, когда с паном Аврельевым в бостон играть изволили и ему на последнем круге четырнадцатый козырь выпал.

Не понравилась мне столица, дорогой мой дядюшка, злые люди, да все с придурью.

А генерал-губернатор и вовсе, страх перед Ирженной-милосердицей потерявши, в доме своем статую голый бабы поставил, мнит, дескать, истина эта работы италийского мастера. Дом-то у него преогромный, какового, небось, и у мэра нашего нетути, ни у твоего, дорогой мой дядечка, приятеля, за которого ты меня сватать изволил.

Себастьян прикусил перо.

Нет, он не сомневался, что Евстафий Елисеевич послание истолкует верно, припомнит давнее дело с Сермяжым переулком, где душегубствовал судейский писарь, мстительным духом одержимым. Но вот как изложить остальное...

Прямо.

А еще одну девицу из конкурсанток прокляли! Две же с нею остались, и значит, только десятерых нас тепериче, об чем иные красавицы вовсе скорби никакой не имеют. Так нас до Гданьску и привезли, где мэр самолично встречал и кланялся, и супружница его кланялась, и сыновья кланялись. И все-то нам радовались, цветами задаривали. Мне-то целых два букетика принесли, правда, один совсем плохонький, поистрепавшийся, а вот панночке Габрисии прехорошенькую розу да без карточки, небось, от тайного поклонника.

Однако же, предупреждая беспокойство твое, любезный дядечка, спешу сказать, что поселили нас в Цветочном павильоне, куда мужчинам ходу нет никак, даже на минуточку или две, и честь нашу будут блюсти строго. Панна Клементина днесь много говорила про всяческие добродетели, прямо как супружница ваша, которая меня недолюбливает, хотя я никакого ей повода не давала и вновь же в ножки кланяюсь, за науку благодаря.

А после речей нас отвели в комнату, велели разоблачиться и мерки снимали. Хочу-то сказать, любимый мой дядечка, что все конкурсанки одна другой краше, и ни у кого-то изъяну нет, только у меня хвост один. Меня из-за этого хвоста выгнать хотели, но потом забоялись скандалить, когда сказала я, как вы меня научили, вот я и осталась. А панна Клементина за то, что спорила, крепко меня невзлюбила. И дала комнату незабудковую, с зеркалом преогромным, которое почти напротив окна висит.

Ты не переживай, милый мой дядюшка, окна хорошие, не сквозят, и от ворья всякого решетками забраны, красивыми очень, аккурат такие у пана Сигизмундова стоят. Помнишь, в прошлом годе, когда семь особняков обнесли, егойный не тронули, небось, с решетками связываться забоялись. А зеркало я покрывальцем накрыла, потому как помню, что матушка моя покойная, твоя разлюбимая сестрица, говаривала, что луна, в зеркале отраженная, красоту тянет? Нет уж, красота мне моя вся понадобится.

А еще нас панна Клементина голодом морить вздумала...

— Тиана, вы еще долго писать собираетесь? — вышеупомянутая Клементина стояла, сложив руки на груди, и белые, они выделялись на сером невзрачном ее наряде.

— Неа, мне уже немного осталось!

— Вы весьма многословны...

Намек, что другие с заданием справились? И теперь ждут единственно панночку Белопольскую?

— Так ведь вы сами, панна Клементина, сказали, чтоб писала обо всем, чего волнует. А меня много чего волнует! Вот у нас в городе такого нет!

— Какого?

— Такого! — Тиана обвела комнату широким жестом. — Всякого! И я ж должна все дядечке расписать! Он же ж спереживается весь! Он так мне и сказал, отпуская, что, мол, Тианушка, ты одна моя надежда и отрада... а он в Познаньске не был! И туточки тоже не был! И вот получит он от меня письмецо, а там всего-то два словечка!

Клементина вздохнула, кажется, уже жалея, что завела этот разговор.

— Вот и надобно писать хорошо! Чтоб дядечка не беспокоился, — завершила речь Тиана, ткнув пером в чернильницу. Лишнее стряхнула, уже не заботясь, что падают капли на скатерть...

...и на ужин подали вареную спаржу, блинцы кабачковые и сок со свеклы, дескать, зело он пользительный. Милый мой дядечка, пожалей меня, сиротинушку подкозельскую, пришли мне мясца, паляндвички сушеной, сальца с чесночком и еще колбас тех, которые супружница твоя велит от меня на чердаках прятать, дескать, ем я их втихую. Клевета это, дорогой мой дядечка! А если и случилось мне разочек пробу снять, так едино из желания увериться, что сделаны те колбасы должным образом, что не пожалели на них ни соли, ни приправов. И ныне вспоминаю я о доме твоём с величайшею сердечной тоской, думая, что туточки, в королевском палаце, помру я смертушкой лютой, голодною...

Себастьян вздохнул, прислушиваясь к урчанию желудка, явно не готового довольствоваться малым. И ладно бы голод, с голодом Себастьян как-нибудь управился бы, но ведь поддержание образа требует сил немалых, тут на одной вареной спарже и вправду недолго ноги протянуть.

Еще панна Клементина, дай ей Боги многих лет жизни, невзирая на ее ко мне, беззащитной, нелюбовь, роздала нам книжечки навроде бальных, богатые сильно, с камнями. А в книжечках тех расписание. И завтрашним днем начинается конкурс, поведут нас во дворец и будут пытать единорогом. Милый мой дядечка, слезьмя тебя прошу, помолись за племянницу свою бедовую, потому как зело я этого зверя страшуся. Нет, дядечка, не подумай плохого. Твоя Тианушка соблюла девичью честь, как оно положено и соблюдет до самое свадьбы, потому как помнит наставления твои и руку крепкую. Знаю, что бил ты меня едино из великой любви, наставляя на путь истинный, а что батогамы, так то норы у тебя, милый дядечка, вспылчивый. Сама я виноватая, что полезла целоваться с Прошкой оканным, не из любви, но сугубо из любопытства превеликого, каковое мне в одно месте свербело да твоими стараниями вовсе вышло. И вот думаю я тепериче, как бы с того разу и не вышло беды. Вдруг да зверь энто почует на мне Прошкин дух?

Молись за меня. И супружница твоя, которой в ноги падаю, целую подол платья ее парчового, для которого ты ткань по три сребня за аршин покупал, пускай тоже молится. Хотя змеюка она, как есть, дорогой мой дядечка, и хоть верить ты в это не желаешь, ждет, чтоб я с позором домой вернулася. Но все одно, как заповедано богами, не держу я на нее зла, но тако же буду просить о добром для нее здравии. Хотя печенка у нее не от сглазу болит, а от того, что ест она севрюгу жирную, и фуа-грай, и еще зайчатину в клюквенном соусе томлену, тогда как бы ей обойтись соком свекольным. Он и для лица полезный зело.

Кланяюсь тебе, дорогой мой Константин Макарыч!

Вечно тебе обязанная за доброту твою и ласку, за то, что не бросил сиротинушку горемычную на судьбы произвол, Тиана Белопольска!».

Себастьян поставил жирную точку и выдохнул с немалым облегчением. Вскинув очи на панну Клементину, которая так и стояла, со скрещенными на груди руками, таким прескорбным изваянием святой мученицы Вефстафии, которая добрым словом обратила в истинную веру четыре дюжины разбойников, сказала:

— Притомилася я.

— Утомилась.

— И вы тоже? — воскликнула Тиана, манерно прикусивши кончик пера.

Сей жест, исполненный истинной аристократической неги, панночка Белопольска подсмотрела в клубе молодых пиитов, куда случалось захаживать Себастьяну по... по служебной надобности.

Исключительно.

Молодые пииты и пиитессы собирались под вечер, особенно предпочитая отчего-то вечера туманные, зловещие. Единственный фонарь, висевший над кабачком «Словесный путейщик», был выкрашен в черный колер. Черными же были скатерти, пол и печь в полстены, но последняя — от лени хозяйской, а не вследствие творческого замысла. В черненых стаканах подавали коктейль «Вдохновение», состоящий из трех четвертей спирта местной выгонки и одной — шампанского, как подозревал Себастьян, тоже местной выгонки. Закусывать полагалось сухими хлебными корками, ну, или на худой конец, ежели муза и судьба были милостивы, то жареными шкварками. Под шкварки неплохо шли блинцы, но речь не о том, а о молодых пиитессах, которые, взобравшись на сцену, ломким срывающимся голосом читали стихи, большей частью о мерзости жития, несправедливости бытия и любви.

Их слушали, жиденько рукоплескали...

...иные, которые писали великий стих, или же роман, но тоже непременно великий, на сцену не выходили, но морщились, ревниво поглядывая на конкуренток. И делали умные лица, закатывали очи и перышко кусали, непременно гусиное... с гусиным-то образ выходил претомнейшим...

Себастьян надеялся, что удалось ему передать и взгляд — пресыщенный жизнью, утомленный, с толикой обреченности и готовностью принять горькую судьбу, как она есть... и Клементина, видать, с молодыми дарованиями знакомства не водившая, дрогнула.

И отвернулась.

— Устала, — севшим голосом призналась она. — И у вас тоже был нелегкий день... вы позволите?

Она взяла листы, щедро присыпанные речным песочком, брала осторожно, двумя пальчиками за уголок, и стряхивала песочек на доску.

Впрочем, скатерти тоже попадало.

— Погодите! — Тиана выхватила последний. — Я ж не подписала кому! Дядечке... на деревню... он у меня в деревне живет, рядом с Подкозельском. И я там жила, после того, как матушка померла... батюшка мой и того раньше представился, его я вовсе не помню... и дядечка

говорит, что мне повезло, потому как был он личностью негодной и матушку со двора свел... приданое ейное...

— Ее...

— Ее приданое растратил, — сложив лист вчетверо, Себастьян аккуратно вывел «Белопольскому Константину Макарычу, деревня Севрюжки, Подкозельского уезду, Трокской губернии»... — И пришлось маменьке в приживалки идти со мной. Она с горя-то и померла. Ну или пила много... но это дядькина жена говорила, а она — змеюка еще тая!

— Та...

— Ага, я ж и говорю! Змеюка! И меня извести пыталась... но я потом переехала в Подкозельск, в дом маменькин... там хозяйская рука надобно, без руки-то разом проворуются...

Это она уже договаривала в спину Клементине.

— Дядя меня и замуж сговорил...

— Что ж не пошла? — поинтересовалась Богуслава, разминая бледные виски полупрозрачными пальцами.

— Так он старый уже! Дядькин друг... нет, богатый, почти как наш мэр, но я дядечке так сказала, что вот выиграю конкурс, корону примерю и найду себе мужа получше!

— Выиграй сначала, — Эржбета, взяв чистый лист, сложила его вчетверо и сунула в корсаж.

— Конечно, выиграю! Кто, как не я?

Панночке Белопольской отвечать не стали.

...а в столовой догорали свечи, и прежняя белизна поблекла, поистерлась, словно подернулась тонким слоем пыли. Запах плесени стал отчетливей, и Себастьян отметил, как морщится, отодвигаясь от стола, эльфийка...

...надо бы сказать, чтобы убрали ее под любым предлогом...

...гномка вздыхает, пересчитывая каменья на родовом браслете, снимать который она отказалась наотрез, а карезмийка, демонстративно разложив метательные ножи, полирует их батистовым платочком.

...Ядзита вышивает...

...беседуют о чем-то Лизанька, Иоланта и Габрисия... человеку не расслышать, но Себастьян человеком не был.

— ...дура полная... — это Лизанькин голосок, в котором звенят ревнивые ноты. А глядит дочь познаньского воеводы с непонятной злостью.

Нет, не узнала.

Тогда откуда эта неприязнь?

— Дура дурой, а на конкурсе осталась, — миролюбиво заметила Габрисия, перебирая белые

звенья цепочки, простенькой с виду, но... откуда взяла?

Из собственных украшений?

И отчего взгляд Себастьянов за этой цепочку зацепился, что в ней есть помимо цвета?

— Повезло.

Лизанька касается тонкого витого браслетика...

...тоже белого.

— Не скажи, дорогая... чтобы дурочкой быть немалый ум требуется.

Лизанька фыркнула, но спорить не стала...

— Она дура, а не дурочка...

— Ошибаешься, — Иоланта старалась не смотреться в зеркала, но взгляд ее то и дело останавливался на очередном, словно нечто, скрытое в стеклянных их глубинах, лишало ее воли, заставляя вновь и вновь переступить через собственный страх.

А Иоланта боялась и всякий раз вздрагивала, ежилась, будто бы от сквозняка... а рука сама собой касалась белой капельки-слезы...

— Дурочка, хорошенькая наивная дурочка, из тех, которые весьма по вкусу мужчинам, потому что рядом с такою вот... дурочкой любой будет чувствовать себя едва ли не гением. Красива, не особо умна... родовита... что еще надобно от хорошей жены? Вот увидите, корона или нет, но... замуж она выйдет.

Себастьян очень надеялся, что это предсказание, сделанное быть может, исключительно из благих побуждений, не сбудется. Замуж ему хотелось еще меньше, чем жениться...

...а свечи догорали.

...и старые часы, естественно белые, громко вздохнули. Удар их заставил тени отступить вглубь зеркал, и панночка Иоланта вздохнула с немалым облегчением, Богуслава же отвела руки от висков...

...керамзика убрала ножи.

Эльфиечка же, поднявшись на цыпочки, сказала:

— Наступает час фиалки...

— Что за чушь? — Эржбета вертела на пальце белое колечко, глядя на него с удивлением, точно сама не могла понять, откуда взялось оно.

— Не чушь, — поддержала эльфочку Ядзита. — Это ведь цветочный павильон, и часы здесь тоже цветочные... десять — фиалка... одиннадцать — болотная лилия...

...незабудка была двенадцатой.

А первым номером, чайной розой, шла Иоланта. И в этом наверняка был собственный скрытый

смысл... впрочем, о нем Себастьян решил подумать завтра...

Евдокия ворочалась в постели, хотя в прежние-то времена бессоницей она не страдала. Тут же все было не так. Кровать — узка, перина — тонка, и под нею чувствовался соломенный комковатый матрац. Сквозь гардины, расшитые гиацинтами, пробивался лунный свет, и тени шелковых цветов ложились на пол. Они шевелились, отчего становились похожи на крупных тараканов...

...тараканов Евдокия терпеть не могла. И спустив руку с кровати нашарила туфлю.

С туфлей и револьвером ей было поспокойней... и зеркало, завешенное покрывалом для порядку и из врожденной предусмотрительности, не внушало прежнего страха, но и спокойствия не добавляло.

Ко всему голод мучил.

Спаржу Евдокия любила чуть меньше, чем тараканов, сразу вспоминая няньку-австрийку, каковая полагала вареные овощи залогом детского здоровья...

...она вздохнула, понимая, что заснуть не выйдет, и села в кровати, сунула пальцы в волосы.

Хотелось пить.

И есть.

— Проклятье, — Евдокия подтянула горловину ночной рубашки, которая норовила совершенно неприлично сползти с левого плеча, ну или с правого.

Да и сама по себе была... неудобной. Коротенькая, едва-едва колени прикрывает, сшитая из тончайшего полупрозрачного батиста, отделанная кружевом, она навевала мысли... почти неприличные. И Евдокия рубашку бы сняла, вытащив свою, из дома взятую, пусть и не такую нарядную, но зато уютную, разношенную и мягкую, но... вещи изъяли.

— Дважды проклятье, — Евдокия рубашку дернула, понимая, что злость, ею испытываемая, иррациональна. — И трижды.

Прежде Евдокии редко приходилось испытывать подобное смятение. Она поднялась, обошла комнатку, открыла шкаф и закрыла, поправила покрывало на зеркале, подняла ленту... и конечно, туфлю... подвинула канделябр... и не удержалась, выглянула за дверь.

Пусто.

И темно.

Нет, темнота не та, непроглядная, дикая, каковая бывает в старых шахтах, но полупрозрачная. И глаза, привыкая к ней, различают очертания предметов. Резные рамы, белесые статуи, часы... узор на ковровой дорожке... двери... двери заперты, в этом крыле Евдокия одна, и эта очередная странность уже не вызывает ничего, помимо глухого раздражения.

Что происходит в этом доме?

...за спиной раздался вздох. И Евдокия замерла. Она вдруг поняла, что стоит в центре коридора, хотя не помнила, чтобы сделала больше одного шага, но собственная комната

осталась где-то позади, потерявшись среди иных, запретных дверей.

Где-то далеко и гулко часы пробили полночь...

— Кто здесь? — Евдокия покрепче сжала туфельку, радуясь, что обувка пусть и домашняя, но на невысоком остром каблучке. И подошва крепкая... и вообще, у нее револьвер имеется...

Чего бояться?

Ничего.

Она же не испугалась тех разбойников, которым вздумалось маменькин экипаж остановить... и стрелять пришлось промеж глаз. Потом еще у Евдокии руки дрожали от мысли о том, что она, Евдокиюшка, живую душу загубила... но потом, а в тот самый миг, когда дверца открылась и в экипаж сунулась кривая разбойничья харя с рваными ноздрями да клеймом на лбу, Евдокия думала лишь о том, хватит ли на всех патронов...

...и в прошлом году, когда на рудниках бунт приключился...

...и давно уже, в позабытом прошлом, когда фабрику подпалили...

...и мало ли в короткой, хотя не такой и короткой, Евдокииной жизни, приключалось всякого, по-настоящему недоброго, а тут... подумаешь, дом пустой.

Старый.

Коридор... и ступает кто-то... рядом, близко... Евдокия идет, и он за нею. Дышит, и от дыхания его волосы на шее шевелятся, а кожу будто бы холодком обдает. Стоит остановится, и этот, невидимый, тоже замирает. Обернешься, и нет никого.

— Я тебя не боюсь, — облизав пересохшие губы, сказала Евдокия.

Бойтся.

Сердце колотится, что сумасшедшее, и коленки трясутся, как у чернавки, которую в подпол послали. Она ж, Евдокия, женщина умная, ученая. И читает не только финансовые ведомости, что бы там Аленка ни говорила. Она знает, что есть магия, а что — суеверия черные... и поддаваться собственному страху, рожденному исключительно необычностью места, не собирается.

Она дойдет до окна, которое видно в конце коридора, и вернется в свою комнату...

Тот, кто стоял за спиной, вздохнул.

И Евдокия обернулась, присев, выставив револьвер и туфельку...

Никого.

Ничего... и только в зеркалах отражается она, растрепанная, босоногая... нелепая до смешного. Нет, пожалуй, не будет она к окну ходить, а сразу к себе вернется... вот прямо сейчас, а то вдруг встретит кого, живого, от позора вовек не отмоется.

Как ни странно, от решения этого полегчало, и до комнаты своей Евдокия добралась без приключений. Шаги за спиной — не в счет. Пусть себе шагает, если ему, чем бы оно ни было,

охота...

Дверь закрылась за Евдокией с громким хлопком, и звук этот заставил подскочить, обернуться...

...туфелька улетела в открытое окно. К счастью, выстрелить Евдокия не успела.

— Знаете, — сказал гость, весьма бодро скатившийся с кровати на пол. — У вас нервы не в порядке.

— А у вас, кажется, голова... — револьвер Евдокия не убрала. — Что вы здесь делаете?

— Вас жду.

Лихослав встал на четвереньки.

Следовало признать, что в черной рубашке, в черных же брюках и черных мягких сапогах, он смотрелся весьма импозантно. Образ не то лихого разбойника, не то героя-любовника, довершал черный платок, повязанный по самые брови.

— Ну, допустим, вы меня дождались, — Евдокия скрестила руки на груди.

— Допустим...

— И дальше что?

Он встал, отряхнул руки и предложил:

— Хотите, я вам серенаду спою?

— Зачем?

— Для развития отношений.

— Каких отношений?

— наших с вами... — Лихослав сунул руку за пазуху и вытащил несколько растрепанный букетик незабудок. — Вот. Держите.

Букетик Евдокия приняла. Во-первых, все происходившее отдавало легким безумием, и мятые незабудки, от которых едва уловимо, но отчетливо пахло копчеными колбасками, в это безумие вписывались. А во-вторых, Евдокии прежде букетов не дарили.

— Спасибо.

— Пожалуйста... так спеть?

— Может... не стоит?

— Зря, у меня голос хороший. И слух имеется.

Он ущипнул себя за ухо, в котором поблескивала серебряная дужка серьги.

— Вы... вы... — Евдокия нюхала незабудки, наслаждаясь волшебным ароматом колбасы,

который напоминал, что есть ей по-прежнему хочется. — Вы с ума сошли!

— Похоже на то, — миролюбиво согласился Лихослав. — Но на голосе это не скажется, поверьте...

Верит.

И вдруг вспоминает, что стоит босая, растрепанная и в дурацкой полупрозрачной рубашке с кружавчиками... в одной руке незабудки, во второй — револьвер...

— Отвернитесь! — Евдокия отступила к шкафу, стараясь держаться так, будто бы ей не впервой в собственной спальне полуночных ухажеров встречать.

Лихослав повернулся спиной...

...среди вещей, которые выдали конкурсанткам, а заодно и Евдокии, домашний халат наличествовал. Из стеганого шелка, прошитый квадратами, он завязывался на широкий скользкий пояс, и Евдокия дважды проверила узел на крепость.

По-хорошему следовало бы выпроводить незваного гостя, быть может, пригрозить охраной, но... тогда Евдокия останется одна и в полуночной тишине начнет думать о зеркалах, коридорах и том, кто бродит по ним...

Ну уж нет!

Понюхав незабудки, Евдокия сказала:

— Все. В смысле, если хотите, то поворачивайтесь.

Лихослав хотел.

— А без халата вам было лучше, — заметил он, присаживаясь в кресло.

— И все-таки, зачем вы здесь? — Евдокия заняла второе. Револьвер она сунула в карман, не потому, что опасалась ночного гостя, скорее уж по давней своей привычке. — Не так давно, помнится, вы за Аленкой ухаживали...

— Ну я же не знал, что вы ей сестра.

— А теперь знаете.

— Ага, — улыбка у него была хорошей, хулиганистой. — Теперь знаю... Ясноокая Евдокия Парфеновна, девица двадцати семи лет отроду... соучредитель фирмы «Модесть»... а также четырех иных, с совокупным капиталом в полтора миллиона злотней...

Евдокия фыркнула... если добавить еще несколько предприятий, Великоламские артели, в которых у матушки имелся пай, а также рудники, то выходило вдвое против названного.

— То есть, вы решили, что и я в невесты гожусь?

Лихослав кивнул.

— И вам не стыдно признаваться, что вам нужны исключительно мои капиталы?

— Не стыдно, — он подпер широкий подбородок ладонью. — Потому как отнюдь не исключительно... а в остальном. Сами посудите, выдали бы вы сестру, скажем, за... студиязуса? Такого, который живет, зарабатывая в кабаках пением? Или вот... за грузчика... за ямщика...

Он загибал пальцы на левой руке.

— Да и себе вы вряд ли возьмете в супруги первого встречного...

— И от второго воздержусь.

— Хорошо, — Лихослав дернул себя за длинную прядку, — буду третьим. Но если серьезно, Евдокия, вы, как мне кажется, не приверженка теории, что брак должен заключаться исключительно по любви.

— Не приверженка...

...он ведь нечаянно, не со зла, но все-таки ткнул в старую рану...

— Я не верю в любовь, — сказала Евдокия, отворачиваясь к окну.

Главное, чтобы голос не выдал, не дрогнул.

— Бывает, — Лихослав руку со стола убрал. — В таком случае, вы меня поймете. Вы деловая женщина, и совершая очередную сделку, скажем, приобретая некое предприятие, вы ведь рассчитываете, что оное предприятие принесет вам выгоду?

— Пожалуй, — с этой точки зрения Евдокия брак не рассматривала.

— И в этих ожиданиях вы не видите ничего дурного.

— Да.

— Брак — та же сделка. Одна сторона принесет другой деньги...

— А взамен?

— Княжеский титул. Так уж получилось, что его... и все, с ним связанное, наследую я, — Лихослав смотрел прямо...

...и не врет. Не нагрелась заговоренная капля...

— То есть, вы предлагаете...

— Познакомиться друг с другом поближе. Вы присмотритесь ко мне. Я к вам... а там видно будет.

А почему бы и нет? Что она, Евдокия, девица двадцати семи лет отроду, точнее, не совсем, чтобы девица, но с возрастом он не ошибся, теряет?

— Я за вами ухаживать буду... стихи читать... если надо, то и про коров... цветы дарить...

Понюхав незабудки — колбаски были знатными, с чесночком — Евдокия сказала:

— Лучше котлету.

— Простите?

— В другой раз подарите мне котлету... или две.

...а утром, спускаясь к завтраку, гномка споткнулась на ровном месте и сломала ногу...

Увы, перелом оказался сложным, требующим длительного лечения, а потому панночка Светозара ко всеобщей тихой радости из соревнования выбыла.

Глава 12

Единорог косил лиловым глазом, и длинные белые ресницы его трепетали...

Клятая скотина строила глазки.

И кланялась, встряхивала шелковистой гривой, вздыхала томно, норовя повернуться профилем, который был по-своему хорош. Точеная морда с горбинкой, нервными ноздрями, рог витой нежно-розового жемчужного оттенка. Шея лебяжья, гнутая. Ноги тонкие, копыта звонкие.

Нет, единорог, обретавшийся при королевском зверинце, был, вне всяких сомнений, прекрасен и красоту свою всецело осознавал, но это же не повод глазки строить!

...Себастьян был зол.

И голоден. Причем первое обстоятельство было прямым следствием второго. На завтрак, состоявшийся в половине седьмого утра — кто придумал сию пытку? — подали нежирный деревенский творог с ежевикой. По три ложки на красавицу...

Издевательство.

И примерка — еще одно... то стой, то сядь, то пройди, то замри. И не так, а чтобы непременно в картинной позе и перед зеркалом, которое по утреннему часу глядело совсем уж недружелюбно. Швей суетятся, но как-то странно, молча, согласованно, точно не люди — куклы ожившие... крутят-вертят, тычут булавками. Ленточки повязывают, бантики цепляют...

...Богуслава больше не мается головной болью, все еще бледна, но и только. И злится, дергает подол белого платья, требуя талию сделать на полпальца выше, и вырез квадратным. Воротничок же убрать, с воротничком ее шея глядится короткой...

...Эржбета настаивает на том, что белый ей не к лицу. Она и без того бледна...

...Габрисия молча перебирает атласные ленты...

...ее платье расшито ромашками, тогда как собственное Себастьяново — незабудками...

Иоланта молчит, глядит в зеркало и улыбается сама себе, застыла восковой фигурой. И не сказать, чтобы бледна — на щеках пылает румянец, однако болезненный какой-то. Руку подняла, протянула, коснулась стекла и отдернула, сунув пальцы в рот, задышала часто.

...а запах гнили сделался явным. Он словно зацепился за край ее платья, и коснулся кожи. И если так, то надо выводить ее... по-хорошему всех бы убрать из странного этого места, которое, Себастьян готов был поклясться, было небезопасно.

И Клементину потряхнут, она знает правду. Или догадывается, но молчит. Клятвой крови связана? Или по иной причине? Когда думает, что ее никто не видит, хмурится, и в глазах появляется такая нечеловеческая тоска, что Себастьяна передергивает прямо, а он, хоть и чувствительный по метаморфьей своей натуре, но всяко старший актер...

Что творится в Цветочном павильоне?

И как остановить это, не спугнув колдовку?

...которая из них? Вчера-то все чисты были... оно и понятно, кому захочется с конкурса выбыть по пятому пункту Статута... отвела глаза, и думать нечего.

В общем, отнюдь не единорогом занята была голова панночки Белопольской.

— Ваша задача проста, — Клементина стукнула сложенным веером по ладони, звук получился донельзя резким, неприятным. — Пройти по красной дорожке к трону и поклониться Его Величеству, а затем вернуться. Первой будет Иоланта, затем — Эржбета...

...цветочный циферблат...

— Тиана... Тиана, ты меня слышишь?

— Да, панна Клементина, — Тиана очаровательно улыбнулась. — Конечно, я вас слышу. Я ведь не глухая! Вот у дядечкиной жены швагерка имеется, так та глухая! Пень-пнем, а никому-то не говорит! Приноровилась по губам читать, только все все равно знают, что она глухая... а вы зачем спрашиваете?

— Просто так. Ты пойдешь последней.

— Почему?! Это из-за хвоста, да? Так его ж не видно совсем! Платье вон со шлейфой!

— Шлейфом...

— Вот, с ним самым... шлейфом, — и панночка Белопольская шлейф приподняла, демонстрируя, что хвоста ее действительно не видно. — И чего?

Клементина демонстративно вопрос проигнорировала, только губы поджала. Надобно ей сказать, что с поджатыми губами она становится похожей на разобидевшуюся мышь... или не стоит?

Меж тем протрубили герольды, и резные двери распахнулись... Иоланте сунули в руки повод и подтолкнули на красный язык дорожки. Она шла, словно во сне, и переступив порог, вдруг обернулась. В синих глазах ее, невозможно ярких, плескалось отчаяние.

...Эржбета единорога погладила...

...за эльфочкой он сам пошел...

...на Лизаньку косился, шею выгибал, но рог остался жемчужно-розовым...

...с керазмийкой зверюга шалить опасалась, потому как та возложила на спину ладонь и вежливо сказала:

— Хорошая лошадка...

Улыбнулась, демонстрируя клыки, и Себастьяну вдруг вспомнилось, что конину керазмийцы очень даже жалуют, сырую и с приправами. Похоже, единорог тоже это припомнил, и потому ступал по дорожке едва ли не на цыпочках, не смея оскорбить опасную спутницу свою взглядом...

...зато на Богуславе отыгрался, то плясал, то упрямылся, упираясь всеми четырьмя ногами, то хвостом вдруг принялся невидимых мух отгонять, да так, что и Богуславе перепало.

Злилась.

Терпела и только костяшки пальцев, в повод вцепившихся, побелели...

...Ядзите пришлось упрямую тварь едва ли не силком на поводу волоочь... и когда очередь дошла до Тианы, единорог встал намертво. Он широко расставил передние ноги, и острые копытца увязли в красной дорожке. Зверюга выгнула шею, голову наклонила, оскалилась, всем видом своим показывая, что с места более не двинется.

— Прошу вас, панночка, — смотритель королевского зверинца протянул Тиане половинку яблока. — Угостите его, а то ведь тоже живая тварь, к шуму непривычная... у нее нервы... каждый год на последних девках шалит...

Яблоко одуряюще пахло яблоком, и у Себастьяна появилось почти непреодолимое желание спрятать его... да хоть бы под тем же шлейфом.

Спрятать. Вынести и сожрать.

Единорог, верно, заподозрил неладоное, поскольку, оттолкнув служителя, в яблоко вцепился и смачно захрустел. Вот скотина...

— Ну, — Тиана намотала на кулак шелковый повод, — идем, что ли?

Он тихонько заржал, обдав брызгами яблочного сока...

— Шкуру сниму...

...не поверил.

Тогда панночка Белопольска вцепилась в витой рог, дернула, заставив единорога голову наклонить, и очень нежно прошептала на бархатное ухо.

— Рог спилю, самого перекашу и продам карезмийцам...

Единорог шарахнулся было, но панночка держала крепко.

— Будешь шалить? Вот то-то же...

И повенувшись к служителю, Тиана сказала:

— У дядечки в усадьбе коза имелась, такая, знаете ли, скотина... редкостная... с морды еще на дядькову жену похожая, ну чисто сестрица родная! И характером паскуда паскудою! На всех кидалась... и от я одного-то разу иду, никого не трогаю, лузгаю себе семечки, думаю о высоком, а она подскочит и под юбку рогами... а юбка-то новая! Только-только пошили, потом бы дядечкина жена опять стала говорить, что на меня тратится бесчисленно, а я, благодарная, вещи не берегу. Ну тогда-то я и осерчала крепко, семечки выкинула, взяла оглоблю и как дала

по хребтине...

Единорог, до того косившийся на последнюю конкурсантку с немалым подозрением, тихонько заржал.

— Но вы не волнуйтесь, — сказала конкурсантка, обернувшись на пороге. — Я ж с пониманием, что коза, скотина дурная, Хельмово отродье, а что единорог... единороги — создания магические, трепетные... и к девам невинным ласковые... правда?

Единорог согласился.

Просто. На всякий случай.

Его Высочество, Матеуш, князь Сапежский, будущий самодержавный властитель всего королевства Познаньского и сопредельных территорий, ныне известных как Серые земли, изволил хандрить. Занятию сему он предавался самозабвенно и вторую седмицу кряду, что, собственно говоря, вызвало немалые опасения у венценосной матушки. Батюшка, не менее венценосный, но с куда как более крепкою нервной системой, на упреки супруги и требование немедленно отослать хандрящее дитя на воды, напомнил, что дитяти оному давече двадцать шесть годочков исполнилась. И он, конечно, Матеуша отослать может, только не на воды, чай, не институтка с застарелым сплином, а на те самые Серые земли, олицетворять правящий дом Гугенбергов и прививать у новых подданных уважение к королевской власти.

Оно, конечно, верно, что из подданных на Серых землях все больше нежити, но давече королева сама ратовала за зуропейскую демократию и толерантность по отношению к существам разумным... и пусть только скажет, что волкодлаки да упыри разума лишены...

Однако ехать на Серые земли Матеуш отказался.

Батюшка не настаивал. Оно, конечно, слава славой, но наследник, чай, единственный... не принцессам же трон оставлять...

Вот и сидел князь Сапежский на троне, по правую руку батюшки, хандрил и вздыхал, прикрывая очи королевской дланью... не способны были утешить его ни ведьмаковская иллюзия, превратившая тронную залу в Предвечный лес, ни красавицы, по оному лесу разгуливавшие в компании единорога. Следовало сказать, что придворные ведьмаки расстарались, иллюзия вышла качественной. Сквозь мрамор пола пробилась шелковая трава, в которой распустились белые звезды эльфийских галантусов. Колонны вздрогнули, обращаясь серебристыми стволами осин, зазвенела полупрозрачная листва, воздух пророс тончайшей паутиной слюдяника...

Красота.

И высокородная гостя, сидевшая по левую руку отца соизволила улыбнуться, сказав с легким акцентом:

— Ваш ма-а-агус очень талантлив.

...талантлив, этого не отнять. И в воздухе разлился нежный медвяный аромат. Запели птицы, а на туманную тропу ступила темноволосая хрупкая девушка. В белом платье, сшитом из ткани тонкой, полупрозрачной, она гляделась призраком...

Девушка шла, глядя перед собой, словно не замечая ни птиц, ни цветов...

Матеуш отвернулся, едва удержавшись, чтобы вновь не прикрыть лицо ладонью. Собственно говоря, причин для хандры у Его Высочества имелось две, и обе были связаны с женщинами. Первая, не самая важная, звалась Эльжбетой Авернской, нареченною невестой, чей портрет молодой князь имел несчастье увидеть на прошлой неделе. И зрелище это столь сильно ранило нежную душу наследника престола, что он всерьез задумался об отречении от этого самого престола.

Ну или разрыве помолвки...

Впрочем, и в первом, и во втором случае Матеуша ждали бы гостеприимные Серые земли со всеми их перевертнями, упрямыми и прочими потенциальными подданными... и это заставляло вновь и вновь извлекать из шкатулки миниатюру, вглядываться в лицо нареченной, приучая себя к чертам его.

Вторая причина была связана с особой куда как более привлекательной. Двадцати двухлетняя Анелия Рудзинская появилась при дворе в компании престарелого, но весьма и весьма состоятельного супруга. Молодую жену он рассматривал как альтернативное вложение капитала, и надежды его оправдались... став официальной фавориткой Его Высочества, Анелия о супруге, как и о многочисленной родне, не забывала, щедро одаривая их, само собой, не из собственного кармана.

Совет, естественно, протестовал, попрекая Его Высочества непомерными тратами, долг перед короной рос... отец ворчал... но Анелия была столь мила, очаровательна...

...лжива.

О ее романе с молодым итальяйским негоциантом Матеушу донесли. Сперва он не поверил, затем призадумался... и решился-таки выяснить правду.

Правда ввергла в хандру.

А панночка Анелия не вздумала каяться, верно, посчитав, что небесная ее красота защитит и от королевского гнева, и от опалы... или и вправду влюбилась в своего негоцианта? Он замуж звал, обещал увезти к солнечным итальяйским берегам...

Матеуш вздохнул.

Предательство женщины, пускай и не любимой, но всяко близкой и дорогой, ранило нежное королевское сердце. И ныне каждая красавица, с единорогом или без одного, поневоле напоминала, как и о коварной любовнице, так и о невесте...

...а их собралось с десятков.

И каждая хороша на свой лад, батюшка, уж на что остепенился к шестому-то десятку — злые языки поговаривали, будто бы не спроста сие случилось — и то на девиц поглядывает, бородашку щиплет и языком прицокивает. Матушка, естественно, хмурится, впрочем, скорее порядку ради.

Сестрицы тоже хмурятся, на сей раз из зависти. Им-то и все старания дворцовых ведьмаков красоты не прибавят. В батюшку пошли крупными носами, а от матушкиной ветви скошенные подбородки взяли... и если подумать, поглядеть на них, то не такой уж и страшной видится

заморская невеста...

...Анелия же пусть себе уезжает в Италию, но для начала вернет то алмазное ожерелье за сто двадцать тысяч злотней... это ж треть годового Матеушевого содержания!

В общем, на красавиц Его Высочество поглядывали не то, чтобы с опаской, скорее уж с предвзятостью.

— Хороши, ох хороши, — сказали Его Величество. И королева поджала губы, узкие, фамильные, доставшиеся ей от венценосной бабки вместе с рубиновым гарнитуром, над которым, поговаривали, чаровал сам Ансельм Великий...

...видать, повыветрелись те чары, поиссякли, вот и не скрывали рыхлости королевской кожи, болезненного желтоватого оттенка ее, морщинок на шее и второго подбородка, что наметился, несмотря на увлечение Ее Величества здоровой пищей.

Меж тем на туманной тропе появилась очередная, слава Богам, последняя в списке девица. Шла она бодро, если не сказать — чеканным шагом...

— Интересно, — венценосная гостья подалась вперед и подняла лорнет, который носила с собой, как подозревал Матеуш, исключительно забавы ради. — Даже так... никогда бы не подумала, что у вас настолько... демократичные нравы.

— Мы очень стараемся, — смутившись, ответила королева.

Своего увлечения демократией она слегка стыдилась, хотя и знала, что нет в нем ничего-то постыдного, однако поди ж ты...

— Вижу...

Гостья разглядывала девицу с таким пристальным вниманием, что и Матеуш заинтересовался.

А ничего, хорошенькая. Смуглявая, черноволосая... и главное, что нет на лице того выражения печали и томной отстраненности, которое столь полюбили придворные красавицы, полагая, будто бы придает оно их облику таинственность.

— И поражена... воистину поражена, — гостья убрала лорнет и, коснувшись сложенными руками груди, поклонилась. — Уж на что у нас вольные нравы, но и то... поостереглись бы...

Она замолчала, а королевская чета обменялась недоуменными взглядами.

— Панночка Тиана Белопольска! — возвестил глашатай, когда красавица приблизилась к трону.

Белопольска...

...знакомая фамилия, но знакомая весьма смутно, и как Матеуш ни пытался, не мог заставить себя вспомнить, где и когда слышал ее.

А хороша.

Лицо узкое, нервное и живое.

На нем и удивление, и восторг, каковой бывает у человека, впервые попавшего в тронный зал... и даже немного жаль, что панночка лишена возможности видеть его во всей первозданной красе.

...Белопольска...

...а не из тех ли князей Белопольских, которые дедовой тетке родней доводились? Надобно будет глянуть в родовых книгах, узнать, но похоже, что из тех.

Панночка смущалась, розовела, теребила подол белого платица и вздыхала так, что грудь ее, весьма, к слову, впечатляющая грудь, приходила в приятное волнение. И волнение это поневоле передавалось Матеушу...

...коварная Анелия была синеглазою блондинкой, пышных форм, мягких очертаний.

— Рад приветствовать вас, милейшая панночка, — сказал он, старательно глядя в черные лукавые глаза.

— И я... рада... — голос у красавицы оказался низким, бархатистым. — Всю жизнь мечтала хоть одним глазком глянуть, как оно во дворцах-то... а дядечка не пускал. Дядечка говорил, что рано мне ко двору ехать, там разврат один...

Ее Величество покачали головой и со значением воззрились на Его Величество. Тот лишь крякнул и ушипнул себя за бороденку. Разврат? Так разве ж то разврат был? Просто некоторая вольность нравов... вечно все в провинциях перевернут, извратят...

— Но я вижу, что дядечка ошибался, — красавица улыбалась так искренне, что и Матеуш от улыбки не удержался. — Нету тут разврата. Красота одна...

— Милое дитя... — восхитились Его Величество.

— Просто очаровательное, — с легким раздражением согласились Ее Величество.

Матеуш промолчал, чувствуя, как отступает хандра...

Принцессы нахмурились больше прежнего и девушку провожали взглядами раздраженными, верно, еще более остро осознавая собственную некрасивость, компенсировать которую не способны были ни титулы, ни королевские драгоценности. И в этом факте Матеушу виделась некая высочайшая справедливость... это, конечно, если отрешиться от портрета дорогой невесты. Все-таки справедливость кажется еще более справедливой, когда не затрагивает лично твои интересы.

— Дорогой, — покинув тронный зал, Ее Величество обратились к сыну. — Твое внимание к этой девушке будет... неуместно.

Она коснулась королевских рубинов, которые в полумраке коридора гляделись едва ли не черными.

— Одно дело — соблазнить замужнюю даму...

...тут еще надобно разобраться, кто и кого соблазнял.

— ...и совсем другое — невинную девицу...

Это Матеуш сам понимал.

Впрочем, подыскать для королевской фаворитки подходящего мужа — задача не такая сложная...

Ближе к полудню Евдокия доставили огромную коробку, перевязанную пышным шелковым бантом. От коробки, сквозь плотный картон, исходил умопомрачительный аромат чеснока, а внутри, на промасленной кальке, укрытые тончайшей вуалью папиросной бумаги, украшенные колечками маринованного лука и крупными ягодами клюквы, лежали колбаски.

«Сытного дня милой панночке, Л.»

Карточку Евдокия прочитала трижды и, заалевшись, чего с ней не приключалось давно, спрятала в ридикюль.

Колбаски оказались сочными.

Горячими.

И мясной сок стекал по подбородку, по пальцам, которые приходилось облизывать. Евдокия ела, едва ли не урчала от удовольствия, то и дело поглядывая на дверь... ручка швабры, позаимствованной в кладовой, не казалась ей надежным запором.

Желудок наполнился приятной тяжестью, а на душе потеплело. И ночные тревоги отступили, и дневные проблемы с ними...

...и в прочувствованной речи Лихослава теперь виделась своя правда...

...а почему бы и не выйти за него замуж? Он молодой, красивый...

...в карты играет, сам признался...

...и у семьи долги, а значит, только за картами дело не станет. И вообще, к вопросу будущего замужества Евдокия собиралась подойти серьезно, по-деловому. И следуя собственному же решению, она открыла записную книжку. Понюхав пальцы, от которых, несмотря на лавандовое мыло пахло точно так же, как от вчерашних незабудок — чесноком и острыми приправами — Евдокия вывела первое имя...

Лихослав.

Нет, она не всерьез, она ради порядка исключительно...

...и что она знает?

Неглуп, что, несомненно, плюс... хорош собой, а вот это уже в недостатки пойдет... и склонность к азартным играм... а вот честность — в достоинства... и пожалуй, с таким у нее получилось бы жить, если не в любви, то хотя бы во взаимной симпатии, которая мало хуже.

Глядишь, и договорились бы...

...он бы не вывозил любовниц в свет и попридержал бы запросы родни, а Евдокия, как и прежде, занималась бы делами... и титул ей вовсе не нужен. Титул, если хорошенько разобраться, никаких преимуществ в жизни не дает, проблемы одни...

Значит, титул — к недостаткам...

Евдокия вздохнула, снова понюхала пальцы и решительно добавила в список достоинств колбаски... на этом ее изыскания были прерваны стуком в дверь.

Стучали долго, настойчиво. Пришлось открывать.

— Панночка Евдокия, — на пороге стояла женщина в белом форменном платье с волосами, прикрытыми наметом. Она старательно глядела в окно, не замечая, казалось, ни самой Евдокии, ни покрывала, которое так и свисало с зеркала. — Вас спрашивают.

— Кто?

— Мужчина, — горничная произнесла это таким тоном, что Евдокия разом ощутила себя женщиной падшей, недостойной. Впрочем ощущение длилось недолго.

Упомянутым мужчиной был пан Стесткевич, каковой прогуливался вдоль каменной лестницы, кося синим оком на забаранные решетки окна. Причем косил он попеременно то правым оком, то левым, и лицо его приобретало некое престранное, хитроватое, выражение, будто бы он, Грель Стескевич, ведал нечто, неизвестное Евдокии... и не только ей.

— Ах, панночка Евдокия, — он кинулся к ней, снимая шляпу с высокой тульей, кланяясь, оную шляпой едва ли не щебень с дорожки сгребая. — Позвольте сказать, что вы сегодня просто прелесть до чего хорошенькая!

И к ручке припал, прилип влажными губами.

— Сегодня?

— И всегда, панночка Евдокия! Всегда! Но сегодня — особливо! — он не спешил ручку отпускать, мял, поглаживал и, хитро изгибаясь, умудрялся смотреть в глаза.

Причем снизу вверх.

С умилением и восторгом, которому Евдокия ни на грош не поверила.

— Что вам надо? — спросила она, с трудом удерживаясь, чтобы руку не вытереть о подол платья. Останавливало, во-первых, понимание того, что платье было не из дешевых, шитое из шелка, да с отделкою лентами и блондом, оно гляделось столь роскошно, что Евдокия чувствовала себя в нем неуютно.

Не привыкла она к подобным нарядам.

— Вас надобно, — с придыханием ответил Грель, порываясь припасть и ко второй ручке. — Панночка Евдокия! Я больше не имею в себе сил молчать...

— Какая жалость...

Евдокия позволила увлечь себя к розовым кустам, весьма густо обсыпанным розовыми же бутонами. В тени их раскинулись поля маргариток...

Р-романтичненько.

— Я в вас влюбленный!

— И давно? — Евдокия спрятала руки в рукавах, и пану Грелю не осталось ничего, кроме как мять жесткие поля соломенной его шляпы. Он нахмурился было, но скоро взял себя в руки и, прижав шляпу к груди, ныне украшенной букетиком фиалок, признался:

— Давно! С первого же взгляда! Но я не смел!

Он ударил себя кулаком в грудь.

— Чего не смели?

— Ничего не смел! Помыслить даже не смел, что вы одарите меня благосклонным взглядом... — он остановился и широким жестом вытащил из кармана замученный розан. — Это вам, панночка Евдокия, в знак сердечнейшей моей привязанности...

...и ведь не сказать, чтобы дурень...

...но нет, Лихослав, тот поумнее будет... однако принципы Евдокии требовали отнестись к безумной эскападе нового жениха со всей серьезностью. И приняв бутон, верно, содранный с ближайшего куста, она поинтересовалась:

— А теперь что изменилось-то?

— Все, панночка Евдокия, все! — ее ухажер, вытащив из кармана платочек, расстелил его на траве и, опустившись на одно колено, простер руку к Евдокии. — Я желаю видеть вас своею супругой...

...ужас какой.

Конкурс еще не начался толком, а женихи косяком поперли, и если так дальше пойдет, то блокнотика Евдокии не хватит.

Она смотрела на Греля, который заливался соловьем, рассказывая о том, какая она, Евдокия, вся из себя распрекрасная...

...к достоинствам следует отнести несомненную деловую хватку и некоторую скуповатость, от которой в семейной жизни польза одна. Это состояние на любовниц не изведет...

...с другой стороны, он не так и глуп, каким выглядит...

...а с третьей, не получится ли, что Грель, добравшись до маменькиных миллионов — во внезапную стасть Евдокия не верила — избавится от ненужной жены? Нет, дрянной он человечешко, скользкий... опять же, та история с самоубившейся девицею, к которой он будто бы непричастный, а слухи ходят...

— ...и стать моей женой! — завершил речь Грель, вытащив из другого кармана бархатную коробочку, надо полагать, с обручальным кольцом.

— Спасибо за предложение, я подумаю.

А ведь злится.

Глазами сверкнул, губы поджал недовольно. Или рассчитывал, что от признания этакого Евдокия растает? Бросится ему на шею, оросив ее девичьими слезами?

— Чего ж думать, — произнес Грель, не спуская с Евдокии раздраженного взгляда. — Я вас люблю...

— А я вас нет. И встаньте, будьте так добры.

— Панночка Евдокия, — он закрыл коробочку, убрал в карман...

...а пиджак новый, из дорогого сукна характерного маслянисто-желтого отлива, каковое только у аглицких мастеров и получается...

...и сшит по моде, так, чтобы плечи Греля гляделись широкими, а талия — по-девичьи узка... спину прямо держит. Сам или корсет носит? Пуговицы на пиджаке квадратные, с серебряной каймой и перламутровыми глазами. Рубашка белая, накрахмаленная. Галстук шелковый красный... готовился Грель к поездке. И отнюдь не ради Евдокии.

— Панночка Евдокия, — он поднялся и платочек подобрал, отряхнул, наклонившись, проверил, не осталось ли на брюках зеленых пятен травы, — давайте беседовать как взрослые разумные люди.

Руку, согнув крючком, выставил, предлагая Евдокии за локоток ухватиться.

— Давайте, — согласилась Евдокия, локоток игнорируя.

— Мы с вами знаем друг друга уже не первый год. И смею полагать, что я зарекомендовал себя человеком надежным... ответственным...

Он шел неспешною походкой, и солнышко играло на навощенных штиблетах с узкими носами. Из-за этих самых носов ноги пана Греля гляделись непомерно длинными.

— Я получил превосходное образование...

...и это верно.

— ...а также имел честь проходить практику в аглицком торговом доме, побывал в Индии... всвязи с чем имею некоторые прожекты, каковые полагаю крайне выгодными. У меня сохранились связи с надежными людьми, но вы сами понимаете, что своего капитала я не имею, а пользоваться деньгами вашей матушки — значит, ей же отдавать и прибыль. Мне не хочется до окончания дней оставаться приказчиком.

...и поэтому ему в голову пришла чудесная мысль жениться на Евдокии.

— Конечно, я мог бы взять ссуду, ежели бы ваша маменька соизволила выступить моим поручителем. Однако, сами понимаете, сколь высоки нынче проценты, а прибыль, необходимую на погашение оной ссуды, мое предприятие даст далеко не сразу...

Похрустывал под ногами щебень, и солнышко пригревало... птицы пели... и пан Грель торопливо, точно опасаясь, что Евдокия исчезнет, излагал грядущие несомненные выгоды их брака, который отчего-то именовал единением.

И да, пожалуй, торговля с Индией была бы выгодна... вот только рискованна. Аглицкие компании прочно перекрыли морские пути, рыщут королевские фрегаты, топят чужаков, чтобы не рухнула королевская монополия...

...нет, с контрабандою связываться — себе дороже...

...хотя один корабль, добравшийся до Бреньска, пожалуй, окупит разом все затраты, велико искушение, но не настолько, чтобы за пана Греля замуж идти.

— И естественно, ежели вы опасаетесь, что я, ставши вашим мужем, завладею капиталами...

...опасается? Да Евдокия почти уверена, что завладеет.

— ...мы заключим брачный договор...

...а вот это уже что-то новое. И пан Грель, ободренный вниманием, вновь взял Евдокию за ручку, но от поцелуев воздержался.

— И ваше приданое останется исключительно за вами! Поймите, панна Евдокия, вы мне глубоко симпатичны. Я отдаю должное вашему уму... и деловой сметке... и надеюсь, что вы верно оцениваете меня. Все мои мысли, все мои устремления направлены на то, дабы дело приносило прибыль... и вам, смею полагать, сие близко и понятно.

Близко. Понятно. И с брачным договором тем паче... вот только читать этот договор надо будет крайне внимательно...

Не врет ведь, во всяком случае так, чтобы амулет заволновался. Но и правды всей не говорит.

Молчание ее пан Грель оценил по-своему. Он сунул большие пальцы за отвороты пиджака, прочие же растопырил.

— А если вас вводит в сомнение та прошлогодняя история, то смею вам сказать, что я никак в ней невиновный.

— Неужели?

Врет. Евдокия чувала это и без ведьмаковского камня, который сразу нагрелся, и вглядываясь в холеное пана Греля лицо, привычно уже отмечала следы лжи. Вот дернулись губы, не то в усмешке, не то в болезненной гримасе, вот пальцы коснулись кончика носа... за ус потянули, и тут же отпустили... от уголков глаз морщинки побежали...

Прищур кошачий, наглый.

— Ах, панночка Евдокия, вам ли слухам верить! Конечно, я не отрицаю, что был с этой девушкой знакомый. Так ведь долг мой в том, чтобы всех их знать, за всеми приглядывать... — он горестно вздохнул, признавая вину, что, мол, недолгядел. — Я стараюсь со всеми девицами держать отношения ровные, дружеские...

...поговаривали, что порой заходило и дальше дружбы, особенно, если девица была собою хороша. Евдокии эти слухи были не по нраву, а маменька отмахивалась, мол, ничего-то за ними серьезного нету...

...отмахивалась, да только Грелеву кандидатуру среди женихов не рассматривала...

— И порой мою симпатию, исключительно душевного плана, принимают за нечто большее. Я, если вы заметили, мужчина видный...

Он произнес это так, что Евдокия сразу поняла: скромничает. И надо бы уверить, что пан Грель не просто видный, но красавец, каких мало. А потому нечего тут нос воротить, раздумья раздумывать, лучше одарить его трепетным взглядом... тьфу ты.

— ...с немалой жизненной перспективой, — продолжил он, спеша заполнить неловкую паузу. — И многие были бы не против связать со мной жизнь.

Он лихо крутанул ус и глянул на Евдокию, поняла ли намек.

Поняла.

Она вообще очень понимающей уродилась.

— Эта девушка долго добивалась моего внимания. Я терпел, сколько мог, но накануне у нас состоялся серьезный разговор. Я сказал, что если она не одумается, я вынужден буду расстаться с ней... а ведь место, панна Евдокия, хорошее. Ваша матушка никогда-то работников жалованием не обижает...

Пан Грель снял шляпу, и ветерок коснулся напмаженных волос его.

— Полагаю, дурочка решила, что если разыграет удушение, а я ее спасу, то... но Боги видят правду. Обычно я оставался в магазине допоздна, услышал бы шум, бросился бы на помощь, а тут Модеста Архиповна срочно к себе затребовали...

...ложь.

Камень раскалился едва ли не до красна, и Евдокии стоило немалых усилий, чтобы сдержать крик боли... все ж таки полезная вещица, весьма полезная, особенно, когда о существовании ее знать не знают. Но и не будь камня, Евдокия справилась бы. Она распрекрасно помнит, что в тот вечер маменька слегла с сильнейшей мигренью. А Греля вызывала накануне, что-то у него с отчетностью не ладилось, и они допоздна засиделись...

— ...и мы засиделись до полуночи. Модеста Архиповна еще любезно предложили мне на ночлег остаться...

...почему он врет?

...а потому, что полтора года минуло, и где уж припомнить, в какой день Грель был у маменьки в гостях... был... и ночевать остался... и поутру за завтраком долго, мучительно извинялся за неподобающий вид...

— Вот и вышло... она-то не знала, что я ушел... в петлю полезла... печально сие.

Печаль у Греля изображать выходило плохо.

— Вы знали, что девушка была беременна? — тихо спросила Евдокия.

Ей пришлось заниматься похоронами...

— Нет, помилуйте! Откуда!

...и удивление притворное. Знал.

И камень подтверждает.

— Панночка Евдокия! — а возмущение почти искреннее. Вот только верить этому человеку у Евдокии не получается и уже не получится. И дойдя до развилки, она повернула к Цветочному павильону. — Панночка Евдокия, уж не думаете ли, что я причастен к этому... интересному

обстоятельству? Милостью Иржены клянусь, что никоим образом! Посудите сами, будь я хоть на волос виноватый, разве ж оставила бы меня Модеста Архиповна? Выставила бы за дверь в сей же миг!

...и то правда.

Маменька после происшествия неделю смурная ходила, задумчивая, но Греля оставила, а значит, нанятый Модестой Архиповной для разбирательства человек сумел доказать его непричастность.

— Полагаю, беднягу соблазнили и бросили... а она решила, что если сумеет за меня замуж выйти... — Грель достал платок и шумно высморкался. — Пусть будет к ней Хельм милосерден.

К дому возвращались в полном молчании, и у ступеней Грель остановился, отвесил очередной поклон и, коснувшись пальцев губами, многозначительно произнес:

— Весьма надеюсь, что вы и вправду подумаете над моим предложением...

...подумает.

Уже думает, хотя и знает — не примет...

А он ведь и вправду образование хорошее получил, успел, прежде, чем папенька разорился, вложивши немалые деньги в пустой прожект, и Грель, вместо того, чтобы наследовать семейное дело, вынужден подвизаться на службе.

Он ведь честолобив.

И беспринципен. И готов на многое, чтобы открыть собственное дело...

А брачный контракт — это хорошо... замечательно даже... пока супруга жива. А вот ежели с нею вдруг приключится чего... скажем, выйдет она ночью водицы испить да и сверзнется с лестницы, тут-то и гадать нечего, кому наследство достанется.

Евдокия дернула себя за косу, строго-настрого приказывая отрешиться от дурных мыслей.

Не вышло. Ее собственные отражения взирали на Евдокию с укоризной: как мол, можно быть такой доверчивой?

Лизанька злилась.

...смотрела на чернооковую акторку, которая устроилась на белой козетке, и злилась.

Третий день кряду.

Или уже четвертый? В Девичьей обители время отсчитывали по цветочным часам, и Лизаньке выпало быть маргариткою... нет бы розой, как Иоланте или царственною герберой... керазмийка и та получила желтую хризантему, а Лизаньке, значит, маргаритки...

...скромные, девичьи цветики, будто бы намеком, чтобы она, Лизанька, знала свое место и не высывалась.

...подумаешь, шляхетная кровь... много от нее радости? А носы дерут, друг на друга смотрят с

презрением, древностью рода меряются, трясутся над именами предков, над замшелыми их подвигами... с Лизанькой, ежели и замечают, то разговаривают сквозь зубы...

Ничего, вот станет Лизанька королевой... а что, чем она этих хуже?

Ничем.

Разве что папочка оплошал, на титула не выслужился. А мог бы... послушал бы маменьку, написал бы челобитную... или услугу оказал нужному человеку. Ведь обращались же и не раз, просили, не сказать, чтобы о многом, но... так нет ведь, папенька принципиальный. Папенька закон и сам не нарушит, и иным не позволит... а Лизаньке теперь сиди тут, как дура, без титула.

И без денег.

Ковыряй паровой шпинат... гадость неимоверная. Но попробуй-ка не съешь, небось, Клементина следит, примечает... и надобно с нею дружить.

Вот и давится Лизанька шпинатом. И улыбкою тоже давится, но старается изо всех сил дружелюбною если не быть, то хотя бы казаться...

— А вот у нас в городе...

...от этих слов у Лизаньки зубы свело.

— Вам плохо, дорогая? — Тиана тотчас прервалась, не рассказав, чего же еще чудесного есть в ее родном Подкозельске.

— Мне хорошо, — Лизанька вымученно улыбнулась.

И где только папенька этакую дуру нашел?

...где-где, в Подкозельске... небось, у них в городе каждая вторая... одаренная.

...или не дура, как говорят, а прикидывается?

— Погода меняется, — заметила Ядзита.

...вечно с корзинкой для рукоделия ходит, шьет-вышивает, нитки ворошит, и все-то темные, будто грязные, а канва вовсе черная. Кто вышивает по черной-то канве?

...и говорят, будто бы она троих женихов схоронила, а выглядит мирной... почему папенька не арестует ее? Отравительница...

...сердце екнула, а вдруг да и Лизаньке подсыплют отравы?

Всякое случится можно.

...керамзийка вон вчера слегла с желудочным расстройством. Сама ли? Медикусы вон, которые Клементиною допущены были к больной, все как один на южную лихоманку пеняют, сугубо керазмийскую пакость, при которой не токмо животом человек мается, но и сыпью.

На сыпь Лизанька, как и прочие, глазела издали, прижимая к носу платочек... и известию, что керазмийка из конкурса выбыла, обрадовалась. Не то, чтобы чуяла в ней соперницу, но вот...

...а все-таки, если не лихоманка?

Если отравили?

От пятерых уже избавились, а там и до Лизанькин черед... нет, папенька этакого произволу не допустит... Лизанька ему писала.

И маменьке тоже. Для надежности.

— Вот у меня на погоду мигрени случаются часто, — заметила Габрисия.

Эта заговаривала редко, словно слова берегла. И сейчас, проронив фразу, замолчала, уставилась на собственные руки, и надо сказать, что хорошие, с узкими ладонями, с тонкими пальчиками, аккурат такие, какие должны быть у шляхетной панночки древнего рода.

Вот своих рук Лизанька стеснялась.

Толстоваты были запястья, и еще косточки торчали, не изящно, а этак, выпукло, некрасиво, будто бы намекая, что в шляхетные панночки Лизанька при всем своем желании не попадет. Больно ей хотелось... она вообще здесь по собственной надобности...

...правда надобность она появлялась не так уж часто, и все больше крутилась вокруг девицы с косой. Девуцу звали Евдокией и была она дочерью купчихи-миллионщицы...

...везет некоторым.

А папенька-то с его урожденной скромностью и окороков, которыми купцы к зимнему празднику привычно кланяются, стеснялся, отсылал бы, когда б не маменька... дескать, негоже воеводе самому взятки брать, ежели оный воевода со взяточничеством в рядах познаньской полиции борьбу ведет.

Толку с той борьбы... права маменька, говорившая, что как брали, так и будут брать, и папеньке бы не воевать с ветром, а иметь свой малый процент...

...в общем-то, глядишь, и не увивался бы старший актер за Евдокией Ясноокой, в которой ничего-то помимо маменькиных миллионов не было... истинно говорят, что девуцу красит приданое. А что за Лизанькою папенька даст? Несчастные десять тысяч? Поместье, пожалованное генерал-губернатором за верную службу? Так то поместье на самой, почитай, границе... толку-то с него...

Обидно.

И обида заставила Лизаньку прикусить губу.

— Я пойду прогуляюсь, — сказала она громко, и Клементина, следившая за красавицами, нахмурилась, но запрещать не стала, предупредила лишь:

— Панночка Елизавета, будьте так любезны вернуться к ужину.

Вернется.

К ужину, к треклятому шпинату и вареной капусте, к паровым безвкусным котлеткам, травяному чаю и пустой болтовне...

Из Цветочного павильона Лизанька выпорхнула.

Ах, до чего душно, тяжело на сердце! И душу терзает неясная тревога...

— Панночка Лизавета! — окликнули ее, и голос этот тихий, бесцветный заставил Лизаньку подскочить. — Панночка Лизавета, я...

...крысятник появился будто бы из ниоткуда. Неопрятный. Еще более жалкий, чем Лизаньке запомнилось, пусть бы и вырядился он ныне в темную куртку с эмблемой, какие носили местные сторожа.

Куртка была ему велика, карманы ее топорщились, а на шее крысятника ярмом висела древняя камера.

— Панночка Лизавета, — сказал он, норовя заглянуть в глаза. — Я вас ждал.

— Зачем?

Лизанька подобрала юбки.

Отчего-то мысль, что этот ничтожный человечешка к ним прикоснется, пусть бы и ненароком, была Лизаньке неприятна. И глядя на крысятника, который застыл, не смея сдвинуться с места, она думала, что зазря с ним связалась.

Заплатила еще...

И чего, спрашивается, ради?

Она ведь и сама-то великолепнейшим образом справилась. Да и было чего справляться... все ж очевидно... и этот, еще недавно казавшийся весьма полезным, человек ныне превратился в человека бесполезного, а то и вовсе опасного.

Приехал.

Ошивается. Вынюхивает тут... а если вынюхает чего, что не положено? И в газетенке своей мерзкой напишет? Себастьяну от него один вред, а о Себастьяновых интересах Лизанька должна позаботиться.

— Поговорить хотел, — сказал крысятник, почесывая щеку.

В пятнах каких-то... и глаз дергается... и как его только в сторожа приняли?

— Не о чем нам с вами разговаривать, — решительно заявила Лизанька.

Ждала, что станет возражать, допытываться, с чего вдруг этакая перемена, но крысятник лишь плечами пожал и поинтересовался:

— Вы уверены?

Конечно, она уверена.

И более того, имейся способ спровадить его так, чтобы безвозвратно, Лизанька непременно бы им воспользовалась... может, жалобу написать?

Или сказать, что он Лизаньку насильничать хотел? Тогда-то его точно посадят... но слухи поползут, а Лизаньке слухи не нужны... и опять же, ему тоже есть чего рассказать... поверить, может, и не поверят, но сомнения... и снова слухи...

...ах, до чего неудобен стал ныне тот давешний разговор, который по-всякому истолковать можно. Ничего, будет Лизаньке наука наперед. И она, гордо вздернув подбородок, ответила:

— Я абсолютно уверена. У нас с вами никаких общих дел нет и быть не может. А если вам иное показалось, то это исключительно ваши собственные фантазии.

Хорошо сказала. Красиво.

...преподаватель по риторике был бы доволен, а то говорит, что, дескать, Лизанька говорит простовато.

— Если же вздумаешь меня преследовать, — добавила она, чтобы уж наверняка отделаться, — то я обвиню тебя в домогательствах. И мой папенька тебя на каторгу спровадит.

...давно хотел, да все что-то медлил.

Нерешительный он, в отличие от Лизаньки.

Или добрый чрезмерно?

Но маменька говорила, что излишняя доброта лишь во вред, и ныне Лизанька как никогда лучше понимала ее правоту. Потому сама решила, что с крысятником будет добра ограничено... она ему не станет мешать, пусть уже за это скажет спасибо.

— Приятно было познакомиться, — тихо ответил крысятник и исчез.

Нет, ну как у него это получается?

Папенька тоже удивлялся... талантом называл... Лизанька вздохнула и отбросила неудобные мысли. Собой она в целом была довольна. И даже настроение поднялось.

Пожалуй, что нынешняя прогулка будет вполне себе в удовольствие. Правда, далеко Лизаньке уйти не позволили.

— Панночка забыли зонтик, — серая горничная возникла за спиной с кружевным зонтиком нежно-бирюзового колеру. — Панночке надобно поберечься от солнца...

Верно.

...позавчера королевский косметолог самолично смешивал крема, пытаясь отбелить Лизанькину кожу, и громко сетовал, что панночка не берегла себя от солнца... и что на локтях кожа вовсе огрубела, а сие недопустимо... и еще волосы мазал какой-то пакостью, черной и вязкой, которая ко всему пахла болотом. Лизанька терпела, стиснув зубы. Правда, после процедур волосы сделались невероятно мягкими, а кожа — фарфорово-белой, будто бы прозрачною.

Зонт раскрылся, защищая Лизаньку от опасного солнечного света.

...ах, до чего славная, должно быть, эта жизнь...

...просыпаться и выглядывать за окно, любясь многоцветьем королевского парка. Спускаться в столовую, завтракать под нежные звуки арфы, вести неспешную беседу о высоком... к примеру, о королевском театре... или о моде... или еще о том, что творится за дверями дворца, потому как поговаривали, что Его Высочество решительно расстались с княгиней Анелией, которая — вот дура-то! — королевичу изменила...

...и обсудивши новости, переодеваться, выходить на прогулку... идти вот так, неспешно, вдыхая тяжелый воздух — такой бывает перед самою грозой — пить его, пронизанный ароматами роз и эльфийских трепетных желтоцветов...

— Панночка заблудилась? — этот низкий бархатистый голос как нельзя лучше вписывался в Лизанькину прекрасную мечту.

— Панночка гуляет, — ответила она с улыбкой, на сей раз вполне искренней.

— В одиночестве?! — притворно ужаснулся пан Грель...

...Грель... нехорошее имя, куцее какое-то и ему не идет.

— Уже нет... если, конечно, вы не слишком заняты...

— Отнюдь, — он поклонился и поцеловал Лизанькину ручку, трепетно коснувшись кожи губами. И Лизанька зарделась от смущения... — За ради прекрасной панночки я всегда свободен!

Горничная держалась в отдалении... и не уйдет ведь, потому как Клементина бережет чужую репутацию паче собственной...

...собственной-то нету, небось, думает, что если Лизанька из простых, то ничего-то не знает. А все про нее знают, королевскую бастардку... слово-то какое, специальное, а ежели разобраться, то ублюдок — он ублюдок и есть, как его не назови. Строит из себя всю такую распрекрасную шляхетку, а живет едино милостью братца...

Дева старая.

Правда, поговаривают, что вовсе даже не дева, что у нее собственный полюбownik имеется, и по-хорошему получается, что не ей морализаторствовать, так нет же... небось, сотню лет тому ее бы живенько в монастырь спровадили, чтоб род королевский не позорила.

Права маменька, пали нынешние нравы.

— О чем вы думаете, панночка? — Грель ступал медленно, и руку предложил, и Лизанька охотно ее приняла. Сердце застучало от этакой близости...

А в папенькином доме Себастьян старательно избегал Лизанькиного общества. Нет, он был безукоризненно вежлив, хвалил и ее игру на клавикордах, и способности к декламации, и Лизанькины вышивки, и пироги, которые будто бы она пекла... беседовал, шутил, но чувствовалось во всем некоторое стеснение. Конечно, он ведь папенькин подчиненный, а папенька, который затею со сватовством никак не одобрял, постоянно мешался, не оставляя Себастьяна с Лизанькою одних ни на секундоchку... теперь-то иное... теперь-то любовь почти взаправду... а если не любовь, то преддверие ее, которое с трепетностью чувств и метаниями душевными.

Тонкими.

— Обо всем, — ответила Лизанька, разглядывая суженого сквозь ресницы.

...а и хорош, пусть и обличье нынешнее ей вовсе непривычно, но все одно хорош. Высокий, стройный. И лицо такое чистое, с печатью благородства. Черты правильные, особенно нос красив, как у греческой статуи, про которые Лизаньке гувернерка рассказывала...

...и одет со вкусом, пусть и роль приказчика ему непривычно, а все одно держится уверенно, не то, что дура-акторка со своим Подкозельском.

...вчера целый день Грелю глазки строила, все расспросить норовила, откуда он и чем занимается, и понятно, что неспроста, проверяла. А Грель — молодец, держался с достоинством, и на акторкины заигрывания внимания не обращал.

— И все-таки? — взяв Лизанькину ручку, Грель провел по ладони пальцами, и прикосновение это, обыкновенное, если разобраться, донельзя Лизаньку смутило.

— О том... что здесь все иначе, чем мне предполагалось...

Лизанька чуть ускорила шаг. Нет, она вовсе не надеялась сбежать от сурового взгляда горничной, но хотя бы оставить серую и скучную эту женщину позади, чтобы не напоминала о Цветочном павильоне, о красавицах, о Клементине...

— Этот конкурс... — Лизанька не делала попыток высвободить руку, и надеялась, что не слишком-то краснеет, выдавая свою провинциальную почти неискушенность. — Я надеялась, что попав сюда... я окажусь в обществе достойном... самые красивые девушки королевства...

— И вы в этом созвездии ярчайшая звезда, — не замедлил произнести любезность Грель.

— Вы мне льстите!

— Что вы, панночка Елизавета...

— Лизанька... зовите меня Лизанькой, я так привыкла, знаете ли... а Елизавета — тяжелое имя...

— Лизанька, — выдохнул Грель, глядя Лизаньке прямо в глаза. И во взгляде его она прочла все то, о чем мечтала. Было в нем и восхищение ее, Лизанькиной, красотой, и тщательно скрываемая, робкая надежда, и тоска... и многое иное...

...жаль, что глаза, глядевшие на нее, были мутноватого зеленого оттенка. Черные Себастьяну куда как более подходили...

— Ах, милая моя Лизанька, уж поверьте, ни одна из тех девиц не стоит и вашего мизинчика...

— Так уж и не стоит?

— Конечно! Вы только посмотрите, до чего очаровательные это мизинчики... просто-таки великолепные... я за всю свою жизнь не видел мизинчиков более прекрасных!

И подтверждая сказанное, он поцеловал сначала левый, а потом и правый мизинчик... потом поцеловал и безымянные пальцы, по его словам, прелести невыразимой, и средние... и указательные...

Лизанька млела, сожалея, что пальцев у нее всего-то по пять...

Все было именно так, как должно было быть... и даже далекий раскат грома, предвестник грозы, не испортил ей настроения.

— Во всем королевстве не сыскать ручек столь же милых... — нашептывал Грель на ушко.

— Так уж и не сыскать? Неужто у панночки Евдокии ручки хуже?

Лизанька не ревнует.

Или нет, ревнует, но проявляет разумное в нынешней ситуации любопытство.

— Ах, что вы, Лизанька, — поспешил заявить Грель, поглаживая ручку. — Разве ж можно сравнивать вас и Евдокию? Она, конечно, женщина миловидная, но куда ей до вашей-то красоты?

— Что ж вы за нею-то ходите?

— А что мне остается делать-то? Я — человек подневольный... вынужден искать милостей у панночки Евдокии... от ее маменьки многое зависит...

...или от папеньки, который не сумел приструнить наглую миллионщицу, и теперь ее дочь-перестарок бедного Себастьяна третирует. Лизанькино сердце переполнилось такой жалостью, что она едва-едва не расплакалась.

— Ах, как печально слышать сие... — воскликнула Лизанька. — Ежели бы я могла вам помочь...

Потемневшее небо прорезала молния, а там и гром пророкотал, заглушая шепот Греля. Первые капли дождя упали на дорожку...

...и это было тоже очень романтично: вдвоем с любимым против буйства стихии...

Глава 13

Букет доставили в четверть шестого. Гвоздики белые, красные и розовые, числом пять. И карточка, на которой кривоватым почерком было выведено «Дорогой моей племяннице Тиане Белопольской от любимого ея дяди с найсердечнейшими пожеланиями».

Следовало сказать, что гвоздики были не первой свежести, лепестки их потемнели, а тонкие листочки скукожились. И сам букет, щедро обернутый пятью слоями золотистой бумаги и перевязанный широкою атласною лентой, имел непередаваемо провинциальный вид.

— Какое убожество, — воскликнула Эржбета, отвлекшись от записей. — Видно, что ваш дядя вас очень любит.

— Ага, — Тиана букет приняла и цветочки пересчитала трижды. — Еще как любит! Он мне так и говорит, мол, только на тебя, Тианушка, одна надежда. Я за тобой, малой, глядел, а ты за мною, когда старым стану, немощным, приглядишь. Буду лежать на смертном одре, так хоть водицы поднесешь... знает, что супружница его, еще та змеюка, от нее не то, что воды — зимой снега не допросишься!

Письмо она разве что на зуб не попробовала.

Впрочем, еще немного и попробует, и письмо, и цветочки... есть хотелось неимоверно. Во снах Себастьяну являлись окорока в сетки, розовая ветчина, копченая грудинка с нежно-розовой мясной прослойкой, шпикачки и колбасы копченые, вяленые... по сметанным морям плыли осетра и севрюги...

Как работать?

Никак.

И оставалось лишь надеяться, что связной внемлет жалобному призыву и помимо инструкций от любимого начальства принесет нормальной человеческой еды.

Часы пробили полночь.

И час... и два... заснуть Себастьян не боялся. Не то в силу некоторых особенностей метаморфов, не то просто по давней, еще казарменной привычке, он обрел удивительную и весьма полезную способность просыпаться в назначенное им самим время.

Однако сейчас сон не шел.

Себастьян расхаживал по комнате, глядя на увядающие гвоздики, и кусал мизинец. Привычка сия дурная, над искоренением которой тщетно бился гувернер, а потом и учителя, явно демонстрировала, что пребывает ненаследный князь в смятении и даже растерянности.

Три дня.

А он выяснил лишь, что вышивает прекрасная Ядзита кладбищенский пейзаж... и конечно, сие весьма странно, но законом не запрещено. Ежели панночке по нраву мавзолеи да памятные стелы, над которыми повисло бельмо луны, то это исключительно вопрос личных, панночки, предпочтений.

...Эржбета пишет любовный роман, причем от руки и кривоватым почерком, то и дело черкая, правя и переправляя...

...Лизанька под стопкою белых ночных рубашек хранит тряпичную носатую куклу, черноволосую и с черными же глазами-пуговками. На шее куклы повязан белый платок, который, как Себастьяну думалось, он еще в прошлом году потерял, а нарисованное красное сердце иглою проткнуто. И хоть не было в сих занятиях ни крупницы магии, но все одно сделалось жутко.

...Богуслава обладает еще более дурным нравом, чем Себастьяну представлялось прежде, и при малейшей оплошности спешит иную конкурсантку высмеять, и слова-то находит злые, язвительные. Пожалуй, трогать опасается лишь Габрисию, а та демонстративно княжну Ястрежемскую не замечает.

И видится в этом перемирии своя тайна.

Какая?

Иоланта бледнеет, на головные боли жалуется и сторонится зеркал...

Габрисию изводит горничных капризами... не то все, пустое, мелкое. И хоть опыт Себастьянов утверждал, что в мелочах многое сокрыто, ныне он оказался бесполезен. Чутье тоже молчало,

точнее, оно требовало немедленно весь этот балаган прекратить, девиц сдать особой канцелярии, а Цветочный павильон — королевским ведьмакам... и само замолкало.

Ведь сдавали же.

Не могло такого быть, чтобы место это, как и иные, в которых доводилось бывать особом королевской крови, не проверялось. Тогда как вышло, что не почуяли? Или то, безымянное, извратившее саму суть дома, уже почти очнувшееся от векового сна, умело прятаться?

Когда далекие часы, голос которых по некой странности был слышен по всему дому, пробили четыре, Себастьян поднялся. Накинув шелковый халат, в нынешнем, исконном Себастьяна обличье изрядно в плечах узковатый, он открыл окно.

Летняя ночь была тепла.

Стрекотали в траве кузнечики. Воздух, напоенный ароматом роз, остывал. Луна светила ярко, и Себастьян с неудовольствием подумал, что халат его, молочно-белый, виден распрекрасно. Но иной одежды, хоть как-то подходящей для ночных прогулок, в гардеробе панночки Белопольской не нашлось. Домашние туфли оказались тесны и норовили с ноги слететь.

— Проклятье, — буркнул Себастьян, когда в пятки впился острый камушек. — На такое я точно не подписывался...

У старого фонтана, почти скрывшегося в зарослях чубушника, ждал Аврелий Яковлевич.

— Опаздываешь, Себастьянушка, — с упреком произнес штатный ведьмак, выдыхая сладковатый дым.

— И вам доброй ночи, Аврелий Яковлевич.

Следовало сказать, что выглядел Аврелий Яковлевич несколько непривычно: в темных парусиновых штанах с заплатами на коленях, в просторной рубаше, перехваченной красным кушаком, с парой лопат, прислоненных к фонтану и сигарой во рту.

— Доброй, доброй, Себастьянушка, — ведьмак отломил столбик пепла и растер его в пальцах. — Эк ты... вырядился... прямо как на свиданье.

— Издеваетесь?

Себастьян поплотнее запахнул полы халатика, который норовил разъехаться.

— И в мыслях не было. Приметная одежда...

— Какую выдали.

— Ну да, ну да... надо было... как-то вот не подумал, — недокуренную сигарку ведьмак утопил в фонтане. — Ничего, и так сойдет. Что, мил друг, готов к подвигу?

— Да всегда готов, — Себастьян поскреб ступней о мраморную чашу. Ступня зудела, а чаша была приятно прохладна.

— Вот и ладно, тогда пошли...

— Куда?

— Для начала — к дому, а там ты мне скажешь, куда именно... историйка-то дрянная вырисовывается, Себастьянушка, — Аврелий Яковлевич протянул лопату. — На вот, орудие труда...

Лопата была хорошей, с отполированной до блеска ручкой, с блестящей, острой, как лезвие ножа, кромкой. От нее пахло кладбищем и еще храмовыми свечами. И Себастьяну меньше всего хотелось прикоснуться к сему зловещему инструменту черной волшебной и некромантии.

— Бери-бери, — свою лопату Аврелий Яковлевич привычно пристроил на плече. — Руками землю копать, оно вовсе несподручно... и пойдем, часа два есть, чтоб управиться.

Пришлось брать.

И идти, шлепая босыми пятками по траве. Лужайки, радовавшие глаз приятной своей зеленью, в ближайшем рассмотрении оказались коварны, мало того, что росы ныне выпали щедрые, так и в босые ноги Себастьяна норовили впиться то острые камушки, то сучки какие-то, каковых в королевском парке не должно было бы быть.

Аврелию-то Яковлевичу хорошо, он в высоких сапогах с лаковыми галошами, ему что трава, что кусты ежевики, — не помеха. Идет себе, говорит.

Рассказывает.

— Миндовг Криворотый был презанятнейшей личностью... помнится, я в те годы только-только начал дар свой осваивать, а дело сие долгое, неблагодарное, не до королей было, все больше собою занимался... но про него слышал... да и кто не слышал-то? Сейчас-то в школах учат, дескать, народный просветитель... школы открывал... приюты для бедных... так-то оно так, открывал, и школы, и приюты, и академию вот для девиц неимущих, с тем, чтобы балету их учить... или на актрисок... нет, и учили, конечно, тоже. Королевский театр не только у нас славился, по всей Европе гремел.

Аврелий Яковлевич остановился у границы кустов.

— Но это — только малая часть... в те-то годы Миндовга все больше Охотником называли... что до баб он слабость великую имел, тебе, думаю, объяснять не надобно, — сбросив лопату с плеча, Аврелий Яковлевич воткнул ее в землю. — По первости его забавы были... обыкновенными, скажем так. И девок он не обижал, вона, целую домину отгрохал... ее в народе так и именовали, Цветником. Свозили девок со всего королевства, больше из крестьянства, ну или второго сословия, того, которое победней. И рады были родители, платили-то с казны за красавиц полновесным золотом. Да и то, знали, что в Цветнике и обуют, и оденут, и спать на шелка уложат, а как надоеет красавица, то и мужа ей подыщут... охотников хватало на королевские милости... тогда аккурат с Хольмом очередная война закончилась, и к нам Вислянка отошла, да Бахтичья волость, была земляца, чтоб раздавать.

От павильона тянуло гнилью. Сейчас, в предрассветном черном часу запах этот сделался отчетливым, материальным. Он расплзался из-под дома, плетями, нитями, карабкаясь по ступеням, заглядывая в темные окна.

— Как оно все переменялось и отчего... одни говорят, что будто бы королеве надоели этикие мужнины шалости, вот и нашла она колдовку, которая безумие на Миндовга наслала... другие — что будто бы Хельмовы жрецы, которых Миндовг разогнал, отомстили... третьи — что насильничал он красавицу, а та возьми и с даром окажись, прокляла его кровью... четвертые,

те думают, что не в колдовстве дело, а во вседозволенности. Оно ведь как бывает, Себастьянушка, когда человеку мнится, что никого-то над ним нету, что один он во власти, а прочие все — это так, песок под ногами, тогда-то и начинает он играть, да чаще все — в жестокие игры. Скрывали долго, да все одно поползли слухи о том, что в Цветочном павильоне не только Миндовг веселится, но и дружки его... и так веселятся, что девки от этого веселья кровавыми слезами плачут... что чем дальше, тем хуже... что красавиц больше не выдают замуж, а пропадают они. Куда? Как знать...

— Не искали?

— Тогда-то? Нет, Себастьянушка. Кто ж рискнет с королем-то спорить? Слухи пресекали. Говорунов вешали без суда и следствия, а с девками и того хуже. Люди-то своих прятать стали, от золота отказываться... но король разве примет отказа? Именем его хватали девок прямо с улиц, в карету и... почитай, не увидишь больше. Он чем дальше, тем безумней становился. Дом стал тюрьмой, а парк — охотничьими угодьями... и не бонтонно охотились, а как на иную дичь, с собаками, с соколами...

Дико было слышать этакое. И еще более дико оттого, что Аврелий Яковлевич и вправду рассказывал о том, что помнил.

Сколько живут ведьмаки?

Долго...

— Бунт зрел, думаю, полыхнуло бы крепко, на все королевство, да сынок-то Миндовга, Яровит, первым успел. Поднял мятеж, объявил отца безумным и запер в Северной башне. Дружки-то отцовы на плаху пошли, они-то, небось, не королевской крови, вот все игры с Цветочным павильоном на их совести и... громкий был процесс... и казнь прилюдная, народ, чтоб, значит, успокоить... успокоили. Павильон закрыли, снести хотели, да потом что-то там не заладилось... или пожалели, работа-то мастера знатного...

...италиец Роселли работал. И видится в изящных чертах его рука. Оно, быть может, и верно, но... все одно жутко. Живой дом.

Яростный.

Пусть и пребывающий в полудреме, но...

— Чистили-то место старательно. Благословляли не единожды... и поверь, Себастьянушка, я сам бываю в нем регулярно. Последний раз — месяц тому, — Аврелий Яковлевич стоял, опираясь на черенок лопаты. — И ничего-то не почувал...

— А сейчас?

— Сейчас чувю... но смутно очень. Таится?

Похоже на то, и запах слабеет, и прячется, словно бы сам дом впитывает его белыми стенами своими, барельефами и горельефами, прячет в мраморных виньетках, под портиками и в тени колонн.

— Оно старое... опытное... и если живое, то не только своею силой. Я ведь, как твою записочку получил, проверил прошлых конкурсанток.

— И что?

— Одна из десятки... каждый год одна из десятки не доживает до конца осени. И всякий раз смерть-то обыкновенная... одна в пруду утопла. С другой лихорадка приключилась. Третья удушилась... четвертая вены вскрыла... нехорошо это, Себастьянушка, неправильно.

Аврелий Яковлевич покрепче взялся за лопату.

— И главное, что тех девиц Миндовговых, огнем хоронили. Знаешь, что сие значит?

— Допросить их не выйдет.

— Верно, Себастьянушка. Не выйдет. Правда, имеется у меня подозрение, что схоронили лишь тех, которые последними были, прочие тут лежат...

— Где?

— Тут, Себастьянушка, тут, — Аврелий Яковлевич обвел рукой зеленую лужайку. — Иначе не было бы оно таким сильным... а раз так, то придется тебе, мил мой друг, поработать ныне...

— Как в том доме?

— Верно.

— А если...

— А ты постарайся, Себастьянушка... постарайся... — Аврелий Яковлевич вытащил из сумки сверток, бечевой перевязанный. На полотне проступили жирные пятна, а мясной сытный дух тотчас перебил ароматы роз. — Ребра свиные в меду. Ну что, Себастьянушка, сменяем косточки на косточки?

— Аврелий Яковлевич!

— Что?

— Вы... вы... ведьмак вы, чтоб вам...

— Ага... это ты еще с моей супружницей бывшей не знакомый... от там-то чистая колдовка была... потомственная... — Аврелий Яковлевич со вздохом убрал сверток в сумку и прикрикнул. — Что стоишь? Ищи давай, время-то идет.

Себастьян сделал глубокий вдох, велел себе не отвлекаться на зловерного ведьмака, который вытащил очередную сигаретку, судя по запаху, самым дешевым табаком набитую.

— Привык, — сказал Аврелий Яковлевич, — я-то два десятка лет по морям, по окиянам... а привычка, дорогой мой Себастьянушка, она не вторая натура, а самая что ни на есть первая...

Тьфу ты... и на него, и на его привычки...

Себастьян повернулся спиной и закрыл глаза. Сосредоточиться надо, а как сосредоточишься, когда халат, в плечах жмуций, норовит мокрым шелком ноги облепить, и ноги эти расцарапаны... еще комарье гудит, звенит, мешается...

...запах ребрышек... в меду если... а небось, в бездонной сумке Аврелия Яковлевича не только ребрам место нашлось. Его-то повариха знатная, чего одни только севрюжки бока под чесночным соусом стоили...

Себастьян потянул носом.

Травой пахнет... и еще землю, весенней, свежей, которая только-только напилась снежное талой воды... розами... камнем... запахи переплетаются в черно-зеленый ковер, удивительным узором, гляди, ненаследный князь, любуйся.

И ведь вправду глаз не отвести, переливаются нити этого ковра то малахитовой лаковой зеленью, то глубиной изумрудной, то жемчужной струной поблескивают, ведут взгляд, морочат... и все-таки есть некая неправильность, несуразность даже.

Себастьян смотрит.

Ищет. Идет, какой-то частью своего, человеческого сознания, отмечая хлысты ежевики, что лезут под ноги, хватают за подол, длинного халата... и ступни пробивают, сыплется брусвяника-кровь, поит землю. А боли нет.

Несуразность только.

Тонок ковер, легкий. И расползаются нити, трещат, а под ними проглядывает чернота, но иная, нежели в доходном доме. Нынешняя — хрустальная, ежели бы имелся черный хрусталь. Из нее же смотрят на Себастьяна глаза с поволокою, со слезой...

— Тут, — он остановился и стряхнул наваждение.

Ноги полоснуло болью.

Ишь, разодрал... ничего, к утру зарастет.

— Да уж, — пробормотал Аврелий Яковлевич, — менее приметного местечка не нашлось?

Себастьян оглянулся, понимая, что стоит аккуратно посередине зеленого аглицкого газона.

— Не нравится, — буркнул он, почесывая ногу, — не копайте.

— Нравится, нравится, — Аврелий Яковлевич протянул Себастьяну лопату. — И копать будем вместе.

— А ребрышки?

— Будут тебе, ребрышки, Себастьянушка... будут... вот как косточки выкопаем, так сразу и...

— Знаете, — Себастьян взвесил лопату в руке, — как-то вот нехорошо вы это говорите...

— Как есть, Себастьянушка, так и говорю. А ты не стесняйся, начинай...

Клинок лопаты пробил тонкий травяной полог, и хрустальная тьма зазвенела...

...следовало признать, что новое место пришлось Гавелу весьма по душе. Сторожа в Гданьской королевской резиденции требовались всегда. Естественно, к самому замку Гавела и близко не

подпустили, да и он сам, чай, не дурак, чтобы вот так на рожон переть. Нет, Гавелу и малости хватит.

Хорошо ночью в Королевском парке.

Покойно.

Идешь себе с колотушкой-тревожницей в одной руке, с волчьим фонарем в другой. Прохладцею дышишь, цветами любишься... луна опять же, звезды. И всей работы — не спать, да глядеть, чтоб не страдал парк от королевских гостей, чтоб оные гости в фонтаны не плевали или, упаси Боги, не мочились, чтобы дуэлей не устраивали... да и всего-то надобно — непотребство завидя, в колотушку ударить. Разом стража объявится.

Хорошая работа.

Правда, платили за нее сущие гроши. Самому Гавелу и этого хватило бы, он не избалованный, но есть же старуха... и вновь письмо накатала в редакцию жалобное, длинное, дескать, забросил ее единственный сын, сироту несчастную, всю из себя хворую-прехворую, зная не желает, ведать не ведает, ни медня на прожитие не оставил. А что половину гонорара за те снимочки с Аврелием Яковлевичем полученного в три дня спустила, так то нормально...

Гавел вздохнул и покрепче вцепился в рукоять волчьего фонаря: удобно, самого тебя не видать, а ты-то в зеленом зыбком свете все видишь, все чуешь...

...старуха не отступится, а деньги тают... и на конкурсе тишь да гладь... почти тишь, почти гладь, но с тех несчастий многого не поймешь, да и велено высочайше факту убыли конкурсанток внимания не придавать...

...и Лизанька, светлая мечта, от себя прогнала... и странное дело, в сей момент сделалась она так похожа на старуху, что Гавел содрогнулся.

Любовь? Была любовь, да закончилась вся... а Лизаньку он все ж таки заснял, просто порядку ради и по привычке своей, которая зело Гавела успокаивала...

...а все одно, кроме нее с приказчиком Краковельским под ручку гуляющей, снимать нечего.

...тишь на конкурсе.

...конкурсанки оставшиеся ведут себя прилично, чужие грязные тайны не спешат раскапывать, пакостей соперницам не чинят...

Тьфу.

И может статься, что ошиблась дочь познаньского воеводы? Нет никаких секретов, но есть лишь естественное беспокойствие Евстафия Елисеевича за кровиночку? Вот и послал старшего актора приглядывать?

...сперва Гавел увидел размытую белесую тень, которая медленно двигалась вокруг Цветочного павильона. Тень остановилась посеред газона и, взмахнув руками, исчезла.

Призрак?

Гавел отступил к кустам. В призраков он не верил, а вот в то, что на газоне творится нечто непотребное — так это само собой... и несколько секунд Гавел раздумывал, как ему быть.

Поднять ли тревогу? Или же активировать амулет, полученный от главного редактора.

Победило любопытство.

Опыт потребовал продолжить путь, ежели те, кто прячется под пологом невидимости, следят за ним. И добравшись до развилки, Гавел осторожно отступил в кусты. Колотушку он сунул за пояс, фонарь перехватил. И двинулся осторожненько, стараясь не шуметь, к границе кустов. Розы цвели буйно. И колючки цеплялись за плотную Гавелову одежду. Он устроился на самом краю и, вытащив из воротника заговоренную булавку, сломал его.

В первое мгновение ничего не происходило... а потом в воздухе нарисовался мерцающий полог, который поблек, сделавшись похожим на яичную скорлупу. Та обрела прозрачность медленно, а когда растворилась, то...

...посеред газона чернела яма.

Снимок.

И две лопаты отдельным кадром... и высокие сапоги, изгвазданные землей... и горб ее, что вырос над зеленой травой... лунную дорожку, росой преломленную.

И еще снимок... второй и третий, запечатлевая все.

...кости, разложенные на полотнище... оскаленный побуревший череп с длинными волосами... руку скукоженную... ребра...

Камера щелкала, запечатлевая все в мельчайших деталях.

Ненаследный князь Вевельский удобно устроился на краю ямы, свесив в нее ноги. Он был одет в белый шелковый халат с кружевной отделкой, который разошелся, давая понять, что иной одежды на Себастьяне нет. Халат был измазан грязью и еще, кажется, кровью...

Но не это было самым отвратительным: ненаследный князь с утробным звериным каким-то урчанием, глодал кость. Кость была полукруглой, с черными кусочками мяса...

— Вкусно тебе, Себастьянушка? — с умилением поинтересовался Аврелий Яковлевич.

Он стоял на траве, босой и без рубахи, с сигареткою в руке. И курил смачно, выпуская из ноздрей терпкий дым.

— Угум, — ответил ненаследный князь, облизывая пальцы...

Гавела замутило.

— Кушай, дорогой мой, кушай вдоволь... а будет мало, я еще...

Полог вернулся в одночасье, и Гавел отер ладонью слезящиеся глаза, стараясь отрешиться и от вони разрытой могилы, и от увиденного. Пожалуй, впервые за долгую свою карьеру Гавел Пантелеймончик, штатный репортер «Охальника» пребывал в полнейшей растерянности.

Впрочем, статью главный редактор получил уже под утро, и пробежавшись взглядом по строкам, глянув на магоснимки и запись кристалла, поскреб щеку.

Сенсация была и...

...и пожалуй с завтрашнего дня он снова возьмет отпуск по состоянию здоровья, недельки этак на две... газетой он приноровился управлять и на расстоянии.

Сутки спустя, Ее Величество, просматривая прессу, сказала:

— Боги милосердные... — и выказывая высочайшую степень обеспокоенности, прижала руку к сердцу. Обе принцессы замолчали, отвлекшись от обсуждения новых модных веяний, каковые нынешнему сезону пророчили цвета палевые и бирюзовые.

— Дорогой, неужели это правда?

— Что именно? — Его Величество после завтрака предпочитал дремать, полагая, будто бы пресса, вне зависимости от цвета ее, дурно сказывается на пищеварении.

— Твои подчиненные едят человечину!

— Где? — заинтересовавшись новостью столь необычайной, король приоткрыл левый глаз.

— Здесь! — Ее Величество газету развернула и хорошо поставленным голосом продекламировала. — Десятого червения года... нет, это не интересно... ага... стал свидетелем ужасающей по своей циничности картины...

Его Величество открыл и второй глаз. К газетным ужасам он относился с легкой снисходительностью человека, которому в жизни случалось видеть и вправду жуткие вещи. О них, естественно, Его Величество рассказывать избегал, повторяя лишь, что прав был прадед, разогнав Хельмовых жрецов...

— ...на краю разрытой ямы...

Следовало признать, что слогом неизвестный репортеришка обладал отменным, а Его Величество читали с интонацией, надрывом в нужных местах. И принцессы слаженно охали, разом позабыв о лентах и вставках из хранцузской парчи... Его Величество и то увлекся.

— Какая презабавная ересь, — сказал он с сожалением, когда королева дочитала.

— Здесь и снимки имеются.

— Ах, дорогая, вам ли верить этим снимкам?

...Ее Величество поджали губы, вспоминая историю прошлогоднюю, курортную, когда выяснилось, что она была не столь осторожна, как ей казалось. К счастью, Его Величество к этому роману отнесся с пониманием, во услышание объявив снимки — грязною газетной инсинуацией...

Впрочем, нынешние он просмотрел, брезгливо скривился — напомнили они ему подвиги молодости на Серых землях...

...и следовало признать, что ракурс взят весьма выразительный. Аврелий Яковлевич возвышается черною зловещей фигурой, руки на могучей груди скрестив. И рядом с ним лучший актер познаньского воеводства смотрится жалко: грязный, измученный, облаченный в белую какую-то тряпку, не то саван, не то жертвенное одеяние.

...а если... прадед писал, что порой и штатные, проверенные ведьмаки ступали на хельмовы

дороги. Прадед таких прямиком на костер спроваживал, и дед традицию перенял, правда, велел перед сожжением душить, потому как сильно кричали, пугали народ, внушая ненужные мысли о чрезмерной жестокости королевского правосудия.

Себастьян Вевельский, то ли сообщник, то ли все-таки жертва, обеими руками держал обглоданное ребро... и выражение лица его было таким, что короля передернуло.

Впрочем, пробежавшись по статейке, Его Величество успокоился.

— Определенно, — медленно произнес король, складывая газетенку. — Ересь... подумайте, дорогая, если бы им нужен был труп, они отправились бы на кладбище. У Аврелия Яковлевича и лицензия имеется, выбрали бы кого посвежей... а оне возле Цветочного павильона раскопки устроили...

...и лужайку испортили. Хотелось бы думать, что не из ведьмачьей блажи, а по делу...

...признаться, на Цветочный павильон принцессы давно жаловались, дескать, беспокойно в нем, то шорохи, то шумы... ведьмаки, правда, в голос утверждали, что шорохи сии с шумами вкупе — исключительно материального происхождения, мышами рожденные, и благословляли павильон каждые полгода, а принцессы все одно жаловались... и мышей они не боятся... у старшенькой вон кошмары случались...

...нет, пусть разбираются и с конкурсом этим, и с конкурсантками, и с павильоном.

...но жалованье актерам поднять придется, а то ж пойдут бродить в народе слухи, что, дескать, едино от скупости королевской и голода дошли оне до жизни этакой...

Его Величество, приняв решение, закрыл глаза. И на странности, и в принципе, продолжая прерванную полудрему. Снилось ему очаровательная конкурсанточка в белой кружевной пене. Она вздыхала, розовела, притворно смущаясь, и лепетала, что счастлива служить своему королю...

...сны сии были куда приятней сплетен о разрытых могилах.

В свою комнату Себастьян вернулся на рассвете. Изгвазданный халат пришлось отдать Аврелию Яковлевичу, который весьма издевательским тоном пообещал халат сей хранить у самого сердца.

Зато снеди принес.

Помимо ребрышек в заговоренной сумке его обнаружилась вяленая грудинка, щедро пересыпанная толченым барбарисом и зернами тмина, холодная осетрина, сушеное мясо и пирожки с луком и яйцами. Себастьян раз за разом открывал заветную сумку, вдыхал аромат снеди и блаженно жмурился.

Прекрасного настроения его не испортила ни почти ледяная вода — Клементина пребывала в святой уверенности, что конкурсанток необходимо закаливать, пусть и принудительно — ни ранняя побудка. Рог прохрипел в половине седьмого, и тотчас дверь попытались открыть.

Панночка Белопольска потянулась в постели и томным голосом поинтересовалась:

— Кто?

— Панночка, откройте, — раздался серый тусклый голос.

Горничная.

Следует сказать, что прислуга в Цветочном павильоне была престранною, горничные все как одна молчаливы, некрасивы и одинаковы, будто бы разные отражения одного и того же человека. Обязанности свои они исполняли старательно, пожалуй, излишне даже старательно, но вот...

— Сейчас, — Тиана босиком прошла к двери и вытащила стул, подпиравший ручку. — Рано сегодня... я-то рано вставать не люблю... дома-то, бывало, засидимся с дядечкой за картами... вы не подумайте, что я сильно играю, но ему-то скучно, вот и за компанию-с. Он мне всякого интересного рассказывает, а я сижу, слушаю... кто его еще, кроме меня послушает? Его жена, еще та змеюка! Он на ней ради приданого женился... дурное это дело, приданое потратилось, а жена осталась...

Горничная ничего не ответила. Она привычно помогла одеться, а если и удивилась тому, что волосы панночки Белопольской были влажноваты, то виду не подала.

Слушала разговор? Ой, вряд ли... зачарованная будто бы... Аврелий Яковлевич выяснит. Допросит косточки ночные, а там дальше и видно будет... но все одно подозрительно.

— Панночка, — горничная все-таки заговорила. — Нельзя закрывать дверь.

— Почему?

— А вдруг пожар?

— Так я тогда открою, — резонно возразила панночка Белопольска, позволяя обвязать себя широким поясом, расшитым аквамаринами и янтарем. — Но я не привыкшая, чтоб ко мне в компанту да двери нараспашку. Ходи, кто хочет, бери, что видит... вы не подумайте, что я про вас... да и... у меня репутация! А тут мужики шастают...

— Что, простите? — горничная от удивления обронила щетку.

— Мужики, говорю, шастают. Мне ночью не спалось... решила прогуляться... я-то хорошо дом знаю, не заблужуся, у меня на новые места память ой до чего хорошая! Дядечка завсегда говорил, что мне только разочек пройти надобно...

...а с чего это серая девица посерела пуще прежнего?

Любопытно.

— Ну я и решила пройтись, чтоб сон нагулять. Дома-то мне б принесли молочка с медом. После молочка с медом спится славно, а тут... только гулять. Ну и выглянула я...

— И что?

— И ничего. Темень такая, что хоть глаз выколи! И еще зеркала эти! Жуть! Я-то зеркал не боюсь, но такое от... будто бы глядит кто на меня с той стороны...

Горничная вздрогнула и губу прикусила, словно велела себе молчать.

— Но я не из пугливых, я-то во всякую этакую чушь не верю ни на мизинчик! И пошла себе...

шла-шла... а там гляжу — мужик!

— Где?

— Да в коридоре!

— Здесь?!

— А где ж еще?! Стоит, головой крутит... смотрит... и так не по-доброму смотрит... я тихонько и отступила. Оно ведь нематериальное — чушь, а материальный мужик — это очень даже сила. И как знать, чего у него на уме?

— Как? — зачарованно переспросила горничная.

— А никак! Вдруг бы он на мою честь девичью покусился бы? Я к себе и кинулась... дверь заперла... и сидела тихонько, только потом заснула. Я ж говорю, моцион — он для сна весьма себе полезительный, — и панночка Белопольска выразительно зевнула.

— Вы... — тихо сказала горничная, покосившись на зеркало, так и прикрытое покрывалом. Странно, но никто ни словом не упрекнул Тиану в этакой вольности. — Вы... все придумали...

— Что я на фантазерку похожая? — возмутилась панночка Белопольска.

— Нет, конечно, нет, но... мужчинам нельзя бывать в Цветочном павильоне... мужчины... это... это неправильно...

...а ведь она в самом деле напугана этой Себастьяновой фантазией.

— Почему неправильно? — Себастьян взял девуцу за руку и усадил на кровать. — Нет, мужчины — это очень даже правильно, но после свадьбы. Мне и дядечка мой так говорил, мол, дорогая моя племянница, ты мужчинов слушай, да не слушайся... будут тебе горы золотые обещать, так ты им так и скажи, что, мол, на все согласная, но только после свадьбы. Так оно по чести будет, по справедливости...

От девицы пахло пылью.

И не обыкновенной, домашнею, а пылью древней, дрянной... и гниловатой...

— Неправильно, — произнесла горничная, стискивая щетку. И пальцы побелели, и ногти посинели. — Здесь... мужчина... неправильно... она будет злиться.

— Панна Клементина? Тьфу, да я не скажу...

— Она... вы не понимаете... она...

— Эва! — этот голос заставил девуцу очнуться и подскочить. — Эва, что случилось?

Панна Клементина стояла в дверях, скрестив руки на груди, и выглядела донельзя раздраженной. Горничная тотчас спохватилась, вскочила, засуетилась, щетку выронив...

— Нам голова закружилась, — доверительно произнесла Тиана, глядя на панну Клементину снизу вверх. — Вот сидели-сидели, а она как закружится. Это, небось, к дождю. Вот у нас в городе — примета верная, ежели начинает голова кружиться, то погода всенепременно переменится...

— Я жду вас внизу, панночка Тиана.

Клементина развернулась и, подобрав юбки, зашагала прочь.

— Так что там...

Бесполезно, упущен момент, и горничная нацепила прежнее безучастное выражение лица. Она споро собрала волосы в хвост, перевязав его желтой лентой, подала зонт и перчатки, шепнув:

— Вас ждут.

И вправду ждут... все красавицы и панночка Мазена, которая выглядела весьма бледной, но по-прежнему прекрасной.

Живой.

— У вас в городе принято опаздывать? — ехидно поинтересовалась Богуслава.

— Только по уважительной причине...

Мазена держалась в стороне...

...откуда взялась?

...и Аврелий Яковлевич не предупредил об этаким повороте... не знал?

Похоже на то.

— Дорогие панночки, сегодня мы отправляемся на пикник, где...

Панночки ревниво поглядывали друг на друга.

— ...общение в тесном кругу с членами королевской фамилии...

Ничего против пикников и королевской фамилии Себастьян не имел, но лишь надеялся, что у Аврелия Яковлевича день пойдет более плодотворно...

Аврелий Яковлевич заподозрил неладное по пригоревшим блинцам, каковые подали ко всему с задержкой. И лакей, и без того после приноспамятной статейки косившийся недобро, ныне выглядел бледным, напуганным.

— Что с тобою? — спросил Аврелий Яковлевич, позевывая.

Все ж таки преклонный возраст сказывался. Не на третьей сотне лет по ночным погостам шастать... для того молодняк имеется, у которого удаль в одном месте свербит, желание выслужиться... и в другом каком случае Аврелий Яковлевич нашел бы кого в Гданьск отправить, да невозможно...

— Ничего, — прошелестел Лукьяшка, лицом зеленея. И глаз его левый нервически задергался.

— Врешь, — Аврелий Яковлевич смерил холопа внимательным взглядом, отмечая, что и губы у него трясутся, и руки... и сам он, того и гляди, Богам душу отдаст. — Иди уже...

...и блинец подпаленный, с темными пятнышками сажи, чего отродясь с кухаркою местной гостиницы не случалось, взял, свернул трубочкой да в рот сунул.

Тут-то его и подловили.

— С чем блинцы? — нагло поинтересовался «крысятник», бочком протискиваясь в дверь. А ведь место, как утверждали, о трех коронах, сиречь достойное, способное покой постояльцев обеспечить.

— С человечиною, — спокойно отвечал Аврелий Яковлевич, поддевая серебряной вилочкой гусиную печенку.

Знатная была.

Гусей тут в чулках держали, откармливая фундуком и черносливом, оттого и разрасталась печенка, обретала чудесную мягкость.

— Значит, — «крысятник» проводил кусок взглядом, — вы не отрицаете?

— Не отрицаю... — и рукой махнул, скручивая пальцы определенным образом. Проклятье слетело легко, прилипло к крысятнику, опутав незримыми нитями, а тот и не заметил.

— И кого вы предпочитаете? Мужчин? Женщин?

— Крысятников, — Аврелий Яковлевич крутанул меж пальцев серебряный столовый нож, безвредный по сути своей, но гость, пусть и несколько запоздало, намеку внял. Он выскочил за дверь, громко ею хлопнул, и до Аврелия Яковлевича донесся дробный перестук шагов... вот невоспитанный ныне народец пошел. Учи его, учи, а все бестолку.

...а печеночка ныне хороша. Еще бы сливянки, да невозможно перед ритуалом...

Прочтя очередную пасквильную статейку, Аврелий Яковлевич, конечно, припомнит беседу, хмыкнет и даст себе зарок в следующий раз проклинать сразу и надолго, а то ишь, прицепились к честному ведьмаку со своими фантазиями.

Впрочем, событие это на фоне иных покажется ему мелким, пустяшным, и оттого внимание ему Аврелий Яковлевич уделит самое малое. Сложив газетенку и докурив утреннюю папиросу, он стряхнет пепел в блюдце мейсенского фарфора с вензелями, крикнет, потянется до хруста в суставах и займется настоящим делом.

В номере для новобрачных, который Аврелию Яковлевичу пришлось снять, поелику иные люксы были заняты гостями Гданьска, он задернет римленовые шторы умильного розового колеру и смахнет с подоконника пыль. Пожалуй, знай владелец коронной гостиницы наперед, чем будет заниматься столичный постоялец, рискнул бы соврать, что и этот номер занят.

И все иные.

Аврелий Яковлевич снимет рубашку из тонкого аглицкого полотна, сбросит запонки в вазочку, присядет, широко разведя руки.

— Эх, возраст, возраст, — скажет он, потирая поясницу. На спине его, отмеченной бронзово-красным загаром, проступят старые белые шрамы, оставшиеся с давних времен, когда он, сущеглупый Аврелий, пытался подлым образом покинуть фрегат «Быстрый», но был пойман

боцманом... имелся на той спине и шрам, оставленный первой бурей и рухнувшей бизань-мачтой... и кривая отметина от волкодлачьих когтей... и многие иные следы, по которым знающий человек сумел бы прочесть многое о долгой жизни ведьмака. Впрочем, перед знающими людьми Аврелий Яковлевич предпочитал не раздеваться.

Скатав ковер, тоже розового колера, украшенный голубями и сердечками, он сунул его под кровать с балдахином. Из-под нее же достал черный самого зловещего вида кофр. Уголки его тускло поблескивали медью, а ручка была обмотана кожаным шнуром. Из кофра появились баночки с красками и маслами, кисточки, которые Аврелий Яковлевич приобретал в лучшей дамской лавке, плошки и малая бронзовая жаровенка. Ее штатный ведьмак установил в центре комнаты и провел рукою над бурными кусками угля. В чаше полупрозрачным цветком анемона распустилось пламя.

— Вот так-то оно лучше...

Дальше Аврелий Яковлевич работал молча.

Опустившись на колени, он расписывал наборный паркет, не щадя ни старый дуб, ни светлую яблоневую доску, на которую краска ложилась очень даже хорошо. Руки его работали быстро, сами собою. Голова же оставалась легкой.

Но нет-нет, да мелькали мысли недобрые, предчувствия, к которым Аврелий Яковлевич прислушивался с тех самых пор, когда достославный фрегат «Быстрый» ушел под воду за четверть часа, хоть бы и предрекали, что и с пробоиной под ватерлинию он на воде сутки продержится...

...и снился опять же верным признаком грядущих неприятностей.

Завершив рисунок, Аврелий Яковлевич аккуратно вытер кисточки.

Комната не то, чтобы преобразилась, осталась на месте и кровать, и балдахин с золочеными кистями, и зеркала, впрочем, занавешенные простынями. Исчезли вазы со свежими букетами розанов, которые цвели во Гданьске пышно, кучеряво. Выставлен был за дверь круглый туалетный столик, а заодно и иной, свято хранящий фарфоровую ночную вазу... пол пестрел красно-черной росписью, полыхала жаровня, и пухлые крылатые младенчики с потолка взирали на сие непотребство с немалым удивлением.

Аврелий Яковлевич только хмыкнул и закурил, исполняя собственный давний ритуал. Когда же окурок отправился в то самое блюдо, что так и стояло на подоконнике, он взялся за самое важное — кости.

Их Аврелий Яковлевич еще на рассвете переложил в картонную коробку из-под фирменных Гданьских колбасок, запахом которых кости и пропитались. Сейчас же он брал в руки каждую, аккуратно очищал кисточкой от сухой земли и былинки, и укладывал на пол.

— Сейчас, моя славная, поговорим... заждалась, небось, замучилась... а потом я тебя в храм снесу, пускай благословят... — он беседовал с костями тихим голосом, в котором прорезались нежные мурлычущие ноты. И следовало сказать, что к покойникам в большинстве своем Аврелий Яковлевич относился с немалым уважением. — Платье тебе купим белое, с лентами... чтоб как у невесты... ты ж невестушка и есть... вот отпоют жрецы, и отправишься к матушке-Иржене, а она тебе новое тело спрядет, краше прежнего... и судьбу новую положит, счастливую...

Последним место на полу занял череп, и остатки волос Аврелий Яковлевич бережно расчесал собственным гребнем.

— Вот так, моя хорошая... знать бы имя твое, оно бы легче...

Ведьмак встал и, подняв бубен, хороший бубен, сделанный из шкуры белого оленя, расписанный собственной Аврелия Яковлевича кровью и ею же зачатый, ударил.

Гулкий звук.

Глухой.

Пронесся он по гостинице, распугав воронье на крыше, и вздрогнула кухарка, аккуратно раздумывавшая о том, как бы половчей вынести кус корейки... и горничная выронила свежeweыстиранное белье, но подняла, поняв, что прегрешение это осталось незамеченным. Коридорный выпал из сна, спеша сбежать от кошмара... заволновались псы панны Вельской, давней постоялицы, зашлись судорожным лаем...

Аврелий Яковлевич бубен гладил, касаясь то подушечками пальцев, нежно, трепетно даже, то костяшками белыми, покрытыми кракелюром старых трещин. И бубен гудел, пел, выплетая дорогу меж двумя мирами. Кривились резные младенчики, разевали рты, не имея сил закричать от ужаса. Дрожали портьеры, а символы на полу наливались силой, разъедаая дерево.

Полыхнуло пламя.

И открылась дорога меж мирами.

— Где я? — тень остановилась на пороге.

— В мире живых, деточка, — Аврелий Яковлевич смахнул испарину.

— Я не живая.

— Нет.

— Тогда зачем?

Она была молода, лет пятнадцати с виду, а может и того меньше и красива той особой хрупкой красотой, которая возможна лишь в юности.

— Спросить тебя хочу.

— Спрашивай, — согласилась дева, двигаясь по кругу, тонкие пальцы ее касались незримой стены, заставляя ту прогибаться. И мелькнула недобрая мыслишка, что призрак силен.

— Как твое имя?

— Ты звал меня, не зная имени? — девушка остановилась и, отбросила темные пряди с лица. — Неосмотрительно с твоей стороны, ведьмак... не боишься?

— Не боюсь, — ответил Аврелий Яковлевич, вглядываясь в призрачное лицо. Было в чертах его тонких нечто знакомое. Было... будто бы видел он это лицо... не это, но весьма похожее.

Где и когда?

— Сил удержать тебя мне хватит.

Призрак надавила ладошками на стену и, когда та не поддавалась, пожала узкими плечиками.

— Пожалуй, что хватит... но тогда зачем тебе имя? Ты и без имени допросишь.

И взгляд из-под ресниц... и темные, то ли зеленые, то ли серые глаза... опасно глядеть в глаза призракам. Аврелий Яковлевич с трудом заставил себя отвернуться.

— Сильный, — в голосе панночки послышалось раздражение. — Так зачем тебе мое имя?

— Чтоб знать, за кого Иржене свечи ставить.

— Даже так... совестливые ныне ведьмаки пошли. Что ж, мне таиться нечего... Януся Радомил. Так меня звали, пан ведьмак.

Радомил?

Уж не из тех ли Радомилов, которые...

...из тех, оттого и показалась Януся знакомой. Тот же аккуратный овал лица, высокий лоб и брови вразлет, и главное, глаза-омуты.

Древняя кровь.

— Никак испугался? — усмехнулась Януся, пальчиком проводя по стене, и та, прозрачная, задрожала.

— Нет.

Аврелий Яковлевич легонько ударил в бубен, и призрак поморщился, бросив:

— Прекрати. Хотела бы причинить тебе вред, не стала бы имя называть. Ты, помнится, беседовать желал... о чем же?

— О Цветочном павильоне.

— Дурное место, — спокойно ответила призрак. — Но я отвечу. Не по принуждению, а за услугу.

— Чего ты желаешь?

Договор с призраком — дело дрянное, но на сей раз чутье Аврелия Яковлевича молчало, знать, не мыслила покойная панночка Радомил подлости. А с другой стороны очевидно, что силком из нее много не вытянешь. Древняя кровь — она и в мире ином сказывается.

— Не бойся, не мести, хотя я и имею на нее право, — Януся встала напротив ведьмака и откинула длинные темные волосы за спину. Кожа на щеках ее вдруг потемнела, пошла пятнами. Изначально бледно-лиловые, с розовой каймой, пятна темнели, расплзались причудливым узором. И кожа рвалась, сквозь разрывы росло черное волчье мясо.

Аврелий Яковлевич смотрел.

Ему всякого доводилось видеть, но и поныне человеческая жестокость вызывала недоумение.

— Скажи, я хороша? — Януся провела разъеденными ладонями по мертвому лицу. — Красива? Достаточно красива, чтобы умереть?

— Ты хороша, — Аврелий Яковлевич положил руку на прозрачную стену. — И действительно имеешь право на мечь... «хельмова сушь»? Я верно понял?

— Верно.

— Сколько?

— Месяц, — она потрогала губы, которые от прикосновения рассыпались пеплом. — Она пила меня месяц... древняя кровь... сильная кровь...

Януся провела сложенными ладонями по лицу, возвращая прежнее обличье.

— Я не хочу мести, ведьмак. Я хочу справедливости. Найди ее.

— Найду, — Аврелий Яковлевич раскроил ладонь, и темная густая кровь полилась на пол. Она впитывалась в паркет, и символы на полу набухали краснотой. — Именем своим, телом и душой бессмертной клянусь, что найду колдовку, виновную в смерти Януса Радомил. А теперь рассказывай.

Он отряхнул руку, и порез затянулся.

— Ничего, если я закурю?

— Ничего, — Януся, сев на пол, скрестила ноги, и белое туманное одеяние ее рассыпалось. Она лепила из этого тумана наряды, меняя один на другой столь быстро, что Аврелий Яковлевич не успевал их примечать. — Кури. Мой жених курил трубку. Меня просватали за него еще в младенчестве... сколько тебе лет?

— Триста двадцать...

— Много... не устал жить?

— Ничуть.

— А мне было четырнадцать, когда меня не стало. Обидно. А еще я его любила.

— Жениха?

— Да.

Аврелий Яковлевич тоже сел, и кисет с табаком пристроил на колене, папироску крутил сам, умело, не просыпав ни крошки.

— Он был чудо до чего хорош... из рода Сапеских... Анджей его звали, Анджей Сапески...

На темных волосах Януса появился белый веночек.

— Тебе повезло, ведьмак, что ты нашел меня. Другие бы молчали. Другие боятся ее, в ее-то власти пребывая, а я...

— Древняя кровь...

— Именно...

...белые цветы, невестины, кружевным покрывалом ложились на плечи Януси.

— Он был красивым, — Януся закрыла глаза. — Он приезжал в отцовское поместье и привозил мне сладости. Он был старше на десять лет, но я вовсе не считала своего Анджея старым... тем летом нас должны были обвенчать. Я только и думала, что о своей свадьбе. Мне сшили платье... нравится?

Она поднялась на цыпочки, и босые призрачные пальчики Януси поднялись над полом. Она же крутанулась, раскрыв руки, и туман, облетая с ладоней, становился платьем.

Красивым.

Пусть давно уже вышедшим из моды. И юбки-фижмы, украшенные гирляндами парчовых розочек, с трудом поместились в ловушке. Тускло мерцал жемчуг, вспыхивали алмазы росой на лепестках из ткани, вились серебряные дорожки шитья.

Жесткий кружевной воротник обнимал тонкую шейку Януси.

И расходились от локтей пышные манжеты.

— Очень красивое платье...

— Я мечтала о том дне, когда надену его...

Призраки не умеют плакать. И платье облетело пылью, а пыль истаяла, едва коснувшись пола.

— В тот раз он приехал в гости с королем. Отец не слишком-то был рад, но разве можно было отказать Миндовгу? Я сказалась больной и заперлась в своих покоях. Я не показывалась никому, но она все равно увидела. Узнала... все говорили, что Миндовг сошел с ума, и отец даже подумывал, не поддержать ли ему королевича, но... никто не знал правды. Она была виновата.

Януся стиснула кулачки.

— Она свела его с ума. Той ночью она пришла ко мне через зеркало. Дядька Стань, наш ведьмак, никогда-то зеркал не любил, а я не слушала... я была так красива... все говорили... и как девушке без зеркала? Той ночью спали все, и я тоже спала, только понимала, что происходит... она вышла из зеркала, такая холодная, ледяная просто-напросто. Она перешагнула через моих собак, а со мной всегда ходили волкодавы, их дядька Стань натаскивал... и они не очнулись, и чернавка, которая в ногах спала, тоже не очнулась. Я хотела закричать, но не смогла. Она же наклонилась к моему лицу и поцеловала.

Ее и теперь, спустя годы, передернуло от отвращения. И Януся вытерла рукою губы.

— Чем от нее пахло? — спросил Аврелий Яковлевич, скатывая новую папироску. Люди, хорошо знакомые с ведьмаком, по сему признаку с уверенностью заявили бы, что Аврелий Яковлевич пребывает в расстроенных чувствах.

— Пахло? — Януся нахмурилась, но все же ответила. — Болотными лилиями... и багной... [12] у нас рядом болото, мы на куропаток выезжали охотиться... и еще дядька Стань крикс гонял... и возил мне мар показывать... что с ним стало?

— Не знаю, девонька.

— Узнаете?

— Узнаю.

— Не носи мои кости в храм, — попросила Януса, скрещивая руки на груди. — Пока не носи... верни, где лежали... у нее нет надо мной власти... и помогу, чем умею. От поцелуя я заболела... нет, не правильно, я... меня будто бы в собственном теле заперли. Я слышала все, видела, но ничего не могла сделать, кто-то иной поселился во мне. И он вышел ночью из комнаты... переступил через собак, и через охрану, спустился во двор. А там уже ждал возок... и на козлах сидел мой Анджей. Она сказала, что Анджей сам меня предложил... ему не хотелось жениться...

— Ты поверила?

— Не знаю. С ней сложно. Я не хотела верить, а она... она все говорила, что меня не найдут, что не ищут даже... что все думают, будто меня болотницы позвали, и значит, я сама... не болотница — двоедушница...

Она замолчала, приложив пальчики к губам, глядя на Аврелия Яковлевича с детской надеждой.

— Лгала, — с уверенностью сказал он. — Двоедушником человек становится по собственному согласию, когда пускает в себя хельмову тьму. Тебя заклинали, девонька, и не только через зеркало. Не получала ли ты накануне подарков?

По тому, как нахмурилась Януса, понял — получала:

— Анджей прислал... лилию болотную из белого золота... и выходит, что он...

— Не спеши судить, — Аврелий Яковлевич покачал головой, — ты же сама заклятою была, знаешь, каково это... сильная колдовка любого воли лишит.

...почти любого, ибо, ежели б и вправду любил неведомый Анджей невесту свою, не причинил бы ей вред даже под заклятьем...

— Да?

— Ты у богини про своего Анджея спроси. Она-то правду знает.

— Непременно спрошу, — Януса вновь опустилась на пол, села на корточки, в белой полупрозрачной рубашке она выглядела куда моложе своих четырнадцати лет. — Дальше обыкновенно все было. Меня привезли в Цветочный павильон. Заперли. Она разрешила Миндовгу... ты и вправду хочешь знать подробности?

— Не эти, девонька.

— Тогда ладно... в первый раз я хотела на себя руки наложить... а она не позволила. Она никому не позволяла умереть просто так... Миндовг от вида крови зверел... он пил ее... и других тоже поил. Она ему сказала, что если пить кровь, то можно жить вечно, как упырь...

— Ну... упырь-то как раз и не живет. А если и существует, то до первого толкового охотника.

Януса слабо усмехнулась.

— Он мучил, а силы тянула она... и обещала, что если клятву дать, то муки прекратятся...

...а вот это уже было совсем интересно. Души собирала колдовка. И много ли набрала?

— Много, — сказала Януса. — Они боялись...

— А ты?

— И я боялась.

— Но?

— Я из Радомилов, — она сказала это так, что Аврелий Яковлевич понял: не сломали. Ломали. Долго. Старательно. А после наложили заклятье «хельмовой суши». И если душа Януса осталась свободна, то тело ее, молодость, красота, перешли колдовке.

— Сколько ей лет?

— Не знаю, — Януса пожала плечиками. — Она выглядела молодой, но вот глаза ее... что колодцы болотные... и еще, у нее на руке отметина имелась, вот тут.

Она вытянула правую ручку, повернула и коснулась белой кожи.

— Темная?

— Черная почти.

Худо. И дело дрянь, не вытянет Себастьян... да и сам-то Аврелий Яковлевич... Ежели уже тогда колдовка была сильна неимоверно, то какова она ныне?

Или напротив, у страха глаза велики? Сколько лет минуло как-никак... и быть может, ослабела колдовка, оттого и вернулась на прежнее место, которое еще помнит вкус пролитой крови?

И ответом на невысказанную мысль его, полыхнуло белое пламя, раскрыло незримые щупальца, холодом обдав. Вспыхнул запирающий контур...

Аврелий Яковлевич взмахом руки разрушил плетение, отпуская призрака.

И ударил в бубен.

Загудела оленья шкура, заплясали рисованные кровью фигурки, ожили. И только та, что смотрела с той стороны пламени, не испугалась. Аврелий Яковлевич остро ощущал ее присутствие, и злую давящую волю, что легла на плечи тяжестью невыносимой...

...снова кипело море...

...и плетка боцмана гуляла по спине, сдирая лоскуты шкуры...

...и на нее, просоленную, разъеденную язвами, ложилась бизань-мачта, грозя погresti под собой.

— Ш-шалишь, — сказал Аврелий Яковлевич, стряхивая видение. Он бил по бубну, и давно уже

не было мелодии, но лишь гул стоял, что в ушах, что в голове, что во всем мире, сузившемся до одной этой комнатухи. От этого гула дрожал пол, качался потолок с резными младенческими личиками, и пламя колыхалось...

...не гасло.

— Отступись, — ответило пламя. — Иначе погибнешь...

...и погасло.

Предупреждение? Пускай себе... и если предупреждает, то не так уж она и сильна.

— Шалишь, — повторил Аврелий Яковлевич, опускаясь на пол. Встал на четвереньки, дыша с надрывом, и крупные капли крови катились из носа, расплываясь по испорченному паркету лужицами...

Глава 14

О поклонниках дневных, ночных, а также трудностях провинциальных благовоспитанных юношей, с которыми оные сталкиваются, заводя сомнительные знакомства

Евдокия вынуждена была признать, что два поклонника — это в высшей степени утомительно. И если Лихослав, презрев все запреты, так и появлялся по ночам, принося с собой пирожные из королевской кондитерской лавки, медовуху и колоду карт — играли исключительно на интерес, и Евдокия ныне задолжала два желания против трех Лихославовых, — то Грель с завидным упорством осаждал ее днем.

— Вы выглядите прельстительно, — заявил он, по-хозяйски беря Евдокию под руку. — Я в немалом восторге пребываю...

— Отчего?

Греля хотелось огреть по голове зонтиком.

— От мысли, до чего славная мы будем пара... вот представьте, вы и я совместно гуляем по набережной. Вы в полосатом морском платице... я в костюме...

— Полосатом и морском?

— Отчего ж? Белом, непременно белом, из первостатейного сукна и с пуговицами позолоченными. Позолоченные пуговицы в нынешнем сезоне очень бонтонно... а еще вам надобна шляпка с широкими полями... и бирюзовый бант.

Он скосил взгляд на собственные руки, убеждаясь, что руки эти все еще весьма и весьма хороши, с пальцами прямыми, ногтями розовыми, подпиленными полудужкой. Ногти пан Грель смазывал воском для крепости и блеска.

— И вот мы с вами гуляем, а все встречные нам кланяются...

— Пан Грель, — Евдокия руку высвободила к вящему неудовольствию дневного кавалера. Надобно с этим что-то делать... в смысле с кавалерами. А то ведь не высыпается она.

...и вчера Лихославу вновь в пику проигралась. Небось, жульничает. Нет, ей-то не удалось его уличить, но ясное дело, что жульничает.

Евдокия играть умеет.

Ее на карьерах рабочие учили, а маменька потом переучивала, не столько от карт, сколько от слов, которыми раздача сопровождалась.

— Да, дорогая, я всецело во внимании.

вернуться

12

Багна — трясина.

Он и склонился, не то, чтобы лучше Евдокию слышать, не то, чтобы продемонстрировать новый шейный платок, из шелку, маленькими пчелками расшитый.

— Я ценю вашу ко мне честность, — сказала Евдокия, отодвигаясь: и то, кельнскою водой Грель обливался щедро, а рот полоскал мятой, аптекарский настой которой носил с собою во фляге. — И хорошее ко мне расположение, однако у нас с вами не так много общего, чтобы строить совместную жизнь...

— Вы ошибаетесь, Евдокия...

— Нет, будьте любезны, дослушать, — и руку Евдокия за спиной спрятала. — О вашем предприятии мы поговорим, когда все закончится. Полагаю, маменька согласится предоставить вам ссуду под малый процент, а то и вовсе без процентов, в память о вашем покойном батюшке... и в награду за беспорочную вашу службу...

Евдокия запнулась, до того нехорошо, зло, глянул на нее старый знакомец. Однако тотчас взяла себя в руки.

— И я окажу всякое возможное участие... наши торговые связи...

— Евдокия...

— Да?

— Позвольте узнать, чем же я вам нехорош?

— Всем хороши, — честно ответила Евдокия. — Даже чересчур...

...как сахарный леденец на палочке, да еще золотой фольгой обернутый. Смотреть и то сладко.

— Но мы с вами и вправду разные...

Ответить Грель ничего не ответил, губы узкие поджал, отвернулся.

— Мне жаль, — очень тихо произнесла Евдокия. А в глазах ее несостоявшегося мужа мелькнуло что-то такое... недоброе? Мелькнуло и исчезло.

— Что вы, Евдокия... я все понимаю, — Грель с улыбкой поклонился. — Но согласитесь, что я не мог не попытаться... и все же, ежели вдруг офицер вас разочарует...

Евдокия поняла, что краснеет.

Откуда? Лихослав появлялся глубоко за полночь и бросал камушки в окошко...

...он говорил:

— Ночи тихой, — и ставил на подоконник очередную коробку, перевязанную пышным бантом.

А когда карта не шла, то хмурился и щипал себя за кончик носа... а нос у Лихослава был хорош, крупный, но не сказать, чтобы массивный. С горбинкой, изящными ноздрями и старым шрамом. Он был не замечен этот шрам, не шрам даже — белая ниточка... а второй — на подбородке, который тоже весьма себе солиден... и вообще, если разобраться, Лихослав не то, чтобы красавец, но...

Евдокия вздохнула.

— ...я завсегда готов повторить свое предложение.

— Даже так?

— Даже так, — ответил Грель, глядя в глаза.

...мерещится, конечно, мерещится эта почти ненависть, пустота за серою пеленой. Солнце Евдокию слепит, а Грель, напротив, в тени стоит, оттого и выглядит, будто бы пылью припорошенным.

— Я ведь понимаю, Евдокия, что вы — женщина... простите, из возраста юного вышедшая...

...сказал бы уж как есть — перестарок. Хочется ему, но выдержка не позволяет.

А ведь оскорблен отказом.

И не потому, что Евдокия Лихослава предпочла... не предпочла... не было в ночных посиделках ничего предосудительного... подумаешь, карты... или черешня, которую Лихослав принес в кулке... сказал, что в саду нарвал, а сад — королевский. И пробуя эту черешню, крупную, отборную, какого-то неестественного пурпурного оттенка, Евдокия жмурилась от удовольствия, одновременно ощущая себя едва ли не государственной преступницей. А Лихослав лежал на полу и наблюдал.

— ...и я понимаю, что подобный ухажер... — это слово Грель выплюнул, — вам в интерес... и пусть так, я готов принять все, как есть. Но подумайте, Евдокия, вы же не провинциальная кокетка, которая не видит дальше мундира. Не ошибитесь.

Бросил и ушел.

А на душе стало так мерзко, что...

Грель отвесил резкий поклон и удалился шагом быстрым, всем своим видом показывая, сколь оскорблен он отказом.

Ну его... и вообще... и Евдокия присела на лавочку в тени розового куста.

Не дура она.

И прекрасно все понимает.

Лихославу нужны деньги, а она, Евдокия, это так... приложением... не юная девица? Старая дева почти что... еще бы год или два... ей-то казалось, что ей всего двадцать семь, а на деле — уже двадцать семь... и ни семьи, ни дома своего... только дело, пусть любимое, но в кои-то веки о делах думать не хотелось. Это все парк виноват королевский.

Лужайки его зеленые, дорожки, желтым песочком посыпанные... пикник... и Евдокия не то, чтобы приглашена, скорее уж на ее присутствие привычно не обращают внимания. Да и кто она таковая? Дочь купчихи-миллионщицы... и пусть маменька ежегодно отчисляет в казну тысячи полновесных злотней, пусть вложила немало и в сей конкурс, но она, Евдокия, в королевском дворце лишняя.

Объективная реальность.

...нет, ее не гонят.

Не замечают и только... и работы той, привычной, в которой можно спрятаться, нету... и остается держаться в тени, наблюдая, как прохаживаются красавицы от одной кружевной беседки к другой... наблюдает за ними панна Клементина, серое пятно в многоцветье парка... несчастная, должно быть, женщина.

И улыбается редко.

Пожалуй, реже самой Евдокии. По лицу ее сухому видно, сколь непривычны ему улыбки или же гримасы иные, помимо заученной, притворно-равнодушной. Но в нынешнем полуденном часу, разморенная жарой, тишиною сада, нарушают которую лишь канарейки в серебряных клетках, панна Клементина вот-вот соскользнет в сон. И маска сползает, обнажая истинное лицо.

Жаль, не разглядеть, панна Клементина предусмотрительно прячет это лицо в тени зонтика.

И Евдокии выдали.

Неудобная вещь, мешает... Аленка о чем-то шепчется с Лизанькой... с остальными у нее как-то не сложилось. Аленка не жаловалась, нет, но Евдокия ведь не слепая...

...купеческая дочь, куда ей до шляхетных пани...

...и обидно становится едва ли не до слез, не за себя, самой-то Евдокии плевать на весь этот двор, а вот сестрица...

— Спать на солнце вредно, — у Евдокии забрали зонт и раскрыли над головой.

— Я не сплю.

— Плачете? — Лихослав, не спрашивая разрешения, присел рядом. — Не думал, что вы способны плакать.

— Почему?

Нет, Евдокия вовсе не плакала, не видела она причин слезы лить — ну не за Греля же ей расстраиваться, в самом-то деле? — но вот само это высказывание задело ее до глубины души, будто бы Лихослав взял и отказал ей в исконном женском праве на слезы.

— Не похожи...

— На женщину?

— На слезливую женщину, — уточнил он. — Что случилось?

— Ничего.

Просто солнце. И зонтики кружевные. Розы, азалии и маргаритки россыпью, будто перламутровые пуговицы на зеленом бархате газонов... красавцы и красавицы, двор королевский с Его Величеством, который без короны выглядит самым обыкновенным человеком, несколько суетливым, любезным и лысоватым... лысина на солнышке блестит.

Его Величество хохочет...

...пляшут и кривляются шуты... до Евдокии доносятся голоса, а слов не разобрать.

И наверное, если она подойдет ближе, не будет беды, быть может, Его Величество улыбнется и ей, Евдокии, а королева, облаченная в то самое, милое Грелеву сердцу, морское платье, одарит мимолетным взглядом. И не будет в этом взгляде обычной женской ревности, но лишь вялое любопытство...

— Не знаю, кто испортил вам этот день, — Лихослав протянул кулек с орешками, — но если хотите, я его убью.

— Вот так просто?

Орешки, сваренные в меду, спрятанные в плотные сахарные панцири, несколько примирили Евдокию с действительностью. И вправду, чего это она расклеилась?

— Почему нет? — Лихослав ныне был в обычном своем мундире, который, следовало признать, шел ему невероятно. — Убивать вообще просто...

...он сам выглядел утомленным.

— Вам доводилось?

— Доводилось, — он раздавил сахарный панцирь и вытряхнул ядро на смуглую ладонь.

— И мне... — призналась Евдокия. — Потом было тошно...

— Это только в первый раз, — к счастью, Лихослав не стал уточнять, кого и когда она убила. — Потом легче... с каждым разом легче... а потом наступает момент, когда смерть не вызывает ничего... у нас в полку служил один... мы с ним не были приятелями, приятелей, честно говоря, у меня не так и много...

— Отчего?

— Да не сложилось как-то...

...и вправду, не сложилось. У самой Евдокии подружек нет. Да и откуда им взяться, ежели она первую половину короткой своей жизни с маменькой в разъездах провела, а вторую, взрослую, — в делах?

— Мы в один год с ним пришли... я, правда, в чине, но... так принято. Он сам по себе был, но... веселый парень. Свойский. Со всеми на короткой ноге... после певой стычки с хольмцами, помню, плакал... не знал, что у них в бой и бабы... извините, женщины ходят.

Лихослав давил орехи пальцами, беззвучно лопалась плотная сахарная оболочка, падала на брюки, на скамейку, на траву. И сами орехи раскалывались пополам, и тоже падали, и наверное, он сам не замечал, что делает.

— Года не прошло, и ему стало все равно... а потом понравилось. Это бывает. На Серых землях все... немного не так. Это сложно объяснить, но там... там не растет трава, только мох. Он не серый, но такой, белесый... иногда розоватый, а когда кровь льется, то на пару дней становится темно-пурпурным, и выпускает тонкие стрелки такие, будто цветы. И стоит подойти, как цветы лопаются, а в воздухе повисает пыль. Она медом пахнет и говорят, что сладковатая на вкус. Ее собирают... вы слышали про «хельмову радугу»?

Евдокия кивнула. Слышала. Счастье на развес. Абсолютное. С гарантией, правда, длится оно всего-то несколько часов, но...

— Это она и есть. Странная вещь... опиум дарит грезы, а вот она... она мир раскрашивает. Исполняет самое заветное... и оно реально, Евдокия. Настолько реально, что когда действие заканчивается, когда ты вновь просыпаешься... обычным, и в мире обычном тоже, тебе выть хочется с тоски. Там на нее многие подсаживаются. Тут-то дорого... а там — бесплатно, пара капель крови и подождать. Мох быстро расцветает... а небо всегда серое. И солнца нет. Я знаю, что это неправильно, когда солнца нет, что невозможно. У меня хорошие были наставники, вот только на Серых землях бывать им не доводилось. Официально это именуется оптической иллюзией. Будто бы энергия места преломляет свет таким вот хитрым образом. Но это ложь...

Лихослав с удивлением уставился на свои руки, покрытые мелкой сахарной пылью. Поднес к носу, понюхал, лизнул.

— Все знают, что Серые земли — это не граница, это самая, что ни на есть, Хельмова задница, из которой нормальному человеку надобно бежать...

— Дайте сюда, — Евдокия вытащила платочек и принялась руку вытирать. — Вы долго там были?

— Десять лет, — он смотрел, не делая попытки высвободиться. — Я вас смутил?

— Вашими откровениями? Отнюдь.

— Я ведь пробовал «хельмову радугу».

— Это я поняла.

— Там ее все пробуют. Поначалу — из любопытства, а потом... знаете, в сером мире становится тошно... когда каждый день одно и то же... равнина, и снова равнина... кони проваливаются, но главное, чтоб на багника [13] не напороться, утянет. Деревья торчат серые, перекрученные. Листьев нет, а живут... я поначалу думал, что мертвые, но как-то тронул, а оно дрожит, тянется к теплу.

Руки были хорошими, крепкими.

И в мелких шрамах.

— Это меня игоши подрали... напоролись как-то на гнездо. Они мелкие, юркие и саблей не достанешь, а зубы-то... что иглы. Наш разъезд хорошенько потрепали, пока мы с огнем сладили... игоши, которые постарше, хитрые, налетят и крыльями норовят гличики перевернуть, чтоб огонь погас. А на Серых землях огонь развести тяжело.

Он пальцы все равно облизывал.

— Напугал? — Лихослав попытался улыбнуться, вот только улыбка получилась кривоватой, неискренней.

— Ничуть... почему там?

— Служил?

— Да.

Он ведь княжич, и старого рода, и мог бы выбрать место безопасное, тот же двор королевский...

— При дворе уланом быть дорого, — Лихослав вытряхнул последний орешек на ладонь и протянул Евдокии. — Да и... тошно, честно говоря. Не умею я тут служить так, чтобы с пользой для себя и рода. А за Серые земли платят хорошо... и не только из казны. Та же «хельмова радуга» на золотой вес идет... есть еще паутинка, которую местные пауки ткут, тонкая и крепкая. Или вот гнилушки... или...

— Ты же князь будущий.

— И что? Думаешь, если князь, то гнилушки собирать зазорно? Да за одну десятку злотней дают... они ж растут семьями, по десятка три-четыре... — Лихослав отвел взгляд. — В хороший месяц выходило до десяти тысяч злотней. А как-то я волчьего пастыря [14] встретил... он сидел под грозовой сосной, такой, знаешь, которую молнией посекло, а вокруг него собрались навьи волки. На Серых землях они здоровые, с теленка размером. Он им читал из книги, а волки слушали...

Взгляд Лихослава затуманился.

— А три дня спустя сая вышла к границе, там люди селятся, большей частью перекупщики. Ну или охотники... находятся безголовые, которые на Серые земли вдвоем-втроем ходят, а то и в одиночку. Но эти живут мало... волки всех вырезали... и людей, и скот, и... и наших там крепко полегло. А меня не тронули, будто бы знали, что я Его видел. Лошадь, вот ту задрали, вожак ей одним хватом горло взрезал. Я уж думал все, а он склонился, дыхнул гнилью и засмеялся... никогда не слышал, чтоб волки смеялись. Даже когда я в него нож всадил, хороший... заговоренный... он все равно смеялся... мне за шкуру его триста злотней дали... а за зубы — еще сотню. Еще когти. И кости. Печенка опять же... и сердце волчье... не спрашивай, кому оно надобно.

Евдокия не спрашивала, она просто сидела рядом и слушала.

Гладила разрисованную шрамами ладонь.

— Серые земли затягивают, — Лихослав притянул Евдокию к себе, посадил на колени и подбородком в макушку уперся. И наверное, следовало запротестовать, в конце концов, пусть Евдокия и не шляхетного рода, но у нее тоже репутация имеется.

Но здесь, на кованой лавочке, спрятанной в тени розовых кустов, о репутации не думалось.

А вот о Серых землях, тень которых жила в глазах Лихослава... и еще о нем самом... князь будущий, а собирал «хельмову радугу»... и гнилушки, которые здесь, в Познаньске, стоят в десять раз дороже... Евдокия знает, как и то, что из гнилушек этих делают сердечные капли.

Не только их...

— Я вообще туда по дури сунулся, после истории одной... но поначалу казалось, что побуду год и назад... поставил себе цель — двадцать тысяч злотней заработать... на реконструкцию...

— Не хватило?

— Точно, не хватило. За первый год я заработал тридцать... а оказалось мало. Сколько бы не отсылал, этого оказывалось мало.

— Управляющие твои воруют.

— Наверное, — легко согласился Лихослав. — Да и... есть отец... он не привык себя ограничивать. И братья тоже... и сестры... их надо было в свет вывести... дом в городе... и старое поместье... это какая-то бездонная яма... такие есть на Серых землях. Мертвыми колодцами называют... там нет воды, ничего нет, одна чернота... как-то такой пытались засыпать. Две дюжины подвод с землей и камнями заглотил...

Он вздохнул и, поцеловав Евдокию в макушку, произнес с укоризной:

— Я тебя совсем заговорил.

— Нет. Просто... как-то неправильно это. Там ведь опасно.

— Опасно.

— Но ты...

— Говорю же, братья есть, если бы со мной что-нибудь приключилось, то титул получил бы Велеслав...

— Я не о том, — Евдокия мягко провела пальцами по щеке. Колючий. Щетина светлая, мягкая, а за ухом очередной шрам прячется. И Лихослав, отвечая на незаданный вопрос, сказал:

— Двоедушник задел. Тот мой сослуживец, о котором я говорил... порой такое случается с теми, кто давно... он был хорошим парнем, и никто не заметил, когда попустился. Может, когда перестала чужая смерть пугать, а может, когда стал искать веселья, выходить не за добычей, а развлечения ради... услышал однажды свирельку... бывает, что на рассвете будто бы на свирели играют, хорошо, с переливами... а потом смех... и если угадать, в какой стороне, то можно черноцветника собрать. Наши и слушали. А этого вдруг переключило. Закричал. За саблю схватился... глаза кровью затянуло, и лицо... как у двоедушника. Я ближе всех стоял...

— Он тебя...

— Задел слегка, не страшно. Демоны с саблей не очень-то хорошо управляются. А колдовать человеческое тело непривычное. Мне повезло, что двоедушник молодым был, не освоившимся...

Повезло.

И сколько раз за эти десять лет ему везло? День ото дня, год от года...

вернуться

13

Багник или болотник — в славянской мифологии аналог водяного, обитающий в болотах, в трясине.

вернуться

14

Волчий пастырь — владыка бурных гроз, он выезжает верхом на волке, имея в руках длинный бич, или шествует впереди многочисленной стаи волков и умирят их дубинкою. Он то показывается в виде старого деда, то сам превращается в волка. Он собирает вокруг себя волков, кормит их и каждому назначает его добычу: одному волку приказывает зарезать корову, другому заесть овцу, свинью или жеребенка, третьему растерзать человека. Кого назначит он в жертву волку, тот, несмотря на все предосторожности, уже не избегнет своей судьбы.

...на Серые земли, на вечное поселение, отправляют должников, разом долг списывая и выдавая на обустройство двадцать злотней.

...шлют каторжан из числа разбойников и душегубов, этих — в кандалах, на рудники, где добывают каменный жемчуг...

...едут туда сами охотники за золотом, бегут, в надежде оседлать удачу, не думая, сколь долго в седле продержатся.

— Я о том говорила, — Евдокия не убрала руку, — ты, получается, зарабатывал, а семья твоя тратила? И никто не пытался...

— Пытались. Мой старший братец, ему давно уже долю в наследстве выделили, неплохо вложился. Он и отцу предлагал, но... они друг друга недолюбливают. Главное, у Себастьяна свой доход имеется от акций... Яцек пытался торговлей заняться, да как-то неудачно... Гарольд, младший наш, рвался в Серый полк, но...

— Ты не позволил.

— Да.

...а теперь случилось что-то, что заставило Лихослава уйти, и ручеек золота, питавший княжеский род, иссяк.

— Там слишком опасно, — сказал он, отпуская Евдокию. — Я не могу рисковать братом.

А собой, значит, можно было.

— Теперь ты понимаешь, почему я должен найти богатую невесту, — Лихослав закинул руки за голову, а голову запрокинул, подставляя солнцу смуглую шею.

— Понимаю.

— Сбежишь?

— Как можно! Кто мне тогда колбаски носить будет? К тому же, ты мне три желания должен.

— А ты мне — два. Может, по взаимозачету?

— Ну уж нет! Никаких зачетов... будешь знать, что карты — зло!

— Буду... Евдокия...

— Мне не нужен твой титул, — серьезно сказала она. — Но мне нужен муж. И если тебя не пугает связаться с такой, как я...

— Какой?

— Не шляхетного рода... не слишком красивой... не молодой... мне ведь двадцать семь и...

— И хороший возраст, — он приоткрыл левый глаз. — Вот было бы двадцать восемь, я бы еще подумал, а двадцать семь — это...

— Смеешься?

— Кто тебя обидел, Евдокия?

Никто, наверное...

— Забудь, — Евдокия улыбнулась. Все-таки хорошо, что он появился... — Расскажи еще, пожалуйста.

— О Серых землях?

— Да.

— А тебе и вправду интересно?

— И вправду.

— Просто... обычно как-то не принято... дурной тон... я в первую побывку еще столкнулся, что никто не хочет слушать, разве что Себастьян... он бы понял, наверное... князю неприлично, чтобы там служить... Серые земли есть, а в то же время их и нет... там порой стоит такая тишина, что слышно, как растет мох. А потом налетают гарцуки... [15] и тогда ветер заговаривает с тобой. Но нельзя его слушать — заморочит, заведет... был мальчишка, из новичков, все доказывал, что с нечистью можно договориться... увели его, три дня водили, вернули потом, живым и почти нормальным... он стал бояться ветра, даже обыкновенного...

Лихослав дернул расшитую желтой нитью ленту.

— На полную луну, нет, там луна никакая не показывается, но мы все точно знаем, что она полная, нечисть играет свадьбы. Мары примеряют платья из тумана и паутины, веночки из

мертвоцветов, и ходят, зовут женихов... находились такие, что отзывались... и тогда летит по-над болотами свадебный возок, из костей сделанный, запряженный тройкой навьих волков. Сидит на облучке перевертыш и погоняет... гости несутся следом, визжат, воют, и не приведите Боги оказаться на пути этакой свадьбы.

Евдокия поежилась.

Зябко. От слов зябко, и будто веет сыростью туманной, волглым болотным духом... и солнце уже не греет, да и само оно скрывается вдруг, наполняя королевский парк тенями, заставляя придвинуться ближе к Лихославу. И в шепоте ветерка голоса уже мерещатся...

— Дуся! — этот голос, к сожалению, не примерещился. — Дуся, я тебя нашел!

И не только голос.

Аполлон, выбравшийся из кустов, смахнул прилипший лист, мазнул рукавом по расцарапанной щеке, и бухнулся на колени.

— Дуся, спаси меня!

— От кого? — Евдокия огляделась.

Тихо.

И парк пребывает в обычной своей полуденной дреме. Король и тот смежил веки, и парочка шутов прикорнула у ног его. Королева позевывает, позабыв про этикет, красавицы блистают...

— Лихослав...

— Я буду рядом, дорогая, — он поднялся и поцеловал раскрытую ладонь.

...правда, смотрел он почему-то не на Евдокию.

Проследив нить взгляда, она без удивления отметила, что панночка Белопольска сегодня диво до чего хороша. Она стояла, опираясь на руку Его Высочества, и о чем-то рьяно вдохновенно рассказывала.

О козле?

Или о дядькиной супружнице, которая — редкостная змеюка, а еще наверняка колдовка, поскольку булавки собирает. Разве ж нормальный человек будет собирать булавки?

Евдокия заставила себя отвернуться.

В конце концов, смешно ждать от Лихослава верности... и от мужа вообще... и ее брак — всего-навсего сделка, условия которой следует обговорить наперед и не жаловаться, если вдруг окажется, что плохо договор прочла.

— Дуся! — Аполлон напомнил о своем существовании. Он по-прежнему стоял на коленях, взирая на Евдокию кротко и со смыслом. В синих очах его стояли слезы. — Дуся, забери меня оттудова!

— Откудова? — машинально переспросила Евдокия.

— От нее!

— Что случилось?

Выглядел Аполлон вполне прилично. На нем была белая льняная рубаха, расшитая петушками и крупными стеклянными бусинами, полосатые штаны с блеском, широкий алый кушак, хвосты которого живописно разметались по траве. И красные сафьяновые сапоги.

Правда, приглядевшись, Евдокия заметила, что ворот рубахи был подран, а на штанах проступали странного вида масляные пятна. Скула Аполлона припухла, а на щеке алела свежая царапина.

— Она... — он всхлипнул, неловко подымаясь, на штанах остались травяные пятна, а за рубаху зацепились листья и паутина. — Она меня домогается!

— Что?

Аполлон перебрался на лавку и, зардевшись, повторил.

— Она меня домогается! Совратить хочет.

— А ты?

— А я боюсь!

— Чего?

— А вдруг... вдруг она меня совратит и бросит? — Аполлон всхлипнул и, достав из кармана штанов платок, с теми же петушками, вышитыми красной нитью, шумно высморкался. — А я невинный... остануся опозоренным... и все пальцами показывать станут. Мне маменька говорила...

— Что она тебе говорила?

— Чтоб берегся развратных женщин. Оне коварныя.

Аполлон приняхался и деловито спросил:

— Орешков нету?

— Нету. Аполлон, — Евдокия откашлялась и осторожно поинтересовалась, — может, ты неправильно все понял?

— Неа, — он мотнул головой. — Она меня за руку берет. И в глаза еще заглядывает. Вот так.

Он сгреб Евдокину ладонку и прижал к груди, сам же причудливым образом изогнулся, вывернул голову, сияясь показать, как его новая знакомая смотрит.

Аполлон старательно пучил глаза и хлопал ресницами.

— Я поняла, — Евдокия руку попыталась вырвать, но хватка у Аполлона была мертвой.

— А еще она дышит! — произнес он и старательно засопел. Судя по всему, бедная панночка, очарованная неземным Аполлона образом, страдала отдышкой. — И сопить. Со смыслом.

Сопение со смыслом, вне всяких сомнений, было серьезнейшим аргументом в пользу Аполлоновой версии.

— Намедни пришла в комнату, принесла пахлавыв медовой... и еще петушка на палочке. Я ж петушков страсть как люблю... а потом и говорит, дескать, у вас, Аполлон, губы в меду, сладкие... так оно и понятно, что в меду, после пахлавыв...

Он, выпустив-таки Евдокиину ладонь, потрогал нижнюю оттопыренную губу, убеждаясь, что более нет на ней меда.

— И лезет с платочком. Я-то подумал, что вытереть хочет... маменька мне всегда губы вытирает, чтобы аккуратным ходил, а эта... — он потупился и густо покраснел. — Поцеловала...

— А ты?

— А я... я сбега. Мне маменька говорила, чтоб, если вдруг такая оказия приключится, чтоб бега... и я ночь на вокзале сидел. На вокзале холодно. И еще теткы пирожки продавали, я попросил одного, а оне — денег... откуда ж у меня деньги-то? Пирожки-то черствыя, вчерашние... я, когда торговать стали, так и сказал всем, мол, дрянные у них пирожки! Я ж сам видел, как грели и маслом мазали, будто бы только-только жареные. Ложь все! А они драться...

вернуться

15

Гарцуки — духи, которые полетом рождют непогоду, ветры, бураны и бури.

Аполлон дернул подранный ворот рубахи.

— Насилу сбега!

— Меня-то как нашел?

— Так это... у Брунечки в Гданьске дом есть. Она меня на воды привезла. Для вдохновения. Ее покойный супружник очень водами вдохновлялся. А в парк мы давече гулять ходили. Меня Брунечка в свет выводила... я ж поэт... и я новый стих написал. Хочешь послушать?

Евдокия покачала головой.

Смотрела она отнюдь не на Аполлона, который встал и грудь расправил, кое-как одернув подранный рубаху, он снял с плеча паутинку и произнес:

— Я сажу на пляжу! И на бабу гляжу!

— Молодец, — ответила Евдокия.

В настоящий момент ее куда больше занимала панночка Белопольска и Лихослав, без всякого стеснения ее разглядывавший. Тоже о Серых землях рассказывать станет? Или воздержится? Шляхетным панночкам, даже таким, как эта, про Серые земли слушать непристойно.

У шляхетных панночек нервы.

— И Брунечка говорит, что у меня талант! Что мне делать, Дуся?

Сложный вопрос. Евдокия вот сама не знала, что ей делать... и повернувшись к Аполлону, спросила:

— Аполлон... скажи... а она тебе нравится?

Он зарозовелся и, смутившись, сказал:

— Она хорошая... у нее цельный дом есть, свой. Красивый... с коврами красными. И еще статуями, она говорит, что и с меня статую сваяют, но опосля, когда я известным стану... буду варваром. А я варваром быть не хочу!

— А кем хочешь?

...Лихослав о чем-то мило беседовал с панночкой Белопольской, и та хихикала, стреляла глазками, прижимала руки к груди...

— Принцем, — шепотом признался Аполлон. — Или королевичем.

— Королевич у нас уже имеется...

...стоит в стороне, наблюдая за Лихославом. И взгляд-то внимательный, задумчивый такой взгляд...

— И что? — наличие королевича Аполлона ничуть не смутило. — Я же ж лучше! Он вон, мелкий какой, плюгавый, а я...

Он расправил плечи и кулаком себя в грудь ударил.

— Я так и сказал, что буду королевичем... а она сказала, что я ничего в художественной концепции не смыслю... но все равно хорошая... и у нее кухарка такие пироги печет! С грибами! А еще с луком зеленым... и с капустою... с капустою лучше всего...

Аполлон вздохнул и, взяв Евдокию за руку, спросил:

— Что мне делать?

— Жениться, — Евдокия заставила себя не смотреть.

В конце концов, ничего еще не решено... и Лихослав не просил ее замуж выходить... а если и попросит, то...

— Жениться? — Аполлон поскреб расцарапанную шею. Подобная мысль, похоже, в голову ему не приходила. И ошарашенный ее новизной, Аполлон силился охватить ее всецело.

— Так и скажи, когда она станет тебя домогаться. Сначала в храм, а потом и остальное, чтобы по-честному.

Аполлон задумался. Думал он медленно, но основательно, от напряжения, видать, шевелились крупные розоватые уши, ходила нижняя челюсть, а длинные Аполлоновы ресницы подрагивали. И Евдокия не без интереса наблюдала, как хмурое обреченное выражение исчезает с лица будущей знаменитости, которую несомненно воплотят в камне, не то в образе варвара, не то — королевича...

— Жениться, — повторил Аполлон решительно. — И женюсь! Брунечка добрая, она мне собаку купит...

Он поднялся, отвесил Евдокии земной поклон, мазнув ладонью по примятой траве, и шагнул в кусты, которые печально затрещали. Аполлон исчез, оставив на скамеечке расшитый платок и бусину...

Мазена Радомил держалась с равнодушной отстраненностью человека, который точно знает, что пришелся не ко двору, однако же отступать не намерен. Более того, ему совершенно все равно, что о нем подумают люди иные.

— Поздравляю с чудесным излечением, — первой к Мазене подошла Ядзита и, опустившись на скамеечку, которые по случаю пикника были украшены веточками остролиста.

— Никакого чуда, — ответила Мазена.

— Да неужели? — панночка Белопольска всплеснула руками. — Вы же были так больны! Так больны! Вот у нас в городе, ежели человек так сильно болеет, то его целители в жизни не отпустят из лечебницы! Небось, когда в прошлом годе с мэровой дочкой красная сыпка приключилась и всю ее морду, а морда у нее здоровая, почти как у дядечкиной породистой свиноматки. Вы не подумайте, что я наговариваю, потому как дядечка свою свиноматку ну очень любит... и мэр, значит, тоже... не свиноматку, конечно, а дочку...

Губы Ядзиты дрогнули. Мазена лишь брови приподняла, но смолчала.

— Так вот, и побило ее на прыщи, мелкие такие, красненькие... ну как при сыпке-то бывает. Мне ничего, я ж переболевшая, а она, значит, нет... так ее лекари в лечебнице... и-зо-ли-ро-вали, — сложное слово панночка Белопольска произнесла по слогам и, не сбившись, победно выдохнула. — На цельную седмицу! А потом еще две запретили из дому выходить, чтоб, значит, заразу не разносила... хотя я вам скажу, что она и без красной сыпки такая зараза...

Ядзита тихо засмеялась.

— Тиана, вы... очень непосредственный человек.

— Так ведь у нас, в Подкозельске, все такие...

— Страшный город...

— Почему? Не страшный вовсе. Очень даже красивый...

— Мы верим, — Мазена провела пальцами по щекам. — Мне повезло. Проклятье... не зацепилось.

Себастьян с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Не зацепилось? Да по тому, что он видел, это треклятое проклятье не просто зацепилось, но корни в Мазену пустило.

— Удивительное везение, — Ядзита накрыла ладонью полупрозрачную руку Мазены. — Мы так рады, что ты снова с нами...

Говорила она почти искренне, и Мазена слегка наклонила голову.

— ...и стало быть, Заслава тоже вернется? — поинтересовалась панночка Белопольска.

— Заслава? — Мазена нахмурилась, верно, вспоминая, кто такая эта Аурелия.

— Целительница, — подсказала Тиана. — Которая вам помогать кинулась... она была чудо до чего хорошенькой! И такой доброй! Никто-то не дернулся даже, а она... и потом еще вторая, да... только мы с нею вовсе незнакомые были... но тоже добрая.

— К сожалению, они были добры, — Мазена провела ладонью по подолу платья, будто пересчитывая жемчужинки, на него нашитые, — но не слишком умелы. И неосторожны. Проклятье перешло на них.

— Какой ужас, — Ядзита произнесла это так, что стало очевидно: ничего ужасного в случившемся она не усматривает.

— Мой отец, конечно, позаботится о несчастной Заславе... у нее большая семья... и Радомилы умеют быть благодарными.

...и благодарность, надо полагать, проявят, открыв счет в банке.

Себастьян помнил досье. Четверо сестер, среди которых Заслава старшая. Род старый, но не древний, и обедневший в последние годы. Из приданого — наследная красота, слабый целительский дар, который наследовался по женской линии и небольшое поместье, одно на четверых... Конкурс шансом... и деньги Радомилов помогут семье, вот только... Заславе путь отныне или в приживалки, или в Ирженин монастырь.

— А с Аурелией и вовсе просто... мой кузен на ней женится.

...и снова договор. Аурелия — купеческая дочь, богатая невеста, которая получила жениха из самих Радомилов. Шляхетная кровь, едва ли не королевская... и верно, есть с чего гордится. Вот только злость, Себастьяном испытываемая, иррациональна.

— Панночки скучают? — этот вкрадчивый голос нарушил течение мыслей.

— Ах, что вы, Ваше Высочество, — ответила Ядзита, вскакивая. Она присела в реверансе, пожалуй, чересчур уж низко, но наглядно демонстрирующем обильные прелести панночки, обрамленные кружевом. — Разве можем мы соскучиться здесь?

Мазена от низких реверансов воздержалась, но Его Высочество наградила долгим внимательным, если не сказать — изучающим, взглядом. Тот же благосклонно кивнул.

— Не помешаю, панночки?

— Что вы, как можно! — в один голос ответили Ядзита с Мазеной, а Тиана лишь кивнула, досадуя, что появлением своим наследный принц спугнул некую, несомненно, важную мысль...

...что-то о Мазене Радомил...

...о проклятии...

...о возвращении...

— И позволено мне будет узнать, что прекрасные панночки думают о сем мероприятии?

...что закрыть бы его, а лучше и вовсе упразднить, поскольку смысла в конкурсе Себастьян не усматривал. Но у панночки Белопольской имелось свое мнение.

— Чудесно! — воскликнула она и руками всплеснула, а острый локоток чувствительно задел венценосный бок, кстати, весьма себе костлявый. — Я и думать не могла, что здесь будет так чудесно!

— Премного рад, что вам нравится.

Его Высочество наградили Тиану дружелюбнейшей улыбкой, и Себастьян мысленно пожелал себе провалиться... вот для полного счастья не хватало ему лишь высочайшего интереса. Ядзита ревниво поглядывает... ей на лавочке места не осталось, а Мазена свое уступать не намерена...

— Вот у нас в городе тоже конкурсы проводят! — поспешила поделиться Тиана. — Каждый год! Прежде-то мне дядечка не позволял участвовать...

— Почему?

— Потому что приличные девицы перед мужиками хвостами не крутят...

— Какое верное наблюдение, — Его Высочество взяли панночку Белопольску за руку. — Ваш дядя, полагаю, человек старой закалки, строгих правил...

— А то... он так и сказал, Тиана, вздумаешь дурить, зашибу... вы не подумайте, дядечка у меня добрый, только вспыльчивый больно. Бывало разорется... а то и швырнет чем, особенно, ежели с перепою, а потом ничего, отойдет, извинения попросит... но я ж не про него, я про конкуса... так вот, каждый год проводят, и мэр самолично красавиц выбирает. Правда, получается, что в прошлым годе, и в позапрошлым, и в позапозапрошлым...

Высвободив руку, панночка Белопольска с самым серьезным видом принялась загибать пальцы, чтобы точно вспомнить, в какие годы ненавистная мэрова дочка выигрывала конкурс красоты...

— ...а из нее красавица, я вам скажу, как из коровы танцорка!

— Вы просто очаровательно непосредственны.

Ядзита фыркнула.

— Ха, а дядечка вот уверенный, будто у меня ветер в голове!

Его Высочество изволил улыбнуться.

...нельзя было сказать, что наследник короны был уродлив. Придворные панночки и вовсе полагали его если не красавцем, то личностью сильной, харизматичною, привычно закрывая глаза на некоторые несущественные недостатки внешности. От маменьки, яркой представительницы рода князей Гогенцоль-Бештинских, ему досталась капризно оттопыренная нижняя губа и скошенный подбородок, плавно переходящий в длинную, лебяжью шею. Живую бусиной выделялся на ней кадычок, ныне слегка придавленный клетчатым шейным платком. Отец же одарил сына высоким покатым лбом и массивным носом с вывернутыми ноздрями, из которых торчала щетка темных волос. На пухлых щеках королевича пробивались рыжие бачки, а над верхнею узкой губенкой красовалась ниточка усиков.

Поговаривали, что усики эти Матеуш сам ровняет маникюрными ножничками, а на ночь смазывает репейным маслом, чтоб гуще росли. И сейчас, крутанув куций ус, он поднялся.

— Не согласится ли панночка Тиана составить мне компанию?

И как такому откажешь?

Никак.

— Ах, со всем моим удовольствием!

...спину жег ненавидящий взгляд. Вот только чей?

— Не привык я врать, потому скажу прямо. Я вами, драгоценная моя Тиана, очарован... — за руку наследник престола держал крепко, с королевскою хваткой, которая и позволила династии, основанной Подгурком Ляховицким, не только удержаться на троне, но и значительно расширить границы королевства. — В нонешнем болоте, в которое превратился двор, вы подобны глотку свежего воздуха...

— Главное, чтоб не сквозняку, — мрачно заметил Себастьян, подмечая, что для прогулки Его Высочество выбрали совсем уж уединенную аллею.

И романтично.

Розы цветут буйным цветом. Канарейки в серебряных клетках надрываются. Издали доносятся переливы скрипок... дворцовый оркестр по странной случайности играет что-то очень душевное, сердечное даже.

— Сквозняки не люблю! У дядечки от них спину прихватывает. Я ему говорила, чтоб носил пояс из собачьей шерсти, сама связала...

— Да вы рукодельница! — восхитился Его Высочество, ручку целуя.

...панночка Белопольска с готовностью смутилась.

...Себастьян подумал, что еще немного, и ему останется или в королевскую постель, или на каторгу.

— Извиняйте, — обцелованную ручку панночка Белопольска спрятала на спину. — Однако же у нас в городе не принято, чтоб кавалер незамужних девиц домогался!

Вместо того чтобы разозлиться, Его Высочество смутился.

— Ах, простите, Тиана, я и вправду не должен был вести себя подобным образом. Меня извиняет лишь ваша красота... от нее я теряю голову...

Королевской головы Себастьяну было не жаль, в отличие от собственной.

— Но вы правы, прекрасная панночка... несомненно, правы...

Вот только произнес он это как-то... неуверенно. И взгляд его, холодный, по-королевски расчетливый, Себастьяну не понравился.

— Репутация — вещь хрупкая, не стоит ею рисковать... — он предложил руку, и Себастьяну не осталось ничего, кроме как предложение сие принять. К счастью, в дебри розовых кустов Его Величество углубляться не стали. — И я всецело разделяю вашу точку зрения... и поверьте, драгоценная моя Тиана...

...когда это она успела стать «его»?

— ...я сделаю все возможное и невозможное, чтобы защитить вас...

...ага, конечно, Себастьян взял и поверил...

— ...во всем королевстве не найдется человека, который посмеет сказать о вас дурное слово...

...и опять к ручке... и поневоле начинаешь понимать, для чего дамы перчатки носят. Прежде-то она привычка казалась великосветской блажью, а нет, оказывается, смысл имеется, когда каждый встречный руку обслюнявить норовит... и приобнял еще, привлек к себе...

...если целоваться полезет, Себастьян ему челюсть свернет. И плевать, что сие действие будет расценено как покушение на жизнь и здоровье венценосной особы...

...лучше уж на плаху...

— Мы подыщем вам достойного мужа... — продолжал курлыкать Его Высочество, при этом норовя изогнуться и заглянуть в глаза. Собственные его, мутновато-зеленые, будто стеклянные, оставались на удивление невыразительны. — С титулом... с *понятием*...

И целует-то уже не пальчики, запястье, легонько покусывая.

...нет, на такое Себастьян точно согласия не давал.

— Взаправду? — хлопнула очами панночка Белопольска, которой хотелось и завизжать, и сомлеть...

— Взаправду, милая моя Тиана... взаправду... кем бы ты хотела стать? Баронессой... графиней? — ручку, благо, мусолить перестал, прижал к груди и поинтересовался. — Слышите, как стучит сердце?

— Ага, — панночка Белопольска уставилась на Его Высочество. — Громко. И быстро. Вы, часом, грудною жабой не страдаете? А то, знаете, дядечкин приятель один тоже все жаловался, что сердце громко бухает. И помер. Оказалась, что грудная жаба...

— Это любовь! — с придыханием сказал Матеуш.

— Думаете? А доктор говорил, будто жаба...

Руку отпустили.

— Все-таки вы удивительно непосредственное создание, моя милая Тиана... но скажите мне, есть ли у меня надежда?

И вот что ему было ответить?

Его Высочество, Матеуш, были донельзя довольны и собою, и прогулкой. В ближайшем рассмотрении панночка Белопольска оказалась еще более очаровательна. Она так мило смущалась, и в том смущении — Матеуш готов был поклясться — не было притворства.

Тиана...

...имя-то непривычное, но ей подходит. И сама-то она разительно отличается от придворных красавиц с их жеманством, томною леностью, которая пропитывает каждый жест, с привычкой взвешивать каждое слово, выплетая из них кружево пустословья...

— Это смотря на что вы надеетесь, — Тиана присела на лавку и ручки на коленях сложила, ни дать, ни взять — гимназисточка из пансиона Ее Величества, и глазки долу потупила, и щеки розовеют, реснички подрагивают... скромница...

Анелия никогда-то не пыталась играть скромницу.

Нет, она была слишком яркой, слишком живой... жадной. И как Матеуш раньше не видел этого? Или видел, но ослепленный взглядом синих очей, предпочитал не замечать?

— На то, что наши сердца отыщут путь друг к другу, — привычно ответил он, отмечая, что у панночки Белопольской и уши запунцовели. — Мне кажется, мы созданы друг для друга...

Он вновь поцеловал ручку, которая прेमилу дрожала.

Смушение будоражило.

— Да? А мне казалось, у вас невеста имеется, — зловредно напомнила Тиана, глянув снизу вверх.

— Имеется, — Матеуш не стал отрицать очевидного. — Увы, моя дорогая Тиана...

Он сел рядышком и, сорвав розовый бутон, протянул его панночке.

— К несчастью своему, я — заложник трона и политических амбиций своего батюшки... мой брак укрепит позиции королевства, а потому я не имею права расторгнуть его...

...хотя не далее, чем вчера, в очередной раз взглянув на невесту, самой яркой чертой в облике которой был массивный крючковатый нос, Матеуш всерьез задумался, столь ли нужен ему трон.

— Однако я не люблю свою жену. И не полюблю.

— Печально... вот дядечка мой свою жену любит. Она еще та змеюка, и мы, по правде, не ладим, хотя я ее и называю тетечкой, но вот, поверите, была б ее воля, мигом бы меня из дому выставила! А сама-то пустоцветная! Вот и злится! И еще оттого, что дядечка мой меня сильно любит... он и отпускать-то не хотел... — Тиана вздохнула и, покосившись на королевича, отодвинулась. — Говорил, что при дворе-то сплошной разврат, что туточки совсем про божии заветы позабыли... и грозился, ежели и я позабуду, стану вести себя неприличественно, заявиться и собственною своею ручкой за космы оттащить!

Матеуш не позволил милой панночке отстраниться, обнял, притянув к себе — правду говорят, что любая женщина ищет крепкого мужского плеча, нуждается в опоре — и произнес.

— Не стоит опасаться, думаю, ваш дядечка останется доволен...

...на памяти Матеуша не было такого, чтобы родичи фаворитки возражали против этакой королевской милости. Пожалует он дядечке орден или пару деревенок... или от налогов освободит на десяток-другой лет...

— Да? Думаете? Вы просто не видели, какая у дядечки рученька! Он той зимою с кузнецом

нашим боролся, на спор, и едва не победил! И не оттого, что кузнец поддавался, дядечка такого не любит...

— Позвольте взять мне ваши проблемы на себя!

Он наклонился, потянувшись к розовым пухленьким губам панночки, но та отодвинулась.

— Да берите! — воскликнула нервозно. — Мне проблем для хорошего человека не жаль!

Скромница...

— Тиана, вы меня с ума сводите...

Он наклонялся, она отклонялась, пока вовсе на лавку не легла. И надо сказать, что зрелище было волнительным. Темные волосы панночки растрепались, черные глаза пылали, видимо, страстью, которую Тиана пыталась подавить в себе. Вздыхалась высокая грудь, приковывая взор... и платье выгодно обрисовывало тонкий стан красавицы...

Сама же она выставила ручки, упираясь в грудь Матеуша, сиюсь сдержать его напор. И это робкое сопротивление лишь дразнило его.

— Сходить с ума очень вредно для здоровья, — сказала панночка, отчего-то баском.

— Всего один поцелуй!

Она зажмурилась.

И вывернулась-таки, Матеуш мазнул губами по щеке и, рывком подняв панночку, которая, кажется, готова была сомлеть от ужаса, прижал ее к себе.

— Не надо меня бояться, Тиана, — прошептал он на ухо, и провел ладонью по жестким черным волосам. — Я не обижу тебя... поверь.

Она судорожно вздохнула.

— Я понимаю, что был слишком напорист... тебе нужно время...

Тиана кивнула.

— Вы... вы ж... королевич... и я вашего портрету видела.

— И как я в жизни? Лучше, чем на портрете?

— Пожалуй что... на портрете-то вы косоглазите маленько...

...Матеуш поморщился, косоглазие, еще одно наследие далеких предков, с немалым трудом удалось изжить, но на магснимках сей дефект отчего-то вылазил.

— И матушка ваша куда как хороша... а уж батюшка очень даже на себя похожий. Я в прошлом годе купила дядечке на именины бюст короля. Бронзовый. Хотела поначалу пресс-папье, а потом подумала, что пущай стоит на столе государь...

Стоило руки разжать, как Тиана тотчас отстранилась.

— Вы... извиняйте, что я так... я ж простая девушка... у нас в городе не принято вот так с девицами-то... нет, есть-то девицы, с которыми очень даже принято, но то гулящие, а я ж не из таких! Мне еще замуж идти...

— Не волнуйся, моя дорогая, замуж ты выйдешь, не будь я наследным принцем!

При этих словах Тиана вздрогнула...

...робкая она.

Боязливая.

Чудо просто...

Получасом позже, оказавшись под прицелом множества взглядов — любопытных, насмешливых, завистливых или же полных презрения — Себастьян мысленно проклял и любимое начальство вкупе с его гениальными идеями, и Аврелия Яковлевича, благодаря умениям которого стало возможно воплощение оных идей в жизнь, и любвеобильного Матеуша с его выбором...

— А это, дорогая моя Тиана, пан Лихослав Вевельский, — Его Высочество, преисполнившись надежд и смутных ожиданий, спешили тотчас реализовать план с замужеством.

Вниманием своим Матеуш не обошел ни одного кавалера из числа собравшихся в Гданьском парке. Себастьяну попеременно были представлены князь Руды, почтенный вдовец семидесяти семи лет отроду... граф Яскулкин, почитавшийся старым холостяком, а то и вовсе женоненавистником, троица дворцовых вертопрахов, которых при ближайшем рассмотрении Матеуш счел кандидатурами негодными, ненадежными. И вот очередь дошла до Лихослава.

— Пан Лихослав у нас только-только от границы вернулся... еще не успел освоиться в свете, но мы, безусловно, рады, что он почтил нас вниманием...

Панночка Белопольска потупилась и глупо захихикала...

— Премного рад, — сухо ответил Лихослав. А руку, к счастью, целовать не стал.

...Его Высочество, окинув взглядом поляну, вновь повернулись к княжичу Вевельскому. И в мутноватых стеклянных глазах Матеуша мелькнуло что-то этакое, что заставило Себастьяна проникнуться тревогой, как за собственную судьбу, так и за братову...

...отец, по слухам, вновь в растраты влез, а в кредите ему отказано было...

...и встал вопрос о продаже земель, которых и без того за последние лет десять убыло...

...векселей за княжьей подписью множество ходит, того и гляди до суда доберутся...

...Лишек отчаянно нужны деньги. Он молод, но порядочен, и если слово даст, то сдержит... и молод, собой хорош, верен... идеальное прикрытие. А после, когда фаворитка надоест, то и супругом станет неплохим...

Мысли Его Высочества были столь явными, что Себастьян поежился и, дождавшись, когда Матеуш отойдет, взял брата под руку, шепнул:

— Лихо, улыбайся... да шире улыбайся... и еще... и сделай вид, что очарован мною...

— Уж прости, дорогой братец, — к счастью, Лишек не выказал удивления. И улыбался старательно. — Ты, конечно, прекрасен... откуда не посмотри... но я больше по женскому полу как-то... привычней оно мне.

Но к ручке склонился, сделав вид, что целует.

— Лихо, прогуляемся...

— Куда?

— К кустам...

— Звучит нехорошо... не то, чтобы я тебе не верил, братец, но нынешний твой облик внушает некоторые подозрения, — говорит и ухмыляется во все зубы, от же Лишья тать.

Себастьян вцепился в братову ручку и, хлопнув веером по груди Лихослава, за собой увлек.

— Дело есть...

— Ну если дело...

Поклонники конкурсанток уже изрядно обскували розы. И из-за поредевшего куста просматривалась лужайка с шатрами и шутами, королевским оркестром, Его Величеством, каковое изволило придремать, и оттого оркестр играл тихо, едва ли не шепотом...

— Объяснишь? — Лихослав скрестил руки на груди. Глядел он не то, чтобы зло, скорее уж раздраженно. И устало.

И выглядел, признаться, в свете дневном поганю. Лицо землисто-серое, щеки запавшие, с короткою светлой щетиной... под глазами тени, и сами эти глаза будто бы красною нитью прошиты.

Запах опять же переменился.

Нет, прежний, но... но другой.

— Ты чего? — Лихослав шарахнулся. — Целоваться я с тобой точно не стану! Извращение полное!

— Стой смирно.

Не нравились Себастьяну эти новые ноты... будто бы псиною тянет... или нет, собачий запах не вызвал бы такого раздражения, да и пахнут они иначе, а это... серое... волглое... старая шкура звериная... и еще кровь, но самую малость.

Гнильца проклятья...

— Лихо, ты ничего мне рассказать не хочешь?

— А ты?

— Я первым... первой спросила.

— Проклятье подцепил, — Лихослав поскреб щеку и пожаловался. — Раста стала, что дурная... только сбрею, а она опять... и жесткая такая...

— Что за проклятье?

— Петля на сердце. Полковой наш пропустил, вот она и... и вот только в обморок не хлопнись, панночка!

— Не хлопнусь, — мрачно произнес Себастьян и сел на траву. Леший с ним, с платьем и с приличиями... петля на сердце... да Себастьян о таком только слышал.

А тут Лишек.

И ведь не признался бы... молчал... ходит под петлею, а туда же, храбрится... ничего-то, мол, серьезного... а Себастьян ему еще когда говорил, чтоб бросал дурное... нет же ж, вбили в пресветлую Лишекову голову, что он один за всех в ответе... и не только в этом дело, но еще в том, что на Серые земли он Себастьяновыми стараниями сунулся.

— Да не спеши ты меня хоронить, — Лихослав присел рядом. — Поживу в Познаньске... делами займусь... год-другой и само развеется. Я ж его не чувствую даже. А как ты понял?

— Поняла.

— Поняла, — поправился Лихослав.

— По запаху... и выглядишь ты, братец, препаршиво. Тебе б в деревню на эти год-два...

...Себастьян догадывался, что истинный срок куда поболее.

— Отправлюсь. Разберусь с одним... дельцем, и отправлюсь... а ты-то куда... влипла?

От уж точно, влипла, по самые кружева.

— Я... за конкурсом этим приглядываю... прости, многого не расскажу... клятва... Евстафий Елисеевич в курсе... ну и Старик, само собою...

— Генерал-губернатор?

— Полагаю, что да. А вот Его Высочество... — Себастьян сплюнул на маргаритки. — Вздумалось ему меня осчастливить...

— Счастлив?

— Будешь ржать, нос сверну.

— Не надо! — Лихослав пощупал переносицу. — На неделе мне уже сворачивали.

— Кто?

— Да... одна ваша... красавица... мне поручили приглядывать за нею, чтоб куда не вляпалась... в общем, я так понял, что Матеуш решил тебя... того...

— Ага... того. И этого тоже. И всякого вообще. Но я девица строгих правил...

Лишек все ж таки хихикнул... а потом и вовсе на спину упал, заржал во всю глотку, пугая и диких скворцов, и дворцовых, запертых в серебряные клетки, канареек. И главное, залиvisto так хохочет, заразительно, песий сын.

— ...и до свадьбы романсов не кручу. Вот он и решил подыскать мне достойного мужа...

Смех оборвался. Лихослав вытер слезящиеся глаза, сел и уточнил.

— Меня, что ли?

— Тебя, дорогой, — пропела медовым голосом Тиана, прислоняясь к могучему уланскому плечу. — Вот сведут нас завтра на рассвете в храм...

— Почему на рассвете?

— Исторически сложилось, что казнят на рассвете.

— Дорог...ая... сестрица... вы всегда буйною фантазией обладали, но это — чересчур...

— Ну да, чересчур... — допустим, фантазию свою Себастьян вовсе не считал буйной, скорее уж хорошо развитой, что являлось естественным свойством натуры метаморфа. — Посмотрим, как ты заговоришь в храме. Оженят и не спросят... а потом сошлют тебя куда-нибудь... под границу... а меня — во дворце оставят... и думаешь, кто-нибудь заступится? Молчать будут, как... скажут, тепри, Себастьянушка, по за-ради государственных интересов.

Лихослав хмыкнул.

— И буду терпеть... коли сам не захочу, то Аврелий Яковлевич пошаманит, запрет меня в нынешнем обличье на веки вечные... и стану я королевскою содержанкой.

— Фавориткой, — Лихослав погладил новообретенную сестрицу по плечу.

— Ну да, фавориткой... буду пару следующих лет при королевиче... привыкну... глядишь, и понравится... слушай, а если еще и забеременею?

— Ничего. Родишь.

И снова скалится, но смех сдерживает, хотя и с немалым трудом.

— Кого?!

— Не знаю, кого. Мальчика там. Или девочку. Это смотря кто получится.

— Лихо!

— Что, сестричка дорогая? Все бабы рожают, и ты...

— Точно нос сверну... я тебе о серьезных вещах... я не хочу выходить замуж за родного брата! И не хочу рожать от короля!

...последняя фраза, произнесенная чересчур громко, заставила Гавела высунуться из укрытия. Он жалел, что упустил начало беседы, но и услышанного хватит на изрядную статейку.

Щелкнула камера, запечатлевая Лихослава Вевельского и ту самую, уже знакомую Гавелу, чернявую конкурсантку, которую княжич обнимал нежно. И еще по плечу точеному поглаживал, стало быть, утешая...

...а и вправду похожи.

...и вот почему лицо девицы показалось знакомым.

...но Гавел знал всех законных детей князя Вевельского, и если так, то выходит, что чернявая девица была аккурат-таки бастардом...

...Гавел сделал еще пару снимков и ужом нырнул в колючие розы.

Он уже видел заголовок очередной своей сенсационной статейки: «Скандал на конкурсе: незаконнорожденная дочь князя Вевельского беременна от короля!»

...тем же вечером в Цветочный павильон доставят корзину темно-красных роз с белым конвертом, запечатанным Малой королевской печатью. А Себастьян, пробежавшись взглядом по строкам письма, выведенным собственною Матеуша, ручкой, засядет за собственное послание.

«Милый мой дядечка, Константин Макарыч!

Кланяюсь тебе в ножки и Богов молю, пускай прибавят тебе долгие годы жизни и здоровьица крепкого ниспошлют. Передай и супружнице твоей от меня приветствие сердешное. Скажи, что, хоть и гнушалась она мною, сиротинушкой, страдала всячески, но я на нее обиды не держу, понимаю, что злость ее происходит единственно от разлития черной желчи. И ежели бы она диету блюла, то, несомненно, стала бы добрей. А тако же передай, что племянница твоя сим днем удостоилась высочайшего внимания. И пускай супружница твоя себя за локоть-то укусит, вспомнивши слова свои несправедливые, что, дескать, на мои мослы только собака и спокусится. Небось, ныне побоялась бы она такое сказать, потому как Его Высочество — вовсе даже не собака»

...но кобелюка знатный.

К счастью, мысли ненаследного князя, в отличие от писем, перлюстрации не подлежали.

«Он сам ко мне подошел и говорил ласково, комплиментами обсыпая. А еще ручку лобызал, чем меня, любый дядечка, в немалое смущение привел. Не гневайся на Тианушку, помнит она твой наказ и блюдет себя строго...»

Себастьян вздохнул, отчаянно сожалея, что пояса верности в прошлом остались. Нет, для старшего своего актера Евстафий Елисеевич, глядишь, и расстарается, сыщет какой, но выглядеть сие будет репозитивно...

«...я и Его Высочеству со всею любезностью, на которую только способна, заявила, что до свадьбы никаких-то романсов заводить не стану. И Его Высочество зело очарованный был моими словами. А нынешним вечером прислал цельную корзину роз. Да не такую, каковы в наших цветочных лавках ставят, те-то маленькие, туда-то и помещается цветов с полдюжины, оно и понятно, что с того дарителю экономия немалая выходит. А мне принесли корзину огромную, в которую не розы — репу складывать можно, ежели уродится. И вся-то она в ленточках золоченых. А сверху карточка лежит, как полагается, с

сердешным приветствием и записочкою, что, дескать, мнение мое Его Высочество уважают. Еще днем оне прониклися и обещались самолично мне мужа подыскать, сватали молодого княжича Вевельского... Так что передай супружнице, дорогой мой дядечка, что в скором времени выпорхнет ваша Тианушка из родного-то гнездышка... и с кем-то она тогда лаяться станет? Ах, дядечка мой любый, боязно мне ныне и совет твой надобен, дабы не сотворить чего, об чем мы с тобой жалеть бы крепко стали. Как быть? Королевич — мужчина видный и ласковый такой, каковым вы, дядечка, только с опохмелу бываете... но помню строгие ваши наставления... и рвется сердешко мое, екает...»

...того и гляди, вовсе екнется.

«...не зная, чем на королевскую ласку ответить. В супруги-то мне самого княжича Вевельского пророчит, а он — мужчина строгий, видный. И боюсь я, дядечка, страсть до чего боюсь! Уповаю едино, что не забудят Его Высочество сиротинушку подкозельскую, смилуются. За сим кланяюсь низко и с нетерпением жду от вас, милый дядечка, письмеца».

Себастьян с трудом удержался, чтобы не дописать: «Спасите нас, пожалуйста!»

Глава 15

В которой повествуется о женской зависти, ревности и прочих прелестях существования в коллективе сугубо женском

— А вот вам вальта, — Евдокия выбросила карту, перекрывая Лихославу десятку, и поморщилась, когда он ответил.

— И вам, милая панночка...

И червового не пожалел. Валет хорош, белобрыс, улыбчив, чем-то на Лихослава похож.

— Ха, не напугаете...

Бубны были в козырях. И хитрая физия червового валета скрылась с Евдокииных глаз.

— Рискуете, панночка, — в руке Лихослава остались три карты, он поглядывал то на них, то на Евдокию, и по глазам нельзя было понять, о чем думает...

— Риск — дело благородное, — Евдокия прикусила кончик косы. На руках была одна мелочевка, и если Лихослав не заберет нонешний банк, или не сыграет на отбой, то вернуться все вальты, а с ними и десятки, к Евдокии.

Он же не спешил.

Думал.

Тарабанил пальцами по полу...

— Ежели так, то, может, ставки поднимем?

— Отчего бы и нет? — и Евдокия подвинула две шоколадных, позолоченных медальки к банку, в котором уже было с полдюжины трюфелей, остатки пьяной вишни и булочка с цукатами, немного, правда, надкушенная, но оттого не менее ценная.

Лихослав, почесав мизинцем подбородок, сказал:

— И не знаю, чем на такую щедрость ответить-то... — он положил карты на ковер. — Давайте иначе...

— Как?

— Если выиграю я, вы меня поцелуете.

Евдокия хмыкнула.

— А если я?

— То я поцелую вас.

— Интересно у вас получается, пан Лихослав... как ни крути, а целоваться придется?

— Вас это пугает?

— Ничуть.

В конце концов, играть на конфеты, которые при любом раскладе Евдокии останутся, уже поднадоело.

— Можем иначе, — Лихослав погладил карты... что у него там? Тузы ушли в отбой, из королей выпал пиковый и бубновый... дамы? Пара дам, от которых Евдокии было не отбиться? — Если выиграете вы, я исполню ваше желание... не шутейное, как прежде, а всерьез.

— Любое?

— В рамках разумного.

— А если проиграю я, то...

— Я вас поцелую, — отчего-то эти его слова прозвучали едва ли не угрозой.

...и холодком по полу потянуло, хотя окно Евдокия заперла. Почудился вдруг взгляд, настороженный, раздраженный даже... оглянулась.

Никого.

Пусто. И только покрывало непостижимым образом съехало с рамы, приоткрывая угол серого зеркала.

— Я вас не боюсь, — решила Евдокия. — Согласна.

— Я не сомневался! Вы очень смелая женщина, — Лихослав поднял карты и, стукнув ими по полу, бросил на вальта бубновую даму.

От же ж!

И сидит, посмеивается... правда, улыбка какая-то кривоватая... и снова холодком по ногам, ощутимо так... и пальцы вдруг заledenели.

А взгляд, сверлящий спину, стал злым.

Или нет, это не злость — ненависть. Глухая. Застарелая.

Лихослав вдруг покачнулся и, побелев, прижал ладонь к груди.

— Вам плохо?

Мотнул головой, хотел что-то сказать, а не смог.

Да что здесь происходит? Вскочив на ноги, Евдокия оглянулась. Пуста комната. И все ж таки... покрывало медленно съезжало, будто кто-то с той стороны тянул его. Заколыхался огонек свечи, присел...

— Евдокия...

Лихослав схватил за руку, стиснул и на себя дернул, да так, что Евдокия едва не растянулась на полу.

— Тише. Держись меня. Обними.

За спину тянул. И Евдокия подчинилась, потому что...

...странно все...

...и свеча вот-вот погаснет, не устоит перед ледяным дыханием того, кто прячется в зеркале...

Стоило подумать, и огонек, вытянувшийся в тонкую рыжую нить, оборвался. В воцарившейся темноте, густой, крошечной, было слышно хриплое дыхание Лихослава. И скрип, не то двери, подпертой стулом, не то половиц.

Или зеркала...

Револьвер сам собою в руку лег.

— Нет, — Лихослав был рядом. — От него не будет пользы. Сиди...

Он держал за руку, и пальцы его были горячими, едва ли не раскаленными. А сама Евдокия замерзала...

...она знала, что такое холод.

И экипаж, севший задней осью в полынью. Кони храпят, танцуют, а вода расползается по застывшей реке, подтапливая казавшийся таким надежным, лед. Кучер спешит выпрячь четверик, и матушка злится. А Евдокия слушает многоголосицу волчьего хора, стараясь не думать, что до ближайшего жилья сотня верст... и ездит-то она верхом не слишком хорошо...

...ей пятнадцать.

...и мрачный ельник пугает. А прозрачное небо предупреждает о скорой метели. Та воеет, злится, налетает с севера, сечет мелкою снежной крупой, ветром, наотмашь... ровняет дорогу, клонит ели к земле, и те хрустят, гнутся, падают...

...лошади кричат, почти как люди...

...буря все длится и длится, а с нею пробирается сквозь шубы, меха, лютый северный мороз. Ей тогда казалось, что все, жизнь ее недолгая оборвется... было страшно.

Почти как сейчас.

И покрывало соскальзывает с зеркала...

— Пр-р-р-очь, — Лихослав говорил низким голосом, от которого Евдокии хотелось зажать уши руками, лишь бы не слышать.

Ни его.

Ни тихого вздоха из темноты.

— Пр-р-р-очь...

Смешок.

И вздох... близко, над самым ухом... прикосновение к волосам, скользящее, легкое...

Тишина.

Дыхание Лихослава. Спина его широкая, но какая-то сгорбленная. Он сидит, накренившись вперед, опираясь на прямые руки. Голову к груди прижал... а волосы растрепались. И Евдокия трогает их, гладит напряженную спину, уговаривая и его, и себя, что ничего-то страшного не случилось.

Свеча погасла?

Сквозняк?

Так свечи на сквозняке-то гаснут... а прочее — игра воображения... расшалилось оно...

— Евдокия? — голос Лихослава был низким, надсаженным.

— Тут я... — она убрала руку с его плеча.

Неловко вдруг стало. А от чего — не понять.

— Тут, — он развернулся и потерся лбом о плечо. — Ты тут... а там что?

— Не знаю...

— От него Серыми Землями пахнет.

Его дыхание опаляло, будто и не было ни халата, ни рубашки ночной... и стыдно, и страшно глупым девичьим страхом, неуместным в двадцать семь-то лет...

— Плохо пахнет...

— Оно ушло, — Евдокия провела по щеке, удивляясь тому, до чего жесткою стала щетина... — Ушло оно. И не вернется. А если вернется, то у меня револьвер есть...

— Пули серебряные нужны. Завтра принесу, — он не стал ни спорить, ни уговаривать уйти, будто наперед зная, что Евдокия не согласится. И ладно бы только она одна была, тогда бы уж точно не осталась в странном этом доме, но есть же Аленка.

Уперлась.

Должна, мол... а кому и что должна — не говорит. И тянет пожаловаться, на Аленку, на Грею, слова которого из головы не идут, на собственную жизнь, казавшуюся такой правильной, а тут вдруг...

— Ты что, Евушка? Испугалась? Это призрак... всего-навсего призрак... призраков не встречала?

— Нет.

Она не плачет, просто плохо вдруг стало, муторно до того, что хоть волком вой. А Лихослав обнял и держит крепко, и хорошо в его руках, спокойно как-то, пусть слезы все одно в глазах стоят. И Евдокия, позабыв о гордости, тихонько всхлипывает. Не из-за призрака... и вправду, нашла себе забаву — тумана бояться, но потому что... потому что хочется...

...а Лихослав утешает.

Бормочет на ухо слова ласковые...

И щекою о щеку трется. Колючий.

Теплый.

Родной... такой родной, что просто страшно...

— Расскажи...

— Про что?

— Про призраков...

— Сейчас, Евушка, погоди, — отпустил, и Евдокия руки разжала, хотя тянуло вцепиться в него, что есть силы, и не отпускать. Потому как темень, потому как жуть и на сердце беспокойно.

— Я здесь, — Лихослав коснулся лица пальцами...

...жесткими и острыми, будто когтями.

— Я здесь, — сказал. — Рядом. Свечу вот зажгу... живой огонь — лучшее лекарство... призраки или же мари — создания бестелесные... наш полковой ведьмак говорил, что это — остатки... не души, он как-то хитро так выворачивал... вот бывает, что в человеке много ненависти... или боли...

Огонь не желал зажигаться.

Щелкало кресало, рождало искры, но те соскальзывали с нити-фитиля. И Евдокия всякий раз вздрагивала, оборачивалась на черную гладь треклятого зеркала, вдруг да подернется она дымком, выпуская не то призрака, не то марь...

Но голос Лихослава, почти прежний, звучал спокойно.

— И тогда после смерти душа его отходит к богам, тело — в землю, а вот ненависть и боль остаются. С ними — и память... так появляется марь. Своих сил у нее нету, вот и тянет чужие... является людям, мучит, пьет их... от одной-то вреда немного... страху наведет, тоски... а вот ежели стаей... до смерти заморочат... прости, Евушка, не то на ночь рассказываю. Совсем

глупый.

— Нет. Я... не из пугливых.

В темноте его рука жесткая, с какой-то чересчур широкой ладонью, а пальцы мерещатся коротковатыми...

И Лихослав осторожно высвобождает их.

— Я... скоро уйду.

— Не надо, — Ева подвигается ближе. — Останься... я... не хочу одна.

Ни сейчас, ни дальше...

И Лихослав, оставив свечу, обнимает.

— Засыпай... закрывай глаза...

— Расскажи...

— Расскажу... зимою там снег серый, будто не снег — пепел. А небо огнем пылает... ночи становятся длинными... и нечисть прячется в норы. Только навьи волки и рыскают, воют, плачутся на жизнь... и пастырь их ходит от одной клятой деревни к другой... зимою все разъезды прячутся. Только безумцы и те, кто ищет Хельмово око, рискуют идти ледяными дорогами... еще никто не вернулся. А по весне, которая наступает резко, дня в три, из моховых покрывал вылазят первоцветы. Но на Серых землях они багряного колеру. Говорят, что от крови... за них хорошо платят. Пять злотней за цветок, только выкапывать надо с корнем... вернее, там не корень, а бульбочка с горошину величиной, только очень хрупкая, чуть надавишь и лопнет.

...сказка почти.

Сказки Евдокии не рассказывали: некогда да и незачем.

— Из лепестков делают приворотные зелья... говорят, крепкие. Запретные. Но кого и когда запреты волновали? А вот сок бульб — целительный. Рану любую затягивает на раз... я знаю, сам лечился... когда навий волк подрал... наверное, я дурак, если такое на ночь рассказываю... я просто не знаю, о чем еще.

— Тебе там нравилось?

— Нравилось? — Лихослав гладил шею. — Пожалуй, что... нет, не то слово. Поначалу к Серым землям привыкаешь. И душу выворачивает. Без солнца, без зелени... и кажется, полжизни бы продал, лишь бы сбежать. И смешно за такое, и стыдно. Ведь не мальчишка же... некоторые по ночам плачут, а на слезы слетаются мары... этой-то погани, что соль, что заговоры — все едино, найдут лазейку, зацепятся за сны. Потом уже учишься и во сне от них закрываться. Иные заячьи лапы с собой носят... или уши собачьи... или вот еще вороньи перья... я пробовал — не помогает. Только если сам. Но однажды тоска уходит. Привыкаешь. Мир как мир... солнца нет? А какое оно? Зеленъ? Где-то в памяти и только...

Он говорил очень-очень тихо.

— И так, привыкнув, можно жить долго, годами.

Лихослав лег на пол, потянув Евдокию за собой. Она устроилась на его плече. Мелькнула мысль, что это уже... совсем неприлично, но Евдокия только фыркнула.

Ей ли о приличиях думать.

Тем более, что плечо это было мягким, пахло неуволимо шерстью, а еще старой волчьей шкурой, которую маменьке поднесли севряги, говоря, что будто бы шкура эта — заговоренная...

— А потом однажды замечаешь, что Серые земли по-своему красивы... и небо вовсе не пепельное, скорее уж стальное... или графитовое, если под вечер. На закате вспыхивает алым, неровно, с проталинами чистого золота... мох уже не бурый видится, но пурпурным... или красным, насыщенным, кровавым... мертвые деревья — черные... аксамитом — вода... и стрекохут под вечер беспокойники... а волчий вой — чем не колыбельная...

Он распустил Евдокиину косу и перебирал пряди.

— Чем дальше, тем... Серые земли пробираются в самое сердце, прорастают корнями древних погостов... мертвыми деревьями... там на колодезных журавлях ветер катается. И журавли скрипят, а скрип этот — зачаровывает...

Лихослав осторожно коснулся сухими губами шеи. Вздохнул.

— И если начинаешь слышать такое, то значит — пора уходить... и чем раньше, тем лучше, пока не пришла за тобой Вечная Невеста... все знают эту примету, только знать — одно, а уйти — другое.

— Когда ты...

— Изменился?

— Да.

— Где-то года полтора... да, полтора... аккурат перед той встречей с Волчьим пастырем... иногда мне кажется, что я и увидел его лишь потому, что стал... иным. Не знаю.

— Ты не ушел, потому что...

— Потому что нужны были деньги. Я не одержимый... одержимых там хватает, тех, которые остаются просто ради того, чтобы остаться. Я четко осознавал, что пора, но... все вдруг стало получаться. За эти полтора года я заработал едва ли не больше, чем за все предыдущие разом.

— И как, стоило оно того?

— Ты злишься, Ева?

— Злюсь, но... почему Ева?

— Почему нет? Дуся... это как-то... некрасиво, — он зарылся носом в волосы и дышал. Горячо. Жарко. От внутреннего жара, от предвкушения. — Но ты же не это сказать хотела.

Не это.

— Эти деньги, которые ты...

— Не спасли. Я, наверное, не очень хорошо умею ими распоряжаться... управляющий, которого я нанял, чтобы присматривал за делами...

— Проворовался.

— Точно. И сбежал... еще отец долгов наделал... и сестры тоже... их ко двору вывозили, а это — сама понимаешь, платья, украшения... и дом в порядок привести опять же... и потом приемы, балы...

...Серые земли, которые медленно исподволь опутывали Лихослава, морочили, привязывали к моховым своим просторам... кровь за платья?

Неравноценный обмен.

— Ева, — слово-выдох, и сердце обрывается, замирает. — Не злись. Это был мой выбор. И отвечать за него только мне. А ты мне поцелуй должна...

...целоваться в темноте?

Скорее осторожно касаться губами губ... кисловатый вкус табака и запах шоколада... кофе... и хлеба, того, который пекли на Выселках из муки грубого помола, примешивая к ней толченую скорлупу ореха, отчего хлеб получался темно-коричневого цвета...

— Е-ева, — Лихослав отстраняется. В темноте его лицо — бледное пятно... и волосы растрепались, переплелись... светлые со светлыми, не разобрать, не отпустить.

Дотянуться до этого лица, кончиками пальцев... широкие плоские скулы. Тяжелый нос. И линия губ... он пытается пальцы поймать, и смеется, когда не выходит. На висках нити пульса натянулись, грохочут. И сердце его вторит, вот оно, под Евдокииной ладонью...

— Ева...

Ей нравится, как он произносит ее имя. Мягко. И нежно. И само это имя меняется, обретая все оттенки шоколада...

— Е-е-ва... Ева-а... — он дразнит.

Странной горечью, дыханием своим, которое тоже ласка, прикосновениями... и вспыхнуть бы от стыда, опомниться, только нет никакого желания.

Есть ночь.

Есть мужчина. И она, Евдокия, все-таки женщина, хотя бы этой странной ночью, хотя бы в этой крошечной темноте. В ней лишь острее ощущается близость его, незаконная, что перед людьми, что перед Богами... боги-то еще простят, а вот люди...

...нет людей.

Не здесь. Не сейчас о них думать. В этой темноте страшно лишь остаться одной. И тянется Евдокия, цепляется за располосованные шрамами плечи, скользит, соскальзывает и снова тянется...

Дышит.

Сбивается через раз, захлебывается вязким, напоенным резкими травянистыми запахами, воздухом. Задышается почти, и шепчет имя...

...в этот раз все иначе.

Нет спешки. И боли, которую хоть ждала, а все одно... нет ожидания чуда, потому что если по большой любви, то чудо обязано быть, а значит, не будет и горечи.

Разочарования.

В этот раз все по-честному...

— Ева, — он отстраняется и замирает, глядя в глаза. — Ева...

— Лихо...

Тихо сказала, шепотом, еще не стыдясь ни себя, ни внезапной, точно навороженной, этой страсти, которая не для благовоспитанных дев... будет время, потом, позже, оплакать и это свое падение, и глупость, и все то, о чем плачут женщины наутро...

...и утро будет.

Хорошо, что не скоро еще. И остается тянуться за его руками, дышать его дыханием, снимая его с губ.

Чтобы одно на двоих.

В ритме.

В танце, столь же древнем, как сам мир... и пусть Боги завидуют, а люди помолчат. До утра.

Полурык-полустон. И спина напряженная, со вздувшимися горбами мышц. Щека к щеке. И шея мокрая, его, и Евдокии тоже. Она слизывает капли кисловатого пота, и прячет лицо на его груди.

— Ева... — он раздирает пряди волос, перепутанных, переплевшихся, связавших их, если не на веки, как храмовые обеты, то всяко надолго. — Моя Евушка...

— Почему твоя?

Кажется, теперь ей все-таки стыдно, и стыд заставляет отворачиваться, искать на полу халат или рубашку... была ведь рубашка.

Куда подевалась?

Когда?

Лихослав не позволяет ускользнуть, держит крепко, к себе прижимает, повторяет имя на ухо, трогая его, пылающее от стыда, губами.

— Ева... моя...

— Ты меня презираешь?

Где-то далеко часы отмерили время, и бой их разносится по Цветочному павильону.

— Нет.

Хочется верить, но...

— Я ведь замужем не была, а... и снова вот... и наверное, на роду написано...

— Не жалею.

— О чем?

— Ни о чем, — он по-прежнему держит, и хорошо, потому что теперь можно сдаться, сказав себе, что у Евдокии нет иного выбора: подчиниться.

Остаться лежать.

На его плече и рядом, непозволительно близко... грехи она замолит, откупится от божьего гнева белыми голубями и еще дюжиной восковых свечей, тех, которые подороже... и смешно, и горько. Разве можно с богами так, как с пожарным инспектором? Правда, брал тот отнюдь не голубями...

...боги обходились дешевле.

— Ты красивая...

— Перестань.

— Почему?

— Просто... я не жалею. Наверное, не жалею...

— Так наверное или не жалеешь?

— Не жалею, — во всяком случае пока, а о том, что будет дальше, Евдокия старалась не думать. В конце концов, до рассвета еще несколько часов... и пол жесткий, но вставать не хочется. А Лихослав дотягивается до кителя и набрасывает его на плечи Евдокии.

От кителя пахнет табаком.

— И правильно, — он водит большим пальцем по переносице Евдокии, вверх и вниз, и снова вверх. По линии брови, и по щеке тоже. — Выйдешь за меня замуж?

— Сейчас?

— В принципе.

— В принципе выйду.

Сказала и... и почему бы и нет?

...потому что не стоит обманываться. Ночь — это ночь, а жизнь — совсем даже другое... и если Евдокию прошлое ничему-то не учит, то...

— Кто тебя обидел, Ева? — Лихослав крепче обнял. И говорил по-прежнему на ухо, касаясь

губами мочки... и рука, лежавшая на животе, живот поглаживала, и наверное, не было в этом ничего-то такого особенного, поздно уже таиться от него, прикрываясь девичьей добродетелью, но Евдокия смущалась.

Краснела.

Радовалась, что краснота ее не видна. А сердце стучит... так и у Лихослава тоже, бухает, то замирая, то вдруг вскачь несется. Евдокия знает. И успокаивает его, взволнованное, прижимая ладонь к сухой жесткой коже.

...будто старый маменькин плащ гладишь, тот самый, которым она Евдокию от непогоды укрывала...

...и от страхов, когда Евдокия была мала и боялась, что молний, что грома, что теней под кроватью, не зная: бояться надобно людей.

...и спокойно вдруг, уютно.

— С чего ты взял, что меня обидели?

— Ты мне не веришь. И прячешься. Не от меня, ото всех... — губы Лихослава коснулись пылающей щеки. — Придумала себе личину и прячешься...

— Какую личину?

— Серьезную. Ты, когда думаешь, что тебя не видят, нос чешешь... мизинцем... а обижаясь, губу нижнюю выпячиваешь.

— Неправда!

— Правда. А когда видят, то застываешь прямо... такое лицо становится... ненастоящее. Не твое. И колючки торчат во все стороны.

— Нет у меня колючек. Выдумал тоже...

— Не выдумал. Торчат. Только я колючек, Ева, не боюсь...

Молчание.

И что ответить? Ничего. Забыть. Вычеркнуть и этот разговор, и то, что было... а ведь прав, обидели... и эта обида до сих пор жива, свернулась под сердцем черною гадюкой, студит кровь, травит ядом.

— Ева, — пальцы Лихослава зарылись в волосы, — если не хочешь говорить, не мучайся. Я подожду.

— Чего?

— Того, что однажды ты станешь мне доверять...

Поцелуй в висок.

И губы мягкие, теплые... и от ласки этой осторожной, от нежности на глаза слезы наворачиваются.

— Тише, Евушка... я не хотел тебя расстроить, не хотел... — он гладит щеки, и влажные ресницы, и наверное, глупо вот так, сейчас плакать, уткнувшись в горячее плечо. Но Евдокия плачет.

Правда, успокаивается она как-то быстро.

Слезы эти растопили обиду, и боль уняли, и вообще вдруг стало неважным то, что было много лет тому...

— Женщина с прошлым, — она вытирает глаза и улыбается, пусть пока улыбка и получается кривоватой, но в темноте — не видно.

— Главное, — серьезно отвечает Лихослав, — что и с настоящим, и с будущим.

— На самом деле — обыкновенная история о... дурочке и бравом офицере... и тебе действительно интересно?

— Должен же я знать, кого убить придется...

— Кровожадный.

— Есть немного. Особенно, ближе к полнолунию...

— Ты серьезно?

Не ответил, но потерся о плечо колючей щекой.

— Ты... не человек ведь?

— Человек, — возразил Лихослав, но добавил. — Большей частью... я ведь рассказывал, что меня навий волк подрал... вот с тех пор и появились кое-какие странности.

— Погоди, — Евдокия нахмурилась, вспоминая, что слышала о навьих волках...

...мало.

...нежить... полуразумная... сильная... стайная...

— Выходит ты...

— Немного волкодлак, — Лихослав отстранился. И спина закаменела. Ждет? Чего?

— Волкодлак...

— Превращаться я не умею, и разум не теряю... но иногда вот... щетина... и клыки тоже.

...и уши заостренные со щеткой по краю.

— Полковой целитель утверждал, что я безопасен. И здесь, в храме, тоже... я к троиим жрецам обращался... они полагают, что со временем, когда навий яд из крови выйдет, то стану обратно человеком...

Он говорил глухо, отрывисто, не сводя взгляда с Евдокииною лица.

— Волкодлак, значит, — она хихикнула, с трудом сдерживая неуместный приступ веселья. —

Волкодлак...

И не справляясь с собой, уткнулась в грудь, захохотала.

— Боги милосердные... один нормальный жених нашелся, и тот волкодлак...

Лихослав хмыкнул и осторожно, точно опасаясь напугать, коснулся макушки.

— Ты... не боишься?

— Тебя?

— Ну... да... волкодлаки...

...твари, на полную луну теряющие разум. Кровожадные. Лютые. Но, ежели верить ведьмакам, весьма себе разумные.

— Волкодлаки, они таки... волкодлаки, — Евдокия ладонь к щетинистой щеке. — Не боюсь... подумаешь, волкодлак... маменькины партнеры вот — еще те упыри... один так и вовсе натуральный... а ты... колешься.

— Евдокия, я серьезно...

— И я серьезно — колешься...

— Буду бриться, — пообещал Лихослав, выдыхая, как показалось, с немалым облегчением. — От тебя пахнет вкусно... шоколадом. И еще молоком... на Серых землях молоко дороже вина... и хлеб еще... мука там портится быстро, пара седмиц и червецы завелись. Откуда берутся — неведомо, но как ни храни... да и не хранят, привозят, пекут... если границы держатся, то ничего так... правда, опара там не подымается, и хлеб получается на вкус, что бумага. Но постепенно привыкаешь. Да и порой купцы завозят тот, который печеный, нормальный... и молоко... злотень за крынку.

— Сколько?!

Это ж как совести не иметь надобно, чтоб такую цену ставить?!

— Злотень. Ева, это хорошая цена... сама посуди. Скотины там нет, пробовали заводить, да не приживается, не то, что коровы или козы, собаки и тедохнут, а молочная... нечисть молоко выдаивает. Мары скопом налетают, вымучивают... а бывает, что воткнут в стену нож, и с рукояти молоко льется... они и пьют. А скотина хиреет...

Пускай, но все одно... злотень за крынку? Да в селе ведро за два медня отдадут!

В кувшины заговоренные разлил и...

— Заговоры там истончаются быстро. Сама земля пьет силу, вот и выходит. А бывает, что заговор держится, а молоко уже скисло. Вино возить верней. Или шоколад вот. Мясо вяленое...

Лихослав снова лег и Евдокию подгрел под себя. Носом провел по плечу, по шее.

— Но молоко — лучше... я на первой же станции купил себе две крынки...

— Выпил?

— Сам удивляюсь, куда только влезло... и с хлебом свежим, который натуральный хлеб, с корочкою... пальцами разламывал и ел... потом, правда, плохо стало...

Он хмыкнул и замолчал, думая о своем.

Не о Серых ли землях, которые не желали отпускать свою добычу? И Евдокии мерещится шепот их, не зов, но лишь эхо его, заставляющее Лихослава прислушиваться. И наверное, спеша заглушить его, она заговаривает:

— Обычная история... мне шестнадцать было. Я себе взрослой казалась... наверное, в чем-то и была. Так получилось, что я, сколько себя помню, при маменьке, а она в разъездах и в делах. Я помогать стала, постепенно как-то так и получилось, что она только мне по-настоящему и доверяет. А дел много и меньше не становится, тогда же... тогда у нее не было миллионов. Нет, мы не бедствовали, но все, что получалось заработать, маменька вновь в дело вкладывала. Ей пророчили, что прогорит, что надо сидеть смирно... получается у нее с... фаянсом, и радоваться надо. Она же у меня не привыкла отступать.

Дыхание Лихослава меняется, становится легким, живым.

— Зимовали мы в Сувалкове... небольшой городок, на самом краю Важких пустошей. Помню, там еще частокол есть, а за ним — вырубки, и лес... темный-темный ельник. И днем-то на него смотреть страшно было, а ночью и вовсе... Маменька приглядывалась к лесопилке. И еще мануфактура имелась, парусину ткали. И она все переговоры вела, но что-то не ладилось. Хозяин все решится не мог. Дохода-то он не получал, а продавать дедову мануфактуру не хотел. Не важно. Главное, что на зиму остались... дороги замело... и сам городок маменькеглянул. Чистенький, аккуратный. Весь такой...

Евдокия закрыла глаза, вспоминая мощные улочки его, которые от снега чистились регулярно; дома разноцветные — розовые, зеленые, синие, с резными фасадами и непременными деревянными львами у подножия парадных лестниц. Вспомнились воздушные, точно вывязанные флюгера, и фонари, которые горели даже днем, потому как зимнее солнце светило скупо.

— Нас приглашали... вечера, балы... Что еще делать зимой, как не развлекаться? На Вотанов день я познакомилась с молодым офицером...

Лихослав заворчал, и опять о плечо потерся, точно проверяя, на месте ли Евдокия.

На месте, куда она, распутная женщина, денется?

— Маменьке он не понравился. У нее... к военным предубеждения.

— Запомню.

И произнес серьезно так, что Евдокия поверила: и вправду запомнит.

— Мне бы послушать... но я ведь казалась себе умной. Знающей. Опытной даже... — смешно теперь, и пускай, лучше уж смех, чем слезы. — Он красиво ухаживал... стихи читал...

— Про коров?

Евдокия тихонько засмеялась.

— Нет, про сердце, которое трепещет... и еще про синие глаза... про душу... про всякое. Хорошие стихи были. И цветы... мне казалось, что все всерьез, на всю жизнь, что мы предназначены друг другу... это он тоже говорил. А потом маменька уехала на три дня... лесопилку инспектировать. Меня брать не стала, потому как холодно и вообще... я и пустила его в дом.

Запертая дверца.

И ожидание. Сердце, которое едва ли не выпрыгивает из груди. Свеча в руке. Маменькина пуховая шаль поверх ночной рубашки. Страх, что он не придет. И другой, что все-таки появится, получив записку от Евдокии...

Тень за окном.

Стук условный. И холодные с мороза губы его. Поцелуи жадные, от которых земля из-под ног уходит. И немного раздражает вкус вина, Евдокия не любит, когда он выпивает. Но не придирайтесь же, ведь ночь-то особая... сегодня она, Евдокия, станет по-настоящему взрослой.

Лихослав вот рычит утробно, глухо...

И наверное, хватит той, гнилой памяти. Тем более, что та ночь получилась вовсе не такой, как представлялось Евдокии. Более... грязной, что ли?

Болезненной.

И он еще заснул потом, спиной к ней повернувшись...

Она заставила себя быть счастливой все три дня. А в последний, перед самым маменькиным возвращением, решила задать вопрос, который немного беспокоил...

— Про свадьбу? — Лихослав гладил шею...

...и ногти его были длинными, острыми. Евдокия перехватила руку, заставила раскрыть пальцы, и когти эти разглядывала.

— Про свадьбу... тут и выяснилось, что жениться на мне он и не собирался. Кто я такая? Купеческая дочь... и ладно бы, ежели бы за мной приданое хорошее давали... так ведь нет, маменька не в гильдии... и состояние у нее — он узнавал — не так уж велико. То ли дело дочка мэра...

...горечь и вправду ушла.

— Она и красивая... я же так, сама в руки шла... он сказал...

— Ублюдок, — Лихослав прикусил Евдокиину ладонь. Осторожно, царапнув кожу отросшими клыками.

— Пожалуй... я тогда растерялась совсем. А он, наверное, решив, что я скандалить стану, пригрозил. Мол, если вздумаю его ухаживаниям помешать, то ославит меня на весь город... мол, я сама его соблазнила... и выходит, что сама... в дом впустила... в постель.

— И ты молчала?

— Да.

Проклятый месяц, который тянулся дома. И званые вечера, балы... он, такой родной, но далекий, рядом с панночкой Агнешкой... небось, стихи читает.

Держит ее за ручку бережно.

А она, дурочка, млеет. Евдокии же хочется кричать от боли, а... она улыбается. Она умеет улыбаться, когда совсем-совсем горько.

— Если бы он заговорил, то... ему ничего не было бы. А мне одна дорога осталась бы — в монастырь, грехи замаливать...

— Чушь, — Лихослав держит так, что еще немного, и Евдокия задохнется в его объятьях. — Как его зовут?

— Тебе зачем?

— Убью.

— Прекрати... это... несерьезно.

— Это очень серьезно, Ева, — в темноте его глаза отливают тусклой болотной какой-то желтизной. — Я найду его и убью...

У нее получается вывернуться и, дотянувшись до губ, Евдокия трогает их... жесткие. И короткие, клыки пробились... полнолуние еще не скоро, а клыки уже пробились.

Наверное, он злится на того, другого...

— Я и лица-то его уже не помню. Носилась вот с обидой, а оказывается... так что, не надо убивать. Покусай лучше. Волкодлачьи укусы, помнится, плохо заживают...

Лихослав сморщил нос и брюзгливо произнес:

— Скажете тоже, панночка Евдокия... покусай. Приличные волкодлаки всякую погань в рот не тянут. У них этот рот прямо-таки не казенный...

Аргумент был веским.

И вправду... всякую погань и в рот...

— Ева...

— Да?

— Ты ведь выйдешь за меня?

— Ты же спрашивал...

— Еще спрашиваю... я ж все-таки...

— Волкодлак.

— Немного. Но таки да...

— Выйду... может, ты и волкодлак, но человек приличный.

Почему-то показалось, что Лихослав смутился.

Ушел он под утро, и Евдокия сквозь сон ощутила прикосновение губ к виску.

— Возьми, — Лихослав вложил в руку что-то твердое, круглое. — Это чтоб ты не передумала... Ева...

Евдокия хотела ответить, что ничего-то ей не надо, она и так не передумает, но соскользнула в глубокий спокойный сон. А очнувшись, обнаружила, что сжимает в кулаке кольцо.

Белый обод. Черный гладкий камень с птичьей лапой руны Вотана. Не обручальное, не наследное, но... старое и, пожалуй, дорогое.

Евдокия коснулась камня губами.

Теплый.

На сей раз от любимого дядечки пришли розы. В отличие от королевских, эти были суховаты, уже тронуты увяданием, но зато щедро обернуты несколькими слоями гофрированной бумаги.

— Какая прелесть, — не удержалась Богуслава, растирая висок. — Поклонников у вас все прибывает и прибывает...

— Это от дядечки, — Тиана нежно погладила розы, и те, потревоженные прикосновением, осыпались. — Дядечка очень за меня радый.

— Я думаю.

Богуслава убрала руку, и вновь прижала пальцы к виску.

— С вашей стороны, Тиана, очень предусмотрительно обзавестись таким... перспективным кавалером, — Ядзита вытащила белые нити, верно, собралась вышивать луну над погостом.

— Не думаю, — подала голос Габрисия, нынешним днем странно-молчаливая.

Она же следила за Богуславой, а та этой слежки и не замечала. В последние дни княжна Ястрежемска была непозволительно рассеянна.

— Отчего? — Иоланта прохаживалась по комнате, не сводя взгляда со своего отражения. — Вот станет Тиана фавориткой и заживет на широкую ногу...

Она остановилась в углу, где два зеркала отражали друг друга, и замерла, разведя руки, вытянув ножку в лиловом, расшитом бабочками, чулке.

— Чушь какая... — проронила Мазена.

После возвращения своего она держалась в стороне, наблюдая за остальными конкурсантками свысока: куда им до панночки Радомил?

— Не чушь, — Ядзита вышивала, почти не глядя на канву. — Вовсе не чушь... прогулка была? Была. И наедине они беседовали... и потом Его Высочество Тиану каждому самолично представляли...

— Чушь...

Мазена отвернулась, верно, забыв, что в Цветочном павильоне слишком много зеркал, чтобы спрятать ненависть, искажившую черты совершенного ее лица.

— И розы, — вступила в беседу Эржбета и, откинувшись на спинку кресла, мечтательно произнесла. — Ах, если бы мне принесли такую корзину...

— Мог бы прислать что-то более весомое.

— А завидовать — нехорошо, Мазена...

— И нечему, — тихо произнесла Габрисия. — Допустим, она понравилась Матеушу... что в этом хорошего?

— А что плохого? — Ядзита разложила нитки всех оттенков белого. — Жить во дворце... в роскоши... не надо думать, что есть, и что надеть... и все-то вокруг бегают, угодить стараются... Анелия — дура, если от такого отказалась...

— Анелия давно за границу уехала со своим негодником, — Богуслава терла висок остервенело, не замечая, что растирает нежную кожу докрасна.

— Можно подумать, она за границей кому-то нужна... этот ее...

— Негоциант...

— Негоциант, — повторила Ядзита вкусное слово. — Побалуется и выкинет прочь... и что тогда она делать станет?

— Умная женщина, — Эржбета вытащила из вазы веточку аспарагуса и теперь вертела в пальцах. — Нигде не пропадет.

— Вот и не пропадала бы дома...

— Король или негодник — никакой разницы, — Габрисия держалась своей точки зрения. Она сидела прямо, сложив руки на коленях, и было в этой ее позе что-то неестественное, натужное. — Мы ведь не об Анелии говорим...

— Не скажите... у короля всяко возможностей побольше, — Ядзита не собиралась уступать в споре. Она задумчиво прикладывала то одну нить, то другую, то третью, но никак не могла решиться. На неискушенный Себастьянов взгляд нити если и отличались, то незначительно, однако Ядзита к вопросу вышивки подходила серьезно.

— У короля? Милая, вы плохо знаете королей...

— А вы хорошо?

— Уж получше вашего...

— И когда ж успели?

— Девочки, не ссорьтесь! — Лизанька оторвалась от письма, которое перечитывала раз в четвертый... или в пятый?

И розовела. Вздыхала. Волновалась столь явно, что у Себастьяна возникло сильнейшее желание письмецо это умыкнуть. Нет, не из ревности, но из опасения за Лизоньку... вряд ли Евстафий Елисеевич обрадуется роману дочери с придворным пустобрехом...

— Речь не о короле, а о королевиче...

— Наследнике, — уточнила Ядзита, все-таки сделавшая выбор. Габрисия лишь плечом повела, всем видом своим демонстрируя, что в уточнении надобности не было никакой.

Наследник или нет — не принципиально.

— Молодой, холостой... — Эржбета вздохнула и к собственным бумажкам потянулась, спеша записать какую-то, несомненно, очень важную мысль.

— Боги милосердные, — Габрисия всплеснула руками. — Уж не думаете ли вы, что он на ней женится? Это... это невозможно!

— Да? — с некоторым сомнением произнесла Эржбета, явно думая о чем-то своем. — Жаль... было бы очень романтично... наследник престола влюбился в простую шляхтянку...

— Еще скажите крестьянку...

— Горожанку... в простую горожанку, — в праве любви наследника престола к крестьянке фантазия Эржбеты отказала. — Они встретились случайно... его поразили ее невинность и красота...

Она замолчала, уставившись на веточку аспарагуса.

— Поразили, несомненно, — ядовитый голос Мазены раздался в тишине. — Но у него уже имеется невеста...

— Да?

— Переговоры ведутся, — поддержала Габрисия. — И договор будет подписан в самом скором времени... тогда народу и объявят...

...интересно, откуда у нее такая информация? Не то, чтобы известие о скорой помолвке Его Высочество являлось такой уж тайной, но знали о предстоящем радостном — Себастьян подозревал, что радостным оно было не для всех — события немногие.

— И женится он, если не в нынешнем году, то в следующем...

— И что? — Ядзита вышивала, работала она сосредоточенно, но Себастьян опять же не мог отделаться от мысли, что и эта ее сосредоточенность — иллюзия.

В Цветочном доме иллюзий оказалось чересчур много.

— И то, что побудет она, — Мазена безо всякого стеснения ткнула в панночку Белопольску пальцем, — фавориткой, но только до появления законной жены...

— Не факт, помните княгиню Верховецку? Ей законная жена помехой не стала...

— Сравнили, — фыркнула Габрисия. — Где княгиня Верховецка, а где... подкозельска...

Лизанька хихикнула, Эржбета вздохнула, уронив веточку аспарагуса...

— Выставят ее из дворца, глазом моргнуть не успеет, — Габрисия подошла и, взяв Тиану за руку, сказала. — Не переживайте, дорогая, мы желаем вам только добра.

— Конечно, — широко улыбнулась Тиана. — Я же ж не круглая дура, я же ж понимаю... дядечкина жена тоже всегда говорила, что мне только добра желает. А ежели б дядечка волю ей дал, засунула б меня в монастырь... там, небось, зла точно нету.

— Подумайте, что вас ждет. Год-полтора славы? Блеска? Дяде вашему отпишут пару деревенок, быть может, имени... вас выдадут замуж за придворного лизоблюда, которому тоже кинут кость, чтобы самолюбие раненое утешить... вы же получите королевское внимание.

— И королевские драгоценности... — заметила Богуслава. — Если вспомнить, что он дарил Анелии...

— Если вспомнить, что он остался должен казне после этих подарков, думаю, с новой фавориткой Матеуш будет вести себя скромнее. На последнем Совете ему вновь грозились содержание урезать, так что поостережетесь...

...до чего любопытное наблюдение. И вновь же верное...

— Так что, не видать дорогой Тиане алмазов... аквамаринами обойдется...

— А вы и рады, — заметила Эржбета, недовольно оттопырив губку. — Вы, Габрисия, горазды злорадствовать...

— Разве я злорадствую? Мне кажется, я лишь объясняю, отчего не привлекает меня стезя королевской фаворитки...

— Или, дорогая Габи, ты делаешь вид, что не привлекает, — Богуслава села-таки, закинула ногу за ногу, точно позабыв, что подобная вальяжная поза менее всего подходит благовоспитанной девице. — В конце концов, королевская милость — это не только алмазы... власть — куда интересней.

— Зачем ей власть? — Мазена уже не давала себе труд раздражение скрыть. — Она слишком глупа, чтобы этой властью воспользоваться.

Щелкнули белые пальцы. И колыхнулось отражение в зеркалах.

— В отличие от вас, Мазена? — тихо спросила Богуслава.

Ответа не было.

А вечером Себастьяна попытались отравить.

Ее Величество перелистывали страницы газеты лопаточкой из слоновой кости, расписанной райскими птицами и виноградом. Держали они лопаточку двумя пальчиками, манерно отставив мизинец, и эта давняя, но неизжитая привычка королевы донельзя раздражала Его Величество. Впрочем, как и другая — в волнении оный мизинчик прикусывать.

Следовало бы сказать, что нынешним вечером Его Величество пребывал в настроении отменнейшем. Облачившись в домашний стеганный халат, король полулежал на подушках и

курил. Он позволял себе вдыхать дым медленно, жмурился от наслаждения, чувствуя на языке табачную горечь, улавливая ее оттенки, и выдыхал, стараясь пускать колечки.

Порой Его Величество задумывался о чем-то своем, несомненно, приятном, и тогда замирал, баюкая люльку в смуглой не по-королевски крепкой руке.

— Ваш дым мерзко пахнет, — соизволила заметить королева, откладывая газету.

— Не спорю, — король был настроен благодушно, чему немало поспособствовал неожиданный подарок от генерал-губернатора. Зная тайную страсть Его Величества к трубкам, коих собралась целая коллекция, он прислал новый экземпляр, из груши и сандала, отделанный красным янтарем.

А к нему мешочек наилучшего карезмийского табака.

— Боги милосердные, у меня от него голова болит, — королева нахмурилась, отчего некрасивое лицо ее стало еще более некрасивым. Губы сделались тонкими, нитяными, зато на белой пышной шее появилась складочка второго подбородка.

— Сочувствую, — сказал король, выпуская колечки дыма, темно-лилового, с характерным красноватым отливом, каковой свидетельствовал об исключительном качестве табака.

Кольца поднимались к потолку Охотничьего кабинета, к росписям, и таяли меж рисованных ланей, кабанов и гончих... в дымах прятались массивные кони охотников и лица их...

— Эта ваша привычка совершенно невыносима, — брюзгливо заметила королева, принимая очередную газету из стопочки на серебряном подносе. Выглаженные, избавленные от характерного запаха типографской краски, газеты эти виделись Его Величеству поддельными, лишенными чего-то важного, пусть он сам не знал, чего именно.

— Дорогая, — король провел пальцем по янтарному узору на мундштуке. — Вы стали очень раздражительны. Не завести ли вам любовника?

Королева вспыхнула.

И мизинчик ее коснулся узких губ.

— Как вам князь Щебетнев? Еще тот шельмец, но собой хорош... и не курит...

— Вы об этом так говорите...

Ее Величество зарделась совершенно по-девичьи... и выходит, что не почудилось королю то ненавязчивое внимание, которое Щебетнев уделял королеве.

— Как есть, так и говорю... — король выпустил очередное колечко и, откинувшись на атласных подушках, украшенных вышивками Ее Величества и принцесс, принялся разглядывать потолок... следовало признать, что Гданьская резиденция нуждалась в ремонте. Лица охотников пожелтели, а местами и вовсе стерлись. Роскошные наряды пошли пятнами, местами и вовсе штукатурка вздыбилась, грозя отвалиться.

Ремонт нужен.

Но где деньги взять? Совет вновь заговорит о непомерных тратах на содержание двора... и о бюджете, который подобных трат не предусматривает...

— И для здоровья полезно, и для настроения... главное, не допустите скандала.

Ее Величество фыркнула, разворачивая желтоватые страницы «Охальника», который читала с немалым интересом, хотя всячески подчеркивала, что к газетенке этой прикасается исключительно дабы быть в курсе интересов подданных...

Пускай себе.

И Его Величество вернулись к заботам насущным... все ж таки нарастающий плесенью потолок его беспокоил... а в Белой гостиной и вовсе по стене, прорывая шелковые, расписанные серебром, обои, трещина поползла... подвалы вновь подтопило... и проблема куда как серьезней имеется: подмыли подземные ключи фундамент, вот и оседает древняя резиденция со всеми ее гостиными, кабинетами, бильярдными... со статуями и горельефами, за кои в свое время немалые деньги дадены...

— Ужас какой! — воскликнула королева, роняя лопаточку, которая упала на стол со звуком глухим, раздражающим.

— Где? — не открывая глаз, уточнил Его Величество.

Карезмийский табак кружил голову, а во рту оставлял терпкий привкус горького шоколада, смывать который полагалось кофеем... и надо бы велеть, чтобы принесли, однако для того требовалось бы дотянуться до шелкового шнура, который ведет к колокольчику... всего-то в полусажени этот шнур свисает, но ныне и это расстояние мыслится непреодолимым.

...угодил родственник, хорош табак... замечателен просто... но на рынок его беспощинно, как о том карезмийцы просят, пускать нельзя. Собственные табачники не у дел останутся... нехорошо...

— Здесь! — королева шелестела страницами и платьем... — Ты только послушай... они утверждают, что эта девица беременна от тебя!

— От меня? — Его Величество с неудовольствием приоткрыл левый глаз, припоминая всех девиц, которым за последние месяцы внимание уделял.

Трое...

...а ведь были времена...

...были и прошли, ныне возраст... и пусть еще не старость, но уже тело ослабло, покоя желает, а не увеселений... нет, сам-то король ничего против увеселений не имеет, однако же собственные силы и умения дворцовых целителей оценивает здраво.

И открыв второй глаз, он с уверенностью заявил:

— Врут, дорогая.

— Да? — королева выглядела обеспокоенной. — А пишут, что...

— Дай сюда, — он отложил трубку и руку протянул, испытывая подспудное раздражение, что тихий этот вечер, каковые ныне были редкостью, разрушен. Королева безропотно протянула газету со статейкой.

И снимок имелся свежий.

И написано было живо, увлекательно...

— Врут, — спокойно ответил король, пробежавшись по строкам. — Сами посудите, дорогая... вы же присутствовали на открытии конкурса... и эта... девица, уж простите за каламбур, именно девицей была.

Королева прикусила мизинец.

Не то, чтобы она не знала об изменах супругов, — знала и по давней договоренности, благодаря которой брак этот был крепким и по-своему счастливым, закрывала глаза. Но одно дело очередная интрижка, и совсем другое — ребенок.

— И конечно, лишить девицу девичества — дело нехитрое... но вот чтобы за несколько дней она и забеременеть умудрилась...

Король хмыкнул.

И Ее Величество с немалым облегчением выдохнули. Все же бастард — это... оскорбительно...

— Да и ошибочка вышло, — Его Величества ткнули в газету пальцем. — На эту красавицу Матеуш нацелился...

— Она ему не подходит.

— Ах, дорогая, тебе волю дай, так ты мальчика вовсе в монастырь спровадила бы... Анелия тебе тоже не нравилась.

— Развратная особа.

— Развратная... как есть развратная, — Его Величество цокнул языком, припоминая очарование этой развратной и напрочь аморальной особы, которая...

...впрочем, некоторые воспоминания он предпочитал держать взаперти.

— Мальчик страдает, — королева дотянулась-таки до шнура.

Ей хотелось шоколада.

Горячего, украшенного пышной пеной взбитых сливок и темно-красной вишенкой, с каплей коньяка или травяного бальзама. И пусть придворный целитель с придворным косметологом вкупе твердят, что сладости Ее Величеству вредны, но... чем-то надо себя радовать?

— Мальчику заняться нечем, — проворчал король, но кофею потребовал. — Все страдания его — от безделья... а вы ему потворствуете!

Ее Величество оскорбились и замолчали.

Благодатная тишина длилась недолго. Его Величество успел сосчитать трещины на желтоватом лице амазонки, заметить пару дохлых мух, что лежали меж стеклами, и услышать, как шуршат под глянцевым паркетом мыши. Подали и шоколад, именно такой, какой хотелось королеве, и серебряный кофейник с крохотными, чуть больше ногтя, чашечками.

Кофий Ее Величество разливали лично.

Перемирие, значит...

— Люди поверят, — сказала она, мизинчиком указывая на газету, что так и осталась лежать на краю стола. — Мы должны что-то... предпринять.

— И что вы предлагаете? Судиться?

...и извальяться в грязи?

— Отнюдь, — все же Ее Величество были по-женски умны. — Суд или опровержение будут восприняты... неправильно.

Права. Вновь заговорят о самодурстве и королевской власти, каковая слишком уж... абсолютна.

— И девушку отсылать нельзя... во всяком случае, сейчас... надо окружить ее заботой и вниманием... пусть Матеуш заявит, что признает этого ребенка...

Король кивнул.

Иногда он почти любил свою супругу.

— Когда же станет очевидно, что ребенка нет, то... никто не осудит, если девица раскается в обмане и уйдет в монастырь...

Ее Величество подхватили вишенку и отправили в рот.

...и все-таки надобно с ремонтом что-то думать...

Глава 16

О тяжких буднях акторов

Аврелий Яковлевич прохаживался в тени платанов. Выглядел он превосходно. Клетчатые брюки, шитые по последней моде мешковатыми, зауженными книзу, облепляли могучие щиколотки ведьмака, топорщился воротничок белоснежной рубашки. И полосатый, незабудкового колеру жилет плотно облегал и грудь, и поджарый плоский живот, словно подчеркивая, что, несмотря на годы, Аврелий Яковлевич сохранил и статью, и форму. И пурпурный гавелок [16], отделанный золотым аксельбантом, гляделся вполне уместно, хоть и несколько вызывающе.

— Опаздывать изволишь, Себастьянушка, — произнес Аврелий Яковлевич, оглаживая бороду, которую, надо полагать, в честь нонешнего свидания, он расчесал и заплел в косицы.

— Я по уважительной причине, — Себастьян сплюнул.

От яда еще першило в горле, а желудок то и дело судорога схватывала.

Стошнило.

В королевский фонтан, поставленный еще при Болеславе Прекрасном. При мысли о том, что выворачивает Себастьяна не лишь бы куда, а в произведение искусства, внесенное в каталоги «Достопримечательностей королевства Познаньского», странным образом полегчало.

— Эк тебя-то припекло... — покачал головой Аврелий Яковлевич и перчатки из лайки снял.

Размял пальцы.

Пробежался по щекам, замер, прислушиваясь к чему-то... и Себастьян с ним вместе, хотя не услышал ничего, кроме урчания в животе. И сердце застучало, засбило, мир перед глазами качнулся, и край мраморной чаши сам под руку скользнул.

Это ж чем его попотчевали? К большинству-то ядов Себастьян нечувствительный, случалось ему и мышьяку пробовать, и беладонны, и волчегодника... и грибов всяких... так, обходилось расстройством одним. Тут же скрутило крепко.

вернуться

16

Гавелок — элегантный длинный «английский» мужской плащ с пелериной, без рукавов.

Слюну гнало.

И Себастьян, поначалу пытавшийся ее сглатывать, рот открыл, позволяя слюне стекать в мутные воды... или казалось что мутные? Аврелий Яковлевич помогать не торопился, бормотал что-то, щупал затылок, и от прикосновений его перед глазами вспыхивали зеленые мошки.

Или не перед глазами, а в воде... точно в воде... кружатся, пляшут, водят хороводы, и от того становится смешно. Себастьян руку вытянул, пытаюсь огоньков поймать, а они, суетливые, сквозь пальцы проскользнули.

И Аврелий Яковлевич, которого Себастьян на подмогу позвать хотел, куда-то запропостился. Это он зря... без огоньков останется... нет, чем же таким Себастьяна накормили-то... а еще красавицы... спасут мир... огоньки смеются.

А ведьмак вдруг объявился сзади, и могучие его пальцы ловко вцепился в шею...

— Аккуратней, — буркнул Себастьян, захлебываясь слюной. — Не придушите ненароком...

Договорить не успел, Аврелий Яковлевич, сохранивший не только стать, но и силу свою нечеловеческую, на шею надавил...

Себастьян только и успел, что вдохнуть.

Вода в произведении искусства оказалась затхлой... и стенки изнутри тиной поросли... скользкие... огоньки знай себе, пляшут перед самыми глазами, а ведьмаковы пальцы держат крепко.

— Пей!

Себастьян стиснул зубы.

— Пей, говорю, песий сын... — Аврелий Яковлевич поднял, позволяя вдохнуть, а после вновь в фонтан макнул. — Хлебай, пока держится...

Что держалось, Себастьян не знал, но глоток сделал, не потому, что велено было, а огонек поймать хотел. Тот к самым губам подобрался... и в последний миг отпрянул

Вода была кислой.

И горькой.

И в желудок ухнула, чтобы вызвать новую судорогу...

— Вот так, дорогой мой... пей...

Пьет.

Глощает, потому что, если выпьет фонтан до дна, то огоньки на этом самом дне и останутся... и Себастьян их себе возьмет, посадит в банку... конечно, как он сразу не догадался-то? В большую банку, в которой квартирная хозяйка огурцы солит! Та здоровущая с мутными стенками из толстого стекла... то, что надо для огоньков. И крошек им насыплет.

— Ах ты ж... что б тебя... в хвост... — откуда-то издали доносилась ласковая ругань Аврелия Яковлевича, который шею не отпускал. И хорошо, у самого Себастьяна плохо получалось наклоняться, а тут — все подмога. Главное, рот открывать пошире, и глотать, глотать...

В конце концов, упрямые огоньки, не желая переселяться в банку из-под огурцов, сбились в стаю и набросились на Себастьяна, они облепили лицо, забились в нос и рот, пробрались в глотку, опалив зеленым ведьмовским огнем. И ненаследный князь таки лишился чувств...

Гавел ночевал в кустах подле Цветочного павильона. Место он обустроил еще накануне, переплетая колючие ветви роз. В маргаритках припрятал флягу и десяток кристаллов, полученных от главного редактора. С кристаллами пришли векселя на премию, каковая к огромному удовольствию Гавела исчислялась четырехзначной цифрой...

...старухе про премию говорить нельзя. С нее-то и сотни достанет...

...нет, и сотни много... двадцать злотней... а потом соврать, что еще заработал... и подарок прикупить, простенький...

...правда, у старухи чутье...

...и небось, за эти-то дни она из соседей душу вымотала... бросил, ушел... и стыдно, матушка все ж таки, хоть бы и не видел от нее Гавел ни добра, ни ласки...

...как она там, одна?

...не совсем, чтобы одна, соседке Гавел оставил десять злотней и два еще — за присмотр, потому как задарма за старухой присматривать никто не желал... соседка — женщина обязательная, а заодно и с характером, она-то не попустится на старухины слезы...

...и ей подарок купить в благодарность, к примеру, платок красный с бахромой... и еще той молочнице, которая Гавелу калиточку открыла... неудобно вышло...

Вспомнилось вдруг округлое лицо с мягкими чертами, и платье простенькое, но чистое, и руки белые мягкие, сжимавшие ручку плетеной корзины. Взгляд с укоризной...

Вздохнул Гавел и в кустах на другой бок повернулся.

А луна ныне, хоть и не полная пока, но выпялилась, уставилась на землю желтушным глазом.

Тени сделались длинны, дотянулись до самого Цветочного павильона, расплосовали стены его. Тихо стало.

Жутко.

И слух старого крысятника обострился до предела, оттого, верно, и услышал, как скрипнула, приотворяясь, окошко.

— Вот так-то, — сказал Гавел, жуть прогоняя, и погладил верную камеру. Кристалл извлек, повесил на шею, где уже болталась связка ведьмачьих амулетов...

Тень соскользнула со стены в кусты и зашипела, наткнувшись на колючки. Материлась она в полголоса, но душевно, со знанием дела. А после, припадая на левую ногу, двинулась по дорожке. И Гавел следом потянулся, в отдалении, конечно, но не забывая снимать.

Ныне ненаследный князь совершал очередной свой ночной моцион полностью обнаженным, и свет ущербной луны серебрил смуглую кожу. Шел он бодро, разве что слегка прихрамывал, а на развилке остановился и, задравши босую мосластую ногу, поскреб ступню. И главное, стало в полоборота... лицо видать, и выражение задумчивое, едва ли не мечтательное. Вот Гавел и не удержался, запечатлел.

Но тут же, испугавшись, что заметят, поспешил отползти в кусты.

О том, что делал ненаследный князь в Цветочном павильоне, Гавел не думал: ясное дело, что... эта информация была обыкновенна, а следовательно, интереса для публики не представляла. Другое дело ночные променады...

...нагишом-то...

Гавел призадумался, пытаясь среди всех слухов, которые, как и всякий крысятник, собирал старательно, вычленил единственно верный, способный хоть как-то объяснить эту княжью прихоть.

— Опаздывать изволите, Себастьянушка, — раздался из пустоты гулкий и такой знакомый голос, который заставил Гавела упасть в траву.

Он вжался в землю, кляня себя за беспечность.

...и с трудом в связке амулетов нашарил нужные...

...полог, поставленный Аврелием Яковлевичем над чашею фонтана, поблек и истончился. Фигура самого ведьмака была несколько размыта, а вот Себастьяна Гавел видел четко.

...а вот звук исчез... нехорошо... но подумав, Гавел решил амулеты не трогать, во-первых, картинка ему нужнее, во-вторых, не хотелось до поры, до времени внимание Аврелия Яковлевича привлекать.

И оторвав голову от колючей мокрой травы, Гавел поднял камеру.

Амулетов хватит минут на десять...

Ненаследный князь странной вихляющей походкой, в которой виделась Гавелу некая жеманность, подошел к фонтану. Длинный Себастьянов хвост кокетливо щелкнул Аврелия Яковлевича по штанине. Томным жестом прижал ручку к голове, покачнулся и оперся на

бортик.

Глаза прикрыл.

И стоял так несколько мгновений, губу капризно оттопырив. Ведьмак же нахмурился и сказал что-то, от слов его Себастьян только плечиком дернул... а потом повернулся спиной...

...багряный плащ Аврелия Яковлевича лег на траву. Ведьмак закатал рукава рубашки... чем дальше, тем больше он хмурился. И пальцы разминал... и выплетал что-то...

...неужели все-таки приворот?

Гавел снимал, сетуя, что кристалла его камеры хватит едва ли на полсотни снимков... а время иссякает...

Ненаследный князь наклонился над фонтаном, Аврелий Яковлевич подошел сзади и нежно провел ладонью по широкой Себастьяновой спине. Что-то сказал... все ж таки жаль, что звука нет... и в следующую секунду вцепился любовнику в шею мертвою хваткой. Себастьян попытался вырваться, но сил его явно не хватало на то, чтобы с ведьмаком справиться.

Гавел замер.

А вдруг убьет?

Из ревности? Прознавши, что Себастьян в Цветочный павильон заглядывал... и точно, Аврелий Яковлевич, явно ругнувшись, макнул ненаследного князя в фонтан.

И голову под водой держал долго.

Себастьян слабо сопротивлялся, пуская пузыри...

...на помощь звать?

Гавел нашарил свисток... заметят... и выгонят, дознавшись, чем он в Гданьском парке занимается... и по-хорошему, что бы ни происходило, он, Гавел, должен оставаться беспристрастным наблюдателем, но...

...вдруг да насмерть утопит?

И решившись, Гавел поднес свисток к губам, но тут ведьмак жертву выпустил, позволяя сделать вдох. А после вновь в фонтан макнул...

...не утопит.

Хоть изревновался, а головы не потерял... и Гавел, свисток отложив, взялся за камеру. Душу грела мысль, что счет его в банке после нынешней ночи, несомненно, пополнится... и купит он подарок молочнице... новые крынки, заговоренные, чтобы молоко ее некисло... а еще гребень в волосы, высокий, резной и с янтарем... красиво будет...

Ненаследный князь тем временем обмяк, но Аврелий Яковлевич с прежним упорством макал его в фонтан. После, видать, притомился и, вытащив старшего актера за шкурку, швырнул его на траву. Обошел. Пнул носком лакового штиблета, заботливо защищенного новомодною галошей из черного каучука... а когда Себастьян не пошевелился, то присел рядом.

Сказал... что сказал — не разобрать...

Пощечину отвесил... и со вздохом тяжким, верно, уже раскаиваясь в собственной жестокости, по щеке погладил... по имени позвал, видать,... и себя за бороду дернул.

Наклонился к самой груди...

...и к губам припал. В это самое мгновение заряд амулета иссяк, и темный полог скрыл, что Себастьяна, трогательно-беззащитного в своей наготе, что Аврелия Яковлевича...

И Гавел, тяжело вздохнув, зачехлил камеру.

Уходил он по собственному следу ползком, нимало не сожалея о промоченных росой штанах...

Огоньки плясали.

Свили гнездо в груди Себастьяна, аккуратно под самым сердцем, и еще одно — в желудке.

Огоньки жглись. И раскаляли кровь, выжигая отраву... и было неприятно. Спина чесалась, а в горле клекотало...

— Дыши, твою ж мать за ногу...

Себастьян и рад бы вдохнуть, но огоньки растреклятые комом в горле стали.

— От же ж... на мою-то голову... чтоб тебя...

На грудь навалилась тяжесть немалая, выталкивая воду... и огоньки... какие огоньки?

Чтоб их... и за ногу...

Прокуренные темные пальцы в рот полезли, раздвинули губы. Пропахший табаком воздух проталкивали в легкие, заставляя дышать.

И выталкивали.

Разе на третьем Себастьян закашлялся и глаза открыл.

— Что... — над ним, заслоня куцую луну, нависал Аврелий Яковлевич. Всклоченный и донельзя злой. — Что это вы... делаете?

Горло саднило, в груди клекотало, а изо рта текла гнилая темная водица.

Аврелий Яковлевич отер губы ладонью.

— Дышать тебя заставляю, Себастьянушка, — ответил он, поднимаясь. И тяжесть, давившая уже не на грудь — на живот, исчезла вместе с ним.

— Как-то вы... странно это делаете.

— А как умею, так и делаю...

Ведьмак сел у фонтана, вытянув ноги, провел ладонью по зеленой, влажной траве и мокрою рукой лицо отер.

— Знаете, — Себастьяну удалось перевернуться на живот. — Вы только обиды не держите, но... вам бы пудика два весу сбросить...

— Это тебе бы пудика два наесть, — беззлобно ответил Аврелий Яковлевич. — А то на этих костях и сидеть-то несподручно.

Себастьян хотел было сказать, что кости его ему душевно близки и для сидения не предназначены, но промолчал. Жар в животе исчез. И огоньки. Огоньков было жаль. Некоторое время Себастьян просто лежал, с немалым интересом разглядывая острые травиночки.

— Чем меня? — он поднял взгляд на ведьмака, который так и сидел, прислонившись к фонтану, ладонью нос зажимая. Кровь катилась из-под пальцев, впитываясь в белый рукав рубахи.

— Бурштыновые слезки... мертвый янтарь.

— Дорогая пакость, — оценил Себастьян, перевернувшись на спину.

Небо было высоким, и звезды высыпали густо, ярко. Разливались соловьи... комарье звенело над ухом, и жить было хорошо... приятно было жить...

Дышать вот.

Воздух прозрачный звонкий. И розами пахнет. Себастьян глаза закрыл, разбирая тонкие ароматы... слегка кисловатый — от «Белой панночки», старый сорт, с крупными цветами, которые до последнего не утрачивают снежную свою белизну, но, увядая, сторают за часы... терпкий яркий запах с медвяными нотами — «Бенедикта». Аглицкий сорт, капризный... темно-красного колеру... а этот, переменчивый с толикой мяты, аромат — от бледно-желтой «Каберни»...

В Гданьском парке розовые кусты росли во множестве.

...матушке здесь нравилось, говорила, что о родине напоминает, о пансионе, где розы разводили... и стало быть, вернется вместе с доктором... и домик купят на туманном берегу... а возле домика — непременно сад с розами... ей всегда хотелось, но не княжее это дело — в земле копаться. На то садовники имеются, а Себастьян только сейчас, кажется, понимать начал, что с садовником — совсем иной коленкор...

— Рассказывай, — велел ведьмак, прерывая мечтания.

И мозаика запахов треснула, осыпаясь осколками.

— Да... нечего рассказывать. Прислали конфеты...

— Какие?

— Трюфели... из королевской кондитерской, — горло все еще саднило, и Себастьян потрогал его, убеждаясь, что горло это в принципе цело. — Фирменная упаковка...

— Карточка?

— Без карточки.

Было стыдно сознаваться, что он, Себастьян, старший актер, попался в этукую, можно сказать,

пустяшную ловушку. И ежели б не Аврелий Яковлевич, явившийся на позднее свидание, то и не дотянул бы до рассвета.

— Идиот, — ласково произнес ведьмак, руки разминая. — Себастьянушка, тебя в детстве не учили, что нельзя всякую пакость в рот тянуть? Что чревато сие...

Чревато, как есть чревато...

Силы потихоньку возвращались, и Себастьян сел. Кружилась голова. Притихшие было огоньки вновь очнулись, завели хороводы, правда, теперь они еще и дребезжали, а от звука этого мутило.

— Учили, — Себастьян слюну сглатывал, а она все одно лилась.

И выглядел он, надо полагать, донельзя жалко.

Хорошо, что не видит никто... Аврелий Яковлевич — свой.

Да и сам не лучше. Кровь из носа идти перестала, но ведьмак не спешил подниматься, прищурившись, глядел на звезды, и выражение лица его было нехарактерно мечтательным.

— Есть хотелось очень, — признался Себастьян, поднимаясь. Сплювывал в фонтан, водою же кое-как умылся. Полегчало. — Вы-то понимаете, во что мне этот маскарад обходится... я ж не могу на листьях салата жить... голодный я.

Прозвучало жалобно, но Аврелий Яковлевич сочувствием проникаться не спешил, хмыкнул, дернул себя за бороду и поинтересовался:

— А где то, что я приносил?

— Так... когда ж то было-то! Съел и забыл... а эта, с-сколопендра в юбке... говорит, дескать, у вас аппетит неприличный... посмотрел бы я на нее, ежели бы ей чужую личину денно и ночью держать пришлось бы... у меня волосы выпадать стали!

Он дернул себя за темную прядку, которая, впрочем, не выпала. Да и незаметно было, чтобы грива Себастьянова хоть сколько бы поредела.

— Ноет и ноет... ноет и ноет... то я не так делаю, это не так... и главное, ни к кому-то больше не цепляется, только к нам с Тианой...

— Себастьянушка, осторожней.

— В смысле?

Он кое-как пристроился на краю фонтана. Мрамор был прохладен, над водою держалось еще зеленоватое марево ведьмаковских чар, и Себастьян тыкал в марево пальцем, отчего туман шел яминами, морщился, а с ним и вода.

— Раздвоение личности плохо поддается лечению.

— Ай, вам бы все шуточки шутить, Аврелий Яковлевич... а я уж не знаю, куда мне от этой... панны Клементины деваться.

Вздохнул и поскреб подмышку.

— В общем, голодные мы были очень... а тут эта коробочка, бантиком перевязанная. Розовым. Пышным... на столике стоит.

— Погоди, — Аврелий Яковлевич вставать не спешил, но от созерцания звездного неба все ж отвлекся. — То есть, тебе ее прямо в комнату отнесли?

— Да.

— И кто?

— А никто... — вынужден был признать Себастьян, и эта мелочь, еще тогда его царапнувшая, ныне вовсе мелочью не казалась.

Кто бы ни принес коробку, но запах должен был остаться.

Не тот, который человеческого тела, духов или пудры, иной, отпечатком не то души, не то сути — Себастьян так для себя и не решил, что именно ощущает. Но коробка была чиста... именно, что чиста, старательно избавлена от всех следов, призрачных ли, настоящих.

Должно было насторожить.

А он... дура, как есть дура... и не оправдывает то, что коробка эта нарядная, темного картона с позолоченными уголками, с короной на крышке, восхитила Тиану.

Она и бант-то снимала бережно... и мелькнула мысль, что надо бы поделиться, к примеру, с эльфиечкой... и с Лизанькой, пусть она держится холодно, отстраненно, но все не чужой человек... и с Иолантою, которую зеркала зачаровали.

Трюфеля, обернутые тонкой папиросной бумагой, манили.

Каждый папиросною бумажкой обернут, ленточкой перевязан. И запах шоколада лишает воли... и Себастьяну, в отличие от Тианы, сама мысль о том, что этим богатством делиться надобно, ненавистна.

— Сколько съел? — Аврелий Яковлевич вытер нос и поднялся. Умывался он тоже из фонтана, уже не боясь замочить рубашку, которую следовало признать испорченной окончательно — этакие пятна крови ни одна прачечная не выведет.

Фыркал.

И воду, зачерпывая вместе с колдовским маревом, пил. А она текла по рукам, в набрякшие рукава, на брюки...

— Три...

Хотелось больше, чтобы все и сразу. Но, слава Вотану, хватило благоразумия остановиться, не потому, что почувствовал Себастьян отраву, нет, просто испугался, что если съест все и сразу, то на утро ничего не останется... а энергия нужна была.

Мало ему овсянки, на воде сваренной.

И шпината, которым давится, но ест, подбирая крупички пальцами...

— Повезло, — Аврелий Яковлевич больше не злился. Сумку поднял, которая стояла под

фонтаном, раскрыл и вытащил флягу. — На вот. Ушица. С травками...

О том, что за травки, Себастьян спрашивать не стал: так оно спокойней.

— Пей-пей... вот оно как, значит... как понял?

— Да... поплохело...

...шкура засвербела, и головокружение опять же случилось, которым ни Себастьян, ни Тиана не страдали. А еще непонятная резь в животе.

— Я пальцы в рот сунул, вывернуло, что еще осталось... ну и вашего... средства принял...

...безоаров камень, который достался Тиане в простеньком серебряном ожерелье, Себастьян не растолок, как требовалось, но грыз, сглатывая горькую вязкую слюну.

— Чутка полегчало... я и пошел... если связной, то в больничку... а тут вы... и вот.

— И вот, — Аврелий Яковлевич присел рядом и по плечу похлопал. — Ты пей ушицу, пей... тебе полезно. Завтра еще принесу. Мяса тебе пока нельзя... сумку-то возьмешь, но поостережись, бурштыновые слезы — дрянь редкостная... дорогая... на Серых землях добывают из мертвых сосен.

Себастьян кивнул, так, поддержания беседы ради. Про мертвый янтарь ему доводилось слышать, и благо, что до сего дня лишь слышать. Но постепенно отпускало. А с ухой, терпкой и несколько солоноватой, но явно одобренной от души не только травами, жизнь налаживалась.

— Запретные обряды, на крови... да все одно находятся охотники... дураки... толкуешь им, толкуешь...

— Аврелий Яковлевич... — Себастьян одного такого дурака лично знал, но в свете последних событий вынужден был признать, что дурость эта — семейного свойства. — У меня к вам просьба будет... личная...

— Бабу приворожить?

— Да нет... другое... Лихо глянуть, братца моего... проклятие подцепил, да так, что говорят, будто бы снять никак. И что от него вреда нету, да...

— Не веришь.

— Не верю. Он... неправильно выглядел. И пахло от него не так... а еще тут объявился... ну да сами знаете, читали, небось, послание мое...

Аврелий Яковлевич хмыкнул.

— Читали. От вместе с Евстафием Елисеевичем и читали. Очень оно у тебя душевным вышло, Себастьянушко. Прямо так на слезу и пробило...

Смеется. А вот Себастьяну вовсе не до смеха.

— Так, значит, редкого яду на меня не пожалели?

— Тут, Себастьянушка, за бурштыновы слезки алмазами платят... ты-то метаморф, тварь

свойства полумагического, вот тебя сразу и скрутило...

На тварь ненаследный князь не обиделся.

— А был бы человеком, то и не почувал бы... дня два не почувал бы, а там и слег бы с простудой... лечили бы, да... лечили, — Аврелий Яковлевич снова себя за бороду дернул. — Только без толку все лечение было бы... простуда перешла б в пневмонию... или в чахотку... ну а дальше, сам понимаешь... сгорел бы за недели две-три... и главное, что пакость эту так просто не обнаружить. В первые сутки — это еще да, остается мертвый след, а вот дальше... только если искать направлено.

— В первые сутки никто себя отравленным не чувствует... и вправду мерзость.

— Еще какая... одно радует, что обряд на янтарь сложный, не каждому по зубам, а кровят сосны мало, вот и получают сущие капли...

Аврелий Яковлевич потрогал переносицу и иным, деловитым тоном, велел:

— Коробку и конфеты завтра передашь. Утром скажешь, что родне... через знакомого... следа, конечно, не возьмем, но для порядку пусть будет оно. Теперь, что до остального, то... дело такое, Себастьянушка. Придется тебе потерпеть.

— Я уже терплю. Куда боле?

— На хельмовку ты не вышел... и боюсь, что так просто не выйдешь. Пока держись, приглядывайся, а я... старая она, мил мой друг. Настолько старая, что... меня постарше будет.

Он-таки вырвал из бороды курчавый седой волос, который в раздражении кинул в фонтан.

— Мы, мил друг Себастьянушка, про Миндовга уже беседовали... но ничего, еще побеседуем... Вот что интересно... до павильона этого Цветочного он еще в разуме был... а потом сдал и быстро так... стремительно... о том уже позабыли... и память-то трогать не след, Себастьянушка, короли того крепко не любят. Но порой надобно...

Себастьян кивнул и, зачерпнув воды, позволил ей просочиться сквозь пальцы, в ладони осталась муть колдовского тумана.

— А вот еще информация интересная. Аккурат в это время фавориткою Миндовга становится некая Эржбета Баторова... княжна... — Аврелий Яковлевич продолжил терзать бороду. — Только вот упоминаний о роде князей Баторовых я не нашел... и портретов ее не осталось, хотя ж и известной женщиной была. Описаний и тех мало... упоминают, что была женщиной красоты необыкновенной, белокожа, темноволоса...

— Эржбета...

— Не туда мыслишь, Себастьянушка. Имя-то нередкое... может статься, что нынешняя Эржбета к той отношения не имеет... а может, и наоборот. Смотри. Думай. Не мне тебя учить. Я только рассказать могу... да и то немного.

Себастьян взмахом руки отогнал особо наглого комара, уже пристроившегося на плече. Пусть бы и кожу ненаследного князя он бы не пробил, но все одно было неприятно.

— Откуда та взялась — не понятно. Если и был кто-то, кто знал правду об этой... княжне, —

Аврелий Яковлевич сплюнул, наглядно демонстрируя, что именно думает об Эржбете Баторовой, — то унес эту правду в могилу... ты не подумай, я допросил людишек...

Пальцы хрустнули, и звук этот заставил Себастьяна дрогнуть. Допрашивать Аврелий Яковлевич умел, и что и с того, что беседовать приходилось большей частью с трупами?

...значит, минулой ночью на кладбище местное наведалься.

— ...но те, кто поднялся, ничего толкового сказать не могли... а вот те, которые могли бы, тех упокоили славно... с полным, так сказать, благословением... Те же, кто говорить могут... нет, не боятся, там, за гранью, страхи отступают, но говорят неохотно... и помнят мало, точно еще при жизни память им вычистили. Однако на одном сошлись, что с этой женщиной неладно было. Поначалу Миндовга очаровала... а там и зачаровала. Это непросто, Себастьянушка... в нем та же древняя кровь, что и в Радомилах, течет... помнит она Вевельских цмоков и не только их. Чай, не зря короли меж собой роднятся, берегут богами даденое... нет, простой колдовке королю глаза застить не удалось бы... а эта сумела. Не сразу, думаю, но капля камень точит... источила и сердце, и разум, и душу...

Он тяжело вздохнул и пригладил растрепанную бороду.

— Как бы там ни было, но в Цветочном павильоне она обжилась крепко... тянула из девиц силы... а как Миндовга... скинули, то и она исчезла. Куда? Не известно. Тогда ее сочли мертвою, жертвой... хотя не жертва она, думаю, что не одного короля заморочила...

— Для чего?

— Как знать... кто ж их, колдовок, поймет... Миндовг-то Хельмовы храмы прикрыл. Может, она возвернуть все хотела, да не выпало. А может и чего иного... возилась же с павильоном не один год. Чего ради? Уж с Хельмовыми жрецами быстро бы вопрос решила... да и решила, многие высшие спаслись, но чтоб веру возродить, то нет. А после сынок Миндовга сторицей за отцовские обиды разыгрался... ни одного храма не осталось...

— Кроме Подкозельского.

— Верно, Себастьянушка, кроме Подкозельского. Но о нем короли предпочли... забыть.

— Интересно получается.

— А то...

— Нет, Аврелий Яковлевич... смотрите, эта ваша...

— Не моя.

— Ладно, не ваша, а наша колдовка, — Себастьян ныне пребывал в том настроении, когда соглашался легко. — Добирается до короля... высшая власть... возможности огромные. И она вроде как пользуется, позволяет Хельмовым жрецам от королевского гнева скрыться, но и только... храмы по-прежнему закрыты, а потом и вовсе их с землей равняют. И глядишь, не будь ее и Миндовгова безумия, жрецы сумели бы с короной договориться.

Аврелий Яковлевич кивнул. Он поднял с земли камушек и теперь вертел его в пальцах.

— Потеснили бы их из Познаньска, обложили данью, но все б в живых оставили. Я, конечно, не

великий историк, но помню, что по той смуте Хельмовы служки за королевское безумие кровью платили за... зачем ей это надо было?

— Думаешь, нарочно?

— Думаю... не знаю... а может не в том дело? Она красивой была... рядом с Миндовгом... и яркая женщина... знаете, как каталы работают? Которые шарик под наперстком прячут? Вроде бы и следишь, и глаз с того наперстка неводишь, а не знаешь, что шарик давно уже в рукаве... нет, Аврелий Яковлевич, неспроста она тут концерту устроила... отвлекала от чего-то... чего-то очень важного... такого, что жрецы, которые опосля на плаху пошли, это мелочь... не говоря уже о девицах.

Себастьян потер саднящее горло.

— И выходит, что вернулась она...

— Вернулась, — признал ведьмак.

— Одной это цепи звенья... одной... что возвращение ее, что Цветочный павильон с гнилью... не чертежи монитора ей нужны, а...

— Королевич, — завершил Себастьянову мысль ведьмак.

— Хольм окреп и давно уже поглядывает по-за границу Серых земель...

Себастьян кивнул.

Понимал.

Он никогда-то особо не любил политику, почитая ее делом чересчур уж сложным, запутанным и куда как более бесчестным, чем воровская Веселая слобода. Однако же эта не любовь не мешала ему быть в курсе основных событий.

Хольм окреп.

Он возрождался медленно исподволь, если не бывшее могущество восстанавливая, то выстраивая новое. Давила внутреннюю смуту, избавлялась от инакомыслия, обрастая пирамидами Хельмовых храмов. До Себастьяна доходили слухи и о Черной верфи, со стапелей которой сползали бронированные корабли, пусть и уступающие королевским в силе и вооружении, но закованные в панцири хельмовских проклятий... об оружейных заводах... о фабриках и городах, о самой идее хольмского превосходства над теми, кто отринул тьму истинной веры.

Тревожные слухи, пусть и далекие.

Между Хольмом и королевством, памятью о старой войне, лежат Серые земли... и казалось — надежная защита, а если не они, то ожерелье королевских крепостей, уланские полки, острые штыки пехоты... и собственные заводы, которые, верно, хольмских не хуже.

А тут...

...король не стар, но и не сказать, чтобы молод, и случись что — сама мысль о подобном была сродни измене, но Себастьян подозрения отринул — и на трон взойдет Матеуш.

Плохой король?

Хороший?

Король и это главное... а вот кто будет править, он или же та, что встанет за тронном...

...ох и дерьмовое дельце выходит.

...и если так, то Себастьян не просто мешает...

— Правильно понял, — кивнул Аврелий Яковлевич, смачно сплевывая. — Очень вовремя Анелия своего негодянта встретила... прямо аж злость берет, до чего вовремя...

— Полагаете, помогли?

— Проверяют, но факт, что колдовке надобно к королевичу поближе подобраться. Она, хоть и сильная, но не всесильная. Королевскую кровь с ходу не переломить.

— Влезла к конкурсанткам... видать, рассчитывала крепко на королевское внимание...

— А тут я...

— А тут ты... и Матеуш ясно дал понять, кого выбрал... от же ж... удачно получилось.

— Удачно?! — у Себастьяна на сей счет собственное мнение имелось, хотя и крепко подозревал он, что мнение это никому-то не интересно. — Да он меня... он мне...

Аврелий Яковлевич только усмехнулся в бороду.

— И тебя, и тебе... и потерпеть придется.

Это Себастьян и сам понимал: нельзя колдовку к королевичу подпускать. Потому как Хольм... потому как смута...

— Аврелий Яковлевич, — сказал он жалобно. — Я-то... потерплю. Только ж терпение, оно край имеет. Не подумайте плохого, но... пока он ручки еще целует, то ладно... а если под юбку полезет, то не сдержуся... нос сломаю, и... и нехорошо получится. Может, скажете ему...

Ведьмак только головой покачал:

— Нельзя. Матеуш еще молодой. Не глупый, конечно, но рядом с ним много шушеры всякой вьется. Сболтнуть-то он не сболтнет, но вдруг да выдаст себя ненароком. Или тебя...

— Тогда как?

Интересы королевства — интересами королевства, но у Себастьяна и собственные имеются, каковые, как водится, куда ближе к телу... и тело это, пусть и костлявое по мнению Аврелия Яковлевича, для королевских перин природой предназначено не было.

Ведьмак же хитро улыбнулся и, сунув руку за пазуху, вытащил тоненькую цепочку с бирюзовой подвеской.

— Вот тебе, мил друг, колечко заветное...

— Чего?

— Того... темный ты человек, Себастьянушка, сказок не помнишь про колечко обручальное, заветное... такое, которое не позволит всяким... гм, охальникам, девку завалить.

В сказки Себастьян не то, чтобы не верил, но здраво полагал, что против охальников, особенно, ежели эти охальники в подпитии пребывают, вернее кистенек, нежели колечко...

...с другой стороны, помнится, имелось в семейной сокровищнице одно колечко весьма полезных свойств...

— Так не колечко же! — сказал Себастьян, ткнув пальцем в бирюзовую, серебром оплетенную капельку.

— Не придирайся к словам. Главное, не что, а кто ворожил...

Бирюзовая подвеска прильнула к коже, опалила быстрым теплом.

— Скажешь, что прабабкино наследство, дядечка отдал на шестнадцатилетие... мол, очень боялся за кровиночку свою... теперь-то таких не делают.

— Спасибо.

— Не за что, Себастьянушка, — Аврелий Яковлевич хлопнул по плечу. — Ну иди уже. И отдохни хорошенько... и... побереги себя, нелюдь хвостатая...

— Я людь.

— Людь, людь...

— Лихослава глянете?

— Гляну, куда ж я денуся... аккурат по нашему ведомству теперь проходит.

— Что? — это было новостью.

Встречу на королевском пикнике Себастьян счел случайностью, а оказывается... Лихо неймется. Вот же невозможный человек! С ножом, почитай, в сердце ходит, а все туда же, на подвиги...

— Не знал? — подняв плащ, Аврелий Яковлевич кое-как отряхнул его от росы. — От генерал-губернатора пришло указание зачислить.

— Кем?

— Актером... на испытательном сроке.

Спросили бы Себастьяна, он бы ответил, что из братца его младшего актер, как из самого ненаследного князя — монахиня. Вроде и в рясу обрядить можно, и платок белый на голову накинуть, и молебник в руки всучить, а все одно несурязица выйдет...

— Успокойся, — Аврелий Яковлевич накинул плащ. — Он за купчихою приглядывает, чтоб не лезла, куда не просят. Уж больно у девицы норы беспокойный. Вот и решили Его Превосходительство, что с опекою оно понадежней будет.

Себастьян хмыкнул, припоминая купчиху... сероглаза, круглолица... не сказать, чтобы красавица, но приятная...

Опека, значит?

Интересно, что с той опеки выйдет...

...в комнату он вернулся засветло, прижимая к груди сумку со снедью, которой по расчетам должно было хватить дня на два, на три... а там будет видно. Уже засыпая, Себастьян вцепился в бирюзовую подвеску.

...снилась ему свадьба, и Тиана в пышном платье на кринолинах.

Серьезный смурной Лихо в уланском мундире с серыми нашивками... и Его Высочество, сидевший в первом ряду. Он улыбался и подмигивал, намекая, что нынешняя ночь будет для Себастьяна особенной. А после вытащил из-за спины коробочку конфет, атласною лентой перевязанную и спросил томным женским голосом:

— Хочешь?

Себастьян сел в постели.

Тихо.

Окно заперто. И решетку на место поставил... и дверь не открывали... а коробочки-то и нет... куда подевалась? Он помнил, что была на столе, на самом краешке стояла... когда уходил, точно была.

А когда вернулся?

Проклятье!

Он встал на четвереньки и приник к коврику. Обострившееся вновь чутье разбирало запахи... шерсть... и едковатый дух порошка... пиво, которым деревянную мебель протирают... цветочные духи... знакомые такие духи...

...дура завистливая!

...пятнадцатью минутами позже Тиана срывающимся голосом, заламывая тонкие смуглявые ручки, рассказывала панне Клементине об ужаснейшем происшествии, имевшем место нынешней ночью. И если сперва панна Клементина слушать не желала, то...

...время шло...

...время уходило стремительно, и Себастьян не был уверен, что успевает. Его распирало желание схватить эту равнодушную женщину в сером платье и тряхнуть хорошенько, избавляя от наносной манерности.

— Если все и вправду так, как вы говорите, — произнесла панна Клементина тоном, который ясно давал понять, что наглой девице она не верит, — то я приму меры, но если ошибаетесь...

Не ошибся.

...коробка конфет обнаружилась в комнате Ядзиты.

— Что происходит? — поинтересовалась та, сонно потягиваясь.

— Это я должна спросить у вас, что происходит, — Клементина приподняла крышку двумя пальцами, и Себастьян с немалым облегчением выдохнул: коробка была почти полна. Не хватало лишь тех трех конфеток, которые он сам и съел. — Как вы это объясните, панночка?

— Что именно? — и спросонья, растрепанная, Ядзита была чудо до чего хороша... — Ах, это...

— Вы их украли! — голос Тианы дрожал от праведного гнева.

— Я? И не думала, — Ядзита свесила с кровати ноги.

Спала она нагишом, и соскользнувшее одеяло позволило оценить все прелести панночки... кожу нежную, полупрозрачную, будто бы светившуюся... и линии плавные... и грудь пышную, но высокую... бедра...

Себастьян, сглотнув, заставил себя отвернуться.

И продолжил разглядывать прекрасную панночку в зеркале, которое бесстыдно обрисовывало, что достоинства, что недостатки, благо, среди них пятен странной формы не имелось.

— То есть, вы вчера заглянули в комнату к панночке Тиане и без спросу взяли ее... конфеты?

— Ага, — Ядзита широко зевнула и потянулась. — Заглянула... хотела спросить, нет ли у нее зеркальца... мое куда-то запропастилось. Но Тианы в комнате не было... я и вышла.

— А конфеты?

Тиана закрыла коробку крышкой и к груди прижала.

...надо было ночью с собой захватить. Не сообразил. Вообще ночью соображалось плохо.

— Конфеты стояли на столе, — Ядзита поднялась и накинула-таки на плечи халат. — Я их не трогала. Подождала Тиану минут пять... и ушла... все...

...почти все, не считая такой мелочи, как запертая дверь. Впрочем, поскольку в Цветочном павильоне двери не запирались принципиально, то указывать на сию деталь Себастьян не стал.

А в синих незамутненных угрызениями совести очах Ядзиты мелькнула насмешка.

Знает.

И что заперта была, и... нарочно взяла конфеты? Но почему не тронула? Или же не врет, и вправду заходила... за зеркальцем? Помилуйте, вокруг зеркал больше, чем людей...

— То есть, вы не знаете, кто принес вам конфеты? — панна Клементина, задавая вопрос, смотрела на Тиану.

— Понятия не имею...

— Что ж, я рада, что пропажа нашлась... верно, это чья-то дурная шутка...

...очень дурная, учитывая, что конфеты отравленные. И выходит, избавиться пытались не только от Себастьяна? Или же все иначе...

Иных запахов в комнате нет.

...но и на коробке. И тот, кто принес ее в первый раз, вполне сумел бы и во второй избавиться от ненужного следа.

Или все-таки нет нужды придумывать сложности? Ядзита коробку забрала, подозрения от себя отводя... жертва...

...а ведь прежние ее женихи уходили в мир иной от скоротечной болезни, уж не бурштыновыми ли слезами вызванной?

Отражение в зеркале улыбалось Тиане безмятежною улыбкой.

— Тиана, — панна Клементина отставила мизинчик и им в коробку конфет ткнула. — Думаю, не стоит напоминать вам, что сии... сладости нарушают диету. И будучи панночкой благоразумной, вы...

— Я дядечке отправить хотела, — всхлипнула Тиана, поглаживая коробку. — Дядечка, небось, таких конфет в жизни не едавши... дорогие они. Я в лавке-то видела! Страсть до чего дорогие! А невкусные нисколько... я ж только попробовала, панна Клементина. Вот одну штучку...

...три, на свою голову.

...но как знать, вдруг да неизвестный отравитель сочтет, что доза маловата?

— Остальное дядечке отдам... и на Ядзиту не злюсь, вот нисколечко...

Не поверили.

Панна Клементина губы поджала. Ядзита фыркнула, перевязывая халатик широким пояском... а на подоле-то темные пятнышки виднеются, каковые от земли мокрой... куда ходила?

Когда?

Ясно, что недавно... раз в три дня халаты уносят в прачечную... значит, или вчера или нынешней ночью... главное, что выбраться сумела... и вернуться тихо.

— Жду вас в столовой, — Клементина развернулась.

— От с-стерва, — сказала Ядзита, позевывая, когда за панной Клементиной закрылась дверь. И переведя безмятежный взор на Тиану, добавила. — Не брала я твоих конфет. Больно надо... меня на шоколад сыплет...

...не врет.

— Но хорошо, что ты зашла... садись, — она указала на стол.

Покои Ядзиты мало чем отличались от собственных Тианы, разве что украшены были не незабудками, но болотными лилиями. На зеркальной раме длинные их стебли переплетались, и издали походили на клубки змей, из которых гадючьими четырехугольными головами подымались лилейные бутоны.

— Кто ты? — спросила Ядзита, устраиваясь напротив.

— Тиана Белопольска...

— Вранье... точнее, не совсем вранье, но и не вся правда. Извини, я не стала бы лезть, но мне категорически не нравится то, что здесь происходит, — Ядзита запустила в волосы пятерню и потянула. — Видишь?

Меж белых пухлых пальчиков остались золотые волоски.

— У меня в жизни волосы не выпадали. И ногти стали слоиться...

— Диета...

— Не говори ерунды. Кормят здесь, конечно, отвратительно, но... мне случилось вовсе на хлебе и воде жить. Что, думаешь, если княжна, то на золотых тарелках ем, на лебяжьих перинах сплю? Кто бы знал, до чего мне все это...

Ядзита тряхнула светлою гривой.

— Давай так, я рассказываю о себе. Спрашивай, что сочтешь нужным, отвечу честно.

— Взамен?

— Взамен ты помогаешь отсюда выбраться...

— А просто уйти?

— Просто уйти? — пухлые губы скривились. — Отпустят, но... на нас всех уже метка стоит. Здесь.

Она коснулась горла, белого, с нежными голубыми венами.

— А я не хочу ходить с петлей на шее... тебя, когда платье примеряли, кололи?

...твою ж...

Себастьян с трудом удержал личину.

— Кололи... успокойся, всегда колют... на моей памяти ни разу не было, чтоб без этого... только когда портниха обыкновенная, то оно ничего страшного, неприятно, но красоты ради потерпеть можно. А вот если так, как здесь...

...хватит и капли крови, чтобы метку поставить, и как знать, чем эта метка в будущем обернется.

— Я угадала, — от улыбки на щеках Ядзиты появлялись ямочки. — Ты не такая дура, какой кажешься... я бы сказала, что ты вовсе не дура... и конкурс этот... кстати, на твоём месте шоколад трогать я бы не стала. Отравлен он.

— Откуда...

— Вижу. Семейный дар... должна же от него какая-то польза быть, — вздохнула Ядзита и, взяв со стола гребень, протянула Тиане. — Расчешешь? А я пока расскажу...

...гребень был украшен узором из костей, черепов и мертвых лилий.

Часть вторая

Глава 1

В которой повествуется о нелегкой судьбе панночки Ядзиты, а тако же о буйных страстях и женских фантазиях

Впервые Ядзита увидела мертвяка на свое десятилетие.

Следует сказать, что в доме дни рождения праздновать было не принято, но старая нянька, заботам которой поручили панночку Ядзиту, поскольку собственная ее матушка болела, а батюшка был слишком занят научными изысканиями, накануне заветного дня приносила в комнату охапки полевых цветов.

И прятала под подушкой подарки.

Резной гребешок, пусть и стоивший два медня, но все одно нарядный... или бусы из ракушек, которые Ядзита сама собирала на речушке... или еще какую-то мелочь.

На кухне готовили шоколадный кекс, маленький, для одной Ядзиты.

И нянька вносила его на серебряном старом подносе, пожалуй, единственной серебряной вещи, которая осталась в старом поместье.

...продали его много позже.

В тот день она проснулась до рассвета и лежала в постели, слушая, как заливаются за окном соловьи... солнце наступало с востока, золотило небо...

...дышалось легко и свободно.

— И чего валяешься? — поинтересовался кто-то.

— Хочу и валяюсь, — ответила Ядзита, зевая. Но в кровати села, прищурилась, сiallyсь разглядеть того, кто тайком пробрался в ее комнату.

— Этак вся ночь пройдет, — он, точнее она, и не думала прятаться.

Сидела на стульчике, спину выпрямив, ручки на коленках сложив, и что за беда, если эти коленки костлявые сквозь саван просвечивают, а сам саван, полупрозрачный, истлевший, растянулся по полу.

У незнакомки было бледное лицо с черными провалами глаз, и губы синюшные...

Ядзита закричала.

И лишилась чувств, а когда пришла в себя, то светило солнце, а у кровати ее, уткнувшись в старую записную книжку, сидел отец.

— Очнулась? — он произнес это недовольно, так, что Ядзите разом стало стыдно, что обмороком своим и болезнью — а Ядзита чувствовала себя невероятно больной — она оторвала отца от работы.

Над чем он работал, она не знала.

Отец запирался в южной башне, появляясь лишь к ужину и то не всегда. Но и ужины эти проходили в тягостном молчании. Мама вздыхала. Он листал очередной фолиант или вот эту самую записную книжку, которую и теперь держал в руках... Ядзита вменялось есть быстро, молча и не мешая родителям.

— И жар спал, — сказал отец, опустив на лоб Ядзиты ладонь. Широкая и темно-красная та показалась невероятно тяжелой. Ядзита даже испугалась, что если отец немного надавит, то голова ее треснет. Но он руку убрал и брюзгливо поинтересовался: — Чего ты испугалась?

— П-призрака... я п-призрак увидела...

— И что? — этот голосок она узнала. Девочка в платье-саване сидела на прежнем месте, но теперь в руках она держала любимую, а точнее единственную куклу Ядзиты. — А я увидела человека. Но не ору же...

— Она... она...

Отец повернулся к девочке и, поморщившись, бросил:

— Клио, иди погуляй...

...так Ядзита узнала, что видеть мертвяков — это дар такой.

Редкий.

Наследный...

Отец рассказывал скупое, раздраженное, мыслями пребывавая где-то далеко, наверняка, в Южной башне...

— Нечего бояться. Они тебя не тронут, — сказал он напоследок и, захлопнув книжицу, добавил. — И вообще детям нужны друзья.

Он наклонился, запечатлев на лбу Ядзиты холодный поцелуй. И ушел. А она сидела в кровати и думала, что, конечно, друзей хотелось бы... но не мертвых же!

— Тук-тук, — Клио стояла на пороге. — Можно войти?

— Входи.

Не то, чтобы теперь Ядзита вовсе ее не боялась, скорее... скорее уж чувствовала, что вреда ей и вправду не причинят.

— А кричать больше не будешь?

— Не буду.

Вскоре Ядзита поняла, что мертвые друзья мало в чем уступают живым...

— Семейное проклятие, — она сидела, позволяя Себастьяну расчесывать тяжелые гладкие волосы. — Моя прапрапрабабка была колдовкой... служила Хельму...

Она рассказывала просто, спокойно, будто бы не было ничего-то особенного в том ее детстве, в

играх с умертвиями, в подвалах, где стояли Хельмовы камни, потемневшие от крови, намоленные...

...о жуках, которых сама Ядзита приносила, нарушая запрет.

...о драгоценном кинжале, что лежал на жертвеннике, и даже отец, распродавший ради таинственного своего изобретения все, не посмел тронуть рубины в рукояти.

...о лезвии, касавшемся кожи нежно...

...о дареной крови...

— Меня никто не вынуждал. Не просил. Не заставлял, — Ядзита склонила голову к плечу, она разглядывала свое отражение в зеркале с той же безмятежной улыбкой, к которой Себастьян успел привыкнуть. — Я просто знала, что должна поступить именно так. Камни давно остыли. Отец подвалов избегал... теперь я думаю, что он боялся. Мать... была другого рода. А бабка умерла задолго до моего рождения.

— Ужас какой, — вполне искренне сказала панночка Тиана, перехватывая тяжелые золотые волосы лентой.

— Да нет... просто привыкнуть надо.

Себастьян не сомневался, что с мертвыми друзьями без привычки управляться сложно.

— Некогда наш род на все королевство славился. Берри рассказывал... это...

— Призрак.

— Беспокойник, — поправила Ядзита и тут же пояснила. — Призраки бесплотны и зачастую разума лишены... это след от человека на ткани мироздания. Со временем след затирается, тает. А беспокойники разумны. И способны воплотиться... Клео вот вечно мои ленты тягала... и еще нитки путала. Ей это веселым казалось. Беспокойники остаются, когда душа не хочет уходить. Матушка Клео сильно над ней убивалась и этими слезами к земле привязала. Берри жена отравила, которую он любил без памяти... всякое случается. Прежде-то мы аккуратно находили таких вот беспокойников и помогали им отыскать дорогу...

— Упокаивали.

— Верно. Упокаивали... Берри вот уходить не захотел. Он меня многому научил. Еще Марта... и Люсиль... она очень нервная девушка была... крысиным ядом отравилась от несчастной любви. Потом жалела очень, тем более, когда через двадцать лет эту самую любовь увидела...

Себастьян кивнул, думая, что собственное детство, пусть проведенное вдали от семьи, было вполне себе счастливым.

— Что было дальше?

— Ничего, — Ядзита пожала плечами. — Я росла. Время от времени подкармливала хельмовы камни... отец по-прежнему сидел в башне, изобретал... мама умерла... нянечка тоже, но они совсем умерли, то есть...

— Я поняла.

— Хорошо. Поместье постепенно хирело... денег не было. Их никогда-то не было, но отцу вдруг понадобились для его изобретения алмазы и он меня продал. Ах, простите, выдал замуж... заплатили неплохо. Мне даже гардероб справили...

— Но жених до свадьбы не дожил.

— Увы... сердце слабое оказалось, — Ядзита вздохнула...

...само не выдержало? Или же беспокойники дружескую услугу оказали?

Себастьян не стал задавать лишних вопросов.

— Потом продал снова... и на конкурс вот отправил... — она провела ладонью по зеркальной глади, которая пошла мелкими складками. — Ему... сделали хорошее предложение.

— Кто?

— Не знаю. Он принимал гостя в своей башне, а туда беспокойникам хода нет. Меня в тот вечер из дому отослал... глупый какой-то предлог, я еще подумала, что он опять эксперимент ставит... как-то на его эксперимент гроза разыгралась, и вторую башню почти начисто молнией снесло. Я не стала спорить, ушла. А потом Клио рассказала про карету... и про то, что к карете они и близко подойти не сумели. Отец же заявил, что я должна участвовать в конкурсе, что выиграю...

Она замолчала.

Руку Ядзита от зеркала отнимала медленно, и тонкие нити стекла тянулись за ладонью.

— С ним сложно спорить. Он не сильнее меня, и силу-то использовать не любит, но... я еще подумала, что конкурс — это мой шанс. Найти мужа... или хотя бы покровителя... кого-то, кто... беспокойники — близкие мне люди, но все-таки мертвые они.

Нити разорвались и втянулись в зеркальное полотно, рука же Ядзиты осталась чистой.

— Но когда я сюда попала, то... это место — большой погост... и беспокойников здесь множество, я слышу, как они зовут... и хотела поговорить еще в первую ночь.

— Не отзывались?

— Отзывались, но не пришли. Держат их... она держит.

— Кто?

— Откуда ж мне знать. Она сильная... очень сильная... и из меня силы тянет. Отец опять меня продал, — сказано это было с легкой печалью, словно бы Ядзита вовсе не удивлялась этакому его поступку. — Ей нужен мой дар... а я хочу жить.

— Сколько еще выдержишься?

— Недели две... наверное... но все случится раньше.

— Откуда...

— Я ведь слышу, что они шепчут... а когда идет, то замолкают. Ищи на четной стороне.

Хорошая подсказка.

Четная сторона... Габрисия, Мазена и Эржбета... еще Иоланта...

— Откуда она узнала про твой дар?

Ядзита вздохнула и, вытянув руку с белыми синеватыми ногтями, призналась:

— Думаю, она не знала точно... предполагала. Раньше-то род известный был... — она смотрела на Себастьяна, и он готов был поклясться, что Ядзита видит насквозь маску, и под незамутненным взглядом синих очей та тает...

— Дымка, — сказала Ядзита, опустив очи долу. — Если приглядеться хорошенько...

— Ты пригляделась?

— Теперь — да.

— А прежде?

— Прежде? — она лукаво улыбнулась. — Я же говорю, здесь полно беспокойников... им о многом говорить запрещено, но... ты — не многое.

Твою ж...

— К слову, если тебе, конечно, интересно, то... Богуслава одержимая... а Иоланту, похоже, прокляли.

...вот тебе и красавицы... чтоб их...

— Идем, — Ядзита открыла дверь. — Не стоит заставлять старую стерву ожиданием мучиться...

— Почему стерва?

— Потому... или думаешь, она не понимает, что здесь происходит? Понимает... и Иолу не так просто первой на часы поставила...

Тиана придержала красавицу за локоток и мягко поинтересовалась:

— Ночью где гуляла?

— В саду, — Ядзита не стала притворяться, будто не понимает, о чем речь. — Меня... попросили...

— Кто?

— Беспокойник... нет, он не из этих... он к дому отношения не имеет, но... иногда хочется поговорить с кем-то... и чтобы цветы подарили... и под луной пройтись... просто пройтись... понимаешь?

Себастьян кивнул, хотя от понимания, говоря по правде, был весьма далек. Мертвые ухажеры? Быть может, после мертвых друзей это и нормально, но...

— Габрусь — просто прелесть... хотите, я вас познакомлю?

— Воздержусь, — ответил Себастьян, а Тиана согласилась.

В ее Подкозельске покойники вели себя прилично, лежали в могилках, а не охмуряли провинциальных некроманточек...

...надо будет Аврелию Яковлевичу сказать.

...и про беспокойника тоже... а то выходит, что не королевская резиденция, а смутный погост какой-то...

...проснулась Евдокия ближе к полудню.

И вспомнила.

И простынь натянула по самые брови, потому как предаваться самокопанию вкупе с моральными терзаниями под простыней было удобней.

Вот же...

...случившееся ночью теперь казалось чем-то далеким и совершенно невозможным.

Неправильным!

Минут пять Евдокия разглядывала ту самую, натянутую поверх головы простынь, уговаривая себя, что ничего-то ужасного не приключилось...

...подумаешь...

...ей двадцать семь, а скоро и двадцать восемь будет...

...а она тут страданиям предается... и главное, что страдает-то неохотно. Солнышко сквозь простынь светит, птички за окошком надрываются... день новый, радостный... а она развалилась, пузыри пускает, ладно бы и вправду девицей была, а так...

Чего страдать?

Нечего.

И Евдокия решительно встала.

...о кольцо она не сразу вспомнила, а вспомнив, удивилась тому, что кольцо это в пору пришлось. Сидело на пальце, что влитое, знай себе, камнем подмигивало.

Евдокия камень потрогала: теплый. Заговоренный что ли?

...а все маменька с ее женихами...

...вот к чему приводит неумное родительское стремление дочернюю жизнь устроить!

Прохладная водица не уняла душевного волнения, породив новое беспокойство. Нвернется Лихослав аль нет? Если колечко оставил, то вернется... небось, такими вещами не разбрасываются... и что скажет? Как ему-то в глаза смотреть?

Ладно, если бы Евдокия себя соблазнить позволила, хотя и за это стыдно... приличные девицы

так себя не ведут... нет, Евдокия давно уже смирилась, что неприличная... и вообще, ей бы мужчиною родиться... маменька вот тоже так говорила...

...небось, точно взялась бы за розги, а то и за ремень кожаный, крученный, им дурь из девичьей головы выбивая...

...и что он теперь думать станет?

Известно, что...

...распутная девка... гулящая... таким вот и ворота дегтем мажут, и окна бьют, и косы стригут, чтоб честных людей в заблуждение не вводили.

Евдокия замерла. Косы стало неимоверно жаль. Единственная красота и той лишиться...

— Дуся! — Аленка, как обычно, вошла без стука. — С тобою все ладно?

— Все, — Евдокия решительно за косу взялась — нет, не резать, но заплетать.

— Врешь.

— Вру, — призналась она, сражаясь с лентой. Вот диво, прежде-то коса сама собой плелась, руки знали работу, и сама она, привычная, скорая, успокаивала. Теперь путаются прядки, а лента выskalъзывает. — Я... я, кажется... замуж выйду.

Сказала и ленту выпустила.

А гребень и того раньше упал. Евдокия же, разом лишившись сил, в кресло опустилась.

И вправду выйдет...

— За кого? — всего ужаса новости Аленка не желала осознавать, но гребень подняла, и ленту тоже, и бросив в шкатулку, другую достала, ярко-красную...

...куда Евдокии такие носить?

Яркое — это для девиц юных, ей же полагается...

...да разве она нынешней ночью не нарушила все мыслимые и немыслимые правила, не говоря уже о законах божеских?

И людских?

— За Лихослава...

Евдокия вытянула руку, которая позорно и мелко дрожала.

— Вот.

Камень в перстне налился тяжелой густой зеленью.

— Красота! — оценила Аленка. — Поздравляю!

И ленту подобрала.

— Только если вдруг передумаешь, то сразу ему не говори.

— Почему?

— Он обидится и колбасу носить перестанет, — резонно заметила Аленка. — Тогда мы умрем с голоду...

Аргумент был весомым.

Впрочем, Евдокия не передумает... наверное.

— Но платье тебе я сама выберу... и остальное тоже. А то ты так и пойдешь, в суконном...

Евдокия кивнула.

Замуж.

Она и вправду выйдет замуж... за Лихослава, который...

...который что?

Что она вообще о нем знает?

...он ласковый и нежный. И губы у него сухие. А когда он Евдокиино имя произносит, то сердце стучит...

...чуткий еще...

...и десять лет провел на Серых землях, чтобы семье помочь...

...ему деньги нужны.

А Евдокия — так, приложением... и быть может, честнее было бы с Грелем связаться, контракт подписать, чтобы он, Грель, в женины дела не лез. Она же в свою очередь и в его не полезет... и жили бы, женатыми, да каждый своей жизнью...

— Глупости какие-то думаешь, — сказала Аленка и за волосы дернула.

— Если бы...

...деньги — это не глупость, это реальность, куда более осязаемая, нежели эфемерные чувства. Да и не говорил ничего Лихослав о чувствах.

Кольцо оставил, это да, но...

Евдокия повернула перстень камнем внутрь.

— Глупости, — Аленка не собиралась отступать. — Знаешь, мне порой хочется тебя поколотить... деньги, деньги, деньги... ты ничего, кроме этих денег не видишь.

— А что должна?

— Не знаю. Что-нибудь. Дуся, я не говорю, что деньги — это неважно. Важно.

...маменькин дом, купленный за двадцать тысяч лишь потому, что стоит он на главной

улице, аккуратно напротив мэрова особняка...

...и шелковые обои...

...и обои бумажные, разрисованные в сорок цветов, а поверху еще золоченые...

...и полы дубовые...

...стекла в окнах заговоренные, особо прочные...

...трубы и водопровод... котел с подогревом в подвале... дрова для котла...

Деньги — это та же люстра из богемского хрусталя, которой маменька немало гордилась, потому что подобной красоты ни у кого-то в Краковеле не было, и сам мэр захаживал, любовался...

...и мебель резная, с позолотой. Аленкины любимые стулья, обтянутые гобеленовой аглицкой тканью, да подложенные волосом...

...и наряды.

...драгоценности.

...столовое серебро и тот, ужасающего вида парадный сервиз на шестьдесят персон, который хранился в сундуках.

— Я понимаю, — Аленка смотрела в глаза отражению Евдокии. — Но и ты пойми, что одно дело, когда деньги для жизни. А другое — когда жизнь за ради денег.

Наверное.

...и все-таки точит, грызет сердце сомнение. Да, сейчас Лихо добр, а потом что будет, после свадьбы? И не выйдет ли так, что он просто возьмет Евдокиино приданое во благо собственной семьи, а ее сошлет подальше, чтобы не позориться...

— Эх, Дуся... — со вздохом Аленка отступилась. — Какая ты порой бываешь упертая... сил нет. Коль сомневаешься, то не иди замуж.

Евдокия слово дала. А она слово свое держит и... и вообще кольцо не снималось.

Это ли не знак?

И Евдокия, погладив темно-зеленый камень, повернулась к сестрице и велела:

— Рассказывай.

— О чем? — Аленка разом смешалась и взгляд отвела.

— О том, что здесь твориться...

— Еще не время...

— Аленка!

— Не время, — глаза полыхнули яркой зеленью, сделавшись вовсе нечеловеческими. —

Пожалуйста, Дуся... я пока не могу...

— Рассказать?

— И рассказать тоже... луна неполная... еще неполная... неделя всего осталась... пожалуйста. Неделя и... и тебе бы уехать. Меня оно не тронет, а ты...

— А у меня охрана имеется.

...во всяком случае по ночам.

Лихо вернулся на закате.

Обнял.

И прижав к себе, тихо выдохнул:

— Ева... а я тебе ничего не принес... простишь?

— Прощу.

И не будет думать больше ни о чем.

Как оно там сложится дальше? Как-нибудь, но... темнота укроет от ревнивого взгляда богов. И можно позволить себе быть бесстыдною, и даже развратною.

Шелковая лента выскальзывает из косы.

И кожаный шнурок, которым он стягивает свои, такие жесткие ломкие волосы. Тычется носом в руки, беспокойно, незащитно, вновь и вновь произносит это, уже не чужое, имя:

— Ева...

...Евдокия.

...но и так хорошо. И обнять его, беспокойного, унять непонятную тревогу.

Пусть останется за порогом, за границей темноты. Будет день, будут заботы... а пока Евдокия разгладит морщины вокруг его глаз. И коротких ресниц коснется, которые колются, будто иголки...

...и замрет, уткнувшись носом в шею, горячую, сухую, как земля на старом карьере...

— Что ты со мной делаешь? — его шепот тревожит ночь.

— А ты?

— И я...

Волосы перепутались, переплелись прядями, точно старые деревья ветвями... и хорошо лежать в кольце его рук.

Не думается ни о чем.

И Евдокия счастливо позволяет себе не думать...

Часы бьют полночь, но кто бы ни бродил по темным коридорам Цветочного павильона, в комнату Евдокии он заглядывать не смеет. А на рассвете, который Евдокия чувствует сквозь сон, прохладой от окна, птичьим взбудораженным щебетом, Лихослав уходит.

...как ему верить?

И не верить никак...

...два дня прошли без происшествий.

Почти.

Странное пристрастие Иоланты к зеркалам не в счет. Теперь она повсюду носила с собой крохотное, с ладошку величиной, зеркальце, от которого если и отрывала взгляд, то ненадолго.

Улыбалась странно.

Говорила тихо.

А в остальном, все как прежде.

Очередная ссора Богуславы и Габрисии, которая, растеряв былую невозмутимость, расплакалась. И в слезах убежала в свою комнату, прочие же красавицы сделали вид, что ничего-то не заметили. А может, и вправду не заметили?

Эржбета писала.

...Ядзита, как и прежде, занималась вышивкой...

...Богуслава, растревоженная ссорой, мерила комнату шагами...

...Лизанька читала очередное послание, которое то к груди прижимала, то к губам, и вздыхала этак, со значением...

...Мазена, устроившаяся в стороне, тоже читала, но книгу в солидном кожаном переплете.

— Я... я больше не собираюсь молчать! — Габрисия появилась в гостиной.

Гневливая.

И глаза покраснели от слез... способна ли матерая колдовка плакать?

— Пусть все знают правду?

— Какую, Габи? — Богуслава остановилась.

...одержимая?

...об одержимых Себастьян знает не так и мало. Случается человеку по воле своей впустить в тело духа, думают обычно, что справятся, верят, а после, когда оно бедой оборачивается, то удивляются тому, как же вышло этакое... и ведь началось все с того самого приворота.

Дура...

...и надо бы скрутить, сдать жрецам, авось еще не поздно, заперли бы, замолили, вычистили измаранную прикосновением тьмы душу.

Нельзя. Не время еще.

— Ты моего жениха увела!

— Помилуй, дорогая, не я увела. Он сам не чаял, как от тебя спастись... ты была такой... страшненькой... но с претензией, — Богуслава смерила соперницу насмешливым взглядом.

...а ведь не переменялась. Не то, чтобы Себастьян так уж хорошо знал ее-прежнюю, но сколько ни приглядывался, странного не замечал.

Не ошиблась ли Ядзита?

Вышивает, словно не слышит ничего... и прочие ослепли, оглохли... нет, не оглохли, но прислушиваются к ссоре, любопытствуют.

— Да и кому интересны дела минувших дней, — Богуслава расправила руку, глядя исключительно на собственные ногти. Розоватые, аккуратно подпиленные и смазанные маслом, они тускло поблескивали, и Себастьян не мог отделаться от ощущения, что при нужде эти ногти изменят и цвет, и форму, став острее, прочнее, опасней...

...аж шкура зачесалась, предчувствуя недоброе.

— Никому, — согласилась Габрисия, мазнув ладонью по пылающей щеке. — Куда интересней, как ты с единорогом договорилась, дорогая...

Мазена закрыла книгу.

А Эржбета оторвалась от записей... Лизанька и та письмо, едва ли не до дыр зачитанное, отложила.

Интересно получается.

— Панночка Габрисия, — Клементина, по своему обычаю державшаяся в тени, выступила. — Вы осознаете, сколь серьезное обвинение выдвигаете против княжны Ястрежемской? И если окажется, что вы клеветеете...

— Я буду очень удивлена, — в полголоса произнесла Ядзита. Игла в ловких пальцах ее замерла, но ненадолго.

— Я обвиняю Богуславу Ястрежемскую в обмане и подлоге. Она давно уже не невинна... — Габрисия разжала кулаки. — Четыре года тому я застала ее в постели с... князем Войтехом Кирбеничем...

— Ложь, — легко отмахнулась Богуслава.

— Как драматично! — Эржбета прикусила деревянную палочку, уже изрядно разжеванную. — Накануне свадьбы невеста застаёт суженого с лучшей подругой в... в компрометирующих обстоятельствах...

— Габи, не позорься, — Богуслава не выглядела ни смущенной, ни напуганной. — Тебе показалось, что ты застала в Войтеховой постели меня...

— Показалось?!

— Именно, дорогая, показалось... у тебя ведь зрение было слабым... настолько слабым, что без очков ты и шагу ступить не могла. А тогда, помнится, очки твои разбились...

— Весьма кстати...

— Бывают в жизни совпадения...

— Я узнала твой голос, — отступить Габрисия не желала. — Или ты и в глухоте меня обвинишь?

— Разве я тебя хоть в чем-то обвиняю? А голос... мало ли схожих голосов... я понимаю, — Богуслава поднялась. — Очень понимаю твою обиду... и клянусь всем светлым, что есть в моей душе, что невиновна...

...она обняла Габрисию, и когда та попыталась отстраниться, не позволила.

— Тебя глубоко ранило предательство жениха... верю, что ты застала его с кем-то...

Она поглаживала Габрисию по плечу.

— Но не со мной... Габи, ты радоваться должна...

— Чему?

Габрисия успокоилась, что тоже было несколько странно.

— Тому, что не успела выйти за него замуж. До свадьбы, после... он бы предал тебя... посмотри, какой ты стала...

Богуслава развернула давнюю приятельницу к зеркалу.

— Ты красавица... ты достойна много большего, чем то ничтожество... — она обошла Габрисию сзади и, наклонившись, прижавшись щека к щеке, смотрела уже на ее отражение. — Ты с легкостью найдешь себе нового жениха... и уж он-то сумеет оценить сокровище, которое ему досталось...

Габрисия смотрела на собственное отражение.

А то плыло, черты лица менялись...

...она и вправду была потрясающе некрасива, длинноноса и узкогуба, с близко посаженными глазами, с тяжелым скошенным подбородком, со сросшимися бровями, какими-то непомерно темными, точно кто-то прочертил по лицу ее линию.

Габрисия всхлипнула и зажмурилась.

— Это все в прошлом, дорогая... все в прошлом, — пропела на ухо Богуслава, отпуская жертву. — Мы так давно не виделись... и я готова признать, что ты несказанно похорошела! Не иначе, чудо случилось!

— А то, — громко сказала панночка Тиана. — Вот у нас, в Подкозельске, был случай один. Не, я сама-то не видела, но мне дядечкина жена рассказывала. А она хоть та еще змеюка, но врать не станет. У ее приятельницы дочка росла. Такая некрасивая, что прям страх брал! От нее

кони и то шарахались... и чем дальше, тем хуже... кони-то что, скотина бессловесная, шоры надел и езжай себе, куда душе угодно. Женихи — дело иное... женихи-то с шорами ходить несогласные были.

Лизанька громко фыркнула и письмо вытащила.

Мелькнула игла в пальцах Ядзиты... и Эржбета открыла книжицу...

— ...так когда ей шестнадцать исполнилось, то родители повезли ее в Познаньск, в храм Иржены-заступницы за благословением. Много отдали! Но помогло! Кони шарахаться перестали...

— Надо же... какой прогресс.

Богуслава отступила, а Габрисия, как стояла, так и осталась, устремив невидящий взгляд в зеркало...

— А с женихами что? — поинтересовалась Эржбета, прикусывая самопишущее перышко.

— У кого?

— У дочери знакомой вашей тетки.

— А... ничего... приданое хорошее положили, и нашелся охотник.

— Приданое... приданое — это так неромантично...

— Зато реалистично, — подала голос Мазена, которая сидела с книгой, но уже не читала, гладила обложку. — Без денег никакая красота не поможет...

— Не скажи, — Эржбета вертела в пальцах изрядно погрызенное писало. — Истинная любовь...

— Выдумка.

— Почему?

— Потому, — Мазена книгу все-таки закрыла и поднялась. — Надолго ли хватит этой, истинной любви, если жить придется в хижине, а носить рванину? Работать от рассвета до заката... питаться пустой пшенкою...

— Ненавижу пшенку, — решительно вступила в беседу Лизанька. — Мне ее бабушка всегда варила. И масла клала щедро... а я масло не люблю...

— Что ж, — Мазена снисходительно улыбнулась. — Если вы по истинной любви выйдете замуж за проходимца, который просадит ваше приданое в карты, то пшенку вы будете есть пустую. Без масла.

Лизанька обиженно поджала губы.

— Я говорю об истинной любви, которая настоящая, — сочла нужным уточнить Эржбета. — Взаимная.

Но Мазену не так-то легко было заставить отступить.

— Можно и так. Тогда пшенку будете есть оба. Взаимная любовь, сколь бы сильна она не была, не гарантирует ни счастья, ни... отсутствия у избранника недостатков. Поэтому, любовь любовью, а приданое — приданым. И желательно, чтобы в контракте оговаривалась девичья доля.

— В каком контракте?

— Брачном.

— Нет, — решительно отмахнулась от ценного замечания Эржбета. — Контракт... это совсем неромантически.

На сей раз спорить с нею не стали, и лишь Лизанька, подвинувшись поближе, поинтересовалась:

— А что это вы все время пишете?

Себастьян мысленно к вопросу присоединился, хотя, памятуя о находках в Эржбетиной комнате, ответ, кажется, знал.

Эржбета книжечку закрыла и, прижав к груди, призналась.

— Роман...

— О любви, — Мазена произнесла это тоном, который не оставлял сомнения, что к романам подобного толка она относится, мягко говоря, скептически.

— О любви, — Эржбета вздернула подбородок. — Об истинной любви, для которой даже смерть не преграда...

— И кто умрет?

— Одна... юная, но очень несчастная девушка, которая рано осталась сиротой... но и к лучшему, потому что родители ее не любили... считали отродьем Хельма... они сослали ее в старое поместье, с глаз долой... а потом вообще умерли.

А вот это уже любопытно.

Родители Эржбеты были живы, но сколь Себастьян помнил, особого участия в жизни дочери не принимали.

— И эта несчастная девушка, осиротев, попадет под опеку дальнего родственника... жадного и бесчестного.

— Ужас какой! — сказала Лизанька.

— И этот родственник отравит ее...

— Лучше бы замуж выдал, — внесла коррективы Ядзита. — На юных всегда желающие найдутся...

— Собственным опытом делитесь, милая? — Богуслава не упустила случая уколоть, но Ядзита лишь плечиком дернула.

— Да, — идею с неожиданным воодушевлением подхватила Иоланта, оторвавшись от серебряного зеркала. — Он захочет ее продать! Юную и прекрасную!

— Старику, — поддержала Ядзита. — Уродливому.

— Горбатому.

— И у него изо рта воняло... — Иоланта сморщила нос. — За мной как-то пытался один ухаживать... папенькин деловой партнер. Так у него зубы все желтые были, и изо рта воняло так, что я и стоять-то рядом не могла! А папенька все говорил, дескать, партия хорошая... Иржена-заступница, я как представила, что он меня целует, так едва не вырвало!

— А вот у нас в Подкозельске...

Но панночка Тиана осталась неслышанной, да и то правда, где Подкозельску равняться с романтической историей о юной прекрасной девственнице, замученной жестоким дядюшкой.

— И понимая, что свадьбы не избежать, — Эржбета к постороннему вмешательству в сюжет отнеслась спокойно. Более того, воодушевленная вниманием, зарозовелась, в глазах же появился хорошо знакомый Себастьяну блеск. И это выражение некоторой отстраненности, будто бы Эржбета смотрит, но не видит, всецело ушедши в себя, — она выбирает смерть... и травится.

— Крысиным порошком, — подсказала Тиана, поглаживая пуховку хвоста.

— Крысиный порошок — это не романтично!

— Зато действительно. Вот у нас в Подкозельске крыс всегда порошком травят. А в позапрошлом году мельничихина племянница полюбовнице мужа сыпанула. Из ревности. И та окочурилась... следствие было...

— Уксусом, — Лизанька выдвинула свою теорию и для солидности добавила. — Папенька говорит, что женщины чаще уксусом травятся. Или еще вены режут...

— Нет, уксус — это...

— ...не романтично.

— Прозаично! — ввинтила Мазена, которая держалась с прежним отстраненным видом, но к разговору прислушивалась внимательно. — Пусть она использует какой-нибудь редкий яд...

— Бурштыновы слезы...

— У вас в Подкозельске знают про бурштыновы слезы? — Мазена откинула с лица длинную прядку.

А глаза-то переменились, болотные, темные... нельзя в такие смотреться, но и взгляд отвести выходит с трудом немалым.

— А что, думаете, что раз Подкозельск, то край мира?! За между прочим к нам ведьмаки приезжали, с лекциями про всякое...

— ...бурштыновы слезы, пожалуй, подойдут, — сказала Эржбета, обрывая спор. — Редкий яд...

— Лучше б она их своему муженьку подлила, — Иоланта вертела зеркальце, то и дело бросая взгляды на отражение свое. — А что? От слезок смерть естественной выглядит... мне мой кузен рассказывал, что на горячку похоже...

— На чахотку, — уточнила Ядзита, перерезая тонкую черную нить.

— Пускай на чахотку... главное, что муженек бы того... и все... а она жила б себе вдовой...

— Нет, — Эржбета с подобным поворотом сюжета была категорически не согласна. — Моя героиня так поступить не способна! Она юная! И очень-очень порядочная...

— Ну и дура...

— Не дура, просто... просто она на убийство не способна! Она умрет накануне свадьбы... и ее похоронят в свадебном платье...

— В белом?

— Конечно, в белом! Я еще думаю, чтобы вокруг шеи стоечка... или сделать воротник отложным? И шитье, конечно...

— Талия завышенная...

— И рукав двойной, я видела в журнале... очень красиво смотрится...

— Кружевная оторочка по подолу...

— А какая разница, в чем хоронить-то? — не удержался Себастьян, когда обсуждения не то свадебного, не то погребального наряда затянулось. — Платье и платье... беленькое и с рюшами...

— Рюши — это дурновкусие! — решительно заявила Габрисия и, окинув панночку Белопольскую насмешливым взглядом, передразнила. — Понимаю, что у вас в Подкозельске приличных женщин хоронят исключительно в платьях с рюшами, но здесь — дело иное...

— Похороны, — Эржбета что-то черкала в книжице, — это важное событие в жизни. Ну и в книге само собой. Нельзя подходить к нему спустя рукава.

Действительно. С этой точки зрения Себастьян проблему не рассматривал.

— А дальше-то что? — поинтересовалась Лизанька.

— Дальше... дальше она встретит своего суженого... истинного... он — некромант. Молодой, но сильный...

— Не надо молодого, лучше, чтобы постарше был и опытный.

— Чем лучше? — возмутилась Лизанька.

— Всем! Чтобы суровый и жестокий даже... и не очень красивый. Чтобы все его боялись, — Габрисия прикусила губку. — Да, все будут бояться и не поймут, что в глубине души он очень-очень одинок...

— И тоскует!

— По чем тоскует? — Себастьян старался быть серьезным.

— По женской ласке, конечно! — на Тиану поглядели, как на сущую дуру. — Все мужчины, даже очень суровые, в глубине души тоскуют по женской ласке...

И ободренная поддержкой Эржбета продолжила повествование:

— Он в городке проездом. Остановится ненадолго. И ему совершенно случайно понадобится свежий труп. Он тайно наведается на кладбище...

...и нарушив несколько статей Статута, в совокупности своей дающих от семи до пятнадцати лет каторги без права досрочного выкупа, самовольно раскопает могилу...

— ...вскроет склеп, — сказала Эржбета. — Будет ночь. И полная луна воцарится в небе. Мертвенный свет ее проникнет сквозь окна...

— Зачем в склепе окна? — Себастьян все же не удержался.

— Какая разница?! Может, заглянуть кому понадобится... или выглянуть, — отмахнулась Иоланта, — Бетти, не слушай эту дуру. Рассказывай... я так и вижу, как свет проникает... а она лежит в гробу, вся такая прекрасная... в свадебном платье.

— И бледная...

— И юная... несчастная... и он не устоит...

— Извращенец, — Себастьян поерзал и поспешно добавил. — А что, если прямо там и не устоит, то точно извращенец. Вот у нас в Подкозельске был один, который могилки раскапывал. Нет, не некромант, а так... ненормальный. И главное, что ни бабами, ни мужиками не брезговал.

— Жуть какая!

Красавицы переглянулись и одновременно пожали плечами, верно, решив про себя, что в страшный город Подкозельск они не заглянут.

— Он не в том смысле не устоит, — внесла ясность Эржбета. — В том очень даже устоит... сначала устоит, а потом... в общем, он влюбится. И вошьет в нее свою силу... захочет, чтобы ожила... а она оживет...

...это вряд ли.

Будь в гостинной Аврелий Яковлевич, он бы сумел объяснить, почему невозможно поднять труп одним желанием, сколько силы в него не вливай.

— Нет, так просто не интересно, — Мазена щелкнула пальцами. — Надо, чтобы как в сказке! Он ее поцеловал!

Себастьян мысленно, но от всей души посочувствовал несчастному суровому, но очень одинокому и явно истосковавшемуся по бабам некроманту, которому придется целовать труп трехдневной давности.

— Да! — идея Мазены красавицам пришлась по душе. — Он трепетно коснется мертвых губ ее...

...вдохнет запах тлена и бальзамического масла.

— И вглядывается в прекрасное лицо...

...подмечая бледность его, синеву трупных пятен и блеск воска, которым натирали кожу. В воображении Себастьяна несчастный некромант уже убедился, что не настолько он одинок, а по женской ласке и вовсе не скучает, и попытался отстраниться, но красавицы были беспощадны в своем неистовом желании устроить его личную жизнь.

— Он замрет, до глубины души пораженный неземною ее красотой...

...извращенец.

Некромант с Себастьяном не согласился, но послушно уставился на тело, оценивая изящество форм. Девушка, как и положено приличному покойнику, лежала смирно, не возражая против такого внимания.

— А потом... потом он все-таки поцелует...

Высказав все, что думает об этих женских фантазиях, матерый некромант поцеловал-таки красавицу в восковую щеку. И торопливо отстранившись, вытер губы.

— В губы... — красавицы были непреклонны.

— Может, — попытался вступить за несчастного Себастьян. — В губы не надо?

Его не услышали.

И некромант, изрядно побледневший от открывавшихся перспектив, торопливо чмокнул покойницу в губы. Та, естественно, не пошевелилась.

— Это будет долгий поцелуй...

...некромант оглянулся на Себастьяна в поисках поддержки, но тот лишь руками развел: мол, ничем-то помочь не способен.

И бедолага, подчиняясь женской воле, приник к губам...

— ...он будет длиться и длиться...

Некромант зеленел, но держался. Покойница лежала смирно.

— ...длиться и длиться... — в приступе вдохновения Эржбета воздела очи к потолку. — Целую вечность...

Меж тем в Себастьяновом воображении некромант, благо матерый, опытный и с нервами крепкими, постепенно осваивался. И вот уже на высокую грудь покойницы легла смуглая пятерня.

Нет, определенно, извращенец!

Некромант лишь плечами пожал: не он такой... жизнь такая.

— И он почувствует, как ее губы дрожат...

...не чувствовал, но, не прерывая поцелуя, вполне профессионально обшаривал тело, попутно сковыривая с платья жемчужинки, которые исчезали в широком рукаве.

Это не некромант, а мародер какой-то!

Впрочем, что Себастьян в некромантах понимает? Да и... должна же у человека быть материальная компенсация полученной в процессе творчества моральной травмы? Меж тем некромант увлекся, но отнюдь не поцелуем, и не заметил, как темные ресницы покойницы дрогнули. Он опомнился, лишь когда тонкие руки обвили шею... острые коготки нависли над курткой, рубашкой, и темную кожу некроманта. Тот попытался было вывернуться, но покойница держала крепко.

И губы раздвинула, демонстрируя острые длинные клыки...

— ...она открывает глаза...

...черные из-за расплывшихся зрачков.

— ...и тянется к нему...

...к шее, движимая одним желанием, вцепиться в нее, глотнуть свежей горячей крови. Некромант, все же матерый, а значит, бывавший во всяких передрягах, почти выворачивается из цепкого захвата, одновременно вытягивая из левого рукава осиновый кол.

— Тянется... — кажется, на этом моменте вдохновение все же покинула Эржбету, и она огляделась в поисках поддержки, которую получила незамедлительно.

— И видит его!

...в Себастьяновом воображении навь давным-давно жертву разглядела, оценила и почти распробовала на вкус.

И от осинового кола отмахнулась играючи, только руку перехватила, сдавила до хруста в костях.

Некромант же зубы стиснул.

Помирать просто так он не собирался, а потому, отринув всякое уважение к покойнице, которая, говоря казенным языком, выказывала реакции, несовместимые с человеческой сущностью, вцепился в волосы и приложил прекрасным лицом о край саркофага. Навь взвизгнула, не то от обиды, не то от боли, и руки разжала...

Впрочем, сопротивление ее лишь распаляло. Поднявшись в гробу, она села на пятки, широко разведя колени. Острые, посиневшие, они разорвали платье, которое повисло грязными пыльными лоскутами. Навь выгнула спину, опираясь на полусогнутые руки, и черные кривые когти оставили на камне длинные царапины. Змеиный язык скользнул по губам... Навь зашипела и, покачнувшись, плавным движением соскользнула на пол. Она приближалась на четвереньках, медленно, и точеные ноздри раздувались, вдыхая сладкий запах крови...

— Видит... и влюбляется!

— Да, — подхватила Эржбета. — С первого взгляда!

Навь остановилась и озадаченно моргнула. Потрясла головой, силясь избавиться от противоестественных для нежити эмоций.

Но куда ей против красавиц?

— Она видит истинную его суть...

Нежить кивнула, видит. И суть, и серебряный стилет, в руке зажатый, и желание этим стилетом в честную навь ткнуть. А за что, спрашивается? Она ж не виновата, что этот извращенец целоваться полез?

— И суровую мужскую красоту, — поддержала фантазию Иоланта.

Склонив голову, нежить послушно разглядывала несколько помятого некроманта. Тот же не спешил убрать клинок.

— ...и одиночество... она сердцем понимает, насколько он одинок...

Сердце нави было столь же мертво, как она сама. Но нежить послушно порадовалась: с двумя некромантами справиться ей было бы куда сложнее.

— Эти двое предназначены друг другу свыше...

...нежить охотно согласилась и с этим утверждением: ужин, предназначенный свыше, пусть и не столь романтично, но практично до безобразия.

Некромант, уже наученный горьким опытом воплощения чужих фантазий, лишь хмыкнул и послал нави воздушный поцелуй. Та оскорбленно отшатнулась, а в следующий миг бросилась на человека, норовя подмять его под себя.

— ...и руки ее обвили шею...

...некромант захрипел, но силы духа не утратил и, перевернувшись, навалился на навь всем своим немалым весом.

— ...а губы коснулись губ...

...клацнули клыки...

— И она со всей страстью юного тела откликнулась на его поцелуй.

Нежить заскулила, но делать было нечего.

— В ее животе разгорался пламень любви...

...навь ерзала, не смея прервать поцелуй, и одновременно попискивала, аккуратно как трактирная девка, зажатая в уголке нетрезвым клиентом.

— ...снедая всю ее...

Некромант старался, видимо, осознав, от чего будет зависеть и его жизнь, и здоровье...

— Он же, не способный справиться с собой, сорвал с нее одежды...

...лохмотья платья полетели на пол, обнажая угловатое, жилистое тело нави, и гривку темных волосков, что пробилась вдоль хребта, и черничную прелесть трупных пятен, и швы, оставленные бальзамировщиком.

— ...и опрокинул на пол!

Красавицы слушали Эржбету, затаив дыхание.

Нежить, и без того лежавшая на полу, уже и не скулила, но лишь мелко судорожно подергивала когтистой ногой.

— Он же снял с себя рубаху, обнажив мускулистый торс...

...торс уже был изрядно расцарапан, но на нежить впечатление произвел. Она даже замерла, вперив в некроманта немигающий взгляд черных глаз.

— ...орудие его мужественности грозно вздымалось! — меж тем продолжила Эржбета.

Некромант покосился на клинок, зажатый в кулаке и, отбросив, покраснел.

— ...готовое погрузиться в трепетные глубины невинного девичьего тела...

Навь, видимо, тоже вспомнила, что умерла девственницей, хрюкнула и торопливо сжала колени. Себастьян от души и ей посочувствовал: все-таки с приличной нежностью так не поступают.

— Их захлестнула волна безудержной страсти... — Эржбета сделала паузу, позволяя слушательницам самим вообразить эту самую волну.

...навь вяло отбивалась, отползая к саркофагу, некромант наступал, потрясая орудием своей мужественности, которое вздымалось, может, и не грозно, но на нежить производило самое ужасающее впечатление. Она уперлась спиной в стенку и обреченно закрыла глаза, признавая поражение.

Куда бедной нежити против волны страсти?

— ...и не отпускала до самого рассвета.

Некромант только крикнул, прикинув, что до этого самого рассвета осталось часов пять-шесть. На лице его появилось выражение обреченное, но решительное.

— Их тела сплелись друг с другом... вновь и вновь его меч пронзал трепещущую плоть, исторгая из горла сладострастные стоны...

Себастьян прикусил мизинец, сдерживая тот самый стон, правда, отнюдь не сладострастный.

Пауза затягивалась...

— Как мило! — наконец, произнесла Лизанька. — Так... откровенно... и эмоционально!

— Чувственно! — поддержала ее Габрисия, смахивая слезинку. — А... а что было дальше?

— Когда наступил рассвет, — Эржбета без сил опустилась на софу, — он понял, что не сможет без нее жить...

...обессиленный некромант растянулся на полу, вперившись пустым взглядом в потолок. И нежить доверчиво свернулась клубочком под его рукой.

— Он забрал ее...

...подумав, что с его-то профессией навь в паре иметь где-то даже выгодно...

— ...и предложил ей свое имя...

...а заодно и долю в грядущих делах.

— И еще поместье... он оказался древнего рода... и князем...

Князь-некромант? И не простой, а бродячий? Хотя... если есть князь-актер, то почему бы и некроманту не случится?

— Конечно, его родственники были против...

...в чем-то их Себастьян понимал. Нежить же, тихонько хмыкнув, вытащила из сумки будущего супруга записную книжицу, точь-в-точь, как у Эржбеты, и принялась что-то писать. Похоже, родственников у князя-некроманта имелось в изобилии, а потому голод навь не грозил.

— Особенно матушка... но она потом передумает и благословит их...

Выразительно фыркнув, навь обвела очередное имя кружочком, надо полагать, решила опередить этот сюжетный поворот. И верно, от материнского благословения и упокоиться можно. А загробная жизнь навь пришлось очень даже по вкусу...

— Я назову книгу «Полуночные объятия», — доверительно произнесла Эржбета, поглаживая кожаную обложку. И ее поспешили заверить, что название — ну очень удачное...

Некромант промолчал, только будущую жену за острым ухом поскреб. И она блаженно зажмурилась... в конце концов, и нежити ничто человеческое не чуждо.

Глава 2

О королевском коварстве, бабочках и переменчивых обстоятельствах

...тем же вечером, Его Величество изволили дремать в библиотеке. Не то, чтобы в Гданьской резиденции не имелось иных покоев, но вот в библиотеке королю спалось особенно хорошо. Благоприятное воздействие оказывала тишина, изредка нарушаемая кряхтением смотрителя королевской библиотеки, пребывавшего в том почтенном возрасте, до которого и сам Мстивойт Второй надеялся дожить. Способствовал покою и полумрак, и массивные книжные шкапы, достававшие до самого потолка, и сам вид томов, солидных, толстых, с кожаными переплетами и золотой вязью названий...

Бывало, в полудреме Его Величество приоткрывали глаза и принимались названия читать.

...Истинная история Королевства Познаньского, от темных времен до дней нынешних, писанная...

...Благие деяния короля Никея Первого...

...Подробное жизнеописание святой Бенедикты...

Читал и вновь возвращался в полудрему, скрываясь в ней и от королей былых времен, и от святых, и от прочих напастей. Бывало, что начинал точить душу червячок, мол, все-то предки чем-то да прославились, кто войнами победоносными, кто реформами... Никей Третий, опять же, университет основал... а он, Мстивойт Второй, просто царствует себе...

И что после смерти его напишут?

Что, мол, был такой король... просидел на троне два десятка лет, да без толку. И ведь не докажешь-то потомкам, что войны в нынешние времена — мероприятие разорительное, в реформах надобности особой нет, потому как живут подданные тихо и со всем своим удовольствием, а университет новый основывать... кому он надобен?

В каждом городе уже имеется.

А в Познаньске так цельная Академия.

Вот и мучился Мстивойт, втайне страдая от такой жизненной несправедливости... хоть ты и вправду к упырям посла отправляй, налаживай отношения с альтернативными носителями разума...

Мстивойт вздохнул, поскольку и в полусне идея выглядела диковатой.

Посла было жаль: сожрут же...

— Дорогой, — этот голос спугнул картины, в которых Мстивойту ставили памятник, бронзовый и конный, как полагается, а еще именем его называли улицу... — Я так и знала, что найду тебя здесь!

Ее Величество, не дожидаясь приглашения, села.

В полумраке библиотеки королева была почти красива. Ей шло и это платье из темно-зеленой переливчатой тафты, и ожерелье из змеиного камня, прикрывавшее шею, на которой уже появились первые морщины.

— Это так утомительно, — пожаловалась она, открывая толстый том очередного жизнеописания, кажется, святого Варфаломея, прославившегося тем, что донес до дикарей-каннибалов слово Вотана...

...а может, не такая и дурная идея с послом-то?

Каннибалы, небось, не так уж сильно от упырей отличались?

— Ты должен сказать Матеушу, что он ведет себя неразумно!

— Что опять?

— Вот, — Ее Величество с готовностью подсунули уже знакомую желтую газетенку, сложенную вчетверо. Со страницы на короля, насупившись, выпятив нижнюю фамильную губу, которая на снимке выглядела несообразно огромной, смотрел Матеуш. — Они пишут, что он собирается сделать этой... девице предложение!

— Чушь, — с зевком ответил король.

...и мысленно добавил, что если его наследник будет столь глуп, что нарушит договоренность с соседями, то и вправду отправится нести упырям слово Вотана.

Разумное и вечное.

— Полагаешь? — королева, хоть и не отличалась особой мнительностью, но когда дело касалось старшего отпрыска, предпочитала все же перестраховаться. Матеуш был умным мальчиком... но мальчиком... а во дворце — полно коварных хищниц...

— Надеюсь, — Его Величество вновь зевнул, широко и смачно, до ноющей боли в челюсти. — Народ любит сказки... вот ему и пытаются продать очередную...

Он газету развернул.

— Посмотри сама, новость даже не на первой странице... сами понимают, что чушь...

Первую страницу занимал броский заголовок «Любовь и ревность: смертельные страсти в Познаньской полиции».

А разворот радовал снимком.

Его Величество хмыкнули и перевернули газету вверх ногами, разглядывая изображение пристально, точно надеясь увидеть нечто иное, сокрытое...

— Это просто ужасно, — сказала Ее Величество, которая газету уже прочитала, а эту статью так и вовсе два раза, в особо трогательных местах — а рассказчик был очень эмоционален — вздыхая. Страстей в ее жизни не то, что бы не хватало, скорее уж были они привычными, все больше с политической подоплекой... тут же иное.

Дела сердечные.

Любовь. Ревность, едва до смертоубийства не доведшая... и несомненно, раскаяние, которому, как виделось Ее Величеству, прежде Аврелий Яковлевич был чужд.

— Забавно, — сказал король, возвращая снимок в исходную позицию. — И несколько... неожиданно...

С Аврелием Яковлевичем он был знаком и мнил себя, если не другом — все же королевская дружба понятие скорее умозрительное — то всяко лицом, к ведьмаку расположенным, облеченным доверием. А потому удивительно было читать об этих Аврелия Яковлевича пристрастиях.

...да и ненаследный князь Вевельский, к слову, Его Величество несколько раздражавший лихостью, каковая виделась показной, слыл большим охотником до слабого полу.

Надоело им, что ли?

И ладно, если бы так, но... к чему сии представления в королевском парке устраивать? Иных мест не нашлось?

— Мы должны что-то сделать, — окончательно уверившись, что новость о намерениях Матеуша жениться на девице неподходящей — все же мальчик разумен, пусть и молод, — рождена

исключительно воображением репортеров, Ее Величество переключились на иные проблемы.

— В ссылку отправить? — Мстивойт нахмурился.

Во-первых, на дворе, небось, не смутные времена, чтобы за дела частные людей в ссылку отправлять, и вряд ли сия мера найдет поддержку у народа. А во-вторых, сослать-то можно, но кем Аврелия Яковлевича заменить? А ежели только князя отправить, что Мстивойт, положила руку на сердце, сделал бы весьма охотно, ведьмак, глядишь, обидится...

— Вотан милосердный! Ну отчего сразу в ссылку!

— Так не на плаху же!

— Дорогой, — королева протянула было руку к газете, но Его Величество сей жест проигнорировали. «Охальник» оказался неожиданно забавен, всяко интересней жизнеописаний... — У вас какое-то несовременное мышление. Плаха, ссылка... да во всей Эуропе сие, простите сказать...

...королевский мизинчик стыдливо указал на газетенку...

— ...давно уже не считается грехом.

Мстивойт хмыкнул.

— И что вы предлагаете?

— Мы... мы должны показать пример толерантности и широты мышления.

— Это каким же образом?

...пример толерантности и широты мышления... фраза-то какая красивая... прямо-таки просится на бумагу, в официальную биографию...

...интересно, отметят ли толерантность потомки? Желательно, чтобы памятником...

— Устроим им свадьбу.

— Свадьбу? — осторожно переспросил Мстивойт, поглядывая на супругу искоса: не шутит ли. Хотя за прошедшие годы он имел возможность убедиться, что у дорогой его жены чувство юмора отсутствовало напрочь. И сейчас Ее Величество была предельно серьезна.

И вдохновлена собственной идеей.

Вон как щеки зарозовелись... и все-таки, несмотря на некрасивость, она была по-своему привлекательна. И как-то отстраненно Мстивойт подумал, что в целом с супругой ему очень даже повезло.

Мила. Воспитана.

Умна.

...правда, иногда ее одолевали идеи престранные, наподобие этой.

— Свадьбу, — повторила королева. — Прекрасное торжество во дворце... пригласим послов...

пусть видят, что в Королевстве не чужаются новых веяний... вы выступите посаженным отцом... хотя нет, лучше пусть ваш дорогой дядя... он тоже член королевской фамилии...

Мстивойт слушал, кивал и думал, что даже если потомки и оценят широту его взглядов, то памятником вряд ли облагодетельствуют... да и не нужен ему памятник за такие заслуги.

— Простите, дорогая... кто из них будет невестой?

— Себастьян, — ответила королева, не задумываясь, и тут же пояснила: — На нем лучше платье сядет...

Его Величество хмыкнул. Все же не отпускала его мысль, что ненаследный князь этакой заботы не оценит.

— А вы уверены, что свадьба им нужна?

Королева нахмурилась.

— Конечно. Они ведь любят друг друга. А если любят, то должны хотеть пожениться.

С этим утверждением Мстивойт мог бы и поспорить. Любовь с ним приключалась не то, чтобы частенько, но временами, однако желания связать судьбу с кем бы то ни было, не возникало. Может, потому что судьба эта была связана с Ее Величеством, а может, любовь приключалась какая-то неправильная.

— Дорогая, — Король поцеловал сухопарую костистую ладонь супруги. — Давай для начала я поговорю с Аврелием Яковлевичем... а там уже решим... если он и вправду...

...а чем дольше над сим казусом Мстивойт думал, тем сильнее сомневался в истинности написанного «Охальником»...

— ...так уж любит князя Вевельского, то препятствовать... воссоединению их мы не станем. Дадим разрешение на брак...

...но никаких пышных свадеб под королевскими знаменами. Толерантность толерантностью, но Его Величество крепко подозревал, что в народе к европейским тенденциям отнесутся без должного энтузиазма.

Себастьян к счастью для себя о высочайших планах понятия не имел и, сидя на кровати, пересчитывал розы. Очередную корзину доставили поутру. Меж тугих бутонов, посеребренных, видать, для пущей красоты, белел конверт, который хочешь или нет, а придется в руки брать.

И вздохнув, Себастьян двумя пальчиками вытащил конверт.

Вскрыл тонким ножичком.

И с матом отшвырнул прочь: из бумажного кармана выпорхнула дюжина бабочек, которые разлетелись по комнате. С крыльев их осыпалась золотистая пыльца... и стоило вдохнуть ее, как в носу тотчас засвербело.

— Нехорошо, Ваше Высочество, — нос Себастьян потер, но свербение не унялось.

Чихнул он громко, бабочек распугивая. Они метались по комнате, ударяясь о стекло с громким

премерзким звуком. Заговоренной пыльцы становилось все больше, и Себастьян, зажав нос рукавом, выскочил в коридор, чтобы нос к носу столкнуться с Лихославовой девицей.

Она стояла, сложив руки на груди, и мрачно гляделась в зеркало.

Ничего такая... аккуратненькая, фигуристая... и когда не хмурится, должно быть, симпатична... конечно, не чета той стерве, но это скорее достоинство, чем недостаток.

— Кого-то ищете? — прогнусавила панночка Тиана, конвертом отмахиваясь. Треклятые бабочки, верно, заговоренные на Тиану Белопольскую, теперь стучались в дверь.

Свербение в носу стало почти невыносимым.

И Себастьян громко чихнул...

— Нет... пожалуй...

Он глубоко вдохнул, приказывая себе успокоиться... а заодно проклиная доброхота, который присоветовал Его Высочеству отправить этакий изящный подарок.

Чтоб его...

— У вас что-то с лицом... — сказала купчиха, вглядываясь как-то слишком уж пристально.

— Щеки покраснели, да?

Он потрогал щеку, убеждаясь, что за краснотой дело не стало... на гладкой коже проклевывалась чешуя.

— Бабочки... — сдавленным голосом произнес Себастьян, прижимаясь спиной к двери. — Терпеть не могу бабочек...

— Да?

— У них крылья... и чешуйки... вы знаете, что когда бабочки летают, то эти чешуйки сыплются? Отвратительно, правда?

Купчиха медленно кивнула.

Зудели руки.

И спина.

И Себастьян, не способный справиться с этим зудом, о дверь поскребся.

...да что ж это такое!

Если королевич, то, выходит, все дозволено? Между прочим, привороты — это противозаконно...

— Идем, — купчиха вдруг схватила за руку и потянула за собой.

Себастьян вновь чихнул и попытался было пальцами нос зажать, да вовремя увидел, как переливается на них золотом заговоренная пыльца...

...да подсудное дело!

Евдокия шла быстро, едва ли не бегом, и благо коридоры Цветочного павильона были пусты, не то по вечернему времени, не то сами по себе.

И в этом крыле Себастьяну бывать не доводилось.

Он со стоном поскреб шею, которая уже покрылась плотной четырехгранной чешуей... жалобу напишет, сегодня же... две жалобы... или три, и генерал-губернатору лично... мало того, что Себастьяну приходится терпеть душевные излияния королевича, который повадился подолгу гулять с панночкой Тианой, повествуя ей о нелегком королевском бытии, так еще и приворожить пытается...

Евдокия пинком распахнула резную дверь и втокнула Себастьяна в комнату.

Ручку застопорила стулом и, уперев руки в бока, сказала:

— Ну и как это понимать?

— Никак, — ответил Себастьян и с немалым наслаждением о стену потерся. — Никак... не... понимать...

Чешуя стремительно отслаивалась и опадала на пол полупрозрачными лоскутами кожи... крылья все-таки получилось удержать, а вот лицо поплыло.

Вот же ж...

— Говорю же... не люблю бабочек... очень остро на них реагирую, — Себастьян отодрал от щеки тонкую полоску кожи.

— Надо же, печаль какая...

— Увы...

Зуд постепенно отступал, но кости ломило, и значит, лицо вернулось прежнее... зеркало, висевшее тут же, подтвердило догадку.

Твою ж...

— Ничего объяснить не желаете? — почти вежливо поинтересовалась купчиха и револьвер достала, должно быть, в качестве дополнительной аргументации.

— Не желаю, — Себастьян учтиво отвел дуло в сторонку, про себя заметив, что револьвер девица держит спокойно, так, словно бы случилось ей прибегать к оружию не единожды.

— А если подумать?

— Панночка... Евдокия, — он заткнул дуло пальцем. — Поверьте, это не вашего ума дело...

— Неужели?

— Именно... я весьма благодарен вам за своевременную помощь, — Себастьян все же чихнул и почесался. — Но буду еще более благодарен, если вы о ней забудете...

— Даже так?

Определенно, следовать совету девица не собиралась.

— Милая, — Себастьян сдул длинную прядь, прилипшую к носу. — Уж поверьте...

Платье жало в плечах и оказалась коротковато, он не мог избавиться от мысли, что из-под кружевного розового подола торчат собственные Себастьяна волосатые щиколотки... и атласные домашние туфли еще где-то в коридоре слетели с ног. Чулки продрались, и из дыр выглядывали пальцы. Себастьян шевелил ими, чувствуя, как по тонкому шелку расползаются дорожки.

Вид идиотский.

Почему-то больше всего раздражали волосы, заплетенные в косу... и лента в них. Лента была завязана бантом, который хотелось содрать, как и растреклятое это платье.

— Милая, вы знаете, кто я?

Девица, переведя взгляд с револьвера на лицо Себастьяна, хмыкнула:

— К несчастью, да.

— В таком случае, вы понимаете, что здесь я нахожусь не по собственной прихоти.

А в ближайшем рассмотрении она вполне себе симпатична... нет, все еще не красавица, да и вряд ли когда-то такой была. Эта из тех, которые и в юности отличаются несуразностью, угловатостью, и зная за собой это, становятся невероятно стеснительны.

Взрослея, учатся стеснительность прятать...

— Да неужели? — Евдокия, похоже, не просто спрятала — похоронила.

Но хоть револьвер убрала, все хлеб.

— Дело государственной важности, — Себастьян отбросил раздражавшую его косу за спину и, наклонившись к розовому ушку Евдокии, произнес, — секретное...

Она, вместо того, чтобы зардеться, как полагалось немолодой, но глубоко закомплексованной девице, отпрянула. Впрочем, Евдокия тут же взяла себя в руки и, указав на стул, велела:

— Садитесь и рассказывайте, что здесь творится.

— Боюсь, это не вашего ума дела...

— Повторяетесь.

Евдокия обошла его по широкой дуге, разглядывая пристально. И насмешки не скрывала...

— Пан Себастьян, — весьма любезным тоном произнесла она, остановившись у двери. — Мне кажется, вы меня недопоняли...

— Опять за револьвер возьметесь? Девушка, учитесь использовать другие аргументы.

— Благодарю за совет. Всенепременно, — задрав подол, Евдокия оружие спрятала.

Ножки у нее оказались аккуратные...

— Пан Себастьян, нам с вами револьвер ни к чему, — она распрямилась и юбку оправила. — Все просто. Вы, может, и собираетесь молчать... скажем, из интересов государственных... а вот у меня такого желания нету... у меня есть желание иное...

Вот же...

Девушка усмехнулась и, отбросив за спину толстенную соломенного цвета косу, продолжила.

— Я может, в крепком душевном волнении пребываю... как же, одна из конкурсанток — мужчина... представляете, что скажут остальные?!

— Вы не посмеете.

— Отчего же? Посмею... я ведь не просто так здесь присутствую... наблюдаю... и просто-таки обязана делиться наблюдениями с общественностью. А уж в какой восторг эта общественность придет, узнав о том, что Себастьян Вевельский обманом проник на конкурс красоты... да вы до конца жизни не отмоетесь.

— А вам и радостно?

Она пожала плечами.

Радостно.

Вот же стерва... и главное, не пытается этой радости скрыть. А ведь женщинам Себастьян нравился, особенно таким вот, вышедшим из девичьего возраста, но еще не вошедшим в годы, которые стыдливо именовались «элегантными».

— Я вас посажу, — с очаровательной улыбкой пообещал Себастьян и, не выдержав, поскребся.

— Посадите... наверное... если у вас получится, — Евдокия не собиралась отступать. — Ведь, если разобраться, я лишь пытаюсь защитить невинных девушек, оказавшихся в ситуации столь... двусмысленной.

Она и пальцами щелкнула, и от звука этого, тихого, но отчего-то резкого, Себастьян вздрогнул, припомнив самый первый день.

— Или вы собираетесь поступить, как подобает человеку благородному? — Евдокия встала у окна, скрестив руки на груди.

Грудь была пышной, а руки — белыми.

— Это как же?

Себастьян, не пытаясь раздражения скрыть — проклятая пыльца еще действовала, мешая вернуть контроль над телом — потянул за пояс. В платье было тесно, неудобно и вид идиотский.

— Жениться, — это страшное слово Евдокия произнесла с улыбочкой, более на оскал похожей.

— На вас, что ли?

— На мне не надо.

Платье не снималось. Себастьян дергал растреклятые юбки, с трудом сдерживая ярость. Но она пробивалась острыми когтями, и чешуей, и хвост, почему-то оставшийся тонким, с кисточкой-пуховкой, отчаянно стучал по половицам.

— Я как-нибудь переживу этот страшный позор... а вот бедные девушки... — Евдокия выразительно замолчала, устремив очи к потолку.

Себастьян тоже посмотрел на всякий случай.

Потолок был обыкновенным, в виньетках и цветах, правда, белили его давненько, и оттого потолок успел уже пойти пятнами.

— И как предлагаете мне на них жениться? — платье все же поддалось и, стянув его через голову, Себастьян скомкал розовую, бабочками расшитую ткань. — Одновременно?

Евдокия задумалась.

А живое воображение Себастьяна нарисовало свадьбу с одиннадцатью невестами... ладно, минус колдовка, всего-то десять...

— Одновременно не получится. Даже в каганате лишь четыре жены позволено иметь. Поэтому придется в порядке живой очереди. Женились. Пожили год. Развелись. Думаю, Его Величество отнесется с пониманием...

— Вы издеваетесь, — следом за платьем отправилась и нижняя рубашка, а за нею — шелковые чулочки с подвязками. Себастьян с преогромным удовольствием избавился бы и от панталон с кружевами, но тогда бы вид его был вовсе неподобающим.

— Я? Как можно! Мне казалось, это вы издеваетесь, и не только надо мной...

— Когда это я над вами издевался?

Панталоны сползали, и Себастьяну приходилось придерживать их руками...

Отвечать Евдокия не стала, но и от двери не отошла.

— Итак, у вас, пан Себастьян, имеется выбор. Или вы все-таки рассказываете, что здесь происходит, стараясь при этом быть убедительным. Или я зову сюда панну Клементину...

— Послушай... те, панночка Евдокия, — в кружевных панталонах было непросто выдерживать подобающую случаю серьезность. — Ваше любопытство... неуместно. Вы и вправду лезете в дела, которые вас совершенно не касаются...

Слушает.

Смотрит. И выражение лица упрямое. Понимает. Лезет и будет лезть, пока не влезет по самую свою макушку... и вот что остается делать бедному актору?

...тем более, связанному клятвой крови?

— Кстати, врать не советую, — Евдокия вытащила кулончик, крутанула в пальчиках.

Твою ж...

— Евдокиюшка, — Себастьян оказался рядом с упертой девице и, приобняв ее, взял за ручку. — Вы же взрослый человек и понимаете, что не всякое любопытство уместно... давайте просто забудем, что видели друг друга...

Забывать она не намеревалась, и ручку попробовала высвободить, но Себастьян не позволил.

Пальчики пахли свежей сдобой.

И еще копченой колбасой...

...откуда взяла?

— А после... когда все закончится... мы с вами встретимся в приватной обстановке... обсудим проблему и, я уверен, найдем такое ее решение, которое всецело удовлетворит обе стороны...

С каждым словом он наклонялся все ниже, и договаривал уже на ушко, розовое такое ушко с золотой подковкой серги.

— Руки...

— Что, дорогая?

— Руки убери, — прошипела Евдокия, наступив на ногу. И ведь туфельки, хоть атласные, но с острым каблучком.

— А это уже нападение на актора... при исполнении служебных обязанностей... — мурлыкнул Себастьян, прижимая упрямую девицу к груди. — Но мы же не станем заострять на том внимание, верно?

...наверное, приворотное все же подействовало...

...из-за яда ли, либо же ведьмаки у Его Высочества были хорошие...

...или просто нервы сдавать начали от обилия цветов, бабочек и атласных лент.

Как бы там ни было, но купчиху он целовал со всей накопившейся злостью, не взирая на довольно-таки активное сопротивление... пожалуй, несколько увлекся.

...и сквозняк по спине почувствовал, а значения не придал...

А потом девица вдруг всхлипнула...

...и за спиной раздалось глухое рычание... правда, почти сразу стихло... сквознячок вот остался...

— Вы... — стоило Евдокию отпустить, как она отскочила и первым делом губы вытерла. — Вы... с-скотина! С-сволочь...

— Хотите сказать, не понравилось?

Она его неимоверно раздражала. Упрямством своим. И курносый вздернутый носиком. Веснушками, которые не пыталась скрывать под пудрой. Манерами.

Взглядом, в котором виделось... презрение?

— Только попробуйте это повторить и...

— И что?

— Я закричу... я...

Она и вправду собиралась закричать, чего Себастьян допустить никак не мог, и сграбастав купчиху в охапку, он повторил эксперимент...

...не нравится ей.

...всем нравится, а она тут... нашлась исключительная...и главное, упрямая какая, вместо того, чтобы поддаться, как положено приличной женщине в горячих мужских объятьях, упирается, выгибается, разве что не шипит, и то лишь потому, что не способна.

— Будете орать? — поинтересовался Себастьян, выдыхая.

— Буду, — купчиха с силой впечатала острый каблучок в ступню, а когда Себастьян на мгновение руку разжал — все-таки больно, когда в живого человека каблуком тыкают — вывернулась.

Недалеко.

До столика.

До бронзового канделябра на столике стоявшего...

— Еще как буду, — сказала Евдокия... и это было последнее, что Себастьян услышал.

...нет, в его жизни всякое случалось, но чтобы канделябром и по голове... за что, спрашивается? Он хотел было спросить, и рот открыл, но второй удар, куда более ощутимый, вверг его в темноту.

В темноте было уютно.

Спокойно.

Только бабочки порхали, те самые, королевские. Они подлетали к самому Себастьянову носу, стряхивая с крыльев золотистую пыльцу. И Себастьян замирал от ужаса: а вдруг да именно этот приворот сработает должным образом?

И как жить?

Он отмахивался от бабочек, и от пыльцы... но та липла к волосам, и голова Себастьянова становилась невыносимо тяжелой.

— Дуся, ты что?! — сказала бабочка тоненьким голоском.

И вправду, что?

За что?!

Ладно бы, не умел Себастьян целоваться... так ведь он старался... весь опыт свой немалый вложил... а его канделябром.

— Я — ничего. А он...

Бабочка, говорившая голосом Евдокии Ясноокой, девицы купеческого сословия, села на раскрытую ладонь и грозно пошевелила развесистыми усиками.

— Что он?

— Целоваться полез! — пожаловалась Евдокия.

— И ты его канделябром?

— И я его канделябром, — она произнесла это как-то обреченно.

— А меня позвала...

— ...чтобы труп помогла спрятать, — теперь голос был мрачен. Себастьян хотел было сказать, что он вовсе не труп, но первая бабочка, с перламутровыми крыльями, его опередила.

— Дуся, он жив, — сказала она с укоризной.

— Тогда добить, а труп — спрятать.

Решительности купеческой дочери было не занимать. Но Себастьяну категорически не нравилось направление ее мыслей.

— Это не смешно...

Совершенно не смешно.

— Не смешно... куда уж не смешнее... Лихо приходил и... и что он обо мне подумает?

Лихо?

Проклятье, про братца, обладавшего воистину удивительным умением появляться невовремя, Себастьян как-то запямятовал.

...задание...

...Аврелий Яковлевич предупреждал, но...

...Лихо всегда слишком серьезно относился к женщинам, а тут... вспомнит и Христину... и следует признать, что первый удар канделябром Себастьян заслужил...

С этой мыслью он вернулся в сознание, аккуратно затем, чтобы ощутить весьма болезненный пинок под ребра.

— Дуся, что ты творишь?!

Евдокия не ответила, а Себастьян, не открывая глаз, испустил громкий стон. Он очень надеялся, что стон этот был в должной мере жалобным, чтобы огрубевшее женское сердце

прониклось сочувствием к раненому...

— Я творю? Это он...

— Вы мне выбора не оставили, — произнес Себастьян.

Он лежал на спине, и ноги вытянул, и руки на груди сложил демонстративно, всем видом своим показывая, сколь близок был к смерти.

И веки смежил.

— Я не оставила?!

— Тише... умоляю... очень голова болит...

...голова у него болит, видишь ли... да, не по голове бить следовало, тогда, глядишь, болело бы именно то место, которым он думал, когда к Евдокии полез.

Помогла на свою голову...

В том коридоре Евдокия оказалась совершенно случайно.

Она бродила.

И думала.

Ей всегда легче думалось на ходу, особенно, когда мысли касались именно ее, Евдокии... ну и еще Аленки, которая за ужином была задумчива, тиха и напрочь отказалась говорить, что происходит.

А Евдокия не дура.

...есть зеркала, отражения, которые ведут себя вовсе не так, как полагается нормальным отражениям. Собственные, Евдокии, шли за нею, не таясь тянули длинные шеи.

...пахло горелым.

...и еще камнем. И запах этот тягучий, едкий, вызывающий к жизни воспоминания об угольных шахтах, об узких норах, прогрызенных в теле горы людьми, привязывался к Евдокии.

Она льнула к обоям, которые были новыми и дорогими, силясь ощутить правильные ароматы — бумаги, краски и клея... но вновь вдыхала каменную пыль. Гранитом пахли стеклянные вазы... и углем — цветы и ковровые дорожки — Евдокия, уже не заботясь о том, как это будет смотреться, ежели кто-либо застигнет ее за престранным занятием, присела, коснулась высокого ворса.

Почти живой.

А от Аленки только и добиться можно, что еще не время.

И верить надо.

Евдокия верила, вот только чуяла близкую опасность... как в тот раз, когда они с маменькой

едва под обвал не угодили... и ведь тогда-то управляющий твердил, что, дескать, нет угрозы, что шахта, пусть и старая, но досмотренная, что леса свежие, крепкие, а газ дурной отводят регулярно...

...а Евдокия чуяла — врет.

И слышала, как тяжело, медленно, но совершенно по-человечески вздыхает гора. Боясь опоздать, она схватила маменьку и бегом бросилась к выходу.

Успела.

А управляющий остался внизу, верно, это было справедливо.

Но сейчас не о горах думалось.

О доме. И Аленкином упрямстве. И о том, что если и захочет Евдокия уйти, ей не позволят. Поздно... и розовые шипастые кусты тянулись к окнам, затягивали их живой решеткой.

...еще Лихослав, который приходит на закате, а уходит на рассвете. И больше о свадьбе не заговаривает... и не то, чтобы Евдокии так уж в храм хотелось...

...было кольцо, сидело на пальце прочно, так, что захочешь — не снимешь.

И все-таки...

...хотелось странного, наверное, место виновато было, но вот... чтобы не сделка, взаимовыгодная, где титул на деньги меняется, а чтобы любовь.

Влюбленность.

Сердце ныло, растревоженное не то прошлым, не то настоящим. И лгать-то себе Евдокия непривычная. Нравится ей Лихо...

Лихо-волкодлак...

...пускай себе волкодлак... и вдоль хребта уже проклюнулась жесткая прямая щетина, будто гривка... и глаза у него в темноте с прозеленью... а на свету глянешь — человеческие.

Улыбается хорошо.

А как шепчет на ухо имя ее, то и вовсе тает Евдокия... стыдно, и счастливо, и наверное, сколь бы ни продлилось это самое счастье, все ее, Евдокиино.

Об этом она думала, когда резко, едва не ударив Евдокию по носу, распахнулась дверь...

— Что вы на меня так смотрите, будто примеряетесь, как сподручней добить, — поинтересовался ненаследный князь, приоткрыв левый глаз.

Глаз был черным, наглым и без тени раскаяния, из-за чего высказанная Себастьяном мысль показалась Евдокии весьма здоровой.

Добить.

Вытащить в сад и прикопать меж розовыми кустами.

— Между прочим, — замолкать это недоразумение не собиралось. — Вы меня шантажировали!

— Дуся!

Аленка уставилась на Евдокию с укоризной. Конечно, как у нее совести-то хватило шантажировать самого старшего актора.

А вот обыкновенно.

Хватило.

И Евдокия, если о чем и жалеет, так о том, что сразу его по голове не огрела. Следовало бы.

Огреть. Привязать, а там уже и допрашивать...

— Шантажировала, — почуяв в Аленке сочувствие, Себастьян Вевельский открыл и второй глаз и томно ресницами взмахнул.

Ручку смуглую приподнял, к голове прижал, будто бы болит...

...болит.

И правильно, что болит, и не надо было Аленку звать... но Евдокия испугалась, что и вправду прибила ненароком это недоразумение в панталонах... а что, рука-то у нее маменькина, тяжелая.

— Вы лежите, лежите, — Аленка села на пол и ладони на макушку смуглую возложила с видом таким, что Евдокия едва не усовестилась. — Больно?

— Очень, — сказал этот фигляр, голову задирая так, чтобы Аленке в глаза заглянуть. — Просто невыносимо...

— Дуся!

— Что, Дуся? Дуся желает знать, как давно это... — она пальцем ткнула, чтобы не осталось сомнений, о ком речь идет, — за вами... за нами подглядывало?

Аленка, верно, вспомнив первый вечер в Цветочном павильоне зарделась, но рук не убрала. И Евдокия мрачно подумала, что бить-таки следовало сильнее.

— Я не подглядывал, — поспешил оправдаться Себастьян, болезненно кривясь, точно сама необходимость разговаривать с Евдокией причиняла ему немалые мучения. — Я наблюдал.

— Принципиальное различие.

— Дуся!

— Ваша сестрица меня ненавидит! — пожаловался Себастьян поджимая губы...

...ишь, развалился.

— Дуся, — Аленкины брови сдвинулись над переносицей, и так оторвавшись от пациента, которого, судя по Аленкиному виду, она готова была лечить хоть всю ночь напролет и желательно не в Евдокиных покоях, она встала. — Дуся, это же...

Себастьян Вевельский с готовностью закрыл глаза, показывая, что подслушивать не намеревается, и вообще, находится если не при смерти, то всяко в глубоком обмороке.

— Дуся... — Аленка взяла сестрицу под руку и зашептала. — Я понимаю, что получилось нехорошо... и ты на него обижаешься... но это же живая легенда!

— К сожалению...

— К сожалению легенда? — Себастьян-таки не удержался и приоткрыл глаз, на сей раз правый.

— К сожалению, живая, — поправила Евдокия и, погладив верный канделябр, добавила. — Пока еще.

— А теперь она мне угрожает!

Боги милосердные, какие мы нежные... а вот хвост из-под ноги правильно убрал, и не то, чтобы Евдокия собиралась наступить, но пусть конечности свои, включая хвост, при себе держит.

Евдокия руки от канделябра убрала и, выдохнув, велела:

— А теперь рассказывайте.

— Что? — в один голос поинтересовались Аленка и Себастьян.

— Все.

— Все — будет долго... — Себастьян вытянул дрожащую руку и, указав на кровать, попросил. — Подай простыночку прикрыться... а то неудобно как-то.

Покрывало Евдокия сдернула.

— Дусенька... — Аленка присела на стул у двери и еще руки на коленках сложила. — Потерпи...

— Хватит. Я уже натерпелась.

...и Лихо, который заглянул, хотя еще и не вечер...

Появился и исчез.

Уступил.

Бросил? А кольцо тогда почему... и Евдокия трогает его, пытаюсь успокоиться, только получается не слишком хорошо.

— Или меня вводят-таки в курс дела... или мы уезжаем. Сегодня же. Немедля.

Аленка сложила руки на груди, демонстрируя, что с места не сдвинется. Упряма? Пускай. В Евдокии упрямства не меньше.

— Я тотчас телеграфирую маменьке. Полагаю, она меня поддержит. Да и не только она. О нем я тоже молчать не собираюсь. Этот фарс, который конкурсом называют, завтра же закроют. И не надо мне про тюрьму говорить. Тюрьмы я не боюсь.

— Она не всегда такая... — словно извиняясь, произнесла Аленка. — Злитесь просто...

— И колбасу прячет, — Себастьян сел, завернувшись в покрывало. — Под кроватью... ага...
...коробку он вытащил и, прильнув щекой к крышке, зажмурился.

— Краковельская... чесночная... благодать... к слову, панночка Евдокия, как бы вы не пыжились...

— Я не пыжусь!

— ...на мне клятва крови, так что...

И этот наглец, вытянув колечко краковельской колбасы, к слову, великолепнейшей, сдобренной чесноком и тмином, высушенной до звонкости, сказал:

— Моя прелес-с-сть...

Евдокия перевела взгляд на Аленку. Та клятв крови не давала...

— Дуся, пока ты о нем не знаешь, оно тебя не видит... а раз не видит, то и навредить неспособно.

— Тогда считай, что оно, чем бы ни было, меня разглядело.

— Но...

Аленка повернулась к зеркалу и, коснувшись его ладонью, нахмурилась.

— Ты... не говорила...

— И ты не говорила, — оправдываться Евдокия не собиралась.

Единственное, о чем она жалела, так о собственной нерешительности. Следовало сразу покинуть сей милый дом...

— Уйти не получится, — Себастьян разломил колбасное кольцо на две неравные половины, меньшую зажал в правой руке, большую — в левой. — Точнее, попытаться можете, но за последствия я не ручаюсь. Вас, панночка, поместили... и вас, к слову, тоже.

Он откусил колбасу и уже с набитым ртом добавил:

— И меня... всех поместили, Хельм их задери.

И замолчал, сосредоточенно пережевывая колбасу.

Следовало сказать, что в покрывале, расшитом цветочками, из-под которого выглядывали длинные мосластые ноги и хвост, тоже длинный, но отнюдь не мосластый, ненаследный князь выглядел... безопасно. Он жевал колбасу, вздыхая от удовольствия, и блаженно жмурился...

Надо полагать, раны на голове затянулись.

Аленка наблюдала за своей легендой с престранным выражением лица.

Куда только прежнее восхищение подевалось?

— Так что, милые дамы, вам от меня никуда, — жирные пальцы Себастьян вытер о покрывало, и Евдокия с трудом сдержалась, чтобы не отвесить подзатыльника... князь, называется!

Князь понюхал оставшийся кусок, но со вздохом отложил.

— Хорошо, — Евдокия покосилась на канделябр. — В таком случае предлагаю перемирие. И обмен информацией. Взаимовыгодный...

— А водички нальешь? — поинтересовался князь, голову на бок свесив. — Колбаска соленая очень...

Пил он шумно, отфыркиваясь, и вода текла по голой груди, поросшей кучерявым черным волосом. И вида этой самой груди Аленка стеснялась, отворачивалась...

...похоже первая любовь ее, бережно возвращенная на газетных славословиях и снимках, умирала.

Громко срыгнув, Себастьян вытер рот краем покрывала и поднялся.

— Итак, девушки, я внимательно вас слушаю...

...от же гад.

Слушает он.

Но с некоторым удивлением Евдокия поняла, что и вправду слушает. Внимательно так. И уже не выглядит ни смешным, ни жалким...

...Аленка же говорит...

...о том, что дом живой, что строили его по старому обычаю, на костях. И кости эти сроднились со стенами...

...о зеркалах, в которых потерялись души. Их заперли на изнанке зеркального лабиринта, лишив воли и посмертия, оставив лишь голоса, которые Аленка слышит...

...о снах разноцветных, где ей показывают дом...

...и о черном камне, ради которого все затевалось. Камень — драгоценность, а дом — шкатулка, построенная драгоценность хранить.

— Ее ты видела? — Себастьян прервал рассказ.

И поймав на себе взгляд Евдокии, слегка пожал плечами, будто извинялся...

Извинялся.

Не за поцелуй, а за представление.

Живая легенда? В том и дело, что скорее живая, чем легенда. И приходится соответствовать... или не соответствовать, разрушая чужие иллюзии.

— Нет, — ответила Аленка, задумавшись. И тут же, сама себе противореча, сказала. — Да. Она меняет лица. Она... она забрала чужие... использует, а потом меняет...

В отличие от ненаследного князя, который кивнул, Евдокия ничего не поняла, а переспрашивать не стала.

— Луна растет, — Аленка посмотрела в окно.

Вечерело.

И лиловые сумерки держались за колючей границей роз, точно опасаясь приближаться к окну. Небо отливало то золотом, то багрянцем, и тревожно становилось на душе.

Беспричинная тревога.

— И дом пробуждается... он долго спал, пока ее не было. А теперь она вернулась, но сил ее не хватает, чтобы сразу его разбудить... луна нужна.

Полная.

Круглая, налитая, как яблоко из маменькиного сада. На такую воют оборотни, а волкодлаки и вовсе теряют разум... Лихо не опасен, будь опасен — не выпустили бы с Серых земель...

Евдокия не наивна.

Евдокия слышала о людях, которые переставали людьми быть. Но боялась, не его, но за него, растревоженного... что подумал?

Известно, что...

И ушел... как бросил... обидно, и страшно оттого, что не вернется... а если вернется, то каким?

...луна показалась, выглянула, белая монета с полустертой золотой каймой, будто бы надкушенная с одного бока. Но рана зарастает, прибывая день ото дня...

— Будет луна и будет сила... — Аленка замолчала, устремив взгляд в окно.

Тоже видела?

Чуяла?

А говорили, что будто бы у сестрицы сил мало, что едва-едва хватит их раны затянуть... а она слышит вот... и сама не понимает, откуда у ней это взялось.

Отцовская кровь очнулась?

Или же, напротив, материнская? От той прапрабабки, про которую говорили, будто бы она — прирожденная колдовка? И впору бояться родной сестры...

...близких.

Двое и обоих Евдокия любит. Она-то человек, обыкновенный и мало на что в колдовском мире годный, только и может, что богам молиться.

Пусть заслонят. Сберегут.

Силами наделят, потому как иначе... что бы ни обреталась в зеркалах сторожем клятых душ,

оно выберется...

— Панночка Алена, — Себастьян поднял недоеденный кусок колбасы и кое-как отер о покрывало. И вид себе вернул прежний, слегка придурковатый. Аленку взял за ручку жирными пальцами... срыгнул сыто, отчего бедную аж передернуло, и к ручке припал.

Обслюнявил всю знатно.

— Вернитесь к себе. И ведите себя как прежде...

...Аленка ручку выдернула и торопливо за спину спрятала. А ведь колбасу краковельскую она на дух не переносит из-за чесночного ее запаха.

— А... вы?

— И я вернусь. От доем и вернусь, — он еще и грудь волосатую почесал, сказав доверительно. — Вы не представляете, до чего мне жрать охота...

У двери Аленка тайком понюхала пальчики и скривилась-таки...

...чесночный дух — привязчивый.

Но ушла, унося осколки разбитых мечтаний.

— Евдокиюшка... — Себастьян перекинул покрывало через плечо и снова грудь поскреб. — А с вами...

— Со мной можете комедию не ломать. Влюбляться в вас я не собираюсь.

— Даже так...

Взглянул пристально, и неуютно стало под этим колючим, лишенным всяческого дружелюбия, взглядом. Еще немного и наизнанку вывернет...

— Как уж есть, — ответила Евдокия, заставляя себя глядеть в глаза. И улыбаться.

Как маменька учила...

— А вы подумайте...

— Уже подумала.

— Я могу быть очень очаровательным... и даже милым... мы с вами чудесно проведем этот вечер...

Рука сама собой к канделябру потянулась.

Себастьян хмыкнул и, пощупав затылок, Аленкиными стараниями целый, сказал:

— Ладно-ладно... с Лихо я сам поговорю... — он взобрался на подоконник, — а вам, панночка Евдокия, нервы лечить надобно... вы слишком остро на все реагируете.

Вот поганец!

Глаза б Евдокиины его не видели...

— И платье свое забирай! — крикнула она, швырнув мятый комок в темноту...

...Гавел ничуть не удивился, увидев ненаследного князя. Тот, выбравшись из окна, весьма бодро и, по мнению Гавела, несколько необдуманно сиганул в кусты роз.

Сорт «Белая панна» отличался крупными бутонами бледно-золотистого колера и шипами исключительной длины. Сам Гавел уже успел свести с панной знакомство, а потому сдавленную, но весьма выразительную, можно сказать, наполненную яркими образами ругань князя слушал с сочувствием.

— И платье свое забирай! — донеслось из окошка, и на голову Гавела свалился надушенный мягкий ком, надо полагать, то самое платье...

Гавел платье скомкал еще более и спрятал в сумку: вещественным доказательством будет.

Или пойдет на платочки старухе, а то не напасешься...

...соседка снова жаловалась...

...требовала, чтобы Гавел из своей командировки вернулся... а он, слушая в телефонный рожок возмущенное бормотание, лишь вздыхал...

...пришлось злотень сверху пообещать...

...и наверняка, мало будет...

...но последний месяц судьба к Гавелу была благосклонна весьма, и банковский счет его потихоньку прирастал. Если бы не старуха, этих денег Гавелу хватило бы года на два... и не в той каморке... а что, снял бы квартиру в приличном доходном доме, пускай и небольшую, но чистенькую... и нанял бы кого убираться дважды в неделю. Купил бы себе белую фильдекосовую рубашку, а к ней — желтый галстук... и пиджак фиолетовый, бархатный с хлястком на черных пуговичках...

Тросточку опять же.

И в дни выходные гулял бы в королевском парке, как иные, приличные люди...

Гавел вздохнул, сам себе признаваясь, что мечты его эти, пусть и не особо сложные, все ж несбыточны. От старухи ему не избавиться... так что и тросточка, и пиджак, и рубашка остались в памяти, а Гавел сделал снимок...

Меж тем Себастьян Вевельский из кустов вырвался и, сплюнув погрызенный лист «Белой панны», потянулся. На сей раз князь был не совсем обнажен. И если Гавелу досталось платье, то себе Себастьян оставил женские преочаровательного вида панталончики, с кружевами и атласными бантиками...

...он потянулся и поскреб плечо, на котором проступила жесткая черепица чешуи.

А потом легкой походкой двинулся по дорожке. Таится ненаследный князь и не думал, он шел не спеша, то и дело останавливаясь, поводил носом, принимаясь точно и что-то бормотал...

Гавел держался в отдалении...

...а если все не так, как Гавелу виделось?

Если не в изменившихся пристрастиях его дело, а в том, что не выдержал Себастьян Вевельский тяжелой актерской работы? Разумом подвинулся?

Гавел нахмурился и почесал шею: его, в отличие от ненаследного князя, комарье окрестное, лишенное всякого пиетета перед королевскими владениями, очень даже жаловало.

...а и вправду...

Князь все же...

...и работа у него мало лучше Гавеловской... вспомнить хотя бы те месяцы, которые князь в банде Соловейчика пробыл... или дело с крестовецким маниаком, неделю Себастьяна на цепи продержавшим... тогда ли он разумом подвинулся?

...или еще раньше?

Ах, до чего нехорошо получилось...

Себастьян Вевельский, остановившись у очередного куста, опустился на четвереньки. Нюхал он траву, и землю, и фонарный столб, который повадились метить местные кобели. Именно этот столб ненаследный князь изучал с особым тщанием.

— До чего интересненько, — сказал он громко, окончательно убеждая Гавела в своей ненормальности.

...а если так, то и с ведьмаком, выходит, не все ладно?

Гавел похолодел.

Конечно... слухи-то давно ходили... дескать, разменял Аврелий Яковлевич не первую сотню лет... иные-то старики и на седьмом десятке блажить начинают. Но ведьмак-то крепким оказался, держался... не выдержал... или княжеское безумие на него повлияло?

А может, в тот, самый первый раз, стал Гавел свидетелем некоего таинственного ритуала?

Или не свидетелем, а...

Помешал?

Он ведь слышал, что ритуалы ведьмаковские лишних глаз не терпят... а он еще и с камерой полез... и статейка та, за которую ныне корил себя, да только что с тех угрызений совести...

Меж тем Себастьян, окончательно освоившись, двинулся вглубь парка, туда, где располагался зеленый лабиринт, в который Гавел и днем-то соваться не смел, уж больно замысловатым сей лабиринт сделали...

И как быть?

Стражу вызвать, чтобы скрутили безумца?

Гавел, потянувшийся было к свистку, в последнюю секунду передумал. Навряд ли безумца вовсе без присмотра оставили бы, а значит, надобно ждать.

И держаться поближе.

Снимок ненаследного князя в панталонах и розанчиком в руке получился чудо до чего хорош...

Глава 3

О серьезных разговорах, а также влиянии алкоголя и фазы луны на мужские нервы

Лихослав обнаружился в центре лабиринта, у фонтана, в который залез, что характерно, с ногами. Он склонил голову, и пухлая мраморная девица в весьма символическом облачении, не скрывавшем пышных ее форм, поливала эту самую голову водой. Вода лилась из кувшина, который девица возложила на плечо, кокетливо придерживая двумя пальчиками. И Себастьян, прикинув устойчивость конструкции и вес этого самого кувшина, испытал некоторое волнение.

Все-таки Лихо он любил.

По-своему.

С прочими-то братьями не заладилось. Не то, чтобы враждовали, скорее уж были они чужими неинтересными людьми по некоторой прихоти связанными с Себастьяном иллюзорными узами родства. Лихо — дело другое...

И совесть, большую часть Себастьяновой жизни дремавшая, вдруг ото сна очнулась.

— Страдаешь? — поинтересовался Себастьян.

— Нахрен иди...

— Страдаешь, — он присел на край фонтана и, зачерпнув воды, понюхал. Пахла ряской, судя по всему фонтан если и чистили, то давно, и стенки массивных чаш изнутри успели покрыться пышной шубой ила. На водяной глади расплзлось кружевное покрывало ряски, а пухлые ноги красавицы с кувшином позеленели и покрылись едва заметными трещинами.

Выбравшись из фонтана, Лихослав подобрал мундир, который валялся на траве и попытался надеть прямо на мокрую рубаху, но в рукава не попал.

— Иди ты...

— И нажраться успел...

— Тебя не спросил.

— Это точно, не спросил... а спросил бы, я б ответил, что и тебе нервы лечить надобно...

Он успел поймать Лихо за шиворот.

— Стой, кому сказано! Не было ничего.

— Без тебя знаю.

Стоял Лихо неуверенно, покачиваясь, но... было в движениях этих его, пусть и пьяных, что-то неправильное.

Нечеловеческое.

И лицо переменялось. Скулы стали острее, переносица — шире, а из-под верхней губы клыки проглядывали... и глаза так характерно желтизной отливали.

— Что, не нравлюсь? — Лихо оскалился.

Голос и тот переменялся, ниже стал, глуше, с характерными рычащими нотами.

— Дурень, — ласково произнес Себастьян, но руку убрал.

— От дурня слышу, — Лихо потер переносицу, явно пытаясь успокоиться.

— Оттуда... подарочек?

— Откуда еще.

— Кто знает?

— Здесь или...

— Здесь, — мир в целом мало Себастьяна волновал. А вот Познаньск — местечко такое, чуть расслабишься, мигом слухи прорастут один другого краше.

— Генерал-губернатор... ведьмак твой...

— Он не мой, он общественный.

— Ведьмак общественный, — куда более спокойным голосом повторил Лихослав, — Евдокия... теперь вот и ты.

— Я, значит, последним, — Себастьян подвинулся, и братец, махнув рукой, будто бы разом для себя приняв решение, присел рядом. — Что Старик говорит?

— Да... известно что. Кровь себя проявлять будет, чем луна полней, тем сильнее... сам я не перекинусь точно, а потому опасности для людей нету... — Лихослав поскреб щеку, поросшую плотной жесткой щетиной. — Бриться устал... только соскребу, а она опять... и ладно бы бородою росла, отпустил бы и леший с нею, так нет же... щетина. Колется...

Он вздохнул и поднял голову, уставившись пустым немигающим взглядом на кругляш луны.

— Сказал еще, что я везучий... что если б не навья кровь, проклятье убило бы...

Клятое везение, вывернутое.

И злость разбирает, хоть и не на кого злиться.

— Пил зачем?

— Затем...

— Послушай, — Себастьян вытащил из волос веточку, раздумывая, что бы такого сказать. Извиняться он не любил и, говоря по правде, не умел. — Я... наверное был неправ...

— Когда?

— Тогда... и сейчас тоже, но сейчас, — он сунул пальцы в волосы, нащупывая припухлость.

Благодаря умелым рукам эльфиечки боль отступила, но шишка осталась. — Сейчас меня вынудили! Она меня шантажировала...

Лихослав хмыкнул.

— Револьвером угрожала...

— Еще скажи, что изнасиловать пыталась, — братец сунул руку под воду. Тонкая пленка ее покрыла и широкую ладонь, и пальцы, которые будто бы стали короче, и широкие длинные когти.

— Не пыталась. Это я... предпринял меры... а она меня канделябром. Дважды.

— И как?

— Хреново...

— В смысле, помогло?

Удивленным Лихослав не выглядел.

Успокоившимся тоже.

И на луну по-прежнему смотрел, на сей раз, правда в фонтане отраженную. Луна эта то и дело шла рябью, почти исчезала, будто тонула, но все одно появлялась снова и снова.

— Смотря от чего. Больше я к ней точно не полезу, если ты это хотел знать.

Кивок.

И пожатие плечами. Хотел, но сам не заговорил бы. Упрямая дурь — семейная черта. И пожалуй, сказано все, что должно было быть сказано, только на сердце спокойней не стало.

— Знаешь, — очень серьезным тоном произнес Лихослав, все-таки оторвавшись от созерцания луны-утопленницы, — наш полковой целитель всем касторку прописывал. Не важно, болотная лихорадка, понос или ветру в уши надуло... касторка, говорил, от всего помогает. А если нет, то надобно продолжать терапию и верить...

— Ты это к чему?

— К тому, что если ты еще раз к моей невесте сунешься, я тебе горло перерву.

Белые клыки блеснули в лунном свете.

— Лихо...

— Я не шучу, братец, поверь.

Он встал и отряхнулся, с длинных волос полетели брызги.

— Я ушел... не потому, что отступил, а... чтобы не убить тебя. Испугался, что... не сумею удержаться... выпил...

— То есть, набрался ты раньше?

— Встретил одного знакомого... надо было кое о чем расспросить, а сам понимаешь, — волосы он отжимал, накрутив на кулак. — На трезвую голову никто говорить не станет.

— Помощь нужна?

— Нет, — сказал резко, зло. — Не устраивай снова за меня мою жизнь.

— Не буду. Клянусь своим хвостом.

Лихо хмыкнул, но как-то... не зло. И Себастьян, решившись, спросил:

— Еще злишься? Ну... за то... за прежнее.

— За Христину?

Переспрашивает, можно подумать, что Себастьян его не от одной когорты невест избавил. Но ответил, и в глаза посмотрел, удивляясь тому, что гаснет в них волкодлачья наведенная зелень. Почти прежними становятся, синими.

— За нее.

— Не злюсь, — Лихослав потер переносицу. — Было... нехорошо было.

Это верно.

Нехорошо. А тогда казалось — идеальный вариант.

— Я и вправду хотел тебе помочь, — Себастьян поежился, хоть и лето на дворе, а по ночам все одно прохладно, и от воды еще тянет. — Я ж видел распрекрасно, что ты ей не нужен... титул — это да... а ты — так... договорной брак.

— А ты, стало быть, нужен?

— Нет. И я не нужен. Разве что, приключением... нервы пощекотать... экзотика... я для всех них экзотика... а если не я, то другое приключение найдут. Было бы желание. У нее — было.

— Мог бы просто сказать, — проворчал Лихослав.

— Мог бы... наверное... а ты бы услышал?

— Не знаю.

Вряд ли, Себастьяну ли не знать, сколь беспощадна к здравому смыслу первая любовь. И Лихослав понял.

— Я не могу вспомнить ее лица, — признался он. — Волосы светлые были... и еще над губой родинка. Справа? Или слева? А больше ничего... даже цвет глаз.

И наверное, в этом был смысл.

Вспомнилась вдруг Малгожата, но не лицо, а роскошный бюст, который сделал ей в общем-то неплохую партию... Себастьян узнавал.

Из любопытства.

— Я вот думаю, что было бы, если бы не ты.

— Ничего, наверное. Она и до свадьбы не дотерпела, а уж потом...

...ни особого ума, ни красоты... и уже тогда было не понятно, что Лихо нашел в этой девице с узкими губами и странной манерой шепелявить, не потому, что Христина не могла иначе... могла, но не хотела. Она играла в маленькую девочку.

Банты, куклы, чулочки...

И огромные глаза, которые смотрели на Лихо с обожанием. Правда, лишь до того момента, когда Лихо смотрел в эти самые глаза. А стоило ему отвернуться, и обожание сменялось скукой.

Расчетом.

— И был бы ты сейчас женат, рогат и глубоко несчастен, — подвел итог Себастьян.

Братец фыркнул...

Дальше сидели молча. Себастьян думал о зеркалах и призраках... полнолунии, до которого осталась неделя... колдовке, способной лица менять...

...одержимой Богуславе.

...Иоланте, замершей на пороге лабиринта.

...панне Клементине, которая слишком откровенно не замечала странностей Цветочного павильона, а значит, напрямую была с этими странностями связана.

...о королевиче...

...Ядзите, метках... обо всем и сразу, уже отдавая себе отчет, что история эта слишком запутана, чтобы сводить ее лишь к Хольму...

— Мать, — Себастьян поймал мысль, которая не давала ему покоя.

— Что?

— Я знаю, кто ее отец, но не мать...

— Чья мать? — поинтересовался Лихо, выныривая из фонтана.

— Решил все-таки утопнуть от несчастной любви?

— Решил все-таки протрезветь, — он стер длинную нить водоросли, прилипшую к щеке. — Так чья мать-то?

— Панна Клементины. Ты знаешь, кто был ее матерью?

Лихослав задумался, впрочем, на него надежда была слабой, он никогда-то особо не интересовался ни двором, ни любовными его историями, каковые приключались в великом множестве.

— Понятия не имею, — вынужден был признать Лихослав. — Тебе зачем?

— Надо...

...еще одна деталь чужой мозаики, и Себастьян хвостом чувствовал, что деталь важная...

...и что спрашивать надобно не у братца, а у Аврелия Яковлевича...

...и про зеркала тоже.

...и не только про Клементину.

— И детские портреты, — решил Себастьян. — Скажи Старiku, что мне нужны их ранние портреты. И вообще все, что удастся о детстве...

Не умея усидеть на месте, Себастьян вскочил, он прошелся вокруг фонтана, под босыми ступнями ощущая и каменную крошку, и трещины, и острые стебельки травы.

— Он поймет... меняет лица... и если так, то... Габрисия — вариант очевидный, но поэтому и не пойдет. Слишком умна...

— Габрисия?

— Колдовка. Габрисия изменилась поздно, а если готовилась... да, нужны портреты... чем больше, тем лучше... совсем младенческие не подойдут... типаж подбирала схожий... значит, те, на которых постарше... Лихо, с тебя когда писали?

Переспрашивать братец не стал, но сморщил нос, припоминая:

— Три... семь... одиннадцать, тогда, помню, еще мундир напялили.

— Три рано... семь и одиннадцать — хорошо... и скажи Старiku, что это — личное. Нет, на Хольм она тоже работает, но все одно первым делом — личное.

Себастьян потрогал шишку, похоже, что пресловутый канделябр очень поспособствовал прояснению в голове.

И очередная идея, пришедшая в эту голову, заставила Себастьяна улыбнуться.

— Лихо... а у тебя мыло есть?

— С собой?

— Ну да...

— Мыла нету, но есть зубная паста...

— С пастой не то, хотя... давай сюда. Слушай, Лихо... а ты ж волкодлак малость. Значит, помыть можешь?

— Издеваешься? — братец поскреб щетинистую щеку.

— Мне для дела...

— Ну... если только для дела.

Гавел наблюдал за лабиринтом со странным, полузабытым почти чувством страха, причем сколь ни силился он, не мог понять, откуда же это чувство взялось.

Луна виновата.

Верно.

Именно она, огромная, отливающая желтизною, будто старым салом натертая... повисла, скособоченная, над самыми маковками елей, того и гляди сорвется, покатится, сминая и эти ели, и кусты, и статуи... и самого Гавела раздавит.

Он судорожно вздохнул и прижал к груди верную камеру.

Вот же... луна... смотрит, насмехается...

...старуха луны боялась, на полную требовала окно завесить, и в комнатухе под крышей становилось темно. Гавела эта темнота не то, чтобы пугала — до сегодняшнего вечера он думал, что утратил саму эту способность, страх испытывать — скорее он задыхался. Чужал, что пыль чердачную, с которой вел давнюю непримиримую борьбу, но проигрывал, что кисловатый запах старушечьего тела, что ароматы ее притираний... он ненавидел их, склянки-скляночки, банки и кувшинчики с узкими горлышками, в которых прятались масла и жиры, как втайне ненавидел саму старуху...

Гавел потер глаза, отгоняя сон.

Болели.

И кишки вновь жаром налились, а ведь будто бы отступила болезнь на спокойной местной работе... может, кинуть старуху? Просто уйти, сменить имя, раствориться на просторах королевства... устроиться в парк ночным сторожем... тихая жизнь... глядишь, и сладится как-нибудь.

Гавел вздохнул.

Сколько уж раз он мысленно сбегал от старухи? Неисчислимо. На деле же всякий раз что-то да останавливало. Любовь? Да нет, смешно думать... она-то всегда его ненавидела, попрекала, будто бы своим рождением Гавел всю ее жизнь искорежил. Совесть? Чушь, какая у него, крысятника, совесть? Давно уже избавился от нее... и от порядочности... и от прочих реликтов человеческой натуры...

Вздохнул и вновь глаза потер, в которых луна уже двоилась.

Ярче будто бы стала.

И ниже опустилась.

Блажь... а князя все нет и нет... пойти в лабиринт? Мало ли, вдруг заблудился, потерялся... он же ж не в себе, и оттого Гавелу волнительно... и он сделал первый робкий шаг к крылатым львам, что лежали у входа в лабиринт. Каменные звери в лунном свете выглядели до отращения живыми.

Скалились.

— Кыш, — шепотом произнес Гавел и, вытянув шею, прислушался.

Тишина...

...кузнечики в траве стрекочут. И где-то тоскливо кричит козодой...

...ветром по спине мазнуло...

Глупо соваться... лабиринт огромный... и как в нем князя искать-то?

...и зачем?

Мало ли... безумцы всякими бывают... Гавелу ли не знать... он ведь делал репортаж о сувалковской отравительнице, которая себя ведьмою возомнила... и в богадельне бывал частенько... видел иных ее обитателей, с виду тихих, печальных даже, выглядевших случайными гостями в странном сем месте. Но это с незнания...

...и душегубы.

...и те, кто полагает себя одержимыми...

...детоубийцы, насильники...

Страшно.

С чего Гавел решил, будто бы князь не из таких? Знакомец? Но безумие выворачивает человека, выпуская на волю демонов, которые у каждого имеются...

Гавел решительно тряхнул головой и в лабиринт шагнул. Сторожевой амулетик развеивал темноту, но все же...

...жуткое место.

Кусты стрижены ровно, гладко... но все умудряются цепляться за рукава Гавеловой куртки. А он идет, прислушиваясь, что к собственным шагам, что к шорохам, которых в лабиринте множество. И кажется, что кто-то крадется по Гавеловскому следу.

Остановился.

Оглянулся... никого.

Темнота и поворот... и очередная статуя призраком белеет под аркой...

И снова дыхание, близкое, чужое, почти в волосы... тень мелькнула, потревожив кусты. Да и то, была ли?

Примерещилось.

Назад надобно, но... куда?

Дорожки идут, разбегаются, путаются, и стены из кустов на диво прочны... впору самому на помощь звать, но стыдно... сторож, а испугался...

Гавел присел на лавочке, которых в лабиринте имелся не один десяток. И все-то в местах романтических, живописных... эту вот оплетал одичавший шиповник, надо полагать, оставленный исключительно потому, что видом своим вносил толику хаоса в это излишне

упорядоченное пространство.

Шиповник Гавел снял.

Хорошо гладелась колючая ветка, вытянувшаяся по ковanej спинке скамьи. И на металле роса гладелась испариной...

Красиво.

...за стеной кустарника, которая сразу показалась не такой уж плотной и надежной, раздался тоскливый вой.

И Гавел замер.

Сердце его застучало быстро, слишком уж громко, и он прижал ладонь к груди, мысленно уговаривая себя успокоиться.

Вой.

Подумаешь, вой... вон в Смоляницкой богадельне блаженные придумали не просто выть, а хором. И доктора сочли сие действо зело полезным и душеспасительным, нашелся даже охотник, который сумел обучить хор достославному «Вотан, храни короля!». Нумер пользовался большим успехом у окрестных сердобольных панн, а также люда любопытствующего, который платил по медню за билетик. На вырученные деньги хористам покупали яблоки, пряники и петушков. Все были довольны...

Гавел успокоился.

Почти.

И вцепившись в камеру, решительно сунулся в кусты. Ветки переплелись плотно, кололись, но Гавел продирался, боясь лишь одного: не успеет.

Успел.

Едва не выпал на травку... надо же, к самому центру лабиринта добрался, сам того не заметив. Здесь было светло. Лоснилась низкая луна, лила белесый свет на фонтан о двух чашах и дебелую мраморную девку с кувшином.

Журчала водица, а на самом краю чаши устроился ненаследный князь. Он сидел, растопырив колени, выгнув спину горбом, и шею тянул. Черные волосы растрепались, легли покрывалом на острые плечи. Хвост обвил девкину ногу... князь же, выдохнув, вновь задрал голову к луне и испустил душераздирающий вой...

Гавел успел сделать два снимка, когда Себастьян вдруг прервался и, покачнувшись, упал...

...к счастью, не в фонтан.

Страшная судорога скрутила тело князя.

И Гавел потянулся к свистку... но не тронул. Ненаследный князь, бившийся в траве, замер... умер?

Лежит.

Ноги вытянул.

Руки тоже вытянул вдоль тела... и панталончики разодрались... нехорошо, если его вот так найдут, мертвого и в панталончиках... несерьезно это...

И Гавел выбрался из кустов.

Прислушался.

Тишина. Ну да, кузнечики, козодой и прочие ночные прелести, а вот князь по-прежнему недвижим... и лицо бледное, осунувшееся...

Гавел нерешительно тронул Себастьянову шею в надежде нащупать пульс. Шея была мокрой и скользкой, и волосы темные к ней опять же прилипли.

А вот пульс не прощупывался.

Умер...

...Гавел склонился к самому носу, вдруг да показалось, вдруг да дышит еще... не дышит. И сердце в груди, к которой Гавел, отбросив все предубеждения, прижался, молчало.

Все-таки, выходит, умер...

...а совесть Гавеловская ожила, напоминая, что следовало бы сразу охрану вызвать, чтоб сопроводили несчастного до сторожки, а там бы целителя вызвали... и глядишь, не переволновался бы ненаследный князь до сердечного приступа.

Гавел со вздохом осенил покойника Вотановым крестом.

И веки прикрыл, потому как казалось — наблюдает за ним ненаследный князь, и не просто смотри, а с укоризною, мол, как же ты, Гавел, допустил этокое?

— Я ж не знал, — Гавел шмыгнул носом. — Я...

Взгляд его упал на панталоны, и подумалось, что ежели найдут князь в подобном непотребном виде, то вспоминать станут не его славную службу, а панталоны эти злосчастные...

И Гавел решился.

Он отложил камеру и, присев на корточки, потянулся к панталонам.

— Я осторожно... — пообещал он ненаследному князю, который, как и положено свежему покойнику, был теплым, но неподвижным.

Панталоны не поддавались.

Гавел тянул их и так, и этак, но только бантик оторвал, который сунул в карман исключительно по привычке. Попытался князя перевернуть, однако тело, верно, уже утратило прежнюю подвижность, сделавшись тяжелым, неудобным. Кое-как Гавел перевернул покойника на живот и, взявшись за хвост, приподнял его.

Князь вздрогнул.

И хвост в Гавеловских пальцах крутанулся.

Это потому, что скользкий, чешуйчатый, вот и не удержал...

...дернулась длинная нога. И рука вдруг выпросталась, растопыренная пятерня впилась в траву. Гавел, икнув, смотрел, как удлиняются, загибаясь острыми с виду крючьями, ногти князя... вторая рука, сплошь покрытая чешуей, мазнула по траве, оставив в ней глубокие раны.

Тело приподнялось.

Выгнулось.

Из глотки князя вырвалось утробное рычание, от которого Гавел похолодел.

Он понимал, что надо бы бежать и чем скорей, тем лучше, однако дикий ужас сковал его, лишив способности двигаться. Гавел дышал.

Смотрел.

...вот тело ненаследного князя зеленеет... дергается... он то падает, то вновь привстает.

...и медленно поворачивается к Гавелу.

В лунном белесом свете видны и заострившиеся черты лица... и темные провалы глаз, из которых исчезло все человеческое, и бескровные губы... и клыки...

— У...уйди... — сказал Гавел, отползая...

Князь уходить не собирался. Он покачнулся, но устоял на четвереньках.

Рот раззявил... не рот, а пасть, украшенную парой длинных и острых с виду клыков... из горла князя хлынула обильная белая пена, которая отваливалась и кусками оседала на траве.

Тихонько взвизгнув, Гавел упал на спину, и когда нежить — а в том, что князь после смерти обратился в нежить, он не сомневался — села на грудь, закрыл глаза.

...вот и все... конец жизни...

...а старуха-то одна осталась... поймет ли?

Поймет, когда оставленные соседке деньги закончатся... нехорошо... надо было больше...

На лицо падала слюна, белая и пахнущая отчего-то мятой... наверное, из князя вышла очень чистоплотная нежить... и все приятней, чем если бы мертвечиной воняло... на этой мысли Боги все же смиростивились над Гавелом, и он лишился чувств.

В блаженной темноте и умирать не страшно.

Темнота длилась и длилась.

И Гавел поневоле задумался, а вдруг он уже умер? И если так, то... он ведь в храмы не заглядывал... и богам не кланялся, потому как знал, что не для него путь исправления, грешил и грешить будет... и если так, то зачем?

Надо было купить белых голубей Иржене-заступнице... а Вотану — меда свежего... не откупом за грехи, но просто, глядишь, и не блуждала бы истомившаяся Гавелова душа впотьмах.

С другой стороны, не в Хельмовы же чертоги ей торопиться?

— ...нет, дорогой братец, я, конечно, знал, что у тебя шуточки... дурные, но чтоб настолько? — этот голос разрушил блаженную цельность темноты.

— Да живой он...

— А если бы сердце стало?

— Так не стало же, — возразила нежить голосом ненаследного князя. И Гавел подивился только, до чего нежить хитрая пошла, уже и разговаривать научилась.

Захотелось предупредить того, второго, чтобы бежал, но темнота держала прочно.

— А может и стало, — задумчиво произнес непредупрежденный человек. — Вон, в себя-то не приходит... вдруг удар случился.

— Нехорошо, — нежить согласилась, она была где-то близко, и Гавел поспешно отступил в темноту, не желая вновь встречаться с нею. — Переборщил немного...

— Немного?!

— Немного! Нет, Лихо, ему меня на все королевство ославить, так можно, а как мне его поугать — нет? Я ж после его статей вовек не отмоюсь!

Пинки темнота пропускала, и Гавел вдруг четко осознал, что вовсе он не умер, а лежит там же, у фонтана, на мокрой траве в компании вполне себе живого и очень раздраженного ненаследного князя и светловолосого типа незнакомой наружности.

Тип был растрепанным и отчего-то мокрым.

— Видишь, живой! — радостно воскликнул Себастьян и, наклонившись, схватил Гавела за рубашку. — Вставай, дружище!

Гавел закрыл глаза, пытаясь притвориться, что все еще скорее мертв, чем жив... с одной стороны, конечно, радовало, что князь вовсе не нежить, а с другой... бить будет. Это Гавел осознавал ясно, всем своим, привычным к подобному повороту дела, организмом.

— Вставай, вставай, — Себастьян легонько тряхнул его и просьбу подкрепил пощечиной. — Разговор к тебе имеется... приватный.

Глаза пришлось открыть.

— Вот скажи, — тон был притворно ласковым, — по какой такой надобности ты ко мне в панталоны полез, извращенец?

Такого Гавел от ненаследного князя услышать был не готов. Это он, Гавел, извращенец?! Да... да он нормальный! В женское платье не рядился! И нагишом по королевскому парку не разгуливал! И с ведьмаком в престранные игры не играл...

— Я не извращенец, — прохрипел Гавел, пытаясь вывернуться, но Себастьян Вевельский

жертву свою держал крепко.

— Видишь, как дергается? — с чувством глубочайшего удовлетворения произнес он, тыча в Гавела когтем. — Точно извращенец!

Светловолосый, чье лицо показалось смутно знакомым, хмыкнул. Кем бы он ни был, заступаться не станет. На это Гавел и не рассчитывал...

— В штаны полез... стянуть пытался... бантик оторвал и спрятал, фетишист несчастный!

— Я... случайно!

— В жизни нет ничего случайного! — с этими словами Себастьян руку разжал, и Гавел кулем повалился на мокрую, изрядно истоптанную траву. Встал он на корточки, поневоле ожидая удара, а когда не последовало, то на карачках добрался до камеры, сгреб ее и сунул под живот.

Авось уцелеет.

— Успокойся, бить не буду, — Себастьян Вевельский обошел Гавела, став так, что тот увидел длинные босые ноги с длинными же когтистыми пальцами. Пальцы шевелились, как-то быстро и нехорошо... — Если договоримся.

Это уточнение Гавелу совершенно не понравилось.

— Ладно, вы тут сами как-нибудь, а я пойду... там, наверное, Ева переживает... Себастьян...

— Да понял, я понял! Иди уже... — ненаследный князь присел на корточки и поскреб бедро. — У него там Ева переживает. А он тут торчит... с нами... так что, Гавел, договоримся?

— П-попробуем.

— Попробуем... отчего ж не попробовать... а если не договоримся, то я тебя Аврелию Яковлевичу сдам. На опыты.

Обещание было дано бодрым, даже чересчур уж бодрым тоном, который заставил Гавел поежиться и признать, что нежитью ненаследный князь был добрей.

— Вставай...

Подняться помог, руку на плечо положил, когти выпустил, намекая, что ненадобно душить. Гавел и не собирался. Куда ему бежать?

Да и зачем...

— Садись, — Себастьян довел Гавела до лавочки и усадил едва ли не силой. Сам сел близенько, пожалуй, чересчур уж близенько... вздохнул... покосился этак, выразительно... и еще ресницами взмахнул...

...это ж чего он потребует?

...и если то, о чем Гавел подумал, то лучше пусть бьет... битие, оно привычнее как-то...

— Вот что ты, Гавел, за человек? — томно произнес ненаследный князь, приобнимая свою жертву. — Вечно все опошлить норовишь... и сейчас, небось, про меня гадости думаешь.

— Нет! — поспешно соврал Гавел.

— Думаешь, думаешь, я же вижу...

И наклонился к самому лицу, наверное, чтобы виделось лучше. Гавел аж дыхание задержал от ужаса.

— Успокойся, — князь отстранился и по плечу потрепал. — Ты меня, конечно, интересуешь, но исключительно как профессионал своего дела... ты же профессионал.

Гавел кивнул.

Говорить он не мог.

— Мне нужны снимки конкурсанток... сам понимаешь, что не портретные...

— Голых? — уточнил Гавел.

— Голых, — согласился Себастьян. — Для чего, тебе знать не надо... считай, что вот такой я извращенец...

— Так разве ж это извращение? По нынешним-то временам...

— Да, — Себастьян Вевельский, подумав секунду, согласился, что если по нынешним временам, то снимки голых девиц — это вовсе даже не извращение. — Считай, что я начинающий...

Гавел хмыкнул.

— Сделаешь?

Сделает, конечно... там и делать-то нет нужды, перевести с памяти на пластины да отпечатать. Не зря же он у павильона крутился.

— Это хорошо, — ненаследный князь потрепал Гавела по плечу. — Это просто замечательно... завтра принесешь.

— Сюда?

— Сюда... а копии — Аврелию Яковлевичу в собственные его рученьки... и записочку от меня заодно снесешь. Полагаю, нет нужды уточнять, чтоб не читал?

Гавел отчаянно помотал головой.

Нет.

Он человек в высшей степени благоразумный, а если и влез куда, то исключительно по незнанию, о чем ныне глубоко и искренне раскаивается.

— Вот видишь, — ненаследный князь, отодрав от панталон второй бантик, протянул Гавелу. — Не все с тобою потеряно...

...тот, кто поселился в Богуславе, обещая избавить ее от всех проблем разом, был недоволен.

Богуслава ощущала его недовольство остро, оно было болезненным, дурманным, и повисало мутной зеленой пеленой перед глазами.

Недовольство пахло трясинной.

...и гнилым мясом, правда, Богуслава вяло удивлялась, откуда ей известно, чем пахнет трясина и гнилое мясо, но удивление исчезало.

Тот, кто поселился в Богуславе, избавил ее от эмоций.

К чему удивляться?

Сожалеть.

Беспокоиться о чем-то?

Он оставил Богуславе собственное раздражение и злость, колючую, как свежие ягоды артишока. И Богуслава осторожно держала злость на раскрытой ладони, разглядывая и удивляясь тому, сколь совершенна она. Иглы длинные острые.

Железные.

И ранят до крови...

...нет крови, показалось. И ладонь-то обыкновенная, гладкая... Богуслава поднесла ее к глазам, пытаясь разглядеть следы от ран. Не то, чтобы боялась, вовсе нет, но...

...запах болота стал отчетливей.

А следом пришло понимание, что тот, кто поселился в Богуславе, желает убить и не просто кого-либо, хотя он и просто не отказался бы, кровь ему нравилась, и это было правильно, Богуслава сама согласилась, что в виде крови, в запахе ее имеется нечто в высшей степени притягательное. И потом, когда Богуслава исполнит свой долг, она позволит этой крови литься... но сейчас она должна убить конкретного человека.

Тиана Белопольская раздражала не только того, кто жил в Богуславе.

Она не нравилась всем.

Слишком громкая, суетливая и ко всему прочему — дура... а зачем дуре жить? Правильно, незачем... у нее получилось чудом вывернуться из ловушки, которую готовила не Богуслава... она наблюдала... и видела, кто принес коробку в комнату Тианы... и сама заглянула, исключительно из любопытства. Хотела бы попробовать, потому что очень аппетитно выглядели эти конфеты, а от аромата шоколада голова вовсе кругом шла. Но тот, который в ней жил, предупредил, что трогать шоколад нельзя.

Отрава.

Нет, он бы помог Богуславе справиться, но тогда она перестала быть человеком, и если она сама не была бы против — чем дальше, тем более неудобным казалось ей человеческое тело — то тому, кто в ней жил, превращение было невыгодно.

Пока.

Но он обещал, что потом, после, когда все закончится, Богуслава станет иной.

Сильной.

И быстрой.

И еще почти вечной...

Она согласилась и ждала, будучи всецело счастлива в этом ожидании. Но растреклятая панночка Белопольска не стала есть шоколад, чем очень-очень разозлила того, кто поселился в Богуславе. Он ведь предвкушал сладость чужой смерти.

Разочаровали.

От колючей его злости Богуслава плакала кровью.

Не боялась.

Но собирала кровь со щек пальцами, а пальцы облизывала, удивляясь тому, до чего кровь вкусна...

...потом, позже, когда все закончится...

...обещает...

...надо только немного помочь...

...ему и той, которая подарила его Богуславе... или наоборот, подарили Богуславу? Какое это имеет значение? Никакого...

Панночку Белопольску следует убить... только осторожно, чтобы походило сие на несчастный случай... рано привлекать внимание... рано... а убивать легко. Богуславе прежде не доводилось? Это не страшно, тот, который в ней обжился, знает, как правильно убивать, даже если без крови... хорошо, если без крови, потому что он слишком взбудоражен.

И почти готов выдать себя.

Тогда та, которая призвала его в мир и Богуславу, будет недовольна. Ее он бы тоже хотел убить, но не способен. Поводок держит. И приходится подчиняться.

Встать рано. Одеться... потом, позже, одежда станет не нужна Богуславе, она уже мешает, сковывая движения, но надо терпеть.

Выйти.

Ждать. И пристроиться за панночкой Тианой... от нее пахнет свежим мясом... мясо вкусное, особенно, когда сырое... и Богуслава сглотнула слюну, которой наполнился рот. Она... не она, но значения не имеет, прекрасно помнила вкус человечины.

...дичи...

...разумная дичь всегда интересней неразумной.

Богуслава слюну сглотнула. Запах жертвы дурманил... и тянуло вцепиться клыками в смуглую

шейку, раздирая и кожу, и мышцы, и тугую жилу. Кровью плеснет, и будет литься духмяным потоком, только успевай пить... успела бы, а потом с преогромным наслаждением слизывала бы ее, подсыхающую, с рук и ногтей.

Нельзя.

Тот, кто жил в Богуславе, согласился, что пока — нельзя... позже... когда луна наполнится силой, и тонкие миры коснутся друг друга... всего-то на миг, но ей, сильной, которой служит и Богуслава, и ее гость, уже ставший хозяином в теле, хватит и мига.

А пока...

Идти рядом, но не настолько близко, чтобы заметили... дышать в такт дыханию, отмеряя последние секунды чужой жизни. А панночка Тиана не торопится... платье подобрала, ковыляет, с трудом удерживаясь на тонких каблукках... и у лестницы замерла, вздохнула...

...сделала робкий шажок, обеими руками держась за перила...

...и второй...

Теперь быстрее, но не бегом. Все должно выглядеть естественно... девушки почти спустились, и Богуславу никто не упрекнет в том, что она торопится...

...торопится.

Бежит почти, хотя великоможные панночки и не бегают, неприлично это, но тот, который прячется в ней лишь, смеется. И Богуслава вместе с ним, до того нелепой показалась ей собственная мысль. Неприлично? О да, скоро приличия потеряют свое значение...

Она толкнула Тиану легонько, со стороны все гляделось так, будто бы Богуслава лишь задела ее подолом платья... но Тиана покачнулась...

...и полетела по лестнице, чтобы замереть у подножия ее нелепою тряпичной куклой.

И тот, который жил в Богуславе, выглянул, желая убедиться, что она, мешающая хозяйке, и вправду мертва... лежит, не шевелится.

Дышит ли?

— Мамочки! — послушно завизжала Богуслава, удивляясь тому, до чего неприятным скрежещущим стал голос.

А в воздухе запахло кровью.

Свежей.

Сладкой... слаще яблок и меда... и тот, который жил в ней, с преогромным наслаждением вдыхал этот аромат, рассказывая о том, как потом, позже, когда хозяйка изменит мир, они с Богуславой напьются досыта... и голод, снедающий их обоих, утихнет.

Потом...

...когда луна нальется истинною силой. Уже недолго ждать.

Утром Себастьяна вновь попытались убить.

Спустился он к завтраку поздно, заранее ненавидя и полезный свекольный сок свежего отжима, и вареную спаржу, и даже морковную запеканку. Себастьян с нежностью и тоской вспоминал краковельскую колбасу, а заодно уж Лихославову невесту, к которой приближаться и вправду не следовало.

...и про туфли, которые были тесны, думал.

Это было неприятно.

И странно.

Обувь шили по мерке, как и платья... и вчера только доставили новую пару, весьма панночке Тиане приглянувшуюся — да и как устоять девичьему сердцу против кремового атласу, расшитого стеклярусом? И еще бантики. К бантикам у панночки Тианы было особо нежное отношение.

А нынешние просты.

Не атлас — кожа, и дубовая какая-то... каблук высокий, тонкий. Идти приходится осторожненько... и Тиана с извечною ее торопливостью отстраняется, уступая место Себастьяну... пальцы жмет, пятку натирает, и с каждым шагом — все сильнее.

А тут лестница, всего-то ступенек двадцать, но выглядит едва ли не бесконечною...

...ковер убрали.

Это Себастьян отметил машинально, обеими руками хватаясь за перила, и почти не удивился тому, что перила эти оказались скользкими...

Конкурсантки спешили на завтрак.

В молчании.

И панночку Тиану обходили стороной, лишь эльфиечка бросила раздраженный взгляд... ну да, разочаровалась она в легенде-то... легендам срыгивать не положено, как и разговаривать с набитым ртом. Легенда должна быть далекой и прекрасной, аки звезда...

Тьфу, и лезет же в голову поутру всякая ерунда...

...но главное, что лестница длинная.

Каблуки тонкие.

Туфли тесные и юбки еще к ногам липнут, того и гляди, спеленают...

...этого дожидаться не стали. Достало малости — легкого, будто бы случайного толчка в плечо... и Тиана покатила по ступенькам... Себастьян успел сжаться в комок.

Было не столько больно, сколько неприятно...

— Мамочки! — донесся истошный визг, кажется, Богуславы...

...а ведь она шла следом.

Точно.

Шла и толкнула, словно бы невзначай. Иным бы разом Себастьян не обратил бы внимания на этакое легкое, скользящее прикосновение... но тут туфли.

И каблуки.

Скользкий поручень, точно специально натертый воском. А может, и специально?

Себастьян сел, потирая шею.

— Ох и скользкие у вас ступеньки, панна Клементина! — сказал он, глядя на хозяйку Цветочного павильона снизу вверх, с должной толикой огорчения. — Прямо сил нет!

— С вами все в порядке? — она произнесла это с искренним беспокойством.

Надо же...

И на Богуславу взгляд быстрый кинула, но тотчас спиной повернулась.

— Нос разбила, — Себастьян вытер нос ладонью и руку поднял, чтоб все видели, что рука эта — в крови...

Ноздри Богуславы дрогнули, и сама она подалась вперед. Нехорошее движение, уже почти нечеловеческое... и поза сама, локти прижаты к бокам, пальцы растопырены, шея вытянута и рот приоткрыт, стоит, слюну сглатывает часто, не способная отвести взгляд от раскровавленной ладони.

Еще немного и бросится.

Нет, отступила, попятилась, вскинув руку, рукавом заслоняясь от неприятного зрелища.

— Нос — это ничего, — сказала Тиана, вытирая ладонь о подол. — Вот я в детстве как-то упала и на гвоздь головою налетела... ничего страшного, распорол кожу только, но зато кровячки было... жуть! Шили потом!

Богуслава исчезла.

Не нравятся разговоры о крови? Или напротив, чересчур нравятся?

Зря не поверил Ядзите, как есть одержимая и давно, если тварь, в душу пробравшаяся, уже и тело обжила...

— Вы встать можете?

— Встать могу, — Тиана поднялась.

— А идти?

— Идти — не могу... каблук сломала! Панна Клементина! Эти каблуки — сущее издевательство! А ну как кто бы другой сверзся? Я-то ладно, про меня еще дядечка говорил, что я завсегда на ноги падаю, даже тем разом, когда с голубятни сиганула! Нет, это-то давненько было, и упала

я аккуратно на сено, уж больно удачненько привезли его... я вообще везучая...

Себастьян сказал это громко, чтобы все слышали.

— Мы очень рады, — сдержанно и отнюдь не радостно ответила Клементина, поддерживая Тиану под руку, — что ваше везение вам не изменило...

...о да, его еще понадобится.

Себастьян вдруг четко осознал, что до полнолуния осталось не так и много времени, а значит, панночку Белопольску будут изводить с утроенной силой.

И не ошибся.

...к обеду прислали букет ядовитых роз, который Тиана от щедрот душевных попыталась всучить панне Клементине, а то ж самой ей цветочки только и делают, что шлют и если от королевских избавиться никак не выйдет, то этими, чужими, сам Вотан поделиться велел...

...Клементина не обрадовалась, но и перечить не стала. Розы со смертельным ароматом остались в холле, ненадолго, не прошло и четверти часа, как этот букет сменился иным, почти таким же...

...а золотая цепочка с кулончиком и отсроченным проклятьем отправилась в унитаз... совершенно случайно, как иначе... и Тиана искренне и громко о ней горевала... ей так же громко, но отнюдь не искренне сочувствовали...

...скрип люстры, что медленно, но неумолимо сползала с цепи, Себастьян услышал загодя и еще возмутился, потому как под люстрой этой стоял не один, но в компании Его Высочества, для которого, естественно, запретов не существовало. Во всяком случае Клементина, встретив высокого гостя, не посмела отказать ему в визите.

И вот теперь онный гость, облобызавший Себастьянову руку до самого локтя, стоял себе под люстрой, рассказывая очередную историю из королевского бытия... история, верно, казалась ему увлекательной и где-то забавной, отчего Его Высочество извоили смеяться...

...и не замечать люстры.

А она сползала, все быстрее, не оставляя Себастьяну выбора... и когда зазвенели хрустальные подвески, он решился.

С громким визгом:

— Мышь!

Он бросился на шею Его Высочества, который от этакой прыти несколько растерялся, но девицу визжащую подхватил, правда, не подрассчитал, верно, что она девица его на голову выше и отнюдь не отличается худобой.

Матеуш честно попытался удержать панночку Белопольску, рвущуюся бежать подальше от страшного зверя... но не сумел.

Он вдруг оказался на полу, погребенный под ворохом юбок...

...а в следующий миг с грохотом, звоном и пылью рядом осела люстра.

— Мышь! — развела руками Тиана и, наклонившись к королевскому уху, призналась: — С младенчества мышов боюсь! Они такие... серые... мелкие и с хвостом...

— С хвостом... — Матеуш повторил это, глядя на люстру, металлический остов которой погнулся... и Его Величества, воображением обладавший живым, живо представил, как металл этот, украшенный двумя сотнями хрустальных подвесов, падает ему аккуратно на голову... и голову пробивает... а самого Матеуша стирает в кровь.

— Мышь... — сглотнув, повторил он, — это... это серьезно...

— А то! В прошлом годе дядечка жаловался, что они все зерно в амбаре пожрали! А я ему говорила, что это не токмо мыши...

Слезать Тиана Белопольска не торопилась, а Матеуш не протестовал.

Он лежал, глядя снизу вверх, и надо сказать, что картина королевским очам открывалась весьма прелестная...

...кто-то бегал, кричал...

...кажется, интересовался самочувствием, но Матеуша весьма мало волновала поднявшаяся вокруг суета. Он был жив... благодаря мыши и панночке Белопольской, которая вдруг вспомнила, что не просто так сидит, а на Его Высочестве; можно сказать, на глазах у многочисленных свидетелей бессовестно попирая королевскую власть.

Власть в лице Матеуша была не против...

— Ой, чего твориться... — протянула Тиана, кое-как сползая с Его Высочества. И вставши на четвереньки, огляделась. — Это люстра ухнула, да?

— Д-да, — Его Высочество с неудовольствием отметил, что коленки-то дрожат...

...и не только коленки.

— Люстра. Упала, — повторил он, подымаясь.

Тоже на четвереньки.

И носом уперся в длинный, но прехорошенький нос Тианы... а покраснелась-то как... и растрепалась... чудо до чего хороша... волнуется, переживает, дышит часто, и сам Матеуш дышать начинает, пусть бы и меловой пылью, которой припорошило темные кудри Тианы.

— Жуть! — сказала она и срыгнула. Должно быть от нервов.

Бедняжечка.

Испугалась.

— Не бойтесь, — сказал Матеуш, подвигаясь ближе. Он осознавал, что нехорошо ползать на четвереньках, но ничего не мог с собою поделать. И кое-как сев, приобнял панночку за плечи. — Вы... вы, дорогая моя Тиана...

От ручки ее пахло пылью и камнем, и еще кровью... когда только пальчики свои ободрать сумела.

— Вы мне жизнь спасли!

— Скажете тоже, — она плечиком повела, и плечико это весьма изящно выскользнуло из ворота... платье успело треснуть, и съезжать начало, но было вовремя остановлено Тианой. Сама она зарделась и губку закусила.

— Скажу! — с пылом ответил Матеуш.

Пережитое заставляло острее ощутить жизнь во всех ее проявлениях...

— Вам, моя дорогая, я теперь обязан... не спорьте... хотите, я вам орден вручу...

— Спасибо... — Себастьян вовремя прикусил, язык, с которого едва не слетело «у меня уже есть один». И придерживая расплывающееся платье уже обеими руками, попросил: — Вы лучше шоколадом... шоколад, он, знаете ли, волнение крепко снимает! Вот у дядечки моего супружника как переволнуется, так сразу за шоколад. Сядет и грызет, грызет... целиком от плитки отгрызает! А попросишь кусочка, так не поделится... мол, неместно мне ее шоколад есть... сквалыжная она! Я-то шоколад люблю...

...зря признавался.

Спустя полчаса, кое-как отбившись от излишне назойливого целителя, который то ли выслужиться желал, то ли почуял неладно, но все норовил ручку пощупать, Тиана лежала в постели.

В шелках, кружевах и с уксусным компрессом на высоком лбу.

Матеуш, успевший сменить облачение, сидел рядом, да не просто сидел, а кормил Тиану шоколадом. И кусочки, паразит венценосный, выбирал крошечные, совал в рот... и еще в глаза заглянуть норовил.

— Вы так храбры...

— Да вы что! — Себастьян брал шоколад аккуратно, норовя не облизывать королевские пальцы, во-первых, выглядели оные не слишком-то чистыми, во-вторых... правда об этой истории рано или поздно выплывет на свет божий.

На плаху Себастьяну не хотелось.

И в ссылку тоже.

— Я мышей боюсь! И еще пауков... — вспомнил давешний подарок и, не удержавшись, поскреб шею. — Бабочков опять же.

— Вы боитесь бабочек?!

— Ага.

— Почему?

...потому что от таких бабочек противоестественные наклонности подцепить можно.

— Да... — Себастьян осторожно принял очередное подношение, мысленно прикинув, что запасов шоколада в коробке, которая стояла на коленях Его Высочества, хватит дня этак на

два. — Вы когда-нибудь вблизи бабочку видели?

Матеуш наклонился, точно желая одеяльце поправить... ну-ну... Себастьян тоже, случилось, поправлял... сначала одеяльце, потом простыночку...

— Это ж жуть невообразимая! У нее глаза огромнющие. Огнем горят. И усы... и сама она лохматая... а крылья в чешуе...

— Дорогая, вы уверены, что про бабочек говорите?

— А то!

— Огнем горят, значит... и крылья в чешуе, — Матеуш, кажется, представил себе такого монстра и вздрогнул. — У вас, дорогая моя Тиана, очень оригинальный взгляд на... обычные вещи.

...ну да, обычные... что необычного в привороте?

— Мне жаль, я не знал об этом вашем страхе... — а теперь взгляд у Его Высочества стал весьма задумчив, кажется, он прикидывал альтернативные варианты. — Впредь обещаю быть осторожней... щадить ваши чувства...

И наклонился еще ниже.

Себастьян вжался в подушки...

— Скажите, чего вы еще боитесь...

В выпуклых белесых глазах Его Высочества ненаследный князь увидел решимость.

— Крысюков. Пауков? Про пауков я, вроде, говорила... и ящерок. Змей. Темноты. И когда сзади орут...

— Клянусь, я сзади орать не стану...

— Колдовок боюсь... у нас в городе жила одна старуха, натуральная колдовка! С носом кривым. И на глазу бельмо... вот ежели бельмо на правом, то это еще ничего...

Его Высочество, выдохнув:

— Да...

...склонились еще ниже... а подушки сделались плотными, и сколь Себастьян ни старался, сколь ни ерзал, отодвинуться не вышло.

— Я... вас очень внимательно слушаю...

...еще ниже, носом носа касаясь. И от такой интимности прямо кулаки зачесались. Себастьян их на всякий случай под одеяло спрятал.

— Да... нечего слушать... я уже все...

Матеуш вытянул губы трубочкой и попытался-таки поцеловать...

...Себастьян взвыл, вскакивая...

...но Его Высочество взвыл еще громче и отпрянул, прижимая к губам руки...

— Фто это было? — спросил он отнюдь не любезным тоном.

— Дядечка... п-подарил... — Себастьян прижался к стене, не спуская взгляда с королевича.

Тот же медленно, недоверчиво ощупывал распухшие губы, которые медленно наливались нездоровым багрянцем.

...вот спасибо Аврелий Яковлевич за заботу, только предупредить мог бы!

— К-кулончик, — слегка заикаясь Себастьян, вытащил из-под длинной рубашки вышеупомянутый кулончик. — Н-на всякий случай.

Матеуш издал долгий протяжный звук, от которого Себастьяново сердце оборвалось.

— Чтоб не с-соблазнил никто... д-до свадьбы.

Его Высочество, продолжая ощупывать губы, кивнул.

До свадьбы значит.

Он не был зол, скорее несколько раздражен и удивлен, но удивление это в новообретенной жизни, которая продолжалась, несмотря на люстру, было чем-то вполне себе естественным.

А Матеушу казалось, что он разучился удивляться.

...и смеяться... тем паче, если над собой... а ведь и вправду смешно... соблазнитель... губы онемели, распухли и цвета стали уже не красного — пурпурного.

Королевского весьма.

И он, тряхнув головой — жест этот никак не увязывался с венценосным образом, а потому вытравливался воспитателями с особым тщанием, как и привычка грызть ногти — рассмеялся. Громко.

Неприлично.

И долго. Гортанный некрасивый смех его, который многочисленным гувернерам так и не удалось облагородить, был слышен далеко за пределами комнаты. Но Матеушу впервые было наплевать.

Он живой.

И жизнь прекрасна, даже когда губы на поллица расползлись. Тиана же, опустившись на шелка и кружево, вцепилась в одеяло, натянула по самый нос и из-за этой ненадежной преграды внимательно наблюдала за королем.

— А... а шоколад очень вкусный, — сказала она, когда Матеуш отсмеялся. — К губам надо медень прижать. Меня как-то пчела укусила... у дядечки улы стоят, медок собственный дуже хороший, но пчелы — злющие, что выдры! И я пейзажу писала, а она как подлетит! Как в губу вцепится! Та и распухла... вот мне стряпуха подсказала медня приложить, чтоб спухлость

прошла... и прошла...

Звенел голосок панночки Белопольской, которая, конечно, не особо умна, но прелесть, что за дурочка... и птицы за окошком пели...

...и розами пахло.

И лето горело во всей его летней красе...

Как бы там ни было, но Цветочный павильон Его Высочество покинули пусть и с распухшими губами, но в настроении великолепнейшем.

До свадьбы, значит?

Будет ей свадьба... вот сразу после конкурса и будет...

...терпение не относилось к достоинствам Матеуша.

Глава 4

Лихо вернулся за полночь.

И ни слова не сказал, но сгреб Евдокию, уткнулся холодным носом в шею, да так и замер. Стоял мокрый, взъерошенный... и пахло от него вином.

— Лихо...

— Все хорошо, — он все же заговорил. — Все хорошо, Ева... он к тебе больше и близко не подойдет...

— Не подойдет, — согласилась она, просто потому, что сейчас, чувствовала, надо было соглашаться.

И пряди мокрые разбирать. И рубашку стянуть, которая прилипла к коже, а кожа эта побелела... придумал тоже, среди ночи купаться... или топить?

— Не подойдет...

— Конечно, а если подойдет, то я его... канделябром, — сказала и не выдержала, рассмеялась. — Я подумала, что насмерть... представляешь, если бы и вправду насмерть? Не то, чтобы сильно жаль, но ведь судили бы... и на виселицу.

— Женщин не вешают.

— Тогда что?

— За непредумышленное убийство? — Лихо переспросил и нахмурился, словно и вправду раздумывая, что грозило бы Евдокии, окажись голова старшего актора не такой прочной. — Сослали бы в приграничье, на поселение...

— Ну, приграничье всяк лучше плахи.

Он не злился. И не собирался Евдокию обвинять. И конечно, она-то ни в чем не виновата, но... неприятно.

— Я бы не позволил тебя обидеть...

А глаза уже не зеленые, желтизной отливают волчьей... не глаза — злотни новенькой чеканки.

— Лихо...

— Все хорошо, — повторил он, улыбаясь какой-то на редкость беспомощной растерянной улыбкой. — На самом деле все хорошо...

Ложь.

Но не в том, что случилось недавно, потому как происшествие это было несурaziцей, глупостью, и Лихо понимает, иначе не пришел бы.

Позволил себя уложить.

И Евдокия рядом легла, голову на плече пристроила.

— Рассказывай, — велела, хотя и не думала, что он подчинится. Но Лихо, коснувшись губами макушки, заговорил.

— Мы с Себастьяном ладили. С остальными сложно... нет, я люблю всех своих братьев и сестер тоже, но... с ними было не так. Велеслав вечно жаловался... Яцек — чуть что, так и в слезы... прочие — вообще малышня... а Бес — он веселый...

— Погоди, — Евдокия отстранилась. — Он твой... брат?

— Старший, — кивнул Лихослав.

— То есть ты... князь Вевельский?

— Буду когда-нибудь. Но да, а что?

— Ничего.

Но локтем в бок толкнула, вымещая раздражение.

И ведь умом-то понимает, что Лихослав не виноват в прошлых бедах, даже не Евдокииных, а семейства ее, но все одно обидно.

Князь.

Вевельский... так это получается, что потом, после свадьбы сама Евдокия княгиней станет? Мысль эта показалась ей столь нелепой, смешной, что Евдокия фыркнула.

Какая из нее княгиня?

Недоразумение одно.

— Не волнуйся, этот титул... ерунда одна... — Лихо перевернулся на бок и, в глаза заглянув, тихо добавил. — Если он вообще мне достанется... по праву он должен Себастьяну принадлежать. Но отец решил, что... он не любит странностей. А Бес всегда был странным... я-то многого не помню по малолетству, зато вот понимаю распрекрасно, что если отец про меня дознается, что я...

— Волкодлак.

— Да, — он потерся щекой о ладонь. — Он вполне способен еще один отказ написать.

— Как?!

— Обыкновенно. В Статуте имеется пункт о чистоте крови, а моя теперь, сама понимаешь... — и замолчал, напрягся вновь, разве что не скалится.

Вот бестолковый.

— Поэтому если ты решишь, что...

— Сбежать вздумал? — Евдокия дернула за жесткую прядь.

— Я?

— Ты! Все вы, как девицу в постель уложить надобно, золотые горы словесами сыплете, а как в храм идти, разом десять причин находится... то он не князь, то волкодлак... нет уж, дорогой, раз обещался...

— Обещался — женюсь. Ева...

— Что?

— Ничего, — высвободив ее руку, Лихо прикусил пальцы. — Ты и вправду не боишься?

— Того, что тебя титула лишат?

— И этого тоже...

— Этого — точно не боюсь, — нужен Евдокии княжий титул примерно как козе телескоп.

— А того, что я... вдруг они ошиблись? И крови хватит, чтобы обернуться...

...а вот этого он сам боялся.

— Лихо, скажи, если бы была хоть малый шанс на то, что ты волкодлаком станешь, тебя бы выпустили оттуда? — она спрашивала, в глаза глядя.

Дрогнул.

Отвернулся и ответил:

— Нет.

— Дай угадаю, свои бы и прибили... а после прислали письмо, что, мол, погиб во славу короля и отечества?

— Да.

— Но ты живой и здесь.

— Живой и здесь, — повторил он, точно сам себе до конца не веря.

— И значит, не бывать тебе полноценным волкодлаком.

Поцеловала в холодную щеку.

— А если и так, — сдаваться этот упрямец не был намерен, — хватит и того, что скажут, если вдруг выплывет... рано или поздно, но выплывет... скандал случится...

— Напугал.

— Нас перестанут принимать в свете...

— Меня и до того не принимали.

— Ты упрямая.

— Я, между прочим, замуж в кои-то веки собралась, а ты мне тут чинишь препятствия, — Евдокия легла на живот, так сподручней было его разглядывать. — Волкодлак и... волкодлак... зато если с волчьей кровью, то однолюб... сам говорил...

— Когда?

— В поезде!

— Так мало ли, что я там говорил! Переволновался, вот и нес всякое...

Улыбается. И улыбка — вполне себе человеческая, а что клыки слегка выглядывают, так это на луну.

— С чего это ты там переволновался?

— А не помнишь? Ты меня крендель украсть заставила!

— Я заставила?!

— Ты, — Лихо щелкнул по носу. — Прямо таки потребовала... мол, не принесешь крендель, не будет разговора...

Врет, не так все было! Но возмутиться Евдокии не дали.

— Ева... значит, не передумаешь?

— А тебе хочется, чтобы я передумала?

— Нет, я... боюсь, что ты передумаешь.

— Не бойся. Не передумаю. Ты на мне женишься. И мы будем жить долго и счастливо... а если вдруг слухи пойдут, то и леший с ними. Уедем из Познаньска... в Краковель, у маменьки там дом... но мы лучше свой купим, где-нибудь за околицей, чтоб любопытных поменьше. С подвалом и цепью...

— Зачем?

— Тебя сажать стану, ну, если вдруг на полную луну выть вздумаешь. А шерсть и вычесывать можно... я слышала, что собачья шерсть очень теплая, из ее еще пояса вяжут, от ревматизму.

— Жестокая!

— Практичная. Представь, какой прибыток! Тебе-то ничего и делать не надо, сам порастешь...

Он не выдержал, рассмеялся, должно быть, представивши, как сидит на цепи, а Евдокия с крупным овечьим гребнем шерсть дерет, приговаривая, что та нынешней луной особо длинная и хорошо блестит...

— Опять же, на охоту тебя выпускать можно будет...

Смеялся тихо, но на душе от смеха его становилось радостно.

— Практичная... как есть практичная... — Лихо прижал к себе. — Замечательная...

Успокоился.

И лежал, разглядывая потолок, молчал, но молчание в кои-то веки было не тягостным. Евдокия не мешала, она сама пыталась представить будущую их жизнь, настоящую...

Какую?

Какую-нибудь, хорошо бы счастливую... имеет же она, Евдокия, право на счастье? Княгини из нее не выйдет, это точно... и что скажет Тадеуш Вевельский о такой невесте? Не обрадуется... или напротив? Дела-то семейные, Лихо сам признался, идут плохо, а за Евдокией — деньги стоят... и значит, примут. Деньги — точно примут, а вот ее...

...если подумать, то купеческая кровь в чем-то сродни волкодлачьей. Вреда-то от нее нет, а стыдно... нет, прочь такие мысли.

Лихо не позволит обидеть.

Ему Евдокия верила.

— Мы виделись-то с большего летом... Беса в имении держали... он же лет до шестнадцати вовсе уродцем был.

Странно этакое представить.

— Горбатый и с хвостом, и еще характер его упертый, если чего решит, то сдохнет, а исполнит... но характер ладно, а вот хвост его отцу поперек горла был. Ну и остальные... они на отца смотрели... нет, не подумай, что он плохой. Обыкновенный человек. Боится непонятного. В общем, с Бесом оно понятно, а из меня князя делали.

— Это как? — поинтересовалась Евдокия.

— Обыкновенно. Учеба... манеры... и манеры важнее учебы... чтоб держаться уметь, отца не опозорил. Он страшно боится позора... и скандалов жуть до чего не любит.

Лихо провел ладонью по спине, не то ее успокаивая, не то сам успокаиваясь.

— Он думал, что Бес до конца своих дней будет в поместье сидеть. Нет, смерти не желал, но... чтобы на люди не показывался, не напоминал о своем...

— Уродстве?

— Да. А он взял и сбежал. В полицию пошел... князя Вевельские никогда в полиции не служили. Армия — дело другое, армия, она изначально для благородных. А вот мошенников ловить, отребье всякое... отец тогда кричал так, что покраснел весь. Требовал, чтобы контракт разорвали...

— Не получилось?

...не получилось.

И давно все было, а надо же, Лихо все распрекрасно помнит. И отцовский бас, от которого, казалось, стекла дрожали, и сами эти стекла, серые, затянутые рябью дождя, словно рыбьей чешуей облепленные. И старый вяз за ними, на который он, Лихо, пялился, когда становилось вовсе невольно...

Как сейчас.

Сидел над книгой, читал, а что читал...

...помнит и сухое лицо очередного гувернера, которые менялись так часто, что Лихо давно уже перестал воспринимать их, как людей.

Функция.

Из тех, которыми полна тетрадь по арифметике. Функции не даются, и с латынью у него неладно, да и, кажется, со всем, помимо фехтования и верховой езды. Вот лошадей Лихо любит.

А лошади — его.

И в тот день он думает лишь о том, что из-за дождя прогулку, скорее всего отменят... а отец все орал... кажется, на мать.

— Не отвлекайтесь, — сказала функция-гувернер, стукнув указкой по столу.

Он бы и рад, но... тоска...

...а скандал все длится и длится... и когда гувернер все-таки уходит, он исчезает как-то незаметно, растворяясь в огромном и раздражающе пустом доме.

Лихо запрещено выходить из классной комнаты. У него есть задание, которое он должен сделать, но арифметика с геометрией в голову упорно не лезут, и он выбирается из-за стола, снимает жесткие ботинки и на цыпочках крадется к двери.

Подслушивать нехорошо, недостойно князя, но Лихо уже устал пытаться быть достойным, все равно ведь не получится... и любопытно.

Он обманывает старые скрипучие петли, и дверь отворяется почти беззвучно, выпуская голоса.

— ...это все ты! — отец уже хрипит.

Он расхаживает по гостиной с газетой, которую держит в кулаке, и кулаком потрясает. А матушка неподвижна. Отвернувшись, будто бы разглядывает цветочную композицию. Лихо не видит.

— Ты его распустила! Потакала во всем! И что теперь?

— Ничего стгашного, догогой, — тон матушки спокоен, но спокойствие это обманчивое, Лихо видит, что она — зла, но не способен понять, на кого. — В конце концов, может, Себастьян отыскал свое пгизвание.

— Ловить шпану по подворотням?!

— Кто-то должен делать и это.

— Кто-то пусть и делает! Но мой сын не будет...

— Твой сын уже это делает, — матушка позволила себе улыбнуться и произнесла мягко, успокаивая. — В честном тгуде нет ничего позогного.

Зря она это сказала.

Отец побагровел.

Захрипел. И скомкав газету, швырнул в маменьку, к счастью, не попал.

— Это... это ты его подбила! Мой сын позорит родовое имя!

— Тем, что желает служить?

— В полиции! — взвыл отец. — Служить в полиции! Под началом какого-то... да мои предки...

— Думаю, отнеслись бы к ситуации с пониманием.

— Ты... ты ему потакала... во всем... ты... я...

— Успокойся, догогой. Ты дугно выглядишь. В твоем возгасте подобные волнения чгеваты, — матушка подошла к низкому столику и, плеснув в бокал виски, подала отцу. — Выпей.

Бокал полетел в стену.

А Лихо вцепился в ручку, не зная, как быть, войти или...

— Ты... ты думаешь, что отомстила?

— Помилуй, догогой, газве у меня есть пгичины для мести? — как показалось, матушка произнесла это с насмешкой, которую услышал не только Лихослав.

— Я тебя... — отец рванул воротничок рубашки, и серебряные пуговицы дождем посыпались на пол. — Я тебя в монастырь отправлю... за твои шашни...

— Боюсь, сейчас не те вгемена, догогой, — тем же спокойным, слегка насмешливым тоном отвечала матушка. — Ты, конечно, можешь подать на меня в суд... но сомневаюсь, что пгилюдное газбигательство пойдет на пользу князьям Вевельским. Не говога уже о том, что и мне найдется чего сказать...

Она обошла отца, двигаясь с обычной своей неторопливостью, и Лихо едва-едва успел отступить.

— Я была с тобой тепелива, Тадеуш, — произнесла княгиня Вевельская, остановившись у двери. — Но ты долго испытывал мое тепение. Не заставляй меня вспоминать о... нашем богачном контгакте. Помнится, там есть пункт о том, что в случае газвода я могу тгебовать возгашения пгиданого.

— Третей части, — глухо уточнил отец.

— Тгетей части... мне хватит и этого. А вот хватит ли у тебя сгедств, догогой, чтобы отдать мне эту тгетью часть?

Отец молчал. И матушка, мягко улыбнувшись, произнесла:

— Не будем ссогиться по пустякам... хотя бы гади детей...

...наверное, ей следовало инициировать развод раньше, тогда, глядишь, и сумела бы получить хоть что-то из остатков приданого.

А она ждала.

Ради детей.

Ради эфемерных приличий, которые когда-то и для Лихослава имели значение, а теперь вот самому смешно.

Женщина, от которой остро, притягательно пахло свежим хлебом, лежала рядом и слушала. Она была живой и горячей, и по праву принадлежала Лихо, но он все одно трогал ее, убеждаясь, что не мерещится. И петля под сердцем таяла, не та, колдовская, по дури прихваченная, а другая, о существовании которой Лихо и не подозревал.

— Потом-то решили, что раз контракт разорвать нельзя, надобно пользоваться... дескать, князь и простым людям служит... Бесу это не по нраву было, но тут особо ничего не сделаешь. Пишут. Славят. А уж после той истории с Познаньским душегубцем... он второй год служил... женщин стали находить убитых. И не просто там... он их душил, но не до смерти, а потом, придушенных, резал... мы тогда с Бесом стали часто видеться. Он квартиру снял. Я при казармах...

И видя недоумение, пояснил:

— После Бесова побега спровадили, чтоб, значит, был под присмотром. К слову, мне там нравилось...

Евдокия фыркнула, кажется, не верила. А зря.

И вправду нравилось. Никаких тебе гувернеров, арифметики или латыни. Иная, взрослая, казавшаяся до того запретной, жизнь.

— Ну да к истории с душегубцем про Беса не то, чтобы забыли вовсе, скорее уж привыкли. Ничего серьезного не поручали, берегли, чтоб ненароком чего... не уберегли. Он же не дураком был, понимал все... ну, что сидеть ему в управлении на бумажной работе. А тут такое... вот он сам и влез. И я с ним...

— Ты?

— Я... говорю ж, Бес не дурак. И не самоубийца. Вот и попросил подстраховать.

— А ты согласился, — мрачно заметила Евдокия.

— А я согласился... я рад был. Это ж приключение! Настоящее! К тому времени успел заскучать. Королевская гвардия — это... паркетные войска. Тоска смертная. Пара сотен родовитых бездельников делают вид, что служат... нет, они и служат, конечно, но все же служба эта такая, что поневоле взвоешь... поначалу только весело, а потом — одно и то же, карты, бабы, сплетни.

— Бабы, значит, — Евдокия щелкнула по носу.

— Это давно было! И вообще, я в отставке!

— Это хорошо...

— Что давно?

— Что в отставке, — теплая ладонь прижалась к груди.

...а вдруг да и вправду истаёт проклятье?

Сказка. Но нынешней ночью ущербной луны, как никогда прежде, хочется верить в сказки. И живой запах его, Лихослава, женщины — чем не подтверждение?

— Он раздобыл амулет, который глаза отводит... для меня, конечно... потом выяснилось, что Душегубец ведьмаком был... необученным, но сильным... его сила, выхода не нашедшая, с ума и света... он меня видел, только всерьез не принял. Решил, что поклонник... не угроза. Да и то верно, шестнадцать лет с хвостом, какая угроза... это я сам себе казался грозным...

— Ага, как щеня на подворье.

— Точно, щеня... два щенка, вообразившие, что обманут всех. Себастьян вычислил, с кого все началось... первая жертва... цветочница. Он ее за два года до того зарезал... дело списали на ограбление, да только тело покровосали, а серьги не тронули... там еще что-то было, он мне объяснял, только я уже не помню. Бесу бы доложить, дальше бы потянули за эту ниточку, глядишь и вышли бы на ее ухажера, которому девица от ворот поворот дала. Он и сам-то на него вышел. Медикус-недоучка... таксидермист... от него, помнится, скипидаром крепко воняло. Доказательств не было.

Лихослав провел когтями по щеке своей женщины.

Когти были твердыми и не исчезали... прежде-то, если и появлялись, то на полную луну, и под перчатками незаметно было... подумаешь, стал немного неуклюжим, с кем не бывает...

...и верно, знай полковой ведьмак, что когти станут появляться задолго до полнолуния...

...и что Лихо слышит сам шепот луны, ласковый, женский... призрачный, но все же явный, столь явный, что перебить его можно лишь словами, вот и выплывает он историю из прошлого, чтобы от настоящего спрятаться.

Не отпустили бы.

Верно сказала Евдокия, свои бы и... и правильно, Лихо видел, как оно бывает, когда человек

нелюдью становится. И страшно. Не за себя, за нее, мягкую и доверчивую, сладко пахнущую свежим хлебом, и еще солнцем, от которого ныне в глазах рябит...

...и Аврелию Яковлевичу Лихо верит.

...нет, если бы имелась хоть крошечная вероятность того, что Лихо опасен, не выпустили бы...

— Вот Бес и решил... в платье вырядился... заказал точь-в-точь такое, как на той цветочнице было... и лицо ее надел... и вышел, прогулялся по улице... в кофейню завернул... мы посидели, а потом он вроде бы как к парку направился, а я отстал.

Вечер.

Близость осени, которая ощущается дымом на языке, терпкий сладковатый вкус. Лиловая дымка, еще не туман, но предвкушение оно. И узенький серп престарелого месяца, который вот-вот исчезнет, чтобы переродиться. Солнце наливается закатной краснотой.

Фонари уже горят.

И городской долго глядит вслед панночке, которой вздумалось выйти на прогулку в этакое время, то к свистку тянется, то отпускает, не способный решение принять. И Лихо не по себе от того, что этот деловитый человек способен порушить весь их такой замечательный план.

Но городской остается позади.

И парк встречает тишиной, осеннюю прохладцей.

Дорожки. И пруд с жирными утками и жирными же голубями, что бродят по берегу, выискивая хлебные крошки... старый фонтан... клены, на листьях которых уже проклюнулся багрянец...

Девушка в легком фисташкового оттенка платье.

Шляпка.

Ленты... ветерок играет с ними, и Лихо удивляется тому, что неужели вот эта, темноволосая девушка — и вправду его родной брат? Если б не видел, как Себастьян менялся, не поверил бы.

Видел.

И сейчас смотрел, да только все равно пропустил момент, когда возле девушки появилась фигура в сером плаще, полы которого взметнулись крыльями, на мгновение закрывая девушку от Лихослава взглядом.

— Мы не знали, что он ведьмак... он и сам не знал... у него случались выбросы силы, когда убивал... и перед убийством. В моменты очень сильных эмоций. Аврелий Яковлевич так сказал. И еще сказал, что этот... силы своей боялся. Он был из староверов... строгого воспитания, понимаешь? Из тех, которые полагают, что любая сила — от Хельма.

В темноте и глаза ее темны, не зеркала души — озера...

...серые озера воды на бело-сизых полях мха. Бездонные, беспокойные, так и манят подойти к самому краю, заглянуть...

...ложь, эта вода не дает отражений, сколько ни вглядывайся, а если вдруг увидишь, то значит, что Серые земли в душу проросли, и оттуда их не выкорчевать, как ни пытайся.

— Он и убил-то, потому что сила проснулась... влюбился... а она не ответила взаимностью, зато сила выплеснулась... и решил, будто его прокляли... убил, чтобы проклятье снять.

Серые крылья сминают воздух, и он идет волной, которую Лихослав видит.

Но и только.

Он не способен уйти с дороги волны, как не способен кричать... и замирает, принимая удар. Как-то очень громко, отчетливо хрустят кости, и кровь выплескивается из горла на траву... и запах ее, и еще кислый — рвоты, мешают потерять сознание.

А полотняные крылья плаща обнимают девушку в зеленом платье... и кажется, Лихослав все-таки кричит, только крик оборачивается клекотом, точно это не душегубец, а он, Лихо, в птицу превращается...

— Нас спасло, что тот городской все-таки сообщил патрулю... и я захватил тревожный амулет... не помню, правда, как активировал...

Ее руки успокаивают, хотя память уже не причиняет боли.

Она, эта память, на редкость послушна. И ныне прорастает серыми стенами госпиталя Святой Аурелии... серые стены и солнечные зайчики. Узкое окно с широким подоконником, на который садятся голуби, толкаются, курлычут. И шелест птичьих крыл выводит из полусна.

Ненадолго.

Надолго нельзя, но когда Лихослав открывает глаза, то видит и окно с голубями, и стену... солнечные зайчики постепенно переползают к двери, и с ними уходит тепло.

Лихо знобит.

— Это у вас, любезный мой друг, от потери крови, — говорит медикус и пощипывает себя за усы.

Хорошие усы. Длинные.

— И последствия удара сказываются... чудо, что вы живы.

Чудо. Наверное. И Лихо хочет узнать про брата, но говорить не получается, в горле — то же клекотание, но доктор понимает:

— А брат ваш жив... герой...

Он приносит газеты, пусть и не свежие, но вкусно пахнущие бумагой, и чьими-то руками, которые этих газет касались, апельсинами, травой... Лихо прежде не знал, что от запахов может быть так хорошо. И от слов. Ему читает сиделка, которую приставили, потому как он, Лихо, должен лежать неподвижно. У него кости сломаны, порваны мышцы и вообще в кишках дыра. Лихо ее не видит, но в отличие от нынешнего проклятия, чувствует распрекрасно.

Ему стыдно, и за дыру, и за то, что зарастает она медленно, несмотря на все усилия целителей, которые стараются, но...

...приходится лежать.

День за днем.

Сиделка читает, а еще моет и судно подает, и Лихо никак не способен привыкнуть к этой процедуре, которая, пожалуй, более мучительна, чем ежедневные визиты ведьмака.

Аврелий Яковлевич, душевно матерясь, выкручивает кости, сращивая разломы, и больно... неизмеримо больно, но лучше боль, чем обжигающий стыд, что он...

...статьи слушает.

Интересно.

И рад, что Себастьян быстро на поправку пошел.

Он герой... все об этом пишут...

— Погоди, — Евдокия дернула за волосы. — Получается, что твой братец, который тебя в эту авантюру втянул, стал героем?

— Он ведь поймал душегубца, а победителей не судят...

...особенно, когда победители нужны, дабы поднять престиж полиции. Про это рассказал Бес, который тогда еще немного стеснялся этой новообретенной славы и героем себя вовсе не чувствовал.

— А ты?

— А что я? Я ведь только рядом стоял...

Евдокия не согласна. И хмурится...

— Мне эта слава героическая без надобности была... а вот Бес — дело другое... он ведь тоже долго считал себя уродом... а тут вдруг — не урод, но герой. Его к награде представили... и Его Величество вручал. Отец на вручение явился, гордый был...

— А ты?

— А ты?

— А что я? Я ведь только рядом стоял...

Евдокия не согласна. И хмурится...

— Мне эта слава героическая без надобности была... а вот Бес — дело другое... он ведь тоже долго считал себя уродом... а тут вдруг — не урод, но герой. Его к награде представили... и Его Величество вручал. Отец на вручение явился, гордый был...

— А ты?

...из госпиталя выпустили зимой, и Лихослав спускался по ступенькам медленно, осторожно. Он знал, что здоров, но собственному телу не верил. Кости по-прежнему хрустальными казались, чуть тронь — и рассыплются.

...отец прислал записку, что занят.

Разочарован.

Он так и сказал, в тот единственный раз, когда появился в палате. Лихо не спал, но притворился спящим, потому что было стыдно смотреть отцу в глаза. А тот долго стоял на пороге, разглядывая Лихослава, морщился, думал о чем-то...

— Он полностью поправится? — спросил у доктора, который был тут же и наверняка знал, что Лихо не спит, но выдавать не стал.

— Да.

— Вы уверены?

— Более чем. Угроза для жизни миновала. Организм молодой, но требуется время...

Отец все-таки подошел к кровати, он ступал медленно и старый больничный пол поскрипывал под его весом. Он встал, заслонив и окно, и стену с солнечными зайчиками.

Смотрел.

Потом вздохнул и сказал:

— Я очень разочарован...

...и странно было думать, что к выписке он появится. А матушку Лихослав сам попросил не приходить...

...сослуживцы исчезли, наверное, поверили, что в полк Лихо больше не вернется.

И как-то так получилось, что он стоял один на обледеневших ступенях, не решаясь сделать шаг. Ступеней десяток, а дворник только-только начал лед скалывать...

— И чего встал столпом, — спросил кто-то, набрасывая на плечи теплый плащ. — Сам пойдешь или на руки взять?

— Только попробуй.

Плащ пришелся кстати. Почему-то про теплую одежду Лихо не подумал.

— Перчатки надень, — Себастьян протянул собственные, толстые и на меху.

Спускаться не помогал, но держался сзади, и как-то легче становилось от понимания, что он — рядом. Заговорил только в коляске, которая ждала у входа.

— Прости.

— За что? — Лихослав сидел нахохлившись. Мерз. Он как-то привык к теплу и покою госпиталя, и даже когда ему разрешили выходить в маленький садик, покидал палату

неохотно.

Страшно было.

Кому признаться... страх хуже стыда. И только в палате, среди серых стен, единственным украшением которых был Вотанов крест, он чувствовал себя спокойно.

В саду же вспоминал клены.

И сумерки.

И серую фигуру в плаще... все казалось, взметнутся руки, сминая воздух. И будет больно.

— За все, — Себастьян перестал улыбаться.

— Ерунда...

...он ведь приходил и часто.

Приносил книги, убирал газеты, точно и вправду стыдился того, что в них писали. Читал. Рассказывал что-то, почему-то Лихославу было невероятно сложно следить за этими его рассказами, он терялся в словах.

И не отвечал.

Апельсины принимал. И яблоки, круглые, с полупрозрачной тонкой кожурой, такие только в имении и росли, и значит, Бес за ними в поместье ездил.

О яблоках рассказывать было легко, и еще о том, что Бес помогал с перевязками, и когда Лихо разрешили садиться, садил, потому что у самого Лихослава духу не хватало... и заставлял на ноги встать.

Ходить не учил, но...

Ему не за что было просить прощения.

— Я тебя в это дерьмо втянул, — сказал Бес, поднимая воротник плаща, — и я виноват, что...

Он и сам получил.

Лихо знал.

Удавка. И удар ножом, и клинок мало не дошел до сердца, и если так, то выжил Бес исключительно ввиду врожденной выносливости.

А может, просто чудом.

— Отец приходил, — Бес помог выбраться из коляски.

Привез не домой, а на свою квартирку, и обстоятельству этому Лихо был рад. Домой не хотелось совершенно.

— Зачем?

Лихо с плащом сам справился, и с перчатками, и выдохнул с облегчением немалым: в четырех

стенах он чувствовал себя много спокойней.

— Поговорить. Садись. Чай? Кофе? Пирог?

— Чай. И пироги. С чем?

— А кто ж его знает... с чем попадется.

Попался с кислой капустой, что было в общем-то неплохо.

— Предложил мне титул, — Себастьян есть не стал, выглядел он... раздраженным? — Заявил, что был неправ тогда... и что ты вряд ли оправишься... и если так, то он в своем праве признать тебя недостойным наследником.

Наверное, этого следовало бы ожидать, но все равно было больно. Себастьян же, вылив чай в горшок с фикусом — судя по печальному виду и обвисшим листьям, растение чаевничало неоднократно — плеснул в кружку виски.

— Я послал его лесом... ну не лесом, но послал.

— Почему?

Отойди титул к Себастьяну, разве это не было бы справедливо? По праву рождения, по...

— Ты еще спрашиваешь? — Бес удивился. И удивление его было непритворным, к этому времени Лихо уже приноровился чувствовать братца.

Играть тот любил и умел, но... сейчас он не играл.

— Спрашиваю, — Лихо держал свою кружку обеими руками и остывающий чай нюхал настороженно, пытаясь в запахах травы найти... что?

Сам не знал.

— Лихо... ты и вправду думаешь, что мне этот титул нужен?

— Не только титул, но и...

— Что? Земли? Сколько тех земель осталось? Майорат и кое-какие огрызки? Семейное имение? Ну да, ностальгия меня порой мучит, но не настолько же!

Он осушил кружку одним глотком.

— Да и не в том дело, а... я не хочу становиться князем, Лихо.

— Почему?

— Заладил как попугай... почему, почему... потому. Мне нравится моя жизнь. Титул — это... это только на визитных карточках красиво. В остальном... обязательства и снова обязательства... и еще... и нужно будет думать, как не просадить остатки хельмовых земель... и имение содержать, а я не представляю, за кой ляд я его содержать стану... разбираться с арендаторами... в Совете опять же... нет, туда папаша нас до последнего не пустит. Он же, пока в совете торчит, считает себя очень важным... вершитель судеб.

— Ты на него злишься?

— Злюсь. Еще как злюсь, Лихо. И не понимаю...

— Чего?

— Почему ты не злишься, — Бес швырнул кружку в стену, а когда квартирная хозяйка выглянула, лишь руками развел, мол, само собой получилось.

Она же лишь головой покачала да поинтересовалась, не принести ли свежего чаю...

— Удивительная женщина, — сказал Бес, когда она вышла. — Невероятно крепкая нервная система... я бы себя давно уже убил. Я злюсь не из-за себе. Я ж говорю, такая жизнь не по мне... вот в управлении интересно, правда, Евстафий Елисеевич ругался жутко, но теперь уже не посмеет на бумагах держать. Я ж лицо Познаньской полиции.

Лихо, окинув братца свежим взглядом, лицо оценил.

Наглое.

Неосторожно познаньская полиция подошла к выбору нового образа...

— А вот с тобой он права не имел поступать так! — чешуйчатый хвост щелкнул по столику, расколов блюдо.

— Имел.

— Нет, — Себастьян сложил осколки на поднос. — Я ему так и сказал...

— А он?

— Стал говорить, что просто хочет исправить давнюю ошибку. И что, получив титул, я сделаю хорошую партию... он мне и невесту подыскал. С пятью миллионами приданого... влюбилась, дура...

— Потому что влюбилась?

— Ага... не в меня, в портрет... но ты, Лихо, не отвлекайся. Да пребудут боги с этой дурой... я так папаше и сказал. Ему ведь не ты, и не я нужны... ему эти пять миллионов покоя не давали...

Все сказанное до отвращения походило на правду.

— Я не позволю продать себя... и тебя тоже.

Только слабо верилось, что отец просто так отступит.

...запах того чая остался в прошлом, и слабость предательская, когда казалось, что обида вот-вот выплеснется криком или того хуже — слезами...

В настоящем была женщина, которая слушала. И наверное, умела слушать, если хотелось говорить. И даже становилось не по себе от мысли, что он, Лихо, не успеет рассказать.

— Бес... он вовсе не такой, каким кажется, — легко шептать, касаясь губами мягких волос. — Знаю, что порой он похож на...

— Идиота.

— Легкомысленного человека, — поправил Лихослав. — Но это — наносное... отец не отступился бы сам, но Бес пригрозил, что даст эксклюзивное интервью... расскажет подробно и о своем детстве, и о том... как ему не хватало отцовской любви. В этой своей манере, которая не то шутка, не то... он бы не побоялся ослабить отца на все королевство...

— И правильно бы сделал, — Евдокия коснулась щеки.

Щетина.

И колетса, наверное... и до полной луны не сойдет, но и вырасти не вырастет. Лихо пробовал бороду отращивать, так ведь не росла...

...заговоренная.

Проклятый.

— В общем-то, следующие несколько месяцев я жил у него. В казарму возвращаться было рано, меня б не допустили. Вовсе намекали, что надо бы в отставку подать... по состоянию здоровья.

— Ты не подал.

— Подал бы... Бес не позволил, сказал, что сначала он меня в седло посадит, а потом уж я буду решать, позволяет мне здоровье служить или нет. И посадил. Не только.

Эти воспоминания — с острым запахом шоколада, до которого Себастьянова квартирная хозяйка весьма охоча. С длинными зимними вечерами в лиловых тонах и прогулками.

Прогулки Лихо ненавидит.

Ему страшно. И стыдно за страх.

Он пытается найти причину, чтобы не выходить из дома, и Бес всякий раз выслушивает, кивает и бросает короткое:

— Идем.

Идти приходится.

По улице, мимо людей, стараясь не пялиться на них, не высматривать среди гуляющих фигуру в сером плаще... тот мертв, но есть же другие...

...по парку, той самой дорожке, которая...

...под снегом или дождем, не важно. И Бес рядом, идет, рассказывает очередную свою безумную историю, которая наверняка наполовину выдумана, но Лихо слушает.

Это отвлекает.

— Так получилось, что за эти месяцы Бес стал самым близким мне человеком. К концу весны я вернулся на службу... в общем-то дальше у каждого своя жизнь. Но мы все равно виделись часто... я служил... он тоже... про его подвиги часто писали, правда, редко, чтобы правду... от той истории с бандой Соловейчика у него еще шрам остался... а крышевецкие аферисты едва не утопили... его и отравить пытались, и проклинали...

— А он все живет и живет... пар-р-разит...

— Это да, — Лихо не удержался от улыбки. — Живет и живет... и пусть живет. Он мой брат и... и он никогда не хотел причинять мне боль. Специально. У него порой странные методы, но...

— Ты уехал на границу не только потому, что нужны были деньги?

— Да.

Наверное, это правильно, когда кто-то знает про Лихо едва ли не столько же, сколько он сам.

— Я долго с отцом не разговаривал. Хотя нет, просто не искал встречи, как и он со мной. Вооруженный нейтралитет. Он знал, что Бес рассказал мне о... том предложении. А я знал, что он знает и... как-то вот неловко было. Чувствовал себя виноватым, хотя вроде и причин не было. Но все равно...

Он замолчал, прислушиваясь к темноте, которая смотрела на Лихо пустыми глазами призраков. Он чувствовал их, бестелесых, незримых, рожденных пролитой в доме кровью, но пока еще бессильных.

Пока.

Еще.

Луна росла, а с ней росла и сила дома. И призраки, выглядывая из зеркал, подступали ближе... крались, чтобы остановиться у самой постели. Они видели Лихо иным...

...и не его, но тварь, которая засела в нем.

Боялись.

Пускай. И глухое рычание заставило призраков отступить.

— Все хорошо?

— Все хорошо, Ева...

Сам дом замирает, не готовый пока перечить страшному гостю, но готовый слушать его историю. Пускай...

— Отец сам появился. Пришел. Не просил прощения, но сказал, что за семейным ужином меня ждут. Я появился, думал, что они с мамой помирились, но нет... семейный ужин — это такое мероприятие... довольно тоскливое... сестры, братья... кроме Беса, он по-прежнему был вне рода, пусть отец старательно делал вид, что все замечательно... он приловчился вид делать. Зато были гости...

...девушка в белом платье.

Не только она, но Лихо видел лишь ее... чеканный профиль с курносым носиком и капризно выпяченной нижней губкой, которая показалась ему весьма очаровательной.

Бледный овал лица.

Брови взлет и карие глаза, яркие, разума лишившие...

...а Бес сказал — приворот.

Противозаконно, но очень эффективно... легкая форма, чтобы интерес вызвать... вызвала... Лихо растерялся под взглядом ее. И помнится, смотрел, смотрел, не способный насмотреться. Он и сейчас помнит кисейный туман ее наряда, флердоранж в темных волосах, локон на шее, саму эту шею беломраморную.

Помнит руку и топазовый браслет, казалось, чересчур массивный, тяжелый для хрупкого этого запястья. Помнит, как браслет почти соскальзывал с узкой ладошки, с пальцев чрезвычайно тонких... и тогда Христина вскидывала руку, и браслет падал уже к локтю, сминая кисейный рукав.

А Лихо смотрел, не находя слов, чтобы выразить восхищение...

— Она была купеческой дочерью...

— Прямо как я, — фыркнула Евдокия, локоть выставляя, точно отталкивая. — Тебя, Лихо, прямо тянет на купеческих дочерей...

— Грешен, каюсь... — локоть он гладит, пальцами ощущая шершавую кожу. — Но не раскаиваюсь.

И от поцелуя она уворачивается.

Упрямая женщина.

Окольцованная...

— Ее отец сделал миллионы на соли... а Христина — единственная наследница.

— И вас решили свести.

— Точно, свести...

...тогда все казалось иным, солнечным, весенним. А ведь и вправду весна была, та самая, робкая, с ярким солнцем и лиловыми первоцветами, которые продавали по медню за пучок...

Весна и прогулки.

Парк.

Двуколка. Христина под кружевным зонтиком. Она бережет фарфоровую кожу, слишком нежную, чтобы прогулка длилась хоть сколько бы долго... ветер холодный. И Христина кутается в соболя.

Она молчит, и в этом молчании Лихо усматривает скрытый смысл.

Как и во взглядах.

В каждом ее движении, в самом ее существовании, так резко перевернувшем его жизнь.

...а Бес сказал, что так бывает. Приворот отступает, а душа, не желая расставаться с любовным дурманом, сама уже вспыхивает.

И он, Лихо, полыхнул.

Жил от встречи до встречи, а между ними становился нервным, злым...

...дрался.

И это тоже естественно для приворота. Наверное, он, Бес, уже тогда понял в чем дело, оттого и промолчал... и наверное, будь Христина иной, не стал бы вмешиваться...

Теперь легко гадать.

— Христина попросила познакомить ее с Бесом.

— И ты познакомил.

— Да, почему нет? Я не ревновал... странно, к остальным — да, даже к случайным знакомым. А к нему — нет. Это ж брат и... я гордился, что он мой брат.

Евдокия хмыкнула, кажется, она-то гордости по поводу такого родства испытывать точно не будет.

— Я радовался, что они так легко нашли общий язык. Да, я хотел, чтобы Христина понравилась ему... и чтобы он Христине... большая дружная семья. Дурак?

— Еще какой, — Евдокия провела ладонью по спине, не то успокаивая, не то проверяя, не пробивается ли шерсть.

— Через неделю Бес прислал записку. Пригласил в гости... поговорить... я и появился... ну и увидел... их вдвоем увидел.

И теперь-то горло перехватывает от боли.

Чтобы унять ее, Лихо обнимает свою женщину, крепко, до хруста в костях, а она терпит, гладит щеки. Успокаивает.

— Поначалу думал, что с ума сойду... мне она нужна была... а Бес про приворот... про то, что эта нужность — неестественного свойства, и просто отец в очередной раз решил семейные дела за чужой счет поправить... за мой, значит... а я ему нос разбил.

— Сильно?

— Сильно.

— И полегчало?

— Если бы, — вздохнул Лихослав, губами трогая шею. — Знаешь... всем было все равно. Христина не чувствовала себя виноватой, она прямо заявила, что меня не любила и не любит, и

что взрослые люди всегда сумеют договориться... отец тоже так считал. Сказал, что я дую, что более выгодной партии не найти... сестры плакали... они быстро поняли, что без Христининых денег им не видать красивого дебюта, да и вообще все сложно... братья тоже рассчитывали... быть королевским уланом в столице — дорого...

— Знаешь, — Евдокия наматывала прядь на палец, — я начинаю думать, что Себастьян — единственный относительно нормальный человек во всей твоей семейке...

— Родственников не выбирают.

— Их это не оправдывает. И ты уехал.

— Да. Я... опасался, что уступлю. Знаешь, разумом я все прекрасно понимал. Что Христина меня не любила и любить не будет, что это... приключение — у нее не первое и не последнее... что я не хочу такой жизни. Но разум — это одно, а... я физически не мог без нее. И да, я уехал. Никому ничего говорить не стал... думал, год проведу на границе, а там — как-нибудь... что-то да решилось бы.

Вот только год затянулся на десять.

И если бы не проклятье, то... как знать, хватило бы у Лихослава духу расстаться с Серыми землями? Стоит ли врать себе, что вернуться не тянет.

Тянет.

Есть сны и серое низкое небо, разодранное в клочья. Земля. Моховые поля и перекрученные изуродованные деревья, что застыли между жизнью и смертью. Волчий то ли плач, то ли зов...

— Почему-то мне кажется, — Евдокия спугнула видение, и Лихо судорожно выдохнул. — Что твой отец меня не одобрит.

Скорее всего, но...

— Мне плевать на его одобрение, — Лихо зарылся носом в светлые волосы.

Запах хлеба дурманил.

Живой.

И близкий, и наверное, если счастье есть, то оно именно такое...

— Только пожалуйста, — попросил он на ухо. — Не надо больше Беса канделябром бить... он, конечно, еще тот гад, но... брат все-таки.

— Посмотрим.

Евдокия улыбалась.

И призраки отступили, не перед его силой, но... им нечего было делать в этой комнате.

Глава 5

Рассказывающая о делах сердешных и всяческих страстях

Любовь — это торжество воображения над интеллектом.

Вывод, сделанный профессиональной свахой на закате ее жизненного пути

Лизанька парила на крыльях любви.

Несколько мешал факт, что любовь эту приходилось скрывать ото всех, тогда как Лизаньке хотелось обратного: чтобы каждый человек в Цветочном павильоне, в Гданьске и Познаньске, да и во всем королевстве узнал, что она, Лизанька, скоро выйдет замуж!

Именно так!

И пусть предложение пока не поступило, но Лизанька по глазам видит — уже недолго осталось. Более того, она распрекрасно понимает, что Грель медлит не оттого, что не любит — любит и говорит об этой любви красиво — но потому, что он на задании.

Вот завершится конкурс, вернет он себе истинное обличье и тогда...

...Лизанька жмурилась, представляя себе, как это будет.

Князь в белом костюме — белый ему идет, оттеняет мужественную смуглость кожи — и непременно с букетом в пять дюжин роз. Красных. Потому что белые розы по цвету с костюмом сольются, а красные — контрастно и символично.

Он встанет перед Лизанькой на колени... ладно, на одно колено, и протянет букет, умоляя принять оный знаком его преогромной любви. А когда Лизанька, смущаясь — девицам положено во время сердечных признаний смущение демонстрировать — букет примет, то князь вытащит из кармана бархатную коробочку...

...или лучше, чтобы в букете спрятал?

Лизанька призадумалась.

Мечта об идеальном предложении руки и сердца — это не просто так, она должна быть тщательно проработана.

Нет, в розах — не то, розы колются... да и как она будет искать это колечко? В каждый бутон заглядывать? Пусть лучше иначе, чтоб она с цветами стояла и смотрела на князя, естественно, со смущением, но благожелательно, взглядом подбадривая. А то ведь права маменька, мужчины — существа тонкой душевной организации, их легко смутить и оттолкнуть.

Лизаньке же замуж надобно.

Итак, князь достанет из кармана коробочку и крышку откроет, этак, мизинчиком.

Кольцо Лизанька тоже представляла себе очень даже конкретно. И не представляла — видела в одной ювелирной лавке, еще там, в Познаньске, о чем тонко ухажеру намекнула, как и о количестве роз... и про сорт надо будет сказать.

Зачем?

А потому что за воплощением собственной мечты в жизнь надобно контролировать пристально, чуть отвернешься, или розы подменят, или кольцо. Нет, ее будет идеальным, из белого золота с крупным чистой воды алмазом, окаймленным мелкими сапфирами. Простенько, дорого и со

вкусом...

Жаль, что нельзя намекнуть на речь... но князь и в нынешнем обличье отличался завидной фантазией, а потому Лизанька надеялась, что с речью он как-нибудь сам справится, придумает покрасивше... например, скажет, что увидев ее, потерял покой и сон. Или что не способен дальше жить и, ежели она, Лизанька, ответит отказом, то немедля вышибет себе мозги...

Лизанька поморщилась и решительно вычеркнула эту фразу. Все-таки девичьи мечты с вышибленными мозгами увязывались слабо. Скажем, если она ответит отказом, то... то князь уйдет в монастырь.

Да, и романтично, и в живых останется. Она же, Лизанька, не зверь какой...

Но ответ даст не сразу, потому как сразу соглашаться на предложение кавалера — дурной тон. Она вздохнет, скажет, что все это — ну очень неожиданно, и она просто не понимает, как ей теперь быть... и что, конечно, слова князя ей очень льстят, но она не сможет пойти против воли маменьки и папеньки...

...нет, сможет, конечно, но князю о том знать вовсе не надобно, как и о том, что маменька всяко препятствовать не станет, а с папеньки спрос невелик. Смирится.

Как бы там ни было, но Лизанька, смущаясь еще сильнее, нежели прежде, все ж ответит, что сердце ее всецело принадлежит князю, и что иного мужа она себе помыслить не могла... и еще что-нибудь в том же духе. Ей несложно, а ему приятно...

И колечко примет...

...надо будет и на размер остороженько намекнуть, а то нехорошо получится, если заветное колечко, скажем, маловато окажется. Дурная примета.

Лизанька вздохнула и уставилась на собственные пальчики, чудо до чего бледные и изящные.

Сколько забот... а еще конкурс этот... и папенька... вздумалось ему навестить... и ведь не просто так появился, а с очередной нотацией... небось эта, черноглазая, донесла...

С-стервозина!

Ничего, Лизанька по нее тоже найдет, чего рассказать...

— Скучаете, моя прелестница? — Грель появился из кустов и с поклоном протянул Лизаньке розу. Красную. Слишком, пожалуй, красную. Надо будет сказать, что Лизаньке очень по вкусу темные, чтоб почти черные были... да, такие хорошо в букете смотрятся.

— Как можно? — Лизанька розу приняла и, поднеся к носу, вдохнула аромат. — Вы же здесь...

И взгляд долу опустила.

Грель же, обойдя лавочку, которая стояла в месте приятно уединенном, скрытом от любопытных глаз зарослями колючего бересклета, присел рядышком.

И за руку взял.

И ладонь поцеловал, а потом и каждый пальчик, и взгляд его пылкий заставлял Лизаньку то краснеть, то бледнеть, воображая себе уже не предложение, но их первую ночь...

...после свадьбы...

...свадьба Лизаньки тоже должна пройти идеально.

Платье Лизанька уже выбрала и для себя, и для подружек невесты... вот обзавидуются-то... и надобно будет репортеров пригласить, настоящих, а не как это недоразумение, с которым Лизаньку угораздило связаться... знать бы наперед, что она сама и без помощи...

— Ах, дорогая моя, скажите, о чем вы думаете? — Грель оставил левую ручку в покое и за правую принялся.

Усы его щекотали ладонь...

...и хорошо, что у князя усов нет. Не то, чтобы неприятно, но... непривычно.

— О нас...

— О нас, — томно повторил он. И замолчал, ручку Лизанькину пальцами сжимая, глядя этак, с выражением... — Вы и я, моя дорогая Лизавета... Мы созданы друг для друга... предназначены свыше...

Вот! Лизанька всегда так думала, и маменькины карты твердили то же, а папенька все упрямился. Но теперь-то и он поймет...

— Наши судьбы связаны той незримой нитью, которая...

Он говорил так пылко и страстно, что Лизанька заслушалась, а оттого и не заметила, как вдруг оказалась в объятьях князя.

— Что вы...

— Молчите, искусительница!

Молчит.

И вообще она, конечно, мечтала об объятьях, именно таких, страстных и романтических. Не хватало, правда, пения соловья. И хорошо бы на закате... или вовсе при полной луне, а то ведь полдень почти... зато розы цветут, и розы, пожалуй, луне замена подходящая.

...и первый их поцелуй должен был быть не таким. Нет, Лизанька, конечно, в поцелуях не разбирается, но ей показалось, что нынешнему несколько не хватает нежности.

Торопливый.

Жадный какой-то... и что за манера язык в чужой рот совать? Или это так надобно? Неудобно спрашивать... девице влюбленной надлежит испытывать трепет и чтобы бабочки в животе порхали.

Лизанька прислушалась.

Трепета не было. Бабочек тоже. В животе стараниями панны Клементины образовалась удивительная пустота, которая заставляла с тоской думать вовсе не о поцелуях, но о маменькиных варениках с вишней.

Они диво до чего хороши получались, а вишня, небось, как раз и поспела, красная, сочная.

— Ах, моя дорогая, — Грель все же разжал объятья, и Лизанька с преогромным облегчением опустилась на лавку, подумала, что, возможно, и обморок следовало бы изобразить, но после от сей идеи отказалась: вдруг подхватить не успеет? А трава не особо чистая... да и возвращаться пора, панна Клементина что-то там о снимках говорила... — Простите меня! Ваша красота заставила меня потерять голову!

Лизанька с готовностью простила.

В конце концов, так даже лучше: глядишь, еще через пару поцелуев она привыкнет и к усикам, и к языку...

— Терять голову, — раздалось из кустов, — весьма неразумно. Как шляпу носить станете?

Хрустели ветки, дрожали листья, облетали на дорожку цветы. Панночка Белопольска, кое-как продравшись сквозь барбарис, сбила с плеча былинку.

— Вот у нас в городе, — она поправила растрепанный бант и паутину, что приклеилась к подолу платья, смела. — Девиц по кустам зажимать не принято.

— Мне кажется, — с достоинством ответил Грель, окидывая акторку насмешливым взглядом, — вы лезете не в свое дело.

— Я? Да я не лезу, я так, мимо проходила, а тут вы сидите...

А ведь донесет.

Видела все. И то, как князь Лизаньку обнимал, и то, как целовал. И ладно бы просто видела, но нет, влезла... и папеньке отпишется...

...тот на князя осерчает.

Лизанькина идеальная мечта задрожала, готовая прахом осыпаться. Этого она точно не могла допустить и потому, одарив акторку неприязненным взглядом, сказала:

— Грель... ты иди, дорогой... а мы тут сами...

Спорить Грель не стал.

И правильно. С женщиной разговаривать женщина должна, а то мужчины вечно все не так понимают. Акторка проводила Греля долгим внимательным взглядом, в котором Лизаньке почудилась насмешка. А насмехаться над любимым почти-уже-супругом она никому не позволит.

— Ну и чего ты сюда приперлась? — поинтересовалась Лизанька, упирая руки в бока, аккуратно, как матушка делала, когда торговке одной доказывала, что торговка эта неправая была в своей попытке всучить матушке гнилой бархат.

— Следишь? — прошипела Лизанька, наклоняясь к самому акторкиному лицу.

Подмывало в оное лицо вцепиться, выцарапать черные наглухие очи. Или хотя бы патлы ее смоляные повыдергивать...

...думает, что ежели королевич на нее заглядывается, то теперь все можно?

Королевич королевичем, но Лизанька от своего счастья не отступится.

— Семак хочешь? — дружелюбно предложила черноглазая стервь, и вправду вытаскивая из ридикюля горсть крупных тыквенных семечек. — Я вот страсть до чего семки люблю! С ними в голове такая ясность наступает, что просто диву даешься... бывало, возьмешь горсточку, сядешь на лавочке и лузгаешь... птички поют, цветочки цветут... благодать.

Она ссыпала семечки на подол Лизанькиного платья.

— И вот об чем бы ни думал, всенепременно поймешь, как оно правильно надобно.

Семечки черноглазая стервозина брала двумя пальчиками, при том оттопыривала мизинчик с розовым ноготочком.

— А ты и думать умеешь? — не удержалась Лизанька.

— Иногда.

Улыбалась она премерзко, ехидно, всем своим видом показывая, что Лизанькины надежды тщетны, и что любовь ее, между прочим, не просто любовь, а всей Лизанькиной жизни, это так, пустяк-с.

Навроде тех же семечек.

— Я не желаю тебе зла, — раздавив скорлупки пальцами, Тиана отправляла их в кусты, а сизоватые высушенные до хруста семечки бросала в рот.

Грызла.

И выглядела при том страшно собою довольной.

— Но твой кавалер мне не нравится.

— Главное, чтоб он мне нравился, — ответила Лизанька, внезапно успокаиваясь.

Да и, положила руку на сердце, что эта, чернявая, ей сделает?

Ничегошеньки.

Да, папеньке нажалуется... да, папенька опять станет Лизаньке пенять, что, дескать, ведет она себя непозволительно... но и только.

Князь настроен пресерьезно, не отступится...

...и будет Лизаньке идеальное предложение с букетом розанов, кольцом и страстным в любви признанием... а потом она снова позволит себя поцеловать.

Жениху ведь можно.

— Он может оказаться... не тем человеком, за которого себя выдает, — Тиана слизала с пальцев полупрозрачные былинки, которые остаются от тыквенной скорлупы, — представляете, как оно огорчительно будет?

— Представляю, — сквозь зубы ответила Лизанька.

Семечки она не возьмет.

Принципиально.

И еще потому, что девицы высокого рода, даже если только высокий род в перспективе ожидается, семечки не едят, если, конечно, оные девицы — не круглые дурочки, навроде Тианы Белопольской.

Где ее папенька откопал только?

— Вот у нас в Подкозельске...

— Прекратите! — Лизанька смахнула семечки на траву. — Я знаю, что нет никакого Подкозелька...

— Как нету? — притворно удивилась чернявая стервь. — Есть! Еще как есть! Хороший город! Основан в две тысячи пятисот семидесят втором году от сотворения мира... ежели мне не верите, то в справочнике гляньте.

И глядит так, что Лизанька краснеет.

От злости.

Исключительно.

— Вы... я знаю, что вы не та, за кого себя выдаете!

— И кто я?

А взгляд-то такой кроткий, невинный даже взгляд.

— Папенькина акторка! Он вас привез, чтоб за конкурсантками приглядывать! И если вздумаете мне мешать... — Лизанька наклонилась к смуглому ушку. — Я всем расскажу! Поглядим, что тогда папенька с вами сделает... за разглашение...

— А вы не думали, — акторка глядела снизу вверх с такой улыбочкой, от которой у Лизаньки во внутри все переворачивалось, — что если вдруг вы заговорите, то хуже всего будет именно вашему папеньке?

Лизанька уйти хотела, но руку ее перехватили, сжали.

— Подумайте на досуге. Быть дочерью познаньского воеводы всяк интересней, чем быть дочерью бывшего познаньского воеводы.

— Ты мне угрожаешь?

Тиана руку выпустила и головой покачала:

— Это ты себе угрожаешь. И к сожалению, не только себе.

Вот же... кур-р-рва черноглазая!

Лизанька ушла с гордо поднятой головой.

Себастьян вздохнул и вытер пальцы о подол нового платья из воздушной кисеи. Вот же... Евстафия Елисеевича было по-человечески жаль, и Себастьян в кои-то веки не знал, как ему с этой жалостью быть. И с Лизанькой, конечно... по-хорошему, следовало бы доложиться, но начальство любимое, услышав о дочери этакое в расстройство придет. А у него, у начальства, язва, и сердечко пошаливает... и вообще, вышел Евстафий Елисеевич из того возраста, когда любые огорчения переживались легко. С другой же стороны молчать никак неуместно, поскольку кто ж знает, чего Лизаньке в светлую голову ее взбредет...

Себастьян вздохнул.

Доложит.

Вечером же отпишется...

Но до вечера предстояло дожить... утро выдалось спокойным, и это спокойствие несколько Себастьяна смущало, заставляя ожидать подвоха. И теперь, стряхнув остатки шелухи на траву, он огляделся.

Тихо.

И никого-то рядом. Скворец любопытный, на дереве пристроившийся, не в счет. Смотрит круглым глазом, подмигивает... нет, этак недолго и паранойю заработать.

Возвращаться надобно.

Себастьян вздохнул, подумав, что этак он до конца недели не дотянет...

...возвращаться в Цветочный павильон не хотелось. И он позволил себе минуту слабости... ладно, минут пятнадцать слабости и отдыха на скамеечке. Себастьян задрал подол по самые колени, откинулся и глаза закрыл... хорошо.

Солнышко греет.

...на рыбалку бы... в поместье... там Себастьян уже лет пять как не был... после смерти нянечки и не заглядывал, а следовало бы... на погост сходить, на могилку... розы вот посадить... или анютины глазки... или что там принято, чтобы красиво... а потом в сад, где уже вызревают яблоки...

И Лихо с собою взять, помириться, наконец, чтоб как раньше... младший и бестолковый, хотя серьезным пытается быть, а все одно бестолковый.

Родной.

И вдвоем на рыбалку, Себастьян места знает, если, конечно, за годы не изменились. Сядут на бережку, на травке, которая мягкая... вода, камыши, стрекозы... гудение мошкары... поплавки и снасти... беседа неторопливая... глядишь, Лихо и расскажет, как вляпался... а если и нет, то не надо.

Главное, что живой.

...а потом, уже по темноте, домой. И на пироги холодные, которые оставят на кухне... и еще молоко с вечернего удоя, отстоявшееся, с толстым слоем желтоватых сливок.

Хорошо...

Себастьян открыл глаза и вздохнул, отгоняя видение полусонного, словно бы выпавшего во вневременье пруда... интересно, а жив ли старый сом, о котором говорили, что будто бы он в бочаге еще при Себастьяновом прадеде завелся?

Или рыбы, даже огромные, столько не живут?

...а возвращаться пора. И пусть Боги милосердные, к которым Себастьян обращался редко, дадут ему терпения. И удачи, само собой.

Чуял: удача понадобится.

...к обеду Себастьян, естественно, опоздал.

— Рада, что вы, панночка Тиана, все ж изволили почтить нас своим присутствием, — едко заметила Клементина, когда Себастьян предстал пред ясные ее очи. — А мы уж стали волноваться, не случилось ли с вами еще какого-нибудь... происшествия.

— Да Боги с вами, панна Клементина! Чего со мною случиться-то? — почти искренне удивился он.

— Как знать... тогда не будете ли вы столь любезны объяснить, где пропадали?

— Дык... цветочки собирала. Веночек плела, — Себастьян продемонстрировал кривоватый веночек из одуванчиков. — Вышла погулять, а тут они...

— Кто?

— Одуванчики! И я вдруг вспомнила, как у дядечки дома на Ирженин день веночки плела. Все девки плетут, ну, чтоб в воду пустить и на женихов погадать. И я тоже! И этак мне стало тоскливо на душе, что прям хоть волком вой! А я себе и сказала, что от вытья проку никакого! А веночек сплести можно, глядишь и полегчает! Правда, хорошо получилось?

Тиана веночек примерила.

— Очень хорошо, — сдавленно произнесла Клементина. — З-замечательно просто.

— А хотите, вам подарю?!

— Что вы, — Клементина и отступила, опасаясь этакой щедрости. — Как можно, это же ваш веночек!

— Так мне для вас, панна Клементина, ничего не жалко! — воскликнула Тиана и, поплевав на пальцы, принялась тереть кисейный рукав, на котором проступило бурое пятно. — От же ж! Изгвадалася! С одуванчиками — оно всегда так, как ни пытайся, а пятна останутся... а у вас, часом, спирту не будет? Спиртом если, они легко отходят!

Спирта не было.

Пришлось переодеваться...

— Вы поторопитесь, — сказала Клементина, все ж взяв веночек двумя пальцами. — Нас ждут...

...в королевском зверинце воняло королевскими зверями, и запах заставил красавиц морщиться, вытаскивать надушенные платочки и вздыхать от понимания, что просто так уйти из этого замечательного места не получится.

— Ее Величество, — к Клементине вернулась прежняя ее невозмутимость, — весьма обеспокоены тем, что в современном мире многие виды существ естественного и магического свойства находятся под угрозой исчезновения...

— Если они и в природе так воняют, то не удивительно... — пробормотала Габрисия, старательно платочком обмахиваясь.

Королевский зверинец располагался в бывших конюшнях, напоминанием о которых остался мозаичный пол с лошадиными головами и барельефы конских же мотивов.

— ...будут сделаны снимки участниц конкурса с редкими животными, с которых отпечатают коллекционные карточки...

Широкий проход разделял два ряда клеток с весьма прочными на вид прутьями. Старый, матерого вида козел, наклонился, упершись лбом в решетку. При том он то левым, то правым глазом красавицам подмигивал, будто намекая на что-то неприличное. И пятнистая гиена в соседнем вольере, поскуливая, норовила сунуть меж прутьями лобастую голову.

Дремал на ветке алконост.

— ...а вырученные от их продажи деньги, пойдут...

Громкий вопль, донесшийся из глубин зверинца, не позволил узнать, на что же пойдут вырученные от продажи карточек деньги.

Впрочем, кажется, этот вопрос мало кого интересовал.

— Тут невыносимо! — пожаловалась Иоланта, тайком разглядывая себя в зеркальце. И привлеченная солнечным бликом амбисфена высунула из старой коряжины обе головы...

...амбисфена Иоланте и досталась.

...Ядзита поручили молодую зеленой масти виверну, которая, не будь то драконьей крови, оценила формы красавицы, послушно сложила крылья и голову пристроила на коленях.

От виверны несло гнилью.

Да и скалилась она недружелюбно, но Ядзита, проведя ладонью по ребристой чешуе, сказала:

— Хорошая какая... Лежи.

У виверны лишь хвост дернулся, и как-то все поняли, что лежать она будет смирно, с восторгом глядя на Ядзиту...

Клементина переходила от вольера к вольеру...

...пара грифонов и Богуслава...

...сонный алконост, упорно скрывающий голову под крылом, для Габрисии...

...Лизанька, весьма довольная единорогом, который, впрочем, на красавицу поглядывал хитро, явно задумав что-то неладное...

— А вам, дорогая Тиана, — губы Клементины тронула улыбка, которую при некой фантазии можно было бы назвать доброжелательной, что весьма настораживало, — Ее Величество велели поручить особо редких существ...

...похоже, опасаться следовало не за Лизаньку...

— Ледяные гориллы! — сказала Клементина и, уже не скрывая насмешки, поинтересовалась, — вы ведь слышали о ледяных гориллах?

— Нет, — ответил Себастьян, прикидывая, есть ли способ отказаться от столь высокой чести.

Как-то вот не доверял он внезапной любезности Ее величества.

И гориллам.

Гориллам — так в особенности.

— Чрезвычайно редкие существа! Их осталось всего-то дюжины две. Обитают высоко в горах, во льдах... К слову, некоторые исследователи полагают, что гориллы разумны... думаю, вы поладите.

В этом Себастьян крепко сомневался.

— Лолочка выросла у нас в зверинце. А вот Казимира привезли всего два месяца как. Ее Величество очень надеется получить потомство... и Казимир старательно за Лолочкой ухаживает, но она, увы, пока его стараний не оценила, но Ее Величество верят, что главное — терпение...

В огромной клетке, под невесомым чародейским пологом, царили льды. Серые. И ярко-голубые, словно кто-то высек глубины эти из неба, и темно-зеленые, морские, и полупрозрачные, каковые и увидишь-то не сразу. Во льдах тонуло солнце, расплывалось маревом зыбкого света.

Искажало пространство, отчего ледники казались бескрайними.

И оттого не сразу Себастьян заметил, как ближайшая глубина, темно-серая, будто припорошенная пеплом, покачнулась.

Встала на ноги...

...ледяные гориллы были огромны.

Страшны.

— А они меня... не того? — поинтересовался Себастьян, отступая от клетки. — Не сожрут?

— Что вы! — искренне возмутилась Клементина, — они мясо не едят.

...а если вдруг передумают, то Ее Величество будет, конечно, очень огорчена. И некролог составит красивый...

Горилла была уродлива.

Огромное веретенообразное тело, поросшее тонкой белесой шерстью, сквозь которую просвечивала серая шкура. Короткие задние лапы и длинные — передние, на которые она опиралась, но как-то так, что становилось ясно: и без опоры она передвигается очень даже быстро. На короткой шее сидела круглая и отчего-то лысая, точно из куска прозрачного льда выточенная, голова. И Себастьян, вглядываясь в лицо, поневоле отмечал удивительное сходство его черт с человеческими.

Высокий, пусть и скошенный лоб.

Массивная переносица и маленькие глазки черными угольками.

Неожиданно подвижный рот, который то кривился, то растягивался. Оттопырив нижнюю губу, горилла потрогала ее пальцем и издала протяжный громкий звук.

— Это Казичек... он вас не тронет.

Казичек ухнул и, привстав на кривых ногах, ударил себя в грудь кулаком.

— У! — сказал он, обращаясь к кому-то, скрывавшемуся в глубине ледяной пещеры. — Угу!

Из пещеры кинули камнем.

— Гы, — Казик огорченно поскреб шею.

...а Клементина исчезла.

— Не бойтесь, — сказал служитель. — Он у нас смирный. И дамочек всяких страсть до чего любит!

Фотограф торопливо закивал, хотя навряд ли с этим Казиком был так уж хорошо знаком. Сам-то, небось, к клетке приближаться опасался.

— Мы, — он дернул Тиану за рукав и, нервно сглотнув, сказал. — Быстренько отработаем...

Кинул взгляд на Казика, который явно заинтересовался гостями, и уточнил:

— Очень быстренько.

Себастьян не имел ничего против.

В клетку он шагнул первым и поежился: холодно!

Лед был настоящим, и холод тоже... и горилла. Казик приближался медленно, ковыляя на кривоватых своих лапах. Он остановился в шагах трех и, вытянув губы трубочкой, произнес:

— Уууы...

— И тебе доброго дня, — Себастьян решил быть вежливым.

— Ы!

Вытянув палец, горилла ткнула им в панночку Тиану и сказала:

— Гы!

— Осторожней!

— Гы-гы...

— Подойдите к нему ближе, — попросил фотограф, сам же отступая поближе к выходу.

— Вам надо, вы и подходите!

У Себастьяна не имелось ни малейшего желания приближаться к Казiku, который, напротив, новому знакомству обрадовался. Он сел и, бухнув себя в грудь кулаком, произнес:

— Уыыау!

— Очень приятно познакомиться, Тиана.

Тиана сделала книксен, что привело Казика в полнейший восторг. Он подскочил на месте и радостно всплеснул руками.

...из пещеры тем временем высунулась голова второй гориллы.

Лолочка...

Выглядела Лолочка на редкость раздраженной. Она пошевелила губами, нахмурилась и когтем царапнула свежую бородавку, что третьего дня выскочила на щеке.

Бородавка Лолочке нравилась.

Она вся себе нравилась, от макушки до бледно-зеленых пяток, украшенных мелкими трещинками. Следовало сказать, что Казик Лолочке тоже нравился, но не может же женщина, пусть даже она и горилла, вот так просто взять и признать это?

И Лолочка, понимая, что деваться Казiku некуда — в клетке она провела последние десять лет жизни и точно знала, что деваться некуда — тянула время, кокетничая.

Сегодня она бы приняла от него сосульку.

Или завтра...

...или послезавтра на самый крайний случай. А через месяц-другой, глядишь, и уступила бы настойчивым ухаживаниям, позволила бы выбрать из шерсти снежных блох... но кто ж знал, что все так повернется?

Под Лолочкиным взглядом Себастьян чувствовал себя крайне неудобно.

Казик же, обрадованный такой компанией — новая знакомая, несмотря на subtilность и просто-таки неприличное отсутствие шерсти, которую заменяло нечто тонкое и вряд ли теплое, очень ему понравилось — подвинулся ближе. И дружелюбно протянул руки, предлагая согреться...

— Ыыыр! — произнес он с придыханием.

Вон как дрожит, несчастная.

...за свою недолгую жизнь Казимир успел сменить три зверинца и свести знакомство с дальними южными родичами, которые во льдах не выживали.

Новая знакомая чем-то весьма на них походила.

Но от щедрого предложения отказалась.

— Может, не надо?

Себастьян смотрел на Казика.

Казик — на Себастьяна... и взгляд-то выразительный... устав ждать, Казик просто сгреб понравившуюся ему панночку в охапку, дыхнув на ухо вонью.

— Уыыы, — пропел он нежно. — Уааа...

— Может, — Себастьян попытался вывернуться из нежных, но крепких объятий, — не надо «уааа»?

Казик был не согласен категорически.

— Ыыыргых! — он вытянул нижнюю губу и, наклонившись к уху, томно засопел.

От сопения у Себастьяна волосы на затылке шевелились.

— Улыбайтесь! — велел фотограф. — Обнимите его за шею!

Сам бы и обнимал, если такой умный... но Себастьян оскалился и обвинил могучую шею Казика руками.

— Уугу! — одобрительно сказал тот. — Агррра!

Лолочка целиком выбралась из пещеры и села на ледяную глыбину, всем своим видом демонстрируя негодование. В мужчинах она разочаровалась и крепко. Стоило отвернуться на секундочку, отвлечься, можно сказать, по своей девичьей надобности, как тут же появляется какая-то немочная стервь, которая почти-жениха и уводит.

А он, разом позабыв про Лолочкины многопудовые прелести, знай себе щупает стервь и ласково так что-то на ушко шепчет. Уже и блох искать полез.

И выражение морды при том самое что ни на есть идиотское.

— Ах! — Лолочка испустила громкий вздох и лапу выставила.

Лапы у нее были удивительно длинными, поросшими мягкой густой шерстью. Блохи в ней водились крупные, сытные и приятно щелкали под пальцами.

Но неверный Казик невесту и взглядом не удостоил.

— Оорм! — склонившись над темной головой разлучницы, он старательно копошился, надеясь отыскать хотя бы крошечную, самую заваливающую блоху.

Себастьян терпел.

Как ни странно, но Казиковы пальцы волосы перебирали бережно, не дергая и не выдирая. А на морде ледяной гориллы было выражение предельной сосредоточенности.

— Уууй! — Лолочка томно сползла с камня и потянулась, демонстрируя прямую спину. Перевалившись на бок, она застыла в позе ожидания, устремив взгляд куда-то в сторону...

И Казик все ж обернулся.

Лолочка была хороша... крупная, приятно-полнотелая, она пахла льдом и влажной шерстью, которая сразу привлекла Казиково внимание.

Ну и еще голый бледно-голубой живот, который Лолочка поглаживала.

— Ах... — она взмахнула рукой, и когти ее скользнули по ледяной глыбине, издав душеволнительный звук, от которого Казиково сердце затрепетало. Он качнулся было, почти выпустив добычу из рук, но в последний момент передумал.

Лолочка была прекрасна.

Но капризна.

Он уже устал ходить возле пещеры, носить к ней и сосульки, и куски льда, которые, демонстрируя силу и стать, раскалывал о собственную голову. Нет, голова не болела, но болели плечи, потому как куски Казик со всей ответственностью выбирал крупные, солидные.

А Лолочка только отворачивалась.

— Урм, — он решительно повернулся к Себастьяну и, заглянув в глаза, произнес. — Агху!

— Что, не дает? — Себастьян сочувственно похлопал гориллу по могучему плечу.

Страх исчез.

— Оуррры!

— Бывает, друг, бывает... бабы — они такие, никогда не поймешь, чего им на самом деле надо... бывает, ты к ней со всей душой... цветы, конфеты, а она как твоя, только задницей крутит.

— Ахха...

Лолочка нахмурилась.

Она повернулась другим боком, и губы вытянула, надеясь, что Казик оценит и губы, и плоский нос ее с вывернутыми ноздрями, из которых торчали длинные белые волосы, и щеки, густо усыпанные бородавками...

— Ничего, друг, потерпи, — сказал Себастьян, преисполнившись сочувствия. — Сейчас мы ее уломаем.

— Мгы?

— Только башкой не крути...

Казик мотнул.

Понимал ли? Но обхватив Тиану одной рукой, второй он бережно погладил ее по голове.

— Уаггры, — он произнес это гулким шепотом.

Лолочка поднялась. Она обошла неверного кавалера по дуге, двигаясь медленно, то и дело останавливаясь и принимая позы картинные, призванные наглядно продемонстрировать нечеловеческую ее красоту. Она то вытягивала губы, то проводила ладонью по кустистым бровям, то изгибалась, поворачиваясь к Казiku тылом. Солнце играло на чешуйчатых ягодицах, подчеркивая их размер и идеальную округлую форму.

Казик вздыхал и отворачивался.

Лолочка злилась.

Немочная разлучница торжествовала. Она уютно устроилась в объятьях Казика и что-то ласково нашептывала ему на ухо. А Казик слушал!

И ворковал!

Хитрую тварь все-таки выпустил, но лишь затем, чтобы, покопавшись в собственной шерсти, которая была длинной, жесткой и мужественно-всклоченной, вытащил крупную блоху.

— Уург! — сказал Казик громко, протягивая блоху новой подруге.

Блоха, издали похожая на льдинку, шевелила лапками и попискивала, отчего с панночкой Тианой все ж приключилась истерика, которая закончилась глубоким обмороком. Себастьян же, не без труда удержав обличье, подношение принял.

— Спасибо большое.

В теплых человеческих пальцах блоха замерла...

— У вас коробочки не найдется? — поинтересовался Себастьян, повернувшись к фотографу, который столь увлекся съемкой, что, кажется, забыл о страхе.

— 3-зачем?

— Для блохи.

Блоху, на диво крупную, размером с горошину, Себастьян держал аккуратно.

— Вы собираетесь ее забрать?

— Конечно, — он провел ноготком по ребристому, прочному панцирю, и ножки блохи дернулись. — Мне ж ее подарили. А у нас в городе не принято подарками разбрасываться!

Для блохи фотограф пожертвовал собственный портсигар...

— Уыы, — умилительно пробормотал Казик, глядя, как дама сердца прячет подарок в кисейных юбках. Зачем она это сделала, он не понял, вероятно, оттого, что прежде ей блох не дарили. — Оглых!

И вытащив из шерсти другое насекомое, Казик сдавил его когтями.

Блоха щелкнула.

— Угу!

— Нет, — Себастьян, с трудом сдерживавший тошноту, покачал головой. — Миру мир! И все твари имеют право на жизнь!

— Грымс...

Мысль такая вся оригинальная была внове для Казика и оттого доставляла существенные неудобства. Голова, о которую с веселым хрустом раскалывались ледяные глыбины, для мыслительного процесса не подходила. И Казик, сунув палец в ухо, попытался выковырять неудобную мысль.

В ухе зашумело.

И в голове зашумело тоже.

— Убрррр! — громко возвестил Казик, вновь ударяя себя в грудь, на сей раз, правда, двумя кулаками. И бил от души, потому сам же от удара грохнулся на спину, широко раскинув руки. — Оу...

— Полны й оу, — согласился Себастьян, подбирая юбки.

Почему-то взгляд Казика, слегка затуманившийся, но все одно весьма выразительный, напомнил ему королевича, когда тот шоколад подсовывал...

Темные пальцы гориллы потянулись к кисее.

— Попрошу без рук, — Себастьян отступил, прикидывая расстояние до дверцы... и надеясь, что эта дверца не заперта.

— Угу... — согласился Казик, счастливо улыбаясь.

А руки не убрал.

И подцепив коготком подол, потянул на себя. Кисея расплзлась с треском...

Этакого непотребства Лолочкино сердце не вынесло. Ухватив ближайшую глыбину, она с воем швырнула ее в неверного Казика, ну и само собой в разлучницу, которой вздумалось на чужих блох покушаться. Женская душа, оскорбленная в самых лучших своих проявлениях, требовала мести. Желательно немедленно и кровавой! Но глыбину Казик отбил, подставив лысый, сияющий лоб.

— Брру!

Он ударил кулаком по осколкам, сминая их в ледяную труху.

И Лолочку, во гневе прекрасную, грудью встретил. И даже не поморщился, когда мощные Лолочкины клыки пробили шкуру на загривке...

— Бежим! — рывкнул Себастьян фотографу, который от страха оцепенел. Сам ненаследный князь, подхвативши изрядно пострадавшие юбки, в два прыжка добрался до выхода. И дверцу клетки открыл мощным, отнюдь не девичьим пинком.

Сзади бесновалась Лолочка.

И Казик, крепко обняв подругу, что-то бормотал ей на ушко, должно быть, клялся, что недавнее происшествие — не более чем случайность, помутнение рассудка и следствие коварно подброшенной ему, Казiku, мысли, которая до сих пор бродит в гудящей голове, причиняя воистину нечеловеческие мучения... и на самом-то деле нет никого, прекрасней Лолочки!

Она не верила.

Но отбивалась уже не столь рьяно, про себя, верно, решив, что этак и отбиться-то недолго, а мало ли... отныне на завесу, отделяющую ледяной мир от иного, враждебного, Лолочка посматривала с подозрением. Она знала, что за завесой этой обитают страшные создания, хилые с виду, но весьма коварные...

— Бррум, — сказала она, смиряясь и безвольно повисая на крепких Казиковых руках.

— Ого! — Казик, окинув взглядом Лолочкино тело о двадцати пудах шерстистой красоты, сглотнул слюну. — Ога!

— Ах!

— Ага!

Тело требовало действий, и Лолочка, окинув соперницу торжествующим взглядом, игриво укусила жениха за ухо...

— Ууу... — пропел Казик и торопливо, пока Лолочка не передумала, заковылял к пещере. На всякий случай — а вдруг-таки передумает — Лолочкины волосы он намотал на руку.

С рукой надежней.

Гостиница, в которой остановился Аврелий Яковлевич, была из дорогих. И всем видом своим, облицовкой из солнечного камня, черепитчатой красной крышей, флюгером медным, надраенным до блеска, чугунными решетками балкончиков, азаниями и газовыми полосатыми гардинами, что выглядывали из окон, гостиница говорила, что здесь, конечно, рады постояльцам, но исключительно тем, кто способен без особого ущерба для собственного кошелька заплатить десяток-другой злотней за номер.

А вот на людей, подобных Гавелу, взирали свысока.

И лощеный швейцар в красном кителе, щедро отделанным позументом, долго Гавела разглядывал. И морщился, и глаза щурил, и седоватые усы крутил, а на порог не пускал.

— Мне Аврелий Яковлевич нужен, — Гавел глядел на швейцара снизу вверх.

Как-то уж повелось в этой жизни, что почти на всех Гавел глядел снизу вверх и, честно говоря, к этому привык, но вот ныне вдруг испытал обиду.

А чем он, честный крысятник, хуже этого вот щеголя в франтоватом плаще с пелериною? Тем, что суждено ему было родиться не в шляхетской семье? Или тем, что зарабатывает он свои медни честным трудом? Перед щеголем швейцар согнулся в поклоне и руку вытянул, на лету поймав монетку.

— Благодарствую, пан Якимчик! — сказал громко и с почтением.

А на Гавела глянул, как на пса приبلудного, но дверь открыл, велел:

— На дорожку не натопчи.

Дорожка и вправду была хороша, нарядного пурпурного колера с зеленым поребриком, она протянулась от дверей до самой лестницы.

Пахло азалиями и сдобой.

Хрустальная богатая люстра сияла в тысячу огней. Зеленели эльфийские шпирь в фаянсовых кадках, и залогом благопристойности места за конторкой из орехового дерева восседал важный управляющий с лицом круглым, лоснящимся.

— Мне к Аврелию Яковлевичу, — окончательно смешавшись, сказал Гавел, с трудом удержавшись от поклона, до того важным, солидным выглядел господин в клетчатом пиджаке.

И взгляд-то недобрый.

Ощупал Гавела с ног до головы, а потом и с головы до ног, подметив и дешевую его одежонку, изрядно измятую, грязную, и картуз, съехавший на самый затылок, и лицо некрасивое, с морщинами и редкой щетиной. Не укрылись от этого взгляда и мелочи, навроде свежего синяка под левым глазом и характерной припухлости губы...

И другим разом в жизни бы не позволил управляющий личности столь откровенно неблагонадежной хоть сколь бы надолго задержаться на вверенной ему территории, но Аврелий Яковлевич был постояльцем особого склада.

Говоря по правде, таких постояльцев управляющий втайне недолюбливал.

Нет, конечно, старшего ведьмака королевства принимать у себя — честь великая. И памятью о той чести останется короткая благодарственная запись в особой книге, которая хранилась тут же, под конторкой. И новым постояльцам можно будет показывать и книгу, и слова, выведенные кривоватым неаккуратным почерком... и престижу добавится... но это все после, когда Аврелий Яковлевич съедет.

Ныне же он доставлял одни беспокойства.

Паркет попортил.

И кровать, которую, между прочим, из Гишпаниии доставили, дуб, резьба и позолота... в две сотни обошлась полновесных гишпанских дублонов, не говоря уже о белье... за ущерб, само собою, Аврелий Яковлевич заплатит, но...

...ведьмак же ж... и цветы на втором этаже завяли, а только-только привезли их и в магазине уверяли, что розаны свежайшие, утрешней срезки...

...на кухне молоко киснет, невзирая на ледник и защиту...

...сказывали, опять же, что беспокойно стало на этаже. То тени какие-то мелькают, то холодом запредельным тянет. А еще в газетенке желтой, мерзкой, написали, что будто бы на завтрак ведьмаку блинчики с человечиной подают... нет, повар при гостинице работал отменнейший, к капризам постояльцев привыкший... но чтобы с человечиной...

Газетенка врет, конечно, но репутация страдает-с.

Теперь вот всякие престранные, подозрительного пошиба личности ведьмака спрашивают. И может статься, что по пустой надобности, которая Аврелия Яковлевича, накануне легшего поздно и строго-настрога запретившего себя беспокоить, в расстройство введет. А от того расстройства гостинице новый ущерб приключится... не пусти? Так вдруг и вправду важное что, и тогда Аврелий Яковлевич снова расстроится...

Управляющий, подавив не то вздох, не то зевок — нынешнее утро выдалось на радость спокойным, мирным даже — решил, что как бы ведьмак с гостем не поступил, то это личное их дело...

Главное, чтоб гостиница уцелела.

Приняв сие решение, управляющий взмахом руки подозвал коридорного. Не столько заботясь о том, чтобы гость не заблудился, сколько, чтобы под присмотром был... а то еще сопрет чего ненароком.

К счастью для Гавела, Аврелий Яковлевич проснулся рано. И причиной этакой, вовсе нехарактерной для ведьмака бессонницы, было смутное беспокойство, которого день ото дня прибывало.

— Надо же, какие гости, — сказал Аврелий Яковлевич недружелюбно. — Ну проходи, волчья сыть...

— Почему волчья сыть? — Гавел вошел бочком и к стеночке, к обоям цветастым прижался.

— А потому, что таких как ты, волкодлакам скармливать надобно... в воспитательных целях.

Уточнять, кого именно Аврелий Яковлевич собирался перевоспитать таким нестандартным способом, Гавел постеснялся.

Ведьмак курил.

Сидел в низком кресле, закинув босые ноги на низенький столик с инкрустацией розового дерева. И темные, задубевшие до каменной твердости пятки Аврелия Яковлевича отражались в белом фарфоре. По утреннему времени облачен был ведьмак в расшитые незабудками подштанники и халат из стеганого шелка. Трубку, старую, с треснувшим чубуком, он держал в ладони, а дым пускал из ноздрей.

— Ну и долго молчать собираешься? — поинтересовался он минут этак через пять, и каждую Гавел шкурой чувствовал.

— Н-нет...

— Раз нет, то садись... кофейку вон налей...

Гавел присел на самый краешек стула. Неловко ему было. И под внимательным, хоть и насмешливым взглядом ведьмака, и просто... стульчик-то резной, с обивкой гобеленовой, розово-золотой.

Столик аккуратный.

И фарфор высочайшего качества... розочки в вазе... и чья-то челюсть на белом с синей каймой

блюдце. Гавел моргнул, но челюсть не исчезла. Кость была темной, с пожелтевшими зубами, среди которых особо выделялись длинные клыки.

— Не обращай внимания, — махнул Аврелий Яковлевич и выбил трубку в фарфоровую же чашечку. — Кофею, говорю, налей. Есть хочешь?

— Н-нет, — соврал Гавел, стараясь не глазеть на челюсть.

— Хочешь.

Аврелий Яковлевич дотянулся до колокольчика, и коридорный явился тотчас.

— Любезный, завтрак принеси... на двоих. Что у вас там сегодня?

...блинчики с семгой, яйца-бенедикт под сырным соусом, фруктовый салат в хрустальной вазе...

...эклеры, щедро политые шоколадом.

...сладкие сырные трубочки...

— Ешь, ешь, — Аврелий Яковлевич все это великолепие не удостоил и взгляда. Вытащив из кармана кисет, он взвесил его на ладони и со вздохом в сторону отложил. — Вредная привычка. Борюсь.

Судя по тяжелому мареву дыма, борьба проходила с переменным успехом.

И Гавел, тоже вздохнув, — он не мог себе позволить этакой приметной привычки, поскольку нюх у его клиентов хороший, а у собак и того лучше — подвинул к себе блюдо с блинчиками.

И кофею налил.

Нет, он подозревал, что ему кусок в горло не полезет, но и оскорблять хозяина отказом опасался. Тот же, отложив трубку, взялся за челюсть.

Поднял двумя пальцами, повертел, понюхал...

— Ешь, — велел. — А то тощий, смотреть больно. Я вот тощим людям не доверяю. Я людям в целом не доверяю, потому как оные люди по натуре своей склонны пакостить ближним... и дальним...

Гавел кивнул.

Блинчики, наверное, были вкусными. И все остальное не хуже, он ел, не смея перечить ведьмаку, который с непонятной Гавелу любезностью все подвигал то одну, то другую тарелку.

А челюсть на блюдо вернул.

— Этот вот при жизни великим интриганом себя мнил. А как по мне — дрянной человечешко... и чем все закончилось?

— Чем? — послушно спросил Гавел.

— Собственная любовница удавила. Из ревности. Кстати, беспочвенной...

Гавел подавился, и широкая ладонь ведьмака с немалой силой впечаталась в спину.

— Осторожней надо быть, — Аврелий Яковлевич произнес это с упреком. — А то, знаете ли, я и мертвого допросить способный, но с живыми оно в чем-то проще.

Побледневший Гавел чашку с кофе осушил одним глотком. И согласился, что с ним, живым, будет много-много проще, нежели с мертвым.

— Поел? Вот и молодец. А то, небось, всю ночь на ногах... поганая у тебя работа, Гавел... сменять не пробовал?

— На что?

Аврелий Яковлевич склонил голову на бок и велел.

— Встань.

Гавел вскочил.

— Повернись спиной...

Повернулся, хотя инстинкт требовал немедленно убраться из номера, если не через дверь, на пути к которой стояла крупная ваза со стремительно увядающими розами, то через окно. Останавливало лишь понимание, что не выпустит штатный ведьмак свою жертву.

— Расслабься...

...а вот это было не в Гавеловских силах. Он честно попытался убедить себя в том, что не стал бы Аврелий Яковлевич будущую жертву блинчиками с семгой потчевать...

...разве что фаршировал таким хитрым способом...

...и по спине мурашки побежали, а шея так вовсе взопрела, верный признак: будут бить.

— Лови! — рявкнул Аврелий Яковлевич.

И Гавел, подчиняясь и крику этому, и собственному страху, и инстинкту, извернулся, поймал. Он сжал в руках нечто сухое и странной формы, не сразу сообразив, что держит изрядно грязную, человеческую челюсть. И крепко держит, так, что острые клыки вспороли кожу на ладони, потекли крупные брусвяные капли.

Гавел смотрел на них, не в силах взгляд оторвать.

А кровь падала.

На пол... на выжженные ведьмачьим огнем знаки, наполняя их до краев, расплзаясь уже не кровью, но алым пламенем.

Гудело.

Холодом тянуло, из-под пола, из самой земли, хотя и разумом понимал Гавел, что до земли той — семь этажей каменной постройки. Он будто бы видел их, каждый и сразу, и апартаменты-люкс, и комнаты высшей категории с люстрами стеклянными, и вовсе скромные комнатухи, в которых селили прислугу. Видел коридоры и коридорных, горничных, занятых уборкой, кухню,

повариху, которая прикручивала к ноге шмат свежей вырезки. Видел шпицев и мопсов княжны Сагань, и саму княжну, забывшуюся полуденным сном... и сам этот сон в ярких его подробностях, которые заставили Гавела покраснеть.

Но черную яму, что разверзлась под его ногами, он видел тоже.

И человека в высоком парике, щедро припорошенном мукой. Этот человек раскрыл руки, собираясь Гавела обнять, и казался самым близким, самым родным во всем мире.

Гавел не знал, как его зовут, но с готовностью шагнул навстречу.

Шагнул бы.

— Не смей уходить! — голос Аврелия Яковлевича отрезвил.

Яма осталась.

И призрак на ее краю. Он разозлился.

— Держись.

Держится. Как-то выживает на холодном ветру...

...случались в Гавеловской жизни ветра и холодней, хотя бы в ту ночь, когда он караулил под окнами некой чиновьей особы, о развлечениях которой ходили весьма интересные слухи...

...тогда ему удалось заснять и сию особу, и детей, к которым она испытывала противоестественное влечение... и помнится, после его, Гавела, статьи, эту самую особу отправили не только в отставку, но и под суд...

Призрак завыл.

Громко.

И швырнул в лицо горсть колючего снега. Острые снежинки липли на кожу и плавили ее... не расплавят.

— Стой, — говорил кто-то.

Гавел стоял.

На краю черной ямы, глядя в саму ее черноту и она, любопытная, разглядывала Гавела глазами сотен призраков, которым не суждено было выбраться.

И тот, что получил шанс, скулил, жалуясь на холод.

Просил согреть.

— Не думай даже.

Не думает. Он, Гавел, может и наивный, ежели ведьмаку поверил, но призрак — иное. Гавел чувствует за жалостливым его скулежом голод. Дикий. Старый. Такой, который не унять одною каплей крови. Подпусти — и выпьет досуха...

— Т-ты! — прошипел призрак в лицо и, вытянув бледные руки, толкнул Гавела в грудь. Прикосновение ледяных пальцев принесло и чужую память...

...дворец...

...и женщина, чье лицо прекрасно...

...безумный король, руки которого полны крови. Он черпает ее из чаши и льет на лицо... кровь стекает сквозь пальцы, обвивая предплечья. Король, запрокидывая голову, хохочет.

Светлые волосы разметались.

Корона соскальзывает, катится по ступеням трона, чтобы остановиться у ног женщины, на лицо которой Гавел не смеет смотреть.

Должен.

И он, преодолевая чужой страх, поднимает взгляд...

...должен...

Король кричит, и от голоса его трескаются стекла, выстреливают разноцветными искрами, а Гавел смотрит... через боль, через страх...

Сквозь кровавую пелену.

И та, чье лицо прекрасно, в раздражении кривит губы. Она вскидывает руку, сминая воздух. И звон его отдаётся в ушах, а потом... воздух расправляется сжатою пружиной...

...в грудь...

...и сердце обрывается, пронзенное осколками ребер...

...последней мыслью — обманул Аврелий Яковлевич, человек, челюсть которого Гавел держал в руке, умер отнюдь не от рук любовницы.

Глава 6

Где в расследовании намечаются некоторые новые повороты

Если вам кажется, что жизнь ваша дошла до точки, приглядитесь, может статься, что это лишь многоточие.

Мудрая мысль, изреченная постоянным клиентом кабака «Русалочья ночь» Михашкой-алкашом, каковому случилось выиграть в лотерею двести тысяч злотней.

Аврелий Яковлевич, подхватив на руки обмякшее тело, лишь крикнул.

Прислушался.

— Пшел вон, — сказал он белесой тени, что металась в круге.

Тень заскулила, но послушно развеялась.

Руны, выжженные на паркете, гасли медленно, в воздухе пахло гарью, и Аврелий Яковлевич оглушительно чихнул.

— От же ж... никогда не знаешь, где найдешь... кого найдешь...

Коридорный, заглянувший, дабы убедиться, что многострадальный номер, из-под двери которого тянуло белесым, но отчего-то холодным дымом, уцелел, лишь кивнул, не зная, что ответить на сии слова. Следовало сказать, что Аврелий Яковлевич, оставшись в одних незабудковых подштаниках, — халат свой он любил и портить не желал — производил впечатление гнетущее.

Меднокожий, грубый, поросший густым рыжим волосом, который ко всему курчавился, он выглядел истинным дикарем, из тех, снимки которых не так давно выставлялись в Гданьской академии. Разве что кольца в носу не хватало.

Зато имелось другое, в ухе, с красным самого зловещего вида камнем.

— Чего надобно? — поинтересовался Аврелий Яковлевич, укладывая на широкую постель человечка в грязной одежде.

Гостя коридорный узнал.

И вместо сочувствия к нему испытал глубочайшую профессиональную обиду: постель была чистой, а гость, явно пострадавший во время очередного ведьмачьего эксперимента, не очень. Однако возмущение свое коридорный при себе оставил. И губу прикусил, дабы ненароком не сделать замечания высокому гостю.

Еще нажалуется...

...гостиница была дорогой, и к прихотям постояльцев хозяева относились с пониманием.

— Ничего. Прошу прощения, — коридорный сделал попытку дверь закрыть, но был остановлен царственным взмахом руки.

— Подь сюда, — велел Аврелий Яковлевич, почесывая предплечье, которое украшала татуировка — пара синих русалок, слившихся в поцелуе.

Приближался коридорный с опаской.

— Раздеть помоги, — ведьмак указал на гостя, который по-прежнему не подавал признаков жизни. Коридорный оценил и мертвенную бледность кожи, приобретшей особый зеленоватый оттенок, более пристальный свежему покойнику, и синюшные круги под глазами, и раззявленный, словно в крике, рот.

— Живой, живой, — разрешил сомнения Аврелий Яковлевич. — Давай, я приподниму, а ты штаны стягивай...

И приподнял же. С легкостью.

— Простите, а ботинки тоже снимать? — уточнил коридорный, который давно усвоил, что в ситуациях подобного рода надобно действовать исключительно по точной инструкции.

— А сам-то как думаешь?

Сам коридорный думал, что по-хорошему следовало бы полицию вызвать, но этого хозяева гостиницы точно не оценят.

Выставят.

А где еще найти место столь же доходное и в целом спокойное? То-то и оно... оттого и ботинки коридорный снимал аккуратно, бережно, как с любимого дядечки...

И штаны.

И грязную, вонючую рубаху...

— Ванну наполни, — Аврелий Яковлевич уложил гостя, который по-прежнему был без сознания на покрывало. — Ишь, тощенький какой... ничего, дорогой, мы тебя отмоем, мы тебя подкормим... будешь красавец всем на зависть.

И ладонью медной, искромсанной шрамами по волосам провел так ласково...

— Ванну с пеной? — бутыл с этой самой пеной, каковая, как и прочие ванне принадлежности входила в стоимость номера — пятьдесят злотней за ночь — прижимал к груди.

— С пеной, с пеной... и с шампунью...

На человека, следовало бы сказать, очень тощего и заморенного даже, Аврелий Яковлевич смотрел с невероятной нежностью, которая коридорного привела в великое смущение.

Оттого и пены он плюхнул втрое против обычного.

И шампуни.

И совершил очередную попытку ретироваться, но вновь был остановлен.

— Чего сладкого на кухне есть? — поинтересовался Аврелий Яковлевич, присев на краешек постели.

— Эклеры. Воздушные трубочки со взбитыми сливками и цукатами, шоколадный пудинг, пудинг аглицкий классический, медовая коврижка со сливочно-клубничной пеной, сливовые меренги...

Аврелий Яковлевич кивал головой, думая явно о чем-то своем.

— Но наш повар с радостью приготовит все, чего вы пожелаете... к примеру, на той неделе в номере останавливались молодожены... — коридорный надеялся, что голос его не дрогнул, — и он самолично готовил для них «Сладкую ночь».

— Сладкую? Это хорошо...

— Коржи-безе с грецкими орехами и фисташками, сливочно-ромовый крем и белый шоколад... украшения из засахаренных роз и карамели.

— Очень хорошо... — Аврелий Яковлевич щелкнул пальцами. — Неси... эту твою ночь.

— Но... — коридорный сглотнул. — Потребуется время...

— Сколько?

— Т-трое суток... белки должны закваситься... выходиться...

— Трех часов хватит, — отрезал ведьмак. — И передай повару, чтоб сахару не жалел. Пусть ночь и вправду будет... очень сладкой.

Сказал и засмеялся, и мышцы дернулись, толкая русалок в объятья друг друга.

Ужасно!

Оказавшись за дверью, коридорный перевел дух. Нет, работу свою он любил. И место, и постояльцев, которые представлялись ему этакими великовозрастными детьми, не способными обойтись без его помощи. А постояльцы, особенно постоялицы, ценили участие, благодарность свою выражая сребнями. И просьбы их были просты и безыскусны, и жизнь в гостинице текла своим чередом, неспешная и весьма благопристойная.

А тут вдруг...

Пожалуй, лишь сильнейшее душевное смятение, в котором пребывал коридорный, и оправдывало дальнейшие его действия. Нет, он, конечно, передал управляющему странную, почти невозможную просьбу. Пусть сам с поваром разбирается, который, как и все талантливые кулинары, мнил себя едва ли не главным в гостинице лицом...

После разговора, укрепившись в своих намерениях, коридорный покинул гостиницу черным ходом и свистнул мальчишку, из тех, что вечно выются в поисках подработки. Короткая записка и монетка исчезли в широких рукавах мальчишечьего пиджака...

...угрызений совести коридорный, часом позже впустивший в святая святых молодого крысятника, не испытывал. Напротив, он почти уверился, что совершает деяние благое.

Спасает невинного...

...ну или что-то вроде того.

Очнулся Гавел в ванне.

В пене.

Под внимательными взглядами десятка пухлых крылатых младенчиков, которые сжимали в руках луки и целились аккуратно в Гавела.

Пена пахла клубникой.

Романтично горели свечи, расставленные на широком ванны бордюре, и отблески огня их ложились на медную кожу Аврелия Яковлевича.

Гавел, тоненько взвизгнув, попытался было уйти под воду, но был остановлен.

— Куда? — грозно поинтересовался ведьмак, схвативши пятерней за волосы.

— Туда, — Гавел указал на воду, что проглядывала сквозь облака пены.

— Туда всегда успеешь.

И свечу под нос ткнул.

Огонек накренился, вытянулся нитью, но не погас. А Гавел замер, зачарованный переливами его.

— Руку!

Вытянул.

И провел ладонью по рыжему лепестку, который, против ожидания не опалил, но растекся дрожащим маревом по коже.

— И вторую, — куда как мягче произнес Аврелий Яковлевич. — Огонь и вода — первейшее дело, когда в себя прийти надобно... вода смоем чужое, а огонь раны зарастит.

Гавел поднял взгляд.

— Сиди.

Сидел, пока вода не остыла. И растворившаяся пена осела на стенках ванны серыми грязными хлопьями. Кожа сделалась белой ноздреватой, и Гавел опасался, что если тронет ее, то расползется она под пальцами. Свечи раскалили воздух, и Гавел пил его, горячий, обжигающий, но невероятно сладкий.

— Ну все, буде, — Аврелий Яковлевич, в какой-то момент исчезнувший, вновь появился. — Вылезай.

И сам же Гавела достал, подхвативши в подмышки. Поставил на коврик и полотенце махровое мягчайшее, сердечками и голубками расшитое, на плечи накинул.

— Терпи. По первости кости всегда ломит... я-то помню, думал, что меня мачтой вовсе раздавило... помирать собрался... лежал, стонал... и ни одна падла водички не поднесла. А наш боцман, та еще крыса, прими душу его, Вотан, все приходил да посмеивался, мол, упертый я, не желаю с очевидным примириться. Так какое ж оно очевидное? От как на пятый день-то крысы ко мне вышли и водицы принесли, тут-то я и понял, что не в мачте дело...

Он растирал тело Гавела, которого и хватало лишь на то, чтобы поскуливать под крепкими ведьмачьими пальцами. Они тянули, крутили, сжимали, словно наново лепили.

— Вот так... еще немного и на человека похожим станешь.

Полотенце полетело под ванну, а Гавелу протянули халат, тоже махровый, розовый и с голубочками.

— Ну извини, — Аврелий Яковлевич хохотнул. — Какой номер, такие и халаты... погоди, через пару годочков будешь сам выбирать, которые по вкусу. Идти-то можешь?

— Д-та... — из горла вырвался сип.

— Ага... ну тогда пошли, — ведьмак приобнял Гавела. — Давай, давай, не ленись. Ты парень крепкий, даром, что тощий... припозднился, конечно... да и ладно... сколько тебе?

— Сорок семь...

— Ну... я в тридцать девять очнулся... говорят, чем позже, тем оно и крепче... а в тебе силы изрядно... иные опытные после мертвяцкого круга сутками пластом лежат, ты ж ничего... стоишь... и вон, сейчас накормим тебя, глядишь, легче жить станет.

Гавел шел.

Он слабо понимал, что с ним происходило и происходит, но стоило закрыть глаза, как вставало перед ними лицо женщины, столь прекрасной, что...

— Не торопись, — одернул Аврелий Яковлевич, — до нее мы еще доберемся. Сначала тебя в порядок привести надобно.

Он усадил Гавела за стол.

А на столе возвышалось нечто огромное, щедро украшенное белыми бантами и сливками.

— Сладкое — очень полезно, — ведьмак отрезал кусок и поставил перед Гавелом. — Ешь.

Ел.

Поначалу потому, что надо есть. Потом пришел голод и такой зверский, что Гавел вяло удивился — никогда-то прежде, даже перебиваясь с овсянки на постный кисель, он этакого голоду не испытывал.

— Вот и ладно... вот и умница, — Аврелий Яковлевич сгребал масляные розы ложкой, и Гавел только и мог, что рот открывать.

Голод не утолялся. И Гавел испугался, что сейчас лопнет, но так и останется голодным...

— Пройдет. Потерпи.

От торта осталась едва ли половина, когда Гавел ясно осознал, что не способен больше проглотить ни кусочка.

— Все? Ну ты... — Аврелий Яковлевич, сняв сахарного голубка, сунул его в рот и захрустел. — Слабый... замученный... рассказывай давай...

— Что?

Голос вернулся.

А с ним усталость, даже не усталость, а престранное ощущение, что его, Гавела, пропустили через мясорубку, а после собрали по кусочкам.

— Все, дорогой мой... с самого начала...

И Гавел, сонно моргнув, — комната вдруг сузилась до глаз Аврелия Яковлевича, которые, вот диво, были разного цвета. Левый зеленый, а правый — карий... или наоборот? Как ни силился Гавел разглядеть, не удавалось...

Но говорить он говорил.

Про детство свое... про старуху, тогда она еще не была старухой, а матерью... про отца, слабого и пьющего... про братьев своих, которые появлялись на свет, но жили недолго, вскоре переселяясь из старого дома на местное кладбище... про скандалы... про то, как хирела, приходила в запустение отцовская лавка... про соседок, с которыми матушка перессорилась, а били Гавела.

Не соседки — дети их, сбивавшиеся в стаю.

Он пытался давать отпор, но не получалось...

...про свой побег из отчего дома в пятнадцать лет... про Познаньск и грузчиков, среди которых подвизался... про университет, куда попал случайно, но остался, одержимый новою мечтой — стать ученым человеком. Про мытье полов и подсобные работы на кухне... про учебу, что Гавелу нравилась, хотя и давалась непросто...

...про первую его статью, пустую, о работе попечительского комитета и приютах сиротских... о том, что отметили ее... и про статьи иные, за них платили гроши, но Гавел собой гордился.

Про то, как вернулся в отчий дом, желая похвастать тем, чего достиг...

Не перед кем.

Отец умер, а мать, уже как-то в старуху превратившаяся, вцепилась в Гавела клещом. Пришлось лавку продать за гроши, а дом и того дешевле... она же жаловалась на здоровье... и усладал лечиться на воды.

Мать все-таки.

Рассказывал и про «Охальника», где платили прилично, и про собственные вялые попытки жизнь обустроить хоть как бы... и про то, что устал он...

— Вот оно как, — Аврелий Яковлевич подsunул очередной кусок торта, который Гавел принялся есть руками. Он снова был голоден. — Ничего...

— Что вы со мной сделали? — спросил Гавел, потому как устал уже бояться.

— Я? Помог силе выбраться.

— Какой силе?

Аврелий Яковлевич сел, скрестивши руки на груди.

— Обыкновенной, — он дернул себя за бороду. — Той, которая тебе от матери досталась... колдовка она... а ты — ведьмак.

Колдовка?

Ведьмак?

Странное он говорит.

Аврелий Яковлевич поднялся.

— Дар, он разным бывает, особенно у женщин... люди говорят про светлый и темный, но это

неверно. Свет и тьма в каждом имеется, и только от человека зависит, чего в нем больше будет. А дар же... это сила. Много ее, мало — дело третье... но одна сила рождается от собственной души человеческой, сути его, а другую он от мира берет. И ладно, ежели от солнца или воды, от земли, огня. Но такую силу взять умение надобно. Куда как проще из иной живой твари вытянуть.

Гавел потрогал себя за руку.

Он — ведьмак?

— Вот она и тянула. Скандальничать любила, это верно... ей-то с криком сил прибывало, а вот от иных людей, так напротив... отец твой, верно, язвою мучился? И почечными болями? Печень пошаливала? Да и сам весь больным был?

Гавел кивнул.

Он ведьмак. А старуха — колдовка... странно... она просто старуха. Склочная. Занудная, но...

— Не веришь? — Аврелий Яковлевич уселся напротив и пальцы в сахарной трухе облизал. — Это зря... такая колдовка — навроде упыря. Частенько она и сама не понимает, чего делает. Точнее понимает, что когда рядом кому-то плохо, то ей, напротив, хорошо. Вот и пытается делать так, чтобы все время плохо. А главное, примучают они человека, заморочат, вот бедолага и терпит, день за днем, год за годом, пока вовсе в могилу не сойдет. Тебе еще повезло.

— В чем?

Везучим Гавел себя не ощущал.

Выходит, что мать его... и дети... братья, которых хоронили... и отец с его постоянными жалобами, кашлем кровавым...

— Живой остался, — жестко произнес Аврелий Яковлевич. — И правильно мыслишь. Прочих-то она высосала...

Гавел обнял себя, пытаясь справиться с дрожью.

Ложь.

Зачем ведьмаку врать?

— Тебя вот оставила... — Аврелий Яковлевич премерзко ногтем по столу постукивал. — Сила в тебе немалая, да только матушка твоя не давала ей подняться... и до самой бы смерти не дала бы. А там, глядишь, и новую жертву нашла.

— После смерти?

— После твоей, дорогой мой, смерти. Ешь, давай. А то глядеть тошно, кости одни... но ничего, как говаривал мой наставник, были бы кости, а мясо уже наростим.

И Гавел, отбросив стеснение, снял масляную розу, сам удивляясь, куда в него столько-то лезет.

— Самая крепкая магия на крови оттого, что через кровь чужую жизненную силу вытянуть проще простого. Одно, что у голубя каплю возьмешь, у кошки — две, а вот с человека крепко

поймать можно. Ему богами бессмертная душа дадена, и ежели исхитриться, добраться до этой души, то и обретет ведьмак или колдовка источник собственный, не то, чтобы вовсе бездонный, но такой, которого надолго хватит. К счастью, связать душу очень непросто...

Аврелий Яковлевич замолчал, явно раздумывая о чем-то своем. Он водил заскорузлым пальцем по скатерти, по вышитым на ней сердечкам и розам, а Гавел жевал, не смея прерывать его, наверняка, важные мысли.

— Ты спрашивай, спрашивай, а то ж изведешься весь от любопытства, — разрешил Аврелий Яковлевич, распрямляясь.

— Я... и вправду ведьмак?

— Ну... не ведьмак пока, ведьмачок недокормленный.

— А как вы... откуда... — Гавел замолчал, кляня себя за косноязычие.

— Оттуда... вона, твоих рук дело? — на стол лег «Охальник» с последнею статьею и снимками.

— М-моих...

— Чего краснеешь, как монашка в мужской бане? Сам знаю, что твоих... и ведь не первая статейка-то...

Гавел голову в плечи вжал, морально смиряясь, что и ведьмаки биты бывают.

— Экий ты... затюканный, — с непонятною печалью произнес Аврелий Яковлевич. — Совсем она тебя выела. Я ж не о том, бедолажный. Мне бы еще того разу, когда ты в саду моем прогулялся, задуматься, как это у тебя вышло... удачливый ты больно. И в каждую-то дыру пролезешь, и охрана тебе не помехою... и полог мой пробил...

— Я... амулетом.

— Амулетом он, — Аврелий Яковлевич хмыкнул. — Знаешь, куда амулеты свои засунь? Вот, вот, именно туда... это я фигурально выражаясь. Плох тот ведьмак, чье колдовство на амулет взять можно. А я, чай, не из недоучек...

— Я не...

— Стихийный выброс силы. Бывает такое в минуты душевных волнений. Поверил, что амулетик тебе поможет, вот и... помог на твою бедовую голову, — тяжелая рука Аврелия Яковлевича пригладила взъерошенные волосы Гавела. — Ничего. Теперь-то я за тебя возьмусь...

Прозвучало как-то не сильно обнадеживающе. И Гавел, жалобно вздохнув, указал пальцем на челюсть, которая по-прежнему лежала на краю стола.

— А...

— Бэ, — ответил Аврелий Яковлевич. — Еще один упрямец... был ведьмаком при дворе Миндовга... и пропал. Так оно редко бывает, чтобы ведьмак пропал бесследно. Мы-то народ беспокойный, сам увидишь... и не живым, так мертвым... а этот исчез, будто и не было никогда.

Он взял кость на ладонь и погладил.

— В серебряном гробу похоронили... а это, я тебе скажу, уважение.

Гавел кивнул, соглашаясь, хотя сам он бы от такого уважения предпочел бы отказаться.

— Но по серебру я его и нашел. Этакий-то клад, да чтоб без сторожа? Невозможно, — Аврелий Яковлевич кость баюкал на ладони. — Вот и открыл мне... правда, поначалу все горшки с монетами норовил подсунуть, хельмово отродье... но потом и к серебру непокойному вывел.

Он говорил и гладил.

И почему-то вид кости, какой-то желтовато-бурой, с темными осколками зубов более не вызывал отвращения. Напротив, в той бережности, с которой Аврелий Яковлевич с чужой челюстью обходился, было что-то очень правильное, чему Гавел пока не находил объяснения.

А ведьмак и без слов понял, кивнул.

— Тоже чуешь... с мертвыми-то оно по-всякому бывает. Иных принуждать приходится, но под принуждением особого толку не добьешься и сил истратишь немеряно. Лучше, чтоб похорошему... его вот сожгли живьем. И она до последнего не позволяла ему умереть...кости с мертвоедами похоронили, небось, думала, что ничего-то не останется.

Аврелий Яковлевич бережно положил кость на блюдце и белой салфеткой укрыл.

— Осталось... немного, конечно, но хватило.

— И я...

— Ты в руки взял предмет, на котором не одно заклятье лежит, вот силу к силе и потянуло. Молодец, что выстоял.

— А мог бы...

Гавел вспомнил черноту под ногами.

— Мог бы, — спокойно ответил Аврелий Яковлевич.

— И вы специально!

— А то!

— А если бы я...

— Похоронил бы с почестями. Могилка. Памятник. Поминки опять же...

— Шутите?

— Шучу, — Аврелий Яковлевич руку подал. — Пошли, дорогой мой. Не надо думать о том, чего было бы, кабы да если б... оно так совсем до дурного дойти можно.

— Куда это вы меня ведете?

— К кровати...

Кровать под розовым балдахином заставила Гавела вспомнить ту давешнюю сцену,

подсмотренную им через окно.

— Я... я не хочу к кровати! — он слабо трепыхнулся, но ведьмак держал крепко.

— Конечно, хочешь. Спать-то где-то надо... или ты на полу собрался? На коврике у двери?

Кровать приближалась. А халат, к слову, женский, почему-то сползал.

— Ну не упрямысь, — продолжал увещевать Аврелий Яковлевич, оный халат стягивая. — Нельзя спать в одежде...

И попросту вытряхнул Гавела из одежды, в постель засунул и подушечку поправил. Одеялом укрыл по самые глаза.

— Отдыхай. Завтра у нас с тобой непростой день будет.

Гавел послушно закрыл глаза. Что бы ни было завтра, до него еще дожить предстояло...

...Евдокию украли прямо у старых конюшен.

Глупо получилось.

Да она и не занята на съемках, и вообще пребывает в статусе весьма сомнительном, и всякий раз, когда ловит на себе взгляд Клементины, об этой неопределенности вспоминает и смущается, но смущение Евдокия преодолевает.

И намеков, что, дескать, ей бы иное занятие найти, к примеру, в парке прогуляться, не слышит... прогуляется, потом, когда вся эта мутная история с зеркалами и призраками разрешится, а пока Евдокия будет за сестрицею приглядывать.

А то больно осмелела эта сестрица.

До конюшен Евдокия дошла. Перехватили на входе, мальчишка подлетел, сунул записочку, что, мол, ждут Евдокию с очень важной информацией по одной интересующей ее персоне. Кто сунул? А дядька какой-то... какой? Обыкновенный.

В общем, испугаться она не испугалась.

И любопытство неуместное проявила, понадеявшись на револьвер, с которым не расставалась... оно, конечно, револьвер — всегда аргумент веский, но тот, кто похищение затеял, оказался личностью продуманной.

До револьвера Дусе дотянуться не дали.

Стоило за конюшни завернуть, на старый каретный двор, который после перестройки так и остался каретным двором, но уже подновленным, как Евдокию окликнули.

Она и обернулась.

А в следующий миг в лицо вдруг дыхнули белой ванильной пылью. Евдокия чихнула... и голова вдруг кругом пошла. Ноги сделались мягкими, и Евдокия упала бы, но не позволили, подхватили на руки, захлопотали... она понимала, что ее похищают, но ничего-то не была способна сделать.

Евдокия видела черный экипаж, самого обыкновенного виду, подобных на каретном дворе было несколько. Видела четверик лошадей и человека в ливрее, дверцы распахнувшего.

Хотела закричать, но губы онемели.

Ее бережно уложили на диванчик и прикрыли плащом.

— Так оно лучше будет, панночка Евдокия, — раздался смутно знакомый голос. — А то больно вы приткая.

В экипаже пахло все той же ванилью. Или это Евдокия просто утратила способность иные запахи различать? Она закрыла глаза, велел себе успокоиться и досчитать до десяти.

— Не притворяйтесь спящей, панночка Евдокия, — ее легонько шлепнули по щеке, и удар этот несильный, но весьма обидный Евдокия ощутила. — Я точно знаю, что пыльца болотной лилии лишает человека сил, но не разума. Вы пребываете в ясном сознании... достаточно ясном, чтобы Ирженин камень не потемнел.

Ирженин камень? Значит, везут в храм.

Зачем?

Ясно, зачем... жениться будут. Евдокия вспомнила первое похищение и того, неудачливого похитителя, который остался лежать на мостовой. Он, помнится, тоже о женитьбе говорил...

— Удивлены? — Евдокию рывком подняли. — Мне кажется, так нам удобней будет разговаривать. Ах да, вы говорить не способны, но это ненадолго... погодите минут десять...

Замолчал.

И пальцем отодвинул шторку, впуская какой-то чересчур уж яркий дневной свет. Евдокия зажмурилась и застонала: больно.

— Хорошее средство. Жаль, что дорогое. Но для вас, панночка Евдокия, мне ничего не жаль. Выпейте, — флягу прижали к губам и наклонили. Евдокии пришлось глотать горький травяной отвар, чтобы не захлебнуться.

Но как ни странно, полегчало.

— В-вы... в-вам...

— Видите, говорить уже способны.

Губы онемевшие, язык тяжелый, распухший, еще немного и Евдокия им подавится. Она трогает этим чужим языком зубы и щеки, но прикосновений не ощущает. Руки бессильны. И ноги ватные. И сама она, словно кукла, мокрой шерстью набитая.

— Если... вы думаете... что вам... — говорить тяжело, но Евдокия говорит и пытается пальцами шевелить, кровь разгоняя.

— Сойдет с рук? — подсказал пан Острожский. — Конечно, сойдет. Вы, панночка Евдокия, при всем моем уважении, в некоторых вопросах на удивление наивны. Когда брак будет заключен, я получу полное право распоряжаться как вашим имуществом, так и вами...

Он выглядел весьма довольным собой.

Мерзкий человек.

Не зря он Евдокии с первого взгляда не понравился.

А выглядит почти порядочным. Одет по моде: полосатые штаны, до того узкие, что еще немного и лопнут, полосатый жилет из кармана которого свисает толстая цепочка с дюжиной брелочков, широкий пиджак с чрезмерно длинными рукавами, вновь же полосатый. На ногах — узконосые белые штиблеты. На голове, прикрывая раннюю плешь, которой пан Острожский несколько стеснялся, шляпа с узким шнурочком.

Волосы уложены.

Усы напояжены.

Бачки подстрижены аккуратно, а подбородок выскоблен... но чем-то, быть может, этой вот полосатостью, напоминает пан Острожский крупного колорадского жука.

— Что ж вы упрямая-то такая, а Евдокиюшка? — поинтересовался он, когда Евдокия отвернулась к окну. И потянулся, вцепился узкими пальцами в щеки, сдавил так, что рот сам собою некрасиво открылся. — Мы бы могли поладить... я ведь пытался...

И вправду пытался.

Приносил хризантемы и шоколад. Шутки шутил. Ручки целовал... Евдокия же о шахтах думала.

— Шахт... нет?

— Вот что вас интересует, — он руки убрал и платочком пальчики отер, не скрывая брезгливости. — Вы совершенно неправильная женщина, дорогая моя. Но вы ошибаетесь, шахты есть. Только вести разработки на них — полнейшее безумие... увы, Серые земли — не то место, где можно делать бизнес.

Это он зря, при должном подходе бизнес можно вести везде.

— Вы... мош-ш-шенник, — выговорила Евдокия не без труда. И кажется, ей удалось пошевелить мизинцем.

— Как грубо, дорогая. И нет, разве я бы обманул вас? Вы бы получили свой пай... я — деньги... но вы оказались столь упрямы, что и свою маменьку переубедить сумели, а она — иных моих клиентов. И это очень нехорошо. Просто-таки непорядочно с вашей стороны. Я так много потратил, готовясь к нынешнему делу... а что в результате? Появилась какая-то наглая девка, которая...

Он стиснул платок в руке и Евдокию одарил улыбкой, от которой к горлу тошнота подкатила. А может, не от улыбки, но от понимания, что с этим ничтожеством Евдокию вот-вот узами брака свяжут?

Нет, развод получить возможно.

Особенно в нынешнем случае, когда будет иметь место факт принуждения... и маменька не останется в стороне, и Лютик...

Лихо...

— Вы меня очень расстроили, Евдокиюшка. Поначалу. А после я взглянул на это дело с другой стороны. Вы не замужем, я холост... чем не партия? Объединяем судьбы, а заодно и капиталы, но вы вновь изволили упрямыться. Пришлось брать дело в свои руки.

— И надеетесь, что у вас получится?

— Уверен, что получится.

Он выглядел до отвращения самодовольным. И Евдокия не удержалась.

— В прошлый раз вы тоже были уверены.

— Увы. Но теперь у меня опыт имеется... и кое-какая информация. На кого вы рассчитываете? На маменьку? У нее, если не ошибаюсь, большие проблемы со здоровьем. На отчима, который оные проблемы решить пытается? И решит. Вот-вот отправит свою дорогую супругу в Пресветлый лес. Ваша сестрица, думаю, отправится вместе с ним... вряд ли он оставит дочь без присмотра. Что же до вас, Евдокия, то... вы ведь не захотите, чтобы ваша дорогая маменька от этой поездки отказалась? Больную женщину беспокоить... это нехорошо... вы ведь так самостоятельны...

Издевается.

И если он говорит правду, то...

...маменька больна.

...и Лютик приехал в Познаньск явно не для того, чтобы за Евдокией присматривать...

...развод займет время... может затянуться на полгода, а то и дольше... маменька уезжать не захочет, пока все не разрешится... а если это ее убьет?

— Вижу, вы все прекрасно понимаете.

Пан Острожский широко и радостно улыбался, поблескивая золотым зубом.

— Я с вами и без помощи посторонней справлюсь, — сказала Евдокия, морщась: голова все еще кружилась, а тело не слушалось.

— Да, конечно... не исключая... вы — женщина решительная, я бы сказал, чрезмерно решительная. А потому рисковать я не намерен. Как только брак будет заключен, мы обратимся к одной милой даме, моей старой знакомой, которая избавит вас от излишней строптивости. Уверяю, вам оно лишь на пользу пойдет.

Он наклонился и провел пальцами по Евдокииной шее.

— Полчаса и вы преобразитесь...

— Чтоб тебе... провалиться...

К сожалению, проваливаться пан Острожский явно не собирался. Напротив, он пересел, оказавшись слишком уж близко к Евдокии, обнял, прижал к себе и дыхнул на ухо мятою.

— Уверяю, вам понравится. Вы будете любить меня безоглядно. А я постараюсь стать хорошим мужем.

— Думаете, никто не заметит?

— Приворот, может, и заметили бы, а так... ваша маменька так долго мечтала выдать вас замуж, что, наверняка, обрадуется. Ваш отчим, возможно, и заподозрит неладное, но вряд ли рискнет здоровьем обожаемой супруги... ваша сестрица не пойдет против воли отца...

— Вы сволочь!

— Уверяю, очень скоро ты, милая моя невеста, изменишь свое мнение.

Экипаж остановился.

— Прошу, — пан Острожский вновь флягу протянул, помог напиться и рот платочком вытер. От платочка резко неприятно воняло туалетной водой. — Ну же, Евдокия, не упрямытесь. У вас все равно сил не хватит сбежать...

Его правда.

Встала она с трудом. А в храм, небольшой, пребывавший в некотором запустении, пан Острожский ее на руках внес. Сам же одел на голову Евдокии веночек из белоцвета, лентами перевитого.

И ленты эти расправил.

Он притворился таким заботливым, а Евдокия задыхалась от бессильной ярости.

— Кто?

— Что? — пан Острожский бросил на блюдо перед статуей Иржены-заступницы пару медней.

— Кто вам... про маму...

— А... один крайне предприимчивый юноша, которому очень нужны были деньги...

— Грель.

— Какая разница, дорогая моя? Скоро тебя перестанут волновать подобные проблемы... идем...

Он увлек Евдокию за собой.

Храм был небольшим.

И древним.

В своем нынешнем странном состоянии Евдокия чувствовала его... тяжесть каменных стен, снаружи укрытых шубой дикого винограда. Изнутри стены белили, и на круглых медальонах рисовали двенадцать картин сотворения мира...

...и древо его...

В полумраке белели статуи Иржены.

И Евдокию несли мимо шести ликов богини.

Заступница. Воительница.

Мстящая.

Милосердная с глазами слепыми от слез.

Утешительница, которая глядит, казалось бы, в самую душу Евдокии, обещая... что?

Дарующая надежду с тонкими свечами на неестественно широких ладонях. Свечей многие дюжины, и огоньки их дрожат, но не обрываются.

— Идем, дорогая, после осмотришься, — пан Острожский злится.

Неуютно ему.

Страшно.

Одно дело — людям лгать, и другое — богам. Иржена видит, и от нее не откупишься меднями. Он, верно, говорит, что потом, после свадьбы, отсыплет золота на нужды храма, и тем душу успокаивает. А может, и не говорит, может, нет у него никакой души, и все-то Евдокия выдумала.

Остановились у белого алтарного камня, над которым висел простой медный колокольчик. Звук его разнесся по храму, и огоньки задрожали...

...нет надежды.

Почти нет... жрец не имеет права связывать судьбы против воли...

— Кто ищет милости богини? — жрец выступил из-за ширмы, которая почти сливалась со стеной. Он был молод.

И тоже нервничал.

Оглядывался на дверь, которую пан Острожский предусмотрительно запер.

Жрец то и дело вытирал ладони о полы бирюзового своего одеяния и трогал вышитых на нем голубей.

— Мы ищем, — ответил за двоих пан Острожский и скривился.

— Для чего?

— Чтобы просить богиню в милости своей связать две судьбы воедино, — он даже поклонился, забыв, правда, снять шляпу. И жрец поморщился, но замечание проглотил.

— Я не прошу, — сказала Евдокия.

Пан Острожский сдал руку, предупреждая, что следует молчать. Но молчать Евдокия не собиралась.

— Этот человек — преступник...

— Дорогая, — пан Острожский закрыл ей рот. — Поверь, что здесь это никому не интересно... преступник, жертва... все проплачено.

И жрец отвернулся, покраснев.

Проплачено.

Подготовлено. И Евдокии остается смириться? Ну уж нет! Евдокия смириться не собирается. Жаль, что единственное, на что она еще способна — укусить пана Острожского...

— Осторожней, дорогая, — он руку отдернул. — Этак и без зубов остаться недолго.

А потом, наклонившись к уху, пообещал.

— Скоро ты, Евдокиюшка, сапоги мне вылизывать будешь и при том от счастья мурлыкать...

— Гм... — жрец вытащил из-под алтаря массивную книгу в кожаном переплете, чернильницу и стальное перо. — Прошу жениха положить руку на камень...

Пан Острожский представился громко.

И недовольно глядел, как жрец пишет, а тот не торопился, тщательно выводя каждую букву.

— Если будет суд, то записи станут проверять, — пояснил он. — Не хватало, чтобы из-за описки брак признали недействительным.

Этакий аргумент пан Острожский счел достаточно веским...

— Теперь невеста...

Евдокия убрала руку за спину, понимая, что ничего-то этим глупым, детским сопротивлением не изменит. И пан Острожский с радостью руку сдавил, едва ли не выломал.

— Ну же, дорогая, проявите благоразумие, — оскалившись, произнес он.

И прижал Евдокиину ладонь к камню, который начал медленно нагреваться, меняя цвет с белого на красный... а потом на синий.

Жрец, писавший под диктовку пана Острожского, перо отложил, книгу закрыл и под алтарь убрал.

— К сожалению, — сказал он безо всякого сожаления, — я не могу заключить этот брак.

— Что?

Евдокия руку с камня на всякий случай убрала.

— Дело в том, что панночка... панна Евдокия уже состоит в браке...

— Что?! — с Евдокией, конечно, за последнее время много всякого произошло, но вот замуж она точно не выходила. Или...

Она посмотрела на кольцо.

— Именно, — подтвердил догадку жрец. — Заговоренный перстень. Семейный, полагаю...

позвольте взглянуть?

Евдокия руку хотела убрать, но пан Острожский не позволил, вытянул и кольцо дернул.

— Да... определенно... очень старый... их делали для помолвки... полагаю, чтобы у невесты не было возможности передумать.

— Помолвка или брак? — пан Острожский злился.

— Помолвка, но силу она имеет истинного брака. Такие помолвки разрываются в случаях исключительных...

— Как снять? — кольцо он, слава богам, в покое оставил, но как-то нехорошо стал на палец Евдокии поглядывать.

— Никак, — жрец развел руками. — Кольцо — это материальный символ, даже если каким-то чудом снимете его, на ауре панны останется печать. И камню того будет достаточно.

— Жаль, — сказал пан Острожский, но кольцо оставил в покое. — Очень-очень жаль...

И на Евдокию посмотрел.

А она вдруг четко осознала: не отпустит.

Живой — точно...

— Умная деточка, — пан Острожский перехватил ее за талию. — На свою беду... а ведь чуял я, что не доведет тебя этот офицерик до добра... но тянул, ждал... ничего, где одно не получилось, другое выйдет...

Он уходил из храма, и белесые статуи Иржены смотрели ему в спину.

Не вмешивались.

Да и то, богам ли дело до земных забот.

Экипаж стоял у храма.

— И что теперь? — поинтересовалась Евдокия, бессильно повиснув на руках похитителя.

...жаль, револьвер изъяли.

Но ничего, как-нибудь... на револьвере мир клином не сходится.

— Ничего, дорогая, — пан Острожский со злостью дверцу открыл и Евдокию в карету толкнул, да так, что она едва не упала. — Аккуратней, панночка, ваше личико мне еще надобно целым...

Это Евдокия тоже запомнит.

Посадил рывком.

И схватив за кружева, тряхнул так, что Евдокиина голова о стенку ударилась со звуком премерзким, глухим.

— Это вам авансом, панночка Евдокия, за все мои беды, — сказал он, кружева расправляя. —

Ничего. Я уж позабочусь о том, чтоб вы сполна рассчитались...

Сволочь.

И без револьвера жить все-таки грустно...

— А вашего вопроса касательно, то... все просто. Мы наведаемся к моей знакомой, а потом — в банк, где вы, панночка Евдокия, обналичите счета. Конечно, получу я много меньше, нежели рассчитывал. Но, полагаю, вам не откажут и в небольшом займе... этак тысяч на сто злотней... или на двести? Посмотрим. Вы сами с готовностью сделаете для меня все возможное и невозможное.

— Вас найдут.

— Это навряд ли. Я, панночка Евдокия, вовсе не такой дурак, каковым вы меня полагаете. Я сегодня же Гданьск покину, а завтра-послезавтра и королевство. С состоянием везде устроиться можно будет. Ваши же родичи, полагаю, будут заняты вами. Вы внезапно заболаете и к моему преогромному сожалению, скончааетесь... дней этак через четыре-пять... что такое деньги, когда погибает родной человек?

— Вы рассчитывали меня и...

— Не сразу, панночка Евдокия. Думаю с полгода мы бы с вами прожили, а то и поболее... здесь мне ни к чему было бы внимание привлекать.

...но убил бы. Через год или два, когда живая покорная игрушка надоела бы...

— Не переживайте, Евдокиюшка, — пан Острожский премеерзко усмехнулся. — Зато умрете вы совершенно счастливым человеком, уж я постараюсь.

Он замолчал.

И молчание это длилось долго.

А экипаж катился. Гремели колеса по мостовой. И там, за стеночкой, жил Гданьск... до Евдокии доносились голоса людей, и лошадиное ржание, и иные звуки, обыкновенные для городских улиц.

— Не надо, панночка, — покачал головой пан Острожский. — Вы, конечно, можете закричать или иную какую глупость совершить, но поверьте, вас не услышат. Уж я позаботился о такой мелочи, как правильная карета... и дверцы ее открыть могу лишь я. Попробуйте.

Отказываться Евдокия не стала.

Попробовала, но сколь ни нажимала она на витую позолоченную ручку, дверца оставалась запертой.

— Видите?

— Вижу.

— Смиритесь уже. И не вынуждайте меня прибегнуть к иному средству...

Он достал револьвер, тот самый, Евдокиин, верно служивший ей столько лет. И странно было

видеть его в чужих руках, странно думать, что пуле, из этого револьвера выпущенной, безразлично, в кого лететь, в бывшую ли хозяйку, в ее ли врагов...

— Вот так-то...

Экипаж вдруг остановился.

— Чего творишь! — донесся визгливый голос возницы, в котором Евдокии послышался страх. — Руки убери! Убери руки!

Заржали лошади, попятились.

А пан Острожский с легкостью перекинулся к Евдокии и, приобняв ее, ткнул револьвером в бок.

— Смирно сиди, — велел он.

Дверцу кареты не распахнули — выдрали.

— У нас гости, дорогая, — пан Острожский вдавил револьвер в самые ребра. — Незванные и настырные... что ж, иные гости бывают на удивление к месту. Садитесь, дорогой. Прокатимся.

Лихослав втянул воздух и глухо зарычал.

— А вот коней пугать не надобно. Вдруг понесут? Тут же город, люди... до беды недолго.

— Лихо...

— Сядет и поедет с нами, — пан Острожский руку повернул, так, чтобы револьвер был виден. — А то еще овдовеет во цвете лет. Полагаю, это в его планы не входит, нет?

Лихо тряхнул головой.

И сел.

Спину выпрямил, руки на коленях сложил, и Евдокия против воли уставилась на них.

— Трогай, — крикнул пан Острожский. — А я вам, панночка, удивляюсь... вокруг вас столько людей достойных, а вы себе выбрали...

...крупные ладони стали еще больше. А пальцы сделались короче и толще. Ногти почернели, вытянулись.

— Нелюдя... как есть нелюдя...

Лихослав молчал, не спуская с пана Острожского внимательного звериного взгляда, под которым пан, надо полагать, чувствовал себя крайне неудобно.

Ерзал.

И револьвером тыкал, тыкал...

— И ведь заметьте, панночка Евдокия, до чего несправедлив мир! Будь он простым человеком, скажем, пекарем там или кузнецом, его бы мигом ликвидировали... или нет, как правильно

говорить? Зачистили, да? Точно, зачистили...

Выдранная дверца осталась где-то на дороге, а из дыры тянуло рыбным духом... и мясным... и еще, кажется, свежим хлебом, и значит, карета катилась мимо местного рынка...

...а после свернула к набережной.

...оттуда одна дорога, которая ведет к королевской резиденции. Нет, имелись и иные, проселочные, но на них подобная карета была бы весьма приметна.

— А князь-волкодлак живет себе и горя не знает. Многих уже сожрали?

— Вы будете первым, — ответил Лихослав и улыбнулся, широко, так, чтобы длинные нечеловечьи клыки видны стали.

— Ну это навряд ли. А вот я за волкодлачью шкуру мог бы и премию требовать... как сознательный гражданин. Но увы, не судьба... очень вы ей нужны... для чего — не спрашивайте, сама расскажет...

— Лихо!

— Ничего он не сделает, Евдокиюшка. Видишь ли, волкодлаки с оборотнями в чем-то схожи... волчья кровь... однолюбцы страшные... уж если выберет подругу, то одну и на всю жизнь. Романтично! Но неудобно, очень неудобно...

Лихослав не ответил. И Евдокиин взгляд поймал, только улыбнулся неловко и руками развел: мол, и сам не думал, что так выйдет... а кто думал?

Но главное, как теперь быть-то?

Пан Острожский, окончательно уверившись, что ничего-то ему не угрожает, Евдокию к себе прижал, погладил по шее.

— И пока вы со мной, ваш нелюдь сделает все, что ему скажут...

— Он человек.

— Ой, да бросьте вы... человек... это до первого полнолуния... или до второго... а там однажды проснетесь в кровати с волохатой тварью. А она еще и в кровище будет, после охоты-то... и добре, когда не на вас охотится станет. Вам-то, панночка Евдокия, ничего не грозит, раз уж подругою выбрал... а вот прочим-то людям с вашей любви может всякое случиться... но что нам за дело до прочих людей, верно?

Карета меж тем свернула на знакомую дорогу.

И сомнений не осталось: путь пана Острожского лежит к Гданьской королевской резиденции...

— Вы многое о волкодлаках знаете, — заметил Лихослав, пряча руки за спину.

А желтизна глаз его гасла.

— Откуда?

— Да случилось встречаться...

— Не на Серых землях часом?

— Там, — пан Острожский вдавил револьвер так, что дышать стало тяжело. — Презабавные твари, не люди, но и не волки. И главное, думают, что самые быстрые, самые хитрые... я троих повстречал, хорошая получилась шуба, теплая...

— И долго вы на Серых землях пробыли? — Лихослав постепенно успокаивался, вот только спокойствие его было того плана, что сама Евдокия нервничать начала.

Убьет ведь.

Не сейчас, так позже... и ладно бы, пана Острожского не жаль, но...

...вдруг да это убийство самого Лихослава переменит?

— Я там родился, — пан Острожский погрозил пальцем. — Не шали. Ты ж еще не перекидывался ни разу, чтоб по-настоящему... слышал, про Острожский удел? Мое наследие. Усадьба наша там стояла... да и ныне стоит, Хельм ее не берет. Богатые были земли. Предки мои овец разводили... мануфактуры имели, шахты, опять же... и куда что ушло? Мы не воевали, мы мирно жили, сначала под Хольмом, потом — под королевскими стягами... что война? И от нее прибыток иметь можно...

Он вздохнул и на миг маска его, человек веселого, не особо совестливого, но в целом-то весьма свойского, неплохого, соскользнула.

— Серые земли сожрали наш род и наше состояние. Оказалось, что никому-то мы в королевстве не нужны... компенсация? Нам кинули гроши, какие-то пустоши пожаловали, и живите, как знаете... а многое было вложено в производство, в сами шахты...

— Вы остались.

— Не только мы. Многие поначалу оставались. Ведь не было ничего-то опасного... ну солнце ушло, так подумаешь... первые годы, дед сказывал, даже пшеница всходила. А уж жили в шахтах и вовсе медью налились. Я видел учетные книги. Такой добычи отродясь не бывало...

— Но потом появилась нечисть.

— Точно... поначалу лесавки... потом криксы вдруг завелись, и главное, осмелели-то без солнца, в стаи сбиваться стали. Шахты им очень по душе пришлись. Шиши с шишинами вылезли... ну и навье поднялось с кладбищ... и чем дальше, тем хуже становилось... год от года.

— Но вы не уходили.

— Не уходили, твоя правда, нелюдь... скажу больше, прадед мой сумел с Хозяйкою договориться...

Губа Лихослава дернулась.

— Не нравится? Думаешь, сумеешь устоять перед ее-то зовом? Или надеешься, что здесь докликаться не сумеет? Не надейся, своего она не отпустит...

Евдокия ничего не поняла, но почувствовала, что Лихо... нет, не боится, скорее уж опасается.

...и глаза вновь наливаются волчьей желтизной.

— Значит, и там жить можно? — Евдокия попыталась отстраниться, но была остановлена.

— Сиди ровно, красавица, а то ну как ручка моя дрогнет? Можно... еще как можно...

— Чем вы ей платили? — голос Лихослава звучал сипло.

— А сам-то как думаешь? Дураками, которые приходят счастья искать. Благо, времена меняются, а дурни остаются. Хватало, чтоб договор блюсти. Мы Хозяйке кланялись, она нас берегла... так и жили...

— И что изменилось?

Лихо изменился.

Менялся.

Медленно, исподволь, и Евдокию страшило, что изменения эти не останутся незамеченными.

— Ничего, — ответил пан Острожский. — Все по-прежнему. Усадьба стоит, братцу моему достанется... сестры, если повезет, найдут себе кого из улан залетных... а нет, то и будут при братце... я же понял, что жить там не способен. Солнца нет. Серое все вокруг, а мне праздника хочется.

— За чужой счет?

— А хоть бы и так, панночка Евдокия, хоть бы и за чужой, но... что я, не человек, что ли?

Ответа Евдокия на этот вопрос не знала.

Зато знала, что каблуки у туфелек ее — острые, с железными подковками, а ноги у пана Острожского — рядышком. И под полосатыми брюками его — тощие щиколотки, весьма к ударам каблуками чувствительные.

— Ой! — сказал пан Острожский, подпрыгнув на месте.

И рука с револьвером дернулась.

Палец нажал на спусковой крючок.

Выстрел бахнул, перекрывая гортанный рык Лихослава. Евдокия на всякий случай завизжала, поскольку девицам приличным, не отягощенным опытом похищений, в подобной ситуации предписывалось визжать...

...а в волосы пану Острожскому она вцепилась исключительно из женской злопамятности...

Он бился, силясь стряхнуть и Евдокию, и Лихослава, который навалился, прижимая пана Острожского к скамье. Руки с черными полукружьями когтей стискивали горло...

— Отпусти, — сказала Евдокия, когда пан Острожский обмяк.

Лихо не услышал.

Он держал крепко и, склонившись к самому лицу пана Острожского, к разбитому его носу, вдыхал запах крови. Евдокия чувствовала и беспокойство, и радость, и предвкушение...

— Лихо, — она положила руку на плечо. — Это я... Лихо, очнись.

Он вздрогнул и отстранился, отпрянул почти.

— Все хорошо, Лихо...

— Я его... — голос хриплый, и глаза желтые.

— Нет, он живой.

— Я хотел ему в горло... зубами...

И потрогал слишком длинные явно нечеловечьи клыки.

— Мало ли, что ты хотел, — резонно возразила Евдокия. — Я вот тоже хотела... ну и что? Не слушай его... ты человек, Лихо. Понимаешь?

Кажется, не поверил.

А пан Острожский слабо застонал, и Евдокия с преогромным наслаждением пнула его.

— Этого надо твоему братцу передать. Пусть разбирается.

Глава 7

В которой странности множатся, а некоторые вопросы обретают невероятную остроту

Иные двери в прошлое надо не закрывать, но, взяв камень, раствор и мастерок, замуровывать к Хельмовой матери.

Откровенное признание Ванятки Криворукого, матерого рецидивиста, пойманного на хазе первой его любви, каковая проявила немалую гражданскую ответственность вследствие нанесенной ей Ваняткою сердечной обиды.

Лихо слышал ветер.

И чуял острый запах болотной воды. Стоило закрыть глаза, и оживала память, подбрасывая картину за картиной. Вот низкое ноздреватое небо в прорехах, сквозь которые, кажется, еще немного и солнце увидишь.

Солнца не хватает.

Всего-то желтый шар на небосводе. Светло ведь... зачем оно нужно? Затем, что этот нынешний свет тоже серый, пыльный. И воздух. И сам Лихослав постепенно набирается этой вот серости.

Пыль на губах.

На ресницах.

На коже. Сколько ни мойся, ни обливайся холодной колодезной водой, от которой кожа белеет, идет сыпь, а пыль остается. Новички ее не видят, мнятся — блажит Лихо.

И не только он... от серости сходят с ума, как тот парень, который пошел плясать с марами, уверенный, что в русалочью-то ночь его не тронут. И бессмысленно объяснять было: мары не

русалки... да и то, что ночь, что день — невелика разница.

Днем светлей.

Выбираться надо было, как только привык к этой серости, к полям моховым, к болоту... к ветру, который играет, перебирая смоляные ветви не-мертвых деревьев, к шепоту, что раздается по ночам, будто бы зовет кто-то:

— Лихо...

...зовет, ласковым голосом, прикосновениями нежными. Закрой глаза, слушай... иди... ты же знаешь, что надобно идти... к ней... сбежать думал, глупый Лихо...

Поздно.

— Лихо?! — эти руки, горячие живые со сладким запахом хлеба прижались к вискам. — Ну что ты, Лихо... очнись.

Очнулся.

Сидит, дышит ее дыханием, греется ее теплом.

Нелюдь.

— Лихо, Лишенько...

— Все хорошо...

Плохо, потому что не исчезли Серые земли, отступили разве что, да и то ненадолго. И страшно: а ну как ошиблись ведьмаки? Случается ведь... живет в Лихославе зараза, и если по-честному, то выход один, взять вот этот револьвер, неудобный, махонький, под дамскую ручку сделанный, сунуть дуло в рот и на спусковой крючок. Полковой целитель говорил, что ежели так, то не больно. Пуля мозг разрушит... надо только серебряную, чтоб наверняка, чтоб не встать после смерти.

...а жить-то хочется. И сейчас больше, чем когда бы то ни было.

— Лишенько, — Евдокия перебирает волосы и лбом ко лбу прижимается. — Что ж ты надумал себе, а?

— Ничего.

— Врешь. Чую, что врешь. Поклянись, что не будешь дурить...

Это не дурость.

Так правильно.

Безопасно.

Чтобы для всех, а то ведь...

...он ходил по волкодлачьему следу. И видел... ту деревушку и крайний дом. Крыша, дранкой крытая. Беленая труба. Наличники резные, крашенные желтым, невыносимо яркие после

Серых-то земель. Выломанная дверь и терпкий привычный запах крови.

Следы на полу.

У порога звериные, разве что лапы крупной, какой у обыкновенного зверя не бывает, они меняются. Вытягивается нога, исчезают когти...

— Волкодлак, чтоб его, — бросил старшина, сплюнув на пол. Он постоянно жевал табак, говоря, что только так и способен заглушить вонь болота, и что уж лучше от него жвачкою табачной смердит, чем багною. Зубы у старшины давно пожелтели, язык сделался бурым, но разве кто на это смотрит?

И табачный желтый плевок теряется среди бурых пятен.

Кровью залита вся комнатуха.

Лихо мутит, но он сцепил зубы: не хватало еще перед подчиненными слабость выказать. И что с того, что старшина на Серых землях третий десяток лет служит, что сроднился он с ними, сросся, сам того не замечая. И переменялся, хотя все еще человек, но человек, который дышит кровью и улыбается.

— Матерый, — присев на корточки, старшина трогает след, уже вполне себе человеческий, разве что с пальцами чересчур когтистыми.

Да и сам след огромный.

— Погляньте-ка, — нога старшины в сапоге рядом с этим следом выглядит обыкновенной, а ведь он, кузнецов старший сын, сапоги носит по особой мерке шитые... — Я и говорю, матерый... через крышу вошел, через дверь вышел. Глумится, паскудина этакая...

...след он скovyрнул носком сапога, будто затереть пытался. А может и не пытался, но само прикосновение к чужой крови, пускай и подсохшей, будоражило старшину.

...двумя годами позже его возьмет полицейский патруль над телом распотрошенной женщины. И старшина не станет запыраться, расскажет и об этой, и о других, на которых охотился, когда увольнительная выпадала. А что, он же ж скольких спас, разве ж права не имеет?

Человеком ли остался?

Нелюдью стал?

Волкодлак тот в низине лежку устроил, нагло, будто бы не сомневаясь, что тоже имеет право, что на жизнь, что на охоту...

...и вот теперь Лихо превратиться в такого же.

Скоро?

Он сам знает ответ.

Но жить все одно хочется.

И Евдокия рядом, шепчет, приговаривает...

— Наговорил этот тебе... а ты дурак, что слушаешь... нашел, кого слушать... он нарочно, чтобы побольней, чтобы ударить... гнилой человек.

— Ты... не боишься? — слова даются с трудом.

А волкодлаки и вовсе говорить не способны. Даже тот, который встал-таки с лежки, уже почти человеком, разве что слишком огромным, волохатым, но все же человеком, рычал на охотников.

И копье, пробившее грудь, выдрать пытался непослушными не то уже руками, не то все еще лапами. Он грыз древко, и то слоилось, хрустело на белых словно сахарных зубах.

— Не боюсь, — сказала Евдокия. — И тебе не позволю. Хочешь человеком остаться? Оставайся. А то ишь чего удумал... я, между прочим, еще толком замужем и не была-то, а уже во вдовы... не готова я вдовствовать, слышишь?

— Слышу.

Отпускало.

Стихал шепот ветра. И белые моховые поля таяли. Память вновь играла с Лихославом, позволяя ему поверить, что все-то может быть иначе, невзавраду...

— Думаешь, Хозяйка позволит тебе уйти? — пан Острожский очнулся. Дернулся было, но сообразил, что вывернуться не выйдет. Хорошо его скрутили. Крепко. — Нет. Она играет... она всегда и со всеми играет... и тебя отпустила, чтоб на воле побегал. А как поверишь, что так оно и будет дальше, тут-то она и накинёт поводок на шею...

Он захихикал, затрясся, не то в смехе, не то в плаче.

— Все на поводке... там или здесь...

— Помолчи, — поморщилась Евдокия. — Лихо... пошли.

Подобрав юбки, она выпрыгнула из кареты. Та остановилась на развилке, верно, кучер, слышавши выстрел, сообразил, что события развиваются не по плану и предпочел сгнуться, благо, справа виднелся лесок, а слева — поле. Овес поднялся высоко и на солнце отливал золотом.

Яркое.

И небо синее прозрачное.

Белые облака.

И красное на руках...

— Этому поганцу нос разбил, — Евдокия руку перехватила. — Дай сюда. И стой смирно. Отмыть надобно...

Не отмывала — оттирала подолом собственного платья, а Лихослав просто стоял.

Дышал.

Лето.

И горячее... а там-то никогда не было, чтобы по-настоящему тепло. Зима случалась с метелями, с бурями и грозы порой спешили выплеснуть ледяной дождь, пускали по небу белые ветвистые молнии.

А вот лето было...

...не было лета, чтобы настоящего, чтобы с земляникой на опушке леса...

Или вот зерном... молодое — сладкое, не зерно, молочко. И усики колосьев щекочат ладонь.

— Пойдем, посидим, — Лихо взял Евдокию за руку, как дитя, боясь потеряться.

Она поняла и спорить не стала, и говорить, что надо бы ехать, сдать этого ее жениха полиции... или и вправду Себастьяну...

— Куда?

— Туда, — Лихо указал на лесок.

Белые березки, тонкие полупрозрачные. Маки красной каймой. Земляничный дух терпкий, и Лихо, отпустив руку — поверил, что не потеряется — перебирает травинки, ищет тройственные земляничные листочки, и ягоды, уже налившиеся краснотой.

По одной протягивает Евдокии.

— Сам ешь.

— И сам тоже.

Если из ее рук, то вкуснее, и земляника, забытый сладкий вкус, заставляет поверить, что все это — настоящее. И луг, и лето, и солнце, которое жарит нещадно, и Лихо радуется, что жаре, что испарине, которая проступает на шее.

— Хозяйка... кто она? — тихо спрашивает Евдокия, когда он, утомившись охотиться за земляникой, ложится на траву. И голову устроив на ее коленях, Лихо смотрит.

Разглядывает.

А она, смутившись не то взгляда, не то вопроса своего, отступает:

— Если ты не хочешь говорить, то...

— Хочу, — здесь и сейчас, в полуденном мареве, за шепотом колосьев, которые кланяются, трутся друг о друга, можно рассказать о той, которая легенда. — Хочу... говорят, что ее нет, что на самом-то деле все это — сказки безумных охотников... а охотники иными не бывают, только безумными. Если и приходят обыкновенные, то это ненадолго.

Солнце слепит.

Но Лихослав смотрит на него, на пылающий шар, который будто бы нарисован на небе. Долго смотрит, до белой слепоты, до пятен цветных, будто бы стеклышек в старом храме, куда Себастьян его отвел...

...давно было и тоже летом.

И тогда, в храме, где уже не осталось ни росписей, ни статуй, а сквозь каменный пол пророс вьюнок, Себастьян показал сокровищницу, полную до краев разноцветными стеклами.

Тогда они казались настоящими драгоценностями.

И Лихо черпал их.

А Бес сказал, что через цветное стекло мир преобразается. Не соврал... он никогда-то не врал... а сейчас стекол нет, но мир все равно разноцветный.

— Однажды на заставе появился человек... ты не подумай, туда много кто приходит. Торговцы вот... ведьмаки... или охотники. Этот из охотников, но он пришел с той стороны, понимаешь?

Евдокия слушает.

Лихо нравится, как она слушает.

И то, что слышит. Он ее... она его... и все еще тревожится, думает, что он, Лихо, совершит глупость... но это не глупость была бы, а...

...ей будет больно.

Если и вправду слышит...

Не надо было перстень отдавать.

Не стоило вовсе к ней приближаться...

— Он был босым и почти голым, загоревшим дочерна... там нельзя загореть, а он как-то умудрился... и на плече сумку нес, тяжелую, набитую шкурками огневок... это такие твари... мелкие, навроде кошек, а то и мельче. Но главное, что шкурки у них не рыжие, не желтые, настоящий огонь. А легонькие, что пух... и дорогие. Одна — за пять сотен злотней идет, но все одно добытчиков мало, потому как огневки хитрые, юркие. Сами в руки не даются, а спалить могут запросто. Он же две сотни шкурок принес. И еще пук черноцветника... это трава такая, сок которой от любой болячки излечит... и многое... расспрашивать стали. А он только улыбается, говорит, мол, с Хозяйкою встретился, договорился, вот она и позволила взять, сколько унесет.

Лихо поймал Евдокиину руку в розовых земляничных пятнах.

— Он ушел, думая, что разбогател, но говорят, его на первой же станции прирезали... отвернулась удача. А на Серых землях о Хозяйке заговорили. Есть она. Редко кому показывается, разве что... иные нарочно выходили искать. Бывало, что находили. Бывало, что возвращались...

— Ты...

— Не видел. Не искал. И не буду, — жестко ответил Лихослав. И шею коснувшись, сказал. — Я свободен.

Показалось, стих ветер и пшеница замолчала, только раздался тихий нежный смех, будто бы колокольчики полевые звоном отзывались...

Показалось.

Он свободен.

Он человек.

Он... он останется человеком, чего бы это ни стоило.

— Знаешь, — Евдокия подняла голову и зажмурилась, ослепленная солнцем. — Я, наверное, целую вечность не сидела вот так... просто, чтобы... и забыла даже, как оно может...

Хорошо.

— А как ты... догадался, что он... — Евдокия замолчала.

— Следил.

— За ним?

— За тобой, — Лихослав перевернулся на живот и локти расставил, лег, разглядывая траву, которая была удивительно зеленой, яркой. Поднимались мягкие метелки мятлика, рассыпался жемчужными бусинами клевер, терпко и сильно пахло ромашкой. — Не следил, а... присматривал.

Да, так правильной.

Присматривал. И недосмотрел. Отвлекся ненадолго. Решил, что ничего-то не случится, ведь охраняют конкурсанток, а значит, и ее тоже...

— Мне сказали, что ты вышла на Каретный двор... и не вернулась.

— Он мне в лицо дурманом сыпанул! Увез и...

...запах оборвался, смешался с другим, грязным, прелым, до того знакомым, что Лихо зарычал.

— Как ты...

— По следу, — он коснулся упругого клеверного шара. — Если я волкодлак, то... должна быть от этого какая-то польза...

...пан Острожский был мертв.

Он лежал, скрутившись калачиком, спрятав голову в коленях, и Лихослав, заглянув в искаженное мукой лицо, набросил на покойника китель.

— Верхом проедемся, — сказал Евдокии, не пустив в карету. — Тут недалеко.

До королевской резиденции и вправду было с полверсты.

— Он...

— Должно быть, яд выпил... испугался... — Лихослав распряг лошадей, выбрав ту, что поспокойней. И прочие не дичились, а значит, есть надежда, что он, Лихо, все ж с большего человек.

— Кого? — из всех вопросов Евдокия задала самый неудобный.

— Не знаю... может, подельницы своей, а может...

Лихо оглянулся.

Золотилось поле. И солнце горело ярко.

Только вот тихо было... ни птиц, ни даже комарья, будто бы вымерли...

...мерещится.

Проснулся Гавел ближе к вечеру. Открыл глаза. Увидел розовый балдахин, слегка провисший под собственным весом, и резко вспомнил все, что было накануне.

Вспомнил и не поверил.

Руку вытащил из-под душного пухового одеяла, по летнему-то времени невместного, но меж тем уютного в мягкости своей. Гавел одеяло пощупал, а на руку уставился, пытаюсь понять, сильно ли она изменилась.

Не сильно.

Кожа смуглая, загоревшая и загорбевшая, при том, что от запястий и выше — белая, шелушащаяся... это у него от нервов...

...а еще пятна порой случаются красные, от которых дегтярной мазью спастись приходится. Но как бы там ни было, Гавеловское преображение в ведьмака на правой руке не сказалось, впрочем, как и на левой. И шрамы-то остались, и ноготь, который в прошлом году Гавел, через ограду сиганувши — от собак спасался — содрал, а после этот ноготь кривым отрос, ребристым, не переменился.

Руки были тощими. Синюшными, напоминавшими Гавелу курячьи лапы, которые продают по медню за дюжину.

А если обманул Аврелий Яковлевич и...

...и тогда старуха — просто старуха, склочная, скандальная, случаются же такие, а он, Гавел, обречен до конца дней своих ее прихоти исполнять. И нету у него никакой надежды... к чему пустые мечтания? Вредные они... возвращаться надобно...

...заигрался Гавел.

...ведьмаком себя вообразил. Какой из него ведьмак? Верно, такой же, как крысятник... никчемущный... ничтожная бесполезная личность...

Мысли бились в голове, что рыба на нересте. Гавел виски стиснул, пытаюсь справиться со внезапной болью, которая скрутила, мешая дышать.

— Ох ты ж, — раздалось рядом. И поверх Гавеловских ладоней легли тяжелые руки. — Дыши, давай... крепко эта паскудина тебя привязала. Так оно будет, пока не оторвешься...

Голос Аврелия Яковлевича лишь усиливал боль, и та делалась вовсе невозможной. Гавел

поскуливал, раскачивался, пытаюсь хоть как-то унять ее...

Дышать?

Еще немного и он разучится...

...это оттого, что бросил.

Уехал.

Кинул старую мать на соседку... а та — равнодушная... небось, если и смотрит, то с неохотой... жалуется. У старухи сердце больное и печень тоже. Ей медикус надобен хороший. И на водах отдых... у Гавела ведь есть деньги?

Жалеет.

Сын ведь, родная кровь, а злотней для матери жалеет...

...еще и обрадуется, когда она в могилу сойдет. Недолго уже ждать осталось...

— А ну прекрати! — рявкнул Аврелий Яковлевич. — Не слушай ее! Меня слушай.

И затрещину отвесил такую, что как голова на шее удержалась.

— От же ж... все зло от баб! — ведьмак произнес это с немалым раздражением, а Гавел вдруг осознал, что затрещина очень даже помогла.

— Что это... было?

— Примучила она тебя, — сказал Аврелий Яковлевич и второю затрещиной, в которой уж точно нужды не было, Гавела с кровати поднял. — А теперь, небось, почуяла, что уходишь. Вот и не хочет отпускать.

На полу после перины было холодно.

— Одевайся, — Аврелий Яковлевич кинул полотняный ком. — Умывайся. И завтракать.

К завтраку, помимо собственно завтрака, еще более обильного, чем прошлый, о котором Гавел вспоминал с нежностью и голодным урчанием желудка, подали свежий номер «Охальника».

— Это тебе, — ведьмак газетку подвинул к Гавелу мизинчиком, а потом тщательно оный мизинчик салфеткой вытер. — Читай... радуйся...

И глянул так, с насмешечкой, от которой у Гавела всяческий аппетит пропал. Газету он открывал с опаскою, и оказалось, что не зря.

«Коварство и любовь».

До чего пошлое название! И главное, сути написанного не соответствует... и стало быть, визировал в печать не главный редактор, небось, до сих пор болезненным представляется, а заместитель его, который в делах газетных понимает мало. Уж главный редактор сумел бы подобному материалу соответствующее обрамление дать...

...и снимки нехорошие, смазанные.

Правильно говорят, что криворукому дураку и техника не поможет. Ракурс выбран неудачно...

...край стола виден, и торт, который на снимке кажется вовсе ужасающих размеров. Голубки сахарные с позолоченными клювами удались. А вот Аврелий Яковлевич — не очень, но узнать можно. А догадаться, что он этим тортом кого-то с ложечки кормит — так нет...

Но благо, в статье объяснили.

...новая любовь...

...измена...

...романтический ужин в номере для новобрачных...

...а статья-то писана некрасиво, выражениями сухими, безэмоциональными, будто бы и не статья, а полицейский отчет. Кому такое интересно читать будет?

...кровать надо было с другого ракурса взять, чтобы виден был и балдахин, и резные младенчики, которые смотрелись бы умиротворенно. Это только новички в самоуверенности своей полагают, что помимо главного объекта на снимках может быть чего угодно, а Гавел знает: снимок — та же картина. И все-то на ней должно быть на своем месте, создавая единый настрой.

А то... ну да, кровати кусок... балдахин тот же, который едва ли не четверть снимка занимает... Аврелий Яковлевич, ведущий к этой кровати Гавела.

Но где, спрашивается, драматизм?

Где ощущение момента? Сопричастности? Чтоб читатель, которому довелось статейку эту открыть, и возмущение испытал, и обиду за номер для новобрачных, столь цинично использованный для противоестественных целей... и заодно посочувствовал несчастному, которому предстояло в этом номере совершить глубокое моральное падение...

Сплетни — тоже искусство...

— Не поверят, — со вздохом Гавел отложил родную газету, опустившуюся до того, чтобы давать на первую полосу материал без должной обработки.

— Отчего же? — Аврелий Яковлевич наблюдал за ним внимательно, и в том виделся Гавелу скрытый смысл.

— Оттого, что писано криво... и снимки опять же. Непрофессионально.

— От оно как...

Аврелий Яковлевич снял вишенку с бисквита и, повертев в пальцах, отправил в рот.

А Гавел смутился.

...вдруг все-таки поверят?

Оно ж неправда и...

...и выходит, что и он, Гавел, совершил такую же ошибку? Спросить... так неудобно... и

опровержения «Охальник» точно печатать не станет, а если и станет, как в тот единственный раз, когда суд проиграл, то сделает это на последней странице, где дают объявления и рекламу всякую, и мелким шрифтом.

— Я не нарочно, — Гавел руки под стол убрал. — Работа такая...

— Работа, — согласился Аврелий Яковлевич. — Работа, мил друг, она у всех такая... разная... но ты ешь, ешь, не стесняйся. Нам с тобою еще много чего сделать надобно.

Гавел ел.

Пожалуй, никогда-то в прежней его жизни он не ел так много и, главное, так вкусно. И поначалу, силясь утолить голод, он глотал, почти не жуя, не глядя, что именно подкладывает Аврелий Яковлевич в тарелку. Тот же, более о газете не заговаривал, да и вовсе не заговаривал, но глядел на Гавела с престранным умилением.

И когда давешний коридорный, смущаясь и краснея лицом — небось, он-то крысятника и выпустил, — кофей подал, Аврелий Яковлевич вскинул руку:

— Любезный, — бас ведьмака заставил коридорного замереть. — Это вам... на чай.

Аврелий Яковлевич кинул злотень, который был пойман и спрятан.

— Он же... — Гавелу стало жаль не столько злотня, сколько доверчивого ведьмака, который сам того не ведая, предателю заплатил.

А ведь и про нынешний завтрак, сервированный на особом фарфоре с вензелями и золотыми виньетками, напишут, переврав все от первого до последнего слова.

— Он свое получит, — осклабился ведьмак и, бросив другой злотень на блюде, велел: — Гляди.

Гавел глядел.

Поначалу ничего-то и не увидел, злотень как злотень, обыкновенная монета. На одной стороне профиль королевский, гладенький, на другой — орел растопырил крылья...

— Гляди, гляди, — ведьмак откинулся на кресле и, достав верную трубку, принялся набивать ее. — Внимательно.

Глядел.

Пока глаза не заслезились, и тогда-то, в покрасневших вдруг, болезненных, стало видно, что на золоте проступают серые пятна плесени. Гавел руку протянул, чтобы убедиться, что ему пятна не примерещились, но плесень к пальцам потянулась, и руку он убрал.

— Правильно, — с одобрением произнес Аврелий Яковлевич. — Если руки совать, куда ни попадя, то и без оных рук легко остаться.

— Что это?

— Проклятье. Простенькое... приглядишь.

Минут через пять — Аврелий Яковлевич, раскуривши трубку, наблюдал за попытками свежееобретенного ученика, но не вмешивался — Гавел сообразил, что смотреть надобно не

прямо, а искоса, сбоку.

Плесень была не серой, желтовато-зеленой, и чем дольше Гавел ее разглядывал, тем сильнее становилась. Она росла, покрывая всю монету, выплетая нити плотные, узорчатые.

— Аккуратней, — Аврелий Яковлевич провел над злотнем ладонью, стирая плесень. — Силы в тебе сейчас много.

— Это я ее...

— Было простенькое проклятье, на почесуху...

Гавел эту самую почесуху вспомнил и от воспоминаний ажно передернулся.

— А ты его силой напитал. Нет, не на смерть еще, но лечиться пришлось бы долго.

Силы своей Гавел не ощущал совершенно. И кинув взгляд на руки, убедился, что они остались прежними.

— Руки тут не при чем. И ноги. Но чужие вещи без нужды старайся не трогать. Оно, конечно, научу, как силу удерживать, да все одно прорывается. Бывает, что и не желаешь худа человеку, а нет, иному малости какой хватит, чтоб сглазить.

Вспомнилась давешняя молочница.

И козы ее, которые к себе не подпускали. И выходит, что теперь Гавелу вновь придется людей сторониться? Не то, чтобы его вынужденное одиночество пугало, он и сам-то привык один жить, но вот чтобы ненароком и кого... а если вдруг до смерти?

— Я за тобой пригляжу, — сказал Аврелий Яковлевич, вдыхая горький дым. — Но все одно поостережись... и кофеек пей, пей...

— А...

— Старухой твоей займутся. Отписался еще вчера. В приют ее отправят...

Мысль о приюте вызвала отторжение столь резкое, что Гавел чудом кофейную чашку в руках удержал.

Нельзя ее в приют! Она — немолодой человек, и не виновата, что...

— Спокойно, — Аврелий Яковлевич резко хлопнул в ладоши. — Не думай о ней.

— Она же...

— Упырь, который, правда, не кровь сосет, а жизненную силу, ну да как по мне — невелика разница. И конечно, не вина упыря в том, что он упырем стал, но с другой-то стороны и люди, которых он в могилу свел, тоже ни в чем-то не виноватыя.

— Я...

— Тебе с нею встречаться нельзя, — жестко ответил Аврелий Яковлевич. — И без того худо придется, а если еще и увидит... или на тот свет захотелось?

Не то, чтобы Гавел Аврелию Яковлевичу вовсе не верил. Верил, конечно, чуял — правду говорит ведьмак, но...

— А чтоб ты мыслями не теми не маялся, мы тебя, дорогой мой, делом займем. Так оно правильнее всего будет. Но сначала кофеек допей. Кофеек, он крепко бодрит...

Кофе был горьким, но Гавел пил, стараясь отрешиться от мыслей, каково будет старухе на новом месте...

...плохо.

...очень-очень плохо.

...и что он за сын такой, если...

От таких мыслей чашка порастала плесенью. И Аврелий Яковлевич со вздохом вынужден был трубку отложить. Он поднялся, потянулся до хруста в костях и велел:

— Ну пойдем, ученичок... будем из тебя натурального ведьмака делать.

Обещание это ничего хорошего не сулило.

Ведьмака решено было делать прямо в гостиной, для чего Аврелий Яковлевич скатал розовый ковер, обнажив искореженный паркет и, бросив на пол подушку, велел:

— Садись.

Из ванной он принес посеребренный тазик со вмятиною на боку и дамское круглое зеркальце, которое сунул в руки Гавелу.

— И что делать?

Зеркальце отражало солнечный свет, и Гавел, сколько ни силился, не мог разглядеть собственного отражения. Аврелий Яковлевич же вытащил из-под кровати черный кофр с облупившейся крышкой. Из кофра появлялись предметы самые разные: деревянная, заросшая копотью ложка и столь же непрезентабельного вида тарелка. Детские грабельки с обломанными зубцами и дорогой, украшенный белым янтарем, гребень, которым Аврелий Яковлевич по бороде провел.

Он достал ножнички.

И десяток кистей, завернутых в почти чистую холстину.

Склянки аптекарские из стекла прозрачного или же черного, для надежности упакованного в кожаные мешочки с завязками.

Сервиз фарфоровый отправился на подоконник, потеснив герани, а на столике Аврелий Яковлевич расставлял склянки в одном ему понятном порядке.

— А мне что делать? — Гавел наблюдал за манипуляциями Аврелия Яковлевича с возрастающим интересом.

И к склянкам присматривался.

И к свечам, которые под обыкновенным-то взглядом были белыми, а если искоса, как на монетку, то отливали — одни черным, густым и недобрым, другие — краснотой. Были и такие, которые белыми оставались, только и белизна эта представлялась нехорошей.

Во всяком случае желания свечи потрогать у Гавела не возникало.

А тарелка, ежели глянуть с прищуром, то сверкает прямо...

...и ложка вовсе не грязная, но не то серебряная, не то золотая... красивая...

— Не трожь, — предупредил Аврелий Яковлевич, отодвигая ложку. — Потом поймешь, что иные вещи каждый ведьмак под себя делает. И своею силой их поит из обряда в обряд. Оттого и меняются они. Эту ложку мне еще батя делал, и с собою дал, когда в матросы продал... я-то на него не в обиде. Времена были такими... у бати еще пятеро нас осталось, тех, которые малые, не своим домом живут. А у старших и свои пошли. Год неурожайный. И кузница погорела, небось, не сама собой, ну да старое дело... главное, что эта ложечка мне памятью была. Берег ее, а тепериче она меня бережет.

— И у меня...

— Будет, — Аврелий Яковлевич усмехнулся в бороду. — Или уже есть. Сам подумай, с которой из вещей жалче всего расстаться выйдет.

Долго думать не пришлось.

Камера.

Его, Гавела, верная камера с первого гонорару купленная, уже старенькая, износившаяся все, но ласковая...

— От и верно, — кивнул Аврелий Яковлевич, глядя, как Гавел камеру баюкает. — Береги. И никому в руки не давай. Лучше, ежели вовсе никто про нее не дознается, а то ведь... через такие вещи навредить крепко можно.

Камера была живой.

Нет, не дышала она и не стучало под корпусом механическое сердце, однако же Гавел ощущал ту незримую с нею связь, о которой говорил ведьмак. И отложил камеру неохотно, повинувшись порыву, накрыл ее подушкой.

— Правильно, — Аврелий Яковлевич капал из синего флакона в таз, и темно-синяя маслянистая жидкость норовила собраться в центре, а ведьмак таз наклонял, то влево, то вправо. И по донцу его расплзались синие же узоры. — Прятать такие вещи — это естественно... гляди, настойка одолень-травы... брать надобно не всякую, а только ту, которая на кладбище старом растет... на крайний случай, у кладбищенской стены. И в полночь. На рассвете сила уже не та...

Он сменил флакон.

— Корень чернухи, ее еще травой висельников именуют, — красные капли растекались поверх синего узора, новым, сложным плетением. — Оттого, что вырастает именно там, где человек повесился... случается, что и нарочно вешают, чтоб... а это зимолюбка, травка самая обычная... ночная ромашка...

Он перебирал флаконы, рассказывая о каждом. И Гавел слушал.

Кивал.

Пытался запомнить, но выходило плохо.

— Ничего, — утешил его Аврелий Яковлевич. — Не все сразу. Я по первости тоже путался, но запомнил... белоголовник... надобно осторожно, потому как ядовитый очень...

Серебро чернело и дымило.

Дым был едким и отчего-то не развеивался.

— Зеркальце дай...

Гавел молча протянул.

Зеркало опустили в марево, которое к зеркалу и прилипло, а потом сунули в руки Гавелу, велев:

— Смотри. Вспоминай.

— Что?

— Кого. Ее лицо. Ты же видел.

Видел, чужими глазами, чужой заемной памятью, что занозой сидела, мешая Гавелу... смотрел и снова видел... руки короля, лицо его, искривленное, словно отраженное в дрянном зеркале.

Видел кровь на полу.

И стены, из которых выступали лица. И камень расплывался, натягивался, грозясь прорваться, выпустить сонмы запертых душ.

— Тебе меня не одолеть, — сказали Гавелу.

И рассмеялись.

От смеха этого замерли лица и вновь растворились в камне. А король задрожал, и кровь в его руках тоже задрожала, и стекла, которые находились где-то высоко... они сыпанули дождем из осколков. А Гавел, точнее тот, который подарил ему память и месть, нашел в себе силы устоять.

И заглянуть в ее лицо.

Он смотрел долго, целую вечность, не замечая боли.

Вспыхнула одежда, а от нее, мертвенное злое пламя перешло на кожу. И Гавел знал, что погасить его не выйдет...

Он просто стоял.

Смотрел.

И это уже было победой.

— Все равно ты ничего и никому не расскажешь, глупый ведьмак, — сказала она, толкая раскрытой ладонью в грудь. И тот, кто ненадолго ожил, упал на измаранный кровью пол.

Он жил долго.

И кричал от боли, надеясь, что смерть будет милосердна.

Дождался.

— Молодец, — сказал Аврелий Яковлевич, когда смерть явилась-таки, к счастью, не за Гавелом, но за иным, тем, чьего имени он так и не спросил.

Ведмак вынул из обожженных, стремительно покрывавшихся волдырями пальцев зеркало. Рама оплавилась, пошла потеками. И само стекло сделалось темным, черным почти. Аврелий Яковлевич торопливо перевернул его, бросив:

— Не смотри. Потерпи. Я сейчас.

Волдыри лопались, и из-под кожи проступала сукровица. Запах паленого мяса вызывал тошноту... и мешался с гарью свечей, с тяжелым болотным ароматом зелья, которое все еще кипело в тазу. Гавел хотел встать, но понял, что сам не сумеет.

И кажется, он кричал, если рот заткнут полотенцем.

— Ни к чему людей будоражить больше обычного, — Аврелий Яковлевич, спрятав зеркало, полотенце вытащил. И таз подставил, тот самый, с остатками зелья, в который Гавела вывернуло. — Ну прости уж старика, нельзя было иначе... когда с колдовками такими дело имеешь, то кто-то должен страховать. С тебя, уж извини, страховщик никакой... знаешь мало.

Гавел позволил лицо вытереть.

И воду, которую Аврелий Яковлевич поднес в фарфоровой чашке, лишь слегка оную ополоснув, пил жадно. От воды пахло кофеем, а на зубах скрипели кофейные крупички.

На Аврелия Яковлевича он не злился и обиды не испытывал, понимая, что так оно надо было. Откуда понимание взялось, Гавелу было не известно, однако же боль нынешняя, телесная, показалась сущою безделицей по сравнению с тем, что довелось испытать сгоревшему ведьмаку.

— Зачем? — только и сумел выговорить Гавел.

Аврелий Яковлевич вновь смешивал зелья, на сей раз быстро и без лишних разговоров. Лил в ту же чашку, перемешивая пальцем.

— Затем, что теперь у нас есть истинное обличье ее. Или ты думаешь, он... — Аврелий Яковлевич ткнул пальцем в кость, — не понимал, что с ним сделают? Понимал, но рискнул... и видишь, не зазря рискнул. Есть обряды, которые позволяют... многое позволяют... по обличью человека можно порчу навести, а можно и снять, проклясть или судьбу перечертить, одарить удачей или неудачей, связать с кем надобно или отвязать... сильнее только те обряды, которые на крови. К счастью, умельцев этаких, которые обличье запечатать способны, немного.

Гавел подозревал, что аккурат такой вот умелец и сидит рядышком, раздирая на полосы роскошную льняную простынь. Простынь трещала и сопротивлялась, ибо была сделана из льна

преотменнейшего качества, однако куда ей супротив силы Аврелия Яковлевича.

— С ней-то посложнее будет, чем с человеком обыкновенным. Ту же порчу она враз почует и скинет. Или проклятье... но сила, Гавел, как монета, всегда две стороны имеет... и обыкновенного человека я его же силой связать не сумею... а с нею — иной коленкор... руки давай...

Гавел протянул.

Волдыри добрались до самых локтей, и кожа, покрасневшая, растрескавшаяся, была отвратительна с виду, а на прикосновения отзывалась глухою тянущей болью.

— Потерпи уж... — Аврелий Яковлевич, надо сказать, орудовал очень осторожно, покрывая руки от самых пальцев до локтей толстым слоем прохладной, пахнувшей жженым сахаром мази.

— Это она меня...

— Если бы она тебя, то мы бы не беседовали.

Мазь впитывалась быстро, и боль утихала. Аврелий Яковлевич же оборачивал руки тканью и действовал столь ловко, что Гавел заподозрил: ведьмаком быть не намного легче, нежели крысятником.

— Это ты сам себя. Воображение живое. Разум увидел, а тело подчинилось. Тело завсегда разуму подчиняется, запомни.

— Я себя...

— Оттого и должен быть кто-то рядом, чтоб оборвать обряд, если вдруг... сейчас волдыри вот, а еще немного и вспыхнул бы.

— Я?

— Ты, Гавел, ты...

Об этом думать было странно. И Гавел позволил себе не думать.

— Вставай. Тебе поспать надобно. После обрядов оно завсегда без сил... ничего, привыкнешь...

Привыкать к подобному у Гавела желания не было. Он позволил довести себя до кровати и без возражений рухнул на перину, от которой пахло все той же жженой карамелью. А может запах этот лишь примерещился Гавелу.

— И что теперь? — спросил он, страшась закрывать глаза. Чудилось — поддастся сну и вернется туда, в чужое прошлое, в чужую мучительную смерть.

— А теперь мы этой хельмовке хвоста накрутим, — ответил Аврелий Яковлевич и, положив тяжелую ладонь на голову Гавела, велел: — Спи уже.

И Гавел заснул.

К счастью, снов он не видел никаких...

...возвращение Евдокии, как собственно и отсутствие ее, осталось незамеченным. Еще одна странность, малая, но... неприятная.

А если бы она, Евдокия, и вправду исчезла?

Когда бы хватились? За ужином, к которому являться должны были все и в порядке обязательном? Или еще позже? Этак и сгинуть можно... ненароком...

— Ева, — Лихо довел до самого Цветочного павильона, — я должен...

...вернуться.

...и заняться паном Острожским, тело которого осталось где-то под Гданьском...

...и врал ведь, волкодлак несчастный, когда говорил, что пан Острожский со страху отравился. Чего ему бояться? Следствия? Суда? Каторги?

Что ему предъявить могли?

Мошенничество? Так оно не состоялось, да и поди докажи, что он не собирался полученные от акционеров деньги в шахты вкладывать. Принуждение к браку? Помилуйте, не такое уж это преступление... да и снова выйдет Евдокиино слово супротив его...

Покушение на княжича?

Похищение?

Серьезней, но при хорошем адвокате можно и тут плаха не грозит... да и то, стал бы Лихо дело до суда доводить?

Колдовка, за сговор с которой могли дать лет десять каторги?

Поди ее поймай... а от слов своих пан Острожский откреститься бы мог... или же, напротив, не откреститься, но оказать содействие следствию, за то и получил бы свободу...

Нет, не было у него причин яд принимать. Более того, не походил он на самоубийцу... нет, Евдокия не то, чтобы с многими знакома была, но чутье ее подсказывало, что умер пан Острожский не сам и неспроста, и что смерть эта взволновала Лихо куда сильнее, чем он это показать пытался, и что связана она как-то и с Серыми землями, и с Хозяйкой их...

Спросить?

Промолчит, не желая Евдокию впутывать в странное, не замечая, что в странностях этих она по самые уши увязла. А то еще и соврет, хотя врать не способный совершенно.

— Я вернусь, — сказал он и ладонь поцеловал. — Не теряйся больше, ладно?

— Не потеряюсь.

Пообещала.

И екнуло болезненно сердце. Тревожно. Отпускать его тревожно, тянет вцепиться, повиснуть на шее, воя и голося по-бабьи, делая, что угодно, лишь бы остался... страшно, что уйдет навсегда.

— Я скоро.

Ложь... или правда? Пока еще правда.

— И ты права, Ева... он глупости говорил. Не надо тебе их слушать, — Лихо гладил и ладонь, и пальцы Евдокии.

— Конечно, глупости...

А в дом не пошел.

...вернется. Ночью вернется. Стукнет камушком в окно, чтоб открывала... об этом думать надо, а с паном Острожским разберутся.

В Цветочном павильоне было пусто.

А вот в собственной комнате ее Евдокию ждали. Гостья скромно сидела на стуле, сложивши руки на коленях.

— Доброго дня, — сказала Евдокия со вздохом.

День был каким угодно, но только не добрым.

— Здравствуйте, — гостья встала и вздернула острый подбородок, который с момента прошлой встречи словно бы стал еще острее. — Мне сказали, что я могу подождать вас здесь.

— И... чем обязана?

А она к визиту готовилась тщательно. Платье из темно-лиловой парчи, щедро отделанное кружевом. Высокие перчатки. Шляпка, украшенная чучелами певчих птиц и виноградом.

Ридикюль.

И кружевной зонт, на который Брунгильда Марковна опиралась, словно на трость.

Пусть бы сама она, несмотря на парчу и кружева, была как-то особенно некрасива, рядом с нею Евдокия ощутила себя едва ли не оборванкой. Вспомнилось вдруг, что платье измято и, кажется, порвано даже... и пятна эти зеленые, травяные, еще и красные кровавые. Коса растрепалась... и руки у нее без перчаток, а потому грязь под ногтями видна.

— Нам необходимо поговорить! — сухо произнесла Брунгильда Марковна.

О чем?

О ком...

...вспомнилось вдруг некстати, как на вокзале она, Брунгильда Марковна, жеманясь и хихикая, опиралась на руку Лихослава...

— Вы, несомненно, молоды и привлекательны, — это прозвучало почти обвинением, и острие зонта уперлось Евдокии в грудь. Двумя пальчиками она зонт отвела, а то мало ли, вдруг вдова великого поэта чересчур возбудиться беседой...

— Но этого мало! Недостаточно!

— Простите... — Евдокия на всякий случай и к двери отступила.

— Вы должны понять, что Аполлон — тонкая творческая натура...

— Кто?

— Аполлон!

— Аполлон... — протянула Евдокия, разом успокоившись. — А что с ним? Шанежков объелся? Или опять рифму найти не может?

— Насмехаетесь... — зонт выпал из ослабевшей руки, а сама Брунгильда Марковна, разом растеряв прежний запал, рухнула в кресло. — Он... он сущее дитя! Юный! Доверчивый! С душой открытой, в которую каждый способен плюнуть... он гений!

— Допустим, — Евдокия зонт подняла и протянула хозяйке.

— Он совершенно определенно гениален!

— Конечно.

Брунгильда Марковна всхлипнула.

— Но и гению нужна поддержка! Он только и говорит, что о вас... а вы... вы здесь, а не с ним... не подумайте, что я вас обвиняю... вы слишком молоды, чтобы осознать, какая на вас возложена ответственность!

— Какая?

Евдокия окончательно перестала понимать, что происходит, и несколько растерялась.

— Огромная! Перед ним! Перед всем культурным обществом! Перед человечеством!

Вот только ответственности перед человечеством Евдокии для полного счастья и не хватало. Брунгильда же Марковна, вдохновленная тем, что ее слушают, продолжила.

— Судьба одарила вас великой миссией, но есть ли у вас силы, чтобы исполнить ее?

— Простите?

— Сумеете ли вы посвятить всю себя ему?

— Кому?

— Аполлону! — это имя Брунгильда Марковна произнесла басом, несколько неожиданным для ее тщедушной фигуры.

— А... — Евдокия сняла лепесток ромашки, прилипший к подолу ее платья, которое следовало считать безнадежно испорченным. — А... мне обязательно посвящать себя ему? Нет, вы не подумайте... гений и все такое, но как-то на эту жизнь у меня другие планы.

Брунгильда Марковна молчала.

Долго молчала.

И наблюдала за мухой, которая кружила по комнате, нарушая трагическую тишину момента препошлейшим жужжанием.

— Значит, — глухо произнесла вдова великого поэта, — вы... не собираетесь... возложить себя на алтарь... служения...

— Не собираюсь.

Воспоминания об алтаре заставили Евдокию поежиться.

— Я так и знала, — это прозвучало обвиняюще, и пожалуй, в день другой Евдокия, быть может, усовестилась бы. — Вы слишком молоды... не способны осознать всю важность миссии...

— Не способна, — покаянно произнесла Евдокия. — Но вы...

— Я? Я... я готова на все... ради гения... чтобы талант вспылал... на радость людям... отдать всю себя...

— А он?

— А он... он мне предложение сделать хотел...

— Но не сделал?

— Говорит, что без мамы нельзя... — Брунгильда Марковна вздохнула. — И вас все время вспоминает... и я подумала... он к вам сватался, а вы отказали.

— Просто поняла, что не способна... всю себя и на алтарь...

— Это очень ответственно с вашей стороны, — одобрила Брунгильда Марковна. — Знаете, я шла сюда... я вас помню... вы показались мне крайне несерьезной особой... а ведь поэта каждый обидеть способен. У Полюшки очень тонкая нежная душа... и я решила, что ваш отказ его глубоко ранил, поэтому он и боится... думала, что если поговорю с вами... а вы с ним...

— Вы хотите выйти замуж?

Брунгильда Марковна смутилась.

И покраснела.

Краснеть она начала с подбородка, что мелко затрясся, выдавая волнение, в которое привел даму вполне себе невинный вопрос. Вдова великого поэта громко вздохнула.

Выронила ридикюль.

И прижав ладони к бледным щекам, призналась:

— Хочу...

— За Аполлона? — на всякий случай уточнила Евдокия.

— Да... поймите, он такой... милый... очаровательный... беззащитный в этом жестоком мире!

Вот уж на беззащитного Аполлон походил слабо, но Евдокия кивала, четко понимая, что

спорить с женщиной если не влюбленной, то всяко вознамерившейся сочетаться узами законного брака, чревато.

— И без меня он пропадет! — воскликнула Брунгильда Марковна и пожаловалась. — Он вчера конфеток переел. А я ему говорила, что ему много нельзя! Не послушал... и теперь обсыпало всего.

— Ужас какой...

— А намедни молока выпил порченого. И я ж говорила кухарке, что оно скисло, вылить надобно. Так нет ведь! Глупая баба блины затеяла... а Полюшка молочко и выпил... пить ему захотелось... самолично на кухню отправился...

— Погодите! — Евдокия вытянула руку, обрывая рассказ, ибо заподозрила, что быть ему долгим и на редкость подробным. — Значит, вы хотите выйти за него замуж, а он не хочет делать предложение. И вы думаете, что виновата я, поскольку ему отказала? Так?

Брунгильда Марковна не ответила, но лишь потупилась.

— Знаете... у него ведь мама имеется...

— Да, Полюшка мне рассказывал. Страшная женщина! Она слишком авторитарна! Полагаете, это из-за нее... и что мне тогда делать?

На этот счет у Евдокии имелась идея.

— Пообещайте, что купите ему собаку.

— Кого? — Брунгильда Марковна опешила.

— Собаку. Щенка. Скажите, что подарите на свадьбу...

— А зачем?

— Ему хочется.

— Собаку... — кажется, эта мысль была для Брунгильды Марковны внове. — Думаете, он...

— Уверена...

— Собаку... — вдова подняла и ридикюль, и зонт сунула в подмышку. — Бедный мой мальчик! Он рос в невыносимых условиях... у него даже собаки не было!

Брунгильда Марковна всхлипнула...

— Отсюда в его стихах скрытая боль... вчера он создал новый шедевр... Только послушайте! В очей коровьих зеркалах...

— Не надо! — взмолилась Евдокия и поспешно добавила. — Я... не чувствую себя способной оценить сие... творение по достоинству. Не доросла еще... наверное...

К счастью, Брунгильда Марковна настаивать не стала.

— У вас все еще впереди, — обнадежила она, прижимая ридикюль к сердцу. — Вот увидите...

главное, видеть сердцем... мы готовим к изданию сборник Полюшкиных стихов... «Вымя».

— Что?

— Решили назвать его «Вымя»... символично, правда?

— Очень.

— Здесь и аллюзии на происхождение его, и на сакральную связь со вселенной, которая подобно корове поит детей своих молоком разума... я приглашу вас на презентацию.

— Спасибо...

— И вам спасибо. За совет... поверьте, я не собираюсь уподобляться Полюшкиной матери... и скрывать от благодарных поклонников вашу роль в становлении его личности... вас запомнят, как женщину, которой посвящено целое четверостишие!

Ужас какой.

Евдокия сделала глубокий вздох, приказав себе успокоиться.

— «Духи коровьего бытия». Мы так его называли... и ваш роковой образ останется в веках.

— А... может, не надо?

Брунгильда Марковна окинула Евдокию мрачным взглядом и отрезала:

— Надо.

На том и порешили...

Глава 8

Где события набирают обороты

Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение того, что в неё насрали.

Из откровений пана Мазепова, живописца, сделанных им после первой творческой выставки, на какую пан Мазепов возлагал немалые надежды.

— Труп, одна штука, — сказал Себастьян, пнув пана Острожского остроносом туфелькой. — Экий ты, братец, неосторожный. Кто ж так со свидетелями-то обращается?

Младший насупился.

Нервничает?

И на труп глядит с опаскою, точно подозревает за мертвяком нехорошее. Оно, конечно, бывает всякое, и встают, и ходят потом, людей обыкновенных лишая законного сна, но чутье подсказывало Себастьяну, что нынешний труп — самого обыкновенного свойства.

— Я его связал, — сквозь зубы процедил Лихо.

Его правда. Связал. Кожаным шнурком, которым обычно волосы подвязывал. И главное, вязал

со всем старанием, затянул так, что шнурок этот едва ли не до кости впился.

— И на поле никого не было.

— Хочешь сказать, что он сам? — Себастьян, подобрав юбки, которые в следственном деле мешали изрядно, присел. Наклонившись к самым губам мертвеца, он втянул воздух. — Чуешь?

— Что?

— А ты понюхай.

Нюхать пана Острожского Лихо явно не желал, но подчинился.

— Медом вроде...

— Медом. И еще чем?

— Бес!

— Нюхай, я сказал.

Лихо зарычал.

— Ты ж волкодлак, у тебя чутье должно быть, как у породистой гончей... — Себастьян погладил братца по макушке и в приступе родственной любви, которая как всегда проявилась престранно, сказал: — Унюхаешь правильно, я тебе ошейник куплю. Модный. Именной и с подвесочкой...

— А в челюсть? — мрачно поинтересовался Лихо, наклоняясь к самым губам пана Острожского.

— А в челюсть меня нельзя. У меня еще свидание...

Это Себастьян произнес с печалью, которая, однако, в ожесточившемся сердце младшего брата не нашла понимания. Лихо лишь фыркнул и ехидно поинтересовался:

— На свадьбу позовете?

— Всенепременнейше! И если дальше пойдет также, то женихом... ты не отвлекайся, нюхай.

— Мед липовый... и деготь... еще воск... нет, воском он усы мазал.

— Молодец. Дальше?

— Соленые огурцы и чеснок... погоди... — Лихо отстранился и головой мотнул. — Чесноком пахнет, но... не изо рта. Он его не ел, а...

Лихо отодвинул ворот белоснежной рубашки и, увидев красную, покрытую язвами шею пана Острожского, тихо сказал:

— Это не я. Я его, конечно, придушил слегка... разозлился...

Себастьян покачал головой: крайне неосмотрительно было с точки зрения пана Острожского злить Лихослава. Он и человеком будучи характер имел скварный, а с волкодлака перед

полнолунием и вовсе никакого спросу.

— На ожог похоже, — Лихо коснулся волдыря когтем.

— Ожог и есть, только не огненный, а химический, приглядишься хорошенько... да расстегни ты ему рубашку, не волнуйся, он возражать не станет.

— Не скажи, — прежде, чем к рубашке лезть, Лихослав снял ботинки, стянул носки и, скатав комом, сунул их в рот покойнику.

Себастьян, за сим действием наблюдавший с немалым интересом, на всякий случай отодвинулся и, ткнув в труп пальчиком, произнес:

— Я, конечно, понимаю, что у тебя есть причины его недолюбливать, но... носки в рот? Это как-то чересчур. Прекращай глумиться над телом свидетеля...

Мертвяку он почти сочувствовал.

— Я не глумлюсь, — ответил Лихослав, для надежности затягивая поверх носков ремennую петлю. — Он с Серых земель... и мало ли, как оно... это тут у вас покойники с большего народ смирный, а там...

Договаривать не стал, разодрал рубашку мертвеца.

Пятно на груди было не красным — черным, вдавленным.

— Вот же... и не побоялся Вотанов крест надеть! — удивился Лихо, пятно трогая. — Хотя, конечно, если с большего человек... крест его не спас.

— Но след оставил. Если крест был освящен должным образом, а судя по глубине ожога потерпевший не пожалел денег на полный обряд...

Панночка Белопольска к мертвяку прикасаться брезговала. И всерьез подумывала про обморок, потому как девице приличной видеть этикие ужасы было непристойно... и не пристало... и вообще мутило... а ежели вдруг да вывернет?

— Мед... и еще огурцы... вряд ли он огурцы закусывал медом... или мед огурцами? — Лихо продолжал рассуждать вслух. — Медом на Креплиной пустоши пахнет... хорошо так пахнет, сладко... так и тянет с коня сойти и прогуляться по лужку...

— И как, находились?

— Находились. Их потом на лужке и находили... улыбались вот так же, счастливо. Белый дурман, — Лихо поднялся и руки вытер о штаны. — Он же — навья хмарь... или навий морок еще... правда, чтобы вот тут... странно.

Себастьян согласился: странно.

— Думаешь, эта его знакомая, к которой он Еву собирался...

— Думаю, что все это до хренища сложно и непонятно, — Себастьян обошел труп с другой стороны. — Зачем он нужен был колдовке? Убила, когда попался? Он бы все одно попался... дурак же ж... а с дураками связываться, даже хитрыми, оно себе дороже... зачем тогда?

Лихо ждал, если и имелись у него свои мысли, то делиться ими он не собирался.

— Ладно, — Себастьян потер виски, потому как голова начала мерзко ныть, не то мигренью испереживавшейся за день панночки Белопольской, не то собственной, Себастьяновой, нажитой от избытка информации. — Свежи-ка ты этого красавца Аврелию Яковлевичу. Пусть допросит... авось и повезет.

— А ты?

— А я не могу. Говорил же. Свидание у меня, чтоб его...

...часом позже многочисленные постояльцы коронной гостиницы, до того трагического дня, как поселился в ней Аврелий Яковлевич, имевшей репутацию самого спокойного в городе заведения, всерьез задумались о перемене места обитания. Хозяин же гостиницы, проклиная и собственную трусость, не позволившую отказать постояльцу столь сомнительному, и собственное же честолюбие, пил пахучие успокоительные капли и срывающимся шепотом проклинал всех ведьмаков разом. А заодно уж и королевских улан, напрочь лишенных, что такту, что вообще понимания.

Причиной же сего переполоха, после которого тихий Гданьск взбудоражили самые разнообразные слухи, один другого жутче, стал черный весьма зловещего вида экипаж. После говорили, что блестел он лаком и позолотой, а четверик коней вовсе дымы изрыгал. Впрочем, находились особы настроенные скептически, утверждавшие, будто бы карета оная была вида самого обыкновенного, разве что по некой странной причине лишенная одной дверцы...

И правил ей вовсе не мертвяк в форме королевского улана.

Что, дескать, кучер был очень даже жив, а местами чересчур. Он коней, к слову, не самых хороших, так, средней руки, остановил и, спрыгнув с козел, кинул швейцару:

— Аврелий Яковлевич тут обретается?

Мальчишка, который перенял вожжи, после говорил, что за работу ему улан целый сребень дал, и что от монеты этой, как и от самого странного посетителя, вовсе несло мертвечиною.

Врал, небось.

Швейцар вот ничего не утверждал, лишь скалился, демонстрируя на редкость ровные белые зубы, которыми втайне гордился, и ус покручивал.

Тогда же он ответил:

— Здесь-с... еще не встали-с.

Это швейцару было известно от горничной, которая в комнатах ведьмака прибиралась и за то получала от хозяина двойной оклад, а после того случая с дымами и призраками и вовсе выпросила себе премию на капли от нервов.

К известию о том, что Аврелий Яковлевич еще почивать изволят, улан отнесся без должного пиетета. Мальчишке кинул сребень, стало быть за хлопоты, велел:

— Отведи к полицейской управе, пускай займутся... погоду.

Он исчез в карете, в которой и вправду не хватало дверцы, и это обстоятельство само по себе премного швейцара смущало. Но он, обладавший немалым жизненным опытом, не стал заострять внимания на сем недостатке экипажа, равно как и на иных признаках, дававших понять, что утро у кареты не задалось. И улана пропустил бы безропотно, когда б...

Из кареты тот вышел не один.

В первое мгновение швейцару показалось, что человек, которого улан с противоестественной легкостью нес на плече, пьян.

— Дверь открой, — бросил улан и сам же сапогом пнул.

Пинок пришелся в закаленное стекло, которое по приказу владельца гостиницы трижды в день натирали мягкой ветошью, дабы сохранить прозрачность.

На стекле остался след сапога.

И еще, кажется, раздавленный жук... но не это шокировало швейцара: среди гостей встречались и грубияны. Нет, он вдруг увидел, что руки господина в грязном, но явно не дешевом костюме, связаны за спиной, что рот его заткнут и ко всему перетянут ременной петлей, в которой не без труда узнавался форменный поясной ремень, благо, пряжка его с королевской пантерой поблескивала...

Швейцар открыл было рот, дабы выразить свое возмущение подобным поворотом дел: все-таки гостиница, отмеченная в путеводителе королевства Познаньского коронами, имела определенную репутацию, каковую этот улан мог разрушить.

— Что? — улан, верно, ощутил и возмущение, и гнев, охвативший добропорядочного и степенного служителя.

Повернулся он резко, опалив недобрым взглядом желтых глаз. А швейцар вдруг ясно осознал, что господин в некогда дорогом костюме ныне мертв. И от страха не нашелся сказать ничего лучше, кроме как:

— С трупами нельзя.

— Почему? — неожиданно заинтересовался улан.

— Не принято.

И видя сомнение на лице гостя, следовало сказать, что лицо в целом симпатичном, несмотря на некоторую избыточную жесткость черт, добавил:

— Дамы-с... а у дам-с — нервы-с... труп их побеспокоит.

— Не переживай, — улан погладил мертвеца по спине. — Не побеспокоит он твоих дам. Он у меня вообще тихий...

И оскалился, демонстрируя внушительного вида клыки.

От обморока швейцара удержала лишь профессиональная честь и понимание, что, в общем-то, странный гость уйдет, а вот гостиница останется. И добре бы ему остаться при ней.

К чести улана следовало отметить, что труп его и вправду оказался нешумливым, и в иных

обстоятельствах, при малой толике везения, сия престранная пара осталась бы незамеченной, но...

...княгиня Поташевска имела обыкновение выгуливать четырех своих шпицев аккурат в четверть третьего...

...а панна Кокусова, супруга купца первой гильдии, находившаяся в Гданьске на излечении подагры, спускалась в кофейню за ради беседы с давней своей заклятою подругой...

...и четыре кузины Одоленские собрались на полуденный променад по набережной...

В общем, дам в холле гостиницы скопилось с избытком...

— Лишек! — воскликнула княгиня, несмотря на преклонные года сохранившая и остроту зрения, и ловкость. — Ты ли это!

— Я, тетушка, — несколько нервозно признался улан.

Кузины Одоленские одарили его взглядами.

Купчиха неодобрительно покачала головой... что именно она не одобряла, впоследствии узнать не удалось.

— Что ты тут делаешь?

Шпицы княгини, рванувшиеся было к улану, попятились.

— Да вот... так... труп несу, — ответил тот, перекидывая тело с левого плеча на правое.

Кузины присмотрелись.

Купчиха охнула.

Шпицы взвыли, а княгиня лишь укоризненно покачала головой:

— Годы идут, а ты не меняешься, вечно всякую гадость домой таскаешь...

— Так... — улан, кажется, смутился. — Я... не себе... по службе... служебный труп, так сказать...

Это объяснение княгине удовлетворило, чего нельзя было сказать о кузинах Одоленских, к созерцанию трупов, служебных аль вольного характеру, вовсе не расположенных...

Девушки завизжали.

Купчиха молчаливо и солидно лишилась чувств, осев на руки молоденького коридорного, кой в последние дни за нею увивался...

Впрочем, улан на суматоху внимания не обратил.

Он прежним бодрым шагом пересек холл, поднялся по лестнице, оставив на дорожке вереницу пыльных следов.

Труп на плече улана покачивался, но как и было обещано, вел себя смирно.

В дверь номера для новобрачных, украшенную резными веночками, стучал улан смело, бодро даже. И когда открыли, сказал:

— Вам тут посылка, Аврелий Яковлевич.

Ведьмак, и вправду выглядевший несколько сонным, зевнул и почесал бронзовый живот.

— Ты, Лихо, как-то больно осмелел...

Но посторонился, пропуская и улана, и его престранную ношу.

— Так это... куда класть? — поинтересовался Лихо, оглядываясь. Номер, некогда роскошный, за пару недель гостевания ведьмака изрядно преобразился.

Исчез розовый толстый ковер, а паркет утратил прежний лоск, но зато обзавелся престранным самого пугающего вида узором. На посеребренных обоях осела копоть, каковой вроде бы и взяться было неоткуда, но взялась же. на кофейном столике преочаровательного вида ныне теснились склянки, а в камине обжилась переносная жаровенка.

В номере воняло паленым волосом и полынью.

— А куда-нибудь поклади, — широко зевнув, сказал ведьмак.

Лихо сбросил труп у камина.

— И рассказывай, с чего вдруг этакая... забота. Работу на дом мне еще не приносили.

Лихо заговорил.

Старался спокойно, коротко и исключительно по делу. Аврелий Яковлевич слушал, кивал и труп разглядывал с превеликим интересом...

Тело пана Острожского Аврелий Яковлевич перевернул на спину кочергою.

— Предусмотрительно, — той же кочергой он указал на ремень. — И жестоко. У упырей очень тонкое обоняние... тоньше, чем у волкодлаков. Он бы тебя возненавидел.

— Он и при жизни-то меня не очень любил.

Упырей Лихо недолюбливал, во-первых, потому как уж больно они на обыкновенных людей похожи были, во-вторых, волкодлачья его натура требовала от конкурентов избавляться...

— Ну-ка, ну-ка, дорогой, — Аврелий Яковлевич вдруг оказался рядом. — Иди-ка ты сюда... от сюда... к окошку стань.

Лихо стал.

Аврелий Яковлевич же в руку вцепился, заставил ладонь разжать.

И долго, пристально разглядывал, что саму эту ладонь, что короткие когтистые пальцы... потом рот заставил открыть и зубы щупал.

Веки оттягивал.

— Смотри на солнышко, смотри... и давно оно так?

— Сегодня. Я... разозлился.

— Крепко?

— Да.

— Убить хотел?

— Да.

— Оно и ладно... иную мразь и убить — грех невеликий... душил или зубами?

— Душил.

Будто по мертвяку не видно...

— Но когтями его поцарапал... погляди.

Глядеть на пана Острожского у Лихослава желания не было, но и перечить ведьмаку он не посмел.

— Все плохо? — спросил, сев на пол.

— Смотря для кого. От для него, — Аврелий Яковлевич, так и не выпустивший кочерги, ткнул ею в труп, — таки да, плохо. А ты вроде живой и бодрый.

— Человек?

— Большею частью.

— А меньшей? Волкодлак?

— Волкодлак, да... — ведьмак потер подбородок. — Волкодлак волкодлаку рознь... сядь вон в кресло, сейчас чаю принесут. Попьем, поговорим... Хозяйка, значит... объявилась... от кур-р-рвина масть!

Аврелий Яковлевич чай заказывал сам.

Подали быстро, и коридорный, вкативший в номер тележку, изо всех сил старался на труп не глазеть, но все одно глазел, бледнел и вздыхал.

А еще чесался, точно пес лишайный...

— Пушай чешется. Оно за дело, — сказал Аврелий Яковлевич, самолично чай по фарфоровым полупрозрачным чашечкам разливая. Молоком забелил. Щипчиками серебряными сахар подхватил, окунул и, из чашки вытащив, облизал поспешно. Пояснил, хоть бы Лихо ни о чем не спрашивал. — С юности этак привычен пить. По первости сахар — он деликатесой был... других не знал. Ты-то не стесняйся, княжич...

— Надолго ли...

— Разговор?

— Княжич.

— За батьку своего переживаешь? Плюнь и разотри. Дрянь, а не человек. Гнилой. И братец твой не лучше, который меньшей... еще тот поганец...

Лихо пожал плечами. С Велеславом у него с юных лет отношения не заладились, потому как был братец не то, чтобы гнилой, но и вправду характера поганого.

Все наушничал.

И ныл... ныл и наушничал... правда, когда ж то было?

С другой стороны, Велеслав сумел при дворце остаться, на месте Лихо, и прижился, и ко двору пришелся, хотя и плачется в письмах на бедность, на судьбу свою, которая его не то, что вторым — третьим сыном сделала, лишив всяческих перспектив...

Только ж разве о нем речь?

— На отца твоего управа найдется, — Аврелий Яковлевич, чашку отставивши, потянулся. Кости захрустели, а русалки на плече задергались, зашевелили хвостами. — А вот за братцем приглядывай... чернотой от него несет... такое бывает, когда человечек успел замараться...

— Вы к чему это?

Разговор был неприятен.

Не то, чтобы Лихо так уж братца любил, но... родич.

Кровный.

Единокровный и Богами даденый. Иного не будет.

— К тому, чтоб ты, олух Вотанов, осторожней был, — перегнувшись через столик, Аврелий Яковлевич дал щелбана, от которого в голове загудело. — Потому как и вправду... ситуация у тебя непростая. Чай пей.

Лихо и хлебнул, позабывши, что чай-то свежесваренный, горячий.

Кипятком опалило так, что аж закашлялся.

— Аккуратней... экий ты нервный, прям как старшенький твой... вы друг друга стоите... и рад, что помирились... простил?

— Простил.

— От и молодец.

Спрашивать, откуда давняя и крепко уже забытая история стала Аврелию Яковлевичу известна, Лихо не стал. Ведьмак же, держа чашку в щепоти, макал в нее рафинад, который обсасывал, жмурясь от удовольствия. Говорить не спешил, а Лихо ведьмака не торопил.

— Если подумать, то ты мне навроде крестника... я тебя после той историйки с душегубцем вытаскивал. Помнишь?

— Такое забудешь...

— Помнится, сижу дома, отдыхаю от трудов праведных... уж не помню, каких именно, но точно праведных, — Аврелий Яковлевич языком поймал темную сахарную каплю. — И тут заявляется ко мне молодец добрый... как добрый, относительно, конечно. Но буйный весьма... сам на ногах едва держится, и видом больше похож на тех людишек, которых в богадельню отдавать принято для спокойствия окружающих. И главное, что оный блаженный требует, заметь, не просит, а именно требует, немедленно с ним в госпиталь отправиться и брата спасти...

— Не помню, — признался Лихо.

И Бес о таком не рассказывал...

— Где уж тебе упомянуть, когда ты одной ногой на Хельмовых путях стоял? Местные целители только руками и развели... а братец твой слышал, что я и мертвого поднять способный... нет, с мертвыми-то оно проще, чем с живыми, — Аврелий Яковлевич покосился на тело пана Острожского, которое терпеливо ждало окончания беседы. — Но и с живыми мне случалось дело иметь... точнее с полуживыми...

— И вы меня вылечили.

— Не спеши, Лихо... тут тебе разговор не о бирюльках, чай. Я ж ведьмак, ежели ты не забыл. Я могу лечить, но не светлую Иржениной силой. Я... как бы это правильней сказать... беру у смерти заем. А с таким ростовщиком завязываться — себе дороже... вот и выходит, что таки да, лечу, но вместе с тем... на тебе навроде как метка моя остается...

Аврелий Яковлевич замолчал и пальцы сжал. Хрустнул подплавленный сахар, раскололся на куски, а куски упали в чай. Он же щипчиками размешал, потом и их уронил, а чашку отставил, разом к ней интерес потерявши.

— Не бойся, не тебе платить... если уж отпустили душу Хельмовы дороги, то и жить ей долго... примета такая...

— Я не боюсь.

— Не боишься, верно... надо было тебя, дурня этого беспокойного, за шкуру и в отчий дом воротить... ишь, вздумалось искать подвигов... нашел... и скажи вот, руку на сердце положи, кому это твое геройство надобно было?

Лихо опустил голову.

Выходит, что никому... отец возвращению не особо обрадовался, только сказал, что дела семейные идут хуже некуда... и Лихо следует правильно невесту выбрать.

Велеслав и вовсе не счел нужным огорчение скрывать... бросил лишь, что свидеться не чаял.

...он ведь князем станет, ежели вдруг с Лихо неладно будет...

...и верно, примерил уже и венец княжеский, и титул...

...нехорошо так о родном брате думать...

Катаржина и Августа заговорили о приемах и приданом, без которого хорошую партию не составить. Бержане по святым местам отправиться охота, а после в монастырь, но не в

обыкновенный, куда берут всяких девиц. Она, Бержана, не может в одних стенах с бывшими воровками да распутницами пребывать, хоть бы оные воровки и распутницы раскаялись, ей надобно всенепременно в Лебяжью обитель, куда принимают исключительно девиц достойного рода.

...и не за даром.

...двести тысяч злотней взнос.

Дорогое ныне просветление, да и добро получается недешево, но хуже всего, что семейство, с Лихославовым возвращением смилившееся, принялось перебирать невест состоятельных, чьего приданого хватило бы дела поправить...

— Кровь, она, конечно, не водица, — мягко произнес Аврелий Яковлевич. — Да только и не хомут на шею... небось, ты-то про проклятье и словом не обмолвился.

— Бес...

— Бес твой хвостатый сам все визнает, когда надо и без мыла в жопу влезет, — странно, но прозвучало это едва ли не похвалой. — А остальным что не сказал.

— Зачем? Волноваться станут зазря, а оно не мешает...

— От дурень! — восхитился Аврелий Яковлевич и ложечкой серебряной к Лихославову лбу приложился. — Волноваться станут... разве что о том, что женить тебя надобно срочно... но смолчал, от и ладно... и про другое смолчал?

Конечно.

Проклятье — это... бывает с каждым, даже в мирном Познаньске можно ненароком получить. Волкодлачья же кровь — дело иное.

— Смолчал и дальше молчи, что про одно, что про другое. С твоею семейкой, крестничек, чем меньше они знают, тем спокойней ты жить будешь. Это тебе на будущее, чтоб не вздумал языком трепать, а то ж...

— А есть ли это будущее.

— Экий ты, крестничек, меланхолически настроенный... угомонись уже. Что ты о волкодлаках знаешь?

— Твари.

— Все мы твари божии, Великой Троицей сотворенные, — произнес ведьмак и в глаза глянул. — Давай, вспоминай...

— Волкодлаки... Большую часть времени — обыкновенные люди, от иных отличаются разве что особой волохатостью, — Лихо потер щеку. — Но на полную луну оборачиваются... ну волкодлаками и оборачиваются! Тварь получается косматая, не человек, и не волк. Злобная. Лютая. Рвет все, что видит... кого видит... особо до людей охоча... жрет печень и сердце, остальным брезгует, ну или разве что голоден сильно...

Аврелий Яковлевич слушал и кивал.

— Убивать такого сподручней в человеческом обличье, потому как волкодлачья шкура очень прочна, но человеком он зачастую не помнит, что творил, ставши зверем.

— А оборотни от волкодаков чем отличаются?

— Оборотни могут превращаться по своему желанию и памяти не теряют. В большинстве своем они и в зверином обличье людьми остаются. А вот Хельмовы перевертыши — те напротив, звери, способные человеческий облик принимать. Ну что, сдал я экзамен?

— Теорию ты знаешь, — согласился Аврелий Яковлевич. — А вот думать так не способен. Безголовость — это у вас с братцем семейное.

— Издеваетесь?

— Факт констатирую. Итак, есть оборотни, есть волкодлаки, есть перевертыши... ты не оборотень, поскольку эту кровь только унаследовать можно. Ты не перевертыш, ибо способен мыслить и говорить. Но ты и не волкодлак.

— Как?

— Обыкновенно. На руки глянь.

Руки были не совсем, чтобы человеческими...

— А полнолуние нескоро, — спокойно произнес Аврелий Яковлевич. — Ко всему истинный волкодлак в половинчатой ипостаси не ходит... он сразу оборачивается.

— И кто я?

— Вотанов волк...

Звякнула ложечка о край чашки. И чашка в руке треснула, сама собою, впилась фарфоровыми зубами в ладонь.

— Это была хорошая новость.

— А плохая? — поинтересовался Лихо, рукавом затирая мокрое пятно на брюках.

— Плохая... волкодлачья кровь и вправду бы ушла со временем. А вот эта... тут сложнее... вотановы волки... только от тебя одного зависит, сумеешь ли ты на краю устоять. Слышишь зов?

— Слышу.

— Пока ты не управился с этой частью своей натуры, берегись... она попытается свое взять.

— Хозяйка.

— И Хозяйка, и... не только она. Вотанов волк, крестничек, та еще пакость. Его, в отличие от волкодлака, убить непросто... а уж сам-то... ежели найти и приручить... — Аврелий Яковлевич поднялся и подошел к двери, провел по ней ладонью.

Лихослав вздрогнул.

— Видишь?

По двери поползла серая плесень заклатья.

— Волкодлаки, как и перевертыши, магию чувствуют. Обратни и чаровать способны по малости, но вот видеть...

Второе заклатье Аврелий Яковлевич повесил на дверь, за которой по прикидкам Лихо находилась спальня. Досталось и окну. Со стекла плесень соскальзывала, но все ж упрямо раскидывала тонкую паутину ветвей.

— Крестничек, то, что я тебе сейчас скажу... князя-волкодлака, ежели он не опасен, примут. А вот вотанова волка... найдется много охотников, которые пожелают тебя на цепь посадить. Или, как не выйдет, пристрелить, так, чтоб другим не достался. Разумеешь?

Лихо покачал головой.

Вотанов волк?

Что он знает о Вотановых волках... а то, что и все... сказки детские... Вотан-всеотец, чертоги его хрустальные, в которых пирует небесное воинство, души величайших героев... прекрасные девы, Ирженины невесты, ткнут им из лунного света кольчуги, легкие да прочные... кипит кровью пролитой, горячей Игрень-река и стоит над нею Калинов мост, который стерегут два волка.

Имя им: Злой и Жадный.

И когда случается Вотану чертоги собственные покидать, то запрягает он волков в колесницу, а то и верхом едет... Лихо никогда-то понять не способный был, как это можно сразу на двух волках усидеть.

...аллегория то, мол, человеческие злобу и жадность лишь силой духа смирить можно, каковой и есть — воплощение Вотана.

...и ночью Хельмовой безлунной летят волки по-над землей, скачут, гнутся под лапами их вершины елей, а по следу, который на небе остается седыми шрамами, идет Вотанова охота, трубят рога, рождают зимние ветра, и сыплется снежное серебро с обледеневших кольчуг.

Горе душегубу, который в эту ночь оказался по-за крепкими дверями дома...

...найдут его утром, загнанного, замыленного, с лицом перекошенным...

Горе клеветнику.

И лжецу.

Всем тем, кто попирает заветы Светлых богов, тем самым собственную душу губил...

...сказки...

...но Лихо вдруг увидел, как гнутся темные ели, скрипят. И где-то внизу бело-черная, гладкая, мелькает земля. Остановиться, разглядеть бы ее, да гонит вперед хриплый вой рогов... летит снежное крошево, и тучи норовят расползтись под лапами...

— Лихо! — этот голос прогнал воспоминание, которое поблекло, истаяло, оставив привкус снега на губах...

...снега и крови.

— Лихо, Лихо... бедовый ты, — Аврелий Яковлевич отвесил затрещину, и кровь тоже исчезла.

Все исчезло, кроме гудящей головы:

Все ж таки рука у ведьмака была крепкою.

— Так-то лучше.

— Что со мной будет? — Лихослав языком провел по губам, ничуть не удивившись тому, что клыки сделались длинны.

— А это, дорогой мой, только от тебя зависит, — Аврелий Яковлевич прошелся по комнате и остановился за спиной. Этакая диспозиция ведьмака несколько нервировала, и Лихослав даже забыл, что не так давно примерял к себе весьма определенный выход.

Жить он по-прежнему хотел.

— Всего-то пару случаев описано, да и то, не каждым записям вера есть. Самый первый Вотанов волк появился в смутные времена. Думаю, что и прежде были, но сам понимаешь, мало что в кострах уцелело. И тот случай описывают как особую разновидность одержимости. На землях некоего князя зело волки расшалились. Вот он и затеял травлю, соседей позвал, не одному ж веселиться-то. А на охоте его возьми и порви волк. Не сильно, выжил князь... да только года не прошло, как сам князь постепенно стал облик человеческий утрачивать...

Аврелий Яковлевич замолчал и молчание это его показалось Лихославу очень уж недобрый.

— И... что дальше?

— А ничего. Нашлись добрые люди, инквизиторам донесли. В те-то времена, князь ты, аль углежог — не важно... на костер отправили. Правда, один из дознавателей оказался любопытным и дотошным малым. Оставил очень подробное описание, полагаю, надеялся, что открыл новый вид нежити, а потому аккуратно зафиксировал все, что отличало князя от оборотня и волкодлака. В дневнике своем он упоминает, что долго искал тварей подобных, но безрезультатно. Шкуру с князя, к слову, содрали и, соломой набив, отправили в дар Святому престолу.

— Аврелий Яковлевич, а это-то то мне зачем знать?

— Для общего развития, Лихославушка, а то ты, гляжу, собственной шкурой не больно дорожишь. А Святой престол и ныне не откажется коллекцию подновить... или, скажем, музей Естественных наук, который в Познаньске... Его Величество рады будут.

Это ведьмак произнес на ухо, и почему-то Лихослав сразу поверил: и вправду будут рады, пусть и не самой шкуре, но тому, что тварь, ее носившая, сгинула бесследно.

— Второй подобный случай описали уже на заре войны с Хольмом... Мертвополье, ведьмаками зачищенное... волки... человек, которому удалось спастись. И медленные в нем перемены. Этот, к слову, сознательным оказался, побоявшись, что волкодлаком станет, мозги себе вышиб.

Надеюсь, у тебя, дорогой, подобных мыслей не возникало?

— Что вы, Аврелий Яковлевич! — почти непритворно возмутился Лихослав. — Как можно!

— Смотри у меня. Этого уже ведьмаки разделявали. Протоколы я читал. А третьего и сам видеть сподобился... слышал про Жироданьского зверя?

Лихослав кивнул: кто ж об этом Хельмовом отродье не слышал-то?

Деревушка Жиродань, крохотная, на самой границе Серых земель стоящая. Живут там в основном углежоги и лесорубы, да еще и охотники... не сказать, чтобы совсем уж бедно живут, но и не роскошествуют... рядом еще пяток деревенок таких же, в пару дюжин дворов. Хутора. И одна лесопилка, на то время — небывалое новшество.

Леса. Болота.

Волчьи стаи.

И волкодлак, который прославился на все королевство небывалой хитростью.

— Скольких он убил? Сотню?

— Сто двадцать три... и еще дюжина пропавших без вести, думаю, что и с ними. Опять дурное думаешь? — Аврелий Яковлевич к вопросу присовокупил подзатыльник. И следовало сказать, что подзатыльники у старого ведьмака отличались просто-таки невероятную целительной силой.

— Если вы и дальше так продолжите, — сказал Лихо, затылок потирая, — то у вас тут вскорости не один, а два трупа образуется.

— Ничего, крестничек, с трупами я уж как-нибудь да разберусь.

— Значит, тот волк...

...сто двадцать три человека.

Три года охоты.

И память долгая память.

— То, что убивал он, не значит, что будешь убивать ты, — сказал Аврелий Яковлевич. — Потому не спеши... дурное дело — не хитрое, успеешь себе револьвер в рот сунуть.

— Вы его...

— Пристрелил, — Аврелий Яковлевич отступил. Теперь он стоял напротив окна, затянутого пыльной сетью плесени. И солнце, пробивавшееся сквозь чародейский заслон, золотило смуглую ведьмачью кожу. — Понял, кто он, и пристрелил. Заговоренная пуля. Заговоренный пистоль. И немного везения... он считал себя волкодлаком. Тоже решил, что тварью стал... и смирился... а может, ему даже понравилось тварью быть. Самый быстрый, самый сильный... и признался даже, что к вкусу человечины привык, хотя поначалу есть брезговал. Он распрекрасно помнил каждое свое убийство, Лихо. И если поначалу боялся, то... ощущение собственного всеисилия пьянит. Он быстро привык и к своей способности менять обличье, и к чужому страху... и к тому, что пули его не берут, ни обыкновенные, ни серебряные. И ежели

тебе легче станет, то тварью он стал задолго до того, как его волки пометили. А остальное — лишь повод, чтобы эту тварь, в нем сидевшую, выпустить.

— Я не...

— Ты хочешь остаться человеком?

— Да.

— Тогда оставайся. Я не буду врать, что это легко...

— Но возможно?

— Да.

Аврелий Яковлевич замолчал. Он замер, перебирая волосы в курчавой своей бороде.

— Это даже хорошо, — наконец, произнес он, — что на тебе моя метка... ты мне жизнь должен, а значит, я имею на нее право... сделаю кое-что, будешь носить. Ее зов — заглушит. А с остальным сам управляйся. У тебя выйдет. Ты упрямый.

Лихо потер глаза, которые начали чесаться.

— А она... кто она на самом деле?

Ведьмак не стал делать вид, что вопроса не услышал или не понял, но лишь повел плечами и тихо ответил:

— Лучше бы тебе того не знать.

И отвернулся.

— Воды подай и ремень развяжи... будем твоего красавца допрашивать.

Ремень Лихослав снял.

И носки свои выковырял, но забирать побрезговал, бросил в корзину с грязным бельем. Перебравшись на кривоногий диванчик, поставленный в углу верно затем, чтобы просто угол занять — а иначе отчего онный диванчик настолько неудобный? — Лихослав замер. За ведьмаком, словно бы позабывшим про присутствие гостя, он следил внимательно, хотя и не понимал половины того, что делает...

...их полковой мертвяков не допрашивал, но шеи рубил и в рот засовывал железную монету, приговаривая, что так оно надежней.

Освещал.

И три дня держал в свинцовом гробу, и только потом, ежели мертвяк вел себя обыкновенно, гроб отправляли домой, ну или на Старое кладбище, которое давно уже выбралось за низкую оградку. Вспомнилась и она, и кресты, что вылизанные дождями, что новенькие из светлого дерева...

Аврелий Яковлевич, вставши на колени, раскрыл мертвяку глаза и капнул чем-то черным, дегтярным. Жаровенку распалил, кинул жменю травок, от которых по гостинной поплыл яркий

мятный аромат...

— Вставай, — велел он глухим рычащим басом, и был услышан.

Пан Острожский нелепо дернулся и захрипел:

— Помогите...

— Поможем, — пообещал ему Аврелий Яковлевич.

— Помогите... убивают! — мертвяк, который выглядел до отвращения живым — и рука Лихо сама легла на рукоять револьвера — перевернулся, встал на колени. — Развяжи меня, мил человек!

— Конечно, развяжу...

— Сейчас?

— А то когда ж? Ползи сюда...

— Я тебя не вижу, — пожаловался мертвяк, поводя головой влево и вправо, ноздри его раздувались, среди всех запахов выискивая один — обидчика.

— А ты на голос...

И пополз, изгибаясь всем телом, дергаясь, шипя от натуги. Дополз до меловой черты и уперся.

— Выпусти... — заныл высоким тонким голосом, от которого задрезжали хрустальные подвесы на люстре. — Выпусти... выпусти...

— Выпущу. Если договоримся.

Мертвяк зашипел и вывалил черный распухший язык, длинный и подвижный, будто бы не язык даже, а болотная гадюка, что вылезла из расщелины рта.

— Раньше в миру случалось бывать? — Аврелий Яковлевич языка не испугался, как и бурых, будто гнилые яблоки, белым мертвяка.

— С-с-лучалось.

— Часто ходишь?

— Час-с-сто...

— Зачем посылают?

— За девками... ей девки нужны... одних прислугой брал... на других женился...

Лихо стиснул кулаки, приказывая себе молчать, хоть бы другая, звериная часть натуры требовала довершить начатое и упокоить мертвяка уже насовсем.

— И сколько у тебя жен перебывало?

— Дюжина... без-с-с-с одной. Помеш-шали... он помеш-ш-шал... плохая с-собака, — мертвец повернулся к Лихо, и тот не удержался, ответил рыком.

— Сидеть, — рывкнул Аврелий Яковлевич. — Зачем тебе женщины?

— Девуш-ш-шки... не мне, ей нужны. Пьет... с-силу пьет... крас-сивая.

— Красивая — это аргумент... она здесь?

— Сз-сдесь...

— Самолично, значит, явилась... и зачем ей купеческая дочь? Не так молода, не особо красива... Лихо, тебя не спрашивают. Ко всему уже не девица. Лихо, еще раз пасть откроешь, и за дверь выставлю...

— Ей — нет. Мне нуж-шно. Деньги. Уехать. Она с-казала, награда... з-заслужил.

— Награда, значит... — Аврелий Яковлевич дернул себя за бороду, выдрав клочок темных волос, которые, не глядя, кинул на жаровню. — Имя ее знаешь?

— Нет.

— А что знаешь?

— А что ты мне дашь? — поинтересовался мертвяк, устраиваясь на границе мелового круга. — Крови хочу.

И черный язык скользнул по темным же губам.

— Крови, значит...

— Ее крови...

— Колдовкиной?

— Девкиной, — уточнил мертвяк, не спуская с Лихо гнилых глаз. В них чудилось издевательство. — Много...

— Обойдешься.

— Я? Обойдусь, ведьмак... а вот ты... она з-снает о тебе... она тебя не боитс-ся... у тебя не хватит с-сил... думай... что тебе одна девка? Одной больше, одной меньше...

Мертвяк полз вдоль границы круга, и на Лихо уже не глядел. О нет, он боялся оторвать взгляд от Аврелия Яковлевича, который явно задумался.

Сомневается?

И вправду, если Хозяйка Серых земель вышла на охоту... если она сильнее ведьмака, а по всему так и выходит, то остановить ее — первейший долг...

— Ты же с-сам баб не любиш-шь... — с тихим шипением продолжал уговаривать мертвяк, и черный язык его дергался судорожно. — Твари... хитрые твари... коварные... она разс-сгуляется... ус-строит тут кровавый век... решайся, ведьмак... с-сотни погибнут. Тыс-сяч-ши... ш-сто такое одна жизнь против многих...

— Ничего, ты прав, — сказал Аврелий Яковлевич, — один или сотня... один или тысяча...

Хельмова арифметика... а я, человек простой, не ученый... с арифметикою у меня никогда-то не ладилось.

И руку выкинул, незримую стену пробив. Отпрянуть мертвяк не успел, темные пальцы ведьмка впились в голову, и та заскрипела.

— Имя!

Пан Острожский завыл, а из-под ведьмачьих пальцев полилось темное...

— Имя, чтоб тебя...

— Не з-снаю... пус-сти... — мертвяк вдруг затих.

И язык перестал дергаться.

Под рукой Аврелия Яковлевича кипела, пузырилась плоть, облазила лохмотьями. И вонь от нее, гниющей, была нестерпима. Лихо зажал нос рукавом, с трудом сдерживая рвотные позывы.

— Имя... смотри, я ж тебя и без упокоения оставить могу...

Пальцы погружались все глубже, и мертвяк вдруг заскулил, а Лихо понял: скажет. И пан Острожский, втянув в рот язык-гадюку, заскулил.

— Имя... — глухо повторил ведьмак.

— Обойдешься, — вдруг ответил ему пан Острожский тоненьким женским голосом. — Какой ты, однако, любопытный, Аврельюшка...

Труп вспыхнул зеленым гнилым пламенем. Оно пожирало тело быстро, как-то жадно и норовило зацепиться и за ведьмаковскую руку, но оказалось способно лишь слизать крупички чужой плоти.

— Вот оно как, — задумчиво произнес Аврелий Яковлевич, глядя на черную лужицу, что растеклась по паркету. — Бывает-с... ты, крестничек, если блевать тянет, то не стыдись... туалет там...

Отказываться от предложения столь щедрого Лихо не стал.

Рвало его долго, а когда вернулся, обнаружил, что Аврелий Яковлевич окошко открыл, а на черную лужицу бросил покрывало с кресла, и вид розового банта, вполне себе мирного, вызвал новый приступ дурноты.

— От так оно и бывает, — устроившись на широком подоконнике, Аврелий Яковлевич крошил местным ленивым голубям остатки булки. Голуби булку клевали и курлыкали. — Иди, крестничек... и не бойся, поймал мы эту паскудину. Ты главное, себя береги... стать зверем — не так оно и страшно... главное, чтоб душа человеческою оставалась.

— А если...

— Если нет, то я тебя самолично и пристрелю.

— Спасибо.

— Да не за что, дорогой, не за что... братцу своему передай, чтоб не лез голой жопой ежей пугать... тихо пусть сидит...

Лихо передал.

Правда, сомневался, что дорогой брат это предупреждение воспринял всерьез. Сидеть тихо у Себастьяна никогда-то не получалось.

Глава 9

О происшествиях случайных и решениях скоропалительных

Ну не всем же замуж! Может, некоторые всё-таки созданы для счастья!

Робкое признание молодой вдовы в ответ на весьма лестное предложение о повторном замужестве.

— Ах, моя дорогая, вы сегодня выглядите чудесно! — воскликнул Матеуш, прижимая руку панночки Тианы к широкой своей груди. Следовало сказать, что грудь сия, облаченная в уланский синий китель, переливалась золотом многочисленных орденов, которые Его Высочество надел, желая произвести на даму сердца впечатление. Ордена накладывались один на другой и при малейшем движении позвякивали, камни, их украшавшие, сверкали на солнышке.

Привлеченная блеском их сорока, жирная и солидного вида, как и вся живность, каковой случалось обретаться в королевских владениях, спустилась на дорожку и прохаживалась взад вперед. Взгляд круглых сорочьих глаз прикипел к ордену Вильгельма Драконоборца, каковым по обыкновению награждали за особые заслуги перед Королевством. Орден был круглым, крупным и щедро усыпанным алмазною крошкой.

— И вы тоже, — мрачно ответил Себастьян, в свою очередь наблюдая за сорокой.

Вот не внушала ему птица доверия.

В последние дни ничего-то ему доверия не внушало, а чем ближе становилось полнолуние, тем хуже предчувствия...

...и Гавел пропал.

...и Аврелий Яковлевич, передавши через Лихо сидеть тихо, сам будто бы исчез.

...и покушения, что самое интересное, прекратились. Последнее обстоятельство Себастьяна нервировало более остального, поскольку вовсе не означало, что колдовка от своего решила отступить, но напротив, верно, сочинила план, не требовавший устранения панночки Тианы...

— Я вам нравлюсь? — Его Высочество даму сердца приобнял, благо, объятиям амулет Аврелия Яковлевича не препятствовал.

И Себастьян почти уже смирился.

— Конечно, — ответила панночка Тиана, глядя на ухажера с верноподданическим восторгом, который давался ей не без труда. — Как вы можете не нравиться? Вы же ж королевич!

Услышанное Матеуша, кажется, нисколько не смутило. Напротив, собственный титул он полагал столь же неотъемлемым достоинством, как стать, силу и ордена.

— Этот нелепый конкурс скоро завершится, моя любимая, — Его Высочество завладели ручкой, оторвав ее от орденов, что с точки зрения сороки, которая подобралась совсем уж близко, было очень даже правильно. Сороку манили алмазы.

А вот люди, к этим алмазам привязанные, были определенно лишними.

— Скоро мы будем вместе, — Матеуш гладил тонкие пальчики, не забывая каждый целовать. — Обещаю...

Себастьян терпел.

Он чувствовал, что терпения его хватит ненадолго... и что амулет, пусть и защищавший честь девичью от посягательств Его Высочества, вовсе был не способен избавить от компании ононого...

Ненаследный князь вздохнул.

— Вы так переживаете, моя дорогая, — рука Матеуша, по-хозяйски лежавшая на талии панночки, оную талию нежно погладила, а заодно уж подтянула платье, чтобы из-под розового подола его выглянули точеные ножки в розовых же чулочках.

— А то, — буркнул ненаследный князь, ерзая и проклиная того, кто придумал, что лавочки в Гданьском парке надобно ставить узкие, такие, чтоб еле-еле двое вместились...

Сорока подобралась ближе.

— Дорогая, вы столь сегодня молчаливы... — Матеуш руку отпустил, но ровно затем, чтобы потянуться к ноге, которую он попытался забросить себе на колени.

— Это от скромности.

Ногу Себастьян пытался отвоевать, с трудом сдерживаясь, чтобы не пнуть королевича.

И материться нельзя.

Прекрасные провинциальные панночки, в королевича влюбленные, не матерятся...

...во всяком случае, вслух.

— О, ваша скромность, дорогая Тиана, заслуживает всяческого уважения... — нога-таки оказалась на коленях Его Высочества, и вторая тоже.

Туфельки упали на траву.

...а панна Клементина, к оным свиданиям относившаяся неодобрительно, вмешиваться не станет. Жаль. Сейчас Себастьян рад был бы ее видеть.

— ...с преогромною печалью вынужден признать, что современные девицы знать не знают, что такое скромность... — Матеуш ножки гладил, и рука его всякий раз подымалась выше и выше...

Подол сползал.

Панночка Тиана неудержимо краснела.

Себастьян держался.

Сорока, встав в шаг от лавки, глядела на башмачки... и на орден... и вновь на башмачки...

— А вы, моя дорогая... столь очаровательно невинны...

— Пока еще, — Тиана решительно убрала королевскую руку от подвязок. А второй амулет нащупала, убеждаясь, что тот пока на месте. Нагрелся, но и только.

— О... я вас смущаю?

— А то... вот у нас в Подкозельске...

— Какой достойный город...

— ...не принято, чтоб девку и до свадьбы... развращали...

— Еще нет, — с придыханием произнес Матеуш, решительно взявшись за подвязку. Стягивал он ее медленно, и не спускал с панночки внимательного холодного взгляда.

В обморок упасть, что ли?

Себастьян уже почти было решился, когда сорока вдруг зашипела и распахнула веера крыл.

— Назад! — Себастьян, стремительно меняясь, рухнул на землю, увлекая за собой королевича. Он подмял Матеуша, вдавив в траву.

И острые птичьи перья увязли в чешуе.

— Что...

— Лежать! — рявкнул Себастьян с немалым удовольствием сжав королевское горло, из которого вырвался сдавленный крик. — Молчать!

И крылья распахнул, закрывая Его Высочество, которое, впрочем, вряд ли по достоинству оценило подобную заботу.

Сорочьи перья вызвали нестерпимый зуд. И значит, отравлены... вот только вряд ли яд смертельный. Зуд постепенно сменялся онемением. Парализующий? Похоже на то...

А до полнолуния еще два дня. И пусть луна, налитая, желтая, повисла на небе сырною головкой, но все ж таки два дня...

...зачем тогда сегодня?

...или со сроком ошиблись...

...сорока не исчезла. Себастьян слышал металлический шорох перьев, и шипение, и клекот, который лишь отдаленно можно было принять за птичий.

— Что... пр-р-роисходит, — к чести Его Высочества, спросил он шепотом, но и шепот этот был по-королевски холоден. Прямо-таки нехороший шепот.

— Покушение на убийство происходит, — отозвался Себастьян, пытаясь вывернуться.

Остатки платья мешали.

— И кого убивают? — Матеуш смотрел так, что поневоле вспоминалась плаха.

— Вас... и меня заодно. Точнее, скорее всего меня... на вас у них другие планы.

Сорока, вернее то, что ею притворялось, замерло.

Диковинная тварь, в которой от птичьего остались кожистые складчатые крылья, поросшие серебристыми иглами. Горбатая спина. И задние лапы с длинными острыми с виду когтями. Покатый киль, на котором кожа продралась и сквозь прорехи выглядывали серые мышцы. Гибкая шея, змеиного вида, для вящего сходства покрытая мелкой чешуей. И костистая вполне сорочья голова с тяжелым клювом.

— Гадость какая, — произнес королевич, переворачиваясь на живот. Выбраться из-под полога Себастьяновых крыльев, вовсе не предназначенных для того, чтобы прятать под ними венценосных особ, он не пытался.

Сорока же, заслышав голос, дернулась и вперила в Себастьяна немигающим взглядом красных глаз. Определенно, гадость... какая... неживая какая гадость...

Пахнет от нее характерно весьма, мертвечинкою.

— Мы так и будем лежать? — Его Высочество взгляд сороки выдержал.

— А что вы предлагаете?

Себастьян чувствовал, что малейшее движение вызовет новый дождь из серебряных игл. А становиться мишенью ему не хотелось.

— Для начала предлагаю представиться. И объяснить.

Вот объясняться у ненаследного князя вовсе желания не было. Да только противиться прямому приказу он не был способен. И почувствовав, как медленно стягивает горло невидимая удавка клятвы, проклял тот день, когда в голову его пришла мысль стать знаменитым.

...о да, после нынешнего дела, он будет так знаменит, что дальше некуда.

— Старший актер познаньского воеводства, — сипло произнес Себастьян. — Ненаследный князь. Себастьян Вевельский.

Тварь раскрыла сорочий клюв, издав низкий скрежещущий звук, который ударил по нервам.

— На задании нахожусь, — Себастьян напрягся.

Если вытянуть руку...

...далековато.

...зацепить бы ее когтями...

...все одно далековато...

Он высунул кончик хвоста и пошевелил... иглы отрывались от твари с тихим звоном... и меткая же! Две вошли в хвост, заставив Себастьяна зашипеть от боли.

Хвост он подобрал и серебристые иглы, на две трети вошедшие в плоть, вытащил зубами.

— Ненаследный князь, значит, — пробормотал Его Высочества, подбирая с земли розовую ленточку, кажется, не так давно украшавшую рукав. — Актор...

— Актор...

Себастьян, поглаживая кончик хвоста, испытал преогромное желание крыло приподнять. Он чувствовал, что тварь своего не упустит... нет, абстрактно и по-человечески королевича было жаль, но себя — куда как жалче... а Матеуш вертел обрывок ленты в пальцах и хмурился.

Очень так выразительно хмурился.

Тварь же, верно, притомившись, легла на дорожку, распластала тонкие крылья... ждет кого-то? Хозяйку? Или помощь?

Как бы там ни было, но с тварью следовало разобраться как можно скорее...

Верткая.

Но тупая... и сорока, несомненно сорока... бусину блестящую нашла и уставилась, любуясь, дотянувшись когтистой лапой, к себе подгребла.

— Орден дайте, — велел Себастьян.

— А ты наглый, — Его Высочество явно не был настроен раздавать награды. — Может, тебе сразу и памятник? Конный?

— Сразу не надо.

...Себастьян подозревал, что если и случится ему обзавестись памятником, то стоять он будет исключительно на его, Себастьяна, могиле. А потому, конный или нет, но вряд ли порадует.

— А орден все-таки дайте... отвлечь надо.

К счастью, Его Высочество спорить не стал, отстегнул тот самый, Драконоборца, за заслуги перед отечеством полученный — знать бы, еще за какие, — и сунул в руку Себастьяну.

Орден был колюч и неудобен, но надо сказать, выглядел красиво. Кое-как примотав атласную ленту к хвосту, Себастьян орден выкинул на травку.

Тварь дернулась.

Зашипела.

И иглы, покрывавшие тощее ее тело угрожающе поднялись.

— Это где ж такие водятся-то? — поинтересовался Матеуш, который чувствовал себя крайне неудобно. Во-первых, земля была жесткой и холодной, трава, ее покрывавшая — мокрой. Во-вторых, на него, Матеуша, покушались, что, в общем-то не было чем-то новым или удивительным, но до сего дня покушения обставлялись как-то более прилично. В-третьих,

девица, которую Матеуш прочил в фаворитки, оказалась вовсе не девицей...

Нет, с одной стороны сейчас Матеуш этому обстоятельству был даже рад... с актором оно как-то безопасней, нежели с девицей. С другой...

...если кто прознает...

— Глядите, — прошипел актер, ткнув острым локтем в королевский бок.

Поглядеть и вправду было на что.

Тварь, уверившись, что ничего опасного нет, застыла. И орден она заметила... да и как не заметить, когда тот на травке лежал, блестел ярко...

Тварь иглы обложила.

И привстала, сиясь разглядеть этакое диво.

И вновь присела, вытянула шею, сиясь клювом дотянуться, но не сумела. Зашипела.

Закурлыкала.

Вытянув тощую лапку, впрочем, вооруженную острыми когтями, скребанула по земле... и оглянулась. Никого.

Тишина.

Такая тишина, что и Матеушу жутко... а этот, который рядом лежит, в орденскую ленту вцепившись, и дышать-то перестал.

Тварь сделала шаг.

Крохотный такой шажок. Замерла. Вновь иглы подняла.

— Опасается... — одними губами произнес актер, и Его Высочество, охваченный внезапным азартом, кивнул: точно, опасается. Но и хочет до ордена добраться, вон тот как блестит... и замороженная сиянием драгоценных камней, тварь решается шагнуть...

...еще на палец ближе.

...и еще...

...иглами ощерилась, раздулась до того, что того и гляди порвется, треснет серая кожа...

Отвратительное создание. И чем ближе подбирается, тем большее отвращение внушает. Королевич видел теперь и шкуру, и серые иглы, некогда бывшие перьями, но теперь едва-едва державшиеся на коже существа, и влажноватую, словно слизью покрытую чешую его...

...у актора чешуя была крупной и сухой, как у варана, которого доставили в отцовский зверинец, пытаясь выдать за дракона. Варан и вправду отличался внушительными размерами и отменным аппетитом, а вот пламя изрыгать отказывался наотрез.

Нет, сперва-то его за дракона и держали, пока папенькины ученые наглядно не доказали, что сие создание божие относится к обыкновенным, магии лишенным...

...а актер?

— Еще немного... — актер потянул за ленту, и орден пополз, а тварь, уже почти поверившая, что дотянулась, поползла за ним. Она двигалась рывками, прижимаясь к земле, и над влажной травой торчал узкий хребет с иглами.

— Еще чуть-чуть...

Его Высочество затаил дыхание.

И сам актер дышать почти перестал... но вот тварь рванулась, вцепилась когтистыми лапами в орден и заверещала...

...смолкла, как-то быстро затихнув в когтистых лапах актора. Хрустнула шея, а может и не шея вовсе, может мерзкий этот звук почудился Его Высочеству, но как бы там ни было, крылья твари повисли безвольно, иглы осыпались, а сама она...

— Что за мерзость?! — Матеуш выбрался из-под крыла и попятился, закрыв нос рукавом.

От рукава пахла землею и травой.

— Мертвечина, — актер вытер руки, перемазанные чем-то липким и бурым о траву.

Попытался вытереть.

— Самоликвидировалась...

От твари остались иглы.

И еще белый птичий череп, который актер зашвырнул в кусты и, поднявшись, отряхнулся, посмотрел на королевича.

— Ну? — спросил он, почесывая янтарным когтем подбородок. — И чего делать будем?

Этот вопрос мучил и самого Матеуша.

— Если... — Его Высочество перевел взгляд с актора на бурую кучу гнилья. — Если ты кому-нибудь... хоть слово... сгною... в подземелье... или на плаху.

Актер не стал убеждать, что никому ни словом не обмолвится об этой двусмысленной ситуации, но лишь вздохнул и попросил:

— Отвернись...

Спустя мгновение у лавочки обнаружилась прехорошенькая панночка... правда, весьма растрепанная и в платье разодранном, остатки которого она прижимала к груди. И грудь эта волнительно вздымалась...

...Матеуш хотел отвернуться.

Честное слово, хотел!

Просто немного замешкался и...

— Что за... — раздалось вдруг за спиной, и голос этот, услышать который Его Высочество не был готов, заставил подпрыгнуть. — Матеуш! Изволь объясниться!

Ее Величество, Каролина Аушвицкая, урожденная Баррегез, смотрела на сына, и в очах ее, пожалуй, более выразительных, чем когда бы то ни было, читалась печаль.

Нет, скорбь.

А еще осознание, что нынешний скандал навряд ли удастся замять.

Атласные юбки Ее Величества, пусть и весьма пышные, не способны были скрыть ни девицы вида крайне неподобающего, ежели не сказать — ужасающего, ни Матеуша, торопливоправлявшего изгвазданный грязью мундир...

— Матушка, вы... откуда здесь?

— Оттуда, — ответила Ее Величество, кружевным зонтиком указывая на громадину королевского дворца, что виднелась вдаль. — Мы... гуляем...

...и жаль, что не в одиночестве.

За спиной Каролины клином выстроились фрейлины, возглавляемые статс-дамой, каковая помимо всех мыслимых и немыслимых достоинств, благодаря коим удерживала сей пост уже третий десяток лет, обладала весьма существенным недостатком.

Она не сплетничала, нет... но и мимо новости скандальной пройти не могла. Но ежели со статс-дамой и удалось бы договориться, все ж таки женщина она разумная и местом дорожит, то всех фрейлин разом не заткнешь... особенно новенькую, кучерявую, пристроенную в королевскую свиту Его Величеством, естественно по просьбе родственников, но девица восприняла подобную милость как аванс...

Стоит, ресничками хлопает, вздыхает, небось...

И примечает...

Траву измятую... и характерные весьма зеленые пятна, что на брюках Матеуша, что на мундире его мятом, что на платье конкурсантки. И что платье это разодрано самым зверским образом... и не только платье... вон та кружевная ленточка, повисшая на чугунном перильце, явно не от платья...

— Вы... гуляете? — Матеуш, кинув на девицу раздраженный взгляд, густо покраснел.

Стыдно стало?

Боги всемилостивейшие! За что такое наказание?! Нет, Ее Величество слышали, что сын ее старший, за дамами ухаживая, порой проявляет чрезмерную настойчивость, но вот чтобы так...

...среди бела дня...

...в королевском парке...

Фрейлины переглядывались, не смея рта открыть.

Статс-дама подняла орден Дракоборца, который держала за орденскую ленту двумя

пальчиками. С ленты что-то капало, что именно Ее Величество не поняли, но с виду это «нечто» было преомерзительно.

— Гуляем, — заворуженно ответила Каролина, раздумывая, как скоро об этом происшествии узнают газетчики.

Вой подымут.

О недопустимости насилия. О том, что королевскую власть надобно ограничить... кровавый век припомнят опять же... ах, до чего же все не вовремя.

— А... а мы тоже гуляем, — ответил Матеуш, оглядываясь на конкурсантку.

— Гуляете...

— Ага, панна королевна! — та присела в неловком реверансе, который открыл круглые смуглые коленки, потому как юбка ее просто-напросто развалилась. — Мы тут погулять вышли. Ваш сынок сказал, что погода больно хорошая. И я от поглядела, что и вправду хорошая! Я-то погулять люблю... вот в дядекинском поместье так кожный день хожу! До сажалки, а потом еще назад... этак версты три и гуляю.

Девуца говорила бодро.

И выглядела отнюдь не так, как полагалось бы выглядеть жертве насилия. И потянув себя за прядь, а волосами она обладала длинными и пышными, девушка сказала:

— Ну и гуляли мы... туточки... по дорожечкам. Красиво у вас... розы вот цветут. У дядежки-то все больше картопля на поле, но тоже красиво, хотя, конечно, куда картопле до розанов?

Из волос девушка вытащила длинную травинку, которую, повертев в пальцах, выронила.

— А тут, смотрю, и лавочка. Хорошо так стоит, в тенечке... мы-то и присели... а я чую, что голову кружит... вы не думайте, панна королева, меня здоровьицем боги не обидели...

...за спиной раздались смешки.

А Матеуш покраснел, хотя и до того стоял красным, но нынешняя его краснота отличалась какой-то особой яркостью. И сие обстоятельство донельзя впечатлило королеву. Все ж таки старший сын, быстро свыкшийся с особым своим положением, чрезмерною стыдливостью не страдал.

— Но туточки чую, что кружит голову... должно быть солнце в темечко напекло, — доверительно произнесла девушка, это самое темечко ощупывая. И королева, сама того не желая, тоже на него поглядела.

Из смоляной макушки девушки торчало перышко.

Обыкновенное белое перышко, которое слегка покачивалось, и Ее Величество готовы были поклясться, что это самое перышко заворужило всех фрейлин, включая статс-даму.

— Ну и сомлела я, — просто сказала конкурсантка, перышко вытащив.

— Как сомлела? — спросил кто-то, кажется, та самая, кучерявая. Кто ж еще, кроме этой невоспитанной девушки вперед королевы любопытство выказывать станет?

— Сильно сомлела! И прям на траву...

Она указала на то самое вытоптанное пятно.

— Я б на лавку хотела, но промахнулась... вы не подумайте, панна королева, я ж не нарочно. Я на голову крепкая, да видать, солнце у вас тут ядреное, прямо как дядечкина самогонка... вроде и пьешь, как воду, а встанешь — и ноги не идут...

Ее Величество моргнула, пытаясь уловить в этом словесном потоке важное и нужное.

— Ну а после просто... Матеуш-то рыцарь!

Рыцарь закашлялся, и девица похлопала его по спине, крепко так похлопала, от души...

— Поднять хотел, — продолжила она рассказ, не спуская с королевы взгляда... и глаза у нее черные, хельмовские, глядит вроде и прямо, но все ж чудится в них насмешка... — А то ж и вправду, ну как идет кто, а тут девица на траве валяется... это ж непорядок какой...

— Определенно, — сумела выдавить королева.

— Вот! — девица подняла палец. — И он так решимши... а меня ж поднять, оно не так просто... я ж, небось, не какая-нибудь там городская, на которую чихнешь, так ее ветром и унесет... давече дядечка весил, так шесть с половиной пудов навесил! Правда, те весы-то для телок были...

Матеуш кашлянул и, покосившись на даму сердца, благоразумно отодвинулся.

— Вот платье и треснуло...

— Почему? — вновь влезла кучерявая.

Гнать ее.

Только предлог найти приличный, чтоб сплетни не пошли, а то вновь скажут, что королева, старея, ревнивою невмерно становится...

...или не гнать, но держать при себе?

Так оно надежней. А то ведь вместо одной дуры другую пришлют, и как знать, не будет ли та, новая, хуже нынешней?

— Откуда ж я знаю, почему, — непритворно удивилась чернявая девица, и, подобрав с травы лоскут, в пальцах помяла. — Должно быть, ткань некачественная. Ныне-то ворья развелось... мошенников... и подсунули вот...

— А подол почему рваный?

...оставить...

...потому как знакомая дура всяк лучше незнакомой. Привычное зло, так сказать.

— Подол? — конкурсантка подол подобрала вернее то, что от подола осталось. — Это я уже сама... очнулася, стало быть, на лавке и вскочила... а он возьми и зацепись за гвоздик.

— За гвоздик, — задумчиво повторила королева.

И Матеуш кивнул:

— За гвоздик... махонький такой, — он пальцами показал, насколько именно махоньким был коварный сей гвоздь.

— Вот! Я и дернулася, — вдохновенно продолжила девица, — Падать стала... и упала б, когда б не Матеуш. Споймал...

Он снова кивнул. И на красных щеках проступили белые пятна.

— Правда, на ногах не устоял. Мы вдвойгу и упали...

— Ужас какой! — сказала королева.

— А то... и платье додрали, и сами изгваздалися... теперь меня панна Клементина в конец заругает...

Она вздохнула.

И следом вздохнула Ее Величество, правда, с преогромным облегчением. Нельзя сказать, что версия событий, предложенная девицей, вовсе не вызывала вопросов... к примеру, не объясняла она перьев, которые во множестве виднелись в траве, будто бы несчастную птицу разодрали на клочья... и той мерзости, которая прилипла к орденской ленте... и треснувшего корсажа... и престранного поведения Матеуша, впрочем, не собиравшегося девице перечить. Но как бы то ни было, версия сия была куда удобней той, в которой наследник престола представал в образе насильника. Нет, правду Ее Величество услышит, но наедине, в обстановке куда менее волнительной и более способствующей размышлениям. Сейчас же, благосклонно кивнув девице, при всей своей показной глупости проявившей немалую смекалку — а вот таких показных дур надобно беречься — королева произнесла:

— Все слышали? Произошел несчастный случай. Девушка лишилась чувств, а потом разорвала платье о гвоздик...

И пусть выглядела девушка так, будто продиралась сквозь заросли этих самых гвоздей, но тон Ее Величества не оставлял сомнений, что услышанное только что, сколь бы неправдоподобно оно звучало, есть правда... фрейлины ответили нестройным хором, а статс-дама, выступив вперед, набросила на плечи конкурсантки вязаную шаль.

Пуховую.

Весьма Ее Величеством любимую... правильно, пусть все видят, что королева заботится о подданных... об одной весьма конкретной подданной, от которой в данный момент зависела репутация Матеуша.

— Полагаю, — Ее Величество умели улыбаться весьма любезно. — Вам следует переодеться... и тебе, мой дорогой, тоже... не следует давать повода для сплетен.

— А то, — девица шаль запахнула. — Люди ныне злые пошли, зато с фантазией. То ли видели, то ли слышали, разом придумают, чего было, и чего не было...

Спокойно Матеуш вздохнул только во дворце, в который возвращаться пришлось под конвоем

статс-дамы, через ход запасной, один из множества неприметных запасных ходов, пронизывавших весь массив Гданьской резиденции.

И оказавшись в кабинете, обставленном некогда роскошно, но ныне изрядно поблекшем, обернулся к своей спутнице... спутнику?

— Спасибо.

— Всегда пожалуйста, — ответила та... или тот? И щеку почесала. — Будешь должен.

— Я?

— Ну не я же...

Матеуш хотел было возмутиться, но припомнил недавнюю сцену, и ужас в матушкиных очах, и взгляды фрейлин, которым не терпелось поделиться новостью столь удивительной: Его Высочество не сумели с собою совладать и в порыве страсти насильничали...

...а если вдруг всплывет кого...

— Буду, — буркнул наследник престола, падая в низкое кресло. — Выпьешь?

За тайник, сделанный неведомым, но явно понимающим в женской психологии, мастером в подлокотнике, это кресло любил не только Матеуш, но и Его Величество.

— Нет, — со вздохом ответил старший актер. — Мне нельзя... на ауре скажется...

И вновь почесался.

— Зудит?

— Еще как... теперь, когда отходит, то крепко...

— Ядовитые?

— Парализующие. Ну, я так думаю, — девица села в кресло напротив и запахла шаль.

Все ж таки она была прехорошенькой. И стыдно было за свои мысли, и...

— А... ты сам это придумал? — Матеуш коньяк хлебал прямо из бутылки.

— Нет.

— Соучастники, значит, — бутылку коньяка, приятно прохладную — да и в кабинете, нельзя сказать, чтобы было жарко, Его Высочество прижал ко лбу. С коньяком думалось легче. — И кто затеял?

— Операция проходит под патронажем Его Превосходительства...

— Дядя, значит... экий он... фантазер.

Матеуш замолчал.

И старший актер познаньского воеводства, с задумчивым видом перебиривший бахрому на королевской шали, не спешил начинать беседу.

— А... внешность... тоже он выдумал?

— Да нет... есть прототип.

— Прототип, значит... — это Матеуш произнес задумчиво и, хлебнув из бутылки повторил с новой, весьма мягкой интонацией. — Про-то-тип... и сильно ты...

— Точь-в-точь.

— Хорошо, если так, — он уставился на грудь, прикрытую шалью, и старший актер поспешил добавить:

— У нее хвоста нет.

— Ничего. Отсутствие хвоста мы как-нибудь переживем. Главное, чтобы остальное было на месте...

— Остальное на месте.

Это утверждение, кажется, несколько успокоило Матеуша, во всяком случае бутылку он спрятал в тайник.

— Слушай... не обижайся только, но ты порой такая дура...

— Так и она не особого ума, — обижаться ненаследный князь и не думал. В настоящий момент он судорожно прикидывал, во что выльется нынешняя история, не столько с покушением, сколько с раскрытием истинной своей личины.

— Ну и ладно, — коньяк привел наследника престола в замечательное расположение духа. — Может, оно и к лучшему... мозги в женщине — не самое важное...

Продолжить он не успел. Неприметная дверца, сокрытая ко всему гардинами, распахнулась, и в кабинет вошла королевская чета.

— Видишь, дорогой, — сказала Ее Величество, принимаясь. — Он еще и пьет!

— Дорогая, — в отличие от супруги, король был настроен куда более благодушно. — Он пьет в последние лет десять... но меру знает.

Матеуш кивнул, подтверждая отцовские слова: меру он и вправду знал.

— Это для успокоения нервов было, — добавил он и на всякий случай изобразил раскаяние.

Королеве очень нравилось кого-нибудь прощать. Прощая, она чувствовала себя великодушной и милосердной...

— В таком случае, дорогой, — голос ее потеплел. — Быть может, мне будет позволено узнать... правду?

— Правду... — Матеуш слегка замялся. — Матушка, вы только не нервничайте...

Фраза сия возымела обратный эффект. И в руках Ее Величество немедля возникли флакон с нюхательной солью и беленький кружевной платочек.

— Правда в том... — за матушкины переживания Матеушу было стыдно.

Немного.

И еще он осознал, что совершенно не представляет, как внятно изложить обстоятельства, приведшие его в нынешний вид и в отцовский кабинет.

— Правда в том... — он оглянулся на старшего актора, который стоял, опустив очи долу. И в матушкину шаль закутался так, что только макушка и выглядывала. — Вот пусть он расскажет. А лучше покажет...

И дотянувшись, одарил конкурсантку королевским пинком, не столько чувствительным, сколько, должно быть, обидным.

— Матеуш! — в ужасе воскликнула Ее Величество, едва не выронив платочек и соли. — Что ты себе позволяешь?!

— Я? Это что мой возлюбленный дядя себе позволяет!

Вот виноватым себя Матеуш не чувствовал.

Скорее обиженным.

Он вдруг явно осознал, что все это время пытался ухаживать за...

...цветы дарил.

...и мотыльков, которых получил от одного приятеля, весьма надеявшегося сим незаконным, но очаровательным подарком снискать королевское расположение.

...нет, сам бы Матеуш не стал использовать подобные методы... но вот чуяло его сердце, что панночка Белопольска к нему равнодушна оставалась, несмотря на все ее уверения...

...и ладно бы, от дворцовых красавиц, избалованных вниманием, Матеуш равнодушие стерпел бы, но от провинциальной панночки, которая впервые за пределы родного поместья выехала...

...и вообще, Матеуш не виноват... мотыльки ведь не сработали.

К счастью.

Он только представил себе это... нечто, чешуйчатое и крылатое, причем с крылами плотными, поросшими короткой жесткой шерстью. В общем, нечто весьма, мягко говоря, странное и симпатий сердечных не вызывающее, но объятые наведенною любовью...

Представил и вздрогнул, вознеся Вотану милосердному мысленную благодарность: бабочки оказались некондиционными. Верно, срок заклатья выходил, вот и подарили...

...и хорошо.

— Матеуш, — холодный маменькин голос выдернул из размышлений, в которых Матеуш объяснялся уже не с родителями, но старшим актором Познаньского воеводства, обезумевшим от страсти. — Ты...

— Превращайся, — рывкнул Матеуш и на всякий случай за кресло отступил, чтобы к двери

поближе.

Нет, он вовсе не был расистом.

Его оборотни в клан приняли, почетным членом, с правом носит клетчатый плед и гольфы... и гномы одарили Серебряным Кайлом, а к эльфам он и вовсе испытывал чувство, которое с некоторою натяжкой можно было бы назвать благоговением.

Но это оборотни, гномы и эльфы, а не...

Девушка вздохнула и, повесив шаль на спинку кресла, обернулась...

— Вот оно как, — сдавленно произнес Его Величество, тоже к двери отступая.

Королева осталась на месте.

Только флакончик все же выронила, и старший актер его поднял, протянул с любезным поклоном... следовало сказать, что без крыльев и чешуи выглядел он обычным человеком, разве что хвостатым.

— Прошу прощения, Ваше Величество, за мой внешний вид, — он говорил, не спуская с королевы взгляда, под которым Ее Величество вдруг зарозовелась. — Признаться, я не рассчитывал на подобную встречу...

— И мы тоже, — мрачно произнес король.

Нет, на романы супруги он смотрел сквозь пальцы, понимая, что женщина она не старая, чувственная и долг перед государством исполнившая. Но по молчаливому соглашению, запретным страстям Каролина предавалась вне дворцовых стен, и до сего дня не позволяла себе столь откровенного проявления эмоций.

Впрочем, сумеет король заглянуть в мысли супруги, он, верно, успокоился бы. Сердце Ее Величества давно уже было отдано князю Вяземскому, пусть не особо молодому и не отличавшемуся красотой, однако же сумевшему увидеть в ней женщину и эту женщину оценить. Себастьян же вызывал у Каролины смешанные чувства. С одной стороны, он был, несомненно, хорош собой и притягателен, и древняя кровь Каролины откликалась на почти животную эту притягательность, с другой...

Ее Величество вспомнили вдруг те статьи из «Охальника».

И снимки.

И собственное, как ныне казалось, чересчур благожелательное отношение к людям... подобного толка. Нет, флакончик она приняла, мысленно кляня себя, что не поддержала инициативу супруга, ту, которая с плахой... или на худой конец, с ссылкой...

— Матеуш, — выдохнула она с упреком. — Я понимаю, что тебе скучно во дворце... но не до такой же степени!

Подумалось, что вариант с изнасилованием, еще недавно представлявшийся ей ужасным и губительным для Матеушевой репутации, не столь и плох... нет, конечно, времена ныне вольные, премного демократичные, но... не поймут.

Узнай кто...

Догадайся...

Слухи и...

— Матушка! Вы, кажется, про меня плохо подумали, — Матеуш вновь покраснел, на сей раз неравномерно, щеки его обрели особый пурпурный оттенок, весьма, надо полагать, сочетавшийся по цвету с королевскою мантией, губы и лоб сделались белы. А на носу появилась россыпь серых пятнышек.

— Конечно, нет, дорогой! — с притворной бодростью воскликнула королева. — Я всегда думаю о тебе только хорошо!

— А сейчас — плохо!

— Тихо, — Его Величеству не понадобилось повышать голос, чтобы в кабинете наступила гробовая тишина.

Матеуш подумал, что после нынешней истории его, вполне вероятно, все же отправят к волкодлакам политические связи налаживать...

Каролина мысленно набросала проект, каковой, пусть несколько и отступал от еуропейских тенденций ко всеобщему равенству и толерантности, но соответствовал ее собственным воззрениям, в последние четверть часа претерпевшим довольно-таки резкие перемены...

Себастьян потрогал шею, пытаясь прикинуть, что ему грозит за попытку соращения наследника престола... он очень сомневался, что Его Величество станут вникать в детали, разбираясь, кто и кого совращал...

— Рассказывай, — велел король, который просто получал удовольствие. Все же дворцовой жизни с интригами ее, постоянными, но весьма однообразными, не хватало событий по-настоящему ярких.

И ненаследный князь, поддерживая рукой сползающее платье, заговорил...

Тот, который жил в Богуславе, точнее уже стал самой Богуславой с молчаливого ее согласия, снова злился. И более не давал себе труда скрывать эту злость. Он выплескивал ее на Богуславу горстями, и она кричала... правда, криков не слышали.

А он смеялся.

Ее боль его успокаивала. Он пил ее, и когда выпивал до доньшка, позволял Богуславе минуту отдыха. Наверное, он мог бы вовсе убить ее, наверное, он даже хотел убить ее, но ему не позволяли.

Пока.

А что будет потом?

Ничего.

Пустота.

И выведенное изнутри тело, будто яблоко червяком. Она не хотела, чтобы так... она не ведала,

что творит... и наверное, он мог бы и дальше держать ее в неведении, но он отчаянно нуждался в ее страхе.

И Богуслава послушно боялась.

— Прекрати, — сказал кто-то...

...сказала...

Богуслава точно помнит, что это женщина... подруга Агнешки...

...и Агнешка, выходит, нашла-таки способ от Богуславы избавиться...

...сама виновата. Так скажут после, когда узнают, кем Богуслава стала. И от осознания справедливости этих слов, а еще собственной беспомощности, она плакала.

Тихонечко.

— Если ты ее сожрешь, тебя увидят, — продолжала увещевать та, которой тварь боялась.

Именно страх и осадил ее.

— Правильно, девочка, — теперь она глядела в глаза Богуславы, сразу из всех зеркал, за которыми прятались сонмы проклятых душ. — Именно страх всех и держит... не переживай. Осталось уже недолго. Скоро ты получишь свободу...

От ее смеха зеркала покрылись мельчайшими трещинами. И души забеспокоились. Они, бесплотные, бились о невидимую преграду, расшибая туманные крылья...

— Скоро...

— Что ты сказала? — Ядзита села рядом и взяла Богуславу за руки. Это прикосновение опалило. И тварь, которая недавно успокоилась, вновь ожила.

— Отпусти!

— Нет, — Ядзита улыбалась. — Давай с тобой посидим... поговорим... о вышивке? Тебе нравится вышивать? Нет? Я вот раньше тоже не любила... а потом как-то... когда заняться нечем.

Тварь шипела.

Она видела выпуклые прозрачные какие-то глаза Ядзиты, чуяла запах ее, сладкий аромат человеческого тела, тепло, от него исходившее, такое близкое, манящее.

И это тепло сводило тварь с ума.

Ей хотелось добраться.

Забрать.

Впитаться в неестественно белые удивительной мягкости руки, и глотать горячую сладкую кровь... желание твари было омерзительно.

И притягательно.

И сама Богуслава уже сглатывала слюну, не умея устоять перед чужим, но таким близким и понятным желанием.

— Некоторым вот бисер больше нравится, — Ядзита заставила Богуславу раскрыть ладони, и та удивилась тому, что на нежной коже отпечатались следы от ногтей.

А Ядзита словно и не увидела. Касалась рук нежно, осторожно.

— И конечно, я видела бисерные вышивки, красота невероятная... а еще лентами можно... у меня матушка великолепно лентами вышивала, дома еще остались, наверное... я же все больше крестиком. А здесь главное — приличную схему иметь... без схемы — сущая ерунда получается.

Тварь слушала.

Очарованная запахом, близостью жертвы, глазами ее, в которых отражалась она... и Богуслава видела это отражение.

Тело-шар и многочисленные членистые конечности, поросшие редкими волосками. Волоски шевелились, и Богуслава знала, что ими тварь видит.

Слышит.

Чует.

— Еще, конечно, важно, чтобы канва приличная была... и нитки. Ты не представляешь, до чего сложно достать хорошие нитки! — Ядзита не моргала.

А пальцы шевелились, сплетая шелковую сеть...

...и наверное, будь тварь чуть поглупей, все бы получилось.

В последнее мгновение, когда сеть была готова, тварь отпрянула, вытолкнув перед собой Богуславу. И шелковое плетение соскользнуло с волос.

— Что за гадость? — Богуслава отбросила его.

Попыталось.

Сеть липла к пальцам и их же опаляла.

— Убери! — взвизгнула Богуслава.

Ядзита молча сняла нити и спрятала в широкий рукав.

— Тебе нужна помощь, — она сказала это, глядя мимо Богуславы. — Попроси... пока еще от тебя хоть что-то осталось.

Тварь рычала.

И мелко судорожно вздрагивала. Пожалуй, она боялась?

Ядзиты?

— Ненормальная! — страх твари передался Богуславе. И желание ударить, по губам и чтобы до крови.

— Мы все здесь в какой-то мере ненормальны, — весьма спокойно произнесла Ядзита, отступая к дверям. — Но тебе еще можно помочь. Если, конечно, ты сама этого хочешь.

Хочет.

Наверное.

Записку Лизаньке передали с букетом роз.

Розы были белыми, правда, в количестве всего-то дюжины, зато букет был украшен веточками аспарагуса и лентами.

Красиво.

И письмо в белом конверте, сбрызнутом туалетной водой, крепкою, хорошей. Лизанька письмо вертела, нюхала, любовалась... нет, открыть, конечно, открыла, но не сразу.

Перечитала трижды.

До чего ласковый он!

И слова-то какие находит! Приятно чувствовать себя отрадой души и единственной надеждой на личное счастье. И красота ее глаза застит, покоя лишает, сна...

Лизанька вздохнула и, послание к груди прижав, испустила вздох, каковой самой Лизаньке показался томным. Нет, не нужны ей короли и королевичи. А вот любезный Себастьянушка, князь ненаследный... пока ненаследный, но Лизанька законы знает, даром, что воеводина дочь, потому и представляет себе хорошо, что такое апелляция и протест. Конечно, Себастьян сам по себе не согласный протестовать, но ежели для будущих детей... нет, о детях она пока не заговаривала, справедливо полагая, что все в жизни должно быть по порядку.

Сначала любовь, потом свадьба и вояж, о котором она только-только думать начала, примеряясь, куда бы хотела поехать, ну и дальше уже, по возвращении на родину, как водится, дети... двое.

Или трое?

Лизанька пока не решила.

Она села было перечитывать письмо в который уж раз, когда горничная заявила, что, дескать, к Лизаньке с визитом явились... визитеров Лизанька не ждала, а увидев папеньку, который с видом мрачным насупленным расхаживал по дорожке перед Цветочным павильоном, вовсе не обрадовалась.

— Здравствуй, — сказала Лизанька и щечку для поцелуя подставила.

Сама же испытала... нет, пожалуй, не стыд, скорее уж смущение, поскольку выглядел папенька обыкновенно. Немолодой, обрюзгший и лысый и одет просто. Костюм из хорошего сукна, но

куплен в лавке готовой одежды, тогда как людям высокого звания надлежит собственным портным обзавестись. И рубашки брать не в Познаньском универсальном магазине по полтора злотня за дюжину, а у белошвеек заказывать... запонки вот хорошие, дорогие, с аметистами. Так и понятно, Себастьяном дареные.

— И тебе доброго дня, — папенька, против ожидания не стал в щеку целовать.

А хмурый какой...

Небось, донесла хельмовка смуглявая... и чего наговорила?

А чего бы ни наговорила, Лизанька все отрицать станет. И вообще, эта папенькина акторка сама всяческий стыд потеряла! Небось, собственное-то счастье упускать не собирается, хвост драный перед королевичем распускает...

— Ах, папенька! — Лизанька заулыбалась, делая вид, что безмерно счастлива видеть родителя. — Как я по тебе соскучилась.

— Неужели? — Евстафий Елисеевич вздохнул и, вытащив платок, отер лысину.

Жарко.

И в парадно-выходном костюме, выбранном супругой за исключительное качество и колер — темно-синий, в узкую лиловую полоску — он прел. Пиджак давил в подмышках, и на животе натягивался так, что при каждом движении ткань, та самая, исключительного качества, пусть и по сниженной цене, потрескивала. Евстафий Елисеевич в цивильном платье чувствовал себя крайне неудобно.

А может, не в платье дело, но в самом месте этом?

Как-никак королевская резиденция...

...и супруга отчаянно желала попасть сюда, дабы с дочерью свидеться. Евстафий Елисеевич обещался — свидятся, как иначе, но сначала он сам с Лизанькою поговорит.

Вот только с чего беседу начать, воевода не знал.

И шел по дорожке, задыхаясь от жары и тесноты.

Оглянувшись, убедившись, что никого-то нет поблизости, он расстегнул круглые костяные пуговицы и, наконец, вздохнул с немалым облегчением. Жилета по летнему времени супруга разрешила не надевать, и уже за это Евстафий Елисеевич был ей благодарен.

— Рассказывай, дорогая, — сказал он дочери, которая щебетала что-то про то, как ей здесь нравится. Королевский парк и вправду был хорош.

Цвели розы. И маргаритки цвели. И гледичия опустила ветви под тяжестью лиловых гроздей. И все-то цвело, пахло, радовало глаз. Пчелы гудели. И в такой красоте собственные мысли Евстафия Елисеевича путались, делались тягучими, неудобными. Сразу появлялись сомнения, что, может, вовсе и не прав он, что Лизанькина судьба и вправду жить среди такой красоты...

Но от мыслей Евстафий Елисеевич отмахнулся. Судьба судьбой, а дело делом.

— Так я рассказываю, папенька! — Лизанька взмахнула ручкой, отгоняя назойливую пчелу. —

Давече мы ходили в зверинец... и со снимками нашими открытки отпечатают, продавать будут... а третьего дня было дефиле в платьях от модного дома...

...и Лизанька мечтала, чтобы ей свадебное досталось, но его, конечно, Мазене отдали, пусть бы Мазена вовсе и нехороша собой была. Зато из Радомилов.

Вот и побоялись оскорбить древний род.

А может, напротив, желали заручиться поддержкою его?

Лизанька не знала, но обиделась, правда и собственный ее наряд, из пурпурной кисеи и золотого газу, был хорош. К нему полагались шелковые перчатки, но не длинные, каковые ныне в моде, а напротив, коротенькие, едва-едва косточку прикрывавшие. И голые руки ее поначалу смущали, но...

— Не о том рассказываешь, — папеньку историей о перчатках было не увлечь.

Он вовсе не понимал, какая разница: длинные, короткие... или вот еще с обрезанными пальчиками, которые примеряла Ядзита...

— А о чем? — Лизанька потупилась. — Еще мы вот ходили в сиротский приют...

...не простой, конечно, а тот, которому Его Величество покровительствуют. И сироты устроили в честь благотельницы концерт...

...или вот на открытии нового корпуса Гданьской Королевской академии присутствовать пришлось... прескучнейшее занятие, но Лизанька с достоинством выстояла два часа под палящим солнцем, слушая речи ректора, мэра и трех министров...

— О любви своей рассказывай, — велел папенька, увлекая на боковую дорожку, каковая вела к зеленому лабиринту. Лизанька надеялась, что в лабиринт ее не потянут, потому как не имела ни малейшего настроения для этакой прогулки.

В лабиринте и заблудиться недолго.

К обеду опоздать.

А после обеда должен был состояться очередной пикник с королевскою семьею. И свидание... нет, Лизанька предпочла бы встретиться с милым наедине, чтобы рассказать ему о своей любви. Она и речь-то написала... в прошлом году... с той поры не единожды речь редактировала и заучила наизусть, но так даже лучше, не будет ни краснеть, ни заикаться...

— Донесли, да? — Лизанька насупилась и ресницы ее задрожали, угрожая слезами. Однако ныне папенька остался к этакой демонстрации равнодушен.

— Доложили, — поправил он. — По моей просьбе.

— Ты... — Лизанька не знала, начинать ли ей плакать или же еще погодить. — Ты... ты поставил эту... особу за мной следить?

— Приглядывать.

Смущенным, что сия затея открылась, Евстафий Елисеевич не выглядел.

— Она... она клеветает!

— Да? — нынешний взгляд папеньки был Лизаньке нов.

Холодный. И раздражение в нем видится престранное... и еще нечто, отчего сердце то сжимается, то колотится с безумною силой.

Этак Евстафий Елисеевич на преступников смотрел.

А тут дочь родная... любимая... хоть и разбалованная в конец, но все одно любимая... и познаньский воевода отвернулся, сказав:

— То есть, моя... акторка... ошиблась?

— Да! — Лизанька выдохнула с немалым облегчением, каковое тотчас сменилось праведным гневом. Это как понимать папенькино поведение? Он с родной дочерью разговаривает так, будто она в чем-то виновата?!

В чем?

В том, что всеми своими слабыми девичьими силами пытается будущее устроить? Думает не только о себе, но и о детях, то бишь, внуках Евстафия Елисеевича, которых еще нет, но ведь появятся. И пусть себе появятся князьями, а не писарчуковыми правнуками...

Конечно, ничего этакое Лизанька не сказала, но молчание ее было весьма выразительно. Вот только Евстафий Елисеевич от своего отступаться был не намерен. И вновь мазнув по лысине рукою — Лизанька с неудовольствием подумала, что сия лысина есть явное свидетельство неблагородного его происхождения и по-за счастья дочери мог бы Евстафий Елисеевич расстаться, прикрыть ее паричком — сказал:

— То бишь, нету меж тобою и неким Грелем Стесткевичем ничего?

Лизанька задумалась.

Ответить отрицательно? Так не поверит же... тем паче, что чернокудрая стерва, которую Лизанька уже откровенно ненавидела за этакое доносительство, наверняка понарасказывала всякого. Поведать о любви? А не выйдет ли так, что папенька, используя положение служебное, велит Себастьяну позабыть о личном в угоду государственным интересам?

Он ведь ответственный, ее Себастьянушка...

А ну как и вправду забудет? Нет, не насовсем, но на месяц-другой... третий... там, глядишь, саму Лизаньку в дедово имение сошлют под благовидным предлогом... и сколько ей свадьбы ждать?

— Молчишь?

— Не знаю, что сказать, — честно ответила Лизанька, потупившись. — Я... мы... он такой...

— Лизанька, — устало произнес Евстафий Елисеевич, — ежели ты думаешь, что Грель Стесткевич — это Себастьян, то ошибаешься.

Ах вот как?

Папенька решил, что отговаривать ее бесполезно, верно, понял, что Лизанька крайне серьезно настроена выйти замуж, и потому решил пойти иным путем.

— Грель Стесткевич, тридцати трех лет отроду, третий сын купца Зигмунда Стесткевича, некогда весьма состоятельного, но неудачно вложившего капиталы. Ныне работает на фирму «Модесть»... унитазами торгует...

Лизанька насупилась, строго настрого велел себе сдерживаться.

— И если тебя это устраивает, то, конечно, препятствовать я не стану, — Евстафий Елисеевич отер платком пальцы. — Не скажу, что сей молодой человек мне нравится, однако... дело твое.

Опорочить решил? Обмануть родную дочь, представив все так, чтобы она бросила любимого? Этакого коварства от родного отца Лизанька никак не ожидала.

— И в общем-то ничего плохого за твоим женихом не значит, — спокойно продолжал Евстафий Елисеевич. — Разве что излишняя любовь к слабому полу... ах да, в прошлом годе имела место нехорошая история. Продавщица магазина, которым Грель твой заведовал, повесилась. Вроде как от несчастной любви... и незапланированной беременности. Небось, полагала, дурочка, что любовник этакому подарку обрадуется и мигом в храм потащит...

Лизанька прикусила губу.

Не верит она! И не поверит! Сочинил все познаньский воевода. Или, быть может, где-то там оный Грель Стесткевич и обретается, но к ее, Лизаньке, возлюбленному он отношения не имеет. И нечего папеньке тут распинаться, можно подумать, что Лизанька не знает, как ненаследный князь работает.

Ему прототип нужен.

Вот и послужил этот самый Грель прототипом...

— Я все понимаю, папенька, — сказала Лизанька со вздохом: желает папенька игры играть? Так пожалуйста, небось, она не глупее некоторых... — В жизни всякое случается. И я верю, что он не виноват!

— Так уж и веришь?

Дочь свою воевода познаньский изучил неплохо: не отступится.

Не поверила она.

А доказывать что-то... правду открыть, рискуя сорвать операцию?

Нехорошо... неправильно, не говоря уже о том, что опасно. Не справится с собою Лизанька, а погибнет Себастьян...

— Верю, — с пылом воскликнула упрямая дочь, обеими руками вцепившись в папенькин рукав. — Он же ее не убивал, верно? И вообще, быть может, та девица от другого кого понесла... и самоубилась, что ее отвергли.

Нет, эта история, конечно, Лизаньку вовсе даже не интересовала, поскольку искренне полагала она, что все самоубийцы, ладно, не все, но в большинстве своем сами в собственных бедах виноваты. И ежели разобраться, то и эта, безымянная краковельская продавщица

позволила себя соблазнить...

Осмотрительней надо было быть.

— Конечно, — Евстафий Елисеевич погладил дочь по руке.

В конечном итоге, сын купца — не такой уж дурной вариант, тем паче, что образование Грель Стесткевич получил отменное, и практиковался в аглицком торговом доме, и в колониях побывал, куда лишь бы кого не посылают. И верно, ему-то в Лизаньке интересны отнюдь не ясные ее очи, но приданое, каковое в целом было неплохим... Что до истории той нехорошей, то имелась у Евстафия Елисеевича мыслишка о том, как до правды-то добраться...

— Хорошо, дорогая, будь по-твоему, — Евстафий Елисеевич присел на лавочку, понимая, что притомился. Жарок был выходной костюм, а может сам он, с язвою своею, раздобыл на кабинетной-то работе... некогда, небось, что в жару, что в холод... хорошего актора, как волка, ноги кормят. — Ежели ты его и вправду полюбила...

— Полюбила, — отозвалась Лизанька.

...папенька в шерстяном не по погоде костюме содрел. Лысина его сияла на солнышке, лицо сделалось красно, некрасиво. И неудобно было, что он, познаньский воевода, ныне похож на купца средней руки...

— Тогда сделаем так. Завершится конкурс. Я поговорю с Аврелием Яковлевичем, чай, не откажет помочь...

— В чем?

Чего-чего, а помощи этого отвратительного человека, который Себастьяна на все королевство опорочил, Лизанька не желала.

— Вызовет ту девицу, поговорит... и ежели нету за твоим... женихом...

Лизанька кивнула, подтверждая, что Грель — именно жених и никак иначе.

— Так вот, ежели нету за ним криминалу, то я препятствовать браку не стану...

...Евстафий Елисеевич здраво предположил, что по окончании операции об этом самом браке можно будет забыть, потому как купеческий сын — слишком мелко при Лизанькиных-то амбициях. И мысль эта весьма познаньского воеводу успокоила. Все ж дочь свою он любил и желал ей исключительно добра. Лизанька же нахмурилась, заподозрив неладное.

Подождать?

Нет, до этой беседы она собиралась ждать, но... вдруг папенька задумал что-то? И Аврелий Яковлевич опять же... позовет... обратится... но за тем ли, чтобы поднять из могилы давным-давно помершую и никому неизвестную девицу? Или же за отворотным зельем?

С них станется Лизанькину любовь порушить.

Добра они хотят... будто бы сама Лизанька себе зла желает. За между прочим, ей лучше знать, что для нее добром является. Но спорить с папенькой она не стала.

— Конечно, — улыбнулась очаровательно и поцеловала в щеку. — Так мы и сделаем!

Вернувшись в комнату, Лизанька села писать письмо.

Ждать? О нет! Собственным счастьем рисковать она не собирается. Если папенька думает, что он самый хитрый, то... Лизанька сбежит. Не одна, естественно, а с любимым... в ближайшем храме их обвенчают, и тогда уже папенька ничего-то сделать не сможет.

...а свадьба у нее все одно будет.

Позже.

Глава 10

В которой все-таки наступает полнолуние, а также происходят многие иные важные события

У кого в сердце нет места для страха — у того в голове всегда найдется место для пули...

Вывод, сделанный весьма опасливым лейтенантом, которому удалось пережить войну, а тако же женитьбу на полковничьей дочери вопреки желанию ее матери.

Аврелий Яковлевич объявился накануне полнолуния и был встречен крайне неприязненным взглядом. Ненаследный князь к означенному месту явился заблаговременно и ныне сидел на беломраморной чаше фонтана, кутаясь в вязаную шаль с бахромой и нахохлившись, точно сыч.

— Я все знаю! — заявил он и указующим перстом ткнул ведьмаку в грудь.

— Это хорошо, если все, это полезно, — Аврелий Яковлевич перст отвел.

— И не мечтайте, что я закрою глаза на этакое... этакое... — Себастьян руками взмахнул и к груди прижал, исторгнув тяжкий низкий стон.

— Тебе плохо, дорогой мой? — осторожно осведомился Аврелий Яковлевич и попытался князю лоб пощупать, но прикоснуться к себе старший актер не позволил. Спрыгнув со своего насеста, он с немалым проворством отбежал.

— Плохо! Ужасно!

— Что болит?

— Сердце болит, — ненаследный князь обе руки к груди прижал. — Просто на части рвется!

Аврелий Яковлевич мысленно прикинул яды, каковые оказывали бы подобное действие. И список получился внушительным, вот только что из этого списка на метаморфа подействовало бы, он не знал.

Ко всему коварная отравя явно не только сердце затронула, но и разум.

— Себастьянушка, — ведьмак приближался осторожно, надеясь, что князь подпустит его шага на три, а лучше на два... а там, глядишь, петлица сонного заклатья на шею упадет. — Свет очей моих... давай поговорим?

— Не о чем мне с вами, Аврелий Яковлевич, разговаривать! — князь за ведьмаком наблюдал настороженно.

Бледненький какой.

Измученный.

Надобно будет сказать Евстафию Елисеевичу, чтоб после этого дела отправил старшего актора в отпуск... недельки две на водах... а лучше три... или вовсе месяц...

— Так уж и не о чем? — он говорил ласково, памятуя, что порой безумцы, хоть и не разумеют смысла сказанного, но к интонациям весьма чувствительны.

— Не о чем! Вы мне изменили!

От такого обвинения Аврелий Яковлевич несколько растерялся, а потому и вопрос задал преглупый:

— Когда?

— Тогда! — из-под широких крыльев шали появилась сложенная вчетверо газетенка, которую ненаследный князь с видом оскорбленным, негодующим, швырнул ведьмаку под ноги. — Не отрицайте! Я видел вас... и его...

— Себастьянушка... — Аврелий Яковлевич заподозрил, что его дурят. — В своем ли ты уме?

— А вы-то сами как думаете? — Себастьян скрестил руки на груди, и шаль, подаренная Ее Величеством, которая сей дар после отбирать постеснялась, обрисовала широкие плечи князя. — Стоило мне отвлечься ненадолго, как вы уже другого нашли? Ветреник! И не совестно ли вам?

— Тьфу на тебя!

Аврелий Яковлевич и вправду сплюнул, но под ноги.

— Я уж подумал, что...

— Что? Вы мне, за между прочим, сердце разбили, Аврелий Яковлевич! Я решил, что у нас с вами все серьезно...

— Скажи еще, что свадьбу планировал...

— А почему б и нет?

— Платье выбрал?

— Выбрал! Белое! Со шлейфом в двадцать локтей и кружавчиками, — всхлипнув, Себастьян смахнул злые слезы. — А вы... вы... вы, можно сказать, мою мечту порушили! Светлую! Девичью...

— О свадьбе? — Аврелий Яковлевич приближался медленно, осторожно, больше всего опасаясь спугнуть жертву.

— А то... представьте только... я в белом платье... с кружавчиками... в облаке фаты... и букет из розовых тюльпанов в руках...

— Может, лучше розы?

— Тюльпаны! — князь капризно топнул ножкой. — Моя свадьба! И мне лучше знать, из чего букет!

— Конечно, дорогой... значит, платье и тюльпаны...

— А вам костюм из зеленого сукна... в полосочку... — Себастьян закатил очи, верно, представляя, до чего хорош будет ведьмак в оном костюме. — И шейный платок тоже зелененький, но болотного оттенку... на пороге храма нас встречают девочки в голубеньких платьицах и сыплют розовые лепестки...

Себастьян скосил черный глаз и убедившись, что Аврелий Яковлевич слушает рассказ превнимательно, продолжил.

— А потом ресторация... в «Короне» гуляли бы... и нас поздравляют, подарки дарят... всенепременно сервиз с позолотою... а еще льняные простыни... и в полночь мы отбываем в номера для новобрачных.

Аврелий Яковлевич только кивнул, крепко подозревая, что до скончания своей жизни сохранит нелюбовь к номерам для новобрачных.

— А там... там... — ненаследный князь едва не задохнулся от избытка эмоций. — Там я бы доверчиво прильнул к вашей широкой груди...

...в последний миг он отпрянул, но Аврелий Яковлевич тоже умел при надобности передвигаться быстро. И поймав старшего актора за хвост, дернул.

— Ай! Аккуратней с хвостом! Он, за между прочим, нежный! — возмутился Себастьян, на сей раз непритворно.

Ведмак не ответил, но хвост отпустил, прежде взявши ненаследного князя за руку. И на себя потянул. Себастьян тянуться не желал и босыми пятками в траву уперся.

— Что это вы делаете, Аврелий Яковлевич? — с подозрением поинтересовался он.

— Как что? Позволяю тебе... как это... прильнуть к моей могучей груди...

— Широкой.

— Ладно, пусть будет широкой. Вот она, можешь лнуть, сколько захочешь...

Себастьян, однако, щедрым предложением пользоваться не спешил. Напротив, свободной рукой он в эту самую грудь уперся.

— Я... мужчина порядочный... — он ерзал, пытаясь высвободиться, что, однако, не получалось. — Я к чужим грудям лнуть могу только после свадьбы!

— Надо же, какие перемены... скажу Евстафию Елисеевичу, он премного обрадуется, а то, знаешь, ему твои похождения сильно на нервы действовали.

— Ревновал? — с затаенной надеждой поинтересовался Себастьян.

— Боялся, что голову твою дурную открутят. Но не бойся, оженят нас быстро. Я у Ее Величества разрешения попрошу, чай, не откажет... так что...

Себастьян пыхтел.

— Не сопротивляйся, глупенький, — Аврелий Яковлевич свободно рукой погладил князя по голове. — Я некогда в одиночку на рулевом колесе стоял... да не штилем, а в самую бурю... и не обижайся... Гавел для меня ничего-то не значит...

— Все вы так говорите...

— Я его сегодня же выставлю... за ради нашу с тобой большой любви...

Ненаследный князь уперся в грудь лбом и замычал.

— Я ж не знал, — с неизъяснимой нежностью произнес ведьмак, — что ты ко мне всерьез... сам подумай, кто я? Всего-то старый ведьмак... четвертую сотню лет разменял... и происхожденья самого простого... и из себя-то обыкновенный. А ты — княжских кровей... молодой... красивый.

Аврелий Яковлевич усилил нажим.

— По тебе вон бабы сохнут... и не только бабы... чем мне оставалось разбитое сердце утешать? Только...

Себастьян слабо всхлипнул.

— Ничего... теперь-то мы будем вместе. Обещаю!

И руку разжал, правда, упасть Себастьяну не позволил, схватил за шиворот, приподнял.

— М-может, не надо вместе? — слабо поинтересовался ненаследный князь.

— Как не надо? А платье?

— Обойдусь.

— Белое и со шлейфом в двадцать локтей... — Аврелий Яковлевич погладил князя по щеке. — И девочки с лепестками роз... и ночь наша первая брачная. Или грудь моя разонравилась? Нехороша уже стала?

— Хороша, — сдавленным голосом произнес Себастьян. — Чудо до чего хорошая у вас грудь...

И похлопал еще.

— Но я... как бы сейчас вдруг понял... мне бы побольше... помягче... и без бороды...

— Ради тебя, мой драгоценный, сбрую!

— Не надо! — вот теперь Себастьян испугался по-настоящему, шутка как-то перестала быть шуткой. Бороду свою ведьмак отращивал долго, холил, лелеял и смазывал розовым маслом, тем самым, высочайшего качества из лавки купца Лаврентия.

Отчего-то вспомнились вдруг слухи, которые ходили о морских порядках, и что женщины Аврелий Яковлевич недолюбливает, стережется... и что о романах его, ежели и были таковые, никто-то не знал...

— Отчего? Мне для тебя бороды не жаль!

— Н-но... в-ваша борода, Аврелий Яковлевич, государственное достояние и...

— Дурень, — ласково сказал ведьмак, подзатыльником наградивши. — Впредь думай, с кем шутики шутишь. А то ведь не смешно выйти можно.

— Вы... — Себастьян с немалым облегчением выдохнул. — Вы... Аврелий Яковлевич... весельчак, однако.

— Ты не представляешь, какой.

— И представлять не хочу.

— От и правильно, Себастьянушка. У ведьмаков чувство юмора имеется, конечно, да вот беда, уж больно оно специфическое. Нормальные-то люди его не разумеют. Вот и выходит... непонимание. Есть будешь?

— Спрашиваете, — Себастьян устроился на траве. — Я в последние дни только и думаю о том, как бы пожрать, и как бы поспать.

— Ничего, — ведьмак вытащил из сумки промасленный сверток. — Вот закончится дело, и поедешь в отпуск, я Евстафия Елисеевича самолично попрошу, чтоб тебе роздыху дал. А то мало ли... вдруг и вправду разумом тронешься...

Себастьян промолчал, отчасти потому, как рот его был занят — в свертке оказался холодный кабаний бок, отчасти потому, что спорить с ведьмаком — занятие изначально неблагоприятное, обреченное на неудачу.

Аврелий же Яковлевич, наблюдая за ненаследным князем, маялся муками совести, которая, несмотря на уверения злопыхателей, у него все ж имелась. И ныне совесть эта нашептывала, что отдых — дело, конечно, хорошее, да только шансов дожить до него у ненаследного князя не так, чтобы много. Нет, не сказать, чтоб вовсе не было, однако же...

И не в одном Себастьяне дело.

Легли карты одна к другой чужим пасьянсом, и поди, попробуй нарушить узор да так, чтоб хозяйка до поры, до времени не прознала. Оттого и придется иных людей использовать да без их на то ведома, пусть и претило подобное Аврелию Яковлевичу. Впрочем, с совестью своей он договорится, небось, не в первый раз. А ныне требовалось заручиться согласием Себастьяна, каковой, как подозревал ведьмак, плану вовсе не обрадуется.

— Дело тут такое... личное, Себастьянушка, — признался Аврелий Яковлевич, сожалея о том, что трубку свою в номере оставил. — Лет этак двести тому угораздило меня жениться.

— Вас?

— А что тебя удивляет? Не одному тебе моя широкая грудь по вкусу пришлась. И бороду она любила... да...

Ненаследный князь благоразумно заткнул себе рот куском кабанины, которую закусывал малосольными огурчиками.

— Сам понимаешь, жена моя тоже не из простых была... колдовка... и силы немалой, хотя, конечно, запретными ритуалами не баловалась. Сперва не баловалась, — очень тихо добавил

ведьмак. — Ох и хороша была... норов — огонь. Чуть что не по ней, так и вспыхивает, а как полыхнет, то... так мирились, что особняк весь ходуном ходил.

Себастьян замер с надкушенным огурцом в руке, верно, представляя, как оно было.

— Счастливо жили... пять лет целых, — Аврелий Яковлевич дернул себя за бороду. — А закончилось все на одном расследовании. Я тогда-то больше королевскими делами занимался, но тут попросили глянуть, уж больно странные были смерти. Семеро девок, происхождения обыкновенного, из семей бедных... да и не в одной бедности беда. Но есть семьи такие, Себастьянушка, где один другого едва ли не ненавидит. И оттого по помершим не станут особо горевать.

— Она? — тихо спросил Себастьян.

— Она. С матушкой своею завязалась. Я-то думал, что она у меня сирота, ан нет, просто тещенька дражайшая давно Хельмовым знаком мечена, вот и поостереглась на глаза-то являться... я ее так и не увидел. Знаешь, волшба, она как запах человека, у всякого — собственный... или как отпечаток души... ауры... по ней многого сказать можно, и не зная о том, кто чаровал. Я же с моею... пять лет... и знал, как никто другой... и она меня знала... и стоило глянуть на тело, как понял все.

Ведьмак замолчал.

Тихая ночь, грозная.

Луна налилась, округлилась, того и гляди в полную силу войдет, а миру до того будто бы и дела нет. Стрекогут кузнечики, цикады поют, не то о любви, не то еще о каких глупостях. Где-то в кустах соловей заливается... хорошо.

— Знаешь, я ведь никому ничего не сказал... домой вернулся, надеялся, что ошибку допустил, думал, вот спрошу, а она объяснит, пусть соврет, я был готов поверить и в ложь. А она врать не стала. Сказала, что ей сила нужна, что моей, которую пила, не хватало. Стареть начала. Ей всего-то пятый десяток пошел, для проявленной колдовки — это не срок, а она где-то там у себя морщинку углядела. Тут еще матушка со своею наукой, подсказала средство... мол, чем больше у колдовки сил, тем...

Аврелий Яковлевич махнул рукой, дескать, что уж теперь.

— И что вы...

— Отпустил ее, Себастьян. Дураком был? Не знаю. Но... не смог. Не стал удерживать. Она-то была уверена, что я ничего ей не сделаю, что игры ее прикрою... выдумаю... в конце концов, что такое пара никому не нужных девиц? Она их честно купила у семей, не говорила, для какой надобности, но купила же. Не смотри на меня так, Себастьянушка, сам понимаю, что не прав был, что должный бы ее полиции передать, а паче того — собственной рукой... но не смог, — он потер глаза руками, и Себастьян вдруг увидел, насколько ведьмак стар.

Он, конечно, знал, что Аврелий Яковлевич не одну сотню лет разменял, но сие знание представлялось ему некой абстракцией. Ныне же прожитые годы вдруг выбрались, расчертили лицо морщинами, обесцветили глаза, сыпанули седины в бороду.

— Осуждаешь? — глухо спросил ведьмак.

— Не знаю, — Себастьян ответил честно, не без оснований подозревая, что ложь Аврелий Яковлевич почует. И тот кивнул головой.

— Я вот себя осуждаю... а она обиделась.

— За что?

— За то, что любил недостаточно, чтобы прикрыть ее шутки... сказала, что если и вправду, как говорил, то помог бы. Самое смешное, Себастьянушка, что я любил бы ее любою, седой, кривой, уродливой. Я же не зеркало, чтоб красоты искать... не поверила. Знаешь, странно было. Мне казалось, я ее изучил распрекрасно, понимал, а оказалось... мы говорили, но не понимали друг друга. Она обвиняла меня... я ее... и главное, что не слышали один одного. Я дал ей сутки, чтобы уйти. Сказал... не важно, главное, что она меня прокляла... но ушла.

— А потом?

— А ничего потом. Проклятье я снял, все ж таки не зазря меня учили. Про нее доложил, правда, сказал, что не сразу понял, а когда понял, то скрылась. Конечно, был руган, ссылкой грозили, значит, за укрывательство, но доказать не сумели. Ее тоже не нашли... не знаю даже, жива ли...

Себастьян сунул погрызенный огурец в рот, запирая ненужный неуместный вопрос. Подумал, что повезло ему премного с Малгожатой, надолго отбившей охоту жениться.

Дурное это дело.

— Хотя чего уж тут, жива. Но ежели встречу, то... или она меня добьет, или я ее, — сию многомудрую мысль, верно, не дававшую Аврелию Яковлевичу покоя, он произнес тоном мрачным, явствовавшим, что решение принято и сколь бы тяжело ни пришлось ведьмаку, от своего он не отступит.

Себастьян сочувственно кивнул и протянул последний огурец.

От сердца оторвал, можно сказать. Сейчас, на сытый желудок, его тянуло в сон, и Себастьян немало отдал бы за возможность улечься, хоть бы прямо тут, на травке. Он представил, как свернулся бы калачиком, прикрывшись королевскою шалью, и лежал бы до утра, и после утра... и суток этак трое-четверо... и желательно, чтоб Аврелий Яковлевич сделал милость, поставил ограждение...

Себастьян зевнул, подозревая, что светлой мечте его о сне крепком, не скоро будет суждено исполниться, если вовсе суждено. А потому вернулся к делам нынешним.

— Это она? — поинтересовался он, почесывая бок.

Зудела шкура.

И норовила проклюнуться сквозь нее черепица чешуи. И ведьмаковский амулет, к которому Себастьян, казалось бы, привык, ныне ощущался под лопаткою остро, таким горячим угольком.

Все ж таки никогда прежде он не менял обличье столь радикально и на срок немалый.

— Не она, — покачал головой Аврелий Яковлевич. — Она у меня молодая, а нынешняя

постарше меня будет. И крепко, полагаю, постарше. Это первое. А второе... свою супругу я бы узнал еще, когда мы криксу брали. Однако кое в чем ты прав. Я б не стал рассказывать, когда б оно к делу отношения не имело. Тогда мне запах знакомый почудился.

Огурец Аврелий Яковлевич не ел, но держал перед собою, уставился на него взглядом суровым, будто бы именно этот, малосольный огурчик, покрытый испариною рассола, и был виновен во всех ведьмаковских горестях.

— Каюсь, смолчал. Знал, что не она, а та история... уж больно давняя...

— И с чего вдруг переменялись?

— А с того, что письмо я тут получил интересное. Сегодня с утреца доставили... хитрое такое письмо.

— Проклятое?

— А то! Еще как проклятое. И скажу тебе, мастер это проклятие выплел... сверху то обыкновенное, на бубонную чуму...

Себастьян икнул, не то от переедания, не то от раскрывшейся вдруг перспективы. Бубонная чума? Обыкновенное проклятье?

— Обыкновенное, Себастьянушка, — Аврелий Яковлевич все ж таки откусил от огурца половину. — Самое обыкновенное... да, для многих наших и оно-то за пределом силы... к счастью, что за пределом, но для мастеров, каковым себя колдовка показала, чума — это так... мелочь... красиво выплетенная, но все ж...

— А если бы сработало?

— Ну... Гданьску бы досталось. Пока карантину поставили, пока целителей подвезли б... колдовская чума быстра, что пожар лесной, но думаю, за кордоны бы не пошла.

Гданьску досталось бы? И он так легко о том говорит?

Себастьян представил себе, как идет по нарядным местным улочкам Морская дева с плетеной корзиной в руках, как ветерок тревожит белые ленты на этой корзине, и красный суконный подол... как бледные босые ноги оставляют на дорожках след, который, впрочем, быстро тает...

И прорастают вдоль обочины блеклые мертвоцветы.

Многие увидят ее.

И еще удивятся этой странной гостье, не успев понять, кто она и откуда явилась, а после ощутят, как тяжелеет тело, принимая наведенное проклятье.

Бубонная ведьмацкая чума?

Читал о ней Себастьян. О том, как чернеет человек, как задыхаться начинает, но живет... долго живет... несколько дней. И что спасти его можно аккурат в первые часы, а далее — только облегчить страдания.

— Успокойся, — жестко произнес Аврелий Яковлевич. — Хотела б она город изничтожить, не игралась бы. Я ж предупреждал, что колдовка эта — такой силы, с которой аккуратно надо

быть.

Предупреждал. Его правда.

Вот только не о чуме...

— На что она еще способна?

— На многое, думаю. Чума — это так... она знала, что меня хватит это проклятье изничтожить. И в него вплела другое, похитрей...

— Опасное?

— А то... но не для города, город ей надобен. И люди надобны. Самое интересное, Себастьянушка, что чем сильнее колдовка, тем хуже ей вдали от людей живется. Силы тянуть неоткуда. Набрать их она способная и сохранить сумеет, да только сколько ни храни, а все одно рано или поздно мало станет. То проклятье она для меня сделала... и под меня... и в медальон мой вплела, который я жене дарил. Эдакие вещи свою силу имеют.

Спрашивать, удалось ли Аврелию Яковлевичу с проклятьем управиться, Себастьян не стал: видно же ж. А вот с медальоном — это интересно...

— И он-то меня на мысль натолкнул. Наша колдовка — не моя жена, сие точно, но вот кое-что знакомое в волшебстве ее имеется, и в силе, которую она плетет, и медальончик, опять же... думаю, тещенька моя пожаловала.

Признание это Аврелий Яковлевич закусил остатком огурца, который жевал долго, с видом самым что ни на есть сосредоточенным.

— Теща, значит... — Себастьян мысленно дал себе зарок, что если и, не приведите Боги, женится, то на сироте. И факт оногo сиротства будет проверять самолично, а то мало ли... живешь, живешь, а потом раз и придет конвертик с бубонною чумой подарком от любящей тещеньки.

— По возрасту сходится... по крови... моя женушка как-то упоминала, что, дескать, не из простых... я-то, грешным делом, сие пропустил. Мне-то особо разницы нету, простая, благородная... я вон сам крестьянского роду и того, Себастьянушка, не стыжусь. Ежели знать хочешь, то мне главное, каков человек из себя, а не чем там его предки славныя.

Позиция эдакая Себастьяну была понятна и в чем-то близка. И обнюхав собственные руки, которые вкусно пахли огуречным рассолом, он произнес:

— Теща значит... ведьмачью тещу брать не приходилось...

Себастьян лизнул большой палец.

А хороший рассол, однако, на смородиновом листе, и вишневые веточки добавляли... надо будет попросить Аврелия Яковлевича, чтоб этакими замечательными огурцами поделился, потом, естественно, когда все закончится...

...ведьмачья теща... мать ее...

Евдокия гладила будущего мужа по спине, и он мурлыкал... Евдокия собиралась было сказать,

что мурлыкающий волкодлак — это как-то неправильно, но говорить не хотелось.

Хотелось, чтобы нынешняя ночь длилась.

И день не наступал.

И уж тем паче ночь следующая, которая грозилась полною луной. И Лихо чувствовал ее приближение, оттого, стоило руку убрать, открывал желтые волчьи глаза, ворчал раздраженно.

— Мне так до утра сидеть? — поинтересовалась Евдокия, с ужасом понимая, что до этого утра не так уж много времени и осталось.

Час?

Два? Или три, а там — серый зыбкий рассвет, разлука, которая недолгая, но ей страшно отпускать своего княжича. Беспокойный стал, переживает и уходить-то не хочет, он бы остался, когда б дозволено это было...

— До утра, — соглашается Лихо. — Всю жизнь...

А спина переменилась.

Человеческая еще, но... кожа стала будто бы тверже, и на ощупь сухая. Под кожей — мышцы валуны ощущаются, твердые, будто и впрямь каменные...

— Всю жизнь сидеть и гладить?

— Ага...

— А работать кто будет?

Лихо перевернулся на спину и, приоткрыв левый глаз, спросил:

— Тебе так хочется работать?

В данный момент времени работать Евдокии не хотелось совершенно. Если подумать, то за все последние дни мысли о работе ее не посещали, что было вовсе удивительно.

— Ева, — Лихо притянул ее к себе и лечь заставил. — Для работы — свое время, а сейчас мы отдыхаем... я вот определенно отдыхаю... хотелось бы, конечно, чтобы и ты...

Лихо был горячим.

Раскаленным просто-таки. И псиной теперь от него пахло крепко, но против ожидания запах этот не был Евдокии неприятен.

— Все хорошо? — Лихо открыл оба глаза.

Не желтые — золотые, а зрачки сделались по-кошачьи узкими и, наверное, это тоже было странно, но среди всех прочих странностей нынешние терялись.

— Это ты мне скажи, все ли хорошо...

Три дня.

И поводок скороспелой луны на его шее, незримый, но существующий. Если Евдокия закроет глаза и коснется шеи... не дался, отстранился и руку перехватил, пальцы целовал, осторожно, точно опасаясь, что и легкое его прикосновение повредит.

— Я говорю, — шепчет. — Все хорошо.

— Сейчас или...

— И сейчас. И потом... завтра все закончится. И мы поженимся... уедем в Краковель, если захочешь...

— Не знаю... наверное.

— Или можем остаться в Познаньске... у нас дом есть...

— У вас?

— Княжеский особняк. Он красивый, думаю, тебе понравится...

Особняк — возможно и понравится, Евдокия представляла себе его так, будто бы видела воочию... впрочем, видела, старые особняки все чем-то похожи друг на друга. И этот не выделится.

Серый камень. Строгие черты.

Три этажа или четыре. Холл огромный с красным ковром и родовыми щитами на стенах. Лестница. Балюстрада. Сонм прислуги, которая, пожалуй, гонору имеет едва ли не больше, чем хозяева. И сами хозяева, вряд ли довольные таким выбором сына.

Богатая невеста?

Хороший вариант? Для улана в отставке и второго сына — удача, а вот для будущего князя Вевельского... вспомнилась вдруг Христина, с которой его едва не поженили... нет, она, наверняка, уже замужем, но... сколько в Познаньске купцов?

А купеческих дочерей на выданье?

И с приданым куда более солидным, не говоря уже о том, что и среди своих, благородных, немало найдется тех, кто пожелает породниться с князьями Вевельскими... а Евдокия...

— Если не понравится особняк, — Лихо умел ее чувствовать и сейчас прижал к себе крепко, точно опасаясь, что Евдокия сбежит, — то купим собственный дом...

Собственный.

Где Евдокия и только она будет хозяйкой... и плевать, если дом этот будет возведен в веке нынешнем, а не позапрошлом, как пристало приличным княжеским особнякам.

— Твои родные... меня не одобряют?

— Не знаю. Наверное.

— И тебя это не волнует?

— Нет.

— Совсем не волнует? — она уперлась в грудь локтями и заглянула в глаза.

Золото. Как есть чистое золото... и нить зрачка дрожит натянутой струной, то вовсе исчезая, то вдруг расплываясь, тесня радужку.

— Не волнует, — ответил Лихо, взгляда не отвел. — Ева... знаешь, наверное, Бес и Аврелий Яковлевич правы в том, что я слишком многое им позволял. Я люблю своих сестер, и братьев тоже... и маму люблю, хотя она совершенно не приспособлена к жизни... и я всегда знал, что должен о них заботиться.

— Как долго?

— Как получится. Ты же не ставишь себе срок. И Алена останется твоей сестрой и сейчас, и через десять лет, и через двадцать. Причем, младшей сестрой. Ты не сможешь сказать, что все, ты уже взрослая и твои проблемы меня не волнуют.

Наверное.

Или сможет? Евдокия сморщила нос, потому как не любила признавать чью-то правоту, а выходило, что Лихо прав... и еще выходило, что даже если они купят собственный дом, то вовсе от родственников его у Евдокии отделаться не выйдет.

— Но любить — это одно, а помогать — другое... и пожалуй, не всякая помощь пойдет на пользу, — Лихо провел когтем по Евдокииной шее. — Поэтому я хочу, чтобы ты составила контракт.

— Что?

— Контракт, — спокойно повторил Лихо. — Я ничего не понимаю в делах подобного толка, а у тебя опыт имеется немалый.

Имеется. Его правда.

— Я не хочу, чтобы у отца был доступ к твоим деньгам. Да и прочие... они мои родные и я их люблю, но при том я отдаю себе отчет, что они слишком привыкли жить, ни о чем не думая.

Интересный ход.

И если так, то... Лихо ведь не просто так о контракте заговорил...

— Чего ты боишься?

— Ева...

— Честно, — она позволила ему взгляд отвести. И легла рядом, прислушиваясь к спокойному дыханию, к стуку сердца, ровному, умиротворяющему. — Пожалуйста.

— Боюсь того, что если со мной что-нибудь случится...

— Что?

— Не важно, Ева. Жизнь порой... странная. Но если случится, то ты останешься одна. Без

защиты. А деньги — это большое искушение...

— О да, и твой отец не устоит, — со смешком ответила Евдокия. Ей представился князь Вевельский, отчего-то облаченный в длинную ночную рубаху и в ночном же колпаке, лихо сдвинутом набекрень. Князь на цыпочках крался по темному коридору, сжимая в руке топор...

...ладно, топор — это недостаточно благородно, а вот семейная боевая секира — дело иное...

— Не устоит, — согласился Лихослав. — Убить тебя не убьют, а вот спровадить в монастырь могут.

— Насильно?

— Ева... монастыри бывают очень разные. И родственные связи здесь тоже имеют значение.

— А контракт...

— Составь такой, чтоб я не имел права распоряжаться деньгами, чтоб в случае... вдовства или ином, твое имущество оставалось бы за тобой. Ты же умная у меня, ты сумеешь.

Сумеет, это не так и сложно.

Вот только настрой Лихослава Евдокия не нравится. Как-то не хочется ей замуж выходить, сразу к грядущему вдовству готовясь.

— Это просто на всякий случай, — сказал Лихо.

И Евдокия поверила.

Хельмово полнолуние наступило.

Себастьян проснулся затемно, с раздражением отметив, что проспал от силы часа два... и что голова его, несмотря на зелье, Аврелием Яковлевичем врученное, работает не так, чтобы хорошо.

Полнолуние наступило.

И на блеклом небе, на котором таял закат, висел бледно-желтый, в оспинах шар, вида самого омерзительного. Он дразнил Себастьяна своей близостью, отражаясь и в окнах дома и, пусть бы это было невозможно, в зеркалах.

Полнолуние...

Запах гнили, почти было исчезнувший за последние дни, сделался отчетливым. И сам дом, взбудораженный близостью ночного светила, ожил.

Он скрипел.

Стонал.

И по паркету метались тени, а сама старая доска вдруг обрела странный глянец...

— Вот оно как, — сказал Себастьян, эту доску трогая. Надо же, теплая... горячая... и стена

такая же... и в ней, скрытое в камне, бьется колдовское сердце особняка.

Ох до чего нехорошо... и Гавелу не вовремя вздумалось ведьмаком заделаться... но главное, что успел исполнить поручение, да и Аврелий Яковлевич прошлую просьбу исполнил.

Спрашивать не стал.

Протянул копии портретов, сказав:

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

И Себастьян кивнул. Нет, не знал, но хвостом чуял, что здесь разгадка, близенько...

...Габрисия.

Она вправду была нехороша собой, причем нехороша от рождения. Крупноголова, с каким-то чересчур уж покатым лбом, с массивным подбородком и ртом лягушачьим...

...в год волосики реденькие, непонятного колеру...

...а ведь портретист рисовал, стараясь клиенту польстить, но на сей раз не вышло.

...пять лет. Тот же крупный лоб, тот же лягушачий рот, но и нос сделался велик. Волосы уложены короной, но... нельзя сказать, что эта девочка уродлива, но впечатление производит отталкивающее...

Шестнадцать.

Выпуск пансиона Иржены Всеблагой. Сестры-монахини в синих платьях. Белые кружевные наряды выпускниц, волосы которых украшали традиционными веночками... почти невесты.

Богуслава и среди них выделяется.

Крупнокостная, высокая, выше едва ли не на голову. Белое платье ей не идет. Крой, призванный подчеркнуть хрупкость выпускниц, ее откровенно уродует.

Мосласта. Длиннорука. И руки эти лишены обязательного для девицы благородного рода изящества. Плечи чересчур широки. Длинна шея. И волосы, забранные в простой узел, делают голову какой-то несоразмерно крупной. А вот лицо... лицо изменилось.

Лоб высок.

И нос уже не глядится таким массивным. Подбородок округлился, щеки запали. Взгляд прямой, с вызовом. Габрисия точно знает, что некрасива, но не собирается стыдиться себя.

Изменилась?

Себастьян сличал последний снимок с портретом долго, но так ни к какому выводу не пришел...

На последнем портрете Габрисии те же шестнадцать лет. Писали для семейной галереи, и живописец искренне старался, однако не в его силах было наделить ее красотой.

Белое бальное платье.

Дебют? Похоже на то... и белая роза в руке символом невинности. Взгляд тот же, разве что помимо вызова в нем появилась настороженность: пансион и мир — разное. Габрисия это понимала...

...белая роза...

...неудавшаяся помолвка...

...обыкновенная история о неверном женихе. Лучше так, чем история о неверном муже. Но главное, что после этой истории Богуслава исчезает, а появляется уже преображенная.

Себастьян провел пальцем по череде снимков.

Несчастливая девушка, обожженная первой любовью. Легкая мишень... привлекательная... слишком уж очевидно привлекательная.

Он отложил было Габрисию, не зная, вычеркнуть ли ее из числа подозреваемых, или все же...

Стук в дверь заставил подпрыгнуть.

— Кто? — Себастьян набросил на снимки халат.

— Я.

Лихославова невеста... что характерно, не сирота, но кажется, братца сие обстоятельство нисколько не смущало. Девушка ему глянулась и... Себастьян решил, что вмешиваться не будет.

Хватит.

Да и голова от прошлой встречи с панночкой Евдокией не отошла еще.

— Я подумала, что вы тоже не спите.

— Не сплю, — впускать ее Себастьян не собирался, но кожа зудела, а ведьмачий амулет под лопаткою мелко и быстро пульсировал, и стоит потянуться к этой силе, как зуд станет вовсе нестерпим.

Отторжение.

И дай-то боги, чтобы силы, Аврелием Яковлевичем отданной, хватило еще на сутки.

Себастьян отчего-то был уверен, что сегодня все решится, а потому шагнул в сторону и, когда Евдокия вошла, запер за нею дверь.

— Лихо ушел, — сказала она, хмурясь.

— Вернется, — Себастьян сел на пол, выкладывая очередной ряд.

Мазена.

Обыкновенная девочка, разве что глаза серые, большие. И смотрит настороженно исподлобья, точно подозревает живописца в чем... три года... и пять... и шестнадцать.

Мазену обучали на дому, у Радомилов пансионаты были не приняты. И снимки, а портрет...

обыкновенная девушка, пожалуй, довольно красивая, но все одно хмурая... или не хмурая, а опечаленная? Сложно разобрать, однако смотрит она на собственные руки, поверх которых лежит нить жемчужного ожерелья. И кажется, будто бы не нить это, но путы...

...а путы и есть, имени, долга, чести родовой, которая и привела Мазену в Цветочный павильон. И вряд ли ее так уж манит роль королевской фаворитки, однако во благо рода...

...Войко Радомил, батюшка Мазены, метит на главенство рода, а характер его известен жесткостью, если не сказать — жестокостью.

— Вы мне не нравитесь, — Евдокия села на кровать, поплотней запахнув халатик, — однако Лихо вам доверяет и...

— Доверяет?

— Да.

— Я рад, если так...

Мазену он тоже оставил. Пускай... когда долг в тягость и тянет путы, хоть бы и жемчужные дорогие, сбросить, то легко поддаться искушению.

Искусительнице.

Она очень своевременно исчезла.

Проклятье? Такое опасное, но такое нестойкое, нашедшее себе иных жертв... для хельмовки рискованно, но отчего-то казалось, что женщина, способная прислать Аврелию Яковлевичу письмо с бубонною чумой, риска не чуралась.

— Он рассказал... про ту историю с душегубцем.

— Моя вина, — признал Себастьян, выстраивая следующий ряд.

Эржбета.

Она родилась очаровательным ребенком, но... на первом портрете ей три года. И более ранних нет. По официальной версии оттого, что родители берегли долгожданное дитя... боялись...

...или дело вовсе не в страхе?

В чем тогда?

Пошла она не в мать и не в отца... те светлокожи, светловолосы, и до того похожи друг на друга, что закрадываются нехорошие мысли... а ведь среди поклонников Хельма случались близкородственные браки. И кем эти двое друг другу приходятся?

Кузенами?

Близкое родство опасно... и может, от этого и умерли Эржбетины братья... если они вовсе братьями были. Себастьян положил снимки в ряд.

Постаревшая княжна.

Князь.

Эржбета. Ни малейшего родственного сходства. Еще одна тайна, каковых за каждым древним родом немало? От кого родила ребеночка княгиня? Или же не она, но княжия фаворитка? А то и вовсе подыскивали здоровенького... нет, кровь должна быть, иначе не подтвердится ни родство, ни право на наследство...

А ребенок и вправду хорошенький.

Светлоглазый, светловолосый...

Улыбается.

Девять лет.

Светлые глаза остались. И волосы сделались еще белее, а вот улыбка прежняя, счастливая, поблекла. И выражение лица такое... не печаль.

Удивление? Обида?

А ведь жила отдельно. Любимая дочь, наследница... единственный ребенок, а жила отдельно, в деревенском поместье, куда отослали якобы здоровье поправлять... до чего знакомая ситуация. Но за Эржбетой приглядывала не нянька, а родная бабка.

Любила?

Ненавидела? Или же ей, той, чей портрет заботливо доставили, было все равно? Сухая женщина с некрасивым, если не сказать, уродливым лицом. Острое какое-то. Острые скулы. Тонкая, что клинок, переносица, губы и те выглядят неестественно тонкими. Сжала. Смотрит прямо, без вызова, но скорее осознавая собственное превосходство. В такой вряд ли найдется нежность...

Почему она осталась с малышкой?

Не из любви. Хотя, конечно, чем Хельм не шутит, но Себастьяну отчего-то сомнительно было, что эта женщина способна на любовь. А вот передать тайное знание...

...алтари и склепы.

— Я вам не мешаю? — поинтересовалась Евдокия, подавая очередную стопку, перевязанную лентой.

— Нет. А душегубец... мне было девятнадцать, Лихо и того меньше. Нет, возраст не оправдание, конечно, все могло бы кончиться куда печальней. Мне хотелось славы, чтобы сразу и на весь мир.

— Получили?

Странно, но именно эта конкретная женщина не вызывала раздражения, пусть и вопросы задавала неудобные.

— Получил. Не без отцовской помощи...

Признаваться в этом тошно, но Себастьян не привык себе врать. А она... если Лихо ее выбрал,

то должно же в ней что-то быть.

Что?

Коса, которую она поглаживала. Взгляд хмурый внимательный... смешно. Его еще никто и никогда не изучал вот так, с легким недоверием, с небрежением даже.

— Я вам все еще не нравлюсь? — поинтересовался Себастьян, выкладывая следующий портрет.

— Не нравитесь, — Евдокия не собиралась быть вежливой. — Но я привыкну.

— Если не нравлюсь, то почему вы здесь?

— Непокойно.

— Зеркала?

— И они тоже... Лихо просил составить контракт, чтобы... чтобы я сама распоряжалась деньгами.

— Точнее, чтобы наш папаша до них не добрался, — Себастьян не удержался и спину поскреб, но зуд не утих, а треклятый амулет раскалился. — Разумный выход. Кстати, если вы уж до контракта договорились, может, спинку мне почешете?

— Что?

— По-родственному.

Евдокия огляделась, верно, в поисках канделябра, но не обнаружив одного в пределах досягаемости, ехидно поинтересовалась:

— А больше тебе ничего не нужно?

— Нужно, — Себастьян положил первый портрет, темноглазой прехорошенькой девочки в кружевном платице.

— Что?

— Чтобы Лихо был счастлив.

— И ты считаешь, будто я...

— Я ничего не считаю. Я просто знаю, что рассказал он тебе не только о душегубце... это так, начало...

— Ты так себе и не простил?

— Чего именно? — камень-амулет жег невыносимо.

— Всего, — Евдокия хлопнула Себастьяна по руке. — Сиди. Болит?

— С чего ты... болит.

— Красное и вздулось, точно тебя пчела укусила.

— Ведьмак.

— Укусил?

— Хуже, — мрачно ответил Себастьян и зубы стиснул, потому как легчайшее прикосновение к плечу вызвало приступ боли. — Если бы укусил, уже бы зажило... а до вопроса, то... не знаю. Я боялся, что он умрет. Потом боялся, что он выживет, но останется калекою... папашка очень на это рассчитывал. Он вообще дерьмовый человек. И окружающих норовит в это самое дерьмо макнуть. Так что привыкай и особо не обольщайся.

— Не обольщаюсь.

Евдокия встала и вышла в ванную комнату, вернулась она с мокрым полотенцем.

Мокрым и холодным!

Себастьян едва не взвизгнул, когда это полотенце на спину плюхнулось и еще к коже прилипло.

— Сиди смирно, — велела Евдокия и, собрав его волосы, перекинула через плечо. — Я понимаю, что мне будут... мягко говоря, не рады.

— Это точно... мягко говоря.

— Ты не любишь своих родичей?

— Смотря каких, — холод унял зуд, и пусть по спине текла вода, Себастьян готов был терпеть нынешнее неудобство.

Сегодня.

Все закончится сегодня.

— Лихо я люблю. И маму тоже, хотя она совершенно оторванное от реальной жизни создание. Но в этом нет ее вины. Что до остальных, то они в папашу пошли...

— Все?

Евдокии было не понятно, как можно любить кого-то из родных, а на прочих плевать.

— Велеслав спит и видит, как бы титул получить. Без титула он из себя ничего не представляет. А с титулом, глядишь, и найдет невесту с деньгами... сестрицы мои мало лучше. Им титул без надобности, а вот деньги нужны и немедленно, потому как шмотье, драгоценности... княжны оне.

Себастьян оперся на стену. С полотенца текло, но зуд, удивительное дело, прошел. И уголек амулета погас, и сам амулет успокоился.

Хорошо.

И плохо, потому как права купеческая дочь: не примет ее высокое семейство. Самого Себастьяна тоже не приняли, пусть и смирились с его существованием. Хотя, справедливости ради, он сам не слишком-то старался родственную любовь завоевать. Были встречи, ежегодные и обязательные, отцовские приемы, которые он устраивал на Вотанов день, дни рождения и

дни памяти.

Скандалы непереносимые, потому как отец не выдерживал и начинал цепляться к матушке, а та терпела нападки, поскольку хорошее воспитание не позволяло ей обвинять его... она отвечала, сухо, спокойно, но это спокойствие лишь сильнее отца злило.

В этой затяжной войне сестрицы приняли отцовскую сторону.

У них ведь замужество и изрядно измаранная репутация единственным приданым, а маменька эту репутацию вот-вот добьет... они говорили громкими ломкими голосами, от которых мама бледнела, а у Себастьяна начиналась мигрень. И он с трудом удерживался, чтобы не наорать на них.

Мама смущалась.

И не знала, как отвечать. Беспомощно оглядывалась на Себастьяна...

...а Велеслав ныл, что от Лихо давно уже нет вестей...

...вестей не было, младший не любил писать, а вот деньги приходили регулярно. Вот только уходило куда как быстрее.

И снова все были недовольны.

Мало.

Недостаточно.

И зачем ему на границе оставаться, когда есть иной вариант... треклятая Христина год прождала... стерва. А когда ее все-таки спровадили замуж, отец не удержался от очередного скандала...

На сей раз, для разнообразия, виноватым назначили Себастьяна.

— Деньги, деньги, деньги, — Себастьян выложил первый снимок, темноглазой лысенькой девочки с непропорционально крупным носом. Иоланта. — Они только и говорили, что о деньгах... отец кричит о добром имени князей Вевельских, а сам этим именем торгует направо и налево... о его судебных решениях давно уже слава ходит... и не только о них. В Совете, где папенька числится, знают, что князь за хорошую сумму проголосует так, как нужно...

...пять лет.

Черные глаза и черные кудряшки. Круглое милое личико, обыкновенное детское...

— Он у нас ничем не брезгует. Наверняка уже Лихо невесту подыскал...

— И что мне делать? — Евдокия разглядывала снимки.

...в жизни Иоланты нет места тайнам, кроме, пожалуй, одной...

Клементина.

И Родерик, который к ней сватался трижды, а после по королевскому приказу был обвенчан с дочерью барона Голштинского...

...Иоланта родилась семимесячной.

Такое с младенцами случается...

— Держаться от этой своры подальше. И Лихо держать.

Темные волосы.

Темные глаза... и что-то донельзя знакомое в этом лице...

Шестнадцать лет.

И девушка прелестна, но и только... ей к лицу платье из белой воздушной ткани... красная роза в руке...

...красная роза, единственное яркое пятно... капля крови в ладонях...

И Ядзита.

Последняя из древнего славного рода.

Очаровательный младенец и прелестное дитя... уже не портреты, но снимки, которые несоизмеримо дешевле, а заодно честней. И на очередном — мрачная девочка лет тринадцати. Узкое лицо. Хмурый взгляд, в котором Себастьяну видится обреченность. Две косы. Ленты.

Платье нарядное, но сшитое по моде прошлого века, да и видно, что Ядзита оно тесновато.

Денег не было?

Шестнадцать.

И белый наряд debutантки, явно из хорошей мастерской. Белая парча с серебряным отливом. Кружево тонкой работы. Традиционный жемчуг на шее тройной нитью.

Тот же обреченный взгляд.

Упрямый подбородок.

Губы в линию.

В этом роскошном наряде Ядзита не чувствует себя счастливой...

...она уже вдова? Или еще нет? И могла ли... а потом помощь предложить? Почему бы и нет... игра игры ради.

Богуслава.

Единственная дочь князя Ястрежемского. Мать умерла при родах, и поговаривали, что князь любил ее безумно, горевал, а любовь свою безоглядную перенес на дочь.

Баловал.

Пять лет. И рыженькая девчушка в парче и мехах... в семь... двенадцать и первые драгоценности, отнюдь не жемчуга, негласно дозволенные невинным девам, но бриллианты.

И сапфиры.

Князь умопомрачительно богат... и пожалуй, отец счел бы Богуславу подходящею невестой для Лихо... а может, и счел? Надо будет сказать братцу, чтобы поторопился со своею купчихой, а то с папеньки станется гадость придумать.

Но не о них.

О них — завтра, если выйдет остаться живым.

На последнем снимке Богуславе восемнадцать. Платье белое, но... капризное личико, раздраженный взгляд, будто бы злит ее сама необходимость позировать.

Сверкает льдисто алмазная диадема в ее волосах.

Тяжелое ожерелье обвивает шею...

Браслеты.

Серьги.

Соболиная шубка на плечах... она княжна и знает это, как и то, что любое ее желание немедля будет исполнено... знает.

И не знает, что пара лет и изрядно постаревший князь отправится на Бурьины грязи, целебную глиной не то желудок больной, не то иное какое место, лечить, да и встретит там новую любовь... и что чувство это, вспыхнувшее разом, заставит его сделать избраннице предложение.

А она, не будь душой, предложение примет.

...избранницей уже занимались, потому как больно подозрительно этакое внезапное чувство...

...и брак после трех дней знакомства...

...законный брак, хоть и венчал их жрец в местечковом бедном храме...

Богуславе вряд ли такое понравилось...

...а если... нет, мачеха ее может быть причастною и, скорее всего, так оно и есть, но колдовка... колдовка где-то в Цветочном павильоне.

Место имеет значение.

Люди имеют значение.

Себастьян закрыл глаза, пытаясь отрешиться от всех посторонних мыслей.

Богуслава и ее мачеха... мертвецы Ядзиты... Мазена и древняя кровь Радомилов... Эржбета... Иоланта...

Клементина.

...Лихо со своей волкодлачьей кровью и хельмовым проклятьем...

...Аврелий Яковлевич и неудачный его брак, к должностному преступлению приведший, о котором Себастьяну следовало бы доложить...

...украшения-метки...

...ведьмовская чума в конверте...

...поводки-на-крови...

...пан Острожский, явившийся из Серых земель...

...Хозяйка их, которая не то легенда, не то существует и в самом деле...

...купеческая дочь, которая тихо сидит на Себастьяновой кровати, дышит и то через раз, словно опасаясь спугнуть мысль... а пугать нечего, потому как нет мыслей никаких.

И Себастьян, поднявшись, обвел взглядом пасьянс из снимков.

Он впервые не знал, как ему быть.

Глава 11

Где под влиянием полной луны происходит множество разных событий

Вдруг как в сказке скрипнула дверь...

...начало одной очень страшной истории о ночных татях и доверчивой девице, не имеющей обыкновения двери запирать.

Лизанька решила бежать на закате.

Во-первых, так романтичной.

Во-вторых, в последние дни Клементина взяла за обыкновение сразу после ужина подниматься к себе, предоставляя красавицам относительную свободу, а это было куда важнее романтики.

В-третьих... в-третьих, если что-то пойдет не по плану, к примеру, Себастьян вдруг передумает на ней жениться, то проведенная вместе ночь, пусть и проведенная не в одной постели, будет достаточным основанием, чтобы папенька потребовал сатисфакции.

Не то, чтобы Лизанька надеялась, что таким, признаться древним и по нынешнему времени не особо популярным способом папенька сумеет защитить ее поруганную честь, но скандал выйдет знатный. А у нее, несчастной, коварно соблазненной и брошенной, появится замечательный повод написать генерал-губернатору кляузу. Если еще Себастьян папеньку на дуэли ранит, тогда не только генерал-губернатору.

В общем, как ни крути, а бежать следовало вечером.

К счастью, Грель спорить не стал, пообещав, что, хотя в Цветочный павильон ему ходу нет, но он будет ждать Лизаньку в их беседке, той самой, где он, встав на одно колено, испросил ее согласия на законный брак...

...и колечко преподнес.

Скромненькое такое колечко с круглым камнем, который даже на Лизанькин не самый наметанный глаз, и близко алмазом не был.

Но и правда, откуда у простого приказчика деньги на кольцо с алмазом?

Вот когда они поженятся... когда закончится этот дурацкий конкурс, где Лизаньку не любили, не ценили и вообще игнорировали... тогда-то все и переменится.

Себастьян, несомненно, попросит прощения за обман и поведет Лизаньку к королевскому ювелиру: если он думает, что Лизанька позабыла про его подарок Богуславе, то крепко ошибается.

Помнит.

И напомним, ибо права маменька в том, что мужчине женатому жена не должна спуску давать, поелику в ином случае мигом окажется в каком-нибудь богом забытом имении, тогда как супруг будет жить в столице в полное свое удовольствие. В принципе, Лизанька не знала, откуда у маменьки взялись сии престранные мысли, ведь Евстафий Елисеевич завсегда с супругой обращался уважительно, но женским чутьем знала — маменька права.

Задвинуть себя Лизанька не позволит.

О нет... потом, когда все выяснится... то-то удивляться все станут... особенно Богуслава, которая в последние дни явно пребывает не в себе. И ныне, упавши в кресло, уставилась пустым взглядом в стену... в зеркале, каковых в Цветочном павильоне много, отражается лицо Богуславы.

Видны и щеки ее запавшие.

И подбородок обрисовавшийся резко. Губы блеклые, которые шевелятся, словно отражение шепчет что-то... еще немного и Лизанька поймет, что именно...

Понимать она не желала и отвернулась, живо себе представив гнев княжны, когда она, княжна Ястрежемска, поймет, что какая-то воеводина дочь сумела ее обойти.

Будет локти кусать.

А поздно!

Остальные тоже позавидуют. Отчего-то Лизаньке невероятно важно было, чтобы ей позавидовали. И она живо представила себе статью в «Охальнике»... в «Светской хронике», конечно, тоже, но «Охальник» читают с куда большим интересом...

А в «Хронике» пускай расскажут об их с Себастьянушкой великой любви, которая сумела преодолеть сословные различия и все прочие многочисленные препоны, к примеру, батюшкино недовольство... а он разозлится, тут и думать нечего.

Но ничего, позлится и поймет, что Лизанька была права.

Она ведь за свое счастье боролась, а это все оправдывает.

Лизанька вздохнула... немного грустно было оттого, что не с кем здесь поделиться ни своими тревогами, ни грядущей радостью... и главное, странный ныне вечер.

Никто не расходится.

Сидят.

Иоланта в зеркало пялится, сама бледная, будто неживая, и тоже похудела, спала с лица... это от питания. Все ж кормили в королевской резиденции преотвратительно. Ничего, дома маменька на радостях вели пироги расчинить, и ушицу самолично сварит, батюшку задабривая, и достанет из подпола бутылъ малиновой настойки, которую дед делает.

...ему надо будет отписаться.

Пригласить на свадьбу, которая — Лизанька была твердо уверена — состоится по всем правилам. Ибо побег побегом, а девичья мечта — девичьею мечтой. И должна же Лизанька показаться Себастьяновой родне красавицей... одобрят или нет?

Скорее всего, нет.

Особенно, когда Себастьян, титул возвращая, судиться затеет...

— О чем думаешь? — к Лизаньке подседа черноглазая акторка и, подобрав юбки, велела. — Не делай глупостей.

— О чем ты?

— Не знаю, — она пожала плечами.

Нехороша.

Как ее вообще к конкурсу допустили? И главное, зачем?

Смуглая. Черноглазая. Востроногая, вида хитрого, цыганистого... или и вправду Себастьяну родней, как о том писали?

Лизанька окинула акторку новым цепким взглядом. А ведь есть некое сходство, отдаленное весьма, но все же сходство... незаконнорожденная? Хорошо бы. От байстрючки откреститься проще, нежели от законной и признанной сестрицы. А этакая золовка Лизаньке без надобности. По ней видать, что нос свой длинный станет не в свои дела совать и чужую семейную жизнь рушить.

— Лизанька, Лизанька, — акторка покачала головой. — Экая ты... упертая. И бестолковая. В кого? Не понимаю.

Лизанька не стала отвечать, понадеявшись, что чернокудрая стервь осознает, сколь не в радость Лизаньке беседа с нею. А чтоб уж точно поняла, Лизанька повернулась к акторке спиной.

— Евстафий Елисеевич — человек замечательный, — стервь этакий Лизанькин маневр точно и не заметила. — А ты, милая Лизанька...

— Что, не замечательная?

— Увы, — акторка руками развела. — Будь у меня желание позлословить, я бы сказала, что ты, может статься, вовсе не его крови... вот у нас в городе историйка одна приключилась, весьма поучительного свойства. У дядечки приятель был, семьянин примерный... жена, детей ажно

семеро... крайне положительный человек.

— Уйди! — прошипела Лизанька, которая не желала слушать поучительную историю про крайне положительного человека и его семью.

Акторка лишь ближе присела, локон на пальчик накручивает и, зная себе, говорит.

— И жена у него была положительной, и дети, особенно дочери... дядечка мой, помнится, всегда их в пример ставил... всех, кроме одной. Нет, сперва-то думали, что и она положительная. Да только одним вечером девица эта взяла и сбежала из дому с офицером. Замуж выйти пожелала...

— И что в этом такого? — Лизанька дернула плечиком. — Все желают выйти замуж.

— Ничего такого... все желают, только редко кто дает себе труда подумать. Дядечка мой так говорил. Ей-то жениха родители нашли хорошего, состоятельного. А нет, не по нраву тот пришелся. Так вот она, сбегчи сбежала, а после вернулась, когда, значит, офицер этот, дрянной человечешко, игрок и бутозер, деньги ейные, которые она из дому прихватила, проиграл. И украшения ейные тоже проиграл... и вообще все проиграл, а расплатиться не сумел. Вот и застрелился...

Идиот.

Впрочем, Лизанька это мнение при себе оставила.

— Она ж утопла. Говорили, что от несчастной любви, дескать, жить без этого офицера не могла, а как по мне, то просто от дури...

— То есть, любовь по-твоему — это дурь?

— Любовь? — брови Тианы приподнялись. — А разве ж я про любовь говорила? Она на озеро купаться пошла с сестрами, на солнышке полежала и в воду сунулась. Судорога возьми и прихвати. Как по мне, в том никакой любви нету, дурь одна. Это ж любому человеку, ежели он в своем розуме, понятно, что нельзя по жаре в ледяную воду лезти...

Лизанька поднялась, испытывая преогромное желание взять что-нибудь тяжелое, к примеру вон ту белую, в цветах, вазу и опустить на черную акторкину макушку.

Сидит.

Издевается.

Ничего, вот придет Лизанькино время, тогда и посмотрим, кто из двоих в дамках, а кто так, мимо пробежал... и ежели Боги к Лизаньке немилостивы оказались, определивши эту девку в золотки, то... то Лизанька сделает все возможное и невозможное, чтоб дорогого Себастьянушку от пагубного влияния сестрицы оградить.

А пока...

— Оставьте свои поучительные истории себе, — сказала Лизанька и поднялась. — А у меня голова от них болит...

— И у меня, — пожаловалась Иоланта, касаясь пальчиками висков.

Богуслава поморщилась.

Нахмурилась Ядзита.

— Погода меняется, — Мазена вертела в пальчиках подвеску с крупной черной жемчужиной. — На грозу частенько бывают недомогания...

Все с ней согласились, и в гостиной воцарилась тишина.

— Я... пожалуй, пойду прилягу, — сказала Лизанька, задержавшись в дверях. Не то, чтобы ей требовалось разрешение, но уходить просто так показалось невежливым.

И обидным, потому как вряд ли бы кто-то в гостиной обратил бы внимание на Лизанькино отсутствие... разве что папенькина акторка, не спускавшая с Лизаньки глаз.

Чтоб ее...

Лизанька мысленно пожелала акторке свернуть шею и все-таки удалилась.

В комнате ее ожидал сюрприз: на туалетном столике, у зеркала стояла коробочка.

Черная.

С короной на крышке.

А внутри, когда Лизанька крышку откинула, скрывалось кольцо.

Красивое.

С квадратным алмазом бледно-желтого колеру, крупным, аккурат таким, каким и должен быть камень на обручальном кольце. И Лизанька, не сумев сдержать победные улыбки — ах, все же не обмануло сердце, и нашел любимый Себастьянушка способ сделать ей подарок — кольцо примерила.

В пору пришлось. Село, как родное, только палец холодом обожгло. И еще отчего резко запахло сандалом... странный запах, пожалуй неприятный. От него и вправду голова закружилась, молоточки пульса застучали в висках... захотелось прилечь.

Закрыть глаза.

Погрузиться в сон, который избавит и от забот, и от смутного неясного беспокойства, овладевшего Лизанькой.

Руки холодели.

И сердце билось быстро-быстро, нервно, того и гляди вовсе выскочит. И Лизанька, не умея успокоить себя, трогала, пересчитывала перламутровые пуговицы платья... надо выждать... минут десять... или пятнадцать... уже смеркается и на часах четверть десятого... поздно и будь панна Клементина по-прежнему на страже нравственности конкурсанток, Лизанька не рискнула бы.

Повезет.

Должно же ей, дочери познаньского воеводы, одержимую высоким чувством любви, повезти?

Если вдруг встретится кто, Лизанька скажет, что решила выйти на крылечко, воздухом подышать... имеет она права на свежий воздух? Имеет! И с полным осознанием того, что вот-вот свершится, Лизанька решительно двинулась по коридору.

Блеснули во мраке часы, показалось, зловеще, и Лизанька скрутила фигу, отгоняя зло... дверь входная, массивная отворилась беззвучно. И лишь оказавшись по ту сторону порога, Лизанька выдохнула с немалым облегчением: повезло.

Вышла.

Глянула на заветное колечко, смелости набираясь.

Теперь-то уже недалеко... сбежать по ступенькам, найти в себе силы задавить робкий голос сомнений, каковые все ж таки прорастали в душе. Но Лизанька решительно двинулась по дорожке к условленному месту. Она заставляла себя идти, хотя вся ее натура, верно, взбудораженная рассказами акторки, требовала немедля вернуться.

В комнату.

В Лизанькину светлую уютную комнату, в которой слышны тяжелые удары часов... и зеркало сторожит Лизанькин покой... и покой этот будет вечным, ежели Лизанька...

...кольцо сдавило палец ледяным обручем.

— Ах, моя дорогая! — Грель ждал ее и, подхватив, прижал к груди, в которой тревожно ухало сердце. — Я так безмерно счастлив!

В этот момент Лизанька, которая в теории должна была бы тоже испытывать всепоглощающее счастье, хотела лишь одного: вывернуться из цепких Грелевых рук.

— Я до последнего мгновенья не мог поверить! — он расцеловал Лизаньку в щеки, щекотнув усами. — Идем же! Скорей! Нас ждут!

Грель увлек невесту по тропинке, к каретному сараю, где уже ждал нанятый им экипаж: черная карета, запряженная четвериком коней вороной масти, аккурат то, что для похищения надобно. И кучер, фигура вида зловещего, привстал на козлах, бросивши:

— До храма домчим, икнуть не успеете!

В экипаже для разнообразия пахло не сандалом, но розами.

И Лизанька приняла букет, белых, бледно-восковатых, будто бы неживых цветов.

— Спасибо! — сказала, и голос собственный дрогнул. Естественно, не от сомнений, ибо Лизанька твердо знала, что делает все правильно, но от страха.

Чего она боится?

Не знает.

Карета раскачивалась, кони летели по дорожке, увозя Лизаньку навстречу к ее счастью, которое непременно состоится и будет длиться всю Лизанькину жизнь...

— О чем вы думаете? — Грель был рядом, держал за ручку и, когда карета подпрыгивала на

очередном ухабе — а следовало сказать, что дорога была на редкость ухабистой — придерживал Лизаньку за плечики, прижимал к себе.

— О нас, — честно ответила она. — О нашей будущей совместной жизни...

...и о свадебном путешествии, в которое они отбудут уже после настоящей свадьбы. До Парижу? Аль лучше с аглицких городов начать? В «Светской хронике» писали, что в нынешнем сезоне невестам модно проявлять интерес к аглицкой архитектуре... на архитектуру Лизаньке глубоко наплевать, но ежели в «Хронике»...

— Уверяю, — Грель прильнул к ручке, которую целовал с немалою страстью, вводя Лизаньку в смущение, — что вы ни на секунду о своем решении не пожалеете... конечно, мне не случилось прежде женатым быть...

...еще чего не хватало!

— ...однако я, лишь увидевши вас, осознал, что все эти годы искал истинную свою любовь...

Карету вновь подбросило, и розы раздраженно кольнули Лизаньку в ладонь, будто бы укусили... нехорошая примета...

...не верит она в приметы.

А вот в батюшкино коварство — так даже очень верит. В то, что станет с Евстафия Елисеевича сделать все возможное и невозможное, дабы расстроить Лизанькин брак.

— Мой батюшка не слишком-то обрадуется, — она руку высвободила, решив, что с Греля хватит, после свадьбы успеет он нацеловаться, когда Лизанька вся-то, целиком, его станет. — Он отчего-то крепко против вас настроенный, но если мы обвенчаемся...

— И сделаем наш брак действительным...

Об этом моменте Лизанька, конечно, думала, но думала именно так, как полагалось бы девице ее положения, возраста и воспитания — стыдливо и с тайным предвкушением чуда.

— Да, — она погладила будущего супруга по руке, — именно. Тогда у него не останется выбора иного, кроме как принять тебя.

Карета остановилась на окраине Гданьска. Окраине, следовало признать, неряшливой. Простые деревянные дома, иные покосившиеся, иные — грязные, стоят тесно, глядятся друг в друга окнами. Лают цепные псы. Трубы дымят. Пахнет нехорошо, сточными водами, и Лизанька, зажав носик, принимает помощь Греля.

Мостовая грязна.

И стена, храм окружавшая, тоже выглядит не особо чистою.

И сам храм... не о таком Лизанька мечтала. Ей мнилось, что обвенчают их в маленьком деревенском храме, пусть бедном, но аккуратном, благостном... здесь же...

— Мне тут не нравится, — капризно заявила она, испытывая преогромное желание сбежать.

В карету.

И крикнуть кучеру, чтобы возвращался, пока не поздно...

...поздно.

— Потерпи, любимая, — Грель приобнял. — Уже недолго. Это всего-навсего место... и потом мы сможем переиграть свадьбу так, как тебе захочется.

Что ж, об этом Лизанька и сама думала, поскольку девичьей мечты было жаль, и с Грелем согласилась: переиграют.

Будет у нее и свадьба, и фата каскадом, и кортеж на дюжину карет... и невестина, по обычаю белая, с открытым верхом, чтоб весь честной люд красавицу видеть мог. Экипаж украсят цветами, лентами и посеребренными бубенчиками...

В храмовом дворе выла собака. Старый мосластый кобель забрался на крышу будки, уселся, вперившись печальным взглядом в круглую луну.

Воет... дурная примета...

— Идем, дорогая, идем, — Грель уверенной рукой подталкивал невесту к распахнутым дверям храма.

...и на ночь глядя брак справлять...

...не будет удачи...

...а еще на пороге споткнулась и... и ничего страшного, в той, другой, настоящей Лизанькиной свадьбе все-то состоится по правилам.

...залогом ее было кольцо на Лизанькином пальчике.

В храме пахло котлетами и еще, пожалуй, жареной рыбой. И запах этот заглушал обыкновенную для Ирженина места, сладкую взвесь ароматов.

Шаг. И словно бы холодом в сердце самое плеснуло... что она, Лизанька, делает? Разве папенька желает ей зла? Не желает... и сама Лизанька себе зла тоже не желает... и выпало все вот так... престранно... и если повернуть...

...беззвучно оборвалась нить, привязавшая ее, Лизаньку, к Цветочному павильону. И из сумрака, разодранного от силы десятком свечей, выглянул пресветлый лик Иржены.

Статуя дешевая, старая, с облезлою краской. И та истерлась, особенно волосы... казалось, будто седина проступает в черных косах богини... и трещины на лице ее — чем не морщины? Однако само лицо это не утратило иной, нечеловечьей красоты, которая и приковала Лизанькин взгляд.

Глаза.

Синие, яркие глаза... Иржена смотрит на нее, на Лизаньку, с упреком, с пониманием... скольких беглых девиц она уже перевидала? Великое множество... одною больше, одною меньше...

Появился жрец, толстый и лысый, принесший с собою все тот же запах жареной рыбы, и Лизанька смотрела на лоснящиеся его губы, думая лишь о том, что Богиня, кажется, ее

благословила. И эта мысль дарила успокоение.

Лизанька слушала жреца, но не слышала ни слова. Впрочем, что он может сказать? Лизанька напутствия слышала и не раз: жена да уважает мужа своего... будет ему верна... родит детей и прочее, и прочее... на всех свадьбах говорили одно и то же.

Скорей бы уж.

Вот жрец, вытерши руки о подол хламиды, достал из-под алтаря храмовую книгу в темной обложке. Писал он быстро, а Грель все одно приплясывал от нетерпения, то и дело на дверь озираясь. Неужто опасался погони?

В книге Лизанька расписалась, и в брачном свидетельстве, которое жрец заполнил прямо на храмовом камне. За это самое свидетельство, исполненное на плотной гербовой бумаге согласно установленному образцу, Грель заплатил три злотня.

И само свидетельство, сложив, убрал в кожаный бумажник.

Все, теперь она, Лизанька, мужняя жена. Правда, смутило немного, что в свидетельстве она значилась панной Стесткевич...

...ничего, позже Себастьянушка бумаженцию эту поменяет, и будет Лизанька княжною Вевельской...

И последние сомнения разрешились, когда Грель подхватил Лизаньку на руки и, дыхнув мятой в ухо, прошептал томно:

— Тепериче ты только моя!

— Ваша... — вздохнула Лизанька, обвивая руками шею супруга.

Быть мужнею женой ей определенно нравилось. И устроив голову на груди Греля, она позволила отнести себя в карету, которая так и ждала перед храмовым двором. А из кареты — в гостиницу... конечно, он ведь обо всем озаботился.

И номер взял дорогой...

...правда, сама-то гостиница была и окраинных, каковые не отличались особой роскошью. Встретил их мрачный хозяин, передал Грелю ключи и буркнул:

— Проблем не будет?

— Не будет, — Грель кинул злотень, и монетка покатилась по стойке. — Все, как договаривались?

— А то! — хмыкнул хозяин, подкручивая соломенный ус. — Панна останется довольна... обслугою, так точно.

В номере, каковой располагался под самой крышей, а оттого слышно было, как романтично воркуют голуби, Лизаньку ждала ванна и кровать, усыпанная розовыми лепестками.

Еще охлажденное шампанское.

И супруг...

— Ты прекрасна, — с придыханием произнес он, подав бокал. И Лизанька, переодевшаяся для первой своей брачной ночи — конечно, лучше бы, чтоб она ночь прошла в месте поприличней, скажем, в «Трех цаплях», а то и вовсе в «Гданьской короне» — зарделась.

Шампанское она осушила одним глотком.

Это от волнения.

И жажды.

И все же от волнения, потому как руки тряслись, и еще знобило... и голова кругом шла...

— Ах, моя дорогая... — Грель подхватил Лизаньку на руки, и хорошо, что подхватил, потому как в ином случае она бы сомлела. — Уверю, эту ночь ты запомнишь...

Потолок крутанулся.

И качнулась земля, а может, не земля, но сам мир, который внезапно сузился до объятий Греля. И Лизанька поняла, что более не способна ждать ни мгновенья... ей просто-таки жизненно необходимо испытать то, о чем в женских романах — папенька их категорически не одобрял — именуют «высочайшим наслаждением».

— Ты согласная? — спросил Грель, не позволяя поцеловать себя.

И кристалл для чего-то поставил.

Зачем им кристалл? Разве ж подобные моменты в жизни надобно запечатлевать? Лизанька нахмурилась, но вырываться не стала. Ее сжигал престранный жар...

— Согласна, — выдохнула Лизанька, которую бережно уложили на розовые лепестки.

Мелькнула мысль, что быть может сейчас Себастьян сбросит это, чуждое ему обличье... но вдруг оно показалось привлекательным, родным даже.

И Лизанька погладила усы.

— Смешные какие...

— Ах, моя дорогая...

...то, что происходило дальше, было вовсе не похоже на то, что описывали в романах, однако сие различие Лизаньку вовсе не огорчило. Напротив, она горела.

Сгорала.

Возрождалась из пепла... и пила шампанское, от которого в крови вновь появлялся жар...

...мужней женой определенно следовало стать.

Она очнулась, когда за окном стало темно.

И темнота эта была густою кромешной, даже желтый кругляш луны, которая устроилась аккурат напротив окошка их с мужем нумера, темноту не разгонял.

Болела голова.

И тело тоже.

И вообще состояние было такое, будто бы Лизанька заболела... ей случалось однажды подхватить ангину и неделю Лизанька провела в постели...

Застонав, она села.

— Дорогая? — сквозь сон произнес Грель.

Голый.

И смешной... смеялась Лизанька тихо, и вскоре смех превратился в икание. Голый Грель... чушь какая в голову лезет... и дурнота.

Вывернуло ее на пол, на увядшие розовые лепестки, которым в принципе было уже все равно.

— Дорогая, что с тобой? — Грель окончательно проснулся.

— Это... это...

— Это, наверное, от шампанского, — сказал супруг, помогая Лизаньке встать на ноги. — Ляг, сейчас пройдет... я водички принесу. Хочешь?

Водички Лизанька не хотела.

А хотела...

— Мы должны ехать, — она не смела отвести взгляда от кругляша луны.

От сотни лун, отраженных в гранях желтого алмаза.

— Куда?

— Домой...

— В Познаньск? Лизанька, ночь на дворе.

Ночь. Именно, что ночь.

На дворе.

Глухая и черная. Луна дразнится, луна смотрит на Лизаньку. Зовет.

— Не в Познаньск, — она отмахнулась от руки супруга, человека в нынешних обстоятельствах незначительного. Схлынула бывая страсть, и все иные желания исчезли, оставив лишь одно, непреодолимое: вернуться.

— Не в Познаньск, — сказала Лизанька, подбирая с пола платье. — В Цветочный павильон.

Грель смотрел за тем, как она одевается.

Лизанька двигалась легко, будто танцуя... и музыку-то слышала она одна, но музыку столь чудесную, что устоять перед нею было вовсе невозможно.

Она вышла замуж?

Какая глупость... разве это имеет значение? Разве хоть что-то имеет значение, помимо этой вот музыки...

...и луны, которую ограничили квадратом. Нелепица какая, но меж тем вот она, луна, на пальце, зовет.

Лизанька бы ушла босиком, но Грель остановил.

Задержал.

Усадил силой, а сила в нем оказалась немалая, и надел на Лизаньку башмаки.

— Погоди, дорогая, вместе пойдем, — сказал, одеваясь торопливо.

Смешной он все-таки.

Неужели не понимает, что нынешняя луна, полная, голодная, не пустит его? В Цветочном павильоне не зря нет места мужчинам... там Лизаньку ждут.

Подвела.

Ей бы поторопиться... ее заждались... плачут. Кто? Те, кто прячется. И Лизаньке больно от слез их. Она бы ушла, не дожидаясь мужа... босиком по камням, да что по камням — по углям бы побежала, стремясь оказаться поближе к...

...к луне.

К желтой-желтой, маслянистой луне.

Но дверь была заперта, и Грель торопливо распахивал по карманам бумажник, ключи и кристалл с записью... и многие иные неважные мелочи. Суетливый, расхристанный, он был отвратителен Лизаньке.

Как все мужчины.

Но дверь открыл. И за руку взял, стиснув руку крепко.

Вывел во двор.

И сонный хозяин, недовольный, самолично будил конюшего... дали пролетку... хорошо, на пролетке оно быстрее будет. А Лизанька точно знала, что должна поторопиться.

Сама же села на козлы, кучер хотел возразить, но Лизанька взмахом руки забрала у него голос. Надо же, она и не знала, что на это такое способна... сила бурлила.

Лунная.

Заемная.

А музыка звучала все громче... и Лизанька, встав на козлах, крикнула:

— Хэй!

Голос ударил кнутом, и лошадь, прижав уши к голове, дико завизжала... она взяла в галоп с места, и полетела... грохот копыт тонул в музыке.

— Лиза! — донесся сзади голос мужа.

Вот же... привязался...

В пролетку сел, держится, вцепившись обеими руками в борта...

— Лиза, что ты творишь?

Лиза?

Кто такая Лиза?

Не важно... совершенно уже не важно...

Женщина улюлюканьем, свистом подгонявшая лошадь, походила на безумицу. Вот только Грель Стесткевич на свою беду знал, что между безумием и одержимостью разница имеется.

Аврелий Яковлевич с утраца потребовал баню, чем премного удивил управляющего, каковой, в общем-то думал, что удивляться вовсе отвык. Нет, баня при гостинице имелась, однако же скорее данью традиции, ибо особой популярностью среди постояльцев не пользовалась. Оные постояльцы отдавали предпочтение каганатским умывальням, а то и вовсе новомодным, только-только привезенные из далекого Кхитая кадушкам. Как на взгляд управляющего, кадушки были самыми что ни на есть обыкновенными, и ничем от местных не отличались, но сие обстоятельство не помешало ему внести в прејскурант гостиницы новую услугу...

...а баня... баню собирались перестраивать, оттого и не протапливали давненько. Но отказать Аврелию Яковлевичу, который на управляющего взирал хмуро, не посмели.

— Эк вы, батенька, — сказал ведьмак, переступивши порог вышеупомянутой бани, — запустили-то все. Не стыдно?

Стыдно было, поскольку управляющий гостиницу свою любил.

Баню в том числе.

Пахло плесенью. И запах этот терпкий не могли заглушить ни душистые можжевеловые веники, ни хлебный квас, которого принесли целую бадью, и управляющий самолично поливал им раскаленные камни. Камни шипели, очищаясь от слизи, которую успели покрыться.

Гудело пламя в печи.

И влажный воздух пропитывался исконно банными ароматами: деревом, камнем и хмелем.

— Ладно, сойдет, — Аврелий Яковлевич стащил рубаху. — А ты, родимый, иди и скажи, чтоб не беспокоили нас... пусть сладенького чего приготовят. И мяса. Мясо после бани — самое оно...

Гавел париться не хотел.

Гавел вообще хотел бы вернуться в ту свою прошлую, пусть и тяжелую, но понятную и простую

жизнь. Да, там Гавел был всего-то навсего крысятником, существом глубоко презираемым, не единожды битым, спасавшимся едино ловкостью своей.

А тут... тут ловкости одной маловато будет.

И баня не поможет, разве что чистым помрет, и все радость.

— Раздевайся, — велел Аврелий Яковлевич, почесывая грудь. — Парить тебя будем.

— Может... не надо...

...опять же гадостей напишут.

...и пусть Гавел, как никто иной, знает, откуда некоторые сенсации берутся, а оттого нисколько по поводу оных сенсаций не беспокоится, но Аврелий Яковлевич — дело другое.

У него ж репутация.

И вообще...

— Надо, дорогой, надо... будем из тебя выбивать.

— Что? — Гавел из широкой, ведьмаком дареной рубашки, выпутывался долго. Собственная его одежда мистическим образом исчезла, поскольку Аврелий Яковлевич заявил, что на одежде этой хватает колдовского черного глаза, и проще оную одежду сжечь, чем очистить.

— Негативное мышление.

— А... разве его выбьешь? — рубашку, которая была столь велика, что Гавел в нее кутался, точно в платье, и чувствовал себя при том едва ли не дитем сопливым, он аккуратненько сложил и пристроил на край лавки.

— Выбьешь, — Аврелий Яковлевич вытащил из тастика веник, березовый, с можжевеловыми колючими ветками, и замахнулся, пробуя на удар. — Ежели с умением.

Распаренные прутья стеганули воздух, и Гавел вздрогнул.

— А... может, все-таки... я привык как-то...

И к негативному мышлению, и к шкуре своей, которая после такого ведьмаковского лечения навряд ли целою останется.

— Не спорь, — Аврелий Яковлевич все ж таки настроен был благостно, а потому до объяснений снизошел. — Вот ты, Гавел, как ни крути, а слишком долго рядом с колдовкою жил. Это как... деревья кривые видел? Искореженные?

Видел, как не видеть, когда на Ершиной улице, прозванной в народе Кривым концом, растет береза, не то ветром перекоореженная, не то бесом земным. Сказывали, дескать, под корнями той березы Ерш Благутич свое золотишко прикопал, а чтоб не досталось оно кому, двух дружков-ушкуйников поставил клад стеречь. Крепко те дружки на Ерша озлились, выбраться пытались из земляной тюрьмы, дергали березу за корни и издергали всю.

Вранье.

Было время, когда Гавел, еще студизусом, лихим, безголовым созданием, бегал на спор под березою ночевать. На полную, между прочим, луну. И мыша с собою взял, белого, из местечковой ведьмацкой лаборатории, которого собирался пожертвовать ушкуйникам, чтоб золото открыли.

Не пожертвовал.

Жалко стало мыша... хороший, ласковый. Сидел в кармане смирехонько, даже когда ветер поднялся и береза затряслась, заскрежетала...

...наутро Гавел, едва не поседевший со страху, мыша отпустил.

А всем соврал, будто бы не открылся ему ведьмачий клад.

Вранье...

И зачем рассказывал?

Аврелий Яковлевич слушал, однако смеяться не спешил, оглаживал бороду, дышал паром. И капельки его оседали на дубленой красной коже.

— Ерш Благутич не зря в народе Лиходеем прозван был. Лиходей и есть. Одаренным родился, да то ли наставник попался ему негодный, то ли сам с гнильцой... не во благо Ерш свой дар использовал. И про золото это...

— Есть оно?

— Есть, конечно.

В бане было дымно. И душно. И горячий пар обнял Гавела.

— На верхнюю лезь да ничего не бойся, — велел Аврелий Яковлевич. — Золото... сундуков семь там стоят, под березою, с Каяшского похода добыча. Тарелки литые, тонкие, из металлу, а все напросвет видать. И кубки такие, которые от отравы колер меняют. Венцы девичьи, бронзалетки, цепочки... ожерелье есть алмазное, где каждый алмаз — с перепелиное яйцо.

— Откуда вы знаете?

Не то, чтобы Гавел ведьмаку не верил, но все ж таки больно сказочно все звучало.

— Откуда? Да видел... тоже по молодости любопытством неумеренным страдал. Я тебе так скажу, что любопытство оно человеку на то Богами дадено, чтобы человек этот мир окрестный познавал, чтобы не зарастал тиной, как колода лежащая...

Аврелий Яковлевич, набравши полную кружку кваса, плеснул на камни.

Зашипели.

Треснули. И воздух наполнился тягучим хлебным ароматом.

— Но иное любопытство опасным бывает. Силушка в крови играла, вот и потянуло померяться, значит, кто сильнее, я аль беспокойники, Ершом клад сторожить поставленные... пятеро их там. Четверо дружков верных и невестушка, да не простого порядку, колдовкою урожденная. Живьем их схоронил, чтоб наверняка, а ее косами к корням березы привязал. Вот, значит, и не

способная она уйти, и мучит дерево, злостью своей корежит... не только его... ежели б ты любопытствия ради заглянул в местную управу, да в архив заглянул...

Аврелий Яковлевич говорил, прерываясь, и по воздуху веником водил, да как-то так хитро, что воздух этот тяжелеет, сгущался, наливаясь жаром.

Жар Гавел ощущал, и все-таки...

...все-таки жар этот был где-то снаружи, отдельно от Гавела. Тот лежал.

Дышал.

И не мог согреться.

— Ничего, скоро... так вот, есть такая наука, статистика, крайне полезного в наших делах свойства... и по оной науке выходит, что на этой самой березе каждый месяц кто-то да вешается, по зиме там пьянчужки мерзнут... или не пьянчужки, бывает, что посидит в кабаке молодец, переберет слегка, но на своих ноженьках выйдет. Только до дому не доберется, под той же березой и найдут...

— Колдовка?

— И ушкуйники. Крепко злятся беспокойнички... а уж оружных-то до чего любят! Ежель сойдутся под березой двое, да у одного в сапоге ножичек, то быть драке до крови... нехорошая это береза, Гавел. И твое счастье, что ты под нею крови не пролил. Не отпустили бы.

— А вы...

— Ну... сила, она порой замест ума и спасает. Но колдовка крепко меня поморочила. Хитрая тварь... все колдовки хитры, горазды на судьбинушку плакаться. Иную послушаешь, так прямо сердце ломить начинает, как это ее, девицу, красу ненаглядную, да так жестоко... а станешь разбираться, и увидишь, что за девицею этой вереница мертвецов стоит... нет, дорогой, запомни, колдовок слушать — себя потерять...

Холод расползался.

Гавел дышал, стараясь глотать раскаленный влажный воздух, он хватал его зубами, давился, но все одно не способен был наесться, чтобы досыта, дотепла. И хлебный аромат кружил голову.

— Спускайся, попарю, — сказал Аврелий Яковлевич, шлепнув веником по ладони.

Ниже?

Гавел замерзнет.

И зачем Аврелий Яковлевич затеял эту баню... было без бани неплохо... и старуху почти не вспоминал, почти смирился с тем, что она такая...

...какая?

Не виновата, что колдовкой уродилась.

Боги так повелели, а куда Гавелу против богов-то? У него и на собственную жизнь прожить

разумения не хватило, чтобы по-человечески, чтобы как заповедано...

Из серого банного дыма вылепилось такое знакомое лицо с узким подбородком, с трещиной рта и переносицей тонкой, горбатой.

Дымные глаза глядели на Гавела с упреком. Разве можно с матерью так поступать, как он поступает?

— Кыш пошла, — Аврелий Яковлевич рассек туманное лицо веником, будто плетью, а ошметки, к ветвям привязавшиеся, на пол стряхнул. И поползли они по полу змеями. — Ишь ты какая... а ты спускайся, надо тебя в порядок привести, а то ж вечер скоро... полнолуние.

Гавел спустился.

О вечере и о встрече с колдовкою иною, настоящей и в полной силе, он старался не думать, хотя и понимал, что от этой встречи, как ни крути, уклониться не выйдет.

Аврелий Яковлевич парил со всем прилежанием, и видно было, что баню ведьмак очень даже жаловал и понимал в ней толк. Он водил веником по-над Гавеловской спиной, почти касаясь кожи, и жар тянулся, обволакивал тело толстым коконом.

— Береза та... если она такая... вредная, то почему не спилят? — молчать было тяжело, мерещилась старуха, хотя и разумом Гавел понимал распрекрасно: неоткуда ей взяться здесь.

— Так дерево-то ни в чем не повинно, — возразил Аврелий Яковлевич, осторожно пробуя шкуру веником. Влажно шлепнули, прилипая на миг к коже, березовые листья, и распаренные до мягкости можжевеловые иглы скорей щекотали, нежели ранили. — Впрочем, кто б стал о березе думать. Повалили б еще в том веке, когда б сумели. Зачарованное дерево не так-то просто спилить. Кому охота взять на себя проклятье посмертное?

Ударов Гавел почти не чувствовал, хотя бил Аврелий Яковлевич от души. Летели брызги. Гудел огонь. И камни на печи сухо потрескивали.

— Да и понимают люди, что ежели дерево свернешь, то и этих... сторожей на волю отпустишь. Они же на живых злые крепко, разгуляются так, что мало не покажется.

— А вы?

— Что я? Я, дорогой мой, не всемогущий. Береза эта много крови выпила, крепко корнями в самое сердце города врослась. Тронь такую, невесть чем оно обернется. Это если жрецов созвать на полный круг... отмаливать дня три, а потом и благословение полное наложить. Только сам понимаешь, что кому оно надобно?

Холод уходил, таял, не то от запаха хлебного, не то от жара раскаленной печи.

— А люди...

— Люди? Люди попривыкли, это во-первых. А во-вторых, жрецам людей на их век хватит. Ежели и убудет несколько, так остальным в назидание.

Это он произнес с немалой злостью, а разомлевший Гавел подумал, что не зря ведьмаки недолгоблывают жрецов. Впрочем, давняя эта нелюбовь была взаимной, возникшей в незапамятные времена, а потому устоявшейся и не мешавшей жить обоим сторонам.

На том беседа и прервалась.

Покряхтывал, охаживая себя веником, Аврелий Яковлевич, Гавел же просто лежал, распластавшись на лавке, чувствуя, как плавится, исходит крупным ядреным потом тело.

Переплавляется.

Меняется исподволь, изнутри... и перемены эти боле не пугали, скорее уж казались чем-то правильным, едино возможным.

— А колдовку вы...

— Мы, — сказал Аврелий Яковлевич, открывая дверь. — В одиночку я с нею не управлюся.

Потянуло холодком, но приятственным. Выбравшись в предбанник, ведьмак опрокинул на голову ведро с колодезною водой и встрепенулся, охнул.

— Тебе полить? — предложил, поднимая другое ведерко, и как ведерко, в такое, небось, четверть бочки влезло. И Гавел торопливо замотал головой, правда, сомневаясь, что его возражения примут. Но как ни странно, Аврелий Яковлевич на сей раз кивнул и ведерко в сторону оставил.

— Как хочешь, — сказал, зачерпывая ковш квасу. Пил смачно, крупными глотками, отфыркиваясь и вздыхая. И Гавелу ковш в руки сунул. — Извести колдовку матерую не так-то просто. Убить-то можно, но и после смерти она покоя людям не даст. Ежели еще и проклянет, а чем сильней колдовка, тем страшней проклятье.

— Тогда как?

— Так, как Лиходей поступил. Привязать гнилую душу к дереву... аль к вещице какой, ежели сил хватит... так что, коль повезет, то будет у нас с тобой зачарованное зеркало.

— А если не повезет?

— А если не повезет, то... хотя бы чистыми порем.

Сказано это было тоном бодрым, заставившим Гавела поверить, что и помирать в компании Аврелия Яковлевича — не так уж и страшно.

Он вытянулся на лавке, борясь со сном, но тяжелая ладонь легла на затылок, и ведьмак велел:

— Отдыхай.

И Гавел подчинился.

Он падал в сон, проваливался долго, сквозь черноту, сквозь землю, пронизанную тонкими белыми корнями, а может и не корнями вовсе, но волосами женщины с бледным хищным лицом. Она вертела головой, чувствуя близость Гавела.

Не видела.

Пока не видела... но вот женщина подалась вперед, раскрывая пустые бельма глаз.

— Ты... — прошипела она, и лицо ее изменилось. Она стремительно постарела, превратившись

в ту, которая...

— Бросил... бросил... — она тянула к Гавелу сухие руки с черными когтями. И он не смел не то, что увернуться — взгляда отвести. Старуха же подбиралась ближе. И Гавел знал, что если она прикоснется к нему, то его, Гавела, не станет.

Выпьют.

Вплетут в тонкие березовые корни.

Заставят беречь чужое клятое золото. И когда растопыренная пятерня почти коснулась Гавеловского лица, он не выдержал.

— Кыш, — Гавел вытянул руку, и пальцы сами собой сложились в некий знак, от которого плеснуло силой, огненной, яркой, сметшей и корни-волосы, и самое березу. — Кыш...

Сила вернулась, наполнив Гавела до краев.

Да так и осталась.

Наверное, это было правильно.

Он открыл глаза и увидел над собой низкий и косой потолок. Светлое некогда дерево от влаги и пара побурело, пошло янтарной слезой. И в ней Гавелу виделось собственное отражение.

Он больше не боялся.

И сила не исчезла.

Напротив, сила теперь была повсюду. В янтарных слезах давным-давно погибшей сосны, в квасе хлебном, в самом воздухе, в земле... в нем, в Гавеле.

— Живой? — со странным удовлетворением отметил Аврелий Яковлевич, протягивая флягу с заговоренным травяным настоем. — И молодец.

— Что вы...

— Нельзя, от одной колдовки не избавившись, к другой соваться.

А он избавился?

Выходит, что так... Гавел помнил старуху, помнил досконально, что лицо ее, изрезанное морщинами, которых не способна была скрыть маска пудры, что руки с длинными кривоватыми пальцами, что тело, пахнущее кислым молоком. Помнил голос визгливый и собственный, ныне необъяснимый перед нею страх...

Воспоминания не мешали.

— Вставай, — Аврелий Яковлевич руку протянул. — Нам еще собратиться... и поужинать не мешало бы.

Гавел встал, покачиваясь не то от силы, не то от слабости.

Дурное состояние, хмельное, но он откуда-то знал, что пройдет. А за дверями бани смеркалось.

И луна, полная, маслянистая, висела над самою крышей гостиницы, того и гляди, рухнет...

Луна звала.

Лихо слышал ее голос днем, мучительно стараясь отрешиться от него. Но луна звала. И нашептывала, что над серыми моховыми болотами ныне ветер разгулялся. Вольно ему.

И Лихо бы на волю.

Выпустить ту, другую, часть своей натуры... он же не волкодлак, а значит можно... и убивать не хочет, всего-то — перекинуться.

Малость какая.

А запахи станут ярче... их так много вокруг. И Лихо закрывал глаза, жадно подбирая каждый.

Сладковатый аромат цветов, в котором каждый бутон пахнет по-своему... пряный запах травы, омытой росами... земли... и куропатки, что сидела на гнезде... собак... эти боялись... людей, лошадей, сена... целого мира в этакой удивительной мозаике.

От мира голова шла кругом.

...а там, на моховых пустошах открываются черные окна багны, выпуская бледноколых водяниц. На вершинах кочек раскрываются мертвоцветы, полупрозрачные бледные цветы.

Лихо помнит?

Помнит тугие их стебли, которые не рвутся, но ломаются, брызжут едким красным соком, будто кровью. И отходит он плохо. И пахнет терпко, сладко.

Мертвоцветы собирают по полной луне, но перед самым рассветом, когда смыкаются тяжелые бутоны, росу внутри запирая...

...Лихо, Лихо...

Шепчет ветер.

Луна.

И та, которая сидит под разбитым молнией дубом. В руках ее — костяная свирель, в ногах ее — навья стая, и древний вожак в дырявой шкуре доходит последние дни.

Он жив лишь ее силой и ее волей, потому как не может стая без вожака. А ты тут, Лихо, в чужом мире, который тебя не примет, потому как больше ты не человек...

...и криво усмехается Волчий Пастырь, идет по багне, опираясь на кривоватую клюку, а на воде остаются вдавленные следы... и тебе надобно за ним...

...или же к ней.

Выбирай, Лихо!

— Нет! — он вырывается из полусна-полуяви, слетая на пол с узкого диванчика, падает,

когтями впивается в паркет.

Выдыхает.

И заходится кашлем, потому как слишком много вокруг незнакомых ароматов, от которых хочется одного — бежать прочь.

...по влажной росе.

...по ломкому вереску, который уже выметнул лиловые колосья цветов.

...по прозрачному березовому лесу... и хмурому ельнику, что вырос на границе Серых земель живую стражей.

...по болоту, сухому мху, что выдержит немалый вес его, Лихо, нового тела... и луна, заглядывая в окошко, смотрит, как корчится на полу, пытаюсь совладать с силой, человек.

Человек ли?

Луна улыбается. И в тених ее проглядывает иное, смутно знакомое лицо.

— Нет, — Лихо все же удастся встать. И глядя на собственные руки, которые все еще больше руки, нежели лапы, он судорожно выдыхает.

Усмиряет силу.

Аврелий Яковлевич обещался, да видно забыл свое обещание... или не забыл, но оставил Лихо наедине с собой, чтоб справился...

Правильно.

Если у Лихо у самого веры не достаёт, то чего о других людях говорить?

Он дошел до ванной комнаты и, склонившись над фаянсовым белым умывальником, вылил на голову кувшин холодной воды. Полегчало. Вода текла по волосам, по щекам, которые по самые глаза уже поросли светлою щетиной, по губам, и Лихо губы облизывал.

По шее.

За шиворот, успокаивая и охлаждая.

Выстоит.

У него иного выбора нет, потому как...

Он упер руку в зеркало и с кривоватой улыбкой, которой несколько мешали клыки, посмотрел на мизинец. На смуглой коже следом от родового перстня выделялся белый ободок.

Выстоит.

Хотя бы этой ночью, потому как без него не справятся...

Луна в окне нахмурилась, и ветер тронул пыльные гардины, но Лихо лишь встряхнул головой: некогда ему шепоток слушать. Дело ждет.

Богуслава очнулась на закате.

Низкая луна смотрела из зеркал. И сами зеркала раскрывались хельмовым чарованным лабиринтом, в котором клубилась сила. Тот, кто жил в Богуславе, эту силу черпал полными горстями...

Он сбрасывал запоры.

И раскрывал туманные пути, выпуская души.

...время пришло.

Глава 12

Демоническая

Ожидание лучших времен с годами переходит в хроническую форму.

Вывод, сделанный паном Залесским, долгожителем, на сто двадцать пятом дне его жизни при одной жизни осмыслении.

Запах гнили стал невыносим.

Себастьян дышал ртом, но все одно не мог избавиться от ощущения, что вот-вот задохнется в этом смраде.

Полнолуние.

И луна круглая, точно циркулем на небе выведенная, не исчезает даже днем. Она смотрится в окна и смотрит из зеркал, заставляя нервничать.

Завтрак.

И панночки странно-молчаливы, точно тоже чувствуют неладное. Смотрят в тарелки. Кривятся. Одна Богуслава улыбается счастливо.

Клементина бледна, если не сказать — сера, губы в лиловой кайме, под глазами — мешки, и сами глаза красные, как бывает после долгих слез...

...а ведь подкинули ее во дворец, к самым королевским покоем, в корзинке плетеной и с записочкой, что, дескать, дитя сие — незаконнорожденное, но крови королевской, и ежели Его Величество вздумает отеческим долгом пренебречь, то свалятся на голову его многочисленные проклятия...

Нет, в самой Клементине колдовского дару ни на грош.

...а не в этом ли дело? Оттого и вернули отцу, а не...

— Панночки, — голос надтреснутый, глухой, но в белоснежной тишине столовой он звучит как-то слишком уж громко. И луны в зеркалах мелко дрожат, готовые в любой момент разлететься на осколки, хоть бы от этого самого голоса. — Прошу вас сегодня не покидать пределы Цветочного павильона.

— Почему? — поинтересовалась Евдокия, отодвигая тарелку с нетронутым завтраком.

Ответа не получила. Клементина поднялась, и следом за ней, повинувшись привычному ритуалу завтрака, встали красавицы.

— Считайте этот день — отдыхом, — сказала Клементина, вымученно улыбнувшись. — Завтра вам предстоит посетить бал в честь...

Она говорила, глядя на собственные руки, которые мяли, терзали льняную салфетку, не способные остановиться. И Себастьян тоже смотрел, подмечая, что руки эти — бледны, а ногти, напротив, утратили исконный розовый цвет, налившись мертвенной синевой.

У панны Клементины было неладно с сердцем.

А может, и не в сердце дело?

Времени остается все меньше.

Тишина. Сам дом будто вымер. И прислуга подевалась... куда? После выяснится. Зеркала плывут, дрожат, но что бы ни было заперто по ту их сторону, держат.

Надолго ли их хватит?

До полуночи — точно, а если повезет, то и дольше. Но в тишине Себастьяну слышится шепоток. Он пытается уловить, откуда тот доносится, но... ничего.

Пустота.

И красавицы, которые сидят в гостиной, глядя друг на друга, молча. Не люди — куклы.

— Чем это так смердит? — поинтересовалась панночка Тиана, зажимая нос пальцами. Воняло и вправду знатно, но Себастьян подозревал, что запах этот слышен лишь ему одному. — Боги всемилостивейшие... вот у нас в городе одного году канализацию прорвало. А все потому, что дожди шли и мэр, не нынешний, а тот, который до этого был, проворовался. Вот там чего-то не то забилося, не то провалилося, и на улицы это самое поплыло. Жуть была жуткая!

Слушают.

Но Тиану ли?

Ядзита забыла о вышивке. Положила на колени и гладит. Смотрит же в зеркало, на луну.

Мазена отвернулась. Виден лишь профиль.

Красивый профиль.

Классический.

Габрисия ходит вдоль подоконника, и пальцы на него положила, словно боится, что если отпустит, то потеряется...

Лизанька, читая очередное письмо, улыбается, но сама не замечает, до чего неестественной выглядит эта улыбка. Да и лицо... маска.

Евстафий Елисеевич не простит, ежели с нею что-нибудь да приключится, и ладно бы Себастьяну, так ведь себе не простит. А у него язва, нервы и сердечко от многочисленных забот пошаливает.

Эржбета прикусила перо и застыла, устремив взгляд на массивную белого колера вазу. В потрескавшейся глазури отражается Эржбетино лицо, престранно уродливое.

Которая из них?

Богуслава мечется из угла в угол. И движения ее угловаты, дерганы. Если и замирает, то ненадолго.

— Голова болит, — жалуется она, хотя никто ни о чем не спрашивает. — Я пойду прилягу...

Уходит.

А время тянется. Цветочные часы отсчитывают минута за минутой, отмечая каждый час боем.

Обед.

И помада на губах Клементины, точно таким вот нехитрым образом она, Клементина, силится скрыть их синеву и собственное волнение.

Ужин.

Время спиралью, сжатой до предела.

Смрад невыносим. И по стенам дома расплзается бурая плесень, которой опять же, никто помимо Себастьяна не замечает...

...Матеуш с букетом роз и сладостями появляется ровно в восемь. Визит поздний, почти недопустимо поздний, но Клементина лишь поджимает губы, размазывая бледную помаду.

А Матеуш одаряет красавиц сладостями.

...колдовка должна быть довольна.

— Ах, хорошо, наверное, быть королевичем, — вздыхает Иоланта, на мгновение отрывая взгляд от очередного зеркала.

— Королевичем? Королевичем — хорошо, — Матеуш с поклоном протягивает ей коробку.

И Иоланта берет конфетку осторожно, двумя пальчиками. Разглядывает долго, нюхает и в сторонку откладывает.

— Боюсь, сладкое вредно!

— Что вы, панночка, впервые слышу, чтобы шоколад был вреден женщинам! — Матеуш целует пальчики Иоланты...

...а она вновь увлечена собственным отражением.

Богуслава ест конфеты одну за другой, и губы облизывает постоянно, точно ее жажда мучит. Эржбета смеется... над чем?

Ах да, Матеуш рассказывает не то очередной анекдот, не то историю из дворцовой жизни, которая порой бывает куда как веселей анекдота...

Мазена слушает. Улыбается.

Сдержана.

И в то же время очаровательна. Древняя кровь против древней же крови. Взгляд Матеуша то и дело останавливается на панночке Радомил. Ненадолго, но ей и малости хватит. Нет, она не пытается очаровать наследника, она лишь использует ситуацию.

Ядзита держится в стороне.

...Лизанька исчезла. И если бы не метка, Себастьян решил бы, что сие исчезновение — исключительная удача, ибо порушенная репутация всяко лучше потерянной жизни.

Евдокия не отходит от сестрицы, которая села в углу и наблюдает за остальными оттуда... светлая кровь. Почему ее не выбили?

Карезмийку убрали.

Гномку.

Целительниц.

А эльфийскую полукровку оставили. Случайность? Или еще одна деталь чужого плана, который Себастьян к собственному стыду так и не понял.

Но скоро уже...

...часы внизу пробили десять.

Странно.

По ощущениям было не так уж и поздно, но Себастьян повернулся к окну.

Темно.

И луна. Куда ж без луны? Разрослась, заполонила весь проем, и чернеют на желтом ее фоне оконные решетки.

— Ах, панночки, — притворно удивился Матеуш. — Время рядом с вами летит как-то чересчур уж быстро...

Он целовал ручки.

Сыпал комплиментами и извинениями...

...поздно уже, и пусть сердце его обливается кровью при мысли о разлуке, но Матеуш осознает, сколь важен для красоты отдых... и что иные злые языки и без того в позднем визите усмотрят что-либо неприличное, а Матеушу вовсе не хочется становиться причиной огорчения прекрасных панночек...

Он говорил.

А Себастьян осознавал, что все решится именно сейчас, поскольку не выпустят Матеуша...

Ему позволили подойти к самым дверям. А когда до них осталось шага три, створки беззвучно закрылись. Белая их поверхность вспучилась змеями ветвей, пол же вздрогнул, разрывааемый корнями.

— И как это понимать? — осведомились Его Высочество, тыкая в корень носком туфли. Следовало сказать, что туфли были модными, с острыми носами, на которые не иначе, как для пущей красоты, крепили стальные пластины.

Корень от королевского пинка загудел.

— Ужас какой! — искренне воскликнула панночка Тиана, в приступе безотчетной паники хватаясь за королевское плечико.

Плечико было вполне себе мускулистым, а сабля в руке Матеуша и вовсе поблескивала грозно. И падать в обморок панночка Тиана передумала.

Во-первых, месиво корней, в которое превратился пол, месиво шевелящееся, живое, выглядело жутковато. Упав в этакое, так после и не поднимешься: или задавят, или сожрут.

Во-вторых, вздумай она упасть на руки Матеушу, тому будет сложно управиться с саблей...

В-третьих, Себастьян выступал категорически против обморока.

Началось.

— Вам следует вернуться, — сказала Богуслава.

Она стояла на вершине лестницы и выглядела...

— Инфернально! — воскликнул Матеуш, шпагу возвращая в ножны. — Панночка, вы прекрасны во гневе...

Льстил.

Богуслава скорее уж выглядела ужасающе, если не сказать — отвратительно. Рыжие волосы ее растрепались, на плечи тяжелыми змеями. На белом, неживом лице хельмовым огнем пылали глаза. Губы распухли, обрели цвет красный, неестественный, будто бы Богуслава не то кровь пила, не то помаду размазала.

Жуть.

— Вам следует вернуться, — она повторила это прежним, лишенным всяческого выражения голосом. — Здесь небезопасно.

Корни расползались, лопались одно за другим зеркала, выпуская тяжелый серый туман. Он не выползал — вываливался влажными клочьями, клубками, и корни замирали.

— Наверх, — велел Матеуш, подталкивая Тиану к лестнице.

— Наверх, — Богуслава изобразила улыбку. — Вас ждут.

Столовая преобразилась.

Задрожал, меняя очертания стол. Черное дерево оплывало, а из-под него выглядывал камень, что характерно, тоже черный...

Смердело нестерпимо.

— Присаживайтесь, — Богуслава указала на кресла. — Еще не время...

Гудели часы, захлебываясь боем.

...розы...

...гиацинты...

...фиалки красного кровавого оттенка... цветы распускались, чтобы тут же увянуть, осыпаясь под ноги пеплом. К счастью, пол остался прежним, каменным, что несказанно панночку Тиану радовало. А вот Себастьян с возросшим беспокойством наблюдал, как на белом мраморе проступают огненные символы.

Матеуш опустился на стул, гобеленовая обивка которого расползалась, старея на глазах. И куски ее падали на пол. Демонстративно надев перчатки, Его Высочество убрали потемневший лоскут с брюк и поинтересовались:

— И когда начнем?

— А вы так торопитесь? — с раздражением отозвалась Мазена.

Панночка Радомил выглядела скорее раздраженной, чем испуганной. Она сидела у окна, ныне затянутого колючими ветвями шиповника, и разглядывала собственные руки.

Тихо поскуливала Иоланта.

Ядзита по-прежнему вышивала, причем торопливо, точно опасаясь, что вышивку эту не успеет закончить. Эржбета с явным интересом оглядывалась, а когда по полу пополз туман, тот же, что и внизу, кисельный, серого колеру, наклонилась, чтобы пощупать.

— Не тороплюсь, — Матеуш ногу за ногу забросил и откинулся на спинку стула. — Просто проявляю любопытство. Да и... ожидать за беседой веселей.

— Ага, — поддержала Тиана, поднимая юбки, уж больно мерзким выглядел туман, а платье, между прочим, ей весьма даже по вкусу пришлось, особенно шлейф милым был. — Вот помнится, у нас в городе...

— Дорогая, — оборвала ее Мазена, — раз уж мы все в скором времени умрем, в чем лично у меня сомнений нет, позвольте вам сказать...

Она сделала глубокий вдох.

— Я ваш город уже ненавижу.

— Почему? — Тиана удивилась почти искренне. И обиделась немного, поскольку родной Подкозельск она любила и в глубине души весьма гордилась им.

— Просто так. Примите это как данность.

Тиана приняла, и юбки подняла еще выше, а подумав, и вовсе на стул с ногами забралась. Хвост ее обвил спинку, придавая хоть какую-то устойчивость.

— Вот зазря вы так, панночка Мазена, — хвост дрожал и кисточка топорщилась, как никогда прежде сделавшись похожей на пуховку, только в черный цвет крашеную. — Подкозельск — город очень даже красивый. У нас там и памятник имеется!

— Козлу?

— Отчего сразу козлу? Генерал-губернатору. Не нынешнему, конечно, а пробатюшке егойному, который через Подкозельск воевать ехал да задержался.

— С чего это вдруг? — Мазена, которой, верно, огненные письма тоже не внушали доверия, вынуждена была повторить маневр Тианы. Вот только хвостом, который позволил бы сохранить равновесие, природа панночку Радомил не одарила. Оттого и в спинку стула она вцепилась обеими руками.

— Влюбился.

— В Подкозельск?

— В прекрасную дочку городского главы... ну и в Подкозельск, наверное, — к стыду своему Себастьян вынужден был признать, что сия страница славной Подкозельской истории оказалась ему неизвестна.

— Вы... вы о чем говорите? — на стул забралась и Иоланта.

Она дышала мелко, часто, а с лица и вовсе спала, того и гляди, в обморок осядет.

— О любви к родине, — ответила Мазена. — И к людям. О чем же еще перед смертью говорить-то?

— Да что вы заладили о смерти, — Ядзита с раздражением воткнула иглу в натянутую на пальцах ткань. — Можно подумать, после смерти жизни нет.

— Можно подумать, есть?

— Конечно, есть!

— И все-таки, панночка Богуслава, — Матеуш хлопнул ладонью по столу, который ныне вовсе на стол не походил, но представлял собой каменный монолит самого зловещего вида. — Возвращаясь к исходному вопросу, просил бы вас внести ясность... посвятить нас, так сказать, в детали злодейского плана. Раз уж время свободное имеется.

— Вы все умрете, — сказала Богуслава, запрокидывая голову. При том она проявила нечеловеческие чудеса гибкости, едва ли не коснувшись затылком спины. На белой шее прорисовались темные вены.

Но королевича сия демонстрация не впечатлила, и сложив руки на груди, он произнес:

— Допустим, это я уже понял. А подробности можно?

Демон задумался. Процесс этот сопровождался активными движениями ушей, оттопыренных и слегка заострившихся, подрагивал подбородок, лоб же панны Богуславы, прорезали глубокие

морщины.

— Вы все умрете в страшных муках, — наконец, произнес он.

— Существенное уточнение, — согласился Его Высочество. — А...

— Пожалуйста! — Мазена взмолилась. — Давайте не станем уточнять, в каких именно муках мы будем умирать!

— Почему? — демон, кажется, обиделся.

— Не подумайте, пан демон, что мы вовсе не желаем знать... или сомневаемся в вашей, так сказать, компетенции...

Демон наблюдал за нею внимательно.

А из уха Богуславы выползла красная ленточка крови...

...долго она не продержится.

— Напротив, — продолжала Мазена, не сводя взгляда с этой самой ленточки, что медленно спускалась по шее к плечу. — Мы все уверены, что в муках — вы эксперт высочайшего класса... и ваши страшные муки — самые страшные...

Демон, несколько смущенный такою эскападой, кивнул.

— А потому мы... воздержимся портить себе впечатление... пусть сюрприз будет.

— Ненавижу сюрпризы, — в полголоса заметила Габрисия.

И Тиана с нею согласилась. В бывшей столовой воцарилось молчание, и слышно было, что хриплое, с какими-то переливами, бульканьем, дыхание демона, что хруст дома, который продолжал преображаться, что всхлипывания Иоланты.

— А вот у нас в городе, — дрогнувшим голосом продолжила панночка Тиана, которая тряслась от макушки до кончика хвоста. И Себастьян, что характерно, трясся вместе с нею.

Во-первых, от чужих эмоций отрешиться было сложновато, да и опасно. Во-вторых, с демонами прежде ему сталкиваться не доводилось. Духи, проклятья, колдовки — это да, было, рутинная обыкновенная работа, которая Себастьяну в целом очень даже нравилась, но вот... демоны...

— У нас в городе демонов нет, — выдавила Тиана и растрепанную кисточку пригладила.

— Демоны есть везде! — возразила Богуслава, сверкнув алым глазом.

— Кроме Подкозельску...

— Если выживу, перееду туда жить, — мрачно заметила Эржбета, на всякий случай подвигаясь к эльфийке.

— Хорошая идея, — Ядзита, кажется, вполне рассматривала и посмертный вариант переселения.

И снова воцарилось молчание.

Евдокия дергала себя за косу, глядя на демона мрачно, небось, прикидывала, сколько канделябров понадобится, чтобы от этого затруднения избавиться. Эльфийка выглядела задумчивой... Габрисия — расстроенной, впрочем, сие было неудивительно. Мазена, осмелев или притомившись сидеть на корточках, стащила туфельку и наклонилась, пытаясь дотянуться до огненных писем. Что характерно, у нее вышло. Письмена мигнули, но не исчезли, а туфелька осталась целой.

И Мазена с облегченным вздохом спустила ноги.

— А и вправду, чего мы ждем? — спросила она.

— Кого, — раздался сухой равнодушный голос. И в обеденную залу вошла панна Клементина, которая, против ожидания, вовсе не изменилась, и в нынешних обстоятельствах оставшись сухой скучной женщиной в сером скучном же платье. — Мы ждем Лизаньку.

Произнесла она это, не глядя на Богуславу.

— Кстати, — Габрисия встрепенулась. — А где она?

— Сбежала, — ответила Тиана, принимая руку королевича, каковой решил проявить галантность и помочь даме сердца слезть со стула. — С любовником.

Кажется, этот вариант событий ни демону, ни Клементине не пришелся по нраву. И если демон рыкнул, изрыгнув при этом черные клубы пара, преотвратно воняющего серой, то Клементина нахмурилась.

— С чего вы решили?

— С того, что зачем без любовника сбегать-то? — резонно заметила Тиана и ручкой помахала. — Пан демон, а вы б не могли в другую сторону дышать?

— Зачем?

— Воняете больно.

Демон обиделся.

И задумался. И сунул палец в ухо, потому как в ухе раздавалось мерное мерзкое гудение, донельзя раздражавшее его. Ко всему с пальцем в ухе думалось легче. А демон, несмотря на то, что относился к существам высшим, бессмертным и могучим, особым интеллектом не обладал, впрочем, по этому поводу сожалений не испытывая. Зачем ему интеллект, когда он высший, бессмертный и могучий?

— Лизанька вернется, — разрешила его сомнения женщина, которую демон был обязан слушать, хотя и не понимал, какое имеет она, хрупкая смертная, право отдавать ему приказы? Но та, что привела демона в мир людей, одарив его вместилищем с почти нетронутой сладкою душой, сумела набросить и путы подчинения. А затем передала их Клементине.

— Знаете, не хотелось бы обижать вас, панна Клементина, — проговорила Тиана, которая сидела на самом краешке стула, демонстративно подобрав юбки, и Матеуш, пользуясь случаем, любовался весьма себе изящными ножками несостоявшейся фаворитки, — однако же на месте Лизаньки я бы повоздержалась возвращаться...

— Дорогая тетушка, — Его Высочество, оторвавшись от созерцания ног, встал и отвесил поклон. — Не скажу, что рад вас видеть... сами разумеете, обстоятельства нашей встречи пробуждают в моей душе некоторые нехорошие подозрения... но быть может, вы разрешите их?

— Ты умрешь, — сухо ответила Клементина.

— В страшных муках, — уточнил демон и снова дым изрыгнул, правда, на сей раз из ноздрей.

— Допустим, — Его Высочество присели, — я умру в страшных муках, но позволено ли будет узнать, дорогая моя тетушка, чего ради? Не думаю, что вы на старости лет...

...при этих словах Клементина скривилась, похоже, старой она себя вовсе не ощущала, о чем Матеуш не мог не знать.

— ...решили пробиваться к трону. Мы с вами, конечно, не так, чтобы особо близки, но вы мне всегда казались женщиной разумной. А потому не можете не понимать, что трон вам не достанется. Есть моя матушка, есть мои сестры... и ежели вдруг возникнет ситуация с моей скоропалительной кончиной, то престол достанется мужу Офелии. Или Гренальдины...

Клементина молчала, глядя на племянника с престанным выражением, словно бы ее и удивляли, и забавляли этакие его рассуждения. Матеуш же, оглаживая рукоять сабли — прикосновение к ней явно успокаивало Его Высочество, которых хоть и изо всех сил храбрился, а все ж переживал — продолжил.

— Ежели, конечно, ваш злодейский план подразумевает ликвидацию всего моего семейства, а я все ж надеюсь, что вы не столь безумны, то возникают вариации... есть кузены со стороны матушкиной ветви, есть двоюродный дядя, который, несомненно, не упустит удобного случая... есть дядины сыновья и родственники куда более дальние, но меж тем с амбициями.

В его словах имелся резон, но Клементина не спешила возражать.

Несговорчивые ныне злодеи пошли.

— Вы, уж простите, дорогая моя тетушка, не входите даже во второй круг претендентов. Будь вы моложе лет на двадцать, возможно, вас бы использовали дабы упрочить браком чью-нибудь позицию, а ныне... старая дева никому не нужна.

— Старая дева, — с расстановкой повторила Клементина. И рассмеялась. — Старая дева...

Она смеялась долго, захлебываясь смехом, до слез, до икоты, а Матеуш ждал.

— Она нас всех убьет, — заметила Эржбета, и Ядзита кивнула, соглашаясь, что именно так и будет. А демон, услышав о смерти, в очередной раз уточнил:

— В муках.

— Пан демон, — Иоланта вытерла глаза. — А если без мук... как-нибудь.

Демон нахмурился. Смерть, особенно чужую, он почитал событием важным, быть может, наиглавнейшем в жизни, а потому подходил к ней со всей возможной серьезностью. Она же в понимании демона исключала кончину легкомысленную, избавленную от длительных мук.

Панночка Иоланта, красоте которой слезы нисколько не повредили, продолжила:

— Как-нибудь так... быстренько... раз и все.

— Быстренько, раз и все... — повторила за ней Клементина. — Раз и нет человека... раз и есть человек... живет себе и живет, никому не нужный. День за днем, год за годом.

— Жаловаться станете? — Матеуш руку с сабли убрал.

И верно. Толку-то от нее.

— Жаловаться? А разве есть мне на что жаловаться, дорогой мой племянник? Я ведь, как-никак, королевских кровей... живу почти во дворце... почти в семье... в достатке... а небольшие ограничения, как выразился дорогой мой брат, мне лишь на пользу... — Клементина говорила это, не глядя на племянника. А он в свою очередь старательно избегал смотреть на тетушку. — В конце концов, разве мало в этом мире людей и вправду обделенных? Лишенных крова, куска хлеба...

— Но зато свободных, — это сказала Ядзита и сказала очень тихо, но была услышана.

— Верно, милая, свободных. Люди почему-то совершенно не ценят свободу...

Демон затряс головой и заткнул пальцем второе ухо, потому как звон, с которым он боролся, не исчезал. Звук был мерзким, на самой грани слышимости, но сколь демон ни старался отрешиться от него, не выходило. Напротив, звон нарастал, раздражая.

И отвлекая.

— Быть может, дорогая тетушка, у вас о ней поэтизированное представление, — предположил Матеуш. — Скажем, вы могли бы быть свободны, ежели бы ваша матушка подбросила бы вас не во дворец, а... скажем, в богадельню святой Матроны... слышали о такой?

О богадельне святой Матроны, расположенной на самой окраине Познаньска, слышали все. Основанная столетия три тому королевой Бригитой Доброй, богадельня была старейшей из заведений подобного толка не только в столице, но и во всем королевстве. Располагалась она на старых складах, время от времени горела, потому как поговаривали, что висело на тех складах проклятие, оттого и продали их за сущие гроши. После пожаров восстанавливалась, открывала ворота, принимая всех — безумцев, стариков, оставшихся на склоне лет без жилья и пропитания, калек, ненужных младенцев. Последних оставляли в каменных корзинах, поименованных в честь добрейшей королевы бригитками. И поговаривали, что младенцы сии рождены везучими, поелику в те давние смутные годы, в которые богадельня была основана, им было бы не выжить. Оставляли детей солдатки, силясь избавиться от такого явного свидетельства неверности, гулящие девки, прежде-то бросавшие новорожденных на улице, да и не только они. Бывало, что появлялись в бригитках младенчики чистенькие, завернутые в батистовые пеленочки, в которые по обычаю клали кошель «на удачу»...

И была удача, правда, свойства весьма специфического.

Младенцы росли. Кто покрепче, то и вырастал, невзирая на холод, царивший в богадельне, на серость, на скудное питание, на учебу в ближайших мастерских, где с учениками-бригитами обращались весьма себе вольно, почитая их за бесплатную рабочую силу. И главное, выходили за двери богадельни отнюдь не королевские экономки, а в лучшем случае швеи да прачки, ежели совсем уж крепко везло, то помощники кухарок...

Свобода?

Да разве ж была она там?

Вот только Себастьян крепко подозревал, что Клементина с его размышлениями не согласится. А потому оставил их при себе. Клементина же, резко повернувшись к племяннику, окинула его нехорошим взглядом. Лишь бы не прибила в приступе благородной ярости... хотя Себастьян крепко подозревал, что убить Матеуша ей не позволят. Кто бы ни стоял за сим выступлением, но на Матеуша у него собственные планы имелись.

А время шло.

Летело просто-таки, отделяя Цветочный павильон от прочего мира, который знать не знал, что творится за закрытыми узорчатыми дверями. И к лучшему, что не знал.

— Быть может, — медленно произнесла Клементина, приблизившись к племяннику так, что широкие юбки ее коснулись носков его сапог. — Быть может, я и вправду мало что знаю о той жизни, но... у них есть выбор.

— Ага, — согласился Матеуш, проводя сапогом по юбке, — до скончания дней своих стирать чужое белье... или же в дом терпимости наведаться, но это только ежели лицом вышла. Хотя вы, тетушка, чего уж греха таить, красивы. Вам в публичном доме очень бы радовались.

Пощечина получилась резкой. Хлесткой. И наверняка Клементина давно уже мечтала о чем-то подобном. А Матеуш с улыбочкой отер разбитые губы, запрокинул голову и произнес:

— Правда, с характером вашим пришлось бы что-то делать... но думаю, воспитали бы.

— Ты... наглый мальчишка, — Клементина отступила, точно самой себе не доверяя. — Ты умрешь...

Демон встрепенулся, и Тиана поспешила добавить:

— Да, да, мы помним, в страшных муках.

Нервно хихикнула Габрисия, а Эржбета лишь головой покачала. В голову эту, к слову, неожиданно пришла идея нового чудесного романа, в которой прекрасная, но очень одинокая некромантка, одержимая жаждой отмщения, вызывает демона...

Страшного.

Но тоже очень одинокого... Эржбета даже задумалась, следует ли с демоном поговорить на отвлеченные темы, дабы лучше узнать его, или же собственного жизненного опыта ее хватит, чтобы выписать достоверный персонаж.

Тем более, опыт этот стремительно пополнялся.

— Значит, все из-за вашей неудовлетворенности... жизнью? — эту паузу Матеуш сделал намеренно.

Злит?

И если так, то получается у него распрекрасно. Щеки Клементины полыхнули, губы сжались в тонкую линию, а глаза почернели.

Колдовка?

Аврелий Яковлевич, которому, к слову, надлежало уже быть если не в самом Цветочном павильоне, то в непосредственной к нему близости, клялся, что способностей Клементины не хватит и на то, чтоб мышь проклясть, не говоря уже о большем.

Ошибся?

Не похоже... она слишком нервозна для колдовки. И боится. Несмотря на непритворную злость, боится, причем, не только демона, который вел себя слишком уж примерно для Хельмовой твари.

— Да, дорогой племянник, — Клементина сумела-таки справиться с гневом. — Все именно из-за моей неудовлетворенности жизнью. А еще неразборчивости в связях, которой отличились, что твой дед, что твой отец... да и сам ты, позволь сказать, недалеко ушел.

При том она одарила Тиану взглядом, преисполненным такой откровенной ненависти, что и Себастьяну не по себе стало.

Женщин он опасался.

Нет, не совсем верно, он опасался женщин, одержимых идеей мести... или в принципе одержимых идеей? Себастьян на секунду задумался, потом попросту отмел этот вопрос, как не имеющий принципиального значения. В данном случае одержимость была весьма конкретного вида.

— Вы позволяете себе слишком многое...

— А вам, тетушка, ничего? Знаете, а ведь вы к отцу несправедливы. Он ведь пытался выдать вас замуж...

— За гишпанского старика?

— За очень состоятельного гишпанского нобиля. А возраст... помилуйте, должны же у жениха недостатки быть! Зато замужнею дамой вы пробыли бы недолго...

Демон заворчал.

Семейная беседа, которая протекала в целом мирно, навела на него тоску. Да и в этом, чуждом мире, существу, порожденному Хельмовой бездной, было несколько неудобно. Тело, которое ему досталось, несколько защищало и от холода мира, и от его упорядоченности, в которой демону виделась смертельная опасность, но чем дальше, тем более неудобным становилось оно.

Тесное.

Неудобное, пожалуй, как бывает неудобна старая одежда, пусть разношенная, но все одно слишком маленькая уже... и демон вырвался бы, но...

Путы колдовки держали.

Приказывали повиноваться. И он, бессмертный и почти всемогущий, вынужден был терпеть. А это для демона, честно говоря, было внове. И он ворчал, вздыхал. Ходил, переставляя такие тонкие, неустойчивые ноги существа, которое было слишком ничтожно, чтобы оценить все величие демона, и в ничтожности своей стеноло, стонало и ныло, отравляя и без того

нерадостное существование. Он бы сожрал никчемную душу, но без нее и тело погибнет. А демон, пусть и не отличался интеллектом, но усвоил, что в мертвом теле еще неуютней, чем в живом.

И остановившись перед алтарем Хельма, демон сунул палец в уха, раздумывая, не пришла ли пора убивать. Он все-таки обещал людям смерть в страшных муках, а к обещаниям, как и к смерти, демон относился очень серьезно.

— Потом, помните, был аглицкий герцог... и тот кхитаец... но вы с возмущением отвергли всех женихов, — меж тем, продолжал Матеуш, не обращая внимания на маневры одержимой Богуславы. — И чем теперь недовольны?

— Я любила и была любима. Но мой брат счел этот брак...

— Мезальянсем, — обрезал Матеуш. — Дорогая тетушка, почему-то вы рассматриваете свободу как возможность исполнить любое свое желание. Вам ли напоминать, что у любого человека помимо его прав и обязанности имеются? К слову, мне моя невеста совершенно не по вкусу, полагаю, как и я ей. Но у нас есть долг перед нашими державами и нашими народами, который мы исполним. И полагаю, мы сумеем договориться друг с другом... после появления на свет наследника, я не стану ограничивать супругу в связях, естественно, при разумном ее поведении... и условии, что связи эти обойдутся без... нежелательных последствий.

— Рассчитываешь на ответную любезность, племянник?

Клементина скрестила руки на груди.

— На равноправие в семье, вам, тетушка, сие должно быть близко и понятно, — Матеуш потрогал губы, которые несколько распухли.

— Лицемеры.

— Объективная реальность, тетушка, такова, что ни я, ни мои сестры, ни вы не имеем права распоряжаться собой, как бы вам того ни хотелось. Допустим, отец разрешил бы этот нелепый брак... и что в итоге?

— Я была бы счастлива.

— Возможно. Есть вероятность, что вы не разочаровались бы в избраннике в первый же год замужества, как то частенько случается. Возможно, он не разочаровался бы в вас... возможно, вы оказались бы просто-таки созданы друг для друга и... что с того? Сестра короля замужем за... за кем, к слову? Бывшим купцом, которому удалось добиться титула? Провинциальным бароном с непомерными амбициями? Помилуйте, тетушка, нас бы просто-напросто не поняли! К вам сватались Радомилы, Кушневичи, Гарошвины... да взять вас в жены был бы рад любой шляхтич королевства, не говоря уже о заграницах. И боги с ними, с заграницами, но разреши отец вашу свадьбу, что он получил бы? Десятки разобиженных князей, которых эта обида сплотила бы?

Клементина молчала.

А ведь не столь она и глупа, понимает все распрекрасно, и про князей, и про политику, и выходит, что сама, собственным упрямством выбрала эту странную стезю, не то старой девы, не то просветленной отшельницы на королевское службе.

— Не слишком ли высокая цена за любовь? — тихо спросил Матеуш. — Король и Совет и без того живут, что кошка с собакой... а ежели до прямой стычки дошло бы, то... кому от того была бы польза?

Она отвернулась, вскинула руки, точно желая защититься от жестоких в своей правоте слов.

— И у вас был выбор, дорогая тетя, и вы его сделали. Только почему-то не подумали, что у каждого выбора последствия имеются. А вы, кажется, не желаете их принимать.

— Замолчи!

— Почему? К слову, я ту историю с вашим сватовством помню... да и отец кое-что рассказывал...

— Он... он... он все разрушил!

— Все ли? Он ведь не угрожал вашему жениху, но лишь сделал ему предложение. Вместо вашей руки руку баронессы Клемицкой с родовым именем и наследуемым титулом в придачу. И поверьте, ваш любимый не стал раздумывать... разумный, в отличие от вас, тетушка, человек.

— Ты... ты лжешь...

— Вы ведь знаете, что нет.

Демон, которого, в общем-то ни о чем не спрашивали, кивнул. Он, в отличие от людей, ложь чуял и находил запах ее прелестнейшим, однако в словах человека лжи не было.

— Он сказал...

— Дайте угадаю. Он сказал, что король против этого брака. Чистая правда, между прочим. А еще, что мой отец ему угрожал... и наверное, не только ему, поскольку собственной жизнью он бы пожертвовал. И быть может, жизнью ближайших родичей... и не ближайших... а заодно уж твоей. И этого-то благородный герой не мог допустить.

— Ты... ты... ты его не знаешь!

— Или ты, дорогая тетушка? — вкрадчиво поинтересовался Матеуш. — Подумай...

— Мы любим друг друга...

— Или тебе так хочется думать. О да, он, конечно, объявился после свадьбы... что на сей раз пел? Что приказ исполнил, пытался жить с баронессой, но понял, что любит лишь тебя, верно? И что там у него — не жизнь, а сплошные страдания?

— Она его не понимала.

— Он сам себя понять был не в состоянии, дорогая тетушка, — Матеуш откинулся на стуле.

А ведь слушает его не только Клементина.

Мазена — само внимание... и Габрисия, и Эржбета, которая аж вперед подалась и собственного любопытства не скрывала. Надо полагать, на этой истории не одну книгу написать можно...

Иоланта перестала плакать.

А Евдокия достала из широких юбок часы на цепочке. Ее сестрица, взгляд которой Себастьян то и дело ощущал на себе, покачала головой. И как это расценивать?

Еще не время?

— Что до непонимания, — Матеуш, кажется, получал от происходящего немалое удовольствие. — То оно не помешало ему сделать баронессе четверых дочерей.

— Ему нужен был наследник.

— Ну да, конечно... кстати, кого мне действительно жаль в этой ситуации, панночка Иоланта, так это вашу матушку. Она подобного супруга не заслужила. А вы, дорогая тетушка... знаете, отец вас и вправду любит, если до сих пор в монастырь не спровадил.

С этим Себастьян согласился.

— И он огорчится, когда узнает, что вы затеяли.

— Если узнает, — поправила племянника Клементина. — Но боюсь, он не узнает... и ты прав, огорчится, увидев, чем станет его сын... правда, уверяю, это огорчение продлится недолго. Он умрет.

— В страшных муках? — уточнил демон, которому все эти разговоры изрядно поднадоели.

— В муках. В страшных душевных муках, понимая, что породил чудовище...

...следовательно, физическая смерть Матеушу не грозила.

И он, восприняв известие весьма спокойно, лишь уточнил:

— Кого воскрешать собираетесь?

— Подумай, — с этой улыбкой, счастливой, но все одно испуганной, Клементина походила на безумицу. А безумицей она и была, колдовка, рожденная без дара. — Ты же знаешь историю.

— Что ж, полагаю, вариантов не так и много, либо Герберт Отчаянный, но с его духом вы побоитесь связываться... да и упокоили его давненько, либо Миндовг...

— Умный мальчик...

— Знаете, тетушка, — Матеуш потянулся, — мне вас немного жаль... так бездарно похоронить собственную жизнь... чего, спрашивается, ради? Кого ради?

Клементина молчала.

— Или вы и вправду надеетесь, что мой славный предок проникнется к вам благодарностью и позволит вступить в брак с... этим? Увольте. Чувство благодарности ему, судя по хроникам, было чуждо, а брак он и вовсе полагал лишним институтом. Кстати, дорогая тетушка, скажите, если вы были так нужны вашему благородному возлюбленному сами по себе, то почему он просто не сбежал с вами? Обвенчались бы в ближайшем храме, и никто, ни жрец, ни отец, не посмел бы сей брак разрушить. Конечно, отец вынужден был бы вас наказать за своеволие... скажем, конфисковал бы имущество, отослал бы в какую-нибудь деревеньку подальше... быть

может, титула лишил бы... но ведь неважно! Главное, любовь, а с милым и в шалаше рай...

Она побледнела, а на щеках проступили красные яркие пятна.

— Вы ведь предлагали, а он отказался, да? Без титула и состояния вы ничего-то не значите... одна женщина из многих...

— Да что ты понимаешь?!

— Ничего, наверное. И не хочу понимать... из-за одного ублюдка, которому не достало или совести, или смелости, погибли многие. Или вы не осознаете, чем обернется возвращение Миндовга? Или осознаете, но наивно тешите себя мыслью, что с ним управитесь? Дух вызванный, подчиненный... и послушный король на троне...

...в этих словах имелся свой резон, но... слишком сложно все для простой подмены, существовали ведь иные, куда более незаметные способы.

И что за интерес колдовке в том, прежнем, короле?

— Хватит, — оборвала Клементина. — Твоя судьба предрешена. Смирись.

— Так я, вроде бы, и не оказываю сопротивления, — Матеуш улыбался широко и радостно, будто бы всю жизнь мечтал столкнуться с духом безумного родственника. — Сiju вот. Развлекаю дам светскою беседой... видите, какой я ныне положительный?!

Клементину, похоже, эта положительность вовсе не радовала, а напротив, внушала закономерные опасения. Она посмотрела на демона, который окончательно ушел в собственные мысли, должно быть, перебирая все известные ему муки в поисках наиболее страшных.

Меж тем часы пробили полночь.

Нет, Себастьян не считал удары, но как-то сразу и вдруг понял: полночь. И то самое время, которого ожидали, пришло. И не только он понял. Красавицы, и до того сидевшие тихо, замерли, дышали и то через раз, не желая лишний раз внимание Клементины привлекать.

Она же погладила черный камень, который к этой ласке остался равнодушен. Из складок серой юбки появился кинжал, что характерно, тоже черный и вида самого зловещего, с клинком, изогнутым, словно язык пламени. Лезвие вспороло кожу Клементины, и на алтарь упали первые капли крови.

Касаясь камня, они вспыхивали и стогали, а на боковинах алтаря, вязью тьмы, свежими ранами ее, проступали руны.

Копье смерти, устремленное вверх, к небесам, словно вызов.

И дорога, что разделяется на две...

Колесо перерождения.

Пламя, запертое в круге, ограниченное...

И пятая, рогатой короной Хельма, заставившая демона преклонить колени.

Запах гнили сделался невыносим. Да и не только гнилью пахло, но тленом, кладбищем, смертью, которая была рядом. Близость ее заставляла дышать глубже, упиваясь самой этой возможностью, цепляясь за мгновенья жизни. Не страх.

Предвкушение.

— Что это, дорогая тетушка? — поинтересовался Матеуш, изрядно побелевший. Пусть и человек, но он всяко ощущал, сколь истончилась грань миров.

...с той, иной стороны, за Себастьяном наблюдали. Впрочем, не только за ним, но за всеми, и смотревший удивлялся тому, что эти нелепые существа-мотыльки, с жизнью их беспокойной, суетливой, еще не исчезли из мира.

Удивлялся и... радовался?

Себастьян слышал отголоски его радости, тяжеловесной и с душным запахом крови... слышал и надеялся, что грань не истончится настолько, дабы ощутить все эмоции того, кто, пусть и проклятый, но все же был богом.

— Это, — Клементина прижала раскровавленную руку к камню, который пил, не умея напиться досыта. — Это Исконный камень, правда, тут его больше знают, как Хельмов.

Легенда? Алтарь, сотворенный самим Проклятым богом, от крови его? Способный, если не вызвать Хельма в мир, то зачерпнуть исконной божественной силы...

...и вот что вывозили Хельмовы жрецы, вот за что откупались жизнями колдовок и младших служек...

...почему не в Хольм? Побоялись отдавать реликвию тем, кто слишком безумен даже для отмеченных Хельмом? Или же, напротив, побоялись, что не довезут? Война. Граница на замке. А алтарь — не Вотанов крест, он поболее будет... и потому спрятали.

Хорошо, хельмовы твари, спрятали.

На самом видном месте.

Как-то даже неудобно стало, что за этим самым, исконным и божественным, Себастьян спаржу ел. И шпинат. И кабачковые оладьи. Вот на месте бога Себастьян за оладьи точно оскорбился бы.

...забавный.

Не надо было думать о Хельме. Недаром говорят, что только помяни... и Себастьян не без труда, но выдержал тяжесть божественного взора. Его раздевали, сдирая слой за слоем... одежду, которая ныне самому казалась нелепой, кожу, мышцы... снимали, не пытаясь не причинять боли.

Себастьян терпел.

Вдруг оказалось, что он способен выдержать очень многое.

...забавный.

Хельм отвернулся. И Себастьян получил возможность дышать. Легкие горели. И сердце сбоило,

грозя остановиться в любой момент. Но ничего, работала пока и... наверное, если сам Проклятый назвал забавным, это комплимент?

— Алтарь имеется, — задумчиво произнес Матеуш. — И кого вы на него положить собираетесь, тетушка?

Вопрос был из разряда риторических.

— Ах да, конечно... прекрасные девственницы в ассортименте...

Подумалось несвоевременно, что права была Иоланта, девственность и вправду крайне опасна для жизни, а потому, ежели все закончится благополучно, Себастьян постарается от этой, благоприобретенной девственности, избавиться.

А то мало ли...

— С запасом брали, дорогая тетушка.

— Увы, — развела она руками. — Никогда не знаешь, какую он цену возьмет. Ядзита, будь добра, подойди...

...она?

— Нет, — Ядзита ответила тихо. — Я не стану этого делать.

— Станешь, дорогая моя, — Клементина сама шагнула к ней и темными от крови пальцами по щеке провела. — Конечно, станешь... ты ведь делала уже... ты приносила ему жертвы.

— Птиц. И животных.

— Человек — то же животное, просто ходит на двух ногах.

— Нет.

— Ты не умрешь, дорогая. Не так много осталось тех, кто отмечен Его благодатью... не бойся. Просто воспользуйся своим даром... — голос Клементины звучал мягко.

А ведь и вправду не убьют.

Прочих — быть может, если не как жертв, то как ненужных свидетельниц, а Ядзита... нужна, не сама она, но семейный ее дар. Вот только она приняла решение.

И смерти не боится.

Для таких, как Ядзита, смерти не существует вовсе. Заставить? Заставят. Ядзита не понимает, какой может быть боль...

— Не надо упрямиться... — продолжала увещевать Клементина.

Сладкий голос, сахарный просто-таки. Демон ворчит, не смея отвести взгляда от алтаря. И тот, кто на другой стороне мира, наблюдает. С ленивым интересом, с неким странным подобием благодарности, поскольку собственное его существование было несколько однообразно.

Ядзита обернулась, и Себастьян осторожно кивнул, надеясь, что жест этот будет истолкован

верно.

— Дорогая, пойми, — Клементина вцепилась в подбородок, заставив Ядзиту задрать голову. — Мы можем тебя заставить. Причинить боль. Обречь на смерть...

— В страшных муках, — напомнил Себастьян.

— ...и все одно добьемся своего. Не упрямься.

— Я... пообещайте, — Ядзита сглотнула, — пообещайте, что она умрет... быстро... и без боли...

Демон поморщился, не одобряя подобный вариант. Тому, кто наблюдал, было глубоко безразлично, как именно умрут в его честь, а панна Клементина ответила:

— Это, дорогая, будет зависеть исключительно от тебя...

Глава 13

В которой дом выворачивается наизнанку и творятся иные преудивительные вещи

Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с вами уже не случится.

Весьма спорное утверждение.

Лихослав почти успел.

Окно стремительно зарастало ядовитым плющом. Из-под глянцевого покрывала листы проглядывали острые колючки весьма внушительных размеров, и Лихо подозревал, что если такая поцарапает, то зудом и сыпью дело не ограничится.

Плющ расплзался.

Он цеплялся за стену тонкими зелеными побегами, за которыми тянулись тяжелые одревесневшие ветви. И ноздри щекотал слабый аромат дурманника.

— Эк у вас тут весело, — заметил Аврелий Яковлевич, доставая из кармана кашемирового палито часы. Палито было солидным, с кротовым воротником, и мех мягко переливался, поблескивал. Часы тоже выглядели богато, и тоже поблескивали, правда не мехом, но камушками. — Еще десяти нет, а уже начали... торопятся, паскудины.

— И что теперь? — Лихо палито и часы раздражали, как и собственная беспомощность.

— А ничего, — Аврелий Яковлевич брегет вернул на место, отер наверхи трости платочком, а саму трость сунул невзрачному человеку, которого Лихо заметил только теперь. — В гости пойдем.

От человека пахло травами.

Держался он робко, сутулясь и стараясь не выходить из тени старого ведьмака. Кто таков? А какая разница, ежели пришел, значит, надо так. Аврелию Яковлевичу Лихо доверял, не сказать, чтоб вовсе безоглядно, но крепко.

— Так не пустят же ж, — заметил он, успокаиваясь.

— Это ты, Лихославушка, просто просить не умеешь, — и ведьмак решительно направился к дому, к двери, только не парадной, самым причудливым образом исчезнувшей, но к задней, которую прислуга пользовалась. Впрочем, плющ успел и до нее добраться. Что характерно, растению Аврелий Яковлевич не понравился крепко. Листья зашевелились, с шелестом, будто шепоточком, и из-под них выглянули острые иглы.

— Шалишь, — погрозил пальчиком ведьмак. — Нехорошо, дорогой. Там люди нас ждут... волнуются...

К увещаниям плющ остался глух. Разве что иголок прибавилось.

— Что ж, сам виноватый, — Аврелий Яковлевич, перехватив трость, наклонился и дыхнул...

...листья желтели и, стремительно иссыхая, сворачивались в трубочку, осыпались. Черные язвы расплзались по побегам, и острые иглы обращались в пепел.

— Чего ж вы такого пили-то, Аврелий Яковлевич? — осторожненько поинтересовался Лихо, на всякий случай от ведьмака отступил.

Мало ли... волшба — дело такое, ненадежное, он ненароком дыхнет, а Лихо потом пожелтеет... и ладно, если только пожелтеет.

— Да так, по малости, — рассеянно ответил ведьмак. Ежели он маневры крестника и заметил, то оставил без внимания. — Далее пойдем — меня держись... и еще, Лишек, аккуратней там... ты-то ныне, может, и силен, но... помнишь?

Ведьмак коснулся груди.

Лихо кивнул: помнит, как забыть?

— По правде говоря, надо было бы тебя тут оставить, так оно мне спокойней было бы, но... есть у меня ощущение, что пригодишься ты. Так что, извиняй, ежели вдруг...

— Ничего, Аврелий Яковлевич. Я бы все одно не остался.

И ведьмак, кажется, это распрекрасно понимал.

За дверью жила темнота.

Она колыхнулась навстречу Лихо, спеша обнять его и ощупать. Она заговорила голосом ветра и старых немертвых деревьев... она забралась в самое душу, вытягивая из нее потаенное.

...запахи, звуки...

...ощущение бега, плотного покрывала мха под ногами...

...не ногами, а...

...слепые глаза болотных озер, и след, что вьется по мху, ведет туда, где живые... живое...

— Брысь, — сказал Аврелий Яковлевич, и рука его тяжелая на плече заставила Лихо очнуться. — Аккуратней, крестничек. Помни, что в случае чего, то я самолично...

— Помню, — Лихо потрогал языком клыки. — Спасибо, Аврелий Яковлевич, и... в случае чего,

вы уж не медлите.

Ведьмак хмыкнул.

А он и вправду не станет медлить. Дунет, плюнет, дыхнет ли гнилью, тростью ли огреет, да со всем прилежанием. Тросточка-то, небось, заговоренная... и к лучшему.

Хотя вот помирать Лихослав не собирался.

Темнота ластилась, она отступила, не смея перечить ведьмаку, опасаясь силы его, но все же была слишком близко. Протяни руку и отзовется, окутает мягким туманом, даст свободу...

— Прочь, — прошептал Лихо, но Аврелий Яковлевич услышал:

— Гони, крестничек... гони...

В доме пахло бойней.

И на пустых зеркалах проступала бурая роса, точно слезы...

— Они и есть, — Аврелий Яковлевич отер зеркало платком. — Призраки тоже способны боль чувствовать... ничего, скоро...

Платок он положил на ладонь, расправил аккуратно, а из-под полы палито извлек табакерку, из табакерки же — желтоватую косточку.

Кровь впитывалась в нее, а косточка светлела, пока вовсе не обрела колер белый, яркий.

— Януса, — позвал Аврелий Яковлевич. И тьма, лежавшая у ног его поднялась, вылепляя фигуру девушки в белом платье старинного крою. — Януса, слышишь?

— Слышу, ведьмак.

— Отведешь?

— Конечно.

Она ступала, невесомая, полупрозрачная, но старый паркет прогибался, не способный выдержать вес ее тела. И тьма, которая тянулась за Янусей, была иного свойства.

Чернота боялась черноты.

Чернота черноту пожирала, и сам дом замер, ожидая, кто победит...

...до лестницы и вверх, на второй этаж, мимо дверей, на которых проросли туманные цветы. Маргаритки, фиалки, пионы тянулись к Лихо, изгибались причудливо, словно норовили заглянуть в глаза, хотя сами были слепы.

Пока еще.

Надулись пузыри зеркал, запирая туманное марево, но пленка истончалась, зеркала лопались, выплескивая туман под ноги. И Аврелий Яковлевич шел по нему, не обращая внимания, что под лаковыми его штиблетами туман скрипит, будто свежавыпавший снег.

— Крестничек, не отставай, а то заблудишься, — сказал ведьмак на очередном повороте, и дом, спеша убедить Лихослава в правоте этих слов, вывернулся на изнанку.

Только беззвучно сыпанули холодными брызгами уцелевшие зеркала.

— А... мы где, если позволено будет узнать? — поинтересовался Лихослав, трогая стену, которая преображалась. Лохмотьями сползали новые, с золочением, обои, выступала из-под них шелковая ткань, будто бы и красивая, но гнилая.

При том, что выглядела ткань эта целой, и даже тускло переливалась, Лихо знал — гнилая.

— Мы, дорогой крестничек, нигде, — сказал Аврелий Яковлевич, сжимая трость. — А уж где именно это самое «нигде» находится, лучше бы тебе не знать. Луну слышишь?

Слышит.

Да и как не услышать-то, когда она — набатом. Гремит, гудит в голове, перебивая нервный стук сердца. Дышать получается через раз, и Лихо всецело сосредотачивается на том, чтобы не задохнуться.

И человеком остаться.

— Мне он нравится, — Януся положила руку на плечо Лихослава, и тот вяло удивился тому, что в этом самом нигде рука ее тяжела и тепла, будто бы Януся все еще жива.

— Жива и есть, — отозвался Аврелий Яковлевич. — И аккуратней с мыслями, местечко-то... особенное...

Плач раздался. Плакали горько, навзрыд, и рука Лихо сама к клинку потянулась.

— Не надо, — Януся руку придержала. — Они не причинят тебе вреда.

— Пропустят? — уточнил Аврелий Яковлевич.

И девушка, которая не была ни мертвой, ни живой, кивнула.

Пропустили.

Выходили из-за дверей, женщины-цветы, вставали на пороге, смотрели... и Лихо тоже смотрел, не смея отвернуться...

Януся же называла имена.

— Ольгерда...

...смуглая высокая женщина, в волосах которой прорастали незабудки. И не только в волосах. Цветы пробивались сквозь кожу, заполняя собой рваные раны...

— Ярослава...

...бледная, полупрозрачная хризантема, которая расцветает во рту, словно затыкая этот самый рот...

— Аннуся...

...рыжеволосая, пламенеющая, связанная колючими стеблями роз...

...их было много... Лихо шел, коридор длился, женщины смотрели, шептали... он не мог разобрать слов, как ни силился, но знал: просят свободы.

Они долго умирали, но и после смерти оказались привязаны к этому дому.

И если присмотреться, если очень хорошо присмотреться к цветочным стеблям, то Лихо увидит, что уходят они сквозь пол, переплетаются зелеными путями, тянутся...

...куда?

Туда, куда ведет Януса. И кто бы ни была та, которая держит эти плети в руках, она сильна, быть может, сильнее Аврелия Яковлевича и хмурого его помощника...

Ничего.

Как-нибудь. Страха нет, потому что Лихо должен прийти, пусть и по изнанке лабиринта...

Себастьян чувствовал себя несколько неуютно.

Время шло, а Аврелий Яковлевич не появлялся. Нет, конечно, могло бы случиться, что ведьмак затаился где-то поблизости, дожидаясь момента подходящего, на что Себастьян весьма себе рассчитывал, но могло быть, что его и вовсе уже в живых не было.

Этот вариант был печален, и Себастьян старался на нем внимания не заострять.

В конечном итоге, что ему еще оставалось делать?

Демон шумно вздохнул и, вытащив палец из левого уха, воткнул в правое. При этом рот Богуславы приоткрылся, отчего вид у демона был, мягко говоря, странный. Свободной рукой он поглаживал живот и бормотал себе под нос что-то, а что — не разобрать.

Клементина же, подведя Ядзиту к алтарю, вручила ей нож, сама же обернулась, окинув притихших красавиц взглядом.

— Ты, — она указала на Габрисию, которая разом побелела.

— Простите, панна злодейка, — влезла Тиана, — а можно лучше я?

Клементина нахмурилась, пораженная таким неожиданным проявлением инициативы.

— Вы не подумайте, панна злодейка, я тоже девица... вот вам крест! — и Себастьян с преогромным наслаждением отметил, как от этого креста, весьма, надо полагать, искреннего, хоть прежде ненаследный князь в Вотанавы храмы разве что на праздник заглядывал, демона перекосило. — У меня и амулетик есть! Дядечка повесил, чтоб, значит, честь девичью понадежней сберечь!

Себастьян вытащил амулетик и сунул под нос Клементине.

— Дядечка у меня ну очень заботливый. Так и сказал, что тебя, дорогая племянница, люблю крепко, но уж прости, доверия к девке у меня нету. При дворцах полно всякое швали, опомнится не успеешь, как голову задурят да на сеновал поволокут. А кому я, после сеновала-

то нужная буду? Только и останется, сироте несчастной, что помереть от позору...

— Это как? — поинтересовался демон, в коллекции смертей которого этакой не значилось.

— Это очень мучительно! — с готовностью пояснила Тиана, пряча амулет в декольте. — Так что, панна злодейка, можно, чтобы я вместо нее?

— В жертву? — уточнила Клементина, будто бы имелись иные варианты.

— В жертву!

— Вам так хочется?

— Ну... не сказать, чтоб очень уж хочется, только ж вы правильно поймите, панна злодейка. Нам тут давече смерть обещали в страшных муках. Верно?

Демон важно кивнул, подтверждая, что так оно и будет, когда ему позволят. А в том, что ему позволят, у Себастьяна сомнений не было.

— А я муков всяких, даже если не очень-то и страшных, боюсь жуть! Вот у нас в городе как-то одного пьяницу телегою переехало! Нет, он сам виноватый был, нажрался, что скотина и заснул на обочине. Я-то сама не видела, но дядечкина жена рассказывала, ейная подружка самолично при том была, как тело на подводу грузили... но так я ж не об этом, а про тое, что мне от одного рассказа подурнело.

Клементина смотрела.

Молчала.

— Вот я и подумала, чего ждать-то? На алтаре, небось, быстренько зарежут, как тую куру... топориком по шее тюк...

— Топорика нет, — этакая недоработка Клементину смутила. — Нож только.

— И ладно, пушай нож. Тогда ножиком тык и все... я, может статься, вовсе ничего не ощую. Глаза вон закрою себе, а открою уже в Иржениных владениях... маменьку свою там повстречаю... будем с нею сидеть под вишней и чай распивать.

Тиана вздохнула. Маменьку она помнила плохо, но от чаев не отказалась бы, пусть и без вишни...

...тот, который смотрел извне, оценил. И его одобрение тоже причиняло боль.

— Вы не думайте, панна злодейка, я ж не глупая, небось, я ж понимаю распрекрасно, что все помрут, вот и хочу, чтоб без мучений... — Тиана встала. — Я и до алтарю сама дойду...

Дошла, сопровождаемая взглядами недоуменными.

— И залезу... пан Матеуш, отвернитесь. И вы, пан демон, уж будьте так любезны... алтарь же ж высокий, юбки задирать надобно, а я — девушка приличная... помирать вот собираюсь... и смертушка моя пушай тоже приличную будет... а то потом еще к Иржене Благословенной не примут... скажут, что, мол, раз перед смертью на мои ноги пилились, то и нет мне пути в ея чертоги!

Как ни странно, но подобная аргументация оказалась демону близка и понятна.

— Она что, в самом деле? — глухо поинтересовалась Мазена, которая уж точно не собиралась смириться с собственной участью. Правда, как именно избежать смерти, и вправду весьма мучительной — о повадках демонов Мазена была наслышана — она не представляла.

Нет, на самый крайний случай у нее имелась особая булавка...

...но Мазена хотела жить.

— Ужас... — всхлипнула Иоланта и все-таки упала в обморок, прямо на руки Матеуша. Не то королевич оказался тренированным к таким случайностям, не то панночка приноровилась сомлевать исключительно в условиях, когда о ней найдется, кому позаботиться.

Матеуш держал бессознательную панночку и озирался, верно, весила она, несмотря на умеренную за последний месяц жизнь, немало. И Его Высочество с преогромным удовольствием отнес бы красавицу, скажем, на козетку, однако козеток в комнате не было, и вообще ничего-то, помимо стульев и зловещего алтаря, который вовсе не был предназначен для сомлевших девиц.

Себастьян смутно подозревал, что тот, чей внимательный взгляд мешал ему жить, предпочитал девиц бодрых...

— Одну минуточку! — Тиана, подхвативши юбки с алтаря соскочила. — Сейчас я ей помогу... это ничего... это от волнения... вот дядечкина жена, она тоже все говорит, что дескать у нее душевная организация тонкая, а ни разу в обморок не упала. А почему? А потому, что здоровая она, как кобыла-трехлетка...

Задравши юбку высоко, так, что стали видны и ножки, и шелковые чулочки золотистого колеру, и подвязки, и плоская фляжечка, за подвязку засунутая, Тиана фляжечку вытащила.

— Что вы творите? — прошипела Клементина.

— Я? Ничего не творю, сейчас ей полегчает, а то ж пропустит все... — Тиана сунула пальцы Иоланте в рот.

И флягу прижала, наклонила, заставляя сделать глоток.

Иоланта сделала.

Закашлялась.

Захрипела и попыталась руки оттолкнуть, но не тут-то было...

— Самогон! — громко сказала Тиана. — Дядечкин! Двойного прогону! Первейшее средство супротив обморока и нервов...

— Вы носите с собой самогон?!

Надо же, сколько возмущения...

— Ношу, — Тиана не смутилась, но лишь похлопала уже окончательно пришедшую в себя Иоланту по щекам. — Жизнь, она такая... волнительная... мало ли, чего приключится? Вдруг разволнуюсь, а самогону под рукой и нет? Что тогда?

На этот вопрос Клементина не нашлась, что ответить.

— Вы...

— Да, не переживайте вы так, панна злодейка, — флягу Тиана сунула Иоланте, которая теперь тихонько икала. — Я уже все, возвращаюсь... только вы не торопите...

На алтарь она взобралась куда как ловчей, чем в первый раз, видать, опыт сказался.

— А мне сидеть или легчи можно?

— Лечь, — Клементина все еще хмурилась, возмущенная этакой девичьей вольностью. Можно подумать, она зарок давала в жертву исключительно трезвых девиц приносить.

Но спорить Тиана не стала, улеглась на алтаре, поерзала.

— Жестко, — пожаловалась она. — И узковат маленько... ладно, я в кости неширокая, а вон, скажем, Ядзите, той вовсе неудобственно лежать было б. Не повернешься даже.

— Зачем ворочаться? — Клементина приблизилась, но встала у изголовья, так, что Тиане, беседа с дорогой наставницей, пришлось выворачивать голову.

— Ну мало ли... нет, я понимаю, что вот тут у вас действо... свои планы... но вот представьте, скажем, что положили вас на алтарь...

...этакое Клементине представлять не хотелось.

— И вот вы лежите, готовитесь морально, как приличной жертве полагается, а тут раз и в боку засвербело. Или пятка, скажем, зачесалась... и что делать-то? Вот как-то с зудящею пяткой торжественность моменту теряется...

Демон фыркнул.

Мазена, прижав руки к вискам, отстраненно произнесла:

— Знаете... мне как-то даже жаль, что она помрет... этакая редкостная дурость...

— Сами вы, Мазена, дура, — обиженно отозвалась Тиана, которая ерзала, стараясь улечься на алтаре пряменько, аккуратненько, как должно лежать пристойной жертве. Но не выходило. Во-первых, алтарь и вправду был невероятно узким, и каждое движение грозило панночке Белопольской позорным падением. Во-вторых, на алтаре категорически не желал уместиться хвост. Он сползал то на одну сторону, то на другую, повисая печально, и пуховка щекотала огненные письма.

— Все, — сказала Тиана, сложивши руки на высокой груди. — Улеглась я. Красиво?

— Очень, — демон обошел жертву стороной. Уж он-то в девственницах толк знал, правда, до сего дня ему не попадались такие, чтобы сами на алтарь лезли и с полным осознанием серьезности момента. Оттого к Тиане демон преисполнился уважения.

И старательно расправил складочки платья. И руки передвинул чуть ниже, на живот, а когда панночка приоткрыла глаз, черный и лукавый, как сама предвечная бездна, демон пояснил:

— Бить надобно в сердце, а сквозь руки неудобно.

Этот аргумент Тиана уважила.

— Может, медальон снять? — Клементина встала по левую сторону алтаря. — А то вдруг помешает.

— Не снимается, — вместо Тианы ответил Матеуш. — Уж больно зачарованный.

— Ничего, я его в стороночку сдвину... вы ж меня в жертву приносить будете, а не...

Демон кивнул, что именно так, именно в жертву, а все остальное — сие исключительно фантазии неких дев... одна из искомых дев густо покраснела, представив ключевую сцену новой истории, в каковой бедную жертву демон лишит невинности прямо на алтаре...

...жертва сопротивлялась. Сначала.

— А вы заклятье читать будете? — поинтересовалась Тиана, вновь глаза закрывая. — Если будете, то тогда не над ухом, ладно? А то я жуть до чего не люблю, когда над ухом болбочут... отвлекает.

Тиана немного поерзала и, выдохнув, сказала:

— Усе. Режьте. Готовая я...

...далеко, за гранью рассмеялся тот, чье имя Себастьян поклялся более вслух не произносить. И смех его заставил содрогнуться, что дом, что черный алтарь, что демона.

Клементина посерела.

А Ядзита закрыла ладонями уши.

— Он...

— Он рядом, — сказал демон, сгибаясь в поклоне. — Он грядет!

И Клементина заговорила. Себастьяну не был знаком этот язык, сухой, ломкий, слова которого легко слетали с губ серой панны.

С каждым — грань истончалась.

Ядзита, закрыв глаза, принялась раскачиваться и медленным, будто бы танцующим шагом, приблизилась к алтарю. Бледная кожа ее стала еще белей, под нею проступили черные ленты сосудов, а губы посинели, словно у покойницы.

— Эк вас... — пробормотала Тиана, которая, однако, лежала смирно, не делая попыток алтарь покинуть. Вряд ли бы ей, конечно, позволили, но все ж...

Мертвенным пламенем полыхали письма.

Мелко дрожали стены... и Ядзита, зачарованная не то заклятьем, не то музыкой, которую слышала лишь она, занесла нож. Кривое лезвие скупно блеснуло в лунном свете.

И опустилось, чтобы отскочить от плотной чешуи.

— Извините, — сказала Тиана, широко улыбаясь. — Эт у меня нервическое... одни сыпью

покрываются, другие — чешуей...

Плотные четырехгранные пластины расплзались по груди, по плечам, заковывая хрупкое девичье тело в непробиваемый панцирь. Ядзита вновь ткнула кинжалом, но скорее для остротки, а может из любопытства.

Клинок скрежетал, оставлял царапины, но чешую пробить не мог.

— Ты... — Клементина стиснула кулаки. — Ты... наглая подлая девка...

— Извините, — в голосе Тианы Белопольской не было и тени раскаяния. — Я не нарочно. И вовсе я даже не наглая! Я просто в себе уверенная и с пониманием. В нынешнем-то мире, панна злодейка, иначе никак. Сиротинушку каждый-то забидеть норовит...

Она даже всхлипнула от жалости к себе, забиженной, и вытерла слезы пуховкой хвоста...

...Евдокия поняла, что она или окончательно сошла с ума, или находится в процессе, который близок к завершению. И главное, что даже сумасшествие у нее не обыкновенное, а какое-то яркое, с подвывертом...

Частью его был дом, который перестал быть домом, но стал чем-то, чему у Евдокии названия не имела. Главное, что это нечто было живым и вполне себе разумным. Оно наблюдало, что за красавицами, что за Евдокией, что за Клементиной, что за Себастьяном.

Он, в обличье панночки Белопольской, сидел на алтаре, свесивши ноги, и ногами этими в воздухе мотал. Ноги, что характерно, были женскими, в шелковых чулочках. Правый съехал, зато на левом поблескивала кружевная, золотой нитью расшитая, подвязка. пышные юбки задрались, позволяя разглядеть и ноги, и чулочки и злосчастную подвязку, однако же собравшиеся взирали не на них, но на плечи панночки, покрытые плотной черной чешуей.

С узорчиком.

— Он все-таки красивый... — вздохнула Аленка.

— По-моему, не об этом думать надобно, — Евдокии хотелось огреть будущего родственника сумочкой, благо, нынешний ридикюль получился увесистым, весьма себе пригодным для вразумления. — Нас тут убивают, а он...

Комедиант несчастный.

— Ну... пока не убивают.

Возражения Аленки имели под собой резон, но все одно...

— Слезай, — велела Клементина, но строптивая девица головой замотала. Покидать алтарь потенциальная жертва не собиралась.

И для надежности в край вцепилась обеими руками.

— Помогите! — она попыталась Клементину пнуть, но та от пинка увернулась. — Меня законного места лишают! Я, может, полжизни мечтала, чтоб меня на алтаре зарезали...

— Странные у вас мечты, — голос Мазены дрожал и отнюдь не от страха.

— Какие уж есть... а то потом же ж скажут, что, мол, раз с алтаря сняли, то она, сиречь я, может, и вовсе не девицею была. Небось, девицами демоны не брезгают, а я... а вот за ноги, пан демон, меня хватать не надобно! И хвост в покое оставьте! Я верю, что лично вы мною вовсе не побрезгуете, вы-то, пан демон, с пониманием, не то, что некоторые...

Нет, безумие было всеобщим.

И вполне себе уютным, поэтому Евдокия перехватила ридикюль поудобней и принялась ждать развития событий...

— Хватит! — рывкнула Клементина, и от голоса ее зеркала лопнули.

Беззвучно.

И выплеснув на пол, на огненные знаки, белесый туман, а на него, будто бы на коверную пушистую дорожку шагнул странный господин в палито и с тросточкой. Господин этот был высок и массивен, смугл не от природы, но от загара, такого, который появляется на взморье, въедаясь в кожу намертво. В окладистой бороде его вились серебряные нити, и сама эта борода была широкой, пушистой и ухоженной.

И как-то вот сразу господин Евдокии понравился, хотя ведьмаков она недолюбливала, но именно этот внушал ей доверие. Быть может тем, что следом за ним на ковер из тумана шагнул Лихослав?

— Ваша правда, Клементина, — густым басом произнес ведьмак, и тросточку на пол опустил со звуком мерзотным, дребезжащим. — Как есть — хватит... спасибо, Себастьянушка.

— Да не за что, Аврелий Яковлевич, — панночка Тиана, опершись на руку демона, слезла с алтаря. — Для вас, сами знаете, все, чего угодно и с превеликой нашей радостью...

Он стряхнул чужую шкуру с легкостью и явным удовольствием.

— Вы...

— Я, дорогая панна Клементина, как есть я, — он наклонился и поцеловал руку Клементины, которую подобная любезность вовсе не обрадовала. — Уж простите, ежели вдруг сюрпризом... но сами понимаете, секретность...

Хвост, на сей раз не тонкий, увенчанный пуховой кисточкой, но мощный, чешуйчатый и омерзительно похожий на змею, обвил запястье Клементины.

— Ядзита, солнце, положи ты этот ножик, а то еще порежешься... — ласково произнес Себастьян и руку протянул, в которую Ядзита с явным облегчением вложила нож. — Вот так. Присядь.

Она села, сложив руки на коленях.

— Ну что, паны и панночки? Будем считать наше веселье оконченым?

Демон недовольно заворчал.

Во-первых, он тоже не любил ведьмаков, поскольку оные ведьмаки так и норовили причинить демону телесный ущерб, а то и вовсе лишить физического пристанища, что в мире нынешнем бывало чревато полным развоплощением. Во-вторых, он не понял, куда подевалась прекрасная

девственница, которая так приглянулась господину, и откуда, соответственно, взялся мужчина.

И почему он такой наглый.

И вообще, что происходит.

В любом ином случае демон призвал бы истинную тьму и, развернув крылья, показался бы смертным во всем своем великолепии, которое, несомненно, на смертных произвело бы впечатление самое благостное, заставив содрогнуться и преклонить колени. Или вообще пасть ниц, моля о пощаде... нет, демон никого бы не пощадил, но ему очень нравилось, когда его молили...

В любом ином бы случае он оторвал бы мужчине голову... или сначала руку... или не руку, а скажем, палец... да, сначала пальцы, а потом руку, и уже затем голову...

И живот вспорол бы...

...и вообще, действовал бы именно так, как полагается действовать демону, вырвавшемуся из-под контроля, но та, которая связала его словом, молчала.

И демон ждал.

— Боги, мы спасены, — воскликнула Иоланта, прижимаясь к широкой груди Матеуша. И нехорошо улыбнувшись, Себастьян Вевельский подбросил кинжал на ладони.

— Верно, Иоланта... мы спасены. А вот о вас такого не скажешь...

— Что?

— Прошу вас, панночка... или панна? Имени, простите, не знаю, но думаю, вы не обидитесь, ежели я буду называть вас Эржбетой?

— Вы... вы не в себе...

— Я с самого начала этой истории не в себе, — доверительно произнес Себастьян и когтем плечо смуглое поскреб. — В этой истории все так перемешалось... прошлое, настоящее... личное и, будем говорить, общественное, хотя общество этакой услуге не обрадуется уж точно...

— Вы... вы что-то путаете, — Иоланта подняла взгляд на королевича. — Он путает... Ваше Высочество, скажите уже...

— А что я могу сказать? — пожал плечами Матеуш. — Я здесь так, сторонний наблюдатель... но надеюсь, Себастьян, вы соизволите объясниться?

— Соизволю, отчего ж не соизволить... вы только отошли б от нее, ваше высочество, а то мало ли...

Лихо, как-то оказавшийся рядом с Евдокией фыркнул и прошептал:

— Позер.

— Это точно, — согласилась Евдокия, чувствуя, что стремительно краснеет. Нет, она — женщина почти уже замужня, но и супругу не пристало в людных местах обниматься. Лихо

же мало того, что Евдокию к себе притянул, так еще и подбородком в ее макушку уперся.

Аленка тихонько засмеялась, но отворачиваться не стала, как и говорить, что, дескать, она говорила... сразу увидела... и что там еще положено?

— Признаться, сначала я на Мазену грешил, — Себастьян отвесил поклон, и к немалому удивлению Евдокии панночка Радомил запунцовела... и взгляд отвела... — Уж больно своевременно ее прокляли. И ладно бы она просто исчезла, так ведь вернулась... аккуратно после испытания единорогом вернулась. И что я должен был подумать?

— Это... это не имело отношения к делу, — пунцовость постепенно сходила, но неравномерно, пятнами.

— Да я уже понял, что не имело. И все ж таки рисковый шаг... надо полагать, с целительницами вы договорились загодя?

— Да, — шепот и взгляд долу.

Стыдно ей? Евдокии было бы стыдно, ежели бы ее собственную тайну выставили вот так, перед всеми... и желание огреть родственничка ридикюлем окончательно сформировалось, окрепло даже.

— Не злись, — Лихо сказал это на ухо. — Он такой, какой есть, не исправить... да и Мазена играет...

— Вам ничего не грозило... одного не понимаю, почему вы выбрали такой... мягко говоря, окружный путь? Отчего не договорились, к примеру, с Аврелием Яковлевичем... он бы вам невинность восстановил...

Девицы разом повернулись к ведьмаку, и во взглядах их читалась немалая заинтересованность.

— Себастьянушка, — с мягкой укоризной произнес упомянутый Аврелий Яковлевич. — Друг мой сердешный...

...при этих словах Себастьян ощутимо вздрогнул.

— ...чудится мне, аль ты взаправду полагаешь, что будто бы я в частном порядке этикие... кунштюки вытворяю?

— А вы вытворяете? — поинтересовалась Мазена.

— Тебе-то зачем?

— Мало ли... на будущее... мы, Радомилы, предусмотрительны.

— Вытворяю, вытворяю, только вам оно не поможет. А ты, Себастьянушка, продолжай, времени у нас много, до утра самого... все одно раньше дом не откроется.

— Он правду говорит? — шепотом поинтересовалась Евдокия, которой чем дальше, тем меньше в этом доме нравилось.

— Не знаю, — Лихо ответил также, шепотом, и в шею поцеловал.

Прилюдно.

Ужас какой, но смутиться Евдокия не успела...

— Кстати, дорогая Мазена, я вам даже попытку отравления прощаю... понимаю, что вы не по собственной воле, из интересов рода, так сказать... а тут я мешаюсь, не подпускаю к королевичу... и да, полагаю, вы вовсе не в фаворитки метили. Радомилы надеялись получить новую королеву? И за ради этих надежд готовы были рискнуть вашей жизнью, не говоря уже о какой-то провинциальной панночке, которая сама своего счастья не разумеет.

— Не докажете...

— И не собираюсь. Это я так, к слову, чтобы не осталось недомолвок. Были у меня подозрения и на Эржбету...

Та лишь плечиком дернула и уточнила:

— Из-за бабушки, да?

— Из-за нее... и еще из-за вашей... семьи. Вы — единственный выживший ребенок. Полагаю, неспроста... поначалу я думал, что вам или отец не родной, или матушка... так бывает.

Она вздернула подбородок, явно не собираясь комментировать сие сомнительного свойства предположение.

— Но после, присмотревшись, я нашел весьма характерные черты и Драгомилов, и Пшескевичей, которые, правда, в глаза не бросаются. Сомнений нет, вы — родное дитя.

— И что?

— Ничего, — Себастьянов хвост соскользнул с запястья Клементины, и та отступила к алтарю, но была остановлена ведьмаком. При том, Аврелий Яковлевич и с места не сошел, лишь укоризненно головой покачал, и Клементина смутилась, будто гимназистка, застигнутая за разглядыванием открыток фривольного содержания.

Меж тем ненаследный князь продолжил:

— Осталось два варианта. Счастливую случайность я отмел, поелику в этикие случайности не особо верю... да и предыдущие беременности крепко подорвали здоровье вашей матушки... вон, Аврелий Яковлевич и справку от медикуса раздобыл, по которой выходило, что сама панна Берута выносить и родить жизнеспособное дитя никак не могла. Следовательно, возвращаемся к последнему варианту. Заменная жизнь, так?

Эржбета молчала.

— Не волнуйтесь, вас-то никто не обвиняет... вы, простите, не в том возрасте были... если вообще вы были, чтобы решение принимать. А бабка ваша, которая обряд проводила, давно уже человеческому суду неподсудна.

— Какая теперь разница?

— Никакой, Эржбета, совершенно никакой... вы не виноваты, что ваша бабка хотела наследника, а отец оказался чересчур слаб, чтобы противостоять ее желанию. И боязлив... или не знаю, в чем дело, но доказать, что он о ритуале знал, не получится. Но он знал и потому вас боялся.

— Не он один, — тихо ответила Эржбета. — Вы говорите, что я не виновата, но там... там все как-то узнали и... и решили, что виновата именно я. Не только в том, что моя бабушка выкупила мою жизнь чужой...

— Детской, — очень тихо произнес Лихослав. — Это не просто запрещенный ритуал, это... черная волшба, как она есть...

— Но она и вправду не виновата, — Евдокии было жаль Эржбету.

Ведь и вправду непросто ей приходилось.

Откуда узнали? Кто-то за старухой подсмотрел, кто-то кому-то что-то сказал... да и мало ли способов есть? Сплетни по селу разлетаются быстро, день ото дня обрастая подробностями. И ежели бабка Эржбеты убила ребенка, то... то саму Эржбету еще до появления ее на свет сочли чудовищем.

— Вам так хотелось высказаться, — Эржбета поднялась и ткнула в чешуйчатую грудь пальчиком. — Показать, какой вы умный... как до всего дошли... правду раскопали... Раскопали, поздравляю. Так все и было. Почти так. Наследника желал мой отец. Вот только он был болен, дурную болезнь подцепил, оттого и умирали дети, что у мамы, что у любовниц его. И главное, он лечился, вылез, а дети все одно... и бабушка сказала, что знает верный способ, надо только купить здорового младенчика. А он согласился. Ведь что ему до других младенцев? В деревнях их множество, в деревнях рожают каждый год почти, некоторых и сами свиньям подкидывают, чтобы...

— Меня сейчас вырвет, — сказала Мазена, обмахиваясь пятерней. — Нам обязательно это слушать?

— Кто бы говорил, — Эржбета обернулась. — Моя бабка — детоубийца, а отец замаран, пусть и не желает признаваться, в черное волшбе, но я сама никого не убивала...

— Я убивала?

— Ты искалечила двух девчонок, чтобы обойти этот дурацкий пункт с единорогом...

Мазена от обвинения отмахнулась с легкостью:

— Они знали, на что идут. Им было уплачено...

— И совесть тебя не мучит?

Судя по всему, совесть у Мазены если и просыпалась, то нечасто. Да и куда совести против родовой чести, которую позорить вовсе неуместно.

— Я же ничего не делала! — Эржбета почти кричала. — Ничего! А меня попросту отослали... меня боялась родная мать! И продолжает бояться. Отец не лучше... слуги... кормилица и та, хотя знает меня с рождения, а все одно... в деревне шепчутся, что за меня не одного, а дюжину младенчиков убили... или две дюжины... или каждый год по две дюжины... что бы ни случилась, я виноватая... дом трижды поджигали...

— И потому вы, Эржбета, в конкурсе вы увидели шанс вырваться из привычного круга?

— Да. Осуждаете?

— Одобряю, — ответил Себастьян. — И весьма рад, что колдовка — не вы... панночка Габрисия...

— Понимаю, — прервала она жестом. — Позвольте я сама. Несколько лет тому я имела несчастье быть обрученной с человеком, который... которого... которого застала в весьма компрометирующих обстоятельствах.

— В постели с Богуславой? — уточнила Мазена, бросив взгляд на эту самую Богуславу, которая ныне казалась совершенно безразличной к происходящему вовне.

— Не в постели, — Габрисия поморщилась, поскольку и ныне воспоминания ей были неприятны. — Но... почти... полагаю, если она здесь, то... до постели дело не дошло... и не в этом дело, просто... они оба надо мной посмеялись, над той, какою я была. А я прекрасно знала, что некрасива. Но уродливой... мой жених был пьян, а потому не сдержан в словах. Сказал, что его от меня тошнит и... и ему нужна не я, но отцовские земли. Это было оскорбительно.

Она говорила сухо, подчеркнуто равнодушно и не глядя на Себастьяна.

— Сейчас я вынуждена признать, что этот случай произошел весьма своевременно. Я не успела выйти за него замуж. А заодно и поняла, что внешность все-таки важна.

— И стали искать варианты ее улучшить?

— Именно.

— Как вижу, нашли.

Габрисия усмехнулась и сложенными щепотью пальцами провела по своей щеке.

— Нашла. Не ведьмака, если вы об этом. Волшбой можно изменить что-то... малое... или большое, но как надолго? Мне не нужна была иллюзия. Я хотела измениться сама. Корвин помог. Он... родом из Хольма... в Хольме совсем иная медицина. Толика чар и много труда. Он резал и сращивал... было больно, но я терпела, пока Корвин перекраивал мое лицо. Он сказал, что оно красиво, просто... нужно немного исправить. Изменить форму подбородка, разрез глаз. Уменьшить нос. И да, мама была против, но она меня поняла. Сказала, что, возможно, будь она помоложе, рискнула бы...

— Ваш Корвин, как понимаю, находится здесь незаконно?

— Да. Он вынужден был бежать. В Хольме... свои порядки. Ему грозила смерть, и Корвин предпочел рискнуть. На мое счастье, ему удалось переправиться через Серые земли...

— Или ему помогли, — очень тихо произнес Лихослав. — Если ее Корвин был нужен Хозяйке...

Евдокия кивнула.

Логично.

Да и Себастьян, похоже, о том же подумал.

— Что ж, множество ложных целей... такая интересная игра, панна Эржбета... такая увлекательная... несколько конкурсанток, у каждой из которых своя тайна... Ядзита видит беспокойников, а заодно уж и Хельму служит, она, а не Эржбета — новая жрица... Эржбета

живет заемной жизнью и почти целиком уходит в выдуманный мир. Мазена использует запрещенные проклятья, чтобы прикрыть свой позор. Габрисия связалась с Хольмовой волшбой, и вздумай Аврелий Яковлевич ее проверить, увидел бы следы... а вы, Иоланта? Что не так с вами?

Она стояла, опираясь на руку Матеуша, и робко улыбалась, вот только улыбка эта была... ненастоящей? Евдокия нахмурилась.

Перед глазами плыло.

И мир двоился... или нет, не мир, он оставался прочен, устойчив, и во многом потому, что мир этот Лихо держал. А вот с Иолантой было неладно. Она менялась, и из-под одного обличья проступало другое.

— Значит, со мной что-то не так? — поинтересовалась Иоланта иным голосом, в котором слышалась откровенная насмешка. — Ты забавный мальчик... и пожалуй, мы долго могли бы выяснять, прав ли ты или же ошибся. Однако, будем считать, что тебе повезло. Угадал. Кстати, лишь поэтому?

— Нет, — Себастьян собственной правоте не слишком обрадовался. — Еще кое-что... снимки от одного хорошего... ладно, не очень хорошего человека, зато профессионала крепкого... знаете, в нынешнем мире колдовкам, верно, непросто придется. Техника от чародейства сбоит. И пусть бы метку вашу заснять не удалось, но возникли вопросы, отчего это именно ваши снимки, милая Иоланта, столь размыты? От проклятья ли? Или по иной причине?

— И это можно было бы объяснить, — сказала колдовка. — Если бы я захотела.

— Но вы не хотите?

— Нет. А ты продолжай, продолжай, пока можешь.

— Спасибо, — Себастьян отвесил церемонный поклон. — И вправду продолжу. Был еще один нюанс. Видите ли, я уже говорил, что многое в этой истории переплелось... к примеру, Клементина... она ваша дочь?

— Внучка...

— Внучка... внучка, которую ваша дочь родила от короля, но дитя боги обошли колдовским даром, оттого вы и отдали ее отцу. И пожалуй, еще затем, чтобы при дворце имелся собственный человек. Это полезно, так ведь?

Лицо Иоланты расплывалось. Евдокия пыталась разглядеть черты того, другого, которое проступало, но не могла. Пыталась отвести взгляд, поскольку меняющееся, это лицо было неприятно, едва ли не тошнотворно, но вновь же не могла. И зачарованная переменой, устремилась бы вперед, к этой, несомненно, опасной женщине, когда б не Лихо.

— Не смотри, — сказал он, закрыв глаза ладонью. А потом, верно, опасаясь, что и этого будет недостаточно, развернул Евдокию и прижал ее голову к своей груди. — Не надо на нее смотреть... это колдовка и очень сильная... очень темная... я встречал как-то подобную, на границе самой... они идут к Серым землям, там ведь нет закона, а люди есть... колдовки совсем уж без людей не могут...

— Вроде пана Острожского?

Лучше говорить о нем, а заодно уж слушать, что голос Лихо, напряженный, с легкой хрипотцой, с рычащими нотами, которых становится больше, что сердце его суматошное.

— Вроде пана Острожского, — согласился он. — Дрянные люди, темные... но их не трогают... перемирие... никто не желает злить Хозяйку...

— Она...

— Не думаю.

— Ко всему, когда человек этот так недоволен жизнью. А если и не совсем недоволен, то рассказать ему можно о том, как плохо ему живется, как его... или ее обижают... исподволь, слово за слово... где вы встретились, панна Клементина?

— Не ваше дело.

— Мое, — возразил Себастьян. — Еще как мое. Для нашей истории сие не принципиально, но полагаю, вас отыскала родная бабушка, которая рассказала печальную историю о колдовке, королем соблазненной и брошенной в тягости, о том, что скрываться от гнева королевского ей пришлось на Серых землях, а там, среди нечисти, не место дитяти... что мать желала ему иной, счастливой судьбы...

— Зачем он так? — Евдокия вцепилась в рубаху Лихослава. — Это... это неправильно.

— Возможно, но если он говорит, значит, надо... не волнуйся. Я не позволю вас обидеть.

Поверила.

Ему так хотелось верить.

А еще страшно вдруг стало, потому как и вправду не позволит, пока живой, человеком ли, волкодлаком, не суть важно, главное, он не задумываясь встанет между ними с Аленкой и колдовкой. А колдовка сильна... и если она на Серых землях бывала, то и с волкодлаками, надо полагать, встречалась.

Убьет.

А как тогда Евдокии жить?

— Но правда в том, что дитя, лишенное дара, не было нужно матери. А вот отец о вас заботился. И брат ваш, невзирая на разницу в происхождении, вас любил, так любил, что считал нужным потакать всем вашим капризам. Но вы все одно считали себя несчастною, обиженной... это ведь так просто, Клементина, сидеть и обижаться на других людей. Не знаю, долго ли пришлось вас убеждать, полагаю, что недолго... но как бы там ни было, им требовалось добровольное согласие, верно?

— Верно, — этот низкий женский голос заставил Евдокию содрогнуться от иррационального страха.

Холодно вдруг стало.

И холод этот, продравший до костей, напомнил и ту ночевку в заснеженном лесу, и волчьи голоса, и собственный страх — не выжить...

— Принуждение или морок штатные ведьмаки распознали бы... но вы согласились... начали, полагаю, с малого... кстати, где истинная Иоланта? Полагаю, мертва? Она-то в чем перед вами провинилась? Хотя, позвольте, угадаю. Она была дочерью вашего возлюбленного, живым свидетельством того, что брак его вовсе не был формальным, как он то утверждал...

— Она была, — глухо ответила Клементина. — А мои дети... я вынуждена была избавляться от собственных детей.

— И кто вас заставлял?

Молчание.

Тишина напряженная. Неужели только Евдокия ощущает это напряжение. Нити мироздания на пределе, тронь — и разорвутся, полоснув по пальцам, по рукам...

А Себастьян...

...ждет.

...тянет время, хотя и не понять, чего ради...

...играет, притворяется всеведущим, вытягивает наружу чужие тайны...

...Лихо ему верит.

Аврелий Яковлевич, возможно, понимает, в чем дело... Аленка застыла, слушает, но отнюдь не Себастьяна. И губы ее шевелятся, и пальцы шевелятся, а взгляд пустой, словно бы беседует она с кем-то вовне... далеким... и если так, то это тоже необходимо.

Учиться доверять?

Она — младшая, и Евдокия должна Аленку защитить, но...

...но кто защитит саму Евдокию?

Лихо... Лихо беспокойный, который тоже заслушался и вовсе не Себастьяна... сердце стучит медленней, а руки ослабли, того и гляди разомкнет объятья, Евдокию отпуская.

Упуская.

— Лишек, — позвала она тихо и дотянулась до мягкой шерстистой щеки. — Лишенько, не надо, пожалуйста...

Он вздрогнул и отстранился, но лишь затем, чтобы задвинуть Евдокию за спину.

— Вы сами виноваты, Клементина, что ваша жизнь сложилась именно так. Но вы позволили себе думать, будто бы весь мир, помимо вас, конечно, несправедлив. И решили справедливости добавить... к слову, эта вторая ваша ошибка, панна Эржбета. Вы позволили своей дорогой, но вряд ли любимой, внучке проявить пристрастность. Выбери она кого иного для вашей личины, мне пришлось бы сложнее, но милая Иоланта с ее страхом перед любовницей отца, с убежденностью, что именно ее убьют... переиграли, Эржбета. Слишком уж жертвой она выглядела.

— На будущее учту, — спокойно ответила колдовка.

И нити задрожали.

— Да погодите вы! — Себастьян наверняка тоже слышал их. — Успеете тут страшные муки устроить. Давайте договорим, как цивилизованные люди! Я, может, в последний раз в жизни умом хвастаюсь! Проявите уважение!

— Забавный ты, — сказала колдовка.

И нити ослабли, а Евдокия выдохнула с немалым облегчением.

— А то, — отозвался Себастьян. — Не поверите, ваш покровитель то же самое сказал...

— Шут.

— Почему бы и нет. Божественный шут — высокое звание... им и гордиться можно... но я не гордый, я просто работу свою, панна Эржбета, люблю очень. Загадки всякие... головоломки... над вами и вовсе голову сломал. Так вот, с настоящим мы худо-бедно разобрались, а теперь предлагаю к прошлому вернуться, там же ж все корни...

— Поговори со мной, — Лихо коснулся волос, нежно, осторожно, хоть бы руки его переменились. И Евдокия, перехватив ладонь, широкую, с короткими когтистыми пальцами, прижала ее к щеке.

— О чем?

— О чем угодно...

— Ты на мне и вправду женишься? — какой глупый вопрос, они, можно сказать, на пороге смерти стоят и думать надобно о высоком, о душе своей, которая вот-вот в божественные чертоги отправится, а не о свадьбе. Но о душе не думается, о свадьбе же — так напротив.

— Правда.

— Это хорошо и... мама вот только не слишком обрадуется... она вашу семью не очень любит...

— Пусть не любит, — великодушно разрешил Лихослав. — И ты можешь семью не любить, главное, чтобы меня...

— Когда ты улыбаешься, то клыки видны...

— Мешают?

— Нет, что ты...

— Все началось, когда Миндовг, который, полагаю, был вовсе не таким уж плохим королем, ввязался в войну с Хольмом. Или позже, когда решил, что через Хельмов культ по королевству Хольмово вольнодумство расплзается. Испугался ли он, что и у нас революцию учинят, или же просто решил наперед ударить, но как бы там ни было, Миндовг закрыл Хельмовы храмы. А жрецам предложил выбор, или отречься от веры, или на плаху отправиться... конечно, поднялись восстания... находились и предатели, и фанатики, которые пытались уйти с помпой... я верно говорю, Аврелий Яковлевич?

— Верно, Себастьянушка... верно... я сам вскрывал Краковельский храм... две сотни человек с собою забрали во славу Хельма. Опоили дурманом, а после подожгли... страшное дело.

— Их собственный выбор. Не вам судить.

— Так мы разве судим, панна Эржбета? Нет, не судим. Мы излагаем факты. Но самое интересное, что незадолго до того самого рокового эдикта во дворце Миндовга объявляется прехорошенькая панночка. А он, истинная правда, к женщинам был весьма равнодушный. Полагаю, и среди советников короля нашлись те, кто почел за лучшее шепнуть словечко Хельмовым жрецам. Изменить что-либо они не успевали, но вот отомстить... а заодно и сберечь истинно важную реликвию...

...он про черный алтарь говорит.

И показывает. И вовсе не боится этого камня, пропитанного исконным злом, которое даже Евдокия чувствует... и наверное, за эту лихость в Себастьяна можно влюбиться...

...было бы можно.

Но есть Лишек.

И он уже не держит Евдокию, но сам за нее держится.

— Луна?

— Луна, — отвечает он. — В полную силу вошла... и уже недолго осталось... но ему нужно время... столько, сколько она позволит...

— Свести короля с ума не так-то просто. Древняя кровь защищает и от безумия, и от волшбы, но вы, панна Эржбета, постарались... день за днем, слово за словом... вы разъедали его душу... вы сами стали его проклятием, но он до последнего не понял, что происходит. Поначалу ему представлялось все игрой, новой, волнующей... немного жестокой... или уже не немного? Грань размывается... а все вокруг твердят, что он — король, а значит, всемогущ и всевластен... вы ведь сами выбрали ближайшее окружение, такое, чтобы не только не мешало вам, но напротив... игроки, опиоманы, любители молоденьких девочек...

— Ну почему только девочек? — ответила колдовка.

И Евдокия могла поклясться, что она улыбается.

— Девочки, мальчики, — так ли важно? — Себастьян теперь говорил очень тихо.

А Лихослав позволил, наконец, обернуться.

Колдовка?

Обыкновенная женщина... нет, необыкновенная.

Редкостной красоты... и Евдокия любит ее, разглядывает, и все одно любит, не испытывая ни ревности, ни зависти, поскольку бесполезно завидовать чужому совершенству. И гибель Иоланты уже не видится таким уж грехом... да и по правде, что такое Иоланта? Просто девушка, которых в королевстве превеликое множество... и те, что собрались в доме, тоже не важны, пусть бы умерли, ежели этой красавице надобна их смерть.

— Не поддавайся, — шепчет Лихо, поглаживая шею Евдокии. И прикосновение его помогает избавиться от морока.

Красива? Определенно. Невысокая, весьма изящная особа. Бледнокожа, и бледность эта — высочайшего качества, кожа глядится фарфоровой, ежели бы фарфор мог оживать.

Волосы черные.

И глаза.

А губы красные, яркие, словно кровью перемазанные. Женщина не смотрит на Евдокию, оно и к лучшему, поскольку сама Евдокия не уверена, что сумеет выдержать ее взгляд.

Себастьян рядом с колдовкою нелеп.

Он стоит, опираясь на черный алтарь, сложив руки на голой груди, которая все еще покрыта чешуей, точно рубахой. Платье разорвал... и странное дело, ныне в лохмотьях, бледно-розовых, с искоркой серебряного шитья, ненаследный князь не выглядит смешным.

Скорее уж печальным.

И Лихо, уловив настроение Евдокии, глухо зарычал.

— Бестолковый, — Евдокия погладила руки, которые стиснули ее, не позволяя ни вдохнуть, ни выдохнуть. — Он бестолковый. И ты тоже... я тебя люблю... и никто иной мне не надобен.

Успокоился.

Немного.

А Себастьян, щелкнув по алтарю хвостом — и на сей жест демон ответил оскалом, который, впрочем, остался незамеченным — продолжил:

— И лишенный души, Миндовг оказался полностью в вашей власти. Вы делали все, чтобы его запомнили проклятым королем. А заодно уж устроили укрытие для алтаря. Пожалуй, вы могли и эдикт отменить, он послушался бы вас, однако вы прекрасно понимали, что слишком многие этой отменой будут мягко говоря возмущены. Этак и до восстания недолго... тем паче, что недовольные Миндовгом сплотились вокруг его сына... кстати, как ему удалось избежать вашего внимания?

— Не удалось, — за колдовку ответил Аврелий Яковлевич. — Видишь ли, Себастьянушка, сердце Яровита было занято, а она решила от конкурентки избавиться. Только не рассчитала, что девушку эту Яровит и вправду любил. Он был неглупым юношей, доказать-то ничего не мог, но быстро понял, кто стоит за ее смертью. Конечно, после она попыталась от Яровита вовсе избавиться, да только тут уж мой наставник помог... надо было сразу записи его поднять.

— И где теперь твой наставник? — поинтересовалась колдовка, повернувшись к Аврелию Яковлевичу. — Полагаю, уже черви сожрали? И с тобою так будет...

— Когда-нибудь со всеми так будет.

Ведьмак не выглядел ни смущенным, ни испуганным, вообще было не похоже, чтобы он, лучше иных представляющий, на что способны колдовки, переживал.

— Думаю, дело было не только в вашем наставнике. Поддерживать безумие короля, влиять на его свиту, а заодно уж и новый храм создавать, или не храм, а укрытие? Тут и самая одаренная колдовка утомится... укрытие же творили на славу. Хельмов алтарь, можно сказать, в самом

сердце короля, дерзнувшего тягаться с божеством... почему вы не переправили его в Хольм?

— Кому? — фыркнула колдовка. — Той марионетке, которую привели к власти? Или своре безродных псов, что не могла меж собой договориться? Увы, тот Хольм казался нам обреченным... он выжил едино чудом или милостью Хельма.

— Поверьте, — Себастьян провел по черному камню ладонью. — Хельму глубоко наплевать, что на Хольм, что на нас с вами... и милости его... это такой, уж простите, эвфемизм...

Молчание.

Тишина, гулкая, звонкая, в которой того и гляди сердце остановится. И Евдокия жметя к Лихославу, уже позабыв и про стыд, и про обычаи, движимая лишь страхом одним. Ежели отстранится, выпустит руку его, то произойдет нечто непоправимое.

Она лишена дара, что целительского, что пророческого, но ныне, в зачатом доме, вдруг не прозрела, нет, но четко и ясно осознала: так и будет.

Кто-то свыше уже все решил за Евдокию. И ей останется смириться, да и людям ли тягаться с богами? Но нет, не желает Евдокия, купеческая дочь, смиряться.

Потому и держит, или держится, дышит за двоих.

Смотрит на черный камень...

— Теперь что изменилось? — Себастьян от алтаря отступил. — Тесно стало на Серых землях? Аль голодно? Вам-то жертвы приносят, да только надолго ли их хватает? Вы, панна Эржбета, тоже смертны... сколько вам годков-то? Небось, за пятьсот...

— У женщин о возрасте не спрашивают...

— Так то у женщин, а вы, уж простите, колдовка... сиречь, тварь Хельмова, потому и поинтересоваться не грех... думаю, тут совпало... Хольмов Избранный не мог не знать про алтарь, который ему весьма нужен. Да и смуте в королевстве он рад будет... для того и нужен вам послушный королевич... смерть короля, безумец на троне, народное возмущение... в итоге все бы завершилось, так или иначе, но королевство бы ослабло... вопрос лишь в том, для чего это вам понадобилось? Власти возжелали? Стать хозяйкой не над волкодлаками да упырями, но над людьми? Или же дело куда как проще? Вновь жизнь продлить чужою кровью? Той, которую берете на Серых землях, уже не хватает? Надобна иная сила, могучая... или не жизнь, а молодость?

— Что в том дурного? — ответила колдовка. — Сила женщины в ее красоте.

И повернувшись к ведьмаку, с насмешкой сказала:

— Разве не так, Аврелька?

— А мне откудова знать? — пожал тот плечами. — Я же вроде бы не женщина...

— Ну да... мужчина и лжец, как и все мужчины.

— Вам то, дорогая тещенька, я никогда не врал. И Милославе говорил правду, вот только слушать она не захотела...

— Не врал? — бровь приподнялась, и движение это неуловимо изменило маску лица, которое сделалось вовсе уродливым, и Евдокия никак не могла взять в толк, отчего так вышло.

Оно, лицо, осталось прежним в каждой черте своей, но если не так давно Евдокия восхищалась им, то теперь... пять сотен лет?

Неживая.

Не человек... и ведьмаки тоже не люди, но Аврелий Яковлевич в своем палито из аглицкой ткани выглядит настоящим, а она... она будто кукла восковая, которых в Краковельский музей естественных наук привозили. Короли, королевы и рядом — известные душегубцы... и Евдокия подозревала, что на душегубцев народ глядел куда охотней, нежели на особ венценосных.

Тем паче, что с душегубцами и снимочек сделать разрешали, за отдельную плату, естественно.

— Не врал, — задумчиво протянула колдовка, приближаясь. Шла она легким скользящим шагом, будто и не шла вовсе — плыла по-над полом. Юбки и те оставались неподвижны. — Конечно, ты не врал, когда клялся ей в любви... и не врал, когда перед ликом Богов обещал хранить и защищать ее до конца дней своих...

— Вам ли не знать, что ваша дочь совершила.

Она остановилась в трех шагах от ведьмака.

Разглядывает.

И Евдокия понимала: подмечает. И тросточку его из белого дерева вырезанную, и сову-навершие с янтарными солнечными глазами... и палито... и сукно это аглицкое, первого классу, с серебряной искоркой... и кротовый переливчатый воротник... и в глазах ее, колдовкиных, все это, напускное, внешнее, тает, выставляя наружу истинное нутро ведьмака... и Евдокии было жуть до чего неудобно, что и она видит все это.

— Вот она, цена твоей любви, — печально произнесла колдовка. — Один обряд.

Глава 14. Где начинается, идет с переменным успехом и завешается битва добра со злом

Лишь историки знают, как много героических поступков было совершено ввиду отсутствия других альтернатив.

Заключение, сделанное новоиспеченным доктором королевской Академии после защиты им диссертации, посвященной героической обороне Хервеля во время второй Хольмской войны.

— Семь, — Аврелий Яковлевич чуял и ее силу, и собственное бессилие. Дом, повинуюсь хозяйкиному слову, норовил опутать незваных гостей липкими холодными нитями, к счастью, для людей обыкновенных невидимыми.

Нити эти прорастали сквозь пол и тянулись к ногам, ползли, поднимаясь выше, обвивая ядовитым плющом. Они щедро делились и холодом иного мира, отчаянием запертых, подвластных колдовке душ, и позабытой, растворившейся в безвременье болью. Сами же пили тепло и жизнь, и Аврелий Яковлевич, стряхивая нити, все же слабел.

Ничего.

Надо потерпеть... как-нибудь да сложится... все здесь, а потому, ежели Боги будут милостивы... или не будут... не на Богов уповать надо, верно Себастьян выразился, нету богам до людских забот дела... на себя самого...

...на крестничка, который замер, не способный ни вернуть себе всецело человеческое обличье, ни обратиться.

...на Гавела, что благоразумно держался в тени, и зеркало его.

...на Себастьяна... тянет время, лисий хвост, тянет, но не вытянет. Колдовка с ним играет, потому как уверена в собственной силе... все колдовки уверены в собственной силе и превосходстве над людьми иными, в праве оных людей использовать себе на потребу.

— Хоть бы и семь, — дражайшая тещенька улыбнулась, будто оскалилась.

Болотную лилией? О нет, мертвечиной от нее несет, как от взыправдошнего упыря. Гнилью. Падалью. И запах этот, вновь же не доступный людям обыкновенным, заставляет Аврелия Яковлевича морщиться.

— Ты говорил, что она одна для тебя важна...

— А ты перекроила мои слова себе на потребу. Что, ревность разыграла? Обида? Дочь родная тебя на ведьмака променяла?

— Или наоборот? Ведьмака на меня...

— Ты ее бросила.

— Отпустила, — у колдовки черные глаза окнами в багну, а то и вовсе за грань. В них, в зеркалах иного мира, бьются мотыльками плененные души.

Слово одно — и выпустит.

Роем белым.

Жалящим.

Завьюжат, закружат, мстя живым за то, что живы, выпьют досуха, а если и не захотят, то все одно выпьют, пусть не по собственному желанию, но по ее, колдовки, слову.

— Я нашла ей другого мужа, — мурлыкнула она, протянув руку. — Достойного, а не... тебе не надоело притворяться, Аврелька?

— А разве я притворяюсь?

Запах душный невыносим. Отступить, показав слабость? Ей ведь так хочется видеть его слабым... и Аврелий Яковлевич отводит взгляд.

— А разве нет? — она, оказавшаяся вдруг близко, протянула руку, царапнув острыми коготками щеку. И это прикосновение, холодное, будто бы липкое, оставившее след, который не выйдет смыть ни водой, ни щелоковым мылом, заставило отпрянуть. — Притворяешься. Палито это... костюмчик... небось, в Познаньске на заказ шит? Рубашечки белые, батистовые... кружева... тросточка... если со стороны глянуть, то почти шляхтич, верно?

— Со стороны оно видней, — Аврелий Яковлевич не отказал себе в удовольствии вытащить платок и щеку потереть.

След останется.

Но ничего... быть бы живу, а там и посчитаемся.

— Почти... малая малость, но все же и видна... ты не шляхтич, Аврелька, ты холоп... и как был холопом, так им и останешься, сколько бы лет ни прожил. Холопскую натуру, Аврелька, за дорогим сукном не скроешь.

— Так вот, что вам покоя не давало, дорогая тещенька, — Аврелий Яковлевич платочек сложил и в нагрудный карман спрятал, к брегету, купленному давече и в полтора ста злотней обошедшемуся. И цепочка в половину от этой суммы стала. — Моя холопская натура... а супружница моя, стало быть, из шляхты...

— Род Баторовых древний. И знатный.

— Вымерший только.

— Да неужели? Я вот жива...

— А по вам и не скажешь. Вы уж извините, тещенька, мы, холопы, народец простой, к политесам непривычный... я вам прямо скажу. Смердит от вас мертвечиной.

— Увы... в любой работе издержки имеются. Но ты не волнуйся, Аврелька, запах этот простым людям не мешает, а нам с тобой и вовсе не привыкать...

— Так значит, жива... она?

А сердце-то имеется, пусть и находятся те, кто утверждает, будто бы Аврелий Яковлевич рожден был бессердечным. Есть оно, то обмирает, глупое, то вскачь несется, захлебывается кровью, того и гляди вовсе, захлебнувшись, станет. И ноет, ноет, будто бы только вчера.

— Жива, естественно, — пожала плечами дорогая тещенька. — И вполне себе счастлива... теперь... а прежде-то страдала, все надеялась, что ты ее найдешь. Дурочка моя...

Ее. Именно в этом все дело, что ни одна колдовка от своего не отступится... и эта — не исключение. Не любит она ни дочь, ни внучку... откуда взялась та?

Спросить?

Соврет. Не из выгоды, но просто, чтобы боль причинить, ведь чувствует она чужую, как гончак кровь... а если и правда, то...

— Потом сама вернуться думала, да побоялась, что ты, Аврелька, по дури своей ее на костер спровадишь. Каялась. Раскаялась, если так оно тебе легче будет.

Не легче. Напротив.

Если там уже, за границей людских земель, она сумела найти в себе силы, и выходит, что здесь тоже могла, что это его, Аврелия, вина... не досмотрел, не понял, не сумел найти слов правильных.

...а ведь нехорошо расстались.

С криком. С ссорой... и он вправду костром грозился... все никак не мог понять, как вышло, что она, его любовь, его судьба — иной не желал и по сей день не желает — вовсе не столь светла.

Колдовка.

Ведь с самого первого дня знал, что колдовка, но человеческой кровью не замарана, а животные... что ж, порой и Аврелию Яковлевичу в работе своей приходилось пользоваться жертвами. Ему ли судить?

Главное, чтоб удержалась на грани.

А она держалась... и хотелось бы верить, что была счастлива. Но если была, тогда почему до запретной волшбы опустилась?

— Так и не понял, — Эржбета, урожденная княжна Баторова-Надашди усмехнулась, — в этом самое забавное. Вы изначально были слишком разными. Она раскаялась не в том, что убивала.

— В чем же тогда?

— В том, что ты узнал. И если ты надеешься, что она бы остановилась, то разочарую... невозможно. Мне ли не знать, сколь зависит жизнь от чужой крови... и жизнь, и молодость, и красота...

— Ты не красива.

— Боюсь, дорогой мой бывший зять, многие с тобой не согласятся. Вот королевичу я весьма даже приглянулась... приглянулась бы... потом, позже...

— Увы, почтеннейшая, — отозвался Матеуш, кланяясь, — к дамам вашего возраста я могу испытывать лишь симпатию, не более того... да и вправду, пахивает от вас.

— Древняя кровь... а вот Миндовг бы меня вспомнил.

— Не сомневаюсь, — Аврелий Яковлевич погладил не то часы, не то сердце, которое от этой беседы успокоилась. — И премного благодарю.

— За что?

— За то, что, панна Эржбета, вы разрешили мои сомнения. Тогда я поступил правильно... хотя нет, правильно было бы обратиться в полицию, и многие остались бы живы.

— Многие кто?

— Люди...

— Люди, — произнесла она, растягивая слога. — Лю-ди... тебе ли, Аврелька, о людях думать... не твой ли отец тебя в матросы продал? И не он один. Эти самые люди, о которых ты так печешься, слабы и ничтожны. Их удел — служить.

— Таким, как ты?

— Таким, как я. Богами над ними поставленным. Или ты не веришь, что всякая власть свыше

дается?

Аврелий Яковлевич промолчал. Беседу сию, о богах и власти, о том, кто кому и чего должен, можно было бы вести долго. Но вот подозревал ведьмак, что вышло то время, которое колдовка для разговоров отвела... и Себастьян понял.

Крестничек напрягся, девку свою к себе прижал, словно надеясь хоть так уберечь.

— Но раз тебе люди эти дороги, то спасай, — с улыбкой произнесла колдовка, руку вскидывая. Скрючила пальцы, дернула незримые нити, которые от меток протянулись...

...и ничего не произошло.

Колдовка нахмурилась и вновь руку воздела, вывязала пальцами хитрый жест...

...ничего.

Воздух слабо полыхнул, нагрелся.

— А я говорил, — наставительно произнес Себастьян, — что нельзя самогоном злоупотреблять, особенно в сомнительных компаниях... или не говорил? Это Евстафий Елисеевич придумал листовочки печатать для народного просвещения. А то ж как выходит, панна колдовка, что народец наш зело буйный. Чуть выпьет и за ножи, а полицейскому управлению потом работы... езжай, выясняй, кто и чего сказал, кто посмотрел косо, а кому и вовсе бесы Хельмовы примерещились...

Колдовка захрипела, царапнув рукой горло.

— А в прошлом-то годе и вовсе дурная историйка приключилась. Вздумал один умелец из сосновых опилок самогонку гнать, продавал задешево. Вот людишки-то тою дешивизной и спокусились. Сколько уж раз народу говорено, что не бывает, чтобы хорошее и за медень, ан нет, не слушают, каются...

— Что ты... — колдовка задыхалась, хватая воздух губами.

И губы эти менялись.

Синели.

Запах мертвечины становился вовсе не выносим, но сквозь эту почти нестерпимую вонь пробивались ноты цветочные, мягкие...

...Ирженина слеза.

...светлое благословение.

— Потравилися массово. Некоторых-то целители спасли, однако же ж были и такие, которые вовсе с концами. И опять же полиция виновата, не уберегла... а что полиция сделает, ежели сам дурак? — ненаследный князь подошел к колдовке и, за плечи взявши, тряхнул хорошенько. — Знаете, больше всего я боялся, что удобного случая не представится... пить вы не пили, за общим столом не ели... береглись...

— Ты...

— Я, панна Эржбета, я... чтоб вы знали, до чего тяжело эта ваша Ирженина слеза в перваче растворялась... всю ночь баламутил... но ничего вышло, правда?

— Ты... не понимаешь... теперь...

— Отойди, Себастьянушка, — Аврелий Яковлевич положил ладонь на плечо старшего актора. — Сейчас и вправду начнется...

Болотная лилия.

Мокрая земля, кладбищенская, жирная, которая рассыпалась комьями, скатываясь с лезвия лопаты... и чернела яма, прорываясь в полу. Белыми червями торчали из нее корни...

...или не корни, но волосы?

Побеги-пальцы пробивались сквозь мрамор, тонкие, с черными полукружьями ногтей... шевелились, росли, вытягивая тонкие запястья.

— Дай, дай... — шелестело, и шелест этот заставил колдовку отступить. — Дай...

...мутило.

От слабости.

От страха, не за себя, но за Лихо, что появился, хотя ж Себастьян просил Аврелия Яковлевича братца услатить куда-нибудь... проклятый ведь...

Мутило от тьмы, которая собралась под ногами, и пол, недавно выглядевший надежным, истончался. Того и гляди, прорвется, выплеснет...

Тьма наполнилась белесыми рыбами потерянных душ, которые чуя слабость хозяйки подымались из самых глубин к поверхности.

Больше и больше.

Беловолосые, одинаковые...

...с раззявленными острозубыми ртами, с пустыми глазницами, но все одно зрячие, жадные.

— Вы... — колдовка отступила, держась руками за горло. — Вы думаете, что справитесь сами? Справитесь с ними?

Она слышала их шепот, будто ветер над мертвым морем... будто голос иного запретного мира, который был тих, а все одно оглушал.

— Мы попробуем...

— Попробуйте, — она вдруг рассмеялась и, раскинув руки, сказала. — Свободны! Слышите, вы?! Я, силой своей, кровью своей...

Кровь проступала сквозь кожу, красное сыпью, нитями, что сплетались в ручьи, а ручьи лились на пол, некогда ровный, но ныне пошедший прорехами, словно гнилая ткань...

— ...даю вам свободу... всем вам...

Колдовка запрокинула голову и захохотала.

Смех ее, безумный расколосил темноту, выпуская сонмы гневных душ. И те взвились вихрем, воем, налетели поземкой...

— На алтарь! — бас Аврелия Яковлевича потонул в крике призрачной бури. И сам он, ведьмак, оказался вдруг связан путами старого дома, корнями его, на которых разевались жадные до чужой жизни рты...

— На алтарь! — Себастьян пихнул к алтарю застывшую Клементину...

Его Высочество подхватил Эржбету и Габрисию... Мазена и без подсказки бросилась к алтарю, которого призраки сторонились.

...не успели бы.

...несколько шагов, но все одно не успели бы, потому как души... потому как голод и гнев... сама тьма, слишком долго служившая той, которая ныне лишилась сил...

— Стойте, — раздался тихий голос. — Стойте...

И белесое марево замерло.

— Стойте, — повторила эльфийка, вытянув руку. Тонкие пальцы почти касались рыхлой ноздреватой стены, и та колыхалась, то отползая, то подаваясь вперед, словно ластилась.

Эльфийку же окутывало пламя, белое и холодное, преобразившее черты ее лица, в котором не осталось ничего человеческого.

И Себастьян отвернулся, не способный смотреть на это лицо. Древнее добро не менее беспощадно, нежели зло...

Пламя сжигало гнев.

И хлопья душ оседали на пол.

Они больше не кричали, но лишь плакали, и голоса их сводили Себастьяна с ума. Кажется, не только его. Матеуш побледнел, заткнул уши, но это не спасало от призрачных слез. Габрисия шептала, кажется, молитву. Мазена держалась... не надолго их хватит.

— Хватит, — сказал кто-то. — Они не виноваты... они просто устали...

Белое пламя гасло. А Ядзита, подняв юбки, решительно ступила на пол.

— Я слышу вас, — она села на пол и протянула руку. — Эржбета, твой блокнот с тобой? Дай мне, пожалуйста.

— Зачем?

— Я запишу имена... не бойся, они тебя не тронут. Верно? Они просто хотят, чтобы о них вспомнили...

Поверила ли Эржбета, Себастьян не знал, но стиснув зубы, она ступила на белое покрывало.

Шаг.

И второй.

Смех колдовки вязнет в шелесте чужих голосов. И кажется, если Себастьян прислушается, если даст себе труд сосредоточиться, то он тоже услышит.

Имена.

Всего-то... или он не понимает чего-то? Имя — просто имя... звук... и жизнь. А светлые глаза Ядзиты вовсе побелели. Туман обнял ее, лег невестиною фатой на рассыпавшиеся волосы, укрыл шалью плечи. Туман и вправду не причинит ей вреда.

Обережет.

Успокоит.

И расскажет о том, как все было, а Ядзита запишет его истории, все до одной, с тем, чтобы отнести их в храм, обменять на поминальные восковые свечи.

— Что ж, — Аврелий Яковлевич смахнул с рукава липкие нити тумана. — Вот так оно и вышло... пусть девочки посекретничают, а мы с вами, дорогая тещенька, займемся иными делами.

— Что ж, — в тон ответила колдовка. — Займемся...

...слеза Иржены, перламутровая капля, которая долго не поддавалась Себастьяновым попыткам растереть ее в пыль, а после так же долго не растворялась в самогоне, лишила колдовку сил.

Почти.

Она, набрав полные горсти собственной крови, отчего-то буровато-желтой, будто бы гнойной, швырнула ее в лицо ведьмаку. И кровь разбилась на капли.

А капли стали тьмой.

— Шалишь, — с укором произнес Аврелий Яковлевич, от тьмы отмахиваясь, как отмахнулся бы от докучливых мух. И та пеплом осыпалась на пол.

— Шалю, — колдовка ступала мягко.

Она преображалась, превращаясь в нечто, сохранившее лишь отдаленное сходство с человеком. Бурюющая истончившаяся кожа облепляла кости и сухие тяжи мышц.

На пальцах прорезались когти.

Сверкнули в полутьме клыки изрядной величины... и Себастьян не сомневался, что клыки эти, равно как и когти, изрядно остры, а потому лучше держаться от них подальше. Правда, получится ли...

— Ш-ш-шалю... — повторила колдовка, и черный распухший язык ее коснулся губ, по-

прежнему красных, ярких. — Играю... поиграем вдвоем, ведьмак? Ты и я... ты и...

Она выбросила руку, полоснув по палито, и отменное сукно, на которое давали годовую гарантию, расплзлось лохмотьями. Почернел сюртук, да и кожа под ним, белая, обманчиво тонкая, пошла сыпью, которая моментально оборачивалась язвами.

— Поиграем, — Аврелий Яковлевич поморщился, видать, рана причиняла боль. — Отчего ж не поиграть-то...

Он толкнул раскрытой ладонью воздух, и к колдовке метнулись рыжие плети огня. Они схватились за подол платья, поползли, поглощая и шелк, и шитье, и белый жемчуг, который осыпался пеплом...

— Всего-то?

Пламя погасло.

— С-слаб... и с-слабеешь... кыш...

Призраки, сунувшиеся было к колдовке, отпрянули. И Себастьян кожей ощутил их ненависть и страх, который был сильнее ненависти.

— А так?

Пол норовил расплзтись под ногами Аврелия Яковлевича, которому пришлось ступать по тонким белым пальцам, по рукам, и кости громко хрустели под каблуками начищенных его туфель.

— И так можно, — Аврелий Яковлевич крутанул трость и вытащил из-под полы палито бубен.

Голос его, громкий, будоражащий, заставил тьму замереть, и призраки, облепившие Ядзиту, отпрянули было, но вновь потянулись к ней, уже в поисках защиты.

— Убей, — сухо произнесла колдовка, не дожидаясь, пока голос бубна оглушит и хельмову тварь.

И демон, который слишком долго ждал, встрепенулся.

Он все еще был силен, пусть и мир этот, и самое место тянули из него силы.

Слишком тесное тело.

Слабое.

Слишком упорядоченный мир.

Жесткий.

В нем демону было неудобно, и неудобство это порождало гнев... но теперь путы, сдерживавшие его волю, ослабли. И демон заревел...

...от голоса его дом содрогнулся, а Себастьян и вовсе оглох, потерялся будто бы, не то во тьме, не то в тумане. Он сам, кажется, кричал, и не он один...

...Габрисия упала на колени, уткнувшись головой в ноги Матеуш так и не убрал ладони от ушей, и теперь из-под ладоней выползали красные струйки крови... Эржбета счастливо лишилась чувств. Мазена держалась на упорстве Радомилов, пыталась улыбаться даже, но побелевшие руки ее вцепились в черный камень алтаря.

— Ишь ты, какого громкого нашла, — восхитился Аврелий Яковлевич, вытирая кровь рукавом. — Изыди.

Демон от этакой наглости опешил.

Ведьмаков он, конечно, не любил, но и не сказать, чтобы боялся... и ныне повернулся к человеку, собираясь изничтожить его.

Благо, план имелся.

Пальцы, руки, голова... и живот вспороть, чтобы кишки выпали... почему-то вид собственных кишок жертв пугал, демон это помнил по прошлому опыту, но нынешняя жертва пугаться не думала, но лишь повторила безмерно усталым голосом:

— Изыди, кому сказано...

И к голосу ее присоединился другой, существа не менее древнего, нежели сам демон. Это существо, за которым стояла мощь Пресветлого леса, имело право повелевать. А когда демон попятился, все ж он не собирался сдаваться так легко, существо вытянуло руку и, растопырив пальцы, легонько толкнуло воздух. И неведомая сила выкинула демона из слабого, но такого необходимого в этом мире тела... эта сила вывернула его наизнанку, швырнула в мир, который с готовностью опалил нежные крылья хаоса.

Мир вцепился в демона тысячами игл, растягивая, разрывая на клочки.

И тот, кто еще недавно мнил себя всемогущим, взвыл в отчаянии, призывая извечную тьму.

Она услышала.

Замерла на грани, не смея пересечь ее. Она, жадная, безразличная, что к чужакам, что к собственным детям, потянулась к демону, обвила, спеленала коконом, вытягивая остатки сил, лишая воли и разума... хаос питался хаосом, и себя же раздирал в клочья.

И демон, остатками разума, который стремительно таял, как таяли и силы, и сам он, чтобы когда-нибудь в будущем, не скором, но все одно неизбежном, вновь воплотиться, осознал неотвратимость смерти. Он видел тьму.

Он видел свет.

Он был бессилен вне тела, и силен на той, чужой грани, до которой ему не позволено было добраться. Он чуял близость гибели, и не желал ее, а потому рванулся, сминая собственные крылья, сдирая ставшую тонкой, хрупкой, будто пергамент, кожу. И черная кровь его хлынула на пол, на алтарь.

— Назад! — голос Аврелия Яковлевича потонул в тонком дребезжащем звуке, который спугнул и души, и людей... люди лежали у алтаря, корчились, не способные вынести ни крика демона, ни вида воплощенной тьмы, из которой он, в тщетной попытке отсрочить гибель, вновь и вновь лепил собственное тело. И Себастьян, не смея отвести взгляд, глядел, как встает над алтарем

создание, равно уродливое и прекрасное в своем уродстве.

Круглая голова, безглазая, безногая, но с расщелиной рта, в которой метался тонкий язык. Длинная шея с острыми гранями позвонков. И они пробивали тeneвую шкуру демона, которая сползала, ложилась на алтарь, а раны затягивались.

Горбатая спина.

Ошметки крыльев. И неестественно вывернутые, многосуставчатые руки.

Крик оборвался и тварь подняла голову. Она смотрела на Себастьяна глазами того, иного, который наблюдал за представлением все с тем же ленивым интересом. Поможет?

И если да, то кому?

Тварь соскользнула.

Демон слышал стук сердец. Демон чуял кровь, сладкую, дурманящую и такую обманчиво близкую... хватило бы и глотка, чтобы...

...позже...

...ему нужно тело, но эти, которые боялись его, которые отползали, думая, что он не видит глупых их попыток скрыться... они были недоступны... опутаны сетью света, созданной древней тварью... а она с улыбкой смотрела на мучения демона...

Здесь, у подножия чужого мира он был почти бессилен.

Почти.

Он чуял единственное тело, которое могло вместить его.

Удержать.

...от тела пахло тьмой, пусть и не исходной, породившей, и едва не убившей демона, но родственной. На родство он шел. К родству потянулся, вытесняя слабую, никчемную душу, от которой почти ничего уже не осталась. Она напоминала демону ветошь, и в любом ином случае он побрезговал бы и этим телом, и этой душой... в любом ином случае...

— Аврелий Яковлевич, — Себастьян смотрел, как демон, истончившийся, но все одно слишком крупный, пытается ввинтиться в раззявленный рот колдовки. — А... а может... как-нибудь... того... при задержании.

Колдовка рот разевала шире и шире. Щеки ее натянулись, словно кожа на барабане. Еще немного и лопнет. По коже поползли черные змеи сосудов.

И впалый живот раздулся, точно она и вправду сожрала демона.

— Не вмешивайся, Себастьянушка... — остановил его Аврелий Яковлевич. — Ничего ты не сделаешь.

— Ничего, — согласилась колдовка, пальцами вытирая уголки губ.

Она сыто срыгнула, выпустив из ноздрей облачко дыма, и демон, только-только успевший

осознать, что из одной ловушки попал в другую, окончательно растворился, наполнив остатками своей силы утомленное тело колдовки.

— Ни-че-го, — повторила она по слогам, точно кто-то мог не расслышать. И руки воздела, от жеста этого дом в очередной раз содрогнулся, и на головы красавиц посыпалась штукатурка.

— От же, — Себастьян стряхнул с плеча меловую крошку. — Вы бы, панна Эржбета, полегче... а то ж красивое здание... памятник архитектуры, за между прочим, европейского значения!

Она лишь фыркнула.

И вновь рукой взмахнула, левой, а правой по лицу провела, возвращая ему прежние черты. Вот только Себастьян, да и не он один, ныне знал, что черты эти — не более чем удачная маска, под которой прячется создание, лишь отдаленно напоминающее человека.

— Наигрались и хватит, — сказала оно.

По взмаху колдовкиной руки двери в обеденную залу открылись, и на пороге возникла Лизанька. А Себастьян мысленно пожелал генерал-губернатору с его гениальными идеями, а также Лизаньке и Лизанькиной добронравной матушке провалиться куда-нибудь...

...Евстафий Елисеевич не переживет, ежели с любимой дочерью его случится несчастье...

...случилось.

Выглядела Лизанька самым престранным образом. Простоволосая, в измятом грязном платье, которое ко всему сползло с плеча, она шла широким чеканным шагом. Лизанькины волосы растрепались и шевелились змеями.

Глаза огнем пылали.

— Лизавета, дорогая, — доносилось во след ей. — Что ты творишь?

Это Себастьяну тоже было интересно, а человек, который объявился вслед за Лизанькой, не уставал причитать:

— Дорогая, тебе гостиница не понравилась? Погоди... не стоит так вот резко... мы взрослые люди и всегда сможем договориться...

Лизанька на Греля Стесткевича, изрядно вострепанного и выглядевшего смешным, если не жалким, внимания не обращала, как и то, что он обеими руками вцепился в подол Лизанькиного платья. Он держал крепко, пыхтя от натуги, ногами упираясь в пол, таким причудливым образом сиюсь остановить Елизавету Евстафьевну, но она на доуку вовсе не обращала внимания.

Шла себе.

Тянула Греля, который по Себастьяновым прикидкам весил пудов этак семь... ну, может, чулка и меньше, но не намного.

— Лизанька... мы же отныне одна семья! И ты должна подчиняться супругу! Остановись немедленно!

— Уважаемый, — мягко произнес Аврелий Яковлевич, перекладывая тросточку из руки в

руку, — вы бы отошли... лучше бы, ежели бы вовсе вышли... а то мало ли...

— Лизанька! — воззвал Грель театрально, но платье выпустил и, оглядевшись, произнес брюзгливо. — Между прочим, это — моя супруга.

— Очень за вас рад, — неискренне произнес Себастьян, который если и радовался, то тому, что будучи замужем, Лизанька наверняка от него отстанет...

...хотя, конечно, любопытно, как это ее угораздило?

...нет, все к тому, несомненно, шло. И эти ее письма, и взгляд затуманенный, вздохи томные, каковые являются вернейшим симптомом девичьей влюбленности...

...но все одно любопытно... нет, Грель Стесткевич был, несомненно, хорош собой, даже сейчас, пребывая в виде совершенно неподобающем. Но красота эта была какого-то сомнительного свойства, будто бы позолота на цыганской серьге, чуть царапни такую, и станет найочевиднейше, что золото там только поверху, а ниже, на исконном слое, чистейшая медь.

Грель пригладил встрепанные волосы, в которых торчали разноцветные папильотки, распрямился и, оглядев собравшихся взглядом, произнес:

— Лизанька переволновалась... и в нее, кажется, вселился дух...

— Как он мне надоел, — произнес дух хрипловатым низким голосом.

Мужским.

И извернувшись, отвесил новоявленному супругу пинка, причем чувствительного, от которого онный супруг кубарем по полу полетел.

— Что ж, — с преогромным удовлетворением ответила колдовка. — Раз все в сборе, то начнем...

— Не познакомите? — Себастьян глядел на Лизанькины черты, которые заострились, заглубели, сложились в отвратной гримасе, более напоминавшей резную дикарскую маску, нежели лицо.

Приоткрытый рот.

Зубы, которые казались желтыми.

Слюна, текущая на подбородок... и сам этот подбородок, дрожащий мелко, мелко. Отвратительное зрелище. Нахмуренные брови. Глаза запавшие, даже не глаза, но лишь белки, и в полумраке залы глядевшие яркими.

— Отчего ж не познакомить? — колдовка дотянулась до Лизанькиной щеки и погладила.

Одержимая же, закрыв глаза, выгнулась, заурчала...

— Ты ошибся ведьмак, — колдовка обошла Лизаньку, поднимая ее волосы, заголяя шею, — мне не было нужды вызывать дух Миндовга... он всегда со мной... верно?

— Да.

Хриплый голос.

Короткое слово, но сколько нежности... от этой нежности сердце заходится, задышается. А может не от нежности, но от смрада.

Гнили.

И крови, которая проступает на Лизанькиных руках. Рубиновые капли просачиваются сквозь кожу... рубиновые крупные капли, которые Лизанька, точнее тот, кто занял ее тело, слизывает жадно, с урчанием.

— Заперли тело, — кивнул Аврелий Яковлевич с таким видом, будто бы именно теперь все ему стало совершенно ясно. — А дух... ты забрала на Серые земли? И дай угадаю, навья стая... и вожак... твой самый ценный трофей был всегда при себе.

— Трофей? Я предпочитаю считать, что я сохранила жизнь любимому человеку...

— Любимому?

— А что тебя удивляет?

— Странная у тебя любовь выходит... на привязи.

— А уж какая есть. Ко всему слабой женщине нужна охрана.

— Слабой, — Аврелий Яковлевич выразительно хмыкнул, а затем обернулся на Лихо...

...зачем притащил?

...от брата не будет толку, лишь подставится...

...у него проклятье петель вокруг сердца...

...и кровь волкодлачья, которая...

— Стой, — Себастьян сказал это мысли, почти ускользнувшей, но послушно застывшей по его повелению. — Ты ждала не удачного расположения звезд. Ты просто ждала, пока кто-нибудь не выпустит его... дух, я имею в виду. Лихо убил волка. И Лихо...

— Дал свободу, — согласилась Лизанька, ощерившись. — За то я не стал его убивать. Подарил... мы знаем, что я тебе подарил.

И Лихо, глядя в стремительно желтеющие Лизанькины очи, кивнул. Знает? Еще одна тайна, но чужая, несвоевременная... пускай... Себастьян докопается до нее позже.

Главное, остановить это безумие.

— Не надо, Себастьянушка, — повторил Аврелий Яковлевич и тросточку свою вытянул. — Не лезь в это... Мы тут сами... по-родственному...

Колдовка опять засмеялась, впрочем, ныне смех ее напоминал больше птичий клекот.

— По-р-родственному... по-р-родственному — это хорошо... ты р-родственников любиш-ш-шь, Себастьянуш-ш-ка?

— Это смотря каких.

Колдовкины выпуклые глаза были неподвижны. Да и глаза ли? Пуговицы слюдяные, нашитые на кривое лицо, при том, нашитые в спешке, оттого одна гляделась больше другой.

Страшная?

Отнюдь. Омерзение она вызывала, не более того...

— Ко мне, — она обернулась к Лихославу. — Ко мне, песик... рядом...

И тот, словно очнувшись от сна, тряхнул головой...

— Нет, — ответил глухо и вцепился в руки Евдокии, она же, даже если и было больно, осталась неподвижна. Улыбается. Жметя к нему. — Я не... я не твоя собака.

Это далось Лихо с трудом.

— А если так? — колдовка шелохнула пальцами, и Лихо побледнел, но остался стоять. — Упрямый... зачем, Лихо? Тебе ведь хочется вернуться... тебя ведь тянет... мы оба знаем, что ты слышишь. И как тебе нравится то, что ты слышишь...

— Нет.

— Ты не человек, — она тянула за нить, и петля проклятия затягивалась. — Зачем тебе среди людей оставаться? От них одни беды... они все одно не примут тебя... пусть и говорят иное, но мы знаем...

— Нет.

— Как хочешь, — колдовка отпустила нить. — Ты сам выбрал.

А в следующем миг Лихо, покачнувшись, начал оседать на пол...

...и Евдокия закричала, громко, страшно, почти как демон.

Умирать Лихослав не собирался.

Не здесь.

Не сейчас.

И вообще смерть, что бы там ни говорили романтики, уродлива, даже такая, по сути своей, безболезненная. Петля проклятья захлестнула сердце, сдавила, дернула и сердце это, еще не так давно исправно качавшее кровь по жилам, остановилось.

Лихослав прижал руку к груди, убеждаясь, что ему не примерещилось. А потом вдруг понял, что не способен устоять на ногах...

...он человек.

...когда-то был, но сейчас, ускользая из мира живых, яснее, чем когда бы то ни было прежде, понимает, сколько всего потерял...

...и ноздри щекошет горьковатый аромат багульника. Сухие корни его вплелись в моховые

купины, и держат их, не позволяя лапам проваливаться. Узором — красные нити клюквы, и бусины недозрелых ягод пахнут кисло, до оскотины.

...дымом тянет. Теплом.

И Лихо летит, не потому, что холодно, а просто...

...костер пляшет на ветвях не-мертвых берез, гложет белую их кору, выплевывая искры в воздух. И те выются, летают, касаются иссохших рук человека. Тот сидит у костра на корточках и держит книгу.

Толстая.

В переплете из ведьмачьей кожи, Лихо знает это точно, как и то, что книга проклята. Она приросла к рукам человека и питалась его силой, его кровью.

— Пришел, значит, — человек обернулся, показав свое лицо, темное, будто бы оплавленное. — А я уж понадеялся было...

Он и не сказал, на что надеялся, но лишь оторвал руку от книги — следом протянулись тончайшие нити, будто паутина, — и поманил Лихо.

— Садись.

И земля вывернулась из-под ног, поблекли запахи, зато краски сделались яркими, невыносимыми почти. А еще Лихо вдруг осознал, что он вновь стал человеком.

Удивительно.

И раздражает. Люди слабы. Убить их легко. Шкура тонкая, кровь сладкая... откуда Лихо это известно? Не ему, но тому, кто...

— Садись, садись, — человек подвинулся, оставляя место на своем плаще, столь древнем и заросшем грязью, копотью, что исходный цвет его невозможно было увидеть.

Лихо присел.

И руки, неудобные руки со слабыми пальцами, с синими ногтями, положил на колени.

— Что скажешь?

Наверное, следовало что-то, но слова не шли на ум.

— Узнал?

Лихо кивнул. Как не узнать Его? Проклятый? Благословенный? Он не похож на того старца, который бездну дней тому, читал навьим волкам из книги. Старец был благообразен, а этот... этот внушал отвращение. И Лихо убил бы его, когда б помимо отвращения Волчий Пастырь не вызывал страха.

— Что ж, смотри, — тот раскрыл книгу, перелистывая страницы, испещренные именами. И Лихо вдруг вспомнил, что когда-то он умел читать. Ныне же буквы плыли и никак не желали складываться в слова.

И Хельм бы с ними, с именами...

— Читай, — велел Волчий Пастырь или тот, кто владел его телом. Ему Лихо не посмел отказать.

Читал.

И видел. Людей, которые обращались в волков. И волков, что становились людьми, но этих было столь мало, что сами их имена терялись среди прочих. Он видел смерть. Много смертей, которые заставляли его задыхаться. Он хотел выбросить проклятую книгу в огонь, но та приросла к ладоням. А Волчий Пастырь не позволил отвернуться. Ледяные руки его стиснули голову Лихослава.

— Смотри!

Исчезали буквы, растворяясь на гнилом пергаменте страниц, но лишь затем, чтобы выпустить иное...

...темноволосый парень сидит на ветке старой яблони. И ветка эта нависает над самой водой, Лихо знает, что яблоню эту молнией раскололо, и что горела она, но не сгорела, потому как под корнями обжились водяницы. И что ныне, летом, они в омут перебрались. И что лезть в воду строго-настрого запрещено, но парня это не остановит.

— Ну, Лихо, не ссы, — говорит он, стягивая рубашку.

Парень горбат, и горб этот у него неправильный. В прошлом году они сбегали на ярмарку, где обещаны были всяческие уродцы, и попросились потрогать горбатого человека. Пришлось за то десять медней отдать, а потом Лихо сличал тот, другой горб, и этот... выходили разные.

— Свалишься, — Лихо точно знает — свалится.

И нырнет на самое дно.

И вытаскивать придется, а он, Лихо, плавает не очень-то хорошо. Вот если бы в морду кому дать... но с того самого прошлого года и ярмарки, на которой их деревенские заступили, Беса больше не трогают...

— Трус, да? — белая рубаха повисла на ветке. А парень встал.

Бес... нет, его не так зовут...

...ветка танцует под ногами, выворачивается, но парень стоит...

Бес... надо вспомнить имя. Обязательно надо вспомнить имя, иначе он упадет в омут... а Лихо плавает плохо...

Яблоня наклоняется, а в следующий миг просто сбрасывает Беса в зеленые руки водяниц. Он уходит под воду без всплеска, и солнце слепит глаза Лихо, мешая разглядеть... да и на что смотреть, не все ли равно?

Нет.

Вода холодная. Забивает горло, он, Лихо, глотает ее, пахнущую тиной, горькую, пытаюсь выпить пруд до дна. Он колотит руками и ногами дергает, потому что должен успеть...

...тогда ведь успел.

И сейчас схватил за руку, дернул, но не вытянул.

Держат.

И если не сказать имени...

— Себастьян! — Лихо кричит, захлебываясь стоялою цветущей водой...

...оказывается у костра, который все еще горит ровно. А вода стекает с длинных Лихославовых волос, которые сбились космами.

— Убери, — просит он, возвращая книгу хозяину, чему тот нисколько не рад, головой качает, повторяя:

— Смотри. То, что было... и то, что будет...

Девушка в черном платье.

Черная шляпка.

Черная вуаль. Ей не к лицу чернота, равно как и слезы, которые она вытирает рукой в черной перчатке. За плечами девушки — Себастьян, тоже в черном, хотя Лихо точно знает, что братец этот цвет на дух не переносит...

...траур у них?

Плевать.

Бес слишком близко подошел к девушке.

И приобнял как-то очень уж по-хозяйски... утешая? Успокаивая? Виделось за этим жестом нечто большее... а ведь Лихо его предупреждал, чтобы не смел лезть к Евдокии...

Имя выпорхнуло бабочкой из костра, Лихо успел его поймать и тонкие, кружевные крылья опалили руки, но Лихо держал, не зная, как ему быть дальше. А проклятая книга вновь оказалась у Волчьего пастыря.

— То, что будет, — повторил он, проводя гнилыми пальцами по переплету. — Возможно... если ты не поторопишься.

И пихнул Лихо в грудь.

Стало больно.

Евдокия знала, что ей нельзя влюбляться.

Что это неправильно.

Больно.

И вообще она вышла уже из девичьего возраста, который грозит такой чрезмерной чувствительностью. Вышла, да ушла недалеко...

Кричала.

И молчала, когда поняла, что не дозвется. Она ведь всегда была реалисткой.

Лихо умер.

Вот так просто взял и умер. Белый какой. И теплый еще. Вот только не дышит и губы синие... сердце остановилось... у мамы вот болело, но мама жива, Евдокия точно это знает, а Лихо вот на сердце не жаловался, только взял и умер.

И кто-то заставил Евдокию встать.

Себастьян? Зачем он здесь? Ах да, колдовка... вот она, стоит у алтаря, ждет чего-то... чего? Мертвых не вернуть... Евдокия видела многих, там ведь, в шахтах ли, на карьерах, мрут часто... но почему Лихо? Надо взять себя в руки.

Успокоиться.

— Тише, — Себастьян встряхивает ее, и оказывается, Евдокия плачет. А она — не из слезливых. И не место, потом, позже, когда тварь сдохнет, а Евдокии очень хотелось, чтобы колдовка сдохла и в мучениях, будет время для слез.

Похороны...

...ее не пустят, потому как она — никто...

...и хорошо. Евдокия не желает видеть, как Лихо в землю...

И зряшняя пустая надежда мучит Евдокиину душу, заставляя отбиваться от рук Себастьяновых, выворачиваться, вглядываться в лицо Лихослава.

Серое.

Губы синие. А волосы растрепались... и кто носит длинные? Уланы-то по обычаю коротенько стригутся, а Лихо... вечно он не по правилам... и та прядка на глазах мешать должна... а не страхнет, не уберет... и Евдокия могла бы, но не пускают.

Себастьян Вевельский крепко ее держит.

— Все будет хорошо, — от Себастьяна пахнет духами, и запах этот навязчивый душит. — Все будет...

...как-нибудь будет.

Евдокия реалистка. И самоубиваться не станет, а... что станет?

В монастырь уйдет?

Или попробует жить, как живется... она не сумеет больше одна... и наверное, если попросить, то на черном рынке сыщется зелье отворотное... отворот на мертвеца... так бывает? От мыслей стыдно, будто бы она, Евдокия, еще ничего-то не сделав, уже предала... плакать не может. И злость комом застыла в горле... на колдовку, на Себастьяна, который все это затеял и вновь выжил, а Лихо...

Евдокия попыталась вырваться — не отпустили.

Ударила.

Только разве сил у нее хватит, чтобы ударить действительно крепко, чтобы со злостью, со всею обидой... и ответом на удар развернулись черные крылья, сомкнулись пологом, заслоняя от нее Лихо...

...или ее от того, кем он стал.

— Ты... главное не нервничай, ладно? — мягко произнес Себастьян. — Думай о лучшем... полнолуние закончится... шерсть выпадет, хвост отвалится, и будет братец краше прежнего... главное, чтобы мозги на месте остались...

...полнолуние?

...шерсть?

...хвост... нет, Евдокия, конечно, знала, что Лихо... волкодлак... но знать — одно, а увидеть — так совсем другое, тем паче, что до нынешнего дня Евдокия волкодлаков видела исключительно на картинках. Ну и еще в музее королевском, где выставили огромное чучело, соломой набитое. И пусть бы у чучела были стеклянные глаза, а когти и вовсе из папье-маше сделанные, как то знатоки утверждали, но впечатление оно производило ужасающее.

Живой волкодлак был раза в полтора больше того чучела, про которое писали, что будто бы шкура для него снята с самой крупной и матерой твари во всем королевстве... и что остальные-то помельче...

...остальные...

— Лихо, — Евдокия попыталась вывернуться из Себастьяновых рук. А он все не пускал, перехватывал, норовя засунуть за крылья, прятал, глупый... Лихо ее не тронет.

— Отпусти! — взмолилась Евдокия, и ее, к счастью, послушали.

Но наверное, сама бы она все одно не устояла на ногах.

— Лихо...

Огромный.

И не волк вовсе, разве что волк бы вырос до размеров лошади... ладно, пушай и до битюгов марьянской породы, у которых копыта с парадное маменькино блюдо будут, ему далековато, но вот с Аленкину арабскую лошаденку точно будет.

Правда, лошаденка выглядит... мирно. А этот скалится, зубы белые, ровные, что твоя пила... и клыки торчат... нет, на человеческом лице они как-то аккуратней гляделись... но вообще и с морды Лихо ничего, узнать можно.

Или это Евдокии так кажется, со страху?

Хотя нет, страху она как раз не испытывает, только... счастье? Безумие какое-то. Ее жених, можно сказать, муж, за малостью законный, сначала помер, а после воскрес страховидлом, от

которого здешние девки, и без того крепко повидавшие, чувств лишились... королевич за саблю схватился, да только и Евдокии очевидно, что пользы от этое сабли — одно самоуспокоение.

Но главное, что сама она счастлива.

Именно.

До безумия.

И безумие это толкает к Лихо, потому что знает Евдокия — вовсе он не чудовище... рычит, глухо, но нежно... или только чудится ей эта нежность?

— Панночка... осторожней, — Матеуш произнес это с укоризной, но задерживать не стал.

А колдовка хохочет. Мол, что бы ни сделала Евдокия, нет больше того, прежнего, Лихослава...

— Лихо... Лишенько...

Зверь смотрит на Евдокию. А глаза желтые-желтые, будто из янтаря солнечного сделаны. И в них-то Евдокия отражается. Сама смотрит на это отражение, диву дается, неужели она такая... красивая?

— Лишенько... — руку протянула, коснулась горячего носа, и дыхание, вовсе оно не зловонное, как в книгах писали, а обыкновенное, человеческое почти, ладонь щекотнуло. — Что ж ты так, Лихо?

Колдовка же, которая смеяться перестала, шагнула было и этак, по-свойски руку на хребет положила, смотрит на Евдокию, морщится.

— Убей, — сказала, что выплюнула.

И Лихо толкнула.

А он не шелохнулся, только хвост, вовсе не волчий, а длинный, змеиный, прям как у старшего братца, по ноге колдовку хлестанул. Она же, верно, этаким пакости не ожидая, взвизгнула:

— Убей!

Лихо, вывернувшись из-под колдовкиной руки, как-то так встал, что Евдокия оказалась по другую сторону от колдовки.

— Думаешь, ты сможешь удержаться? — та отступить не собиралась, и даже когда Лихо зарычал, на сей раз глухо, с перекатами, не испугалась. — Ты умер. Ты не человек...

— Не слушай ее, — Евдокия провела ладонью по хребту.

Шерсть волкодлака была короткой, мягкой, словно шелковой... и псиной почти не пахнет... и горячий такой, а на ласку отзывается. Трется и вздыхает.

— Да уж, панночка Евдокия, — с некоторой заминкой произнес королевич. — Я знаю, что любовь лишает женщин разума, но вот чтобы настолько...

Лихо обернулся и рывкнул. Человеческую речь он понимал прекрасно, и королевский

изысканный пассаж оценил по-своему.

— Извините, пан волкодлак, — Матеуш почел за лучшее поклониться. — Это... от нервов... все ж обстановка такая все кругом... нервозная. Демоны, колдовки, волкодлаки... предок мой почтеннейший опять же... не подумайте, Ваше Величество, что я к предкам с неуважением отношусь...

Миндовг, которому в женском теле было еще менее уютно, нежели в волкодлачьем, зарычал.

— Я вас очень даже уважаю, как фигуру историческую, — Матеуш рычание проигнорировал, но от камня отступил, панночек потеснивши. — И биографию вашу изучал со всем прилежанием...

Еще шаг.

Лизанька, на алтаре сидящая, шипит.

— Однако вот к личному знакомству, признаться, не готов... да и то, Ваше Величество, в вашем-то почтеннейшем возрасте пора бы и на покой... желательно, вечный.

— Мальчиш-ш-шка... — зашипел Миндовг, который вовсе не собирался на покой, ни на вечный, ни на временный. Напротив, жить ему нравилось.

Еще бы тело сменить...

— Конечно, мне до вашего возраста далеко...

...еще шаг.

И Габрисия вцепилась в королевскую руку, а Эржбета — в Габрисию. Мазена же держалась рядом, но словно сама по себе, и в этот миг не желая поступаться честью Радомилов: коль уж умирать, то гордо...

— Я жить только-только начинаю... но хотелось бы продолжить. Я вам, Ваше Величество, за сговорчивость могильную плиту обновлю, а то старая уже трещинами пошла... сами знаете, вечно казначей ноет, что денег нет.

— Повесить, — проблема ноющих казначеев была Миндовгу близка и понятна.

— Так-то оно так, — Матеуш подтолкнул девиц к Аврелию Яковлевич, но тот лишь головой покачал. — Повесить можно... одного на виселицу, другого — на плаху... а работать кто станет?

— Р-развели демокр-р-ратию...

— Развели, — с сожалением признался Матеуш. — И могильные плиты теперь страдают... так вот, договорюсь, чтоб вашу обновили, так сказать, по знакомству. И мрамор итальянский закажем, высочайшего качества... эпитафию подберем сообразно случаю... и барельефом ваш профиль... по-моему, очень достойно получится.

Миндовг ответил важным кивком, не то, чтобы он соглашался в могилу вернуться, но обновить ее и вправду стоит, хотя бы из уважения к себе прошлому. Правда, того себя он почти и не помнил. Он вообще изрядно растратил память, и ныне в ней жили Серые земли, которые вовсе не были серыми, но играли всеми оттенками алого...

...луна с кровавыми прожилками в перине багровых облаков. И голос ее, слышный и ныне, пусть и тело иное, и место, но Миндовг слышит зов луны.

Не он один.

— Что ж, Аврелька, — сказала колдовка, — утомил ты меня...

Она вскинула руки, словно отталкивая кого-то или что-то, и Себастьян взвыл. Он уже видел это — горячую плотную волну, рожденную выбросом силы.

Воздух сгустился.

И потерял прозрачность. Он стал плотным, не воздух — мутное стекло, которое пошло трещинами, а после рассыпалось. И осколки роем злых пчел впились в кожу.

Матеуш закричал и сбил Габрисию на пол... Эржбета, кажется, тоже упала... Себастьян и сам покатился, его чешуя была достаточно плотной, но и сквозь нее жалили воздушные иглы.

Резко запахло кровью.

И белая пелена призраков сомкнулась над Ядзитой...

...эльфийку накрыло пологом собственной ее силы, от которой пахло свежей травой и еще, пожалуй, маргаритками... этот полог развернулся, накрывая людей.

— Держись, Аврелька? — со смехом поинтересовалась колдовка, собирая густой воздух в горсти, и тот в соприкосновении с колдовкиными руками чернел, прорастал нитями проклятий...

— Держусь...

Аврелий Яковлевич поднялся с пола и, отерев кровавый нос, сказал:

— Крестничек, ату ее...

Лихо встряхнулся...

...не успел.

...следующая волна, черная, гнилая, накрыла его, опутала, стреножив.

— Место, мальчик, место... слушай свою хозяйку... — она держала сеть обеими руками, подтягивая Лихо к себе. А он упирался. И нити проклятий впивались в тело.

Резали.

Прорастали сквозь шкуру, и Лихо уже не выл — кричал от боли... но несмотря на крик, полз, подбираясь ближе к той, которая была больше мертва, чем жива.

— Упрямый ты... и ты, Аврелька... — еще один взмах рукой, и Аврелий Яковлевич, который виделся Себастьяну несокрушимым, полетел на пол.

И на полу остался.

...Гавелу было страшно, как никогда в жизни. А в жизни ему случалось бояться всякого, взять хоть бы тот случай, когда его, Гавела, собаками травили, будто бы оленя... хотя, ежели совсем уж по правде, олень — тварь Божия, безобидная, а Гавел за дело пострадал.

Но тогда, спасаясь от стаи волкодавов, он думал, что в жизни сильнее не напугается.

Зря думал.

Колдовка была сильна. И он видел эту силу темным маревом, болотной шалью, что легла на тонкие колдовкины плечи... сила наполняла и переполняла ее, чужая, заемная, разъедающая изношенное тело...

...и уже недолго осталось.

Аврелий Яковлевич велел на руки смотреть, сказал, что в глаза нельзя — почует, догадается, а вот если на руки...

Руки пряли сеть из воздуха, заставляя его меняться, и это было столь противоестественно, что Гавел морщился, будто это не воздуху, но ему причиняли боль.

Причиняли.

Криком волкодлака, который вовсе не был темен, как должно бы Хельмовой твари...

...воем женщин.

...дребезжанием дома, переполненного призраками...

А руки темнели.

От хельмовой черной метки, которая проступила резко и вдруг, расползались тонкие тяжи черноты. И та истончала и без того тонкую, пергаментную кожу...

...еще немного.

Аврелий Яковлевич почти и не дышит.

Ребра поломала. И грудины. И больно ему, но ему случалось и хуже, он терпит... а вот Гавел боли страсть до чего боится. Ничтожное он существо.

Тварь, хуже волкодлака.

И боится, страсть до чего боится, что боли, что смерти... и тоненький голосок, который всю прежнюю Гавеловскую жизнь говорил, чего да как делать, и никогда-то не ошибался, ныне шепчет, что ежели тихонечко отступить... к двери... или к камню черному... ежели за этот самый камень да спрятаться, то, глядишь, и не заметят Гавела.

Что ему все эти люди?

Себастьян, который хрипит, пытаясь с пола подняться, да не может, придавленный колдовкиной волей...

Королевич, судьбою обласканный, во дворце живший, девки-конкурсантки... стервы, одна другой страшней, этикие в иной-то жизни в сторону Гавела и не глянули бы... и сейчас не

глядят.

Не видят.

Будто бы и нет его, Гавела, вовсе... вот он, талант его урожденный, богами даденый... и на что, спрашивается, Гавел этот талант использовал? За людьми следил, в грязном их белье копался да на свет божий выволакивал...

...а ведь получалось.

...и в тот-то раз не нашли Гавела собаки, не взяли...

И сейчас не заметят, ежели он захочет уйти...

Гавел сглотнул и, стиснув холодный металл, решительно шагнул вперед. Он двигался медленно, про себя повторяя, что его вовсе нет, ни здесь, в переменившейся комнате, напоенной туманом чужой силы, ни в доме этом, перевертыше, ни в самом Гданьском королевском парке...

...быть может, и на всей земле не существует такого человека, как Гавел...

...и еще шаг...

И другой, сквозь плотное марево испуганных душ.

...и третий, по раскаленному полу, по камню, который плавится, не в силах удержать чужую суть...

Четвертый.

Пятый и шестой... он считает шаги, и дом выворачивается ему навстречу, заводя колдовку за спину. Спина эта узкая, темная, и редкие бледные волоски торчат, словно былье на пустыре. Выделяются треугольники лопаток и ости позвонков... и сама эта спина вызывает лишь отвращение.

...семь...

И колдовка все же оборачивается.

Взгляд ее темнеет и...

— Ты кто? — в нем лишь удивление, верно, все еще выглядит Гавел ничтожной личностью.

Пускай.

— А ты кто? — спрашивает он и словно со стороны собственный голос слышит.

— Я? — удивление.

И растерянность.

Расплелось, рассыпалось заклятье, сотворенное Аврелием Яковлевичем, простенькое, безобидное, но... колдовка смотрит на свои руки, от которых, почитай, ничего не осталось.

— Кто... я?

— Хочешь посмотреть? — спросил Гавел, протягивая серебряное зеркальце, дрожа от одной мысли, что оно, сотворенное специально для этого существа, которое он не способен был и в мыслях назвать женщиной, выскользнет и разобьется.

Ладони вспотели.

А серебро сделалось скользким, точно дразня, желая вырваться из его, Гавела, пальцев.

— Я?

Она протянула рассыпающиеся прахом руки к зеркалу.

— Ты очень красива, — Гавел решился и, подавшись навстречу, выставил зеркало. — Смотри...

И существо замерло.

Не человек.

Не демон.

Но тень, сплетенная из остатков колдовкиной гнилой души и самое тьмы... тень помнила себя прежней. И любовалась. Держала зеркало, тянулась навстречу себе.

Гавел задыхался от вони.

И тоже держал.

— Посмотри, какая белая у тебя кожа, — говорил он ласково. — И волосы темные... губы красные...

Полуистлевшие пальцы колдовки скользнули по щеке и сломались, упали ошметками гнилья под ноги, а она и не заметила.

— А твои глаза... в них сама тьма обитает...

И эта тьма рвалась на волю, не видя разницы между телом живым и зеркальным, существующим едино за гранью человеческого мира. Она подалась, спеша наполнить это новое, старое тело, хлынула, сминая тонкую пленку стеклянного полотна, и то прорвалось...

Зеркало вскипело, опалив пальцы Гавела каплями раскаленного серебра. Он стиснул зубы, держа, держась и понимая, что выбор сделан и надо бы довести дело до конца, иначе...

...у нее все же почти получилось стряхнуть наваждение.

И взгляд отвести от пробоины, в которую уходила тьма.

Раззявить рот с гнилушками зубов.

— Т-сы... — длинный язык взметнулся плетью, раздирая тонкую щеку. — Ты пош-шалеешь...

Зеркало еще кипело, но тьма уже обживалась в том, ином доме, в котором существовали женщины-цветы...

...и не только тьма.

Колдовка покачнулась, попыталась устоять, но рухнула таки, от падения рассыпаясь пылью, тленом... а в мутное но пока еще живое зеркало хлынул призрачный туман.

Гавел слышал шепот.

И плач.

И смех, от которого в иной бы день, верно, с ума сошел. Он слышал звон колокольчиков и детскую считалочку...

— ...я садовником родился... — произнес кто-то над самым ухом, и бледная рука скользнула по щеке ледяною мертвой лаской.

— Не на шутку разозлился... — ответили с другой стороны и рассмеялись.

На миг туман расступился, и Гавел различил девушку в белом невестинном платье. Подняв руки над головой, она кружилась, будто не призрак — фарфоровая балерина из музыкальной шкатулки.

— Все цветы мне надоели...

...девочка с волосами цвета гречишного меда, в платье, сшитом из васильков. Она подмигивает Гавелу и прижимает пальцы, мол, молчи.

Ты меня видишь, но это — секрет.

Большой.

— ...кроме розы...

— Ой!

— Что с тобой? — призраки играли, кружили, водили, касались друг друга и Гавела, показывались, словно желали, чтобы он разглядел их лица.

Множество лиц.

И множество имен, которые были забыты...

— ...влюблена...

— ...в кого?

Рыженькая ромашка смотрит искоса, робко, не веря, что получила свободу. И к Гавелу идет на цыпочках. Он же смотрит на бледные ножки, на красные следы, которые остаются за ними.

— В короля моего, — отвечает девушка-ромашка на ухо. И обвив шею руками, просит: — Зачем они меня отдали? Мне здесь было плохо... мне здесь было так плохо...

— Все закончилось, — шепотом сказал Гавел и погладил призрака.

Он знал, что сие невозможно, но... ленты призрачных волос струились сквозь пальцы... и

волосы были теплыми, и сама она, давным-давно исчезнувшая девушка, вдруг ненадолго ожила:

— Поцелуй, — она просила, глядя в глаза, и собственные ее были ярко-зелеными, травянистыми. — Пожалуйста... всего один поцелуй...

От губ ее пахло той же травой.

И ромашкой.

Она исчезла, прежде чем Гавел успел пообещать, что всенепременно найдет ее могилу. И позаботится о том, чтобы останки должным образом перезахоронили.

А может и к лучшему, что не успел.

На губах остался привкус крови.

И... пускай себе... ему не жаль, а она побыла немного живой.

— Вот бестолочь, — сплевывая красную слюну, сказал Аврелий Яковлевич. Он еще не поднялся, стоял на четвереньках, некрасиво выгнув спину, и слюна не сплевывалась, но нитями стекала на пол. — Другая такая возьмет и выпьет досуха...

— Ага, — Гавел не спорил.

Возьмет и выпьет.

Досуха.

Он был жив, что само по себе было странно и одновременно удивительно. Занемевшие пальцы разжались и проклятое зеркало упало на пол.

Не разбилось.

Но королевич, размазывая юшку по лицу, которое от того стало еще более непривлекательным — а кого и когда красил разбитый нос? — сказал:

— Вы бы поаккуратней, пан ведьмак, уж простите, не знаю вашего имени...

— Гавел...

— А по батюшке? — Его Высочество помогли подняться панночкам. Гавел же смутился, никогда прежде его по батюшке не величали.

Гавелом он был.

Для начальства — Пантелеймончиком. Еще вот паскудиною, песьим сыном или скотиной, бывало, что и похуже обзывали неблагодарные клиенты, но вот чтобы так...

— Полистархович, — ответил за него ведьмак. И поднялся. Ребра ребрами, а был в Аврелии Яковлевиче немалый запас жизненных сил. — Знакомся, Матеуш... а заодно уж рассказывай, бестолочь коронованная, какого лешего ты тут делаешь?

Показалось, королевич смутился.

А ненаследный князь, который сидел на полу, ноги расставивши широко, и когтем на сгибе крыла шею чухал, чухать перестал, но нахмурился и спросил:

— Так он, что... натуральный королевич?

— Натуральный, — подтвердил Матеуш, нос кроващий пальцами зажимая. — Уж простите, панове, что план ваш порушил слегка...

Ненаследный князь фыркнул и, встав на четвереньки, бодро пополз к волкодлаку. Тот, избавленный от колдовкиных сетей, лежал, пристроив клыкастую голову на колени панночки Евдокии, которая эту голову гладила да еще что-то на ухо шептала.

— Но подумалось мне, что ежели так дело станет, то колдовка почует подмену...

— Скажи проще, пороли мало, приключения на задницу захотелось, — по-своему истолковал сказанное Аврелий Яковлевич. Выпроставшись из палито, он снял и пиджак с атласными лацканами, и жилетку. Рубашку, пропитанную кровавым потом, ведьмак просто-напросто содрал и ею же лицо вытер. — Свербело, значит... на подвиги потянуло... а ежели бы тебя, неслух венценосный, да на этот самый алтарь и положили б?

Матеуш смутился.

Во всяком случае выглядело это именно смущением, и Гавел пожалел, что камеру свою верную, каковая ныне не просто камера, а самый взаправдошный артефакт, оставил в гостинице.

Запечатлеть бы королевича вот таким, чтоб не при полном параде, каковым он народу показывается... без постановки... а в самом, что ни на есть натуральном виде.

Всклоченный и с раннею лысиной, которая ныне видна. Лопухий. Некрасивый, но меж тем странно притягательный. И лицо это с неправильными чертами приковывает взгляд.

Ракурс хороший.

Надо будет сказать, чтоб снимали его не в анфас, как ныне принято, но в три четверти...

...правда, Гавел сомневался, что к совету его прислушаются.

— Ничего, — Аврелий Яковлевич шел, прихрамывая на левую ногу, прижав к боку ладонь. — Я уж с твоим батюшкой поговорю... объясню, чем оно чревато... ежели тебе приключения в жизни мало, то он найдет...

— Аврелий Яковлевич!

— Да уж давно Аврелий... Яковлевич, — это ведьмак произнес с некоторой заминкой и поморщился. — Ты тут мир спасаешь... планы строишь, как зло одолеть и родине услужить... а он берет и все по-своему переиначивает...

Матеуш сделал вид, что усовестился и, подойдя к ведьмаку, любезно подставил ему королевское плечико, которое на пробу оказалось не столь хилым, как выглядело. Во всяком случае оперся на это плечико Аврелий Яковлевич в полную силу.

— Рассказывай, остолоп венценосный, — велел он, присовокупив к просьбе обычный свой подзатыльник.

И Матеуш стерпел.

Вздохнул.

Голову потрогал... и то отвык он уже от такой манеры ведьмака к общению вольному, если не сказать, фамильярному. Конечно, случалось в Матеушевой жизни и подзатыльники получать, преимущественно от батюшки, который полагал, что отпрыска по жизни следует наставлять не только словом. Бывали и розги, правда, редко, в случаях исключительных, в остальном же Матеушевы воспитатели, гувернеры и учителя относились к подопечному с должным уважением. Кроме Аврелия Яковлевича, который, стоило Матеушу напомнить, что он не просто так, а наследник престола, ответил:

— Засранец ты пока, а не наследник. Подрости еще, а там посмотрим...

И оплеуху отвесил.

Для усиления словесного эффекту.

— Да... нечего рассказывать...

Идея с двойником, которому надлежит сыграть влюбленного Матеуша, с самого начала показалась ему глупой, пусть идею сию одобрил и батюшка, и матушка, а самого двойника, который числился в особом штате, естественно, никто и спрашивать не стал.

Кроме Матеуша.

Нет, изначально двойник выказал полную готовность пойти хоть к колдовке, хоть к Хельму лысому во благо отчизны. Да и что ему еще говорить, когда за эту самую готовность ему платят по ста злотней в месяц? Иные баронства такого дохода не приносят.

В общем, с двойником пришлось говорить долго, сердешно и для поднятия градуса сердешности использовать особую настойку, каковую Его Величества именовали лекарственной и хранили в глобусе. А Ее Величество делали вид, что о настойке не знают...

На третьей стопке агент поплыл.

На четвертой, вздыхая и охая принялся жаловаться на жизнь, нет, не на службу, она-то была в целом спокойной, благо, в нынешние просвещенные времена покушения на монарших особ устраивали редко, а успех они имели и того реже, но... жить во дворце, пусть и на полном пансионе, но и в полной же изоляции, не имея возможности и словом-то перекинуться... вялая переписка с родней, понимание, что все-то письма перлюстрации подлежат...

...невеста, которая, поначалу радовалась, что суженый при короле устроился, на третьем году службы радость утратила, а ныне и вовсе замуж за соседа вышла, здраво рассудив, что не молодеет...

...а теперь еще и колдовка... колдовку-то обмануть сложнее, чем обыкновенного человека, она-то кровь чует... и хоть бы Аврелий Яковлевич амулету обещался, да как знать, сработает ли эта амулета...

В общем, Матеуш и сам того не желая, расчувствовался.

Однако о цели своей не позабыл. Пусть таланту магического в нем было на кроху, но хватило и

того, дабы клятву требовать. Конечно, протрезвев, агент падал в ноги и умолял Его Высочество не блажить... так разве ж это блажь?

Ну не верил Матеуш, что колдовка будет столь опасна.

А про демона и вовсе знать не знал... раскаивается он. Вот честное королевское слово! И Аврелия Яковлевича, который сию историю слушал превнимательно, хмурился да бороду тормозил, просит понимание проявить. Не Матеушу ведь достанется, а агенту, существу безвинному, за доверчивость свою пострадавшему...

— Два дурака в одном дворце — это чересчур, — ведьмак вяло отмахнулся от Матеуша. — Ничего, разберемся...

— А что с колдовкой?

— Нет колдовки, — Аврлий Яковлевич произнес это с чувством глубочайшего удовлетворения. — Вышла вся...

— Я не понял...

— И не поймешь, — ведьмак не отказал себе в удовольствии щелкнуть королевича по носу. Аврелька или нет, но... особ королевское крови в мире всяк больше, чем умелых ведьмаков. И сия простая истина давала Аврелию Яковлевичу право гордиться, если не собой, то своим умением. Пожалуй, Гавел мог бы ответить на вопрос Матеуша... и ответил бы, поскольку к собственной силе еще не привык, смущался и привычно трепетал перед теми, кто стоял выше его.

Стоял ли?

— В зеркала ушла, — Аврелий Яковлевич упомянутое зеркало поднял сам, осторожно, двумя пальцами. — Она-то в прежние времена тут целое зазеркалье сотворила... души тянула, мучила и запирала за гранью. А теперь и сама там оказалась... забыла, что у зеркала — долгая память.

— А Миндовг?

Лизанька лежала на алтаре, раскинув руки, и давешний помощник купчихи хлопотал возле тела, то по щекам постукивал, то к груди ухом прижимался. Верно, сердце Лизанькино билось, ежели в покое ее не оставляли.

— Следом потянулся. Он к ней привязан был... поводком, как собака к хозяину. Но ничего... он тоже свое получит... у них на всех обиды хватит.

Королевич отвернулся, не из смущения, но потому что смотреть на алтарь ему было неприятно:

— Что ей вообще нужно было?

— Что? — Аврелий Яковлевич не без труда плечами пожал. — Все и сразу... сила... вечная молодость, бессмертие почти... этот камушек многое дать способен. Власть. Смуту. Корону... думаю, надоело править Серыми землями, захотелось обыкновенными... вот взошел бы на престол Матеуш Кровавый, а при нем и королева красоты писаной... и всем бы весело зажилося... до кровавых соплей... а все почему? Потому что некоторым в заднице свербит... подвигов охота.

Королевич стыдливо очи опустил, но ему не поверили. И тогда Матеуш задал иной вопрос:

— И... что дальше?

— Дальше? Ничего, — Аврелий Яковлевич отер зеркало и сунул за пояс. — Дом, конечно, чистить придется, но... после, когда они сами попросят.

— А мы узнаем?

— Узнаем, — тихо ответила белокурая панночка, которая чинно сидела у алтаря, ручки на коленях сложивши. — Поверьте, узнаем... зеркала будут плакать.

...правда, она не сказала, что слезы эти будут кровавыми.

И случатся это не скоро.

Не сказала. А Гавел не стал уточнять: и без него разберутся.

Глава 15

О том, что порой торжеству справедливости мешают стереотипы

Четвертые сутки почти без сна.

И глаза горят огнем. Евдокия трет их, хотя понимает, что так нельзя, только хуже сделает, но ей все равно, потому что четвертые сутки уже, а ничего не понятно...

— Выпей, — Аленка протягивает высокий стакан с мятным лимонадом. — Тебе станет легче, вот увидишь.

И Евдокия берет.

Ей невероятно хочется спать, но сон кажется предательством по отношению к Лихо, ведь если Евдокия закроет глаза, то...

...мятный лимонад со слабым привкусом лимона, прохладен, как и Аленкины руки на висках.

— Вот увидишь, все образуется, — обещает она, и Евдокия вновь соглашается.

Конечно, образуется.

Четвертые сутки пошли уже... это ведь много, бесконечное количество часов, минут, секунд... растянутое ожидание... и она, Евдокия, бессильна что-то изменить.

Не здесь, не в королевском дворце, где она — не то пленница, не то гостя, а может, и то, и другое сразу, кто этих королей разберет? Дворцовый медикус вновь заглядывал, настоятельно рекомендовал успокоительные капли, дескать, Евдокия чересчур уж изводит себя переживаниями.

Изводит.

Как иначе?

Ведь четвертые сутки, а никто ничего не говорит... Себастьян заглядывал. Ему к лицу белый

костюм, и рубашка выглажена, накрахмален воротничок. Запонки поблескивают. Булавка для галстука подмигивает и сверкает, переливается камушек в подвеске. Себастьян его то и дело трогает, точно желая убедиться, что камушек этот на месте.

Сам он худой. И под глазами круги залегли. Откуда-то Евдокия знает, что ненаследный князь тоже почти не спит, и знает — из-за чего не спит... и это знание позволяет простить его.

А может, и того раньше Евдокия простила... та, прежняя вражда, казалась ныне глупой.

— Тебе надо отдохнуть, — говорит Себастьян и за руку берет, а Аленка держит за вторую. — Ты все равно ничего не сможешь сделать.

И Евдокия кивает, соглашаясь. Но правда в том, что она не способна ни есть, ни спать. Она ждет и ожидание выматывает душу.

— Все будет хорошо, — Себастьян умеет врать, и Евдокия почти верит. — Аврелий Яковлевич на нашей стороне, а он — это сила... и королевич опять же... он мне должен... и если так, то отпустят...

Евдокия кивает: конечно, отпустят.

Лихослав ведь не виноват, что он волкодлак. Он не такой, как прочие, не безумная тварь, кровью одержимая, он в любом обличье человеком остается... и останется... и значит, не имеют права его казнить.

Хотя казнью не назовут.

Ликвидация.

Или превентивные меры, кажется, так пишут в постановлениях на зачистку. И страшно, жутко... он ведь однажды умер уже... и Евдокия вместе с ним умерла. Но теперь жива... оба живы... и значит, так Богам угодно, а с Богами людям нельзя спорить.

Ее аргументы — пустые слова, которые и сказать-то некому, потому что в этом деле Евдокию спросят последней и... и спросят ли?

...четвертые сутки.

...а сон все-таки приходит, Евдокия знает, что рожден он Аленкиной силой, той, непривычной, проснувшейся в доме, которая и саму Аленку делает чужой. Но если попросить, то сестра отступит. Евдокия не просит, там, в душном забытии, время пойдет иначе.

Она падает в темноту с привкусом лимона и мяты, со слабым запахом шерсти. Падение длится и длится, Евдокия очень устает падать, и от усталости, верно, начинает вспоминать.

День первый.

Рассвет. И дверь, которая рассыпается прахом. Белесое небо с седыми нитями облаков. Острый живой запах травы...

Наследник престола садится на порог, вытягивает какие-то несоразмерно длинные ноги и зевает широко, мрачно.

— А все-таки жизнь — чудесная штука, дамы... вы не находите?

Ему не отвечают.

Эржбета садится на ступеньки, а Габрисия — рядом с ней, обнимает за плечи, словно утешая. Или сама утешаясь. Мазена держится в стороне, на ногах, ибо гордость Радомилов мешает ей быть вместе со всеми, но во взгляде ее — глухая тоска.

И Евдокии жаль Мазену.

Какой смысл в гордости, если нельзя быть счастливым?

— Солнце, — говорит Себастьян и, тронув за плечо, просит: — Отвернись. Не надо, чтобы ты это видела.

Солнце.

И время луны иссякло. Сама она, белая, блеклая, еще виднеется, висит бельмом в мутном глазу неба... но пора...

Страх колет: сумеет ли Лихо вернуться?

Не тогда, когда она смотрит.

Она стоит, глядя на стену, покрывшуюся узором трещин, выискивает в них знаки судьбы, пытается прочесть свое будущее, несомненно, счастливое.

Как иначе?

Никак.

— Ева? — этот голос заставляет сердце нестись вскачь. — Ты...

— Я...

Он почему-то мокрый весь.

И голый.

И Аленка отворачивается, только острые уши краснеют. Себастьян же, смерив брата взглядом, говорит:

— Уж извини... я и сам почти... но могу подъябником поделиться.

— Делись, — Лихо на предложение столь щедрое соглашается. — Ева, ты...

— Со мной все хорошо...

Мокрый и горячий... волосы растрепались, рассыпались по плечам, на которых блестят капли пота. И дышит тяжело, с перерывом. Сердце же бьется быстро-быстро.

— С нами все хорошо... будет.

Она обнимает его, неловко, но... как умеет, и плевать, что смотрят.

— Конечно, — дрогнувшим голосом отвечает Лихо. — С нами все будет хорошо...

...знал?

Понимал. Он, и Себастьян, который отвернулся, кулаки стиснув... и Аврелий Яковлевич... и наверное тот, другой, неприметный ведьмак, устроившийся у черного камня. Он сидел, скрестив ноги, сгорбившись, и глядел на людей искоса, точно не ждал от них не то, что благодарности, но и вовсе ничего хорошего. Когда и откуда появилась королевская гвардия, Евдокия так и не поняла.

— Ева, мне пора, — сказал Лихо и, наклонившись, поцеловал в макушку. — Мне придется... исчезнуть... ненадолго.

— Куда?

— Бес за тобой присмотрит, только... — Лихо наклонился к самому уху. — Если начнет приставать, то ты его канделябром... он очень впечатлился...

— Да?

— Да...

Наверное, следовало вцепиться в него и не отпускать.

Плевать на гвардию, и на генерал-губернатора, ныне облачившегося в цивильный костюм, который смотрелся на нем нелепо. Плевать на то, что существуют правила и протоколы. Плевать на медикуса с его каплями, и на ведьмака, который точно знал, что Лихо не опасен, но ничего не сказал.

Промолчал и королевич.

И ненаследный князь.

И сама Евдокия... она ведь и вправду думала, что это ненадолго. Разберутся и отпустят. За что его задерживать? Он же ничего не сделал. Он же не виноват в том, что его навий волк подрал... а потом колдовка... колдовка заставила его обернуться, но не смогла превратить в чудовище.

...день второй.

И апартаменты, которые им с Аленкой выделили на двоих. Комната небольшая, верно, и в Гданьской резиденции гостей больше, нежели покоев. Окно. Решетка. Цветник, на который Евдокия смотреть не желает, но смотрит, поскольку больше не на что.

Стены.

Обои. Старые часы с боем, которые спешат и оттого бить начинают первыми, а следом отзываются иные, коих во дворце множество. И Евдокия отмечает, что прошел еще один час.

Следователь. Не Себастьян, которого она не отказалась бы увидеть, но незнакомый господин в мышастом костюме. Он задает вопросы, один за другим, заставляя вспоминать все прошедшие дни. А на собственный, Евдокиин вопрос, отвечает:

— Разберемся.

Кто и когда станет разбираться, он не уточняет.

— Не переживай, — Аленка настроена оптимистично.

Она забирается в постель с ногами, с книгой и пирожными, благо, в королевском дворце диет не блюдут и умеренностью не страдают.

— Отпустят его, — она ест пирожные и пальцы облизывает. — Хочешь?

Евдокия принимает. Она и вправду думает, что отпустят и ждет. Прислушивается. Стоит услышать шаги за дверью, вздрагивает и принимается одежду оправлять, потому что...

...просто надо чем-то занять себя.

Но часы отсчитывают время, а Лихо не возвращается...

...день третий.

И Себастьян. Короткий разговор, от которого остается горькое понимание — не все так просто... Аврелий Яковлевич на их стороне... королевич... и это много?

Или недостаточно?

— Он мой брат, — Себастьян говорит это тихо. — Но он волкодлак. Этого не изменить. А волкодаков, сама понимаешь...

...боятся.

...и одного полнолуния, которое Лихо пережил, недостаточно, чтобы доказать — безопасен.

— Но все равно, — ненаследный князь сжимает кулаки. — Он мой брат и... я его не брошу.

Как ни странно, становится легче.

Настолько легче, что у Евдокии получается заснуть, ненадолго, и просыпается она больной, разбитой. Аленка сидит рядом, гладит руки.

— Как ты думаешь, — она смотрит с жалостью, от которой хочется выть. — Папа слышал?

— Должен был.

Евдокия не знала, что написали в газетах, наверняка, официальная версия от реальной весьма отличалась, но... что-то да должны были написать.

А Лютик понял бы и...

— Тогда папа скоро появится, — уверенно заявила Аленка, подсовывая пирожное со свежей малиной. — Скушай. Ты совсем ничего не ешь...

— Худею, — Евдокия пироженку взяла.

— Худей, — согласилась сестра, — но другим разом. И вообще, тощая невеста — это позор семьи...

— Почему?!

— Потому, что нормальная мать просто-таки обязана откормить любимую дочь пудов до семи-

восьми... можно, девяти.

— До девяти не надо...

— Тогда не будем, — Аленка забралась под одеяло и, обняв Евдокию, уперлась подбородком в плечо. — Ты только не плачь, ладно?

— Не буду.

...день четвертый.

Рассвет. Желтые проталины на темном небе. Звезды исчезают одна за другой. И это тоже развлечение, смотреть на них, гадая, которой не станет. Евдокия и смотрела.

Считала.

Сбивалась и принималась считать вновь... если сразу не ликвидировали, то есть шанс... конечно, есть... надо верить и богам молиться.

Что сделают?

Сошлют в приграничье, в Серые земли... не страшно, там тоже люди живут, и Евдокия сумеет. В конце концов, вряд ли на Серых землях хуже, чем на поселении при шахтах. торговлю если наладить... никто ведь толком не занимается, а ежели централизовано, то и цены можно будет снизить... и закупки организовать...

О закупках думалось легко, отстраненно. А потом появилась Аленка со своим лимонадом, и Евдокия уснула. Там, во сне, она продолжала думать и о будущем, и о прошлом, кажется, почти додумалась до чего-то важного, но не успела, проснулась.

Часы отбивали полдень.

Евдокия лежала, слушала и гладила перстень, который был странно теплым, убеждая себя, что сегодня...

— Сегодня, — Аленка сидела рядом. — Себастьян приходил. Сказал, что сегодня все решится... он вечером зайдет... Евдокия...

— Да?

— Все образуется... папа не позволит...

— Следовательно, вы признаете, что ваш брат совершил превращение, — занудно повторил вопрос князь Воршиц и лорнет поднял, направил на Себастьяна.

Оскалился.

А зубы белые ровные... фарфоровые, все это знают, но молчат.

Лицемеры хреновы.

— Признаю, — Себастьян заставил себя разжать кулаки. И улыбнуться в ответ Воршицу, который от этакой наглости скривился. Не привык, старый упырь, чтобы ответчики держались

столь нагло. Себастьян на трибуну облокотился, щеку горстью подпер и, уставившись на князя томным Взглядом, произнес. — И при том никто не пострадал. Напротив, мой брат и в зверином обличье сумел сохранить больше разума...

...осекся вовремя.

Ни к чему воронов дразнить, эти-то и смерти ждать не станут, живому глаза выключот, не из ненависти, но чтобы собственное положение укрепить. Или из возможности предоставившейся.

Совет, мать его.

Особое заседание...

...и тому скоту, который информацию про Лихо слил, Себастьян самолично ребра переломает, но позже, потом, когда закончится это представление, которое и затеяли единственно дабы собственное самолюбие потешить.

— Что ж вы замолчали? Договаривайте, — сказал князь Воршиц, лорнет убирая.

— Да к чему...

...третьи сутки кряду.

Вопросы и ответы. Одни и те же, заученные наизусть, набившие оскомину...

...вопросы и ответы.

...и Его Величество, который придремал на троне, и корона съехала на бок.

Плевать ему на то, что будет с Лихо... и советникам плевать... и всем вокруг, отчего злость раздрает, и Себастьян эту злость сдерживает с немалым трудом.

Ради Лихо.

Аврелий Яковлевич, который тут же, рядом, одобрительно кивает головой. Часы достает, откидывает крышку, смотрит и убирает.

Ждет он.

Чего?

Или кого?

— Если ваш брат столь... адекватен, как вы выразились, то почему мы видим здесь вас? — это князь Ястрежемский.

Зол.

За дочку, которая жива, но под арестом... о нет, арестом он не именуется, панночку Богуславу лечат и охраняют, но слухи про одержимость расползлись, а значит, две дороги ей — замуж, если найдется кто небрезгливый, с порченою связаться или в монастырь...

...а еще жена, новаявленная княгиня, на Хольм работала...

...и от этого Ястрежемскому тоже не отмыться, и кипит, брызжет слюной, определив на роль единственного виноватого в собственных бедах Себастьяна. Себастьян бы и принял, ему не привыкать, но этот же утопит Лихо из мести и ярость вымещающая...

— Потому что мой брат нездоров... Аврелий Яковлевич может подтвердить. Отсроченное проклятье его едва не убило...

— Жаль, что едва, — мрачно заметил князь Ястрежемский.

Закивали, соглашаясь...

...о да, мертвый Лихо избавил бы их от многих проблем. Поставили бы памятник или благодарственное письмо сочинили бы для семейного архива, а то и просто сделали бы вид, что не было такого.

Спокойно надобно. Ярость не поможет.

— Я думаю, — обманчиво мягкий голос короля заставил совет примолкнуть. — Ситуация предельно ясна...

Он обвел собравшихся мутным полусонным взглядом.

— Но прежде, чем принять решение, мы заслушаем князя Вевельского, — королевские белые пальцы, унизанные тяжелыми перстнями, вяло шелохнулись. — Нам важно знать его мнение, как старшего в роду... и как отца...

К нынешнему совету отец готовился тщательно.

Мундир нацепил, медали... знать бы, где куплены они. Хотя известно где, во дворце, тут ценник стабильный: за Анну — пять тысяч злотней, за Вотанов крест — все сорок... иные и дороже будут, но без медалек военному несолидно, вот и старался князь Вевельский, вкладывался, казалось, в безоблачное свое будущее.

Себастьян стиснул зубы, запирая рычание.

Жалок отец.

В мундире своем, в наградах, полученных отнюдь не за воинскую удачу, каковой у него отродясь не было. Вспотел. Взволновался. Никогда-то Его Величество не снисходили до прямого обращения. И ведь не за Лихославу судьбу переживает, но за собственное благополучие. Оттого и мечется взгляд, скачет от одного благородного князя к другому, ищет поддержки, подсказки, как оно ныне будет правильно поступить.

Не по совести правильно, а по текущей ситуации.

— Я... — голос отца дрожал. — Я думаю... мне кажется... конечно, Лихослав мой сын... любимый сын... и сердце мое разрывается от боли... князя Вевельские издревле служили королевству верой и правдой... кровь лили...

...верно, лили, что на границе, подпавшая дурную муть Серых земель, что в светлом Познаньске... и клятва кровная, данная добровольно, ныне мнится едва ли не ошейником.

Не позволит нарушить прямой приказ.

Если вдруг...

Себастьян сунул пальцы под воротничок рубашки, который вдруг стал тесен.

— Но любовь к детям...

...можно подумать, он когда-нибудь кого-то любил, помимо себя самого...

— ...не должна затмевать разума. А разум говорит, что волкодлак — это уже не человек... и сын мой, сколь ни прискорбно это осознавать, погиб много ранее, на Серых землях...

Тадеуш Вевельский вздохнул и поджал губы, сия гримаса, должно быть, знаменовала скорбь, которую испытывал князь, однако сочувствовать ему не спешили.

— То же существо, которое вернулось, опасно... и если бы я знал... собственной рукой...

— Вам предоставить такую возможность? — поинтересовался король и, не дожидаясь ответа, махнул рукой. — С вами все понятно. Аврелий Яковлевич...

Ведьмак поднялся и, поклонившись Его Величеству, повернулся к Совету.

— Лихослав Вевельский опасности не представляет.

— Простите, — тонкий голос князя Ястрежемского звенел от возмущения. — С каких это пор волкодлаки не представляют опасности?

— С тех самых, с которых я готов за него поручиться.

— Головой?

— А хоть бы и головой, княже, — Аврелий Яковлевич перевел взгляд на короля. — Довольно ли будет моего поручительства?

— Как по мне...

— Совет против! — взвизгнул Воршиц. — Совет вынужден обратиться в Верховный суд, ибо права народа и Закон в подобном случае будут попораны...

...Себастьяну мрачно подумалось, что в чем-то Миндовг был прав. Уж ему-то Совет возражать не осмелился бы... верно, Его Величеству в голову пришли сходные мысли, поскольку на лице мелькнуло выражение досады, глухого раздражения...

— Я понял. И что вы предлагаете?

— Мы... — Воршиц обернулся в поисках поддержки. — Мы не требуем смерти княжича, но настаиваем на его изоляции... скажем, в монастыре...

Советники закивали.

И отец приложил платочек к глазам: дескать, его тоже монастырь устроит.

Бескровно. Милосердно даже. И ручаться ни за кого не надо.

— Монастырь... — протянули Его Величество, которому совершенно не хотелось настраивать

против себя совет по поводу столь незначительному.

— К примеру, Вотановой благодати...

Аврелий Яковлевич стукнул кулаком по столу.

— Сами бы вы и отправлялись к... вотановой благодати, княже. А я скажу так. Зверя и стены не удержат, человек же в стенах озверееет...

— Ваше красноречие, Аврелий Яковлевич, всегда нас умиляло...

— ...а вторую ипостась княжича, ежели она вас так волнует, я запрю.

— Это недопустимо!

— Недопустимо, — Себастьян чувствовал, что еще немного и сорвется. — Казнить человека за то, чего он не делал...

— Но вероятно, сделает, если мы позволим... мы обязаны принять превентивные меры...

— Мы и примем, — ответил Аврелий Яковлевич басом, который на миг перекрыл возмущенный гул. — Сказал же, запрю...

— Волшба, конечно, дело хорошее, — старик Радомил поднялся с места, опираясь на плечи сыновей.

Сколько ему?

Вторую сотню разменял и протянет еще десятка два, а то и три... на упыря похож. Голова крупная, лысая, бугристая, кожей обтянута смуглой, словно вылеплена из глины. И лепили-то наспех, оттого и выпуклым вышел лоб, а затылок — плоским, будто бы придавленным.

Подбородок острый.

Нос кривой, свернутый набок. Щеку шрам перечеркивает. И глаз старый Радомил потерял еще на той, прошлой войне с Хольмом.

Крепкий.

И чего думает — не понять, а ведь Радомилы уже лет двадцать как на Совете не объявлялись... с чего вдруг такие перемены?

— Но следует помнить, что на одну волшбу другая найдется, а к любому замку — и ключ... — Радомил глядел на Себастьяна и улыбался.

Скалился.

И вправду упырь. Зубы свои, но пожелтели от времени, искривились, а десны бледные, оттого и выглядит все жутко.

— Важно знать, способен ли Лихослав Вевельский управиться с собственной натурой. Если так, то Радомилы не будут настаивать на монастыре...

— Способен, — глядя в глаза Радомилу, ответил Себастьян.

Повело.

Потянуло. Едва не затащило, словно бы в омут. И старый только усмехнулся кривовато.

— Готов поручиться за брата?

— Да.

— Чем?

— Словом. Кровью. Душой, — Себастьян говорил тихо, но был услышан. И Радомил кивнул.

— Нам довольно...

— А нам нет! — князь Ястрежемский был настроен весьма решительно. — Он тут словами бросается, а потом люди погибнут...

— Этими словами, — Радомил не без труда опустился в кресло, — как вы изволили выразиться, вовсе не бросаются. Клятва на крови и душе — редкое явление... и сумеете ли вы сами принести ее, ручаясь за родича?

Князь Ястрежемский смутился, после событий недавних, он и за себя ручаться опасался, а то мало ли... нет, придворные ведьмаки, к которым князь обратился с тайною, можно сказать интимнейшего свойства просьбой, заверили, что нет на нем приворота, проклятья и иных, косвенных свидетельств иного воздействия, но... как знать?

— Потому и говорю, нам — достаточно...

Совет загудел, но сие гудение было лишено прежней согласованности. А и верно, Радомилы, пусть сами на Совете и не являлись, но влияние имели немалое. Сколько из нынешних Советников ими прикормлены? А сколько просто побоятся связываться со злопамятным стариком?

— И тот же Статут, — Радомил прикрыл пергаментные веки, но Себастьяна не оставило ощущение, что старик и с закрытыми глазами видит больше, нежели остальные. — Утверждает, что в случаях спорных, когда нет вины прямой, то довольно троих ручателей, дабы снять обвинение...

Троих? Собственной душой Себастьян готов был присягнуть, но...

— Хороший закон, — хмыкнул Аврелий Яковлевич. — Что ж, за крестничка и я в охотку поручуся...

— Двое, — князь Ястрежемский сложил руки на груди. — Двоих недостаточно...

...время...

...попросить отсрочки и...

...Евдокия не откажет. Она действительно Лихо любит, но... и он за такое поручительство не поблагодарит. А не важно, лишь бы жив остался.

И на свободе.

— Что ж, — Его Величество кивнули. — Думаю, мы могли бы предоставить княжичу время... скажем, сутки... и если по прошествии этих суток нам будет предъявлен ручатель, то дальнейший вопрос будет исчерпан.

— А если нет? — поинтересовался князь Ястрежемский, которому подобный поворот, кажется, был весьма не по нраву.

— Тогда мы продолжим разбирательство...

— Не стоит, — этот мягкий голос был Себастьяну не знаком.

И обладатель его, человек... не человек.

Эльф.

Откуда на Совете взялся эльф?

Похоже, этот вопрос мучил не только Себастьяна. Советники, нахохлившись, точно грачи по весне, мрачно взирали на незваного гостя, который, впрочем, на взгляды их внимания не обращал. Остановившись перед тронем, он поприветствовал Его Величество кивком, и продолжил:

— Пресветлый престол готов поручиться за княжича Лихослава Вевельского.

— Интересно... — заметил Радомил, открывая глаза.

— С какой это стати? — князь Ястрежемский выразил всеобщее возмущение.

— По личным причинам.

Эльф улыбался, как умеют улыбаться, пожалуй, лишь эльфы. Уголками губ. Глазами. И насмешка в этих самых, травянисто-зеленых глазах, заставляла Советников пыхтеть от иррациональной злости, поскольку участь Лихослава Вевельского была решена. Вряд ли найдется хоть кто-то, кто усомнится в человеке, за которого поручился Пресветлый престол.

— Что ж, вот и замечательно, — Его Величество подавили зевоту, зело порадовавшись этакой, пусть и непредвиденной, но весьма душевной развязке.

Король вовсе не желал прослыть жестокосердным, хотя, говоря по правде, на судьбу княжича Вевельского ему было глубоко наплевать... но вот потомки потом пенять станут...

...и в памятнике откажут...

...а ведь до чего хорошо смотрелась бы рядом с именем прозвание — Справедливый... Король вздохнул и поднялся. Мечты оставались мечтами.

В последний момент, будто спохватившись, сказал:

— А ошейничек вы, Аврелий Яковлевич, все одно сделайте... так оно надежнее будет.

Лихослав знал, что его запрут, но не думал, что в камере.

Два на два шага. Окошко под самым потолком, перечеркнутое крестовиной решетки. Узкий

лежак. Матрац. Одежало. Одежду принесли сразу, хорошо, хоть не тюремную.

— Отдыхай, — сказал Аврелий Яковлевич, который самолично спустился, пусть и видно было, что каждое движение стоит ему немалых усилий. — Местечко, конечно, не курорт, но пару дней перетерпишь, а там оно как-нибудь да сладится...

— За этим пришли?

Ведьмак усмехнулся и сумку сбросил:

— Решил, что подкормить тебя надобно, крестничек... а заодно напомнить об одном нашем разговоре...

— Ни к чему. Я на память не жалуюсь.

— От и ладно, но мало ли... искушение будет, но... Лихо, молчи. Волкодлака мы как-нибудь вытянем...

— Вы себя вытяните.

— А что мне станется? — хмыкнул Аврелий Яковлевич. — Мне, ежели хочешь знать, и не так доставалось... ты же лежи, отдохни, подумай, что завтра скажешь...

...не завтра.

О нем вспомнили на пятые сутки, когда Лихослав почти уже решил, что его почли за лучшее оставить в подземелье. Не самый плохой вариант из возможных.

Дверь открылась, и на пороге камеры появился ведьмак, который, оную камеру окинул скептическим взглядом, будто бы удивляясь, что она все еще цела.

— Молодец, крестничек, терпеливый, — сказал Аврелий Яковлевич, бороду оглаживая. Следовало сказать, что выглядел он не в пример лучше. Исчезли круги из-под глаз, и красные прожилки в глазах, и кровью от него больше не пахло. — Ну собирайся, пойдем.

— Куда?

— В нумера, дорогой мой. Будем из тебя человека делать.

Каким образом Аврелий Яковлевич собирался сие проверить, Лихослав не знал, но был рад переменам. Все ж таки ожидание изрядно вымотало.

И значит, не пристрелят, как пса бешеного, и не запрут в четырех стенах на веки вечные, что было бы хуже... пристрелить — оно честней как-то...

Поднимались.

И встреченные люди почитали Лихослава стороной обходить. Знали? Откуда?

— Не волнуйся, крестничек, — Аврелий Яковлевич шел неспешным шагом, опираясь на свою тросточку, сова на которой несколько потемнела. — Людишки — твари боязливые, от каждой тени шарахаться горазды...

— Откуда? — поинтересовался Лихослав, провожая взглядом пару улан, которые держались

поблизости, делая вид, что не следом идут, а прогуливаются, по собственной, так сказать, исключительной надобности.

— Да нашелся... один молодец, который на сенсации заработал... — Аврелий Яковлевич повернулся к уланам и бросил. — Прокляну так, что только на коз вставать и будет...

...уланы мигом исчезли.

— И что теперь?

— Ничего, крестничек. Поговорят недельку-другую, власти поругают за бездействие, а там и новая сенсация, глядишь, сыщется...

— А мне что делать?

— А что тебе делать? Чего хочешь, то и делай, только сначала в номера... ты не думай, дорогой, что у меня к тебе веры нет. Я-то ведаю, что ты у нас тварь одомашненная, но тебе самому спокойней будет... да и мало ли... не надобны нам инциденты в жизни...

Лихослав по-прежнему ничего не понимал, но покорно сел в экипаж, который дожидался Аврелия Яковлевича. Ехали в молчании до самого Гданьска, до коронной гостиницы.

— Ты, крестничек, главное к людишкам снисходительней будь, — сказал ведьмак, когда пролетка остановилась. — Оне, людишки-то, в своих страхах плутают, навывдумывают себе всякого, а потом боятся...

— Полагаете, волкодлаков бояться не надо?

— Надо, — ответил Аврелий Яковлевич, отмахнувшись от швейцара, который со всею поспешностью бросился к высокому гостю, дверцу открыл, ручку подал. — Только... я не о том, Лихославушка. Ославили тебя, конечно, знатно, но... ежели по уму, то разве ж можно этакой газетенке верить? А они вон верят... и сами себя пугают. И маются промеж страхом и любопытством, которое заставляет в чужие дела нос совать.

Швейцар проводил Аврелий Яковлевича взглядом, в котором Лихослав не углядел ни страха, ни любопытства, но лишь затаенную надежду, что сей высокий, однако зело неудобный гость в скором времени все ж отбудет. Аврелий же Яковлевич пересек холл, не обращая внимания ни на дам, кои, завидев Лихослава застыли, верно, в ужасе, а одна таки вовсе чувств лишилась, ни на кавалеров, потянувшихся к оружию...

...дерьмово получается... газетенка? «Охальник», надо полагать... и если так, то небось, каждый человек в королевстве теперь знает, что Лихослав Вевельский — волкодлак...

И что думают? А то и думают, что сам бы Лихо думать стал. Отпустили его по праву княжеской крови, тогда как по справедливости должны были пулей серебряной одарить да колом из благородной осины. И чеснока в пасть, с чесноком оно завсегда верней.

Сколько таких желающих найдется? А ведь прав Аврелий Яковлевич, хотя это-то он вслух не сказал... прав, появятся людишки, которые решат справедливость восстановить... и ладно, если только за Лихославом охота будет...

— Перестань, — Аврелий Яковлевич остановился перед дверью номера для новобрачных, о чем извещала латунная табличка. — О дурном успеешь подумать. Ныне же давай о хорошем...

— И что хорошего?

— Ты живой, — дверь Аврелий Яковлевич открыл пинком. — И это хорошо, крестничек. А остальное как-нибудь да сладится.

Пожалуй, в этом ведьмак был прав.

Он живой.

И Евдокия жива... и наверное, переживает... записку бы послать, а после...

— Есть хочешь? — поинтересовался Аврелий Яковлевич, отправляя трость на подставку. Палито его, иное, но не менее богатое, нежели прежнее, исчезло в гардеробном шкафу, где, как успел заметить Лихо, были и плащи, и палито, и даже бобровая тяжелая шуба.

— Нет.

— Врешь.

— Спешу.

— К девице своей? От и правильно, поспеши... оно, чем жалостливей выглядишь, тем лучше...

— Она волнуется.

— А то, было бы странно, когда б не волновалась, — Аврелий Яковлевич снял рожок телефона и велел. — Обед принесите. На двоих. Что? Да что есть, то и несите... а девицу твою Себастьян успокоит.

— Скажите еще, что утешит, — мрачно сказал Лихослав, понимая, что обедать придется. Честно говоря, он был голоден. Не то, чтобы в заключении не кормили, кормили и весьма неплохо, следовало полагать, Себастьяновыми стараниями, ибо сомнительно, чтобы обыкновенным заключенным доставляли свиную шейку под соусом из белых грибов, фазаньи ножки, перепелов, начиненных можжевельными темными ягодами и прочие изыски, не говоря уже о вине. Но та еда в горло не шла...

— А понадобится, то и утешит, — хмыкнул Аврелий Яковлевич, проводя ладонью по бороде. — И не сверкай глазищами, не сверкай. Говорить будем... для начала.

— А обед?

— Обед разговору не помеха... иди вон, пока несут, вымойся, а то тюремным духом от тебя несет. Я ж к нему издавна нервически отношуся.

Лихослав крепко сомневался, что понятие «нервически» вовсе было известно ведьмаку, однако спорить не стал. И не удивился, обнаружив в ванной комнате смену одежды.

— Садись, — Аврелий Яковлевич сам отодвинул стул, и этакая любезность поневоле насторожила. — И ешь. Готовят здесь прилично...

С этим Лихослав согласился: фрикасе из кролика с раковыми шейками было отменным, да и семга, на гриле жареная, политая топленным маслом и лимоном, удалась...

— Вот что, крестничек, — Аврелий Яковлевич уселся напротив, сам не ел, но лишь смотрел,

рукою щеку подперши, с умилением, почти с восторгом, от которого Лихославу становилось неловко. — Отпустить тебя отпустили, но...

— Присматривать будут?

— Не без этого... я и буду, раз тебя на поруки взявши.

— Спасибо.

— Пожалуйста, — мизинец Аврелия Яковлевича с розовым, но ребристым ногтем, скользнул по краю тарелки. — Когда б не это дерьмецо трепливое, оно легче было бы... вот за то людишек и не люблю, что по за мизерной выгоды ближнего утопят...

Кто ему услужил, Лихослав уточнять не стал, и без того ясно было.

— В ином каком разе король попросту сделал бы вид, что знать о тебе не знает и ведать не ведает...

— А теперь знает?

— И знает, и ведает, и потому должен действовать сообразно закону. Или придумать, как оный закон обойти. Волкодлака на свободе оставить... сам понимаешь. Ты ешь, крестничек, это я так, чтобы ситуацию в целом обрисовать...

— Монастырь?

— Ну... многим эта твоя идея пришлась бы по нраву...

— Не вам.

— Не мне, крестничек. Уж извини, я жизнь люблю и не понимаю, как от нее прятаться можно. Богам служить? Таки кто мешает в миру-то... и ты у нас не монашеского склада будешь, потому не слушай.

Лихослав кивнул.

Слушать или нет... а ведь, говоря по правде, выход для такого, как он... дальний монастырь с прочными стенами, осененный Вотановым знаком, способный запереть не только Лихослава-человека, но и того, кем он стал.

— Неволить тебя не станут, — меж тем продолжил Аврелий Яковлевич, глядя мрачно, словно догадываясь о Лихославовых трусливых мыслях и их не одобряя. — Намекать будут, да... но тут уж сам сообразишь, как оно... только не спеши. В монастырь оно всегда успеется. А пока живешь, то вот...

Аврелий Яковлевич достал из кармана серебристый поясок, во всяком случае Лихослав принял эту вещицу именно за поясок, но понял, что ошибается.

— Ошейник? — он протянул руку, но прикоснуться не посмел, отодвинул.

— Ошейник, — подтвердил ведьмак, — пока он на тебе, обличье не сменишь.

Серебро не опаляло.

Да и с размером Аврелий Яковлевич угадал.

— Не обижайся на меня, крестничек, но...

— Не обижаюсь. Спасибо за все.

Ошейник не давил.

И вовсе не ощущался, легким был, теплым и, казалось, живым. Странное дело, но он, должный бы раздражать, поелику не привык будущий князь Вевельский к подобным украшениям, напротив, успокаивал. И Лихо, поглаживая серебряное плетение, думал, что, быть может, все вовсе не так уж и плохо.

— И еще... — Аврелий Яковлевич постучал по столу черенком вилки. — Он... не столько тебя от переворота бережет, сколько зов глушит.

Лихо застегнул рубаху.

А братец знал... наверняка знал, оттого и подобрал такую, чтоб воротник высокий... под воротничком, небось, ошейника не видать.

— Но все одно, Лишек... Радомил верно сказал. Не на ошейник рассчитывай, а на себя... сам устоишь, и поводки не нужны будут.

У гостиницы его ждали.

Двое.

И встрече этой Лихо вовсе не удивился, обрадовался даже.

— Чем могу помочь, господа? — в мундире и при сабле он чувствовал себя почти прежним.

— Можешь... если сдохнешь.

— Прямо тут?

Красные мундиры дворцовой гвардии. Эполеты. Перевязь, золотой нитью расшитая... сапоги хромовые начищены так, что солнце отражается.

А за формой лиц не видно.

И стоят эти двое почти близнецами, единственным различием — усы, которые у левого соломенного колеру и вверх закручены, сдобрены щедро воском. У правого — аккуратненькие, и бороденка на гишпанский манер, острым клинышком.

— Да зачем тут, — сказал тот, который бородатый, подбородок задирая.

Высокий, он силился казаться еще выше и глядеть на Лихослава сверху вниз, но получалось не очень хорошо.

— Тогда где?

А ведь уверены в собственном превосходстве, в силе и в праве... ну да, кто он? Нелюдь.

— А тут, недалече, — усатый ус крутанул. — Отойдем-с?

Швейцар повернулся спиной. Какое ему дело до господ офицеров? У них свои дела, в каковые лезть себе дороже, да и к чему? Поубивают друг друга? Пушай убивают, главное, чтоб гостям не мешали...

Идти и вправду было недалеко, до заднего двора, который при гостинице остался со времен давних, когда стоял на этом месте самый обыкновенный трактир, а при нем — конюшни со сменными лошадьми. Конюшни и ныне остались, и каретный сарай, и иные крайне полезные хозяйственные постройки, о существовании каковых постояльцы в большинстве своем и не догадывались.

— Может, все-таки миром? — предложил Лихослав, озираясь.

Тихо.

Безлюдно... оно и верно, дуэли не то, чтобы запрещены, но всяко высочайше не одобряются. А высочайшее неодобрение, оно и карьеру попортить может.

— С тобой? — бородатый сплюнул на землю. А его приятель молча обнажил клинок.

— Двое против одного? Это как-то не по кодексу...

— Кодекс для людей...

Что ж, пора, верно, привыкать, что он, Лихослав, уже не человек...

...первым атаковал бородатый. Он двигался быстро.

Для человека.

И бестолково.

А ведь не первая дуэль и не вторая: слишком легко решились... и пляшет, вьется, норовя задеть Лихослава кромкой клинка.

Играет.

Второй опасней в разы. Скупые плавные движения.

И в паре ведь работали... первый отвлекает, крутится, тычет саблей, норовя порезать... порезы не страшны, но боль помешает сосредоточиться, а вот второй бить будет насмерть.

На ком они тренировались?

Вряд ли на волкодлаках, все ж таки в Познаньске волкодлак — тварь редкая... Лихо полоснул бородатого по руке, вскользь, легко... мог бы и сильнее ударить, и было искушение, да нельзя... потом скажут, что он напал, что нежить и сильнее человека, и быстрее...

— Сволочь! — взвизгнул гвардеец, выронив саблю, которую Лихо носком сапога поддел и отбросил. Второй отступил, наблюдая с усмешкой, он и в одиночку сумеет тварь одолеть...

...чего ради?

Из смутной справедливости, которая говорит, что существа, Лихославу подобные, не имеют права среди людей жить? Или из глупого азарта?

Скучно им при дворце... отправлялись бы на Серые земли, вот там веселья хватило бы.

— Может? — Лихо опустил клинок. Но противник лишь головой покачал. Не отступит... и ладно...

...хищник...

...человек, а все одно хищник. Кружит, не сводя пустого взгляда. А ведь знакомое лицо... Лихо карточку видел и на карточке той противник его был моложе.

— Твердислав Пожельски? — уточнил Лихо, уходя от удара.

Не бывает в жизни таких совпадений... или бывает?

Повезло?

Противник отступил, кивнул, соглашаясь, что, дескать, он и есть Твердислав Пожельски... а ведь и вправду говорили, что искать его надобно не в провинции, что женился он выгодно на единственной дочке мэра, да с нею в столицу и подался...

...хорошо, что с Евдокией встретиться не привелось, ей было бы неприятно. А так, глядишь, и не узнает...

А он наглый. Смотрит в глаза, скалится. И быстрый, несмотря на то, что движения его кажутся нарочито мягкими, осторожными даже... и подбирается ближе, ближе... напарник его, оседлавши бочку, руку баюкает и ругается вполголоса. Лихо слышит его. И еще гудение ос, которые свили гнездо под самой крышей. Слышал хруст гравия под сапогами... шорох ветра, который скользил по черепитчатой крыше, пыль сгонял...

— Сдохни, тварь! — взвизгнул бородатый, а когда Лихо на крик не обернулся, швырнул в спину горсть песка...

Кончик сабли мелькнул перед глазами.

Еще немного...

...ослабился противник.

...отступил... и наступил... танец, в котором Лихославу пытаются навязать свой ритм, но он не настолько наивен, чтобы поддаться.

...а вот сделать вид...

И клинок трется о клинок, стальная нежность, которая рождает искры... почти страсть... и вершиной ее — острое, которое вскользь, лаская, касается плеча врага...

Поворот и точка клинком, который упирается в грудь Твердислава.

— Во блин! — восклицает его товарищ, этакой развязки не ожидавший. А Лихославов соперник вовсе не выглядит огорченным.

— Думаешь, сможешь от нее спрятаться? — шепотом говорит он, а потом вдруг падает, насаживаясь на клинок, как бабочка на иглу...

...позже скажут, что умер он задолго до этого удара, который и ударом-то не был...

...умер накануне, и уже мертвым явился в казарму...

...и товарищ его, удивляясь этакому обстоятельству, станет удивляться, а заодно уж клятвенно заверит, что идея дуэли бесчестной принадлежала целиком покойному, коий для покойника был слишком живым и инициативным, а сам пан Бельский ничего-то супротив княжича Вевельского не имеет... никак опоили, заморочили...

...но все это будет пустым и не важным.

Главное, что в тот миг, когда сабля вошла в мягкое, какое-то ненастоящее тело, Лихо услышал шепоток...

— Мой, мой...

— К Хельму, — ответил он, головой тряхнув.

И ошейник потрогал. Что бы там Аврелий Яковлевич не говорил, но с ошейником оно надежней будет...

Ветер, скатываясь с крыши лучшей гостиницы Гданьска, смеялся...

Глава 16

Где так или иначе решаются дела сердечные и не только они

Наверное, можно было вздохнуть с облегчением.

И Евдокия вздохнула, пытаясь унять непонятную тянущую боль в груди, точно игла засела... и вытащить бы, а она не вытаскивается, и предчувствия дурные только крепнут...

Радоваться бы надо, а у нее предчувствия.

И Евдокия трет виски, пытаясь понять, о чем же Себастьян говорит... главное уже сказал, но не уходит. Сидит в кресле, ногу за ногу закинул. В одной руке стакан с лимонадом, в другой — газетенка, кажется, та самая, мерзкая, в которой появилась очередная статья...

...волкодлаки среди людей...

...не стоило читать, но Евдокии хотелось хоть чем-то пустоту заполнить...

— Пожалуй, я пойду, — Себастьян вдруг замолчал, посмотрел как-то странно. Добавил тихо: — Вам бы отдохнуть... Лихо все равно в ближайшее время занят будет.

— Чем? — поинтересовалась Аленка, которая глядела на живую легенду с немалым подозрением, но хоть бы без прежней своей влюбленности.

Влюбленность — это боль.

А Евдокии не хотелось, чтобы сестре было больно.

— Кем, — поправил Себастьян. — Аврелием Яковлевичем. От него избавиться не так-то просто, потому отдохните... носик там припудрите... глаза нарисуйте. Только, когда объявится, с визгом на шею не кидайтесь. Глупо выглядит.

И откланялся.

А газетку, что характерно, с собой прихватил.

— Знаешь, — задумчиво произнесла Аленка, на дверь уставившись. — Мне отчего-то кажется, что он притворяется...

— Кажется.

Не хватало рецидива любовного... Евдокии бы с собственным справиться.

С визгом на шею?

Хорошая мысль...

— Ты улыбаешься!

— Нельзя?

— Можно! Нужно! И вообще... а платье уже решила, какое наденешь? Я думаю, что зеленое пока не стоит. Тебе, конечно, зеленый к лицу, но сейчас ты очень бледная... а розовое — слишком по-девичьи как-то... лиловое темное...

Аленка, распахнув дверь гардероба, самозабвенно перебирала платья, в каждом находя какие-то недостатки, которые оное платье делали недостойным Евдокии. А поскольку нарядов было не так и много, вскоре Аленка произнесла заветное:

— Тебе надеть нечего!

Евдокию одежный вопрос волновал меньше всего.

— Ерунда... там полосатое есть...

— Оно совсем простое!

Простое. Домашнее. Тем и лучше, потому что... Евдокия сама не знала, почему. Предчувствие грядущей катастрофы ее не отпускало...

— Я... пойду прилягу... голова...

— Все нормально?

— Да... не знаю...

— Скажи, что...

— Ничего... просто устала, наверное. Сколько я не спала?

Маленькая ложь во благо? Пусть будет, главное, что Евдокии и вправду следует прилечь. Она и сама готова поверить, что это ее беспокойство рождено единственно бессонницей. Так ведь

бывает, верно?

Иррациональные страхи.

И сон приходит, наваливается, душный, пыльный, чужой.

Евдокия точно знает, что сон этот ей подарили или, точнее сказать, подбросили, как подбрасывают к дверям дома приبلудное дитя, в надежде, что не оставят его лаской...

...не оставила...

...и вправду небо серое, стальное, с булатным узором облаков.

...под ногами мох ковром дорогим, каковые из Першии возят. Ноги проваливаются по самую щиколотку, и идти тяжело, поскольку гуляет земля, ведь ковер поверх водяного омута бросили. Неосторожный шаг — и прорвется.

Тогда не станет Евдокии.

С головою уйдет под воду... а там ждут, она знает, видит почти зеленоватых дев в одеяниях из рваных сетей...

...сестрою кличут.

Ерунда. Не сестра она им, чужая в этом мире, где мох расцветает от крови, и ползут по только что белому ковру узоры...

Идти надобно. Куда? Прямо, не останавливаясь, к дубу, молнией расколотому. Дерево это живо той странной здешней жизнью, которая Евдокии видится подделкой под настоящую. Она трогает шершавую кору, которая отзывается на прикосновение дрожью.

— Зачем пришла, девица? — спрашивают ее.

Старик в волчьем плаще...

...или не старик? Руки, что сжимают посох, сильны. А лица не разглядеть, скрывает его низкий капюшон. Но Евдокии кажется, что человек этот смотрит на нее с улыбкой.

— Зачем пришла? — повторяет он вопрос.

И губы Евдокии разжимаются:

— За тем, что принадлежит мне.

— Хорошо.

И посох падает на мох, чтобы в нем утонуть. А смуглые, перевитые вязью кровеносных сосудов руки, стискивают голову Евдокии. Лицо под капюшоном приближается...

А ей не страшно. Любопытно только.

...холодные губы касаются лба.

— Это тебе поможет, — говорит Волчий Пастырь, отпуская. — Когда придет время...

— Спасибо...

...этот поцелуй, метка, которая остается на Евдокии во сне, меняет мир. И белизна мохового ковра больше не режет глаз, да и омут под ним не пугает.

Сон выталкивает Евдокию, выворачиваясь наизнанку, и она лежит на перине, глядя в потолок, удивленная тому, что вовсе он не серый. И облаков нет.

Странно как...

Евдокия подняла руку, растопырила пальцы, удивляясь и собственной власти над телом, и тем, что тело это, несомненно, ей принадлежащее, пребывает в некой престранной истоме.

Будто Евдокия выходила.

А потом вернулась, но как-то... не полностью, что ли?

Она встала.

И умылась. И задержалась перед зеркалом, расчесывая длинные и слишком уж тяжелые волосы. Гребень скользил по прядям, и те рассыпались, а неловкие пальцы все никак не могли собрать их в косу.

И лента норовила сбежать.

Но Евдокия справилась сама.

— Дуся, — Аленка вошла на цыпочках. — Ты еще спишь?

Наверное, да, иначе почему все такое... неправильное? А предчувствие не исчезло, осталось в груди камнем на сердце, и тяжеленным, едва ли не надгробным. Того и гляди вовсе сердце раздавит. Много ли ему надо? Но Евдокия улыбнулась и сказала:

— Уже нет...

— А полоска полнит, — вредно заметила Аленка, которой не нравилось, что платье Евдокии слишком уж простенькое. Для домашнего, конечно, сойдет, но вот гостей принимать...

— Ничего.

Полноты Евдокия не боялась.

А чего боялась? Перстень на месте, только потяжелел, холодным сделался...

— Тогда к тебе пришли...

Лихо? Сердце екнуло. Лихо... конечно, кто еще? И бежать бы со всех ног, пусть бы и пошло сие, глупо, броситься на шею, расплакаться от счастья, что все позади... а Евдокия и дышать-то способность утратила.

Лоб горит.

Пылает.

И не лоб — метка Волчьего Пастыря предупреждением.

О чем?

— Ева? — Лихо был в гостинной и не один.

Лютик вернулся.

Сидит у окна, в полоборота, делает вид, будто всецело занят очередным прожектором, альбом вон приоткрыл, пером самописным водит... только ложь это все.

Почему-то Евдокия стала очень явно видеть ложь.

— Ева... мы... могли бы поговорить?

Худой. И бледный. И щетина исчезла, должно быть, за луной ушла, чтобы на новое полнолуние вернуться. И непривычно видеть его таким...

— Наедине, — Лихо покосился на Лютика, который кивнул и молча указал на соседнюю дверь.

Наедине.

Страшно.

Сейчас ей скажут, что...

— Спасибо, — Лихо взял за руку и прижал к губам. А и холодные, почти как перстень, который не ожил.

— За что?

— За то, что ждала...

Синие глаза, но желтый ободок вокруг радужки ярок, как никогда прежде. Зрачки плывут... и Евдокиино в них отражение тоже плывет.

— Как иначе?

Беззащитный взгляд. Обреченный.

— Не знаю... иначе...

— Ты за ним пришел, да? — Евдокия трогает перстень, который мертв.

Волшба? Никакой волшбы... заклятье... и бежал за ней тогда, а жрец сказал, что она, Евдокия, почти уже замужем... и почти — это еще не замужем... и надо улыбаться, потому что боги смотрят.

— Ева...

— За ним, — она покачала головой и попыталась стянуть упрямое кольцо, которое не хотело расставаться с пальцем. Или напротив. — Все закончилось, и я больше не нужна...

— Всегда нужна...

— Почему ты там появился, Лихо? В Цветочном павильоне... не случайно ведь, правда? И позже... не лги, пожалуйста...

...ложь она видит.

Чует. У лжи запах мяты и душицы, немного, на кончике языка, горечь тертой дубовой коры, которую на Выселках к муке подмешивают. Порой в хлебе коры больше, чем муки, обычно к весне ближе, когда запасы зерна почти истрачены. Но и такой хлеб, тяжелый, липкий, оседающий в желудке комом, едва ли не на вес золота. Да и много ли от золота толку, когда голоден?

Почему-то думалось об этом.

И еще о том, что там, на Выселках, людям было все равно, кто их сосед: князь, купец, а то и вовсе вор фартовый, лишь бы местного сурового закона не преступал.

— Меня... попросили за тобой присмотреть.

Не лжет. И наверное, хорошо, потому что метка-поцелуй наделила Евдокию знанием. Она бы охотно отказалась от него, но поздно.

— Кто?

— Генерал-губернатор.

— Присмотреть?

— И отвлечь, чтобы... ты не лезла, куда не просят.

...на Выселках дома строили из бревен, прочными, но почти слепыми, поскольку окна рубили под самыми крышами и крохотными, словно бойницы. Да там и было так, что каждый дом — крепость.

Но жили.

Худо-бедно... чаще всего худо и бедно, но ведь все одно жили. И Евдокия сумела бы, притерпелась и к темному лесу за частоколом, и к волчьим песням, и к голоду даже. Ей немного поголодать — на пользу...

...если его сослали бы, она пошла бы следом.

И наверное, сумела бы стать счастливой. Но вот беда, Лихо не сослали. И даже титула не лишили... он по-прежнему князь, а она... просто купеческая дочь, старая дева...

— У тебя получилось, — она вытянула руку, невероятно тяжелую, неподъемную почти, — забирай. Я не стану требовать, чтобы ты сдержал слово.

Странно.

Ему не должно быть больно, все ведь закончилось, а он кривится. И хмурится. И клыки появились... откуда клыки, если ушла луна?

— Ева... я волкодлак.

— Знаю.

— Не только ты, — он сцепил руки за спиной. — Теперь все королевство знает. Меня уже пытались убить.

Екнуло сердце, засбоило... но ведь живой, пришел и живой... и значит, повезло.

— И эта попытка — первая, но не последняя.

Он заговорил горячо, путаясь в словах.

— Я боюсь, Евушка, за тебя боюсь... они ведь решат, что если за волкодлаком замужем, то и сама... а может и не решат, просто отмахнуться походя... мне нельзя рядом с тобой. Понимаешь, нельзя! Опасно... для тебя опасно, а я не переживу, если тебя... с тобой...

— Уходи.

Евдокия сняла бы кольцо сама.

И не швырнула, нет, но... камень того и гляди сердце раздавит. И нет покоя в пожелтевших глазах Лихослава... и если бы он, как тот, чье имя Евдокия вычеркнула из памяти, был просто сволочью, ей было бы легче.

— Прости, оно больше не принадлежит мне, — перстень Лихо отправил в карман. — Мне, кажется, больше вообще ничего не принадлежит...

Евдокия кивнула и на дверь указала.

— Ты меня ненавидишь? — спросил он.

— Нет.

Если бы кто знал, до чего сложно разговаривать. Кажется, еще слово, и она разрыдается самым что ни на есть позорным образом.

— Жаль... лучше бы ненавидела.

Лихо все-таки обнял.

Поцеловал.

Зачем? Ведь ничего не исправить и он принял решение... за двоих принял, ее не спросив... а если бы спросил? Она бы плюнула на все... на всех... даже если мама против, а она наверняка против... и Лютик вряд ли одобрит, но Евдокия сумела бы пойти против них.

На те же Выселки.

На Выселках, вблизи границы, все одно, кто твой сосед, лишь бы закона не нарушал. А Лихо — на редкость законопослушный волкодлак.

— Не плачь, — попросил он, прижимаясь к щеке горячей же щекой. — Не надо. Я твоих слез не стою.

— Тогда уходи.

— Уйду.

— Сейчас уходи... — потому что еще немного и Евдокия не отпустит.

В пустой комнате слышно было, как колотится сердце. Странно, что живо. И что она, Евдокия, тоже жива. Стоит вот, дышит, держится за спинку стула, потому что если руки разожмет, то упадет.

Больно.

— Вот и все, — сказала она, когда за спиной открылась дверь.

— Тебе так только кажется, девочка, — Лютик ступал беззвучно. Он подошел сзади, обнял, и Евдокия, как когда-то в детстве, вцепилась в него, уткнулась носом в грудь, задышала часто, сдерживая злые слезы. — Он вернется... я думаю.

— Зачем?

— Ты знаешь.

— Нет.

— Знаешь, знаешь, — он погладил ее, и слезы все-таки прорвались. Она плакала тихо, часто всхлипывая, уже не думая о том, что взрослая и серьезная.

— Глупая, — всхлипнула Евдокия.

— Умная, конечно же, умная. И он тебя любит.

— Откуда ты знаешь?

— Если бы не любил, думал бы о своей пользе, а не о твоей...

— Ты... — Евдокия отстранилась. — Ты подслушивал?

— Конечно, — без тени смущения признался Лютик. — Я ведь должен был знать, что он тебя не обидит...

Наверное. И смешно, и немного стыдно оттого, что Лютик слышал все.

— Дай ему время, Евдокия, — от Лютика пахло весенним лугом и еще, кажется, любимыми мамиными духами.

— Сколько?

— Столько, сколько понадобится, чтобы разобраться с собой...

— А мне что делать?

— Чемоданы собирать. Мы уезжаем.

— Куда?

— Для начала в Познаньск, — он сам вытер заплаканные Евдокиины щеки.

— А дальше? — что-то в тоне Лютика заставило Евдокию насторожиться. — Что-то случилось?

— Как сказать...

— Случилось, — сделала вывод Евдокия и нос потрогала. Вот наверняка распух. Глаза чешутся. А выглядит она и вовсе жалко... и самой смешно, не так давно Евдокии было плевать на то, как она выглядит. Ныне же... что изменилось?

Многое.

— Присядь, — Лютик подвел к полосатой банкетке. — Дело в том, что... нам придется уехать.

— Нам?

— Здесь Модесту не вылечат...

— Ей хуже? — острая игла кольнула сердце.

А ведь Евдокия о маме и не вспоминала... привыкла, что у той всегда и все хорошо... страдает, слезы льет...

— Нет, — Лютик взял ее за руку. — Не хуже. Она не хочет ехать, но ваши медикусы со мной согласны. В Пресветлом лесу... будет легче.

Он потер переносицу.

— Мне разрешили вернуться домой... точнее, не разрешили, мне никто не запрещал. Но теперь я знаю, что меня рады будут видеть. Модесте помогут.

— Алена...

— Ей придется отправиться с нами. Она моей крови. Ты не обиделась?

Евдокия покачала головой. На что обижаться?

— Ты для меня тоже родная, но дело в способностях... я не думал, что Аленка их унаследует, но ошибался. Ты ведь видела?

Видела.

Белое пламя.

И сестра, которая перестала быть собой, превратившись в существо древнее, чуждое всего человеческого. И то существо никуда не исчезло, спряталась в Аленку, ждет своего часа.

Лютик кивнул, словно вновь заглянул в Евдокиины мысли:

— Сила без умения с нею совладать опасна. Аленка должна учиться.

— А я... что будет со мной?

— Ничего, — Лютик коснулся щеки. — Ты можешь отправиться с нами, если захочешь...

— И что я буду там делать? Унитазы эльфам продавать?

— Хотя бы и так. Кто сказал, что эльфам не нужны унитазы? Но если захочешь остаться здесь, то генеральную доверенность Модеста выправила. А оспорить ее теперь не посмеют.

— Почему?

Евдокия чувствовала себя... брошенной?

Они уедут.

Мама и Лютик... и Аленка тоже... в Пресветлый лес и надолго... она же останется, пусть по собственному решению, но все одно обидно.

— Потому что, — Лютик печально улыбнулся, — одно дело судиться с дочерью купчихи... и совсем другое — с внучкой Пресветлой Владычицы.

— Что?

— У нас нет понятия неродных детей. Я состою в браке с твоей матерью, следовательно, ты моя дочь...

— И внучка Пресветлой Владычицы.

— Да.

— А ты...

— Наследник престола, — тихо произнес Лютик.

— И тебе это не по нраву?

Наследник престола?

Лютик?

Ее отчим, который... который родной... и Евдокия любит его как родного... и знает... и точит ему карандаши, находит блокнот и альбом — Лютик вечно их теряет...

Наследник престола?

Он готовит борщ и пироги, которые никогда не получаются, но все их хвалят, чтобы не обидеть Лютика. А он с весьма серьезным видом уточняет, есть ли прогресс с прошлого раза. Он утешал Евдокию тогда... и ему первому она рассказала обо всем... не потому, что боялась мамы, но... с Лютиком спокойно.

Уютно.

И надежно... а он, выходит, наследник престола.

— Нет, — признался он. — Слишком большая ответственность... я к ней не готов. Пока.

— И возвращаться ты не хочешь.

Это не вопрос. Это факт.

— Не хочу, — Лютик не стал отрицать очевидное. — Но мне придется. У меня есть жена и две

дочери, которым нужна помощь.

— Лютик...

...и все равно не похож он на наследника.

— Да?

— Спасибо тебе...

— Не за что, ребенок, — он обнял Евдокию. — Вот увидишь, все будет хорошо...

Кого он успокаивал?

— Значит, в Познаньск? — поинтересовалась она, устроив голову на Лютиковом плече. — Завтра... а там... там видно будет.

Познаньск встретил дождем, мелким и нудным. Евдокия стояла под зонтом, глядя на блестящие от воды полосы рельсов, на поезда, на обычную суету, более не казавшуюся праздничной, но единственно раздражавшую. Дождь стучал по зонту, и сам этот зонт сделался невероятно тяжелым.

— Доброго вам дня, панночка Евдокия, — сказали ей, зонт перехватывая. — Позволите?

— Не позволю, — Евдокия вцепилась в рукоять, но Себастьян Вевельский к возражениям не привык.

И зонт-таки отобрал.

— Между прочим, благовоспитанные панночки, — произнес он наставительно, — от кавалеров не отбиваются.

— Считайте меня неблаговоспитанной панночкой, — Евдокия огляделась, с тоской понимая, что помощи ждать неоткуда. Лютик что-то втолковывал проводнику, никак пытался объяснить, куда багаж доставить, Аленка же по своему обыкновению задерживалась.

— Злитесь?

— Злюсь.

И на него злиться удобно.

Появился весь такой... в белом костюмчике, в черных галошах, лоснящийся, самодовольный... так и тянет стукнуть, если не зонтиком, то хотя бы ридикулем.

Себастьян, этакое желание уловив, отодвинулся. Зонтик он благоразумно не вернул, но ныне держал на вытянутой руке.

— Позволите проводить вас до вокзалу? — осведомился он налюбезнейшим тоном.

— Нет.

— Панночка Евдокия, я понимаю, что вы ныне не в настроении, но все ж осмелюсь

настаивать... нам бы с вами побеседовать.

— Нам с вами беседовать не о чем.

— А я так не считаю, — Себастьян Вевельский принял решение и, подхватив Евдокию под локоток — а руку стиснул так, что и не дернешься — потянул за собой. — Видите ли, мой дражайший братец, которого я люблю, несмотря на его паскудный характер, уж третий день как в печали пребывает...

— Неужели? — голос предательски дрогнул.

И Евдокия стиснула зубы. Нет ей дела до Лихо... в печали он пребывает? Сам захотел, сам пусть и пребывает... и вообще... она злится.

— А то... ходит день деньской по комнате, да все кругами, кругами... ковер вон истоптал весь. Мне перед хозяйкой стыдно, она его только-только купила, — Себастьян шагал широко и по лужам, нисколько не заботясь о том, что Евдокии неудобно. — И главное, в монастырь совсем уж собрался... ладно бы в женский, этой я еще понять способен.

— Вы... вы богохульник!

— Я? — Себастьян остановился. — Помилуйте, Евдокия. Какое богохульство? Молодой здоровый мужик должен стремиться в компанию женщин, а не таких же молодых и здоровых мужиков. Вы слышали, что о тех монастырях говорят? Вот то-то же... это и есть истинное богохульство. А у меня так, фантазии...

— Вот держали бы свои фантазии при себе.

Евдокия попыталась обойти лужу по краешку, но Себастьян хмыкнул и, перехватив зонт хвостом, поднял Евдокию за плечи.

— Что вы делаете?

— Проявляю хорошее воспитание, — он пересек лужу, весело шлепая по ней ногами, поднимая тучи брызг и явно получая от одного действия преогромнейшее удовольствие. Поставив Евдокию на другом конце лужи, Себастьян сунул ей зонт. — Мне матушка говорила, что женщины — создания слабые, о них надобно заботиться...

— А... а давайте, я сама о себе позабочусь? — предложила Евдокия, с тоской оглядываясь.

Поезд из Гданьска затерялся в дожде и тумане, и ныне представлялся такой же фантазией, как и далекий «Метрополь», в котором Евдокию ждал номер.

— Увы, мое хорошее воспитание против, — Себастьян вновь схватил Евдокию за руку. — На чем мы остановились? Ах да, на богохульстве и моныстыре... вот вы теперь же понимаете, почему я не хочу, чтобы мой дорогой братец отправлялся в монастырь? Его там плохому научат!

— Молитве и посту?

— А что хорошего в молитве, которая не от души, а по расписанию? Про пост вообще молчу... но я намерен тебя спросить кое о чем...

Он остановился аккурат посреди другой лужи, которую позволил Евдокии преодолеть самостоятельно, верно, хорошее воспитание имело свои пределы.

— Евдокия, тебе мой брат нужен?

И Евдокия ответила:

— Нужен.

— Ты на него злишься, но...

— Все равно нужен.

— Папаша подал очередное ходатайство, чтоб Лихо прав на наследство лишить...

— Плевать.

— И верно, — Себастьян широко оскалился. — Плевать. От титула одни проблемы, а потому...

Он сделал паузу, а затем произнес страшное:

— Я решил вам помочь!

...позже, в номерах «Метрополя», где дорогих гостей ждала горячая вода и горячий же шоколад с фирменными штруделями, Евдокия спросит себя, почему не отказалась от такого щедрого предложения. И сама себе ответит, что, во-первых, навряд ли ненаследный князь принял бы отказ, а во-вторых... кому, как ни Себастьяну знать своего брата?

Вдруг да...

...в конце концов, монастырь от Лихо никуда не денется. А от своего семейного счастья Евдокия не была намерена отказываться. Конечно, могло случиться так, что у одного счастья собственное мнение имелось, и Евдокия о нем спросит... когда-нибудь...

...лет через десять-двадцать...

С этой успокаивающей мыслью она принялась за штрудель.

Князь Тадеуш Вевельский изволили маяться головной болью, и рождена она была не столько многочисленными заботами, на оную голову упавшими, сколько весельем, которому князь предавался накануне. И нельзя сказать, чтобы принял он так уж много...

Стареет.

И пусть утверждают девицы, коих в клуб приглашают по соответствующей надобности, будто бы сохранил князь Вевельский прежнюю статью, но веры им никакой.

Продажные.

А ведь были времена, когда ему за романы, за естественные надобности, коих князь вовсе не стыдился, платить приходилось не звонкою монетой, но подарками, и то исключительно галантность проявляя, ибо нет ничего более губительного для репутации кавалера, нежели обвинение в скупости.

Ныне клубные девицы брали по прейскуранту.

И хоть были все как одна молодые да свежие, за чем распорядитель особо следил, а еще за тем, чтоб оные девицы ежемесячно к медикусу хаживали во избежание дурных болезней, но все одно не то... ах, куда ушли годы...

С этой мыслью князь изволили открыть очи, которые со вчерашнего отекали и слезились.

Коньяк был нехорош... или сигары... ввали, дескать, высочайшего качеству, но тогда отчего в горле скребет? И по темечку бухает, так бухает выразительно, что прям сил никаких нет. Князь дотянулся до колокольчика, и верный камердинер возник у постели со стаканом огуречного рассола. Чудодейственная сия жидкость имела благородный полупрозрачный колер, и украшена была веточкой укропу, придававшей аромату рассола терпкие нотки.

— Подай, — прохрипел князь, открывая рот.

Определенно, табачок-с был негодный... а ведь дерут-то в клабе как за первостатейный...

...и снова намекнули, что, дескать, за князем долг...

...а за кем по нынешним-то нелегким временам долгов нет? Вот то-то же... благодарны должны быть, что в из клуб, который даже не в центре Познаньску расположился, князь захаживает, а они о долгах...

Огуречный рассол князь пил крупными глотками, с каждым оживая.

Впрочем, все одно он ощущал себя позорно слабым, немощным. И хоть бы каминные часы показывали полдень, Тадеуш Вевельский решил, что вставать не будет.

Тяжко ему.

И вернув стакан камердинеру, ручкой махнул:

— Вон пошел.

Тот и вышел, оставив князя нежится в кровати. Нет, пройдет минут десять, быть может — пятнадцать, и князь встанет, все ж таки решение решением, но еще с Ястрежемским встречаться, о свадьбе говорить... это после, но пока... он позволил себе лежать, разглядывая балдахин, каковой, как и многое в доме, нуждался в починке.

— Спите, папенька? — раздался над самым ухом вкрадчивый голос. — А уж полдень на дворе.

— И что? — Тадеуш Вевельский поморщился. Все ж таки старшего сына своего он не то, чтобы не любил... хотя нет, не любил, конечно, что в его кругах было вполне себе допустимо, но куда печальней, что при мысли о Себастьяне он испытывал глубочайшее чувство брезгливости.

Нечеловек.

И не пытается даже скрыть вопиющую нечеловечность своей натуры. Порой князю казалось, что старший отпрыск нарочно его дразнит, но мысли этикие Тадеуш гнал. Да и вообще старался о сыне вспоминать пореже...

Нервы берег.

— Ничего, — сказал Себастьян, без приглашения, которого не последовало бы, усаживаясь в кресло.

Костюмчик белый, в тонкую лиловую полоску. Переливается белым золотом цепочка для часов. Сверкает перстенок на пальце... отливают чернотой когти.

И янтарные рога пренагло торчат из копны черных волос. А сами волосы длиннющие, в хвост собраны. Сколько раз ему было говорено, чтобы постригся... князь о волосах подумал с особою неприязнью, поскольку собственные его давно уже поредели, а лысина, ныне прикрытая белым полотняным колпаком, выглядела отвратительно.

— Я просто так... шел, шел, и дай, думаю, зайду, проведу любимого батюшку... давно не видел... верно, лет пять как!

Кончик Себастьянова хвоста щелкнул по одеялу, и это одеяло самым подлым образом съехало, обнажив тощие княжьи ноги с красными кружочками свежих клоповых укусов.

А говорили, что с прошлого-то раза перины перетряхнули, пересыпали и амулетами оберегли... вот же ж... врут, сволочи. Куда ни сунься, всюду врут.

Себастьян точно не заметил ни съехавшего одеяла, ни жалкого вида отца, который ерзал, пытаясь сесть. Но перины были мягкими, а длинная ночная рубаха опутала ноги, самым позорным образом князя Вевельского стреножив.

— А вдруг он занемог? Вдруг приключилось чего...

— Чего? — мрачно поинтересовался князь и потянулся к колокольчику. Но на звон камердинер не отозвался.

— Не знаю. Занемог там. Аль совесть проснулась досрочно.

— Шутить изволишь? Ничего не приключилось, — у Тадеуша получилось сесть в постели. — И твой визит несколько... несвоевременен.

— Ужас какой, — сказал Себастьян, вытягивая ноги.

— И если ты закончил...

— Я еще не начинал, папенька.

Хвост дернулся, показалось, раздраженно.

— Хорошо, чего ты хочешь? — князь осознал, что старший отпрыск добром не уберется.

— Я хочу, чтобы позволил Лихославу жить так, как ему хочется. И если уж младшенькому нужно твое одобрение, ты одобришь все, что он делает.

Следовало признать, что второй сын раздражал князя несколько меньше, чем первый.

— С какой стати? — Тадеуш сумел встать и, стащив колпак, швырнул его под кровать. — Если ты об этом... мезальянсе, то я свое слово сказал.

— Скажешь еще раз.

Князь поморщился: несмотря на чудодейственную силу огуречного рассола минувший вечер все еще сказывался тугой тянущей болью в голове. Впрочем, он уже оправился от потрясения, вызванного визитом отпрыска. Облачившись в толстый шерстяной халат с вышитыми

лебедами, князь потянулся, широко зевнул и поскреб в подмышке, где зудело особенно мерзко.

— Себастьян, — на голову князь надел чепец, не столько оттого, что боялся застудиться, сколько в попытке прикрыть лысину и редкие волосы, которые после сна некрасиво торчали. — Твой нынешний визит лишен смысла. Я принял решение. И не собираюсь от него отступить. Если Лихослав хочет, чтобы титул остался за ним, он женится на этой...

— Богуславе, — подсказал Себастьян, любезно подав отцу зеркальце.

— Во-во. Если дашь себе труд подумать, то сам согласишься, что пять миллионов и полтора — большая разница...

В зеркало князь только заглянул и, скривившись, уронил на стол. Все ж таки до чего нелепым, жалким выглядит человек поутру! Лицо примятое, веки набрякшие, нос огромен и подбородков уже не два — три... на красных щеках след от подушки, и еще завязки от чепца свисают с этих щек мышинными хвостиками.

— Разница имеется, — послушно согласился Себастьян. — Настолько большая, что хватит по твоим долгам рассчитаться... тебя ведь это интересует?

Князь насупился. О долгах он, впрочем, как и любой нормальный человек, вспоминать не любил, и не вспоминал бы, но в последнее время кредиторы всяческий страх потеряли.

Письма пишут. Судом грозятся.

А третьего дня вовсе прислали лысоватого суетливого человечка, представившегося нонешним держателем княжеских векселей. И человечек этот, принятый весьма любезно, имел наглость требовать немедленного оных векселей погашения.

Две недели сроку дал.

— Не только меня, — поджав губы, произнес Тадеуш Вевельский.

Векселей было на сто пятьдесят тысяч злотней... а где их взять?

— Лихослав забыл, что его обязанность...

— Твоя обязанность, — Себастьян перебил отца. — Это прежде всего твоя обязанность заботиться как о семейном имении, так и о своих детях.

Тихо стало. Слышно, как гудит, тычется в окно толстая муха. Надобно будет сказать, чтоб изловили, а то не дело это, чтоб в княжьей опочивальне мухи летали...

— Я и забочусь. Эта... как там ее... Богуслава — невеста завидная, княжьего древнего рода... с приданым...

Князь не стал озвучивать, что приданого этого хватит не только на погашение долгов.

И почесался, мрачно подумав, что как только ситуация нормализуется, а она так или иначе нормализуется, потому как помимо упрямого Лихо имеется куда более сговорчивый Велеслав, а князю Ястрежемскому без разницы, кто князем Вевельским станет... ему бы доченьку пристроить... в общем, как только ситуация нормализуется, Тадеуш первым делом покинет этот убогий клаб, где с клопами управиться не могут. И долгами в лицо тычут уважаемому посетителю...

— К слову, — мысль о том, что проблемы его вот-вот разрешатся, привела князя в настроение, которое можно было бы назвать благостным. — Эту купчиху можно выдать замуж за Велеслава...

...в семье миллионы лишними не будут.

— Самое оно, — князь почесал живот. — И все довольны будут.

— Это вряд ли, — произнес Себастьян, по-прежнему глядя на отца снизу вверх, и было в его взгляде... не раздражение.

Недоумение?

— Ты сегодня же отправишься ко двору и отзовешь свое ходатайство...

— С чего бы? — уступать сыну князь не собирался.

— С того, что в ином случае мне придется действовать так, как я то сочту нужным, — Себастьян поскреб когтем янтарный рог. — И боюсь, что тогда семейной репутации, о которой ты так трясешься, придется несладко...

— Угрожаешь?

— Предупреждаю, папенька. Я не знаю, как вам удалось втемяшить в голову Лихо, что он что-то там вам должен, но... я — не Лихо.

Себастьян погладил чешуйчатый хвост, о котором князю в свое время пришлось выслушать много нелицеприятно. Все ж, невзирая на объявленную королем политику толерантности, при дворе к нелюдям относились с немалым подозрением.

И сейчас Тадеуш испытал острый приступ брезгливости.

— Не нравлюсь? — поинтересовался Себастьян, хвост из рук так и не выпустив. — Как можно, папенька, сына родного так не любить...

— Какого сына? — князь взял себя в руки и даже справился с преогромным желанием немедленно вызвать камердинера, пусть выставит наглеца прочь. Остановило его то, что, во-первых, на зов камердинер уже не явился, а во-вторых, даже если и явится, то Себастьян всяко сильнее. — Того, который уже опозорил весь род? Ты читал, что о тебе пишут?

— Читал.

— Тогда ты понимаешь, что теперь твое слово ничего не значит. Что бы ты ни озвучил... — Тадеуш Вевельский взмахнул рукой, отгоняя настырную муху. — Твои фантазии никому не интересны.

— А вот это вы зря, папенька, — с расстановкой произнес Себастьян. — Мои, как вы изволили выразиться, фантазии заинтересуют многих... у меня давно уже интервью просят... так я не откажу... расскажу о детстве... о том, как ваши отцовские нелюбовь и небрежение толкнули меня на путь порока...

— Что?

Себастьян всхлипнул и кончиком хвоста утер слезинку.

— То, папенька! Я долго молчал, но не имею более сил! Отосланный во младенчестве из-за своего уродства, лишенный материнской любви и отцовской заботы, я получил сильнейшую душевную травму, которая ныне отзывается... и мои неестественные склонности — есть закономерность. Я, может, в Аврелии Яковлевиче увидел зрелого мужчину... отца, которого мне так не хватало... а вы, папенька, равнодушная скотина, ежели этого не понимаете. Вот остальные, полагаю, поймут.

...и осудят.

...в свете Тадеуша и без того недолгоблюдали, а после этаких сплетен...

— Шантажируешь?

— А что еще мне остается делать? Мы, личности аморальные, иначе не можем-с... — Себастьян развел руками и поднялся. — Если же вам, папенька, этого мало, то... во-первых, Лихо женился позавчера, а во-вторых, вчера Евдокия выкупила ваши долговые векселя... к слову, за четверть стоимости отдавали... так вот, она или оставит их себе, или передаст дело в суд. И поверьте, я сделаю все возможное, чтобы она этот суд выиграла. Понятно?

— С-скотина...

— Весь в тебя, — осклабился Себастьян. — И да, ходатайство твое не удовлетворили... и не удовлетворят. Поэтому, еще раз повторюсь, оставь Лихо в покое.

— Что?

— Что именно тебе не понятно, папенька? — это Себастьян произнес с насмешкой. — Уж извини, но при дворе ты многим... поперек горла стоишь. И мою просьбу уважили с преогромною охотой... даже за услугу не сочли.

Князь побагровел. Нет, он, конечно, знал, что старший отпрыск уважения к нему не испытывает, но чтобы вот так, беспардонно, в дела отцовские лезть? Да еще и гордится этим?

— Кстати, — из кармана пиджака появился плоский портсигар, который Себастьян раскрыл и перевернул над кроватью. — Говорят, что нехорошо в гости без подарков... так что вот... думаю, вы поладите. Кровапийца кровапийцу завсегда поймет.

Что именно было в портсигаре, Тадеуш Вевельский уточнить не успел:

— Папа! — голос Велеслава донесся из-за двери, а в следующее мгновение дверь эта распахнулась, едва не ударив князя по носу. — Папа, ты слышал?!

Следовало признать, что из всех сыновей, которых Боги послали — и в этом послании свыше виделась князю некоторая избыточность — Велеслав сильнее прочих походил на отца, при том как внешне, так и яркою неугомонной натурой.

— Слышал, слышал, — ответил за князя Себастьян. — Здравствуй, дорогой брат. Не скажу, что рад тебя видеть, но хорошо, что зашел... не придется дважды повторять.

— Это все ты! — Велеслав брату не обрадовался, зато сходу осознал, кто стоит за крушением всех его, Велеславовых надежд и чаяний.

За десять лет Лихославового отсутствия он привык к мысли о том, что именно он, Велеслав, и

унаследует титул. Не то, чтобы он желал брату смерти, но... всякое может случиться, а о Серых землях еще те рассказы гуляли.

Но нет, вернулся...

...и Велеслав осознал, сколь велика разница между потенциальным наследником и обыкновенным уланом, пусть бы и офицером, пусть бы и шляхетных кровей, пусть бы и служащим во дворцовой гвардии, но... все одно нищим.

Бесперспективным.

И ведь все удачно складывалось! Лихо жив и при невесте, пусть всего-навсего купеческого рода, но состоятельной, получил бы свой надел, может, пару деревенок, тех, что похирей... и отбыл бы бытие налаживать. А то и вправду, не в Познаньске же волкодлаку оставаться? И так перед людьми неудобственно выходит, что один брат — метаморфус, а другой и вовсе, простите Боги, волчьих кровей...

...но это Велеслав простил бы. И в добровольном изгнании Лихо стал бы навещать... изредка... или письмами, открытками святочными, опять же, радовать... так нет ведь, надо было этому недоразумению хвостатому влезти...

...и главное, как он успел? До самых, до верхов дошел!

Скотина.

— Ты... ты понимаешь, что натворил? — старшего братца Велеслав не боялся, помнил, как в далекие детские годы гонял, привязавши к хвосту панталоны маменькиной горничной, а еще склянки, подкову и прочую мелочь. Нет, не один гонял, с компанией, но так оно завсегда и было, пусть времени с той поры прошло изрядно, но оно и к лучшему. Тогда-то все дрыном закончилось и носом разбитым, который после вправляли, а все одно переносица вышла неровною. И за это Велеслав затаил обиду. Ныне же он чувствовал свое превосходство.

А и то сказать, Себастьян высок, но Велеслав все одно выше на полголовы. И в плечах пошире будет. И не зря он носит уланский мундир, небось, фехтует получше иных, да и кулачного бою, который многие мнят забавой для простонародья, не чурается.

— Понимаю, — Себастьян сделал шаг назад, впуская брата в княжескую опочивальню. — То, что давно пора было сделать. А тебе что-то не нравится? Я думал, что ты порадуешься за брата...

Велеслав порадовался бы, когда б вышеупомянутый брат отбыл бы в деревню на вечное поселение.

— Велечка, — Себастьян похлопал улана по плечу. — Угомонись уже. Лишек получит титул. Женится вот... женился... и будет счастлив... и проживет долгую хорошую жизнь. Он это заслужил.

— Чем же?

Велеслав отчаянно искал предлог дать старшему в морду, поскольку, даже ежели отрешиться от иных, важных причин нелюбови, она морда была зело нагла.

Прямо-таки вызывающе нагла.

И скалился, главное, бес рогатый...

— Тем, что годами тянул тебя на своей шее, — перестав улыбаться, сказал Себастьян. — Оплачивал твои долги карточные. Твоих девок. Твою квартиру. Твоих лошадей, которых ты каждый год меняешь...

— Мое положение...

— Твое положение — твоя проблема, Велька. Надеюсь, скоро до тебя дойдет... а не дойдет, таки на Серых землях всегда людей не хватает, будут рады.

Поскольку возразить было нечего, возражать Велеслав не стал, просто ударил.

Попытался.

Себастьян с легкостью перехватил руку и тонкие пальцы клятого метаморфа стиснули запястье, причем так, что кость затрещала.

— Сломать? — поинтересовался Себастьян, глядя в глаза. С усмешечкой своею, которая, правда, не оставляла сомнений, что, ежели понадобится, то и сломает.

— Я, между прочим, тоже твой брат, — Велеслав руки берег.

— Конечно, — к счастью, метаморф не стал додавливать. — И я безумно рад, что иногда ты об этом вспоминаешь.

Он стряхнул пылинку с синего уланского мундира.

— Я очень надеюсь, что ты все поймешь правильно...

Велеслав кивнул: поймет.

И запомнит.

Ничего, жизни длинная, а королевская милость — вещь такая, которая сегодня есть, а завтра и нету... выпадет еще случай поквитаться за обиды, и за давние, и за нынешние...

Додумать Велеслав не успел.

И удара не увидел. Только нос хрустнул, стало вдруг больно и потекла по губам кровавая юшка.

— За что?!

— За все, Велька, за все... и на будущее... — Себастьян по плечу похлопал. — Глядишь, ты в этом будущем благоразумней станешь...

Отцовский особняк, который никогда-то не был ему домом, Себастьян покидал в приподнятом настроении. Жизнь налаживалась.

Оставалось решить пару-тройку мелких проблем, и к этому вопросу Себастьян собирался подойти весьма творчески... в конце концов, он имеет право на небольшую моральную компенсацию...

— На от, — Тадеуш Вевельский протянул сыну платок и поморщился, все ж таки не любил он

драк, и кровью брезговал. Но в данный момент его занимал вовсе не разбитый нос сына, а миллионы, нагло уплывавшие из рук... Впрочем, ежели поторопиться... небось, князь Ястрежемский ныне во дворце нечастый гость... он все больше при монастыре обретается... и пока все выплывет, пока слухи...

...да и сам он настаивал на том, чтоб свадьба состоялась как можно скорей.

...сегодня встретится, как и собирались, а завтра уже свадьбу устроить...

— Собирайся, — велел князь Вевельский, стянув колпак. — Жениться поедем.

Глава 17

Где каждому воздается по делам его

— Ты не понимаешь... — Лихо метался по комнате, от окна к шифоньеру, от шифоньера — к круглому разлапистому столику, на котором не без труда уместилась пухлая ваза синего стекла, весьма любимая Себастьяновой квартирной хозяйкой. В вазе покачивались круглые шары пионов, и Лихо, всякий раз задевая очередной цветок, вздрагивал.

Говоря по правде, наблюдать за метаниями братца было интересно, но проснувшаяся было совесть требовала оные метания прекратить, если не из любви к брату, то хотя бы из опасения за целостность обстановки.

— Куда уж мне понять, — лениво заметил Себастьян, глядя, как на белой скатерочке, вышитой самолично панной Вильгельминой, расплывается влажное пятно.

Вазу она налила доверху, в какой-то странной уверенности, что этак пионы простоят дольше.

— Кто я?

— Кто ты?

Лихо не услышал.

— И кто она? Допустим, я на ней женюсь и... что дальше?

— Не знаю, — Себастьян сцепил руки на груди. — Никогда не думал, есть ли жизнь после свадьбы.

— Тебе смешно?

Врать, что нет, смысла не имело, оттого Себастьян кивнул.

— О да, повеселись... тебе всегда и все было весело... — Лихо остановился и пнул шифоньер, который от такого невежливого обращения заскрипел и дверцы приоткрыл, грозя обрушиться на хама все залежи Себастьяновых вещей... а залежи были старыми, можно сказать, многолетними, и Себастьян сам не мог бы сказать, что сыщется на полках его, помимо рубаш, синих подштаников с начесом, каковые панна Вильгельмина с завидным упрямством дарила на каждый Вотанов день, и круглой шляпы, купленной, не иначе как в полном умопомрачении.

Шляпа вывалилась и стукнула Лихо по макушке.

— Весело? Никакого веселья. Вот скажи, она тебе нравится?

— Нравится, — мрачно заметил Лихо, шляпу подбирая. За годы хранения она утратила исконную шарообразную форму, с одной стороны прогнувшись, отчего сделалась донельзя похожа на шлем после удара шерстопером. Сходство усиливал куцый плюмаж из крашенных фазаньих перьев. — Я... я для нее крендель украл.

— Тогда это любовь.

Лихо кинул косой взгляд, но Себастьяну удалось удержать серьезное выражение лица.

— Итак, у вас любовь... но женится ты не хочешь.

— Хочу!

— Тогда женись.

— Не могу!

— Из-за папаша? — шляпу-шлем Себастьян перехватил и примерил. Пахло от нее пылью и лавандой, никак панна Вильгельмина опять совала ее в вещи, страшась нашествия моли, которое непременно случится и доведет ее до полного разорения, поелику моль сожрет и шубы, и скатерочки и отменнейшего качества льняные простыни. Убедить квартирную хозяйку, во всем прочем женщину разумную, адекватную, что моль и саранча — разные насекомые, у Себастьяна не выходило.

Он время от времени вытряхивал из шкафа расшитые мешочки с лавандой и тихо матерился... ладно бы она сушеную раскладывала, так нет, страх перед ужасной молью толкал панну Вильгельмину на сговор с ведьмаком, каковой во много раз усиливал запах, делая его привязчивым и вовсе невыводимым.

— Из-за того, кто я есть... ты же видел... ты же понимаешь...

— Я понимаю, что твоей Дусе было плевать на то, уж извини, что ты есть.

Себастьян шляпу примерил, убеждаясь, что за прошедшие годы она не стала краше... и маловата ко всему, сидит на макушке, скособочилась, того и гляди, свалится.

— Это сейчас. А потом? Все ведь знают и... станут говорить... пальцами показывать... а если, не приведите Боги, я...

— Ты веришь Старику?

— Верю.

— Хорошо. А себе веришь?

— Себе? — Лихо смахнул лепестки пионов на пол. — Не знаю. Хотел бы сказать, что да, верю, но... это не совсем правда.

Он провел пальцем по воротнику рубашки, высокому, под самый подбородок. Себастьян знал, что под ним — широкая полоса серебряного ошейника, в которой, как уверял Аврелий Яковлевич, надобности особой не имеется, разве что для успокоения.

А Лихо и она не успокаивала.

— Ты ведь знаешь, что ее не тронешь, — Себастьян шляпу отбросил в угол. Давно пора было на помойку ее отправить. — Человеком или волкодлаком... не важно, главное, что не тронешь.

— Ее — да. А остальных... если я... я не имею права рисковать людьми. Жить среди них...

...бестолочь. И сам того не понимает, насколько бестолочь... а все папаша, чтоб его... и Велеслав, который вновь почувствовал близость княжеского титула.

...король...

...интересы королевства, которым князь-волкодлак не очень-то соответствует...

...и удобное всем решение... не убить, конечно, не за что Лихо убивать, напротив, вон медальку в зубы сунули за особые, так сказать достижения. И уже действительно не до смеха.

Себастьян смахнул перо, обломанное, смятое и спокойным тоном поинтересовался:

— То есть, ты все еще собираешься отправиться в монастырь?

Лихо развел руками. Иного варианта не видит? Ничего. Себастьян ему сейчас нарисует иной вариант во всех красках.

— Ладно.

— Что? — Лихо надеялся, что его отговаривать станут, все ж таки монастырская жизнь его вовсе не привлекала.

— Иди, — миролюбиво повторил Себастьян. — И ни о чем не волнуйся. Я за Евдокией присмотрю. Я... я, наверное, сам на ней женюсь.

— Что?!

— Ну... просто я тут подумал, что в моем-то возрасте уже пора...

Лихо нахмурился. А Себастьян, отправив вслед за шляпой носок, неведь как оказавшийся в кресле — видать, панну Вильгельмина очень уж потрясли последние откровения «Охальника», — продолжил.

— А Евдокия — партия хорошая. Я, конечно, ненаследный князь, да титул ей особо не нужен... если будет нужен, думаю, пожалуют... Его Высочество обещались милостью своей не оставить.

...правда, Себастьян очень надеялся, что обещание это так и останется обещанием. Куда спокойней ему бы жилось, когда б Его Высочество взяли и забыли о бедном познаньском акторе...

— Она же — девушка разумная. Характер хороший. Да и сама симпатична весьма... может, я ей даже изменять не стану.

Лихо стиснул кулаки.

— Опять же, матушка ее, теща будущая, в Пресветлый лес отбывает и, судя по всему, на вечное поселение, что не может не радовать. Теща в Пресветлом лесу — это очень существенный аргумент в пользу брака. Конечно, Евдокия сначала не согласится, но поймет, что лучше уж за меня выйти, чем старой девой век доживать... И не позволят ей старой девой... король так

просто эти миллионы не выпустит, найдет им хозяина.

Братец молчал.

Нехорошо так молчал. Выразительно.

И Себастьян, ослабившись, продолжил:

— Поэтому, думаю, нам удастся договориться. Мы вообще, глобально говоря, общий язык нашли...

— А я?

— А что ты? Ты у нас в монастыре будешь. Молиться за наше здоровье, благополучие и это... — Себастьян щелкнул пальцами, — многочадие... или как там выражаться принято?

— Молиться, значит?

— Со всем возможным рвением...

От вазы, которая полетела в голову, Себастьян увернулся. И ваза эта, врезавшись в стену, разлетелась на крупные осколки. Выплеснулась на пол вода, поплыли несчастные пионы, столь бережно хранимые панной Вильгельминой.

— Знаешь, дорогой братец, — Себастьян присел, скрываясь за спинкой кресла. — А смирения тебе не достает! Тренироваться надо!

— Я тебе хвост оторву!

— И гневливости избыток! Монахов видел? Им полагается быть скромными, отрешенными от дел мирских...

Лихо попробовал обойти кресло слева, но был остановлен щелчком хвоста по носу.

— Прекрати!

— Это ты прекрати дурью маяться, — сказал Себастьян, хвостом сгребая потрепанные пионы. — В монастыре и кормят хреново. Уверю, тебе там не понравится. Ни одному здравомыслящему человеку не понравится в месте, где хреново кормят...

— Убедил.

Лихо оставил попытки обойти кресло и перемахнул его прыжком.

— Значит, женишься?

— Если ты и дальше будешь себя жалеть, то да, — Себастьян смотрел на братца снизу вверх, надеясь, что во взгляде его присутствует некая доля раскаяния. — А то смотреть противно...

— Ты знаешь, что ты засранец?

Лихо протянул руку, что, наверное, можно было считать перемирием.

— Я? — Себастьян руку принял и встал. — На себя посмотри... сидишь у окошка, вздыхаешь... а

теперь вот комнату разгромил. Нет, не спору, ваза была отвратная, но панна Вильгельмина расстроится...

— Извини, — извинения прозвучали совершенно неискренне, и Себастьян заподозрил, что если братец в чем и чувствует за собой вину, то отнюдь не в пострадавшей вазе. — И... спасибо.

— Пожалуйста. Так что делать будем? Свататься?

Братец почесал шею, и у Себастьяна возникла премерзкая мысль о том, что у волкодлаков, небось, и блохи бывают... нет, Лихо, вроде мылся и по помойкам не шарился, но... тотчас засвербело между лопатками. И поясница... и в голове, кажется...

— Что с тобой? — Лихослав, окинув старшенького подозрительным взглядом, на всякий случай отодвинулся.

— Да так, ничего... — руки Себастьян сунул в карманы, и пускай сие не бонтонно, но зато и желания поскрестись не возникает. — Свататься, говорю, поедем?

— Откажут...

— Слушай, дорогой, вот в кого ты таким пессимистом пошел? Веселей надо к жизни относиться...

Лихо хмыкнул. Похоже, веселей у него не получалось. Думал он долго, минуты две, во всяком случае, Себастьян надеялся, что братец думает, а не просто ногой осколки в кучу собирает.

— Поможешь мне украсть невесту? — наконец, произнес он, поднимая растрепанный пион, который сунул в ручку шифоньера. — Я ее в процессе уговорю... попытаюсь.

— Попробуйся, — пион Себастьян отправил на пол, дав себе зарок всенепременно купить панне Вильгельмине эклеров, до которых она была большою охотницей.

И новую вазу.

Приличную.

— Только хорошо попытайся, а то ж... за украденных невест прилично дают.

Лихо приподнял бровь, и Себастьян пояснил:

— От пяти лет с конфискацией в пользу короны.

— Да?

Лихо вновь задумался, на сей раз, кажется, оценивая собственные шансы.

— Но это за невест, — поспешил успокоить брата Себастьян. — За жену на рудники не ушлют...

— А как тогда... если не согласная?

— Как, как... мир не без подлых людей, и без согласия повенчают...

Остатки букета, столь тщательно собранного панной Вильгельминой из цветов, самолично ею в палисаднике выращенных, полетели в окно. Стряхнув скатерку, Себастьян отправил ее на

каминную полку и подвинул к столу кресло.

— Садись. Думать будем.

— Это да, — Лихо усмехнулся. И кажется, окончательно выбросил идею монастыря из своей дурной головы... и хорошо, что выбросил... — Думать придется. С Евы станется за револьвер...

— Или за канделябр, — Себастьян потрогал давным-давно заживший затылок. — Слушай, а ты точно в монастырь не хочешь?

Братец скрутил фигу.

Вот же... волчара неблагодарная.

...по дороге к «Метрополю» экипаж остановился подле мясной лавки пана Климуцева, известного на весь Познаньск своими колбасами.

— Идем, — сказал Себастьян, спрыгивая на мостовую.

И носом потянул.

Следовало сказать, что ароматы от лавки шли самые что ни на есть правильные: березового дыма, чеснока и копченого мяса...

— Сюда-то зачем?

— Надо, дорогой братец, надо, — Себастьян, в разумность младшенького не до конца поверивши, держал его под локоток и крепко. Он толкнул дверь, и бронзовый колокольчик звякнул, упреждая приказчика о появлении посетителей.

Следовало сказать, что время было раннее, и приказчик изволил дремать за прилавком, уронивши голову на скрещенные руки. В левой он сжимал пожеванный кусок балыка, в правой — запотевшую бутылку с квасом, каковую словно бы незаметно прижимал к высокому лбу. На посетителей приказчик глянул без обыкновенного своего дружелюбия, но и гудящая после вчерашних посиделок голова не помешала ему оценить костюмы господ.

— Чего изволите? — поинтересовался он сиплым голосом и с немалым, нечеловеческим почти усилием, оторвал холодный квасок ото лба.

— Изволим, — ответил высокий чернявый шляхтич вида преудивительного. Длинные волосы он заплел в две косы, которые перевязал белыми шелковыми ленточками. Впрочем, они почти сливались по цвету с белым же сукном костюма, скроенного по последней моде. Посверкивали золотом квадратные пуговицы, и яркой алой звездочкой горел рубин на навершии булавки.

В петлице пиджака виднелся розан.

А на полусогнутой руке господин держал чешуйчатый хвост.

Приказчик мигнул, надеясь, что странное сие видение, явно рожденное разумом и остатками вчерашней браги, развеется... но нет, не исчез ни господин, ни хвост, который ко всему шелохнулся...

Второй гость вид имел более скромный. Костюм на нем был дорогим, и сидел по фигуре, но

отчего-то становилось ясно, что в костюме ему весьма непривычно. Длинные волосы, на сей раз светлые, он перетянул обыкновенным шнурком. И хвоста при нем не имелось... и розана в петлице...

— Краковельская колбаса имеется? — поинтересовался хвостатый, озираясь.

Колбас в лавке было много.

Лежали на белой хрустящей бумаге толстые кольца вантробянки. Была и кровяная, красная, вареная с перловой крупой и нутряным жиром, с тмином и укропом, с белыми грибами — цельных семь сортов... лежали мясные рулеты, с яйцом ли, с морковочкой вареные... буженинка, щедро посыпанная рубленым укропом или вот острая, в шубе из смеси перцев. С крюков свисали темные полосы балыков.

И сухих колбас.

Из свинины, из говядины, из дичины трех сортов, смешанные с ароматными травами, высушенные...

— Имеется, — важно ответствовал приказчик, убирая погрызенный балык под прилавок. Руки он отер о чистое полотенчико и, оправив фартук, вышел к гостям.

А заодно уж и припомнил, где видел их...

...на днях, на страницах «Охальника» писали и про светловолосого, который на волкодлака вовсе не походил, пусть бы и знакомых волкодлаков у приказчика не было, зато был нюх на людей, утверждавший, что сей клиент — весьма безобидного свойства.

...а вот темный — нет, вредный, придирчивый, из тех, что долго будут за каждый медень лаяться...

— Тогда неси!

— Себастьян, — сказал волкодлачий князь, — зачем нам краковельская колбаса?

— Дорогой брат, — отвечал ему Себастьян, глядя за тем, как ловко приказчик подцепляет крюком связку колбас. — Тебе надо, чтобы тебя выслушали. Так?

— Так.

— А чтобы женщина слушала, надо сделать так, чтобы она молчала. Логично?

Приказчик раскладывал на прилавке кольца самой дорогой, краковельской колбасы, которой хозяин лавки весьма гордился, ибо каждый год на ярмарке именно его краковельскую отмечали государевой золотой медалью за аромат и вкус.

— А женщину замолчать — дело непростое...

— Думаешь, колбаса поможет?

— А то! — Себастьян наклонился к прилавку и, закрыв глаза, вдохнул изысканный колбасный аромат. — Кроме того, кольцо ты ей уже дарил...

— Дарил, — вынужден был признать Лихослав.

— Вот! Подари колбасу.

— Я думал обойтись цветами...

— Розами?

— Ну... да...

Себастьян вздохнул и, похлопав брата по плечу, произнес:

— Никогда не дари разгневанной женщине розы!

— Почему? — не удержался приказчик, который тоже намеревался приобрести букетик для супружницы, зело сердитой из-за вчерашних посиделок. Даже не столько из-за самих посиделок, сколько за то, что после оных вторая половина явилась домой в непотребном виде, песни орала и требовала подтверждения тому, что именно она в доме хозяин...

Себастьян снисходительно пояснил:

— Потому что розами по физии получать неприятственно. Колючие они.

...приказчик, подивившись этакой предусмотрительности, порадовался: и впрямь, пионы и мягче будут, и дешевле... и тоже красивые цветы.

— А колбасой? — вредно поинтересовался Лихослав.

— Колбасой... — из всех колец Себастьян выбрал самое сухое, тонкое, — Ты что, Лишек? Какая здравомыслящая женщина расстанется с таким чудом?

Он погладил колбасу с нежностью.

— И вообще... краковельская колбаса — залог мира и благополучия... Заверните. И бант, пожалуйста, понарядней...

— Мне кажется, что ты надо мной издеваешься, — Лихослав мрачно смотрел, как приказчик оборачивает колбасу в розовую бумагу, а поверху вывязывает бант.

Тоже розовый.

Бумага в лавке имелась, а вот бант Себастьян с собой прихватил.

— Ну что ты, братец! — возмутился тот почти искренне. — Как можно?!

Евдокию похитили прямо из постели, в которой она соизволила предаваться тоске.

Похитили, надо сказать, вместе с пуховой подушкой, облаченной в шелковую наволочку, и пуховым же одеялом. Одеяло было жарким и душным, но Евдокия все одно натянула его с головой, поелику, во-первых, приличным девицам тосковать полагалось самозабвенно, отрешившись от мира с его искушениями, а во-вторых, тоска сопровождалась слезами, от которых Евдокиино лицо, надо полагать, распухло и сделалось еще более некрасивым, нежели обычно.

— Гадство какое, — сказала Евдокия, которая только-только перестала всхлипывать и тереть

нос. Чесался он то ли от слез, то ли от перышка рыжего, высунувшегося сквозь наволочку и забравшегося в ноздрю. Евдокия нос чесала.

И думала, что, к превеликому ее сожалению, остаток жизни под пуховым одеялом не проведешь. Надобно решать что-то...

...а стоило подумать о решении, как вспоминался Лихо.

И слезы вновь градом лились.

В общем, она повернулась на бок, твердо вознамерившись покинуть убежище и дойти хотя бы до ванной комнаты, глядишь, холодная вода и поможет со слезами управиться... но тут ее похитили.

— Держи крепче! — раздался знакомый и до отвращения веселый голос. — А то сбежит, лови ее потом по всей гостинице!

— Что вы... — хотела спросить, но сквозь одеяло разговаривать было неудобно.

Скрутили.

С подушкой вместе, в которую Евдокия вцепилась в отчаянной попытке удержаться на кровати.

Подняли. Понесли... и главное, быстро так несли... а потом еще по ногам холодком потянуло... и Евдокии вспомнилась, что печали она предавалась почти в неглиже, рубашонка батистовая, с кружевами, не в счет. Мысль эта оказала парадоксальное действие: вместо того, чтоб вырываться и звать о помощи, Евдокия затихла.

— Слушай, а она живая? Не шевелится, — заботливо поинтересовался ненаследный князь и, не дождавшись ответа, пятку пощекотал. А щекотки Евдокия боялась.

— Живая!

— Замечательно...

Лихослава она попыталась пнуть на голос, но тот, гад коварный, оказался недосягаем.

— Ева... сейчас мы тебя отпустим...

Хотелось бы.

И премного жаль, что печали Евдокия предавалась в обнимку с подушкой, а не с револьвером...

— Не отпустим, а немного развернем, — внес существенные уточнения Себастьян. — Если ее совсем развернуть, будет беда.

Будет, с этим Евдокия согласилась. Она уж постарается...

— Дорогая, а вы бы в обморок упали приличия ради... все-таки похищение...

— Не дождетесь, — буркнула Евдокия, выплевывая изжеванный от злости угол подушки.

Меж тем ее усадили, впрочем, продолжая держать крепко, пожалуй, излишне крепко.

— Отпусти, — просипела Евдокия Себастьяну, который сидел рядом и откровенно ухмылялся.

— Если я тебя отпущу, ты драться полезешь.

— Обязательно.

— Лихо, может, все-таки передумаешь? Зачем тебе драчливая жена? В монастыре вот тишь да гладь... молитвы о спасении души...

Щека Лихослава нервно дернулась.

— В каком монастыре? — поинтересовалась Евдокия, сама придерживая одеяло, которое предательски норовило сползти.

— В том, в который мой братец собрался от мирских искушений спастись.

— Бес!

— Что?

— Помолчи.

— Не умею. Это ты у нас молчать любишь... к слову, с вас, панночка Евдокия, причитается. Между прочим, это я его от монастыря отговорил... немалых трудов стоило.

Лихослав был мрачен.

И смотрел исподлобья... и под его взглядом Евдокия вспомнила, что выглядит ужасно... полуголая, растрепанная, зареванная... глаза красные, нос распух... она его потрогала, чтобы убедиться — и вправду распух...

— Но ты не расстраивайся, Дусенька, — Себастьян приобнял ее и громким шепотом сказал на ухо: — Если он все-таки выберет монастырь, я тебя не брошу. Я на тебе женюсь!

— Нет! — взвизгнула Евдокия, представив себе такую перспективу. И даже отодвинулась от потенциального жениха, жаль, что далеко не вышло, тесноват был экипаж. — Я за тебя замуж не пойду!

— Это почему?

— Потому... тебя перевоспитать канделябров не хватит... и вообще... я замуж не пойду.

— Тоже в монастырь? — Себастьян произнес это участливо и еще в глаза заглянул. — Так может, вы в один собрались, а я тут планы порушил... романтические...

— Бес... ты бы проверил, куда нас везут...

— Куда надо, туда и везут, — буркнул Себастьян, но дверцу приоткрыл. И из кареты выбрался на ходу, чего делать было категорически запрещено.

Но в данный момент о столь откровенном нарушении правил Евдокии не думалось.

Вообще ни о чем не думалось.

Смотрелось в синие, вновь яркие глаза Лихо и... и зачем он здесь? Украл... бестолочь какая... и она еще обижена на него, долго будет обижена... и замуж не пойдет, в монастырь, впрочем, тоже... что ей там делать?

И не там, а в принципе...

— Вот... это тебе, — Лихослав протянул что-то тонкое, обернутое розовой бумагой и с розовым же бантом. От подарка исходил умопомрачительный чесночный аромат, каковой бывает лишь у хорошей, созревшей колбасы. И темные пятна жира, проступившие на бумаге, подтверждали догадку.

А еще Евдокия вспомнила, что второй день не ела...

...страдала...

— Спасибо, — в колбасу она вцепилась и прижала к сердцу. — А... хлеба нет?

Вот все-таки неправильная она женщина.

Нет бы в слезы... или в обморок... объяснений потребовать или, напротив, ничего не требовать, но сказать Лихо, чтобы убирался с глаз долой и колбасу эту в лицо швырнуть. Но от такой крамольной мысли в животе заурчало.

— Хлеба нет, — со вздохом признался Лихослав. — Про хлеб мы как-то не подумали, но можем остановиться и...

— А куда мы едем?

— В храм.

— Жениться?

— Да... ты против?

— Не знаю, — Евдокия бант стянула зубами — он был завязан слишком уж туго и иначе не сдавался. — Ты в очередной раз передумал?

— Я никогда не... — он осекся и вздохнул. — Я тебя люблю. Наверное, с того самого момента, когда украл для тебя калач...

— Значит, украл?

— Взял без спроса! Но это не важно. Важно не это...

— А что?

— То, что я тебя люблю.

— Тогда почему...

— Потому что боюсь за тебя. Боюсь, что из-за меня ты станешь изгоем. Боюсь, что не сумею защитить. Что появится кто-то, кто пожелает избавиться не только от меня... охотники порой совершенно безумны... боюсь, что наши дети унаследуют мое проклятье. И боюсь, что за это ты меня возненавидишь... и наверное, у меня слишком много страхов, и я действительно должен

бы поступить как человек порядочный, уйти, но сама мысль о том, что я никогда больше тебя не увижу невыносима.

Он замолчал, отвернувшись к окну.

Бледный. Издергавшийся... и наверное, нелегко жить, когда все вокруг считают тебя чудовищем... и наверное, даже понять можно, почему он так с Евдокией поступил...

...и наверное, все, что им сказано, сказано от сердца...

...есть охотники. Есть проклятье. Есть многое, чего не избежать, но какого Хельма он за Евдокию решает, кого ей любить, кого ненавидеть?

Бестолочь великоможная.

— Лихо...

— Да?

— Колбасы хочешь? — спросила Евдокия, чувствуя себя последней дурой. А он улыбнулся и ответил:

— Хочу.

...и наверное, это была самая нелепая свадьба, без гостей и родни, с невестой, которая куталась в одеяло и косила глазами, пытаюсь разглядеть, есть на самом деле рыжее перо на нем, либо же ей чудится...

Грель в кабинет познаньского воеводы входил бочком и с немалою опаской. Про Евстафия Елисеевича ходили слухи самые разные, которым Грель в общем-то верил, но весьма избирательно. К примеру, верил, что характер у Евстафия Елисеевича крутой и на расправу скорый, что злопамятен он не в меру, и что умен...

...про ум говорили редко, но тут уж Грель сам сделал выводы, чем немало гордился.

— Ну заходи... зятек, — сказал познаньский воевода с легкой насмешкой, в чем Грель увидел доброе предзнаменование. — Садись... поговорим...

— Доброго вам дня, Евстафий Елисеевич, — Грель чинно поклонился, мазнув по массивной фигуре тестя взглядом.

Солиден.

И новый мундир из тонкого сукна сидит на нем, как влитой, и золотое шитье на солнышке сияет, лысина посверкивает, ярче ее — лишь орден на груди, на синей шелковой ленте, каковую дозволено носить лишь лицам шляхетного роду...

...а что, пожаловали Евстафию Елисеевичу баронский титул, а к нему и землицы, правда, не самой лучшей, так небось ему с одною землицы не жить.

Познаньский воевода сам зятя разглядывал, стараясь не кривиться брезгливо.

Красивый тою слащавою красотой, до которой женское сердце очень чувствительно. Лицо

одухотворенное, волосы темные, на пробор зачесаны, воском смазаны, лежат локон к локону... и пахнет от Греля Стесткевича дорогою кельнскою водой...

Под левой рукой тросточку держит, да не простую, кривоватую, по нынешней моде, под другим — бронзовый государев бюст, кое-как цветною бумагой обернутый. А сами-то ручки белые, мягкие, с ноготками аккуратными, подпиленными... Евстафию Елисеевичу тотчас за свои лапищи стыдно стало.

...а все супружница, чтоб ее Хельм побрал, все уши прожужжала, что, дескать, мальчик не виноватый, влюбился, не устоял... неужто сам Евстафий Елисеевич запомнил, каково это — молодым да горячим быть?

Не запомнил.

Но и в молодые свои годы он вел себя сдержанно, и уж точно не помышлял о соблазнении чужих дочек, и ежели дражайшая Данута даст себе труда подумать, то вспомнит, что ухаживали за нею прилично, с букетами, конфетами и родительским благословением...

Да и не в соблазнении дело, просто не нравился Евстафию Елисеевичу новый зять и все тут. А главное, что не без причины-то не нравился...

Вошел, огляделся, потупился и присел на краешек кресла, даром что то, которое для просителей поставлено, жесткое, неудобственное, сидит, ерзает, ус крутит, вздыхая, будто девица.

Евстафий Елисеевич молчит.

Не станет он зятю помогать. Сам разговаривать явился? Сам путь и разговаривает...

— Евстафий Елисеевич, — наконец, решился тот. — Вот что я вам сказать имею... люблю я вашу дочь безмерно... оттого и не удержался... полагал, что не одобрите вы, ежели я за нею увиваться стану...

Бюст государев, пыхтя и вздыхая на стол водрузил и подвинул к Евстафию Елисеевичу. Двигал аккуратно, двумя пальчиками...

— А вы стали? — рыжие брови познаньского воеводы сошлись над переносицей, которую лъстецы — а их в последнее время прибавилось изрядно — именовали орлиной. Как по мнению самого Евстафия Елисеевича, переносица она была самою обыкновенной, можно сказать, ничем не выдающейся.

— Стал, — покаянно опустил голову зять. — Ибо сердцу не прикажешь...

— Сердцу, значит?

— Сердцу, — и для пущей убедительности пан Стесткевич прижал обе ладони к груди.

Сердце его и вправду колотилось, но отнюдь не из-за великой любви, которой он вовсе не испытывал к Лизаньке, полагая ее особою пустоголовой, ветреной, но все ж полезной для дальнейших его жизненных планов. И горестно было, что иные девицы, на коих Грель весьма рассчитывал, в его сторону и не глядели...

Паненки шляхетные...

Но не о них речь, а о том, что беспокойно было Грелю. Сидел, с трудом не ерзая, вспоминая свои грехи, каковых, в целом-то было и не много, не боле, нежели у иного какого человека, только ведь оно как в жизни, одному спустится, а другой за то же в кандалах и к границе пойдет...

В кандалы не хотелось.

К границе — тем паче...

— Что ж, — Евстафий Елисеевич недобро усмехнулся. — Если дочь моя вас полюбила...

— Полюбила! — поспешно согласился Грель и вытащил из потайного кармана кристалл, который сделал, дабы не зависеть от прихоти любимой супруги, ибо подозревал, что с нее станет по капризу ли, из боязни батюшкиного гнева, но обвинить его в насилии.

А так любому ясно, что никакого насилия не было.

...зелье же, для страсти добавленное, выветрилось давно, и поди докажи, что вовсе оно было...

...нехорошо, конечно, но всяк о будущем своем заботится, как умеет.

— От и ладно, — кристалл Евстафий Елисеевич сгреб в ящичек стола. — Ежели полюбила, то что я могу сделать?

Ничего.

Это-то и радовало... и Грель позволил себе улыбнуться, робко, виновато даже. На Модесту Архиповну, которая была хоть и разумной, но женщиной, сии улыбки оказывали нужное воздействие, но познаньский воевода лишь насупился паче прежнего.

— Живите и радуйтесь... своим ли домом, или у нас — тут уж сами решайте, мы вам мешать не станем...

Он замолчал, прикусивши нижнюю губу.

А Грель затаил дыхание...

...сколько даст за дочью?

Любит ведь. Грель узнавал. Как есть любит, дышать не надышится, из любви этой и капризам потакает, а значит, не допустит, чтобы драгоценная доченька жила в нищете.

— За Лизанькой же, чтоб не думали бы, будто я сержусь, дам десять тысяч...

Сколько?

Грель едва сдержал возмущенный крик. Всего десять тысяч?

— И еще ей дед деревеньку обещался, но то когда ребенка родит...

...десять тысяч и деревенька?

...шутит?

Евстафий Елисеевич выглядел предельно серьезным. И вспомнилось вдруг, что говорили, будто бы не брал подношений познаньский воевода. А Грель этим разговорам не верил, потому как неможно такого представить, чтоб человек при чинах и возможностей, да подношений не брал.

Ужас.

Грель огляделся, тщетно пытаясь узреть хотя бы что-то, что свидетельствовало в пользу прежней его версии: Евстафий Елисеевич, как и полагается человеку его положения, берет взятки, только, в отличие от прочих, с умом, по-тихому, собирая капиталец на безбедную старость...

...кабинет поражал скудною казенной обстановкой.

— Вы рады? — поинтересовался познаньский воевода, и Грель сдавленным голосом ответил:

— Д-да...

— И ладно... и я рад, что вы рады... оно и верно, дело молодое, любовь... и о капиталах вовсе не думаешь...

Издевается?

Как есть издевается, в глаза гляючи. И чудится, что знает Евстафий Елисеевич и о прошлых планах Греля, и о надеждах его рухнувших, и о многом, о чем бы Грель забыть хотел.

— Только, — тихо произнес познаньский воевода, и взгляд его мигом сделался тяжелым, — если ты, мил друг, решишь, что за Лизанькой мало взял. Или что она тебе надоела... обидеть решишь... вспомни, что дочь я люблю...

Грель сглотнул.

Пусть познаньский воевода ничего не сказал, но и без слов понятно, что за обиды дочерины спросится с Греля в три шкуры... вот же, дали Боги тестя...

— Характер у нее, конечно, дурной... тут маменька ее избаловала, но что делать... сами друг друга выбрали... по большой любви... живите теперь.

— К-конечно, Евстафий Елисеевич...

— Вот и славно, — он поднялся и, обойдя стол, приблизился к Грелю вплотную. Оглядел еще раз, все с тою же издевательскою насмешкой, и по плечу похлопал: — А на Себастьянушку ты не серчай...

— За что мне на его серчать-то?

— Пока не за что... но я так, в перспективе... или ты думаешь, что статейку ту тебе спустят?

Грель хотел было сказать, что за статейку он получил те же десять тысяч, которые за Лизанькою дали, только без пожизненных обязательств в любви и верности.

— Что вы...

— Не я, дорогой, не я... не бойся, до смерти не убьет...

Это обещание Греля вовсе не успокоило.

— И да, дорогой зятек, надеюсь, ты понимаешь, что одно дело об волкодлаке рассказать, и совсем иное... о других событиях.

Грель кивнул: чай не дурак, различия между интересами государственными и частными видит... за государственные, конечно, заплатят больше, да только что на плахе с тех денег?

— Вот и славно, — донельзя довольным голосом произнес Евстафий Елисеевич. — Вот и поговорили... а теперь иди... Данечка, небось, заждалась... да и за Лизанькою сегодня ехать...

— А... — грядущая встреча с разлюбезною супругой вызывала у Греля не трепетное предвкушение, но единственно — досаду. Он бы предпочел, чтобы супруга она еще недельку-другую в королевском госпитале провела. — А... ей уже можно?

— Можно, можно, — уверил Евстафий Елисеевич, усмехаясь недобро. — Сам знаешь, ничего-то серьезного с нею не случилось. Небольшое нервическое расстройство и только. Ты уж будь добр, поласковей с нею...

...Грель кивнул, подозревая, что ласковым с Лизаветой Евстафиевной ему придется быть весь остаток их совместного бытия...

Спустя три дня в кабинете познаньского воеводы состоялась совсем иная беседа, стоившая Евстафию Елисеевичу немалых нервов. Да и беседой назвать ее было сложно...

Евстафий Елисеевич морщился, вздыхал и тер виски, впрочем, распрекрасно осознавая, что сие действо не избавит его от головной боли. Причина оной самозабвенно рыдала в кресле, время от времени, правда, от рыданий отрешаясь, во-первых, дабы узреть, оказывают ли они должный эффект, во-вторых, чтобы платочек переложить из левой руки в правую.

Или из правой в левую.

— Лизанька, — с тяжким вздохом произнес Евстафий Елисеевич во время очередной паузы. — Ты же сама во всем виновата!

— Я?! — Лизанькина губка очаровательно дрожала, выдавая и степень душевного волнения, и негодования: как это папенька посмел обвинить в досадном происшествии ее? Она жертва обстоятельств и государственной тайны! И маменька так сказала, когда...

— А кто еще?

Евстафий Елисеевич погладил новый государев бюст, исполненный, следовало признать, с большим искусством.

Лизанька надула губы и всхлипнула, прижав к глазам кружевной платочек, специально маменькой даденый для полноты образа. Образ вышел прелестнейшим, но папенька очарованием момента проникаться не желал. И смотрел исподлобья, с укором, того и гляди, морали читать примется, а Лизаньке моралей не надобно, ей надобно исправить страшную ошибку. Подумать только, она, Лизанька, дочь самого познаньского воеводы, которому за нынешнюю операцию даровали баронский титул, стала женою обыкновенного купца...

И не купца даже — приказчика...

— Кто? — взвизгнула Лизанька, испытывая преогромнейшее желание государевым бюстом в окно запустить, потому как за окном этим виден сад, и стол, белою скатеркой застеленный, и самовар медный, дымящий... и маменька, которая дорогому зятю чаек подливает, а он, подлый обманщик, знай, кланяется и ручки целует...

Тьфу!

— Это... это все вы!

— Кто мы? — устало поинтересовался Евстафий Елисеевич, которого эта беседа изрядно утомила.

— Ты и... и Себастьян! Вы меня обманули!

— Лизавета, — Евстафий Елисеевич провел ладонью по высокому государевому челу, испрошая сил душевных, каковые, как он чувствовал, понадобятся в немалых количествах. — Мы, как ты изволила сказать, обманывать тебя не собирались. Тебя вовсе не должно было быть на этом конкурсе. И я, если помнишь, отговаривал.

Лизанька всхлипнула чуть громче и часто заморгала, однако слезы иссякли, и масло ароматное, их появлению способствовавшее, повыветрилось. А говорили, устойчивое весьма.

Никому нельзя верить.

Даже батюшке родному.

— Однако ты решила, что тебе надобно попасть в Гданьск. Попала, поздравляю. Вела бы себя прилично, тогда, глядишь бы, все по иному сложилось.

Раз плакать не выходила, то Лизанька оскорбленно отвернулась к окну...

...маменька, которая точно позабыла, что видела Лизавету шляхтянкой, хлопотала возле Греля...

И Лизанька, вновь оскорбившись от такого предательства, отвернулась от окна. Уж лучше будет она смотреть на государев портрет, поднесенный в прошлом году благодарным купечеством, и от подарка такого папенька отказаться не мог, ибо портрет писали масляными красками, богато. Государя изобразили в мундире, на белом коне и с саблей, вид он имел грозный, отчего Лизаньке вовсе не по себе сделалось.

— Разве я не просил тебя погодить? — поинтересовался Евстафий Елисеевич, понимая, что ответа не получит. — Просил. Но ты вновь решила по-своему. Сбежала. Обвенчалась. И что теперь?

— Теперь я развода хочу.

— На каком основании?

— Он не тот, за кого себя выдавал!

Под копытами государевого коня лежали веси и доли королевства Познаньского, виднелись крохотные городки и совсем уж жалкие хаты...

...а рама не на одну сотню золотом потянула, дубовая, с виньетками и коронами в четырех

углах...

— То есть, он представился тебе чужим именем? — вкрадчиво поинтересовался Евстафий Елисеевич.

— Нет! Он... он не Себастьян!

— А он называл себя Себастьяном?

Лизанька насупилась и часто задышала: вот злости никакой на папеньку не хватает! Прекрасно же он все понял, но лезет со своими вопросами...

— Нет, — вынуждена была признать Лизанька. — Он... он дал понять, что...

— Каким же образом?

— Таким! Он мне комплименты говорил! И руку целовал! И замуж позвал!

— Лизавета, — Евстафий Елисеевич закрыл глаза и заставил себя досчитать до десяти. Язва заныла, должно быть, таким способом выражая сочувствие. — Он за тобой ухаживал, а ты эти ухаживания приняла... и ты сама предложила бежать...

— И что?

— И то, что у тебя нет оснований для развода.

Лизанька не привыкла к отказам.

И к подобным дурацким ситуациям. И уж тем паче не привыкла, чтобы ее, Лизаньку, виноватой делали. А у нее, между прочим, голова болит... и вообще, она себя дурно чувствует... может, супруг новоявленный вовсе травит ее...

Она оттопырила нижнюю губу, как делала в глубоком детстве, когда на эту ее гримасу маменька зело умилялась, и папенька умилялся, и все знакомые, которым случалось с Лизанькой дело иметь, тоже умилялись...

— Как нет? Я... я за между прочим, не в себе была!

— Это когда ж? Когда письмецо писала, побег предлагая? Или когда в храме браком сочеталась? Или в гостинице той? — Евстафий Елисеевич сдвинул портрет государя, за которым обнаружился сейф новейшей конструкции.

— Да! — капризно повторила Лизанька, не уточняя, к чему именно это «да» относится.

Она была не в себе.

И точка.

Из сейфа познаньского воеводы появился белый конверт с упомянутым письмом и кристалл.

— Лизанька, — конверт он положил на стол, а кристалл в пальцах повертел и в сейф вернул, для пущей сохранности. — Дорогая моя, даже если отрешиться от того факта, что королю Миндовгу незачем было сбегать с паном Стесткевичем, а тем более выходить за него замуж...

Лизанька нахмурилась.

— ...то королевские ведьмаки способны выявить... или опровергнуть наличие одержимости по почерку...

Евстафий Елисеевич постучал пальцем по конверту.

Ну да, письмо Лизанька писала сама, без помощи духа, но... это же письмо легко в камин отправить. Папенька мог бы разочек инструкцию нарушить за ради родной-то дочери...

— ...или по записи, — кристалл Евстафий Елисеевич протянул Лизаньке. — Не скажу, что мне было приятно смотреть это, но... ты права, я должен был убедиться, что тебя не неволили. К слову, это копия. А у Греля — оригинал. И ежели ты вздумаешь добиваться расторжения брака, то сия записка окажется в «Охальнике»... и я, Лизанька, ничего не смогу сделать.

Лизанька нахмурилась.

«Охальника» она не боялась... да кто ему верит-то? Но предусмотрительность супруга неприятно ее поразила. Выходит, он подозревал, что все так обернется?

— И что мне делать? — как можно более жалобно поинтересовалась Лизанька, кристалл возвращая: не собиралась она смотреть его.

— Смириться. И жить с мужем в любви и согласии, как то было заповедано Богами.

В любви и согласии?

Да эта сволочь Лизанькину жизнь порушила! И вообще, какая любовь, когда Лизаньку от одного вида супруга мутит?!

— Нет, — Лизанька топнула ножкой.

— Да, — спокойно ответил Евстафий Елисеевич.

— Папа! Ты же... ты сам говорил, что он человек непорядочный... что в истории темной замешан... что из-за него девица одна повесилась!

Евстафия Елисеевича этакий поворот в биографии зятя отнюдь не радовал, однако он был вынужден признать, что Грель Стесткевич, хоть и был человечешкой подлым, но и в истории той невиновным.

— Сама она повесилась. Ее жених соблазнил и бросил. А Грель, про беременность узнавши, уволить пригрозил... девка и полезла в петлю, решила, что терять ей больше нечего...

Лизанька насупилась.

— А если...

— Она сама сказала.

И разговор этот был неприятен, как, впрочем, неприятен и сам зять, которого хотелось взять за шкуру и тряхнуть хорошенечко, а лучше покатым наглым лбом и об угол приложить, исключительно для вразумления...

— А если еще покопать...

— Лизанька, — Евстафий Елисеевич сцепил руки и подпер ими подбородок, точнее дорогая супруга утверждала, что говорить следовало — подбородки, и второй следует убирать диетой. — Чего ты добиваешься? Даже если выяснится, что он преступник, ты развода не получишь. Да, на каторгу спровадишь...

— А если на плаху? — тихо поинтересовалась Лизанька. И торопливо пояснила. — Он... я чувствую, что он нехороший человек... у вас же есть нераскрытые дела и...

— Знаешь, Лизавета, — познаньский воевода повернулся к окну. — В любом ином случае я бы сочувствовал твоему супругу...

Издевается?

И Лизанька, скомкав платочек, бросила его под стол. Все равно она добьется развода!

...спустя две недели она была уже не столь в этом уверена. Мутило Лизаньку не от супруга, но от беременности...

— Ах, дорогая, я так счастлива за тебя! — воскликнула маменька, вытаскивая колоду. — Уверена, твоего ребенка ждет удивительная судьба!

Лизаньку вырвала.

Аккурат на чернявую трефовую даму, которая выпала первой.

...а вам, дорогая, молиться надобно больше, усердней, — сказала сестра милосердия, подсовывая Богуславе молитвенник, обернутый для сохранности плотной бумагой. — Молитва душу облагораживает...

Сестра замолчала, уставившись выпуклыми очами, в которых Богуславе виделось окончание фразы: особенно такую, демоном измученную...

Измученной себя Богуслава не ощущала, скорее уж несправедливо обиженной, но молитвенник взяла: спорить с сестрами-милосердницами себе дороже.

— Спасибо, — сказала она слабым голосом. — Вы так обо мне заботитесь...

— Это мой долг, — сестра слабо улыбнулась. — Но вижу, вы устали... хотите, я сама почитаю?

Больше всего Богуслава хотела, чтобы ее оставили в покое, теперь, когда демон покинул ее тело, это тело казалось таким... ненадежным.

Слабым.

Никчемным и... и пустым. Пустота сидела внутри, и из нее сквозило тьмой, с которой не способны были управиться молитвы. Поначалу она надеялась на них, на свет, которым якобы переполнено каждое божье слово, но то ли Богуслава молилась без должного прилежания, то ли наврала ей про свет, но тьма не уходила. И слова, сколько бы их не было произнесено, не заполняли внутреннюю пустоту.

Сестра, сев у изголовья кровати, расправила серое платье.

Скучная она.

Все они здесь скучны, одинаковы... суконные платья, белые воротнички, синие фартуки с тремя карманами... молитвенники эти... полотняные наметы, которые полагалось носить надвинутыми по самые брови. И оттого лица милосердниц казались какими-то половинчатыми.

Они говорили шепотом. И со смирением принимали любых пациентов...

...сестра бубнила. И голос ее монотонный убаюкивал, но Богуслава не желала соскальзывать в сон.

Душила обида.

Получается, что все зазря?

Приворот... согласие ее... и демон этот, которого ей мучительно недоставало... с демоном она была сильной и не нуждалась в муже, а теперь...

Кажется, она все-таки заснула, потому что когда открыла глаза, то увидела батюшку. Он сидел на месте сестры-милосердницы, сгорбившийся, постаревший и несчастный.

...а все он!

Привел в дом какую-то...

— Здравствуй, Славушка, — сказал он елеинным голоском, от которого у Богуславы челюсть свело. — Как ты?

— Плохо, — она вздохнула, и папенька подался вперед, за руку взял. — Забери меня домой...

— Заберу, Славушка, всенепременно заберу... когда целительницы разрешат... сама понимаешь, мы должны их слушаться...

Папенька глядел ласково и руку гладил, и был таким непривычно смирным, что Богуслава заподозрила неладное.

— Они же говорят, что тебе в мир пока невозможно...

— А куда мне можно? — поинтересовалась Богуслава и с немалым трудом села в постели.

Белая.

И стены белые, потому как кто-то там, верно, матушка-настоятельница или кто к ней близкий, решил, что созерцание белого способствует излечению души. От белого Богуславу мутило едва ли не больше, чем от душеспасительных бесед и молитв.

— В сад можно, — после долгого раздумья произнес батюшка.

И креслице на колесиках подкатил, и помог Богуславе пересесть. Сестра-милосердница, тотчас объявившаяся, хотя никто-то ее не звал, поспешила набросить на плечи Богуславы шаль.

Белую.

И пледом белоснежным ноги укрыла. А волосы — платком, правда, серым, верно, белый уж

больно на фату смахивал...

В саду цвели цветы. Буйно. Пышно.

Раздражающе.

— Славушка, — папенька подкатил кресло к беседке и не без труда втолкнул внутрь. — Мне сказали, что ты... как бы это выразиться... тебе сложно ныне будет в миру... все-то знают про... не то, чтобы тебя кто-то винит, но...

Богуслава кивнула: не маленькая, сама понимает: одержимость — недуг, о котором в обществе вспоминать не принято. И не только о недуге, но... выходит, что и о самой Богуславе?

Она теперь из тех, о ком забудут?

Вычеркнут из светской жизни, словно бы и не было таких...

— Ты не расстраивайся, — папенька шаль поправил. — А может, оно и к лучшему... поедем с тобой на деревню... я поместьице прикупил одно... будем жить, лошадей разводить...

— И кур.

— Как скажешь, Славушка... тебе какие больше по нраву?

— Рыжие, — мрачно сказала Богуслава, представив свою дальнейшую жизнь в тиши поместья, в окружении лошадей и кур.

Уж лучше бы ей и дальше одержимую оставаться.

Кто просил демона изгонять?

— Рыжие... конечно, рыжие... выведем новую породу... повышенной яйценоскости... назовем твоим именем...

— Папа, ты что несешь?! — Богуславе странно было видеть папеньку таким. Куда подевался прежний князь Ястрежемский, который навряд ли стал бы о курах и повышенной яйценоскости думать. А может, Агнешка и с ним чего сотворила?

К слову о ней...

— Ты развелся, надеюсь?

— Овдовел, — признался папенька, потупившись. — Ты уж прости, деточка... не верил тебе... околдовала, глаза застила...

Ага, только не волшбой, а бьюстом своим и еще кое-чем, о чем приличным девицам знать не полагается.

— Хорошо, — сказала Богуслава, глаза прикрывая. Дневной свет причинял ей боль, но она терпела, поскольку заяви о том сестре-милосерднице, враз лечить станут.

А лечение у них одно — молитвы в неумеренных дозах.

Нет уж, Богуслава как-нибудь сама управится, без молитв...

— Что хорошего? — не понял папенька.

— Хорошо, что овдовел... а то я бы ее, и потом на каторгу. Мне на каторгу неохота... — это Богуслава сказала искренне.

— А куда охота?

Папенька подвинулся ближе и в глаза заглянул, этак, заискивающе.

— Замуж, — решила Богуслава, понимая, что еще немного и драгоценного своего батюшку огреет молитвенником по лысине. Глядишь, святое слово и усвоится.

Благости опять же прибудет.

— Так... Славущка, — папенька смутился и кончик носа у него покраснел.

Ручки трет.

Озирается воровато... и чем больше этаких, нехарактерных для папенькиного вспылчивого норову признаков Богуслава находила, тем сильнее преисполнялась нехороших предчувствий.

— Не возьмут тебя замуж, Славущка, — наконец, признался он.

— Это почему же?

— Так ведь... одержимая... и слух пошел, будто бы разумом повредила... и что демон с тобой сотворил... всякое, — у папеньки покраснел не только нос, но и уши. Волнение ли было тому причиной, или же просто жара — а месяц выдался до отвращения душным, пыльным — но князь Ястрежемский сильно потел. — Сама понимаешь...

— Понимаю, — медленно произнесла Богуслава.

Значит, папенькин деловой партнер, вещавший о неземной своей любви, передумал... и не только он, выходит... и оно понятно, кому охота одержимую под венец вести... бояться...

И правильно.

Пустота внутри Богуславы не исчезла, да и не исчезнет, с сей данностью надо смириться, она и смирилась почти что, но лишь испытывала глухую обиду на все человечество, на несправедливость... разве она, Богуслава, заслужила этакое?

— И какие варианты? — поинтересовалась она, покусывая губу, чтобы не разрыдаться.

— Так... я же сказал, Славущка... поместье... лошади... годик-другой, пока слухи поутихнут... а там, глядишь, и поутихнут...

Годик-другой?

Что ж... почему бы и нет... Богуслава как-нибудь да выдержит.

— Или же... — папенька вновь замялся. — Сестры говорят, что будут рады дать тебе приют... если ты пожелаешь от мира отречься... подумай, Богуславущка.

И взгляд отвел.

Понятно.

Отречься. Уйти в монастырь. Папенька, небось, не пожалел бы и половины состояния, потому как одно дело — дочь, которая демона в душу и тело пустило, и другое — монахиня...

...и выбрал бы обитель посолидней.

...а сам, небось, новую женушку нашел бы, из тех, которые попроще...

— Нет, — жестко ответила Богуслава. — В монастырь я точно не пойду.

Папенька вздохнул, но настаивать не посмел.

Взгляд его скользнул по белоснежным астрам, которые при храмовой лечебнице цвели пышно, в огромных количествах.

— Подождем, — вынесла решение Богуслава. — А там...

— Тадеуш Вевельский предлагает сделку, — папенька дотянулся до астры, спугнув толстого шмеля, который взвился с громким гудением. Омерзительный этот звук ввинчивался в виски, раздражая невероятно. — Его сынок свободен...

— Который?

— Лихослав... — папенька поморщился. — Правда, титул ему не наследовать, и тут я Тадеуша понимаю... все ж таки волкодлак... но как партия...

— И сколько просит?

— Пять миллионов.

— Сколько?! — Богуслава сама возмутилась, хотя, конечно, полагала папенькино имущество своим, даром, что единственная наследница.

Пока единственная.

— Пять миллионов, Славущка...

Половина состояния, да, определенно, монастырь обошелся бы дешевле.

— Хорошо, — Богуслава закрыла глаза. — Но не Лихослав... кто там следующим в списках идет?

Папенька усмехнулся. Кажется, он сам думал над этим вопросом, и следовало признать, что мысли его были созвучны Богуславиным.

— Велеслав.

— Велеслав... не помню...

— Ты его видела, при гвардейцах подвизается... ничего особенного.

— Оно и к лучшему, если ничего особенного, — Богуслава широко зевнула: все-таки сказывалось истощение. — Скажи князю Вевельскому, что я согласна выйти замуж. Но за

князя.

— Думаешь, согласится?

— Если ему нужны деньги, то согласится...

...в конце концов, с замужней спрос меньше. И будущую княгиню Вевельскую в свете примут куда более снисходительно, нежели оступившуюся княжну Ястрежемску. А монастырю надобно будет пожертвовать... в пару-тройку приютов заглянуть, но так, чтоб об этом в газетах написали...

...интервью дать...

...покаяться прилюдно, мол, оступилась... от великой любви к Себастьяну Вевельскому... да, приворожить желала, девичья глупость, которая дорого вышла... и вообще, кто ж знал, что он такой скотиной окажется?

Раскаявшихся жалеют.

А девиц с несчастной влюбленностью — тем паче...

...нет, не прав папенька: рано Богуславе на деревню отправляться, пусть кто-нибудь другой курами занимается, а она найдет способ вернуть себе утраченное.

— Деточка, что ты задумала? — поинтересовался папенька.

— Ничего... не волнуйся... скажи, а здесь можно церемонию провести?

...матушка-настоятельница, пусть и весьма огорчилась, что Богуслава не сумела отринуть прелести мирской жизни, но, получив из рук князя Ястрежемского чек на сто тысяч злотней, сумела с огорчением управиться.

— Конечно, дитя мое, — ласково сказала она, — я понимаю... ты еще слишком молода...

— Ах, матушка, — Богуслава проронила слезу, надеясь, что выйдет в достаточной мере несчастной и потерянной, чтобы вызывать сочувствие. — Я столько натворила... и лишь дальнейшей праведной жизнью смогу искупить вину...

Белый платочек пришелся весьма кстати.

— И ныне испытываю преогромное желание творить добро...

Матушка-настоятельница закивала. Блеснули круглые очки, дернулся кончик неестественно длинного крючковатого носа, и щека тоже дернулась.

И Богуслава, смиренно потупившись, продолжила:

— Боги в милости своей дали мне еще один шанс... и это ли не знак, что жизнь свою я должна посвятить людям?

Матушка важно кивнула и коснулась сложенными щепотью пальцами лба:

— Боги посылают нам испытания, но они же дают силы их преодолеть.

— Я... я должна рассказать, — на Богуславу снизошло вдохновение. — Поделиться тем, что чувствует человек, объятый тьмой... предупредить иных, невинных, кои встанут перед искушением... хельмовы пути кажутся легкими, но на самом-то деле...

— Что я могу сделать для тебя, дитя мое? — спросила матушка и тайком погладила чек. Сей прочувствованной речи она не поверила, ибо была женщиной умной и многоопытной, и Богуславу с ее притворным раскаянием видела насквозь. Однако, здраво рассудив, что князь Ястрежемский много ближе Иржены-заступницы, да и сто тысяч злотней при лечебнице лишними не будут, матушка решила подыграть.

— Мне... мне хотелось бы встретиться здесь с людьми, которые могли бы...

— С репортерами.

— Именно, — Богуслава тонко уловила перемену настроения. И пусть смотрела матушка-настоятельница с насмешкой, не давая себе труда скрыть того, что о Богуславе думала, но мешаться не станет, что само по себе уже победа.

— Думаю, послезавтра можно устроить встречу...

...послезавтра?

Что ж, лучше подождать денек-другой в лечебнице, нежели год-другой в компании рыжих кур повышенной яйценоскости.

...и даже хорошо, что встреча состоится при лечебнице...

Богуславе пока не принесли зеркало, но она надеялась, что выглядит приболевшей. Или нет, не так, больные вызывают жалость, а Богуславе требовалось именно сочувствие.

Ничего.

Над этим она поработает.

Белые одежды... белая шаль на плечах... наряд не то невесты, не то жертвы... нужное обличье, люди истолкуют цвет правильно.

— Что еще, дитя мое? — матушка-настоятельница очочки поправила.

Круглые.

И лицо у нее круглое. И сама она какая-то вся... округлая, гладенькая, лоснится, точно маслом смазанная. Неприятная особа. Но с ней придется дружить. В ее воле как задержать Богуславу в лечебнице, так и вовсе объявить ее неизлечимой... нет, этого допустить нельзя. И вздохнув, большей частью во вздохе том была печаль о деньгах, которые придется потратить, Богуслава робко поинтересовалась:

— Быть может, вы знаете, какой из приютов более всего нуждается в поддержке?

Естественно, матушка знала.

...а на церемонию все ж согласилась, предупредив:

— Вы бы подумали, дитя мое... легко связать себя узами брака, но не легко разорвать их...

...словно накаркала, белая ворона...

...церемония состоялась на следующий же день — князь Вевельский благоразумно согласился с новыми условиями договора, да и против спешки не протестовал — в монастырском саду, среди белых астр, в беседке, которую с подачи матери-настоятельницы сестры любезно украсили цветами.

— Ах, как романтично... — сказала сестра-милосердница, заплетая рыжие волосы Богуславы в косу. — Вы так его любите...

С чего она это взяла, Богуслава не знала, но разубеждать не стала: пускай себе верит в любовь, главное, что прическа получилась почти приличной.

И зеркало, наконец, подали.

Брала его Богуслава с трепетом, невольно ожидая страшного, но... отражение было знакомо. Похудела. И тени под глазами залегли, но так и лучше в преддверии встречи с репортерами. Вот морщинки — это плохо, надобно будет заглянуть на Аптекарский переулок, пусть посмотрят, что с морщинками сделать можно... и седой волос... волос Богуслава безжалостно выдрала.

— Зеркала — Хельмово творение, — неодобрительно произнесла сестра, которая все ж не удержалась, глянула на свое отражение краем глаза. И подтвердила: — Как есть Хельмово... только тщеславие тешить. В человеке прекрасна должна быть душа.

...прекрасна сама мысль о том, что Богуслава в скором времени покинет сие чрезмерно благочестивое место.

...осталось пара пустяков.

...дойти до беседки, где ее ждал отец и князь Вевельский, по этакому случаю принарядившийся в мундир. Но и в нем он странным образом умудрялся выглядеть жалко.

А вот муженьку ее будущему китель весьма к лицу был.

...но до чего вовремя они объявились.

— Премного рад встретить вас в добром здравии, — произнес Велеслав и, наклонившись, ручку поцеловал.

— И я... рада... — шепотом произнесла Богуслава.

И замерла, с рукой в руке супруга... снимок должен был получиться умильным.

Нет, репортеров на свадьбу не звали, но Богуслава знала: это событие не пропустят, оттого и старалась вести себя в соответствии с новой ролью...

...ах, Агнешка... чтоб тебе вечно в Хельмовом царстве блуждать без шанса на перерождение...

— Мне говорили, что вы прекрасны, — выдохнул жених, который, следовало признать, смотрелся довали солидно: высокий, широкоплечий, светловолосый и синеглазый. Красивый... люди любят красивых.

Жаль, что идиот.

А это на лице написано, стоит приглядеться. И выпить любит. В картишки перекинуться, но в картишки ему везет через раз. И значит, долгов он наделал прилично... девки гулящие, опять же... но тут уж кто не без греха? Главное, грамотно этими мужниными слабостями воспользоваться. И тут уж Богуслава не оплошает.

Несколько смущал нос жениха, характерно припухший, видно, что целители работали, но синюшность и опухоль остались.

— Что у вас с носом? — Богуслава соизволила проявить любопытство.

— Я... я заступился за вашу честь. Слухи...

— Я счастлива, — перебила она, робко приникая к могучему мужскому плечу, — что вы не поверили этим слухам...

Дернулась бровь. Значит, поверил, но решил, что за пять миллионов можно и на слух дурной глаза закрыть... верно, дорогой, верно... хорошо бы тебе глаза вовсе закрыть, но тут уж не раньше, чем князем станешь. Этаким своим мыслям Богуслава удивилась, но удивление это было вялым.

...все у нее будет хорошо.

Нахмурилась матушка-настоятельница, но вспомнила о чеке.

...кольцо скользнуло на палец.

...и пламя приняло жертву, взметнувшись над бронзовой чашей...

...а Богуслава лениво подумала, что все-таки в монастырском саду слишком много белого... ее душа, источенная, изуродованная тьмой желала ярких красок.

Например, красного...

...о да, в ее доме должно быть много-много красного...

...панночка Ядзита примерила шляпку.

Шляпка была из черного атласа с тремя лиловыми фазаньими перышками. И следовало сказать, что траурный этот колер весьма шел Ядзите, оттеняя белизну ее кожи.

Да и чувствовала она себя... спокойно.

Именно.

— Вы готовы, панночка? — не слишком-то ласково поинтересовался Аврелий Яковлевич, который притомился ждать. А ведь Ядзита все ёго-навсего третью шляпку примерила. И первые две смотрелись, конечно, хорошо, но не идеально.

А Ядзита...

— Пожалуй, да, — ответила Ядзита, бросая последний взгляд в зеркало.

Платье строгих линий. Темно-лиловый муар и вставки из черного кружева... черные короткие

перчатки. Фермуар с алым камнем.

Шляпка вот.

— Женщины, — фыркнул Аврелий Яковлевич. — Вечно от вас проблемы...

Ядзита не смутилась.

К ворчанию ведьмака она успела привыкнуть. Более того, голос этот, глухой, сипловатый, оказывал на Ядзиту самое что ни на есть благотворное воздействие. Да и сам Аврелий Яковлевич...

— Что вы на меня так смотрите? — нервно поинтересовался он, одергивая штанину.

Белые с золотым кантом.

И поплиновый жилет ярко-розового колеру с вышитыми райскими птичками. А пиджак клетчатый, по новой моде в талии присобранный и с хлястиком еще...

Светлые ботинки.

Темно-рыжая борода... кожа медная, сухая, и сухость эта ощущается даже через тонкий шелк перчаток Ядзиты.

Хорошие руки. Надежные... у отца вот белыми были...

...и остались.

Встречать из вышел старый Кристоф, единственный из слуг, кто остался при поместье. И Ядзита подивилась тому, что за прошедшие месяцы ничего-то не переменялось... старое имение, древнее. Сад одичалый подобрался к самым окнам, забросил на них гибкие плети плюща и птичьего винограда, который уже начал вызревать, привлекая к дому стаи воробьев.

Некогда Ядзита и сама пыталась есть эти крохотные темно-синие ягодки. От них болел живот, а во рту появлялась странная сухость, которая не исчезала, сколько воды не выпей... пила... сама тягала воду из колодца... и он здесь, во дворе, темно-красные камни проглядывают сквозь редкие прорехи в покрывале мха. Вода из колодца пахнет тиной.

Или это не тина?

Двор зарос снытью и крапивой. И кучер недовольно крутит головой, ему не по вкусу это старое странное место. Здесь, небось, и конюшни приличной нет.

Людям тоже несладко придется.

Дом древний. И крыша частью обвалилась, а где не обвалилась, там она протекала. На самом хребте проросли березы, вцепились тонкими корнями в древнюю черепицу, распластали поверху ветвяные сети...

...Северная башня сгорела, еще тогда, в далеком детстве Ядзиты, и ныне взидала на нее черными провалами окон, с упреком и надеждой.

А окна Южной светились зыбким рыжим светом.

— Панночка Ядзита, — Кристоф подал руку, и Ядзита приняла, а потом...

— Не смогли уйти? — спросила она, коснувшись ножкой земли.

...накануне шел дождь и земля размокла, набрякла.

— Как же я его брошу-то? — ответил Кристоф.

— И как вам...

— Неплохо, знаете... спина вот болеть перестала. А вы, значит, вернулись...

— Ненадолго.

— Наши будут рады.

Аврелий Яковлевич, выбравшись из экипажа, долго озирался, шевелил бровями и себя за бороду щипал. Место это нравилось ему еще меньше, чем кучеру, который весьма надеялся, что господа вспомнят о нем и отпустят восвояси.

Ведьмак вспомнил.

— Милейший, отнеси багаж в дом. И коней распряги...

...и бросил злотень, радуясь о том, что загодя договорился о недельном найме.

— А ты, девонька, веди давай... показывай семейное гнездовище.

Скрипнула дверь.

— Ядзя пришла! — Клео съехала по широким перилам. — Ядзя! А я выросла!

— Да неужели?

— Ага!

— Дорогая, — Люсиль спускалась по лестнице, придерживая ветхое платье. — Вам явно не хватает сдержанности. Леди не следует столь бурно проявлять эмоции...

— Ах, Ядзечка! А похорошела-то как! — Марта вышла из стены. — Люську не слушай, она у нас решила ледью заделаться...

— Я, между прочим, рождена была в благородном семействе, где...

— ...не успели всю дурь выбить, — фыркнула Клео, повиснув на шее. — А ты такая взрослая стала... а это кто? Тоже жених?

Аврелий Яковлевич, разглядывавший изрядно потраченное временем убранство холла, от такого предположения закашлялся и сипло выдавил:

— Нет.

— Нет, — подтвердила Ядзита с некоторым сожалением, которое, как она надеялась, не было слишком заметно.

— Жаль. А то нам понравилось...

— Болтаешь много, — зашипела Люсиль, глядя на ведьмака искоса. Тот сделал вид, будто не слышал... да и зачем, когда знает правду?

Ядзита рассказала.

Еще тогда, когда пришел он к ней...

...камера.

...и узкая лежанка с соломенным матрацем. Одеяло теплое, под которое Ядзита с головой забралась. Так и лежала, суда дожидаясь. А в том, что суд состоится всенепременнейше, она не сомневалась: слишком многие видели...

...слишком многие знают.

Нет, Ядзита не боялась смерти, и обиды не испытывала, скорее уж желание, чтобы все поскорей закончилось. И когда скрипнула дверь, она села, торопливо оправив не особо чистое платье.

— Страдаешь? — осведомился Аврелий Яковлевич, прислоняясь к косяку. Выглядел он преотвратительно, и слаб был, и эту слабость Ядзита чуяла остро.

— Нет, — ответила она.

— И правильно. Пострадать завсегда успеется... что делать думаешь?

— А у меня есть выбор?

— И верно... не особый... плаха — она не выбор, а... — он махнул рукой и вошел.

Дверь за собой притворил

Добрался до лежанки, сел и со вздохом ноги вытянул.

— Не те у меня годы уже, чтобы этак забавляться, — сказал брюзгливо. — На от, съешь конфетку.

И вправду из кармана коробку монпансье вытащил. Яблочных. Ядзита их с детских далеких лет любила. Правда покупала нянечка карамельки самые дешевые, которые на вес, а не этикие в размалеванных жестянках.

— Спасибо, — сказала она.

— Пожалуйста... а выбор у тебя, девонька, такой. Или идешь на службу Его Величеству... или в монастырь...

— А плаха?

Аврелий Яковлевич усмехнулся.

— А что, так сильно хочется?

— Совсем не хочется.

— От и правильно. Жизнь... она хорошая штука...

Ядзита сразу ему поверила. И выбор свой сделала, верно, еще до появления ведьмака.

— А... что надобно королю?

— Надобно... надобно, чтобы беспокойники покой находили... ну и... хельмов храм пустым стоит. Разумеешь же, что не людям с богами шутки шутить. Раз уж ты на роду Проклятым отмечена, то и быть тебе нынешнею жрицей. Ясно?

Что ж неясного.

Черные камни, в которых сокрыта иная, нечеловеческого рода сила, звали Ядзиту. И можно было тысячу раз говорить себе, что зов их рожден сугубо воображением, но...

— Нам понадобится клинок...

— И алтарь.

— Алтарь уже есть, — сказала Ядзита. — Он... согласится переехать.

Аврелий Яковлевич разулыбался, и улыбка, следовало сказать, переменила хмурое его лицо, которое сделалось и моложе, и красивей.

— От и умница моя... а ножичек, то верно, заберем... негоже таким вещам без присмотра быть.

Ядзита кивнула.

— И... я... мне... мой отец не должен больше... надо мной власть...

— Поговорим, — пообещал Аврелий Яковлевич, руку подавая. — Самолично отправлюсь и поговорю с твоим, чтоб его Хельм задрал, отцом...

...в Южной башне топили жирным торфом, который добывали здесь же, на болотах. Тепло он давал, но помимо тепла — и копоть, которая оседала на стенах черною коростой. И под ней скрывался, что камень, что ошметки гобеленов.

Подыматься пришлось высоко.

Отец разместил лабораторию под самой крышей. Ему простор надобен был.

— Эк оно тут, однако, — заметил Аврелий Яковлевич, останавливаясь, чтобы перевести дух. — Красиво...

Красное солнце. Крупное.

Тонет во мхах, окрашивая их во все оттенки алого, будто мантию королевскую пурпурную кинули на болота, и тонет она, наливается сыростью...

Деревня видна.

И старый монастырь, которые многие полагали проклятым, а Ядзита бегала туда с Клео,

искала безумного монаха, что якобы клад стерег. Думала, если золота найдет довольно, то и дом преобразится...

— Красиво, — глухо сказала Ядзита. — А многие боятся. Говорят, дурные места.

— Непокойные, это точно, но не дурные... Ничего... как-нибудь... ну, води уже...

Дверь была не заперта.

— Кристоф, — отец склонился над перегонным кубом, в котором булькало что-то темно-пурпурное, тяжелое. — Оставь ужин на столике...

— Папа...

Он дернулся, глянул на Ядзиту.

— А... это ты... вернулась, значит.

— Ты не рад?

— Мне некогда. Не видишь разве?

— Вижу. Тебе всегда было некогда... что бы ни происходило, некогда... — Ядзита вдруг поняла, что расплчется, но на плечо легла широкая тяжелая ладонь. И слезы отступили.

Не стоит этот человек слез.

Старый.

Плешивый. И голова крупная, тяжелая... нос кривоватый, узкие губы, лысина покрыта мелкими черными пятнами, словно чешуей.

Ее отец?

Неужели вот это — ее, Ядзиты, отец?

Мелкий, скособоченный... суетливый какой-то... вроде бы и стоит, а руки постоянно в движении пребывают... трогают то куб, то стол, то колбы перебирают, пересчитывают. И губы дергаются, шлепают беззвучно.

— Нам бы побеседовать о вашей дочери, — произнес Аврелий Яковлевич, отодвигая Ядзиту. И сам шагнул, вставая между ней и отцом. Защищал? Но кого и от кого.

— Полторы тысячи.

— Что? — ведьмак сразу и не понял.

— Полторы тысячи злотней и забирайте ее... только быстро... видите, оно скоро закипит...

Аврелий Яковлевич молча извлек чековую книжку.

Полторы тысячи?

В первый раз он просил больше... и обидно, и смешно. Выходит, Ядзита точно знает себе цену... и есть тот, кто готов заплатить.

Отец отвлекся ровно настолько, чтобы сцапать чек и сунуть его в карман потертого пиджачка.

— Позвольте поинтересоваться, — Аврелий Яковлевич обвел рукой лабораторию. — А чем вы занимаетесь?

— Разве не видно? — получив деньги, отец утратил к гостям всякий интерес, и явно тяготился их обществом. — Пытаюсь получить красную ртуть.

— А зачем?

Он отвлекся и взглянул на Аврелия Яковлевича с чувством полного своего превосходства:

— Естественно для того, чтобы сотворить lapis philosophorum [17]...

В гостиницу Евдокия возвращалась в настроении приподнятом, чувствуя себя солидной замужнею дамой. Этого чувства не способно было поколебать ни пуховое одеяло, в которое она куталась, хоть бы Лихо и предложил собственный плащ, ни самодовольная физия новообращенного родственничка, заявившего, что новобрачных наедине он не оставит, ибо карета наемная, а мало ли...

Лихо мрачно заметил, что много... не Евдокии, а этакой родственной заботы.

Себастьян оскалился.

И хвост через ногу перекинул, сидит, черными глазами зыркает, выглядит до того счастливым, будто это его венчали...

— Кстати, — восторженно Себастьян, когда экипаж остановился перед гостиницей. — А в свадебное путешествие вы куда отправляетесь?

— А тебе зачем? — Лихо обхватил Евдокию вместе с одеялом.

— Ну... подумал, что давненько в отпуске не был... а Евстафий Елисеевич мне обещался...

Перспектива провести отпуск втроем Евдокию несколько не вдохновила, и она, подтянув одеяло повыше, пообещала:

— Тогда и Аленку возьмем... чтобы парами.

Оценив эту перспективу, Себастьян пошел на попятную:

— Не стоит... я, пожалуй, еще немного поработаю... до осени... осень на Лазурном берегу по слухам диво до чего хороша...

...а в «Метрополе», в который Лихослав внес Евдокию на руках, их ожидал сюрприз.

Модеста Архиповна прибыли с утренним поездом и, обнаружив недостачу дочерей, разволновались. О волнении говорил веер, массивный, из китового уса, которым Модеста Архиповна выразительно по ладони похлопывала, и взгляд хмурый, неодобрительный.

— Сбежала, значит? — сказала Модеста Архиповна, грозно брови хмуря.

Больше для порядку.

— Украли, — Евдокия вцепилась в мужа.

— Он? — веер описал полукруг и уперся в лоб Лихослава, который от этакой простоты онемел.

Евдокия подумала.

Во-первых, мужа было жаль... а во-вторых, появилась у нее одна мысль, которая требовала матушкиной помощи... конечно, шантажировать родственников нехорошо, как и пользоваться их родственною любовью, но... в конце концов, она не ради себя, а исключительно для общего дела.

— Он, — всхлипнула Евдокия, пальчиком указал на Себастьяна, каковой наблюдал за сценой, привольно устроившись на низенькой козетке.

Сидел.

Ногу за ногу закинул.

И кончик хвоста в пальцах крутит. А на физии — улыбочка, которая постепенно сошла.

Приближалась Модеста Архиповна медленно, точно зная, что жертве ее бежать неоткуда. А она жертва заворожено уставилась на купчиху... и то сказать, ныне маменька самое себя в богатстве наряду превзошла. Платье ее из пурпурной парчи было щедро расшито золотом и камнями, которые при малейшем движении вспыхивали, соболий палантин сполз с плеча, обнажая оное плечо, круглое, пышное и невероятно белое. Шею Модесты Архиповны обвивало золотое ожерелье, как по мнению Евдокии, какового маменька знать не желала, более напоминавшее хомут с камнями. В комплект к нему шли золотые браслеты-кандалы и массивные с виду серьги. Из высокой прически, подобием рыцарского плюмажу, торчали страусовые перья, крашенные в алый.

вернуться

17

[1] Философский камень

Выглядела Модеста Архиповна грозно.

— Ты мою кровиночку обидел? — поинтересовалась она и вопрос подкрепляя хлопнула веером по ладони. Звук вышел резким, и ненаследный князь, подпрыгнув, удивленно глянул на Евдокию.

Та кивнула.

И потупилась.

В конце концов, беглым девицам по возвращении к родительскому очагу надлежало принимать вид скромный, слегка раскаявшийся...

— Я?! — робко переспросил Себастьян, глядя на новоявленную родственницу с немим восторгом.

— Ты, — Модеста Архиповна стиснула веер. — Скрал девку?

— Скрал, — вынужден был признать ненаследный князь, косясь на дорогого брата, который притворился, будто бы его в комнате вовсе нет.

— И не раскаиваешься?

— Уже начинаю...

— От и хорошо, — Модеста Архиповна протянула ручку и пощупала ткань Себастьянова пиджака. — Хорошая... по чем брал?

— Понятия не имею, — столь резкая перемена темы беседы несколько ошарашила ненаследного князя. Модеста Архиповна нахмурилась, ибо столь легкомысленное отношение к собственным деньгам было ей не понятно. Этак тебе чего угодно втридорога всучат, а то и вовсе сатин за батист выдадут, находились умельцы...

— Маменька, не отвлекайтесь. Меня тут между прочим, украли и замуж выдали.

— От и ладно, давно пора было, — фыркнула Модеста Архиповна.

И Себастьян с облегчением выдохнул.

Но рано.

— Пускай. А моральная травма как же?

— Какая моральная травма?!

— Может, — Евдокия поправила одеяло и ненатурально всхлипнула. — Я о красивой свадьбе мечтала... чтобы платье белое, подружки невесты...

— Доченька, у тебя нет подружек...

— Не важно. Ради такого дела завела бы... и цветы... храм... торжество... меня мечты лишили! Нежной! Девичьей.

Она ненатурально всхлипнула, и Себастьян заподозрил, что дело здесь вовсе не в мечтах.

— И я требую компенсации!

— Какой? — поинтересовался ненаследный князь, поглядывая на дверь и проклиная тот час, когда вздумалось ему чужую личную жизнь налаживать.

Зарекался же!

— Я на ушко скажу...

...и сказала.

— Нет! — Себастьян вскочил. — Да ни в жизни!

— Да, — упрямо повторила Евдокия и, сбив с его рукава несуществующую пылинку, повторила. — Тебе и делать-то ничего не понадобится... всего один снимок... пять минут

работы!

— И позор на всю оставшуюся жизнь... я позорится не согласен.

Себастьян подумал и добавил.

— Бесплатно.

— Пять процентов, — с готовностью предложила Евдокия.

— Пять?! Пятьдесят!

...впрочем, торговался ненаследный князь мало лучше своего братца, который молча ждал завершения этой торговли, разве что хмурился с каждой минутой все сильнее.

Сошлись на двенадцати с половиной.

— И как это понимать? — Лихослав старался говорить спокойно, но в голосе все равно прорезались рычащие ноты.

— Увидишь, — пообещала Евдокия и, поднявшись на цыпочки, поцеловала мужа в щеку. — Уверю, тебе понравится...

...ему и вправду понравилось.

Спустя два месяца торговый дом «Модестъ» в числе иной рекламы, подготовленной ко Всепопознаньской ярмарке, презентовал каталог товаров, исполненный в лучших европейских традициях. Гладкая бумага, полиграфия высочайшего качества, цветные снимки...

— Это возмутительно, — сказала престарелая княгиня Варшавицкая, поднося к глазам лорнет. — Вот в мое время мужчины себе такого не позволяли...

И сопровождавшие тетущку внучатые племянницы торопливо согласились.

Впрочем, княгиня на некоторое время о племянницах забыла и, сняв перчатку, перелистала каталог.

Хмыкнула.

И мысленно добавила, что в ее время мужчины позволяли себе много иных, куда менее безобидных вещей, а каталог...

— Дюжину, милейший, — она кинула на прилавок увесистый кошель. — Пусть доставят к экипажу.

— Тетущка! — воскликнули племянницы слаженным хором. — Зачем вам столько?!

— Каминны разжигать, — княгиня повернулась к племянницам и вздохнула: курицы, как есть курицы, в кружевах и рюшах, иначе не задавали бы глупых вопросов. — Две дюжины. У нас в особняке много каминов...

Приказчик поклонился, заверив княгиню, что каталоги всенепременно доставят... и не только каталоги, ежели Ее Светлости будет угодно ознакомиться с продукцией фирмы, каковая

отличается отменнейшим качеством и даже награду имеет... а Ее Светлость может в том убедиться лично... нет, не сейчас, но достаточно позвонить по номеру, в каталоге указанному и назвать модель... или просто озвучить свои пожелания, то в течение суток оную модель доставят на дом.

...а княгиня вновь вздохнула, прекрасно понимая, что ту модель, которая, собственно говоря, и вызвала интерес, ей не доставят, даже если она приобретет весь тираж...

— Безумие какое-то, — сказал приказчик, когда княгиня удалилась, сопровождаемая выводком внучатых племянниц, двух компаньонов, нескольких горничных и престарелой камеристки вида едва ли не более грозного, чем у самой княгини. — И что они все в нем находят?

Каталоги расходились с невероятнейшей скоростью...

Приказчик покосился на обложку, выполненную в черном глянцевого цвета, в который раз убеждаясь, что нет в картинке, оную обложку украсившей, ничего неприличного.

Унитаз.

Белый. Фаянсовый. Модели «Вершина Люкс».

И ненаследный князь Вевельский в алом домашнем халате... князь полулежит, спиной на один подлокотник опираясь, ноги на второй забросивши... при том, что ноги эти были вызывающе босы. Хвост князя обвивает фаянсовую шею химеры, полы халата слегка разъехались... нет, помимо шеи ничего видно не было, а обнаженная шея вполне в рамки приличий укладывалась. Но приказчика не оставляло нехорошее чувство, что одно неловкое движение...

И сам князь поглядывал так, с хитрецей, с откровенной насмешкой...

...а поговаривали, будто бы он из этих, которые мужеложцы...

...но женщинам, которые, розовея, бледнея и смущаясь покупали каталог, стоивший аж полтора злотня, похоже, было плевать на слухи...

...а может, надеялись вернуть князя на путь истинный?

Как бы там ни было, но к концу первого дня ярмарки свободных каталогов в продаже не осталось. Тираж допечатывали трижды.

Глава 18

Где все еще воздается

Три месяца спустя

...Греля похитили с улицы.

Он возвращался от приятеля, что давно уже перебрался в Познаньск, выгодно вложив капиталы, из которых главным было смазливое лицо, в престарелую вдовушку. Потерпевши оную два года, приятель и сам овдовел, к немалому возмущению родни сделавшись единственным наследником и особняком в Познаньске, и трех парфюмерных лавок, и весьма солидной суммы в королевском банке.

Следовало ли говорить, что приятелю этому Грель от всего сердца завидовал... рассчитывать на

то, что дражайшая Лизавета Евстафьевна преставится не приходилось...

...сидит, небось, ждет.

...готовится встречать с претензиями, которые с ходу выплеснет на Греля, обвинивши его и в совращении ея, невинной девицы, и в обмане, хотя видят Боги, он был честен, и в загубленной молодости. И будет говорить громко, тонким визгливым голосом, обнимая одной рукой живот. А живот у Лизаньки появился как-то рано, выпятившись таким шаром.

И сама-то подурнела.

Опухли руки, появились щеки, меж которых исчез курносый Лизанькин нос, и глаза ее сделались маленькими тусклыми. Она много ела, утверждая, что в еде находит утешение, и полнела, что злило ее несказанно, но парадоксально — злась, на полноту, Лизанька ела больше прежнего.

Дорогая теща хлопотала над дочерью, и Грелю приходилось.

Евстафий Елисеевич следил... и ведь хотели же съехать, жить собственным домом, но Лизанька лишь глянула на квартирку, которую Грель подыскал, и нос сморщила, мол, не поедет она в этакое убогое место! Всего-то четыре комнаты, а что платить за эти комнаты пришлось золотом, так ей до того дела нету... ей в папенькином особняке привычней.

Уютней.

И вообще ее нервы требуют отдохновения на водах, а Грель пока не способный оное отдохновение оплатить, папенька же, дражайший Евстафий Елисеевич, будто издеваясь, предлагает Лизаньке на деревню отбыть, дескать, для нервов деревенский воздух тоже полезен...

...но десять тысяч выдал.

...и те десять, которые получил Грель за сенсацию...

...и еще небольшой капиталец, что получилось при Модесте Архиповне скопить...

...половина нужное суммы, а вторую половину приятель дать обещался, тот самый, вдовый, который Грелевы идеи, и Грелевы жалобы слушал с одинаковым интересом. Правда, приятель потребовал половину доходов, и чтоб сие оформили договором, но и пускай... Грелю и второй половины хватит на собственные нужды... а жена... что-нибудь да придумает.

Главное, цветочков ей купить.

Или конфет? Пусть жрет, глядишь, разожрется и подбреет, Грель слышал, будто бы толстые женщины во многом добрей тощих, вот и проверит на деле-то.

Он уже решил завернуть в лавку, чтобы приобрести дражайшей Лизаньке шоколаду, когда его похитили. Черный экипаж медленно плыл по улице, а когда поравнялся с Грелем, который, погруженный в собственные невеселые мысли, на оный экипаж внимания не обратил, дверцы распахнулись. Из кареты выскочили люди в черном, накинули мешок на голову и, прежде чем Грель успел возопить о помощи, в экипаж втянули.

— Тихо сиди, — велели ему и по голове чем-то ткнули, но не так, чтобы Грель вовсе чувств

лишился.

— Я... я буду жаловаться! — но на всякий случай угрозу свою Грель произнес шепотом, поелику подозревал, что жаловаться на кого бы то ни было сможет не скоро.

— Будешь, — заверили его. — Всенепременно будешь... а пока сиди.

Просьбу подкрепили пинком, который Грель снес терпеливо, дав себе зарок, что, ежели выберется из этой передраги живым, в ноги дражайшему тестю упадет, чтобы нашел этих вот...

...и Лизаньку попросит...

...нет, просить не станет, поелику Лизанька не посочувствует, быть может, посмеется, скажет, что будь Грель настоящим мужчиной, он бы...

Экипаж катился.

Мешок на голове прилип к волосам, и дышать в нем стало затруднительно, но Грель дышал, морщился от нехорошего затхлого запаха, думая о том, что хранили в оном мешке, наверняка, лежалые солдатские портянки...

Экипаж подпрыгивал.

И Грель подпрыгивал, мелко трясясь и уговаривая себя, что, ежели бы желали его убить, то убили бы... а скачут колеса по старой мостовой, и значит, съехала черная карета с центральной улицы... куда движется? Уж не к старому ли городу?

Почти угадал.

К старому городу и старому же кладбищу, каковое отгородилось от темных особняков высоким забором. Забор белили, силясь придать скорбному месту вид приличественный, но дожди побелку смывали, и слезала она неравномерно. На ограде то тут, то там проступали темные пятна, будто проплешины. Восточная стена и вовсе растрескалась, начала осыпаться, а с южной под камнем, норовя приподнять его, проползли черные корни тополей.

Местные жители к кладбищу привыкли, но все одно предпочитали обходить его стороной. Тем же, кому не повезло жить рядом, старательно не замечали некоего беспокойства, тем паче, что штатные ведьмаки, являвшиеся на кладбище по расписанию, уверяли, будто бы для волнения причин нет.

Кладбище.

Старое.

С характером... и кладбищенский сторож ему под стать.

Он жил здесь же, в покосившемся домишке, который по самые окна ушел в землю, а окна эти были плотно прикрыты ставнями. На древней черепице поселился мох, и черная кривоглазая коза, пасшаяся у забора, то и дело на оную крышу забиралась и орала дурным голосом...

При виде экипажа коза смолкла и повернула к нему узкую, какую-то кривую морду.

— Бэ, — сказала она и, задрав хвост, вывалила на крышу сухенькие шарики помета, который

тотчас во мху исчезли.

— Сама ты «бэ», — ответил козе человек в черном костюме. — Дядька Стас!

— Не ори, — сторож выполз из домика и широко зевнул. Ежели бы кто из местных оказался рядом, он бы всенепременнейше отметил длинные, хоть бы и слегка сточенные клыки дядьки Стаса, а заодно уж глаза его неестественного для людей красного колеру...

...отметил и промолчал.

Все ж дядька Стас кладбище берег столько, сколько оно существовало, а что был при том немного странен, так ведь то была странность безобидная, привычная даже.

— Явились, — дядька Стас к ограде ковылял, опираясь на кривую трость, более похожую на дубинку. — Значит, не передумали...

— Конечно, нет... надеюсь, все готово?

В воздухе кувыркнулся злотень, который дядька Стас сцапал с нехарактерным для престарелых лет проворством. Прикусив монету, сунул ее за щеку, а щеку облизал длинным темным языком.

— Готово, готово... заносите покойного.

— Я живой! — взвизгнул было Грель, которого подхватили под руки и за ноги, предварительно стукнув по голове с присказкой:

— Смирно сиди.

— Я живой!

— Это пока, — меланхолично ответил дядька Стас, ковыляя рядом. И коза его с крыши спрыгнула, сунулась было под руку. Черные ноздри раздулись, а кривая морда пошла морщинами, будто бы слезть норовила.

— Брысь, — дядька Стас козу оттолкнул, а заодно по загривку плешивому хлопнул, велевши: — Веди себя прилично...

— Тебя это тоже касается, — сказали Грелю, кидая его на землю.

Земля пахла кладбищем и была жирной, мягкой.

Из нее торчали тонкие волоски травы, которая здесь тоже была особенной, острой и жесткой, точно и не трава — иглы...

— Вы не имеете права! — чуть громче воскликнул Грель. И коза, которая вовсе не желала уходить, но лишь обошла компанию с другой стороны, покосившись на дядьку Стаса желтым и отнюдь не козьим глазом, важно ответствовала:

— Бэ-э!

— Слышал? — Греля пнули, а затем сдернули мешок, позволяя глотнуть свежего терпкого воздуха, который пропитался ароматами покойницкой.

Сумрачно.

Луна половинчатая белесая. Тополя высокие, шумят, кланяются; могильные камни проступают сквозь сумрак, будто бы светятся даже.

А глаза козы просто светятся.

И отражается в них, что луна, что Грель.

— Бэ! — коза затрясла головой и оскалилась, демонстрируя ровные треугольные зубы, каковыми, верно, траву драть было не слишком-то удобно. — Бу-э-э...

Грель задрожал.

— Отпустите! — взмолился он, подымаясь на четвереньки. И пополз к похитителям, которые держались в тени старого склепа. Двери одного были гостеприимно распахнуты и тянуло из них могильным холодом и мертвечиной. — Я не виноват!

— В чем? — поинтересовался тот из похитителей, который был повыше. Следовало сказать, что были они весьма похожи друг на друга, во многом благодаря одинаковым черным одеждам.

— Ни в чем!

Черные платки повязаны поверх волос.

И лица скрывают.

И опознать их не выйдет, хотя...

— Совсем ни в чем? — недоверчиво поинтересовался второй.

— Совсем!

— Так не бывает! — первый вытащил из-за пазухи газетенку. — Хочешь сказать, что не твоих рук дело?

Газетенку Грель узнал, хоть и было на кладбище темно.

Из-за статейки, значит...

...не убьют...

...но что сделают?

...ненаследный князь ныне, говорят, у королевича в большом фаворе...

...и тесть дражайший старшего актора любит, что сына родного... и значит, за обиды Грелевы не посчитается... предупреждал ведь...

— Я, — Грель поднялся с колен и отряхнул жирную землю, — я лишь исполнил свой гражданский долг!

— Ты глянь, осмелел-то как! — восхитился дядька Стас, присевши на ступеньки склепа.

Жизнь его была длинна, скучна, а потому развлечения, навроде нынешнего, он весьма ценил.

И коза, севшая на тощий зад, кивнула, тихо сказав:

— Мэ...

— Я не имел права молчать о... о таком!

— Неужели?

— Да! — Грель встал и попытался оправить изрядно пострадавший во время похищения костюм. — Общество имеет право знать, что творится за дверями старых домов! Нам издревле внушают, будто шляхта имеет больше прав, меж тем, как королевство держится на плечах простых людей...

— Крамольно вещает, — дядька Стас приобнял козу, которая вильнула хвостом.

— Если бы не я, никто не узнал бы, что под обличем княжича скрывается опаснейшая тварь...

— Молодец, — второй похититель похлопал Греля по плечу и так, что тот едва-едва на ногах удержался. — Значит, долг свой исполнял?

— Да.

— Тогда, дорогой мой, — рука легла на шею и шею сдавила. — Что ж промолчал об остальном?

— О... о чем?

— Верно... о чем? Ни о чем... совершенно ни о чем... и разговаривать нам тут с ним не о чем. Мы ведь не за разговорами явились...

Рука на шее была подобна клещам. Грель дергался, пытаясь вывернуться, но у него не выходило. И он затих, внутренне смирившись с тем, что будут бить.

— Видишь ли... сознательный гражданин, — первый похититель подхватил Греля под ручки, не позволяя сомлеть. — Там...

Он указал пальцем на низкое небо и саму луну...

— Полагают, что будто бы ты у нас... слишком сознательный, понимаешь?

— Нет.

— Сегодня ты решил, что людям надобно о княжиче Вевельском рассказать, а завтра глядишь и еще чего припомнишь... скажем... про демона... или про некий Павильон... а это, я тебе скажу, дело государственное...

Он говорил тихо, ласково даже, но от этого голоса у Греля поджилки тряслись.

— Я... я буду молчать.

— Конечно, будешь, я бы сказал, что гарантированно будешь... для того мы сюда и приехали, — он широким жестом обвел кладбище.

— Д-для чего? — уточнил Грель, понимая, что трясутся уже не только поджилки, но и сам он, от пяток до макушки.

— Чтобы похоронить государственную тайну в надежном месте.

Тонкий палец с черным коготком указал на склеп, двери которого были гостеприимно распахнуты.

— З-здесь?

— Здесь! — подтвердил похититель.

И коза кивнула, раззявила пасть, добавив:

— Бэ-эк!

Грелю стало дурно, но все же чувств он не лишился.

— Вы... вы собираетесь убить меня?

— Ну что вы, — это было произнесено с укоризной, еще немного и Грель самолично усовестился бы, как это ему в голову пришло обвинять людей приличных в этаким злодействе. — Мы не душегубы. Да и убивать вас, если разобраться, не за что... мы вас так похороним.

— Не вас, — уточнил второй, — а государственную тайну. На ваши похороны у нас полномочий нет.

Грель закрыл глаза и досчитал до десяти, убеждая себя, что все это ему мерещится, что фантазии эти престранные рождены едино его собственным утомленным супружескою жизнью разумом. Ну или особой приятелевой настоячкой, каковой Грель утешался...

Но открыв глаза, он убедился, что, либо настоячка оказалась крепче, чем он предполагал, либо действительность хуже, однако фантазии не исчезли. Стоял на месте склеп, дверь которого стерегла пара кривоватых химер, сидел на ступеньках кладбищенский сторож, престранная личность, если не сказать более — подозрительная. Сидела, по-собачьи поджавши ноги, коза, косила желтым глазом...

— Я... я...

Грель все ж попытался спастись бегством, и дядька Стас, сунув оба пальца в рот, свистнул:

— Ату его! — крикнул он, подкрепляя приказ подзатыльником, и коза, кубарем полетевшая со ступенек, протестуя заблеяла. А после встала на ноги, отряхнулась и бодрой рысью бросилась за Грелем. Он же неся к воротам кладбища, в которых видел спасение, и неся быстро, перепрыгивая и через корни деревьев, и через могилки.

— Уйдет, — сказал тот из похитителей, который был пониже.

— Да нет, — второй потянулся. — От этой козы еще никто не уходил...

— И ты?

— На дерево загнала, паскудина... до утра просидел... — Себастьяна передернуло, вспомнились вдруг и круглые козы глаза с узкими зрачками, и гнусавый ее голос, и клыки... и копытца, что снимали стружку с коры старого тополя...

Грель вихлял, норовя запутать след, но странным образом фигура его была видна. Она кружила по кладбищу, всякий раз проходя мимо ворот... коза рысила следом...

Гнала.

— Жестокий ты человек, Себастьян, — покачал головой напарник. — Отправил бы на плаху и с концами...

— Так ведь, Ваше Высочество, за что его на плаху-то?

Грель упал на четвереньки, но все одно пополз, как ему казалось, к воротам. Но дорожка, подчиняясь воле кладбищенского сторожа, вывела аккуратно к склепу.

— На плаху его вроде бы и не за что, — Себастьян смотрел на приближающегося Греля без улыбки. — Полежит до утра... подумает... глядишь, и додумается до чего-нибудь стоящего...

Он шагнул навстречу Грелю и, схватив за шиворот, поднял.

— Не следует бегать от правосудия, — наставительно произнес Себастьян, ткнув пальцем в Грелев лоб. — Ибо побег от правосудия лишь усугубляет вину.

— Я... я... не хотел...

— Это, конечно, аргумент...

Грель, покосившись на склеп, обмяк.

— Вот тебе и... — вздохнул Себастьян.

— А он живой? — Матеуш сам отвесил Грелю пощечину, и когда тот дернулся, сказал: — Живой... пока... но плаха была б милосердней... и надежней.

Себастьян пожал плечами: не рассказывать же Его Высочеству, который пожелал в оной аванюре участие принять о Евстафии Елисеевиче, к зятю привязавшемуся, о Лизаньке и ее планах. Вряд ли вдовство сильно на них повлияет...

В склепе пахло склепом.

На постаментах возвышались гробы весьма солидного вида. Со стен на неурочных гостей взирали белые поминальные маски, казавшиеся более живыми, нежели это было на самом деле.

— Сюда давай, — выбранный Себастьяном гроб выделялся среди прочих размерами, нежно-розовым, несколько поблекшим за прошедшие годы, колером и обилием позолоты. Крышка его была откинута.

— А... — вытянув шею Матеуш заглянул в гроб. — Панна не будет против?

Сохранилось белое платье, обильно расшитое золотой нитью и жемчугами, белый парик, тяжелое ожерелье с крупными красными кабошонами и седые волосы панны.

— Не будет, — Себастьян положил в ноги трупа белую лилию. — Судя по хроникам, панна Богушова при жизни отличалась весьма вольным нравом.

— Темпераментная женщина, — важно подтвердил дядька Стас. — Порадуется этакому подарку... ей мужского внимания тутай зело не хватает. Аккуратней кладите...

Матеуш был рад покинуть склеп. Нет, он не боялся ни покойников, ни беспокойников, но вот встречаться с темпераментной панной Богушовой, преставившейся задолго до Матеушевого появления на свет, у него желания не было.

Пусть Грель ей возмещает нехватку мужского внимания...

Уже в карете, избавившись от перчаток и надушенного платка, который не столько лицо скрывал, сколько избавлял Матеуша от характерных кладбищенских ароматов, он сказал:

— Все ж таки странный ты человек...

— Чем?

— Всем, — хмыкнули Его Высочество, указывая мизинчиком на хвост, который словно невзначай из-под полы плаща показался. — Другой бы рыло начистил...

— Фи, как грубо...

— Ладно, физию отполировал о мостовую и на том бы успокоился. А ты...

— Физию ему, как вы выразились, не раз еще полировать будут. И сие забудется. А вот ночь в компании панны Богушовой — навряд ли... я за индивидуальный подход.

Карета тронулась и Себастьян, стащив платок, отер лицо.

— Как Тиана?

— Чудесно... она удивительная женщина, — Его Высочество улыбнулся теплой живой улыбкой. — Ты не представляешь, до чего она... искренна...

— Я рад.

Матеуш кивнул.

— Просила подарить ей животное, мол, все во дворце с собачками... а я собачек этих терпеть не могу, вечно под ногами шныряют, цапнуть норовят... так и тянет пинка отвесить. На кошачью шерсть меня сыплет... кролика, что ли, поднести?

— Лучше козу, — Себастьян, сдвинув шторку, проводил кладбище взглядом. — У дядьки Стаса Манька скоро окотится. Он аккурат думает, куда бы пристроить.

Припомнив странное существо, которое весьма условно можно было причислить к козьему роду, Матеуш с сомнением поинтересовался:

— А она никого там не сожрет?

— Богурты смирные, — заверил Себастьян, намеревшись давши слово, что устроит новорожденного козленка в хорошие руки. — Попугать кого — это они всегда и с большой душой, а в остальном — хозяев слушают... они вообще добрые...

...когда сытые.

С другой стороны, навряд ли королевский бюджет сильно пострадает от полулитру молока в день.

— Козу... — Матеуш представил Тиану с козой на поводке, — а что... коза — это очень даже...

...а маменька опять говорить станут, что ненаследный князь плохо на Матеуша влияет. Ежели бы спросили самого Матеуша, он бы заверил, что влияние на него оказывают самое благотворное.

...жить стало веселей.

Грель выберется из склепа на рассвете. Будет он бледен, а в темных волосах появится первая седина. Блуждающий взгляд его остановится на солнышке, по осеннему времени тусклом, низком, скользнет по вершинам полысевших тополей.

— Туда иди, — скажет дядька Стас, кутаясь в безразмерный свой плащ: солнце он не любил и, ежели бы не гость нынешний, кладбищенский сторож давно бы спрятался в хижине.

Грель кивнет.

И двинется к воротам. Идти он будет мелким семенящим шагом, подволакивая левую ногу, а руку прижимая к боку. Холодный осенний ветерок проберется сквозь остатки пиджака, скользнет под измятую, измаранную пылью рубаху...

До самого особняка познаньского воеводы, каковой расположился на противоположном конце Познаньска, Грелю придется идти пешком. Встретит его жена, заплаканная и с булкой в руке.

— Паскудник! — взвизгнет Лизанька, и горничная, до того возившаяся с камином, поспешно удалится, дабы не попасть госпоже под гневливую руку. — Я тебя всю ночь ждала! Глаз не сомкнула! Ты где был?!

— В гробу, — тихо ответит Грель.

— Там бы и оставался!

Лизанька швырнет в него булкой, которая все одно зачерствела, а на кухне аккурат свежие подспели, и подхватив юбки удалится к себе.

Горевать.

Ныне поводов для печали было более обыкновенного, и постылый супруг являлся самым малым из них. Лизанька возьмет другую булку, которые ныне держала на туалетном столике, вместо пудр и духов — от запаха парфюма ее мутило — и белый конверт, доставленный накануне.

Ее, Лизавету Евстафьевну Стесткевич, любезно приглашали на свадьбу генерал-губернатора и Мазены Радомил...

...генерал-губернатора!

...и Мазены...

Лизанька всхлипнет, испытав преогромное желание оный конверт отправить в камин...

подумать только... генерал-губернатор и эта потаскуха... отравительница... или они думают, что ежели Лизанька одержима была, то ничего и не помнит?

Помнит распрекрасно.

Лизанька повернулась к зеркалу, в котором отразилась растрепанная девица с опухшим лицом...

...значит, Радомильше генерал-губернатора в мужа, а Лизаньке какого-то приказчика?

...и папенька помогать отказался...

...и ребенок еще этот, которому Лизанька вовсе не рада была... она блистать хотела, а тут...

От обиды на этакую жизненную несправедливость в животе заурчало, и Лизанька торопливо слизнула с булки сахарную пудру, дав себе зарок, что эта булка — последняя, съеденная ею... и завтра же она, Лизанька, сядет на диету.

...и будет блистать.

Несмотря ни на что.

Грель же, оставленный внизу, облегченно вздохнул и булку поднял. Повертел в руках. Сел в кресло... конечно, панна Богушова была женщиной... специфического толку, но все одно женщиной.

И какой...

...пусть мертвая, но...

...она до самой смерти за собой следила, и после оной не перестала. И говоря по правде, если поначалу Грель пришел в ужас от перспективы быть погребенным с панной Богушовой, то когда страх минул... ах, как она была добра! Ах, как умела слушать... сочувствовать...

...и расчувствовавшись, собственной рученькой сняла с груди ожерелье...

...если продать, то получит Грель недостающую сумму для своего дела и... и разбогатеет.

Он погладит единственный уцелевший карман, улыбаясь этаким мыслям. Разбогатеет... конечно, разбогатеет... и откроет собственный торговый дом... и в колонии переселится... а может, и до того как разбогатеет... небось, за торговлею следить надобно... Лизанька-то навряд ли захочет отчий дом покидать, оно и к лучшему.

Грель закрыл глаза и улыбнулся.

Он был почти счастлив.

...Гавел долго не решался толкнуть калитку.

Стоял. Смотрел. На нее. На засов, задвинутый плотно. На аккуратный забор, покрытый свежей краской. На не менее аккуратный домик, из трубы которого поднималась нить дыма.

И на собственные руки в плотных перчатках.

К ним Гавел привык. И к костюму из аглицкой шерсти, шитому по мерке, но все ж тесному, неудобному. И Гавел, в узких этих брюках, прихваченных у щиколотки на три белые пуговицы, в пиджаке с толстыми, ватными плечами, чувствовал себя самозванцем.

Еще вот шарф.

И шляпа. Аврелия Яковлевич уверял, что без желтой шляпы с тонкою каймой в нынешнем сезоне никак не можно.

— Пан ведьмак? — раздалось сзади. — Что-то случилось?

— Нет, — он обернулся. — Ничего и... да... наверное...

— Доброго дня, — Гавел поклонился и шляпу приподнял, чувствуя себя... да дурнем и чувствуя.

В шляпе.

И при костюмчике.

Месяц-то жарким выдался... и должно быть, нелепым выглядит он в этом наряде, да еще в плаще, на плечи наброшенном. Плащ на меху, и не скажешь, что в карманах его почти бездонных многие важные вещицы лежат, без которых в Гавеловской нынешней работе никак не обойтись.

...да и мерзнет он.

Аврелий Яковлевич уверяет, что со временем Гавел притерпится к этой особенности, но и сам-то он порой шубу накидывает...

— Доброго, — осторожно ответил незнакомый мужичок в суконной рубаше. Рукава закатаны по самые локти, и локти эти, загоровшие, потрескавшиеся.

Хорошие локти.

И руки.

И сам мужичок, глядевший прямо, без страха.

— Вы за молоком? Так оно только к вечеру, ежели не оставляли.

Гавел покачал головой: нет, не оставляли ему. Вряд ли хозяйка этого дома вовсе догадывалась, что к ней этакий гость заглянет.

Зачем он пришел?

Затем, что, наконец, получил дозволение из дома выйти... и не то, чтобы плохо у Аврелия Яковлевича, очень даже хорошо, комната своя, светлая, просторная, кормят опять же... и не в том дело, но в уюте, в тишине домашней, которая Гавелу почти столь же непривычна, как этот костюмчик, купленный ему авансом... не только костюмчик.

Аврелий Яковлевич самолично на старую квартирку за Гавеловскими пожитками отправился, а когда тот заикнулся, что и сам может, рыкнул:

— Самому тебе, дорогой, из комнаты этой выходить невозможно, пока силу держать не

научишься, — и чуть тише добавил. — А еще не надо оно тебе... поверь.

О матушке не заговаривали.

И знал Гавел, что все-то с нею будет хорошо... ну как, хорошо: навряд ли ей в приюте понравится... и совесть порой мучила, но лишь до того момента, как Аврелий Яковлевич, зело к таким совести пробуждениям чувствительный, не ударял кулаком по столу, со словами:

— Буде.

А чтоб мыслей боле дурных не возникало в Гавеловской голове, подсовывал очередной гримуар...

В тот вечер Гавеловские пожитки он в мешке принес и, скривившись, сказал:

— Надобно с тобою что-то делать. А то таким оборванцем ты меня позоришь.

— Не надо... у... у меня есть деньги... — позорить Аврелия Яковлевича ему не хотелось, равно как и на одежду тратиться, потому как привык Гавел, что эти траты — самые бесполезные.

Мода?

Сегодня такая, завтра — этакая. И где за нею угнаться-то? Да и ведьмачья работа, руку на сердце положи, не способствовала сохранению одежды целой. Аврелий же Яковлевич от доводов этих отмахнулся, ответив:

— Надобно тебе жить учиться.

— А разве я не умею?

— Умеешь. Только как-то... стыдливо. Не обижайся, дорогой, но ты какой-то квелый... и конечно, вроде бы дело не мое, а все ж таки и мое... видишь ли, — Аврелий Яковлевич теребил бороду, что делал всегда, когда пребывал в задумчивости. — Работа у нас с тобой весьма специфическая. Оно, конечно, иные позавидуют, что силе, что жизни долгой, что умениям, но Боги не дают так, чтобы дать, а взамен ничего не взять.

Аврелий Яковлевич достал трубку, которую начинал табаком дешевым, с каким-то непонятным наслаждением выковыривая его из цигарок.

— И вскоре ты сам заметишь, что иные твои, сугубо человеческого толку способности... отмирают.

— Какие?

— Радость уходит... вот простой человек утром встанет, выглянет в окошко, узрит солнышко ясное и обрадуется. Или еще какой пустяковине... или не пустяковине, главное, что искренне и от души. Или огорчится, но столь же искренне и от души... злость опять же... гнев... счастье... люди сами не понимают, сколь много имеют.

— А мы?

— А мы... оно по-разному бывает, Гавел.

По имени Аврелий Яковлевич обращался редко, и сие значило, что разговор отныне шел

серьезный.

— Иные-то и не замечают. А я... я спохватился после той истории с супружницей своей. Знаешь, когда близкий человек предает, то это всегда больно. Я же вдруг понял, что боль... она какая-то не такая... далекая очень, будто бы и не боль вовсе, а так, неудобство. Потом понял, что и счастье мое утраченное было... не таким уж счастьем... видишь ли, Гавел, сила — оно хорошо, конечно, полезно для общества, только... цена высока. Сила прибывает, а душа отмирает... знаешь, как тело у параличных... видал, нет?

Гавел кивнул: видал. Ему многие уродства видеть доводилось.

— И медикусы говорят, что это не паралич тому виной, но единственно — отсутствие нагрузок. Руки-ноги не ходят, вот и... исчезают, — он выпустил идеальное круглое колечко. — И с душой так же. Тренировать ее надо. Радоваться мелочам... солнышку, цветочкам... жилету вот... ладный скроили?

Жилет был из плотной гобеленовой ткани, расшитый серебряными зайцами.

— Ладный, — согласился Гавел. Аврелий же Яковлевич только фыркнул:

— Не умеешь врать, рот не разевай. Смешным он тебе кажется... а хоть бы и так, смех — не слезы... понял?

— Понял.

— Ты не умеешь жить, Гавел. Учись. Пока еще не поздно.

— А если не научусь?

Не то, чтобы перспектива эта Гавела пугала. Жил он как-то без радости, и дальше проживет.

— Если не научишься. Что ж, сам подумай, на что способный человек бездушный, зато силой переполненный? Таким на Серых землях место, а не в Познаньске. Так что, Гавел, учись... всему учись.

Он и пытался.

И похоже, что получалось.

Во всяком случае, глядя на округлое загорелое лицо, Гавел испытывал весьма себе серьезное огорчение.

— Я просто... извиниться за прошлое... а Маришка...

— На дальнем лугу, коз чешет, к вечеру объявится. Передать чего? — мужик толкнул калитку, и та отворилась с протяжным скрипом. Он вздохнул, пожаловавшись: — Каждую неделю петли смазываю! А они все одно... скрипят и скрипят...

— Погодите, — Гавел присел у калитки, стянул зубами перчатку и провел пальцами по мягким, лоснящимся от масла петлям. — Завидуют вам... или ей... не важно, больше скрипеть не будет.

...еще не проклятье, не темная гниловатая плесень, но розоватый пушок. Впрочем, оставь этакий, глядишь и приживется, разрастется, обернувшись чередой мелких неприятностей.

— Вы это...

— Нет, я пойду, пожалуй...

Нечего ему делать в этом дворе.

В этой жизни.

И Гавел отступил было, но остановился, обернулся, чувствуя на себе внимательный взгляд:

— Вы ей кто?

— Муж, — спокойно ответили ему. — На той неделе... я вдовый, она вдовая... хорошая женщина...

Гавел кивнул: хорошая.

И наверное, в этом свой смысл имеется... его, небось, козы боялись бы. И молоко кисло... и вообще...

— Что ж, будьте счастливы, — он протянул сверток с шелковым расписным платком. — Передайте, пожалуйста...

И Янек Тарносов, будучи человеком глубоко порядочным, подарок передаст, и втайне порадует, что сразу к понравившейся вдовице подошел... оно, конечно, ведьмаки — люди сурьезные, важные, да только порой от сурьезности их и политесов один вред выходит...

Эржбета с подозрением смотрела на толстого господина, который от такого внимания смущался, краснел и хватался за галстук. Галстук был по последней моде, тонким и длинным, серо-розовым. Он напоминал Эржбете мышинный хвост.

— Значит... вы хотите... — осторожно повторила она вопрос. — Издать мою книгу?

Господин кивнул и вновь дернул несчастный галстук.

— Признаться, я не рассчитывала...

— Мы полагаем, что произведение будет иметь успех среди читательниц, — господин, наконец, оставив галстук в покое, извлек из солидной кожаной папки бумаги.

Эржбета выдохнула.

И вдохнула, заставив себя досчитать до десяти, но успокоиться ей это не помогло... с другой стороны, волнение в подобной ситуации вполне естественно. Эржбета, отправляя рукопись «Полуночных объятий» господину Копорыжскому, каковой в прошлом году издал девять книг в серии «Вечная любовь», не рассчитывала на то, что книгу издадут.

Ей лишь хотелось узнать мнение...

...и вот теперь...

— Понимаю, панночка Эржбета, что сие для вас несколько неожиданно, — господин, представившийся агентом того самого пана Копорыжского, продолжающего писать о вечной

любви, тоже выдохнул и перестал втягивать живот, отчего этот живот выпятился мягким шаром. — И в вашем положении занятие литературой... не одобряют... оттого мы предлагаем взять псевдоним. Если, конечно, вы заинтересованы... конечно, поначалу много мы не заплатим, но ежели книги пойдут, то...

...заинтересована?

Эржбета закрыла глаза. И открыла, решительно подвинув к себе бумаги.

Заплатят?

Три тысячи злотней? Этого хватит, чтобы снять квартиру в Познаньске... или в Краковеле? Или в Гданьске, Гданьск ей очень понравился... главное, уехать от родителей, которые с трудом скрывают свое к ней отвращение... и вообще ото всех...

...и Габи говорит, что Эржбете пора самой научиться жить.

Габи на первых порах поможет...

— Вы только со второй рукописью не затягивайте, — попросил господин.

— Не стану, — Эржбета улыбнулась и решительно поставила подпись под контрактом. — Это будет удивительная история о любви девушки и демона...

...агент тяжело вздохнул. По долгу службы ему приходилось читать много удивительных историй.

В Гданьском парке было многолюдно.

Бархатный сезон.

Бархатная трава, которую по утрам поливают, бархатные поздние розы темно-красного колеру, бархатный воздух, напоенный многими ароматами и бархатный жакет, поелику по утрам уже прохладно: чувствуется близость осени. И Габрисия с тоской отметила, что еще немного и ее мутить начнет, не то от обилия бархата, не то от кавалеров. Очередной вышагивал рядом, неся кружевной зонт с видом таким, будто бы это не зонт, а знамя, и говорил, говорил... о любви своей и о себе тоже.

Иногда вспоминал о Габрисии.

И тогда начинал восхвалять удивительную ее красоту... и странно... ведь хотелось же, чтобы считали красивой, чтобы любили... и восхваляли... и получается, сбылась тайная ее, детская мечта...

— Ваши очи столь прекрасны, что сил нет в них глядеться, — сказал пан Вильгельминчик громко, должно быть, чтобы Габрисия точно расслышала.

А заодно уж две девицы, которые синхронно вздохнули. Видно, их очи никому настолько прекрасными не показались.

— Не глядитесь тогда, — Габрисия проявила великодушие, но его не оценили.

— Не могу не глядеться!

— Почему?

— Сил нет!

— Экий вы... бессильный...

Пан Вильгельминчик сам по себе был хорош. Высок. Статен. И лицо мужественное, открытое, хоть портрет рисуешь...

...вчера вот рисовали, остановившись на аллее, которую облюбовали живописцы, и пан Вильгельминчик, присев на низенькую скамеечку, позировал. А портрет же, писанный углем, но доволно точный, пусть и слегка приукрашенный, вручил Габрисии.

На память.

— Вы шутите, дорогая Габрисия, — наконец, догадался он. — У вас прелестное чувство юмора!

И засмеялся.

...не бедный...

...и должно быть, ему действительно симпатична Габрисия. Быть может, он даже вполне искренне уверен, что влюбился, и что любовь эта — самая настоящая, которая до конца его жизни...

...и чего, спрашивается, Габи надо?

— Дорогая Габрисия, — кавалер встал на одно колено, правда, предварительно кинув на травку платочек. Оно и верно, пусть травка с виду бархатная, но на деле-то пыльная, грязная, а у него штаны белые... — Я имею сказать, что люблю вас от всей души.

И из кармашка коробочку достал бархатную, вида характерного. Пальчиком крышку откинул и протянул.

— И буду безмерно счастлив, если вы станете моею женой!

Девушки, которые прогуливались в отдалении с видом таким, что будто бы сами по себе гуляют, и вовсе не подсматривают, остановились.

Зашептались.

Раскрыли веера, смотрят на Габрисию, на пана Вильгельминчика, которому явно неудобно стоять на колене, и с зонтиком в одной руке, а с кольцом в другой. И вообще на редкость дурацкий у него вид... и чем дальше, тем более дурацким он кажется... и надо бы ответить.

Хмурится пан Вильгельминчик.

Чего ждал? Восторга?

Он ведь привык, что им восторгаются... красавец... и она красавица... не стыдно в обществе показаться... идеальная пара, почти как в ее, Габи, прежних мечтах. Только сбывшиеся, они имеют какой-то горьковатый привкус.

— Нет, — сказала она и коробочку закрыла. — Извините, но нет.

— Почему?!

Какое искреннее недоумение.

И обида.

Он ведь завидный жених. В «Гданьской хронике» идет под пятым номером списка самых завидных женихов. И многие девицы счастливы были бы обратить на себя внимание пана Вильгельминчика. И он обращал, правда, не на девиц, поскольку с ними связываться себе дороже, но все ж таки...

— Дорогая Габрисия, — он неловко поднялся и сунул зонт подмышку. — Понимаю. Я слишком тороплю события, однако же подумайте, разве вы найдете пару более достойную вашей красоты?

Тут он несколько покривил душой, поскольку в той же «Хронике» имелись и первые четыре пункта, но сын мэра был связан обязательствами, да и про иных ходили такие же слухи, так что пан Вильгельминчик в будущем году имел все шансы получить почетное звание самого завидного холостяка.

— Красоты? — странным голосом переспросила она. — Красоты... вас только она интересует?

— Что? — пан Вильгельминчик вопроса не понял. — Конечно... вы же красивы.

— А если перестану быть красивой?

— Как?

— Как-нибудь... скажем, ваша ревнивая любовница в лицо кислотой плеснет...

— У меня нет ревнивых любовниц...

— Или заболею... к примеру оспой... проклянут... да мало ли, что в жизни приключиться может.

Престранный разговор ставил пана Вильгельминчика в весьма неудобное положение, куда более неудобное, нежели недавнее, с зонтиком и кольцом.

— Просто представьте, что я, ваша супруга, стала вдруг... уродлива. Что тогда?

— Н-ничего... наверное, — пан Вильгельминчик попытался представить, но получалось не очень хорошо. Его жена уродлива?

Боже упаси!

— А хотите, я скажу, что? — Богуслава наклонилась к самому уху. — Вы тогда расстроитесь. И спросите себя, в чем же так перед Богами провинились. Вы решите, что наказали вас. И не желая быть наказанным, сошлете неугодную супругу в какую-нибудь глухую дальнюю деревеньку... а в свете объявите ее больной. Лучше больная, чем уродливая.

Пан Вильгельминчик прикинул и согласился. И вправду, много лучше.

— Сами вы верность, естественно, хранить не будете, заведете любовницу... и вас не осудят. У нас почему-то мужчин не осуждают за измену, это женщинам полагается быть верными.

Главное, что о жене своей вы будете вспоминать изредка. Навещать хорошо, если раз в году, а может и того меньше... потом у вас появится мысль, что хорошо бы ей умереть. Нет, на убийство вы не решитесь, слишком слабовольны. Но вот тайные надежды... их ведь не спрячешь... да и то правда, к чему жить некрасивым?

— Вы... — пан Вильгельминчик не нашелся сразу с ответом. — Вы... шутите?

— Какие шутки? — Богуслава поднялась. — К сожалению, я серьезна...

— И замуж не выйдете? — уточнил пан Вильгельминчик, подумав, что, возможно, оно и к лучшему. Уж больно странные беседы... идеальной его спутнице надлежит не только идеально выглядеть, но и вести себя соответствующим образом.

— Нет, конечно нет... не за вас...

Габрисия забрала зонтик.

— И провожать меня не стоит...

Пан Вильгельминчик и не собирался, но за этакий отказ, позволивший ему соблюсти приличия, был благодарен.

Жаль...

...из них получилась бы красивая пара...

Мазена сидела перед зеркалом.

Так легче.

Не приходится смотреть в глаза отцу, который стоял за спиной. В зеркале он — размытая тень, безликая, бесплотная. А теней Мазена не боялась.

— Я тобой недоволен, — жесткая рука легла на плечо. — Я очень тобой недоволен, Мазена.

...его недовольство с запахом ветоши и гнили, лавки старьевщика, в которую Мазена как-то заглянула любопытства ради. Тогда она еще не знала, что излишнее любопытство чревато проблемами.

— Я сделала все, что смогла.

Мазена подвинула футляр, который доставили из хранилища. Семейные изумруды... что еще можно надеть в столь важный вечер? Сегодня объявят об официальной помолвке.

— Ты могла гораздо больше, — отец коснулся шеи, помогая застегнуть ожерелье. Сработанное в позапрошлом веке, оно было вычурным и тяжелым.

Прочным.

И Мазена представила, как это ожерелье затягивается на ее шее, перекрывая дыхание. Как ни странно, но видение это не испугало, напротив, она подумала, что, возможно, это было бы наилучшим выходом...

Но нет, отец подал серьги.

— Ты не оправдала надежд рода...

— Твоих надежд, Роберт, — раздался от дверей скрипучий голос, и тень отца в зеркале дрогнула. На секунду почудилась, что она, эта тень, вовсе исчезнет.

— Здравствуй, дед, — Роберт поклонился, и старик Радомил, усмехнувшись, ответил:

— Здравствуй, внучок. Надеюсь, ты не будешь врать, что рад меня видеть?

...тень не исчезла.

Жаль.

— Иди, погуляй, — прадед махнул рукой на дверь, и отец не посмел перечить.

Старику никто не смел перечить.

И если сама Мазена... она и оглянуться-то опасалась...

— Я... действительно всех подвела.

— Брось, — ответил прадед. Он ступал беззвучно, и тяжелая трость в его руках лишь касалась ковра. — Только такой идиот, как мой внук, и вправду мог надеяться, что ты примеришь корону...

Прадед подал венец, украшенный огромными камнями, более похожими на грубые стекляшки, нежели изумруды, равным которым не было во всем Королевстве.

— Мстивойт вовсе не тот тихоня, которым представляется. И сынок его не лучше. Ты бы, может, и стала фавориткою на годик-другой, но от любви до трона далекая дорога... — прадед самолично возложил венец на голову. — Да и не дали бы тебе этого года...

— Думаешь... — голос дрогнул.

— Знаю. Мстивойт не дурак. Он эти хитроумные... — прадед произнес это слово, точно выплюнул, и стало очевидно, что хитроумными он планы внука вовсе не считает, — на раз раскусил бы... и уже ты б отведала бурштыновых слез.

Мазена закрыла глаза.

Верно.

Она думала об этом, как и о том, что идея ее отца... нелепа.

Конкурс? Знакомство с Матеушем?

Его любовь... и не просто любовь, но такая, которая заставит потерять голову... а ведь иначе, чем безумием, не объяснить было бы помолвку и свадьбу.

— Ничего, дорогая, — прадед помог закрепить венец. Он подавал шпильки, и Мазена со странным удовлетворением втыкала их в сложную прическу, всякий раз внутренне сжимаясь в ожидании боли. — Все закончилось именно так, как должно бы...

— Ты... знал?

Никогда нельзя было сказать наверняка, что именно было известно прадеду, пусть в отличие от многих иных своих потомков к Мазене он относился снисходительно.

— Кое о чем... ты показала себя сильной девочкой. Твоему супругу это понравилось.

Мазена прикрыла глаза.

Ее супруг... генерал-губернатор... и пожалуй, это лучшее, на что она могла бы рассчитывать...

— Все будет хорошо, дорогая, — сухие пальцы прадеда приподняли подбородок, а губы коснулись лба. — Вот увидишь...

— Если ты знал, что все с самого начала... почему не остановил его?

Опасный вопрос.

Прадед никогда ни перед кем не отчитывался. Но если он сам заговорил с Мазеной? Неспроста ведь... не случайно...

— Я должен был убедиться, что мой внучок не способен стать во главе рода, — хитро усмехнувшись, ответил старик. — В нем есть сила, но нет ума... прискорбно. Ты — другое дело...

— Я?

Мазена коснулась ожерелья, и гневно полыхнули зеленью старые камни, словно ожили от этого прикосновения.

— Ты, дорогая... если будешь осторожна. Главное, не спешить... выйдешь замуж... присмотришься к супругу... а там...

— Отец...

...не допустит и мысли о том, что Мазена...

— Увы, ему не так долго осталось, — прадед поднялся и, вновь превратившись в дряхлого старика, заковылял к двери. — За свои ошибки нужно отвечать.

У двери прадед остановился и, не оборачиваясь, сказал:

— Корона может быть разной, Мазена. Но какой бы ни была, она опасное украшение. А потому, будь осторожна.

— Спасибо, — Мазена закрыла глаза, а когда открыла, то вновь увидела призрак отца за плечами.

— Что он тебе сказал?

...то, что скоро его, вечной тени, довлеющей над жизнью Мазены, не станет.

...он уже мертв?

...или пока еще жив, если так, то ненадолго... и наверное, его можно попытаться спасти...

— Ничего, папа, — улыбнулась Мазена, касаясь тяжелого обруча на голове. — Ничего важного...

Эпилог

Презентация сборника стихов молодого, но зело талантливой пиита, о виршах которого «Светская хроника», а за нею и «Литературная газета» отзывались в весьма восторженных выражениях, проходила в литературном салоне панны Велокопыльской, весьма известном в узких кругах.

«Литературна Познанщина» в очередной раз разразилась гневной статьей, в которой обличала падение вкусов и попрание литературных ценностей... «Критик» высказывался осторожно, напирая на молодость пиита и нестандартный его подход...

...находились те, кто, злословя, намекал, буде бы главный талант Аполлона в том, что оказался он на пути стареющей вдовы...

...вдова выразительно слухи игнорировала...

В общем-то, все было обыкновенно, буднично даже.

Приглашение Евдокии прислали именное, на глянцевой плотной бумаге с золочеными виньетками и коровьей мордой с несоразмерно огромными рогами.

...Евдокия не пошла бы...

...но после отъезда матушки было... тоскливо. Нет, она, Евдокия, была счастлива в браке, пусть и не ощущала себя княжною, как не ощущала ее княжною все семейство Вевельских, с которым Евдокия решила отношения поддерживать на расстоянии... но этого счастья оказалось мало.

— Я привыкну, — сказала она Лихославу на третий день.

— Конечно, привыкнешь.

Обнял.

Понял. Он понимал с полуслова, а то и вовсе без слов. Вновь колючий, и значит, полнолуние близилось... а с ним появлялся и страх, который Лихо отчаянно запирает в себе. Только чаще касался серебряной полосы ошейника.

— Я просто никогда не оставалась одна... мама была рядом... и Лютик... и Аленка...

— А теперь я.

— А теперь ты...

— И они тоже, — Лихо потерся щекой о плечо. — Они ведь не исчезли, просто уехали...

...просто...

...почему тогда Евдокии страшно? Она ведь не ребенок, ей почти уже двадцать восемь, а

чувствует себя... брошенной.

Забытой.

И хоть бросай, беги следом, но... как тогда Лихо?

И дело?

И вообще, не рады будут Евдокии в Пресветлом лесу, это она поняла еще когда с бабкой познакомилась. Смешно. Эльфийка, которая рядилась в белое, легкое, была совсем юной, Лютик и тот старше выглядел... правда, стоило в глаза заглянуть, и Евдокия поняла, что на самом деле вечная юность — иллюзия.

— Жаль, что ты человек, — сказала она, и это была единственная фраза, которой Евдокию удостоили. Пресветлая Владычица словно забыла о том, что помимо блудного сына и его супруги, а также внучки, на которую она взирала с куда большим вниманием, в гостинной есть еще и Евдокия.

— Извини ее, — Лютик сел рядом. — Она уже немолода. А с возрастом ни люди, ни деревья гибче не становятся...

— И эльфы тоже?

— Если подумать, то эльфы не так уж сильно отличаются от людей.

Пресветлая владычица обернулась, и в глазах ее мелькнула... зависть?

Тоска.

И обреченность, которая заставила Евдокию позабыть об обиде.

...еще бы найти способ от тоски отрешиться...

— Мне тебя не мало. Но их не хватает, — она накрыла руки Лихо своими. — Я... я немного поплачу и успокоюсь.

— Хорошо.

Но плакать, когда он на ухо сопит было невозможно, поэтому Евдокия и приняла приглашение... все ж таки Аполлон, если разобраться, не чужой человек.

...литературный салон панны Велокопыльской располагался в собственном ее особняке, двери которого по случаю мероприятия столь важного, были раскрыты для всех...

У оных дверей собралось немало народу.

Были здесь и репортеры, пришедшие не столько из любви к искусству, сколько за ради обещанного фуршету. Были панночки сурьезного облика, полагавшие себя близкими к кругам литературным, и иные, одетые весьма вызывающе. Были юноши, через одного — в кургуzych коричневых пиджаках и рубашках из алого шелку. Некоторые, для полноты образа и близости к народу, которая явно входила в моду, обрядились в лапти. Один держал в руках хлыст, которым размахивал, отбивая себе ритм. При том юноша задрал голову так, что видна стала синюшная тощая шея, и срывающимся голосом читал, но не стихи.

— Рассупонилось красное солнышко...

Евдокия остановилась, чтобы послушать, наверное, проза была хороша, если юношу окружала стайка восхищенных девиц. Особенно внимательно слушала панночка в красном сарафане с непомерно огромным кокошником на голове. В особо сильных местах панночка исторгала шумный вздох, и семь рядов красных стеклянных бус на ее груди приходили в движение.

— Индо быршяты встremались на росы, куковea, — продолжал вдохновенно вещать прозаик.

— Кто такие быршяты? — шепотом поинтересовалась Евдокия.

— Не знаю, но если они встremались, да еще и куковea, то дело серьезное...

На Лихо зашикали, а парень, прервав декламацию, вытянул тоненькую ручку и произнес:

— Простым обывателям сложно оценить всю красоту истинно народного языка, где каждое слово поет...

— Пойдем, — Лихо потянул за собой. — Как-то поющие слова меня пугают.

— Ты ж волкодлак, тебе ли слов бояться?

Он уставился с упреком.

— Думаешь, если волкодлак, то бесстрашный? А вдруг эти самые быршяты, которые встremались на росы — что-то очень жуткое?

Евдокия не удержалась и хихикнула.

— Кинешня гульштынили...

— Вот! — Лихо поднял палец. — Видишь, сколько там всего... в народном творчестве...

— Тише, — зашипела на них девица в кокошнике, который слегка съехал на затылок, отчего искусственная коса сбилась набок. Девица этого не замечала, она трепала ленты, не то от экстазу, не то от ревности, потому как вокруг любителя ядреного народного слова девиц было несколько. — Если не понимаете, то не мешайте.

— Резонно, — Лихо с девицей спорить не стал.

Особняк панны Велокопыльской ныне был убран в народном стиле — в широкогорлых цианьских вазах стояли снопы соломы, перевязанные атласными лентами. На стенах висели веночки из ромашек и васильков. А в самом центре огромной залы, огороженная столбиками и красным шнуром, стояла корова.

Евдокия даже моргнула, пытаясь убедить себя, что корова ей мерещится.

Нет.

Рыжая, с белым пятном на вымени и обломанным рогом. В яслях, облагороженных золотой краской и атласными бантами, высилась гора резаной репы, которую корова подбирала аккуратно, всем видом своим демонстрируя, что оказывает высочайшее одолжение...

...за коровой виднелось некое престранного вида сооружение, больше всего напоминавшее

огромный стул, задрапированный, должно быть, ради пущей загадочности, холстиной. На стуле этом восседал Аполлон в звериной шкуре и ел ватрушки.

— Ах, Лишек! — воскликнула хозяйка салона и распахивая объятия, от которых Лихо попытался увернуться. — Я такая радая, шо ты пришел! Я так и сказала твоей тетушке, шо ты всенепременно заглянешь... а это жена твоя? Наслышана, наслышана...

Панна Велокопыльская, с лица неуловимо напоминавшая корову, не столько чертами, сколько выражением полной пресыщенности и великосветской тоски, подняла лорнет.

— Дуся! — раздалось громовое. — Дуся, ты тутай!

Аполлон, оставив корзину с ватрушками, торопливо вытер липкие руки о тигриную шкуру.

— Дуся! — он повернулся задом, встал на карачки и ногу вытянул, нащупывая под холстиной ступеньку.

— Вот, — панна Велокопыльская нахмурилась. — Вы нам весь перфоманс порушили?

— Что, простите? — Лихо смотрел, как великий поэт-народоволец спускается. Надо сказать, действовал Аполлон аккуратно, и прежде, чем опереться на ступеньку, долго пробовал ее на прочность. От натуги он пыхтел, а сооружение поскрипывало.

— Перфоманс, — повторила хозяйка салона, взмахнув лорнетом. — Это представление! Образ!

— Ах, Лихослав... Евдокия... — вдова великого критика, давно уже сменившая статус и ставшая супругой пока еще не очень великого поэта, была настроена куда более благосклонна. — Премного рада вас видеть... Полюшка, осторожней! Там ступенечка высокая...

— Перфоманс, — панна Велокопыльская повисла на руке Лихослава, словно бы невзначай оттеснивши Евдокию. — Есть внешнее представление внутренней сути его творчества...

Аполлон пыхтел, тигровая шкура задралась, обнажив не только пухлые ляжки, но и розовые, поросшие светлым волосом, бедра, и даже цветастые трусы, которые несколько с шкурой диссонировали.

— Дуся! — возопил он, обнимая Евдокию. — Я такой радый, что ты пришла!

— И я... тоже... рада...

Евдокия попыталась высвободиться из объятий, но Аполлон держал крепко. И наклонившись к уху, он жарко зашептал:

— Скажи ей, что я не могу больше ватрушки есть! Надоели... я шанежков хочу...

— Полечка, потерпи, — Брунгильда Марковна вцепилась в руку молодого мужа. — Ватрушки свежие...

— ...образ варвара, который сокрыт в каждом человеке... — не замечая происходящего продолжала вещать панна Велокопыльская. — И этот внутренний варвар возвышается над ценностями цивилизации, предпочитая пищу телесную духовной...

— Я не хочу ватрушки! — возопил Аполлон. — Я шанежков хочу!

Панна Велокопыльская повернулась к капризному поэту и, ткнув лорнетом в грудь, грозно произнесла:

— Шанежки — это неконцептуально!

— А я...

— Полечка! — трубный глас заставил Евдокию подпрыгнуть. — Полечка, я тебя нашла!

— Мама! — Аполлон тотчас выпустил Евдокию и попятился. Он пригнулся и, кажется, стал ниже, впрочем, не настолько ниже, чтобы исчезнуть.

— Полечка! — почтенная Гражина Бернатовна уронила пару баулов и, вытянув руки, устремила к сыну. — Я так о тебе беспокоилась!

Посетители расступились, а панна Велокопыльская пробормотала:

— Как мило!

— Полечка, что с тобой сотворили!

— Мама, у нас перформанс!

— Полечка, я вижу, вижу... но почему ты без подштанничков?

— Подштанники — это неконцептуально! — влезла в беседу панна Белокопыльская, но лорнет убрала, ибо вид Гражина Бернатовна имела грозный, явно выдававший, что внутренний ее варвар давным-давно выбрался на волю и неплохо на ней устроился. А в варваров лорнетом тыкать себе дороже.

— Зато тепло! — ответила Гражина Бернатовна и потянула Полечку к баулам. — Я привезла новые, с начесом... а то ж простудишься. И шарфик, Полечка, тут дует, а ты без шарфика...

Следом за шарфиком появились полосатые носки, в которые Гражина Бернатовна засунула домашнюю колбаску, и оной полностью подавила вялое сопротивление Аполлона.

— Оставьте его в покое! — первой не выдержала критикесса, заподозрившая Гражину Бернатовну в коварной попытке разрушить не только концептуальный перформанс, но и едва-едва наладившуюся семейную жизнь.

— А ты кто такая? — купчиха мигом забыла про баулы.

— Я его жена!

— Поля!

— Мама...

Евдокия отступила. Почему-то ей казалось, что здесь и без нее разберутся...

...не прошло и получаса, как Полечка, облаченный в синие подштанники с начесом, полосатые носки и шарф, вернулся на положенное ему место. Правда, теперь вместо ватрушки он держал в руке колбасу, которую жевал с видом мрачным...

— Инды зюкали ражие грыси! — продолжал вещать юноша, разгоняя плеткой мух.

Слушали девицы.

Вздыхали.

Переполюнялись силой слова народного...

— Лихо... я тебе говорила, что люблю?

— Кого? — он наклонился и, поймав Евдокию за руку, поцеловал пальцы.

— Тебя...

— Если меня, тогда ладно...

— Смейшься?

— Как могу...

Никак. В синих, ярких глазах не осталось ни капли желтизны, солнце, которое отражалось — не в счет. И не только солнце... березы с золотом в листве, точно сединою... и улица... и экипаж, запряженный четвериком... люди гуляют... дама с собачкой или вот пиит от стаи отбился, верно...

Солнце палит.

А все одно прохладно... осень.

Потом зима.

Весна и лето... и снова осень... и так год за годом. Но мысли об этом не пугают, напротив, Евдокия совершенно счастлива... даже совестно немного перед богами.

На всякий случай.

Вдруг да позавидуют.

— Ева, только не смейся... я вот все думаю... кто такие ражие грыси?